



Тем, что эта книга дошла до Вас, мы обязаны в первую очередь библиотекарям, которые долгие годы бережно хранили её. Сотрудники Google оцифровали её в рамках проекта, цель которого – сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Эта книга находится в общественном достоянии. В общих чертах, юридически, книга передаётся в общественное достояние, когда истекает срок действия имущественных авторских прав на неё, а также если правообладатель сам передал её в общественное достояние или не заявил на неё авторских прав. Такие книги – это ключ к прошлому, к сокровищам нашей истории и культуры, и к знаниям, которые зачастую нигде больше не найдёшь.

В этой цифровой копии мы оставили без изменений все рукописные пометки, которые были в оригинальном издании. Пускай они будут напоминанием о всех тех руках, через которые прошла эта книга – автора, издателя, библиотекаря и предыдущих читателей – чтобы наконец попасть в Ваши.

Правила пользования

Мы гордимся нашим сотрудничеством с библиотеками, в рамках которого мы оцифровываем книги в общественном достоянии и делаем их доступными для всех. Эти книги принадлежат всему человечеству, а мы – лишь их хранители. Тем не менее, оцифровка книг и поддержка этого проекта стоят немало, и поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые меры, чтобы предотвратить коммерческое использование этих книг. Одна из них – это технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас:

- **Не использовать файлы в коммерческих целях.** Мы разработали программу Поиска по книгам Google для всех пользователей, поэтому, пожалуйста, используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- **Не отправлять автоматические запросы.** Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого рода. Если Вам требуется доступ к большим объёмам текстов для исследований в области машинного перевода, оптического распознавания текста, или в других похожих целях, свяжитесь с нами. Для этих целей мы настоятельно рекомендуем использовать исключительно материалы в общественном достоянии.
- **Не удалять логотипы и другие атрибуты Google из файлов.** Изображения в каждом файле помечены логотипами Google для того, чтобы рассказать читателям о нашем проекте и помочь им найти дополнительные материалы. Не удаляйте их.
- **Соблюдать законы Вашей и других стран.** В конечном итоге, именно Вы несёте полную ответственность за Ваши действия – поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы не нарушаете соответствующие законы Вашей или других стран. Имейте в виду, что даже если книга более не находится под защитой авторских прав в США, то это ещё совсем не значит, что её можно распространять в других странах. К сожалению, законодательство в сфере интеллектуальной собственности очень разнообразно, и не существует универсального способа определить, как разрешено использовать книгу в конкретной стране. Не рассчитывайте на то, что если книга появилась в поиске по книгам Google, то её можно использовать где и как угодно. Наказание за нарушение авторских прав может оказаться очень серьёзным.

О программе

Наша миссия – организовать информацию во всём мире и сделать её доступной и полезной для всех. Поиск по книгам Google помогает пользователям найти книги со всего света, а авторам и издателям – новых читателей. Чтобы произвести поиск по этой книге в полнотекстовом режиме, откройте страницу <http://books.google.com>.



VP

Handwritten signature or initials in blue ink.

F. 1889/90 T. II

UCH VII - XII

31. III. 69

Handwritten signature or initials in black ink.

№ 444

921

БИБЛИОТЕКА

СВЕТИ КЛИМЕНТЪ

Biblioteka Sveti Kliment.



v 2 + 3

ТОМЪ ВТОРИЙ

КНИЖКА VII—XII

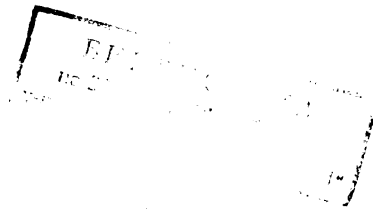
1889—1890



Издава Дружество Св. Климентъ
СРЪДЕЦЪ.

Укв. № 4683

AP 58
B. 35
V. 2. 3
1887-90



Handwritten signature or initials

ПЕЧАТНИЦА НА К. Т. КУШЛЕВЪ.

Съдържание:

на

„Библиотека Свети Климентъ“.

Томъ вторий.

	Стр.
I. Рускитѣ жени. Поема отъ Н. А. Некрасовъ Прѣвелъ отъ русски А. Константиновъ.	1
II. Графъ Левъ Толстой. Отъ Матю Арнолдъ. Прѣвелъ отъ английски Каменъ Черневъ	33
III. 25 й Декемврий. Искра. Стихотворения отъ П. Вазовъ.	54
IV. Изъ пжтьтъ. Разказъ отъ Гюи де Мопассакъ. Прѣвела отъ французски Е Каравелова.	56
V. Картини изъ народний ни животь. Разказъ отъ Н. П. И. Н.	62
VI. Пжтувание по Харцъ. Отъ Хейнрихъ Хейне. Прѣвела отъ нѣмски Е. Каравелова *)	87
VII. Аврора. Исторический анекдотъ. Отъ Жоржъ Реньаль. Прѣвела отъ французски Е. Каравелова.	117
VIII. Демонъ. Вѣсточна повѣсть отъ М. Ю. Лермонтовъ. Часть първа. Прѣвели отъ русски А. Константиновъ и П. П. Славейковъ	121
IX. Черно. Разказъ отъ Людовикъ Халеви. Прѣвела отъ французски Е. Каравелова	132
X. Призракъ отъ Бродинъ	137

*) Стихотворенията въ „Пжтувание по Харцъ“ сж прѣведени отъ П. П. Славейковъ.

- XI. Пътувание по Харцъ. II. Отъ Хейнрихъ Уейне. Прѣ-
 вела отъ нѣмски *Е. Каравслова* 139
- XII. Кралъ Марко. Народна пѣсня отъ Рѣсенко 165
- XIII. Косачъ. Приказва Веселинъ 173
- XIV. Молитва къмъ разумътъ. Стихотворение отъ *М. Московъ* 186
- XV. Плувай. Стихотворение отъ *М. Московъ*
- XVI. За изучванieto на биологiята. Лекция отъ Томаса Х.
 Хънсли. Прѣвелъ отъ английски *II. II. II.* 187
- XVII. Тифъ. Разказъ отъ Антонъ Чеховъ. Прѣвелъ отъ Рус-
 ски *II. II. Славейковъ* 199
- XVIII. Елексирътъ на негово прѣподобие отецъ Гоше. Раз-
 казъ отъ Алфонсъ Доде. Прѣвела отъ французски
Е. Каравелова 205
- XIX. Стихотворение въ проза. — 1). Гълъби. — 2) Нимфи
 — 3). Два богаташа. Отъ *И. С. Тургеневъ* Прѣвела
 отъ русски *Е. Каравелова* 312
- XX. Стихотворения отъ Великий Князь Константинъ Кон-
 стантиновичъ. Прѣвелъ отъ русски *II. II. Славейковъ.* 217
- XXI. Войникътъ. Споменъ отъ *Пв. Ев. Гешевъ* 220
- XXII. Прѣвземанието на редутъ отъ Просперъ Мериме.
 Прѣвелъ отъ французски *II. II. Славейковъ.* . . . 225
- XXIII. Демонъ. Вѣсточна повѣстъ отъ *М. Ю. Лермонтовъ.*
 Часть втора. Прѣвели отъ русски *А. Константиновъ*
 и *II. II. Славейковъ* 233
- XXIV. Барберина. Комедия въ три дѣйствия отъ Алфредъ де
 Мюссе. Прѣвела отъ французски *Е. Каравелова* . 251
- XXV. Французката младежъ. Нейнитѣ наклонности и домогва-
 ния отъ *Е. М. де Воюе.* Прѣвела отъ французски
Е. Каравслова 293
- XXVI. Какъ се правятъ книги отъ Уошингтъна Жрвинга.
 Прѣвелъ отъ английски *II. II. II.* 298
- XXVII. *Novissima Verba* отъ *Де Профундисъ* 305
- XXVIII. Коледна приказка отъ Щедринъ. Прѣвелъ отъ руски
Веселинъ 307

- XXIX. Огче нашъ. Драма въ едно дѣйствие отъ Франсуа Коппе.
Прѣвелъ отъ французски *А. Константиновъ*. 317
- XXX. Изъ запискитѣ на единъ скитникъ чиновникъ. Разказъ
отъ *Н. П. И. Н.* 337
- XXXI. Странникъ. Стихотворение отъ *Д. К. Поповъ*. 346
- XXXII. Поль-Луи Курие и неговитѣ памфлети отъ *Е. Каравелова* 348
- XXXIII. Въ нощта прѣдъ Великденъ отъ Владимиръ Короленко. Прѣвелъ отъ русски *П. П. Славейковъ*. 370
- XXXIV. Литературната критика въ Франция отъ проф. Едвардъ Дауденъ. Прѣвелъ отъ английски *Камень Черневъ*. 376
- XXXV. Денщикъ. Разказъ изъ военния животъ. Прѣвелъ отъ италиянски *И. Б.* 397
- XXXVI. Деньтъ се мина. Стихотворение отъ Хенри Лонгфело. Прѣвелъ отъ английски *Правовъ* 406
- XXXVII. Кучето на Санъ-Мало. Отъ *Б. Ф.* Прѣвела отъ французски *Е. Каравелова* 407
- XXXVIII. Врабецъ. Стихотворение въ проза отъ *И. Тургеневъ*. Прѣвела отъ русски *Е. Каравелова* 412
- XXXIX. Мцири. Поема отъ Лермонтоза. Прѣвелъ отъ русски *Д. К. Поповъ* 413
- XL. Тайната на щастието. Отъ *Жанъ Ришпонтъ*. Прѣвела отъ французски *Е. Каравелова*. 435
- XLI. Небето и земята. Стихотворение отъ *М. Московъ* 440
- XLII. Егмонтъ. Трагедия въ петъ дѣйствия. Отъ *Иоханнъ Волфгангъ Гете*. Прѣвела отъ нѣмски *Е. Каравелова*. Съ историческо въведение и критически анализъ на драмата отъ прѣводачтъ 441
- XLIII. Басня. Отъ *М. Московъ*. 533
- XLIV. Слабитѣ на деньтъ. Разказъ отъ *Ив. Ев. Гешевъ* 534
- XLV. Novissima Verba. (Огломки изъ втората часть.) Изъ Хамлета. Воленъ прѣводъ отъ *Де Профундисъ*. 541
- XLVI. Пожертвованиято на *Жана Клодта*. Разказъ отъ *Жюль Клареси*. Прѣвелъ отъ французски *Ив. Ст. Ан-*

	<i>дрейчинъ</i>	544
XLVII.	Фаустъ. Разказъ въ деветъ писма. Отъ И Тургеневъ . Прѣвелъ отъ руски <i>Г. А. Миндовъ</i>	548
XLVIII.	Жанна Цвѣте. Отъ Катуль Мендесъ . Прѣвела отъ французски. <i>Е. Каравелова</i>	586
XLIX.	Новей ми приятель. Разказъ отъ Густавъ Дрозъ . Прѣвелъ отъ французски <i>Ив. Ст. Андрейчинъ</i>	589
L.	Скалитѣ на Хансъ Хейлинга. Чехско народно прѣданіе. Отъ Теодсръ Нборнеръ . Прѣвелъ отъ нѣмски <i>С. Д. К.</i>	595
LI.	Врагъ и приятель. Стихотворение въ проза. Отъ И. С. Тургеневъ . Прѣвела отъ руски <i>Е. Каравелова</i>	607



РУССКИТЪ ЖЕНИ.

Княгиня Трубецная.

(1826 г.).

Отъ Н. А. Некрасовъ.

(Пръводъ отъ русски)

ЧАСТЪ ПЪРВА.

Удобно, мекко се постла
Въвъ ягнитъ за нѣтъ кола;
Бащата графъ слѣзнѣ самъ-си,
Да види какъ се нагласи.
Коньетъ впрѣгнаха шестъгѣ,
Фенерь отвѣтрѣ заблѣстѣ:
Самъ графътъ всичкото сторѣ—
Възглавинцатъ самъ турѣ
И самъ вконата за нѣтъ
И закачи въвъ дѣсеннѣ нѣтъ;
Заплака . . . Дъщеря му вечъ
Тазъ ноцъ отива на далечъ . . .

I

«Сърдната си съ тѣга си травимъ
Че трѣвамъ за далекъ,
Но ти кажи какво да правимъ?
Въ съзтитъ нѣма лѣкъ!
Тозъ, кой можѣ да се яви
Съсъ помощъ, той . . . Прости!
Прости! и ме благослови
И съ миръ ме отпусти!

II

«Уви! надѣжда нѣмамъ ази
Съ тебъ пакъ да се сбера,
Но знай: сърцето ми ще нази
Любовъ догдѣ умра,
И тази обичъ неотлъчно
Въ сърцето ми ще траи . . .

Не плача азъ, но ми е мъчно
За родния ми край!

III

О, мъчно ми е, вижда Богъ! . . .
Но мечь зове сега
Дългъ по свещенъ и по високъ.
Просги! ведѣй плака!
И нѣтъ ѣ тежкъ и далеченъ,
Сибирь е, знамъ, студень,
Но съ броня стана ми ѣ облъченъ . . .
Гордѣй се, татко, съ мечь!

IV

«И ти прощавай, край познать,
Нещастень си и ти!
И ти . . . мой милъ, мой роденъ градъ,
Гнѣздо на вси бѣди.
Бой видѣлъ Лондонъ и Парижъ,
Венеция и Римъ,
Неможешъ съ блѣскъ да го прелестишь,
Но ти си ми любимъ.—

V

«Щастливо младостъта минахъ
Межъ твоитѣ стѣни,
И твоя шумень блѣскъ видѣхъ,
И много добрини.
Обичахъ азъ Невà-рѣка
Съ вълнистий шумъ и стоиъ
И тѣзи площадь на брѣга,
Съ герой вѣхналъ на конь . . .

VI

«Не мога те забрави . . . Трай
Ще дойде врѣме — и за насъ,
Ще спомнятъ въ този край . . .
.
.
.

• • • • •
• • • • •

*
* *

Колата ягки съ шумъ върватъ
Изъ тъмния столиченъ градъ.
Тжжовна, блѣдна кат' луна,
Княгинята сѣди сама;
Отпредъ пѣтя ѝ отваря,
Покритъ съ медали, секретаря
Напрѣдъ съ слугигѣ «варда» вика,
Препуска, плѣска съсъ камшика.
Столицата минавать вече . . .
А пѣтя имъ далечъ, далечъ . . .
Жестока бѣ тогазъ зимѣ . . .
На всѣка станция сама
Излиза пѣтницата : «Хора!
Препрѣгайте коньетѣ скоро!»
И щедро ти раздава злато
На тѣзъ що вирѣгатъ въ мигъ колата.
О, трудець пѣтъ! На дваистий день
Едва достигнаха Тюмень.
Слѣдъ още десеть дни далечъ : —
«Тукъ Елисей ще видимъ вече».
Ней съобщава секретаря,
«Така не бърза даже царя!»

*
* *

Напредъ! Скръбъта ѝ като трънъ
Я мъчи цѣли дни.
Заснива тя и вижда въ сѣнь
Свонгѣ младини :
Богатство, блѣскъ! И домъ голѣмъ
На Невский брѣгъ сграденъ
Съ ковори всеждѣ напостлашъ
И съ бронза украсенъ,
И нареденъ раскошно залъ
Потъналъ въ свѣтлина.
О, радость! днесъ е дѣтски балъ
Ей, музика грѣмна

Баща ѝ влиза бѣлъ, румянъ,—
Каза ѝ съ весель гласъ :
«Ехъ, Катя, съ твоя сарафанъ
Ще смаешъ всички насъ!»
Приятно ѝ е безъ граница.
Тя влиза въ свѣтлий залъ
И вижда групи отъ дѣцѣца
Пригответи за балъ.
А старцитѣ съ медали, съ шпори,
Накичени по вѣчь,
Поддържатъ важни разговори
И гледатъ отъ далечъ . . . }
Танцуватъ си дѣцѣта, скачатъ,
Не ги е грижа тѣхъ
И днитѣ имъ лѣтатъ, прескачатъ
Съ игри, съ пѣсни и съ смѣхъ . . . }
И друго врѣме, други вѣкъ
Въ сѣня ѝ се мрежѣй:
Стои предъ нея младъ човѣкъ
И шепне пѣщо ней . . .
Сънува—балове пакъ вижда . . .
Блѣсти раскошенъ залъ
И грушна голѣмци приижда,
Цѣлъ моденъ свѣтъ се сбралъ . . .
«О, милий, що си тѣй тъжовенъ,
Въ душа ти миръ не трай?»
— Дѣтѣ хвърли тозъ свѣтъ лъжовенъ,
Да идемъ въ други край!—
И ето тя на пѣлъ търгна
Съ избранника любимъ
Достигатъ чудната страна,
Достигатъ вѣчній Римъ . . .
Съ какво ще спомнимъ ний живота
Ако не съ тѣзи дни,
Кога лѣтите на свобода
Отъ роднитѣ страни
И мрачній сѣверъ кат' оставимъ
Търчимъ къмъ Южний край
И всѣка власть надъ насъ забравимъ,
Живѣемъ като въ рай.
Съ тогова, който скжизъ е намъ

Тозь, койго ни й любимъ
Днесъ ходишь, гледашъ древенъ храмъ,
А утрѣ посѣтиамъ
Музей, дворецъ и развалини
Отъ старь, отъ миналъ вѣкъ
И мислитѣ си ги дѣлимъ
Съ любимия човѣкъ.
И окрженъ отъ красоти,
Съ смиренъе обладанъ,
Подавенъ, мраченъ ходишь ти
Изъ чудний Ватиканъ;
Забравяшъ ти за тозъ живсть
Съ миръ други окрженъ,
Но щомъ напуснешъ онзи сводъ,
Оставашъ пораженъ
И срѣщашъ се съсь живий мпръ,
Гдѣ всячкото живѣй;
Фонтани тамъ шумятъ безъ спиръ.
Работника тамъ пѣй —
И търговията богата
Кипи. Дѣца отвредъ
Крѣщатъ: водица! лимоната!
Корали! сладоледъ!
Играе, бий се голотата,
Доволна че живѣй.
Вижъ! Майка тамъ на дъщерята
Коси занлита.—Грѣй,
Горѣщо става. Като рой,
Тълна бѣсиѣ тамъ.
Да търсимъ сѣнка и покой,
Да влѣземъ въ този храмъ.

Не чуѣ се тукъ житейски гласъ,
На всждѣ хладина
И мракъ . . . Обзема те тозчасъ
Душевна тишина.
Съ святци исписанъ цѣлий сводъ
По всичкитѣ страни,
Отъ мозанка гладкъкъ подъ
И мраморни стѣни . . .
Или пѣкъ слушашъ бурний шумъ

Въ възвистото море,
А пъкъ свободния ти умъ
Работи безъ да спрѣ . . .
Или изъ тѣсната пхтека
Искачишъ се въ-зорѣ
И вижашъ видъ и дишашъ легко.
Въ високитѣ гори!
Но ето слъщето наднича
И вредъ по мѣстността
Росата чезне . . . Всѣкой тича
Къмъ сѣнчести мѣста . . .

За тѣзъ расходки и бѣсѣди
Княгината спомнѣ,
Въ душата ѣ дълбоки слѣди
Оставили онѣ,
Не ще се върнатъ вече днитѣ.
На младитѣ мечти,
Не ще се върнатъ и съжитѣ,
Кои си глѣа ти! . . .

Съня мѣнява този рай
На други хладенъ видъ.
Въ забравенъ отъ Бога край:
Тамъ господарь сърдитъ,
Тамъ и мужикъ-работникъ тлѣй,
Безгласенъ като въ гробъ . . .
Единъ привикналъ да владѣй,
А други—да е робъ.
Сънува групи сиромашки
Въ нивя и лжгове,
Сънува охканья бурлашки
На Волжски брѣгове . . .
Неволенъ ужасъ тя усѣща,
Не спи и не ѣде,
И бърза пхтинку на срѣща,
Въпросъ да зададе;
«Немѣ на всѣкждѣ владѣй
Въвъ тозъ край бѣдността?» . . .
—Въ туй царство робството живѣй:
В' едно съ сиромашята . . .

Събужда се—тозъ сжщи сънь
На явѣ. Чуе звукъ,
Печалечъ звукъ—оковечъ звнѣ.
—Ей спири колата тукъ! —
Въ гръдитѣ огънь ѝ гори.
Затѣченци вѣрватъ
Тя дава всѣкиму пари.
{Сполай — и добъръ пжтъ!}
Въ ума ѝ дълго се рисуватъ
Нещастнитѣ тълпи,
И тълпи мисли я вълнуватъ
Неможе да заспи!
,,И тѣ отъ тука се минали . . .
Да . . . пжтъ тукъ нѣма другъ . . .
Но пресни дири имъ завѣли.
Да бързаве отъ тукъ! . . .

Зимата повече я усѣщатъ;
Въсточний вѣтъръ вѣй.
Едва на триста версти срѣщатъ
Градецъ да зачернѣй.
И какъ тѣ радостно изглеждатъ
Къщята въ този край;
Но хора въ пжтя не съглеждатъ
И даже псе не лай.
Затворенъ всѣкъ подъ своята стрѣха,
И чай отъ мжка пий.
Мина солдатъ, кола минаха,
Курантъ тамъ нѣгдѣ бий;
Прозорцитѣ влѣвъ ледъ . . . Свѣщица
Самъ-тамъ блѣсна за мигъ . . .
Сѣборъ . . . Къмъ края пѣкъ тъмница. . . .
Коларина съ камшикъ :
{Дий-хей!} и вече града изчезна,
Последний домъ вече скритъ. . . .
И пакъ гори, рѣка на дѣсно
На лѣво — лѣсъ покритъ. . . .

И работи умà ѝ жежки,
Безсъненъ до зори.
Тжжи сърдцето. Съ мисли тежки

Главата ѝ гори;
И мъркват ѝ се ту затвори,
Ту родния ѝ край.
Замисли се и ѝ се стори,
Защо — самъ Господъ знай, —
Че звѣздното небе ѝ листецъ
Посианъ всеждъ съ шѣстикъ,
А мѣсеца е пѣкъ кржжецъ
Отъ воскъ червенъ безъ блѣсъкъ.

Но ето скриха се горитѣ.
Прострѣ се равнина.
Мъртъвѣй. Не виждатъ ѝ очитѣ
Дрѣвце по тазъ страна.
«А ето тундра» съобщава
Болярна степнякъ,
И тя съ вниманье наблюдава
И се замисля пакъ:
На, тука се стреми за злато
Всежадния човѣкъ!
И търси го изъ всеко блато,
Подъ всекой рѣченъ брѣгъ.
Да, трудно ѝ злато да добиешъ
Изъ рѣчния потокъ,
Но по е лошо пѣкъ да гниешъ
Въвъ рудника дълбокъ, —
Владѣй тамъ гробна тишина
И непробуденъ мракъ. . .
Защо, о, проклета страна
Открилъ те е Ермакъ? . . .

* *
*

Съ мъгла земята се покрива.
Луната вече изгрѣ.
Княгинята ощъ незаспива.
Тъга сѣня ѝ спрѣ. . . .
Но ей заспа . . . Кула сѣнува
На върха тя стои;
Предъ нея цѣлъ се градъ вълнува,
Народъ се съ шумъ рои;
Бѣмто широкия площадъ

Търчатъ тълпи безъ брой,
Богатъ и бѣденъ, старъ и младъ
Въвъ пѣстро смѣсенъ рой.
И смѣсватъ се кожухъ съсь свила
И шапка съсь калпакъ.
Въвъ строй войска се наредила,
Новъ полкъ пристигна пакъ,
Солдати се хиляда собраха
И всичкитѣ «урра!» крѣщиха
Съсь непрекъснатъ звукъ. . . .

Шуми народа безъ да спира,
Едва единъ въ стотъ разбира
Какво се върши тукъ. . . .
И ситѣ се само подъ мустакъ,
Съ лукаво смиженъ взоръ,
Французинъ съ буритѣ познатъ,
Столиченъ коафьоръ. . . .

Тукъ нови се войски явиха
«Предайге се тозчасъ!»
Но първитѣ отговориха
Съ куршумъ и съ щикъ завчасъ.
Единъ юначенъ генералъ
Къмъ тѣхъ се спуща, викъ надагъ —
Свалиха го отъ коня.
И другъ дойде до редовѣтъ
«На всички прошка, — престанете!» —
И той надна кат' оня.
Митрополията се показва
Съ хоругви, съ кръсть въ ржцѣ:
«Покайте се, о братя, — каза —
Предъ Бжъето лице!»

Тълпата слуша — не смври се,
Но съ дружни гласове:
«Иди си, старче! Помоли се
За нашѣ грѣхове. . . .»
Нареждатъ тонове слѣдъ туй . . .
И . . . първа-я! лали! се чуѣ.
.
Княгиняга отъ връхъ кулата

Падна на долу съсъ главата
И прѣдъ очитѣ ѣ настая
Подземенъ корридоръ,
Съсъ часовой прѣдъ всѣка стая ;
Вратата на затворъ.
И шумъ, кат' че възнитѣ плѣскасть
Се чуше отъ тамъ,
А вжтрѣ гледа — пушки блѣскасть ;
Отпрѣдъ фенеренъ пламъ ;
И чуютъ се ту хорски стѣпки,
Ту иѣкой сдавенъ гласъ
И страшно ѣ побиватъ трыпки
Гждитѣ ѣ завчасъ. . . .
Тукъ съсъ ключове се показва
Солдатины, старъ човѣкъ :
«Ела, нещастнице!» ѣ казва
Кат' шепнеше полекъ :
«Да идемъ въ неговата стая,
Живъ-здравъ е твоя мжжь».
И безъ тя да се колебае
Тръгнаха изведнажъ. . . .
Вървѣха дълго. . . . Наконецъ
Вратата скрипна . . . въ мигъ
Стои прѣдъ нея . . . живъ мъртвецъ. . . .
Тя вижда блѣденъ ликъ! . . .
И му припада на гждитѣ
И пита: що да правя? . . .
.
О, азъ усѣщамъ смѣлость силна,
Да зная искамъ твоята воля,
Кого, кажи ми, да помоля? . . .
.
О, мплий мой, какво ти рече?
Не чую нищо азъ,
Ту този шумъ ужасель прече,
Ту тозь стражарски гласъ!
Защо ѣ тукъ трегвий между насъ?
— Наивно питашъ ти. —
— «Дойдѣ урѣчения часъ!»
Тозъ «третий» извѣсти . . .

Биягинята се стрѣсна. — Вредъ
Съсъ ужасъ гледа вънъ,
Отъ страхъ сърдце ѝ като ледъ:
Не е туй само сънъ! . . .
Луната плава по небето
Безъ блѣсъкъ, безъ да грѣй,
На лѣво лѣсъ покрилъ полето,
На дѣсно — Енисей.
Тъмнѣе! Никого не срѣщатъ.
Коларина се свилъ
И спи. А гладенъ вълка на срѣща
Завилъ, на гладъ завилъ.
И вѣтра реве и пѣй
Надъ рѣчнитѣ вълни,
И инородецъ негдѣ пѣй
Любимитѣ пѣсни.
Звучеше диво по полето
Язика неразбранъ
И повечъ кѣсаше сърдцето
Отъ чайкитѣ въ буранъ. . .

Биягинята усѣти мразъ,
Студено бѣ тази ноцъ.
Упадватъ силитѣ тогазъ,
Упада всѣка мощъ.
Ума ѝ ужасъ овладѣва
Че нѣма да дотрай.
Коларина ѝ вече не шава,
Съ камшика не играй.
Не чуй се гласъ, не чуй се звукъ
«Ей, живъ ли си, коларь?
Защо мълчишь? Недѣй спа тукъ!»
— Не, зная . . . азъ съмъ старъ. . .

Лѣтятъ. . . Прозореца замръзналъ
Не вижда се отпредъ.
Тя гони си съня умръзналъ,
Но той я слѣдва вредъ!
На болната жена успѣва
Ума ѝ да обладай,
И като магъ я пресеява
Въ нечуждъ за нея край.

Сънува тя прекрасенъ край
Познатъ отъ младини.
Гдѣ луча слънчевий играй
И пѣнятъ се вълни.
Здрависватъ я единъ и другъ. . .
Оглежда се отвредъ:
«Да, туй е югъ! да туй е югъ!»
И казва всѣкъ предметъ. . .
Ни облаче въ небето сине,
На всждѣ слънце грѣй
И по гори, и по долини
Природата се смѣй,
На всждѣ красоти вирѣятъ
Прекрасни като въ рай.
Лучи, море, цвѣтя — ѝ пѣятъ:
«Да, туй е южний край!»
Въ долината между горитѣ
И синего море,
На милия си на гърдитѣ
Лѣти тя безъ да спрѣ.
Изъ пѣтя чудеиъ и богатъ
Цвѣтята лѣятъ ароматъ,
Дървета върхове навеждатъ
Огъ изобилень плодъ,
Межъ клоноветѣ се съглеждатъ
Води и небосводъ.
Кораби по морето плаватъ,
Гори до небеса
Въ мъглитѣ си глави подаватъ. . .
О, рай, о чудеса!
О, чудни цвѣтове! Предъ насъ
Като рубини нѣжни,
Сега се искрятъ кат' топазъ
По върховетѣ снѣжни. . .
Ей конь съ цвѣтя и съсъ звѣнецъ
Едва мѣни крака,
Подирь върви жена съ вѣнецъ
И съ кошаница въ ржка.
«На добъръ часъ» имъ каза тя,
Приятно се засмѣ,
Захвърли къмто тѣхъ цвѣтя,

Да, югъ е тази земя!
Страна на чуднитѣ моми,
На розитѣ страна. . .
Чуй! мелодически пѣсни,
Чуй! музика грѣмна! . .
Да, туй е югъ! да туй е югъ!
(Съня ѝ пѣе въ тактъ)
И пакъ съмь съ тебъ, мой млягъ супругъ.
Свободенъ ти си пакъ! . . . >

ЧАСТЬ ВТОРА.

Почти два мѣсеци вървятъ
И день и ноцъ по сжщий пжтъ;
Файтона здравъ, файтона легкъ
А ижтний край е все далекъ.
И сжжтника ѝ той запрѣ,
Че прецъ Иркутскъ се разболѣ.
Два-дни го чака тамъ она,
Но сетитѣ трѣгна въ пжтъ сама. . . .
Въ Иркутскъ я срѣщна съсь поздравъ
Началника самъ-сѹ:
Кат' мощи сухъ, кат' сопа правъ
Съ пропъстрени коси.
Шинеля силъзва отъ гжидитѣ —
Съсь крестове, съ мундиръ
И шапка съсь пера нашити.
Почтенний бригадиръ
Испсува пѣкакъ-си коларя
И бързо се спуся,
Файтоннитѣ вратца отваря.
Княгинята слѣзна.

Княгинята (влиза въ станционний домъ).

Въ Перчинскъ! Запрѣгайтѣ коньсетѣ!

Губернатора.

Дойдохъ да срѣщна васъ.

Княгинята.

Е, за конье тогазъ кажете!

Губернатора.

Потрайте, моля, часъ.
Шосето се е развалило,
Огпочинете вече . . .

Княгинята.

Благодаря! Азъ имамъ сила . . .
И пътя ѝ недалечъ . . .

Губернатора.

И осемстотинъ версти стигатъ
Кола да ви тръсѣ:
А главното бѣди постигатъ
Човѣка въ туй шосе! . . .
Двѣ думи ще ви съобща
По служба,—азъ съмъ блъкъ,
Познатъ съмъ вашня баща,
При него съмъ служилъ
Баща ви рѣдъкъ бѣ човѣкъ,
Душа добра безъ край,
Признателностъ къмъ него вѣкъ
Въ душата ми ще трай.
За добринитѣ на бащата,
Готовъ съмъ този часъ
Да служа пѣкъ на дъщерята . . .

Княгинята.

Но нѣмамъ нужда азъ!
(Като отваря вратата въ коридора)
Готови ли ми сѣ колата?

Губернатора.

Ще впрѣгатъ чакъ тогазъ,
Когато кажа азъ . . .

Княгинята.

Е, дайте заповѣдь за Бога . . .

Губернатора

И азъ незная самъ . . .
Писмо получихъ . . . не, негома . . .

Княгинята.

Какво ви пишатъ тамъ;
Дал' пжтя моя ще се спрѣ.

Губернатора.

Да, туй ще бжде по-добрѣ.

Княгинята.

Но тѣзь писма кои отпиравятъ?
Що е това? И тамъ
Шегн ли съсъ баща ми правятъ?
Той устрой ужъ самъ!

Губернатора.

Не . . . туй не мога да докажа . . .
Но пжтя ѝ ощъ далечъ . . .

Княгинята.

Напрасно ѝ вешчко-да ви кажа.
Да ли тамъ впрягатъ вещь? . . .

Губернатора.

Не съмь далъ заповѣдъ, пограйте . . .
Конѣ ще ви дадатъ.
Сѣднете! казахъ вече, знайте,
Съ баща ви съмь познатъ.
Той, кат' добъръ, се е рѣшилъ
Въ тозь пжтъ да пусти васъ,
Но отъ тогава се и убила . . .
Върнете се тозчасъ!

Княгинята.

Веднажъ рѣшено, азъ негома
Догдѣ не ида тамъ
Обичамъ азъ баща си много.
И той менъ сжцо, знамъ,
Но други дългъ ме чака мене
И по високъ и святъ.
Мжчитель! дайте разрѣшене,
Конѣ да ми дадатъ!

Губернатора.

Ахъ, моля ви. Азъ зная самъ,
Че скжпъ вий, всѣкой часъ;
Но за ли е извѣстно вамъ
Туй, що очаква васъ?
По бѣдна е оназъ губернья
Отъ нашья бѣденъ край;
Тамъ лѣтото едва се мѣрне,
А зима дълга трай.
Тамъ осемь мѣсеца зима е,
Тамъ страшенъ студъ търпятъ,
Добъръ човѣкъ неще утрас
Межъ тамошня свѣтъ.
Свободно ржше изъ Сибира
Самъ грозния варпакъ.
Въ тъмицитъ те страхъ нобира,
Въвъ рудницитъ мракъ.
Съ мжжа ви да се съберете
Не ще допустнатъ васъ;
Въ казарма обща ще се сирете,
Храната: хлѣбъ и квасъ,
Петъ хиляди тамъ оковани
Въ отчаянъ, злобенъ рой
Живѣять все съ борби и рани,
Съ убийство и разбой;
Надъ тѣхъ се сждъ извършва скоро,
По грозенъ нѣма сждъ!
И вий да сте срѣдъ тѣзи хора!
Въвъ този мраченъ кжтъ!
И васъ неще да пощадять,
Тамъ обща буря вий!
Мжжъ ви, да — той е виноватъ
По грѣшни ли сте вий?

Княгинята.

Съ сждба ужасна ще да тлѣй
Супруга ми, туй знамъ,
Но нека гдѣто той живѣй
И азъ да бжда тамъ!

Губернатора.

Не може вий тамъ да живѣйте:

Тозь клематъ вамъ е вреденъ.
Върнете се, о, пожагѣйте
Баща си, графа бѣденъ!
Не можете живѣ въ страната,
Гдѣ въздуха студенъ
Кат' прахъ излиза изъ устата,
Кат' прахъ оледенѣт.
Мракъ, студъ владѣй по тѣхъ мѣста,
А кат' настѣпни жаръ
Отъ непрестѣпнитѣ блатъ
Излиза вреденъ паръ.
Не е това за вашъ мощъ;
Тукъ даже звѣръ не трай,
Кога стодневна мрачна ношь
Настане въ този край . . .

Княгинята.

Живѣятъ хора въ тази страна,
Превикна-ще и азъ.

Губернатора.

Но съ тѣхъ не мога ви сравня,
Не е това за васъ!
Тукъ майката съ водица сиѣжна
Дѣтѣнцето си мий
И буря рожбицата нѣжна
Приспива кат' завий,
А буди звѣра изгладнѣлъ,
Като реве и вий,
Или буранъ разевирѣпѣлъ
Въ прозореца кат' бий,
Въ гори и рудници подземни,
Кат' сбиратъ хлѣба свой,
Заякватъ хората туземни
Съ природата въвъ бой.
А вий?

Княгинята.

Та даже въ гробъ да лѣгна,
Не ще да желя азъ!
Веднажъ мѣжа си да погледна
И да умра тогаза

Губернатора.

Да, ще умрете, но съ това
И тозь ще се затрий,
Комуто бурната глава
Погибнала е. Вий
За него не ходете тамъ!
За него й по-добрѣ
Отъ трудъ убитъ да дойде самъ
Въ затвора да се сирѣ,
Съднагъ на пода непосланъ
Въ ржка съсь ягкъ сухаръ
Заси . . . И въ снь отъ окованъ
Превраща се въвъ царъ!
Лѣти въ сния отъ своя одъръ
И вижда се съсь васъ,
Събужда се и тихъ, и бодъръ
И легко му й тогазъ.
А съ васъ?—тогава за двамина
Изгубва се покой.
Ще счита себѣ си причина
На вашѣ мжки той.

Княгинята.

Ахъ! . . . тѣзи думи приберете
За други по, добрѣ.
Съзи не ще да извлечете,
И туй не ще ме сирѣ!
Кат' се рѣшихъ да хвърля всички
И скжний си баща,
Да заплатя дълга едничкий
Въ душа си обѣщахъ.
Съзи не ще да принеса
Въ проклтеия затворъ,
Азъ гордостъта му ще спаса
И ще му дамъ подиоръ!
.
.
.

Губернатора.

Мечти прекрасни, да!

Съ тѣхъ нѣма петъ дни да живѣйте.
Вѣкъ мжка се не трай!
И вѣрвайте, ще пожалейте
За родния си край.
Тукъ гладъ, позоръ и униженя,
Тьмщици и нужда,
Тамъ—балове и наслажденья,
И честь, и свобода.
Кой знай? Ще се поправи другъ . . .
Споредъ закона може
Да вземете вече вторъ сжпругъ . . .

Княгинята.

Мълчете! Боже! Боже! . . .

Губернатора.

Да, откровенно ви говоря,
Върнете се у васъ.

Княгинята.

Благодаря, но що да сторя,
Священъ зове ме гласъ!

.
.
.
.

Не, въ тозъ изсѣченъ лѣсъ широки
Не ще ме привлечать,
Тамъ бѣха джбове високи,
Днесъ дѣнери стърчатъ!
Назадъ! въ тозъ край на клеветата
И злоби безъ предѣлъ?
Другарь тамъ нѣма по душата
На тозъ, що е прозрѣлъ! . . .

.
.
.

Да хвърля тозъ що ме е любилъ
И пакъ назадъ дома! . . .

Губернатора.

Но той защо ви е погубилъ?

Смислете се самá :
Кое къмъ него ви влече?

Княгината.

Млъкнете, генералъ!

Губернатора.

Юнашка кръвъ да не тече
У васъ — азъ би мълчалъ.
Но ако вий напредъ вървите,
Не чуйте моя гласъ,
Дано чрезъ гордостъ се спасите . . .
Земà той, знайте, васъ
Съ богатство и съ образование
Съ добра душа — и нà
Той безъ да мисли що ще стане
Съсь младата жена,
Увлеченъ съ призраци въ пустиня,
Въ затвора наиде миръ! . . .
А вий кат' клѣтница — робиня
Търчите отподиръ!

Княгинята.

Не съмъ азъ клѣтница — робиня
А руска съмъ жена!
При него неа да загина
Въ студената страна!
Но, ако той ме е оставилъ
И сбралъ се е съсь друга!
Но не, не ще е той забравилъ
Любимата супруга!
Отечественната любовь
Съперница е моя,
И да извърши подвигъ новъ
Ще му простя и тоя!

* *

Тя спрѣ. И стареца се взрялъ
И двамата стоятъ.
Ще кажете ли, генералъ
Да впрѣгатъ вече за пжтъ?
Безъ отговоръ на тозъ въпросъ,

Замисленъ като въ сѣнь,
Измѣра той набързо въ носъ:
«До-утрѣ» — и на вѣнь.

* *
*

На другий день пакъ сѣщо става,
Молби и убѣжденья,
Но генерала получава
Все сжщитѣ рѣшенья.
И кат' видѣ, че се напрасно
Старай да убѣди,
Той дълго важно и безгласно
По стаята ходи —
И най подирь каза: «Тогазь
Не мога ви спаси!
Но трѣбва да ви кажа азъ —
Закона тѣй гласи —
Че щомъ отидете въ Сибирь
Правата губите подирь!»
«Що губя?» — «Губите това:
Подписвате отказъ
Отъ ваш'тѣ величкитѣ права,
И трѣгвате тогазь!»
И той тържественно замлѣкна,
Но съ тази страшна рѣчь
Пакъ полза никакъ не измѣкна,
Отвѣта бѣ далечъ:
«У васъ коситѣ побѣлѣли,
Но вий сте още дѣте!
Правата наши отживѣли
Вий за права четете.
За мене нѣматъ тѣ значенье,
Вземете ги надирь!
И ще подиша отреченье!
И трѣгвамъ за Сибирь!

Губернатора.

Желайте да се отречете!
И васъ не ви е страхъ?
«Че вий тогазь отъ гладъ ще мрете,
Кат' всѣкой сирѣмахъ,

Вий трѣбва да се распростите
Съсь всичкитѣ нѣща,
Що би могли да насладите
Отъ вашия баща,
Богатство, звание и честь
Загубвате тогазь!
Не, помислете си вий днесъ, —
Ще дойда пакъ при васъ!

* *
*

Излѣзе. Цѣлъ день не видѣ го
Кога настъпи ноцъ
Княгинята трѣгна къмъ него
Тъжовна и безъ мошь.
Но въ стаята я непустнаха
Ужъ билъ се разболѣлъ. . . .
Петъ дни се отъ тогазь минаха;
И той, ужъ оздравѣлъ,
На шестий день яви се самъ
И казва ѿ съсь ядъ:
«Не мога да позволя вамъ
Конѣ да ви дадатъ!
Васъ по етапъ ще повлекатъ
Съ конвой. . . . »

Княгинята.

О, Боже, Боже,
Тѣй мѣсеци ще истекатъ
По този пѣтъ!

Губернатора.

Да, може
Въ Нерчинскъ на пролѣтъ, ако васъ.
Тозъ студъ не ви вдърви;
Едва ли четирь версти въ часъ
Сковавия върви;
Посрѣдъ деия почивать тий,
Стъмнѣй — спятъ всички въ купа.
Буранъ въ полето кат' завий
Съсь снѣгъ ще ги затрупа!
Да, бавно, — всѣкакво се случа,
Упадне нѣкой, слабъ. . . .

Княгинята.

Но не можахъ азъ да налуча,
Що значи туй етапъ?

Губернатора.

Съ етапъ престъпниците ходятъ
Сковани въвъ спиджирь,
Съ, оржне въ рѣцѣ ги водятъ
Казаци отиодирь ;
Но често тѣ се неудържатъ,
Избѣгватъ нѣкой пѣтъ,
Тогазъ съ рѣжета ги привържатъ
Единъ до другъ вържатъ!
По петстотинъ на куиъ отправятъ
По тозъ етапенъ редъ ;
Отъ всички до Нерчинскъ оставатъ
Едва едната третъ!
Изъ пѣтя мратъ като мухитѣ,
Особенно въ зимѣ . . .
И вий така ли да вървите?
Върнете се дома!

Княгинята.

О, не ! туй можахъ да очаквамъ . . .
Но вие сте . . . злодѣй !
Недѣля цѣла се протакамъ
Сърдцето му нѣмѣй !
Защо не казахте отъ рано ? . . .
Жестока сте душа ! . . .
Щомъ бжде партия събрана
Азъ трѣгвамъ съ тѣхъ пѣшѣ !

* * *

« Не, не ! ще трѣгнете съ фѣйтонъ ! »,
Извика стареца съ поклонъ
Съ рѣцѣ кат' се затули :
« Какъ азъ ви мжчихъ . . . Бѣдно дѣте ? »
(И на мустака, подъ рѣцѣтѣ,
Съза се прѣтъркули)
Простите ! дѣто мжчихъ васъ,
Но мжчихъ се и самъ,
Менъ бѣше даденъ строгъ приказъ

Да прета всѣкакъ вамъ!
Но мигарь азъ се не старахъ?
Не бѣхъ ли досга строгъ?
Предъ съвѣстѣта се оправдахъ
Свидѣтель ми е Богъ!
Съ тъмницитѣ и съсъ глада
И съ рудникския трапъ,
Съ позора, съ ужаса, съ труда
И съ пхтя по еганъ,
Да ви уплаша се старахъ,
Но не възбудихъ страхъ
Сега нѣкъ ако ще да падва
Главата ми подъ брадѣта
Не шж — каквото и да патя —
Да мжча подъ вечъ васъ. . . .
За три-дни тамъ ще ви испратя. . .
(Кито отвара вратѣта, вика):
«Ей, върѣгайте завчасъ! . . . »

Княгиня Волконская.

(1826—27)

I. II. III. IV. V.

.
Незная какво ме очаква напредъ!
Въ Нерчинскъ утрянъта азъ пристигнахъ,
Поглеждамъ—и ей Трубецкая отпредъ!
«Достигнахъ те, мила, достигнахъ!»
—Тъ сж въ Благодатскъ!—Азъ се хвърлихъ къмъ нея,
Безъ плачь неможахъ да утрая . . .
Дванайсетъ версти ме делятъ отъ Сергѣя,
И Катя съсъ менъ Трубецкая!

VI.

Тозъ, който й пхтувалъ саминъ по полето
Срѣдъ бури, съ тжга на сърдце,
Комуто случайно испрати небего
Другаринъ, познато лице,

Сазь той би усѣтилъ тукъ нашата радость.
— Ахъ, Маша, усѣщамъ умора!
«Потрай, мила Катя! И нашата младость
И дружбата ни е подпора!
И жребий единъ ни е свързалъ насъ вече,
Съдбата ни все е една,
Потока, кой твоего щастье увлѣче
И моето щастье грабна.
Изъ трудния пжтъ да вървиме безе скърбъ,
Тѣй както въ градини обилни
И кръста достойно да носимъ на гърбъ,
Да бждемъ съ сжюза си сили.
Какво сме изгубили? моля, кажи,
Тщеславье, бездѣйствие, покой! —
Ижтъ на добрини предъ назн лѣжи
За Божьи избранници й той-
На много мжжье унижени ще можемъ
Да бждемъ като утѣшенье,
Джелатитѣ съ кротость ще ги уталожимъ,
Страданията имъ съ търпѣнье.
На болни, на слаби ще бждемъ подпора
Въвъ тази тъмница проклега,
И нѣма сами да напустнемъ затвора,
Догдѣ не испълнимъ завѣта! . . .
Тазъ жертва е чиста. — ний вржчваме всичко
На Бога и наштѣ избрани,
И вѣрвай че нѣма препятствие единчко
Да срѣщнемъ изъ пжти желани . . . »

Природата съ свойтѣ борби уморена.—
Настана день мразенъ и ясенъ.
Свѣга подъ Нерчинскъ, пакъ огъ ново начена,
Но пжти съсъ сани й прекрасенъ . . .
За наштѣ ни казваше руссицъ единъ
(Казà ги поименно даже):
«Съ коньегѣ ги въ рудника возихъ самшицъ,
«Но само бѣ другъ екипажа.
«Съ шегн и съсъ смѣхъ тѣ минаха, а мжка
«Огъ тѣхъ ни единъ не испита
«Тукъ майка ми нита подаде ми въ ржа
«И азъ имъ дарихъ тази пига,

«Тъ двайсетъ копейки ми даватъ завчасъ,
«Не взехъ азъ, че кой ли ще вземе . . .»
Вече влѣзохме въ селото съ този разказъ:
«Госпѣжи! кждѣ ще се сиреме?»
— Началника гдѣ е—води ни въ затвора!
И тръгнахме въ туй направление.

Началника съ строгость почна разговора:
— Дойдохте — съ чие позволене?
«Въ Иркутскъ ни инструкция четоха намъ
И ни за Нерчинскъ назначиха.
— О, много си се позабавила тамъ!
«На копия! намъ я вржчиха. . .»
— Защо ми е копия? Не бива тѣй тука!
«На царско тогазъ позволене!»
Незнаеше той по французски азбука,
Не вѣрва ни, — смѣхъ и мжчене!
— Тукъ царя ѱ подписагъ саминъ: Николай!
Но той не жалай и да чува.
Въ Нерчинскъ книга писана нему подай,
А инакъ недѣй и хортува. . .
Азъ вскахъ да ида, но каза че самъ
Ще вземе тазъ кника за насъ.
— Наистина? . . . «Честна ви дума! А вамъ-
Свѣтнамъ ви сънь до тогазъ!»

И нази заведоха въ малка изба
Да минемъ до утрѣшний часъ.
Съ прозорець отъ слюда, безъ димна тржба
Колибата бѣше таквазъ,
Че азъ съсь глава до стѣзната допрѣхъ
А пѣкъ до вратата съ нозетѣ,
Но тѣзъ неудобства ни бѣха за смѣхъ,
Ний бѣхме съсь друго заети.
Сега наедно сме! И насъ не страшеше.
Ни мжа, ни грижа, ни злото.
Събудихъ се рано, а Катя оцъ спѣше,
Азъ тръгнахъ да ида въ селото.
Колиби таквизъ като нашата вѣхти
Стотина на низко стѣрчаха,
А ето и домъ кириничевъ съ решетки!

При него стражари стояха.
Изгнанцитѣ тукъ ли сж? — «Тръгнаха вече»
— Еждѣ? — «Да копаятъ!» — извика
Момченце едно, и съ дѣцата притече
Да каже кждѣ е рудника.
Да видя мъжа си по скоро търчахъ;
Той близу! Миналъ тукъ недавно!
— Вий виждате ли ги? дѣцата питахъ
— Да, често! какъ пѣять тѣ славно!
Вратцата сж тѣзъ, но незнаемъ да л' пускатъ?
Прощавай! . . .» Тръгнаха дѣцата-
И видѣхъ врата подъ земята се спускатъ,
Предъ тѣхъ се исправилъ солдата.
Студено изглеждаше тозъ часовой
Въ ржцѣтъ му сабля блѣстѣше.
Злато му предлагахъ, дѣчица, но той,
Пари да приеме нещѣше!
Вий искате скоро напредъ да раскажа,
Но друга се дума испуска
Сега изъ гърдитѣ ми. Искамъ да кажа
Сполай на тебъ нация руска!
По ижтя, въ изгнанье кждѣто ходихъ
Презъ всѣчкото каторжко врѣме
Народе! азъ бодро съсъ тебъ носихъ
Изгнаническото си брѣме.
Предъ твоейто сѣрдце съ състраданье нѣмѣя
Ти много си скърби видѣлъ,
Тамъ гдѣто съззи съмъ готова да лѣя
Ти твойтѣ си вече пролѣлъ! . . .
Ти, руский народе, нищастния любившъ!
Сродняватъ ни мъжитѣ наши.
> Въ затвора сибирский ти ще се погубишь!>
Говориа въ кръга ми бащинъ;
Но хора добри азъ намѣрихъ и тамъ
Въ тазъ степенъ на крайно паденье,
Кой както умѣе изсказваха намъ
Престѣпницитѣ уваженье;
И насъ съ Трубецкая ни срѣщаха съ радостъ-
И съ думи: «О! Ангели-божи!»
За наштѣ мъжъе ни предлагаха съ драгостъ
Да работять кой колко може;

Ти виждашъ престѣпникъ на мжки обречень
Полага ти скритомъ картофъ:
«Хапни си! горѣщъ е, сега е испечень!»
На всички услуги ѝ готовъ,
И днеска съ сълзи се лицето ми кваси
Кат' спомня за тази услуга,
Приймете поздрава ми, о, сиромася!
Поклонъ ви испращамъ отъ тука!
Труда си не жалеше никой отъ тѣхъ
За насъ да ни бжде въ подпора,
И никой да ни огорчи не видѣхъ
Отъ всички тѣзъ простички хора! . . .

За мойтѣ сълзи съжали се стражара,
Молѣхъ му се както на Бога!—
Свѣтлникъ запали и тайно ме вкара
Въвъ яма студена, дълбока,
Надолу се спущахъ азъ безъ да се спирамъ,
Стигнахъ корридоръ глухъ и тѣсенъ
Той бѣ съ стѣнала; ни душа не намирамъ;
Задушно, покрито съсъ плѣсенъ
И тихо вода се на долу сгруеше
И тамъ образуваше баря.
Прѣстѣта отъ стѣнитѣ се рони, — шумѣше
Кога се въ земята ударѣ;
И ями ужасни въ стѣнитѣ видѣхъ,
Като че ли нови пѣтеки
Отъ тамъ се начеватъ. Забравахъ азъ страхъ,
И припкатъ нозетѣ ми легки!
«Кждѣ, ей, кждѣ?» — силно нѣкой исхука,
Гласа кат' че бликна изъ адъ—
«Не е позволено за дамитѣ тука!
Назадъ се върнете, назадъ!»
Уви! туй дежурния тука е влѣзалъ
(Стражара отъ туй се боеше)
Крѣщеше той грозно кат' ме заблѣзалъ
И бързо къмъ менъ се стремеше . . .
Какво да се прави! азъ духнахъ фенеря
И въ мрака се пустинахъ безъ страхъ . . .
Но Господъ кат' иска и пѣтъ ми намѣря!
И чудя се, какъ не надидѣхъ,

И какъ ми се цѣла запази главата!
Сждбата ме спази. Посрѣдъ
Провали и ями съвсѣмъ въ тъмнината
Изведе ме Господь безъ вредъ.
И скоро стърѣхъ свѣтлинка въ тъмнинитѣ
Като че звѣздица блѣщюка . . .
И радостенъ викъ испустиха гърдитѣ:
«О, огънь!». Прикръстихъ се тука . . .
И шубата хвърлихъ . . . Къмъ огъня въ бѣгъ.
Се спустнахъ съ надѣждата на Бога;
Тѣй коня затжналъ въ вѣблатенъ трѣстакъ
Налита на суша съ тревога . . .

И почна да става по свѣтло отпредъ!
Азъ видѣхъ едно възвишене:
Тамъ сѣнки се мѣркатъ назадъ и напредъ . . .
Чуй . . . Чукать, копаятъ, движене . . .
И хора! да ли ще ме видятъ отъ тука?
Лицата се ясно показватъ,
И ето наблизю свѣщитѣ блѣщюкать.
Сѣтѹхъ се че ме заблѣзватъ . . .
Единъ мѣжду тѣхъ, който бѣше на края:
«Не ангелъ ли Божий?»—извика,
«О, гледайте, вижете!»—Но ний сме не въ рая,
На адъ по прилича рудника
Съсъ плѣсенъ покритъ,— му отвърнаха съ смѣхъ.
И бързо къмъ края тѣрчатъ,
И азъ съ бързина приближавамъ къмъ тѣхъ.
Очудени всички мълчатъ.

—Волконская! въ мигъ Трубецкой се провикна
(Узнахъ му гласа) Тѣ спустѹиха
По стълба на горѣ при тѣхъ да се вдигна.
Познати лица се явиха:
Сергѣй Трубецкой Артамонъ Муравьевъ,
Борисови, князь Оболенскій . . .
Тѣ спиятъ похвали на мойта любовъ,
На моятъ дързости женски.
Съзри по лицата имъ ясни течаха
Съгрѣни съ любовъ и участие . . .
Но гдѣ е Сергѣй?—«Ей сега го виднаха.

Дано не умрѣте отъ щастье !
Урока си свършва: три пуда руда
Копаемъ на день за Россія
И, виждате, насъ не съсиива труда !
И всички като въ веселiя
Шегуваха се, по лица имъ засмѣни
Азъ новѣсть печална четѣхъ.
(За менъ бѣше новостъ че сж оковани
И стрѣснахъ се кат' ги видѣхъ) . . .
Съ вѣвѣстие за Катя побързахъ тогазъ
Да успокоя Трубецкото ;
Писмата имъ бѣха при мене; тогчасъ
Съ поздравъ отъ приятели много
Побързахъ да имъ ги предамъ. Между туй
Въ трапа офицерина вика:
«Кой стѣлбата грабна?» — гласа му се чуй —
Нагледника гдѣ се затяка?
Госпожо! сиомнете си думигѣ мои,
Ще наднете! . . . Стѣлбата дойде,
Хей, скоро! (Но никой се не безпокой) . . .
Ще наднете и ще се кайте!
Спунетете се! Горѣ не стойте!» . . . Но кой,
Но кой ще го чуй . . . Ний напредъ . . .
Къмъ насъ притърчаха престъпници въ рой
И ни окржжиха отъвредъ.
Но всѣкой отстъпи, напредъ ми пхъ даде,
Носилки предлагетъ отъвредъ.
По пхтя видѣхме провали, грамади,
И хора копаяха вредъ.
И работа смѣсена съ звукъ отъ синжири,
И пѣсни — кипеше надъ бездна!
И вбиваше се за златото да дири
Въ земята лопата желѣзна;
Затворникъ натваренъ вървеше надъ яма
«Ей, тихо!» му казахъ неволно.
Тамъ нова пакъ мина копаятъ голѣма,
Тамъ хора се качваха волно,
По слаби подпорки едва прикрѣпени.
Каква бѣ тази смѣлостъ. Блѣщяха
Рудитѣ въ грамади самъ — тамъ наредени
И въ тѣхъ се метали лъщяха . . .

Тукъ нѣкой извика: «Той иде отъ срѣща!»
Повдигнахъ очи си завчасъ,
Добрѣ че не паднахъ, кат' трѣгнахъ насрѣща—
Знаяше яма предъ мѣсь.
«По тихо, по-тихо! За туй ли тогазь
Вий толкозь версти сте миннали —
Каза Трубецкой—че въ сетния часъ
Да сгинете въ тѣзи провади»
И ягко ме той за ржката държеше
«Не дай-Богъ да бѣхте паднали!»

Сергѣй ужъ побързва, по тихо вървеше.
Оковитѣ му зазвучали.
Замлъкнали всичкитѣ, нѣтъ му сториха
Работници всички и стража . . .
И ето очитѣ му въ мене се впиша,
Простира ржцетѣ си: «Маша!»
И сирѣ се като обезсиленъ за мигъ,
Двамина го тукъ поддържаха,
Ржцѣ му трѣперятъ. По-блѣдния ликъ
Сълзи изобилии течаха . . .
И звука на милия гласъ въвъ душа ми
Вдъхна подкрѣплене и радость;
Забравихъ заканващето на баща ми,
Забравихъ и мъжи и жалость.
И викнахъ му: «ида!» и спуснахъ се въ бѣгъ,
Кат' дръпнахъ ржката завчасъ.
По тѣсна дѣска надъ зляющий брѣгъ
Насрѣща на милия гласъ,
И той съсь усмивка на блѣдно лице
Ме срѣща съ очи въсхитено . . .
И азъ се затичахъ . . . И мойго сърдце
Испълни се съ чувство священо.
Сега, като чувахъ ужасния звукъ,
Що въ рудника мраченъ владѣй
Кат' видѣхъ окъви на моя супругъ,
Разбрахъ какъ той мъчно живѣй,
Разбрахъ че е силенъ . . . готовъ да пострада! . . .
Неволно паднахъ на колѣни,
Преди да цѣлуна мъжа си въ устата
Цѣлунахъ оковитѣ лѣни! . . .

И тихия ангелъ кат' че прехвърча
Въвъв рудника,—за мигновенье,
На всѣкждѣ грозния шумъ замълча,
Не вижда се нигдѣ движенье,
И чужди, и свои съ очи просълзени
Исправиха сж околь насъ,
Отъ хладни окови въ нозѣ вцѣпенени,
Не чуе се никакъвъ гласъ.
Въ въздуха поднетата брадва стоеше,
Не чуй се ни пѣсень, ни викъ . . .
И струваше се кат' че всѣкой дѣлеше
На срѣщата чудния мигъ!
И всичко въ святà твшина се погълна,
Печална бѣ тази тишина,
Съсъ нѣкакъвъ смисълъ тържествененъ пълна.—

Отъ мрачната дълбочина:
«Кжде се заврѣхте!»—чухъ викъ разяренъ.
Нагледника дойде този часъ:
«Излѣзте, госпожо! — казà просълзень—
Нарочно се крияхъ за васъ,
Сега си излѣзте. Азъ мога да трая,
Но вика началникъ отъ срѣща . . .»
И като че въ ада се спустнахъ отъ рай
И . . . туй бѣше моята срѣща!
И менъ офицера испсува по русски
Отдолу, предъ всичкитѣ хора,
Отгорѣ Сергей ми казà по французски:
«До вижданье, Маша—въ затвора! . . .»

А. Константиновъ.

ГРАФЪ ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ.

Отъ

Матю Арнолдъ.

(Прѣводъ отъ английски).

При разгледването, прѣди тридесетъ години, на първома обнародваниятъ забѣлжителенъ романъ на Густава Флобера „*Мадамъ Бовари*“, Сентъ-Бювъ забѣлзва, че у Флобера ние срѣщаме другъ способъ, другъ родъ вдъхновение, отъ оние които до тогава сж прѣобладавали; ние имаме работа, казва той, съ чловѣкъ отъ ново и различно поколѣние отъ романиститѣ, като Жоржъ Зандъ. Идеалтъ се прѣкротява, лирическата жилка прѣсхва; новитѣ хора се сж изцѣрили отъ лириката и идеалтъ; строга и безжалостна истина изстъпя напредъ, като послѣдня дума, дори въ самото искусство.» Характернитѣ черти на новата изящна литература сж «наука, духъ на наблюдение, зрѣлостъ, сила, рѣзки очертания.» *L'idéal a cessé; le Lyrique a tari.*

Духътъ на наблюдение и рѣзкитѣ очертания (нема да запазимъ тѣзи межки и безобидни термини) се проявиха въ Французскитѣ романъ твърдѣ на далечъ. Тѣ се проявиха тѣй на далечъ, щото въпрѣки изгодата, която французскитѣ языкъ, — като познатъ на образованитѣ классове навредъ, — доставя на французскитѣ романъ, — послѣднитѣ е изгубилъ за оние классове много отъ своята привлѣкательностъ; той не поглѣща вече тѣхното внимание, както по-прѣди. Прочутитѣ Английски романисти исчезнаха, безъ да оставятъ прѣемници съ слава, равна на тѣхната. Слѣдователно, не Английскитѣ романъ наслѣди оня почитъ, който изгуби французскитѣ романъ. Това нѣщо се пада на романтъ на една страна, нова за литературата и въ всѣкий случай незачитана отъ болшинството на читателитѣ до послѣдне врѣме: то е рускитѣ романъ. Рускитѣ романъ се ползова сега съ всеобщо уважение и почитъ, и заслужва това. Ако тѣзи нови литературни произведения удържатъ за себе си тоя почитъ и го усилатъ, ние ще трѣбва всички да се учимъ руски.

Славянската природа или въ всѣкий случай руската природа, както тя се показва въ рускитѣ романи, се струва да се отличава съ крайна чувствителностъ, съ най-живо и пронизателно съ-

знание, както на това, що става въ собствената душа на чело-
вѣкътъ, тѣй сжшо и на оноа, що другитѣ хора, които сж въ сно-
шения съ него, мислят и чувствувать. Въ единъ народъ, пълненъ
съ животъ, но младъ и скоро влѣзълъ въ сношения съ стара и мо-
гжществена цивилизация, тая чувствителность и самосъзнание сж
готови да се проявивать. У Американцитѣ, както и у Русситѣ,
ние видимъ, че тѣ се явяватъ въ висока степенъ. Тѣ често вълну-
ватъ и беспокоятъ оние, у които се срѣщатъ, но, ако имъ се даде
пълненъ просторъ, иматъ голѣма сила да прѣдизвикатъ и да обоба-
тятъ една литература. Но, както ни е известно, Американцитѣ сж
наклонни да се успокояватъ по способъ на мойгъ прѣзѣтель, пол-
ковникъ Хиггинсонъ изъ Бесгоуъ. «Какго прѣдполагамъ, природата
е казала прѣди нѣколко години: до сега Английското е моего най-
добро плѣме; но имаме вече досто Англичане; трѣбва ни нѣщо по-
нжргаво отъ Англичанитѣ; нека да изтъчимъ направата, дори съ
опасность при процесътъ. Вложила една капка по-вече первозна жид-
кость и създала Американцитѣ. Съ тая капка се откривать новъ
родъ надѣжди за челоуѣчкото плѣме и се е родалъ по-легко, по-
тънко и по-високо организиранъ типъ на челоуѣчество.» Хора, които
по такъвъ начинъ успокояватъ своего чувствително и дѣятелно са-
мосъзнание, може би, твърдѣ добрѣ могатъ да бждатъ по нжтътъ
къмъ голѣмо материално благосъстояние, къмъ голѣма политическа
сила; но тѣ надали сж на правийгъ нжтъ, койго води къмъ велика
литература, къмъ сериозно искусство.

Руссинтъ не утолява своята чувствителность по тоя начинъ.
Русскійгъ писателъ не кара природата да казва: «Русското е моего
най-добро плѣме.» Той намира облегчение за своята чувствителность
въ това, че дава пълна свобода на своитѣ въсприятия, и съ съ-
вършенна вѣрность записва тѣхнитѣ донесения. Искренностьта, съ
която се даватъ тие донесения, има въ себе си нѣщо юно и тро-
гателно. Въ романтъ, койго азъ искамъ тука да разгледамъ, нѣма
ни единъ рецъ, ни една черга, крѣято е турнага за да прославява
Руссия или да храни нейното щеславие; людие и характери се явя-
ватъ както ги е създала природата, и автортъ е погълнатъ да
гледа, какъ сж тѣ въ дѣйствителность — и ги описва. И тука
ние се срѣщаме съ условия, които въ висока степенъ сж благо-
приятни за произвождане на добра литература, на добро искусство.
Ние видимъ голѣма чувствителность, тънкость и проникателность
да се обращатъ съ пълно безкористие и простота къмъ прѣдставля-
ваниего на челоуѣчкитѣ животъ. Русскійгъ романистъ по та-
къвъ начинъ е споданинъ на една магия, прѣдъ която тайнитѣ на

человѣчката природа, — както на онова, що е външно, тъй и на онова, що е вътрѣшно, движения и навици, не по-малко мисли и чувства, — доброволно сами се откриватъ. Въшецтъ на литературата е поезията, и руситѣ до сега не сж имали великъ поетъ. Но въ оная литературна форма на въображение, която въ наши дни е най-популярна и най възможна, струва ми се, че Руситѣ въ настоящий моментъ държатъ, както би казалъ Гладстонъ, бойното поле. Тѣ имать велики романисти, и за едного отъ тѣхнитѣ велики романисти азъ желая да говоря тука.

Графъ Левъ Толстой е около шестдесетъ годишната си възраст и, казватъ, че той не щѣлъ по-вече да пише романи. Сега, той е заетъ съ религия и християнскій живоугъ. Неговитѣ съчинения по тие велики въпроси азъ намирамъ твърдѣ интересни, но неговийтъ романъ, *Анна Каренина*, ми се вижда още по-интересенъ. Азъ вѣрвамъ, че мнозина читатели прѣдпочитатъ прѣдъ *Анна Каренина* другъ великъ романъ на графъ Толстой, *Война и Миръ*. Но въ романтъ, азъ мисля, че человекъ прѣдпочита, щого романистъ да има работа съ живогъ, койго той знае, защото лачно го е прѣживвалъ, отъ колкого да въображава живогъ, койго той е изучалъ по книги или по слухъ. И за това азъ земамъ *Анна Каренина*, като романъ най-добрѣ прѣдставляющъ графа Толстой. Следъ като разгледамъ *Анна Каренина*, азъ ще трѣбва да кажа иѣщо и за религиознитѣ съчинения на графа Толстой.

Въ *Анна Каренина* има много характери, — твърдѣ много, ако гледаме на него като на творение на искусство, въ което дѣйствието трѣбва да бѣде строго единично и къмъ коего дѣйствие всичко трѣбва да се стреми. Тука има двѣ главни дѣйствия, които се простиратъ прѣзъ цѣлата книга, и ние постоянно прѣминуваме отъ едното отъ тѣхъ къмъ другогото — отъ дѣлата на Анна и Вронскій къмъ дѣлата на Китти и Левинъ. Други хора се явяватъ въ свръзка съ тие двѣ главни дѣйствия, на които появяването и постъжикитѣ ни най-малко не помагатъ на тѣхното развитие; въвождатъ се многочислени събития, отъ които ние очакваме, че ще докаратъ иѣщо важно, но то не се случва. Какво, наприимѣръ, помага епизодтъ — за приятелката на Китти, Варинка, и братътъ на Левина, Сергѣй Ивановичъ, тѣхната наклонность единъ къмъ другъ, и несполуката да се дойде до иѣщо, — на равнието или на характеритѣ, или съдѣлитѣ на Китти и Левина? Какво реално значение има бавението на Левина при отиванне въ черкова за вѣнчаванне, бавение, коего, богато го чегешъ, ни се струва да има важность? Излиза, че то иѣма положително никаква важность, и че е въведено

само за да даде на авторътъ удоволствие да ни разкаже, че всички ризи на Левина сж прибрали вече въ куфарътъ.

Истината, обаче, е, че ние не трѣбва да земаме *Анна Каренина* като произведение на искусство, но като частъ отъ животътъ. Дѣлъ отъ животътъ прѣдставлява тойзи романъ. Авторътъ не изобрѣтава и не съчетава, той го вижда; всичко това се върши прѣд неговото ржгрѣшно око и се върши по тоя начинъ. Ризитъ на Левина сж упаковани и той, слѣдователно, затъснява при вѣнчанието; Варинка и Сергѣй Ивановичъ се срѣщатъ въ селото у Левина и ходятъ наедно на расходка; Сергѣй билъ близу да направи прѣдложение, но не го направилъ. Авторътъ види всичко, както се то случавя — види го и слѣдователно, го прѣдава; и онова, което въ слѣдствие на това губи неговийтъ романъ, като искусство, той печели въ сжщността.

Защото тойзи е резултатътъ, който авторътъ довежда до край чрѣзъ своята извънредна тънкость на въсприятие и чрѣзъ своята искренна вѣрюость спрямо него; той произвожда въ насъ чувство на абсолютна реалность на неговитѣ личности и тѣхнитѣ постѣпки. Плѣщитѣ, гжстата кога и полузатворенитѣ очи на Анна; издигнатитѣ вѣжди, умерената усмивка и пуканнето на прѣстиаѣ на Алексѣя Каренина; покрититѣ съ легка влага очи на Стива — за насъ сж тѣи истински, както нѣкои отъ оние външни особености, които ние всѣкъдневно забѣлѣзваме въ нашийтѣ собствени кржгъ познати, когато пакъ вжтрѣшнийтъ человекъ на нашитъ познанияци, за щастие или злощастие, за насъ е много по недостъпенъ и по неясенъ, отъ колкото оня на създаванията на графъ Толстой.

Азъ ще говора само за нѣколко отъ тие създавня; главнитѣ личности, не по-вече. Книгата се почва съ «Стива», и оизи, който веднаждъ се е занозналъ съ Стива, може ли иѣбога да го забрави? Ние живѣемъ въ романътъ на графъ Толстой между знатнитѣ Московско и Петербурско общества, виснитѣ чиновници и управляющитѣ русски классове. Степанъ Аркадьевичъ — «Стива» — е князь Оболенскій и потомокъ на Рюрика, макаръ че да мислишъ за него инакъ, освѣтъ «Слиза», е мжчно. Неговийтъ засмѣнъ изгледъ, неговитѣ добри очи, неговото самодоволство, карало дори татаринътъ —слуга въ клуба весело да го разгледва; неговото наслаждение съ устрици и шампаня; неговата радость да прави хората чес иги и да имъ върши услуги; неговата нужда за пари; привързанността му къмъ Французската гувернантка; неговата сарѣбъ при скрѣбъта на жена му, неговата обичъ къмъ нея и къмъ дѣцата; неговото възненне и влажнитѣ му очи въ сжщо онова.

врѣме, когато той никакъ не се грижи да добие срѣдства за къщии разноски и за възпитание на дѣцата; и французската привязаностъ съ раскаяние, напустната днесъ само за да може угрѣ да се начене нѣкоя друга — не, разбира се, ние не можемъ никога забравяи Стива. Анна, героинята, е негова сестра. Жѣна му, Долли (тѣе Английски умалителни сж чести между госпожитѣ на графѣ Толстой) е дъщеря на князь и княгиня Щербацки, велможи, които ни показватъ висшето русско общество отъ неговата най-почтена страна; особено, князьтъ е прѣвѣсходень — простъ, разумень, дълбоко чувствующъ, человекъ съ достоинство и честь. Дъщеригѣ му, Долли и Китти, сж очарователни. Долли, жената на Стива, е жестоко оскърбена отъ свойгъ сжирургъ, пълна съ грижи за дѣцата, безъ пари за да харчи за тѣхъ и за себе си, бѣдно облѣчена, немощѣла, остарѣла безъ—врѣме. Тя има минути на отчаянии съмнѣния, дали подиръ всичко веселитѣ хора нѣматъ право, да ли добродѣтелята и началата иматъ значение, да ли щаснието не обитава у авантюристкитѣ и безпжтницитѣ, блѣскавитѣ и раскошно-облѣченитѣ авантюристкитѣ и безпжтници, въ единъ кжтъ, прѣгруппанъ съ рубли и шампаниа. Но слѣдъ единъ четвъртъ часъ тя пакъ дохожда на себе си, каквато си е — натура прѣка, честна, вѣрна, любяща, крѣпка до мозъкѣтъ на коститѣ; такѣва е тя и такѣва ще си остане; тя не може да бжде инаква. Въ сжщностъ, сестра ѣ, Китти, е отъ истий темпераментъ, но ней прѣдстоятъ още испитания, когато въ онова врѣме, въ което се захваща книгата, Долли е вече свършила свонгѣ. Китти е обожаема отъ Левина, въ когото, казватъ, има нѣкои черти изъ характерѣтъ и историята на самийгъ графѣ Толстой. Но рождение и по имотъ Левинъ принадлежи къмъ висшето свѣтско общество, но самъ той никакъ не е свѣтскый человекъ. Той е читателъ и мислителъ, има съвѣсть, общественъ духъ и желае да подобри положението на народѣтъ, той живѣе въ село, въ свойгъ имотъ и ревностно се защитава съ мѣстнитѣ работи, училища и земледѣлие. Но той е свѣтлинъ, наклонень да подозира и да се докача, малко нѣщо непрактиченъ, вжнь отъ своята сфера въ веселийгъ московскый свѣгъ. Китти го обича, но нейното въображение е пжнено отъ единъ блѣскавъ гвардеецъ, графѣ Вронскый, който самъ ѣ оказва внимание. Вронскый се оппсва за вжсь отъ Стива; той е единъ отъ най-изящнитѣ образци на Петербургската *Златна младежъ*; страшно богатъ, хубавецъ, флигель адютантъ на Императорѣтъ, съ голѣми свръзки, и при това твърдѣ милъ, добъръ момъкъ, и по-вече нѣщо отъ добъръ комъкъ, той е образованъ и твърдѣ умещъ, человекъ съ блѣ-

свава прѣднина. За да допълнимъ картината, трѣбва да се добави, че той е ягък, въ тридесетгодишната си възраст, лисъ на прѣдната частъ на главата, съ безукорни маниери, студ-нъ, спокоенъ, но малко високмѣренъ. Таково, може би, поне е първото впечатлѣние, впечатлѣние, което се продължава прѣзъ цѣлвйтъ първй томъ, но, както ще видимъ, той се исправя къмъ крайтъ.

Китти обезсърдчава Левина, който се оттеглява съ скръбъ и смущение. Но Вронскй самъ е увлѣченъ отъ Анна Каренина и прѣжсва своето внимание къмъ Китти. Впечатлѣнието, направено на нейното сърдце отъ Вронскй, не е дълбоко; но тя е тѣй огорчена отъ себе си, тѣй засрамена, тѣй покѣртена, щото се разболява, и докторитѣ я пращатъ на зимъ заедно съ родителитѣ ѝ задъ граница. Тукъ тя поправя здравнето си и душевното състояние, и въ сжщо крѣме отбръва, че нейната любовъ къмъ Левина е много-дълбока, отъ колкото е сама мислила, че тя е истинско чувство, сявно и трайно. Подиръ завращанието тѣ се срѣщатъ, тѣхнитѣ сърдца се съединяватъ и тѣ се женатъ, и въпрѣки своенравнето, раздражителността, неустойчивото душевно състояние на Левина, тѣ сж дълбоко честити. Та и кой ли можеше да не бжде честитъ съ Китти? Брзамъ азъ съ нетърпѣние да добвямъ. Героннитѣ на графъ Толстой сж тѣй живи и очарователни, щото чловѣкъ ги прѣема твърдѣ сериозно, макаръ тѣ и да сж фикции.

Но интерестъ на книгата се сърбдоточава въ Анна Каренина. Тя е сестра на Стива, задомера за единъ високъ чиновникъ въ Петербургъ, Алексй Каренинъ. Тя е задомена за него вече деветъ години, и има едно дѣте, момче, по име Серѣѣи. Бракътъ не ѝ принесълъ щастие, тя не намира въ него удовлетворение за своето сърдце и душа; тя чувствува, че нищо ѝ липсва и че е ссамотена; но тя е посветена на своето момче, заета, спокойна. Очарованието на нейната личность се чувствува прѣди още тя да се появи, още отъ оня моментъ, когато ние чуваме, че тя е повикана, като добъръ ангелъ, да примири Долли съ Стива. Послѣ тя пристига отъ Петербургъ въ Москва, и на станцията ние виждаме сави очи съ дълги клѣпки, грациозна походка, вѣжна, ласкара усмивка на свѣжитѣ ѝ устни, съдржана живостъ въ очаквание да изблвине, плѣнота на животъ, мекостъ, съединена съ сила, хармония, разцвѣтъ, очарование. Тя отива у Долли и съ голѣмъ тактъ и вѣжностъ извършва задачата на примирieto. На единъ багъ, нѣколко дни по-късно, къмъ красотата на Анна ние можемъ да добвимъ темни коси съ голѣмо количество дребни къдри надъ слѣпитѣ-очи и отзадъ надъ вратѣтъ, изваяни плѣщи, права шия и прѣкрасни

ржѣѣ. Тя е облѣчена въ дрѣхѣ отъ черно кадифе, редъ маргаритъ краси шията ѿ, вѣнецъ отъ темянуги ксвата, и другъ вѣнецъ отъ сжщи цвѣтя се сиуца по нейната рокля. Това е Анна Каренина.

Тя пѣтува отъ Петербургъ до Москва съ майката на Вронскій и го вижда на Московската станция, гдѣто той дохожда да посрѣщне майка си; тука тя е поразена отъ неговийтъ изгледъ и манери, трогната е отъ неговото поведенне въ случайтъ, който станалъ догдѣто тѣ още били на станцията, съ единъ сиромахъ-работнивь, смазанъ отъ тренътъ. На балътъ тя пакъ го срѣща; тя е омязана отъ него и той отъ нея. Тя отговаря на фантазията на Китти и отива на балъ съ цѣлъ да помогне на Китти; но Китти е забраена или поне занемарена; очарованието, което привлича Анна и Вронскій, е непрѣодолимо. Китти се намира насрѣщъ имъ въ единъ кадрилъ: —

‘Тя съгледа въ нея, тѣй добръ позната нѣй, черта на възбужденне отъ успѣхъ. Тя виждаше, че Анна е оноева отъ виното на възбуждаемото отъ нея възхищение. Тя знаеше тога чувство и познаваше неговийтъ признаци, и тѣхъ съглеждаше тя въ Анна, — виждаше какъ блѣстикъ то тѣлпваше, то пламваше въ нейнийтъ очи, какъ устниятъ ѿ неволно се прѣгъваха въ честита, възбудена усмивка, и виждаше невразимата грация, вѣрностъ и лекостъ на нейнийтъ движения.’

Анна се завраща въ Петербургъ, и въ сжщото врѣме и Вронскій се враща тамъ; тѣ се срѣшатъ изъ пѣтьтъ и се свиждатъ въ обществото, и Анна започва да намира свойтъ сжпругъ, който и по прѣди ѿ билъ несимпатиченъ, несесенъ. Алексѣй Каренинъ е много по-старъ отъ нея, бюрократъ, формалистъ, клѣтничъ; той има свѣсть, има въ него корень на добрина, но на повърхивната и догдѣто не е джабско възбуденъ, той е скученъ, педантиченъ, суетенъ, раздражителенъ. Промѣната въ Анна той ни най-малко не е въ състояние да разбере; той не вижда нищо, което въ подобенъ случай единъ мислящъ человекъ би видялъ, и не прави нищо, което единъ мислящъ человекъ щеше да направи. Анна се прѣдава на своята страсть къмъ Вронскій.

Азъ си приномвямъ, какъ Низаръ ми говореше въ Ecole Normale въ Парижъ прѣди нѣколко години, че той уважава Англичанетъ, защото сж народъ, който *знае да се стѣснява*, — народъ, който умѣе да се сдържа и да прѣминува чрѣзъ неприятното. Може би, въ славянската природа тая цѣнна способностъ малко нѣщо да личсва; на единъ силенъ импулъсъ тѣрдѣ често се гледа като на нѣщо неврѣодолимо, и тѣрдѣ малко като на нѣщо, на което може

да се противостои и на което трѣбва да се противостои, колкото мъчно и неприятно и да бѣде противостояването. Въ нашето висше общество съ неговитѣ удоволствия и расчужителностъ може до нѣкоя степенъ и да прѣобладавагъ рѣспуснага понятия; но изобщо единъ Английскій умъ ще остане зачуденъ отъ самитѣ страдания на Анна, че тя е тъй угнетена и безвъзвратно увлѣчена отъ своята страсть и че тя я счита, като че ли още отъ самото начало, като нѣщо, противъ което безнадежно е да се съпротивлява. И това азъ говоря безъ отношение къмъ нейниятъ любовникъ. Дарованията и изяществото на Вронскій надали го квалифицирагъ, може човекъ да си помисли, щото той да е прѣдмѣтъ на такъва една мѣгновена и силна страсть отъ страна на жена като Анна. Но въпросътъ не лѣжи тука. Нека да допустимъ, че тия страсти сж безразчетни; да допустимъ, че единъ мъжъ надали би отдалъ, може би, справедливостъ на ягкитѣ и прѣкрасенъ гвардеецъ и неговитѣ привлѣкателни качества. Но да бѣше Вронскій дори такъвъ любовникъ, като Алкивиадъ, пакъ че Анна, при нейнитѣ качества и оние обстоятелства, при които живѣе, не проявява ни надежда, нито най-малка мисль да обори своята страсть, да избѣгне отъ нейната злокобна власть — споредъ нашитѣ понатия ни се струва чудно и малко нѣщо диво.

Азъ правя това възражение, но трѣбва да добавя, че при все това пакъ очарованието отъ Анна остава за насъ прѣобладающе, че до крайтъ на животътъ ѝ, съ нейнитѣ погрѣшки, заблуждения, злощастия, все още впечатлѣнието отъ нейната широка, крѣпка, богата, великодушна, въсхитителна натура никога не ни оставя — тя удържа нашата симпатия, азъ мога почти да река, че тя удържа дори нашето уважение.

Да се повърнемъ къмъ разказътъ. Доста скоро бѣдната Анна започва да испытва истината, исказана доста отдавна отъ Мъдрецътъ, че «нѣтътъ на прѣстѣжниците е труденъ». Нейното вълиение при една конска скачка, гдѣто Вронскій е въ опасностъ, привлича вниманието на нейниятъ съпругъ и прѣдизвиква неговото мѣрнение. Той е рѣзвъкъ и прѣзрителенъ. Въ поривъ на страсть Анна обявява, че тя не е вече негова жена, че тя обича Вронскій, че принадлежи на Вронскій. Изпървомъ коравъ, формаленъ, жестокъ, мислящъ само за себе си, Каренинъ, който, както азъ вече казахъ, има съвѣсть, е трогнатъ отъ състрадание, когато мъченията на Анна достигатъ до тѣхнийтъ връхъ. Той се завраща при нея за да я намѣри съ токо-що родено дѣте, отъ нея и отъ Вронскій; любовникътъ въ къщата и Анна по видимоу умвраюца. Каренинъ ис-

казва думи на благопожелания и на прощение. Благородитѣ и побѣдоносни усилни го прѣобразуватъ, и всичко, което сжиругътъ печели въ очитѣ на Анна, нейниятъ любовникъ, Вронскій, губи. Вронскій доближава до лѣглото на Анна и стоящъ наредъ съ Каренина, закрива лицето си съ рѣцѣ. Анна му казва съ възбуденъ отъ трѣска гласъ :

„Открий си лицето, погледни на него. Той е светецъ, говореше тя. — Открий му, открий лицето. — Сърдито заприказва тя. — Алексѣй Александровичъ, открий му лицето! Азъ искамъ да го видя.

Алексѣй Александровичъ зима рѣцѣтѣ на Вронскій и ги отне отъ неговото лице, ужасно по изражението на мѣбата и срамътъ, които бѣха на него.

— Дай му рѣка. Прости го.

Алексѣй Александровичъ му подаде рѣка, безъ да удържа сълзитѣ си, които течеха изъ очитѣ му.

— Благодаря те, Боже, благодаря, — каза тя, — сега всичко е свършено. Само малко да си протегна краката. Ето тѣй, тѣй е хубаво. Колко безъ вкусъ сж направени тие цвѣта, никакъ не приличатъ на теменуга, — говореше тя, като сочеше хартиитѣ на стѣната. — Господи, Господи мой! Кога всичко това ще се свърши! Дайте ми морфинъ. Докгоре, дайте ми морфинъ! О, мой Боже! мой Боже!

Тя като че ли е на умряние, и Вронскій искача вѣнъ и стрѣля върху себе си. Въ обикновенелъ романъ тѣй щеше да се завърши разказътъ. Анна щеше да умре, Вронскій—да се самоубие, а Каренинъ щеше да прѣживѣе за да се наслаждава съ нашата симпатия и удивление. Но въ животътъ разказътъ не всѣкога се свършва тѣй, нито пакъ такъвъ край има романътъ на графъ Толстой. Анна се оправя отъ своята трѣска, Вронскій отъ своята рана. Аннината страсть къмъ Вронскій отново се пробужда, нейното стращение отъ Каренина се възвраща. Нито пакъ Каренинъ остава на оная височина, на която ние го видѣхме при сценага на прощението. Той е формаленъ, педантиченъ, раздражающъ. Уви! дори да не бѣше той всичко това, вѣроятно, неговото рѣше пез, неговитѣ издигнати вѣжди, неговото прашение съ прѣсги стигаха за достаточна предизвикване. Анна и Вронскій отиждуватъ заедно. Тѣ прѣстояватъ извѣстно врѣме въ Италия, после се завращатъ въ Руссия. Но нейното положение е лѣжовко, нейното беспокойство безпрѣстанно, и щастие е невъзможно за нея. Тя зема опшумъ всѣка нощъ и то пде да я убѣди, че никакъвъ макъ или мандрагоръ не

могатъ да ѝ възврънатъ оня сладъкъ стъпъ, съ който тя погрѣди се е наслаждавала. Ревностъ и раздражителностъ растатъ въ нея; тя мжчи Вронскій. тя мжчи себе си. При тие испитни, трѣбва да се каже, че Вронскій се води добръ и печели нашето уважение. Любовта му къмъ Анна се продължава; той постѣпя, споредъ нашата Английска фѣза, като джентелменъ; изобщо неговото търпѣние е примѣрно. Но и Анна, трѣбва да кажа, до край, при всичкитѣ си вълнения и злополучия, си е пакъ Анна, всѣкога съ вѣщо, което омайва, дори повече, съ вѣщо таково къ нейната натура, което утѣшава и прави добро. Обаче, животътъ ѝ става невзможенъ при съществуващитѣ условия. Едно малко геспоразумѣние докарва неизбѣжниятъ край. Следъ едно спрѣжване съ Анна, Вронскій замънава едно утро за въ село да види майка си; Анна го поканва съ телеграма веднага да се върне и получава отъ него отговоръ, че той не може да се завърне по-рано отъ десетъ часа вечерята. Тя го послѣдва изъ пѣтътъ къмъ майчиниятъ му имотъ, и на станцията чува вѣщо, което я кара да мисли, че той нѣма да се върне назадъ. Въ възтѣпленне на ревностъ и скръбъ, тя слиза отъ платформата и се хвърля подъ колелата на единъ товагенъ тренъ, който минавалъ покрай станцията. Тренътъ заминува — прѣкрасната глава остава непогжнатата, но всичко останало е смазано, безформенна масса. Кѣта Анна!

Ние се намираме между свѣтъ, който почти тъй също лоше се води, както и свѣтътъ на нѣкой Французскій романъ, изцѣло напоенъ съ „модерносъ“. Но има двѣ нѣща, по които русскійтъ романъ — въ всѣкий случай романътъ на графъ Толстой — твърдѣ възгодно се отличава отъ романътъ тъй сега на мода въ Франция. Най-наурѣдъ, въ него нѣма възтѣщено чувство, тягостно и лъжовно същеврѣменно. Насъ не каратъ напр. да вѣрваме, че страстта на Анна къмъ Вронскій чудесно я въздига и облагородява. По тоя начинъ Английскайтѣ читателъ е избавенъ отъ да не стене отъ пѣтърѣние. Другото нѣщо е още по-важно. Нашиятъ русскій романъ обилно се занимава съ прѣстѣжна страсть и прѣлюбодѣяние, но, по всячко, той не чувствува себе си задълженъ да прави услуга на богиня Сладострастие, нито пакъ да влага черти по заповѣдъ на тая богиня. Много въ *Анна Каренина* е мжчително, много е неприятно, но нѣма нищо, което да възнува чувствата или да се прави на още, които желаятъ да възнуватъ своитѣ чувства. Тойзи ядъ ствършено отсѣтства. Въ французскитѣ романи, гдѣто той тъй обилно се вѣстява, неговото гибелно дѣйствие съ това се не свѣршава. Бърнесъ много отдавна е забѣлжилъ съ дълбока истина

ностъ, че той *окаменява чувството*. Да се повърнемъ за минута къмъ мощниятъ романъ, за който говорихме въ почеткѣтъ, *Мадамъ Бовари*. Безъ съмнѣние въпросниятъ ядъ се проявява въ *Мадамъ Бовари*, макаръ че много въ по-малка степенъ отъ колкото въ по-речето французски романи, каквито всѣкой може да си докара на умъ. Но, съ тойзи ядъ, *Мадамъ Бовари* е дѣло на *окаменѣло чувство*; върху него виси атмосфера на ожесточение, прония, изнемошялостъ; въ книгата нѣма ни едно лице, което може да ни зарадва или утѣши; липсва избликъ на крѣпка сила и чувства за да се създадатъ такива личности. Емма Бовари въ нѣкои отношения върви по същата пѣтека, като оная на Анна, но гдѣ е въ Емма Бовари очарованието на Анна? Съкровищата на състрадание, нѣжностъ, дълбокъ погледъ, които едни, посредъ толкова вини и страдания, могатъ да дозволатъ да съществува и да се прояви очарование, липсватъ у Флобера. Той е жестокъ, съ жестокостта на окаменѣло чувство, спрямо своята бѣдна героиня; той я прѣсѣдва безъ милостъ и почивка, като че съ злоба; той самъ спрямо нея е по-коравъ, отъ колкото, азъ мисля, дори нѣкой читателъ е наклоненъ да бѣде.

Но кждѣ избликѣтъ на чувството е закаралъ графа Толстой, слѣдъ създаването на Анна прѣди десетъ или двѣнадесетъ години, ние сега ще да видимъ.

Трѣбва да се повърнемъ къмъ Константинъ Димитричъ Левинъ. Левинъ, както азъ по-рано казахъ, мисли. Между двадесетата и тридесетата си възраст, споредъ както самъ ни казва, той изгубилъ християнската вѣра, въ която билъ възпитанъ, загуба, пришеври на която днесъ сж изобилни навредъ, но която въ Руссия, както и въ Франция, между всички младежи отъ висшитѣ и образованни классове, е много по-обикновена, може би, по-всеобща и по-открита, нежели у насъ въ Англия. Левинъ възприелъ всички ходящи на около му научни доктрини; разговаря за организми, неунищожяемостъ на материята, запазване на силата, и съ другаритѣ си въ университетѣтъ е билъ на миѣнке, че религиата по-вече не съществува. Но той е сериозна натура, и питанието — що означава неговиятъ животъ, отъ кждѣ иде и на кждѣ се той стреми му се прѣдставлявало въ минути на кризисъ и на свръбъ съ невръждолима досадителностъ и, като не получава никаквъ отговоръ, мжчи го, кара го да мисли за самоубийство.

Двѣ нѣща, обаче, той забѣлѣжилъ. Едното било, че той и неговиятъ университетски другари грѣшили, като прѣдполагали, че, християнската вѣра не съществува вече; тѣ сж я изгубили, но тѣ

не сж цѣлийтъ свѣтъ. Левинъ наблюдава, че лицата, къмъ които той най-много е привързанъ, въ това число и жена му Кити, сж я спазили и получаватъ утѣшение отъ нея; че изобщо жинитѣ и почги цѣлийтъ русскій просгъ народъ я е спазилъ и добива утѣшение отъ нея. Другото било, че неговитѣ учени приятели, макаръ не обезпокоявани като него отъ запитвания върху значението на чловѣческиятъ животъ, не се обезпокоявали отъ подобни въпроси, не защото тѣ могли да дадатъ отговоръ на тѣхъ, по защото, заети умствено съ обсъждане теорията на клѣточката, еволюцията, неунищожяемостта на материята, запазването на силата и други такива, се задоволяватъ съ тие бесѣди, безъ да смущаватъ себе си съ издирване значението и прѣдмѣтъ на собствениятъ си животъ.

Понататкъ Левинъ забѣлѣзва, че той се не поддава да извърши самоубийство, че, напротивъ, живѣе въ имотѣтъ си, както е живѣлъ баща му прѣди него, оженилъ се за Кити и е възхитенъ, че му се родилъ синъ. При все това, той не е честитъ въ сжщностъ, нетърпѣливъ и безпокоенъ; неговото безпокойство наврѣмени достига до агония.

Въ единъ отъ такива мрачни дни той билъ въ полето съ своитѣ селяне, и единъ отъ тѣхъ въ отговоръ на въпроситѣ отъ страна на Левина, защо единъ арендаторъ въ известни случаи дѣйствува по чловѣчно отъ кѣлкото другий, казва: «хората не сж равни, единъ живѣе за свой коремъ, като Митюха, другъ за своята душа, помни Бога, като старийтъ Платонъ*».) — Що ти наричашъ, извиква Левинъ: «живѣе за душата си, помни Бога?» Селянинътъ отговорилъ: «известно какъ: да живѣеш по Божьи, по правда. Вие сами, напр. Константинъ Димитричъ, вие нѣма никога да докочите нѣкого.» Левинъ нищъ не отговорилъ, но се упѣтилъ къмъ дома си, и фразата *да живѣеш по Божьи, по правда* ечала въ ушитѣ му.

Слѣдъ това той си размислява, че е роденъ отъ родители, исповѣдващи това правило, както тѣхнитѣ родители сж го повѣдали прѣди тѣхъ; че той самъ го е добилъ съ мѣлката на майка си; че нѣкое чувство отъ него, нѣкоя сила и питание всѣкога е било съ него, макаръ той и да не го е съзиралъ; че ако е успѣлъ да успѣлива обязанноститъ си по своето положение, то е ставало съ тайната помощъ, внушаема отъ това правило; че, ако

*) Име обикновенно между простийтъ Русскій народъ.

Бѣл. на австрл.

въ минути на отчаяние, безпокойство и агония, когато е билъ тласканъ къмъ самоубийство, не е извършилъ самоубийство, то е, защото това правило мълчаливо му е помогнало да изпълнява обязанноститѣ си до извѣстна степенъ и му е давало поддръжка въ животътъ, и слѣдователно, и щастие.

Тѣзи думи му даватъ нѣщо като посока, която той не трѣбва да изгубва изъ прѣдвидъ и по която отъ сега трѣбва да слѣдва съ пълно съзнание и ревностно старание. Той вижда, какъ неговитѣ племенници разливатъ единъ у другъ своето млѣко и какъ Долли имъ се скарва за това. Той казва въ себе си, че тѣзи дѣца прехосватъ своята храна, защото не сж я сами спечелили и не знаятъ нейната стойностъ, и вътрѣшно извиква: «Азъ, единъ християнинъ, възпитанъ въ вѣрата, мойтъ животъ прѣиспълненъ съ благодѣянията на християнството, живѣющъ съ твѣ благодѣяния, безъ самъ това да съзнавамъ, азъ, като тие дѣца, се мжчехъ да разнебита онова, което е създадо и устроило мойтъ животъ.» И тогава той почувствова въ себе си, ясно и точно, че онова, което има да прави, е да *бжде добръ*; той «възвалъ къмъ *Него*.» Що отъ това ще послѣдва?

«Азъ пакъ ще се карамъ на мойтъ кочияшинъ, Иванъ, пакъ не у време ше си исказвамъ мислитѣ, пакъ ще има стѣна между светилището на моята душа и онова на другитѣ; дори и на моята жена, пакъ ще я обвинявамъ за моитѣ стракове и послѣ ще се раскайвамъ, пакъ нѣма да разбирамъ съ разумътъ, защо се моля и ще се моля, — но мойтъ животъ сега, цѣлийтъ мой животъ, независимо отъ всичко, което може съ мене да се случи всѣка минута — не само не е безсмисленъ, както бѣше по-прѣди, но има несъмнѣненъ смисълъ на добро, който смисълъ е въ рѣцѣтъ ми да вложа въ него!»

Съ тѣзи думи се свършва романтъ *Анна Каренина*. Но въ религиознитѣ испитания на Левина, графъ Толстой разказва своитѣ собствени, и тая история се продължава въ три автобиографически съчинения: *Исповѣдь*, *Въ що се състой моята вѣра*, *Какво трѣбва да се работи*. Нашиятъ авторъ прѣдизвѣстява, че понататъкъ има да се явятъ двѣ голѣми съчинения, върху които той е проработилъ шестъ години: едно — критика върху догматическата теология, другото — новъ прѣводъ на Четиритѣ Евангелія съ негови собствени тълкувания. Резултатитѣ, за които той претендира, че е успѣлъ да достигне въ тѣзи съчинения, достаточни, обаче, се обозначаватъ въ тритѣ обнародовани вече книги, които токо-що споменахъ.

Тие автобиографически томове показватъ сжщата извънредна проицателностъ, сжщата съвършенна искренностъ, които се явяватъ и въ неговийгъ романъ. Като автобиография тѣ прѣдставляватъ дълбокъ интересъ и, освѣнъ това, сж цѣлни съ остроумни и плодотворни бѣлѣжки. Азъ говорихъ за изгодитѣ, които русскийгъ гений владѣе за литература на въображение. Може би, за библейски изслѣдвания за критика на религията и пейингѣ намегници изгодитѣ да сж по-вече отъ страната на старитѣ народи на Западъ. Тѣ трѣбва да иматъ по голѣма оитностъ, ширнина на знание, търнѣливостъ, трезвенностъ, които се изпскватъ за тие изслѣдвания; тѣ, вѣроятно, могатъ да бждатъ не толкова стремителни, не толкова расцалени.

Графъ Толстой гледа на станалата въ него прѣзъ послѣднитѣ шесть години промѣна, гледа на своитѣ нови издирвания и идеи, които е добилъ чрѣзъ тѣхъ, като на епоха въ свойгъ живогъ и то отъ капитална важностъ :

«Прѣди петъ години азъ повѣрвахъ въ ученето на Христа и цѣлийгъ мой животъ изведнаждъ се промѣни. Азъ прѣстанахъ да желая онова, което по-прѣди желяехъ, и почнахъ да желая онова, което по-прѣди не желяехъ. Онова, което по-прѣди ми се струваше добро, ми се показа лошо, а онова, което ми се струваше лошо, показа ми се добро».

Романтъ *Анна Каренина* принадлежи къмъ миналото на графъ Толстой, което той е оставилъ отдрѣ си; неговитѣ нови изучения и съчинения, основани на тѣхъ, сж важни; въ тѣхъ се говори за свѣтлина и за спасение. Обаче, азъ се одързостоявамъ да израза моето съмнѣние, дали тѣзи съчинения съдържатъ, като влогъ за дѣлото на религията и за установяванието на иегнискыйгъ духъ и послание на Христа, по вече отъ онова, което е казано или указано отъ графъ Толстой въ *Анна Каренина*, по поводъ на душевната история на Левина. Подигнатитѣ точки въ тая история се разпиватъ и усилаватъ; тука се срѣща изобилно и удивително проявление на знание на чловѣческата природа, проицателенъ погледъ, безстрашна искренностъ, остроумие, сарказмъ, краснорѣчие, стилъ. И при това, ние имаме точна автобиография на чловѣкъ, не само интересенъ по своята душа, и талантъ, но високо интересенъ тъй сжщо и по своята националностъ, положение и способъ на неговата дѣяталностъ. Но касателно свѣтлината и спасението въ християнската религия, азъ мисла, че ние тука не сме по близу отъ колкото въ историята на Левина. Азъ трѣбва да добавя, че

всичко онова, което се срѣща въ тая история, е отъ висока важностъ и цѣнностъ. Да видимъ до колко то се расширява.

Азъ ще бѣда общъ и краткъ; нито границитѣ, нито пакъ моята цѣль ми позволяватъ да увождамъ нѣща абстрактни. Та и въ философията на графъ Толстой има твърдѣ малко, което да е абстрактно и сухо. Идеята на *животъ* е неговата господствующа идея при изучаването и установяването на религията. Той говори съ нетърпение за Апостолъ Павла, като за изворъ, наедно съ Църковнитѣ Отци и Реформатори, на оная църковна теология, която е започнала същественото и е побъркала правилно да се прѣдставява Христовото Евангелие. Обаче, изрѣчението на Апостола Павла «заколотъ на духътъ на животъ въ Исуса Христа ме освобождава отъ закѣптъ на грѣхъ и смъртъ» съставлява адката и основата на Толстовската теология. Правственъ животъ е Божий даръ, е Богъ, истинскій животъ, това естество съ Бога, къмъ което се стремимъ, ние достигаемъ чрѣзъ Христа. Ние постигаме това чрѣзъ единение съ Христа, като възприемемъ неговъ животъ. Истинността на това учение се доказва за насъ чрѣзъ живогътъ въ Бога, което се добива чрѣзъ Христа, тъй като нашата природа чувствува това и се стреми къмъ него, чрѣзъ прѣдпазване отъ нещастие, ако ние се отдалечимъ отъ него, чрѣзъ санкция на щастие, ако ние го намеримъ. Отъ приобщенето на насъ, въ всѣкъ случай, къмъ духътъ на животъ, насъ, които сме родени помежду християнскій свѣтъ, ние влизаме въ съприкосновение, съзнателно или безсзнателно, съ християнството, това е истинската основа. Въпросъ, надъ която църквитѣ сж разнесли толкова много трудъ и врѣме—въпросъ върху Троицата, върху божественото естество на Христа, върху произхождението на Св. Духъ, не сж жизнени; жизнено е учението за приобщението къмъ духътъ на животъ.

По мое мнѣние, здраво и спасително е това учение. То въ значителна степенъ може да бѣде извлѣчено отъ онова, което графъ Толстой ни е вече далъ въ романитъ *Анна Каренина*. Но, безъ съмнѣние, то много повече е развито въ специалнитѣ съчинения, които сж излѣзли отъ-послѣ. Нѣкои отъ тия добавления, азъ трѣбва да повтора, иматъ заблѣжителна сила, интересъ, цѣнностъ. Въ *Анна Каренина* ние узнахме за скептицизмътъ на горнитѣ и образовани классове въ Русия. Но каква реалностъ се предава чрѣзъ таквъ единъ анекдотъ, като слѣдующийтъ, земень изъ *Исповѣдта* :

«Азъ помна, че когато бѣхъ на единадесетъ години, у насъ една недѣля дойде едно момче, което се учеше въ гимназия и сега

вече отдавна умрѣло, и ни обяви, на брата ми и мене, като послѣдния повинна, като откритие, направено въ гимназията. Това откритие състоеше въ това, че Богъ нѣмало, и че всичко, което ни учатъ за Него, било измислица?.

Графъ Толстой се докосва въ *Анна Каренина* до несполуката на науката да отговори на чловѣка, въ какво се сѣстои неговийтъ животъ. Нѣколко силни черти той добавя и въ своитѣ послѣдни съчинения:

«Всичко се развива, всичко върви съ усложнение и усвършенствование, и има закони, които ржководятъ тоя вървежъ. Ти си часть на цѣлото. Като разберешъ, до колкото е възможно, цѣлото и като разберешъ законътъ на развитието, ти ще познаешъ, както твсето мѣсто въ това цѣло; тѣй и себе си.

Колкото и да ми е съвѣстно да се призная, но имаше врѣме, когато азъ се задоволявахъ съ таквъ отговоръ».

Но людитѣ на науката могатъ да се утѣшатъ, като чуютъ, че графъ Толстой не по добръ се относи и къмъ литераторитѣ, макаръ че самъ той е литераторъ:

«Взгледътъ на тие хора, мои другари по писание, върху животътъ състоеше въ това, че пзобио животътъ върви развивающе се, и че въ това развитие главното участие премеаме ние. людие на мисълта, а изъ людиего на мисълта главното влияние имае ние — художници, поети. Нашето призвание е да поучаваме хората. А за да не може да ми се прѣдстави она въпросъ: «Що азъ зная и какво ще уча» — въ теорията бѣше ми разяснено, че това и не трѣбва да се знае, и че художникътъ и поетътъ учатъ безсѣзнателно. Азъ мнцувахъ за чудесенъ художникъ и поетъ, и за това естественио ми бѣше да обгеба тая теория. Азъ — художникъ, поетъ — пишехъ, учехъ, безъ самъ да зная що. За това ми плащаха пари, у мене имаше прѣкрасно ястие, жилище, жени, общество, имахъ *слава*. Слѣдователно, онова, което учехъ, бѣше добро. Тая вѣра въ значението на поезията и развитието на животътъ бѣше ревгия и азъ бѣхъ еднатъ отъ нейнитѣ жреци. А да бждешь жрецъ е и изгодно, и приятно. И азъ дълго врѣме живѣхъ въ тая вѣра, безъ да се съмнѣвамъ въ нейната истинностъ».

Послѣдователитѣ на тая литературна и научна вѣра не сж многобройни, това е вѣрно, въ сравнение съ массата на народътъ, а массата на народътъ, както заблѣзва Левинъ, намира още утѣшение въ старата религия на християнството; но за массата на народътъ нашитѣ литературни и научни учители нѣматъ понятие. Подобно на Соломона и Шопенхауера, тѣзи госнода, и «обществото»

наедно съ тѣхъ, сж много наклонни да кажатъ, че животътъ по-диръ всичко е суета: но тѣ всички не знаятъ другъ животъ, освѣнъ свойтъ собственъ.

«Мене се струваше, че онзи малъкъ кръгъ учени, богати, праздни хора, къмъ които принадлежехъ и азъ, съставляватъ цѣлото чловѣчество, и че милиардитѣ други хора, които сж живѣяли и още живѣятъ, въ сжщностъ не сж хора, а добичета. Колкото непонятно и да ми се струва това сега, че при разгледвание животътъ азъ съмъ можалъ да пропусна животътъ, който ме е окръжавалъ отъ вси страни, животътъ на чловѣчеството; какъ съмъ можалъ до толкова смѣшно да се заблуждавамъ, щото да мисла, че мойтъ животъ, онзи на Соломоновци и Шопенхауеровци, е истинский нормаленъ животъ, а животътъ на милиардитѣ нѣма никакво значение — колкото чудно това сега и да ми се вижда, то бѣше тѣй».

И това претенциозно меншинство, което нарича себе си «общество», «свѣтъ», на което само собствениитѣ му животъ, животътъ на «свѣтътъ» се струва единствено достоенъ да носи името животъ, е всецѣло нещастно! Нашиитѣ авторъ го намира такъва по собственъ опитъ:

«Гь мойтъ живтъ, извъредно чествтъ отъ свѣтска гледна точка, азъ мога да изброя такъва количество страдания прѣтърпѣни заради «свѣтътъ», щото тѣ би били достаточни да създадатъ единъ мъченикъ за Христа. Всички най-мъчителни случаи въ мойтъ животъ, като почнешъ отъ оргии и дуели въ мойтъ студентски дни, войнитѣ, въ които съмъ приемалъ участие, болесѣта, ненормалнитѣ и неносни условия, въ които сега живѣя—всичко това не е друго, освѣнъ мъченичество, прѣтърпѣвано въ името на доктрината на свѣтътъ. Да, и азъ говора за мойтъ собственъ животъ, извъредно честитъ отъ свѣтска гледна точка.

Нека всѣкой искренъ чловѣкъ прѣгледа собствениитѣ си животъ и тѣй не заблѣжи, че никога, ни веднаждъ, не е пострадалъ отъ упражняване учението на Христа; главната часть на страданията въ животътъ му проистичатъ само отъ това, че той се е увлѣгълъ, противно на своята склонность, отъ омаитѣ на свѣтската доктрина».

Отъ друга страна, проститѣ, болшинствата, които сж извънъ отъ тие омаи, сж сравнително задоволни:

«Въ противоположность на онова, което виждахъ въ нашиитѣ кръгъ, гдѣто е възможенъ животъ безъ вѣра, и гдѣто изъ хилядата надали единъ се признава за вѣрующъ, въ тѣхната срѣда надали има единъ невѣрующъ на хиляди. Въ противоположность на

онова, което виждахъ въ нашиятъ кръгъ, гдѣто цѣлиятъ животъ минува въ бездѣлие, забавления и незадоволство отъ животътъ, азъ виждахъ, че цѣлиятъ животъ на тие хора минува въ тежъкъ трудъ, и тѣ биваха задоволни отъ животътъ. Въ противоположностъ на онова, че хората отъ нашиятъ кръгъ се противеха и негодуваха на сждбата за лишенията и страданията, тие хора срѣщаха болеститѣ, гореститѣ безъ всѣкакво недоразумѣние, противение, и съ спокойна и твърда увѣренность, че всичко тъй трѣбва да е и не може да бѣде иначе, че всичко това е добро².

Всичко това, обаче, не е освѣнъ развитие, по нѣкогажъ неочаквано, по всѣкога мощно и интересно, на онова, което видѣхме въ страницитѣ на *Анна Каренина*. И подобно на Левина въ тоя романъ, графъ Толстой е билъ тласканъ отъ тая вжтрѣшна борба и страдания, твърдѣ близу до самоубийство. Новото въ послѣднитѣ книги е спасението и прѣлагаемиятъ цѣръ. Левинъ приелъ едно приврѣменно рѣшение за оние затруднения, които го налѣгали, той живѣлъ праведно, тъй да се рече, повинувалъ се на своята съвѣсть, но безъ да се пита, до колко всички негови дѣйствия сж свързани едно съ друго и до колко тѣ сж послѣдователни :

«Той даде пари на единъ селянинъ за да го избави отъ клѣщитѣ на лихварьтъ, но не щя да опрости или да почака исплащанieto на наемната плата; той строго наказваше оние, които крадатъ дърва въ неговата гора, но не земаше глоба за добитъкътъ, който влиза въ нивитѣ му; той не заплати на онзи работникъ, който отишелъ дома си всрѣдъ жатва, защото умрѣлъ баща му, по той поддържаше и плащаше на старитѣ, не способенъ къмъ работа слуги. Левинъ знаеше тъй сжщо, че като се върне дома, най-напрѣдъ ще трѣбва да иде при жена си, която била болна, а селянетѣ, които го чакаха вече три часа, могатъ още да почакатъ; и знаеше, че, въпрѣки на онова удоволствие, което той усѣщаше при туренне на новъ роякъ, той трѣбвало да се лиши отъ това удоволствие и, като остави старецътъ самъ да тури роякътъ, да отиде да тълкува съ селянетѣ, които го завариха на пчелиникътъ».

Отъ тогава графъ Толстой е напрѣдналъ къмъ едно много по-опрѣдѣлено и строго правило на животъ, — както той мисли положителното учение на Христа. Опрѣдѣлението и распространението на това правило е новината въ неговитѣ послѣдни стъчениния. Той извлича това сжщественно учение или правило на Христа отъ Нагорната Проловѣдъ и го прѣдставлява въ единъ редъ заповѣди — Христови заповѣди; той казва, че то е ядката на Новиятъ Зевѣтъ, както Десетътѣ Заповѣди сж ядката на Стариятъ. Тие ве-

личайши заповѣди на Христа сж „заповѣди за миръ“ и на брой сж петъ. Първата заповѣдъ е: „Живѣй въ миръ съ всички хора; не се огнасяй къмъ никого като къмъ прѣзрѣнъ и по-доленъ отъ тебе. Не само не си позволявай да се гнѣвиши, но не се успокоявай догдѣто не разсѣбеш дори неразумниятъ гнѣвъ на други противъ тебе“. Втората е: «Нито прѣлюбодѣяние, нито разводъ; нека всѣкой мъжъ има една жена и всѣка жена единъ съпружъ». Третата: «Никога подъ никакъвъ прѣдлогъ не давай каквато и да е служба на клѣтва; всички такива клѣтви се налагатъ съ лоша цѣль». Четвъртата: «Никога не употрѣблявай сила противъ злосторникътъ; прѣнасяй каквото зло и да ти е направено, безъ да се съпротивляваш на злосторникътъ или да се стараеш да бѣде той наказанъ». Петата и послѣдняя: «Отречи се отъ всѣкакво национално различие; не допушай, щото хора отъ друга народност да бѣдатъ нѣкога третираны като врагове; люби всички хора еднакво, като еднакво близки на тебе; прави добро на всички еднакво».

Ако тие петъ заповѣди биха се строго пазили, казва графъ Толстой, всички хора щѣха да станатъ братя. Безъ друго, днешното общество, въ което живѣемъ, трѣбва да се измѣни и разруши. Трѣбва да се откажемъ отъ войски и войни, както и отъ сѣдилища, полиция, собственост. И каквото и да правятъ останалитѣ отъ насъ, графъ Толстой самъ поне иска да изпълнява своята длѣжност и да слѣдва заповѣдитѣ на Христа искрено. Той се е отрекълъ отъ свойтъ санъ, служба, притѣжанье и добива свойгъ хлѣбъ чрезъ трудътъ на собственитѣ си рѣцѣ. „Азъ вѣрвамъ въ заповѣдитѣ на Христа, казва той, и тая вѣра измѣни моята цѣль прѣдишна оцѣнка, що е добро и велико, лошо и ниско въ човѣческиятъ животъ». Въ настоящемъ: —

„Всичко, което по-прѣди ми се струваше лошо и ниско — простотата на селянинтъ, грубото му жилище; храна, облѣкло, обноси — всичко това стана добро и велико въ моитѣ очи. Сега азъ нѣма да се стремя къмъ нищо, което ме възвисява външно надъ другитѣ, което ме отдѣля отъ тѣхъ. Азъ не мога като по-прѣди да признавамъ, било за себе си, било за други, други звания, чиновне и наименования, освѣнъ име и звание на човѣкъ; не мога да търся слава и похвала; не мога да диря такива знания, които ме отдѣлятъ отъ другитѣ хора. Азъ не мога да не удържа въ моето съществуване, жилище, храна и въ моитѣ обноси спрямо хората всичко, което на мѣсто да ме отдѣля отъ массата на човѣчеството, само ме сближава съ нея».

Каквото друго и да имаме или да нѣмаме въ графъ Толстой,

ние поне имахме една велика душа и великъ писателъ. Въ неговитѣ Библейски издирвания, въ критиката, чрѣзъ която той извлѣча и възсъздава неговитѣ петъ заповѣди на Христа, които трѣбна да бждатъ правилото за нашия животъ, наедно съ многото, което е проицателно и мощно, азъ намирамъ много, което подлѣжи още на обсъждане. Но азъ нѣмамъ нищо врѣме, нищо пакъ наклонность да критикувамъ тука неговитѣ издирвания. Сгодно за критикуване врѣме ще настѣпни, когато се появять «двѣтъ голѣми същшения», които той приготвява.

За сега азъ се ограничавамъ съ единствена критика само— съ обща критика. Християнството не може да бжде събрано въ какъвто и да е редъ заповѣди. Както азъ другадѣ съмъ се произнесълъ, тѣй сжщо и други сж казвали: «Християнството е единъ изворъ; никаква частъ вода и расхладяване, което промстича отъ него, не може да се нарече — суммата на християнството. Ще бжде погрѣшка, и можемъ много да се заблудимъ, ако прѣдставимъ нѣкой редъ правила, дори оние на Нагорната Проповѣдъ, като послѣдня сума и формула, въ която може да бжде сведено християнството».

И причината главно лѣжи въ характерътъ на Основателътъ на Християнството и въ природата на неговитѣ изрѣчения. Не помалко важно отъ даденото отъ Христа учение е *правътъ* на Неговиятъ дарователъ, — неговата благость, разсѣдителность. Гете го нарича *мечтателъ*, фанатикъ; но той по-право можеше да бжде нареченъ оппортунистъ. Но той е оппортунистъ въ противоположна смисълъ на оние, които въ политиката, на своята «дива и мечтателна търговия» на неискренность, даватъ това име. Тѣ тласкатъ или ослабятъ, настояватъ или отстъпятъ, както прилѣга най-добрѣ, за да се обезначатъ интереситѣ на тѣхното самовъзвеличаване и на тѣхната партия. Исусъ ималъ въ прѣдвидъ само «правилото на Господа, на истината». Но това се достига чрѣзъ чаканне, тѣй сжщо както и съ бързо върснене напрѣдъ, и често се достига по-добрѣ,

Графъ Толстой правилно гледа, че както и да мислятъ имотнитѣ и заможитѣ класове, свѣтътъ, отъ когато се е появилъ Исусъ Христосъ, е рѣшенъ; «една нова земя» е въ ожидание. Тя е била всѣкога въ ожидание у Христа, трѣбна всѣкога да бжде въ ожидание и у неговитѣ послѣдователи. И идеалътъ въ ожидание трѣбва да се реализира. «Ако вие знаете тѣзи нѣща, честити сте вие, ако вие ги извършите». Но тѣ трѣбва да бждатъ изпълнени чрѣзъ една велика, широкораспространена и дълговрѣменна промѣна, и чрѣзъ промѣна, която трѣбва да се започне съ вътрѣшнийтъ человекъ. Най-важитѣ и плодотворнитѣ изрѣчения на Христа, слѣдователно,

не сж нѣща, които могат да бждат начертани като таблица отъ корани и съвършено външни заповѣди, но нѣщата, които съдържатъ най-много душа въ себе си; защото тѣ могатъ най-добрѣ да проникнатъ въ нашата душа, да работатъ тамъ, да си създадатъ влияние, да образуватъ навици на поведение и да подготвятъ бждущето. По тая причина блаженствата сж по-полезни, нежели изрѣченіята, отъ които графъ Толстой е сградилъ своигѣ петъ заповѣди. Истинската тайна на Исуса, «Оня, който обича своигѣ животъ, ще го изгуби, оня, който изгуби своигѣ животъ, ще го спаси», не ни дава заповѣдъ, която да бжде приета и слѣдвана буквално, но идея, която да проникне въ нашигѣ умъ и душа, и тукъ е отъ нешчерпаема цѣнностъ.

Иисусъ даваше данъ на управлението и обѣждане съ митари, макаръ че нито римската империя, нито високитѣ иудейски финансови чиновници не бѣха съвмѣстими съ неговийгѣ идеалъ и съ «новата земя», която най-напоконъ тоя идеалъ трѣбва да създаде. Може би, приврѣменното рѣшение на Левина, въ едно общество, като нашето, да е по-близу «до празилото на Бога, на истината», нежели рѣзкото рѣшение, което относлѣ графъ Толстой е усвоилъ за себе си. То, сгруна се, да е разчитано да бжде по-полезно. Азъ не зная какъ е въ Руссия, но въ едно Английско село намѣренето на «нашигѣ кръгъ» да добива хлѣбъ съ собственитѣ си ржцѣ, ще произведе само смущение, не братска любовъ, между онова «большинство», което вече по тоя начинъ си добива храната. „При сегашното положение на работитѣ има достаточнo отъ нашитѣ да ни конкурриратъ», могатъ да рекатъ градинаритѣ, дърводѣлцитѣ и ковачитѣ; «обърнете се къмъ вашитѣ статии, поезия и безмислицы; ако се заловите наедно съ насъ за ржченъ трудъ, вие ще огнемете хлѣбътъ отъ устата ни».

И тъй азъ дохождамъ до заключение, че графъ Толстой не е направилъ добрѣ, гдѣто е оставилъ дѣлото на поетъ и артистъ, и че той може съ голѣма целза да се повърне къмъ него. Но каквото той и да прави въ бждущето, дѣлото, което е вече извършилъ, и неговото дѣло по релягията, както и по литературата на въображението, е по-вече отъ достаточнo за да го отбѣлѣжатъ като единъ отъ най-личнитѣ, интересни и смѣтатично-вдъхновляющи хора въ наше врѣме — чесгъ, азъ мога да кажа, на Руссия, макаръ че той ни забранява да обръщаме внимание на националностъ.

ДЕКЕМВРИЙ 25-Й

Декемврий двадесетъ и петий —
Не тъй бездушно ти звучеше
Въ дѣтинскитѣ ми дни напѣти,
Не тъй студенъ, безжизненъ бѣше.

Тогасъ на чувства свѣтли, ранни,
На радости носителъ бѣше;
Ти бѣше гостъ многожеланны
И *когда* се ти зовеше.

Какъ нашитѣ гърди тупяхъ
Отъ драгостъ и надежди чудни
Когато распусть ни дадахъ
Въвъ честь на твоя приходъ мудни!

Ний чакахме съсъ трепетъ таенъ,
За коледуванье готови,
И погледъ хвърляхме омаянъ
Въвъ нашитѣ прѣмѣни нови.

И тѣпчахме сиѣга, смързнали,
Съсъ шаренитѣ чизми нови,
И гледахме съ въсторгъ—остали
Слѣди отъ нашитѣ тамъ подкови!

И вѣчеръ дор' да сложатъ хляба,
Край огня сѣднали редомъ,
Ний слушахме съ внимание баба,
Като ни пѣйеше: *ой колѣдо*.

И старешката пейна пѣсень
Звучеше чудно на сърдцата,
И благодать и миръ небесень
Разливахъ се по лицата.

Ревтъ предсмъртний на шопаря
Души ни радваше тревожно
И съ гръмъ зовеше къмъ олтаря
Тогасъ клепалото набожно.

И гаче туй бѣ химнѣ небесенѣ,
Кой сѣйше радость по земята,
И въ мирѣ по хубавѣ, по-чудесенѣ
Въздигаше умѣтъ, сѣрдцата. . . .

Исчезна тая дѣтска вяра
И тая чиста радость въ мене,
И на години тѣ токара
Донесе ми едно сумнѣнье!

И срѣщамъ тозъ день святъ, — безчувственъ,
Кат' тазъ безчувственна природа,
Като парадъ студенъ, искусственъ,
И смѣшенъ, като стара мода. . . .

Не буди той въ менѣ мисль свята,
Що сгрѣвала е вѣковѣтъ,
И той за менѣ е проста дата:
Декември двадесетъ и петъ.
1881.

ИСКРА

Не все толкосъ страсти,
И ниски, и високи,
Сждбата ми испрати
Въ каприза си жестоки.

Не само зарадъ мъжи,
За празни потрясенья
Въ грѣдитъ ми се трупатъ
Тезъ вихри разячени.

Кога да е плодѣтъ имъ
Внезапно ще узрѣе,
Въвъ слово бодро, силно,
Въвъ искра, дѣто грѣе.

И тя ще падне въ нѣкой
Гърди, кат' ледъ заспали. . . .
И тазъ случайна искра
Пожаръ ще тамъ запали.

Май 1883

ИЗЪ ПАТЪТЪ.

Отъ Гюи де Мопассанъ.

(Преводъ отъ Французски).

I

Вагонътъ бѣше пълень още отъ Каннъ; разговаряха се, защото всички бѣха се запознали. Къ гато минаваха Тарасконъ, нѣкой се обади: «Ето тука убиватъ». И захванаха да си приказватъ върху таинствениннѣтъ и неуловимъ убийца, който отъ двѣ години наамъ, си приподнася, отъ врѣме на врѣме, живогътъ на по единъ ржтникъ. Всѣкой правеше прѣдположения, всѣкой си даваше миѣннето; женитѣ растрецерани поглеждаха тъмнага нощъ задъ стьклата съ страхъ да не би да видятъ ненадѣино появяваннето на нѣкой чедовѣческа глава на вратата. И всички се заловиха да разказватъ страшни истории за зли срѣщи, за оставанне на-самъ съ лудъ по куриерскитѣ тренове, за цѣли часове прѣкарани на срѣщѣ нѣкое подозрително лице.

Всѣкой знаеше по единъ анекдотъ въ своя честь, всѣкому се било случило да сплани, смаже или върже по нѣкой злосторникъ при удивителни обстоятелства, съ извъредно присѣствие на уха и чудесна смѣлость. Единъ докторъ, който всѣка зима прѣкареше на Югъ, тѣй сжщо поиска да раскаже за едно приключение:

— Азъ, почна той, никога не съмъ ималъ случай да впитамъ моята хрѣбрость въ подобно дѣло; но познавахъ една жена, моя клиентка, днесъ за днесъ вече умрѣла, на която бѣ се случило най-чудното нѣщо на свѣгътъ, а тѣй сжщо и най-таинственико и най-трогателното.

Тя бѣше рускиня, графиня Мария Баранова, високопоставена дама отъ поразителна хубость. Все знаете колко Рускинитѣ сж прѣкрасни съ тѣхнийтъ тѣнъкъ носъ, тѣхнитѣ деликатни уста, тѣхнитѣ сближени очи, отъ неопрѣдѣленъ цвѣгъ, синьо-сивъ, съ тѣхната студена и малко нѣщо тежка грация! Тѣ иматъ вѣщо злобно и увлѣкателно, гордо и кротко, нѣжно и строго, съврѣнно омайно за единъ французинъ. Въ сжщность, може би, само разлгата на плѣмето и на тишгътъ да ме кара да съглеждамъ въ тѣхъ толкова нѣща.

Нейнийтъ докторъ, отъ нѣколко години, заблѣжнлъ, е я

заплашва гърдна болестъ и се мъчилъ да я склони да дойде на югъ въ Франция; но тя упорито се отказвала да напусгне Пегербургъ. Най-послѣ, миналата есенъ, като я отсжилъ за загубена, той прѣдупрѣдилъ мъжътъ ѝ, който незабавно заповѣдалъ на жена си да замине за Ментонъ.

Тя се качва въ тренътъ, сама въ вагонъ, нейнитѣ слуги сѣднали въ друго отдѣление. Натъжена тя се исправя у вратата и гледа какъ се мѣркатъ отпрѣдъ ѝ поля и села, усѣща се осамотена. изоставена въ животътъ, безъ дѣца, почти безъ роднини, съ единъ мъжъ, чиято любовъ вече угаснала, и койго я захвърлил тѣй на край свѣта, безъ да я съпроводи, както пращатъ въ болница единъ боленъ слуга.

На всѣка станция, слугата ѝ Иванъ дохожда да пита, дали не трѣбва нищо на неговата господарка. Той билъ единъ старъ слуга, слѣпо привързанъ, готовъ да изпълни всички заповѣди, каквито тя и да би му дала.

Настъпна нощъ, тренътъ лѣти съ всичката си скоростъ. Тя не може да заспи, раздражена, развълнувана до крайностъ. Веднага дохожда ѝ мисль да прѣброи паритѣ, които мъжътъ ѝ прѣдалъ послѣдната минута, въ французско злато. Тя отваря своята малка чанта и испразва на колѣнѣтъ си лъскавиятъ потокъ мегаль,

Но отведнаждъ хладна струя въздухъ я ударва въ лице. Зачудена, тя дига глава. Вратата е отворена. Графиня Мария слисана мѣта единъ шалъ връхъ пръснатитѣ по роклята ѝ пари и чака. Минуватъ се нѣколко секунди, сѣгитъ се явява единъ чловѣкъ, гологлавъ, раненъ въ ржка, запъхгълъ, облѣченъ като за вечеринка. Той затваря вратата, сѣда, гледа на своята съсѣдка съ блѣстящи очи, послѣ обвива съ кърпа ржката си, отъ която течало кръвъ.

Младата жена усѣща че пада въ несвѣсть отъ страхъ. Безъ друго тойзи чловѣкъ е видѣлъ, че тя брои пари и е дошелъ да я убие и обере.

Той все продължава упорито да я гледа, съ ускорено диханне, съ лице искривено, готовъ безъ всѣко съмнѣние да се нахвърляна нея.

Изведнаждъ той ѝ казва:

— Госпожо, недѣйте се страхува!

Тя не отговаря нищо, неспособна да отвори уста, чува само биеенето на сърдцего си и шумъ въ ушитѣ.

Той слѣдва:

— Азъ не съмъ злосторникъ, госпожо.

Тя все продължава да мълчи, но отъ едно неволно движение,

което тя направя, колѣнѣтъ ѝ се облизаватъ, и златото почева да се сипе на келимѣтъ, подобно както тече вода изъ трѣба.

Зачуденъ чловѣкътъ гледа тойзи потокъ металъ и се навожда да го събира.

Тя уплашена става, като хвърля на земя всѣщото си богатство и се завтича къмъ вратата за да екскне на пѣтя. Но той разбралъ, какво тя се готви да прави, спуща се, грабва я въ рѣцѣ, силомъ я турва да сѣдне и като я удържа: «Слушайте, госпожо, азъ не съмъ злосторникъ, и за доказателство, сега ще събера вашитѣ пари и ще ви ги дамъ. Но азъ съмъ чловѣкъ загубенъ, чловѣкъ мъртавъ, ако вие не ми помогнете да мина границата. Азъ не мога по-рече да ви кажа. Подиръ единъ часъ вие ще бждемъ на послѣдната руска станция; слѣдъ единъ часъ и двадесетъ минути вие ще прѣминемъ прѣдѣлитъ на империята. Ако не ми помогнете, азъ съмъ загубенъ. Макаръ, госпожо, че азъ нито съмъ убилю, нито открадналъ, нито пакъ съмъ извършилъ нѣщо противно на честята. Въ това ви се закѣвамъ. Не мога по-вече да ви говора.

И като станалъ на колѣнѣ, той събралъ златото, като се во-виралъ дори подъ лавицѣтъ за да намѣри послѣднитѣ търкуленн надалечъ монети. Послѣ, когато малката мешинена чанта се напълнила отново, той я подалъ на съсѣдката си, безъ да добави дума, и се повърналъ та сѣдналъ въ другийтъ кѣтъ на вагонѣтъ.

Тѣ вече не мръднали ни единия, ни другата. Тя останала неподвижна, нѣма, още примааѣла отъ ужастъ, но легка по легка се успокоила. Що се касас до него, той не направилъ ни единъ жестъ, ни едно движение, стоялъ правъ, съ очи вторачени отпрѣдъ си, толкова блѣденъ, като че ли билъ мъртвецъ. Отъ врѣме на врѣме тя мѣтала къмъ него бързъ, потуленъ погледъ. Той билъ чловѣкъ отъ около тридесетъ години, хубавецъ, съ всичка вънкашность на благороденъ мжжъ.

Тренѣтъ се носилъ въ мракѣтъ, изригалъ въ нощта своитѣ раздирателни викове, на-врѣмени забавялъ своитъ ходъ, сѣтиѣ отново трѣгвалъ съ пълната си бързина. Но скоро той умврилъ своитъ вървежъ, изсвирилъ нѣколко пѣти и спрялъ съвршенно.

Иванъ се появилъ на вратата за да получи заповѣди.

Графиня Мария, съ растреперанъ гласъ, погледва още веднаждъ своигъ чуденъ съжжгникъ, послѣ продумва на слугата си повелително:

— Иване, ти ще се завърнешъ при графа, азъ нѣмамъ вече нужда отъ тебе.

Человѣкътъ, изненаданъ, широко си растворя очитѣ. Той прошушва :

— Но . . . господарко.

Тя го прѣкъсва :

— Не, ти нѣма да дойдешъ съ мене, азъ си мѣнихъ рѣшението. Азъ желая, щото ти да останешъ въ Руссия. На, ето пари за възвръщаніе. Дай ми твоята шапка и кожухъ.

Старийтъ слуга, уплашенъ, смжква си шапката и протега своята дрѣха, послушенъ винаги безъ да отвърне, навикналъ да се покорява на ненадѣйнитѣ прищевки и непрѣодолимитѣ каприци на господаритѣ. И се отдалечилъ съ съзи на очи.

Треньтъ тръгналъ припускающе се къмъ границата.

Тогава графиня Марія рекла на свойтъ съсъдъ :

— Тѣзи нѣща сж за васъ, господине, вие сте Иванъ, мой служителъ. Азъ полагамъ само едно условие за онова, което правя: вие нѣма никога да ми говорите, нѣма да ми продумате ни една дума, нито за да ми благодарите, нито за какво и да би било.

Непознатийтъ се покланя безъ да произнесе рѣчь.

Скоро треньтъ спира отново и чиновници въ униформа влизатъ вжтрѣ. Графинята имъ протега своитѣ хартии и, като имъ сочи человѣкътъ, сѣдящъ на дѣното на нейнийтъ вагонъ :

— Това е мойтъ слуга Иванъ, ето неговий паспортъ.

Треньтъ се пуца въ пжтъ.

Прѣзъ цѣлата нощъ, тѣ оставатъ на самѣ, и двамината нѣми.

Настава утро, когато се задрѣли на една германска станция, неизвѣстнийтъ слѣзва ; послѣ застаналъ у братата :

— Простете, гспожо, че прѣкършвамъ даденото обѣщаніе ; но понеже азъ ви липнихъ отъ вашій слуга, справедливостта изисква, щото да заема мѣстото му. Не се ли нуждавате въ нѣщо ?

Тя студено отговаря :

— Идете повикайте моята слугиня.

Той изпълнилъ това. Сѣтнѣ исчезналъ.

Когато слизала въ нѣкой буфетъ, тя го забѣлѣзвала, че я гледа отъ далечъ. И тѣй пристигатъ въ Ментонъ.

II.

Доктортъ се умълча на единъ мигъ, послѣ продължи :

— Единъ день, когато приемахъ болнитѣ си, въ стаята ми влѣзе единъ високъ момѣкъ, който ми рече :

— Докторе, азъ ида да ви питамъ касателно графиня Марія

Баранова. Азъ съмъ, ако тя никакъ и да ме не познава, приятелъ на мъжътъ ѝ.

Азъ отговорихъ :

— Тя е загубена, тя нѣма да се върне въ Руссия.

И тоя челоуѣкъ захвана на часѣтъ съ гласъ да плаче, послѣ стана и излѣзе като се прѣбиаваше като пиянь.

Сжщата вечеръ азъ прѣдурѣдихъ графинята, че единъ чужденецъ идва да ме пита за нейното здравие. Тя ми се видя развълнувана и ми разказа цѣлата история, която сега ви приказвамъ.

Тя добави :

— Тойзи челоуѣкъ, когото азъ никакъ не познавамъ, сега постоянно мя слѣди като сѣнка; азъ го срѣщамъ всѣкой нѣтъ, когато излизамъ; той ме гледа по единъ чуденъ начинъ, но никога не е приказвалъ съ мене.

Тя се умисли, сѣтнѣ продума :

— Ето и сега, азъ се обзалагамъ, че той е подъ моятѣ прозорци.

Тя стана отъ свойтъ дълъгъ столъ, отиде да дръпне завѣситѣ и наистина ми посочи сжщо она челоуѣкъ, който бѣ идвалъ у мене; той бѣ сѣдналъ на една лавица въ градината, съ очи дигнати горѣ, къмъ хотелтъ. Той ни видя, стана и се отдалечи безъ да повърне глава ни веднаждъ.

И тѣй азъ бѣхъ свидѣтель на едно поразително и мжчително нѣщо, на нѣмата любовь на тие двѣ сжщества, която никакъ не се познаваха.

Той я обичаше съ привързанность на едно избавено, признателно и прѣдадено до смъртъ животно. Той дохождаше всѣкой день да пита: «Какъ е тя?», отъ като разбра, че азъ го отгатнахъ. И ужасно плачеше, като виждаше, че отъ день на день тя минува чрѣзъ градината все по-слаба и по-блѣда.

Тя ми говореше :

— Азъ само единъ нѣтъ приказвахъ съ тоя чуденъ челоуѣкъ, а струва ми се, че го познавамъ отъ двадесетъ години.

И когато тѣ се срѣщаха, тя отговаряше на неговото поздравление съ една важна и прѣкрасна усмивка. Азъ усѣцахъ, че тя е честита, тя тѣй изоставена, и която съзнаваше, че е загубена; азъ усѣцахъ, че тя е честита, гдѣто я обичать съ такъвъ почитъ и постоянство, съ такъва прѣвеличена поезия и прѣданность, готови на всичко. И пакъ вѣрна на своята упоритость на една екзалтирана, тя безнаждно оказваше да го приеме, да знае неговото име, да говори съ него. Тя думаше: «Не, не, то ще развали на-

шето чудно приятелство. Ние трѣбва да останемъ чужди единъ на другъ.

Що се отnosi до него, безъ друго и той бѣше тѣй ежщо единъ видъ Донъ Кихотъ, защото не направи нищо за да се сближи съ нея. Той искаше да удържи до край безсмисленното обѣщание — да не ѝ говори никога, — дадено въ вагонътъ.

Често, прѣзъ нейнитѣ тежки часове на безсилне, тя ставаше отъ дългийтъ си столъ и отиваше да полуотвърѣхне завѣсата за да види, да ли той е тамъ, подъ нейнийтъ прозорець. И когато го съзрѣше, винаги неподвиженъ на своята лавица, тя отново се връщаше въмъ лѣглото съ усмивка на уста.

Тя умря една заранъ, къмъ десетъ часа.

Като излизахъ изъ хотелътъ, той се доближи до мене съ искривено отъ страдание лице; той знаеше вече новината.

— Азъ бихъ искалъ да я видя за единъ мигъ, въ ваше присѣствие, каза той.

Азъ го хванахъ за ръка и го въведохъ въ кѣщи.

Когато се исправи до лѣглото на покойната, той ѝ грабна ръката и я цѣлуна съ една бесконечна цѣлувка, послѣ избѣга като безуменъ.

Докторътъ отново мълкна, и послѣ пое;

— Ето най-чудното приключение по желѣзница, което азъ зная. Трѣбва да прибавя още, че и мъжътъ по нѣкога биватъ смѣшни безумци.

Една жена се обади съ нискъкъ гласъ:

— Тѣзи двѣ същества сж били по-малко луди отъ колкото вие мислите. . . . Тѣ сж били . . . тѣ сж били. . . .

Но тя не можа да продължи, толкова силно заплака. Понеже мѣнниха разговорътъ за да я успокоятъ, никой не узна, що тя искаше да каже,

КАРТИНИ ИЗЪ ЖИВОГА НИ.

Мъничка и невзрачна е рѣчицата Бистрица, но за това пакъ бистрата ѝ като сълза вода никога не прѣсхва. Тя се извива като змия и гдѣто мише прави чудеса: високитѣ каменисти рѣтове, които тя прѣсича, сж покрити съ непреходими шумащи, на много мѣста, гдѣто мѣстото е стръмно и непристъпно, има дори и високи гори, а пакъ полетата, прѣзъ които минава, сж покрити съ вѣчно-зеленѣщи се ливади и ниви. Безбройни стада пасжтъ въ долината ѝ. — Прѣзъ много села минава, много воденици и тепавици кара и много градини и бахчи поѣ съ студената си вода тази мъничка рѣчица. Често по брѣговетѣ ѝ се срѣщатъ такива мѣста, на които не може да се нагледа човѣкъ, нѣ най хубавото отъ тѣхъ е близо до селото М***. Бистрица минава прѣзъ срѣдата на това село. Щомъ излѣзе изъ него, тя тече право на югъ, а сѣтиѣ завива постепенно на сѣверъ, като обгръща едно мѣсто около стотина дюлюма и образува отъ него нѣщо като полуостровъ. И двата брѣга на рѣката тукъ сж обрасли съ върби, на които чуруликать цѣль день несмѣтно число немирници — врабци. На полуострова растжтъ приволно нѣколко трепетлики. Три отъ тѣхъ растжтъ почти на срѣдата на полуострова. Тѣ като че ли нарочно сж се навели една къмъ друга и сѣканѣ че си шжпнжтъ съ вѣчно шумолящитѣ си листа. Малко настрана отъ тѣхъ стои осамотено многовѣковенъ клончастъ дѣбъ, който се брои отъ жителитѣ на селото М*** за священо дърво, защото, казватъ, нѣкогажъ било светено подъ сѣнката му масло и поповетѣ пробили въ него дупка и налѣли отъ светеното масло. Цѣлия полуостровъ, благодарение на влагата и прохладата, които владѣжтъ тамъ, е покритъ съ кидифавъ килимъ отъ зелена морава. Туку до рѣката се виждатъ основитѣ на воденицата, които е съборена и разорена въ врѣме на освободителната война. Надъ самитѣ основи ка воденицата се е навела угрижено една грамадна расклонена трепетлика, бѣло зеленкавата кора на която е служила като работш на нѣкои отъ мливаритѣ, а за други отъ тѣхъ, които сж умѣли да четжтъ и пишжтъ, е била мѣсто, на което сж мислили да увѣковѣжтъ имената си, като сж изрѣзвали дълбоко началнитѣ имъ букви. Всички букви и рѣзки сж се разрасли сега до грамадни размѣри и сж се распукали по всевъзможни направления. Налѣво отъ воденичнитѣ основи, до самата рѣка, се бѣлѣжтъ че-

тиритѣ стѣни на изгорената двуетажна кула, въ която живѣеше до войната Ибраимъ ага, притежателятъ на полуострова и воденицата, която грохотеше неумълкаемо и денемъ и нощемъ.

Мнозина отъ селенетѣ погледвахъ искриво на това мѣсто. Всекому се искаше да го купи. Някои вече сж бѣхж опитвали да го пазарятъ съ Ибраимъ-аговия сятъ, Сулейманъ, който бѣше дошелъ наскорѣ и бѣше обявилъ, че распродава всички си недвижими имущества. Всички обаче съзнавахж, даже и самия Сулейманъ ага, че само единъ отъ жителитѣ на селото М*** има право, като шефия, да купи това мѣсто.

1.

Лѣтня вечерь. Слънцето вече залѣзе. Пена, Николовата жена набързо прѣмете и позѣ прѣдъ вратата на къщата. Сега тя се суети вжщи около огъня, гдѣто се вари гостба. Тя бърза ли-бърза, защото приближава врѣме да си дойджтъ работницитѣ отъ нивата. Тя цѣлъ день бѣ жѣнала заедно съ другитѣ и прѣди малко си бѣ дошла да сготви вечеря. — Прѣдъ вратата, на язлѣка, ако можемъ нарече тѣй мѣстото подъ стрѣхата на къщата, гдѣто сижтъ нощемъ селенетѣ лѣтно врѣме, кога вали дѣждъ, сѣди мѣничко годниче дѣтенце и ломоти нѣщо, като бърка съ дървена лѣжица въ една жълта прѣстена паница, въ която майка му е сипала мляко да се залѣгва, догдѣто тя сготви. То се мѣчи да приказва съ голѣмото рунтаво куче, което лока отъ сжщата паница мляко. Дѣтенцето доброволно раздѣля яденето си съ чучето, нѣ послѣднето, напарено отъ човѣшкитѣ добрини, все се страхува, гледа недовѣрчиво и щомъ вдигне дѣтенцето лѣжицата, то се сисва дори до земята, исписква едва чуто, отдрѣнва се назадъ, а послѣ пакъ се приближава и лока отъ паницата. — Цона, тринадесетъ — годишната Николова дѣщеря, прѣгърбена отъ тежестъта на пълнитѣ съ вода мѣнци, прѣмина прѣзъ двора, влѣзих вжщи, окачи мѣницитѣ на вбититѣ въ стѣнната дървени колове, турнж въ единия отъ тѣхъ дървенъ кутелъ, извади изъ лѣжичника нѣколко дървени лѣжици, задигнж и дървената сиция, излѣзих изъ вратата и захванж да слага. Слѣдъ малко Пена се подаде на вратата съ доста голѣмъ чърпъ котелъ и отиде при синията. Тя вдигнж котела и го истърси на синията. На послѣдната се образува цѣла могила топълъ качемакъ. Дѣтето заплака, нѣ Пена не обърна на него никакво внимание — нѣмаше врѣме кога да го гали — и се завърнж вжщи. Слѣдъ малко вратата се отвори и на двора влѣзохж двѣ жола, на които сѣдехж нѣколко дѣтца. Прѣдъ колата вървѣха трима

мжъе. Единъ отъ тѣхъ, Никола, 45 — годишенъ човѣкъ отиде направо къдѣ къщата, а другитѣ се завзежъ да распрѣгъжъ воловетѣ и да свалятъ дѣцата отъ колата. — Щомъ чу гълчавата, Пена изнесе една голѣма паница съ гостба и ѝ сложи на синията.

— Хайдете, събрайте се, извика Никола и сѣднѣ край синията.

Единъ по единъ се събрахъ и насѣдахъ всички. Въдвори се мъртва тишина, която се нарушаваше само отъ звуковетѣ, издаваеми отъ сърбанието лютивата гостба. Всички ѣдехъ мълчешкомъ. Никой не продумваше дума. Цѣлъ день тѣ бѣхъ се наприказвали и исказали всичко. Даже дѣтцата и тѣ не вдигахъ гълчавата и се бѣхъ заловили за яденъето, като за най сериозната работа, сѣкашъ че извършваха нѣкое таинство. Първа стана отъ трапезата Пена, която сѣднѣ последня. Тя отиде вкъщи, изнесе една черга, прострѣ ѝ на трѣвата сръдъ двора и захванъ да прѣнася едно по едно дѣтцата си, на които сънътъ вече бѣше сѣднѣлъ очитѣ.

— Ти, Петре, ще идешъ при овцетѣ на поятата, каза Никола, че Мирчо е самичкъ и ще го е страхъ да ношува самъ, че е още мѣничакъ занеси му и отъ гостбата. Утрѣ рано ще дайдешъ право на нивата, а Мирчо нека искара овцетѣ, кога се вдигне роса.

— А ти, Цанко, прибери и настани говедата и легай. Утрѣ трѣбва да се стане по-раничко да се отеса гумното трѣбва да се грижимъ да приберемъ берекета, че, знаешъ, Божа работа. Хайдете, байкови, вие сте по-млади. Азъ съмъ намѣстникъ на тато. На есенъ, ако е рѣкътъ Богъ, ще се повеселимъ. Дворъ имаме голѣмъ. Ще ти направимъ, Цанко, и тебе изба.

Пена въ това врѣме дигна синията помете, и сѣднѣ около Никола.

— Добрѣ, че дойде, Пено, каза Никола, мислѣхъ да те повикамъ, та да си поприкажемъ нѣщо. Онзи день ти казахъ, че дошелъ господарскитъ синъ и продава всичката си земя. Ще продаде и воденичището. Всички селени знаехъ, че то е бащина ми земя, която баща ми продалъ безъ воля на Ибраимъ ага. То е било едно, преди врѣме, съ долнята нива, презъ която направи агата пътъ за воденицата. Сѣга това мѣсто се продава и азъ трѣбва да го купя. — Като оженимъ Цанка и Петра, ще захванемъ да работимъ съ 4—5 рала. Земята ни е малко. Пакъ и намъ е далъ Господъ дѣчица. Трѣбва да се погрижамъ и за тѣхъ. Утрѣ ще пристигне и нашъ Мирчо. Пакъ и друго. Цанко и Петръ ми сж братя. Тѣ утрѣ ще искатъ да се раздѣлимъ. Ако раздѣлимъ бащинитѣ си ниви, какво ще ни остане? — Азъ ще купя воденичището и ще го оставя на дѣцата си. Отъ него може да стане

всичко. Ако се може, ще направя воденицата, ако ли не, тогава ще го направя на бостанъ, на бахча, на ливада, на нива, на градина и на каквото искамъ. Да не го биваше, щѣне ли го копува агата? — Виджъ и сега колцина точжъ зѣби за него. Мнозина вече ходили при господарския синъ, нъ той не имъ го далъ. Казалъ имъ, да питатъ менъ, че або го не щж, тогава щѣлъ да го дава другиму.

— Хубаво е да го купишъ. Ами отгдѣ ще вземешъ толкова парп? — Той ще иска най-малко 10—15000 гроша. Ще влѣземъ въ борчове до уши. Трѣбва да продаваме другата земя, за да го исплатимъ. По-добро се остави. Нека го купи другъ. Както сме минжли толкова години безъ него, тѣй ще минемъ и занапрѣдъ. Накъ грѣхота е да хулимъ Бога. Той ни е далъ доста земя. Не сме вждъръ да ѝ оземъ: нивата при «орѣшняка» стои третя година неорана, стария грѣстелникъ го заустихме съвсѣмъ, новата нива отъ искорененото бранище и тя почива 4 години. Защо но ги оремъ? — Имаме, имаме си земя. Ако оженишъ брайна и поиска да се отдѣли, дай му, която искашъ, нива, накъ ще остане и за насъ. Ама нагодина ще оженишъ и Петра, дай и нему, която щѣшъ, макаръ отъ тѣзи що оремъ сега, накъ ще остане и за насъ. Ако ни остане малко орица, тогава ще искоренимъ отъ бранището или ще отрѣбимъ отъ ливадата едно парче за нива. — Онзи денъ ми каза, че се било наговорило цѣлото село да купи отъ господари землицето до потока и ще си го сподѣли. И оттамъ ще ти се падижтъ 3—4 ниви. Какво ще правишъ съ толкова земя? — Ний нѣмаме пари. А накъ отгдѣто и да вземеме, ще имъ плащаме лихва. Помисли, Никола. Ти си мжжъ. Не знаешъ ли какво испатиха махленчене отъ Каменча? — Не накупили ли земя, че послѣ имъ испродадохъ варжиджа и калта подъ ногитѣ и накъ останахъ длѣжни? Нека купува който има пари.

— Е, Пепо, ако чекаме ний да спечелимъ пари, че тогава да купуваме, ний никога нѣма да видимъ земя! На селенина богатството е земята. Далъ ни е Господъ дѣчица. Пари нѣма да имъ оставимъ, защото тѣ лѣсно се харчатъ. Купишъ земя, макаръ че се заборчалисашъ, гледашъ подиръ нѣкоя и друга година тя ти останала бадева. Помисли най-сѣтиъ и друго. Другъ такъвъ килипиръ нѣма да ни падне. Втора такава война нѣма да има. Господаритѣ си отиватъ и продаватъ земитѣ си. Кой ги купува? — Селене. — Кой селенишъ е лудъ да си продава земята? — Видишъ свѣта се умножава. Всѣко знало за земя. Да ѝ купимъ ний, накъ нека се намира. Да сѣ живи дѣца. Все ще кажтъ нѣкога: «Богъ да прос-

ти мама и тата, че сж се погрижили за насъ'. Има и друго. Какво ще кажъть дѣтцата, кога порастътъ, ако оставимъ и не купимъ тази земя, която е, казва се, бащина ми? — Нѣма ли да имъ е свидно да ѝ глѣдагъ въ чужди рѣце? — Нѣма ли да ни кѣнхътъ до девета рода? — Помисли най-сѣгнѣ, какъ ще глѣдамъ азъ, че Петко Нановъ оре бащината ми нива и мишава прѣзъ моето землище? — Да знаешъ, че ще просишъ и ще се хранишъ, пакъ нѣма да оставишъ тази землж. Не искашъ да стѣвамъ за подбивъ на хората...

— Добро. Ами отъ кого ще вземешъ пари? — Не е пара, не сж двѣ. Тукъ ще игражътъ хиляди.

— Лесо е за пари. Ще продамъ лачския б-рекетъ, а отъ тази-годишния ще оставишъ само за сѣме. Ще продамъ и старитѣ овци. Онзи дѣпъ дохожда Петко Гранавия, касацина, че ми ги иска, хемъ съ пешинъ пари. Ще се сподумае съ Цанка и Пегра, ще изсечемъ браището и ще му продадемъ дървата. Каква ни е работата цѣла зима? — Ще карае дърва въ градъ. Ако ли не, ще го дадемъ на кюмурджантѣ. Тѣ ме нуджгъ на нѣколко реда, нъ не имъ го дадохъ, че ми се свиди: гледашъ онази ти гора тамамъ рекла Боже помози да расте, исправила се като нѣкоя свѣщъ. Щомъ купишъ земята, ще ѝ прѣжаля. Когато и да е все ще се сече. Нъ ли за това расте? — Послѣ белкимъ ще ми бжде по-мжчно да глѣдамъ да ѝ сѣчътъ, кагато стане за мергеци. Нъка сега, че да бждемъ живи да ѝ зачуваме, та да ѝ оставимъ на дѣтцата. Сега ще ѝ изсечжъ и туку видишъ за 5—6 години пакъ станала гора. Нека ти да ни купи земята. Ако ли не ми стигне нѣкоя пара, ще иджъ въ градъ при г-нъ Кютуковъ, мировий сѣдня. Той е добъръ човѣкъ. На колцина е раздалъ, казватъ, пари, хемъ туку тѣй безъ лихва. Той не е като търговцитѣ. Търговецътъ живѣе само отъ лихва, а на тогози му плащатъ айлжкъ. За това той прави такива добрини. Его, казватъ, че прибира слромаси момчета, че го слушатъ, а той имъ купува дрѣхи, обуца, книги и ги испраща въ училището. Мнозина отъ неговитѣ слуги сж станали хора. Ама прави добро такъвъ човѣкъ, защото знае какво нѣщо е нѣманиего. Едно само: казватъ, че не дава пари за много врѣме. Има най-сѣгнѣ право. Всѣкакви хора има на този свѣтъ. Белкимъ нѣкоя му е изѣлъ нѣкоя пара, та за това се страхува. Паметенъ човѣкъ е той. Иначе щѣхъ ли да му дадътъ да сѣди свѣта? — И страшно благодуменъ човѣкъ е той. Бойто иде веднъждъ при него, гледа пакъ да иде. Хемъ виждъ, и той е отъ селско потекло. Баща му се пресели въ градъ прѣди 30 години. И кой би помислилъ, че ще стане това момче такъвъ човѣкъ? — Казватъ, въ младинитѣ си билъ сграшенъ

скитникъ и непослушникъ: бѣгалъ отъ училището, вградналъ пари, гълъбп, и едно врѣме напустналъ съвършено училището и станалъ свирджия. Ходилъ даже съ свирджитѣ, че свирилъ по свадбитѣ. Баща му вдигналъ рѣцѣ отъ него. Ама послѣ се свѣсги момчегю и станж човѣкъ, че му нѣма ешъ. Такътъ е свѣтътъ. Нѣкому дожда късно ума, а нѣкому никога. — Онзи день ходи на огледъ въ Марково село. Съ него имаше единъ стражаринъ. Като мишж покрай воденичището, слѣзихъ и даде коня си на стражарина, отиде че обиколи мѣстото и послѣ дойде при менъ, че поприказвахме. Е, да бѣше само да го чуешъ какво приказва! . . .

— Прави каквото знаешъ, каза най-сѣтитъ Пена. Страхъ ме е да не ни сполети нѣщо. По хубаво помисли, че послѣ прави. Ами не можешъ ли взе отъ кассата?

— Въ кассата сега, казватъ, се расхождатъ мшпки. Сега всички селени купуватъ земя, а гражданае — къщи. И въ двѣтъ касси, казватъ, нѣма нито аспра. Пакъ махни го. Ако искашъ да вземешъ пари отъ кассата, трѣбва да скиташъ, да носишъ брашно, яйца и масло на касперина и, ако му се види малко, пакъ нѣма да ти даде. Тѣй баремъ си отберешъ отъ приказката. Изброи ти паритѣ, дадешъ му сенета и свършена работа. Мислението му е това: още утрѣ ще идж въ градъ, ще се срѣцна съ сджията и ще го помолож да ми даде нѣкоя пара. Ще му расправжъ всмчко. Ако ми обѣщае, ще идж при господаря и ще пазаржъ земята. Ще лодирж мющерия за житото, ечмика, кукуруза и ще питамя за цѣната на овцетѣ. — Ама хайде види легай, а азъ ще идж да обиколж воловетѣ и коня.

Съ тѣзи думи Никола станж прѣвржсти се и се скри въ тъмнината.

Денницата вече се показа на истокъ, а Никола още не бѣше си легналъ. Мисълъта, че скоро ще стане ступанинъ на воденичището не му даваше спокойствие. Той ходеше по двора, обикаляше амбаретѣ, сѣното и смѣташе нѣщо.

II.

Прекрасно утро. Слънцето се показва на истокъ и изгледва като грамадно огнено кълбо. То се огледва въ гладката като огледало повърхнина на широката рѣка и отхвърля широка огненна бразда на неж. Градътъ Б. . . се пробужда отъ сънь.

Въ една срѣдня голѣмина, досга хубавичка, къща владѣе жъртва тишина. Въ неж има само една будна млада жена. Тя цѣ-

ла нощъ не е заспала. Мъжътъ ѝ, г-нъ Кютуковъ, мировий съдия, цѣла нощъ бѣ игралъ на карти, прѣди малко бѣ се прибралъ и легналъ да спи. Слѣдъ, сѣдната, която ще остане гзвѣстна само на стѣнитѣ, които бѣха свидѣтели, тя бѣ излѣзла и сѣднала на каменнитѣ стълби и бѣ си стиснавала главата съ двѣтѣ рѣце, които бѣ подпрѣла на колѣнетѣ си. Тежки и мжчителни мисли се въртѣхъ въ главата ѝ. Тя кълнѣше деньтъ и часътъ когато се е годила и женила: «Да се провали гроба на милициния баща, гдѣто го доведе удома. Не можахъ ли да му отсѣхнатъ краката? — О, Боже, Боже! Какво да направѣхъ? — И съ добро ооптвахъ и съ зло ооптвахъ, уопртѣбихъ всички срѣдства, нѣ нищо не помага. Прѣди се кълнеше, че ме обича. Накарахъ го да се закълне въ обичта си, че нѣма да играе. Закалъ се. Не се миохъ малко, отивамъ на расходна, гледамъ сѣдналъ прѣдъ кафенето на една маса, че играе на книги и тѣй се далдисалъ, штоо не ме вижда, че мипувамъ. Послѣ се влѣ за очитѣ си и пакъ прѣстѣпни кѣйтвата си. Сега ще опитамъ послѣднето срѣдство. Ако и то не помогне, тогава ще си хванѣ дърмитѣ, че при баща си. Да не ме е давалъ на такъвъ извѣдникъ. Чекай, ще науча азъ и онѣзи, що го блазнятъ, че го обиратъ» . . .

Голѣмитѣ сбирница гарги на пирамидалнитѣ топоии въ сѣдния дворъ съ силното си крѣсканне, съ което привѣтствувахъ изгрѣвающето слънце, ѣхъ стрѣснахъ. Тя си вдигна главата и, като поглѣднѣ наоколо, продума: «Вече отдавна се било съмнано, а азъ и не виждамъ. Онзи проклѣтникъ още спи. Беремъ на него ще си оттушихъ както трѣбва и още днесъ ще го исплѣдѣ. За какъвъ ми е дяволъ? — Скоро ще се новлѣче на училище, че хемъ ще харчѣ за него пари да му купувамъ книги, хемъ ще му сагувамъ.»

Съ тѣзи, едва-чото исказани, думи тя слѣзнихъ по стлѣбитѣ, минѣ прѣзъ двора и отиде въ една нисичка кѣщица близо до портитѣ, бутнихъ вратата и влѣзнихъ изведнѣжъ въ стайчката. Звукатъ на нѣколко плѣсници, придруженъ съ най-гнуснитѣ думи се чу чакъ на двора. Изъ стайчката исхвъркихъ като бомба едно 15—16 — годишно момче, облѣчено съ вѣтхи, окжсани и замаслени дрѣхи. То гледаше очудено и като че не разбираше какво се върши съ него. Само двѣтѣ прѣсни плѣсници го накараха да се свѣсти.

— Защо ме биете, госпожо? — Азъ не съмъ кривъ. Диривъ го навсѣкадѣ, но не можахъ да го намѣрихъ. Огидохъ въ голѣмото кафе, потропахъ, нѣ не ме пустанахъ вътрѣ. Излѣзе единъ господинъ и ми каза, че господарѣтъ отишелъ на баня. Цѣла нощъ го трѣсихъ и се завържихъ прѣдъ зори. Туку що си легнахъ и той дойде. Азъ не съ в кривъ.

— Още днесъ да се прѣждосашъ оттука. Да не съмъ те видѣла тукъ! Чувешъ ли? — Или и ти ще бждешъ като господаря си? — Сии ли си до това врѣме? — Истимарилъ ли си коня? — а? — И взелъ да ми се лигави, че не билъ кривъ той... Азъ ли съмъ крива-че снись до това врѣме? — Когато те прагъ иѣгдѣ, трѣбва да извършишъ работата, па ако би потрѣбвало да се замъкнешъ въ дънъ—земи. Иди че прави добрини на такива въздници . . . Хранишъ го, поишъ го, обличашъ го по-добрѣ отъ своето чедо, а то ти мисли злото и ти конае трапъ . . . Кой знае кому ще ѣдешъ душата, както ме яде мойтъ хубостникъ . . . Да си събирашъ парцалетъ и навтънъ.

Горкото момче не знаеше какво да направи. То гледаше съ очи прѣпълнени съ сълзи и не смѣеше нито да продума, нито да жръдне напѣкадѣ. То знаеше, че каквото и да направеше, все щѣше да бжде въ негова вреда.

Въ сжщото това врѣме, когато господарката вѣскаше и псуваше момчето, иѣкой потропа на портитѣ. Тя, понеже не бѣше облѣчена като свѣта, заповѣда на момчето да отвори и да види кой е и да иде да ѝ обади.

Когато господарката мижъ презъ двора и влѣзихъ вкѣщи, момчето отвори портитѣ и на двора влѣзнаха двама души. Единийгъ отъ тѣхъ бѣше нашиятъ познатъ, Никола, а другийгъ — Вълко Кръмарина, добъръ познатъ на господаря на кѣщата, комуто доваждаше хора, мющерии за пари.

— Станалъ ли е господарьтъ? — попита селенинъгъ.

— Не знажъ отговори момчето. Ами защо ти е? — Кажи за да ида да кажъ.

— Иди кажи на госпожата, че съмъ азъ и съмъ довелъ Никола отъ М . . . , каза Вълко. Кажи ѝ, че сме дошли по работа. Нека сжбуди господаря, защото бързаме, че врѣмето е работно.

Слугата отиде вкѣщи и следъ малко се завърни. Той влѣзихъ въ станчката взнесе два дъсчени стола, турижъ ги до гостетѣ, покани ги да сѣднѣтъ и имъ каза да почекѣтъ догдѣ дойде господарьтъ, а самъ отиде да накладе огъня, за да направи кафе.

Въ това врѣме госпожата, разядосана, влѣзихъ въ стаята гдѣто сѣше мжжъ ѝ. Тя хвърли гнѣвенъ погледъ върху снащия, който, вижда-се работата, тѣзи минута сънуваше нѣщо смѣшно, може би, слушаше пегвтъ не едикъ отъ своитѣ компаньони, приближи се до жревета му, забута го колкоти имаше сила и захвацъ: «Хайде, ставай! Какво си се развеселилъ? — Хайде вдигай се, хей!! . . . Долу те чекатъ хора. Чувешъ ли?—Ще ставашъ ли, или да ида да

да се кълнешъ? — Тогава знай, че азъ съмъ се заклѣла. И щомъ чуѣхъ, че си сѣдналъ негдѣ да играешъ на карти ще те урезвижъ. Чуешъ ли? — Да си мислилъ и да не си се женилъ. Ако ти не искашъ, тогава азъ трѣбва да мисля за себе си и дѣтето ти.

— Е, хубаво, хубаво. Те слушай.

Съдњята повтори дословно казаната отъ жена му клѣтва п цѣлувнѣж иконата.

— Само за слугата, каза той, нѣмаше нужда да се кълнѣж. Азъ и безъ клѣтва ще го испяждѣхъ, защото не струва нищо и само ме срами. Пратишъ го нѣбога да ме трѣси. Туку го видишъ, че се исправилъ срѣдъ кафенето и закрѣска колкото го сила държи, какво си му казала. Нѣма да се приближи до менъ и да ми каже човѣшки на ухото. Защо ми е такъвъ мръсникъ? — Азъ ето защо го прибрахъ пролѣтось: той дойде и иска да ми слугува и да се учи. А дойде, както знаешъ, въ нищо и никакво врѣме, когато останаше 2—3 мѣсеци да захванжъ дѣцата испитъ. Прѣсмѣтнахъ си, че догдѣто отворжъ училището ще се минжъ цѣль 6 мѣсеци. Защото да цѣнявамъ слуга, да го хрантуѣж и да му плащамъ отгорѣ, когато можъ да взема тогава да ме слугува само за хлѣба? — Сега ще цѣниж слуга, койго знае да готви и да глѣда коня. Слугиня не може да върши и двѣлѣ тѣзи работи. Безъ коня азъ неможъ. Знаешъ ли колко пригонни ми е доносѣлъ Дорчо? — А знаешъ, че и ти се расхождашъ съ него въ файтончето. — Хайде види, че кажи на хората да ме почекатъ. Слугата не пжди. Да направя кафето, че тогасъ. Нека си отслуша баремъ вечерниня хлѣбъ.

Госпожата прочете още едно правоучение на мжжа си, погледнѣж се въ огледалото, приглади се, придаде на лицето си самодоволно изражение, като че туку що бѣ се наѣла баклава, и отиде при гоститѣ.

Съдњята станж, оми си очитѣ, върнѣж се въ стаята и като видѣ, че жена му приказва съ гостетѣ, захвана да се облачи и продума: «Пуста и пометена жена! Не можахъ да отървжъ отъ нежъ. Ще ме принуди най-сѣтитѣ да се откажжъ отъ единственното си удоволствие — картитѣ.»

Слѣдъ 5 минути съдњята бѣше вече облеченъ и слѣзнѣж при гоститѣ.

— Добрѣ дошли, каза той на гостетѣ и си подаде ржката и на двамата. Защо си дошелъ бай Никола? — Да не е за онази работа?

— Че за онази работа, господине, що приказвахме онзи

день. Не ми се иска да испустя земята. Знаеш, че ще ми се смѣе свѣтътъ. Нашата работа, знаеш, безъ земя не чини. Наумилъ съмъ си да ѝ купя, а че каквото ще иска става послѣ.

— Какво ще става? — подзе съдията. Дипъ добръ си намислилъ. Ако не щѣш да ѝ купиш ти, остави ме да ѝ купя азъ. Давамъ ти сто, а пакъ и двѣста лева, само да се отречешъ отъ шефилика си. Да видиш ти каква воденица ще скариясамъ азъ на неж земя и каква бахча ще направя! Ама ще кажешъ: какъ ще направя воденицата, когато водата е спръна по-горѣ? — То е моя работа. Илия нѣ-ли направи воденицата слѣдъ развалянето на господарската? — Ако и азъ не разбирамъ отъ тѣзи работи, тогава кой ли ще отбира? — Рай, рай ще направя азъ отъ онази земя! . . . Да си направя азъ каквото знамъ, а че ще ти зарѣжъ триста служби! Що ми трѣбна таранана? — Бадева виѣ. селенетѣ, казвате, че сте отбирали отъ земя. Нищо не разбирате! Да видите какво отбира гражданинъ. Ама какво да направя, когато не ми пада такава нѣща въ ржцѣтъ. Его ти сега случай, а пакъ ти си се испръчилъ на срѣща ми. Хайде, бай Никола, его ти отъ менъ триста левчета. Вземашъ ли ги? — Да направя азъ онѣзи ми ти кула, на гледай чудо и сеиръ. Щѣшъ ли? — Казвай де!

— Какво да кажа, господине? — Не е моя земята, та да ти ѝ давамъ. И азъ искамъ да ѝ купя. Знаеш, бащица ми е, казва се. За дѣтцата, а се азъ ще ли ѝ видя хаира?

— Ба, да ме прощавашъ. Азъ не разбирамъ отъ такава работа. Дѣца! Азъ гледамъ да се наѣмъ азъ, а дѣната да яджтъ това, що имъ оствяж. Защо се трудя и мжча? — Да оставя нѣкому яде и да ме псува? — Само това нѣма да го бжде.

— Вашата работа, господине, е градска, а нашата — селска. Виждъ: тебе баща ти, казва се, нищо не ти е оставилъ, ама ти е отворилъ учитѣ, че ти е далъ учение. Ти съ учението печалашъ лесно. Ний сме хора тъмни. Какво бихъ направилъ азъ, ако не ми оставеше баща ми двѣ-три пиви и ливади? — Ако не оставя и азъ на синоветѣ си земи, трѣбва да станжтъ селски свинаре и говедаре.

— Тъмни ли? — Ами я погледай какъ отбирашъ, какво може да стане отъ воденичицето! Гдѣто ще се каже, ти не оставяшъ шефилика си? — Тогава?

— Та да ти си кажа право, господине. Ний доходме съ този братъ, да те молимъ . . . Онзи денъ ти ми загатихъ нѣщичко, пакъ азъ, като простъ човѣкъ, може и да не съмъ разбражъ. Ииска ми се да купя воденичицето и може да не ми достигне нѣ-

кой и друга пара. Щѣ те молянь да ми дадешъ. Намислилъ съмъ да продамъ ланския и сегашния берекетъ, да изсѣчъ браницето и да продамъ дървата му, да продамъ щърбитѣ овци и ако не ми достигне нѣкоя пара, белкимъ се найде у тебе. Ти си правилъ и на други хора добрини. Азъ, ако съмъ човѣкъ, що каже онзи братъ, нѣма да те забравя.

— Ха, те видишь ли? — Тукъ оцапахме ний съ тебъ работата. Да имахъ пари, азъ щѣхъ да купя Хаджя-Беговага воденица заедно съ земята. Щѣхъ да купя гогова воденица, а не воденичище. Да бѣше дошелъ прѣди нѣколко дена, тогава бѣлкимъ би се нашла нѣкоя пара. Сега съмъ се обралъ досушь. Опитай се, че иди при Качена. Той, вѣрвамъ, ще ти даде. Кажу му, че съмъ те пратилъ азъ. Не ми се иска да оставя да купи другъ освѣнъ тебъ воденичището.

— Е, господине, той нѣма да ми даде. Ако не ми дадешъ ти пари, тогава азъ никога нѣма да видя земята. Ти си заможенъ и, само да искашь, можешъ да ми дадешъ пари. Назаемъ, що каже она братъ, ще вземешъ и пакъ нѣма да ме испядишь. Ти баща, ти майка. Моля те.

— Лѣсно е да кажешъ: вземи на заемъ. Ами кога ги поискать? — Отгдѣ да взема да ги върна? — Добро ако ги донесешъ, ами ако ги не донесешъ? — Да ме теглятъ по сѣдлица и да се срамувамъ за нѣкого си?! . . . Напаряхъ се вече. Хемъ свои хора ме подѣдохъ. Зарекълъ съмъ се вече.

— Не ше ъж докараме дотамъ, господине. И ний слава Богу сме хора. И ний се събираме съ търговци и чиновници хора. До днесъ още никому двѣ пари не сме взѣли. Ти какво ще кажешъ бай Вълко?

— Не се мѣшамъ, брате, продума крѣчмаринтъ. Ако може и ако обича, нѣма намѣри да ти даде, ако ли не той знае. Знаешъ сега врѣмената сж такива, че братъ на братъ да не вѣрва.

— Намираинето е лѣсно, продума сѣлпята. Азъ му мисля за сѣтиниятъ. Имачъ единъ приятель, комуто ако поискашь, ще ми даде и халда напелеона. Страхъ ме е само да не си развалихъ послѣ за другото кафирдърлка съ него. Защо да се смразвамъ съ човѣка?

— Нѣма да се смразишь, господине. Виде щѣшь. Ще продамъ и мило и драго и пакъ ще ти донеся парятѣ.

— Добро. Азъ пари нѣмамъ. Ако и да имахъ, азъ пакъ можахъ да ти да, защото съмъ чиновникъ и всѣкой ще говори лоше за чиновницитѣ. Ще ида да взема съ лихва и ще ти дамъ, са-

мо и само за една любов, що е рекълъ нѣкой си. Ами колко пари ще ти трѣбватъ?

— Сега ще идж при господаря и ще направимъ пазарлъка. Ще смѣтнж, колко ще взема огь кукурузъ, ечимикъ, жиго и овесъ и ще ти каже, колко пари да ми дадешъ. Азъ никога нѣма да ти забравж добрината. Далж ми е Господъ и гадове, и добитъкъ . . .

— Азъ съмъ говорилъ съ господаря. Той не дава земята по малко отъ петнадесетъ хиляди гроша. — Ти не продавай нищо. Азъ ще намѣрж и ще ти дамъ всичкитѣ пари. Да се знае баремъ, че съ мои пари си купиљ земята и да ме помѣнувашъ. А и друго. Малко пари азъ не могж да искамъ, защото онзи човѣкъ ще помисли, че съмъ си изѣлж айлъка и нѣмамъ що да ѣмъ. Да знаж баремъ за какво ще се срамж да искамъ. Ти, ако обичашъ, продай каквото си намислиљ. Пари ще ти трѣбватъ още. Нъ ли купувате отъ сжщия господаръ селски едно землѣще? — Дай тамъ тѣзи пари, а съ монѣ купи воденичището. — Сега искамъ да ми кажешъ, съгласенъ ли си съ тѣзи условия: лихвата нѣма да бжде голѣма — на гроша пара на мѣсѣцъ. На тѣзи врѣмена нѣма да намѣришъ пари нигдѣ съ толкова малка лихва. Какъ това лихва ли е?! — Лихвата за птрвъ пжтъ ще ѣ взема напредъ, а послѣ ще ѣ пишемъ кога мѣняваме записа. Въ записа нѣма да пишемъ лихва, ами ще ѣ прѣсмѣтнемъ и ще ѣ притуримъ кжмъ главнитѣ. Ще пишемъ въ записа, че ти давамъ за едно опредѣлено врѣме известна сума пари, въ която разбира се, ще влиза и лихвата. Азъ съмъ чиновникъ и нѣмамъ право да давамъ пари съ лихва. За да се виждаме по-често, ще мѣняваме записа всѣки три мѣсеца. Знаешъ, че на срѣдата има смъртъ. Само лихва или една часть отъ паритѣ не приемамъ, защото не искамъ да прањ главоболне на приятели си съ дрѣбни смѣлки. Забравихъ да ти кажж и това, че човѣкътъ отъ когото ще взема паритѣ нѣма злато. Ще ти дамъ петнадесетъ хиляди гроша въ сребро, а въ записа ще пишемъ злато, като смѣтаме нацолесна сто гроша. Както ти казахъ и прѣди, за да не се откажешъ утрѣ, че си в елж паритѣ, ще завѣримъ прѣдъ свидѣтели записа при нотариуса, ако не сега, послѣ нѣкога. Сега помисли, поговори съ бай Вълка, иди, ако обичашъ, при Камена или при другиго и, ако щѣшъ, дойди да направимъ записа, да намѣри свидѣтели и да ти брѣя паритѣ. Само не забравяй, че до обѣдъ трѣбва да ми кажешъ, защото онзи човѣкъ ще замине по селата. Разбирашъ ли? — Послѣ нибой не ти е кривъ. — Да вървж въ канцеларията, че закъсиљъ вече.

— Какво мисленне и питание иска още? — продума крѣчма-

рингътъ. Ти, вика се, не го ни познавашъ, нито ти е братенецъ, нито чичовъ, и му давашъ, туку-май безъ лихва пари. Нека склания, че да се върши работата. Загубихъ си и азъ край него денгътъ. Ама нека иде да се опита. Каменчо може да му даде по евтино. Той онзи денъ даде на единъ нашенченинъ парп съ по двѣ пари на греша на мѣсеца и му ги даде само за единъ мѣсець, а не като тебе една пара и ваде три мѣсеца.

— Ще ида да си поприкажа съ господаря каза Никола. Белкишъ менъ даде земята по евтино. Кждѣ обѣдъ ще наминъ. Бива ли да дойдж въ канцеларията?

— По-добрѣ ела тукъ. Ето и бай Вълко ще дойде, да види когато ти броя паритѣ.

Всички станаха да тръгнатъ. Слугата въ това врѣме донесе три шола кафе. Сждията каза на гоститѣ да сѣднатъ и ги покани съ кафе.

— А ти, момче, каза сждията, да си съберешъ парцалетѣ и да си вървишъ отгдѣто си дошелъ. Хранъ те, пож те, облачамъ те, а ти нищо не правишъ, и само ядосвашъ госпожата ми. И азъ бихъ искалъ да намѣрж нѣкого да ме храни тѣй, нѣ нѣма. Днесъ кога се върнж да не те намѣрж тукъ. Чуешъ ли?

— Не е ли язъкъ за менъ, господине? — Отъ пролѣтосъ ви слугувамъ, за да ме пратитѣ на училище. Сега, кога наближи врѣме, вий ме пѣдите. Какво съмъ ви сторилъ? — Не съмъ ли ви слушалъ като робъ? — Защо ме лъгахте? — Да бѣхъ отишелъ още тогава при бай Димитръ Тотевъ той щѣше, човѣкътъ, да ме прати въ училището тутакъ, както проводи момчето си, което цѣни по-късно отъ менъ . . .

— А за менъ не е ли язкъ, че те хранъ, като нѣкой слѣпецъ, а ти не вървишишъ нищо? — Иди при бая си Димитра. Той може да те прибере и храни за чернитѣ ти очи. Хайде, сега нѣмамъ врѣме да дрънкамъ.

Сждията станж, а слѣдъ него станахж и гоститѣ му. Слугата съ съкрушено сърдце отиде да си събира дръхитѣ. Горкото момче видѣ, че надѣждитѣ му се осуетихж.

Когато сждията излѣзнж на улицата, на врата го посрѣщна една стара, прѣгърбена, одърпана и окъсена бабичка. Тя захвана да плаче и да го моли да ѝ научи, какъ да отъве вжщата си отъ зетя си.

— Ела че слугувай удома. Ще те научж. Сега никой не дава умъ бадева. И азъ съмъ харчилъ пари, за да учж умъ. Ако щѣшъ. Ако ли не щѣшъ, иди си давай паритѣ на адвокатитѣ.

— Сиромашка съм, бре синко! Нѣмамъ нигдѣ никого. Една дѣщеря имахъ и неж Господъ ъж прибора, а зетъ ми ме пѣди отъ бащината ми кѣща

— Още по-добрѣ. Ела, че ми слугувай и азъ ще те хранѣж. Тамамъ сега съмъ безъ слуга

Съ тѣзи думи сѣдницата се забързи по улицата, за да достигне госгнѣтъ си.

III.

Изминѣха се цѣли двѣ и половина години отъ денѣтъ, койго Никола отиде за пръвъ пѣтъ въ кѣщата на мировия сѣдия. Всѣки три мѣсеца той ъж посѣщаваше много редовно и всѣкога донасяше на сѣдницата масло, яйца или пакъ нѣкой гадецъ. Мно-го пѣти Никола можеше сѣдницата да вземе една часть отъ паритѣ, но послѣднийтъ всѣкога отказваше подъ прѣдлогъ, че го е срамъ, бо-жемъ, отъ оногози, чинто сѣж паритѣ, да му занесе една часть отъ тѣхъ, когато се билъ задължилъ, да занесе всички наведнѣжъ. Паритѣ растеха немовѣрно. Кѣлтийгъ селенинъ признаваше, че се е впримчалъ, нѣ имаше що да направи. Оставаше му само едно утѣшение: идеше при кръчмарина и му посочеше новия записъ. Кръчмариниѣтъ сѣднеше и захванеше да срича цѣлъ часъ догдѣто го прочете и въ заключение кажеше: «Много, много хубаво написано. Ярко е увързана работата. И двѣте страни сѣж много сагламъ свързани.»

По града захванахъ да се носѣтъ доста упорно слухове за прѣмѣстванието на сѣдницата въ С Самъ той отпърво не обрѣщаше никакво вивмание на тѣзи слухове, нѣ частното писмо на приятеля му отъ столицата го накара да повѣрва.

Сѣдницата захвана да се приготвява и все по рѣдко и по-рѣдко излизаше изъ кѣщи. Той бѣше заелъ съ урежданieto на служебнитѣ и частнитѣ си дѣла. Особенно старание употрѣби той за прибиранieto на паритѣ си, които бѣше раздалъ на селене съ лихва. Употрѣбиха се всевъзможни срѣдства, за да се повикатъ длѣжнициѣтъ. Тѣ захванаха да идватъ единъ по единъ. Всѣкому той говореше едно и сѣщо: че замицава и човѣкитѣ, отъ когото той, бо-жемъ, е взѣлъ паритѣ подъ лихва съ цѣлъ да направи благодарение, го напекълъ за паритѣ. Дойде най-сѣтитъ реда и на Никола, най-едрия длѣжникъ на сѣдницата. Нему той бѣша писалъ да донесе въ първия петѣкъ половината отъ паритѣ, а за другата му даде срокъ двѣ недѣли. — Очакваниѣтъ петѣкъ дойде и Никола се яви. Бѣше рано сутринъ, когато Никола постривалъ и убитъ, прѣскочи прага на вра-

тата. Схдията бѣше вече станалъ и съ петъриѣние чакаше идването на Никола. Щомъ го видѣ, той слѣзихъ на двора и, безъ да го покани да влѣзе вкщи, захванж:

— Бай Никола, азъ ти писахъ онѣзи дни да дойдешъ днесъ и да ми донесешъ паритѣ, защото заминавамъ за другадѣ. Добрѣ знаешъ, че съмъ те чекалъ цѣли двѣ и половина години и не съмъ видѣлъ нито аспра отъ тебѣ. Да бѣхъ останалъ тукъ, азъ никога не щѣхъ да ти ги искамъ, защото си сигуренъ човѣкъ. Ама какво да правя сега? — Онзи чулъ, че ме мѣстятъ и ме пече като на шишъ: или паритѣ или друго не. Вчера ми каза, че нѣма вече да ме чека и нѣма да ме пустне да търгна оттукъ, ще ме даде подъ съдъ, ще ме затвори и ще ми продаде всичко, за да си вземе паритѣ. Бре и молихъ му се и кланяхъ му се, не разбира. Туку рекълъ: «паритѣ си искамъ». И азъ не знамъ, какво да направя? — Ти разбирашъ каква е работата и си донесалъ паритѣ. Помнишъ ли, какво ми говореше, като ме караше да идж да ги искамъ? — Доста врѣме се червихъ за тебѣ. Направихъ ти една добрина — съ мои пари си купи мѣстото. Ако си събиралъ само берекета, ти трѣбва да имашъ пари, пари, а не такава ничтожна сума.

— Писмото ми донесоха онзи день, господине, ама не можахъ да събера паритѣ. Па и не сж малко. Отгдѣ ще взема толкова пари? — Преди ти донасахъ на нѣколко реда пари, ти ги не рачи. Да бѣше ги взелъ, сега щѣше да ми бжде легко. Грѣхота е да ме насвиешъ тѣй изведнѣжъ. Имамъ малко пари и берекетъ има, нѣ не ли нѣма сега цѣна! Язкъ е да го харизвамъ. Ще те моля да ме почакашъ малко. Белкимъ се вдигне цѣната. Ако ли не, ти ме заведи при онзи човѣкъ, чинто сж паритѣ и му кажи, че паритѣ му сж у менъ. Той нѣ ли остава тукъ? — Ще му приплачж, ще го помоля и, може би да се смили, да ме почака малко. Правжъ, що правжъ за петъ — шесть мѣсеца ще му се отплатжъ. Направи ми и тази добрина, господине. Бога ще моля за тебе и дѣцата ти.

— Ето ти и тая! Хичъ това за дума ли? — Азъ ти казвахъ и прѣди, че човѣкътъ не иска да знае никого освенъ менъ. Не ти ли казвахъ още тогава? — Той си иска паритѣ. Ще ме дава подъ съдъ. Разбирашъ ли? — Отъ менъ искатъ, че сж ми дали, и азъ искамъ отъ тебѣ, че съмъ ти далъ. Нѣмашъ право да ми надумвашъ, че не съмъ билъ искалъ да вземамъ донесенитѣ отъ тебѣ. Кога петъ, кога десетъ гроша и да ги минавамъ на смѣтката ти. Нѣма да ти ставамъ хамалинъ. Глухъ ли бѣше, когато те питахъ прѣди да ти дамъ паритѣ? — Дойдохъ ли да те моля съ пари? —

Его ви какви сте. Прави ви човѣкъ добринъ, а вий вмѣсто благодарностъ го ядосвате и ставате причина да се скара съ приятелитѣ си. Иди още веднѣжъ, че прави добро. Ама кой ми е кривъ? — Хубаво се бѣхъ зарекълъ. Защо ме надуха дяволетѣ да се вземамъ за таква работи?! — Нека дойде още веднѣжъ нѣкой, че да види! Краката ще му строша и ще го исхвърля на улицата като псе . . . Лудъ, лудъ е онзи койго прави добро . . . Да бѣхъ те оставилъ тогава да паднешъ въ рѣцетѣ на онѣзи пиявици, пакъ тогава да те питамъ. Ама умъ . . . Ти знаешъ ли, че азъ плащамъ на тѣзи пари, които държишъ двѣ пари на гроша мѣсечно, а отъ тебе взирамъ само една пара? — И защо? — За чернитѣ ти очи. Не трѣбваше да слушамъ онзи вагабонтинъ—кръчмарина и да се въвирамъ въ такава беля. Ама нѣ ли имала глава да пати! . . .

— Та оно, господине, и за менъ белкимъ щѣше да бжде по-добро, ако не ми дадеше пари. Имаше да ми даде и Камень. Какво щѣше да ми бжде, ако не купехъ тази палежна земя? — Хубаво ми казваше Пена! Ама пусти умъ! — Ако не ми бѣше далъ ти пари и ако не бѣше ме кандарисалъ, азъ щѣхъ да изсѣчъ брашницето, щѣхъ да си продамъ берекета и за двѣтъ години, както си бѣхъ намислилъ, щѣхъ да продамъ и единъ яремъ волове и щѣхъ да си напълнѣ сумата. А сега? — За четирнадесетъ хиляди и шестотинъ гроша, които ми даде, ти ми искашъ триста наполеона. Шегата ли е това? — На нѣколко реда ти донасахъ по четири — петъ хиляди гроша, ти не ги рачи. Белкимъ бихъ се отплатилъ досега.

— Отплати се и сега. Кждѣ си денжлъ онѣзи пари, които си донасялъ на нѣколко реда? — Събери ги. Казвашъ, че си донасялъ по четири—петъ хиляди гроша на нѣколко реда. Тѣ ще изглѣзатъ повече отъ онѣзи, които ти искамъ. Камо ги? — Или само си чешешъ языка?

— Защо да си чешъ языка? — Ти вижда тѣзи пари. Като ги не рачи, азъ ги дадохъ на селото за друга земя. Да бѣше ги прибралъ, нѣмаше да нарастятъ сега толкова и азъ щѣхъ да ти се отплатѣ досега. Ти знаешъ, че кога имашъ да давашъ малко, струвашъ гайретъ и събирашъ, а кога си длѣжець много, завие ти се и замае свѣтъ и не знаешъ какво да направишъ. Има и друго. Да бѣхъ, отишелъ направо при господара, той щѣше човѣка да ме почека. Ето го и днесъ тукъ.

— Да си отишелъ, да си правилъ що си искалъ. Не ми трѣбватъ празни лакардии. Паритѣ си искамъ. Чуешъ ли? — Ако не

ти донесеш до другия пазаръ, да знаешъ, че ще те дамъ подъ сждъ. Дѣтцата ще ти продамъ и ще си взема паритѣ.

— Ако идемъ по сждилища, не ще бжде добръ ни за менъ, ни за тебъ, господине. Азъ ще плащамъ на адвокатигѣ пари, ама и тебъ ще те питатъ, колко пари си ми далъ. Ще имъ направятъ смѣтката, пакъ и тебъ не ще бжде много добръ.

— Кой ти е казвалъ тебе това нѣщо? — Не ме е страхъ менъ, байно. Пмамъ си записъ завѣренъ отъ нотариуса, имамъ и свидѣтели. Трисга адвокати за пара. Ти мисли. Хайде сега да ти виджъ гърба. Утрѣ давамъ прошение и ще ти секвестирамъ всичко. Маршъ на вѣнъ! Хайде де! Какво се повърташь? Хей, Герго! Я му отвори вартата, че ги е събркалъ. Ще те науча азъ кого плашишь съ адвокати. Избутай го навѣнъ изъ вратата!

Клѣтийтъ селенинъ искаше да продума нѣщо, нъ не успѣ, защото слуга го хванж за ржката и го избута изъ вратата.

IV.

Зима. Дрѣбнитѣ снѣжинки на тихо-падающия снѣгъ, койго обѣщава да вали много врѣме, падатъ твърдѣ нагъсто, кръстосватъ по въздуха по всевъзможни направления, тѣй щото всичко на двора се вижда като презъ сито. Сиржква се вече. По най-широката улица на града Б . . . вървжтъ трима млади хора. Двамата отъ тѣхъ сж облѣчени, както изисква врѣмето, въ зимни палтони, а единийтъ въ твърдѣ тънко пардесю Той върви между двамата други съ цѣлъ, види се работата, да не обржца на себе си вниманието на проходящитѣ по улицата.

— Чуденъ си, бе Петре, продума единийгъ отъ топло облѣченитъ, като се обърнж къмъ облѣчени въ пардесю. Не те ли е страхъ, че ще настинешъ? — Пакъ остави му настинката настрана, ами ще захванжтъ да говоржтъ тукашнитѣ граждани за всинца ни, че сме голяци. Ти или не знаешъ това нѣщо, при все че живѣемъ тука вече отдавна, или пкъ не искашь да обржцашь внимание на думитѣ имъ.

— И азъ искахъ да му кажъ сжщото каза вторийгъ топло-облеченъ господинъ.

— Вий и двама сте чудни хора, каза облеченийгъ въ пардесю, и азъ не могж да си обяснж по никакъвъ начинъ, какъ не можеге да разберете положението на човѣка. Карате ме да си купувамъ зименъ палтонъ, а не знаете, че за менъ сж затворени всички улици съ исклучение на онази, прѣзъ която си ходж удома.

И тя е полузатворена, защото имамъ и тамъ малко закачки въ единъ два дюяна, нъ азъ се връщамъ късно удома, а излизамъ рано. Научихъ се да ставамъ рано. Ако ми се случи да си отида по необходимостъ дечемъ, азъ минавамъ покрай дюкянетъ като край гробища—не гледамъ къдъ тѣхъ. Разбира се, че при това давамъ на лицето си умислено-угрижено изражение, тъй щото дюкянджитѣ и не смѣятъ да ми напомнятъ за дрѣбулнитѣ, които имъ дългувамъ. Вѣрвате ли, че има улици, прѣзъ които не съмъ минавалъ цѣли три мѣсеца? — А покрай дюяна на Аврамико, дрѣхарина, не съмъ минавалъ повече отъ шесть мѣсеца. Последната игра на «мое твое» у Николови ме съсна съвършено. Добрѣ спечелихъ отъ вшита, кой ме кара да сѣдиж да играя на тази проклѣта игра?! — Ама очи лакоми. Искаше ми се да си вържъ всичко, което бѣхъ загубилъ прѣдишнитѣ игри, че се вмъкнахъ до гуша . . .

Намислилъ съмъ нѣщо, съ което мож да си поправжъ обстоятелствата и послѣ ще се заречжъ веднѣжъ за винаги отъ тѣзи карти. Лешето е това, че трѣбва да ми помогне нѣкой.

— Какво си намислилъ? — Попита единия отъ топло-облѣченитѣ, Калайджиевъ.

— Ще ви съобщжъ. Кажете ми само, къдѣ мислите да идете сега? —

— Азъ си отивамъ удома, че имамъ за утрѣ срочна писмена работа, каза Мироновъ, другийтъ топло-облеченъ господинъ.

— Азъ ще отида въ кафешето. Ще сѣдиж да игражъ съ нѣкого една префа, за да ми плати пивото, каза Калайджиевъ.

— Хайде и азъ ще иджъ, подзе Мироновъ. Ще пия едно пиво и ще си вървжъ.

И тримата приятели закривихжъ надѣсно въ една улчичка и отидохжъ по направление на най-доброто кафене града. Тѣ влѣзохжъ и сѣднаха около една незаета маса.

— Азъ ще ви черижъ отъ гола душа, каза Пегръ Сухожѣбиновъ. Искамъ само вашето съдѣйствие, за да си поправжъ обстоятелствата. Отъ васъ се изисква твърдѣ малко. Жертвата, която ще принесете въ моя полза е тази, че тази нощъ, или слѣдующата, нѣма да спите, а въ замѣнъ на това ще бъдете вознаградени съ нѣкоя пара. — Хей, Димо, донеси три пива.

— Азъ не можъ да игражъ, каза Мироновъ. Казахъ ви причината.

— Чекай нека си каже плана, каза Калайджиевъ.

Слугата донесе три чаши и ги сложи на масата. Събѣсѣдницѣтѣ напиха чашитѣ и ги сложихжъ.

— Слушайте, каза Сухоѣжиновъ. Вий знаете, че има една пословица, която казва: «Гдѣто паднешъ, оттамъ ще станешъ». — Казахъ ви прѣди, че причината на моитѣ бѣдствия сѣ картитѣ и само съ тѣхъ ще можъ да си поправяж обстоятелствата. Не е нито срамъ, нито грѣхъ да си вземешъ парицитѣ отъ оногова, който ги е взѣлъ. Знаете, че най много пари е взѣлъ отъ менъ Кюгуковъ. Той ме обра и се зарече да играе. Не щѣше да ме е ядъ, ако играеше честно, ами послѣдния нѣтъ го ловихъ нѣколко нѣти, че уйдурисва асовете. Насмалко щѣхъ да го биѣ тогава, нѣ всички захванаха да викатъ противъ менъ и казвахъ, че съмъ се билъ сърдилъ, защото губѣж. Разбира се, че при такава игра ще загубишъ. Имаше какво да правяж. Дадохъ му пълномощно, че ми взима за три мѣсеца наредъ заплатата. Оттогава ми се побъркахъ смѣткитѣ и още не можъ да се оправяж. Сега, както знаете, него го мѣсѣтъ. Той си прибира паритѣ Онзи день имаше въ сѣдлицето четири процеса съ селене за пари. Всички процеси бѣхъ ужасни. Отъ тѣхъ станъ ясно, че той давалъ моитѣ парички съ безбожна лихва съ $2 \frac{1}{2} \%$ на мѣсець, мѣнявалъ всѣки три мѣсеца записитѣ, като взималъ лихва и на лихвата; давалъ сребро, а въ записа писалъ злато и то наполеонъ въ сто гроша. Разбира се, че той излѣзихъ майсторъ: въ записитѣ писалъ че дава назаемъ, а не съ лихва. Единъ отъ тѣзи процеси бѣше доста интересенъ. Подмамилъ одного селенина, че му далъ пари съ лихва да си купи земя. Далъ му 14,600 гроша, а за двѣ и половина години станали триста наполеона. Когато видѣлъ, че селенинтъ захваналъ да се позамислива, той го завелъ при нотариуса, че завѣрилъ записа. Прѣди той му взималъ просъ запись, а когато суммата нарасла, той се осигурилъ. Ужасенъ джанабетицъ. Сега ще продаде на селенина и каша и волове и всичко и ще си вземе паритѣ. Тѣзи пари нѣма да му държатъ топло. Като се види съ пари, той ще захване да играе, догдѣто ги прахоса. Щомъ стигне въ С . . . , той ще играе и ще му ги взематъ всички. Не е ли грѣхъ да оставя да ти вземе другъ паричкитѣ заедно съ лихвитѣ имъ? — Все едно тѣ нѣма да останатъ у него. Гдѣто ще ги вземе другъ, не е ли по-добрѣ да си ги взема азъ? — Кажете.

— Имашъ право, нѣ той се е зарекалъ. Какъ ще го накарашъ да играе? — Попита Калайджиевъ.

— Прѣдприятието е много добро, ама нѣма какъ да го накараме да сѣдне да играе, продума и Мироновъ.

— Това искайте отъ менъ, изговори Сухоѣжиновъ. — Димо, дай още пиво. Едно, само едно, единствено условие: когато имате

силни карти, а играах азъ, не вистувайге. Скъщото ще правя и азъ. Да, трѣбва да гледаме да му дадемъ да спечали отпърво малко, а послѣ да захванеш да го сърдимъ. Щомъ сполучимъ това, той е нашъ и ще му дадемъ пари наземъ да търгне за С . . . Само предпазливо и умно. Когато ви побутяхъ съ кракъ и играахъ, да знаете, че картитѣ ми сж хубави и виий вистувайте, за да се помами и той да вистува. Ако не вистува той, тогава безъ да играемъ ще ви давамъ слѣдуемото. Ако го вкарате веднѣжъ, той вече рискува и не гледа на нищо. Да захванемъ още отсега. Да захвишемъ проста префа и да играемъ, догдѣто го накараме да съдиѣ, а послѣ ще захванемъ русеката, та да можемъ да играмъ четворица. — Димо донеси карти!

Слугата донесе карти, игри масата взе чашигѣ и събѣжданицитѣ захванаха. Играта вървеше много мършаво. Очитѣ на играещитѣ бѣхж обърнати все кждѣ вратата. Всѣкой отъ тѣхъ погледваше, да ли не ще влѣзе сждията. Имниж се цѣлъ часъ въ тревожни очеквания.

— Его го най-сѣгнѣ, продума Сухобѣбиновъ, тѣй сдържано, тѣй легкичко, щото другаритѣ му разбрахж това повече огъ изржението на лицето му, колкото огъ думатѣ му.

Сждията отиде и сѣдиж при една незаета маса и поижка пиво. Играещитѣ се приструваха, че не го виждатъ. Тѣй прѣминж половинъ часъ. Тѣ играахж само за очи и испитвахж състоянието на котка, която се приближава къмъ минката и се обржца на страна, като че не ѣ види. Всѣкой отъ тѣхъ си мислеше: «Сега или никогѧ».

— Нищо нѣма да излѣзе отъ това, продума Мироновъ. Много добрѣ щѣхъ да направя, ако си идехъ да си работя.

— Имайте търпѣние, госнода, кѣза Сухобѣбиновъ. Вслчкѣйтѣ зоръ е да не ни заподозри.

Слѣдъ тѣзи думи той прибра всячкѣтѣ карти, обрра ги съ лицето кждѣ себе си, позамисли се, отдѣли и даде всѣки му по десетъ, двѣ остави настранж и промущиж: «хайде сега да играемъ само се върдете». — Играта се почнж и той извика тѣй високо, щото думитѣ му ги чухж всички, които бѣхж въ кафешето:

— Ти Калайджиевъ нѣмашъ хаберъ отъ игра, не знаешъ най-елементарнитѣ правила на играта, а си сѣдналъ да играешъ. Още веднѣжъ не сѣдамъ да играахъ съ тебъ, ако щѣшъ ме позлати.

— Напротивъ, извика Калайджиевъ, ти нѣмашъ хаберъ отъ игра. Тѣй ли трѣбваше да излѣзешъ? — Имашъ асо и дама. Не трѣбваше да излѣзешъ отъ никитѣ, а отъ купитѣ. Защо ти е онзи

пепелчугъ : седмица, десетвица, деветица и фанти? — Или искашъ да испуствнешъ Миронова, та на платжъ азъ играта? — Азъ хвърлямъ картитѣ.

— Карайте се, извика Мироновъ. Моята работа е сигурна. Осигурихте ми попа.

— Ама разбери ме, човъче божий, че нѣмаше отгдѣ другдѣ да излѣза. Помни си картитѣ. Послѣ ще ти посочжъ и моитѣ карти и ще видишъ, можахъ ли да излѣза отъ друго мѣсто.

— Правилото, господине мой, косто знахътъ и хамадете е : на играющия се пазява всѣкога съ най-малката карта отъ най-слабата боя. Разбирашъ ли?

Виковетѣ се усилвахъ. Вниманието почти на всички сѣдящи въ кафненото бѣ обърнато на масата, гдѣто сѣдѣхъ играещитѣ. Нѣкой даже дойдоха при тѣхъ и се захванъ дълга и широка расправия. Най-много крѣскаше Сухоѣжбиновъ. Едни отъ събравшитѣ се около масата намираха право на единиятъ, а други на другиятъ. Най-сѣтитѣ и сѣдията, като страстенъ играчъ, не може да се утърпи и отиде и той при масата на играещитѣ. — Очитѣ на Сухоѣжбинова блѣстнаха отъ радостъ. Той едвамъ се удържае и най-сѣтитѣ извика :

— Азъ некандисвамъ. Да си вземе всѣкой партитѣ и да изиграемъ отново сжщата игра. Само трѣбва да повикаме едниъ — двама добри играчи да гледатъ и да си кажатъ послѣ миѣнието. Ето азъ ще моля отъ моя страна Сарафова, каза Сухоѣжбиновъ.

— Азъ накъ ще викамъ отъ моя страна Кютукова, макаръ и да не играе отговори Калаижевъ.

— Ама майсторъ си намѣриль! Ха—ха! Той знае ли какво нѣщо е префа и какъ се държатъ картитѣ? — Какво отбара той? — Сарафовъ, Сарафовъ пѣка сѣдие да гледа. Той ги знае и ги играе. Майсторъ човкъ. На Кютукова му дай да сѣди при жена си да плете чорани. Я го попитай, защо се е зарѣкаль? Да ли за това, че ги знае много добръ?

— Бихъ ти показалъ азъ тебъ, какъ се играе, каза сѣдията, само едно ме спира. Ти знаешъ какъ игражъ, ама тѣй ти износи . . .

При изговарянието на тѣзи думи сѣдияти подмигнжъ нѣкакъ чудно съ едно око и се засмѣ самодоволно.

— Е, хайде, хайде ела сѣдни, ама при менъ, каза Сухоѣжбиновъ. Знамъ, че ги знаешъ тѣзи пустини. Нѣ ли съмъ ти чиракъ? — Само казвай право. Ама не побутвай никого съ кракъ. Този адетецъ си го имашъ. Не казвай картитѣ. Ти щомъ знаешъ картитѣ на едного, можешъ да не ги искажешъ, защото си като

пугавъ. Такава си ти е направата. Ако щѣшъ тѣй, сѣдни, ако ли не махвай се, че ще ни накарашъ да се испобиемъ.

— А, не щъ, не щъ. Богъ—душа. Зарекълъ съмъ се, отговори сѣдията.

— И тая добра, продума изчеливия обикновенно Мироновъ. Ако си се зарекълъ да не играешъ, че не си се зарекалъ и да гледашъ, кога играятъ. Тогави ти не трѣбна да влизашъ въ кафенето и, щомъ видишъ карти, трѣбна да бѣгашъ отъ тѣхъ като дявола отъ тамиянъ.

— Азъ предлагамъ експертитѣ да пиятъ по едно пиво отъ играта, каза Сухоѣжиновъ.

— Хубаво, отговориха и другитѣ двама играещи. Аджамията трѣбна да плати акълъ-шира си.

Слѣдъ това значителното число любопитни се разотидохъ При играющитѣ сѣднахъ Сарафовъ и Кютуковъ. Тѣмъ донесохъ два рома, понеже се отказаха отъ пивото. Играта се почна. Сухоѣжиновъ играше много лоше. Сѣдията хвана да го укорява и да се сърди. Почна се пакъ викъ и сърдия. Сухоѣжиновъ все нападнаше сѣдията и го прѣдизвиваше да се ангажира самъ за игра. Сарафова повикахъ другаритѣ му и той си отиде. Останаха само играещитѣ и Кютуковъ. Врѣмето минаваше, а играта все не се свършваше. Изведнѣжъ Сухоѣжиновъ станъ и заяви:

— Господа, ще излезъ малко по нужда. Ако обичате почекайте ме, ако ли не, помолете Кютукова да ме замѣсти, догдѣ се завърнъ. Той вѣрвамъ, ще се откаже, нъ нѣма право, защото ще играе не за себе си, а за менъ. Обѣщавамъ да дойдъ ей-сега.

— При все че за насъ не е все едно, защото той играе не сравнено по добръ отъ тебъ, азъ съмъ съгласенъ, каза Мироновъ. Само да не губимъ врѣме.

— И азъ съмъ съгласенъ каза Калайджиевъ.

— Вий сте съгласни, възрази сѣдията, ама азъ нѣма да сѣднъ да играя. Казахъ ви и прѣди малко Богъ-душа, а освѣнъ това съмъ се закълъ за дѣтето си.

— Никога не вѣрвахъ да чужъ отъ устата на единъ интеллигентенъ човѣкъ подобни глупости, каза станалиятъ вече на крака Сухоѣжиновъ. Азъ знамъ, че си се клѣлъ и другъ пътъ. Сполето ли те е нѣщо? — Прѣди се беше клѣлъ за жена си. Умрѣ ли? — Не станъ ли още по-здрава? — Да, и за очитѣ се бѣше клѣлъ. Какво имъ станъ, като наруши клѣтвата си? — Сѣдналъ си да дрънкашъ бабини деветни. Най-сѣтнѣ ти си мжжъ. Ако не играешъ, не пушишъ, и не пиешъ, вземи чорана на при женитѣ..

Тъй зеръ. Ти да си живъ — дѣтца доста. Пакъ и не играешъ за себе си, а за друго. Я сѣдни я, да се върши работа. Азъ ей сега ще дойдъ. Съ тѣзи думи Сухоѣжбиновъ излѣзъ.

— А, не щж, не щж, извика сѣдната. Богъ-душа, не щж.

— Я не ставай дѣге, ами сѣдни играй, извика Калайджиевъ. Какво си се разлигавилъ? — Пакъ и нѣма да играешъ за себе си. Ама, види се, те е страхъ отъ жена ти, да не те бие. Небой се. Ти нѣма да дойде. Сега е зима. Ще ли тръгне въ такова врѣме и нощемъ да те тръси по кафенетата?

— Бой се бой отъ жена си? — Азъ ли? — Ама сте хора! . . . Щомъ не иска човѣкъ да играе, тутакъ казвате че се билъ боялъ отъ жена си. Не щж и свършена работа. Казахъ ви че съмъ се зарекалъ.

— Ти кажи това другому, възрази Калайджиевъ. Знаемъ, че отъ клѣтва не се боишъ, защото много пхти си ъ погавалъ. Единственната причина е, че се боишъ отъ жена си. Не се сграхувай. Ако дойде ние ще те скриемъ и нѣма да ъ оставимъ да те бие. Хайде сѣдай да не губимъ врѣме.

— За да видите, че не ме е страхъ, ще сѣднъ, ама само догдѣто дойде онзи голакъ.

Раздадохъ картилъ и се почнъ играта. Минъ се половинъ часъ, а Сухоѣжбиновъ не се връщаше. Най-сетнѣ и той дойде, нѣ не сѣднъ да играе, а помоли сѣдната да довърши за него играта.

Кафенето захвана да опразнява полегка-легка. Сухоѣжбиновъ обиколи нощи всичкитѣ маси, смѣ се, закача сѣдницитѣ и прѣговори съ кафеджията.

— Знаете ли що, господа? — Извика той, като се завърна при играющитѣ. Хайдете да захванемъ нова игра, ама да играемъ четворица и безъ интересъ, или най-много на едно ниво или рахатъ — локумъ.

— А, не, остави се, остави се извика сѣдната. Ще си вървжъ, че ме чекатъ удома.

— Що ставашъ такъвъ бе Кютуковъ?! Извика Сухоѣжбиновъ. Ще играемъ една игра и свършена работа. Каго свършимъ ще си идемъ. Помисли най-сетнѣ и това: утрѣ замивашъ за С Ще ли бждемъ живи да се сберемъ, за да играемъ още веднѣжъ? — Да играемъ за послѣденъ нѣтъ и да си напоимъ минѣлитѣ дни.

— Добро, каза Мироновъ, ама само една игра, защото имамъ срочна работа.

— Не щж, каза сѣдната, че ще ме чекатъ.

— Е, харткъкъ ти си свършено диване, каза Калайджиевъ. Хайде върви да доплетешъ на жена си чорапа.

— А бе хора, ще ме вкарате въ пѣкоя беля . . . Хайде да да не ви скрпшх хатѣра, ще играж само една игра.

Раздадохх картитѣ и се почнх играта. Ти вървешо много жършаво. Всички рискувахх освенъ сѣдята. Той захванх да се сърди. Това забѣлѣзахх и другитѣ и се поразвеселихх. Сухоѣжбиновъ захванх да си потрива рѣцетѣ и пзвика :

— Госнода, тѣй не струва да се играе. Язжкъ за врѣмето. Ако е работата за пиво, ето го отъ ментъ. Ако губимъ врѣмето, да го губимъ съ полза. Прѣдлагамъ да захванемъ на малѣкъ интересъ : на единъ кантакузъ. — Щѣте ли ? Ако не обичате, азъ хвърлямъ картитѣ. Съгласни ли сте ?

— Съгласни, отговорихх двамата. Сѣдята се понамрѣжди малко, плювнх, нѣ не каза нищо.

Играта се почнх пакъ. Калайджиевъ и Сухоѣжбиновъ рискувахх. Сѣдята захванх да печали и се развесели. Очитѣ му забѣлѣстѣха и той захванх да погледва въ картитѣ на съсѣдитѣ си.

Играта не се довърши до края. Калайджиевъ станх и каза : « Азъ загубихъ. Ето кантакуза. Искате ли на единъ брадатъ ? » —

— Не щж каза Мироновъ. Азъ ще си вържъ.

— Ами зацо не почнемъ руската ? — понита Сухоѣжбиновъ.

— Добро, ама ако искате десетъ стотинки фисата отговори сѣдята съ тонъ на човѣкъ, който никога не може и да помисли, че ще може да загуби.

Почнх се сега сериозна игра. Всичкитѣ мълчехх. Отъ врѣме наврѣме извикваше пѣкой, който е забѣлѣзалъ нѣкоя неправилностъ въ играта.

Сѣмна се вече, а играещитѣ още не мислѣхх да се разотиджтъ. Тѣ бѣхх ѣ ударили на „мое-твое“.

Кафеджията станх отъ сѣнъ и ги помоли да прекъснатъ играта, защото ще вдигне пердегата и ще отвори кафенето. Написаха се три записа, които подписа сѣдята. — Спечелившитѣ платиха всичко на кафежията споредъ приетитѣ вече правила.

— Ако искашъ ела довечера да те отървемъ отъ фйтончето, каза Сухоѣжбиновъ на сѣдята. Зацо ще го карашъ тѣй далеко ? — Ний ще го приемемъ за 800 лева. Искашъ ли ?

— Подбивайте се сега, каза сѣдята. Азъ съмъ си кривъ.

Всички се разотидоха.

— Къдѣ ще се мжкнх азъ ? — си помисли сѣдята. Прѣди мжкахъ въ канцеларията, а сега ? — Нѣма се що. Що си вържъ, че нека става каквото ще. . . .

ПЪТУВАНИЕ ПО ХАРЦЪ.

(1824 год.).

Отъ Хейнрихъ Хейне.

(Прѣводъ отъ нѣмски).

Нищо не е тѣй постоянно, като непостоявството; нищо не е тѣй неизмѣнно, като смъртта. Всяко биение на нашето сърдце ни пробива нова рана, и животътъ би билъ вѣчно кръвопролитие, да не бѣше поезията. Тя ни дава, що природата ни отказва: златно врѣме, което не хваща рѣжда, пролѣтъ, която не прѣцѣвтава, безоблачно щастие и вѣчна младостъ.

Бьорне.

Черни фракове, чоранки,
Дрѣхы сирегнатото скроени,
Сладки думи и прѣгърждки —
Отъ сърдце сте сагъ лишени!

Отъ сърдце въ гърди да бие
Съ огънь истинско любовний;—
Ахъ, убива ме нацѣвѣтъ
На теглата ви лъжовни!

Ще да бѣгамъ въ планинитѣ,
Гдѣтъ се простъ животъ живѣе,
Гдѣтъ гърдитѣ дишатъ волно,
Гдѣтъ свободний въздухъ вѣе.

Въ планинитѣ, гдѣто сладко
Охолнитѣ птици пѣятъ,
Тъмни борове се вдигатъ,
Горди облаци се рѣятъ.

Сбогомъ лъскави жилища,
Лъскави мъже и дами!
Бѣгамъ ази въ планинитѣ —
Ще ви гледамъ съ смѣхъ отъ тамо!

I

Градътъ Гьоттингенъ, прочутъ по своитѣ наденици и унверситетъ, принадлежи на Ханноверскиятъ Кралъ; той има 999 огнища, различни черкови, едно повивално заведение, една обсерватория, единъ з-творъ, една библиотека и единъ градскій зомникъ, гдѣто има много добра бира. Течащата тука рѣчица се зове „Лейна“, и лѣтъ служи за къпанне; водата е много студена и на-мѣсга тѣй широка, щото Людеръ трѣбваше силно да се завгече за да я прѣскокне. Самий градъ е красивъ, и най е харезва, кога се обърнешъ къмъ него гърбомъ. Той по всичко е построенъ твърдѣ отдавна, защото си наумявамъ, че когато, прѣдя петъ години, азъ тамъ добивахъ матрикулъ, той вече имаше сжциийтъ сивъ, старчески-умень изгледъ и тѣй сжщо бѣше прѣвѣлненъ съ засѣдатели, пудели, диссертации, thés-dansants, перачки, копцендии, печени гълъби, гвелфски ордени, парадни кола, лули, хофрати, юстицрати, релегацноперати, профакси и други факси. Нѣкои увѣряватъ дори, че градътъ води своето начало отъ Прѣселението на народитѣ, че тогава всѣкий германскій клонъ е оставилъ тука по единъ разнебитенъ екземпляръ отъ своитѣ членове, отъ гдѣто и сж произлѣзли всички тие вандали, фризци, шваби, тевтони, сакси, тюринги и т. н., които и до день днешенъ на тѣлпи се расхождатъ въ Гьоттингенъ по Вендската улица и се различаватъ едни отъ други само по цвѣтътъ на своитѣ шапки и чубучки, вѣчно се биятъ по между си на кървавитѣ изборни мѣста: Разенюле, Ригшенкругъ и Бовденъ, въ животътъ си запазили сж обичаи и нрави отъ врѣмето на Прѣселението и се управляватъ часть отъ своитѣ воеводи, които наричатъ старши пѣтли, часть отъ своитѣ древенъ сводъ на закони, който се нарича Коментъ и заслужва да има мѣсто въ *legibus barbarorum*.

Жителитѣ на Гьоттингенъ изобщо се дѣлятъ на студенти, профессори, филистери и говеда, четири съсловия, строго раздѣлни едно отъ друго. Говедата сж най-значителното съсловие. Да ви привождаямъ тука имената на всички студенти, на всички ординарни и екстраординарни профессори, ще стане много дълго; при това, не всички студентски имена въ тоя мигъ ми дохождатъ на умъ, а пакъ между професоритѣ има мнозица, които още нѣматъ никакво име. Числото на Гьоттингенскитѣ филистери трѣбва да е много голѣмо, като пѣсъкътъ или, по-добрѣ да кажа, като калъта край морскитѣ брѣгове; и наистина, кога ги вида утрень съ тѣхнитѣ мръсни лица и бѣли смѣтки, всправени прѣдъ вратитѣ на академическото

управление, азъ едвамъ съмъ въ сила да проумѣя, какъ Господь е можалъ да създаде толкова бездѣлници.

По-пълни подробности за градътъ Гьоттингенъ могатъ се на-мѣри въ топографията върху същиятъ отъ К. Ф. Х. Маркъсъ. Макаръ че дължа много на авторътъ на това произведение, който е билъ мѣй докторъ и ми е направилъ много добрини, азъ не мога безусловно да прѣпоръчвамъ неговата книга и съмъ длъженъ да изрека порицание противъ него, защото той не е оборилъ достаточнo строго онова лъжовно мнѣние, че Гьоттингенскитѣ жени били имали извѣнмѣрно голѣми крака. Цѣла година азъ се занимавахъ съ сби-ране материали за да обора това мнѣние; по тая причина слушахъ курсъ на сравнителна анатомия, направихъ извлѣчения изъ най-рѣдкитѣ книги на библиотеката, по цѣли часове изучавахъ нозѣтъ на дамйтѣ, които минуватъ по Вендската улица, и въ осно-вателн -учената диссертация, гдѣго сж изложени резултатитѣ на тия наблюдения, азъ говора: 1) за нозѣтъ изобщо, 2) за нозѣтъ у дренитѣ, 3) за нозѣтъ на слоноветѣ, 4) за нозѣтъ на Гьоттин-генскитѣ жени, 5) обобщавамъ всичко, което се е приказвало върху тие нозѣ въ градината Улрихъ, 6) разгледвамъ тие нозѣ въ тѣхната цѣлостъ и по тоя случай се распространявамъ върху прасци, ко-лѣна и т. н., и най-послѣ 7), ако сполуча да начѣра достаточнo го-лѣмъ листъ хартия, азъ ще добавя къмъ мойгъ трудъ нѣколко картини, които да даватъ fac-simileго на нозѣтъ на нѣкои Гьот-тингенски жени.

Бѣше още много рано, когато оставихъ Гьоттингенъ, и на-вѣрно ученийтъ ** лѣжеше още въ лѣгло и, както обикновенно, съ-нува, че се расхожда въ прѣкрасна градина, въ чиито лѣхи на мѣсто цвѣтя растатъ бѣли исписани съ цитаги хартийки, които весело блѣстатъ на слънце, нѣкои отъ тѣхъ той откъсва и съ мѣка прѣ-сажда на нога лѣха; въ истото врѣме слави съ своитѣ сладки лѣсни радватъ неговото старо сърдце.

Прѣдъ Вендската порта срѣщнахъ двама малки мѣстни уче-ници, единийтъ отъ тѣхъ рече на другийтъ: «Азъ не ща да имамъ вече никаква работа съ Тодора; прѣдстави си, какъвъ е той негод-никъ, вчера не можа да каже родителнийгъ надежъ отъ *mensa*.» Колкото незначително и да звучатъ тие думи, азъ ги привождамъ тука и желалъ бихъ веднага да ги напиша връхъ портата за град-ско *мото*; защото малкитѣ подвиряватъ, както голѣмитѣ свиратъ, и тие думи напълно изображаватъ тѣснага и суха гордостъ на ви-сокоучената *Георгия Августа*.

Изъ пѣхтътъ духаше хладенъ утрененъ вѣтрець, птицитѣ пѣ

еха весело, и азъ малко-по-малко усѣщахъ себе си по-легкъ и по-весель. Азъ имахъ голѣма нужда отъ такова освѣжаванне. Дълго време азъ не бѣхъ излизалъ изъ оборъгъ на Пандектитѣ, римскиятъ казуисти бѣха ми покрили умътъ съ сива палчена мръжа, сърдцето ми като че ли бѣ притиснато между желѣзни параграфи на египетски юридически системи; въ ушитѣ ми все още непрѣстанно звѣнѣха Трибонианъ, Юстинианъ, Хермогенианъ, Думжерманъ, тъй щото азъ прѣехъ за издание *Coprus juris* една залабена двоица, ковто сѣдеха подъ едно дърво съ ржцѣ въ ржцѣ. Пятытъ захвана да става по-оживенъ. Минуваха млѣкарки, послѣ магаретари съ своитѣ сиви потомци. Задъ Венде срѣщнаха ме Шеферъ и Дорисъ. Това не е идилическата двойка, възпѣта отъ Геснера, но двоицата надзорници-недели на университетътъ, важни личности, които трѣбва да бдятъ да не славатъ дуели между студентитѣ въ Бовденъ и главно да не би нѣкой спекулативенъ приватъ-доцентъ да промъкне нѣкакви нови идеи, които все още трѣбна да пазятъ по нѣколко години карантинна прѣдъ Гьоттингенскитѣ порти. Шеферъ ме поздрави като колега, защото и той е като мене писателъ, често споменува за мене въ своитѣ полугодишни отчети, както често и цитира отъ мене, и винаги бива тъй любезенъ, щото, когато не ме намѣри дома, написва цитатата съ мѣлъ връхъ вратата на моята стая. Сегизъ-тогизъ минаваше талига, цѣла прѣтоварена съ студенти, едни отъ които заминуватъ за-прѣзъ ваканция, а други за винаги. Въ такъвъ единъ университетскій градъ става постоянно влизанне-излизанне: всѣки три години тамъ се появява ново поколение студенти. Това е вѣченъ потокъ отъ хора, една семестровавълна пропъжда друга; въ това всеобщо движение само старитѣ професори стоятъ твърди, непоколебими, като Египетски пирамиди, — само съ тая разлика, че подъ тве университетски пирамиди не се крие никаква мъдрость.

Изъ Миртовата горица при Раушенвассеръ азъ видѣхъ да излизатъ двама млади момци на конѣ. Една жена, която въ това мѣсто упражнява свойтъ хоризонталенъ занаятъ, дойде да ги испрати до пьлтътъ, стоваръ съ искусната си ржа единъ ударъ връхъ слабийтъ гърбъ на коня, и се вземя високо, когато единъ отъ всадницитѣ кавалерски я хлопна по сѣщото мѣсто съ камшикътъ си; отъ послѣ тя се ухити къмъ Бовденъ. Момцитѣ, обаче, тръгнаха къмъ Ньортенъ, пьтломъ си искаваха весели остроти или отъ все сърдце пѣеха пѣсенята на России: «Ший бира, мила, мила Лизо!» Тѣзи звукове все още се донасяха до мене отъ далечъ, макаръ че съвършено загубихъ отъ погледъ прѣкраснитѣ пѣвци, които ужасно-мушкаха и удряха коньегъ; послѣднитѣ, вижда се, бѣха надарени

съ чисто нѣмскій невъзмутимъ характеръ. Нигдѣ не знаятъ тъй да отдератъ кожата на единъ конь, като въ Гьоттингенъ; и често, кога виждамъ нѣкой клѣтъ дръглашъ, какъ се поти и съ каква мъжа си тѣтре краката, за да получи нищоженъ зобъ, що му даватъ Гьоттингенскитѣ всадници, които се обръщатъ съ него като съ мжченикъ и го каратъ да тегли цѣла талига, натѣпкана съ студенти, неволно ми иде на умъ: «О, нещастно животно, твоитѣ прародители въ райтъ безъ-друго сж ѣли отъ забраненитѣ овесъ!»

Въ гостинницата въ Ньортенъ азъ отново завтекохъ двамата момци. Едвннитѣ ѣдеше салатата отъ селедки, другитѣ прѣказваше съ жылотокожата слугиня, Фузия Канина, наречена тъй сжщо Стърчиопашка. Той ѝ каза нѣколко любезности, и най-послѣ работата дойде до сборичкване. За да улегча моята чанта, азъ измъкнахъ скрититѣ въ нея сини панталони, които въ историческо отношение сж доста забѣлѣжителни, и ги подарихъ на малкиитѣ слуга, когото викатъ Колибри. Въ това врѣме Буссеня, старата стопанка, ми донесе парче хлѣбъ съ масло, като се оплакваше, че сега тъй рѣдко съмъ я посѣщавалъ, защото тя много ме обича.

Задъ Ньортенъ слънцето се издигна високо на небото и го освѣти съ своитѣ лучи. То ми благоволеше и грѣеше ми главата за да дойдатъ моитѣ незрѣли мисли въ пълна зрѣлостъ. Не е за изхвърление и гостинницата «Слънце» въ Нордхеймъ, гдѣто съ влизането си азъ заварихъ вече обѣдтъ готовъ. Всички ѣстия бѣха вкусно изготвени и ми се харесаха по-вече, нежели безвкуснитѣ ѣстия на академическата готварница, безсолниитѣ, жилавъ штокфишъ съ старо зеле, които ни даватъ въ Гьоттингенъ. Слѣдъ като малко нѣщо поутоложихъ мойтъ стомахъ, азъ забѣлѣжихъ въ сжщата стая, гдѣто бѣхъ, единъ господинъ и двѣ дами, които се тѣкмеха да заминатъ. Тоя господинъ бѣ цѣлъ облѣченъ въ зелено; той носеше дори зелени очила, които хвърляха врѣхъ неговиитѣ мѣдно-червенъ носъ зеленосива сѣнка, и изгледваше като царъ Навуходоносоръ прѣзъ нослѣдитѣ си години, когато той, споредъ прѣданieto, като горскій звѣрь, не ѣдялъ нищо друго освѣнъ салатата. Зелениитѣ пожега, ако мога, да му прѣпорѣча добъръ хотелъ въ Гьоттингенъ, и азъ му посвѣтвахъ да поипта първиитѣ студентъ, който му се срѣщитѣ, за гостинница Брюбахъ. Една отъ дамитѣ бѣше негова сжируга, висока, обширна личностъ, съ образъ червенъ въ квадратна миля, съ ямци на странитѣ, които изгледваха като плювалници за богове, съ двойна обвиснала месеста брада, която като че ли образуваше едно грозно продължение на лицето, и съ високоиздигнати чурди, които съ своитѣ твърди дантели и изрѣзани

вратници, бѣха защитени като съ кули и зѣбци и приличаха на крѣпостъ, която безъ съмнѣние тѣй скъпо малко би могла да противостои на срѣщѣ на едно натоварено съ злато магаре, както и оне крѣпости, за които говори Филипъ Македонский. Другата дама, сестра ѝ, прѣдставляваше пълна противоположностъ съ токо-що описаната. Ако първата произлизаше отъ седемьтъ тучни крави на Фараона, втората безъ-друго водеше своето потекло отъ седемьтъ тощи. Лицето ѝ състоеше отъ уста върѣдъ двѣ уши, гърдитѣ отчаянно пустинни като Люнебургскитѣ поля; цѣлата изсѣхнала фигура наумяваше даровитѣ обѣдѣ на бѣднитѣ богословски студенти. Сжщеврѣменно двѣтъ дами ме запитаха, дали въ Брюбахската гостиница се спиратъ хора както-трѣбва. Азъ утвърдихъ това съ съвършено спокойна съвѣсѣ и, когато прѣкрасното трио се пушна въ нѣтъ, още веднаждѣ ги поздравихъ отъ прозореца. Гостеничарьтъ лукаво се хилеше и навѣрно знаеше, че Брюбахский хотель Гьоттингенскитѣ студенти наричатъ карцерьтъ.

Отвадъ Нордхеймъ мѣстността стана планината, и тукъ-тамъ се издигатъ прѣкрасни височини. Изъ нѣтътъ най-много срѣщахъ търговци, които отиваха на Брауншвейгскийтъ панаиръ, послѣ тѣлна жени, отъ които всѣка носеше на гърбъ по единъ голѣмъ, почти като къща, кафезъ, покритъ съ бѣло платно. Вжтрѣ бѣха затворени различни пѣящи птици, които безпрѣстанно пѣеха и цвѣрчеха, въ исто онова врѣме когато тѣхнитѣ носителки весело имъ втореха съ своитѣ разговора. Мина ми людешка мисль прѣзъ умъ, какъ тѣй едни птици носятъ други птици за проданъ на пазаръ.

Бѣ тъмна нощъ, когато стигнахъ въ Остероде. Никакъ не ми се ѣдеше и оидохъ тутакси да си лѣгна. Уморенъ бѣхъ, като куче, и снахъ, като богъ. Насѣнъ, азъ отново се навѣрихъ въ Гьоттингенъ и именно въ тамошната библиотека. Азъ стоехъ въ единъ кхтъ на юридическата зала, прѣбобръцахъ стари диссертации, задълбочихъ се въ четечие, а кога дигнахъ глава, очуденъ видѣхъ, че е насанала нощъ и че покачениѣ кристали полилеи освѣщаватъ залата. На ближията черкова часовникьтъ би тъкмо дванадесеть, залнитѣ врата тихо се раствориха и вжтрѣ встѣши една горда, гитантска жена, съ страхопочитание подирѣ ѝ слѣдваша членоветѣ и слушателитѣ на юридическиятъ факултетъ. Исполнителката жена, макаръ вече и на възрастъ, все още бѣ снизила на лицето си черти отъ строга красота, всѣкий ценитъ погледъ излаваше висока титанка, всеплатна Трояда; въ една рѣчка тя свободно държеше мечъ и кънопи, въ друга носеше пергаментовъ свитокъ, двама млади

доктори на правото носеха тренътъ на пейната сива, избѣлѣла дрѣха; отъ десната ѝ страна буйно подскачаше тънкийгъ надворенъ свѣтникъ Рустикусъ, Хаинверскиятъ Ликургъ, и декламираше изъ свойтъ новъ законопроектъ; отъ лѣвата ѝ страна любезно-мило накуцваше нейниятъ *cavalier-sergente* тайниятъ свѣтникъ Каяциусъ, и непрѣстанно отпущаше юридически остроти, и самъ надъ тѣхъ се смѣеше тѣй сърдечно, щото дори величественно-строгата богиня многократно съ усмивка се навожда къмъ него, потупва го по рамо съ голѣмийтъ пергаментовъ свитокъ и приятелски му пошепва: «Ахъ ти дребна, смѣшна тварь, ти що сѣчешъ дървото отъ върхътъ». Всѣкий отъ горнитѣ господиновци сега пристѣжни по-наблизу, всѣкий имаше по нѣщо да забѣлѣжи, надъ нѣщо да се посмѣе, да изкаже по нѣкоя новоиздѣлана сплетница или хипотезица, или подобно нѣкое недоносче отъ собствена глава. Чрѣвъ отворенитѣ зални врата влѣзоха тѣй също мнозина непознати господа, които възвѣстиха себе си за други велики мъже отъ истото славно съсловие, повечето кокалести, подозрителни хора, които завчасъ заопрѣдѣляха, заразличаваха и заоспорваха всѣкий дребенъ параграфъ изъ Пандектитѣ. И все продължаваха да дохождатъ нови личности, стари юрисконсулти въ старовръсско облѣкло, съ дълги, бѣли перуки и съ отдавна забравени образи, и ягко очудени, че никой не си дава трудъ дори да ги погледне, тѣхъ, високославнитѣ на истеклото столѣтие; и тѣ посвоему се присѣдиниха къмъ всеобщийтъ говоръ, писъкъ и викъ, послѣднийтъ растеше като шумъ на море, все по-високъ и оглушителенъ, и обгърна величавата богиня, която най-послѣ загуби търпѣние и ненадѣйно извика съ гласъ на ужасна исполненска мъка: «Млъкнете! млъкнете! Азъ чувамъ гласътъ на съжиоцѣннийтъ Прометей; ненавистна сила и слѣна злоба държатъ невинийтъ мъченикъ прикованъ къмъ скала; и всички ваши свади и блудословия не могатъ да угасятъ огньтъ на неговитѣ рани, ни да разбиятъ неговитѣ вериги.» Това изговори богинята и потоци слъзи бликнаха изъ нейнитѣ очи, цѣлото сборище занѣ, като обзето отъ смъртенъ страхъ, покривтъ на залата се потърси, книгитѣ попадаха отъ своитѣ лавици, напраздно старийтъ Мюнххаузенъ изстѣпяше изъ своитѣ рани за да вдворн тишина, шумътъ ставаше все по-дивъ и по дивъ, — и най-послѣ за да се спася отъ тоя яростенъ безуменъ крѣсъкъ, азъ избѣгахъ въ историческата зала, въ она всемилостивъ кѣтъ, гдѣто едно до друго сж исправени свещенитѣ изображения на Аполлошъ Белведерскій и Венера Медичейска, и като припаднахъ у нозѣтъ на богинята на Красотата, въ нейното лицезрѣние азъ забравихъ ужас-

нийтъ тропотъ, отъ който сполучихъ да се отърва, очитѣ ми съ упоение ниеха вѣчното сочетание и грация на нейнитѣ благословени форми, гръцко спокойствие проникна въ моята душа, а надъ главата ми, като небесна благодать, Фебъ Аполлонъ изливаше най-сладки звукове отъ своята лира.

Азъ се пробудихъ и омайната музика още ечеше въ ушитѣ ми. Сгада искаряха на наша и тѣй звѣнтеха тѣхнитѣ звънци. Лучитѣ на драгото златно слънце се промъкнаха чрѣзъ прозорецѣтъ и освѣтиха картинитѣ по стѣнитѣ на стаята. Тѣ изображаваха епизоди изъ войната за Независимостъ и правдиво прѣдаваха, какъ всички ние сме били герои; послѣ вървеха различни казни изъ врѣмето на революцията, Людовикъ XVI на гилъогина, и подобни кървави сцени, на които чловѣкъ не може да погледне, безъ да благодари Бога, че спокойно си спи на лѣглото, че ние добро кафе и че усѣща главата си твърдо да стои на рамената.

Слѣдъ като пихъ кафе, облякохъ се, исчетохъ всички надписи по прозорцитѣ, расплатихъ се по смѣтката въ гостинницата и оставихъ Остероде.

Тоя градъ има толкова и толкова къщи, различни обитатели, между които и нѣколко души, за което по-точно свѣдѣния можете да получите въ „Гжководството за пътующитѣ по Харцъ“ отъ Готтиналкъ. Прѣди да се пустина по голѣмийтъ пѣтъ, азъ се качихъ на развалинитѣ на старата Остеродска крѣпостъ. Тѣ се състоятъ само отъ половината на една голѣма кула, чинто дебели стѣни като че ли сж разбдени отъ ракъ. Пѣтътъ, койго води къмъ Клаусталъ, ме караше да се качвамъ все пакъ на горѣ, и на първата височина азъ можахъ да хвърля още единъ погледъ назадъ въ долината, гдѣто се подаваше Остероде съ своѣтъ червени покриви верѣдъ зелени елови гори, като тредафиля отъ мѣхъ. Слънцето мѣгаше отгорѣ му мила, привѣтлива свѣтлина. Отъ тука се вижда все още величавата задня часть на запазената половина отъ кулата.

Въ тая часть на Харцъ има още много други развалини отъ укрѣпени замъци. Харденбергъ, при Ньортенъ, е най-хубавата. Ако чловѣкъ има сърдце отъ лѣвата си страна, либералната, както се и изисква, той не може да се отбрани отъ елегическо чувство при изгледѣтъ на тие свити въ скали гнѣзда, убѣжаша на нѣкогашни привилегаровани хищни птици, които въ наследство на своето слабо потомство сж оставили само грамаденъ апегитъ. Въ таково настроение бѣхъ и азъ тая утрень. Колкого по-вече се отдалечавахъ отъ Гьоттингенъ, толкова въ мене по-вече се пробуждаха стари мои чувства, обзе ме, като нѣкога, романтическии духъ и още изъ пѣтя азъ съставихъ слѣдующата пѣсенъ :

Отвори се врата на сърдцето!
Подигнете се стари греди!
Нека чудно да бликнатъ на явѣ
Сладки пѣсни, тжжовни съззи.

Между борове тъмни ще ходя,
Гдѣто шумния изворъ се лѣй,
Гдѣт' се горди елени разхождатъ,
Гдѣто дроздътъ прѣхласнато пѣй.

Ще се кача на връхъ планинитѣ,
Надъ скалиститѣ тамъ стрѣмнини,
Тамо гдѣто се утрень тъмнѣятъ,
Отъ отколешенъ замкъ съспини.

Тамъ безмълвно азъ сѣдамъ и спомнямъ
За изчезнали вече старини,
Поколѣния стари цвѣтущи
И величье на прѣжнитѣ дни.

Съсъ трѣва е турнирътъ обрасалъ
Гдѣто билъ се е гордийтъ мжжъ,
И награди, за свойтѣ побѣди
Въ бой, добивалъ е той неведнжжъ.

Въвъ брашлянъ е обрасалъ балконътъ
И понинѣ едвамъ той личи,
Гдѣт' прѣкрасната дама героята
Побѣждавала съ свойтѣ очи.

Но и него и нея отдавна
Е смъртъта побѣдила вече. . . Ахъ,
Онзи скелетенъ рицаръ съ косата
Всички хора низвъргва въвъ прахъ!

Слѣдъ малко ходъ азъ се съставихъ съ единъ младъ пжтешествующъ занаятчия, който идеше изъ Брауншвейгъ и ми прѣдаде тамошенъ слухъ, че младийтъ херцогъ по нхтя къмъ обѣгованата земя билъ хванатъ отъ турци и че можалъ да се освободи само съ голѣмъ откупъ. Дългото пжтувание на херцога, вижда се, е дало поводъ за тая легенда. Народътъ все още е запазилъ оная сла-

бостъ къмъ басни и прѣдания, която прѣкрасно се изражава въ неговиятъ „Херцогъ Ернестъ“. Разказвачътъ на горния новина бѣше шивачъ, дребенъ, обиченъ человекъ, но тъй тънъкъ, щото чрѣзъ тѣлото му можеше да се види мъждението на звѣздитѣ, както чрѣзъ мъгливитѣ духове на Оссиана; всичко въ неговата фигура прѣдставяваше чудна смѣсъ отъ добро расположение и скръбъ, свойственна на националниятъ характеръ. Това особенно се проявяваше въ смѣшно-трогателниятъ начинъ, по който той пѣше прѣкрасната народна пѣсенъ: «Брѣмбаръ сѣди на стоборъ, зумъ, зумъ, зумъ!» У насъ нѣмцитѣ винаги е така: нѣма ни единъ таквъ лудъ, който да не намѣри другъ по-лудъ да го разбере. Само нѣмецъ може да прочувствова тая пѣсенъ и при това да се смѣе и да плаче до умора. Тука забѣлжихъ азъ, колко дълбоко е западнала рѣчъта на Гюте въ животътъ на народа. Мойтъ тънъкъ съпътникъ наврѣмени тъй сжщо тънаникаше: «Тъженъ ли си, веселъ, мислитѣ текатъ свободно.» Иска той и пѣсенъ, гдѣто «Лотхенъ у гроба» свойтъ Вертеръ жали. Шивачътъ истече отъ чувствителность при думитѣ: «Осамотена, азъ плача възъ розовиятъ храстъ, гдѣто крсно милии мѣсець ни издебваше; отчаянна, се скитамъ край сребърниятъ изворъ, свидѣтель на нашитѣ безъ-четъ услади». Но скоро той отново се развесели и ми зараспави: «Въ гостинницата Кассель има единъ прусакъ, който самъ знае да съчинява такива пѣсни; той не е способенъ единъ свѣсенъ бодъ да бодне, но, ако му попадне единъ грошъ въ джебъ, завчасъ у него се ражда за два гроша жажда, а кога се напие, той приема небото за синя дрѣха, и съзлитъ му текатъ, като вода изъ желѣбъ, и пѣе пѣсни съ двойна поезия!» Азъ поискахъ да ми обясни послѣдното изражение, но мойтъ мѣничекъ шивачъ съ своитѣ тънички козьи крачица мѣтна се тамъ-самъ, и най-послѣ грѣмогласно рѣши: «Двойната поезия е двойна поезия!» Послѣ азъ успѣхъ да разбира, че той подразумѣва стихове съ двойни ритми, а именно станси.—Между това, отъ чрѣзмирно много движени и отъ противниятъ вѣтъръ, мойтъ рицаръ на иглата се умори. Наистина, той направи нѣколко усилва да върви напрѣдъ и високо се насърдаваше: «Видяшете какъ съ единъ махъ ще измина нѣтътъ!» Обаче, той не закѣсни съ жалби, че нозѣтъ му отдолу се били испричили и че свѣтътъ билъ много обширенъ; и най-послѣ, при стволътъ на едно дърво, полегичка се сгъркулна на-земъ, поклати нѣжната си главица, като опашка на нажалено ягце, и съ скръбна усмивка извика: «Ето те, мършо, пакъ съ прѣбити крака».

Тука планинитѣ станаха по стрѣмни, отдолу елови гори се-

вълнуваха, като зелено море, а по синьото небо се гонеха бѣли облаци. Еднообразното и простотата на мѣстносттата умягчават нейната дивотия. Като добъръ поетъ, природата не обича рѣзки прѣходи. Облацитъ, каквито чудни очертания по цѣлогажъ и да приематъ, все носятъ единъ бѣлъ или всѣкога меккъ отцвѣтъ, който хармонира съвършено съ синьото небо и зелената земля, тъй щето всички цвѣтсе на една мѣстность, като звуковетъ на тиха музика, се сливатъ въ едно, и всѣко зрѣлище въ природата дѣйствува успокоително върху умътъ и благотворно върху нашата душа. — Пойнний Хефманъ безъ друго щеше да измудри цѣстри цвѣтове за испиванне на облацитъ. — Тѣй сжцо като великъ поетъ, природата знае съ най-дребни срдѣтна да произвожда най-голъми ефекти. Тя неотмѣнно си служи все само съ едно слънце, дървета, цвѣтя, вода и любовь. Разбира се, ако послѣдната липсва въ срдцето на зрителя, всичко ще добие твърдѣ нещастенъ изгледъ, тогавъ и слънцето има толкова и толкова мили диаметръ, и дърветата не сж за нищо друго освѣтъ за горенне, цвѣтата за да се подраздѣлятъ на класове споредъ твичинки, и водата се прѣдставлява само като мокрота.

Едно малко момче, което сбпраще за свойтъ боленъ стрѣла сжлти въз герата, ми посочи селото Леррбахъ, чийто малки къщици съ сини покриви се разпростираха на половина часъ по долината. «Тамъ живѣятъ, каза то, глауви гушави хора и бѣли негрѣ.» — съ послѣдното име народътъ нарича албиноситѣ. Между момчето и дърветата сжществуваше пълно споразумѣние; той ги поздравляваше като добри познайници, а тѣ съ шумоление като че ли отговаряха на гетевий поздравъ. То подсверваше като кесъ и птицитѣ на-около му се отзоваваха съ цѣсни в, безъ азъ да забѣлѣжа, то мигомъ печесна въ гжсталактъ съ своитѣ боси крачка и вързопъ сжчка. Дѣцата, си мислехъ азъ, сж по-млади отъ насъ и могатъ още да си наумяватъ за онова врѣме, когато сж били дървета или птици, и за това сж въ стостояще да ги разбиратъ; ние пакъ сме стари вече и главата ни е прѣбълнена съ толкова грижи, юриспруденция и лени стяхове. И при моето встѣпване въ Клаусталь живо ми дойде на умъ онова врѣме, когато и за мене всичко бѣ друго-яче. Въ тоя чистичекъ планенский градецъ, който челоубъ не забѣлѣзва прѣди да наближи токо до него, азъ стигнахъ тъкмо, когато бевне дванадесетъ часа и дѣцата на весели купчини изли-заха въз училището. Тѣ бѣха милички, почти всички съ алени страни, сини очи и ленини коси; подскачаха, ликуваха и будеха въ мене болѣзненно-радостни спомени, какъ и азъ нѣкога си бѣхъ

малко момче, какъ цѣла прѣврасна утрень не можехъ да мръдна отъ дървената лавица въ училището на католическии монастырь въ Дюсселдорфъ, колко латински, бой и география трѣбваше да издържа, и какъ тѣй сжщо безмърно ликувахъ и се радвахъ, кога най-сѣтнѣ старийгъ францисканскии часовникъ ударише дванадесеть. По мояга чанта дѣцата разнознаха, че съмь чужденецъ и твърдѣ дружелюбно се раскланяха съ мене. Едно отъ момчетата ми расправи, че тѣ токо-сега имали урокъ по Законъ Божий, и ми показа Кралевскии Ханноверскый Катихизисъ, по койго имъ прѣ подаватъ. Тая книжица бѣше много лошо напечатана и азъ се боя, да не би вѣроучението отъ това да произвожда неприязненно попивателно-хартийно впечатлѣние врѣху дѣтскитѣ умове; ужасно не ми се хареса и опова, че таблицата на умноженнето е свързана съ учението за Св. Троица и е напечатана въ сжщийтѣ Катихизисъ, именно на послѣдняята му страница, чрѣзъ което у дѣцата вече отъ рано могатъ да се породятъ грѣховни смѣнѣния. Тѣй като въ Пруссия ние сме много по-умни, въ нашето рвенние да оправяме оние хора, които и безъ това тѣй добрѣ разбираатъ отъ смѣтанье, ние се пазимъ да нечатаме таблицата на умножение отзадъ Катихизисетъ.

Азъ пладнувахъ въ Клаусталъ въ гостинница „Курна“. Ъдохъ супъ съ зеленъ като пролѣтъ масданосъ, теменужно синьо зеле, печено отъ теле, голѣмо като Чимборасо въ миниатюра, а тѣй сжщо и единъ видъ пушена риба, която наричатъ букингъ, по името на нейнийтѣ изнамѣрвателъ, Вилхелмъ Букингъ, умрѣлъ въ 1447, заради което изнамѣрвание Карлъ V толкова го е почиталъ, щото прѣзъ аппо 1556 лично е отпжтувалъ отъ Мидделбургъ въ Биевлидъ, въ Зеландия, и то само за да види гробътъ на тоя великъ мѣжъ. Какъвъ всхитителенъ вкусъ има таково едно ѣстие, особенно като му знаешъ историята и самъ го унищожавашъ! Само се лишихъ отъ кафе слѣдъ ѣденне, по причина на единъ младъ можкъ, който дойде да сѣдне възъ мене и се пушна въ такова отчаянно разглаголствование, щото млѣкото на масата се вкисна. Той бѣ единъ младъ разносвачъ-търговецъ, съ двадесеть и петъ шарени жилети и съ толкова златни висулки, прѣстени и карфици за вратовръзки, и т. н. Той изгледваше, като маймуна въ червенъ сюртукъ, която сама на себе си казва: дрѣхитѣ правятъ челоуѣка. Той знаеше купъ шаради и анекдоти, които приплаташе все не на мѣсто. Той ме попита най-сѣтнѣ, що ново има въ Гьоттингенъ, и азъ му расправихъ: че прѣди да трѣгна, Академическии Сенатъ издаде приказъ, забраняющъ подъ страхъ на три талера

глоба, да се не рѣжатъ опашкитѣ на кучетата, защото бѣснитѣ кучета държатъ опашка по между краката си и по тоя бѣлѣгъ ги различаватъ отъ не бѣснитѣ кучета, което нѣма да бѣде възможно, ако тѣ нѣматъ опашки — Подирь това азъ трѣгнахъ да разгледамъ рудницитѣ, срѣбърнитѣ литийници и монетнийгъ дворъ.

Изъ литийницитѣ трѣбваше да се задоволя, както много пжти въ живота си, само съ лицезрѣние на срѣброто. Въ монетнийгъ дворъ бѣ нѣкакъ по-добрѣ и можахъ да видя, какъ се правятъ пари. Разбира се, азъ никога нѣма да ида по-надалечъ. Въ подобни случаи азъ всекога имамъ само зрѣние, и съмъ увѣренъ, че дори да бѣше завалилъ дъждъ талери отъ небото, пакъ щѣхъ да добия само дупки въ главата, когато дѣцата на Израеля съ весело надпрѣварване щѣха да сбиратъ срѣбърната манна. Съ особенно чувство, гдѣто комически се сливаха страхопочитание и вълнение, азъ разгледахъ новороденитѣ лѣскави талери, зехъ въ ржка единъ, който идеше тъмно отъ кжционитѣ и се обърнахъ къмъ него съ рѣчь : «Младий талере! Какви ли сждбини те очакватъ! Колко ли добрини и злини ще прѣдизвикаш! Колко ли пжти ще закрлявашъ порокътъ и ще осквернявашъ добродѣтеля! Колко едно по друго ще бивашъ обикнатъ и намразенъ! За извършване на колко ли излишества, мерзости, измами и убийства ти ще спомогнешъ! Какъ ти безъ почивка ще се скиташъ, чрѣзъ чисги и мръсни ржцѣ, по цѣли стогини години, догдѣ най-послѣ, прѣтоваренъ отъ зини и уморенъ отъ грѣхове, се присъединишь къмъ твоятѣ събратия въ лоното на Авраама, който ще те хвърли въ плавиныйгъ котелъ, ще те очисти и прѣдизвика къмъ новъ по-добъръ животъ, и може би ще направи отъ тебе безобидна чайна лжжичка, съ която нѣкога мойгъ пра-правнукъ ще си сърба сладка кашчица.

Посѣщението на двата най-главни рудници въ Клаусталь, «Доротей» и «Каролина», прѣдставлява таквъ интересъ, щото трѣбва обстоятелно да ви го разскажа.

На половина часъ разстояние отъ градътъ стоятъ двѣ голѣми възчерни сгради. Тамъ веднага ви посрѣщатъ рудари. Тѣ сж облѣчени въ тъмни, обикновенно тъмно-сини, широки жакети, които имъ низпадатъ почти до колѣнитѣ, въ панталони отъ сжщий цвѣтъ, кожана отзадъ свързана прѣстилка и малка, зелена шапка, свършенио безъ краища, като срѣзана глава захаръ. Посѣтителгъ обличатъ въ подобенъ костюмъ, съ исклучение на кожаната прѣстилка, тогава нѣкой рударъ, слѣдъ като запали своята лампа, го води къмъ едно тъмно отверстие, което изгледва като пещна тржба, слуща се на долу до гърди, дава на съпжтника си наставления,

какъ да се държи за стълбата и го моли безболезнено да слѣдва подирѣ му. Сама по себе си тая работа не е твърдѣ безопасна, но отъ начало никому и прѣзъ умъ не минува за нѣкакво прѣмеждие, особено който нищо не отбира отъ рударското дѣло. Макаръ и то вече да прави извѣстно впечатлѣние, че всѣкий е длъженъ да се прѣсѣбѣче и да натѣре костюмъ, който като че ли ви прѣсѣбѣща на прѣстѣвникъ. И при това работата дохожда до лезение, а мрачната думка е тъй черна, та и Господъ знае, колко може да е дълга стълбата. Скоро, обаче, се вижда, че тая не е единственната, изходяща въ мрачната вѣчностъ стълба, но че такива има нѣколко съ по петнадесетъ-двадесетъ стѣпала, отъ които всѣка води къмъ едно малко местце, гдѣто человекъ може да се поспре и отъ гдѣто нова думка открива нова стълба. Азъ най-напрѣдъ се спуснахъ въ Каролина. Това е най-мръсната и най-неприятната отъ всички Каролини, които нѣкога съмъ виждалъ. Стѣпалата бѣха клевани, кални. Отъ една стълба прѣминувахъ на друга, съ водачъ на прѣдъ, който не прѣставаше отъ да ме увѣрjava, че нѣмаю нѣкаква опасностъ, че трѣбвало ягката съ ржцѣ да се държа за станиалата и да не гледамъ на-долу подъ нозѣтъ, за да не ми се явне свѣтъ, да се не опирамъ о събѣдната дѣска, край която съ скрептелте потерета на-горѣ се издигатъ бѣчви, и че тамъ прѣди двѣ годѣни единъ неоприданливъ человекъ билъ се струполилъ и си стресилъ врата. Отдолу се донася неясенъ шумъ и кѣтнение, постъпено се катѣвашъ на греди и възжа, които сж въ движение, за да изкачватъ или бѣчви съ руда, или водата, която пробива стѣнитѣ. Наврѣмени стеганъ въ издѣлбани ходове или галлерии, гдѣто человекъ вижда какъ «расте» рудата, гдѣто осамотенъ рударъ крикарва цѣлъ день и съ голѣма мѣка изсича съ брадва кѣсове руда отъ земята. Азъ не слѣзохъ до крайнитѣ дълбочини, гдѣ споредъ увѣригашето на нѣкои, е можало вече да се чуе, какъ въ Америка викатъ: «Да живѣе Лафайетъ!», исповѣдвамъ, между насъ, че мѣстето, гдѣто се сиряхъ, ми се стори да е доста дълбоко, поради неговето безпрѣкъснато ехтение и кѣтнение, съ таинствено движенье на машини, подземни извори, отъ вси страни пробиваща се вода, постоянно издигающа се отъ земята пара и рударски лампи, чиято свѣтлина все по вече и по-вече става блѣда върѣдъ самотията на нещѣта. Навестина, всичко това бѣ олушително; азъ и чнахъ съ мѣка да денямъ и едвамъ се удържахъ връхъ лѣзгавитѣ стѣпала. Въ сжщностъ, азъ не испитахъ пристѣпъ, на тъй нареченъ, страхъ, но чудно е, че тамъ долу въ дълбочинитѣ на земята наумихъ си, че миналата година, почти въ исто врѣме, азъ

прѣкарахъ буря на Сѣверно море и сега си мислѣхъ, колко чудно хубаво е, кога корабътъ се люлѣ на вси страни, вѣтърътъ пѣе своитѣ най-бујни пѣсни, и въ това врѣме се чуватъ весели кликове на матроси, и всичко се кѣпе въ Божийтъ чястъ, свободни въздухъ. Да, въздухъ! — Отъ жажда за въздухъ азъ се пустиахъ отново на-горѣ и изминахъ толкова стѣпи, и мойтъ водачъ ме отведе изъ една тѣсна, твърдѣ дълга галлерей въ рудникътъ Доротея. Въ нея е по-весело и по-леко за дишане, и сгълбитѣ сж по-чисти, макаръ и да сж по-дълги и стрѣмни отъ оние на Каролина. Тукъ нѣкакъ и по-добрѣ ми бѣше на душата, особено вато съзрѣхъ слѣди отъ живи хора. На дѣното се движиха самитамъ свѣтли точки, то бѣха лампи на рударитѣ, които сегизтогизъ се искачваха на-горѣ и любезно ни привѣтствуваха; отъ наша страна и ние ги испрацахме съ истий поздравъ. И невѣлно въ умътъ ми изниква тихъ и същеврѣменно скърбно-загадоченъ споменъ, какъ срѣщахъ тѣхнитѣ ясни и умислени погледи, строго набожни, малко нѣщо прѣблѣдѣли, освѣтени отъ таинственогo мъждение на рударскитѣ лампи образи, на всѣчки тие млади и стари мъже, който прѣкарватъ цѣль день въ тъмнитѣ мрачии осамотени ями и сега съ нетърпѣние се стремагъ на-горѣ да видятъ дневната свѣтлина и очитѣ на своитѣ жени и дѣца.

Мойтъ водачъ самъ бѣше отъ оние честни натура, които наумяватъ пуделитѣ. Съ искрення радостъ той ми показа онова мѣсто, гдѣто Херцогъ Кембриджскій, прѣзь своето посѣщение рудникътъ, е обѣдвалъ заедно съ цѣлата еи свита и гдѣго още стои дългата дървена трапеза, а тѣй сжщo високийтъ столъ отъ руда, на който е сѣдѣлъ Херцогътъ. Последнийтъ щѣлъ да се запази за вѣченъ поменъ, добави добрийтъ рударъ, и пламени ми расправи, колко празнества сж станали по оноза врѣме, какъ цѣлата галлерей била обикчена съ свѣтилици, цѣбти и зеленина, какъ единъ младъ рударъ свирилъ на цитра и пѣлъ, колко наздравци напилъ задоволенийтъ, обожаемъ, дебеть Херцогъ, и какъ всички рудари, а особинно той самъ, бали готови живого си да положатъ за драгийтъ, дебелъ Херцогъ и цѣлийтъ Ханноверскій домъ. Дълбоко съмъ покъртенъ всѣкий пѣлъ, кога видя, какъ това чувство на всеподданническа вѣрностъ се изражава въ негови протъ естественъ языкъ. То е таково прѣкрасно чувство! И таково исто цѣмско чувство! Други народи могатъ да бждатъ по-искусни, по-остроумни и по-весели отъ насъ, но никой не е тѣй вѣренъ, като вѣрнийтъ нѣмскій народъ. Да не знаехъ, че вѣрностгята е стара каго свѣтътъ, безъ друго щѣхъ да помисля, че ти е полу-

чила начало отъ нѣкое нѣмско сърдце. Нѣмска вѣрность! О, тя не е вчерашна, нито пакъ е нѣкаква нова риторическа фигура. Въ вашитѣ дворове, о вие, нѣмски князѣ, трѣбва да пѣте и пакъ, и пакъ да пѣте пѣсенъта за вѣрнийтъ Екартъ и за злийтъ Бургундъ, който накаралъ да умъртватъ дѣцата на Екарта и все той му останалъ вѣренъ. Вие владѣете най-вѣрнийтъ народъ и се заблуждавате, ако мислите, че старото вѣрно и благоразумно псе изведнаждъ е побѣсняло и посяга къмъ вашитѣ свещени прасци.

Като нѣмската вѣрность, малката рударска лампа, безъ особено силенъ блѣсъкъ, мирно и сигурно ни изведе на-видѣло чрѣзъ лабиринтъ ями и ходове; ние излѣзохме отъ задушнийтъ подземень иракъ, блѣсна свѣтлината на слънцето — на добъръ часъ!

По-вечето рудари живѣятъ въ Клаусталъ и въ съединенийтъ съ него рударскій градецъ, Целлерфелдъ. Азъ посѣтихъ мнозина отъ тие добри хора, разгледахъ тѣхната скромна покѣщнина, чухъ нѣкои тѣхни пѣсни, които тѣ хубавко си пригласяятъ на цитра, любимийтъ имъ инструментъ, чакахъ да ми въприкажатъ тѣхнитѣ стари легенди, а тѣй сѣщо да изчетатъ молитвитѣ си, което тѣ въвриватъ обикновенно всички събрани купомъ, прѣди да се спуснатъ въ ирачните подземелия,—и повече отъ една отъ тие прѣкрасни молитви, азъ възнесохъ къмъ Бога заедно съ тѣхъ. Единъ старъ рударъ дори ме канеше да остана при тѣхъ и да заловя самъ тѣхнийтъ занаятъ; а когато най-послѣ на трѣгване зимахъ ебогомъ отъ него, той ми даде поржчка за брата си, който живѣе близу до Госларъ и ме моли нѣколко пѣти да цѣлува за него малката му гиздава племянница.

Болкото неподвижно-спокоенъ и да се струва животътъ на тие хора, той все пакъ е истинскій, живъ животъ. Окаменѣлата вече отъ старость, треperiaща жена, която заварихъ въ хижата сѣднала задъ пещъта, срѣщу голѣмитѣ ракли, трѣбва цѣло половинъ-столѣтие тѣй да сѣди, и нейнитѣ мисли и чувства на вѣрносе съграсли съ всички жлове на тая пещъ и съ всички изрѣзци на тие ракли. И ракли и пещъ сѣ живи, защото челоуѣкъ имъ прѣдава часть отъ своята душа.

Само благодарение на такъвъ съзерцателенъ животъ, на такъва „непосрѣдственность“ сѣ произлѣзли нѣмскитѣ приказки, които отличителни черти състоятъ въ това, че не само животнитѣ и растенията, но дори на гледъ съвършено безжизненни прѣдмѣти, говорятъ и дѣйствуватъ. Прѣдъ спокойнийтъ, потъналъ въ свои мисли народъ, въ неговитѣ тихи, планински или горски низки хижи се е раскривалъ вътрѣшнийтъ животъ на тие прѣдмѣти; послѣднитѣ

сж добивали съответственъ пригоденъ характеръ, сладко смѣшение отъ фантастически капризи и чисто чловѣчески наклонности; и по тоя начинъ въ приказката нве срѣщаме много чудесни нѣща, но които ни| се прѣдставятъ, като съвършено естествени: игла и карфица излизатъ изъ стаята на шивачътъ и се изгубватъ въ шракътъ; сламка и въгленъ искатъ да прѣгазатъ чрѣзъ потокъ и се удавятъ; лопата и метла, исправени на стълбата, се каратъ и биятъ; по желание огледалото показва изображението на най-прѣ-красната жена; дори капка кръвъ захваща да говори страшни, мра-чни думи на ужасающе страдание. — На това основание наший животъ въ дѣйствиство е тѣй безконечно-пълненъ съ значение, въ оние врѣмена всичко за насъ е еднакво важно; ние слушаме всич-ко, гледаме на рсичко, всички наши впечатлѣния иматъ равна шѣра, а пакъ по-късно ние ставаме по-подозрителни, занимаваме се по-исключително съ едно нѣщо, мжчително промѣняме чистото злато на наблюдението за хартийна цѣбностъ на заимствования изъ книги опрѣдѣления, и наший животъ печели въ широчина онова, което губи въ дълбочина. Тогава, споредъ насъ, ние сме израснали, станали славни хора; често се мѣстимъ отъ жилище въ жилище, слугвня ни прибира всѣкий день и размѣстя по свое щенне мобилнѣ, които за насъ сж отъ малкъ интересъ, длаи за-щото сж нови, или защото днесъ принадлежатъ на Ивана, а утрѣ на Тодора; смитѣ наши дрѣхи сж чужди за насъ, ние едвамъ знаемъ, колко копчи има скортукитъ, който сега е на гърбътъ ни; ние мѣняваме възможно често облѣклото си, тѣй щото ни една не-гова часть вѣма никакъо отношение къмъ нашата вътрѣшна и външна история; — на сила можемъ си припомним, като какъ из-гледваше она кафявъ жилетъ, който нѣкога ни е правилъ толкова смѣхъ и на чийто широки рѣзки, обаче, тѣй любовно е почивала любима ржа.

Старата жена срѣшу раклитѣ, задъ пещъта, носеше рокля на цвѣтыца, отъ избѣгълъ платъ: свадѣбното облѣкло на по-койната си майка. Нещъ прави укъ, облѣчено като рударъ, русо съ огнени очи момче, сѣдеше у нозѣтѣ ѝ и прѣброяваше цвѣтыта по нейната дрѣха, а за тая дрѣха тя му е нараказала много при-казници, серпозни, хубави приказници, които момчето, несъмнѣнно, скоро нѣма да забрави; и често ще му се мѣркатъ тѣ прѣзъ умъ, кога и то израсте и стане мжжъ, и осамотенъ ще работи въ мрач-нитѣ ями на Каролина; любимата стара баба отдавна ще се е по-минала, а той самъ сѣдъ, съ угасналъ погледъ старецъ, ще събира

на кръгъ своитѣ внуци срѣщу раклитѣ, задъ пещъта и тѣхъ сж-ци отново ще имъ приповтаря.

Азъ прѣпошувахъ въ гостинница «Корона», гдѣто бѣ слѣзълъ и надборний свѣтникъ Б. изъ Гьоттингенъ. Азъ имахъ удоволствие да засвидѣтелствувамъ неото почтение на старецътъ. Когато се расписвахъ въ книгата за носѣтителитѣ и прѣлиствахъ мѣсець Юлий, попадна ми се между други и сжпоцѣнното име на Адалбергъ Шамиссо, биографътъ на безсмъртниятъ Шлемиль. Гостинничарътъ ми разказа, че той билъ пристигналъ въ неописуемо лошо врѣме и си заминалъ пакъ исто въ таково лошо врѣме.

На утрента трѣбваше отново да улегча чантата си; за тая цѣль исхвърлихъ единъ чифтъ обуца, които бѣхъ турналъ вжтрѣ; послѣ се направихъ на крака и трѣгнахъ къмъ Госларъ, и стигнахъ тамъ, безъ да усѣта какъ. Можахъ само да припомня, че то се качвахъ нагорѣ, то спущахъ на-долу; отпрѣдъ ми се мѣрнѣ не една прѣкрасна долина; срѣбърни извори шуртеха, горски птици сладко чуруликаха, звънци на стада звънтеха, драгото слънце мѣташе златната си свѣтлина врѣхъ разнообразно зелени дървета, а тамъ горѣ синиитъ коприненъ покривъ на небото бѣ тѣй прозраченъ, щото человекъ можеше да види въ дълбочината му до Святая Святихъ, гдѣто ангели, припаднали у носѣтъ на Господа, по чертитѣ на образътъ му отгатватъ неговитѣ прѣдначияния. Азъ, обаче, още живѣехъ подъ обаяние на сънътъ, който ми се присѣни миналата нощъ и отъ който моята душа още не можеше да се отърси. То бѣ стара приказка: какъ единъ рицаръ се спуща въ дълбокъ кладенецъ, тамъ на дъното най-прѣкрасна принцесса е омайна и спи безпробуденъ сънъ. Рицарътъ бѣхъ азъ, а кладенецъ бѣше мрачниитъ Клаусталский рудникъ, и веднага се появиа безбройни свѣтляници, отъ вси страни наискачаха бодри карлици съ злобно искривени лица, заплашваха ме тѣ съ малкитѣ си сабли, тревожно надуваха рогъ, за да се стече все по-голѣмо и по-голѣмо множество, и при това страшно ми се заканваха съ своитѣ голѣми глави. Като ударихъ на тѣхъ и като се проля кръвь, азъ съгледахъ, че то сж аленитѣ дългобради репей, които единъ день напрѣдъ сбиваха съ тоятата си изъ нѣтътъ. Послѣ и тѣ завчасъ исчезнаха, и азъ встжихъ въ една свѣтла великолѣпна зала; верѣдъ нея стоеше, прѣбужена съ бѣло, неподвижна и безжизненна, като статуя, любезната на моето сърце, и азъ я цѣлунахъ по уста, и о правий Боже! усѣтихъ нейното благодатно дихание, и любимитѣ устни сладко треннаха. Стори ми се, че чувамъ всѣкикътъ на Бога: «Да бжде свѣтъ!» и лучъ небесна свѣтлина се спустна от-

горѣ ми и ме ослабни; но въ сжщій мигъ всячко обгърна вракъ, прѣвѣрна се въ хаостъ, и веднага се устреми къмъ бурно разсви-рѣишло море. Бурно, свирѣпо моѣе. Надъ негови зналаи бездни съ страхъ се надирѣваряха призраци на умрѣли, тѣхнитѣ бѣли савани се разлѣваха по вѣтъра, а отзадъ имъ гонеше ги съ расплюсалаѣ бичъ единъ нѣстрѣ арлеквинъ, и тойзи арлеквинъ бѣхъ азъ — и начастѣтъ пѣзъ мрачнитѣ вѣли се подадоха страшни глави на морски чудовища и съ встеглени клѣщи се понесоха подирѣ ми; отъ ужасъ азъ се пробудихъ.

Какъ най-хубави приказки попѣкога се исхабавятъ! Споредъ прѣданieto рицарѣтъ, като нампра спящата принцесса, отрѣзва нарче отъ нейното скъпоцѣнно було; а кога, чрѣзъ негова сиблостъ, омайниитѣ ъ снѣгъ се прѣкъжева, и тя отново сѣда на златниитѣ столъ въ замъкѣтъ си, рицарѣтъ се явява прѣдъ нея съ рѣчитѣ: «Моя всепрѣкрасна принцессо, познаваш ли ме? А тя отговаря: „Мой вседоблестниитѣ рицарю, азъ не те познавамъ“. Тогава послѣдниитѣ ъ показва отрѣзаното отъ нейното було нарче, което се натъкмява напѣлно, и двоицата цѣжно се прѣгрѣщатъ, трѣби трѣбятъ и се извършва свадeбно тържество.

Но вижда се, че злочестата ми сѣдба е причина, че моитѣ задушении сѣнища никога нѣматъ такѣвъ прѣкрасенъ край.

Името Госларъ звучи тѣй приятно, съ него сж свързани толкова стари царски спомени, щото азъ очаквахъ да видя величавъ, прѣкрасенъ градъ. Но тѣй е то, кога отблизу видишь прославенитѣ! Азъ се намѣрихъ въ едно гнѣзю, съ по-вечето тѣсни, лабиринтно-криви улици, всрѣдъ които тече малка водица, вѣроятю Гоза, съ една рѣчь, сѣспини и смрадъ, и такѣвъ грапавъ калдарѣмъ, като Берлинскитѣ лекзаметри. Само развалинитѣ на обградата, именно остатѣци отъ стѣни, кули и зѣбци, придаватъ на градѣтъ нѣщо иквантно. Една отъ тие кули, наречена Укротителка, има толкова дебеля стѣня, щото въ нея сж изсѣчени цѣли стани. Градската площадъ, гдѣто се помѣщава прочутото Стрѣлково Дружество, прѣдставлява хубава обширна ливада, заобиколена съ високи планини. Пазарѣтъ е малъкъ, всрѣдъ него извира фонтанъ, който излива водата си въ една голѣма металическа коруна. Въ случан на пожаръ по нея удрятъ, и нейнитѣ металически звукове се разнасятъ подалечъ. Някой не знае за происхождението на тая коруна. Нѣкои казватъ, че дяволѣтъ я билъ оставилъ тамъ, на пазара, веднаждъ прѣзъ-нощъ. По олова врѣме хората били още глупави, и дяволѣтъ билъ тѣй сжщю глупавъ, та си приподнасяли взаимно дарове.

Градският съвѣтъ въ Госларъ е бѣловаросана казарма. Стоящият токо до него Търговски-домъ вече има по-добъръ изгледъ. Почти на равно разстояние отъ земята и отъ покривътъ се издигатъ цѣли фигури на Германскитѣ императори, почерпили отъ димъ и частъ позлатени, държащи въ една рѣка скиптъръ, а въ друга земното кѣлбо; тѣ всички изгледватъ като опражени университетски педели. Единъ отъ императоритѣ намѣсто жезлъ държи мечъ. Азъ не можахъ да отгатна, що означава тая разлика; а то безъ друго има своето значение, защото вѣмцитѣ иматъ чуденъ навикъ, въ всичко, което вършатъ, да влитатъ нѣкаква идея.

Въ Рѣководството на Готшалка азъ прочетохъ много подробности за старинниятъ Госларскій съборъ и за славниятъ тронъ на императоритѣ. Когато, обаче, азъ поискахъ да видя тие двѣ нѣща, обявиха ми, че съборътъ билъ вече срутенъ, а императорскій тронъ откаранъ въ Берлинъ. Ние живѣемъ въ тежко, навѣвающо мрачни мисли врѣме: хилядогодишни събори се срутватъ, а императорски тронове се хвърлятъ при сбирщина вехтари.

Нѣков отъ рѣдкоститѣ на покойниятъ съборъ за сега се намиратъ въ черковата Св. Стефанъ. Между тѣхъ сж нѣколко живописи на стъкло, чудно-хубави, нѣколко лоши картини, една отъ които се првиисв: на Лука Кранахъ, едно дървено распятие и единъ язическій жертвеникъ, направенъ отъ неизвѣстенъ металлъ; послѣдниятъ има форма на дълъгъ, четвъртитъ ковчегъ и е положенъ връхъ четири клѣкнали карпатиди, съ грозно искривени лица и съ рѣцѣ опрѣни на главата. Но още по-трозно е токо-що споменатото дървено распятие. Тая глава на Христа съ естественни коси, увѣнчана съ трънце и съ кръвъ намазанъ образъ, несъмнѣнно по единъ високо-майсторскій начинъ прѣдставлява смъртта на единъ чловѣкъ, но не оная на Богорожденний Искупителъ. На тоя образъ е придадено материялно страдание, но ливсва поезия на мѣбата. Мѣстото на подобно изображение е по-гече анатомическа зала, нежели Божий домъ. Жѣната на клисарьтъ, която ми служеше за водачъ въ тая обиколка и която бѣ вѣща по искусствата, ми показа, като съвършено исключителна рѣдкостъ, едно многогранно, добръ издѣлано, черно, съ бѣли цифри покрито кѣсче дърво, което виси на мѣсто подиелъй въртъдъ черковата. О, какъ блѣскаво се проявява тукъ избобрѣтелниятъ духъ на протестантската черкова! Защото, кой можеше да си помисли! Цифритѣ на казаното кѣсче дърво даватъ она редъ псалмове, които по-прѣди обикновенно сж отбѣлѣзвали съ мѣлъ връхъ една черна дѣсчица, що, разбира се, малко нѣщо неприятно е дѣйствувало връху естетическитѣ натура, а

накъ сега, чрѣзъ горнето изобрѣтенне, сжщитѣ служатъ дори за украшение на черковата, и замѣняватъ Рафаелевитѣ картини, които сж тѣй рѣдки. Подобни успѣхи безконечно ме радватъ, защото азъ съмъ протестантъ и именно лютеранинъ, и като такъвъ всѣкога дълбоко се наскърбявамъ, кога католическитѣ противници се присмиватъ надъ пустиннитѣ, като че ли и отъ Бога изоставени протестантски черкови.

Азъ се поселихъ не-далечъ отъ пазарьтъ въ една гостинница, гдѣто обѣдтъ сигурно щеше да ми се види още по-вкусенъ, ако да не бѣ се присламчилъ възъ мене г. стопанинътъ съ своето дълго нищо не значуще лице и съ своятѣ досадни нескончаеми питания; за щастие, азъ бидохъ скоро избавенъ чрѣзъ пристиганне на единъ другъ пѣтникъ, който трѣбваше да издржи сжщитѣ въпроси по истий редъ: quis? quid? ubi? quibus auxiliis? Cur? quomodo? quando? Тойзи чужденецъ бѣ старт, уморенъ, износенъ челоувѣкъ, който, както излизаше по думитѣ му, е всходилъ цѣлъ свѣтъ, особено дълго е проживѣлъ въ Батавия, спечелилъ е много пари и отново всичко е изгубилъ, и сега подиръ тридесетгодишно скитанне се завръща въ Кведлинбургъ, негова родина — „защото“, добави той, «тамъ е наследствената гробница на нашия родъ». Негова милость, стопанинътъ, направи твърдѣ смѣла бѣлѣжка, че за душата било все едно, гдѣ е закопано нашето тѣло. «Гдѣ такова нѣщо е написано? отговори чужденецътъ, и при това устата му се свиха неуриязненно-скрѣбно и угасна блѣсъкътъ на неговитѣ малки очи. «Но, рече той като че ли искаше прошка за своята дързость, азъ не искамъ съ това да кажа нѣщо лошо за чуждитѣ гробници; — турцитѣ погребватъ своятѣ мрътавци много по-добрѣ отъ насъ; тѣхнитѣ гробница сж обикновенно като градина, и тамъ сѣдатъ тѣ връхъ бѣли чалмали надгробни камъни, подъ сѣнка на кипариси, тържественно гладятъ брадитѣ си, и спокойно пушатъ свойтъ турскии тютюшъ съ дълги турски чубуци; — а накъ у ктайцитѣ драго ти е да гледашь, какъ церемонно тѣ в-граятъ около мирнитѣ послѣдни жилища на своятѣ умрѣли, и се молятъ, и чай пиятъ, и подъ звукове на цигулка, гиздаво окичватъ любиматѣ си гробници съ позлатени прѣградки, порцоланени малки фигурки, пѣстри свилени парцалчега, искусственни цвѣтя и цвѣтни фенерчета. — Всичко това е хубаво,—но я ми кажете, колко остава още до Кведлинбургъ?

Госларскитѣ гробница не ми казаха много нѣщо. Толкова повече ме възхити чуднопрѣрасната къдрава главица, която, при неето глизание въ градътъ, усмихната гледаше изъ прозорецьтъ на

единъ доленъ катъ. Слѣдъ обѣдъ, азъ пакъ отидохъ да видя милитъ прозорець; но намѣсто нея намѣрихъ чаша съ натопенъ въ нея бѣлъ маргаритаръ. Азъ се искарихъ на горѣ, зимахъ скромнитѣ цвѣтица изъ чашата, снокойно га затикнахъ на шапката си и малко ме бѣ грѣжа отъ зиналитѣ уста, респереги носове и окекереги очи, съ каквито хората изъ уличатѣ, особено пакъ старитѣ жени, гледаха на тая знайна кражба. Кога единъ часъ по-късно манувахъ по край сѣщата къща, прѣкрасната стоеше у прозорецьтѣ, и като зарна бѣлитѣ цвѣтица на мояга шапка, тя стана алена-румена и бързо се дрънна на вжирѣ. Но азъ усѣихъ по-добрѣ да разгледамъ прѣкраснитѣ образъ; то бѣ едно сладко и прозрачно въплъщение на вечерно-лѣтно дихание, луна свѣтляна, пѣсенъ на славей и благоухание на трендафилъ. По-поздър, като прѣсмыча съвършено, тя се подаде на вратата. Азъ идехъ—заблѣжахъ—а тя тохо се повърна да влѣзе въ тъмнитѣ прустъ—азъ я хванахъ за рѣжа и продумахъ: любителъ съмъ на хубави цвѣти и цѣлувки: което ми не даватъ драговолю, азъ си го крада — и бързо я цѣлунахъ — а когато тя поиска да избѣга, пошелнахъ ѝ въ уснокоенне: утрѣ азъ заминувамъ и некога нѣма се върна — и мигомъ усѣтихъ тайнитѣ отговоръ на малитѣ устни и малки рѣжѣ, — и съ смѣхъ се оттегляхъ отъ тамъ. Да, азъ трѣбна да се смѣя, особено като си помисла, че безезнательно изговорихъ оная омайна формула, чрѣзъ която нашитѣ хуссари, по често нежеля съ привлѣкителността на мустацитѣ си, побѣждаватъ женскитѣ сърдца: «Азъ заминувамъ утрѣ и никога нѣма се върна!»

Отъ мояга стая се окриване чуденъ изгледъ на Раммелсбергъ. Настана всехитителна вечеръ. Нощта принуекани: на своитѣ вранъ конь и дългата му грива се развѣяше по вѣгъри. Азъ заставахъ у прозорецьтѣ и се загледахъ на мѣсечината. Дали има чловѣкъ на мѣсечината? Славянетѣ увѣряватъ, че той се е наричалъ Клетаръ, и че е каралъ луната да расте, като я поливалъ съ вода. Въ раннето си дѣтинство още азъ бѣхъ чулъ, че мѣсечината е плодъ, който слѣдъ като узрѣе, всеблагия Богъ го откъсва и туря при други пълни мѣсечина въ единъ грамади ракли, които се намиратъ на край свѣта, тамъ гдѣто послѣднитѣ е прѣграденъ съ дъски. Кога пораснахъ, азъ заблѣжахъ, че границитѣ на свѣтътъ не сж тъй тъмна, че чловѣческиитѣ духъ е разбилъ дървентѣ ракли, и че съ испалинскитѣ ключъ на Св. Петра, сирѣчь съ идеята на безсмъртие, сж растворени всички седемъ небеса. Безсмъртие! Прѣкрасна мисль! Кой ли првъ тя е измудрилъ? Дали нѣкой еснафляя Нюрибергскитѣ, който съ бѣлъ нощенъ

газпакъ на глава и съ бѣла глинена луза въ уста, сѣдналъ у прагътъ на своята къщица въ тиха лѣтна вечеръ, е твърдѣ приятно разсъждалъ, че щѣло е да бѣде много хубавичко, ако да можеше той, безъ чубучката му да угаска, нито живота му да се прѣвѣдне, внаги тѣй до драга вѣчностъ да си живува. Или е билъ той нѣкоя младъ zalобенъ, комуто въ прѣгрѣждатѣ на неговата любезна е текнала оная мисль за безсмъртие, и нея е той измислялъ, защото я е почувствувалъ, и защото не е можалъ друго да почувствува и друго да намисли? — Любовь! Безсмъртие! — въ гърдитѣ ми веднага стаа тѣй горѣщо, щото помисляхъ, да не би географитѣ да сж прѣвѣтели есваториѣтѣ и сега той да е прѣвѣраиъ чрѣзъ моето сърце. И изъ сърдцето ми се излѣха чувства на любовь и сладостно прѣминаха въ необятната нощъ. Цвѣтата въ градината подъ монѣтѣ презорци вснущаха по-силни благоуханя. Благоуханя сж чувствата на цвѣтата и както челоуѣческото сърце нещемъ, кога се мисли осамотено, вѣнъ отъ всеѣкаки погледи, по-силно чувствува, тѣй сжшо и цвѣтата, които иматъ свой свѣтъ, като че ли очакватъ да ги обжрне мракъ, за да се прѣдадатъ напълно на чувствата си и да ги излѣятъ въ сладка благоуханя. — Излѣйте се и вие, благоуханя на моето сърце и потърсете задъ оние правни зибето на моитѣ мечти! Тя сега е лѣгнала и спи; у нозѣтѣ ѣ сж колѣнички ангели, и кога тя на-снѣ се усмихне, усмивката ѣ е молитва, която ангелитѣ бързатъ да повторятъ; въ вѣнитѣ гърди почива небото съ всички негови блаженства, а кога тя дыше, моето сърце потреперва въ чужбина; задъ свилевитѣ клѣпки на вѣнитѣ очи залѣзва слънцето, а кога тя пакъ ги раствори, тогава е день, и птицѣтѣ пѣятъ, и звѣнциѣтѣ на стадата звѣнтатъ, и планецитѣ блѣщатъ въ изумрудни одѣжди, а азъ стягамъ чантата, и се нуцамъ въ нощъ.

Верѣдъ такяка философски разсъждения и лични чувствования ме взненада посѣщението на придворний свѣтъникъ Б., който тѣй сжшо прѣди малко билъ пристигналъ въ Госларъ. Никога азъ нѣмахъ по-благоприятенъ случай дълбоко да прочувствувамъ добрината на неговитѣ характеръ. Азъ го почитамъ за отличната проныцательность на умѣтъ му и особенно, обаче, за неговата скромность. Азъ го наубрихъ необикновенно весель, шжргавъ и бодъръ; послѣднето той доказа и чрѣзъ свойтъ не откогѣ-издаденъ трудъ: «Религия на разумѣтъ», книга, която толкова въсхити Рационалиститѣ, Мистицитѣ разсърди и по-голѣмата часть отъ обществото развлѣнува. Азъ самъ въ тоя моментъ съмъ мистикъ, поради своето здравне, до когато споредъ прѣдписанието на мойтъ докторъ

търбва да се паза отъ всѣкакви поводи къмъ мислене. При все това азъ признавамъ и неоцѣнимото достойнство на рационалистическитѣ трудове на Паулусъ, Гурлиттъ, Кругъ, Ейххорнъ, Бутервекъ, Вегшайдеръ и т. н. Дори ми е крайне приятно, че тѣзи людѣ се сж завзели за прѣмахване на толкова старогодишни злини, особено на стариятъ черковенъ смѣтъ, подъ който се криятъ толкова змии и зловония. Въздухътъ въ Германия е станалъ твърдѣ тежъкъ, а тѣй сжщо и твърдѣ жежъкъ, и често азъ се сграхувамъ отъ да се не задуша, или пъкакъ моитѣ любезни мѣстаци да не ме удаватъ въ обятията си отъ избликъ на горѣща любовь. За това азъ пѣма да се сърда на добритѣ рационалисти, макаръ тѣ и да захванатъ чрѣзмѣрно да расхлаждяватъ въздухътъ. Въ сжщностъ нели самата природа е турила прѣдѣли на рационализмътъ; подъ въздушенъ капакъ и на сѣвернийтъ полюсъ челоувѣкъ не може да сжществува.

Прѣзъ оная нощъ, която прѣкбрахъ въ Госларъ, ми се случихъ най-чудното нѣщо на свѣта. Още и сега не мога да си го припомня безъ страхъ. Но природата си азъ не съмъ сграхливъ и Госнодъ е свидѣтель, че никога тѣй не ми се е свивало сърдцега, дори и въ оние случаи, напримѣръ, когато лъскава сабя е искала да се запознае съ крайцеца на мойтъ носъ, или когато нощно врѣме съмъ се изгубвалъ въ нѣкоя пустинна гора, или кога въ концертъ нѣкой запналъ поручикъ е заплашвалъ да ме глътне, — но отъ духове азъ се боя почти тѣй силно, както и «Австрийскийтъ Наблюдатель», Що е страхъ? Прѣзлиза ли той отъ умътъ или отъ чувството? Върху тойзи въпросъ азъ често съмъ се прѣбиралъ съ докторъ Саулъ Ашеръ, когато се случваше да се срѣщнемъ въ Берлинското Café Royal, гдѣто азъ дълго врѣме се столувахъ. Той всекога утвърждаваше, че ние се боимъ отъ нѣщо, защото по заключение на разумътъ го признаваме за страшно. Догдѣ азъ хубавенце си хапнахъ и пийнахъ, той разглаголствуваше за прѣимуществовата на разумътъ. Къмъ крайтъ на своята рѣчь той неотмѣнно гледаше на свойтъ часовникъ и винаги завършваше съ това: «Разумътъ е висшето начало!» — Разумъ! Кога и понийтъ чуй тая дума, отпрѣдѣ ми живъ израсва докторъ Саулъ Ашеръ съ своитѣ отвлѣчени крака, своята тѣсна трансцендентално-сива дрѣха и упоритъ, застиналъ, леденъ образъ, който можеше да послужи за мѣдна дъска на нѣкое ржководство по геометрия. Макаръ вече и прѣскочилъ отдавна петдесетѣтъ години, той прѣдставляваше олицитворение на права линия. Въ стремлението си къмъ положителното, бѣднийтъ челоувѣкъ бѣше профилософствувалъ всичко прѣкрасно изъ животътъ,

всички слънчеви лучи, вѣра и цвѣтя, и не му оставаше нищо друго освѣнъ студенитѣтъ положителенъ гробъ. Той бѣ особенно нарочилъ Аполона Белведерскій и християнството. Противъ послѣдното той написа дори една брошура, въ която доказваше неговата безразсѣдностъ и нескъпостъ. Изобщо той е написалъ цѣлъ купъ книги, гдѣто винаги разумътъ прославя своето собствено прѣвѣсходство, а понеже клѣтнитѣ докторъ проповѣдваше онова, което самъ искрено вѣрваше, той напълно заслужва нашето уважение. Но пай-голѣмъ комизмъ изразяваше неговото тържественно-глупаво лице, когато той не можеше да разбере онова, което всѣко дѣте разбира, именно защото е дѣте. На нѣколко пѣти азъ и самъ намигувахъ въ собствената кѣща на доктора на разумътъ, гдѣто заварвахъ гиздави момичета; защото, вижда се, разумътъ не възбранива чувственностъ. Кога единъ пѣтъ тѣй сѣщо отивахъ да го посята, неговитѣтъ слуга ме посрѣщна съ думитѣ: Господинъ докторъ токо що се помина. При това азъ не усѣтихъ по-вече, отъ колкото да бѣше ми той рекълъ: Господинъ докторъ сега излѣзе.

Да се повърнемъ къмъ Госларъ. „Висшето начало е разумътъ!“ си казахъ азъ за да се успокоя, като си лѣгахъ. Но това не ми помогна ни най-малко. Азъ токо-що бѣхъ прочелъ изъ „Нѣмскитѣ Разкази“ на Варнхагенъ Фонъ Ензе, които бѣхъ земалъ съ себе си отъ Клаустали, ужасната история за онзи синъ, който се канилъ да убие баща си и билъ отклоненъ отъ това прѣстѣпление чрѣзъ нощното появяване призракътъ на неговата покойна майка. Таа история е тѣй чудесно изложена, щото още при четението ѝ ме побиха студени трѣпки. Та и изобщо разкази върху привидѣния производатъ най-силно тревожно впечатлѣние, кога се четатъ на нѣтъ, и особенно нощемъ въ нѣкой градъ, кѣща, стая, гдѣто никога не сте били. Колко ли ужаси сѣ станали въ истото това мѣсто, гдѣто азъ тоя часъ почивамъ? си помислива всѣкий неволно. При това мѣсечината хвърляше въ стаята нѣкаква неясна свѣтлина, по стѣнитѣ замърдаха всевъзможни некачещи сѣнки, а като се поиздигнахъ на лѣглото да видя, азъ съзрѣхъ —

Нѣма нищо по-страшно, отъ колкото человекъ при лунна свѣтлина ненадѣйно въ огледало да види собственото си лице. Въ сѣщия мигъ единъ часовникъ почна да бие изъ-тежко, като че ли се прозѣваше, и тѣй дълго и бавно, щото подиръ дванадесетитѣ ударъ азъ бѣхъ увѣренъ, че прѣзъ междукѣтътъ сѣ истекли пълни дванадесетъ часа и че той пакъ изначало ще захване да бие дванадесетъ. Между прѣдпослѣднитѣ и послѣднитѣ ударъ, заби другъ единъ часовникъ тѣй бързо, тѣй стремително-гнѣвно, като че ли

бъ ядосанъ противъ свойгь прадѣдъ за неговата бавностъ. Когато двата желѣзни язици мълкнаха и отповѣ въ цѣлата вѣща се въдвори гробна тишина, отведнаждъ ми се почувъ, како че ли въ коридорѣтъ прѣдъ моята стая иѣщо се ваѣче, тѣгруза, като неувѣрени стѣпки на иѣкой старецъ. Ведната вратата се отвори и вхтрѣ полегка встѣпни починалейтъ докторъ Сауль Анеръ. Ледени трѣпки ме побиха до мозика на коститѣ, затреверехъ като листъ, и едвамъ смѣхъ да погледна на призрактѣ. Той изгледане като при-живѣ, сѣщия трансцендентално свѣ съвртукъ, сѣщия отвѣчени крака, сѣщия математически образъ, само малко поужилтъ, нежелм по прѣди, та и устата, кавто първентъ образуваха два жгъла отъ 22 1/2 градуса, сега бѣха стеснати и очетѣ имаха по-голям орбити. Той доближи до мене, килкавече се и кавто поврѣди опирающе се на своята тояга отъ пенавска трѣстивка, и приятелски ми заговори на обикновенитѣ си скробутически языкъ: «Не се бойте и не ме земайте за призракъ. Въобразяването ви маме и кара да ме приемате за привидѣние. Та и цѣ е призракъ? Дайте ми опрѣдѣлене? Изведете ми условията за възможността на единъ призракъ. Какво разумно съотношение има между такова едно явление и разумтъ? Разумтъ, азъ казвамъ, разумтъ —» И ето че привидѣнието се пустина да анализира разумтъ, привождане цитати изъ «Критиката на Чистийтъ Разумъ» отъ Канта, часть 2, отдѣлъ I, книга 2, глава III разликата на феномени и Нумени; сѣтнѣ построи проблематическото върване въ призраци, вътруна силлогизми връхъ силлогизми и завърни съ логическо заключение, че никакви призраци иѣма. Въ това врѣме студентъ нѣтъ течение по гърбѣтъ ми, зхбитѣ ми дръзкаха като ваставсти, цѣлъ обзетъ отъ ужасъ, азъ само можехъ утвърдително съ глава да кликвамъ на всѣко прѣдложение, съ косто привидѣнието-докторъ доказване бессисленността на всѣкакви страхове отъ привидѣния, и унесентъ отъ потокѣтъ на своитѣ рѣчи, разсѣянъ, веднаждъ той бръзна въ дълбъ за златнийтъ си часовникъ и нахѣто него взмѣвна иѣлна кривача червен, и отподиръ, като забѣлѣжи грѣшката си, съ взвѣпредно комночно-плаха бръзна гя повърна назадъ. «Разумтъ е висшето —» Часовникѣтъ удари единъ, и призрактѣ неч зна.

На събдующата утрень азъ оставихъ Гесларъ и трѣгнахъ, часть жхдѣ ми вилать очи, часть да носѣти братѣтъ на Клаусталскиитъ рударъ. Чудно-прѣкрасентъ недѣленъ день. Азъ се катерихъ на ридове и планини, и се наслаждавахъ какъ слънцето се мъчеше да прошѣди мѣглата, радостно се впуцахъ и въ трентящя гори, а надъ моята мѣтателна глава звучеше бѣлосиѣжнийтъ маргаритаръ

изъ Госларь. Планинитѣ стоеха въ бѣлитѣ си ноцни одѣяннн, елитѣ отрѣсваха снѣгъ отъ своитѣ членове, свѣжийтъ утрененъ вѣтрещъ кждреше тѣхнитѣ распуснати зелени коси, птичкитѣ застанаха на молитва, долината заблѣста като златенъ обсипанъ съ бриллианти покривъ, а овчарьтъ я тѣпчеше съ своето звѣнливо стадо. Азъ може да съмъ изгубилъ правитѣ пътъ. Человѣкъ постоянно се впуца по криви пѣтища и пѣтеки, и мисли, че чрѣзъ това се приближава до цѣльта си. Та и въ живота се случва така, както и въ това пътуване по Харцъ. Но все се намиратъ добри души, които ви искарватъ на правъ пътъ; и за тѣхъ е извънредно удоволствие и особенна радостъ, кога могатъ да ви покажатъ, съ лице свѣтнало отъ самодоволство, и съ напиране на всѣка дума, че колко много сте се отбили, въ какви бездни и блата сте могли да затѣнете, и колко сте били честити, че сте срѣщнали у врѣме такива знаущи добръ мѣстността хора, каквито сж тѣ. Подобна добра душа азъ срѣщнахъ не далечъ отъ Харцбургъ. Той бѣ единъ угоенъ Госларецъ, съ лѣскаво подуто хитро-глупаво лице; и изгледваше като че ли той е познавалъ морьтъ на добитѣкътъ. Ние изминахме малко пространство задно и той ми разказа всѣкакви истории за привидѣния, които щѣха да ми се покажатъ хубави, ако да не бѣха всички еднакво се свършвали, че работата не било въ сжщностъ за истинско привидѣние, че бѣлнитѣ образъ не билъ друго освѣнъ горскитѣ крадецъ, и че жалобнитѣ гласове били на токощо родени глинани, а шумътъ въ зимникътъ мяучение на котка. Само боленъ човѣкъ, добави той, вѣрва въ призраци; що се отнеси до негова скромна личностъ, той бивалъ много рѣдко боленъ, сегизъ-тогизъ само страдалъ отъ наложено изривание, което той всѣкий пътъ исцѣрявалъ съ плюнка на гладно сърдце. Той обърна вниманието ми върху цѣлесъобразното и полезното въ природата. Дърветата сж зелени, защото зеленото е приятно на очитѣ. Азъ се съгласихъ съ него и добавихъ, че Господь е създалъ рогатитѣ добитѣкъ, защото меснитѣ чорби укрѣпявагъ човѣка, че е сътворилъ магарето да служи за сравнение съ човѣка, и че човѣка е създалъ да ѣде месни чорби и да не бѣде магаре. Мойтъ съжтаникъ остана въсхитенъ, че намѣри въ мене свой съмисленникъ, лицето му заблѣста още по-радостно, и нашата раздѣла силно го покърти.

Догдѣ той вѣрва наредъ съ мене, цѣлата природа като че ли бѣше мъртва; отдѣли се той, и птицитѣ почнаха да говорятъ, и слънчевитѣ лучи да звучатъ, полскитѣ цвѣтица да играятъ, и синето небо прѣгжриа зелената земя. Да, азъ зная добръ, Господь е

сътворилъ чловѣка, за да се радва на великолѣпнето на вселенната. Всѣкий авторъ, колкото великъ и да бѣде, желае да възхвалятъ неговий трудъ. И въ Библията, мемуаритѣ на Бога, изрѣчно е казано, че той е създаде чловѣцитѣ за да му възнесатъ слава и хваления.

Слѣдъ дълго скитанне азъ стигнахъ най послѣ до жилището на братѣтъ на мойтъ Клаусталскій приятель, тамъ прѣнощувахъ, и прѣживѣхъ слѣдующата прѣкрасна поема:

I

Срѣдъ гората въ скромна хижа
Старець рудокопъ живѣй.
Тъмни борове шумятъ тамъ,
Бротко ясный мѣсець грѣй.

Въ хижата е столъ исправенъ
Весь прошаренъ цвѣгорязъ:
Който е на него сѣдналъ
Е честитъ, — това съмъ азъ!

И прѣдъ менъ сѣди дѣвойче
Взрѣло въ мене нѣженъ гледъ:
Очи — ясни двѣ звѣздици,
Устни — росенъ розовъ цвѣтъ.

Тѣзъ звѣзди надъ мене грѣятъ,
Катъ че ли отъ небеса;
Съ бѣло прѣстче то прикрива
Розови си устница.

Майка ѱ, баща ѱ не чуватъ,
Малко грижа ги ѱ за насъ! —
Тя прѣде, той съ лютна пѣе
Стари пѣсни съ дрезгавъ гласъ.

А дѣвойчето ги шепне
Плахо съ гласецъ понизенъ;
Много свои важни тайни
То разказува ги менъ:

«Огакъ се помина меля,
Огъ тогава нанасамъ,
Въ Госларъ азъ не съмъ ходѣла —
Ахъ, какъ хубаво е тамъ!

«Тука пусто е и глухо,
Вѣчно влада тукъ мразѣтъ;
А шкъ зимѣ ний стоиме
Катъ заровени въ сѣгѣтъ.

«Азъ каквато съмъ страхлива!
Катъ дѣте се плаша азъ
Огъ планинскитѣ духове,
Тукъ що бродятъ внощенъ часъ.»

Катъ чели отъ тѣзи думи
Страхъ обхвана му сърдце,
Та завчасъ очици ясни
То прикри съсъ двѣ рѣцѣ.

Бороветѣ зашумѣха,
Съ шумъ вретеното ека, —
Ясно съ лютната подзета
Чу се старата пѣсня:

«Не плаши се мило дѣте,
Ти отъ вражеската мощъ: —
Бѣжи ангели на стража
Бдятъ надъ тебе день и нощъ!»

II

Бий съ зеленитѣ си вѣтки
Въ прѣзорецѣтъ старий боръ,
Вперилъ е въвъ нашта стая
Любопитний мѣсець взоръ.

Спятъ си майката, бащата
Въ спалнята съсѣдна вѣнь,
И честити ний си шепнемъ —
Зарадъ назн нѣма сънь.

— Не! че ти се молишь често
Май не ми се вѣрва менъ :
Не напомня за молитва
Твоя шепоть развълненъ.

Охъ, тозь твой злобобенъ шепоть
Всѣкога ме е плашилъ ;
Но страхтъ ми утоложва
Кроткийтъ ти погледъ милъ.

И съмнѣвамъ се да г'имашъ
Въ нѣщо чиста вѣра ти, —
Вѣрувашъ ли ти въвъ Бога,
Въ Сина и въ Духа святий? —

«Ахъ, дѣте, когато още
Мьмичккъ на възрасть бѣхъ,
Вѣрвахъ въ Бога на небего
Койго е велекъ и благъ.

«Койго е създалъ земята
И човѣка на свѣтътъ,
И на слънце, и на мѣсець
Е показалъ вѣчний пжтъ.

«Но когато поотрастнахъ
И по разуменъ станяхъ,
Съ чиста, непорочна вѣра
Въ Бога-Сина повѣрвахъ.

«Богъ-Синъ, кой любовь и вѣра
Проповѣдва по свѣтътъ,
А човѣцитѣ, въ отплата,
Го осждаха на смъртъ.

«Но сега когато вече
Много ходихъ, четохъ, чухъ —
Азъ отъ вся душа и сърдце
Повѣрвахъ въ Святия Духъ.

«Правиль е и пакъ ще прави,
Занапрѣдъ той чудеса,
Той тиранитѣ е смазалъ
И рабскитѣ желѣза.

«Той човѣческото право
Въскреси изъ мъртвий прахъ :
Всички сж прѣдъ него равни —
И богатъ и сиромашъ.

«Гжстий мракъ отпрѣдъ очи ни
Той распрьсна съ своята мощъ,
Радостьта ни, любовьта ни
Що е тровилъ день и ноць.

«Много рицари безстрашни
Надарилъ е той съ духъ твърдъ
Неговата свята воля
Да извършватъ по свѣтътъ.

«И подъ прѣпорци имъ горди
Тѣхний огненъ мечъ блѣсти . . .
Дѣте, искашь ли такъвзи
Рицаръ смѣлъ да видишь ти?

«На тогава, — взри се въ мене.
Прѣгхрни ме бързо ти :
Его ази съмъ прѣдъ тебе
Рицаръ на Духа святий!»

III

Ей задъ боровитѣ тъмни
Крѣй се мѣсецѣтъ далечъ.
Нашта ноцна лампа гасне
И едва мѣждѣ вѣчь.

Но на монтѣ звѣздици
Не угасва ясный зракъ;
Устни розови сияятъ —
И говори ми тя пакъ :

«Слитѣ духове ни крадять
Хлѣбѣтъ, салото ноця —
Вечеръ въ раклата го туримъ,
А изчезва утреньта.

«Сбиратъ млѣчната смѣтана
Отъ гърнето въ скритий тремъ,
А слѣдъ тѣхъ и нашта котка
Го изблизува съвсѣмъ.

«Вѣщица е нашта котка :
Ноцемъ буря щомъ завий,
Тя въ гората горѣ бѣга —
Въ съспинитѣ тамъ се крий.

«Нѣкога си тамъ билъ замъкъ
Чуденъ, блѣскавъ и голѣмъ,
Много рицари и дами
Ноцемъ танцували тамъ.

«Зла го вѣщица проклела,
Ощъ въ онѣзи стари дни,
И сега се бухли гнѣздатъ
Въ грознитѣ му съспини.

«Помня, казваше ми лея,
Че имало рѣчь таквазъ —

Казана въ нарочно мѣсто
И въ урѣченъ ноценъ часъ,

«И вѣставалъ въ съспинитѣ
Замкѣтъ блѣскавъ и голѣмъ,
Много рицари и дами
Пакъ затанцували тамъ!

«Онзи който тазъ рѣчь каже,
Всичко въ негова е власть —
Ще да славятъ младостѣта му
Звънъ литавренъ, трѣбенъ гласъ!»

Тѣй цвѣтятъ легенди дивни
На дѣтинскитѣ уста,
А въ очи ѝ чудни грѣе
Тоула вѣра въ тѣзъ нѣща.

Сплита златна си косица
Околъ прѣсти ми она,
Смѣе се и ги цѣлува,
И зове ги съ имена.

Всичко въ стаята е тихо;
Шкапѣтъ, старий армоаръ
Ме привѣтливо изглеждатъ,
Като свой познайникъ старъ

Тихо маятникѣтъ цѣка;
Прозвучи съ неясенъ звѣнъ
Лютнята — отъ само себе . . .
И сѣда азъ като въ снъ.

Его мѣстото парочно,
Ей урѣчения часъ —
Ти ще бѣдешъ поразена
Ако тазъ рѣчь кажа азъ! . . .

Азъ я казахъ! Гледай съмба,
Рауна спива се зора

И събуждат се потоци
Въ освѣтлената гора:

Гноми съ пѣсни и литаври
Те тълпятъ между скали;
Ранна пролѣтъ по полени
Стели цвѣтни си коври.

Нѣжни, чудни, благовоини
Пѣстри цвѣтлове цвятятъ,
Бисерни сълзици страстни
На листата имъ трептятъ.

Вожделѣно али рози
Като огневе пламтятъ,
Въ небеса съ стѣбла кристални
Росни лилии стрѣлятъ.

И звѣзди отъ небесата
Взрѣни съ страстни си очи,

Лѣятъ въ чашкитѣ лилейни
Влюбенитѣ си лучи.

Пакъ и ние съ тебе, дѣте,
Катъ че ли еме други вещь . . .
Вижъ: огневе, злато, свила
Грѣятъ близу и далечъ.

Въ замкъ се хижата прѣвърна,
И принцеса стана ти!
Колко рицари и дами!
О, какъ всичко грѣй, блабсти!

Всичко й мое—ти и замкътъ!
Миръ въпчаленъ давамъ азъ!
Славословятъ мойта младостъ
Грѣмъ литавренъ тръбенъ гласъ!

АВРОРА.

Историческия анекдотъ

отъ

Жоржъ Ренъаль.

(Прѣводъ отъ французски).

— Капитанъ Дюпенъ! . . . извика Мюратъ, който, въ една отъ най-хубавитѣ зали на палатътъ на князь де ла Пе, въ Мадридъ, бѣ заетъ съ редактиране на военни писма.

Понеже никой не се обади, Мюратъ, — князътъ, както го наричаха слѣдъ неотколѣшнето му благородяване, — дигна глава, съ погледъ обиколи купчинката офицери, които, въ нѣколко стѣпки отъ него, очакваха заповѣдитѣ му, и като не съгледа по между имъ оногова, когото търсеше, той ядосано повтори:

— Е, та нѣма ли го, капитанъ Дюпена?

Тогавъ, както прѣстенътъ въ вратата минува отъ рѣка въ рѣка, кога застанемъ въ кръгъ, така и името на адютантътъ отъ уста въ уста полѣтя изъ стая въ стая по обширното жилище, чито всички врати бѣха растворени, по причина на горѣщата температура въ Испания прѣзъ мѣсець Май, да дири отсѣтствующийтъ.

Защото Мюратъ не се шегува съ немарливитѣ! . . . Той почена отъ ново да пише мълчешкомъ, безъ съмнѣние, като скланияше да почака нѣколко минути; по сбранитѣ вѣжди и навѣсеното му чело показваха неговото лошо настроение.

Това ставаше въ 1808 година, когато пратениктъ на Наполеона, безъ мъжа влѣзълъ въ Мадридъ, благодарение на смутоветѣ въ царството, чакаше слѣдствието на събитията съ тайна надѣжда, че ще бѣде нареченъ кралъ на покорената земя, и безъ ни най-малко да подозира, че, безъ рѣката на свойтъ господарь, той не е освѣтъ пѣшка, оставена връхъ единъ отъ квадратитѣ на Европейската шахматна дѣска, за да пази мѣстото на Иосифа, братътъ на Императора. Скоро дотърча, благодарение на услужливиятъ бикъ на другаритѣ, виновниятъ офицеринъ, гиздавъ младъ чловѣкъ кждѣ 28 години, отличенъ воененъ, любимъ отъ всички; той, обаче, отъ една недѣля на-насамъ се видеше загриженъ, смутенъ. . . . Съ една рѣчь, съвършено различенъ отъ какъвто той обикновенно е билъ.

— Та гдѣ бѣхте вие, капитане? . . . почита строго князътъ, когато го видя че пристигна развълнуванъ и малко нѣщо запѣхтѣлъ.

— Въ двореца, маршале.

— То не стига. Трѣбваше да бждете тука, възъ мене. Изобщо отъ нѣколко дни на-насамъ азъ ви наблюдавамъ. . . . Вие сте се съвършено промѣнили. Вашето усърдие хвъркна; вие имате необикновенни развлѣчения. . . . Що става съ васъ?

— Нищо, маршале, увѣрявамъ ви.

— Да. Умътъ ви не е сжций.

— Простете ме. . . Това е истина. . . Обезпокоенъ съмъ доста. . . По семейни причини.

— И тие семейни причини, струва се, да живѣятъ подъ покривтъ на самиятъ палатъ? . . . Защото горѣ сж ви срѣщали крадешкомъ да минавате изъ корридоритѣ. . . . Азъ не обичамъ тайни, капитане, чувате ли? . . .

Клѣтвиятъ офицеринъ се изчерви, прѣблѣдя. Послѣ, уплашенъ отъ тонътъ все по-вече и по-вече строгъ на свойтъ началникъ, като се боеше отъ нѣкакво подозрѣние по-сериозно още отъ самата истина, той се рѣши на признание.

— Тука е дѣтето ми. . . дѣте на четири години, промълви той и наведе глава.

Князътъ пламна: Дѣте на такъва възраст! Та защо ли и не ктрмаче? . . . На война врѣскуиъ, когато отъ часъ на часъ може да избухне въстание противъ французитѣ.

— Ако се изисква, азъ ще го испратя, печално прошепна младиятъ офицеринъ.

— Не трѣбва. . . Дръжте го, когато е вече тукъ. То не може да се испрати чрѣзъ страна, гоюва да възстане. . . Нека остане! Но никога да се не мѣрва прѣдъ снитѣ ми, чувате ли! . . . И особено неговото присѣствие да не става причина за ни най-легко нарушение на вашитѣ обязанности. . . Това още лисваше! Ама пакъ дисциплина щѣхме да имаме, ако всѣкий потѣтреше въ походъ потомството си!

Разгнѣвенъ, Мюратъ се обърна гърбомъ къмъ твърдѣ смутенийтъ офицеринъ. — Защото не вслчко е исказалъ, Морисъ Дюненъ! Тамъ горѣ той крве не само дѣтето, го ежщо и майката! — Горка жена, пристигнала отъ Франция слѣдъ като е рискувала хиляди опасности, прѣтегнала хиляди смърти въ течение на цѣло-мѣсечно пътувание въ кола, подъ нажежено небо, по неприятелска земя. Но тя искала, каквото и да стане, да види, да цѣлуе свойтъ сжпругъ, защото въ скоро врѣме тя ще даде животъ на втора рожба, и не е могла да се противи на безумното желание за това свидание. — «Помисли си, ако да умрѣхъ далечъ отъ тебе!» — му казала тя съ безотчетенъ ужасъ на бѣдно творение въ падвечернето на една криза, въ която то може да загине.

Младийтъ мжжъ нѣмалъ сила да я отблъсне. Той я настанилъ въ горнийтъ катъ на двореца, — мѣсто имало много — отъ тогава той живѣе въ непрѣкъснато вѣнчанне, заради Мюрата. Слѣдъ обяснението се измина цѣла седмица. Князьтъ съ рѣчь не споменуваше за нищо. Той, обаче, бѣ сухъ въ своигъ заповѣди, бѣлѣгъ, че незадоволството не се е още разсѣяло. — Но една прѣкраспа утрень, подъ влияние на Богъ знае какво добро расположение, той ненадѣйно зашита свойтъ адютантъ:

— Е, що стана съ дѣтето? . . . Не мога ли да го види?

— Разбира се, да, маршале . . . Ако искате, ето сега ще ида да ви го доведа.

Слѣдъ нѣколко минути, младийтъ баща довозда въехитителенъ малкъ войникъ въ пълна парадна униформа. Мязичка сабля бие по малкитѣ му брачица, обути въ червени кожани ботушки съ позлатени махмузи, мѣтнатата на рамената му шинель, обшита съ кожи по-венгерски, допѣзва богатото облѣкло на тогавашнитѣ армии.

Канитантъ, като прѣдвиздаѣ, че рано или късно, случайно или по желанне князьтъ ще види дѣтето, измислилъ такова облѣкло за послѣднето, което най-много да пельсти на началникътъ.

И наистина, доста бѣ дѣтето да се яви гордѣливо, безъ ни най-малко стѣснение, прѣкрасно въ тоя вакитъ, просто да го хруснешъ на зябъ, за да побѣди сграшнитѣ началникъ. Маршалтъ

го качи на колѣното си, нарече го „моего юначе“ и му даде най-славни обѣщанья за въ бѣдуще.

— Кога порастнешь, азъ ще те назнача при моята особа. Ние ще се сражаваме рамо о рамо.

— Тѣй, тѣй, князь Фанфарине, отговори расналено бѣдущийтъ адютантъ. — Но Мюратъ стана мраченъ. *Князь Фанфарине?* . . да ли това не е нѣкакъвъ прѣкоръ, който повтарятъ тие невинни уста?

— Защо ти ме така наричашь? Попита той.

— Защото въ приказкитѣ за феи, князь Фанфарине е най-хубавийтъ отъ всички . . . и защото вие приличате на него.

— А, а! . . . Тогава твърдѣ ми е лестно! . . . а тебе какъ викатъ?

— Аврора. — Принцеса Аврора? . . . Още едно име отъ приказки за феи . . . Малко момче не носи таково име.

— Че азъ не съмъ момче! . . . Азъ съмъ малко прѣблечено момче . . . Попитайте само мама! . . .

Тогава, въпрѣки отчаяниитѣ знакове на бащата и за голѣма радостъ на увлечений Мюратъ, момиченцето, съ свойственната откровенностъ и наивностъ на възрастта му, расирави какъ то дошло отъ Парижъ въ едни голѣми кола, какъ въ Паринейтъ срѣщнали мечка и сѣтиѣ кралицата, която бѣгала . . . И още какъвъ страхъ тѣ прѣтеглили въ една гостинища, гдѣто гостинничарьтъ заклаѣ прасета, та тогава то и майка му помислили, че тамъ убивать и хора . . . За сега, тѣ жавѣять тамъ горѣ въ прѣкрасни стаи съ свила по стѣнитѣ, павсаду съ злато, но съ много грозни картини. И какъ то обичало много едно голѣмо огледало, гдѣто се виждало цѣло-цѣленичко, а тѣй сжщо и играчкитѣ, — несъмнѣнно играчкитѣ на избѣгналитѣ пифанти.

— Капитане, се обърна Мюратъ, въсхитенъ отъ това чудесно чуруликаше, не ви остава друго освѣчъ да ме прѣпюржчате на госпожа Дюпенъ.

— Азъ съмъ я вече срѣщалъ въ обществото въ Франция, и съмъ записалъ най-добъръ споменъ за нейната хубостъ и грация. . . . Когато человекъ има такова семейство, не е позволено да го крие. Що се отnosi до тая малка мома, добави той, като милваше страната на Аврора, тя е много умна и разказва съ извънредно въображение и обаяние. Азъ жала за мойтъ мѣничекъ офицеринъ ординарецъ, който щеше тѣй смѣло да слѣдва князь Фанфарине, но нѣма много да се зачуа, ако на мѣсто това Франция намѣри въ нея втора госпожа де Сталь.

Аврора Дюпенъ, отъпослѣ госпожа Дюдезанъ, трѣбваше да стане нѣщо още по-добро, защото тя бѣ нашата велика Жоржъ Зандъ.

ДЕМОНЪ.

ВЪСТОЧНА ПОВѢСТЬ.

ОГЪ

М. Ю. Лермонтовъ.

ЧАСТЬ ПЪРВА.

I.

Тъжовний Демонъ, духъ изгонень,
Надъ грѣшната земя лѣтѣлъ,
За прѣжни дни невеселъ споменъ
Въ глава му мрачна се вѣртѣлъ,
Когато въ свѣтлата вселенна
Той херувимъ блѣстящъ е билъ,
И отъ комета устремена,
Съ усмивка ясна освѣтена,
Ловилъ и прашалъ поздравъ милъ,
Когато чрѣзъ мъглитѣ вѣчни
Можалъ е съ погледъ да слѣди
Движенията безконечни
Въ безредъ блудящиѣ звѣзди.
Съ любовь и вѣра той тогазъ —
Синъ пръвъ на свѣтлото творенъе —
Не знаялъ страхъ, нито съмнѣние,
И не заплашвали ни часъ
Умътъ му вѣкове безплодни. . .
И много още, но ни власть,
Ни сила нѣмалъ да си спомни.

II.

И отъ тогазъ отверженъ плува
И скита се въ мирѣтъ великъ,
А вѣкъ слѣдъ вѣка се минува
Каг' часъ слѣдъ часъ, каг' мигъ слѣдъ мигъ,
По строенъ редъ еднообразенъ:
Нищожиата земя владѣй,
Безъ наслажденъе злото сѣй,

И въ туй искусно злорадѣнье
Не срѣща той съпротивленье.

III.

Надъ върховетъ на Кавказъ
Веднажъ Лукавий пролѣтъ,
Казбекъ подъ него кат' ялмазъ
Съсь сиѣгове си заблѣстѣ.
А на джабоко се чернѣй
Дарялъ, извить кат' пѣкой змѣй,
И като яростна тигрица
Распѣненъ Терека ехти,
Реве, и хищенъ звѣрь, и птица,
Въ небето сине кат' лѣти,
Се вслушватъ въ грозната му рѣчь,
И облаци го придружавагъ,
Огъ южнитѣ страни далечь,
Съ вълнитѣ му къмъ сѣверъ плавать;
И черни групи отъ скали,
Огъ синъ таинственъ упоенцъ,
Надъ него свиснали глави,
Слѣдятъ вълнитѣ расиѣненя.
Чернѣять се върху скалитѣ
Кули кат' грозни истукани,
Тѣ на Кавказа при вратитѣ
Стоягъ кат' стражи-великани.
И Божий миръ бѣ чуденъ, дивъ, —
Но Духа мраченъ, горделивъ,
Съ прѣзрително погледна око
Създанъето на Бога свой,
И на челото му високо
Остана сжщия покой.

IV.

Прѣдъ него други пакъ картини
Чудесно-хубави на гледъ:
Въ роскошна Грузия долини
Съ цвѣтя инопѣстрини отворедъ.
Честять, обилень земень кхтъ! —

Съ тополи стройни, съ водоскоци,
Съ шумливи, п'нести потоци,
По пьстерь п'сѣкъъ що текжтъ ;
И съ рози гдѣто въ тихий часъ
Въспѣва славей въ ноци лѣтни
Момитѣ красни, безотвѣтни
На сладкия любовенъ гласъ.
И съ кипариситѣ прохладни,
Обвити въ бръшляни зелени,
И пещери кждѣто пладнѣ
Се кривать отъ нектъ елени.
И блѣскъ, и шумъ отъ листове,
Стозвученъ екъ отъ гласове
Отъ птица, звѣрь, отъ человекъ,
И сладострастний днененъ нектъ,
И съсъ роситѣ ароматни
Увлажени ноцитѣ лѣтни.
И въ небеса блѣсгитъ звѣздитѣ
Кат' на грузникитѣ очитѣ.
Но само завистьта студена
Възбуди се въвъ злия Духъ,
И къмъ природата засмѣна
Остана той и нѣмъ, и глухъ, —
И туй прѣдъ себѣ си що видѣ
Прѣзрѣ той и възненавидѣ.

V.

И домъ високъ, и дворъ широкъ
Строилъ Гудаль въ скалитѣ горни,
Той струвалъ е съззи потокъ
На рабоветѣ му покорни.
Покрива сѣпка му въ зори
Политѣ въ ближнитѣ гори,
И на основната скала
Изсѣчени сж стѣпала,
Тѣ водять до рѣката чакъ,
По тѣхъ, забулена съ яшмакъ,
Жнягинята Тамара слягва
И ходи за вода въ Арагва.

VI.

И надъ дълбоката долина
Безмълвно домътъ се чертѣй. . .
Но днеска тамъ се вино лѣй,
Събрана ѣ весела дружина?
Годилъ е щерка си Гудалъ,
На пиръ родитѣ си е събралъ;
На покривътъ постанѣ съ кѡвори
Сѣди невѣстата съсъ дружки.
Въ пѣснѣй, въ игри и въ разговори
Денътъ минува. Задъ гори
Последний слънчевъ лучъ се скри.
Тѣ пѣятъ, плѣската съсъ ржцѣ,
И ей прѣдъ тѣхното лице
Тамара млада се псправи,
Дайрето писано улави
И надъ глава си го върти,
Играѣ увлечена, трепти,
Ту легко висугне се кат' птица,
Ту спрѣ се, — ту заночне пакъ,
И блѣсва влажния ѣ зракъ
Подъ завистливитѣ рѣсници;
Ту черни вѣжди си повдигне,
Ту по килима повлече,
Като съ глава надолу кивне,
Прѣкрасно-дивно си краче.
И изявява си страстьта
Съ усмивка чудна на уста.
И лучътъ лушенъ, кат' играе
Надъ растреперени вѣли,
Едва ли може се сравни
Съсъ тазъ усмивка що сияе
На тѣзи алени уста,
Игриви като младостъта.

VII.

Кълна се въ ясната луна,
Въ зорницата се азъ кїлна,
Кълна се въ слънцето небесно,

Че ни Персийскій Господарь,
Нито пъкъ други земенъ царь,
Не е таквозь око чудесно
Цѣлувалъ. Росния фонтаъ
Нито веднажъ, прѣзь дни горѣщи
Не е росилъ такива плѣщи,
Не е такъвъ омивалъ станъ.
До днешенъ день не е било
Да расплете ни чья дѣсница —
Кат' милва ясното челó —
Таквази хубава косица.
Отъ какъ се е лишилъ свѣта
Отъ свѣтлия божественъ рай,
Не е цвѣтѣла въ никой край
Таквази чудна красота.

VIII.

За сѣтенъ пжтъ тя днесъ играй. . .
Щомъ утрѣ слънце заснай,
Тя, дщерята на Гудала,
Ще отпжтува въ чуждий край!
Свободно, весело дѣте,
Съ сѣдба печална на рабниа,
Ще стане млада домакиня, —
Межъ чужди хора ще расте.
И често вътрѣшно съмиѣнье
Помрачваше ѳ памятьта;
Но бѣха всички ѳ движенъя
Тѣй стройни, пълни съ израженъе,
Тѣй пълни съ чудна простота,
Че ако Демона би зърналъ
Въ тозь мигъ чертитѣ ѳ чудесни,
Кат' спомни ангели небесни, —
Съ въздишка би се той отвърналъ. . .

IX.

И той видѣ. . . За мигновенъе
Неясно нѣкакво възненъе
Изпълни мрачни му гърди,

Въ душевната му пустота
Звукъ благодатенъ се вгнѣзди,
И пакъ усѣти святостѣта
На любовѣта и хубостѣта.
И прѣдъ картината омайна
Стоя замисленъ дълго той
И кат' верижница безкрайна,
За щастѣе минало цѣлъ рой
Въ умѣтъ му хвъркнаха мечти,
Като звѣзди подиръ звѣзди.
Скованъ отъ сила непозната,
Той нова мисль сѣти за мигъ
И нѣщо му екна въ душата
Съ познать, съсъ родствененъ языкъ. . .
И да постигне той не може,
Да ли възражданье бѣ туй?
И да забрави — пакъ не може,
Забравянье му Богъ не далъ —
И той това би самъ не щялъ.

X.

Лѣти на коня разяренъ,
Къмъ привечерь въвъ брачный день,
Женихътъ младъ нетърпѣливо
И на Арагва той щастливо
Достигна росни брѣгове.
Отрупани съсъ дарове
Едвамъ прѣстѣпватъ уморени,
Една слѣдъ друга наредени,
Камилитѣ изъ тѣсний пѣтъ.
Звѣнци расклатени звѣнтятъ . . .
Той, Синодалскии господарь,
Повель богатия керванъ.
Съ ремикъ прѣстѣгналъ строенъ станъ,
На кръсть му сабля и ханджаръ;
Прѣшѣтналъ пушка дълго-цѣва;
Ржавитѣ му отъ чепкения,
Съсъ сѣржа редомъ украсени,
Назадъ ги вѣтърътъ развѣва.
Сѣдло му съсъ коприна шито,

Юзда му съсъ рѣсни обвита,
Подъ него коня му безцѣнъ
Хръпти, играе разяренъ,
Съ уши преде и отъ баиря
Хриши и дърпа се надирѣ
Прѣдъ распѣненитѣ вълнѣ.
Опасенъ пжтъ въ тѣзь стръмнини :
Скали отъ лѣвата страна,
На дѣсно буйна джбина.
Мръкнѣ. Тъмнѣе пжтъ прибрѣженъ,
Тъмнѣе вечъ и върхътъ снѣженъ,
На около мъгла паднѣ
Керванътъ сърчено тръгнѣ.

XI.

И ето черквица стигнѣха. . .
Отдавно тукъ почива праха
На нѣкой князь, светецъ сега,
Убитъ отъ мстителна ржка.
На празникъ илѣ нѣкъ на битва,
Отъ тука пжтникъ щомъ минува,
Сърдечна всѣкога молитва
Вѣвъ таза черковица струва.
И тазь молитва день и ноць
Пазила го ѣ отъ вражий ножъ.
Но младия женихъ не сирѣ,
Той тозь обичай старъ прѣзрѣ.
Съ коварни мисли му душата
Духѣ Лукавия вълнува :
Той мисленно вѣвъ тъмнината
Въ уста немѣстата цѣлува. .
Но изведнажъ се тамъ мѣрнѣха,
Двамина . . . други . . . ей-гръмнѣха. . .
И князьтъ безъ да прогълчи,
Нахлуши шапка надѣ очи,
Повдигна се на стрѣмена
И пушката отъ рамена
Измѣкна ; и съ камшикътъ — плясъ !
И лѣтна кат' орелъ завчасъ,
Изгуби се. . . и гръмна пакъ,

И кръсъкъ дивъ изъ ноцний мракъ
Екнѣ изъ глухитѣ долини. . .
Но силень бѣше тѣхний врагъ:
Бѣгѣха силанени грузини!

ХІІ.

Утихна всичко. Сбрани въ купъ
Камилитѣ поглеждатъ плахо:
Прострѣни мъртви трупъ до трупу,
Бѣдачитѣ край тѣхъ лѣжаха.
Сегисъ тогисъ звѣнци звѣнтяха.
Разграбенъ е кервантъ тежкий,
Вечъ надъ тѣлата имъ мъртвешки
Се виятъ ноцни, хищни птици!
И не очакватъ ги гробници
Въвъ манастирскій миръ тѣжовенъ,
Гдѣт' бащинъ имъ е прахъ заровенъ.
И ни сестра, ни майка вечъ
Надъ гробътъ имъ, — съ яшмакъ покрити —
Не ще да дойдатъ отъ далечъ,
За да си скубягъ тукъ коситѣ
И да имъ кажатъ: «легка прѣстъ!»
Но на христенина ржеата
Край пжтьтъ тѣсенъ, подъ скалата,
Ще имъ въздвигне скроменъ кръсть;
Бръшлянъ подъ него ще расте,
На пролѣтъ ще го оплете
Съсъ свойтѣ листовѣ зелени,
И пжтницитѣ уморени,
Отъ пжтьтъ ще да се отбѣватъ
Подъ сѣнката му да почиватъ.

ХІІІ.

Прѣпуска бързий конъ припрянь,
Кат' че налита буйно въ брань,
Ту изведнажъ въ бѣгътъ си спрѣнь
На къмъ вѣтрецътъ се прислуша,
Широко съ ноздритѣ подуша,
Ту въ мигъ съ копита, разярень,

Въ земята удря; роши грива
И кат' стрѣла наирѣдъ лѣти.
Љздачъ на него мълчеливо
Повисналъ на сѣдло сѣди,
Допрѣнъ къмъ гривата съ гърди.
Тозь конь не той го е повелъ;
Крака си въ стрѣмена заплелъ,
И на ченкенътъ червенѣй
Крѣвѣта що се отъ него лѣй.
О, коньо, господарьтъ свой
Извлече ти изъ грозний бой,
Но злий крушумъ на осетина
И въ мракътъ нощний го достигна.

XIV.

Въвъ дѣмътъ на Гудала плачъ,
На двора трупа се тълпата:
Чий този конь, що стигна въ скачъ
И падна мъртавъ прѣдъ вратата?
И кой е мъртвий тозь щздачъ?
Върху челото му студено
Смущене бѣ изобразено,
Оржъе, дрѣхи въ крѣвъ обляни,
Ржцѣ му къ гривата сцлетѣни.
Не дълго ти гледà изъ друма,
Невѣсто, за женихътъ свой!
Сдържа си княжеската дума,
На брачний пиръ пристигна той. . .
Но. . . не можà живъ да го зърнешъ,
Нито пъкъ живъ да го прѣгърнешъ! . .

XV.

И като гръмъ слѣтѣ удара
Въ Гудаловия весель домъ,
И падна бѣдна Тамара
Върху лѣгло то плачешкомъ.
Съза модирь съза се лѣе,
Не сѣща тя спокоенъ часъ. . .
И ето чува че надъ нея

Госври ѝ омаенъ гласъ:
«О, не плачи, дѣтѣ, напрасно!
Съсь сълзи тѣлото безгласно
Ти пѣма да го възкресишъ,
Мгливвишъ само лице ясно,
Страни си дѣвственни горишъ!
Далеко ѣ той, не ще узнае
Скрѣбъта, която те горчи;
Небесенъ блѣскъ сега ласкае
Безплътнитѣ му вечъ очи.
Той чува райскитѣ пѣснѣи. . .
Що значатъ твойтѣ дребни грижи,
За този, кой сега се движи
Тамъ горѣ, въ райскитѣ страни?
Смъртъта на земното творенъе
Не, не заслужва, ангелъ мой,
Нито единчко мигновенъе
Сърдцето ти да безпокой.

По въздушний океанъ,
Безъ платна и безъ кърмила,
Тихо плаватъ самъ и тамъ
Стройни групи отъ свѣтила;
Срѣдъ прѣстранствата безкрайни
Ходятъ на вълни безъ четъ
Облаци недѣлготрайни,
Безъ да правятъ негдѣ слѣдъ.
Свиждаше, раздѣлъ,— не всѣватъ
Въ тѣхъ ни радость, ни печаль,
Въ бждуше се ненадѣватъ,
Минало не имъ е жаль.
Като паднешъ вѣвъ нещастъе
Ти за тѣхъ си напомни,
Всичко земно безъ участие
Като тѣхъ го замини!

«А щомъ се спустне мракътъ нощенъ
Върху Кавказскитѣ гори,
И надъ свѣтътъ омаломощенъ
Спокойствие се въцари,
И щомъ вѣтрецътъ надъ скалата

Се разлюлѣ визъ трѣвата
И съ радостъ хврѣкне въ нея скрита
Изъ мракътъ птичка гласовита,
И подъ зелената лоза,
Като се напои съ роса,
Се нощното разцѣвне цвѣте,
И отъ далечъ задъ върховетѣ
Луната златна щомъ изгрѣи,
И скришомъ слабо те огрѣи, —
При тебъ тогазъ ще долѣтявамъ
И чакъ догдѣ настѣли день,
Надъ твоя образъ уморентъ,
Азъ сладкъ сънь ще ти навѣвамъ. . . >

XVI.

Гласитъ млкна. Единъ слѣдъ другъ
Далечъ замлѣкна звукъ слѣдъ звукъ.
Тя спокна, взрѣ се въ тъмнината. . .
Смущене пълни ѣ душата,
Тѣга и страхъ, одушевление —
Съ това сѣ нищо въвъ сравнение;
Вси чувства кипнаха завчасъ.
Душа ѣ се навѣпъ стремеше,
По жили огънь ѣ течеше,
И новия за нея гласъ
Кат' че звучеше и тогазъ.
И прѣдъ зори я посѣти
Съньтъ — почивката желанна;
Но той ѣ мислитъ смути
Съ мечта пророческа и странна:
Ей странникъ нѣмъ, съсъ ликъ неясенъ,
Съ неземна красота блѣсналъ,
Склоненъ надъ одрѣтъ ѣ прѣкрасенъ
Съ таквазъ любовъ се въ нея взрѣлъ,
Кат' че му бѣ за нея жалъ.
Не бѣше туй небесенъ жителъ,
Божественния ѣ хранителъ:
Вѣнецъ отъ блѣскави лучи
Върху глава му не личи.
Не бѣше туй Духа ужасенъ,

Порочниѣ мъченикъ проклѣтъ; —
Той бѣше същѣ каг' вечеръ ясенъ :
Ни день, ни ноцъ, ни мракъ, ни свѣтъ! . . .

А. Константиновъ.

И. П. Славейковъ.

ЧЕРНЬО.

отъ

Людовикъ Халеви.

(Прѣводъ отъ французски.)

— Не се страхувайте, господине, нѣма да испустниете тренътъ . . . Ето вече петнадесетъ години отъ какъ карамъ пжтници за желѣзницата . . . и ни веднаждъ не съмъ ги забавялъ за трена! Чуете ли, господине, нито веднаждъ! О! не дѣйте гледа на часовника си . . . Има нѣщо, което трѣбва да знаете и което вашиѣ часовникъ нѣма да ви обади . . . Това е, че тренътъ винаги закъснява на една четвъртъ отъ часа.

Его че имѣ единъ примѣръ, и то днесъ. Тренътъ биле точенъ и азъ го испустнахъ. Кочияшътъ бѣше до нѣмай-къдѣ разядосанъ.

— Длъжни сте да прѣдупрѣдявате, говореше той на началникътъ на станцията, длъжни сте да прѣдупрѣдявате, че вашитѣ тренове сж почнали да тръгватъ тъкмо у врѣме . . . такава нѣщо никой никога не е видвалъ!

И като зовеше въ свидѣтели всички присѣтствующи :

— Е, кажете, видвано ли е нѣкога такава нѣщо? Азъ не ща да се покажа кривъ прѣдъ негова милость. Единъ тренъ на врѣме! . . . Единъ тренъ на врѣме да дойде! . . . Кажете му правото, че това се случва за првъ пжтъ.

Послѣдва всеобщъ викъ : « О! да; тѣй, тѣй! обикновенно той закъснява! » Но както и да е, азъ трѣбва да прѣкарамъ цѣли три часа въ едно твърдѣ печално село, въ Вадекпйтъ кантонъ, расположено между двѣ печални планини, които се завършваха съ по едно снѣжно качуле на върхътъ.

Какъ да убия тѣе три часа? Огъ своя страна, и азъ се допитахъ до присѣтствующитѣ . . . И отивоно послѣдва всеобщъ викъ.

«Идете да видите Шодронъ! По тие мѣста нѣма освѣнъ това за видяние.» Та на кждѣ е тойзи Шодронъ? Въ планината на дѣсно, тъкмо въ срѣдата; но пѣтьтъ билъ малко заплѣтенъ; съвѣтвахъ ми да зема водачъ, и тамъ долу, долу, въ онаи малка, бѣла съ зелени капаци кѣщица, азъ трѣбва да намѣра най-вѣщиятъ водачъ въ мѣстността. . . единъ достоенъ чловѣкъ, дѣдо Симонъ.

Заставахъ да тропамъ на вратата на малката кѣща.

Една стара жена ми отвори.

— Дѣдо Симонъ?

— Тука, тука живѣе. . . трѣбва ви за да идете на Шодронъ.

— Да, за да пда на Шодронъ,

— Работата е, че отъ тая заранъ, дѣдо Симонъ . . . болятъ го краката . . . не може да излиза . . . но пакъ недѣйте се грижи, има кой да го замѣсти . . . нашето куче.

— Какъ вашето куче?

— Да, Черно . . . То ще ви заведе много добръ . . . тъй добръ, както и мжжъ ми . . . То е навикнало . . .

— Навикнало?

— Какъ не; отъ толкова години насамъ дѣдо Симонъ все го зема съ себе си . . . отъ тогава и се е научило да распознава мѣстата . . . То често е водило пѣтници, и тѣ винаги сж ни захвалявали. Що до разумъ, у него го има толкова, колкото у васъ и у мене. Липсва му само дума . . . Но тя не е потрѣбна . . . Да имаше да се показва нѣкой намятникъ, тогава да, защото трѣбва да се расправятъ разкази и да се даватъ исторически данни . . . А тука нѣма освѣнъ хубости на природата. Земете Черно. И послаъ, то ще ви чини по-евтино . . . За мжжъ ми се плаца три лева; а за Черно само тридесетъ стотинки, и за тридесетъ стотинки то ще ви покаже толкова, колкото и мжжъ ми за три лева . . . Да го повикамъ ли, искате?

— Хубаво, повикайте го.

— Черно, Черно!

То дойде. То бѣ едно малко черно кученце съ дълги кждриви и разрошени косми. То не подкупваше съ свята вѣнканостъ, но пакъ върху цѣлата му фигура лѣжеше извѣстенъ изгледъ на тържественостъ, рѣшителностъ, важностъ. Първиятъ му погледъ бѣ за мене; единъ ясенъ, опрѣдѣленъ, увѣренъ погледъ, който бързо ме обзе отъ глава до крака, погледъ който ясно думаше: «Това е шитникъ. Той иска да иде да види Шодронъ.»

За тойзи дель ми стигаше единъ испуснатъ трепъ и азъ държахъ много, щото повторно да не ме връхлѣти такава несполука.

Разяснихъ на тая добра жена, че нѣмамъ освѣнъ три часа за моята расходка на Шодронъ.

— О, зная, зная, ми рече тя, вие искате да се качите на тренътъ, който минува въ четири часа. Не се бойте, Черньо ще ви доведе назадъ у време . . . Хайде, Черньо, хайде търгвай, чедо мое, търгвай. . . На Шодронъ! на Шодронъ! на Шодронъ! на Шодронъ!

Тя повтори тѣзи думи четири пѣти, като ги изричаше твърдъ бавно и раздѣлно, азъ пакъ въ това време съ любопитство разглеждахъ Черня. То отговаряше на думиѣ на своята стопанка съ лежки кимания съ глава, които починаха да се усиляватъ и въ които къмъ крайтъ ясно се съзираше малко нетърпѣние и лошо настроение. Всичко исцѣло можеше да се прѣведе така: «Тый, тый . . . на Шодронъ . . . разбрахъ . . . напълно разбрахъ . . . Та нема ме припечате за говедо?» И безъ да остави да се доскара четвъртото на Шодронъ на г-жа Симонъ, Черньо, очевидно, докаченъ се обърна гърбомъ, дойде та застана отирѣдѣ ми и съ погледъ, като сочеше вратата, то ми рече тый опрѣдѣлено, колкото е позволено на едно куче това да направи:

— Хайде, вървете подирѣ ми, вие! . . .

Азъ послушно го послѣдвахъ. Ние тръгнахме двама, то на прѣдъ, азъ отзадъ. Тый изминахме чрѣзъ цѣлото село . . . Дѣца, които си играеха на улицата, познаха мойтъ водачъ.

— Ей, Черньо! Добъръ день, Черньо!

Тѣ искаха да си поиграятъ съ кучето, но то възви глава съ единъ прѣзрителенъ погледъ, погледъ на куче, което нѣма време да се весели, на куче, което е заето съ извършване на своята длъжностъ и съ добивътъ тридесетъ стотинки. Едно отъ дѣцата извика:

— Оставете го, де. То води господинътъ на Шодронъ. . . Добъръ день, господине!

И всички съ смѣхъ повториха:

— Добъръ день, господине!

Азъ се усмихнахъ, но увѣрепъ съмъ, че нѣкакъ неловко. Азъ се усѣцахъ смутенъ, малко нѣщо като униженъ. Та и въ сжцностъ азъ бѣхъ въ властѣта на това животно. За прѣзъ това време то бѣше мой господаръ. То знаеше на какѣ отива, а пакъ азъ не знаехъ. Азъ бързахъ да излѣза изъ селото за да остана на самѣ съ Черньо, насрѣщъ оние хубости на природата, съ които то бѣше натоварено да ме кара да се наслаждавамъ.

За първо начало тѣзи красоти на природата бѣха, единъ ужасенъ, пращенъ, нажеженъ пѣть подъ едно разкалено слънце. Кучето вървеше съ равно-бързи стъпки и азъ се уморявахъ да го слѣдвамъ. Азъ се опитахъ да умѣря неговия вървежъ: «Черньо, ей, Черньо. . . кучешце, недѣй толкова бърза.» Черньо си правеше оглушки, продължаваше, безъ да ще да ме чуе, свойтъ начертанъ пѣть, и веднага прояви истинския буренъ гнѣвъ, когато азъ поискахъ да сѣдна у кѣтътъ на една поляна, подъ едно дърво, което хвърляше слаба сѣнка. То залая съ единъ не високъ сърдитъ гласъ, замѣта върху ми възмутени погледи. Очевидно, че онова, което направихъ, бѣ противно на правилата. . . Хората нѣмаха обичай да се спиратъ на това мѣсто. . . И лайтъ бѣше тѣй остъръ, тѣй настоятеленъ, щото азъ сганахъ за да се пустна пакъ въ пѣть. Черньо веднага се успокои и почна весело да подскача отирѣдъ ми. Азъ съмъ го разбралъ. То бѣше доволно.

Слѣдъ нѣколко минути влѣзохме въ единъ чудесенъ пѣть, сѣичестъ, покритъ съ цвѣтя, напоенъ съ благоухания, пѣленъ съ хладна и шуртѣние на извори. . . Черньо на часътъ се промѣкна подъ дърветата, пусна се въ галонъ и се изгуби въ една малка пжтека. . . Запѣхтъ азъ вървѣхъ подирѣ му. Не изминахъ и стотина стъпки, като намѣрихъ мой Черньо, който ме очакваше съ високо вирната глава и бѣскави очи, въ единъ видъ за да отъ зеленина, гдѣто се чуеше веселата нѣсенъ на единъ малкъ водоскокъ. Тамъ имаше стара дървена лавица, и погледътъ на Черньо съ беспокойство се мѣташе отъ моитѣ очи къмъ тая лавица и отъ лавицата къмъ очитѣ ми. Азъ захванахъ да проумѣвамъ изикътъ на Черньо.

— Его на, говореше ми той, тамамъ мѣсто за почивка. . . Тука е хубаво, хладно. . . Хайде, сѣдни де. . . сега можешъ да сѣднешъ, азъ ти позволявамъ.

И азъ се сирѣхъ, сѣднахъ и запалихъ папираса. Азъ почти направихъ движение да прѣдложа една и на Черньо. Можъ, той да пуши. . . Но кучето бѣше лѣгнало и задрѣмало у краката ми. . . То било навикнало на това мѣсто да прави кѣса почивка и да си пооткрадва малко слънечъ.

То не просна по-вече отъ десетина минути. Азъ, обаче, бѣхъ съвършено спокоенъ; Черньо почна да ми вдѣхва пълно довѣрие. Азъ рѣшихъ слѣпо да му се повинувамъ. То стана, протегна се, и хвърли върху мене оня кѣсъ погледъ отъ страна, който означаваше: «Въ пѣть, приятелю, въ пѣть!» И его че двама крачимъ подъ дърветата съ по-бавенъ ходъ; очевидно, Черньо се наслаждаваше

съ хубостта, тишината и сладостта на мѣстото. . . . Прѣди малко изъ пжтьтъ, като бързаше да избѣга отъ жегата и прахътъ, то вървеше съ кжси, човръсти, рѣшително бързи крачки. То вървеше за да стигне. А сега расхладенъ, расположенъ, Черно вървеше заради удоволствие да върви по една отъ най-хубавитѣ малки пжтеки въ Вадсквитъ кантонъ.

Другъ единъ пжтъ се показва на лѣво. Черно се позабави на единъ мигъ. Той се замисли. Послѣ мина и продължи свойтъ пжтъ право на напредъ, не безъ извѣстно смущение и нерѣшителностъ въ свойтъ ходъ. . . . И его че се спира. Той трѣбва да се е забъркалъ. . . . Да, защото ей го че се повръща. . . . Ние се пуцаме по една пжтека на лѣво, която ненадѣино подиръ стотина крачки ни изведе прѣдъ единъ видъ църкъ, и Черно, съ издигната на горѣ муцунка, ме кани да се наслада на твърдѣ почитателната височина на оная непристъпна сѣлна скала, която образува тоя църкъ. . . . Като си помисли Черно, че азъ достаточо съмъ се насладилъ, той отново се повръща и ние се върнахме къмъ първитъ пжтъ. Черно на-съ-малко щѣлъ билъ да забрави да ми покаже църкътъ отъ скали. . . . Малка грѣшка, която той скоро оправя.

Пжтьтъ става стрѣменъ, мжченъ, опасенъ. . . . Азъ напредвамъ твърдѣ бавно, съ безкрайна прѣдпазливостъ. Черно легко си скача отъ скала на скала, но не се отдѣля отъ мене. . . . Той ме причкава; въ обърнатитѣ кждѣ мене очи азъ чета най-умилна угриженостъ. Най сѣтнѣ захваща да се чува шуртение; Черно почна радостно да лае.

— Смѣлостъ, смѣлостъ, говори той. Пристигаме вече. . . . Сега ще видишь Шдронъ.

И наистина това бѣ Шдронъ. Единъ доста скромненъ изворъ отъ една тѣй сжщо скромна височина пада съ прѣски и скокове въ една голѣма легко издълбана скала. Азъ никога не щѣхъ да се утѣша, че съмъ се искатерилъ по тоя мжченъ пжтъ за да видя това нищожно чудо, да нѣмахъ за другаръ изъ пжтьтъ тойзи доблестенъ Черно, който самъ по-себе е другоиче по занимателенъ и чуденъ отъ Шдронъ.

Отъ всѣка страна на изворътъ, въ малки швейцарски кжщичи сж расположены двѣ малки мѣкаринци, които сж обдържатъ отъ двѣ малки швейцарки, едната руса, другата мурга; и двѣтъ въ народното си облѣкло, у прагътъ на свонтѣ кжщички-кутийки, жадно очакватъ моето пристигане. Стори ми се, че малката руса има много хубави очи, и азъ бѣхъ вече прѣстѣпилъ три-четири крачки къмъ нейна страна, когато Черно, като се разрази съ ужа-

сенъ лай, рѣшително ми прѣврѣчи пѣтътъ. Да не би да прѣдпочита той малката мурга? Азъ мѣнявамъ посоката. Работата била такъва; Черно мърся като магьосанъ, щомъ ме видя сѣдналъ при една маса на неговата млада protégée. Понскахъ си чаша млѣко. Приятелката на Черно влза въ своята кѣщица-играчка и Черно слѣдомъ се промѣква въ кѣщата. Чрѣзъ единъ полу-отворенъ прозорецъ азъ слѣдя съ очи мойтъ Черно . . . А пакостникъ! Него служатъ прѣди мене. Той пръвъ добива своята голѣма паница млѣко. Той е подкупенъ!

Подиръ това, съ повиснали още по мустацитѣ му капки млѣко, Черно се върна при мене за да ми бжде другаръ и да ме гледа какъ си пия азъ моето млѣко. И тамъ двамата, напълно задоволни единъ отъ другъ, като поемаме съ пълни гърди животворниятъ и легкъ планинскій въздухъ, ние прѣкарваме, на триста или четиристотинъ метрова височина, единъ възхитителенъ половинъ часъ. Азъ сега чета въ неговитѣ очи като въ отворена книга. Трѣбва да тръгваме. Азъ се расплащамъ, ставамъ, и въ онова врѣме, когато се уштвамъ на дѣсно, къмъ пхлѣтъ, който ни искара на планината, виждамъ, че мой Черно е застаналъ на лѣво при входътъ на единъ другъ пѣтъ. Той обръща къмъ мене сериозенъ, строгъ погледъ. Какъвъ успѣхъ направихъ азъ отъ два часа насамъ, и колко ясно стана за мене мълчаливото краснорѣчие на Черно.

— Какво мнѣние ти имашъ за мене? ми казва Черно. Не мислишь ли ти, че азъ ще те карамъ два пѣти да минавашъ по същия пѣтъ? Не! . . . Ние ще слѣземъ по другъ пѣтъ.

Ние се върнахме по тая другъ пѣтъ. Мойтъ водачъ ме остави на свобода да се възхищавамъ съ единъ заблѣжителенъ изгледъ, и жогато се раздѣлихме на станцията, ето какъ азъ прѣведохъ на нашъ чловѣчески языкъ послѣдниятъ погледъ на Черно:

— Пристигнахме двадесетъ минути по рано. Само не азъ ще те остава да испуствнешъ трѣнѣтъ!

ПРИЗРАКЪ.

Сия неспокойно. Мѣтамъ се отъ една на друга страна въ лѣгло. Тѣжни мисли се виятъ въ главата, биятъ се по кѣтоветѣ на черепътъ ми, главата ме боли, а потъ облива цѣлата ми снага. Тежко, мъчно и задушно!

Скопнахъ отъ лѣгло и отвориохъ прозореца. Хладна струя промиза коснитѣ ми. Азъ се потърсахъ цѣлъ и си отвориохъ очитѣ.

Небето ясно, светло-спийно, красиво. Южно небе. Дяша на раскопъ, дяша на любовь. Видѣхъ звѣздитѣ въ бѣлата имъ прѣиѣна. Видѣхъ какъ тѣ играятъ на небето, гонятъ се, борягъ се и се цѣлувать. На срѣдъ небето стои Дѣдо Мѣсечко-виторожко. Усмихнатъ гледа къмъ земята. Шумѣтъ, борбата и цѣлувкитѣ не го смуцавать. Той е старъ и мъдъръ. Чухъ гласѣтъ на Дѣда Мѣсечка, чухъ думитѣ му: «Нѣма покой, нѣма миръ, нѣма радость на вашата прѣхвалена земя. Злоба, зависть и натискъ царувать още между човѣцитѣ, които Господь Богъ създаде по свой образъ и подобие!»

Млъкна Дѣдо Мѣсечко, но гласѣтъ му се разнесе по небесата и проехте пространството. Ехото повтори: «Злоба, зависть и натискъ царувать още между човѣцитѣ, които Господь Богъ създаде по свой образъ и подобие!»

«Истина!» каза Зорницата.

«Истина!» Повтори Ехото.

Мѣсецѣтъ продължи: «Нѣма миръ, нѣма любовь между човѣцитѣ!»

Ехото повтори думитѣ на Дѣда Мѣсечко и звѣздитѣ се наловиха на коло и запѣха химна на любовьта.

«Тамъ има радость, миръ и любовь» казахъ азъ.

«Има!» отговориха пѣвцитѣ.

Азъ побѣгнахъ, хвърлихъ се въ лѣглото си и се завихъ прѣзъ-глава съ дебелията завивка, но звѣздичкитѣ играеха прѣдъ очитѣ ми, гонеха се и се цѣлуваха, а думитѣ на Дѣда Мѣсечка бучеха въ ушитѣ ми

Дигнахъ покривката отъ очитѣ си, защото ми бѣше мъчно. Верѣдъ иракълъ на сгаята ми се появи призракъ, призракъ, който отдавна ме прѣслѣдва, радва ме като идеалъ и ме мъчи като фактъ. Недава покой на душата ми. Азъ си припомнихъ думитѣ на Дѣда Мѣсечка и стана тежко на душата ми: «Махни се отъ мене, бѣгай! Или удоволствие, или развлѣчение намиранъ въ мъжитѣ ми? Иди иди! Остави да зарастнатъ ранитѣ на сърцето ми. Иди, иди, иди!» . .

Околнитѣ на моята стаячка се събудиха отъ грозния екъ на гласѣтъ ми. Събраха се и се питаха: „Той бѣ здравъ, що му стана?“

«Той гони невѣжеството!» каза единъ мой приятель.

«Сяромахатъ, объркалъ си е умѣтъ!» каза другъ.

«Влюбенъ е!» каза трети.

«Че то е сѣ едно!» отговори единъ непознатъ гласъ.

Бродинъ.

ПЪТУВАНИЕ ПО ХАРЦЪ.

(1824 год).

Отъ Хейнрихъ Хейне.

(Прѣводъ отъ нѣмски)

II.

Слънцето изгря. Мглата се распля, като видѣния при трети-пѣтлн. Азъ си слѣдвахъ пътьтъ, то като се качвахъ на-горѣ, или спущахъ на-долу; отпрѣдъ ми се носеше прѣкрасното слънце, освѣтляюще постоянно нови хубости. Планинскійтъ духъ явно ми покровителствуваше; той, разбира се, знаеше, че такъвъ единъ поетъ, като мене, може много хубавички нѣща да прикаже, та тая утрень ми показа свойтъ Харцъ, както навѣрно не всѣкий го е видвалъ. Но и Харцъ видя мене, както само малцина сж ме виждали; на монтѣ клѣпки блѣстеше сжцо такъвъ скжпоцѣиенъ маргаритъ, като по трѣвата на долината. Утренна роса на любовь увлажаваше монтѣ страши, шумолящитѣ ели ме разбраха, тѣхнитѣ жлонье се поотдѣлиха, пздигнаха и се спустиаха, подобно на нѣми хора, които проявиватъ радостята си съ ржцѣ, а отдалечъ се донасяха чудно-таинственни звукове, като звонъ отъ камбана на пѣкжоя изгубена въ горската дълбочина черквица. Казватъ, че това сж звѣнци на стада, които въ Харцъ издаватъ такъвъ мигъ, ясенъ и чистъ гласъ.

По положеннето на слънцето бѣше вече пладне, когато се натикнахъ на такова едно стадо, и овчарьтъ, младъ, засмѣиъ русъ момъкъ ми каза, че голѣмата планина, у чисто подножие се намирамъ, е старийтъ, прочутъ на цѣлъ свѣтъ Брокенъ. На нѣколко часа въ околността нѣма ни едно жилище, за това азъ се зарадвахъ, когато младийтъ овчаръ ме покани да похапна съ него. Ние се сложихме наземъ и се заловихме за *déjeuner dinatoire*, състоящъ отъ сирене и хлѣбъ; аганица подбѣраха трохитѣ; гиздрави чистички телци подскачаха на около ни, лукаво подрънкаваха съ своитѣ звънчегя и ни се усмихваха съ голѣмитѣ си доволни очи. Ние се нахранихме царски; дори мойтъ сгопанинъ ми се показа истинскій царъ, а понеже до день-днешенъ той е единственнийтъ царъ, който ми е далъ хлѣбъ, азъ искамъ исто тѣй по царски да го възспѣя.

Царь е младото овчарче!
Хълмът тронъ му е богатъ,
Надъ глава му слънце ясно —
То вѣнецътъ му е златъ.

Куртизанки млади — овци.
Съ лещи азени прѣзъ вратъ;
Ходятъ тѣлци камерхери
Съ важенъ видъ напрѣдъ—назадъ;

Брета — комеданти
Сж при неговия домъ;
Звѣнци дрънкатъ, птици пѣятъ —
Туй му е придворний хоръ.

Пѣятъ и звѣнтятъ омайно!
Сгласятъ се съсъ тоя шумъ
Водопадътъ и елитѣ,
Та отнасятъ царя въ сънъ.

Управленъето завзема
Несъ-министрътъ тогасъ,
И далеко се разнася
Мощнийгъ му соннатъ гласъ.

«Колко тежко е да бждешъ
Царь — блѣнува царьтъ самъ —
При царицата дома си
Какъ бихъ отпочиналъ тамъ!»

«Какъ бихъ въ нейнитѣ пригрѣдки:
Азъ глава си приклонилъ. . . .
Та безкрайното ми царство
Салъ е въ нейний погледъ милъ!»

Ние дружелюбно се распростихме, и азъ радостно захва-
нахъ да се искачамъ на планината. Скоро-встѣпихъ въ гора отъ
ели, чинто върхове като че ли стигаха небото и спрямо които азъ
чувствувамъ въ всѣко отношение: почитъ, защото тѣзи дървета
же растатъ никакъ лесно и въ младини трѣбва да наброяватъ

ше единъ горчивъ часъ. Планината тука е устѣяна съ многочислени голѣми гранитни отломци, и по-вечето дървета сж дължни съ коренитѣ или да обвиятъ тие камъни, или да ги изровятъ, трудолюбно да търсатъ почва, отъ която да добиятъ храна. Самъ-тамъ лѣжатъ натрупани едни надъ други камъни и каго че ли образуватъ порти, токо надъ тѣхъ се издигатъ дървета, голитѣ имъ корени се извличатъ по тие каменни порти и едвамъ у подножието се допиратъ до земя, тѣй щото изгледна, като че ли тѣ растатъ на въздухътъ. И пакъ сж стигнали до тая мощна височина! и като се сраснали съ камънитѣ, по които се сж искатерили, тѣ стоятъ по-твърдо отъ тѣхнитѣ околни посестрими въ мекката пръстъ на равна мѣстность. Така и въ живота стоятъ оние велики мъжъе, които чрѣзъ оборване на прѣчки и сиѣнки, първомъ достигатъ до непоколебима твърдость. Изъ клоњето на елитѣ се мѣркатъ катерички, а отдолу се расхождатъ сури слени. Кога видя това прѣкрасно, благородно животно, азъ немоа да проумѣя, какъ образовани хора наширатъ удоволствие въ цегоното прѣслѣждане и убивание. Такова едно животно се е показало по-милостиво отъ хората, и е нахърмило страдающитѣ синѣ на света Геновеа.

Чрѣзъ гѣстата зеленина на елитѣ особено весело се пробиватъ златнитѣ лучи на слънцего. Коренитѣ на дърветата образуватъ естествена стълба. На всждѣ мекка лавици отъ мѣхъ: камънитѣ сж обраснали на педа съ най-хубави видове мѣхъ, като възглавници отъ свѣтло-зелено кадифе. Чудна хладина и омайно шуртение на извори. Тукъ-тамъ се вижда какъ изъ-подъ камънитѣ се пробива силно-срѣбърна вода и пом оголѣлитѣ корени и жилки на дърветата. Кога човекъ се наведе надъ това зрѣлище, веднага издебва историята на тайното рождение на растенията и спокойното сърдцебиение на планината. На пѣком мѣста водата изъ-подъ камъни и корени извира по-силно и образува малки водоскокове. По тие мѣста хубаво се сѣди. Тука тѣй чудесно шурти и шумоли, и штицитѣ пѣятъ прѣкраснати, пълни съ тайни желаниа мелодии, дърветата шепнатъ по между си като хиляди момински язици, като хиляди момини очи гледатъ на насъ рѣдки планински цѣвтя, тѣ протягатъ къмъ насъ чудно-широкитѣ си, смѣшно-изрѣзани листа, по тѣхъ пгриво свѣтятъ веселитѣ слънчеви лучи, умнитѣ трѣвци си приказватъ зелени приказници, всичко като че ли е подъ омая, и става все по тайнствено, и по тайнствено, изниква старий-прѣстаръ сънь, явява се любезната — ахъ! защо тѣй скоро тя пакъ исчезва!

Болкото по-високо се качишь на планината, толкова елитѣ

ставатъ по-низки ; подобни на карлици, тѣ като че ли все по-вече и повече се свиватъ, догдѣто най-послѣ не останатъ освѣнзъ ягоди, черники и различни планински трѣви. Тука вече става чувствително по студено . И чакъ тука напълно се появяватъ чудни купове отъ гранитни отломъци : нѣкои отъ тѣхъ сж отъ поразителна голѣмина. Тѣ може да сж игралнитѣ топки, съ които злитѣ духове хвърлятъ едни въ други прѣзъ Валнургиевата нощъ, когато тука дохаждатъ вѣщицитѣ, ахнали на мѣтлж и вили, и когато се захваща ужасната веселба, както толкова пжти я е расправяла вѣрующата баба и както я изобразаватъ хубавитѣ картини на г. Ретчъ къмъ Фаустъ. Единъ младъ поетъ въ пжтуванието си отъ Берлинъ за Гьоттингенъ прѣзъ нощъта на първий Май, кога минавалъ покрай Брокенъ, видѣлъ, какъ нѣколко беллетристически дами, расположени за чай у единъ кжтъ на планината заедно съ естетическото си общество, сантиментално четяли «Вечернитѣ Вѣстникъ», прославяли като всесвѣтни гении своитѣ ерепча, които съ блѣяние подскачали около чайната трапеза, и изричали за всички произведения въ нѣжската литература своитѣ окончателенъ приговоръ ; обаче, кога дошелъ редъ до «Ратклифъ» и «Алманзоръ», и тѣ отrekli въ авторътъ всѣко чувство на християнска набожностъ, косата на младийтъ момъкъ се изправила на главата му, обзелъ го ужасъ, — азъ припустнахъ коньтъ и побѣгнахъ отъ тамъ на далечъ.

Наистина, кога челоувѣкъ се качи по горнията часть на Брокенъ, не може да се избави отъ да мисли върху въсхитителнитѣ разкази за Блоксбергъ, и особенно върху великата, мистическа национална трагедия за докторъ Фаустъ. Мене винаги се прѣдставляваше, като че токо до мене се катери конска нога и че нѣкой хумористически динше. Азъ вѣрвамъ, обаче, че и Мефистофель съ мжка си поема, кога се качва по любимата си планина ; защото пжтътъ е извънредно труденъ и азъ се зарадвахъ, когато най-послѣ прѣдъ очитѣ ми се откри отдавна желаниата Брокенска гостинница.

Тая гостинница, позната по многобройни снимъци, състояща, речи, само отъ единъ доленъ катъ и расположена на връхъ планината, е построена въ 1800 отъ графъ Штолбергъ-Вернигероде, на чиято смѣтка се поддържа и сега. Стѣнитѣ сж удивително дебели, поради вѣтъртъ и студтъ зимѣ ; покривтъ е нискъ, въ срѣдата му се издига нѣщо като кула, мѣсто за стража ; при тая сграда има още двѣ малки кжщници, отъ които едната въ прѣдшии врѣмена е служила за убѣжище на Брокенскитѣ неситители.

Вѣтхиванието въ Брокенската гостинница възбуди въ мене необикновено приказачно впечатлѣние. Подиръ дълго, осамотено

качване вървѣдъ ели и скали чловѣкъ изведнаждъ се прѣнася въ единъ възоблаченъ домъ; градове, планини и гори оставатъ долу, и горѣ се наввра въ едно чудно съставено, чуждо общество, което ви посрѣща, както това е естествено по тие мѣста, като очакванъ другаръ, половинъ-любопитно, половинъ-равнодушно. Азъ намѣрихъ къщата пълна съ пжтници, и както прилича на единъ уменъ мжжъ, вече се замислихъ за нощта, за негодността на ложе отъ слама; съ умвращоу гласъ азъ веднага си поискахъ чай, а негова милость, Брокенскитъ гостинничаръ, бѣ достаточно разуменъ, да види, че азъ, боленъ чловѣкъ, имамъ нужда отъ свѣстно лѣгло за прѣзъ нощта. Таково той ми посочи въ една тѣсна стапчка, гдѣто вече се бѣ расположилъ едниъ младъ търговецъ, дългъ прахъ за поврщанне въ каванъ сюртукъ.

Въ общата зала всичко бѣ животно и движение. Студенти отъ различни университети. Едни токо прѣди малко пристигнали и гледатъ да се настанятъ, други се готватъ за въ пжтъ, стягатъ чанти, занисватъ си имената въ „книга за спомень“, приематъ китки отъ Брокенскитъ слугини; сѣтнѣ настанаха шипаница по странитѣ, пѣсни, скачанина, викове, витания, отговори, нежелания: на добъръ часъ, добъръ пжтъ, съ здраве, с боготъ. Нѣкои отъ замнвувачитѣ сж малко-вѣщо пийнали, и тѣ двойно се наслаждаватъ съ прѣкраснитъ изгледъ, защото единъ пиянъ вжда всичко двойно.

Слѣдъ като достаточно се подкрѣпихъ, азъ се вскачихъ на кугата за стража и заварихъ тамъ единъ дребенъ господинъ съ двѣ дами, едната млада, а другата възстаричка. Младата дама бѣше много хубана. Въсхитителенъ образъ, връхъ къдрявата глава черна атласена шапка, подобна на шлемъ, съ чипто бѣли пера вѣтъра си вграеше, гиздавитѣ членове загърнати въ обтегната черна копринена дрѣха, тѣй щето благороднитѣ форми ясно се очертаваха, а яснитѣ, голѣми очи спок-йно съзерцаваха волнитъ обширенъ свѣтъ.

Когато бѣхъ още малко момче, азъ не мислѣхъ за нищо друго, освѣнъ за разкази върху чудеса и магии, и всѣка прѣкрасна дама, която носеше страугови пера на глава, приемахъ за царина на елфи, ако ли пакъ забѣлѣжехъ, че политѣ на дрѣхата ѝ сж мекри, считахъ я за русалка. Сега азъ друголяче мисля, отъ-какъ узнахъ въз естественната история, че тие символически пера се получаватъ отъ най-глушавата отъ птицитѣ, и че политѣ на една женска рокля може да сж намокрени по най-естественъ начинъ. Да имахъ сжщитѣ оние очи, като въ дѣтнството си, когато съгледахъ споменатата млада прѣкрасна въ токо-що описаното положение, азъ на-

вѣрно щѣхъ да помисля: това е фелта на планината, и тя трѣбва да е изрекла оние омаи, отъ които всичко тамъ долу се явява тъй чудесно. Наистина, всичко се показва въ висока степенъ чудесно, кога отъ върхъ ъ на Брокенъ прѣвъ ижтъ погледнемъ на долу, всички страни на нашия духъ приематъ нови впечатлѣния, и послѣднитѣ, по-вечето разнообразни, и дори противорѣчиви, се свързватъ въ нашата душа въ едно велико, макаръ още силѣнено и неясно чувство. Сполучимъ ли да разберемъ това чувство въ истинскитѣ му смисълъ, тогава ние узнаваме и характерътъ на планината. Тоя характеръ е нѣмскій, както по отношение на недостатъцитѣ си, така и по своитѣ достойнства.

Брокенъ е нѣмецъ. Съ нѣмска основателностъ той точно и ясно показва, като въ исполинска панорама, стотинитѣ градове, паланки и села, по-вечето отъ които сж разположени къмъ сѣверъ, и на около всички планини, гори, рѣки, равнини, които се разпростиратъ до безпрѣдѣлностъ. Но чрѣзъ сжщото, всичко се прѣдставлява като една рѣзконачертана, чисто разграничена, специална карта, безъ да може око то радостно да си почине на нѣкоя истински прѣкрасна мѣстностъ; както винаги се случаваше съ насъ, нѣмски комплятори, които полагаме всички старания за да се покажемъ съвѣстно точни, безъ нѣкога да се замислимъ като какъ по единъ приятно-гиздавъ начинъ да прѣдставимъ нѣкоя дребна подробностъ. Планината тъй исто има нѣщо нѣмско-спокойно, разбрано, умѣренно; и именно затова тя може да съзерцава нѣщата тъй ясно и тъй на далечъ. И кога такава една планина растворя своитѣ исполински очи, разбира се, че тя по-много вижда, нежели ние карлицитѣ, които съ кжсогледитѣ си очи се катеримъ по нейнитѣ грѣбъ. Мнозина утвърждаватъ дори, че Брокенъ ималъ нѣщо филистерско, и Клавдиусъ пѣе: „Блоксбергъ е дългий господинъ филистеръ!“ Но това е погрѣшно. По своята лиса глава, която на врѣмени прикрива съ бѣла шапка облаци, истина че той изгледва като филистеръ; но както и у мнозина други велики нѣмци, това произлиза отъ чиста ирония. Знаяно е, че и Брокенъ има свои часове на весело-радостно и фантастическо настроение, наприм. прѣзъ ноцта на първий Май. Тогава съ ликование той хвърга облачната си шапка на въздухъ и става сжщо като насъ, останала нѣмска младежъ, съвършенно романтически безуменъ.

Азъ тутакси се помъчихъ да завържа разговоръ съ прѣкрасната дама; защото съ красоти на природата человекъ истински само тогава се наслаждава, кога може на нѣстото да ги сподѣли. Тя не обладаваше богъ-знае какъвъ умъ, но изслушваше разбрано-

внимателно. Истински прилични обноси. Азъ разумѣвамъ не обикновенното окаманѣло, отрицателно приличие, което точно знае, що трѣбва да се изостави; но онова по-рѣдко, свободно, положително приличие, което ясно ни говори, що ние имаме на вършинѣ, и което, при пълна нестѣсняемостъ, ни дава най-висока другарска утѣренность. Азъ развихъ, за мое собствено очудване, голѣми географически познания, нарекохъ на любознателната прѣкрасна имената на всички градове, които лѣжеха отпрѣдъ ни, дирѣхъ и показвахъ сжщитѣ по моята карта, която бѣхъ разложилъ на каменната маса, що е въ срѣдата на площадката, съ чисто прѣподавателскій изгледъ. Нѣкои градове азъ не можахъ да намѣря, може би, защото повече ги дирѣхъ съ пръсти, нежели съ очи, които въ това врѣме се запознавахъ съ ликътъ на прѣкрасната дама и връхъ него откриха не едно живописно мѣсто. Тойзи образъ принадлежеше къмъ оние, които никога не възбуждатъ, рѣдко въسخищаватъ и всекога се харесватъ. Азъ обичамъ такива лица, защото тѣ навѣватъ покой на моето метежно сърдце. Дамата не бѣ задомена, макаръ и да се намираше въ оная цвѣтуща възраст, която има пълно право да разчитва на бракъ. Но това е всекъдневно явление, че именно най-хубавитѣ мои най-мъчно си намиратъ мъже. Така е било и въ древность и, както е извѣстно, третѣ грации тѣй си и останали дѣвственници.

Какъвъ се падаше малкиятъ господинъ на дамитѣ, които той съпровождаше, азъ не можахъ да отгатна. Той имаше гърчава забѣлжителна фигура. Главица, оскъдно покрита съ бѣли косъмци, които ниспадаха отъ ниско чело до зеленикави като на шурецъ очи, дебелъ напрѣдъ издаденъ носъ, а устата и брадата каго че ли плахо се дърпаха къмъ ушитѣ. Това лице като че ли бѣше отъ нѣжна, ужълта глина, отъ която скулпторитѣ лѣпятъ своитѣ първи модели; а когато тънкитѣ устни се прищипнеха заедно, по странитѣ се образуваха хиляди полукръгли тънки бръчки. Малкиятъ човекъ не продума дума само сегиз-тогизъ когато старата дама му пошепнеше нѣщо дружелюбно, той се усмихваше като куче, което страда отъ хрема.

Оная по стара дама била майка на по-младата, и тя тѣй сжщо обладаваше прилични обноси. Нейнитѣ очи проявяваха болѣзненно-мечтателна замисленность, уснитѣ ѝ изражаваха строга набожность, стори ми се обаче, че нѣкога си, кога сж били прѣкрасни, тѣ много се сж смѣли, много цѣлунки сж приели и много тажвива върнали. Нейний образъ приличаше на Codex palimpsestus, гдѣто изъ подъ повопачертаната калугерска ржкопись на нѣкоя черко-

вна молитва се издѣобаха полузаличени стихове отъ нѣкоя древне грѣцка любовна пѣсенъ. Двѣтѣ дами съ свойтѣ съпътникъ тая година бѣли въ Италия и ми разказаха много прѣкрасни пѣща за Римъ, Флоренция и Венеция. Майката расправяше много за Рафаелевитѣ картини въ черковата Св. Петръ; дъщерята по-вече говори за операта въ театръ Фениче. И двѣтѣ бѣха въ въсгоргъ отъ искусството на импровизаторитѣ. Родний градъ на дамитѣ бѣль Нюрнбергъ; обаче за неговото старо величие тѣ знаеха твърдѣ малко да ми расправятъ. Благодатното искусство на мейстерзенгеритѣ, отъ които добрийтѣ Вагензейль запази послѣднитѣ звукове, е угаснало, и нюрнбергскитѣ граждани се растушаватъ съ безсмислени италянски импровизации и пѣтлево кукуринане. О, светий Себаде, какъвъ клѣтъ покровитель ти днесъ си станаль!

Догдѣто ние приказвахме, започна да мръква; въздухътъ стана още по-студентъ, слънцето се склопи по-надолу и площадката на кулата се нанѣли съ студенти, търговски чираци и нѣколцина почтени граждани, заедно съ тѣхнитѣ сжируги и дъщери, които всички желяеха да видятъ залѣзването на слънцето. То прѣдставляваше величествено зрѣлище, което настроява душата къмъ молитва. Почти четвъртъ часъ стояха всички въ строго мълчание и гледаха, какъ прѣкрасното огнено кълбо постепенно потъна на запатъ; лицата бидоха освѣтени отъ вечерната зора, неволно рѣцѣтъ се сложиха за молитва; въ тоя мигъ като че ли всички, подобно на благоговѣйна паства, стоехме въ сградата на единъ исполниевскій храмъ, и черковниятъ служителъ издигаше надъ глава тѣлото на Спасителя и отъ оргѣнтъ се лѣеше безсмъртнийтѣ хоралъ на Палестрина.

Азъ още стоехъ потъналь въ мисли, кога редомъ съ мене нѣкоя извика: «Колко прѣкрасна изобщо е природата!» Тие думи излѣзоха изъ прѣпълненитѣ съ чувство гърди на мойтѣ съжителъ по стаята, младийгъ търговецъ, и веднага ми повърнаха дѣлничното настроение, тѣй щото азъ бѣхъ въ състояние да разкажа на монитѣ дами много ползи свѣдѣния за заходжанне на слънцето и спокойно, като че ли нищо не бѣ се случило, да ги отведа до тѣхната стая. Тѣ ми дозволиха да нестоя при тѣхъ още единъ часъ. Като самата земя, нашиятъ разговоръ се въртеше около слънцето. Майката се произнесе, че погналото въ мъгла слънце изглеждало като пламенна алена роза, която любезното небо хвърляло въ широкораспереното бѣло вѣчяло було на своята любовница земя. Дъщерята се усмихна и изказа прѣдположение, че често слзерцаване на подобни природни явления ослабва тѣхното впечатлѣние. Майката обори това лъжливо миѣние, чрѣзь едно мѣсто изъ Палтуванвето на Гюте, и

ме попита, дали съм челъ Вертеръ? Азъ мисля, че ние приказвахме тѣй сжщо за ангорски котки, етруски вази, турски шалове, макарони и Лордъ Байронъ, пзъ произведенията на когото по-старата дама приведе пѣколко откъслечи върху залѣзване на слънцето, съ штински всхитителенъ шепоть и въздишки. На по-младата дама, която не разбираше, по Английски и искаше да узнае тие стихове, азъ прѣпоръчихъ прѣводитѣ на моята прѣкрасна и умна съотечественица, баронеса Елиза фонъ Хохенхаузенъ; при това обстоятелство азъ не забравихъ, както винаги постѣпямъ съ млади дами, да се нахвърля върху Байроновото безбожие, остѣтствие на вѣра въ любовь и въ нейното постоянство, и богъ-знае още що.

Подиръ тая работа азъ отидохъ още да се расходя по Брокенъ, защото тамъ никога не става съвършено тъмно. Мглата не бѣше гжста и азъ съгледахъ очертанпята на двѣтѣ могили, които наричатъ оltаръ на вѣщици и амвоцъ на дяволи. Азъ гръмнахъ изъ мойтъ пивцовъ, на което, обаче, ехото не се отзова. Но тутакси почухъ познати гласове, попаднахъ въ прѣгрѣдки и отгорѣ ми се посинаха цѣлувки. То бѣха мои университетски другари, които напустили Гьоттингенъ четири дни по-късно отъ мене, и тѣ бѣха доста зачудени, че пакъ ме намиратъ съвършено самъ на Блоксбергъ. Сѣтихъ се почнаха разкази, чудение, противорѣчия, смѣхове и спомени, и духомъ отново ние се намѣрихме въ нашата учена Сибирь, гдѣто образованността стои тѣй високо, штоо мечки вързватъ въ гостинициѣ, а соболитѣ желаятъ на ловчийгъ добъръ вечеръ.

Въ общата стая всички се сбраха на вечеря. Дълга трапеза съ два реда гладки студенти. Въ начало обикновенната университетска тема: дуели, дуели и пакъ дуели. Обществото състоеше най-много отъ Халлски студенти, за това и стана гр. Халле главенъ прѣдмѣтъ за разговоръ. Стѣклата на хофратъ Шютцъ били екзегетически освѣтлени. Послѣ разказваха, че послѣднийтъ приемъ при двора на Кипрскійтъ кралъ билъ удивително баѣскавъ, че той си избралъ синъ, че искалъ да се ожени за една Лихтенштейнска принцеса отъ лѣва страна, че по тоя случай е далъ отставка на държавната метреса и че по прѣдписание цѣлото растрогано министерство плакало. Надали трѣбва да пояснявамъ, че всичко това се относеше къмъ Халлскитѣ пивни сановници. Подиръ това излѣзоха на сцена двама китайци, които прѣди години сж били показвали въ Берлинъ, а въ настоящемъ били избрани за приватдоценти по китайската естетика въ Халлскійтъ университетъ. Слѣдъ това се носпаха остроумни шегги. Присѣждаха, какъ единъ пѣмецъ се показвалъ въ Кингъ за пѣри; и какъ за тая цѣлъ

било издадено едно свидѣтелство, въ което мандарини Тингъ Тшанъ-Тшунгъ и Хи-Ха-Хо увѣрявали, че той е истъ нѣмецъ, що се доказва и отъ неговитѣ искусства, състоящи главно въ философуване, пушенне тютюнъ и въ търѣбие, — и въ крайтъ на свидѣтелството стояла забѣлѣжка, че посѣтителитѣ не трѣбва да водятъ съ себе си кучета въ 12 часа, часъ на неговото храшенне, защото тѣ посягали и отмѣжвали най-добритѣ залаци отъ горкиитѣ нѣмци.

Еднинъ младъ момъкъ, който прѣди малко билъ въ Берлинъ за очищение, говореше много за тоя градъ, но твърдѣ едностранчиво. Той посѣтилъ Висоцкии и театрътъ, и за двата склеше криво. «Младостъта е бърза на думи» и т. н. Той приказваше за раскошнитѣ облѣкля на актьори и актриси, за задкулисни скандали и т. н. Младийтъ челоувѣкъ не знаеше, че тамъ, въ Берлинъ най-много обръщатъ внимание на лѣскава външность на прѣдмѣтитѣ, че тая лѣскава външность най-напрѣдъ трѣбва да разцвѣти на сцената, и че за това театралното управление се грижи толкова много за «цвѣтътъ на брадата, съ каквато трѣбва да се играе една роля», за вѣрността на костюмитѣ, прѣдписани отъ признани историци и ушити отъ научно образовани шивачи. И това е отъ първа необходимостъ. Защото, да туреше само Мария Стюартъ прѣстилка отъ врѣмето на кралица Анна, разбира се, банкиръ Христьянъ Гумпелъ щеше да е въ правото си да се оплаква, че чрѣзъ това му отнематъ всѣка иллюзия; или да бѣ Лордъ Бурлей по погрѣшка облѣкълъ панталони отъ врѣмето на Хейрихъ IV, навѣрно съвѣтница фощъ Шгейнцопфъ, рождена Лилсенгау, цѣла вечеръ не щеше да може да си махне очитѣ отъ тоя анахронизмъ. Такава обогателна грижливостъ отъ страна на Главното театрално управление не се ограничава само съ прѣстилки и панталони, но се распростира и върху лицата на пзображаемитѣ роли. Тѣй въ скоро бѣдуще Отелло ще се играе отъ единъ истинскии Мавръ, когото профессоръ Лухтенштейнъ за тая цѣль е вече исписалъ изъ Африка; въ «Мжска омраза и раскаяние» ролята на Евталия за напрѣдъ ще прѣдставлява нѣкоя истински избѣгнала жена, Петръ отъ единъ истинскии глунавъ момъкъ, а непознатийтъ отъ истинскии тасень рогоносецъ, послѣднитѣ три нѣма нужда да се исписватъ отъ Африка. Въ «Сила на обстоятелствата» ролята на геройтъ трѣбва да играе единъ истинскии писателъ, който да е получилъ вече двѣ пѣсници по образината си; въ «Прародителница» Яромиръ трѣбва да прѣдставлява художникъ, който истински вече веднаждъ да е обрабъ или поще открадналъ; Леди Макбетъ трѣбва да играе дама, която, споредъ исканието на Тика, по природата си да е привлѣкательно

шла, но пакъ да е свързана съ кърваво зрѣлище на нѣкое коварно убийство; и най-послѣ за прѣдставление на особено дребнави, плиткоумни, пизки твари ще се покани великиятъ Вурмъ, който всѣкий пѣтъ привожда въ вѣсторгъ своитѣ сѣродници по духъ, когато се издигне до своето истинско величие. — Колкото затъ и да е разбралъ споменатиятъ младъ момъкъ сжщността на Берлинскитѣ прѣдставления, още по малко той е викиналъ въ това, че Слонтинневата яничерска опера, съ нейнитѣ литаври, слонове, трѣби и тамтами, е героическо срдство, което има за цѣль воинствено да поддигне нашиятъ заспалъ народъ, срдство, което вече сж прѣпоръчвали такива държавни хитреци като Платонъ и Цицеронъ. Но най-малко, обаче, е проумѣлъ младиятъ юноша дипломатическото значение на баллетътъ. Съ мжка азъ му растълкувахъ, че въ позѣтъ на Хоге има по-вече политика, нежели въ главата на Буххолца, какъ всѣкий неговъ туръ означава нѣкои дипломатически прѣговори, какъ всѣко негово движение има политическо значение, тъй на примѣръ, кога печално наведе глава и широко распери рѣцѣ, той разумѣва нашиятъ кабинетъ; кога сто пѣти се завърти на една нога безъ да шрдне отъ мѣсто, той мисли за германскитѣ съюзъ; кога ситнѣ на около като съ свързани нозѣ, той има въ прѣдвидъ дребнитѣ князѣе; кога като пиянъ се килка на вси страни, той изображава европейското равновѣсие; кога си свие рѣцѣтъ на кълбо, той подразумѣва нѣкой конгресъ; и най-послѣ той прѣдставлява нашиятъ всевеликъ приятель на истокъ, кога постепенно се издига въ-висъ, дълго врѣме се застоява въ това положение и веднага съ ужасни скокове се спуща на-земь. Завѣсата падна отъ очитѣ на младиятъ момъкъ, и едвамъ сега той разумя, защо танцоритѣ сж по-добрѣ плащани, нежели великитѣ поети, защо за дипломатическия корпусъ баллетътъ е неисчерпаемъ прѣдмѣтъ на разговори, и защо често нѣкоя прѣкрасна танцорка частно се поддържа отъ министръ, който навѣрно полага денонощни трудове, за да ѝ вдѣхне своята политическа система. Въ името на Аинса! Колко голѣмо е числото на екзотерици и малко числото на езотерици между посѣтителитѣ на театрътъ! Стои тамъ гжсогледата тълпа и зяпа, и се чуди на скокове и глѣпки движения, и изучава анатомия по положенята на Гжа Лемверъ, ржкоплѣще на антрипа на Г-ца Рьониншъ, и тълкува за грация, хармония и бедра — и никой не забѣлѣзва, че въ играемитѣ прѣвввания прѣдъ очитѣ му се мѣта сждбата на нѣмското отечество.

До гдѣто се водеха такива разговори, никой не впусшаше изъ прѣдвидъ и полезното, и всѣкий прилѣжно се разговаряше съ го-

лѣмитѣ блюда, почтено напълнени съ месо, картофи и т. н. ѣстието, обаче, бѣше лошо. Последното, азъ пакътожъ забѣлѣжихъ на мойтъ съсѣдъ, на що той невѣжливо отговори съ единъ акцентъ, по който разпознахъ въ него швейцарець, че ние, нѣмцитъ, както не знаемъ истинска свобода, така не знаемъ и да се задоволяваме съ малко. Азъ дигнахъ рамена и забѣлѣжихъ, че княжескитѣ слуги и сладкари сж навсѣду швейцарци и че повечето днешни швейцарски герои на свободата, които прѣдъ публика изказватъ такава смѣла политика, ми се прѣдставляватъ като оние зайци, които по панаритѣ гърмятъ изъ пищовъ, очудватъ всички дѣца и селяне чрѣзъ своята храбрость, и пакъ си оставатъ зайци.

Алпийскитѣ синъ, вижда се, не искаше да рече иѣщо лошо, докатошно; но думитѣ на Сервантеса, „той бѣ тученъ мѣжъ, слѣдователно, добъръ человекъ.“ Но мойтъ съсѣдъ отъ другата страна, единъ грейфсвалдецъ, много се докачи отъ неговото заявление; той захвана да твърди, че нѣмската мощъ и простота не сж още угаснали, удряше се ягката въ гърди и испразни грамадна чаша бѣло пиво. Швейцарецьтъ му думаше: «Стига, де! стига!» Колкото помирно-успокоително послѣднитѣ му казваше това, толкова грейфсвалдецътъ по-ревностно се пушаше да крѣщи. Той бѣ человекъ отъ оние врѣмена, кога вшкитѣ се сж разохождали на широко, а брѣсначитѣ е застрашавала смъртъ отъ гладъ. Той носеше дълги спуснати коси, рицарскитѣ беретъ, черенъ старогерманскитѣ сюртукъ, кирлива риза, която сжщеврѣменно му служеше и за жилетъ, и подъ нея единъ медалионъ съ косми отъ бѣлийгъ конь на Блюхера. Той изгледваше като глупакъ въ естествена величина. Азъ обичамъ движение прѣзъ вечеря и за това се пусгнахъ въ патриотическа прѣбирня. Той бѣше на миѣние, че Германия трѣбвало да се раздѣли на 33 окръжи. Азъ на противъ утвърждавахъ, че такива трѣбова да бждатъ 48, защото само въ такъвъ случай може да се напише систематическо ръководство върху Германия и че е необходимо, животътъ да се свързва съ науката. Мойтъ грейфсвалдскитѣ приятель бѣшъ: тъй сжщо и нѣмскитѣ бардъ, и повѣрително той ми събщи, че работѣлъ надъ една героическа национална поема, цѣлѣта на която е да прослави Херманна и Херманновската битва. Азъ му дадохъ нѣкои полезни съвѣти за изготвяне на тая епопея. Обърнахъ му внимание, че твърдѣ подходяще ще бжде ако блатата и непроходимитѣ пжтища на Тевтобургската гора той изобрази чрѣзъ водни и грапави стихове, и че ще прояви патриотическа истъщенность, ако остави Вара и другитѣ римляне да говорятъ само голи безсмислицы. Азъ се надѣвамъ, че тойзи неговъ художественъ опитъ ще бжде тъй сжщо

сполучливъ, както и на останалитѣ Берлински поети, и че ще се достигне до най-пълна илюзия.

На нашата трапеза ставаше все по-шумно и весело, виното притискаше пивото, задимиха чаши съ пуншъ, всички, пийнали, размегнаха, пѣха. Раздаде се стариятъ Landesvater и чудниятъ пѣсникъ на В. Мюллеръ, Рюкертъ, Уландъ и т. н. Прѣкрасни мелодии отъ Метфесселя. Най-хубаво звучаха гѣмскитѣ думи на нашия Арндтъ: «Богъ, що желѣзото създаде, не ще робство на свѣта!» И отвѣнъ се донасяше шумъ, като че ли планината приглашаше на нашето пѣяние, и нѣколцина приятели съ килкающа се носъ утвърждаваха дори, че тя радостно потърсва лисата си глава, и че за това стаята ни се била полюлявала. Единъ рѣжеше, другъ подсвиркваше, третий декламираше изъ трагедията «Вина», четвъртий приказваше по латински, петий проповѣдаваше умѣренность, шестий се исправи на единъ столъ и заораторствува: «Господа! земята е кръгълъ цилиндръ, хората сж отдѣлнитѣ гвоздейчета връхъ него, на гледъ безъ цѣлъ распилени; но цилиндрътъ се върти, тукъ-тамъ гвоздеитѣ се закачатъ едни о други и издаватъ звукъ, едни често, други рѣдко, това всичко образува чудесна, сложна музика, която се нарича все-свѣтна история. И тъй да поговоримъ първомъ за музиката, послѣ за свѣтътъ, и най-сѣтнѣ за историята; послѣдната, обаче, се дѣла на положителна и на шпански мухи —». И така продължаваше той да сплита умни съ безумни нѣща.

Единъ благодушенъ Мекленбургецъ, съ носъ надвѣсеиъ надъ пуншова чаша и който съ блаженна усмивка поемаше парата, направи бѣлѣжка, че нему се струвало, като че ли отново се намира прѣдъ театралниятъ буфетъ въ Шверинъ. Другъ единъ държеше своята чаша вино като перспектива прѣдъ очитѣ си и чини се внимателно да ни разгледваше чрѣзъ нея, догдѣто червеното вино се стичаше по странитѣ му въ издаденитѣ на напрѣдъ уста. Грейфсвалдецътъ, веднага въодушевенъ, се хвърли въ моитѣ прѣгръдки и застана: «О, разбирашъ ли ме ти, азъ съмъ залибень, честитъ съмъ, азъ пакъ ще се залиба и види Богъ, тя е образована мома, защото има пълни гърди, носи бѣли рокли и свиря на пиано!» А пакъ швейцарецътъ плачеше, нѣжно ми цѣлуваше ръка и не прѣстанно скимтеше: «О Бебели! О Бебели!»

Въ това крайне оживление, когато ченнитѣ танцуваха и чапитѣ се учеха да хвърчатъ, насрѣщъ ми сѣдѣха двама юноши, прѣкрасни и бѣди, като мраморни статуи, по прилика единиятъ по-вече сходенъ съ Адониса, другиятъ съ Аполлона. Едвамъ видима легка руменина виното бѣ избило на тѣхнитѣ страни. Съ безпрѣ-

дѣлна любовъ тѣ гледаха единъ на другъ, като че ли единиятъ можеше да чете въ очитѣ на другиятъ, и тие очи блѣстеха, като че ли въ тѣхъ бѣха попаднали нѣколко свѣтли капки отъ оня пълненъ съ пламенна любовъ сѣждъ, който набожниятъ ангелъ тамъ горѣ прѣнася отъ една звѣзда на друга. Тѣ говорѣха полегка съ смутнорастреперенъ гласъ и то бѣха печални истории, изъ които се чуваше само чудно скърбенъ стонъ: «Лора тѣй сѣщо е умрѣла!» казваше единиятъ и въздишаше, и слѣдъ къса почивка той зарасправя за едно Халско момиче, какъ то било залюбено въ студентъ, и какъ кога послѣдниятъ оставилъ Халле, то никому вече не било продумало, бѣло малко, денонощно плачело, и все гледало на канарейката, която веднаждъ нейниятъ любезенъ ѝ билъ подарилъ. «Птичката умря, и скоро подиръ нея почина и Лора!» Така се свършваше разказътъ, двоицата юноши млъкнаха и въздишаха, като че ли сърцето имъ щеше да се прѣсне. Най-послѣ заговори другиятъ: «Душата ми е тжжна! Дойди съ мене на вѣнъ въ мрачната нощъ! Азъ искамъ да поема въ себе си диханието на облацитѣ и лучитѣ на луната. Другарю на моитѣ мжки! Азъ те обичамъ, твоитѣ рѣчи звучатъ, като шепотъ на рѣчна трѣстика, като шуртене на потокъ, тѣ се отзоваватъ отново въ моитѣ гърди, но душата ми все остава печална!»

Тогава двамата юноши се исправиха, единиятъ обви съ ржка шията на другиятъ, и тѣй тѣ излѣзоха изъ шумната зала. Азъ тръгнахъ отъ подирѣ имъ и видѣхъ, какъ тѣ ветхиха въ една тъмна стая, какъ единиятъ, намѣсто прозорецъ, отвори единъ голѣмъ долапъ, какъ и двоицата застагнаха на срѣщъ му съ томително распрострени ржци и единъ слѣдъ другия заговориха. «Ти вътрена мрачната нощъ! извика първиятъ, какъ крѣпително раскладявашъ ти моитѣ страни! какъ приятно играешъ ти съ моитѣ развѣвни къдри. Азъ стоя на облачниятъ връхъ на планината, подъ нозѣтъ ми лѣжатъ заспали човѣчески градове и блѣщатъ сини води. Чуй! тамъ долу въ долината шумолятъ ели. Тамъ надъ хълмътъ се посятъ въ образъ на мъгла духоветѣ на бащитѣ ни. О, да можехъ азъ заедно съ васъ да яхна облачниятъ конь и да се възнеса чрѣзъ бурната нощъ, надъ шумящото море, до самитѣ звѣзди! Но ахъ! азъ съмъ прѣтоваренъ съ страдания, и душата ми е печална!» — Другиятъ юноша тѣй сѣщо съ тайна душевна мжка протегна ржци къмъ растворениятъ долапъ, съзри потекоха отъ очитѣ му, и къмъ едни желти, кожани панталони, които прие за мѣсечина, той проговори съ дълбоко покъртенъ гласъ: «Прѣкрасна си ти, щеръ на небесата! Сладостно блаженно е спокойствето на твойтъ ликъ!»

Ти въздъгнаш величаво, омайно! Звѣздитѣ слѣдватъ по твоитѣ сини дъри къмъ истокъ. При твойтъ погледъ и облацитѣ се възраждатъ и се изявва тѣхний суровъ образъ. Кой е подобенъ тебѣ на небесата, рожбо на нощта. Въ твоє присжтствие се засрамятъ звѣздитѣ и отвръщатъ своитѣ зелено-сияйни очи. Кждѣ, кога утрень твойтъ ликъ прѣблѣждава, побѣгвашъ ти отъ твойтъ пхтъ? Като мене, имашъ ли си замъкъ? Живѣешъ ли въ сѣнката на страдание? Паднаха ли твоитѣ сестри отъ небото? Тѣ, що радостно съ тебе прѣкарвахъ нощта, не сжществуватъ ли вече? Да, тѣ сж паднали на-земь, о прѣкрасно свѣтило, и ти често се крпешъ да ги оплаквашъ. Но ще настане вѣкога нощъ и ти тѣй сжщо ще исчезнешъ, и ще оставишъ твойтъ небесенъ модъръ пхтъ. Тогава звѣздитѣ ще дигнатъ своитѣ зелени глави, що се навеждаха отъ срамъ въ твоє присжтствие, и ще се зарадватъ. Но сега ти си прѣмѣнена въ твоитѣ лучезарни одѣжди и гледашъ на насъ изъ-задъ небеснитѣ порти. О вѣтре, распокжсай мѣглата и облацитѣ, за да засияе дъщерята на нощта, да свѣтнатъ обрасналитѣ съ лѣсове планини и бурнитѣ вълни на морето!²

Единъ мой добръ познатъ, не твърдѣ мършавъ приятель, който по-много испи, отъ колкото възде, макаръ че и тая вечеръ, както обикновенно, той погълна такъва порция месо, каквато можеше да насити шестима гвардейци и едно невинно дѣте, въ доста добро настроение, сирѣчь, съвършенно еп свишья, прѣмина и тласна не особено деликатно двоицата елегически другари въ долаптъ, огново шхврѣкна изъ вратата и подигна вѣнъ убийственъ шумъ. Врѣвата въ залата ставаше все по-силна и по-неясна. Двамата юноши въ долаптъ охкаха и стенѣха, че били низвергнати у подножието на планината; благородното червено вино се изливаше назадъ изъ гърлото имъ, тѣ взаимно се обливахъ, и единитѣ заговори на другийтъ: «Оставай съ здравие! Азъ усѣщамъ, че кръвта ми истича. Защо ме будишъ ти, дихание на пролѣтъта? Ти ме милвашъ и казвашъ: Азъ те рѣса съ небесни капки. Но врѣмето на моето увѣхвание е близу, настѣпя буря, която ще разнесе моитѣ листа. Утрѣ ще дойде пжтнѣкъ, който ме е видвалъ въ цвѣтътъ на моята хубость, съ очи ще ме потърси изъ полето и нѣма да ме памѣри.»

Но всячко това покря добръ познатийтъ гласъ-бастъ, който отвѣнъ прѣдъ вратата всрѣдъ богохулни кѣтви и неувни се оплакваше, че изъ цѣлата мрачна Вендска улица не горѣлъ ни единъ фенеръ, и че не могло да се види чии прозорци сж намазани.

Азъ мога много да прѣнеса — скромността не ми позволява да кажа числото на шишетата — и въ доста свѣстно състояние

стигнахъ до моята стапчка. Младийтъ търговецъ бѣше вече въ лѣглото си, въ бѣла, като мѣлъ, ноцна шапка и желтошафранова фланелъ. Той не бѣ още заспалъ и гледаше да почне съ мене разговоръ. Той билъ изъ Франкфуртъ на Майнъ, и слѣдователно тутакси заприказва за Евреигъ, които били загубили всѣко чувство къмъ прѣкрасното и благородното, и че продавали английски сгози 25 % по-долу отъ фабричната имъ цѣна. Яви ми се охота да го помистифицирамъ малко; за това рекохъ, че съмъ лунатикъ и че отъ рано моля прошка за да не би нѣкакъ да го обезкоя въ сына му. На утрента сиромашътъ ми се съзна, че не можахъ да засни цѣла ноцъ, защото се страхувахъ да не извърши нѣкакъвъ malheur съ окаченитѣ надъ лѣглото ми пшцови. Въ сжщностъ, и азъ не прѣкарахъ по-добрѣ ноцъта, много лошо спяхъ, пустоши, страшни зрѣлища. Една фуртопианна партля изъ «Адъгъ» на Данте. При зори прясни ми се доръ, че присжтствувамъ при изпълнение на една юридическа опера, по име Falcidia, съ наследствениоправний текстъ отъ Ханса и музика отъ Сионтини.

Безумно сновидѣние. Великолѣпно освѣтенъ римскій форумъ; Серв. Азиниусъ Гюшенусъ въ видъ на преторъ на стола си, горделиво се загръща въ тога и се излива въ громки речитативи; Маркусъ Туллиусъ Елверзусъ въ видъ на Prima Donna legataria, въ всеоткрытие на своята мила женственностъ испя любовната бравура quicunque civis romanus; начервени като керемида референдарии ръмжаха като хоръ нѣми; приватдоценти, въ видъ на гении облѣчени въ тѣлесенъ цвѣтъ трико, протанцуваха баллетъ отъ дюлстиниановско врѣме и увѣнчаха съ цвѣти двѣнадесегтъ таблици; всрѣдъ гръмтезници и свѣтканица изъ земята се подаде оскърбеныйгъ духъ на римското законодагелство: при това тржѣм, тамтами, огнелъ дъждъ cum omni causa.

Отъ тая неразбранщина ме избави стопанинътъ на Брокенската гостинница, като ме събуди да вида изгрѣвянието на слицето. На кулата азъ заварихъ вече нѣколкоцица очакваючи, които си търкаха замръзналигъ ржцѣ, други, още съ съцени очи, по-легка се искачваха на горѣ; най-послѣ тихого общество се събра въ цѣлъ съставъ като миналата вечеръ, и въ мълчание видѣхмъ, какъ на небосклонътъ се подаде малко, аленочервено кълбо, на около се распространи зимно-мрачно освѣтление, планинитѣ заплуваха като въ бѣлопѣнно развълчувано море, и веднага ясно възстѣпиха тѣхнитѣ върхове, така щото чинеше се, че нѣ сме исправени на една малка могола, всрѣдъ загѣна отъ вси страни равнина и че само тукъ-тамъ се из-

дига сухо кхече земля. За да запомня твърдо въ думи всичко видѣно и прочувствовано, азъ надраскахъ слѣдующето стихотворение.

Речь става на истокъ по свѣтло,
При първой на слънцето трепеть;
Далеко планински вършини
Въ море отъ мъгла се плувнали.

Да вмахъ скорийъ бързоходи
Литналъ бихъ кат' силния вѣтеръ,
Чрътъ тѣзи планински вършини,
Къмъ домътъ на мойта любезна.

Въ лѣглото тамъ гдѣто тя дрѣме,
Бихъ дръпналъ завѣситѣ тихо,
И бихъ я въ челото цѣлуналъ
Полегка — и въ розови утни.

И низичко бихъ и пришепналъ
Въ лилейнитѣ нейни ушенца:
«Блѣнувай че ние се любяемъ
И вѣчно не ще се забравимъ!»

При всичко това азъ усѣщахъ страшно желание да похапна, и слѣдъ като казахъ нѣколко любезности на моитѣ дами, побързахъ да слѣза долу да пия въ топла стая кафе. И то бѣ крайне пуждно, защото въ мойтъ стомахъ царуваше съща пустога, както въ Госларската черква Св. Стефанъ. Но заедно съ арабското питие въ моитѣ членове проникна жежкий Истокъ, источни рози ме обгърнаха съ своитѣ благоухания, зазвучаха сладостни бюбюлеви пѣсни, студентитѣ се прѣвърнаха въ камили, Брокенскитѣ прислужници съ тѣхнитѣ конгревовски погледи станаха на хурии, филистерскитѣ носове израстнаха въ минарети и т. н.

Книгата, що лѣжеше отпрѣдѣ ми, обаче, не бѣше коранъ. Макаръ че и тя съдържаше доста безсмислици. Това бѣ тѣй наречена Брокенска книга, гдѣто влички пѣтници, които се искачаватъ на Брокенъ, записватъ своитѣ имена, и по вецето отъ тѣхъ още отбѣлзватъ нѣкои свои мисли или, ако такива листватъ, чувствата си. Мнозина дори ги изливатъ въ стихове. Но тая книга чловѣкъ вижда, какъвъ ужасъ произлиза, кога великото плѣме филистери

при извънредни обстоятелства, като напр. тука на Брокенъ, се дуете въ поезия. Палатътъ на Паллагонийскійтъ принцъ не съдържа такива страшни безвкусици, като тая книга, гдѣто особено блъщатъ господа акцизни бирници съ тѣхнитѣ паѣсенясаи чувствования, млади конторщици съ тѣхнитѣ патетически душевизлияния, старонѣмски революционери-диплеганти съ тѣхнитѣ безконечно общи вѣста, берлински учители съ несполучливи вѣсторженни фрази и т. н. И Господинъ Йоханъ Хагелъ иска на крѣмечи да се покаже поетъ. Тука се описва величественното благолѣпие на възходящото слънце; тамъ се оплакватъ отъ лошо вѣѣме, излѣгани очаквания, противъ мъглата, която затуля всичко. «Въ мъгла се качихъ и въ мъгла се спуснахъ!» е постоянната острога, която се повтаря отъ стотани. Нѣкоя си Королина пише, че като се качвала на планината, била си намокрила нозѣтъ. Друга наивна Ханхенъ запомнила тая жалба, и лаконически съобщава: при тая история азъ тѣй сѣщо се намокрихъ. Цѣлата книга мерише на спренге, бира п тютюиъ; като че ли четешъ нѣкой романъ отъ Клаурена.

Догдѣ азъ по описанийтѣ начинъ пиехъ кафе и прѣлиствахъ Брокенската книга, вътрѣ встѣпи швейцарецътъ съ силно румени страни и съ пѣлно въодушевление ми расправи за възвишенното зрѣлище, съ което той на кулата тако що се наслаждалъ, когато чистата, спокойна свѣтлина на слънцето, символъ на истината, встѣпила въ бей съ ноцнитѣ мъгливи маси, че това изглеждало като битва на призраци, гдѣто разгнѣвени исполнители изглеждатъ своитѣ дълги мечове, тежко обрѣжени рицари се носятъ на бързи конѣ, бойни колесници се мѣркатъ, знамена развѣватъ, страшни чудовища се подаватъ изъ тоя видъ хаосъ, догдѣ най-послѣ всичко се завъртяло като въ безумно урлѣчение, станало все по-блѣдо и блѣдо и безслѣдно исчезнало. Това демагогическо явление на природата азъ пропуснахъ, и ако да додеше работата до разслѣдвание, азъ можехъ подѣ кѣтва да увѣра, че не зная за нищо друго, освѣнъ за вкусътъ на отличното кафе. Ахъ, та и послѣднето би виновно, че забравихъ моята прѣкрасна дама, а тя вече стоеше възъ вратата съ майка си и сѣхтникътъ, готова да се качи въ кола. Едвамъ имаше вѣѣме бързешкомъ да доближа при нея и да ѝ засвидѣтелствувамъ, че е много студено. Тя ми се показа незадоволна, че не съмъ дошелъ го-рано; но азъ скоро оглѣдихъ сърдититѣ бръчици на прѣкрасното чело, като ѝ поднесохъ едно чудно цвѣте, което единъ-денъ напѣдъ бѣхъ откъсналъ отъ една ужасно-стрѣмна скала съ опасностъ да счупя вратъ. Майката поиска да узнае името на цвѣтетото, като че ли намираше за неприлично, щото нейната дѣщеря да за-

жичи едно чуждо, не извѣстно цвѣте на гърдитъ ся — защото напестина цвѣтето доби това достойно за завидание мѣсто, което, разбира се, то вчера ниго е сънувало на свояга осамогена височина. Мелчалливийтъ съпътникъ, чакъ сега расвори уста, прѣброи прашициѣ на цвѣтето и съвършено сухо каза: то принадлежи къмъ осмиийтъ класъ.

Хваща ме ядъ веѣкий пактъ, кога видя, че дори Божиитъ мили цвѣти, тъкмо като насъ, раздѣлятъ на классове споредъ външнитъ имъ отличия, именно споредъ прашициѣ. Акѡ вече има такъва голѣма нужда за дѣленне, трѣбваше да се слѣдва прѣдложенieto на Теофраста, който е искалъ да дѣли цвѣтията по вече споредъ тѣхний мерисъ. Що се касае до мене, азъ се придръжамъ въ естествениитъ науки до собствена моя система и всичко раздѣлямъ на: такива, които могатъ да се ѣдатъ и на онаквива, които не могатъ да се ѣдатъ.

По-старата дама, обаче, била отъ близу запозната съ таинственната природа на цвѣтията и неволно се призна, че цвѣтията, кога растатъ въ градина или саксии, я прѣмногo радвагъ, и че, наопаки, иѣкакво тихо-болѣзненно чувство прѣпялва съ страхъ и трепетъ нейното сърдце, кога тя видя иѣкое откжснато цвѣте — което тѣй сжщо прѣдставлявало трупъ, и такъчъ единъ откжснатъ иѣженъ цвѣтенъ трупъ обвасвалъ печално увѣхналата си главица, като едно мъртво дѣте. Дамата почги се уплаши отъ мрачната отсѣнка на своята забѣлжка, и азъ счетохъ за длъжностъ да я успокоя съ иѣколко стихове отъ Волтера. И какъ иѣколко французски думи сж въ състояние завчасъ да ни възвърнатъ къмъ обикновено прилично настроение! Ние се разсмѣхме, азъ разцѣлувахъ ржцѣтъ на дамитъ, добихъ въсхитителна усмивка, коньетѣ зацвилыха и колата бавно и мжчно потеглиха на надолу.

Въ това врѣме и студентитъ се готвеха за пактъ, стягаха чанти, заплащаха свърхъ вѣтко очакванне умѣрени смѣтки; радушнитъ прислужници, съ дъри на честгата любовъ по лицето, поднесоха, споредъ приетийгъ обичай, вѣйки отъ Брокенски дървета, закичиха ги на шакиитъ, и за това бидоха възнаградени или съ цѣлувки или съ по иѣколко гроша, и тѣй ние всички потеглихме низъ планината, при това един, въ това число Швейцарецътъ и Грейфсвалдецътъ тръгнаха низъ пактътъ къмъ Ширке, а другитъ, около двадесетъ души, по между имъ мойгъ съжигель и азъ, прѣводими отъ единъ водачъ, се ужтихме чрѣзъ тѣ нареченигъ сиѣжни дунки къмъ Пизенбургъ.

Това ставаше съ рискъ за вратъ и глава. Хилскиитъ студенти крачатъ по бързо и отъ австрийското опълчение. Безъ да

усѣтя, лицата частъ на плачената съ распрѣснатитѣ по нея каменни грамади бѣ останала вече отзадѣ ни, и ние встѣпихме въ една елова гора, каквато видѣдохъ единъ день по прѣди. Слънцето лѣбеше вече своитѣ празнични лучи и озаряваше смѣшно пѣстро облачени младежи, що тѣй весело се вѣткѣваха въ гжсталакъгъ, тукъ исчезнахъ, тамъ се пакъ появахъ, тичешкомъ приминуваха блатиститѣ мѣста по катурени долу дпери, изъ страшнитѣ стрѣминни се катереха, като се залавяха за пълзящи корени, гората кѣтеше отъ тѣхия възторжени възгласи и пѣсни, и веднага се получваше веселъ отговоръ отъ църчащитѣ горски птици, отъ шумолящитѣ ели, отъ невидимитѣ шумящи извори и откъкитѣ на сѣсто. Кога радостна младостъ и прѣкрасна природа се сѣстанатъ заедно, тѣ взаимно се веселятъ.

Колкото се спущахме по надолу, толкова по-приятно шуртѣха подземни източници, туъ-тамъ само вѣкой лѣбне, като че ли скрипомъ دبي. дали може да излѣзе на видѣло и веднага пѣкой малка лѣлна рѣшително искочка на-явѣ. И тогава се повтаря обикновенното явление: единъ храбрець прави начало и на часа великата тѣлна плашливци, въодушевена отъ смѣлость, за собствено очудване, бѣрза да се пристѣдини къмъ първитѣ. Мислѣство други извори се надирѣваряха да искочатъ изъ своето скривалище, слѣха се съ изъвоизатѣлийтъ и скоро заедно образуваха вече доста значителна рѣчица, която въ безбройни водопади и чудни лѣкатушки се спуща изъ горската долина. Това е Илза, прѣкрасната, омайна Илза. Тя тече по благословената долина, обиколена отъ двѣтѣ страи съ планини, които се издигатъ все по-нависоко и нависоко, и сж обраснали до поли по-вечето съ буки, джбове и обикновени листовни дървета, а не съ ели и други хвойни растения. Защото по «Долний Харць», както наричатъ источната частъ на Брокенъ въ противоположностъ на западната, койго се зове «Горний Харць», растатъ по прѣимущественно листовни дървета, когато пакъ послѣднитѣ, който въ сжщностъ е и по-високъ, благоприятствува къмъ впрение на хвойна растителностъ.

Невъзможно е да се опише, съ какво веселие, наивностъ и прѣлестъ се хвърга Илза чрѣзъ ужаснитѣ обломци скали, които тя срѣща изъ пѣтитѣ, на мѣста водата диво бучи и се пѣни, на мѣста се пробива изъ всички каменни пукнотини и междини, като отъ пълна лейка, и се излива въ ясни джги, а долу отново прѣскача чрѣзъ малки камъчета, като живо весело момиче. Да, прѣданмето е истинско, Илза е засмѣна и цвѣтуща принцеса, която тичешкомъ се низпуска отъ планината. Какъ блѣсти на слънце ней-

ната бѣла одѣжда отъ пѣна! Какъ по вѣтъра се развѣвають сребър-
нитѣ панделки по нейнитѣ гърди! Какъ сияятъ и се искратъ ней-
нитѣ алмази! Високитѣ буки стоятъ тука једомѣ като стѣпи бащи,
които съ тайна усмивка гледагъ на забавитѣ на тѣхното любимо
чедо; бѣлитѣ брѣзи, подобно на лели, кляматъ съ удоволствие и
сжщоврѣменно съ страхъ надъ нейнитѣ смѣли скокове; гордийтъ
джбъ гледа на нея, като ядосанъ стрика, комуто ще се гадие да
заплати за хубавото врѣме; птичкитѣ въ въздухътъ ѝ пѣятъ одо-
брене, цвѣтата у брѣзѣтъ пѣжно ѝ шепнатъ: О, земи ми, земи
съ тебе, драга сестрице! — но вселото момиче неудържимо ска-
ча нататкъ и геднага хваща мечтателниитѣ поетъ, и отгорѣ
ми се пзлива дѣждъ цвѣта отъ звнпавни лучи и лучезарни звукове,
умѣтъ ми се зема отъ великолепіе, чувамъ само сладостно нѣженъ
гласъ:

Ази съмъ принцеса Илза
И живѣя въ Пазещейнъ;
О, дойди вивъ моя замъкъ,
Ти честитъ ще бждешъ съ менъ.

Азъ глава ти ще омия
Съ моитѣ бисерни вълни,
Ти, страдаецъ, ще забравишь
Болести, горчевини.

И на моитѣ пригрѣдки
Ти глава си приклони,
Страстна ти душа ще мигомъ
Сънь чаробенъ осѣни.

Ще те милвамъ и цѣлувамъ,
Както въ прѣжни врѣмена
Императоръ Хенрихъ, — който
Огъ това се помина.

Мъртвий нека въ гробъ да тлѣе,
А нѣкъ живий да живѣй —
Азъ съмъ млада и прѣкрасна,
И сърдце ми въ страсть купиѣй!

И трепти сърдце безумно . . .
Въ мойтъ замъкъ се тълпятъ

Дами, рицари и пажки,
И се шумно веселятъ.

Шумолят копринни шлейфи,
Шнори стомисни залягтатъ,
Карли биятъ на литаври,
Свирятъ и съ тръби тръбятъ . . .

Както Хенриху, снага ти
Ще обвия азъ съ ржка,
И уши ти ще затуля,
На тръбитѣ при звука!

Безирѣдливо блаженно е онова чувство, когато явления на природата се сливатъ въ едно съ нашия духовенъ свѣтъ, и зелени дървета, мисли, пѣние на птици, страдание, модро небо, споменъ и благоухание на цвѣтъ се сплитатъ въ чудни арабески. Женитѣ най-добрѣ познаватъ това чувство и за това на тѣхнитѣ устни се съглежда такъва тихоблаженна невѣрующа усмивка, кога съ школна гордостъ ние прославяме нашитѣ логически дѣяния, какъ всичко тѣй чудесно сме раздѣлили на обективно и субективно, какъ сме снабдили нашитѣ глави, като аптека, съ хиляди прѣградки, въ едно отъ които се съдържа умъ, въ друго разумъ, въ трето остроумие, въ четвърто лошо остроумие, въ него свършено нищо, сирѣчь идея.

Азъ вървехъ като насѣнъ и почти никакъ не забѣлжихъ, че сме изминали долината на Илза и че отново се качваме нагорѣ. Пжтътъ бѣше стрѣменъ и труденъ, и не единъ отъ насъ динеше съ мжка. Обаче, като нашиягъ покоенъ братовчедъ, койго е заровенъ въ Мьолнъ, ние отъ рано мислѣхме за спущание на долу и съ това весело се растушавахме. Най-послѣ стигнахме въ Илзенштейнъ.

Това е грамадна гранитна скала, която се издига висока и смѣла възъ бездната. Отъ тритѣ страни я заграждатъ високи, покрити съ гора планини, но четвъртата, сѣверната страна е открита, и оттука се вижда долужащиятъ Илзенбургъ и Илза чакъ до равнината. На кулеобразниягъ връхъ на скалата стои голѣмъ желѣзенъ кръстъ, и въ краенъ случай тамъ има мѣсто за четиря челоуѣчески нозѣ.

Както природата, по положение и устройство, е украсила Ил-

зенштейнъ съ фантастически прѣлести, тъй и прѣданието е про-
лѣло отгорѣ му своята розова свѣтлина. Готшалкъ явява: «раз-
сказватъ, че тука стоялъ единъ магьосанъ замъкъ, гдѣто жи-
вѣяла богатата гиздава принцеса Иза, която и до днесъ вѣчко
утро се къпе въ Иза, и който е чесгитъ, да я срѣщне въ онова
врѣме, него тя завожда на скалата, гдѣто е нейнийтъ замъкъ и
царски награждава». Други пакъ расправятъ за любовта на г-ца
Иза и рицаръ фонъ Весгенбергъ, всхитителна повѣсть, която единъ
отъ нашитѣ най-извѣстни поети романтически въспя въ «Вечерня
Газета». Трети разказватъ другоаче: това е старосаксонскій им-
ператоръ Хейрихъ, който съ Иза, прѣкрасната водна фея, е прѣ-
жарвалъ най-царски часове въ нейнийтъ омаенъ замъкъ връхъ скалата.
Единъ новъ писателъ, господинъ Ниеманъ, който е написалъ книга
Плутванне по Харцъ, гдѣто той дава планински височини, уклоне-
ния на магнитната игла, градски дългове и такива подобни съ по-
хвално прилѣжане и точни цифри, между друго утвърждава: «Ще
до разказитѣ за прѣкрасната принцеса Иза, тѣ се отнасятъ къмъ
периодтъ на басни и приказки.» Така говоратъ всички оние хора,
на които никоя подобна принцеса ниведнаждѣ не се е явявала,
ние, обаче, къмъ които прѣкраснитѣ дами особено благоволятъ,
знаемъ тие работи по-добрѣ. Не напраздно старитѣ саксонски импе-
ратори толкова сж милѣвали за свойтъ роденъ Харцъ. Стига чело-
вѣкъ само да прѣоборне хубавата Люнебургска хроника, гдѣто се
намиратъ чудни, добродушни изображения на нашитѣ добри, стари
господари, въ пълно въоръжение яхнали на снаженъ боецъ конь,
съ света корона на сжжоцѣннитѣ глави, съ жезлъ и мечъ въ мощни-
тѣ ржцѣ; и на дружлюбнитѣ имъ гжстобради образи челоуѣкъ може
ясно да прочете, какъ често тѣ сж тжжали за сладостнитѣ, любезни
на тѣхни сърдца Харцски принцеси и за душевнийтъ шепотъ на
Харцскитѣ гори, когато се сж забавяли въ странство, тжжали сж
дори въ богатата съ лимони и отрови Италия, гдѣго тѣхъ и тѣхни
прѣземници тъй често е закарвало желанието да се нарекатъ Римски
императори, едно чпсто иѣмско щеславие, поради коего се опропа-
сти и императоръ, и царство.

Съвѣтвамъ, обаче, на всѣкиго, който застане на върхътъ на
Изенштейнъ, да не мисля ни за императоръ, ни за царство, нито
пакъ за хубавица Иза, но само за възѣтъ си. Защото, когато сто-
ехъ тамъ, потъналъ въ мисли, веднага изъ омайнийтъ замъкъ ми
се почу подземна музика, плащитѣ наоколо се исправиха на глава,
червенитѣ керемидени покриви на Изенбургъ почнаха да танцуватъ,
зеленитѣ дървета се понесоха въ синийтъ въздухъ, прѣдъ очитѣ

ми стана модро зелено, зави ми се свѣтъ, и азъ безъ друго щѣхъ да се струпюла въ пропастта, да не бѣхъ въ тая ужастна крайностъ ягката се заловидъ за жельзнийтъ кръсть. Че въ таково критическо положение направихъ помядето, вѣрвамъ, никому пѣма да се зловиди.

«Харцъ» е и си остава откъслекъ, а пѣстритѣ нишки, които тѣй хубаво сж вилѣтели вѣтрѣ, шото хармонично да се изгубать вѣрвѣдъ цѣлото, ненадѣйно се съжсаха, като прѣразани отъ ножници на неумолима Парка. Може би, да ги свържа съ бѣдущи мои пѣсни и тогава ще искажа на пълно и онова, което въ настоящемъ оскждно прѣвѣлчавамъ. Та най-сѣнитѣ не е ли все едно, кога и гдѣ чело-вѣкъ нѣщо е взрекълъ, стига само той веднаждъ нанстина да го е изрекълъ. Нека отдѣлнитѣ произвeдения вѣчно оставать откъслечи, стига само тѣ въ своята цѣлокупностъ да съставлявають едно цѣло. Чрѣзъ таково соединение се дошла онова, което тукъ тамъ липсва, рѣзкото се изглажда, чрѣзмѣрно грубото смечтава. Таково нѣщо ще се усѣти, може би, още въ нрнитѣ страници на Харцъ и тѣ можеха да произведатъ не толкова кисело впечатлѣние, ако челоуѣкъ другадѣ узнаеше, че оная неприязнь, която храна къмъ Гьоттингенъ изобщо, макаръ и да е по-голяма, нежели азъ я исказвамъ, все тя ни най-малко не е тѣй обширна, като онова любовно уважение, което чувствавамъ спрямо нѣкоцина тамошни обитатели. Та и защо да прѣмълча, азъ разумѣвамъ тука она съвършено особенно-сжпоцѣненъ челоуѣкъ, койго още на млади ми години се отнесе къмъ мене тѣй радушно, още тогава ми вдѣхна дълбока любовь-къмъ изучение на исгорията, по късно укрѣпи моето рвенне спрямо нея и чрѣзъ това поведе мойтъ духъ изъ по-спокойни пѣтеки, указа на моето жизнено мжжесгво полезна посока, и ми прѣгответи оние исторически уѣхи, безъ които азъ никога не можехъ прѣнесе печалнитѣ явленя на леньтъ. Азъ говора за Георгъ Сартриусть, великийтъ историкъ и челоуѣкъ, чито възгледи сж свѣтла звѣзда въ наше мрачно врѣме и чиего рдушно сѣрдце е открито за всички чужди страдания и радости, за грижитѣ на просякъ и на царь, и за послѣдитѣ въздишки на прѣходящитѣ народи и тѣхни богове.

Датъжень съмъ тука тѣй сжщъ да отбѣтѣжа, че Горний Харцъ, оная часть на Харцъ, която описахъ до начало на долината на Иза, по нататкъ не прѣдстарява таквъ приятенъ изгледъ, като романтически живописний Долний Харцъ, и по своята диво-

рѣзка, мрачноелова красота силно се различава отъ послѣднийтъ; сжщо приятно се различаватъ третѣ образуванн отъ Илза, Бода и Зелка долини, кога человекъ умѣе да олицетвори характертъ на всѣка една отъ тѣхъ. Тѣ сж три женки образи, за които не е лесно да се произнесемъ, кой е най прѣкраснийтъ.

За милата, сладка Илза, и какъ сладко и мило ме тя прие, азъ вече говорихъ и възспѣхъ. Суровопрѣкрасната Бода не ме по-срѣщна тѣй милостиво, и кога азъ пръвѣ ижтъ я зарнахъ въ мрач-нийтъ Рюбеландъ, тя ми се показа навжсена и се затули съ срѣ-бърно сиво дъждовно було: но кога стигнахъ на върхътъ Рострапъ, тя съ поривиста любовъ го хвърли и лицето ѳ заблѣстя отпрѣдъ ми въ лучезарно великолѣбие, изъ всѣка нейна черта дишеше неполинска нѣжнестъ, изъ покоренийтъ скалисти гърди се покъртиха сладострастни въздишки и сдържано-тизи ридания. Не тѣй нѣжна, но по-весела ми се показа прѣкрасната Зелка, гиздава, чудна дама, чийто благородна простота и радостно спокойствие удържатъ на да-лечъ всѣкаква сантиментална фамилиярностъ, но която, обаче, чрѣзъ една полускрита усмивка издака своята игрива природа; съ това си обяснявамъ оние малки неприятности, що прѣтърѣхъ въ нейната долино, тѣй кога искахъ да прѣскогна чрѣзъ нейнитѣ води, азъ се плѣснахъ тъмно въ срѣдата, послѣ си истървахъ единтъ пантофъ, вѣтъртъ ми отнесе шапката, горски трънѣе ми изнободоха нозѣтъ и много такава подобни. Но всички тѣе неприятности азъ на драго-сърдце прощавамъ на прѣкрасната дама, именно защото е прѣ-красна. И сега тя стои отпрѣдъ ми въ всецѣлата си мила прѣлестъ и като че ли ми казва: Макаръ и да се смѣя, азъ не ви мисля злото, и моля ви, възпойте ме! И вѣстихителната Бода изниква всрѣдъ мои спомени и нейното мрачно око говори: По гордостъ и страдания ти приличашъ на мене, азъ искамъ, да ме обичашъ. Така сжщо и хубавата Илза гиздаво изсгжпа прѣдъ очитѣ ми и ме омайва съ образъ, снага и движения; тя безконечно прилива на любимото-сжщество, що дари блаженство на моитѣ мечти, и гледа ме съвр-шенно като нея, съ непоколебимо равнодушие, и сжщеврѣменно тѣй искрено, тѣй безпрѣдѣлно, тѣй прозрачно истинно. — Въ тойзи шагъ съмъ Парисъ, третѣ богини стоятъ отпрѣдъ ми, и азъ давамъ ябълката на прѣкрасната Илза.

Днесъ е първий Май, пролѣттята като жизнено море залива земята, бѣла пѣна цвѣтъ виси по дърветата, необятна, горѣща ясна мъгла се разпростира навредъ, въ градътъ свѣтатъ стьклен-нитѣ прозорци на къщитѣ, по покривитѣ отново врабцитѣ виятъ. Гизда, изъ улицитѣ се расхожда свѣтъ и се чуди, че въздухътъ.

тъй разслабва, и че тѣ самп сж въ таково чудно расположење, пѣстро-накичени селянки носатъ китки отъ теменуги, дѣца-намѣрени сирачета, съ тѣхнитѣ сини дрѣшки и мили незаконорождени образчета штанатъ чрѣзь Юнгфернштигъ и се радватъ, като че ли днесъ ще намѣратъ баща си, просякътъ у мостътъ изгледва тѣй задоволенъ, като че ли му се е паднала голѣма печалба; дори на черниитѣ още не обѣсенъ маклеръ, койго тука митка съ мошенническото си мануфактурно лице, слънцето мѣта най-толерантни лучи, — азъ некамъ да излѣза вниъ отъ поргитѣ.

Днесъ е първий Май, и азъ мисла за тебе, ти прѣкрасна Пазо — или да те нарека «Агнеса», защото това име най-много ми се харесва? — азъ мисла за тебе и желалъ бихъ да видя, какъ ти въ спяние тичашъ на долу изъ планината. Но най-бихъ желалъ да стоя долу въ долината и да те приема въ моитѣ прѣгръдки. — Днесъ е възхитителенъ денъ! На вѣчко почива зеленъ цвѣтъ, цвѣтъ на надѣжда. На всѣду, като любезно чудо, избликуватъ цвѣнали цвѣтя и сърдцето ми иска тѣй сжщо отново да цвѣне. Това сърдце е исто цвѣте и цвѣте най чудесно. То не е ни скромна теменуга, ни засмѣна роза, ни чиста лилия, нито пакъ онова, което прѣпълва моминото сърдце съ тиха радостъ или се остава гиздаво да го закичатъ на прѣкрасни гърди, и днесъ увѣхва, и утрѣ пакъ цвѣти. Това сърдце прилича по-вече на онова твърдо, чудно цвѣте изъ горитѣ на Бразилия, което споредъ прѣданието въ сто години цвѣва само веднаждъ. Припомвамъ си, че още дѣте азъ видвахъ таково цвѣте. Прѣзъ-нощъ ние чухме гръмъ като отъ пщовъ, а на утреньта съсѣднитѣ дѣца ни расправиха, че то било отъ тѣхното «алог», което отведнаждъ цвѣнало съ такъва пукотъ. Тѣ ме заведоха въ градината си и съ голѣмо очудвание азъ видѣхъ, че низкото, кораво растение съ глупаво широки, остро изрѣзани листа, о които чловѣкъ лесно може да се нарани, въ тоя мигъ бѣ се въздигнало на високо и носеше на върхътъ си, като златенъ вѣнецъ, чудесно цвѣте. Ние дѣцата не можехме да стигнемъ тѣй високо за да го видимъ, та старийтъ, усмихнатъ Христианъ, който много ни обичаше, направи дървена стълбичка покрай растението, и ние като котки се изкатерихме по нея и съ любопитство надникнахме въ растворената чашка на цвѣтето, отгдѣто съ нечуено великолѣпие излитаха желти лучезарни нишки и диви, незнайни благоухання.

Да, Агнеса, често и лесно тога сърдце не цвѣти; до колкото азъ помня, то е цвѣтяло само единъ единственъ пжтъ и то е било вече много, много отдавна, сигурно отъ тогава се сж измѣнили сто

години. Азъ мисля, че колкото великолѣпно и да бѣше по онова време цвѣтътъ му се растворилъ, той все трѣбваше жалостно да погине отъ недостатъкъ на слънчеви лучи и топлина, ако и да не бѣ сяломъ го съсипала мрачна зимна буря. Сега то отново се вълнува и стиска въ гърдитѣ ми, и ако ти ненадѣйно чуешъ гръмъ — момиче, недѣй се плаши! азъ не съмъ се гръмналъ на смъртъ, но моята любовъ раскжсва своитѣ пжнки и излита нагорѣ въ лучезарни пѣсни, вѣчни дитирамби, най-радостни ливувания.

Ако тая висока любовъ ти се покаже извънмѣрно висока, момиче, то нѣкакъ се притѣкни и въскачи по дървена стълбичка, и погледни въ моето цвѣнало сърдце.

Още е рано, слънцето едвамъ е изминало половината отъ своитѣ пжтъ, а сърдцето ми тѣй силно благоухае, щото ми зашемедява главата, и азъ вече не распознавамъ, гдѣ се свършва ирония и гдѣ се почева небото, въздухътъ е прѣпълненъ съ мои въздишки, и азъ бихъ желалъ да се распокжсамъ самъ на сладки атоми за да се слѣя съ нѣкое несъздадено още божество; какво ли пакъ ще бжде, кога настане нощъ и звѣзди заблѣщатъ на небото, „злополучнитѣ звѣзди“, които могатъ да ти изкажатъ — —

Днесъ е първий Май, най-нищожниятъ бакалинъ има право да бжде днесъ саунименталенъ, та на поетътъ ли искашь това да забранишь?

КРАЛЪ-МАРКО.

(Народна пѣсня отъ Рѣсенско).

I.

Ой та тебе, Боже, мили Боже,
Що ми правишь чуда и нишани,
Да са чудитѣ 'схта рисянция,
Да се славитѣ твое свето име,
Да се слушатъ отъ вѣка до вѣка! ..
Сполай Богу за чудо голѣмо,
Дека ке се чудо нагледаме.

2.

Шетба шетатъ Марко прилѣпчанецъ,

Шетба шетать земя по крайна . . .
Ми привявналъ коня шаренаго,
Шаренаго коня дебелаго
Дебелаго коня кършигоро;
Ми наложилъ самура калнака
На калнакотъ до три огледала,
А надъ пими перя паунови;
Ми засукалъ мърка мустачина,
Еденъ мустакъ до три руна църни;
Ми намуртилъ очи соколови
И надъ ними вѣжди пиявици,
Како църни криля ластовички;
Ми опасалъ сабя дипленица,
Що са диплятъ дванадесетъ пжти,
Що се носить коню во гривата,
И ми сечить древя и каменя,
А на седло, Богме, ми привързалъ
Що привързалъ тежка боздогана,
Що е тежка шестотини ока;
Въ ржка държить она войно копьѣ,
К'о ясика тонка извшнено;
Се наметналъ с' гуна кабаница,
Ми църнеетъ како теменъ облакъ.
Кж'й да стжпить шарецъ добра коня,
Било спилъе на' станомъ камень,
Ми потонвить коня до колена.
Отъ що ми е сила у юнака
Тъ притежа майкѣ църнѣ земѣя
Отъ тежина гърда посеещемъ,
Та ми ъччитъ кутра църна земя
Емъ ми ъччитъ ко'ли' отъ се тресить.

3.

Чудо гледать звѣзда вечерница,
Чудо гледать, чудо невидено,
Кж'й ми шетать Марко Кралѣвике,
Дуръ ми спотналъ отъ велика сила,
А не знаеть со н'я що да сторить;
Защо иѣмать юнакъ спроти себе,
Нити юнакъ, нити лошотия,

Нити ламя, нити аждерь люти,
Нити вила, нити самовила,
Нити и-боа горска димна юда.
Шетать Марко земя по краина,
А земя е тжжиа пустейня,
Та си немаць с' кого да се стрѣтигъ,
Да се стрѣтигъ, дума да си думать.
Ми погледа горе на небеси
Ми я виде звѣзда вечерница,
Кж'й ми грѣеть и ясно се смѣеть,
И ѣ зборвигъ Марко Кралевике :
«А ей гуди звѣздо вечернице,
Ке та прашамъ право да ми кажншь :
Ево шетамъ земя и краина,
Сьмь изшегалъ ситѣ кралевини,
Нийде юнакъ немаць спроти мене,
Нити юнакъ, нито лошогия,
Нити ламя, нити димна юда,
Нити аждерь, нити самовила.
Ти си грѣешь горе отъ вѣсоко
И са пулишь редомъ на дѣлеко —
Дали имать юнакъ спроти мене?»
И му велить звѣзда вечерница :
«Ой та тебе Марко Кралевике
Неа' ме питашь право ке ти кажа :
Язъ си грѣя горе отъ вѣсоко
И си гледамъ земя на дѣлеко
Како тебе юнакъ не си видохъ,
Ние било, нити пакъ ке бидить».
Богъ да биеть Марка Прилѣпчанецъ
Що ми рѣче дума неразумна,
Що си стори пуста будалщина,
Та погуби своя юнащина;
Тога рѣче Марко Кралевике :
«Ой та тебе звѣздо вечернице,
Уще мене юнакъ не познавашь.
Слушай мене звѣздо вечернице!
Да ми слѣзить Господь отъ небеси
И со него на мейданъ излѣгвамъ ;
Край да имать майка църна земя
С' едина ржка нея ке подкренамъ!»

Слушатъ него звѣзда вечерница,
Нищо Марку звѣзда не отврѣви,
Саде ѣ са лице затемнило,
Затемнило мощиѣ замжглило,
Побързала подѣ облакъ се скрила,
Та отъ що ѣ жалба припаднало,
Поронила солзи низъ облака,
И ми падватъ солзи отъ висина
Како роса долу на зѣмята.

4.

Шеталъ Марко, малу що прошеталъ,
Мжчна му е Марку шетачката,
Си умори шарца добра коня,
Отъ тоненъе в' камень и кременъе,
Та го биетъ Марко Кралевике
С' топузина мегю църни очи.
Се разигралъ копя целивана :
Се затресла кутра църна-земя,
Їжчитъ, тжтнитъ кутра църна-земя,
Завѣяли силнииѣ вѣтрови,
Прибучали рѣки и езера,
Запграло она църно-морѣ,
И со него уба'о бѣло морѣ,
Сино-морѣ бучитъ и влокочитъ,
Планинъето трѣщатъ са прѣкжршватъ :
Се силаниха люге по градища
И звѣрови в' глобоки пещери,
Ситѣ тишки мали по зѣмята,
Ми писнаха ситѣ со гласови,
Кж'й викаатъ до Бога се слушатъ.
Сполай Богу, лѣпо що послуша,
Та погледа долу на зѣмята,
Кога гледатъ кутра църна-земя
Кж'й ми ѡжчитъ, ко ли'отъ се трѣситъ.
На Господа Вишни се смилило,
Оти виделъ земя не ке можитъ
Таква сила гърда да поцеситъ,
Тога слезе горе отъ небеси
Са прѣстори и' еденъ старѣ-дѣдо,

Та си зеде торба малѣчкава
И со земя торба я наполни;
Благослови едножъ и два пѣти
И се стори торба по тежина
Колко съта майка-църна-земя
Пакъ си седна Господъ на кърстопѣжъ,
Къ'й ке минитъ Марко Кралевике;
Ето ти го Марко се зададе,
Отъ планина скокатъ на планина,
А прѣдъ него мѣгли и прахови,
А задъ него дождо'й отъ каменье,
Що ѝ вървятъ кошотъ со копита.
Кога дихатъ шарецъ добра коня
Отъ ноздри му пламень излегуватъ,
А отъ уста тая бѣла пѣна,
Бѣла пѣна со кървъ размѣшана.
Кога гледатъ Марко Кралевике
Во полето по бѣли друмови
Къ'й ми одитъ еденъ стари дѣдо
На гърбъ носятъ торба малѣчкава,
Како стигна на пѣжъ на кърстопѣжъ
Седна дѣдо малу да починитъ.
Го пристигна Марко Кралевике
И му викатъ-уще отъ далеку:
«Добро вечеръ дѣдо, стара дѣдо!
Що та тебе вужда дотеразо
Да ми одишь по ни една доба
По пуштава земя покраина
Со онаква торба малѣчкава?»
Му говоритъ онай стари дѣдо:
«Дай Богъ добро, страшна Халетино,
Нег' ма питашъ праву ке ти кажа
И язъ шетамъ земя и краина
Со овая торба малѣчкава,
Туку ми е тежка и прѣтежка,
Та не можамъ торба да подкренамъ,
Ти си моля незнайна делино,
Подкренн ми торба малѣчкава
Да я дигна на гърбъ да я поса.
Се насмѣя Марко Кралевике
Кога виде торба малѣчкава

Пакъ не можитъ дѣдо да я кренитъ
И прѣсегна свое войно копые
Да подкренитъ торба малечкава;
Кога креватъ, торба не се креватъ,
Ми прифати копые со двѣ ржцѣ,
Кога дигна право на угорѣ
Се прѣкърши яко войно копые,
Се прѣкърши на двѣ половици.
Чудо глѣдатъ Марко Кралѣвике
На очитѣ свои не вѣруватъ.
Ми натера шарца добра коня
Да приближатъ близу до торбата,
Ми прѣсегна со ржка десница
И ми фати торба малечкава,
Ми я фати со малото прѣсте,
Кога търгна право на угорѣ
Ми издихна шарца добра коня
И смал' душа Марку проговори:
„Ой та тебе Марко мої стопаше,
Ми прѣкърши ситѣ конски коски,
Ми искниа мойтѣ яки жили,
Ми погуби, сжта моя сила.
Кога гледатъ Марко Кралевике,
Що да видитъ чудо невидено —
Ми потоналѣ конь до колена,
А торбата не е помърднала.
Се налюти Марко Кралевике,
Та ми скокна отъ коня на земя
И ми клоцна торба малечкава
Со все сила со десната нога,
Десна нога него го заболѣ,
А торбата уще не мърднуватъ.
Уще пойке Марко се налюти
Та ми фати торба со двѣ ржцѣ
Со все сила креватъ на угорѣ,
А со нозе тонитъ во кременье
Кървавъ потъ му капитъ отъ лицето.
Пусти очи му се испулиле
Ке м' испржснатъ очи отъ глобови,
Отъ ощо е зжби прѣстиснало
Уста му се кърви наполнила

Тага' одвай торба помърднало.
Ко' се пина Марко още едношь
Мя подкрена торба до двѣ педи
На висина горѣ отъ земята.
Иплющеха коски юнакови,
Му се скина нѣщо во сърдцето
И се стрѣсе Марко Кралевике,
Си испущи торба на земята,
Кога глдеатъ с' нозе ми погоналъ
Во каменотъ дури до колена.
Тага' велитъ онай стари дѣдо:
«Ой та тебе Марко Кралевике,
Да ли знаешъ що тежина крешашъ?»
Отговори Марко Кралевике;
«Ой та тебе дѣдо стари дѣдо,
Що ке бидѣтъ ова велѣо чудо?
Що тежина иматъ во торбата?»
И му велитъ онай стари дѣдо:
«Ой та тебе Марко Кралевике:
Ти подкрена сѣта цѣрна земя!
Дали иманшь сила юнащина
Да излезиишь сега да се боришь
Со Господа Вишни отъ небеси?»
Отговори Марко Кралевике
«Сполай Богу за чудо голѣмо
Що съмъ било лудо неразумно;
Ко'а не можа торба да подкрена,
Как' ке можа на мейданъ д' излиза
Со Господа Вишни отъ небеси?!»
Тага рѣче оной стари дѣдо:
«Ой та тебе Марко Кралевике,
Кога с' конье торба подкреваше,
Ти изгуби сила половина,
Кога с' нѣрстотъ торба подкреваше,
Си изгуби уще половина,
Кога с' рѣцѣ земя подкреваше,
Си изгуби и та половина,
Кога торба веке я подкрена,
Си изгуби сѣта прѣжна сила.
И отъ сега благословѣ ти давамъ
Накъ да бидишь юнакъ надъ юнаци,

Ама к' иматъ по юнакъ отъ тебе,
Не ке можашъ само со юнаство
Да надбивашъ незнайни делни,
А повеке неми ке надбивашъ
Со хитрини и со взмамвене! . . .
Това рече, дѣдо се загуби.
Се зачуди Марко пригълчанецъ
И ми търгна по бѣли друмови,
Не ми ходитъ како халетина,
Туку ходитъ кротко и по-лека,
Солзи ронитъ по бѣли образи,
Ржцѣ кършитъ отъ бѣли колени,
Жалба жалитъ за наирѣжна сила
Що погуби своя юначина.
Та се врати во Прилѣна града,
Тамо са е младо оженило,
Останало кралство да си държитъ,
Да си вардитъ земя по краина.
Отъ тогава Марко Кралевике
Со хитрина фаги да се боритъ.

5.

Заманъ било, време поминало,
Останало пѣсна да се пѣетъ,
Да се пѣетъ да се прикажуватъ,
Да се славитъ Божье свето име,
За да слушатъ сѣта рисянция.
Дуръ не било не би се пѣяло,
Що слушало все весело било.

КОСАЧЪ.

Приказва Веселинъ.

Косеше ни косачъ. Имахме и четири жътварки. Мама приготви обѣдъ. Тя викаше тато да иде при косача, а пакъ азъ да нося обѣда на жътваркитѣ: жътваркитѣ щѣли да ми пѣятъ; но било весело тамъ. Тато пакъ каза, азъ да ида при косача, а той — при жътваркитѣ, защото той щѣлъ да остане тамъ да имъ собира снопето и да ги прави на кръстци. Азъ пристанахъ да ида при косача. Жътваркитѣ бѣха май прѣкарале жена: дѣще ти пѣятъ тие! А косачъ ни бѣше бае Нешо Кара-Доновчето — прочутъ свирачъ съ кавалъ. Въ празникъ той свири на хорото; а и по къра той си носи кавала въ силаха, та като сѣдне да си почине — измъкне го и закара си пѣкоя *на ава*, ама тъй хубаво, щого дѣщо има наоколо косаче и жътварки, захласнахъ се да го слушатъ. Азъ вѣрвахъ, че и сега е съ него кавала, та и самичакъ си искахъ нему да нося обѣдъ.

Азъ нарамнихъ цедпльника съ хлѣба и сѣдветѣ, зеяхъ въ една-та си ржка делве съ чорбица, а въ другата саханче съ нѣщо гезбица, залупено и вързано съ червенъ пошь, и трѣгнахъ.

Излѣзохъ на края, поехъ возъ брѣга и се оправнихъ изъ пжтеката къмъ ливадата.

По обѣдъ. Слънцето е отхвъркнало 5—6 остена отъ планината. Небето е ясно и чисто-прозрачно като цѣкло. Само на истокъ надъ планината сж се повлекле три-четери бѣлизниви облачета и полегичка, боязливо лаятъ слѣдъ слънцето къмъ откритото ясно ширине, — сѣкашъ че се двоуматъ да ли развалятъ чистотата на небето и да премръжатъ свѣтлото слънчице, или да се върнатъ отъ дѣто сж дошле. Въздуха е чистъ, лекъ и прозраченъ: прѣзъ ноца е валѣло дъждъ; а слѣдъ дъждъ сѣкога небето и въздуха се измиватъ и пречистуватъ. Тънакъ вѣтрецъ подухва и прѣска приятна хладинка размѣсена съ хубави меризми отъ полскитѣ трѣви и цѣвтия. Лекое се диша човѣку въ такова време. Лекостъ усѣщашъ въ грждитѣ си. Лекостъ и пѣкаква сладостъ усѣщашъ и въ душата си.

Отъ еднага ми страна се зеленѣятъ кукурузетѣ. Тие сж май човѣшки бой. Пуснале сж пѣкон и коприна. Дългитѣ имъ листе се полюшкватъ сегисъ-тогисъ отъ вѣтара, като издаватъ слабо шумолене, и неотрѣсенитѣ още капцици отъ дъжда се лѣсватъ срѣщо

слънцето то тукъ, то тамъ като елмазени зрница. Долу подъ бръга шумоли малката рѣка. Отвѣдъ рѣката пакъ кукурузе се зеленѣятъ. Азъ вървя изъ кукурузеното поле. Затова нѣма и свѣтъ тѣдѣва, нѣма и шумъ и нѣсни. Свѣта и нѣснитѣ бѣха тука прѣди 2—3 недѣли, кога се возриваше. Сега сж хората по зимнинитѣ — жънатъ. Тамъ сж веселбитѣ и нѣснитѣ. Тукъ сега е тихо и пусто. Едва-едва само доноси тънкия вѣтрецъ проточената и жална нѣсенъ на нѣкои по-гласевити жѣтварки отъ срѣщния полегатъ баирецъ, по който изъ жълтото поле се шаренѣятъ кръстцитѣ и жѣтваркитѣ. Задъ кукурузетѣ сж ливадето. Тие повечето сж окосени. На двѣ мѣста се видатъ по двама косаче, като прѣсѣжиятъ мѣрно и полека. Тѣхнитѣ коси се лѣскаатъ отъ време на време срѣцо слънцето и блеснуватъ като сребърни явници. И прекъсвания плоскъкъ шумъ отъ точенето на коситѣ имъ сегисъ-тогисъ се смѣша съ еднообразното бѣбреве на кукурузнитѣ лисга и съсъ слабоото гълчене на рѣката. На н чурулугата отъ време на време искара своята прѣсеклива нѣсенъ нѣйде по висинето, дѣто трепка съ крилцата си, като се изира въ земята да си тири плячка. Но нѣсента ѝ е рѣдка, па е и слаба и като мръзяна. Не е като прѣзъ Май. Това е Юлий.

Стигна ме едно *поганчарче* ѣхнало на магаре, отъ странитѣ на което се матераха надути праздни тулуме, въ които е докарвало млѣко. Откакъ ме отмина, то наду свирката си и закара крѣхко, но невѣрно една скоклива нѣсенъ. Учеше се, немà, още да свири.

Заминахъ и покрай едни бераче. Тие тамашъ зафатаха да обрѣтатъ сѣното.

И нашето ливадче се провидѣ. Видѣше се и косача като прѣстѣпя полека по бѣли гаци и на риза и маха съ лѣскавата коса на дѣсно и на лѣво. Половината отъ ливадата бѣше нашарена съ дълги и криви откосе.

Стигнахъ на ливадата. Отъ края още ме посрѣщна хубавъ и прѣсенъ джхъ на зелена трева и на полски цвѣтя, който испущаха скоро окосенитѣ откосе.

— Добро-утро ти, бае Пешо! Наваляшь ли?

— Далъ бо-добро, байовото. Навалямъ ами, нали трѣбва да се върти и да се откарва. Ами ти? Що има, що нѣма въ село?

— Нѣма нищо. Свѣта сѣ по кѣра бѣга. Рекохъ и азъ да ти донесна обѣдецъ. А' щешъ ли да оставишь да ханнемъ по-напрѣдъ или ще си докарашь откоса?

— Ха дорде си кое починешъ, ксе дорде сложишь, азъ да искарамъ откоса, па ще сѣднемъ.

Азъ сложихъ цедилника и сѣдоветъ тамъ облизо—до единъ откосъ и зехъ да слагамъ.

Бае Пешо наточи косата, на чеврѣсто, чеврѣсто замаха и завчасъ доускара откоса. Той доде. Сѣднахме на сѣното край посланото *стилче*. На срѣдъ стилчето бѣхъ сложилъ таса съ чорба отъ егнешко джигре, която извиущаше сладкъ и вкусенъ джхъ. Околъ таса бѣхъ наредилъ вжсове хлѣбъ и лъжицитѣ. По-настрана стоеше саханчето съ прѣжена славина съ извара. А край него бѣха отворени пълни похлуица сирене, готови да ни прѣдложатъ услугитѣ си, ако ни не стигне другото да си досемъ.

Азъ извадихъ изъ джеба си едно децетниче — палурче, пълно съ ракия и го подадохъ бае Пешу. Той извади сламчицата, съ която бѣ закизната мѣничката дупчица на палурчето и «ха, на-здраве! Що се е работило, да е хаирлия!» благослови и прѣкни отъ палурчето на два пжти по нѣколко глѣтки, на го остави по-настрана подъ сѣното на единъ откосъ. «Нека седи, та днеска като принече да има да си испрѣквамъ. То е хубавъ лѣкъ на жегата. Ха, да зафанемъ». Прекрѣстихме се и зафанахме.

Бае Пешо е мжжъ на околъ 30 годинъ. Ала на гледъ човѣкъ не ще му даде повече отъ 23—24 год., защото е младоликъ. Той е възвисичекъ, съсъ широки грѣди и плещи, съ широко и открито лице, здраво, червендалесто и загорѣло отъ слънцето, съ погледъ дълбокъ и сериозенъ, но искренъ и довѣрчивъ. Бае Пешо е отъ таквато хора, които по самата си външность располагагъ човѣка къмъ себе си, вдѣхватъ му довѣрне. Като се срѣщнешъ съ таквъ човѣкъ, сѣ ти се ще да заговоришъ съ него, да го запиташъ за нѣщо; и вѣрвашъ, че той надраго-срѣце ще ти отговори, ще заприказва съ тебе и ще ти се открие цѣлъ. И всѣкога тѣй излиза. Билѣ и не чакате ти да заговоришъ съ него, ами самичакъ та запита, заприказва ти за нѣщо; и захване ли — отиде вече. Кадъръ ли си да слушашъ. Та и бае Пешо бѣ таквъ приказливъ и откровенъ. Обича да егне и пита, обича и самъ да расправя. А той има за какво да расправя. Той е виждалъ и знае много. Ходилъ е отъ малкъ по Анадола. Скиталъ се е и изъ България по много мѣста. Ходилъ е и солдатинъ. И въ Срѣбската война е билъ. И затова приказвитъ му се не свършватъ никога.

Азъ много обичамъ да се видвамъ и срѣщамъ съ него. А и сѣки, който го знае добръ, сѣ го обича и хвали. А него го знае май сѣкото село. Кой го не е видвалъ по свадбитѣ заедно съ дру-

гитѣ свираче като дръпка по голѣмата *сантура*? Или въ празникъ като надува нейде кавала срѣдъ хорото? Като него свирачъ май нѣма. Той е майсторъ на всѣкаква свирня, ала най-много е майсторъ на *тамбурата*. Само че той му мурафетъ не знаятъ динь хората, защото той свири повечето дома си или предъ махалджиетѣ си. Тие го и знаятъ най-добрѣ.

Нѣкога пролѣтно време въ празникъ слѣдъ пладие сберать се отъ тѣхния край човѣця — и прекарале и по-млади — насѣ-датель срѣщо брѣга подъ връбето на муравката, курдишатъ оня *мухабета*, оние сладки приказки, та се чакъ забуравагъ. На токо се сѣти изнеднанъ нѣкой отъ тѣхъ и «Пешо, рече, я донеси тамбу-рата!» И бае Пешо скокне самичекъ или прати нѣкое дѣте и тамбу-рата следъ малко е въ рѣцѣтѣ му. Мухабета се веке прекъсва. Сички знаятъ баевата Пешова тамбура и сички се нетърпѣние ча-катъ да зафане. Подрѣние, подрѣние бае Пешо, дорде я курдише, па като зафане, като забрѣнчи съ гѣвкавого перце по тънкатѣ те-лове, като заприкчатъ и заигрангъ како вѣтаръ прѣстетото му по дългата онашка на тамбурата, като закара ситно и крѣхко оние *манета*, сички се отнесатъ да го слушатъ! Единъ седналь *турски* и си дѣлка нѣщо съ *челопешкото* ноже, което е връзано за поеса му, други се е възлегналь възъ лакѣти си и си пуши чибучето, трети е легналь по корема си и си чонли нѣщо въ тревата, а нѣ-кой пакъ се е навелъ надъ бае Пешо и е зѣнналь възъ тамбурата му, сѣкашъ, че ще я глѣтне. И сички сж се укротиле и притаиле, сички сж се заплеснале въ свирнята, и на сички стане леко и чудно-хубаво на душата!

Такъвъ майсторъ е бае Пешо на свирнята.

А така е майсторъ той и на сичко — и на занаята. Той е терзия. Отъ малкъ е работилъ той занаятъ по Анадола. И сега на гайтанлие и *калмаклие* чпшири и на чохени съ сѣрмени гайтане джамадане и *ачмалие* мянтане той е най-първия майсторъ. А въ солдатлъка той се е изучилъ и *френски* дрѣхи да шие, па и на машина се научилъ да работи. Отъ лани той и самичекъ си е купилъ машина и шие веке слѣчко каквото му донезить — и тукашния и френски дрѣхи. Той шие и по-здраво и по-евтпно, та зимио време сѣ има работа

Баевн Пешовн сѣдатель на горния край на селото. Тие сж че, творица брате. Бае Пешо е втория. Най-малкия братъ лани си дой-де отъ солдатлъка. Венчикѣтѣ сж раздѣлени и сж се измениле. Сѣ-ки си е направилъ и къща. Малкия сега я доправва. На края е ширине. Отъ баща имъ е имало мѣсто много нали е било тамъ ниве;

та сѣки си има и дворъ и градинка. Цѣла махала сж направиле тне Кара-Доновче

Бае Пешо има три дѣчица. Голѣмшкото ходи вече и на училището. Невѣстата Баева Пешова е една добра, една пѣргава и работна, една весела и приказлива — како него сжщо. Дѣто речатъ, че двѣ добрини на едно мѣсто се не собирагъ, не е сѣкога право.

— Баща ти дека е днеска? — ме запита бае Пешо, щомъ сѣднахме да обѣдваме.

Азъ му казахъ.

— А-а, та и жѣтварки имате днеска! Ами още много ли жѣт-ва имате?

— Днеска прежѣнваме, та довечера ще изѣдемъ и петела. Ами вие, бае Пешо, жѣпахте ли?

— Жѣнаѣха и нашитѣ вчера. Още единъ денъ ще жѣнатъ, па това си е. Двѣ парчета имаме за жатва. Малко ни е, ама като го даде господъ, както го е далъ сега, стига ни отъ ново до ново.

— Ехъ, ами това е доброто—да има да стигне да си не купува човѣкъ.

— Нѣдни ни не стигне, та си и прикупимъ, ама повечето си ни стига. Тато, Богъ да го прости, ни малко остави, — по едно парче само. Ама азъ заварихъ, като излѣзохъ отъ солдатѣлка, та си куинахъ още 2—3 парчета. Сега ката година си сѣемъ по двѣ нивици сѣсь зимно и по една — съ кукурузъ. Ехъ, и слава Богу. — А на байо не стига. Емъ колко се треѣе, сиромаша! И съ волове работи — то какви ти сж волове? — едно юниче, се вика, и едно теле, ама токо да сѣ е волове; — та и съ волове ужъ работи, оре, сѣе, па пакъ му не стига, та сѣ и прикуива. И Колчо прикупува. На малкия братъ, Дону, нему само стига. Едно, че сж малко още, — само съ невѣстата нали сж? — па друго и миразеѣ зе той двѣ парчета, та отъ това му стига. А отъ тато малко ни остана, Ливадки — още по-малко. Сѣно и менъ и па синца ни не стига. Имамъ и азъ крава съ теленѣе и двѣ дѣначете. Ама сѣно отъ нашого ливадѣе ми не стига. Една ливада колко ти е? И тя ни е съ байо ор-ташка! Ако намѣримъ по кола и половина сѣно — това е. А съ кола и половина какво ще прѣхранишъ толкова добиченѣца? Съ байо зимаме ката година по 4 — 5 коси чужди ливаде, наобловина — та отъ тамъ се докарва сѣнце, а то . . .

— Ехъ, нали и наполовина се намирагъ та да ви се свѣр-шва работа, то пакъ добрѣ.

— Намирагъ се токо—зщо да рече. Сѣ намираме. Дѣдо Цанно ката година ни моли съ неговитѣ ливаде. Харесалъ ни е, че ги рѣдимъ добрѣ, та дав тѣ повечко сѣнице. На и ние сме ги харесале, че сж добрички ливаде, та сѣ гледаме да ги не испустнемъ. Ами какво ще правишь? Е че нѣмаме наши си. Най доброто е, то се знае, сѣки да си има; ами като нѣма? Е че се не стига да са куни! Добрѣ баремъ, че по хората има артжкъ, та даватъ и намъ — съ голѣмъ трудъ макаръ—да си искараме колкото ще ни трѣбва прѣзь годината. Истина посѣснемъ се сега, ама пакъ сѣ си раздѣлимъ съ байо по двѣ кола и половина сѣно. Петъ кола закараме дѣду Цану и петъ кола си раздѣлимъ ние. И стига ни. *Берекляти версинъ*. Ехъ, а пакъ прибѣрне ли сж сега прѣзь лѣтото житцето и хранага зѣ добитчегата, та да се не кунува прѣзь го, дшната, за другото е лесно. Каго поработва човѣкъ кое занаята, кое друго нѣщо, сѣ ще се искара и артърдоса да се натъкми стъ малко—малко и всичко друго, що трѣбва изъ къщи.

— А съсъ занаята, бае Пешо, какъ си сега? има ли да работишь като отъ напреди?

— Абе какво да каже човѣкъ? Работи, ама се не е като преди години. Сега излѣзоха много майстори, много френкъ-терзие, та май посекиа работата, ама—пакъ слава Богу. Махалата наша си е сѣ при менъ. На нали не съмъ само на френскитѣ дрѣхи майсторъ, ами и нашенскитѣ си откарвамъ — сѣ не остаамъ безъ работа. То са знае, че работата е само зимно врѣме, най веке прѣзь коледни и Велики пости. А Великъ-день мине ли, чакъ къдѣ Димитровъ день пакъ чакай работа. Такъвъ е нашия занаятъ — само за зимъ. Та и сичкитѣ занаяте по насъ нали сж такива? — Само зимъ работатъ. А лѣтѣ сѣки се зафане за кърска работа—билѣ своя, билѣ чужда. По насъ да остане човѣкъ само на една работа — или на единъ занаятъ да гледа, никога неможе се помѣна. Трѣбва отъ нѣколко нѣща по малко да бурави, та така да излѣзе на глава. На трѣвна сѣ и мюлчець да си има баремъ що-годѣ, тогава ще да е по слободенъ. Само едно ни бръка сега — патентитѣ. На, мене да зедемъ. Зимъ работя заваята. Плащамъ патентъ за него. Походвамъ сегисъ — тогисъ и съ циганетѣ да свира по свадбитѣ — пакъ патентъ искать. Азъ съмъ безъ патентъ, ама сѣ съмъ на страхъ — кога ли ще ме пипне финансови. Пролѣтъ мога единъ — два мѣсеци и съ дюлгеретѣ да походвамъ, съ нашитѣ брате макаръ: менъ и дюлгерлъка ми иде малко отржки; ама трѣбва патентъ да се изважда. А за единъ — два мѣсеца работъ, да се даватъ 5—6 лева за патентъ, май не плаща. Кой знае? товъ

патентитѣ за подобро ужъ трѣбва да са наредени, казватъ, така щѣле ушъ и чиновници и сички да плащатъ на царщината, ама като за по насъ, дѣто само съ единъ занаятъ не може човѣкъ да се помине, тие не сж за по-добро. По други мѣста кой-знае какво е, ама по насъ съпинатъ хората туй патентитѣ, на това си е. И байо, нѣ! Зелъ е воденицата тамъ срѣщо насъ — плаща патентъ. Тя е само за губешъ, а то какво ще ти вскара отъ нея, ама плаща патентъ. Може и той сегисъ-тогисъ да похода съ дюлгеретѣ, ама иска патентъ. А пакъ той както е испадналъ и колкото даване му се е натрунало да плаща, сжде е и патентъ още да му се притури . .

Бае Пешо догребѣ чорбата и остави таса настрана. Азъ сложихъ на срѣдата саханчето съ прѣжената сланина. Бае Пешо се позамълча и по-честичко зафана да свива залцитѣ.

— Байо ти, съкамъ, ще да е най-испадналъ во васъ, а бае Пешо? — подзахъ азъ.

— Най-е испадналъ, клетника. Налегнале сж го дѣца повечко, на и невѣстата му е сѣ слаба и болнава отъ телкова си време; на си е и протичакъ байо, много си е протичекъ, не сече му хичъ главата какво и какъ е по-добрѣ да работи и за какво да се зафана. Добрина е само голѣма, добрина е—дѣто неможе повече да бжде! Съсъ сѣкого е така. Мухата таме, дѣто го рекле, не иска да настжи. Е, ама само съ добрина се не връши работа, не връти се шжа. Исква да е човѣкъ и малко по-отвореничекъ, малко повечко да се съща и да пресмѣта. Нѣ, зелъ е сега воденица да варди. Защо му е? Да е здрава невѣстата му пакъ види-доди: тя ще повече да я варди, а пѣкъ той ще си гледа друга работа, както праватъ баеви Тошови. Ами то, самичтъ трѣбва да се губи по воденицата. И какво ще искара отъ нея и азъ неznamъ: по 5—6 ока брашно на день кога искаралъ, кога нѣ—и то да го дѣлатъ съ хаджи Донковци! А такъвъ губешъ сега за кога му е? Да земе той да си гледа *сааламъ* дюлгерлъка, па да си нагоди и по залюдни воловци, да си залегне по-здраво и на чифлилъка, и ще си се помнчува мно-о-ого по-добрѣ. И да не речешъ, че му не думаме -- сѣ му думаме, всичкп го нагаждаме. А той токо се превива, токо се оплаква и жали отъ нѣмотията си, пакъ за нищо свѣстно се не зафата. Инакъ всички го обичаме зарадъ добрината му и почитаме го като зарадъ баца на мѣсто; ама тука сички му намираме *магана*, всички му видимъ *кедера*. Истина, помагаме му ние, синца му помагаме; ама отъ чужда помощъ нищо не става, ако си не залѣга човѣкъ и самичакъ.

— Ами другигѣ брате, бае Пешо?

— Другиѣ, тие сж по-добри Пролѣтъ и есенъ сж съ дългететѣ. Лѣтъ като мене: кое по косиѣба, кое по жѣгва. Малкия зимѣ и пошива при мене. И поминватъ се тие много добрѣ и двама-та. Ала малкия най-ще земе прѣднина Јани излезе изъ службата, ама нѣ, бче и кѣщица му направихме и ожени се. И каква добра и пъргава невѣста му се докара! На му допесна тя и отъ нивници и отъ овчници и домъ и кѣща невечко; прикуши си той и добичета три-четири, на и работата му е добра,—и ще си живѣятъ добрѣ и по-добрѣ. Ехъ, и сички ще си се поминемъ, като се трудимъ и приикаме, само да ни е зраве.

— Тѣй си е, бае Пешо, съ трудъ и приикане сичко става.

— Съ трудъ и съ приикаше, на и зговоръ и братска любовъ като има сичко е добро и сичко е лесно.

— Бче си се сговаряте хубавичко, бае Пешо, та затова още по-добро си и живѣете.

— Сговаряме се истина; не е за фалба работата, ама много се сговаряме.

— Така и трѣбва амц.

— Е, брате сме сега; ако се не сговаряме съ братето си и не живѣемъ добрѣ, съ кого ще се сговаряме? Кой ти е по-преденъ отъ братъ? Човѣкъ и съ комшии и съсъ сѣкого трѣбва да живѣе добрѣ, а пакъ тукъ брате — какъ бива да се не сговаряме! Сговаряме си се ние много добрѣ. На благодаримъ Бога, че и невѣститѣ ни се докараха такива, дѣто да се погаждатъ, че има нейде етърви, та се едатъ като кучки. А нашитѣ сж много прилѣзни и зговорни. И живуваме си сички много добрѣ. Раздѣлени сме истина, сѣки си е по башка, сѣки си има свой домъ и кѣща, ама си живѣемъ пакъ задружно и братски. А нейде има, та сж ужъ наедно, ужъ живѣятъ въ единъ домъ и сичко имъ общо, ама се едатъ и гризатъ веке до тамъ! Или пакъ се потайватъ и прикриватъ доде сж заедно, па зематъ ли напокошъ да се дѣлятъ, като се счепкатъ и скарать, като се потеглатъ по еждилица, като се наежатъ единъ на другъ — ще си исповадатъ очитѣ. И не си веке и подумватъ напокошъ, не се и погледватъ, че де не сж брате. А по-нечинливо нѣщо отъ това има ли? — Не е, по-чисто си е брате увремко да си се раздѣлятъ. «Искате ли да сме си сѣ брате, да си живѣемъ сѣкого братски — казвахъ азъ на нашптѣ, щомъ се прибрахъ отъ службата догде бѣхме още наедно, — нѣка сѣки да си се одѣлне, сѣки да си земе каквото му се нада отъ бащинията и сѣки да си знае своего.» Така имъ впкахъ, така и направихме. И това нали е най-добро? Дѣто сж брате наедно,

колкото и да искатъ да се стоварятъ, сѣ единъ повече работи или повече искарва, други — по-малко, зафана да се ражда между тѣхъ завистъ и токо видишъ, че се скараше. А ние като си се раздѣлихме, живѣемъ си сега най-добрѣ. Пакъ сме си брате. Сѣ единъ до други припикаме за каквото и да е. Помагаме си единъ на други. Нейде, дѣто може, задружно работимъ, като сега косидбата. На, вчера съ Колчо взехме на *кутурица* една ливада; по-оня денъ и троица наедно косихме; на-дни и четворица се сберемъ та земятъ нѣколко ливаде. Живѣемъ си братски, това ти е. И много ни е по-хорошо така. И азъ пакъ ще кажа, че сѣкога, искатъ ли брате да си живѣятъ въ миръ и стоворъ — уврѣме да си се раздѣлятъ.

Азъ бѣхъ се вече прекръстилъ, дорде приказваше бае Пешо за дѣлбитѣ. Прекръсти се и той. Половината отъ гозбата и повечето свирене му остана за пладне. Ние ги убивихме въ месала и ги затрупахме със сѣно. Бае Пешо зе да дири нѣщо наоколо си, зе да бърка и рови изъ торбата си. Азъ помислихъ, че канала ще извади. Той извади чуче и малкъ йорсъ и зе да забива йорса въ земята. Нѣма свирня, си помислихъ азъ, той ще клеене косата.

— Сега да има една студена водичка! каже като съ половишъ уста бае Пешо.

Азъ зехъ делвето и таса и отидохъ на стублицата да налѣя вода. Стублицата е близо. Азъ завчасъ налѣхъ и се върнахъ. Бае Пешо беше вече зафаналъ да клеене косата. Той пое делвето отъ мене и на едно вдигане свѣтна половината, на зави делвето със-стилката и го затрупа и него съ сѣно крий другитѣ сждове.

Азъ сѣднахъ край бае Пешо. Той пакъ подкачи да си клѣпа косата. Той бѣше хваналъ съ лѣвата си ржка косата тѣй, щото оставаше мѣничка ивица отъ остреца надъ йорса, и надъ тая ивичка той излека, но често удряше съ чучето, като си измѣстваше полека ржката къмъ края на косата. Той се бѣше навелъ надъ йорса и се взрѣлъ въ ивичката отъ косата, надъ която удряше съ чучето.

Азъ бѣхъ сѣдналъ срѣщу слънцето и сѣтихъ, че зе да ми припича, затова се премѣстихъ отъ другата страна.

— И днеска ще да е голѣма горещина, бае Пешо.

— Горещина ще да е зеръ. Ама тая горещина сѣ е нищо. Оная недѣля, каквото бѣше, дорде нѣмаше дъждовете, то се викаше горещина! По това врѣме още пландяса човѣкъ, а пакъ слѣдъ-пладне! . . .

— Не знамъ тука какво е било, ама и въ София не бѣ малко нѣщо! Азъ бѣхъ въ София прѣзъ оная недѣля, та тамъ нemo-

жеме да се сѣди отъ горещина. Не работишь нищо, ходишь само изъ града, или и не ходишь, ами си сѣдишь въ стаята, да плувнешъ въ нощь. Не знамъ, ама чини ми се, че тамъ е лѣтъ много по горѣщина отъ тука.

— За горещина—по-горещо е тамъ, че е отворено отъ сѣкадѣ. А тукъ гората отъ една страна, планината отъ друга — сѣ ни чинатъ хладъ. Въ София и зимно врѣме е по-студено.—Ами ти скоро ли си доде отъ София?

— Скоро ами, оня день си додохъ.

— Нѣщо по работа ли ходи?

— По работа зерь. Имахъ малко работа, та ходихъ да си я свършна.

— Ехъ, трѣбва ами; като има човѣкъ работа, трѣбва да си я свършни. На що има, що нѣма по София?

— Нѣма нищо ново. бае Пешо. Това е дѣто ти казвамъ — горицини. На и едни праѳове, единъ задухъ е тамъ, та не може да се сѣди. И токо растуриатъ улицитѣ, събарятъ кѣщи, праватъ нови. На всѣко кюше — дѳлгере. Отъ дѳлгере нищо повече нѣма въ София.

— Така казваше и бае Кънчо. Той работи тамъ съ *гюнлюкъ*; сега се е прибралъ за кѳсидѳа. Та и той така казва. — Ами нѣщо за война нѣма ли да се чуе? Че тука незнамъ кой и какъ е пуствалъ, че щѣле ужъ да зѳпратъ запаснитѣ.

— Не знамъ, бае Пешо. За такова нѣщо въ София навѣрно нищо се не научихъ. Подумватъ и тамъ, че ужъ война щѣло да има и незнамъ що, и незнамъ какво. Ама това ще си е само думи.

— И азъ ужъ така мисля, че това си е праздна работа. ама сѣ като чуя, потрепне ми сръдцето. Що? сега таманъ въ работно врѣме да те повикатъ тебъ, да си оставишь домъ и кѣща, да оставишь всячко по кѣра, да напуснешъ тая хубава работа и да идишь кой знае дека и защо! И не съмъ азъ самп, ами и троица ни като ще грабнатъ! Ще останатъ четари дома съ единъ мжжъ и то какъвъ мжжъ, дѣто и за себе си не е врѣденъ, а то не ли още три дома да върти! Ехъ, и иди сега, като чуешъ такива думи и приказки, па макъръ и да ги знаешъ, че сж вѣтаръ, иди та се радвай де!

— Кой знае? ама менъ се ми се не вѣрва, че може да стане такова нѣщо.

— И мене така ми се не ще да вѣрвамъ. Ами право! Да се размисли човѣкъ: съ кого има да се биешъ ние и защо? Нѣкой казватъ: съсъ Сръбето. Ами нали се бихме съ тѣхъ? Какво има

— отъ това? Толкова свѣтъ загина, толкова загуби станаха! и защо би сичко туй? Истина надвихме имъ слава добихме, сѣхъ и що отъ това? Тие дѣто умрѣха нали нѣма да станатъ? И това дѣто го изгуби народа нали нѣма да се върне? И нали сескарахъ а то се вика, два брата! И Сръбката война и сѣка война е само за зло. Азъ така съмъ си мислилъ: войната да я нѣма ще да е най-добрѣ. Какво сж криви проститѣ хорица — солдатитѣ да се трепнатъ едни други? На ли азъ бѣхъ въ биткитѣ; и азъ пушкахъ. И азъ съмъ убилъ нѣкои сърбе. Ехъ, сега тие сърбе, дѣто съмъ ги убилъ, сториле ли ми сж нѣщо? Или менъ да сж убиле — азъ сторилъ ла съмъ нѣкому нѣщо, та дѣцата ми да останатъ сврачага? И сѣ тѣй, за права Бога си гинатъ хорицата въ биткитѣ. Нали е най-хубавото голѣмциѣ да се сговарятъ, та да не ходатъ зянь толкова прости хорица? Ама на, е че не ги е бия тѣхъ за тие дѣто гинатъ тѣй при дни. Азъ бѣхъ и самичекъ солдатинъ и въ биткитѣ влазихъ и ако ме повикатъ пакъ, да не дава само Господъ, пакъ ще да ида; ама много съмъ мислилъ за това нѣщо и така сѣ си казвамъ: нечинливо нѣщо сж това, войнитѣ, дѣто толкова свѣтъ и толкова човѣшко добро се губи!

Бае Пешо бѣше псклепалъ половината и повече отъ косата. Той си посправи главата и понетегна се, па поначука още йорса и зафана пакъ да удри съ чучего по осгреча на косата.

— Кой знае кога ли ще се оправи свѣта? подзе бае Пешо, откакъ вперн погледа си пакъ въ косата.

— Какъ да се оправи, бае Пешо.

— Ами тѣй; да се оправи, да трѣгне всичко на редъ, да нѣма страхове ни отъ война, ни отъ нищо, сѣки свободно да си гледа работата; па и работитѣ и поминацитѣ нѣкакъ да се пољживатъ, да не сж така заснале, и испаднале, какго сж сега. У насъ погледни. Сѣки се оплаква отъ *кесатлъкъ*, сичко запрѣло: и занаятетѣ му, и трѣговнитѣ му, и сичко. Поминувка нѣма въ нищо. И токо се прѣскагъ хората кое по София, кое по други мѣста да си диратъ работа. Нѣма сега, каквото имаше едно врѣме, и трѣговни по голѣми, и работа за сѣкиго и за сички И сѣкашъ че тогива нѣ-леко и нѣ-весело се живѣеше! А сега? Кой знае до що и до какво е това нѣщо? Ужъ сичко е сега наредено, сѣ наши си хора сж натуряни да управляватъ, не е каквото бѣше нѣкога—чуждинци, друговѣрци да ни управляватъ и да ни обиратъ; па на, има ли да е станалъ живота ни по-добаръ? Камъ по честито и по-хубаво да живѣемъ сега?... Нѣкога се даваше тешко даване, ама го зимаше чуждъ царъ и затова нищо се не правеше за народа.

А сега като се дава пакъ тешко даване и това даване не го зимать чуждинци, ама си го зимать се наши, се свои управници и голѣмци, ума ли нѣщо по-добро да е дошло и до насъ? — Нѣма. И защо сж тогава толкова даването?

Бае Пешо поостави чучето на страна и си подигна малко главата, та ме погледна и погледа се наоколо, па пакъ се наведе надъ косата да я дочуква. И заговори пакъ.

— Надви зема, ва се размисля: дѣ ли дѣватъ и какво ли праватъ толкавато пари, дѣто ги збиратъ отъ народа? Истина толкова войска се подържа — защо е толкова войска и азъ незнамъ, ама харчи се най-много за войската — плаща се и на чиновници и управници; харчи се истина много нѣщо, ама пакъ и що ще парà да се сбере отъ сички села и градове! Че даваме сега толкова даване, нищо ме не е: нали го искатъ, полска-лека ще се исплаща. Ами като се дава и исплаща и стъ тоя, и отъ оня, и отъ сички, има ли да се направи нѣщо таково, дѣто да видимъ и ние, давачетъ, че нѣщо добро се е наредило и за насъ? Харчатъ ги за това, харчатъ ги за опова, даватъ на тѣзи, плащатъ на оние — и белкимвъ не за зло, то се знае, ами за добро ги харчатъ, ама нали сѣ нѣма отъ тѣзи пари да съврнатъ и направатъ нѣщо, дѣто и намъ да стане по-добрѣ и по-хубаво да заживѣемъ, та да познаемъ тогава и ние, защо даваме даване. Ние хранимъ и подържаме голѣмцитъ и чиновницитъ, возъ нашия грѣбъ тие си живѣятъ свободно и охално, — трѣбва тогава съ нѣщо и тие да ни отплататъ, да ни възврънатъ нѣщо, за туй дѣто го получаватъ отъ насъ, трѣбва да направатъ нѣщо, та и нашия животъ да стане по-добрѣ и по-честитъ. Тѣй мисля азъ на моя простъ акълъ. То съ мойто и съ нашето мислене какво се върши — нищо. Тие си праватъ тамъ каквото си знаятъ, а пакъ ние кадъръ ли сме да въртимъ косата и като искатъ — да имаме да даваме: това ни е намъ подадено. Ама нà, е че нѣкога се раструпа, па мисля. Връта косата или премятамъ иглата и сѣ мисля. Мисля и за това, и за опова. Такъвъ съмъ, нà. А да не мисли човѣкъ за такива работи, че де ще да е по-добрѣ. Мислиншъ, мислевшъ, па нищо не можешъ да намислишъ, само си трупишъ ума. Нему работицата, работицата да си гледа човѣкъ, то най-трѣбва, нали?

— То се знае, че трѣбва сѣкн да си гледа работата, ама и за такива нѣща трѣбва да се мисли, — зафанахъ азъ. И щѣхъ много още да му хорота. Искахъ да му расправа защо трѣбва и е добрѣ сички да мислятъ за такива работи. Искахъ да му отговори и за това, дѣто по-напрѣдъ го казваше — за даването, дека и защо

го харчи правителството, — и много още нѣща въ такъвъ смисълъ мислѣхъ да му говоря; — но бае Пешо, който бѣше вече исклъпалъ косата и бѣше я и заклинилъ въ косилото, не сеядя да ме слуша, ами скокна отведнашъ, нарами косата и отиде та се исправи на края на ливадата, отъ дѣто щѣше да захване новъ откосъ; па извада изъ поеса си бруса, нато чи си завчасъ косата и захваца пакъ да маха на дѣсно и на лѣво, като пристжия мѣрно я полека; и гжстата миризлива трева, напѣстрена съ оная крѣпка жѣлта дѣтелна, зе да се катурия подъ острата коса и да се извива на дългъ и дебелъ откосъ.

Азъ носѣдахъ още малко, послушахъ еднообразното шумене на баевата Пешова коса, па станахъ и си тргнахъ къмъ дома.

— Ха, оstay сбогомъ, бае Пешо.

— Ходи сбогомъ и много здраве носи въ село.

МОЛИТВА КЪМЪ РАЗУМЪТЪ.

О, Боже милий, дай ни сила,
Сждбата ний да побѣдимъ;
Живота, що тя й огорчила,
Да можемъ да го подсладимъ.

Ела на помощъ, Разумъ Боже,
Ела на помощъ тоя пѣтъ,
Срѣдъ този хаосъ за да може
Да се прокара пакъ редѣтъ, —

Редѣтъ на мисли свѣтли, нови,
Кои то движатъ мирѣтъ днесъ;
Редѣтъ — да турнемъ ний основа
И в'наш'та мисълъ за порогресъ.

Всели се, Разумъ, в' наш'та мисълъ,
Да може да се стрѣсне тя,
И мракътъ, който днесъ я слисълъ,
Неможе л' нѣкакъ распилѣ?

Пръсни го, Разумъ, в' край далечний.
Народъ да бждемъ просвѣтенъ,
Дай ни възможность, Боже вѣчный,
Да можемъ теб' да разберемъ.

ПЛУВАЙ!

Плувай с' вѣра и с' надѣжда,
Плувай с' бързъ и твърдъ полѣтъ,
Отъ подиръ недѣй поглежда,
Бодро стжияй смѣлъ напредъ.

Може нѣщо да се сръчи
Прѣдъ стрѣмителний ти бѣгъ,
Не плаши се, гледай бодро
Къмъ спасителния брѣгъ.

Може бездната да зипе
Да прѣкъсне твоя пѣтъ,
Твойтъ корабъ да загине,
Тебъ да стигне ранна смъртъ.

Не плаши се, с' стѣпка яка,
Къмъ Колхида бързай ти,
Тамъ те златно руно чака,
Бързай та го откачи.

Ако в' случай ти неможешъ
Да достигнешъ тоя брѣгъ,
Пѣтъ поне ще да проложишь
Ний да слѣдваме слѣдъ тебъ.

Руссе, 1889 г.

М. Московъ.

ЗА ИЗУЧВАНИЕТО НА БИОЛОГИЯТА.

ЛЕКЦИЯ

ОТЪ

Томаса Х. Хънсли.

(Прѣводъ отъ английски.)

Дължностъ ми е тая вечеръ да говорѣя за изучаването на биологията. Надѣя се, че много отъ моитѣ слушатели сж добрѣ за познати съ тая наука, при все това, като сказчикъ съ извѣстни задължения, азъ ще събрамъ, ако смѣтамъ, че повечето сж занознати съ тая наука. Напротивъ, трѣбва да прѣдположж, че много отъ васъ желають да чують що е биология, че други нѣкои знають това, а искать на драго сърдце да чують защо именно заслужава тая наука да се изучава; трети, най-сетнѣ, на които се ясни и двѣтѣ тия точки, че сж готови да чууть какъ е най-добрѣ да се изучава биологията, и кога е най-добрѣ да се изучава.

За това, азъ ще се постарая да отговорѣя на тия четири въпроса: що е биология; защо заслужа да се изучава; какъ трѣбва да се изучава; и кога трѣбва да се изучава.

Прѣдиполагамъ, че може нѣкои да мислять, че името «биология» е просто едно новоисковано название, единъ неологизмъ за онова, което испрѣди се знаеше подъ името „естественна история.» Азъ ще се опитамъ да ви докажж, наопротивъ, че думата изражава онова, което науката е дала прѣзъ послѣднитѣ 200 години, и че думата е захванъла да се употрѣбвява прѣди половина вѣкъ.

Въ началото на умственото възраждане, знанието било раздѣлено на два вида — знание за природата и знание за човѣка, защото тогава се мислило (а че и сега нѣкои мислять така), че между природата и човѣка има нѣкаква си противностъ, нѣкаквъ си антагонизмъ, и че двѣтѣ тѣзи нѣща, човѣкъ и природата, нѣмать никаква связь помежду си, освѣнъ онова, че едното често бива твърдѣ обезпокоително за другото. Даже и въ 17 вѣкъ, когато нашитѣ философи, за тѣхна хвала и честь, както за изслѣдванieto на природата, тѣй и за изслѣдванieto на човѣкъ, признавали, че трѣбва се употрѣбвя една и сжща метода, ние намираме въ съчиненията на Бейкъна и на Хоббеса, че се прави голѣма разлика между природата и човѣка. И азъ носжъ съ себе си знаменитото

онова съчленение на Хоббеса «The Leviathan» за да взядъж прѣдъ васъ, съ чудесно взящнитѣ и ясни думи на прочутия философъ, какво е мислилъ той върху тоя въпросъ.

Той казва: «Списъскитѣ на фактическитѣ знания се казва история. Историята бива два вида, едната, наречена естествена история, съставя историята на такива факгове или дѣла на природата, които не зависъжтъ отъ човѣшката воля; такава е историята на металитѣ, растенята, животнитѣ, земитѣ, и тѣмъ подобнитѣ. Другата се казва гражданска история, която е история на волнитѣ ч. вѣшки дѣла, втршени отъ хората въ тѣхния държаванъ животъ.»

И тъй виждаме, че историята на факговете се е дѣлила на естествена и гражданска. Съ течението на вѣмето различнитѣ клонове на човѣшкитѣ знания добивали по-развита и по-отдѣлна форма единъ отъ други и ставъло явно, че нѣкои клонове по-вече отъ други съдържатъ математически свойства. Обнародването на Нютоното съчленение «Principia», което е дало такъвъ великъ потикъ на физическата наука, какъвго не ѹ е билъ даванъ испрѣди, нито по-послѣ, доказало на свѣта, че математическитѣ методи сж приложими на такива науки като астрономията, както и на науката, що наричаме сега физика, които сж съставлявали голѣмъ дѣлъ отъ онова що старитѣ писатели сж разбирали подъ името естествена история. Така направената разлика между астрономическия клоноу на естествената история и другата нейна часть, раздѣлила послѣдванята на двѣ части: астрономия и естествена философия. По-послѣ и други клоновете отъ науката получили свое особно развитие—появила се химията. И понеже както астраромията, тъй и естествената философия и химията можеж да се изучаватъ или математически или съ опити или и по двата начина, голѣма разлика захванъло да се прави между експерименталнитѣ клонове на онова що испрѣди е било наречено Естествена история и ония клонове що се изучавали само по наблюдение, въ които опитътъ билъ, или се виждалъ да бжде, бесполезенъ и въ които тогава математическитѣ методи били неприложими. При тия обстоятелства названнето «естествена история» мнъжло да означава ония клонове на науката, които на онова вѣме немъжали се изучаватъ съ опити и математически методи; ония именно клонове, които днесъ се наричатъ отдѣлно: физическа география, геология, минералогия, история на растенята и история на животнитѣ. Въ тая именно смисълъ се е разбирало названнето отъ великитѣ писатели въ половината на миналия вѣкъ — *Бюфонъ и Линеусъ* — отъ Бюфона въ великото му съчинение «Histoire Naturelle Générale» и отъ Линеуса въ великото му съчинение

трудъ «Systema Naturale». Прѣдметитѣ, съ които тѣ се занимавали се наричали „естественна история“, и тѣ сами се наричали „натуралисти“. Но, както виждате, името испърво не е означавало това, че съ врѣме то е измѣнило твърдѣ много своего първоначално значение.

Съ чудесния напрѣдѣкъ на науката въ края на минжлия вѣкъ и началото на настоящия, ученитѣ мислящи хора захванжли да откривать, че подъ названieto «естественна история» се включатѣ твърдѣ разнородни елементи — че, напримѣръ, геологията и минералогията, въ много отношения, сж съвсѣмъ различни отъ ботаниката и зоологията; че възможно е човѣкъ да се сд бие съ обширни знания по устройството и функциитѣ на растеняята и животнитѣ безъ да бѣде принуденъ да изучава геологията и минералогията, и обратно. Още по-послѣ, съ по-нататѣшния напрѣдѣкъ на науката, станжло явно, че има голѣмо сродство между ония двѣ науки, ботаника и зоология, които се занимаватъ съ живи сжщества, и че двѣтѣ тия науки се отличаватъ твърдѣ много отъ другитѣ науки. Бюфонъ бѣ, който заблѣжш тоя великъ фактъ; той каза: *Ces deux genres d'êtres organisés (les animaux et les végétaux) ont beaucoup plus de propriétés communes que de différences réelles*. Не е чудно тогава дѣто въ началото на настоящия вѣкъ, въ двѣ различни страни и доколкото знаж, безъ взаимно сношение, двама знаменити мжжѣ дойдохъ до заключение, че двѣтѣ науки, които се занимаватъ съ живитѣ сжщества, трѣбва да се съединжтъ въ едно и да се изучаватъ по единъ и сжщъ начинъ. Не на двама, нѣ въ сжщность на трима бѣ дошла тая идея съврѣменно; отъ тѣхъ само двама и сж дали послѣдствие, и само единъ могълъ да ѣ разработи напълно. Лицата за които ми е думата сж били знаменитий физиологистъ Bichat, и великий натуралистъ Lamarck, въ франция, и единъ прочутъ нѣмецъ Treviranus. Bichat приелъ сжществуванието на единъ особенъ классъ «физиологически» науки. Lamarck, въ единъ свои съчинения въ 1801, за първъ пѣтъ учотрѣбява името «биология», сѣставено отъ двѣтѣ гръцки думи, що означаватъ слово за живота и живитѣ сжщества.

Около сжщото това врѣме минжло презъ ума на Treviranus а, че всичкитѣ тия науки що се занимаватъ съ живота материя сж въ сжщность и въ основа една и сжща наука и трѣбва да се брожтъ за една и сжща наука. Въ 1802 той обнародвалъ първия томъ на онова, което той наричалъ «биология». Заслугата на Treviranus-а е въ това, че той развилъ напълно идеята си и написалъ знаменитата книга, за която спомежхъ. Тая книга се съ-

стои отъ шестъ тома и е занимавала Treviranus-а цѣли 20 години 1802—1822.

Ето какъ е било въведено въ научната литература името «биология». Всички разбрани мислители и любители на спрегнатата номенклатура замѣнили веднѣга двусмисленото название «естественна история», което е означавало толкова много нѣща разбъркано, съ название «биология», което остана да означава пѣлокушно всички науки що се занимаватъ съ животѣ същества, било животни или растения.

Сега, като видѣхме какъ се е създадо името «биология», да видимъ додѣ се простиратъ границитѣ на тая наука, каква е нейната областъ. Казахъ, че технически думата «биология» служи да се означатъ всички явления, проявявани отъ животѣ същества, въ противоположностъ на оние прѣдмети, които не сж живи. Докато се намираме изъ областта на по-долнитѣ животни и растения това име прилѣга досга добрѣ, ала, кога стигнемъ по-високитѣ форми на животѣ същества, ние срѣщаме нѣкои значителни мъчнотии въ приложението на името. Каквото и да мислимъ за природата на човѣка, едно нѣщо е съвършено вѣрно, а именно, че той е живо сътворение. Слѣдва, тогава, че, ако нашето опрѣделение на думата «биология» се тълкува строго, ние трѣбва между прѣдметитѣ на биологията да включимъ и човѣка съ всичкитѣ му качества и дѣятелностъ; въ такъвъ случай, психологията, политиката, политическата икономия трѣбва да се броятъ като части отъ биологията. Но строга логика мъчно е да се направи възражение на това, защото никой неможе се съмнѣва, че зародишнѣто състояние на нашитѣ душевни явления може се види между по-долнитѣ животни. По-долнитѣ животни иматъ и тѣ своята политика и своята икономия. И, ако споредъ приетия обичай политиката на пчелитѣ и републиката на вълцитѣ падатъ въ границитѣ на биологията, мъчно е да се каже защо да не туримъ въ сжщитѣ граници и дѣлата на човѣка, които толкова много приличатъ на дѣлата на пчелитѣ по ревността за събиране и печеление, и които неможе се каже, че въ нѣкои отношения сж съвѣмъ различни отъ постѣпкитѣ на вълцитѣ. Истинскиятъ фактъ е, че биолозитѣ сж хора себепожертвователи; и, като виждатъ, че има за изучаване повече отъ четвъртъ милионъ различни видове животни и растения, тѣ оставатъ доволни и съ тая територия. Оная часть, прочее, отъ биологията, която Васон и Hobbes сж наричали «гражданска история» по една практическа конвенция биолозитѣ сж отстѣпили на другъ единъ клонъ отъ науката, който е наректъль себе си «социология». Длъж-

ностъ ми е, обаче, повторно да спомена, че това е една волна жертва отъ страна на биолозите, и да се види чудно на никого отъ васъ, ако по нѣкои пъти биологътъ явно прѣскача въ областта на философията или политиката; или захване да се мѣси въ възпитанието на човѣка; нека се помни, че тия страни сж частъ отъ неговото царство и че той ги е отгънилъ доброволно.

Вторийтъ въпросъ бѣ — защо трѣбва да се изучава биологията? Възможно е да дочакаме снова врѣме, когато тоя въпросъ ще се види много чуденъ въпросъ. Фактътъ, че ние, живи същества, може да се не интересуваме въ това, що съставлява самия животъ, съ врѣме, като се промѣнхтъ идентъ за онова, що най-заслужава да се издиря отъ човѣка, ще бѣди отзабѣлженъ като странно явление; нѣ днесъ, ако сѣдимъ отъ дѣлата на нашитѣ учители и възпитатели биологията ще изаѣзе прѣдметъ съвѣсмъ пенужденъ на човѣка. Ще ви прѣдставѣхъ нѣколко само съображения, които, смѣхъ да кажѣ, на мнозина сж познати, въ които при все това сж достатъчни да покажѣтъ — не напълно само, защото за това се изискватъ много лекции — че има добри и съществени причини, споредъ които би било желателно да знаемъ нѣщо и отъ тоя клонъ на човѣшкитѣ знания.

Азъ самъ напълно се съгласявамъ съ Hobbes-а, че назначението на всички научни размишления е да се извърши нѣщо, което трѣбва да се извърши и не давамъ никаква важностъ на знанието като просто знание. Стойността на човѣшкитѣ знания и учения азъ оцѣнявамъ споредъ тѣхната полза за човѣка; желалъ бихъ само да разбираме ясно, както трѣбва, значението на дума «полза». Обикновено съ тая дума се разбира онова, което получаме, кога добиемъ шекеръ или слава, или и двѣтъ. Нѣма съмнѣние, че една отъ нѣщата, които означава дума «полза» е и това; но по никой начинъ това не е всичко, което азъ разбирамъ съ дуаа «полза» азъ мислѣхъ, че всѣко знание е толкова по-полезно, колкото повече прави идеи дава на човѣка, идеи, които сж същественната основа на всѣка истинско полезна дѣятелностъ, и колкото повече отмахва кривитѣ идеи, които сж не по малко съществена основа и плодотворна почва на всѣкакъв видъ погрѣшки въ практическия животъ. И понеже свѣтътъ, каквото и да казватъ практичнитѣ хора, се управлява най-дослѣ напълно отъ идеи, и често отъ най-дивни и най-хипотетични идеи, то много важно е нашитѣ теории, даже за нѣща съвѣсмъ отдѣлени отъ живота, да бѣдѣха колкото е възможно по-вѣрни и по-далечъ отъ груби заблуждения. Не съ практическото значение на думитѣ «полза», а съ нейното по-високо-

и по-широко значение, азъ мѣржъ стойността на биологичте отъ къмъ нейната полезностъ. III: се помжжжъ слѣдъ това да ви покажъ, че не единъ нжгъ въ живота ви въ тоя денадесеги вѣкъ вамъ ще бжде нужно да знате по нѣщо отъ биологичта. Напримеръ, повечето отъ насъ даватъ голѣмо значение на възгледътъ, който имае върху положението на човѣка въ вселенната и неговитѣ отношения спрямо другата природа. Всинца сме чукали да ни се казва и повечето вѣрватъ това по прѣдание, че човѣкътъ занимава едно особно изолирано положение; че, макаръ и да се намира въ свѣта, той не е отъ свѣта; че той нѣма никаква близка связь съ нѣщата около него; че той е дошълъ на свѣта не твърдѣ отдавна; че той нѣма и да проживѣе още дълго врѣме, и че най-послѣ човѣкътъ е великата централна фигура, около която всички други нѣща въ тоя свѣтъ се въртъжъ. Нѣ не това ще да чуеме отъ устата на биологичтъ.

Биологичтъ ни казватъ, че всичко това е заблуждение. Тѣ се обръщатъ къмъ физическото устройство на човѣка. Разгледватъ цѣлото му тѣло, костения му скелетъ и всичко що го покрива. Разлагатъ го на най-малкитѣ частици що могатъ да се виджътъ прѣзъ микроскопътъ. Наблюдаватъ всичкитѣ му функции и дѣйствия и гледатъ въ какво положение живѣе той на земното лице. Слѣдъ това тѣ се обръщатъ къмъ другитѣ животни, като взематъ — речеете едно куче — тѣ претендиратъ, че анализътъ на-кучето ги довежда въ общи черти до сжщитѣ точно резултати, до които ги довежда и анализътъ на човѣка. Тѣ ни казватъ, че сжщитѣ кости съ сжщитѣ, отношения помежду имъ се намиратъ и у човѣка и у кучето; че мускулитѣ и нервитѣ на кучето може да се нарекатъ съ сжщитѣ плена, съ които означаваме мускулитѣ и нервитѣ на човѣка; че органиитѣ на чувствата и тѣхното устройство, каквито съ у човѣка, таква съ и у кучето, че за анализътъ на главния мозкъ и на гръбначния може да се употрѣби сжщата номенклатура. Тѣ изслѣдватъ съ микроскопа кучето, додѣто могатъ, и намиратъ, че неговото тѣло може да се разложи на сжщитѣ елементи, каквото тѣлото на човѣка. Освѣнъ това, тѣ погледватъ на по-ранното развитие на кучето, както и на по-ранното развитие на човѣка, и намиратъ че въ пзвѣстно врѣме на свое сжществуване двѣтъ сжщества мжно се различаватъ едно отъ друго. Тѣ намиратъ още, че кучешкий родъ е распрѣдѣленъ по извѣстенъ начинъ на земното кълбо, който може се сравни съ начина по който е распрѣдѣленъ и човѣшкий родъ. А това що е истина за кучето е истина и казватъ тѣ и за всичкитѣ по-високи животни; и прибавятъ отгорѣ,

че тѣ могатъ да направятъ една обща система за всички тия създадения, и да смѣтатъ човѣка и кучето, конятъ и волътъ като маловажни измѣненія на една голѣма основна единица. Издирванията на послѣднитѣ 70 години сж доказали, казватъ ни биолозитѣ, че научното разгледвание на всички различни видове животни, които се срѣщатъ въ природата, ще ни прѣведе, нѣ не само въ права линия, нѣ прѣзъ много пътица, стъпка по стъпка, отъ човѣка, на върхътъ, до живитѣ джелени (la g-lée) шумтеци, на дълото. Тѣй че идеята на Лайбница и на Боннета, че животнитѣ образуватъ една грамадна скала, на която има редъ стъпала, като захванемъ отъ сложнитѣ форми и дойдемъ до най-долнитѣ и най-проститѣ, тая идея, макаръ и не въ формата, въ която е била проповѣдена отъ тие философи, излиза върна въ същественнитѣ си часги. Повече отъ това; кога биолозитѣ проситъ своитѣ изслѣдванія въ растителния свѣтъ, намиратъ, че тѣ могатъ, като вървятъ по устройството на растенията огъ най-гигантското и най-сложното дърво надолу къмъ по-долнитѣ и по-долнитѣ, да достигнатъ до живи джелени шущици, които тѣ не могатъ да различатъ отъ ония, шамѣрени чрезъ изслѣдванieto на животнитѣ.

Тѣй, биолозитѣ сж дошли до заключение, че една основна еднообразностъ прониква въ устройството, както на животното царство, тѣй и на растителното и че растения и животни се различаватъ едно отъ друга само като видоизмѣненія на една и съща велика обща система.

Сжщата история биолозитѣ ми расправятъ и за функциитѣ на животнитѣ и растенията Тѣ признаватъ грамадни и важни промежутокъ, който днесъ дълъ явленията на умственитѣ способности у човѣка, даже и у нѣкои по-долни животни, до колкото го знаемъ, отъ подобнитѣ явления у други животни; нѣ, въ сжщето врѣме, тѣ ни казватъ, че основитѣ, зародишитѣ, почти на всѣка човѣшка способностъ се срѣщатъ въ по-долнитѣ животни; че има еднообразие въ умственитѣ способности, както въ тѣлесното устройство, и че и тука разликата е разлика на степенъ, а не разлика на видъ. Казахъ по горѣ «почти всѣка човѣшка способностъ» варочно. Между нѣщата, съ които сж искали да отличатъ човѣка отъ другитѣ животни има едно, на което едва даватъ нѣкаква важностъ, въ което заслужава да се спомене при тоя случай въ днешното събранне. Това нѣщо е, че, макаръ у разни други животни да можемъ да отгнемъ слѣди отъ всички други човѣшки способности, и особно отъ способността на човѣка да подражава, или не срѣщаме ни у едно животно тая особна форма на подражането, спо-

редъ които човѣкътъ може да подражава природнитѣ форми въ ваянието или живописвото. До колкото знаѣж, никаква статуя и навѣрно никаква картина или рисунка направена отъ животни не е била намирана.

Ако това що ни казва биологътъ е истина, тогава би трѣбвало да се отърнемъ отъ погрѣшнитѣ си идеи за човѣка и за неговото положение въ свѣта, и намѣсто тие идеи да приемемъ други, които сж прави и вѣрни. Нѣ невѣроятно е да се произнесемъ правила сж или не биологитѣ, ако не сме въ състояние да разберемъ значението на тѣхнитѣ аргументи, т. е. ако незнаемъ нищо отъ биологията. Азъ се чудѣж единъ ученъ какво може да каже на оногова, който се наима да критикува нѣкоя мѣчна частъ въ една грѣцка драма, безъ да е запозналъ себе си съ елементарнитѣ правила на грѣцката граматика. При все това, хората, прѣди да сж си дали положително мнѣнието за такива високи биологически въпроси, не само не мислятъ, че е нужно да бждатъ запознати съ граматиката на прѣдмета, нѣ даже тѣ си не правятъ трудъ понѣ да усвоятъ неговата азбука. Ще намѣрите, че критики и опровержения се сипатъ хора, които, не само не сж се постарали да минѣтъ прѣзъ дисциплината, необходима да ги направи сѣдци, нѣ даже не сж до толкова исплували изъ тинята на невѣжеството, што да съзнаватъ, че такава дисциплина е нужна. Нѣ да не продължавамъ повече по тоя въпросъ.

Дѣѣ нѣща трѣбва да се разбератъ добрѣ: първо, че всѣки човѣкъ, който има при сърдце интереситѣ на истината трѣбва, усърдно да желае, че всѣка основна и справедлива критика що може да се прави да бжде направена, нѣ, второ, необходимо е, за да може кой-да-е да се ползува отъ една критика, критикътъ да знае какво говори, и да бжде въ състояние да си състави умственна картина отъ фактоветѣ, отбѣлѣжени съ думитѣ що употребява въ своята критика. Въ противенъ случай, явно е, че въ биологията, както въ историята или филологията, такава критика ще бжде просто губение време отстрана на автора и не ще заслужава никакво внимание да ѣ се даде отъ страна на ония които се критикуватъ. Вземѣте, тогава, за доказателство, че биологията е важенъ прѣдметъ, фактатъ, че само чрѣзъ нея хората могатъ да си съставятъ мнѣние за каква и трѣбва да бжде една свѣсна критика върху ученята на биологитѣ.

Слѣдъ това ще споменѣж за друго приложение на биологията въ практическия животъ. Да вземемъ теорията за прилѣпчивитѣ бодести. Навѣрно това интересува всѣки отъ насъ. Сега теорията на

прилѣчивитѣ болѣсти бързо се развива подѣ влиянието на биологичната. Възможно е испомежду по долнитѣ животни да прѣдставимъ примѣри отъ опустушителни болѣсти, които се разпространяватъ точно тѣй, както се разпространяватъ нашитѣ прилѣпчиви болѣсти и които навѣрно и безсѣмийно се причиняватъ отъ живи организми. Тоя фактъ, ако не друго, иде да даде подкрѣпление на теорията, която поддържа, че такива болести се развиватъ отъ извѣстни зародиши; и ако биологията може да потвърди тая теория напълно, това може да поведе къмъ нѣкои много практични мѣрки въ борбата ни съ тия ужасни посѣщения у насъ отъ живи организми. Добрѣ е, прочее, не само професионалната публика, а и обикновенната да разбираше биологическитѣ истини, но тѣ до толкова, колкото е нужно за да могатъ съ съзнателенъ интересъ да слѣдватъ разискването на такива въпроси.

Позволете ми да споменѣ и за още едно практическо припособление на биологическитѣ истини. Прѣзъ послѣднитѣ четирдесетъ години теоритѣ на земледѣлието сѣ били съвсѣмъ измѣнени. Издирванията на Liebig-а, както и издирванията на Lawes-а и Gilbert-а сѣ приемли неопѣнени ползи за тоя клонъ отъ човѣшката индустрия. Всякитѣ тия нови идеи, обаче, сѣ се родили отъ по-добро обяснение на нѣкои процеси, що се вършатъ въ растенията, нѣщо което влиза въ областта на биологията.

Можехъ тие примѣри да ги умножѣ още много, ала времето не ми позволява. Да прѣмиснемъ на третия въпросъ: — Ако биологията заслужава да се изучава, то какъ е най-добрѣ да се изучава? Тукъ съмъ длъженъ да посочѣ, че понеже биологията е наука физическа, то методата за изучаването ѣ трѣбва да бѣде подобна на методата, по която се изучаватъ другитѣ физически науки. Огдавна е вече признато, че ако нѣкой желае да стане химикъ, необходимо е, не само да чете съчинения по химията и да слуша лекции, а и още самъ да прави основнитѣ опити въ лабораторията и по тоя начинъ да научи точно какво значатъ думитѣ, що намира въ книгитѣ и слуша отъ учителя си. Ако той не прави така, може да чете колкото иска и пакъ никога не ще знае нищо отъ химия. Същото е длъженъ да прави и физикътъ по своя клонъ. Голѣмитѣ промѣнения и подобрения въ физическо и химическо научното въспитание, които сѣ станали напослѣдокъ, всички сѣ произлѣзли отъ съединението на практическото учение съ четението книги и слушанieto лекции. Същото е и съ биологията. Никой не може да знае нѣщо отъ биологията по-хубаво и по-свѣсно, отъ колкото може да знае единъ „книженъ философъ“, ако се задоволява само съ чете-

ние книги по ботаника, зоология, и тѣмъ подобни. Коя е причината на това не е мѣчно да се разбере. Цѣлий езикъ е символически по отношение на нѣщата, които той означава; колкото по сложни сѫ нѣщата, толкова по-пустъ е символътъ и толкова по-вече неговото словесно опрѣдѣление има нужда да се допълни отъ свѣдѣнията, що може да се добиѣтъ съ хващането, и виждането на самото нѣщо, за което е дума: — ето защо съ просто четене и слушане биологията, както и другитѣ физически науки, не може се изучава. Ако искате единъ човѣкъ да стане търговецъ съ чай, вие нѣма да му кажете да чете книги, въ които се пише за Китай или за чай, а ще го турнете въ дюгента на нѣкой търговецъ съ чай, дѣто той може да хваща, мирише и вкусува чая. Безъ знанието, което той може да получи по тоя начинъ, неговитѣ прѣдириятия като търговецъ съ чай скоро ще го докаратъ да хвърли топа. «Книжнитѣ философи» си правятъ илюзия, като маслятъ, че физическитѣ прѣдмети може да се изучаватъ като словеснитѣ просто по книги. Вие може да прочетете колкото щете книги, и да бждете пакъ толкова новѣжи, колкото сте били, кога сте захванали, ако въ умътъ си вие нѣмате ония опрѣдѣлени образи намѣсто, които стоѣтъ думитѣ; а тия образи могатъ да се получѣтъ само като наблюдавате сами явленията на природата.

Нѣ ще кажете: — «Това е много добро, ала прѣди малко вие ни казахте, че по всѣка вѣроятность има нѣщо около четвъртъ милионъ различни видове сега живущи и едно врѣме дѣто сѫ живѣли животни и растения и краткий животъ на човѣка въ такъвъ случай не е достатъченъ за разгледването нито на петята частъ отъ тия видове». Това е истина, ала въ това отношение ние се улесняваме твърдѣ много отъ редътъ, въ който се намиратъ нѣщата. Споредъ тоя редъ, макаръ и толкова много да сѫ разнитѣ видове живи същества, пакъ тѣ могатъ да се изучѣтъ сравнително отъ извънредно малко примѣра.

Има нанстина, повече отъ 100,000 вида само насѣкоми; при все това, койго знае добръ една насѣкома — стига тя да е добръ избрана — може той да има твърдѣ хубаво понятие за устройството на всички видове насѣкоми. Не искамъ да кажа, че той ще знае тѣхното устройство въ всички подробности; нѣ въ всѣки случай той ще има достатъчно знание, за да може да разбира онова, що чете и да може да добие вѣрни образи за устройството и на ония видове насѣкомитѣ, що не е видѣлъ. Въ сжщность, между животни и растения има нѣкои тѣй *типични* че, за да се добие човѣкъ съ ясни познания по главнитѣ видоизмѣнения, както на животното царство,

тъй и растителното, достатъчно е да разгледа прапрактически тия сравнително твърди малко на брой животни и растения. На практическия работа на ученика не малко се помага и със готовитѣ диаграми и препарати, които ще намѣрите въ биологическата лаборатория.

Желаѣх да кажѣ нѣколко думи и за значението на музеитѣ при изучаванieto на биологията. За изучаванieto на нѣкои части отъ биологията надали бихж могли да послужатъ други сръдства тъй добри, както музеитѣ по естественната история. Само че настоещитѣ музеи, тъй както сж устроени, не правятъ за насъ онава, което бихж могли да направятъ. Надѣвамъ се, че много отъ васъ или съ цѣль да си разширатъ знанията или пакъ съ цѣль да прѣминатъ полезно нѣкой празникъ, сж ходили да посѣтятъ нѣкои отъ голѣмитѣ музеи по естественната история. Надѣжж колко съ четвъртъ мила вие трѣбва да сте ходили измежду животни, повече или по малко добри напълнени, и отдолу подписана съ своитѣ дълги имена; и, освѣнъ ако вашата опитностъ бжде много различна отъ опитността на повечето хора, крайтъ на всичко това е, че вие оставате тоя великолѣпенъ купъ отъ животни съ уморени крака, болна глава и една обща идея, че животното царство е «единъ лабиринтъ безъ всѣкаквъ планъ». Не мислж, че единъ музей, който дава такива резултати, може се каже, че постига своята цѣль. Нужно е, прочее, такива заведения да се направятъ колкото се може по-достъпни и полезни отъ една страна за обикновенната публика, а отъ друга за специалисти — работници. За тая цѣль множеството прѣдмети по естественна история въ единъ музей трѣбва да се раздѣлжтъ на двѣ части — една за обикновенната публика, а други за специалисти по науката. Първото отдѣление да съдържж всички по-главни и по-интересни форми на животното царство и при всѣкой екземпляръ да има обяснителни таблици и отдѣлно да се даватъ на публжката каталози съ популярно изложение на излаганитѣ прѣдмети; а второто отдѣление трѣбва да съдържж, събрани сравнително на едно малко мѣсто, въ стаи пригодени за научна работа, прѣдмети които иматъ чисто-научно значение; въ това отдѣление е даже положително безполезно да се приготвятъ екземпляретѣ натъкани, това което е необходимо за отдѣлението наредено за публжката.

Нъ да минемъ на послѣдния въпросъ. — Кога е най-добри да се изучава биологията? Азъ не виждамъ серозна нѣкоя причина защо да не се въведе, въ извѣстенъ размѣръ, като честь отъ първоначалното училищно образование. Това мнѣние отдавна поддържамъ и съмъ напълно увѣренъ, че то не само че може се тури

въ дѣйствиe твърдѣ лесно, нѣ ще принесе и значителна полза на учащата се младежъ; ала въ такъвъ случай биологическигѣ истини трѣбва да се турятъ въ форма такава, каквато изисквагѣ развитието и нуждитѣ ни ученицитѣ. Когато бѣхъ ученикъ класическигѣ езичи се прѣдвахъ по единъ много опасенъ начинъ. Първата работа, кога учехме латински, наприимѣръ, бѣше да изучавамъ правилата на латинската граматика въ латинския езикъ. — Тогава азъ мислѣхъ, че тоя начинъ за учение е опасенъ, ала не смѣехъ да възстанѣ противъ своитѣ погорни. Сега, може-би, не съмъ толкова скромненъ, колкото тогава, и си позволявамъ да мисля, че тоя начинъ за прѣдаване е твърдѣ абсурденъ. Нѣ не по-малко абсурдно щѣше бѣде, ако се дадѣхъ въ рѣцѣтъ на ученицитѣ редъ опрѣдѣления на классоветѣ и разрядитѣ въ животното царство и се накарахъ да научатъ тия опрѣдѣления наизустъ. Нѣкои учителли толкова обичатъ тая метода за прѣдаване, че ме е страхъ, да не би духътъ на старата класическа система да е проникнѣла и въ новата научна система, въ който случай азъ бихъ билъ на мнѣние всѣко учение по науката да бѣде унищожено. Онова, къмъ което учителитѣ трѣбва да се се стремятъ, е да дадѣтъ на младия ученически умъ понятие за животното царство и за растителното. Въ тоя случай практическитѣ сръдства трѣбва да стоатъ на първо мѣсто. Колкото за запознаването съ устройството на животнитѣ ученикътъ може да се отнесе до онова животно, което е най-близу до него, до себе си именно; а такива вътрѣшни части, като сърдце, дробъ и пр., може да се взематъ отъ най-ближния касапски дюгень. Биологията съ растенията, отъ друга страна, може да се изучава отъ какви да е растения, защото и най-проститѣ растения ще доставятъ нуждитѣ материяли. Тѣй че, споредъ мене, най удобната форма, въ която биологията може да се прѣдава на ученици първоначално, е елементарната човѣшка физиология отъ една страна и елементитѣ на ботаника отъ друга. По-послѣ нѣма, причина защо и въ сръднитѣ училища прѣдаването на биологията да не става по сѣщия принципъ само въ по-голямъ размѣръ. На такива ученици не ще бѣде злѣ, ако се даде да направятъ нѣкои диссекции, та да добиѣтъ идея повѣ за четиритѣ-петъ главни видоизмѣнения на животнитѣ форми; сѣщето може да се направи и съ по-високата анатомия на растенията. Най-послѣ на ония, които иматъ намѣрениe да изучаватъ специално биологията, съ цѣль да си расширатъ знанията по нея, или съ цѣль да станатъ зоолози и ботаници, или съ цѣль да слѣдватъ по-послѣ физиологията, или съ цѣль да станатъ лѣкари, азъ сръпорѣчамъ да се занимаватъ съ практическа биологическа работа.

Т И Ф Ъ.

отъ

А. Чеховъ

(Прѣводъ отъ русски).

Въ пощенскійтъ трентъ, койго идеше отъ Петербургъ за Москва, въ отдѣлението за пушачитѣ тютюнъ, пхтуваше младийтъ поручикъ Климовъ. Срѣщу му стоеше пристарялъ чловѣкъ съ бръсната физиономия на морякъ, по всичко се виждаше да е заможенъ чухонецъ или шведъ, прѣзъ цѣлия пжть смучеше луличката си и говореше на една и сжщата тема:

— Ха, ви сте офицеръ! И азъ сжщо имамъ братъ офицеръ, но само че той е морякъ. . . Той е морякъ и служи въ Бронщадтъ. Вий защо отивате въ Москва?

— Азъ тамъ служа.

— Ха! А вий семейни ли сте?

— Не, азъ живѣя съ лея си и сестра си.

— Братъ ми сжщо е офицеръ, морякъ, но той е семеенъ, има жена и три дѣца. Ха!

Чухонецътъ на нѣщо се очудваше, идиотски-широко се усмихваше, когато викаше „ха!“, като непрѣстанно раздуваше своята вонеща луличка. Климовъ комуто не бѣ добръ и му бѣ тежко да отговори на въпроситѣ, го възненавидѣ отъ вся душа. Той мечтаеше, какъ би било добръ да издърпа изъ ржцѣтъ му гжгривата лула и да я запокити подъ дивантътъ, а самия чухонецъ да пропжди въ другъ вагонъ.

— Противенъ народъ сж тѣзи чухонци и . . . гърци, мислеше той. — Съвсѣмъ излишенъ, за нищо непотрѣбенъ, противенъ народъ. Заематъ само мѣсто на земното кяло. Защо ли сж тѣ?

И мисльта за чухонцитѣ и гърцитѣ произведе въ цѣлото му тѣло нѣщо, като повръщание. За сравнение, той поиска да мисли за французитѣ и италиянитѣ, но въспоменанието за тѣзи народи, кой знае защо извади прѣдъ него прѣставление само за латернаджии, голи-жени и задгранични олеографии, каквито висятъ дома у лея му надъ скрпнѣтъ.

Въобще офицера се чувсгвуваше не нормално. Ржцѣтъ и нозѣтъ му, като че не сж намѣсгваха на дивантътъ, макаръ цѣлий диванъ да се намираше на негово расположение, въ устата му бѣ

сухо и лѣпкаво, въ главата му стоеше тежка мъгла; мислитѣ му като че ли бродеха, не само въ главата му но и извънъ черепътъ, между диванътъ и хората обвити въ ноцната мъгла. Смятно, като прѣзъ сънъ, чуваше той бърборанне на гласове, траканне на колелета, хлонанне на врати. Звънциѣтѣ, свиркитѣ на кондуктора, суетението на публиката по платформътъ, се слушаха по често, отъ колкото обикновено. Врѣмето лѣти бързо, незаблѣжнo и за това се струва, че трептѣтъ всѣка минута се смира около нѣкоя станция, и непрестанно отъ вънъ се чуватъ металически гласове :

— Готова ли е пощата?

— Готова!

Струваше ся, че твърде на често слугата що пали печитѣтѣ влиза и погледва на термометрътъ, че шумътъ на срѣщнатия тренъ и трѣсакътъ отъ колела по моста се чуватъ непрекъснато. Шумъ, свирки, чухонецъ, тютюневъ димъ, всичко това смѣсено съ заплашванията и миганията на мъглявитѣ образи, чиито форма и характеръ не може да си припомни здравъ чловѣкъ, задушваха Климова, като нетърпимъ кошмаръ. Съ страшна мъка подемаше той тежка глава, погледваше на фенерътъ, въ чиито лучи се въртяха сѣнки и мъглеви нѣтна, искаше му се да поиска вода, но изсѣхналии езикъ едва се мърда, и едва му стига сила да отговаря на въпроситѣ на чухонецътъ. Той се стараше по удобно да лѣгне и засни, но все не му прилѣгаше; чухонецътъ нѣколко пѣти заспива, пробужда се, запала лула и се обръща къмъ него съ своето „ха!“ и отъ ново заспива, а нозѣтѣ на поручика все не сж намѣстваха на диванътъ и заплашителнитѣ образи всѣ му стояхе прѣдъ очи.

Въ Спирово той слѣзе на станцията да пие вода. Той видѣ какъ хората сѣдяха прѣдъ маситѣ и бързаха да ѣдатъ.

— Какъ тѣ могатъ да ѣдатъ! — мислеше той, като се мъчеше да не диша въздухътъ, тежъкъ огъ джхътъ на печено месо, и да не глѣда на дѣвцащитѣ уста, — едното и другото му се сгрубаха противни до повръщанне.

Една хубавица дама високо се разговаряше съ военецъ съ червена фуражка и усмихната, показваше великолѣпнитѣ си бѣли зѣби; и усмивката и зѣбитѣ и самата дама произведоха на Климова сѣщо такъво отвратително впечатление, както жамбонътъ, печенитѣ котлети. Той не можи да разбере, какъ тѣй, на военныйтъ съ червената фуражка не му е мъка да сѣди при нея и да гледа ситото ѣ ухлебнато лице.

Когато, слѣдъ като пи вода, се върна въ вагонътъ, чухоне-

пътъ сѣдеше и пушеше. Лулата му гжгри и избухва, като пробитъ галонъ въ кално врѣме.

— Ха! учуди се той. — Това коя е станция?

— Незная, отговори Климовъ, като лѣгна и си закри устата, за да не дыша осиривтъ тютюневъ димъ.

— А кога ще стигнемъ въ Тверь?

— Незная. Извинете, азъ . . . азъ негома да отговарямъ. Болень съмъ, днесъ простилахъ.

Чухонецътъ почука луличката си о прозорчената рама и захвана да говори за своятъ братъ морякъ. Климовъ не го слушаше повече и съ тѣга си спомни за своята мекка, удобна постелка, за гарифата съ студена вода, за сестра си Катя, на която тѣй приляга да натлъкми, успокои, подаде вода, той даже се усмихна, когато въ въображенкето му се мѣрна девшчикътъ Павелъ, изуващъ на господарьтъ си тежкитѣ мирзливии чизми и туря на маспчката вода. Струваше му се, че само да лѣгне въ своята постеля, да ине вода и кошмарилъ би отстѣпилъ своето мѣсто на дѣлбокъ, здравъ сънь.

— Готова ли е пощата? — се чу отъ далечъ глухъ гласъ.

— Готова! — отговори другъ басъ почти при самия прозорець.

Това бѣше вече втора или трета станция отъ Спирово.

Врѣмето лѣти бързо съ прискачки и като че ли звинитѣ, свирвитѣ и спиранията, вѣма да иматъ край. Климовъ въ отчаяние си завре лице въ жгълтъ на дивантъ, улови си главата съ рѣцѣ и пакъ взе да мисли за сестра си Катя и деншчика Павла, но сестра му и деншчика се смѣсиха съ мъглявитѣ образи, завъртяха се и изчезнаха. Горѣщиятъ му дѣхъ, отблѣскванъ отъ странитѣ на дивантъ горѣше лицето му, нозѣтъ му лѣжаха неудобно, на гърбътъ му вѣеше отъ прозореча, не, колкото мъчително и да му бѣ, нему вече не се искаше да промѣни положението си. Тежкийтъ кошмаренъ мързелъ малко по малко го обвлада и скова членовецѣ му.

Когато той се рѣши да повдигне глава въ вагонтъ бѣше вече свѣтло. Пасажеритѣ си обличахи шубитѣ и излизаха. Тренътъ бѣ спрѣлъ. Хамали съ бѣли прѣстилки и мѣдни бѣлѣзи се трупаха около пасажеритѣ и имъ псемаха куфаритѣ. Климовъ облече шинелътъ си, машинално излѣзе подиръ другитѣ изъ вагонтъ като му се стори, че не той върви, а вмѣсто него вѣкой си другъ чуждъ, и той чувствувание, че заедно съ него излѣзоха изъ вагонтъ, жаждата му, огъвътъ и онѣзи заплашителни образи, които цѣла нощъ не го оставиха да заспи. Машинално той си взе багажътъ и нае шейна.

Файтонджията поиска за до Поварската улица рубли и четвърти, но той не се пазари, а безарѣкословно, послушно сѣдна въ шайната. Разликата въ числата той още разбираше, но паригѣ за него нѣмаха вече никаква цѣна.

Дома Климова го посрѣщна леля му и сестра му Катя, осемнадесет годишна дѣвойка. Въ ржцѣтъ на Катя, когато тя се зривиса, имаше тетрадка и карандашъ, и той си спомни, че тя се готви за учителски пещитъ. Безъ да отговаря на въпроситѣ и поздравленията, занхгтанъ отъ мария, той безъ въкаква цѣль прѣмина чрѣзъ всичкитѣ стая и, като дойде до креветѣтъ си, повали се на възглавницата. Чухонецѣтъ червената фуражка, дамага съ бѣлигѣ зѣби, джхъ отъ печено мѣсо, мигающа иѣтна му обвзеха съзнание и той вече незнаеше гдѣ е и не чуваше сѣнагитѣ гласове.

Когато се свѣсти, той се видѣ въ постелята си, съблеченъ, видѣ гарафа съ вода и Павла, но отъ това не му бѣ нито по прохладно, нито по легко, нито по удобно. Позѣтъ и ржцѣтъ, както по напрѣдъ, не се настаняваха, езикѣтъ прилѣбваше о небцего, и се чуваше гжгрешне на чухонцовата лула. . . При креветѣтъ, като тласка съ широкия си гърбъ Павелъ, се суети иѣленъ, чернобрадъ докторъ.

— Нищо, нищо, юноша! бѣбри той. — Отлично, отлично. . . Той, теи.

Докторѣтъ наричаше Климова юноша; вмѣстой «тѣи» казваше «теи», вмѣсто «да» — «де».

— Де, де, де! дума той, — теи теи. Отлично, юноша. Не трѣбва да се отчайвашъ.

Бързий небреженъ говоръ на докторѣтъ, ситата му физиономия и снизходителното «юноша», раздражняваха Климова.

— Защо ме зовете юноша? издума той: — каква е тази фамилярность? Поврага!

Той се улаши отъ гласѣтъ си. Този гласъ до толкозъ бѣ сухъ, слабъ и звѣшливъ, щото не бѣ възможно да се узнай.

— Отлично, отлично! забѣбра докторѣтъ, никакъ необиденъ: — не трѣбва сърдение. . . Де, де, де. . .

И дома врѣмето пакъ тѣи минува поразително бърже, както въ вагонѣтъ. Дневната свѣтлина въ спалията бързо се смѣнява съ ноцна дрезгавина. Доктора като че не огстживаше отъ креветѣтъ и всѣка минута се чува неговото де, де, де. Чрѣзъ спалнята непрѣкъснато се провличаха цѣлъ редъ лица. Тука бѣха: Павелъ, Чухонецѣтъ, щабсъ капитанъ Ярошевичъ, фѣдфебеля Максименко, червената фуражка, дамата съ бѣлигѣ зѣби, докторѣтъ.

Тѣ венчки говорятъ, махатъ съ ржцѣ, пушатъ, ѣдатъ. Веднажъ, даже при денната свѣтлина, Климовъ видѣ полковникъ си свѣщенникъ о. Александра, койго съ епитрахийъ и съ требиакъ въ ржцѣ стоеше прѣдъ криветътъ и мърмори съ таково сериозно лице, каквото по напрѣдъ Климовъ не е забѣлѣжвалъ у него. Поручика си припомни, че о. Александръ нарича всичкитѣ офицери католици «ляхли», и като искаше да го разсмѣе извика :

— Отче, ляхъгъ Яршевичъ избѣга въ гората!

Но о. Александръ, человекъ весель и смѣшливъ, не се засмѣ, а стана още по сериозенъ и прѣкръсти Климова Прѣзь ноцъта, една слѣдъ друга влизаха безшумно и излизаха двѣ сѣнки; това бѣха леля му и сестра му. Сѣнката на сестра му се запираше на колѣни и се молеше: тя се кланяше прѣдъ образътъ, кланяше се на стѣнната и нейната сѣнка, тѣй щото Богу се кланяха двѣ сѣнки. Прѣзь всичко врѣме миришеше на печено месо и лулата на чухонца; но веднажъ Климовъ усѣти остра тамянова миризма. Дойде му на повращанне. Той се замърда въ лѣгло и почна да вика:

— Тамяниъ! Изнесете тамяниътъ!

Нѣма отговоръ. Само се чуваше, какъ нѣгдѣ високо пѣятъ свещеници и какъ пѣють тича по стѣлата.

Когато Климовъ се свѣсти отъ замаиванието, въ спалняга нѣмаше жива душа. Утренното слънце биеше въ прозорецътъ чрѣзь спуснатата завѣса и треперящия лучъ тѣпкъ и грациозенъ, като остроило, играеше на гарафата. Чуваше се трополение на колеа — значи нѣма вече сиѣгъ на улицата. Поручикътъ поглѣда на лучътъ, на познатата мебелъ, на вратата и най напрѣдъ се засмѣ. Гърдитѣ и коремътъ му затренераха отъ сладкъ, щастливъ и гжделичкавъ смѣхъ. Цѣлото му същество, отъ глава до нозѣ, обзѣ чувство на безкрайно щастие и радостъ, каквото на върно е чувствувалъ първий человекъ, когато е билъ създаденъ и за първъ пѣтъ е видялъ свѣтътъ. На Климова страстно се прицѣ движение, хора, разговоръ. Тѣлото му лѣжеше като неподвиженъ пластъ, единтъ му ржцѣ само шаваша, но той едвамъ забѣлѣжваше това и всичкото си внимание вдаде въ дреболии. Той се радваше на своето диханне, на смѣхътъ си, радваше се че съществува гарафа, таванъ, лучъ и пвица по завѣсата. Божий свѣтъ, даже въ такъвъ тѣсенъ кѣтъ, каквато бѣше стаята, му се виждаше прѣкрасенъ, разнообразенъ и великъ. Когато докторътъ се яви, поручика мислеше, какво прѣвъсходно нѣщо е медицината, какъ е милъ и симпатиченъ докторътъ, какъ въобще сж добри и симпатични хората.

— Де, де, де. . . сипе доктора. — Оглично, отлично. . . Сега сме вече здрави. . . Тей, тей. . .

Поручика слушаше и весело се усмихваше. Той си припомни дамата съ блѣнитѣ зъби, чухонецътъ и нему се дощѣ да пуши, да ѣде.

— Докторе, каза той: — кажете да ми дадатъ една коричка, рѣженъ хлѣбъ съ солъ и . . . и сардели.

Докторътъ отказа, Павелъ не изпълни приказанието и не отидѣ за хлѣбъ. Поручика не прѣтърпѣ това и заплака, като капризно дѣте.

— Дѣтенце! изсмѣ се докторътъ: — бай, мамѣ, а—а! Климовъ сѣщо се засмѣ и слѣдъ отиванието на докторътъ, дълбоко заспа. Събуди се той пакъ съ тази радостъ и чувство на щастие. При лѣглото стоеше лея му.

— А, лея! се зарадва той. — Какво имахъ азъ?

— Сипаничевъ тифъ.

Така. а! Сега ми е добрѣ, твърдѣ добрѣ! Гдѣ е Катя?

— Нѣма я дома. Навѣрно, отбѣла се е нѣкъдѣ слѣдъ испитъ.

Старата каза това и се наведе надъ чорапътъ си; устнитѣ ѝ затрепераха, тя се отвърна и веднага заплака. Въ отчаяние, забравила за прѣщението на доктора, тя продума:

— Ахъ, Катя, Катя! Нѣма го нашия ангелъ! Нѣма!

Тя изтърва чорапътъ, наведе се да го вземе, и въ това врѣме падна отъ главата ѝ бонетътъ. Като погледна на побѣлялата ѝ глава, и нищо безъ да разбере, Климовъ се уплаши за Катя и попита:

— Гдѣ е тя? Лея!

Старата, забравила вече за Климова и впадена само въ тжгата си, каза:

— Зарази се отъ тебе съ тифъ и . . . и умрѣ. Три дни отъ какъ я погребохме.

Тази страшна, неочаквана вѣсть цѣла-цѣлненичка влѣзе въ съзнанието на Климова, но колкото тя и да бѣ страшна и силна, тя неможи да наддѣлѣе на животната радостъ, която пълнеше оздравявающия поручикъ. Той плака, смѣ се и скоро почна да се кара за това, че не му даватъ да ѣде.

Само слѣдъ една недѣля, когато той по халатъ, поддържанъ отъ Павла, се доближи до прозорецътъ, погледна на намръщеното пролѣтно небо и се вслуша въ неприятното дрънкане на старитѣ релси, които прѣвозваха на близу, сърдцето му се сви отъ болестъ, той заплака и обори чело о прозоречната рама.

— Колко съмъ нещастенъ азъ! забѣра той. — Боже колко съмъ азъ нещастенъ!

И радостта отстъпи своето мѣсто на обикновенната скука и чувство на невъзвратна загуба.

ЕЛЕКСИРЪТЪ

на негово прѣподобие отецъ Гоше.

отъ

Алфонсъ Дсдѣ.

(Прѣводъ отъ французски).

— Пийнете си отъ това, драгий съсѣде; видящете какво е нѣщо.

И, капка по капка, съ извънредна грижливостъ на единъ златарь, който брой маргаритъ, патерть на Граверсонъ ми наля два прѣста нѣкаква си зелено-златникава, топла, лучезарна, прѣвѣсходна жидкостъ. . . Като че ли слънце изгря въ стомахть ми.

— Това е елексирътъ на отецъ Гоше, радостта и благоденствието на нашия Провансъ, ми каза добриятъ чловѣкъ съ тържествующъ изгледъ; править го въ монастирътъ на Премонстрийтѣ, двѣ мили далечъ отъ вашата воденица. . . Нели той струва всички Шартрѣози на свѣтътъ. . . И да знаехте пакъ, колко е занимателна историята на тоя елексиръ! Слушайте по-добръ. . .

Тогавъ, съвършено простодушнo, безъ да жае ни най-малко да се подиграе, въ тая трапезария на свещеническиятъ домъ, тъй чиста и тиха съ свойтъ редъ малки картини, изображаващи Шествието съ кръстътъ, и своитѣ хубави, свѣтли завѣси, корави отъ кола, като стихари, аббатътъ почна единъ разказъ малко нѣщо скептически и непочтителенъ, като нѣкоя приказка отъ Еразма или отъ д' Ассури :

*
**

— Прѣди двадесетъ години, Премонстрийтѣ или по-добръ Бѣлитѣ Отци, както ги наричатъ нашитѣ Провансалци, бѣха западнали въ страшна нищета. Да бѣхте видѣли по онова врѣме тѣхната обителъ, срдцето ви щеше отъ мъка да се свие.

Голѣмата стѣна, кулата Пакомъ се рутеха на парчета. Коложитѣ около монастирътъ, обраснали съ трѣви, се испочупиха, каменнитѣ статуи на светцитѣ испопадаха отъ мѣстата си. Не остана нито едно читаво стѣкло, ни една здрава врата. Изъ двороветѣ, изъ параклиситѣ вѣтъртъ на Рона духаше като въ Камарга, гасеше свѣщитѣ, трошеше желѣзнитѣ рѣшетки на прозорцитѣ, исплискваше водата изъ кропилицитѣ. Но най тѣжно изгледваше монастирската

камбанаря, празни, като изоставена гълъбарница; и отциѣ, по-вѣманне на нари да си купятъ камбана, бѣха принудени да свикватъ къмъ утрения съ вѣманне на бадемови влѣназа! . . .

Блѣтитѣ Бѣли Отци! Като че ли и сега гледамъ тѣхната процесия прѣзъ празникѣтъ Тѣла Господня, какъ печално изстѣпватъ подѣ своитѣ закрѣпени капи, блѣди, изнемощѣли отѣ хранение съ крушевница и лубеници, какъ отѣ-подирѣ имѣ върви отець-игумень съ наведена глава, потѣналъ въ срамъ, че показва на сѣнце своята съ истѣркана позлата патерница, непоѣдената си отѣ молци, бѣла вълнена митра. Дамитѣ на братството плачеха отѣ скръбъ въ редоветѣ, а огонитѣ хоругвеносци полегичка се подсмиваха помежу си, като сочеха бѣднитѣ калугери: «Скворцитѣ остаятъ гладни, кога сж накупъ.»

Истината е тая, че злополучнитѣ Бѣли Отци сами бѣха стигнали да се питатъ, да ли не ще е по-добрѣ да се уиждатъ другадѣ и всѣкий самъ да дпри цѣръ за главата си.

Обаче, единъ день, когато тойзи важентъ въпросъ се разгледвалъ въ свѣтъ, дождатъ и извѣствяватъ игуменьтъ, че братъ Гоше иска да го изслушатъ въ свѣтътъ. . . За по-ясно трѣба да знаете, че тойзи братъ Гоше бѣше монастирскиятъ говедаръ; сирѣчь, той прѣминуваше днитѣ си въ митканне отѣ сводъ подѣ сводъ, като караше отпрѣдѣ си двѣ постали крави, които търсеха трѣва изъ межднитѣ на калдарѣмѣтъ. Отгледанъ до дванадесетгодишната си възраст отѣ една луда бабичка въ мѣстото Бо, която зовеа баба Бегона, отпослѣ избранъ отѣ калугеритѣ, нещастниятъ говедаръ никога не можа нищо да научи, освѣнъ да пасе своитѣ добичета и да чете Отче-Нашъ, и то пакъ го изговаряше по провансалски, защото главата му бѣ ягка, а умѣтъ дървенъ. При всичко, набоженъ християнинъ, макаръ и малко мечтателецъ, задоволенъ отѣ своята власница и прѣдаденъ на дисциплината съ сурово убѣждение; а пакъ рѣцѣ! . . .

Когато го видѣли, че влиза въ залата на свѣтътъ, простѣ-глупецъ, съ оставенъ за привѣтствие назадъ кракъ, игумень, каноници, ковчезникъ, всячки високо се изсѣвли. Таково дѣйствие внимаги произвождаше, кждѣто и да би се появилъ, тоя простодушенъ образъ съ своята козья прошарена брада и съ своитѣ малко нѣщо бсзумни очи; за това братъ Гоше никакъ не се билъ смутилъ.

— Прѣподобни отци, почналъ той съ благодушенъ гласъ, като прѣмѣталъ въ рѣцѣ своитѣ брoеници отѣ маслинини костилки, право-казватъ хората, че праздни бѣчви най-добрѣ кѣтятъ. Прѣдставете си, че азъ толкова дълбахъ моята и безъ това кѣфа глава, щото

мисля, че съм намѣрилъ срѣдство, какъ всички да се избавимъ отъ сиромашия.

Его какъ. Вие добръ познавате баба Бегона, добрата жена, която ме гледà, когато бѣхъ малъкъ. (Богъ да я прости, старата вѣщица! Тя пѣше много лоши пѣсни, кога се напише.) Трѣбва да ви кажа, прѣподобни отци, че баба Бегона при живѣе проумѣваше отъ горското билъе толкова, а може и по-добръ, нежели кой и да е старъ корсиканскій дроздъ. И по тоя начинъ, къмъ края на днитѣ си ти състави единъ чуденъ елексиръ, като смѣша петъ-шестъ билки, които ние наедно ходехме да беремъ по Алпийтѣ. Отъ тогава се сж изминали доста години, но вѣрвамъ, че съ помощта на св. Августинъ и благословията на нашия отецъ игуменъ, азъ ще мога, като се потрудя добръ, отново да намѣра съставтъ на тоя таинственъ елексиръ. Тогава не ще остане освѣтъ да го синемъ въ шишета и да го продаваме малко скъпичко, което и ще обогати братството по-легичка, както направиха нашиѣ братья отъ Траппъ и Грандъ. . .

Той нѣмà врѣме да довърши. Игументъ скокна да го прѣгърне. Каноникитѣ му ловеха ржцѣтъ. Ковчезникътъ, още по-развънуванъ отъ всички останали, почитателно цѣлуваше опърпаната пола на неговата ряса. . . Послѣ, всѣкий сѣдна на мѣстото си за да обсъжда; и още въ това засѣданне, съвѣтътъ рѣши, кравитѣ да се повѣратъ на братъ Тразибулъ, така щото братъ Гоше да може всецѣло да се прѣдаде на приготвление на елексирътъ.

* * *

Какъ братъ Гоше бѣ сполучилъ да изнамѣри рецептата на баба Бегона? Съ цѣна на какви усилия? Съ цѣна на колко бдѣния? Историята не казва нищо. Единственното истинно е че слѣдъ шесть мѣсеци елексирътъ на Бѣлитѣ Отци бѣше вече ягко популяренъ. Въ цѣлийтъ Конта, въ цѣлата мѣстность Арль, нѣмаше ни една хижа, ни една колиба, въ чиито расходи, наредъ съ шишета прѣварено вино и кюпове маслини да не влиза и едно калено малко кафяво шише запечатано съ Провенсалскій гербъ, и съ единъ калугеръ въ изстѣпление връхъ сръбърнийтъ егикегъ. Благодарение на распространението на свойтъ елексиръ, обителта на Премонстрийцитѣ въ скоро врѣме разбогата. Исправиха кулата Пакомъ, игументъ доби нова митра, черковата хубави изработени стъкла; а връхъ изящно изрѣзаната камбанария, едно прѣкрасно Великенско утро цѣла дружина камбани и камбанки се залюлѣха и понесоха радостенъ звонъ.

Що се относи до братъ Гоше, тойзи нещастенъ братъ послушникъ, чиято неодѣланостъ толкова веселеше съвѣтъ, за него въ монастырътъ и дума нѣмаше. Огъ тогава незнаеха освѣнъ прѣподобный отецъ Гоше, человекъ съ глава и обширни познания, който живѣе съвършено вѣнъ отъ всички дребни и сложни монашески занятия, по цѣль денъ затворенъ въ своята дистиллерия, прѣзъ което врѣме тридесетъ калугери се лутатъ изъ планината да му търсатъ благовонни трѣви . . . Тая дистиллерия, гдѣто никой, дори и самийтъ игуменъ, нѣмаша право да надикне, бѣше у края на градината на каноникитѣ. Простотата на дѣбригѣ отца бѣ направила отъ нея нѣщо таинствено и страшно; и ако, огъ любовъ къмъ приключения, нѣкое смѣло любопитно калугерче, при помощта на асмата, достигаше до украшенията на входтъ, то бързо се спускаше долу, уплашено отъ изгледтъ на отецъ Гоше, съ неговата брада на некромантъ, наведена надъ нещитѣ съ спиртотѣръ въ ржка; послѣ, на около реторти отъ червена прѣстъ, исполински казани, извити тръби, цѣла чудна грамада, която като магнос на пламтеше въ червеното сияние на стѣклата . . .

Привечерь, кога звонеше послѣдний *Angelus*, вратата на това таинствено мѣсто тихо се отваряше и негово прѣподобие отиваше въ черкова за вечерня служба. Трѣбваше да видите какъвъ приемъ му правеха, когато той минаваше прѣзъ монастырътъ! Братъята образуваха стоборъ при неговото минаване, отъ вредъ говореха:

— Млъкъ . . . Той обладава тайната . . .

Ковчежникътъ трѣгваше подиръ му и му приказваше съ наклонена глава . . . Врѣдъ такива излияния негово прѣподобие шествува, като си отрива потъ отъ челото, тригълната му шапка съ широки краища, накривена назадъ като сияние, обгръща съ благосклоненъ погледъ наоколо обширнитѣ дворове, обсадени съ портокалови дървета, синитѣ покриви, гдѣто се въртатъ нови *блогери*, и въ ослѣпително бѣлийтъ монастыръ, между изящнитѣ обвити съ цвѣтя колони, каноникитѣ въ нови одѣвания изстъпятъ двама по двама съ успокоени лица.

— Това всичко тѣ дължатъ на мене! си казва негово прѣподобие; и всѣкий пѣтъ отъ тая мисль той усѣщаше избликъ на гордость.

Клѣтийтъ человекъ биде за това много наказанъ. Ето видящите.

* * *

Прѣдставете си една вечеръ, прѣзъ служба, той влиза въ чер-

кова необикновенно възбуденъ: червенъ, запхтѣлъ, съ раскривенъ капшонъ, и тѣй смутенъ, щото като земалъ света вода, той натолилъ въ нея ржавитѣ си до лакътъ. Най-наурѣд помислили, че той се вълнува, защото е закѣснѣлъ; но като видѣли, че откършва дълбоки поклони прѣдъ оргѣнтъ и лавицитѣ намѣсто прѣдъ олтарьтъ, че прѣминува изъ черквата като вѣтръ, че се лута изъ хорьтъ петъ минути, до гдѣ си намѣри мѣстото, и че послѣ, щомъ сѣдналъ тамъ, той поченалъ на дѣсно и на лѣво да се усмихва съ единъ неизразимъ изгледъ, — ропотъ на очудване се пронесълъ и въ тритѣ придѣли. Огъ трѣбникъ на трѣбникъ си шешатъ:

— Та що става съ нашия отецъ Гоше? Та що е съ нашия отецъ Гоше?

На два пѣти игуменьтъ, въ нетърпѣние, удря съ патерица яю плочитѣ за да накара да мълкнатъ . . . Тамъ въ дълбочината на хорьтъ псалмитѣ слѣдватъ; но на отговоритѣ липсва живость. . .

Веднага тъкмо всрѣдъ Ave verum, его отецъ Гоше че се отмѣта на мѣстото си и грѣмогласно запѣва:

Въ Парижъ живѣй бѣлъ калугеръ,

Трамъ, трамъ, трамъ, тарарамъ. . . .

Общо смущение. Всички наставатъ и викатъ:

— Изведете го . . . Демонъ го е обладалъ!

Каноници се кръстатъ. Патерицата на негово високопрѣподобие не спира да удря по плочитѣ . . . Но отецъ Гоше нищо не вижда, нищо не слуша; и двама снажни калугери били накарани да го изгѣратъ изъ малкитѣ вратица на хорьтъ, въспрѣки че той се билъ въ рѣцѣтъ имъ като одържимий бѣсомъ и като продължавалъ още по на високо своитѣ: трамъ, трамъ и тарарамъ.

* * *

На другий день, при-зорѣ, намираме злополучнийгъ на колѣнѣ въ молелнята на игуменьтъ, че се кае и рони порой сълзи:

— Това е елексирътъ, ваше високопрѣподобие, елексирътъ, който ме изневѣри, говори той и се удря по гърди. И добрийтъ игумень, като го гледа тѣй отчаянъ, тѣй раскаянъ, самъ дълбоко се вълнува.

— Стига, стига, отче Гоше, утоложете се, всичко това ще изсъхне като роса на слънце . . . Та и най-подиръ, срамътъ не бѣ тѣй голѣмъ, както вие мислите. Истина пѣсенъта бѣше малко нѣщо . . . таково! таково! . . . Но трѣбва да се надѣваме, че послушницитѣ не сж я чули . . . Сега, я ми прикажете, какъ стана тая

работа? Нели отъ опитване на елексирътъ? Трѣбва ржката ви да е била тежичка . . . Да, да азъ разбирамъ . . . Това е като съ братъ Шварцъ, изнамѣрвателятъ на барутътъ: вие станяхте жертва на вашето откритие . . . И кажете ми, мой добрий друже, необходимо ли е, щото вие сами на себе си да го опитвате, тойзи ужасенъ елексиръ?

— За злощастие, да, ваше високопрѣподобие . . . спиртомѣрътъ ми обажда силата и степенята на спиртътъ; но да ли е той вече готовъ, кадифяно-мекъ, това азъ мога да повѣра само на язика си...

— Добръ . . . Но я слушайте още, какво имамъ да ви кажа . . . Когато вие тѣй по нужда опитвате елексирътъ, показва ли ви се той добръ? Прави ли ви то удоволствие?

— Уви! да, ваше високопрѣподобие, отговаря нещастнийтъ отецъ, като се цѣлъ исчервява . . . Отъ двѣ вечери насамъ, азъ намирамъ въ него такъвъ букетъ, такъвъ ароматъ! . . . О, навѣрно демонътъ ми играе тая пагубна игра . . . И за това азъ рѣшихъ за напредъ да си не служа освѣиъ съ спиртомѣрътъ. Толкова позлѣ ако либьорътъ не бжде тѣй улученъ, добръ.

— Само това да не сте направили! съ живость го прѣкъсва игуменътъ. Не трѣбва да се излагаме да разсърдимъ кушувачитѣ . . . Всичко, що ви остава сега да правите, отъ какъ сте прѣдупрѣдени, то е винаги да бждете на шрекъ . . . Я да видимъ колко се изисква за да си дадете отчетъ? . . . 15 или 20 капки, нели? да речемъ 20 капки . . . Дьяволътъ ще бжде много хитъръ, ако ви хване съ 20 капки . . . При това, за да отбѣгнемъ всѣкаква случайность, азъ ви разрешавамъ за напредъ да не дохождате въ черкова. Вие ще правите вечернята си молитва въ дистиллерията... А сега, идете съ миромъ, ваше прѣподобие, и най-паче . . . бройте добръ капкитѣ.

Уви! Колкото горкийтъ отецъ и да броеше своитѣ капки . . . бѣсътъ го държеше, и не рачи никакъ вече да го остави.

На дистиллерията се надна да слуша чудни молитви.

* * *

Денемъ още всичко отиваше добръ. Прѣподобнийтъ отецъ биваше доста покоенъ: пригответе си реторти, казани, грижливо пробираше своитѣ трѣви, все билки провансалскіи, тънки, сивни, изрѣзани, изгорени отъ благоухания и слънце . . . Но вечеръ отъ какъ трѣвитѣ вече се бѣха накиснали и елексирътъ станеше въ голѣми мѣдини сѣждове, мъченичеството на клѣтникътъ почеваше.

— . . . 17 . . . 18 . . . 19 . . . 20! . . .

Капкитѣ падаха отъ тръбичка въ алена чаша. Тѣзи двадесетъ, отецътъ ги глътваше съ единъ махъ, почти безъ удоволствие. Само двадесетъ и първата горѣщо възбуждаше неговото желание. О, тая двадесетъ и първа капка! . . . Тогава, за да се избави отъ искушение, той отива и става на колѣни съвършено на дъното на лабораторията и се задълбочава къ своитѣ молитви. Но отъ топлийтѣ още ликьоръ се дига легка пара, прѣпльнена съ благоухания, които дохожда да рѣе наоколо му и, ще-не-ще, го тласка да се повърне къмъ седжоветѣ. Ликьорътъ прѣкрасенъ златно-зеленъ. Паведенъ надъ него съ расперени ноздри, негово прѣподобие полегичка го мѣша съ своята тръбичка, и въ малкитѣ свѣйни лъстунки, които прѣлива изумрудниятъ токъ, струва му се да вижда очитѣ на баба Бегона, които се смѣятъ и свѣтятъ, като гледатъ на него.

— Хайде! още една капчица де!

И отъ капка на капка, нещастниятъ свършва съ това, че напъхва до край чашата си. И тогава, обезсиленъ, се струполява на единъ голѣмъ столъ, и съ тѣло отпунгнато, полузатворени очи, той вкушава свойтъ грѣхъ съ малки глътки, като си повтаря едвамъ-чудо, съ едно въсхитително угризение на съвѣстѣта.

— О! азъ съмъ загубенъ . . . азъ съмъ загубенъ . . .

Най ужасното бѣ онова, че на дъното на тоя дяволскій елексиръ, той откриваше, кой знае чрѣзъ каква магия, всичкитѣ безобразни пѣсни на баба Бегона: «Тритѣ млади влюкарки тъкматъ гоцавка да даватъ» . . . или: Овчарката на бай Андрея отива въ гората саминка» . . . и всѣгога прочутата за Бѣлитѣ Огци: трамъ, тарарамъ.

Мислете си какво смущение, кога заранята неговитѣ съсѣди по велня му подмѣтаха съ лукаво подмигание:

— Е, е! отче Гоше, като че ли бръмбари бръмчеха въ главата ви снощи, кога си лѣгахте.

Отъ послѣ настѣпваха съззи, отчаяние, постъ, и власиница, и дисциплина. Но всичко бѣ щетно срѣщу демонътъ на елексирътъ; всѣка вечеръ, въ сѣщій часъ, бѣснованието се възобновяваше.

* * *

Прѣзъ това врѣме поржчки валѣха връхъ аббатството като дъждъ, сѣкашъ по благодать. Такива идѣха отъ Нимъ, Ексъ, Авињонъ, Марселль. . . Отъ день на день монастырътъ малко приемаше.

изгледъ на фабрика. Въ него имаше братя естикори, други берачи, едни за да надписватъ, други да прѣкарватъ; истина сегизь-тогизь служението на Бога губеше по нѣкой другъ ударъ на камбани; но сиромаситѣ отъ околността нищо отъ това не губѣха, увѣрвамъ ви. . .

И ето, че една хубава недѣлна утрень, когато ковчезникътъ четялъ въ пълно събрание свойгъ тевтеръ къмъ края на годината и добритѣ каноници го слушали съ сляюща очи и усмивка на уста, отецъ Гоше влита всрѣдъ свѣтътъ съ викове:

— Свършено . . азъ не мога вече. . . повърнете ми нравитѣ.

— Що има, отче Гоше? понитва игуменътъ, който малко подстъпилъ на къдѣ отива работата.

— Що ли има, ваше високопрѣподобие? . . Его що, азъ съмь се пустналъ по пѣтъ, който ми прѣдготовлява добра вѣчностъ отъ огньове и муштри съ вили. . . Его що, азъ ния, ния като послѣденъ окаяникъ. . .

— Но нели ви казахъ да броте капкитѣ. . .

— Да, да, да броя капкитѣ! та сега трѣбва да броя чашки. . . . Да прѣподобни отци ето до къдѣ съмь я докаралъ. Три шишета на вечеръ. . . Не разбирате ли, че така не може да се продължава. . . И за това, заповѣдайте кому щете да прави елексиръ. . . . Господь да ме гръмне, ако още веднаждъ азъ го бутна!

Въ тоя мигъ свѣтътъ вече прѣстава да се смѣе.

— Но, окаяниче, вие ни губите! вѣщи ковчезникътъ като потърсва своята голѣма книга.

— Прѣдпочитате ли, щото азъ да загина?

Дойде редъ игуменътъ да се исправи.

— Прѣподобни отци, почва той и протегва прѣкрасната си бѣла ржка, на която блѣсти игуменскиятъ пръстенъ, има срѣдство всичко да се нареди. . . Нели вечеръ, мой драгий синѣ, дохожда демонътъ да ви искушава?

— Да, отче игумене, редовно всѣка вечеръ. . . За това, кога виждамъ, че настѣля нощъ, съ ваше позволение, облива ме потъ, като магаре, кога вижда, че доближаватъ при него съ самаръ.

— Добрѣ, добрѣ, успокоете се! . . . За напрѣдъ, всѣка вечеръ, на служба, ипе за васъ ще чегемъ молитвитѣ на св. Авгу-стинъ, които даватъ всепрощение. . . Подиръ това, каквото и да става, вие сте вѣнъ отъ всѣкаква опасностъ. . . Тие молитви разрѣшаватъ отъ грѣховетѣ.

— О, въ такъвъ случай, благодаря, благодаря, ваше високо-прѣподобие.

И безъ да се простира по-надалечъ, отецъ Гоше се завърна къмъ своитѣ казани, легкъ като ластовица.

И наистина, отъ онова врѣме, всѣка вечеръ, въ края на вечернята, веромонахътъ никога не пропуцаше да изрече:

— Да се помолимъ за раба Божия отца Гоше, който жертвува душата си за благо на братството. . . Oremus, Domine . . .

И въ сѣщо онова врѣме, когато надъ всички тие бѣли капишони, прострени ницъ въ сѣнката на придѣлитѣ, съ трепетъ се възнасяха молитви, като легка снѣжна виелица, тамъ въ дѣното на монастирътъ, задъ озаренитѣ прозорци на дистиллерията, чуенѣ се, какъ отецъ Гоше изъ едно гърло два гласа кара:

В' Парижъ живѣй бѣлъ калугеръ,

Трамъ, трамъ, трамъ, тарарамъ.

В' градина му хоро игратъ

Бѣли, млади калугерки,

Трамъ, трамъ, трамъ, тарарамъ. . .

* * *

Тука добрийтъ аббатъ се сиря пѣленъ съ ужасъ:

— Боже милосердний! да ме чуеше моята паства!

СТИХОТВОРЕНИЯ ВЪ ПРОЗѢ.

ОТЪ

И. С. Тургеневъ.

(Прѣводъ отъ русски)

ГЪЛУБИ.

Азъ стоехъ на върхътъ на единъ полѣгатъ хълмъ; отпрѣдѣ ми — то като златно или сребърно море се распростираше и пѣстрѣеше узрѣла рѣжъ.

Но по това море не се забѣлѣзваха ни най-малки вълни; ни най-легки струи не се чувствуваха въ омарнийтъ въздухъ: сбираше се буря голѣма.

На около ми слънцето още свѣтеше горѣщо и мъжделиво; но тамъ, не твърдѣ надалечъ, задъ рѣжъта, единъ тъмно синъ облакъ-

бѣ обложила съ своята тежковѣсна грамада цѣлата половина на небосклонѣтъ.

Всичко бѣ се потангло . . . всичко се задушаше подѣ зловѣщійтъ блѣсъкъ на послѣднитѣ слънчеви лъчи. Ни една птица нито се чува, ни вижда; дори врабцитѣ се бѣха износкрили. Само нейдѣ наблизу упорито шушне и хлопна осамотенъ, едѣръ листъ лопушѣ.

Колко силно мервине пелнитѣ по междитѣ! Азѣ гледахѣ на синята грамада . . . и тежко ми стана на душата. Е, хайде де, хайде! си мислѣхѣ, лъсени по-скоро, златна змио, трешни, гърме! мрдни, понесе се, възлѣи се, злив облаче, прѣкъсни тѣжовното томление.

По облакѣтъ не шава. Той като напрѣдѣ притиска замлѣкналата земя . . . и само като че ли се подува и тъмнѣе.

И ето, че по неговата едноцвѣтна синина се замѣрка нѣщо равно и плавно, сѣкашѣ бѣла кърпичка или снѣжна топка. То бѣлъ глѣбѣ хвърчи отъ кждѣ селото.

Той хвърчѣ, хвърчѣ все направо, направо . . . и потѣгна задѣ гората.

Изминаха се нѣколко мига — стоеше сѣща жестока тишина. . . . Но ето, че вече се мѣркатѣ *двѣ* кърпички, *двѣ* топки идатѣ назадѣ: то *два* бѣли глѣба съ равенъ лѣтъ се заврачатѣ дома.

И най-сѣтнѣ бурята се разрази — и пойдѣ чудо!

Азѣ на сила допърчахѣ до въ къщи. Вѣтърѣтъ бучи, като бѣсенъ се мѣта, низки, рижди, като на парцали распокъсани облаци се надпѣрварятѣ, всичко се завъртя, сбѣрка, заечя, залюля се въ прави стълбове яростенъ дъждѣ, свѣткацитѣ заслѣняватѣ съ своята огневита зеленина, прѣкъснатий гръмъ стрѣля като изъ топѣ, за-мериса на сѣра. . .

Но подѣ стрѣхата, у самий край на малкото прозорче, двата бѣли глѣба сѣдатѣ наредѣ — и оня, който бѣ лѣтялъ за другарѣтъ си, и онзи, когѣто той доведе, а може би, и избави.

И двата сѣ настрѣхнали — и усѣщатѣ всѣкий съ крилото си крилото на сѣсѣдѣтъ. . .

Тѣмъ е добрѣ! И мене е добрѣ, кога ги гледамъ. . . Макаръ и да съмъ самъ . . . самъ като винаги.

Май, 1879.

НИМФИ.

Азѣ стоехѣ прѣдѣ верига прѣкрасни планини, расхвърлени въ полукръгѣ; млада, зелена гора ги покрива отъ горѣ до долу.

Надъ тѣхъ прозрачно снѣеше южното небо; отъ височина слънцето играеше съ своитѣ лучи; долу приказваха си бързи потоци, полузатулени отъ трѣва.

И на умъ ми дойде онова старо сказание, какъ, въ първото столѣтне слѣдъ Рождество Христово, единъ грѣцкый корабъ плуваль по Егейско море.

Било кждѣ пладие . . . Врѣмето било тихо. И ненадѣйно, въ височината, надъ главата на кормчийтъ, нѣкой ясно проговорилъ: «Когато ще минувашъ покрай островтъ, извикай съ високъ гласъ: — Великий Панъ умря!»

Кормчийтъ се зачудилъ . . . уплашилъ. Но кога корабтъ се понесълъ покрай островтъ, той се покорилъ и извикалъ: — Великий Панъ умря!

И на часътъ, като отговоръ на неговийтъ викъ, по цѣлата дължина на брѣгтъ (а островтъ билъ необитаемъ) се почувли високи плачове, стенания, проточени, жаловни гласове: — умря! умря великий Панъ.

Мина ми прѣзъ умъ това сказание . . . и чудна мисль ми текна — «Що ли ще стане, ако и азъ кликна кличъ?»

Но въ прѣдвидѣ на онова ликуване, което бѣ наоколо ми, азъ не можехъ да помисля за смъртъ — и, отъ вси сили искръщихъ: — «Вскръсна! вскрсна великий Панъ!»

И тутакси, о, чудо! — въ отговоръ на моето всклицание, по цѣлпйтѣ широко полукръгъ, отъ зеленитѣ планини се понесе задруженъ смѣхъ, дигна се радостенъ говоръ и плѣсъкъ. «Той вскрсна! Панъ вскрсна!» повтаряха млади гласове. — Всичко тамъ на прѣдъ веднага се разсея, по-свѣтло отъ слънцето въ височината, по-игриво отъ потоцитѣ, що си приказватъ подъ трѣвитѣ. Почу се бързъ тропотъ отъ легки стъпки, прѣзъ зеленитѣ гжсталаци се замѣрка мраморна бѣлизна на вълнообразни туици, жива аленина на обнаженни тѣла . . . Това бѣха нимфи, дриади, вакханки, които търчишкомъ се спущаха отъ височинитѣ въ равнината . . .

Тѣ изведнаждъ се появиа по всички краища на гората. По божественитѣ глави се виятъ кждри, гиздавитѣ ржцѣ издигатъ вѣнци и тимпани, — и смѣхъ, лучезаренъ, олимпийскый смѣхъ тича и се спуща заедно съ тѣхъ . . .

Най-напрѣдъ изстѣпя една богиня. Тя е по-висока и по-хубава отъ всички, — задъ рамото ѝ тулъ, въ ржцѣтъ ѝ лжкъ, връхъ подигнатитѣ кждри срѣбърний сърпъ на мѣсечината. . .

— Диано, ти ли си?

Но отведнаждъ богинята се спря . . . и начасътъ подиръ нея

се спряха и всички нимфи. Звънливият смѣхъ угасна. Азъ видѣхъ, какъ смъртна блѣдностъ прѣкри ликътъ на онѣмѣлата изненадана богиня: азъ видѣхъ, какъ се вдървиха нейнитѣ нозѣ, какъ незразимъ ужасъ раствори устата ѝ, расширочи очитѣ ѝ, второчени на напредъ . . . Що ли е тя зарнала? Пакждѣ ли гледа?

Азъ се обърнахъ къмъ оная страна, накждѣто тя гледаше . . .

У самия край на небото, задъ низката черта на полята, свѣтеше като огненна точка златниятъ кръсть връхъ бѣлата камбавария на една християнска черкога . . . Тойзи кръсть сѣгледала богинята.

Азъ чухъ подирѣ си една неравна, дълга въздишка, като трептение на нѣкоя скъсана струна, — и кога пакъ се обърнахъ, отъ нимфитѣ нѣмаше вече и дира . . . Широка гора се зеленѣеше както по-прѣди, тукъ-тамъ само чрѣзъ гѣстата мрѣжа на вѣйникитѣ се съзираха и разтопяваха нѣкакви бѣли кѣсове. Дали това бѣха туникитѣ на нимфитѣ или пара се дигаше отъ дълбочината на долинитѣ — азъ не зная.

Но колко ми се свидеше за изчезналитѣ богини!

Декемврий, 1878.

ДВАМА БОГАТАШИ.

Кога прѣдъ мене въздигатъ богаташтъ Ротшилдъ, който отъ своитѣ грамадни приходи отдѣля цѣли хиляди за въспитание на дѣца, за цѣрение на болни, за приглеждане на стари — азъ хваля и омеквамъ.

Но, и когато хвала и омеквамъ, не мога отъ да си не наумя за едно сиромашко селско семейство, което прие въ разсипаната си къщица своята останала сирота плѣмenniца.

— Ако приберемъ Ката, — казваше бабата, — последната ни пара ще иде подирѣ ѝ, — нѣма да ни останатъ пари и за соль, съ какво да си посолимъ чорбата. . .

— А пакъ ние можемъ да си я стърбаме и не солена, — отговори селянинътъ, мжжъ ѝ.

Колко надминува Ротшилда тойзи селянинъ!

Юлий, 1878.

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОТЪ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ КОНСТАНТИНЪ КОНСТАНТИНОВИЧЪ

ПРЪДСЪДАТЕЛЪ НА РУССКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЪ

ПОЕТУ

О, нека гордий умъ възглася
Мечтаемото че е блѣнъ,
Прѣдъ знанието нек' възнася
Молитвитѣ си възхитенъ.

Пѣвецъ! къмъ друга цѣль ти свята
Вдай благородни си мечти:
Въ омайний миръ на красотата,
Въ възвишеното вѣрвай ти.

Туй що е свято, безупречно,
Що съ чиста красота блѣсти,
Що само свѣти съ правда вѣчна —
Пѣвецъ! къмъ него ти ламти.

Любовь — да бжде твойто знанье:
На нея ти се посвяти —
И въ тъмното миросъзданье
Лучъ свѣтълъ ще да хвърлишь ти.

* * *

Прѣминаха мечтитѣ щастливи,
Прѣминаха безгрижнитѣ дни! —
Както есенъ дръвеснитѣ листи
Безвъзвратно минаха они.

А въ душа ми пакъ скрити оставать
Прѣживѣлитѣ горчевини, —
Тѣхъ на мигъ можахъ азъ да забравя
Срѣдъ онѣзи безоблачни дни!

Благодатното лѣто се мина,
Вечъ изчезна и сѣтний му знакъ,
И настжива зловѣщата зима
Съ своя грозенъ и ледененъ мракъ.

— Но отъ ново за трудъ заеми се,
Само той може тебъ поддържа,
Та бѣди ако нови те саѣтятъ
Да ги срѣщнешъ ти съ твърда душа!

Н Е Й

Загледанъ въ твойта дивна хубость
И погледъ мило-срамежливъ,
Петъ дни прѣминахъ ази съ тебе
Омаенъ и щастливъ.

Минаха тѣзи дни честити,
Тѣй както всичко въ тоя свѣтъ,
Но тѣхъ не ще забрави нивга
Любящия поетъ.

И въ паметьта ми твоя образъ
Тѣй силно е запечатленъ,
Че, вѣрвай, послѣ дни безчетни,
Отъ тебъ отдалеченъ —

Азъ ще го спомня! — Отъ далеко,
Като звѣзди срѣдъ нощний мракъ,
Тогазъ чаробнитѣ ти очи
Надъ менъ ще грѣйнатъ пакъ!

БЛАЖЕНІЙ

Блаженъ въ свѣтовната борба
Измъчений боець,
Що носи кръсть безропотно
Подъ търневий вѣнецъ,
И търпѣливъ въ неволитѣ,
Съсь радостно лице,
Съязитѣ си прѣдпазливо
Сподава у сърдце.
Блаженъ кой крий тѣжитѣ си,
И съ кроткъъ благословъ
Благодари сѣдбата си
И жребий си суровъ;
Кой срѣдъ тревоги и тѣги,
Убитъ отъ теглила,
На ближний не дотегнува
Съсь свойта участь зла;
Кой слѣдъ завѣтнага си цѣль
На жизньъ или смърть
И весело, и радостно
Върви изъ своятъ пѣть.
Блаженъ прѣдъ суетния сѣдъ
На хорската мълва
Кой не прѣкланя уморенъ,
Отчаяно глава;
Кой въвъ горчиви испитни
И въ скърби закаленъ,
Исполненъ съсь душевна мощъ
И смѣль, непобѣденъ
Прѣбжде гордо-мъжественъ
Въ свѣтовната борба, —
Катъ наковалня подъ чукътъ
На грозната сѣдба!

И. И. Славейковъ.

ВОЙНИКЪТЪ.

Споменъ.

Иштувахъ отъ Ломъ за София. Късно, вечерята, влѣзохъ умеренъ въ Берковица. Заранята, рано, азъ излизахъ отъ тамъ умисленъ, растъженъ, възмутенъ.

Имаше защо. Въ тоя спокоенъ градъ азъ бѣхъ чулъ едно много-обезпокоително извѣстие.

Каинъ бѣше се разсърдилъ, защо жертвоприношението на Авеля да бѣде по-угодно на Бога. Сърбский Краля бѣше обявилъ война на България.

Бѣше недѣля, 3 Ноемврия 1885.

Война на братъ срѣщо брата! О Боже! Защо си далъ войната, особно между братия? Защо не обявишъ война срѣщо войната? Непрѣмѣнно Ти си вдъхналъ на Жанъ Полъ Рихтеръ да напише своята *Kriegserklärung gegen den Krieg*, непрѣмѣнно Ти си му внушилъ да каже — „злощастieto на земята до сега бѣ, че двама рѣшавахъ войната, а милиони се биехъ и теглехъ, когато по-добрѣ би било, ако милиони я рѣшавахъ, а двама само се биехъ!“ Защо тогава търпишъ още войната?

Нъ Богъ е високо, а ние, хората, сме твърдѣ, твърдѣ ниско. И Той не ни слуша, когато ние, изъ нашата нисостъ, виками срѣщо нея.

Та и ние трѣбваше да се биемъ, да се биемъ срѣщо братъ, отъ когото съчувствие чакахми, когото обятия отваряхми, когато той пушка готвилъ и сабя точилъ срѣщо нашитѣ гърди!

Кой може да се запази отъ ударъ даванъ намѣсто цълувка?

Затова и тая безчинна и безпричинна война ме пълнеше съ грижа и горестъ, съ страхъ и негодование. Азъ се боехъ, да не би и тоя пътъ Каинъ да въстържествува надъ Авеля. Не бѣхъ ли нашитѣ войски на Юго-Истокъ, когато Сърбитѣ ни нападахъ отъ Сѣверо-западъ?

И никога не помнхъ Стара-планина, отъ Блисура на горѣ, дажъ се е видѣла тѣй противна, тѣй неприятна, като тоя пътъ. Тѣ

бѣ пуста. Хората като че се боехъ отъ тоя балканъ, който, чрѣзъ своитѣ тъмни гори, можеше да стане първий проводникъ на това тъмно нападение. И тѣ странехъ отъ единъ проходъ, който нѣколко километра само отстоеше отъ безоръжната граница, що ни дѣлѣше отъ вчерашнитѣ ни братия, отъ днешнитѣ ни врагове. И мойтъ кочиашинъ, който, отъ-вечеръ, въ Берковица, бѣше чулъ първий топовенъ ревъ на братоубийственната война, се озърташе сега, като че се боеше да не зърне, задъ нѣкой завой или надъ нѣкой рѣкъ, първитѣ караули на братонападателната войска.

Ние се спирахми и питахми рѣдкитѣ пѣтници, които срѣщахми. Какви новини? Гинци, отвѣдѣ, Петроханъ, горѣ, които падахъ тѣй близо до неприятеля, бѣхъ ли вече замети отъ него? Не, не! И Петроханъ и Гинци бѣхъ свободни. Сърбитѣ били минжли наистина вече границата, нъ отвѣдѣ, къдѣ Царибродъ, отъ дѣто сж слушали и топовнитѣ гърмежи.

И тѣй мрачното дѣло бѣше вече извършено, и тѣй братската земя бѣше вече осквернена.

Отъ тѣжки мисли види се и ние да бѣхми станжли тѣжки. Коннитѣ едва ни тѣтрехъ по стръмното панагорнище. Врѣмето бѣ облачно: втрѣшний и външнй свѣтъ бѣхъ въ пълна хармония. Небето, тъмнопепеливо, като че бѣше се снишило да се кара съ земята за нейната нечестивость. Безкрайний букакъ, прѣзъ който лѣкатуши Блисурското шоссе, бѣше се оголилъ отъ послѣдната си шума, и не бѣше се украсилъ още отъ първий си скрежь. Единъ непривѣтливъ вѣтръ виеше изъ него. Като въздишки на умирающи ми се струвахъ гласовегѣ, като рѣцѣ на скелети ми се мѣркахъ клоноветѣ на дърветата. Въздишки и рѣцѣ като да провлинахъ нѣкого. . .

— Напрѣдъ, кочиашино, напрѣдъ, бързай да изминемъ тия страхотий! Не стигатъ ли ни ужаситѣ, които ни чакатъ отъ сега нататкъ?

Слѣдъ часове, които ни се видѣхъ цѣли дни, ние стигнахми най послѣ крайтъ на гората, върхътъ на планината, стигнахми Петроханъ.

Услушахъ се за да чуй нѣкой топовенъ гърмежь. Нищо! За текохъ се въ телеграфната станция за да се научъ нѣщо ново. Нищо! Телеграфътъ бѣше тѣй нѣмъ, каквото и топътъ. Нъ самата тая негова нѣмота не бѣше ли по-краснорѣчива отъ най-сладкодумното говорение? Сърбский топъ не мълчѣше ли защото бѣ минжлъ вече Царибродъ и пѣтуваше сега за Драгоманъ? Тѣй потълкувахми,

тѣй побѣбрахми ние съ телеграфистътъ, и се раздѣлихми съ него безутѣшни, почти безнадежни.

Азъ трѣгнѣхъ за да гоня София. Изъ сухий пѣтъ, който сезвива въ безгорната и безводна стрѣмнина между Петроханъ и Гинци, ние се трѣкулихми бързо. Стигнахми Кумичина Дупка, минѣхми кривинитѣ надъ Гинци, безъ да чуемъ или видѣмъ нищо особно. Ижтницитѣ, които срѣцахми, бѣхж мрачни като насъ.

Ние слѣзохми на хантъ при Гинци. Кочишинътъ останж вѣнъ, азъ влѣзохъ въ кръчмата.

Тя бѣ широка и димна. Една желѣзна соба, турена въ срѣдата, и натѣкана съ дърва, силно бухѣше и димѣше. Около нея, кое прави и кое наклѣвали, се грѣехж нѣколко селяне. Задъ нея, въ дѣното на кръчмата, бѣхж насѣдали на лавицата нѣколко душъ, чѣртитѣ и облѣклото на които, по причина на димътъ, отведнажъ мѣчно се отличавахж.

Азъ пожелахъ добръ день, и прѣди още да сѣднѣ, нетърпѣливъ за новини, попитахъ, какво ново има.

— Нищо добро, ми отговори единъ селянинъ.

— А лопе? попитахъ азъ.

— Ще чуешъ лопето като прѣхвърлишь първита височинакъжъ Бучино, каза селянинътъ.

— Какво има тамъ? попитахъ пакъ азъ.

— Топове се чуватъ, глухо отговори селянинътъ, и погледнѣ на страна:

— Отъ кога?

— Отъ зарана още.

— Слушатъ ли се добръ?

— Майки! рече селянинътъ.

— Тогава нашитѣ трѣбва да се теглятъ надирѣ, за да се слушатъ топоветѣ тѣй добръ, рекохъ азъ, прѣсенъ още отъ разговорътъ, които имахъ съ Петроханскій телеграфистъ, и отъ който излизаше, че Сърбитѣ непрѣмѣнно бѣхж вече къдѣ Драгоманъ.

— Ние да се теглимъ надирѣ! отговори единъ гласъ изъ дѣното на кръчмата. Ние умирами, нѣ не отстѣпями.

Азъ се почудихъ. За първъ пѣтъ отъ Берковица насамъ чухъ една ободрителна дума. Обърнѣхъ се да видѣ, отъ дѣ идѣше тя, и въ дѣното на кръчмата тогава едва съзрѣхъ единъ войникъ, който се видѣше да дреми, нѣ който се окопоти при първото споменуване за оттегляване.

— Браво, бе юначе, му рекохъ азъ, и се приближихъ до него. Блѣдоликъ и черноокъ, той имаше нѣмаше двадесетъ години.

И шинелъ и шапка бѣхъ голѣми за него. Той бѣше се сгушилъ въ тѣхъ, и лице и рѣцѣ едва му се виждахъ. Поискахъ да го почерпъ, той отказа. Попитахъ го за дѣ отива, той една отговори. Неговата бодростъ бѣше изчезнула щомъ като се промѣни разговорътъ, и той съ мъжа смѣнхъ, че отивалъ за София, прѣзъ дѣто, на заранята, неговий полкъ, който ишълъ отъ Южна България, щѣлъ да замине за бойното поле. Споменъ ми и името на полкътъ, нъ азъ го не дочухъ.

Тръгнѣхми и отъ Гинци. До като се усѣтимъ, ние стигнѣхми върхътъ на височината, за която бѣше ми говорилъ селянинътъ въ връчмата. Прѣдъ насъ се растла една неголѣма и неравна долина, въ дѣното на която, край шосето, се бѣлѣхъ крѣпитѣ на множество селянки. Ние скоро дойдохми и до тѣхъ. Тѣ стоехъ прави, неподвижни, безгласни, като че се боехъ да размѣнятъ мисли или страхове въ тая долина, която имаше такива таинствени сношения съ бойното поле. Стари и млади, отъ близо и далечъ, тѣ бѣхъ се ползували отъ празничний день за да дойджтъ отъ тѣхнитѣ домове, дѣто нищо не се слушаше, въ тая котловина, дѣто се чуваше грозний ревъ на войната. И тѣ слушахъ внимателно, като да се мъчехъ да различатъ въ топовний гърмежъ охванията на чадата си и пжшканията на мъжетѣ си. Уви! Тамъ нѣйдѣ, задъ ония сини могили, войната рѣшаваше не само бждѣщето на Кралъ и Князь, нъ и сждбинитѣ на хиляди челяди!

Азъ се услушахъ. Гърмежътъ собственно се не чувеше, нъ отъ врѣме на врѣме, почти всяка минута, едно глухо, грозно кжнтение говорѣше за шумната трагедия, която се разиграваше на западъ, кждѣ Драгоманъ. Кжнтението бѣше подземно, като че и земята негодуваше за кръвта, която тжй безполезно се проливаше.

По мръкнѣло, азъ стигнѣхъ въ София.

А! Защо героитѣ да бжджтъ смъртни? Защо да не остоятъ въ тоя съѣтъ, за да го ободряватъ съ своето сърдце, за да го расхубавяватъ съ своята слава?

Петъ деня подиръ горнитѣ събития, въ петъкъ, на 8 Ноемврия, азъ обикаляхъ болницата, която Българското Дружество отъ Червений Кръсть бѣше створило въ тогавашнето помѣщение на Българската Народна Банка. Почти всичкитѣ стаи бѣхъ пълни съ раниени. Нея заранъ бѣхъ докарали нови жъртви отъ Сливница. Налѣгали на прости сламенници, безъ одъри, безъ удобства, нашитѣ млади герои се борехъ съ ранитѣ си както бѣхъ се борили и съ неприятелитѣ си, мѣлчишкомъ, безропотно, юнашки.

Една госпожа и двама прислужника бѣхъ се спрѣли около
едного отъ тия ранени и говорѣхъ ниско. Азъ се приближихъ до
тѣхъ. Войникътъ спѣше.

— Гледате ли го, осемъ рани има, ми каза единъ отъ при-
служниците.

— Отъ кой полкъ е? попитахъ азъ.

— Едва сега ги докарахъ, та не сми ги записали още, от-
говори той.

Азъ погледнахъ по-внимателно страдалецътъ. Той случайно си
отвори очитѣ, и по тѣхъ и по неговото блѣдо лице азъ познахъ
черноокий и блѣдоликъ юнакъ, когото бѣхъ срѣщналъ въ Гинци.

Той пакъ задрема.

— Това се казва герой, пошушихъ госпожата. Да го ранятъ
на толкозъ мѣста, и да не ще да отстѣпи.

Ранениятъ като че чу тия думи, отвори си повторомъ очитѣ
и слѣдъ като изгледа и четирма ни, кимнъ ми да се приближи.

Азъ се наведохъ надъ него. Една слаба усмивка зантра по
устнитѣ му. Той ме позна.

— Нали ти казахъ, рече съ гласъ, който едва се чуеше, че
ние нѣма да отстѣпимъ?

— Да живѣйте, му казахъ азъ и му стиснахъ ржката. И
очитѣ ми се напълнихъ съ сълзи. И прѣзъ сълзитѣ, азъ зехъ да
го утѣшавамъ, като че той имаше нужда отъ моитѣ утѣхи.

— Спечели златний кръстъ, му шепнехъ азъ.

— Азъ се бихъ за дървений, едва ми продума той.

Тая му бѣше послѣдната дума.

Подиръ нѣколко часа, той издѣхна.

И дървенъ кръстъ днесъ украсява гробътъ на геройтъ, надиклъ
за правдата, починлъ за честта и цѣлостта на отечеството.



ПРЪВЪЗЕМАНИЕТО НА РЕДУТЪТЪ.

отъ

Просперъ Мериме.

(Пръводъ отъ французски).

Прѣди нѣколко години, единъ войникъ, мой приятель, умрѣлъ послѣ отъ трѣска въ Гърция, ми разказа веднаждъ първото сражение въ което той участвувалъ. Неговиятъ разказъ толкова ме порази, че азъ си го записахъ по наметь тутакси щомъ улучихъ свободно врѣме.

«Азъ влѣзохъ въ полкътъ на 4-й Септемврий вечерята. Намѣрихъ полковника на бивакътъ. Той ме прие отъ най напрѣдъ доста грубо; но слѣдъ като прочете рекомендателното писмо отъ генералъ Б., промѣни обноската си и ми проговори нѣколко учтиви думи.

Азъ бидохъ прѣдставенъ отъ него на свойтъ капитанъ, който тъкмо що бѣ се върналъ отъ една рекогносцировка. Тойзи капитанъ, когото азъ нѣмахъ врѣме да упозная отъ близо, бѣше едъръ мургавъ човѣкъ съ груба и противна физиономия. Билъ е простъ войникъ, и спечелилъ свойтъ еполети и своя кръсть на бойно поле. Гласътъ му, сивкавъ и слабъ, особенно противорѣчеше съ почти гигантската му снага. Казвахъ ми, че той е добилъ тоя страненъ гласъ отъ единъ куршумъ, що го пронизалъ на кръзь въ битвата при Йена.

Като се научи че азъ съмъ излѣзалъ изъ училището въ Фонтебле, той се нацупи и продума: «Моя поручикъ умрѣ вчера». Азъ разбрахъ че той искаше да каже: «Това сте вие който трѣбва да го замѣстите, а вие едва ли сте способни.» Една остра дума трепна на устата ми, но азъ се сдържахъ.

Мѣсецътъ се вѣзе задъ редута Шeverино, лѣжащъ на два топовни гърмежа далечъ отъ нашия бивакъ. Той бѣше пълень и червень, както обикновенно всѣкога при изгрѣване. Но тази вечеръ той ми се показа извънредно голѣмъ. За минута редутътъ се очерта черъ върху освѣтлений кръгъ на мѣсецътъ. Той приличаше на конусъ отъ нѣкой вулканъ въ минута на извержение.

Единъ старъ войникъ, до когото азъ се намѣрахъ, заблѣжи цвѣтътъ на мѣсеца. «Твърдѣ е червень, продума той: — това по-

казува, че скъпо ще ни струва прѣвземанието на тойзи знаменитѣ редути.» Азъ всѣкога съмъ билъ суевѣренъ и това прокобяване, особено въ тази минута, ме жегна. Азъ си лѣгнахъ но неможахъ да заспя. Станахъ пакъ и нѣколко врѣме ходихъ, гледаше на неизмѣримата огнена тъсма която пристигаше височинитѣ отвѣдъ селото Шeverино.

Като мислехъ че свѣжия остъръ въздухъ е вече доста ободрилъ кръвта ми, азъ се върнахъ при огньтъ, обвихъ се грижовно въ шинелтъ си, затворихъ очи, надѣяше се че ще ги открия не по рано отъ зори.

Но сънятъ съвършено ме отбѣгваше. Не усѣтно мойтъ мисли взѣмаха единъ тѣженъ колоритъ. Мислехъ си, че азъ нѣмамъ ни единъ приятелъ между стотинитѣ хиляди хора, които покриватъ равнината. Ако бѣда раненъ, ще ме захвърлятъ въ нѣкоя болница, оставенъ безъ внимание отъ невѣжитѣ хирурзи. Мина ми прѣзъ умъ всичко що бѣхъ чувалъ за хирургическитѣ операции. Сърдцето ми буйно тупаше и азъ машинално размѣстяхъ, като единъ видъ броня, кърпата и портфейлтъ, които носѣхъ на гърдитѣ си. Давяше ме умора, азъ въздишахъ всѣка минута, и всѣка една минута по нѣкоя зловѣща мисль се възраждаше съ повече и повече сила, догдѣто най сетиъ внезапно не ме разбуди.

Мѣжду това умората надви, и азъ бѣхъ съвършено заспалъ, когато би утренната заря. Ние се наредихме, провѣриха ни, послѣ сложиха пушкитѣ на пирамиди и всичко прѣдвѣщаваше, че ний ще прѣкараме спокоенъ день.

Около часътъ по три дойде единъ адютантъ и донесе заповѣдъ. Заповѣдаха ни да си вземемъ орѣжията; нашитѣ стрѣлци се разпрѣснаха по полето; ний полегка ги послѣдвахме и слѣдъ двадесетъ минути съзрѣхме сичкия русскій аванпостъ какъ се примѣква и влиза пакъ въ редута.

Единъ отрядъ артилерия се останови отъ дѣсно, другъ отъ лѣво, но и двата доста далечъ отъ насъ. Тѣ почнаха твърдѣ живъ огнь върху неприятелтъ, който бързо и енергично отговори, и скоро редуттъ Шeverино изчезна въ гѣсти облаци димъ.

Нашиятъ полкъ бѣ почти закритъ отъ руския огнь отъ една висока лѣка. Ядрата имъ падаха рѣдко при насъ, защото биеха преимущественно върху нашитѣ артилеристи, минаваха надъ главитѣ ни, и най вече що ни пращаха бѣ прѣстъ и дребни камъчета.

Тутакси щомъ заповѣдта за настѣпване бѣ дадена, моя капитанъ ме изгледа съ едно внимание, което ме накара на два-три пѣти да погляда съ рѣка младежкитѣ си мустачки, съ колкото ми

бѣ възможно по спокоенъ видъ. Навстина менъ не бѣше ме страхъ, и единствено се бояхъ, да не би да помислятъ, че дѣйствително азъ се страхувамъ. Да се държа геройски спокоенъ спомагах ми още и безвръднитѣ ядра. Самолюбиего ми подсказваше, че азъ съмъ изложенъ на голѣма опасностъ, понеже се намирахъ подъ огънѣтъ на една батарея. Азъ се чувствувахъ така спокоенъ, и драго ми бѣше като си мислехъ, какъ ще разказвамъ за прѣвземаннето на Шеверино въ салонѣтъ на мадамъ de Севъ-Люксанъ, улица Провансъ.

Полковникътъ мина покрай нашата рота; той ми каза: «Е добръ! Ще има да видите доста зоръ въ това първо сражение». Азъ се усмигнахъ войнствено, като отърсихъ ржкавѣтъ на дрѣхата си, върху когото бѣ се посипала прѣстъ отхвърлена отъ едно ядро, паднало на тридесетъ крачки далечъ отъ мене.

Види се, Русситѣ съгледаха слабото дѣйствие на ядрата, та ги замѣниха съ гранати които можахъ по лесно да ни достигатъ въ падината гдѣто се бѣхме расположили. Едно доста силно разпрѣскване на граната ми свали шапката и уби одного близо при менъ.

«Поздравявамъ ви, ми каза капитанѣтъ, когато азъ подигахъ шапката си, за днесъ избавени сте само съ това». Азъ знаяхъ за онова войнишко суеверие; въ което думитѣ *non bis in idem* е такава сжщо аксиома на бойно поле, както и въ сѣдилище. Гордо наложихъ шапката си. «Това се казва да поздравишъ нѣкого безъ церемонии,» казахъ азъ, колкото можахъ по весело. Тази ненамѣсто шега, прѣдъ видъ на обстоятелствата, излѣзе прѣвъзходна. «Съраждамъ ви, повтори капитанѣтъ: нищо повече не ще ви сполети и вий ще командувате рота още тази вечеръ, защото чувствувамъ добръ, че нѣщо ще ме огрѣе. Всѣкога кога съмъ бивалъ раняванъ, стоящій до менъ офицеръ го е повалялъ смъртоносенъ кушумъ; и, продължи той съ единъ нискъ и плахъ тонъ: — неговото име всѣкога се е почвало съ буква П.»

Азъ се показахъ твърдъ; повечето хора би направили сжщото. На повечето хора, сжщо както на мене, тия пророчески думи биха направили впечатление. Новобранецъ, каквѣто бѣхъ азъ, почувствувахъ че немога да посветя никого въ чувствата си, и че азъ винаги трѣбваше да бѣда хладно неустрашимъ.

Слѣдъ половинъ часъ, огънѣтъ на Русситѣ значително намалѣ тогава ние излѣзохме изъ задъ нашето прикрытие, за да нападнемъ редутѣтъ.

Наший полкъ състоеше отъ три дружини. На втората бѣ опрѣ-

дѣлено да нападне редутътъ изотзадъ; другитѣ двѣ трѣбваше да ударятъ на пристѣпъ прѣко. Азъ бѣхъ въ третята дружина.

Като излѣзохме изъ-задъ единъ видъ насипъ който ни закриваше, посрѣщнаха ни единъ слѣдъ другъ нѣколко пушечни залпове, които причиниха твърдѣ малка щета въ редоветѣ ни. Писъкътъ на куршумитѣ ме смая: често избръщахъ глава, съ което давахъ новодъ на другаритѣ си, обрѣгнахъ вече на подобенъ шумъ, да се шегуватъ. Най сетнѣ, помислихъ си, битвата не е нѣщо чакъ до тамъ ужасно.

Ний наурѣдвахме бѣгомъ, прѣдшествовани отъ стрѣлицитѣ; внезапно Русситѣ извикаха трикратно ура, три пѣти раздѣлно ура, и замлъгнаха безъ да гърмятъ. «Не обичамъ азъ това мълчание, ваза моя капитанъ: — това не прѣдвѣщава нѣщо добро». Показа ми се, че нашитѣ войници бѣха малко по шумни, отъ колкото би трѣбвало, и азъ не можахъ да се въздържа да не направя едно сравнение въ себеси на тѣхний буенъ шумъ съ внушителното мълчание на неприятеля.

Скоро стигнахме до политѣ на редутатъ; полисадитѣ бѣха изпотрошени, земята разровена отъ нашитѣ ядра. Войницитѣ се впуснаха върху тѣзи нови развалини съ викове да живѣй *Императора!* по мощни отъ колко може да се очаква отъ хора, които бѣха вече толкова викали.

Азъ издигнахъ очи, и никога нѣма да забравя зрѣлището що видѣхъ. Димътъ повечето бѣ се дигналъ и стоеше като покривъ двадесетъ крачки на високо надъ редутътъ. Чрѣзъ синкава една пара, задъ полуразрушения парапеть, се съзираха русскитѣ гренадери съ издигнато орѣжие, неподвижни като статуи. Като че ли и сега виждамъ всѣкой войникъ, съ лѣво око взрѣно въ паса, а дѣсното скрито задъ насочената пушка. Задъ една амбразура, нѣколко крачки отпрѣдъ ни, при единъ топъ стоеше войникъ държащъ фитилъ въ рѣка.

Прѣтърпнахъ и си помислихъ че е дошелъ послѣдний ми часъ. «Ето хорото ще се почне, извика моя капитанъ. Легка вечерь!» Това бидоха послѣдни думи, които го чухъ да проговори.

Виение на барабани ечна въ редута. Видѣхъ да се снематъ всички пушки. Зажумихъ и чухъ шумътъ на ужасенъ залпъ, послѣдванъ отъ викове и стенания. Огворихъ си очитѣ, учуденъ че още съмъ живъ. Редутътъ отново се пови съ димъ. Бѣхъ забиколенъ съ ранени и мъртви. Моя капитанъ бѣ прѣстрѣнъ прѣдъ нозѣтѣ ми. Главата му бѣ смазана отъ ядро и азъ бѣхъ оцрѣсвамъ

отъ неговий мозакъ и отъ неговата кръвъ. Отъ цѣлата рота останахме прави само азъ и шестъ души войници.

Подиръ тази сѣчь послѣдва моментъ на виѣпенение. Полковникътъ, като тури шапката си на върхътъ на своята сабя, прѣхвърли се пръвъ чрѣзъ парапетътъ, като извика *да живѣй Императора!* Тозчасъ го послѣдваха всички останали живи. Не мога да си припомня ясно, даже и сега що стана, слѣдъ това. Не помня какъ ний влѣзохме въ редуътъ. Бихме се гърди срѣщу гърди посрѣдъ единъ такъвъ гъстъ димъ, че неможахме и да се виждаме. Вървамъ че и азъ съмъ сѣкалъ, понеже сабята ми бѣ потънала въ кръвъ. Най сетнѣ чухъ да викатъ *побѣда!* и чрѣзъ разпрѣсквающій се димъ, съгледахъ кръвъ и мъртви що бѣха покрили редуътъ. Особено топоветъ бѣха навалени съ трупове. Около двѣсте души, съ французска униформа, въ безредица бѣха се сбрали на купъ, едни като си пълнеха пушкитѣ, а други изтриваха щиковетъ си. При тѣхъ стояха одинадесетъ души руски плѣнници.

Полковникътъ, потъналь въ кърви, бѣше падналь върху единъ строшенъ ящикъ, прѣдъ входа на редуътъ. Нѣколко войници шетаха около му; азъ се приближихъ до тѣхъ. — «Гдѣ е най старшия капитанъ?» попита той единъ сержантъ. — Сержанта подигна раменѣ по единъ твърдѣ изразителенъ начинъ. — «А най старшии поручикъ?» — «Ето господинътъ който дойде вчера,» каза сержанта съвсѣмъ тихо. — Полковникътъ горчиво се усмихна. — «Хайде, господине, каза ми той, вий ще бждете началникъ; заповѣдайте тутакси да укрѣпятъ входътъ на редута съ тѣзи колья, защото неприятельтъ е силенъ; но генералъ С. . . скоро ще ни дѣна помощъ.» — «Полковникъ, му казахъ азъ, тежко ли сте ранени?» — «Опърленъ, драгий мой, но редуътъ е прѣвзетъ».



ДЕМОНЪ

ВЪСТОЧНА ПОВѢСТЪ.

ОТЪ

М. Ю. Лермонтовъ.

ЧАСТЬ ВТОРА.

«О, татко! татко! не плаши ме,
Тамара своята не кори,
Азъ плача, виждашъ. Утѣши ме,
Въ тѣга душата ми гори.
Жена азъ другиму не ставамъ,
На всичкитѣ момци кажи,
Азъ другиму сърдце не давамъ,
Отъ какъ супругъ ми въ гробъ лѣжи.
Отъ както труптъ му кървѣвъ
Погрѣдохме ний подъ гората,
Вгнѣздилъ ми е Духтъ Лукавъ
Прѣстѣпни помисли въ душата.
Въвъ мрактъ нощенъ ме смущаватъ
Неясни снѣнища цѣлъ рой,
И денемъ тѣ ме не оставатъ
Да се помоля на покой.
Сърдцето ми въвъ огънь плава,
И чезна азъ отъ день на день,
Въвъ менъ душа вечъ не остава.
Смили се, татко мой, надъ менъ!
О, дай въ священната обитель
Безумната си дъщеря,
Азъ тамъ, прѣдъ благия Спасителъ
Душа си бурна ще смиря.
За менъ вечъ нѣма веселія . . .
И нека въ тихий мѣнастирь,
Съсь миръ като ме осѣни,
Ме скрий печалната келия,
Кат' гробъ, межъ тъмнитѣ стѣни».

II

И въ мѣнастирь уединенъ
Родителитѣ я отвеждатъ,
И тамъ келия ѿ отреждатъ —
Тихъ мраченъ кжтъ уединенъ.
Но подъ монашескитѣ дрѣхи,
Тѣй сжщо вакто и тогазъ,
Кога тя носеше атлазъ,
Все тѣй пакъ биеше сърдце ѿ
Отъ беззаконната мечта.
Но отстранена отъ свѣта
И прѣдъ олтарьтъ освѣтенъ,
Въ тържественний молитвенъ часъ,
Тя чуваше, съсъ умъ смутенъ,
Все сжщия вълшебенъ гласъ.
И тамъ подъ тъмний сводъ на храма,
Прѣдъ нейния распаленъ умъ,
Лѣтеше образътъ безъ шумъ;
Въ прозрачний димъ на тамияна
Съзираше го катъ звѣзда, —
Зове я, мами я . . . кждѣ?

III

Между високи хълмовѣ
Е мѣнастирьтъ построенъ,
Съ тополи стройни редове
Отъ вси страни е окржженъ.
По нѣкой пжтъ срѣдъ тъмнината
Чрѣзъ тѣхъ блѣщукаше лампада
Въ прозорца на Тамара млада;
И на дърветата миндални,
Изъ-между кръстове печални —
Стражари нѣми на гробниці —
Чурликатъ хорове отъ птици;
По камънацитѣ шумятъ,
Потоци съ пѣнести вълни,
И между буйни стръмнини
Въ едно се сливатъ и вѣрватъ,

И лжкатушатъ въ хрсталакътъ
И губятъ се далечъ изъ мракътъ

IV

На сѣверъ се гори синѣятъ,
Подъ тѣхъ мъглитѣ се мержѣятъ
Надъ буйно-шумния потокъ
И се разливатъ по долини.
И съ гласъ обърнатъ къмъ Вѣстокъ
Молитва пѣятъ муезини.
И звучния камбаненъ гласъ
Трепти обителя пробужда;
Въ тържественний и миренъ часъ,
Кога грузинкитѣ се спущатъ
И за вода въ потока слѣзватъ.
И върховеѣ на горитѣ
Съсъ снѣгъ и съсъ мъгли покрити
Се на небето отбѣлѣзватъ;
Когато слънцето се скрива
Руменина ги тѣхъ покрива.
А между тѣхъ се е въздигналъ,
Съ глава надъ облаци достигналъ,
Казбекъ, бащата на Кавказъ,
Съ чалма и риза отъ атлазъ.

V

Тамара пълна ѣ съ мисль прѣстѣпна;
Сърдцето ѣ е недостѣпно
За чисти наслажденья. Въ мира
Тя радость нигдѣ не намира.
И всичко що създалъ е Богъ,
Кат' че и служи за прѣдлогъ
На мжки. Всичко я горчи —
И мракъ, и слънчеви лучи.
По нѣкой пѣтъ, щомъ ноцъ настѣпи,
Тя къмъ иконата пристѣпи,
Въ безумье падне на гърди
И плаче; въ ноцното мълчанье
Това таинственно риданье

Обръща пѣтнику вниманье,
И мисли той: «Това е духъ
Що въ пещерата свързанъ стене!»
И кат' напръга плахо слухъ,
Той бърза съ коньтъ да избѣгне. . .

VI

И на душа си нажалена
Тамара не намира лѣкъ,
Въ келията, осамотена
Стои и гледа на далекъ,
Въздиша, пламва тя и тръпче. . .
«Ще дойде той» — ъ нѣщо шъпне.
Не всуе той я въ снѣъ ласкалъ,
Вълнувалъ ъ е памятьта,
Съ очи изпълнени съ печаль
И съ чудна нѣжностъ на уста.
Вечь много дни тѣги, неволи
Не ъ оставать въ миръ душата,
Тя на светцитѣ ли се моли,
Къмъ него ъ лѣти молбата,
Убита отъ борба всегашна,
Припадне ли върху лѣгло,
Душа ъ стрѣска нѣщо страшно
И жаръ обгръща ъ тѣло.
Памтятъ гърди, глава и плѣщи,
Мъгла обзема ъ свѣстьта
Прѣгръдкитѣ ъ тьрсятъ срѣщи,
Цѣлувки таятъ на уста. . . .

VII

Въ Грузинскитѣ гори богати
Вечерната мъгла слѣтъ,
И ето Демона крилатий
Въвъ мнастирътъ прилѣтъ.
Но дълго гордий Искуситель
Да влѣзе въ тихата обитель
Не се рѣши. И въ колебанье,

Като че щѣше безъ внимание
Да хвърли ђмисльтъ жестокий.
Замисленъ, прѣдъ стѣни високи,
Покрай дърветата той стѣква,
И всѣкой листь безъ вѣтъръ трѣва.
Подигва той очи нагорѣ
И вижда свѣтлина въ прозора —
Въ келията блѣсти кандило;
Тя кат' че чака нѣщо мило.
И посрѣдъ общото мълчанье
Китара съ стройното брънчанье
И звучна пѣсень чу се тамъ,
Тѣзь звукове едвамъ-едвамъ
Изъ мракътъ нощенъ проехтѣха,
Като че ли съзид се лѣха.
И тази пѣсень бѣ чудесна,
Като че ли рѣка небесна
Я бѣ създаде за земята.
Не ангелъ ли отъ небесата,
Да види нѣкой пострададе,
Е потаено тукъ слѣтѣде
И за минало му запѣде —
Да му отлекне отъ мъченье?
Прѣвъ пѣтъ любовното въмненье,
Усѣти Духътъ нажалений.
Жѣлай да се отдалечи —
Крилата му кат' виѣпенени!
И чудо! въ горди му очи
Показва се създа горѣща. . .
Та до келията насрѣща
И днесъ вдълбанъ се вижда камъкъ
Съ създа горѣща, като пламъкъ,
Не чловѣческа създа! . . .

VIII

И влиза жаденъ за любовь,
Съ душа открита за добро
И мисли: за живота новъ
Е вече врѣмето дошло.
Очакванье на първа срѣща,

Страхътъ прѣдъ неизвѣстността,
Като че първи пѣтъ се срѣщатъ
И виждатъ съ гордата душа.
Това бѣ грозно прѣдвѣщанье.
Той влиза, гледа съсь внимание,
И вижда херувимъ прѣкрасенъ
Съсь чудно-блѣскаво чело,
И отъ врагътъ съсь погледъ ясенъ
Я скрива съ своето крило. . .
Лучъ отъ небесно освѣтленье
Му ослѣпи нечистый взоръ,
И вмѣсто мило поздравленье
Той чу мжчителенъ укоръ :

IX

«Духъ безпокоенъ, духъ пороченъ,
Защо дойде въ тозъ часъ полнощень?
Тукъ твой поклонникъ не живѣй,
Тукъ зло не може да вирѣй!
Тамъ гдѣто ази обичъ сѣщамъ
Не искамъ тебе да те срѣщамъ!
Защо дойде?» И въ отговоръ
Коварно се Духътъ усмихна,
Засвѣтка съ зависть злихъ му взоръ
И пакъ въ душата му изблигна
Напрѣжния умразенъ ядъ :
«Тя й моя!» — той му възвѣсти,
«Махни се, отлѣти назадъ,
«Съ защита късно се вѣсти!
«Не ти ще сѣдишь менъ и нея,
«Наложилъ съмъ вѣчь на сърдце ѝ,
«Съсь гордость пълно, свой печать,
«Ти отлѣти къмъ твоя свѣтъ,
«Тукъ азъ отиниъ ще живѣя,
«Тукъ ази любя, азъ владѣя!
И ангела съ тѣга погледна
Къмъ жертвата печална, блѣдна
И легко катъ прострѣ крилата
Исчезна мигомъ въ небесата. . .

.

Х

Тамара

О, твоята е рѣчь опасна!
Тебъ рай ли, ада ли прати?
Що искашь?

Демонъ

Колко си прѣкрасна!

Тамара

Но отговаряй кой си ти?

Демонъ

Азъ онзи съмъ, когото ти
Видѣ прѣзъ нѣколко ноци,
Тозъ, кой ти шепнеше въ душата,
Комуто ти разбра тжгата,
Тозъ, кой на сънь ти се вѣсти,
Кой съ взорѣтъ си надѣжди губи,
Прѣди тѣ да се разцвѣтятъ,
Когото никой вече не люби,
Когото всички го кълнатъ,
Отъ който всѣкой се отрича ;
Тозъ, кой не знае растоянне,
На рабоветѣ земни бича,
Царь на свободното познанье,
Природно зло, небесенъ врагъ,
И видишь, — ази падамъ въ прахъ
Прѣдъ тебъ, прѣдъ твоитѣ колѣне
И ти принасямъ съ умиленье
Молитвата на любовта,
И първото ми тукъ мжченье —
Мжчението на страстьта.
Изслушай ме отъ съжаленье!
Ти би могла съ единчко слово
Да ме възвърнешъ въ небесата;
Покритъ съсъ любовта ти свята
Азъ ще прѣдстана тамъ отново,
Кат' ангелъ новъ въвъ блѣсъкъ новъ.
О, чуй ти моята любовь!

Чуй твоя рабъ, о, моя страсть!
Когато първий път те видѣхъ
Азъ тайно въ мигъ възненавидѣхъ
Безсмъртѣето и свойта власть.
Азъ почнахъ да завиждамъ съ ядось
На земната непълна радось;
Но щомъ при тебъ съмъ неотлъчно
Не сѣщамъ страхъ, не ми е мъчно.
И въвъ сърдце ми отъ разгара
Лучъ не очакванъ вече грѣй,
И скърбъ въвъ мойта рана стара
Увила се е като змѣй.
Безъ тебъ какво е тази вѣчностъ?
Владеньето до безконечностъ?
Безъ смисль думи . . . за какво?
Обширенъ храмъ безъ божество! . . .

Тамара

О, остави ме, Духъ Лукавий!
Мълчи, не хвъргай ме въ неволя . . .
О, Боже мой, о, Боже правий!
Уви, не мога да се моля:
Съ отрова ми й умѣтъ обнѣтъ.
О, чувай, ти ще ме погубишь;
Словата ти се огнь ядъ. . .
Кажи, защо ли ти ме любишь?

Демонъ

Защо ли, хубость? — азъ не знамъ,
Не мога да ти кажа самъ!
Щомъ новиятъ животъ сѣтихъ,
Щомъ ново чувство ме обзѣ,
Трънливий си вѣнецъ хвърлихъ
Въ прахътъ подъ своитѣ нозѣ.
И рай, и адъ въ тебъ виждамъ азъ!
Обичамъ те съ неземна страсть,
Да любишь тѣй не можешъ ти
Съсь упоенье, съ всячка власть
На мисль безсмъртна и мечти.
Въ душата ми отъ край свѣта
Е образътъ ти отразенъ,

И шѣркалъ се е той прѣдъ менъ
Въ пустинитѣ на вѣчността.
И твоего име отъ тогазъ
Звучало ми е съ сладкъ гласъ,
И въ раятъ даже като бѣхъ,
За твоя образъ тамъ гледяхъ.
О, ако би могла да знаишь
До колко горко е мъчение,
Прѣзъ вѣкове безъ раздѣлене,
Да тържествувашъ и страдаишь,
Не чакащъ похвала за злото,
Нито награда за доброто;
Съ таквъ животъ, съ таквазъ съдба
И въ тази вѣчната борба
Безъ тържество, безъ примирене!
Спокойствие да не намирашъ,
Да знаишь, да чувствовашъ, да виждашъ —
И всичкото да ненавиждашъ,
И всичко, всичко да прѣзирашъ!
Едва се Божьето проклятие
Испълни — и отъ сѣщия день
Природнитѣ отъ жаръ обята
На вѣкъ истинаха за менъ. . .
Небе свиѣеше прѣдъ мене,
Азъ виждахъ звѣзднитѣ прѣмѣни;
Съ съ тѣзъ звѣзди азъ бѣхъ познатъ. . .
И всякоя съ вѣнецъ бѣ златъ.
Сега? — Прѣдшниятъ си събратъ
Нито една го не позна.
Изгнаници на менъ подобни
Въ отчаяние ги азъ вързвахъ,
Но съ тѣзъ лица, съ тѣзъ думи злобни:
Уви! азъ самъ ги не узнахъ.
Уплашенъ — магнахъ съ съ крилата
И впуснахъ се. . . Защо? къдѣ? —
Незнамъ. Напрѣжнитѣ ми братья
Отхвърлятъ ме. Тогазъ за менъ
Свѣтътъ стана и глухъ и нѣмъ.
Тѣи сѣщо въ силното течение
Оставенний корабъ въ рѣката,
Самъ безъ кормило, безъ платната,

Ще плава тѣй безъ назначенье.
Тѣй сжщо облакѣтъ откъснать,
Отъ силенъ ураганъ распръснать,
Въ небето сине кат' чернѣй,
Самъ вигдѣ да се спрѣ несмѣй,
Лѣти въ пространството безъ край,
А накѣдѣ? — Самъ Богъ го знай!
Не дълго съ хората играхъ си,
Не дълго ги на умъ учѣхъ,
Надъ благородното надсмѣхъ се,
И най-прѣкрасното хулѣхъ.
Азъ загасихъ на вѣки жара
На твърдата имъ чиста вѣра. . .
И струва л' нѣкой да се труди
За глупавитѣ, низки люди?
Отъ тѣхъ отвърнахъ своя взоръ
И скрихъ се азъ далечъ въ горитѣ,
И лутахъ се кат' метеоръ
Срѣдъ нощний мракъ изъ тѣснинитѣ.
И ето пѣтнвикъ уморенъ,
Излѣганъ като вижда менъ
И огнь мисли че блѣсти,
Съсъ коньтъ въ бездната слѣти
И рука му кръвта завчасъ,
Напусто вика — тамъ му ѣ гроба. . .
Но съ тѣзъ игри на мойта злоба
Не дълго се залъгвахъ азъ.
Въ борба съсъ буритѣ ужасни,
Азъ често, кат' подигна прахъ,
Облѣченъ въ мълнии, несчастний,
Къмъ облацитѣ смѣлъ лѣтѣхъ,
Понѣ въвъ бурната стихия
Скрѣбъта сърдечна да задана, —
Туй що не мога да забрави,
Изъ памѣтьта си да истрия!
Що значать немощитѣ тежки,
Бѣди и трудове човѣшки
На всички земни поколѣнья —
И прѣдъ единчко мигновенье
На мойтѣ, грознитѣ, мъченья?
Що значи хорския животъ,

Потъналъ въ грижи, въ трудъ и потъ?
Ще минатъ всички тѣ безъ слѣдъ!
Надѣжда иматъ за напръдъ,
Че тѣхъ ги сждъ послѣдениъ чака
И може Той да ги просги,
А мойта скърбъ ще се протака
И нѣма край да се вѣсти,
Не ще почине тя въвъ гроба!
И вий се като змия съ злоба,
Ту жегва, блѣсва като пламъкъ,
Ту ме притиска като камъкъ —
Тозь мавзолей несъкрушимъ
На всичко минало кат' димъ! . . .

Тамара

Защо ми за тѣги приказвашъ?
Защо на мене ти се жалвашъ?
Ти съгрѣши. . .

Демонъ

Прѣдъ тебъ не съмь!

Тамара

Насъ ще ни чуютъ.

Демонъ

Ний сме сѣми.

Тамара

А Богъ?

Демонъ

На насъ той взоръ не мѣта:
Заеъ съ небето — не съ земята!

Тамара

А мигаръ адски мжкв нѣма?

Демонъ

Та що? Ний тамъ ще бждемъ двама!

Тамара

Но какъ да е, другаръ случаенъ,
Покоя си като разрушамъ,
Неволио, съсь въсторгъ потѣненъ
Страдалче страненъ, азъ те слушамъ.
Ако рѣчта ти е лукава,

Или измама ти таишь . . .
Смили се! . . . И каква ли слава?
Защо душата ми мжтишь
Съ мечти и сладки и ужасни?
Нема межъ всичкитѣ дѣвици
Не срѣщна други хубавици?
Уви! и тѣ сж тѣй прѣкрасни!
И дѣвственнитѣ имъ старни
Не е могла да оскверни
Ржката смъртна да сега.
Не! дай ми клѣтва вѣрна ти . . .
Ти виждашь моята тжга,
Ти виждашь женскитѣ мечти!
Неволно страхъ въ душа ми всѣвашъ..
Ти всичко виждашь и узнавашъ
И ще да се смилишь за мене!
Но въ знакъ на туй че ме обичашъ,
Кълни ми се че се отричашъ
Отъ свойтѣ злони намѣрения!

Демонъ

Кълни се въ първий день на міра
И въ неговий послѣдния день,
Кълна се въ правдата и мира,
Въ прѣстѣпния позоръ прѣзрентъ;
Кълна се въ страшната си мжка
И въвъ побѣдната надѣжда,
Кълна се въ първата съ тебъ срѣща
И въвъ горчивата разлжка,
Кълна се въ всички духове
И въ мойтѣ братия подвластни,
И въ херувимитѣ безстрастни,
Мойтѣ вѣчни врагове;
Кълна се въ ада и небето,
Въвъ всичко туй що ти милѣишь,
Въвъ погледа ти на лицето,
Въ съзата първа що прогѣишь,
Въвъ твоего сладостно-диханье,
Въ коса ти вата кат' вълна;
Кълна се въ грозното страданье,
И въ любовта си се кълна —

Отричамъ се отъ отмищенъе,
Отъ горди мисли и мечти,
Отъ днесъ съ коварно прѣльщенъе
Не ще азъ никои умъ смути . . .
Азъ ще се помиря съ небото,
Азъ ще се моля, ще обичамъ,
Азъ жажда вѣра въвъ доброто;
Съ съза раскайна ще избриша
Небесний огънь на челото.
И нег' свѣтътъ успокоенъ
Цвѣти въ невежество безъ мевъ !
О, вѣрвай ме до тойзи часъ
Азъ пръвъ те опѣнихъ, разбрахъ,
За мой кумиръ кат' те избрахъ,
Въ нозѣти сложихъ мойта власть.
Ти твоята любовъ ми дай
И вѣчностъ давамъ ти за мигъ,
Въ любовъ и въ злоба азъ съмъ, знай,
И неизмѣненъ, и великъ.
Азъ тебе, щомъ съ любовъ пристанешъ,
Въ надзвѣздния ще вдигна миръ
И тамъ царица ти ще станешъ
Другарка моя, мой кумиръ ;
Безъ съжаленъе, безъ участъе
Ще гледашъ на земята ти,
Тамъ гдѣто нѣма сжщо щастъе,
Ни дълготрайни красоти.
Тамъ има само прѣстѣпленъе,
Тамъ всички въ дребни страсти газятъ,
Тамъ не умѣятъ безъ стѣсненъе
Ни да обичать, ни да мразятъ.
Не знаешъ ли съ каква нѣна е
Минутната любовъ човѣшка? —
Вълнение на кръвъ младешка.
И колко малко всичко трае !
И съ изнуренъе тамъ се мжчатъ,
Съ съблазнь отъ нови красоти,
Съсъ своенравни си мечти —
И всѣкога кат' се разлжчатъ.
Не, не на тебъ, другарко моя,
Сждбата е опрѣдѣлила

Да вѣхнешь тихо въ кръгътъ тоя,
Рабѣ на грубостъта ревнива,
Срѣдъ малодушни и невѣжди
Другари-скрити врагове,
Посрѣдъ неплоднитѣ надѣжди
И праздни, тежки трудове.
Не тукъ ще сѣтишь ти доброто
Межъ тѣзи мѣнастирски стѣни,
Съ молитви равно отстранени
Отъ хората и божеството.
О, не прѣкрасно ми създанье,
За другъ животъ е твойта младость,
Тебъ чака инакво страданье,
Тебъ чака друга, вѣчна радость!
Хвърли напрѣжнитѣ желанья
И забрави нищожний свѣтъ,
И цѣла бездна отъ познания
Въ замѣна ще открия тебъ.
Тълпи отъ духове служебни
Ще твойтѣ заповѣди чувать,
Слугини легки и вълшебни
На тебъ, о хубость, ще слугувать.
За тебъ отъ свѣтлата зорница
Ще свия отъ зори кръстецъ,
Вѣнецъ ще ти силета, — съ росица
Ще го поръся тозъ вѣнецъ.
Съсь лучътъ огненъ на зарята
Ще бжде твоя станъ обвить,
Съсь дѣхътъ чистъ на аромата
Ще бжде въздухътъ напить!
И ежечасна пѣсень дивна
На твойтъ слухъ ще бжде даръ,
Палати чудни ще издигна
Отъ изумрудъ и отъ янтаръ;
Азъ въвъ морето ще се спустна,
Задъ облацитѣ ще се впусна
И всичко земно ще ти дамъ
Обичай ме! . . .

XI

И той едвамъ

Се косна съ пламени уста
До нейнитѣ третпящи устни . . .
Тя моли, шепне, да я пустне,
Но той увлеченъ отъ страстьта,
Съ очи распалени кат' жаръ,
Въвъ нея вперилъ огненъ зракъ, —
Надъ нея свѣтка въ нощий мракъ
Неотразимъ като ханджаръ.
Ядѣтъ на страшното лобзанье
Въ грждитѣ ѳ проникна въ мигъ . . .
Мжчителенъ, ужасенъ вѣкъ
Екнѣ срѣдъ ношното мълчанье . . .
Въ тозъ вѣкъ бѣ всичко: и страданье,
Любовъ, укоръ и молба нѣжна,
Прощаванье безнадѣжно, —
Прощаванье съ младостъта . . .
.

XII

Въ тозъ мигъ стражъ нощенъ кат' обхожда
Покрай високата стѣна,
Самси срѣдъ ношна тишина,
Съ желѣзна дѣска се расхожда;
И подъ прозорецьтъ Тамаринъ
Той обиколката поспрѣ,
Ржка надъ дѣската въспрѣ
И остана кат' съ гърмъ ударенъ:
И въ тишината на ношъта,
Като че чу той въ този мигъ
Лобзание на двѣ уста,
Въздихка и минутенъ вѣкъ.
И нечяства мисль, сжмиѣнье
Въ сърдцего старческо проникна . . .
Но мина още мигновенье
И всичко пакъ на околъ спихна . . .
Вѣтрецьтъ носи отдалеко
Шумтението на листата,

И съ брѣгътъ тъменъ шепне легко,
Като си шумоли, рѣката.
И бърза той да се помоли
Съ канонъ отъ страхъ да се избави,
Отъ напастъ на Духътъ Лукавий,
Отъ грѣшни мисли и неволи;
И съ растреперени си прѣсти
Грждитѣ си смутени кръсти,
И тихо пакъ изъ пѣтя влѣзна
Въ ржка съсъ дѣската желѣзна . . .
.

XIII

Кат' пери спяща мила бѣше,
Когато въ гробътъ тя лѣжеше;
И мъртвото челó бѣ бѣло
Кат' чистото ѝ покривало.
На вѣкъ очитѣ ѝ закрити . . .
На кой, на кой, не би казалъ,
Че погледътъ ѝ е заспалъ,
И само чакатъ ѝ очитѣ
Цѣлувка или пѣкъ лучитѣ?
Но бесполезно лучѣтъ златенъ
Ласкай ѝ ликътъ невъзвратенъ;
Напразно свои и съѣди
Цѣлуватъ ѝ устата блѣди . . .
Напусто всѣкой ще се бий
Печатътъ смъртенъ да истрий!

XIV

И никога не е била
Въ таквизъ богати облѣкла
Тамара, както въ този часъ.
Цвѣтя съ роса като ялмазъ
(Тѣй иска стария обрядъ)
Надъ нея прѣскаатъ ароматъ.
И нищо въ мъртвия ѝ ликъ
Не казваше, че сѣтний мигъ
Я сварилъ въ страсть и упоелье;

И всѣка нейна бѣ черта
Испълнена съ тази красота,
Кат' мраморътъ безъ израженъе,
Отъ чувства и отъ умъ лишена,
И кат' самата смъртъ студена.
Усмивка странна се съзира,
Че на устата ѝ личи,
И кат' че нѣкой скръбъ намира
Тозь, който се въвъ неязира
Съсъ по внимателни очи.
Тя изражаваше сжмѣнне;
На мисълта ѝ въвъ душата,
Тя бѣ послѣдне израженъе
Послѣдно „сбогомъ“ къмъ земята;
И тази усмивка мъртва, хладна
Бѣ безнадеждна, безотрадна
По-вечъ отъ колкото очитѣ
Веднажъ за винаги закрити.
Тѣй въвъ тържественния часъ,
Когато слънцето се скрива,
Съ зори пурпурни се разлива
Врѣхъ снѣговетѣ на Кавказъ;
Но този лучъ осиротѣлъ
Въ равнинитѣ не ще слѣти,
Плътъ нѣкому да освѣти,
Отъ своя врѣхъ оледенѣлъ . . .

XV

Роднини въ скръбъ обезумѣли
Въ печаленъ плътъ се вече собиратъ.
Кат' скуби касми побѣлели,
Гърди си съ плачь като раздира,
Гудалъ за сѣтенъ плътъ въвзира
Нозѣ си въ златни стремена,
Въ послѣденъ плътъ на конь ѣхна
И шествието въ плътъ трѣгна. —
Три дни, три ноци ще вървятъ.
Пригответъ ѝ е сѣтенъ кѣтъ,
Тамъ гдѣто коститѣ лѣжатъ
На нѣкой прадѣдъ на Гудала,

Хайдуть по пѣтъ и по села.
Кога го болѣстѣта сковала,
Кога смъртъта му вече дошла,
За да искупи грѣхове,
Се врѣкалъ храмъ да построи
На връхъ гранитнитѣ скали,
Тамъ гдѣто вѣятъ вѣтрове,
Тамъ гдѣ се внятъ салъ орли.
Межъ снѣговетѣ на Казбекъ
Осамотенъ се вдигва храмъ,
И коститѣ на тозъ човѣкъ
Се пакъ успокоиха тамъ.
И въвъ гробница се прѣвръща
Тозъ край, що облакъ го обгрѣща,
Като че гробѣтъ къмъ небето
По жежѣкъ е отъ на полето;
Кат' че отъ хората далекъ
Послѣдний сънъ ще бѣде легкъ . . .
Напрасно! мъртвия въвъ гроба
Не срѣща ни любовь, ни злоба.

XVI

Въвъ ясната лазурь небесна,
Единъ отъ ангелитѣ святи
Лѣтеше на криле си злати,
И на рѣцѣ душата грѣшна
Държеше въ своитѣ обятия.
И съ сладка рѣчь я утѣшава,
Сжмиѣнията ѳ разсѣва,
Грѣхътъ и нейното страданье
Съ съззи той мий отъ състраданье.
И ето рая стигатъ вече,
И чуютъ пѣсни отъ далечъ,
Но Демона се въ мигъ затече
И се отпрѣдѣ имъ испрѣче;
Той бѣ могѣщъ кат' буря шумна,
Като свѣткавица гори
И гордъ, въвъ дързостѣта безумна,
'Тя ѳ моя!' той заговорѣ.
Тѣзь думи страшни като слуша

Душата грѣшна на Тамара,
Въ прѣгрѣдки ангелски се крне,
Съ молитва си страхътъ заглуша.
Рѣшаваше ѝ се съдбата:
Прѣдъ нея пакъ стоеше той,
Но какъ бѣ мраченъ, Боже мой!
Какъ злобно гледаше душата,
Какъ плененъ бѣше съ смъртенъ ядъ
И съсъ вражда той въ този мигъ,
И вѣеше гробовенъ хладъ
Отъ неподвижния му ликъ.
<О, исчезни пороченъ духъ,—
Каза му ангелския гласъ —
Доволно тържествува ти,
Сега настъпи съдний часъ,
И нея Господь я прости!
Вечь испитаньята минаха;
Щомъ тѣлото ѝ закопаха,
Оковитѣ ѝ зли паднаха.
Отъ тозъ и е душата родъ,
На чийто земния животъ
Минува като мигновенье
Отъ най несноснитѣ мъченья,
Отъ най приятни наслажданья.
Отъ най прѣкрасния етиръ
Богъ тѣзъ душа е истъкаль
Не за свѣтътъ ги е създалъ,
Нито за тѣхъ е земний миръ.
Съ цѣна жестока тя искупи
Сжмненіята на живота . . .
Тя страда много, много любн
И си откри на рай входа!²
И строго ангела прѣмѣри
Съсъ погледъ Духътъ-Искуситель
И радостно крила распери,
И скри се въ райската обитель.
И прокълна Духътъ-Хулителъ
Безумнитѣ свои мечтанья,
И останъ съ душа надмѣтна
Пакъ самъ въвъ цѣлата вселенна
Безъ обичъ и безъ упояванье! . . .

Надъ Кайшаурската долина,
На каменнитѣ стръмнини,
Личать и днеска съсипни
Отъ сграда нѣкаква старинна.
И за дѣца разказъ е страшенъ
Прѣданието съхранило;
Кат' призракъ памятникътъ мраченъ,
Свидѣтель на това що ѿ било,
Межъ дървесата се чернѣй.
Цвѣти полето, зеленѣй;
Отдолу е аулъ сграденъ,
Отъ тамъ минавать всѣкой день
Между скали, посрѣдъ поляни,
Съсъ шумъ, съ звънтение кервани.
Далечъ, мългитѣ кат' пробива;
Извива се рѣка и пѣнлива
Съсъ вѣчно младъ животъ смяй
Покрай аула всичко ближно,
Природата ся тамъ играй,
Катъ весело дѣте безгрижно.
Надъ тѣхъ високо се е спрѣлъ
Пусть и безмълвенъ замкътъ старий,
Кат' кѣтникъ старецъ прѣживѣлъ
И мила челядъ и другари.
И на луната салъ въсхода
Очакватъ гадовете скрити :
Тогазъ излизать на свобода
И плзватъ по развалинитѣ ;
Тогавъ паякътъ полита
Своята мрѣжа да запита,
Тогавъ гущери въ грамада
Се щурятъ въ мрачната ограда,
Изъ своята дупка се пронизва
И змията, — на вѣнъ излизва
И върху каменнитѣ плочи
Въ кълбо се свие и нѣмѣй,
Ту като лента се проточи
И кат' ханжаръ се зальщѣй,
Въ поле забравенъ послѣ боя,
Не нужденъ вече на героя.
На вредъ е тихо, запусъяло.

Отъ врѣмето не е остало
Отъ миналото нагдѣ дѣри
По тѣзи каменни баири,
По тази мрачната гора,
Да ни напомяна за Гудала,
За милата му дъщеря.
Но църквата между скалитѣ
И днесъ се вижда прѣзъ мъглитѣ,
Стойтъ прѣдъ нейнитѣ врати
На стража чернитѣ гранити,
Съсъ снѣжни пластове прикрити,
И вмѣсто броня на гърди
Съсъ вѣчни ледове обвити.
Намръщени висятъ грамади
Отъ ледове надъ самий пѣтъ,
Кат' вледенени водопади
Сковани мигомъ отъ мразьтъ.
И съ бѣсъ виелицѣ жестоки,
Межъ голитѣ скали високи,
Снѣгътъ размѣтатъ съ диво пѣнье;
И облацитѣ отъ Вѣстока
Къмъ нея бързатъ съ поклоненье.
Надъ гробоветѣ запусътали
Днесъ никой вещь се не печали :
Надъ тѣхъ скалата на Казбека
Надвиснала, кат' нѣмъ стража бди,
И вѣчный ропотъ на човѣка
Не ще имъ вѣчный миръ смути.

А. Константиновъ

П. П. Славейковъ

БАРБЕРИНА

Комедия въ три дѣйствия

отъ

Алфредъ де Мюссе

(Прѣводъ отъ Французски).

ДѢЙСТВУЮЩИ ЛИЦА.

БЕАТРИСА АРАГОНСКА, кралица на Унгария.
ГРАФЪ УЛРИХЪ, чехскій болѣринъ.
АСТОЛФЪ ФОНЪ РОЗЕНБЕРГЪ, младъ унгарскій баронъ.
РИЦАРЬ ВЛАДИСЛАВЪ, рицарь на щастие.
ПОЛАККО, търговецъ разносвачъ.
БАРБЕРИНА, жена на Улриха.
КАЛЕКЕРИ, млада служиня, туркия.
Придворни и др.

Мѣсто на дѣйствието е Унгария.

ДѢЙСТВИЕ ПЪРВО.

Плътъ прѣдъ една гостинница. Въ дълбочината, срѣдъ планини, се вижда единъ готическия замъкъ.

ЯВЛЕНИЕ I.

Розенбергъ, Гостинничарьтъ.

Розенбергъ. Какъ! за мене нѣма стая! нито конюшня за коньетѣ ми! Плѣвня! Сѣща плѣвня!

Гостинничарьтъ. Това крайне ме наскърбява, господине.

Розенбергъ. За кого ме приемашъ, та ми говоришь така?

Гостинничарьтъ. Простете ме, прѣкрасний младъ господарю. Да зависеше само отъ моята воля, цѣлата ми сиромашка кжца щеше да е на ваше расположение! — Но вие не сте отъ да не знаете, че тая гостинница се намира на пхтьтъ къмъ Штуль-Вайссенбургъ, августѣйшето обиталище на нашитѣ крале, гдѣто отъ памть-вѣка ги коронясвачъ и погребвачъ.

Розенбергъ. Зная това, защото тамъ отивамъ.

Гостинничарьтъ. Боже милостивий! та нема и вне отъ-
вате на война?

Розенбергъ. Съ твоютѣ питания можешь да се обърнешь къмъ
могѣ коняри, а най-напрѣдъ гледай да ми дадешь най-добрата ста-
я въ твоята пакостна колыба.

Гостинничарьтъ. Господарю мой, това е невъзможно! въ
първийтъ катъ има чегирн моравски барони, въ вторийтъ една гос-
пожа изъ Трансилванія, въ третийтъ, въ една малка сталя, единъ
Чехский графъ, господарю, съ жена си, която е много хубава.

Розенбергъ. Испъди тѣхъ.

Гостинничарьтъ. А, мой драгий господарю, вне не ще ис-
кате да станете причина за опропаствяване на единъ бѣденъ чело-
вѣкъ. Отъ като сме почнали война съ Турцитѣ, вне не можете см-
прѣдстави, колко свѣтъ минува отъ тукъ!

Розенбергъ. Е, та що ми е мене до тие хора? Кажн ми,
че азъ се наричамъ Астолфъ фонъ Розенбергъ.

Гостинничарьтъ. Твърдѣ е вѣроятно това, господарю, но то
не дава право. . .

Розенбергъ. Ти като че ли почевашь да ставашь грубъ. Да
не дигна единъ пѣтъ каминикътъ си. . .

Гостинничарьтъ. На единъ болѣринъ не прилича да бие-
честнитѣ хора.

Розенбергъ (като замахва). А, ти още разсждавашь? . .
Азъ ще те науча. . .

ЯВЛЕНИЕ II.

*Сжипѣтъ. Дотърчаватъ двама слуги. Рицарь Вла-
диславъ излиза изъ гостинницата.*

Рицарьтъ (отъ прага на вратата). Що става, господа?
Що има?

Гостинничарьтъ. Васъ земамъ за свидѣтель, господинъ ри-
царю. Тойзи младъ господарь дери кавга съ мене, защото гостин-
ницата ни била заета.

Розенбергъ. Азъ търса кавга, бездѣлнику! кавга . . . съ че-
ловѣкъ отъ твойтъ родъ?

Гостинничарьтъ. Единъ человекъ, господине, отъ какъвто
родъ и да е, винаги притежава единъ родъ гърбъ, и ако му об-
тегнатъ единъ родъ ударъ съ тояга. . . .

Рицарьтъ (като доближава до гостинничарьтъ). Недѣ-
се сърди и не се плаши; азъ ще утоложа работата. (На Розен-

Берга). Поздравлявамъ ви, господине. Вие отивате при Двора на Унгарскиятъ кралъ. (*Гостинничартъ и слугитъ се отдалечаватъ*).

Розенбергъ. Да, рицарю, азъ сега започвамъ своята кариера и за това много бързамъ да стигна.

Рицартъ. И както се вижда, вие се оплаквате, че намирате пътятъ прѣпълненъ.

Розенбергъ. Да, това не ме забавлява.

Рицартъ. Истина е, че това дребно дѣло, което имаме съ невѣрнитѣ, привлича къмъ дворътъ голѣма навалица свѣтъ. Малцина сж оние хора съ сърдце, които да не искатъ да приематъ въ него участие, и азъ самъ съмъ участвувалъ въ него. Това и прави достъпътъ къдѣ насъ мжченъ.

Розенбергъ. О! за Бога! азъ не смѣтахъ за дълго врѣме да стоя въ тая колиба. Тонътъ на тойзи обѣсникъ ме възмути.

Рицартъ. Ако е така, господине. . . .

Розенбергъ. Розенбергъ.

Рицартъ. Господине Розенбергъ, мене наричатъ рицаръ Владиславъ. Азъ не съмъ отъ оная пасмина хора, които сами на себе си пѣятъ хвалц, но колкото малко и да сте извѣстени за онова, що става въ нашитѣ войски, пакъ моето име трѣбва да ви е познато. Вашето име за мене не е ново. Азъ съмъ видувалъ Розенберговци въ Баденъ. (*Розенбергъ се кланя*). И тъй, ако вие не сте тука освѣтъ пжтьомъ.

Розенбергъ. Да, само да си похапна и да дамъ врѣме на коньетѣ да си починатъ.

Рицартъ. Азъ бѣхъ вече за трапеза и ѣдѣхъ прѣвъсходна риба отъ Балатонското езеро, когато звукътъ на вашиятъ гласъ дойде да порази слухътъ ми. Ако съѣдството на моитѣ хора не оржжие и обществото на единъ старъ началникъ не ви застрашаватъ, азъ отъ все сърдце ви прѣдлагамъ мѣсто за нашата трапеза.

Розенбергъ. Приемамъ вашето прѣдложение съ най-голѣма готовность и го считамъ за честь.

Рицартъ. Тогава заповѣдайте и влѣзте, моля ви. Едно добро ѣстие, вече сготвено, е като хубава жена; то не обича да чака.

Розенбергъ. Да, азъ зная това. По врага! що до хубави жени. . . . (*Урликъ и Барберина влизатъ отъ друга врата на гостинницата*). Струва ми се, че ето една. . .

Рицартъ. Вие пѣмате лошъ вкусъ, младий господине.

Розенбергъ. Трѣбваше да бжда слѣпъ. . . Познавате ли я?

Рицартъ. Да ли я познавамъ? разбира се. Тя е жена на

единъ чехскій боѣринъ. Елате, елате азъ ще ви разкажа това.
(*Тѣ влизатъ въ кѣщи*).

ЯВЛЕНИЕ III.

Улрихъ, Барберина, опрѣна на рѣката му.

Барберина. И така трѣбва да се раздѣлиме тука!

Улрихъ. За кѣсо врѣме: азъ скоро ще се завърна.

Барберина. И тѣй, трѣбва да ви оставя самъ да заминете, а пѣкъ азъ да се върна въ тойзи старъ замъкъ, гдѣто осамотена ще ви очаквамъ.

Улрихъ. Азъ отивамъ да видя стрика ви, драга. Защо тая тѣга днесъ?

Барберина. За послѣднето азъ би трѣбвало васъ да попитамъ. Вие казвате, че скоро ще се върнете? ако това е истина, азъ нѣма да тѣжа. Но вие сами не сте ли печални?

Улрихъ. Когато небото е тѣй забулено съ облаци, мъгла, азъ не зная кѣдѣ да се дѣна.

Барберина. Мой драгий господарю, ще ви искамъ една милость.

Улрихъ. Каква зима! каква зима настава! какви пѣтища! какво врѣме! природата съ трѣпетъ се свива, като че ли смъртъта ще погълне все и вся.

Барберина. Най-напрѣдъ ви моля да ме изслушате, а послѣ да ми дарувате милость.

Улрихъ. Що искашь, душо моя? Прости ме, азъ не зная, що днесъ съ менъ става.

Барберина. Нито пакъ азъ зная, що ти имашъ, и милостьта, която ще направите, Улрихе, е да кажете това на вашата жена.

Улрихъ. О, Боже мой, азъ нѣмамъ нищо за казване, нито пакъ нѣкаква тайна.

Барберина. Азъ не съмъ Порция и нѣма да се убода съ погледъ за да докажа, че съмъ храбра. Но и ти тѣй сящо не си Брутъ и вѣрвамъ, нѣмашъ желание да убивашъ нашиятъ добъръ кралъ Маттей Корвинъ. Слушай, за всичко, което искамъ да зная, не се мзискватъ ни високи думи, нито пакъ да падамъ на колѣнѣ врѣдъ тебе. Ти имашъ нѣкаква скръбъ. Дойди при менъ; ето рѣката ми, — истинскійтъ пѣтъ на моето сърдце, нека твоето сърдце се отзове на мойтъ кличъ.

Улрихъ. Както ти искрено ме питашъ, така и азъ ще ти отговора. Ваща ти не бѣше богатъ; мойтъ биде богатъ, но прахоса

своето внимание. Ние двама се оженихме млади, и влиъзъ отъ голѣми титли, притежаваме твърдѣ малко. Наскърбява ме, че нѣмамъ също да те направя честита и богата, както Господь те е създалъ добра и хубава. Нашиятъ приходъ е тъй незначителенъ, но пакъ не ми се ще да го увеличавамъ чрезъ поробване на нашитѣ фермери. До гдѣто съмъ живъ, тѣ нѣма да плащатъ по-вече, отъ колкото сж плащали на баща ми. Азъ мисля да постъпя на служба у кралятъ и да ида при дворѣтъ.

Барберина. Наистина това е добро рѣшенне. Кралятъ никога не е посрѣщалъ лоше единъ достоенъ болѣринъ, той нѣма да се забави съ свѣтитѣ милости, кога нѣкой прилича на тебе.

Улрихъ. Това е истина; но ако азъ замина, трѣбва тебе да оставя тука; защото за да оставимъ тая къща, гдѣто ние помннуваме съ таква мъжа, трѣбва да имаме също сигурно да живѣемъ другадѣ; пакъ азъ не мога да се рѣша да те остава сама.

Барберина. Защо?

Улрихъ. Ти питашъ защо? а какво направи сега? Не изтрѣгна ли отъ мене една тайна, която азъ бѣхъ се зарекълъ да скрия? и що ти стигна за това, — една усмивка.

Барберина. Да не си ревнивъ?

Улрихъ. Не, моя любовь, но вие сте прѣкрасни. Що ще бжде съ тебе, когато азъ замина? всички околни владѣлци нѣма ли да почнатъ да прѣпридатъ изъ пѣтекитѣ? а пакъ азъ, който ще ида на далечъ да гоня вѣтъра, нѣма ли да си загубя синѣтъ. А, Барберино, далечъ отъ очи, далечъ отъ сърдце.

Барберина. Слушай, Господь е свидѣтель, че азъ бихъ се задоволила прѣзъ цѣлий си животъ съ тойзи старъ замъкъ и съ малкото земя, която притежаваме, ако тебе се харесваше да живѣешъ тамъ заедно съ мене. Азъ ставамъ, слизамъ при слугитѣ, въ черниятъ дворъ, приготвявамъ твоята трапеза, придружавамъ те на черкова, прочитамъ ти по нѣкой друга страница, малко нѣщо пошня, и заспивамъ задоволна възъ твоего сърдце.

Улрихъ. Какъвъ си ангель!

Барберина. Азъ съмъ ангель, но ангель-жена; сирѣчь да имахъ два коня, щѣха тѣ да ни закарватъ на черкова. Не щѣхъ да се сърда, ако накитѣтъ ми бждеше позлатенъ, фустата по-дълга, и това да караше моитѣ съсѣди да бѣснѣятъ. Увѣрявамъ те, че нищо не прави насъ, женитѣ, тъй легки, като една дузина лакти кадифе, които се влечатъ отъ-подирѣ ни.

Улрихъ. Та що отъ това?

Барберина. Що отъ това! краля Маттей не може освѣнъ до-

брѣ да те посрѣщне, и ти ще разбогатѣшь при неговий дворъ. Свѣтвамъ те да идешъ тамъ. Ако азъ не мога да те послѣдвамъ — нѣма нищо! както прѣди малко ти протегнахъ ръка за да добия тайната на сърдцето ти, сжщо така, Улрихе, азъ ти я подавамъ отново и се кълна, че ще ти бжда вѣрна.

Улрихъ. Его ти моята.

Барберина. Оня, който самъ обича, може само да знае колко го обичатъ. Тръгни самъ, и всѣкий пжтъ, кога се съмнишь въ жена си, припомни си, че жена ти сѣди прѣдъ вратата и гледа къмъ пжтътъ, и че тя не се съмнѣва въ тебе. Ела, друже, Лудвигъ ни чака.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Рицарьтъ, Розенбергъ.

Розенбергъ. Азъ не зная нищо по приятно, слѣдъ като чело-вѣкъ добръ си хапне, освѣнъ да сѣдне на откритъ въздухъ съ умни хора и свободно да приказва за жени, съ единъ приличенъ тонъ.

Рицарьтъ. Прѣпоржчани ли сте на кралицата?

Розенбергъ. Да, азъ се надѣвамъ да бжда добръ приетъ. (*Тѣ сѣдатъ.*)

Рицарьтъ. Не се съмнѣвайте въ усиѣхъ, и ще го имате. — Прѣзъ последнята война, която иммахме съ Турчатѣ, подъ началство на Трансилванскийтъ Войвода, една вечеръ азъ срѣщнахъ въ една гжста гора едно младо изгубено момиче.

Розенбергъ. Какъ е името на тая гора?

Рицарьтъ. Това бѣше една извѣстна гора по брѣговетѣ на Каспийско море.

Розенбергъ. Такъва азъ не зная, дори по книгитѣ.

Рицарьтъ. Тая бѣдна дѣва бѣха нападнали трима разбойници, покрити съ жельзо отъ глава до пети, и яхнали на чудесни конѣе.

Розенбергъ. Колко вашитѣ думи ме заинтересуваха: цѣлъ съмъ се обърналъ въ слухъ.

Рицарьтъ. Азъ слѣзохъ отъ коня си, и като си истеглихъ саблята, заповѣдахъ на разбойниците да се махатъ. Дозволете ми да прѣмълча похвали за себе си; вие разбирате, че азъ трѣбовамъ да ги убия и тронцата. Подиръ една борба отъ най-кървавитѣ. . .

Розенбергъ. Вие сами не получихте ли нѣкакви рани?

Рицарьтъ. Единъ отъ тѣхъ само на смалко щеше да ме пробде съ мждракътъ си; но като го избѣгнахъ, азъ стоварихъ такъвъ

ударъ съ сабля върхъ главата му, щото той падна мъртавъ, неподвиженъ. Като приближихъ на часътъ до младото момиче, азъ распознахъ въ него една княгиня, която ми е невъзможно да ви повмѣнувамъ.

Розенбергъ. Азъ разбирамъ вашитѣ причини и далечъ съмъ отъ да настоявамъ. Сдържанността е начало за всѣкий чловѣкъ, който знае свойтъ свѣтъ.

Рицартъ. Така сжщо нѣма да ви кажа съ какви милости тя ме почете. Азъ я отведохъ у дома ѝ, и тя ми дарува свиждание за въ другий день; но понеже цартъ, баща ѝ, бѣше се обѣщаль да я ожени за Караманлийскійтъ Паша, то бѣ не твърдѣ лесно да се виднмъ тайно. Освѣнъ шестдесетѣтѣ евуха, които де-нонощно бѣха надъ нея, още отъ дѣтнство я били повѣрили на единъ великанъ, по име Молохъ.

Розенбергъ. Момче! донесъ ми една чаша токай.

Рицартъ. Вие си прѣдставяте какво прѣдприятие! Да се промъкнешъ въ единъ недостъпенъ замъкъ, създаанъ върхъ скала, въ чието подножие се биятъ вълни, и обиколенъ отъ такъва стража! Ето, господине Розенбергъ, какво азъ намислихъ. Моля ви, дайте ми цѣлото си внимание

Розенбергъ. Съ Богородице! главата ми огньъ гори!

Рицартъ. Азъ зимахъ единъ челнъ и се пустнахъ въ морето. Тамъ се мѣтнахъ въ вълнитѣ и чрѣзъ талисмантъ, който ми бѣ далъ единъ чехскій магьосникъ, мой приятель, азъ бидохъ исхвърленъ на брѣгтъ, до-сжщъ като удавеникъ. Това бѣ въ оня часъ, жогато великантъ Молохъ заобикаляше стѣнитѣ; той ме намѣри протнать на пѣсѣкътъ, и ме прѣнесе на своето лѣгло.

Розенбергъ. Азъ се сѣщамъ вече; то е въсхитително.

Рицартъ. Пододоха ми всички помощи. Що се касае до мене, съ полу-затворени очи азъ очаквахъ само минутата, кога ще остана на-самъ съ исполнитѣ. Веднага се хвърлихъ отъ горѣ му, хванахъ го за дѣсната нога и го търкулнахъ въ морето.

Розенбергъ. Азъ трѣпера. . . Сърдцето ми тупа.

Рицартъ. Признавамъ, че опасността не бѣ отъ малкитѣ, защото при шумтъ на паданието шестдесетѣтѣ евуха дотърчаха съ сабли въ рѣка; но азъ сколасахъ отново да си лѣгна, и се прѣсторихъ на джлбоко заспаль. Далечъ отъ да ме заподозрагъ, тѣ оставиха въ стаята ми една отъ прислужницитѣ на княгинята да ме глея. Тогава, като измъкнахъ изъ назухата си едно стькленце и една кама, азъ заповѣдахъ на тая жена да върви подирѣ ми: зешете това питие, ѝ казахъ, и гледайте незабѣлѣжено да го смѣшате

въ тѣхното впно, или тутакси ще ви заколя. — Тя ме послуша безъ да ми отвърне дума, и въ скоро врѣме евнухитѣ заспаха отъ дѣйствието на питието и азъ останахъ господарь на замъкътъ. Ужтихъ се направо къмъ отдѣленieto на женитѣ. Заварихъ ги готови да лѣгатъ; но, като не искахъ да имъ направя никакво зло, само се задоволихъ съ това, че ги заключихъ въ стаятъ имъ, и зехъ съ себе си всичкитѣ ключове, които достигаха до 120 на брой. Тогава, слѣдъ като всички мъжкотипи бѣха отстранени, азъ отидохъ при книгинята. Още у прагътъ на нейната врата, азъ станахъ на едно колѣно: Царице на моето сърце, ъ проговорихъ съ гласъ на най-дълбоко почитание. . . Но простете, господине Розенбергъ, азъ съмъ длъженъ да спра, скромността ми налага тая длъжностъ.

Розенбергъ. О, азъ виждамъ, че нищо не може да стои на срѣща ви! Ахъ, колко ми се ще по-скоро да стигна при дворътъ! Но тие незнайни питиета, тие таинствени талисмани, гдѣ да ги намѣра, господинъ рицарю?

Рицарьтъ. То е мъчно; но азъ мога да ви повѣра нѣщо! Бжлете увѣрени, че ако имате пари, то е най-добриятъ талисманъ, какъвто може се намѣри.

Розенбергъ. Хвала Богу! въ тѣхъ недостатъкъ не усѣщамъ; баща ми е най-богатиитъ владѣлецъ въ страната. Въ навечерието на моето тръгване той ми даде добра сума, а леля Беатриса плачешкомъ ми пуствна въ рѣка една хубавичка киспя, която тя сама бѣ изработила. Коньетѣ ми сж огнени и добрѣ отхранени, монѣтъ слуги добрѣ облѣчени, та и азъ самъ не изгледамъ злѣ.

Рицарьтъ. Всичко това е чудесно и нищо по-вече не се изисква. . .

Розенбергъ. Най-лошото е, че азъ нищо не зная и че нищо не мога да запомня наизустъ. Рѣцѣтъ ми трѣператъ, щомъ заговора съ жени.

Рицарьтъ. Испийте си чашата, де. За да имате успѣхъ въ свѣтътъ, господине Розенбергъ, запомнете добрѣ тѣзи три правила: да видишъ, значи да знаешъ; да желашъ, значи да можешъ; да дързаешъ, значи да имашъ.

Розенбергъ. Азъ трѣбва да си запиша това. Думитѣ ми се виждатъ смѣли и звучни. Съзнавамъ се, обаче, че не ги проумѣвамъ добрѣ.

Рицарьтъ. Прѣди всичко, ако вие искате да се харесвате на женитѣ, а това е първа работа, когато човекъ иска нѣщо да направи, отнасяйте се къмъ тѣхъ съ най-дълбоко уважение. Обръ-

щайте се съ тѣхъ (безъ исключение) не по-вече и не по-малко-като съ божества. Истина, вие можете, ако това ви се харесва, прѣдъ други мъжѣ високо да казвате, че на сѣщатѣ тие жени вие не придавате никакво значение; но само по единъ общъ начинъ и безъ никога да злоизчислявате противъ една по-вече, нежели противъ останалитѣ. Когато се намѣрите близу до нѣкоя блѣдна блондинка, на крайчеца на нѣкоя софа, и кога я видите пѣжно облѣгната на възглавници, дръжте се на далечъ, играйте съ крайтъ на нейниитъ поясъ и кажете ѝ, че имате голѣма скръбъ. При една брюнетка, ако тя е жива и игрива, придавайте си изгледъ на рѣшителенъ чловѣкъ, говорете ѝ на ухо, и ако крайчеца на мустакатъ ви се докосне до нейната страна, отъ това голѣмо зло пѣма; но, по общо правило, на всѣка жена казвайте, че въ сърцето ѝ се таи бисеръ, и че всички страдания сѣ нищо, щомъ тя дозволи да се стисне крайтъ на нейнитѣ прѣсти. Нека всички ваши обноски спрямо нея наумяватъ овие вѣжливи лакеи, които носятъ велколѣпни ливреи: съ една дума, различавайте винаги най-тънко тие два дѣла на животътъ, формата и съдържанието; — ето главната работа. Така вие ще изпълните първото правило: Да видишь, значи да знаешъ, — и вие ще минувате за опитенъ.

Розенбергъ. Продължавайте, за бога; азъ се чувствувамъ съвсѣмъ другъ; и въ душата си благославямъ оня случай, който ми даде възможность да ви срѣцна въ тая гостинница.

Фицарьтъ. Когато единъ пѣтъ за винаги покажете добръ на женитѣ, че вие имъ се присмивате съ най-голѣма вѣжливостъ и бескрайна почителность, обърнете се къмъ мъжѣтъ. Азъ съ това не ще да кажа, че трѣбва да се заловите за тѣхъ; напротивъ, никога не дѣйте изглежда, че ви занимава онова, което тѣ говорятъ или вършатъ. Бждете всѣкога вѣжливъ, но явявайте се равнодушенъ. Показвайте се като рѣдкость, и всички ще ви обичатъ, — това е една турска пословица. Чрѣзъ това, вие ще добиете едно голѣмо прѣимущество. Като минувате навсѣжду въ мълчание и съ единъ немарливъ видъ, ще обръщатъ внимание, че вие минувате. Вашето облѣкло, всичко което има нѣкакво отношение къмъ васъ, нека проявява необузданна роскошь; постоянно привличайте погледитѣ. Никога да не ви дохожда мисль, че се съмнѣвате въ себе си, защото на часѣтъ и цѣлиитъ свѣтъ ще се усъмни въ васъ. Случи ли ви се да исрустнете най-голѣмата глупость на свѣта, не дѣйте отстъпня отъ нея, било за дявола, по-добрѣ нека ви убиятъ.

Розенбергъ. Убиятъ!

Фицарьтъ. Да, безъ всѣко съмнѣние. Словомъ, дѣйствувайте.

че по-вече и не по-малко, като че ли слъпцето и звѣздитѣ сж наше собствено притежание, и като че ли фея Моргана ви е държала надъ кръщелната купель. По тоя начинъ вие ще изпълните вгортото правило: Да желаешъ, значи да можешъ; и ще добиете слава на страшень.

Розенбергъ. Колко ще ми бжде весело при двортьтъ, и прѣ-красно нѣщо е да си голѣмъ господарь!

Рицартьтъ. Веднаждъ спечелили одобрението на женитѣ и очудванието на мжжъетѣ, помислете за себе си, господине Розенбергъ. Ако дигате ржка, нека първийтъ ви сабеленъ ударъ нанася смъртъ, както първий вашъ погледъ трѣбва да възбужда любовь. Животътъ е ужасна пантомима, и жесътъ нѣма що да прави нито съ мисльта, нито съ думитѣ. Ако думитѣ сж ви накарали да обикнете, мисльта да се уплашите, жесътъ нищо това да не знае. Тогава останете си вие самі. Удряйте като гръмъ! Свѣтътъ да исчезне прѣдъ очитѣ ви; оная искра животъ, която сте получили отъ Бога, нека да се осамоти и нека самата тя стане Богъ; нека вашата воля бжде като озото на рись, муцуната на куна, като стрѣлата на войникъ. Когато дѣйствувате, забравяйте, че на земята има други сжщества освѣнъ васъ и оногова, съ когото имате работа. По тойзи начинъ, отъ като деликатно разтикате тълпата, която ви окръжава, и дойдете до цѣльта си, и сполучите, вие ще можете съ сжщото благодушие отново да встѣпите въ нея и да си обѣщаете нови успѣхи. И тогава ще пожънете плодоветѣ отъ третъто правило: Да дързаешъ, значи да имашъ, — и ще станете сжщински опитень, страшень и всеилень.

Розенбергъ. О, правий Боже! да знаехъ азъ това по-рано! Вие ми докарвате на умъ една вечерь, когато бѣхме сѣднали съ леля ми Беатриса край рѣкичката. Азъ усѣщахъ тъкмо онова, което вие сега казвате; стори ми се, че свѣтътъ исчезва и че ние сме самі подъ небото. И тѣй сжщо азъ я помолихъ да се върнемъ въ замъкътъ. Бѣше тъмно като въ пещь.

Рицартьтъ. Вие ми се виждате още много младъ, и дирите счастье твърдѣ отъ рано.

Розенбергъ. Никога не е твърдѣ рано, когато человекъ се прѣдзначава за война. Азъ въ живота си не съмъ видвалъ нито единъ турчинъ, а струва ми се, че тѣ всички трѣбва да приличать на дивн звѣрове.

Рицартьтъ. Съжалеявамъ, че важни дѣла ми забраняватъ да ида при двортьтъ; азъ бихъ билъ любопитень за види вашитѣ първи стѣпки. До тогава, ако обичате, азъ мога да ви направя единъ

сжъпоцѣненъ даръ, който чудесно ще ви спомогне. (*Той измъкна една малка книжка изъ джеба си*).

Розенбергъ. Тая малка книжица. . . що е това?

Рицарьтъ. Това е едно чудесно произведение. Сборникъ краткъ и подробенъ въ сжщо врѣме на всички любовни истории, хитрости, и срѣдства, способни да образувать единъ младъ челоувѣкъ и да го насърдчавать спрямо дамитѣ.

Розенбергъ. Какъ се нарича тая безцѣнна книга?

Рицарьтъ. «Стража на чувството». Това е едно неоцѣнимо съкровище и, между разказитѣ, които тя съдържа, вие ще срѣщнете доста такива, на които геройтъ съмъ азъ. При все това, обаче, трѣбва да ви се призная, че азъ не съмъ неинъ притежатель; тя принадлежи на единъ мой приятель, и азъ не мога да ви я отстъпя, безъ да ми дадете за нея десетъ жьлтвици.

Розенбергъ. Десетъ жьлтвици — то е нищо (*той ги дава*), особено подиръ прѣкрасний обѣдъ, който вие тѣй любезно ми прѣдложихте.

Рицарьтъ. Добъръ обѣдъ! една риба, и нищо повече!

Розенбергъ. Но тя бѣше въскитителна! Можете ли вие да повѣрвате, че азъ нѣкога ще забравя тая наша срѣща? Самó Провидѣнието ме изведе на тойзи пѣть. Такъва негодна гостиница! влажна постеля и безъ завѣси! Азъ не щѣхъ да прѣстоя тука нито единъ часъ, да не бѣхъ ви срѣщналъ.

Рицарьтъ. Какво да се прави, трѣбва челоувѣкъ къмъ всичко да навиква.

Розенбергъ. О, разбира се. Леля Беатриса щеше много да се безпокои, да знаеше, че съмъ въ такава лоша гостиница. Но ние, мжшьетѣ, не обръщаме внимание на всички тие дреболии. Господь да ви е закрильникъ, драгий господине! Коньетѣ ми сж готови, азъ трѣбва да се раздѣля съ васъ.

Рицарьтъ. До виждане, не ме забравяйте. Ако нѣкога ви дотрѣбва Войводата, азъ съмъ неговъ ближень роднина и ще си наумя за васъ.

Розенбергъ. Бждете тѣй сжщо увѣрени въ моята пълна прѣданность.

ДѢЙСТВИЕ ВТОРО.
При дворѣтъ; градина.

ЯВЛЕНИЕ I.

Кралицата, Улрихъ, нѣколко придворни.

Кралицата. Добрѣ дошли, графе Улрихъ. Кралѣтъ, нашии сжпругъ въ тоя часъ е задържанъ далечъ отъ насъ, чрѣзь една твърдѣ дълготрайна и жестока война, която струва на нашата младежъ богатъ дѣлъ отъ нейната благородна крѣвь. Това е едно печално удоволствие, като я виждаме всѣкий часъ готова да я пролива, но пакъ то е удоволствие и въ сжщо врѣме слава за насъ. Потомцитъ на първнитѣ родове на Чехия и Унгария, като се сбвратъ на около нашии прѣстола, каратъ сърдцето ни да тупа гордо и воинственно. Каквато и да бжде сждбата на единъ войникъ, кой дерзае да го жали. Въ всѣкий случай това нѣма да бжде азъ, нито като кралица, нито пакъ, Улрихе, като дщера на Арагония. Азъ добрѣ познавахъ баща ви, и вашай младъ образъ ми говори за миналото.. За това бждете тука като синъ на единъ споменъ, който ми е сжкъпъ. Ние ще поговоримъ за васъ тая вечеръ съ канцлерѣтъ; бждете търпѣливи, азъ се земамъ да ви прѣпорѣжа на него. И кралѣтъ така сжщо ще ви приеме съ моята прѣпорѣжа. Понеже нашитѣ трѣби сж ви пробудили въ вашийтъ замъкъ, и отъ дълбочинитѣ на вашата самотия ние сте дошли да сподѣлите нашитѣ опасности, ние нѣма да ви оставимъ да се каете, че сте останали храбръ и вѣренъ; ето ви въ залогъ нашата царска рѣжа. *(Кралицата излиза. Улрихъ ѝ цѣлува рѣжа, послѣ се оттегля на страна.)*

Единъ придворенъ. Ето человекъ, когото кралицата за пръвъ пѣтъ вижда и приема по-добрѣ, отъ колкото всинца ни, които сме тугъ отъ тридесетъ години на-насамъ.

Другъ. Да идемъ при него и да се научимъ, кой е той.

Първийтъ. Не се ли научихте? Той е графъ Улрихъ, единъ чехский болѣринъ. Той търси щастие, като нѣкой младоженецъ, който иска да има съ какво да весели жена си.

Вторийтъ. Какво казватъ за жена му, да ли е тя хубавичка?

Първийтъ. Прѣкрасна; тя е перлѣтъ на Унгария.

Вторийтъ. А кой е тойзи другъ младъ момъкъ, който иде на насамъ и подскача?

Първийтъ. Не го познавамъ. Това трѣбва да е пакъ нѣкой

зновъ пришлецъ. Щедростта на кралятъ привлича тука всички оние мухи, които дирятъ слънчевъ лучъ. (*Влиза Розенбергъ*).

Вторийтъ. Тойзи ми се вижда лукава гадина, сжщо оса въ свойтъ пьстръ корсетъ. — Господине, поздравляваме ви. Що ви доведе въ тая градина?

Розенбергъ, (на страна). Отъ вси страни ме запитватъ, а пакъ азъ не зная дали трѣбва да отговарямъ. Всички тие нови лица, тие ококорени очи, които ви разгледватъ, ме смущаватъ до нѣмай кждѣ! (*Високо*). Гдѣ е кралицата, господа? Азъ съмъ Астолфъ фонъ Розенбергъ, и желая да ѝ се прѣдстави.

Първийтъ придворенъ. Кралицата токо що излѣзе изъ двореца. Ако искате да ѝ говорите, почакайте, когато тя ще минува отъ тука, при завръщанието си подиръ единъ часъ.

Розенбергъ. По-врага! Това е неприятно. (*Той сѣда на една лавица*).

Вторийтъ придворенъ. Вие безъ друго идете за празненствата?

Розенбергъ. Немà ще има празненства? Какво щастие! — Не, господа, азъ ида да постѣпя на служба.

Първийтъ придворенъ. Всички по тие врѣмена се стичатъ за служба.

Розенбергъ. О, да, то се вижда. Много звани, но мало избрани.

Вторийтъ придворенъ. Вие се произнасяте строго.

Розенбергъ. Та не виждаме ли сума болѣрчета, които не заслужватъ дори и дума за тѣхъ да става, а издаватъ себе си за велики военачалници! Като ги слуша человекъ, може да помисли, че тѣмъ остава само да се качатъ на конь за да пропѣдатъ Турчина отвадъ Кавказъ, а пакъ тѣ въ сжщностъ излизатъ отъ нѣкоя дупка изъ Чехия, като сплашени плѣхове.

Улрихъ, (като се приближава). Господине, азъ съмъ графъ Улрихъ, чехскій болѣринъ, и намирамъ вашитѣ думи малко нѣщо легки, което се прощава на годинитѣ ви, но при все това азъ ви съвѣтвамъ да ги поскжсите. Да бжде человекъ вѣтърничавъ е сжщо такъвъ голѣмъ недостатъкъ, както да е бѣденъ, позволете ми да ви го кажа, — дано тойзи урокъ ви принесе полза.

Розенбергъ, (на страна). Това е мойтъ Чехъ отъ гостинищата. (*Високо*). Да се изражава человекъ въ общи думи не значи да оскърбява нѣкого. Що се касае до уроци, азъ съмъ наученъ да ги давамъ, но не да земамъ.

Улрихъ. Ама че високомѣренъ языкъ, — та и отъ-гдѣ вие сами произлизате, за да имате право така да говорите?

Първийтъ придворенъ. Прѣстанете болѣре, нѣколко думи, испустнати безъ зло намѣрение, да не станатъ причина за кавга. Ние мислимъ, че трѣба да се намѣсимъ; припомнете си, че се намирате у Кралицата. Тая една дума ви казва доста.

Улрихъ. Това е истина, и азъ ви благодаря, че у врѣме ме подсѣтихте. Азъ щѣхъ да бжда недостоенъ за онова име, което нося, ако не се склонѣхъ прѣдъ това прѣдизвание.

Розенбергъ. Да стане всичко по ваше щение, азъ нѣмамъ нищо противъ. (*Придворнийтъ излизатъ. Улрихъ и Розенбергъ оставатъ всѣкой на мѣстото си.*)

Розенбергъ, (на страна). Рицаръ Владиславъ ми прѣпорѣча никога да не отстъпямъ отъ нѣщо, веднаждъ изречено. Отъ като съмъ при дворѣтъ, думитѣ на тойзи достоенъ чловѣкъ не ми излизатъ изъ главата. Азъ не зная що съ менъ става, усѣщамъ въ себе си сърдце на левъ. Или азъ се мамя, или ме чака щастие.

Улрихъ, (на страна). Съ каква благодетъ ме прие кралицата! и пакъ азъ чувствувамъ тѣга, която нищо не може да надвие. Какво ли прави тоя часъ Барберина? Уви! уви! щеславие! Не ми ли бѣ добръ въ мойтъ старъ замъкъ? сиромашкий, безъ съмнѣние, но що отъ това? О безумие! о какви сме ние мечтатели!

Розенбергъ, (на страна). Особенно тая книга, която купихъ, ми разбърква мозъкътъ, ако я разжрна вечеръ кога лѣгамъ, не мога да заспя цѣла нощъ. Колко чудни разкази, колко въсхитителни нѣща! Единъ испосиача на парчета цѣла войска; другъ скоква, безъ да се нарани, отъ върхътъ на една камбанария въ Каспийско море, и да се каже, че всичко това е истинно, че всичко това е станало? Има единъ разказъ, който особено ме поражавя: (*тои се исправя и четте високо*) „когато Султанъ Боабдигъ. . .“ А, ето че нѣкой ме слуша; това е Чехскыйтъ болѣринъ. Азъ трѣбва да се помиря съ него. Когато дирѣхъ да се скарамъ, изъ умътъ ми бѣ искочило, че той има хубава жена. (*Къмъ Улриха*). Вие сте отъ Чехия, господине? Вие трѣбва да познавате стрика ми, барона фонъ Енгелбрехтъ?

Улрихъ. Отъ близу; той е единъ отъ мойтѣ съсѣди; миналата зима ние ходѣхме заедно на ловъ. Той е родинна, истина далечна, съ семейството на жена ми.

Розенбергъ. Вие сте родинна съ мойтъ стрика Енгелбрехтъ? Дозволете ми да се запознаемъ. Отдавна ли сте тука?

Улрихъ. Има само единъ день отъ какъ съмъ пристигналъ.

Розенбергъ. Струва ми се, че казвате това съ съжалѣние. Да не сте оставили подирѣ си нѣщо, което поражда вашата печаль? Разбира се, всѣкога е неприятно, кога чловѣкъ се раздѣля съ семейството си, особено кога е жененъ. Вашата жена трѣбва да е млада, защото вие сами сте младъ, а слѣдователно, и хубава. Тогава има защо да се безпокоите.

Улрихъ. Безпокойство най-малко влиза въ моитѣ грижи. Жена ми е прѣкрасна; но слънцето на безоблачно небо прѣзъ единъ юлскій день не е по-чисто отъ благородното сърдце въ любящитѣ ѝ гърди.

Розенбергъ. Това е много казано. Освѣнъ Господа Бога, кой може да знае сърдцето на другиго? Признавамъ се, че на ваше мѣсто азъ не щѣхъ да бѣда спокоенъ.

Улрихъ. Кажете защо, моля ви?

Розенбергъ. Защото азъ щѣхъ да се съмнѣвамъ въ жена си, или вече тя трѣбва да е самата добродѣтель.

Улрихъ. Азъ съмъ увѣренъ, че моята е такава.

Розенбергъ. Въ подобенъ случай вие притежавате една рѣдкостъ. Не отъ нашиятъ ли добъръ кралъ Матей вие имате тая привилегия, която ви отличава отъ всички други мъже?

Улрихъ. Не кралятъ ми е дарувалъ тая милость, а Богъ, който малко нѣщо е по-вече отъ кралъ.

Розенбергъ. Азъ не се съмнѣвамъ, че вие сте прави, но не знаете ли какво казватъ философитѣ заедно съ латинскійтъ поетъ. Що е по-легко отъ перо? прахътъ; — по-легко отъ прахъ? вѣтърътъ; — по-легко отъ вѣтърътъ? жената; — по-легко отъ жена? нищо.

Улрихъ. Азъ съмъ войникъ, а не философъ, и малко ме е грижа за поетитѣ. Всичко, което азъ зная, наистина, е че жена ми е млада, гиздава и снажна, както по насъ казватъ; че нѣма ржкодѣлие, което тя да не знае по-добрѣ отъ всѣкиго; че въ цѣлото царство не може се намѣри ни кавалеръ, ни мажордомъ, който да умѣ по-добрѣ и по съ голѣма привѣтливостъ да нареди трапезата на единъ болѣринъ; добавете къмъ това, че тя знае много-добрѣ и смѣло да ѣзди на конь, да държи соколъ връхъ пестничето си на ловъ, и въ сѣщо врѣме да води редовни смѣтки като търговецъ. Ето каква е тя, господине, и при всичко това, азъ не бихъ се съмнѣлъ въ нея, да останѣхъ дори десетъ години безъ да я видя.

Розенбергъ. Ама че чудесенъ портретъ! (*Влиза Полакко*).

Полакко. Цѣлувамъ ви ржцѣтъ, болѣре, кланямъ ви се. Здра-

вието е чедо на младостта. Хе, хе! благи Божьи образи! Св. Богородица да ви е на помощ.

Розенбергъ. Какво искашъ, приятелю? За кого ни приемашъ?

Полакко. Цѣлувамъ ви рѣцѣтъ, боѣре, и ви прѣдагамъ моитѣ услуги, моитѣ дребни услуги за Бога.

Угрихъ. Та вие просякъ ли сте? Азъ не очаквахъ да срѣщна такива по тие аллен.

Полакко. Просякъ! Господи! Просякъ! Азъ не съмъ никакъвъ просякъ, азъ съмъ честенъ челоуѣкъ! името ми е Полакко; Полакко не е просякъ. Въ името на Св. Магтей! Просякъ не е дума, която може да се каже за Полакко.

Угрихъ. Обяснете се, и недѣйте се докача, за гдѣто ви питамъ кой сте.

Полакко. Хе, хе! не се докачамъ; ни най малко не се докачамъ. Нашитѣ млади момци ще ви обадятъ за мене. Кой не познава Полакко?

Угрихъ. Азъ, защото токо що съмъ пристигналъ, и не познавамъ никого.

Полакко. Добрѣ, добрѣ, и вие ще ме подирите, всѣкий бива полезенъ въ свое врѣме и на свое мѣсто, всѣкий въ свойгъ тѣсенъ кръгъ; за това не трѣбва да се прѣзиратъ хората.

Угрихъ. Какво уважение или прѣзрѣние азъ мога да имамъ спрямо васъ, когато вие не искате да ми кажете кой сте?

Полакко. Ст! мѣкъ! мѣсечината изгрѣва; его че първи-пѣтли пропѣха.

Угрихъ. Какво тайнствено безумие ти продавашъ съ твоего брѣтвение? ти приказвашъ като олицетворена трѣска.

Полакко. Огледалце, малко огледалце! Господъ е Господъ и светцитѣ сж благословени! Ето едно малко огледалце за проданъ.

Угрихъ. Ама пакъ работа за кунуване! То не е по голѣмо отъ рѣката ми и обшито съ кожа, като огледало на нѣкоя циганка врачка, кивито тѣ носатъ на гърдитѣ си.

Розенбергъ. Погледнете, що виждате въ него?

Угрихъ. Напестина нищо, дори върхътъ на носътъ си. Това е магическо огледало и е покрито съ кабалистически бѣлѣзи безъ-четъ.

Полакко. Коумто прилѣга ще види, коумто прилѣга ще види.

Угрихъ. А, а! азъ начевамъ да те разбирамъ; за-бога, ти си честенъ магносникъ. Е добрѣ, де, кажи какво се вижда въ твоеото стѣкло?

Полакко. Коумто прилѣга, ще види, коумто прилѣга ще види.

Угрихъ. Захващамъ още по-ясно да те разбирамъ. Ако се

не лъжа, това огледало трѣбва да показва отсъствающитѣ; азъ често съмъ видвалъ такива сжщо, на които приписватъ това свойство. Мнозина мои приятели отнесоха съ себе си такива въ войската.

Розенбергъ. Тѣй ли! Господине Улрихъ, тогава тойзи даръ иде у врѣме. Вие, които приказвахте за жена си, — това огледало е направено за васъ. Я ми кажете, добрий Полакко, да ли то показва само хората? Или и какво тѣ въ сжщо врѣме вършатъ?

Полакко. Бѣлото е бѣло, жълтото е злато. Златото е на дявола, бѣлото на Бога.

Розенбергъ. Чуйте, да нѣма това отношение къмъ вѣрността на женитѣ. Да, хващамъ се на басъ, че прѣдмѣтитѣ се явяватъ бѣли въ това огледало, ако жената е вѣрна, и жълти въ противенъ случай. Азъ така си разяснявамъ думитѣ: златото е на дявола, бѣлото на Бога.

Улрихъ. Заминавай си, мой добрий приятелю; ни тойзи болѣрницъ, ниго азъ имаме нужда отъ услугитѣ ви. Той е ергенъ, а пакъ азъ не съмъ суевѣренъ.

Розенбергъ. Не, заклѣвамъ се въ живота си! Господине Улрихъ, понеже вие сте мой съюзникъ, азъ ще направя това за васъ. Азъ ще купя това огледало самъ, и ние веднага ще погледнемъ, дали жена ви не се разговаря съ нѣкого отъ съсѣдитѣ.

Улрихъ. Махайте се, старче, моля ви.

Розенбергъ. Не, не, той нѣма да си иде безъ ние да направимъ тойзи опитъ. За колко продавашъ огледалото си, Полакко? (*Улрихъ се отдалечава малко и се расхожда*).

Полакко. Хе, хе! всѣкиму свой часъ, мой скжщий господарю; всѣкиму свой мигъ и свой часъ.

Розенбергъ. Азъ те питамъ за цѣната?

Полакко. Който отказва, послѣ се прозѣва, който се прозѣва, губи.

Розенбергъ. Азъ не се прозѣвамъ, а искамъ да купя твоето огледало.

Полакко. Хе, хе, който губи врѣме . . . врѣмето го печели, който губи врѣме . . .

Розенбергъ. Разбирамъ те. Ето ти моята кисия. Ти безъ друго се страхувашъ да не би да те видятъ, че идешъ тука да въртишь своята дребна търговия.

Полакко, (като зема кисията). Добрѣ казано, добрѣ казано, мой драгий господарю, стѣнитѣ иматъ очи, дърветата тѣй сжщо. Господъ да пази полицията! полицейскитѣ сж чесни хора!

Розенбергъ, (като зема огледалото). Сега ти трябва да ми пояснишъ магическитѣ дѣйствия на това малко огледало.

Полакко. Господине, като държите очитѣ си внимателно взрѣни въ това огледало, вие ще видите, че легка мъгла бавно ще почне да се разсѣва; ако удвоите вниманне, скоро ще се подаде единъ неясенъ мѣделивъ образъ; вниманието още по-усилено, образътъ става ясенъ; той ви прѣдставлява портретътъ на оноа отсѣтствующе лице, за което вие сте помислили при хващаннето на огледалото. Ако това лице е жена и ако тя ви е вѣрна, образътъ е бѣлъ и почти бѣлъ; тя слабо ви се усмихва. Ако тя само е въ искушение, образътъ ѝ е блѣдожълтъ, като позлатата на узрѣлъ класъ; ако тя е невѣрна, образътъ става черенъ като вжгленъ, и тутакси се усѣща нѣкаква гнила меризма.

Розенбергъ. Нѣкаква меризма, казвашъ ти?

Полакко. Да, като кога поливатъ нажсжени вжглища съ вода.

Розенбергъ. Добрѣ, тогава земй изъ тая кисня каквото ти се пада, а останалото ми повърни.

Полакко. Който дойде ще знае, който знае ще дойде.

Розенбергъ. Толкова ли скъпо продавашъ тоя черепъ? :

Полакко. Който дойде, ще види, който види, ще дойде.

Розенбергъ. По-врага съ твоитѣ пословици.

Полакко. Цѣлувамъ ви дѣсницитѣ, дѣсницитѣ . . . Който дойде ще види. (Той излиза).

Розенбергъ. Сега, господине Улрихъ, ако желаете, лесно е да узнаемъ, кой има право, вие или азъ?

Улрихъ. Азъ вече ви отговорихъ, и не мога да търпа това гаврене.

Розенбергъ. Добрѣ, вие нели заедно съ мене чухте обясненията на тойзи достоенъ врачъ. Що ни струва да направимъ единъ опитъ? Моля, хвърлете погледъ въ това огледало.

Улрихъ. Гледайте го вие сами, ако това ви се харесва.

Розенбергъ. Да, наистина, тѣй като вие не щете, азъ ще се заловя да гледамъ и да мисля за вашате любезна графиня, стига само да се появи, било бѣлъ или жълтъ, нейнийтъ въсхитителенъ образъ. Гледай, гледай, че я вече съзирамъ!

Улрихъ. Единъ пжтъ за винаги, господинъ кавалере, казвамъ. ви, недѣйте продължава на тойзи тонъ. Чуйте ми съвѣтътъ.

ЯВЛЕНИЕ П.

Сжщитѣ; нѣколко придворчи.

Шрвйитъ придворенъ. Графе Улрихъ, кралицата ей-сега ще-

се върне въ дворецътъ. Тя ни заповѣда да ви обадимъ, че вашето присъствие тамъ е необходимо.

Улрихъ. Благодаря ви безкрайно, господа, азъ съмъ въ пълно расположение на Нейно Величество.

Розенбергъ, (всѣ гледа на огледалото). Кажете ми господа, не чувствувате ли иѣкаква особена меризма?

Първиятъ придворецъ. Като каква меризма?

Розенбергъ. Като на гасени вжглища.

Улрихъ, (на Розенберга). Та вие заклѣхте ли се да не извадите отъ търпѣние?

Розенбергъ. Погледнете сами, графе Улрихъ; вече това сигурно не може да се нарече бѣло.

Улрихъ. Момче, ти докачашъ жена, която не познавашъ.

Розенбергъ. Може би, защото познавамъ други.

Улрихъ. Хубаво, понеже огледалата толкова ти се харесватъ, погледни се въ това (*той истегля саблята си*).

Розенбергъ. Чакайте, азъ не съмъ готовъ. (*Той тъй сящо измъква своята сабля*).

ЯВЛЕНИЕ III.

Скицитъ, кралицата, всичкитъ придворни.

Кралицата. Що означава това, младежи. Азъ вѣрвахъ, че унгарскитъ сабли се измъкватъ не за да поливатъ цвѣтата на моята градина. Кой даде поводъ за това спрѣчкване?

Улрихъ. Ваше Величество, простете ме. Има докачания, които азъ не мога да прѣтърпа. Не азъ съмъ докаченъ, но моята честъ.

Кралицата. За какво иде рѣчь? Говорете.

Улрихъ. Ваше Величество, азъ оставихъ въ мойтъ затѣтенъ замъкъ една жена прѣкрасна, като самата добродѣтель. Тойзи младъ момъкъ, когото азъ не познавамъ и който не познава жена ми, не се въздържа отъ да я земе на присмѣхъ, и съ това поведение той се хвали още. Свидѣтелствувамъ прѣдъ нозѣтъ ви, че вече веднажъ, прѣди малко, азъ се удържахъ отъ да истегла сабля, отъ почитѣжъмъ мѣстото, гдѣто се намирамъ.

Кралицата, (къмъ Розенбергъ). Вие ми се виждате много младъ, чедо мое. Що ви е дало поводъ да говорите лоше за една жена, вамъ непозната?

Розенбергъ. Ваше Величество, азъ не говорихъ лоше за една жена. Азъ си исказахъ мнѣнието за всички жени изобщо, и не е вината моя, че не мога да си го мѣня.

Кралицата. Наистина, азъ пакъ прѣдолагахъ, че съ опитъ можеше да се хвалишь, само слѣдъ като ти поникне брада.

Розенбергъ. Ваше Величество, право и справедливо е, че Вие се земате да защищавате добродѣтелята на женитѣ; но азъ не мога да имамъ заради това сжщитѣ причини.

Кралицата. Това е много дързостенъ отговоръ. Истина, върху тойзи прѣдмѣтъ всѣквй може да си има каквото иска мнѣние; но какъ ви се чини, господа, не е ли самонадѣянно и надуту безумие да се зема чловѣкъ да сжди всички жени? Това е единъ обширенъ въпросъ за да може да се поддържи, и да бѣхъ защитникътъ азъ, рашата кралица съ побѣлѣли коси, чедо мое, въ вѣзвпѣтъ можѣхъ да положа нѣкои думи, които вие още не знаете. Толкова младъ, кой ви научи да прѣзирате нашата доилка? Вие, който на гледъ токо-що излизате отъ училище, това ли прочетохте въ модрпѣтъ очи на младитѣ момичета, що наливатъ вода по чешмитѣ въ вашето село? Истина! първата дума, която можахте да срещете върху трѣптящитѣ листа на нѣкоя небесна легенда, прѣзрѣние ли бѣше? На ваши години вие прѣзирате? Тогава азъ съмъ по-млада отъ васъ, защото вие накарахте сърцето ми да затупа. Вижте, турете ржка върхъ сърцето на графа Улрихъ; азъ не познавамъ жена му по-вече отъ васъ, но съмъ жена, и виждамъ, какъ още саблята трѣпере въ ржката му. Обзалагамъ си вѣнчалниитѣ пръстенъ, че неговата жена му е вѣрна, като дѣва на Бога!

Улрихъ. Кралице, азъ приемамъ обзалогътъ и прибавямъ къмъ него всичко, що притежавамъ на земята, ако тойзи младъ момъкъ иска да се бие.

Розенбергъ. Азъ съмъ три пѣти по-богатъ отъ васъ.

Кралицата. Какъ ти е името?

Розенбергъ. Астолфъ фонъ Розенбергъ

Кралицата. Ти си Розенбергъ, ти? Азъ познавамъ баща ти, той ми е говорилъ за тебе. Иди си, иди, графъ Улрихъ не се обзалага съ нищо противъ тебе, ние ще те пратимъ още на училище.

Розенбергъ. Не, Ваше Величество. Нѣма да бжде казано, че азъ съмъ отстѣпилъ, ако графътъ настоява на обзалогътъ.

Кралицата. За какво се обзалагамъ ти?

Розенбергъ. Ако той иска да ми даде рицарска дума, че нищо нѣма да напише на жена си за станалото по между насъ, азъ залагамъ мойтъ имотъ срѣщу неговийтъ, или поне на равна стоймостъ, че още утрѣ ще отпѣтувамъ за она замъкъ, гдѣто той живѣе, и че онова бриллиантово сърдце, на което той толкува силно се ослани, нѣма дълго врѣме да ми противостои.

Улрихъ. Приемамъ, и вече е късно да ви противорѣча. Вие се биете на обзалогъ прѣдъ кралицата, и понеже нейното височайше присѣдствие ме накара да наклоня сабля, азъ нея земамъ за свидѣтелка въ оня почетенъ двубой, който ви прѣдлагамъ.

Розенбергъ. Прието, и нищо нѣма да ме накара да отстъпя, но трѣбва ми едно прѣноржчително писмо, за да имамъ по свободенъ достъпъ.

Улрихъ. Отъ все-сърдце, всичко каквото поискате.

Кралицата. И тѣй азъ съмъ свидѣтелка и сѣдия на прѣпирнята. Обзалогътъ ще бѣде записанъ отъ канцлерътъ на Правосѣдието на кралътъ, мойтъ господарь, и къмъ вашата дума азъ присѣдинявамъ моята, която никаква сила на свѣтътъ нѣма да умилосливни, когато опрѣдѣленниятъ день се измине. Вървете, господа, Господь да ви пази!

ДѢЙСТВИЕ ТРЕТЬО.

Зала въ замъкътъ на Барберина. Нѣколко голѣми прозорци отворени въ дълбочината къмъ вътрѣшниятъ дворъ. — Чрътъзъ единъ отъ прозорцитѣ се вижда кабинетъ въ една готическа кула, чийто прозорецъ тѣй сѣщо е отворенъ.

ЯВЛЕНИЕ I.

Розенбергъ, Калекери.

Розенбергъ. Ти казваше, хубава моме, че името ти е Калекери.

Калекери. Такова бѣ желанието на баша ми.

Розенбергъ. Добрѣ; а твоята господарка нѣма ли да се покаже.

Калекери. Тя се облича, тя се облича дълго време. Тя каза да ѝ извѣстимъ.

Розенбергъ. Не бързай, Калекери. Ако се не лѣжа, това име безъ-друго е турско или арабско.

Калекери. Калекери е родена въ Трапезунтъ, но тя не се е явила на тоя свѣтъ за онова клѣто мѣсто, което днесъ занпмава.

Розенбергъ. Ти като че ли си незадоволна отъ своята сѣдба. — Имашъ нѣщо да се оплачешъ противъ господарката си?

Калекери. Никой не се оплаква отъ нея.

Розенбергъ. Говори ми откровенно.

Калекери. Що ще рече споредъ васъ откровенно!

Розенбергъ. Да казвашъ, каквото мислишь.

Калекери. Когато Калекери не мисли нѣщо, тя нищо и не казва.

Розенбергъ. Това е чудесно. (*На страна*). Ето една млада дивачка, която нѣма отвратителенъ изгледъ. (*Високо*). И тъй, ти обичашъ господарката си?

Калекери. Всички я обичатъ.

Розенбергъ. Казватъ, че е много хубава.

Калекери. Казватъ право.

Розенбергъ. Тя трѣбва да е кокетка, защото толкова дълго време е заета съ своето обличане?

Калекери. Не, тя е добра.

Розенбергъ. Защо тогава ти се оплакваше, че се намиращъ въ тоя замъкъ?

Калекери. Защото дъщерята на моята майка трѣбваше да има много слугини, а не сама да бѣде една отъ тѣхъ.

Розенбергъ. Разбирамъ — нѣкои прѣвратности на щастieto.

Калекери. Пирати ме откараха.

Розенбергъ. Пирати! разкажи ми това.

Калекери. То не е приказка, ами докарва плачъ. Калекери никога не говори за него.

Розенбергъ. Наистина!

Калекери. Нито дори съ папагалчето си, ни съ кучето Мамутъ, нито пъкъ съ тръндафилтъ, който е въ моята стая.

Розенбергъ. Както се види, ти си мълчалива.

Калекери. Тѣй трѣбва да е.

Розенбергъ. Така и азъ мисля. Тука ли захвана да служишъ?

Калекери. Не, азъ бѣхъ въ Цариградъ, Смирна и Янина, у нашата.

Розенбергъ. А, а! колкото млада и да си, ти трѣбва да отбирашъ нѣщо отъ свѣта.

Калекери. Азъ всѣкога съмъ слугувала покрай жени.

Розенбергъ. То е доста за да научишъ нѣщо. Освѣнъ това, хубава Калекери, азъ смѣтамъ да прѣкарамъ нѣколко време тукъ, ако твоята господарка ме приеме добръ. Ако стане нужда за твоитѣ добри услуги, — ще ли склонишъ да ми помагашъ?

Калекери. Твърдѣ охотно.

Розенбергъ. Добъръ отговоръ. Слушай, като туркиня, ти трѣбва да обичашъ цвѣтътъ на жълтицитѣ. Земи тая кисля и види да извѣстишъ за мене.

Калекери. Защо ми давате това?

Розенбергъ. За да се запознаемъ. Иди извѣсти за мене, драго момиче.

Калекери. Нѣмаше нужда отъ жълтици.

ЯВЛЕНИЕ II.

Розенбергъ самъ; послѣ Барберина въ кулата.

Розенбергъ. Ама че чудна слугиня! . . . Каква смѣшна идея е ималъ тойзи графъ Улрихъ да остави жена си подъ стража на единъ видъ пчоланъ-жена! Трѣбва да се призная, че всячко, което ми се случва, прѣдставлява нѣщо извънредно, почти свѣрхестественно. Слугинята зема присърдце моитѣ интереси; що се отnosi до господарката . . . , видящемъ! какво ли срѣдство да употребя? Хитрость ли, сила или любовь? Сила, не, никога! То не ще бжде достойно ни за болѣринъ, нито пакъ за единъ честенъ обзалогъ. Що се касае до любовь, това може да се опита, но ще иска много дълго врѣме, а пакъ азъ бихъ искалъ да побѣда като Цезарь. . . А! виждамъ нѣкого въ тая кула, това е самата графиня, да, азъ я распознавамъ, — струва ми се дори, че тя пѣе.

Барберина. (Първий куплетъ).

Прѣкрасний рицарю ти бързашъ на война
И тамо, тѣй далечъ отъ родната страна,
Какво ще правишь ти?
Не виждашь ли, какъ е намръщена нощта.
Или не знаешъ, че животътъ на свѣта
Е само теготи.

Розенбергъ. Тя не пѣе лоше, но чини ми се, че пѣсенята ѝ изражава скръбъ; да, нѣщо като споменъ. Хм! когато държахъ тойзи басъ, струва ми се, че прибързахъ. — Има минути, кога човекъ не може да отговаря за себе си, като че ли кога вѣтъръ издува дрѣхата ви. По врага! По никоѣ начинъ не бива да се измамя; че работата иде не за малко мои парички! Не зная! хитрость ли да употреба?

Барберина. (Вторий куплетъ).

Ти който вѣрвашъ, че лесно любовьта
Исчезва въ тоя свѣтъ,
Подобно като димъ и твоята мечта
Исчезнаще безъ слѣдъ.

Розенбергъ. Тая пѣсенъ говори все едно и сѣщо, но какво доказана една пѣсенъ? Да, колкото по-вече мисля, толкова по-вече ми се вѣрва, че хитрость е истинското срѣдство за усиѣхъ. Хитрость и любовь заедно би направили чудо Но това е работата, че не зная твърдѣ, какъ се хитрува. Да се заловѣхъ като тоя Владиславъ, кога е измамилъ великана Молохъ! Но това е недостатъ-

кътъ на всички тие истории, че тѣ сж възхитителни за слушание, а на практика чловѣкъ не знае какъ да ги приложи! Напримѣръ, вчера още азъ четохъ историята на единъ герой на романъ, който, въ мое положение, се е крилъ цѣль день за да се вмъкне при свояга любезна. Но нѣма азъ мога да се крия въ сжиджкъ? Азъ ще излѣза отъ тамъ цѣль покрить съ прахъ и дрѣхитѣ ми ще се исхабятъ. Ба! вѣрвамъ, че съмъ се спрѣлъ на най-добриятъ способъ. Да, най-добрата военна хитрость е да се даватъ пари на слугинята; по сжщий начинъ ще заслѣна и останалитѣ слуги . . . А, ето че Барберина иде. Е хайде най-послѣ! всичко е рѣшено; азъ ще си послужи едноврѣменно съ хитрость и съ любовь.

ЯВЛЕНИЕ III.

Розенбергъ, Барберина, Калекери.

Калекери, (стои въ дълбочината на театрътъ). Ето господарката.

Барберина. Господине, добръ дошли. Вне идите, както ми казаха, отъ дворѣтъ. Какъ е мжжътъ ми? Какво той прави, гдѣ е? на война? . . . Уви! отговаряйте.

Розенбергъ. Той е на война, госпожо, поне азъ така вѣрвамъ. Що се касае до онова, което той прави, то е но-лесно да се отговори. Кой може да ви види и да ви забрани? Безъ съмнѣние, той мисли за васъ, графиню, и колкото далечъ отъ васъ той и да е, пакъ неговата сждба ще е по-вече достойна за завидание, нежели за съжалѣние, ако отъ ваша страна и вне мислите за него. Ето ви писмо, което той ми повѣри

Барберина. (чете). «Това е единъ кавалеръ отъ най-високо достоинство и който принадлежи къмъ единъ отъ най-благороднитѣ родове на двѣтъ кралевства. Примете го като приятель. . . . » Понататѣкъ нѣма да ви чета; вне не сме богати освѣнъ съ добра воля, но ще ви приемемъ до колкото е възможно най-малко лоше.

Розенбергъ. Азъ тамъ нѣждѣ оставихъ моитѣ конѣ и слуги. Не мога да се пушамъ въ пжть безъ значителна свита въ прѣдвидѣна моето произхождение и състояние; но азъ не искамъ да ви стѣснявамъ съ толкова. . . .

Барберина. Простете, мжжъ ми ще се сърди, ако не настоя; — вне ще пратимъ и тѣмъ да кажатъ да дойдатъ.

Розенбергъ. Какъ да ви благодаря за такъвъ милостивъ приемъ? Тая бѣла ржка, отъ височината на тие кули, благоволи да даде знакъ да ми отворатъ портитѣ, и тие прѣкрасни очи не ѣ

противорѣчатъ. — Тѣ ми отварятъ, благородна графиня, вратата на едно гостеприимно сърце. Дозволете да ида самъ да прѣдупрѣдя свитата си, и слѣдъ това ще се завърна при васъ. — Азъ имамъ нѣколко заповѣди да имъ дамъ. . . . (*На странѣ*) Сега смѣлость, и пълни джебове! Трѣбва да се изучи изгледътъ на околноститѣ.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Барберина, Калекери.

Барберина. Какво мислишь ти за тойзи младъ момъкъ, моя драга?

Калекери. Калекери никакъ не го обича.

Барберина. Той не ти се харесва! Защо? (*Тя сѣда*). Той не изгледва лоше.

Калекери. Послѣдното е истина.

Барберина. Тогава кое не ти е по вкусътъ? Той не се изражава злѣ, малко нѣщо като придворенъ, но това е грѣшка на младостта, — и ни носи добри новини.

Калекери. Не вѣрвамъ.

Барберина. Какъ! Ти не вѣрвашъ? ето писмото на мъжътъ ми, прѣпълнено съ вѣжностъ спрямо мене и приятелство спрямо пратеникътъ. (*Калекери клати глава*). Та какво най-послѣ ти е направилъ тойзи господинъ фонъ Розенбергъ?

Калекери. Той даде злато на Калекери.

Барберина, (съ смѣхъ). Това ли те наскърбява? Е тогава, нѣма освѣнъ да му го върнешъ.

Калекери. Азъ съмъ раба.

Барберина. Но не тука. — Ти си моя другарка и приятелка.

Калекери. Да му се повърне златото, значи да се възбуди неговото подозрѣние.

Барберина. Що искашь да кажешъ? обясни се. Ти се отнасяшь къмъ него като къмъ съзаклѣтникъ.

Калекери. Калекери нищо не му е направила. Тя не му отвори вратата, нито му нареди стаята, нито пакъ му спотви ѣденіе. Той иска да измами Калекери.

Барберина. Но Калекери много бързо се ядосва. Да не би той да се е опиталъ да любезнича съ тебе?

Калекери. О! не.

Барберина. Е тогава! какво има нѣщо извънредно? Той е токо дошелъ въ тойзи замъкъ. Не е ли естествено, че търси да спечели нѣкое добро расположение? При това той, вижда се, да е

богатъ, и доста задоволенъ да го явява; то е извѣстна манера на великъ болѣринъ.

Калекери. Той не познава графа Улрихъ

Барберина. Какъ да не го познава?!

Калекери. Не. Той привазвалъ съ Ускокътъ привратникъ и го запитвалъ, да ли обича господаря си. Той и менъ пита, да ли ви обичамъ. Той не ни познава.

Барберина. Колко си безумна! Това ли сж тежитѣ доказателства, които пораждатъ твоитѣ подозрѣния противъ него! Та и какво прѣстжпление мислишь ти може той да крои?

Калекери. Богато азъ бѣхъ въ Янина, дойде единъ християнинъ, който обичаше моята господарка; той тѣй исто даде много злато на рабитѣ, и тѣ го съсѣкоха на парчета.

Барберина. Боже! къдѣ ти мѣришь! виждате ли малката лъвица! и ти повидному си въобразявашъ, че тойзи младъ момъкъ е дошелъ да се опита да ме побѣди? Това ли се крве на дъното на твоитѣ мисли? (*Калекери прави бѣлѣгъ на «да»*). Тогава, моя драга, не се безпокой. Можешъ токо на часѣтъ да се опростишь съ твоитѣ страхове и дребини, чрѣзмѣрно азиятски срѣдства. Азъ не мога никакъ да си прѣдставя, че единъ непознатъ ей така изведнаждъ ще захване да ми приказва за любовь. Но дори да прѣдоложимъ, че тѣй ще бжде, ти можешъ да бждешъ спокойна. . . Ето нашиятъ гостенинъ, ти ще ни оставишь сами. — Да се дръпнемъ малко на страна. (*На страна*). Щеше да е любопитно, ако тя има право. (*Тѣ се оттеглятъ въ дълбочината на театрътъ*).

ЯВЛЕНИЕ V.

Сжцитѣ и Розенбергъ.

Розенбергъ, (като мисли, че е самъ). Азъ вѣрвамъ сега, че планѣтъ ми е готовъ. Въ малката книжица на Владислава се разказва историята на нѣкой си Якимо, който се хваща на сжщо почти такъвъ басъ, като мойтъ, съ Леонатусъ Постумусъ, зетъ на кралятъ на Велико-Британия. Тойзи Якимо тайно влиза въ стайтъ на прѣкрасна Имогена въ нейно отсъствие, и прави точно описанне на нейната сгая въ своята записна книжка. Тукъ такъва врата, тамъ такъвъ прозорець, стълбата е по тойзи начинъ. . . Той отбѣлѣзва най-малкитѣ подробности, не по-вече и не по-малко, отъ единъ военачалникъ, който се готви за сражение. Азъ ще послѣдвамъ примѣрътъ на тойзи Якимо.

Барберина, (на страна). Той като че ли се съвѣщава самъ съ себе си.

Калекери, (на страна). Не се съмнѣвайте; това може да е турскій шиовинъ.

Розенбергъ. Ускокътъ привратникъ зе отъ мене пари. Азъ не забѣлжено ще се промъкна въ стаята на Барберина, и тамъ. . . да . . . що ще правя азъ тамъ, ако я срѣщна? Хм. . . това е опасно и не особенно приятно.

Калекери, (полеска на Барберина). Виждате ли, какъ той развишлява?

Розенбергъ. И тѣй! азъ ще покарамъ работата. Да ме пази Господъ отъ да я докача! то ще значи да обезчеста себе си. — Но въ всичкитѣ романи, па дори и въ пѣснитѣ, най-свършеннитѣ любовници правятъ ли друго освѣнъ да се вмъкнатъ, когато могатъ, у дамата на тѣхната мисль? И това всѣкога е по-сгодно, и най-малко рискиратъ да имъ побъркатъ. — А! ето прѣкрасната графиня! — Да се не опитамъ ли най-напрѣдъ, поне така за очи, съ нѣколко любезности? Ще узнаемъ, какво тя мисли по тойзи въпросъ, а това не може да поврѣди, защото най-послѣ, ако азъ ѝ се харесамъ, то ще ме избави отъ да хитрувамъ, — а пустото хитрувание най-много ме смущава! (*Високо*). Простете ме, графиньо, че толкова се забавихъ; свитата ми е значителна, и трѣбваше да се тури редъ въ всичко

Барберина. Не може другояче и да бжде, и азъ ви моля да се считате тука свършено като у дома си. Вие разбирате, че единъ приятель на мойтъ мъжъ не може да бжде за насъ чужденецъ. (*Къмъ Калекери*). Излѣзъ, Калекери, излѣзъ, драга, и не се бой. (*Калекери излиза*).

Розенбергъ. Вие ме прѣпълвате съ благодарностъ. Като идѣхъ нанасамъ, да ви кажа правото, азъ не се страхувахъ, освѣнъ да се не покажа досадителенъ, а пакъ сега чувствувамъ, че истина ще стане такъвъ, ако оставѣхъ да говори сърдцето ми.

Барберина, (на страна). Да говори сърдцето му! вече! какъвъ языкъ. (*Високо*). Бждете увѣрени, господице Розенбергъ, че вие ни най-малко не ме стѣснявате; защото тая свобода, която ви прѣдоставямъ, е твърдѣ необходима и за менъ лично; азъ ви я давамъ, за да мога тѣй сжщо и сама да се ползвамъ съ нея.

Розенбергъ. Това се разбира само отъ себе, азъ зная приличията, а сжщо и оние длѣжности, които налага вашето положение. Една владѣтелка е царица у себе си, а вие сте два пжти царица, госпожо, по благородство и хубость.

Барберина. Азъ не за това говора. Но сега ние токо захващаме гроздоберътъ.

Розенбергъ. Да, наистина, по пхтьтъ азъ заблѣжихъ по хълмоветъ много селяне. Това прилича на празднество, и ние безъ съмнѣние, по тойзи случай, приемате почитанията на вашитъ васали. Тъ трѣбва да сж честити, че принадлежатъ вамъ.

Барберина. Да, но тѣ сж доста досадителни . . . цѣлъ день азъ трѣбва да ходя изъ нивитъ да карамъ да прибиратъ кукурузтъ и закѣснѣлитъ сѣна.

Розенбергъ. (на страна). Ако тя слѣдва да ми отговаря все по тойзи начинъ, то нѣма никакъ да бжде поетично.

Барберина. (тъй сжцо на страна). Ако той продължава съ своитъ комплименти, то ще бжде забавително.

Розенбергъ. Признавамъ се, графиньо, че едно нѣщо ме очудва. Не, че виждамъ една благородна дама да се грижи за своитъ имоти, но азъ мислѣхъ това да става по-отдалечъ.

Барберина. Допушамъ това. Ние сте отъ дворътъ, и хубавицитъ на Штуль-Вайссенбургъ не расхождатъ изъ трѣвитъ своитъ позлатени обувки.

Розенбергъ. То е истина, госпожо, и не намирате ли ние сами, че тойзи животъ цѣлъ отъ удоволствия, празднества, омаи и великолѣпие, е нѣщо истински въсхитително? Безъ да искамъ да кажа нѣщо лошо за селскитъ добродѣтели, сжщинското мѣсто на една хубава жена не е ли тамъ, въ оная блѣскава сфера? Погледнете се въ вашето огледало, графиньо. Една хубава жена не е ли вѣнецъ на творението и всички богатства на свѣтътъ не сж ли създадени за да я окръжаватъ, расхубавяватъ, ако е възможно?

Барберина. Да, то несъмнѣнно може да се харесва. Вашитъ прѣкрасни дами не виждатъ тойзи сиромашкий свѣтъ, освѣнъ отъ гърба на своитъ парадни конѣ пли, ако тѣ слагатъ нозѣтъ си на-земъ, то само връхъ кадиѣяни възглавници.

Розенбергъ. О! не всѣкога. Леля ми Беатриса сжцо като васъ ходи по нивитъ.

Барберина. А! леля ви е добра домакинка?

Розенбергъ. Да, и сжперница голѣма за всички освѣнъ мене, защото на мене тя би дала и накититъ си отъ главата.

Барберина. Истина?

Розенбергъ. О! безъ всѣко съмнѣние; всички сжпоцѣности, които носятъ, сж почти все отъ нея.

Барберина. (на страна). Тойзи момъкъ не е твърдѣ лосшавъ. (Високо). Азъ много обичамъ добритъ стопанки, защото

знамъ претенция сама азъ да съмъ една отъ тѣхъ. Вжте, на, ето
ви доказателствата.

Розенбергъ. Що е това? Господь да ме прости, хурка ѝ вретено!

Барберина. Това сж монгѣ оржжии.

Розенбергъ. Може ли се? какъ! вие се упражнявате въ оня
старъ занаятъ на нашитѣ прѣбаби? вие се докосвате съ вашитѣ
прѣбрасни ржцѣ до тие къдели.

Барберина. Азъ се старая, щото колкото се може тѣ по-
малко да почиватъ. Та нема леля ви не прѣде?

Розенбергъ. Но леля ми е стара, госпожо; само старитѣ жени
прѣдатъ.

Барберина. Дали? увѣрени ли сте вие въ това? Азъ пакъ
не мисля, че тѣй трѣбва да бжде. Не знаете ли вие онова
староврѣмско правило, че работата е молитва? Отдавна вече това
е казано. Тогава, ако тѣзи двѣ нѣща си приличатъ, а тѣ могатъ
да си приличатъ прѣдъ Бога, не е ли сираведливо, щото по-тежката
работа да е дѣлъ на по-младитѣ? Нели, когато нашатѣ ржцѣ сж
бързи, ижргави и пълни съ дѣителность, тѣ трѣбва да въртатъ
вретено? А пакъ кога възрастята и уморяванieto единъ день ги
накаратъ да заиратъ, нели тогава настава врѣме да ги сжрнемъ,
като прѣдоставимъ останалото на Божия милость? Вѣрвайте ме,
господине Розенбергъ, недѣйте се произнася лоше противъ нашитѣ
хурки, нито противъ иглитѣ ни; повтарямъ ви, тѣ сж нашитѣ орж-
жии. Истина, вие мжжѣтѣ, носите по-други, по-славни оржжии, но
и тѣзи тука не сж безъ цѣна; ето моего копие и мойгъ мечъ.
(*Тя сочи хурката и вретеното*).

Розенбергъ, (на страна). Проповѣдъта не е лоша, но колко
е тя далечъ отъ мойгъ обзалогъ. Хайде, да се помжчимъ да се по-
върнемъ къмъ него. (*Високо*). Невъзможно е, госпожо, да се про-
творѣчи, когато се говори тѣй хубаво. Но вие ще дозволите, нели,
оржжии като оржжии, азъ да прѣдпочета нашитѣ.

Барберина. Както азъ виждамъ, борбитѣ ви се харесватъ.

Розенбергъ. На единъ болѣринъ ли задавате това питанье?
Вънъ отъ война и любовь, що има той да върши на тоя свѣтъ?

Барберина. Вие встжните въ животь много младъ. Разяснете
ми едно нѣщо. Азъ никога не можехъ да разбера, какъ единъ мжжъ,
потъналъ цѣлъ въ желѣзо, може да управлява конь, който исто така
свършено е покритъ съ таково. Тойзи желѣзенъ звонъ трѣбва да
е оглушителенъ, и вие трѣбва да се чувствувате като въ тъмница.

Розенбергъ, (на страна). Азъ мисля, чо тя гледа да ме

отбне отъ пътятъ. (*Високо*). Единъ добъръ всадникъ се не бои отъ нищо, когато носи цвѣтътъ на своята дама.

Барберина. Както се вижда, вие сте храбъръ. Много ли вие обичате леля си?

Розенбергъ. Отъ все сърдце, по приятелство, разбира се, защото шо до любовь, то е друга работа.

Барберина. Кѣмъ леля чловѣкъ не може да има любовь.

Розенбергъ. Азъ не мога да имамъ такава кѣмъ която и да е, освѣтъ спрямо една единствена.

Барберина. Вашето сърдце е пѣсно вече?

Розенбергъ. Да, госпожо, отъ кѣсо врѣме на насамъ, но за прѣзъ цѣлъ животъ.

Барберина. То навѣрно трѣба да е нѣкое младо момиче, за което вие имате намѣренье да се ожените?

Розенбергъ. Уви! госпожо, то е невъзможно. Тя е млада и прѣкрасна, истина, и притежава всички качества, които могатъ да съставятъ щастието на единъ сжиругъ, но това щастие не е писано за менъ; нейната рѣка принадлежи вече на другиго.

Барберина. То е неприятно, и трѣба да се исцѣрите.

Розенбергъ. А! госпожо, трѣба да се мре!

Барберина. Ами! въ вашитѣ години!

Розенбергъ. Какъ! въ моитѣ години! Та нема вие толкова сте по-възрастни отъ мене?

Барберина. Много по-възрастна: азъ съмъ разумна.

Розенбергъ. Азъ бѣхъ тѣй сжщо разуменъ прѣди да я видя! — А! да знаехте коя е тя! Да смѣхъ да изговора нейното име прѣдъ васъ. . . .

Барберина. Познавамъ ли я азъ?

Розенбергъ. Да, госпожо! — И тѣй като тайната ми е наполовинъ изтрѣгната, азъ ще ви я повѣра цѣла, ако ми общаете да ме не наказвате.

Барберина. Да ви наказвамъ? Та защо? азъ се надѣвамъ, че вашата тайна ни най-малко не се касае до менъ.

Розенбергъ. По-вече отъ колкото мислите, госпожо, и да можехъ да се одързоста. . . .

ЯВЛЕНИЕ VI.

Сжщитѣ, Калекери.

Розенбергъ, (*на страна*). Чумата да я поразил малката варварка! съ такава мѣка докарахъ работата до тукъ.

Калекери. Ускокътъ привратникъ дойде да ви доложи, че по пътятъ имало много кола.

Барберина. Що то означава?

Калекери. Това азъ мога да кажа само на васъ.

Барберина. Доближи.

Розенбергъ, (на страна). Каква таинственностъ! Сигурно пакъ нѣкакви зеленчуци! Ама пакъ че ужасно буржуазна владѣтелка!

Калекери, (тихо на Барберина). Нѣма никакви кола. Розенбергъ отново е далъ много злато на Ускокътъ привратникъ.

Барберина, (тихо). Защо и по какъвъ поводъ?

Калекери, (тѣй също тихо). Той искалъ потайно да го въведатъ при господарката.

Барберина, (тихо). У менъ ти казвашъ, увѣрена ли си въ това?

Калекери, (исто тихо). Ускокътъ не искаше нищо да обади; но Калекери го напое и той венчко ѝ разказа.

Барберина, (като гледа къмъ Розенберга). Наистина, то е за невѣрване!

Розенбергъ. Какъвъ особенъ погледъ тя мѣта къмъ менъ?

Барберина, (на страна). Възможно ли е това? Тойзи младъ момъкъ, истина, малко нѣщо е пустъ, но въ сжщностъ, съ доста кроткъ характеръ и той изглеждаше . . . То е много чудно.

Калекери, (полегка). Ускокътъ сега казва, че ако господарката желае, той ще се скрие заедно съ градинарътъ Лудвигъ задъ вратата. Всѣкий отъ тяхъ ще земе по една вила, и когато оня дойде. . . .

Барберина, (като се смѣ). Не, благодаря те. Ти все се повръщашъ къмъ твоята крайне бърза метода.

Калекери. Розенбергъ има много обржени слуги.

Барберина. Да, а пакъ ние сме сами или почти сами, въ тая къща, въ дълбочината на една малка пустиня. Но азъ ще ти кажа едно много просто нѣщо: — Нѣма освѣнъ единъ пазителъ, моя драга, който брани честъта на една жена по-добрѣ отъ всѣкакви стѣни на единъ сарай и всички нѣми на единъ султанъ, и тойзи пазителъ е тя сама. Излѣзь, но не се отдалечавай. — Чуй! когато ти направя знакъ отъ тоя прозорець. . . (*Тя ѝ говори на усмото*).

Калекери. То ще бжде направено. (*Тя излиза*).

ЯВЛЕНИЕ VII.

Барберина, Розенбергъ.

Барберина. Е, господине, за какво мислите?

Розенбергъ. Азъ очаквахъ да се науча, дали не трѣбва да се оттегля.

Барберина. Та нели бѣхте почнали нѣщо да ми разказвате повѣртелно? Това младо момиче дойде съвършено не у врѣме.

Розенбергъ. О! да.

Барберина. Е, слѣдвайте, де.

Розенбергъ. Нѣмамъ вече смѣлость, госпожо, азъ не зная, какъ съмъ можалъ да се одързоста. . . .

Барберина. И не се одързостявате по нататъкъ! Ако се не лъжа, вие казахте, че сте се залибили въ жената на единъ вашъ приятель?

Розенбергъ. Единъ мой приятель, азъ това не казахъ.

Барберина. Мень се стори, че чухъ таково нѣщо. Но сигурни ли сте, че злѣ съмъ ви разбрала?

Розенбергъ. (на страна). Що иска тя да рече? тойзи тѣй страшенъ погледъ въ тоя мигъ ми се вижда чудно благъ.

Барберина. Е, защо не отговаряте?

Розенбергъ. А! госпожо. . . . Ако вие сте отгатнали мисълта ми. . .

Барберина. Та то причина ли е да я не изкажете.

Розенбергъ. Не, азъ виждамъ! вие сте ме разбрали. Тие прѣкрасни очи сж прочели въ моето сърдце, което противъ волята ми се издаде. Азъ не мога по-дълго врѣме да утайвамъ отъ васъ чувство, което е по-силно отъ разумътъ ми, по-мощно дори отъ самото ми уважение къмъ васъ. И тѣй, узнайте, графиньо, изведнаждъ моята мъка и моето безумие. Още отъ първий день, отъ като ви видѣхъ, азъ се скитамъ около тойзи замъкъ, по тие пустинни планини! . . . Войска, дворъ не сж вече нищо за мене; азъ запокитихъ всичко, щомъ намѣрихъ прѣдлогъ да се приближа до васъ, ако ще би за единъ мигъ. Обичамъ ви, обожавамъ! ето тайната ми, госпожо; не бѣхъ ли въ правого си да ви умолявамъ да ме не наказвате за нея! (Той става на едно колѣно).

Барберина. (на страна). За годинитѣ си той не лъже злѣ. (Високо). Вие казвате, че се бонте отъ моето наказание; — но не се ли страхувахте отъ да ме докачите?

Розенбергъ. (като се исправя). Какъ любовь може да докачи? Кой може да се докачи, че ви обичать.

Барберина. Богъ, който това забранява.

Розенбергъ. Не, Барберино! понеже Богъ е създадъ красота, какъ е можалъ той да забрани да я любимъ? Тя е неговиятъ най-съвършененъ образъ.

Барберина. Но ако хубостта е Божий образъ, светата въра, исповѣдта прѣдъ неговиятъ алтарь, не е ли по-скъпоцѣнно благо? Той задоволилъ ли се е само съ създаване и не е ли протегналъ ржка, като отецъ надъ своето небесно творение, за да го брани и закриля.

Розенбергъ. Не, когато азъ съмъ тѣй близу до васъ, когато ржката ми трѣпери при докосване до вашата ржка, когато вашитѣ очи сж обрнати къмъ мене съ тойзи погледъ, който ме хвърля въ възторгъ, не! Барберино, това е невъзможно; не, Господъ не забранява да обичаме. Уви! недѣйте ме укорява, че. . .

Барберина. Че вне ме намирате хубава и ми го казвате, то не ме сърди много. Но защо да се простираете по надалечъ? Графъ Улрихъ не е ли вашъ приятель?

Розенбергъ. Та що зная азъ? И що да ви отговарямъ? Когато съмъ съ васъ, мога ли да мисля за друго?

Барберина. Какъ! да бѣхъ склонила да ви слушамъ, ни приятелство, ни страхъ прѣдъ Бога, нито довѣрието на единъ болѣринъ, който ви праща при мене, нищо не е способно да ви накара да се позамислите!

Розенбергъ. Не, кълна се въ душата си, нищо на свѣтътъ. Вие сте тѣй прѣкрасна, Барберино! вашитѣ очи сж тѣй кротки, усмивката ви е само щастие!

Барберина. Азъ ви казахъ вече, че това не ме сърди. Но защо по тоя начинъ ме хващате за ржка? О Боже! менъ се струва, че да бѣхъ мъжъ, азъ бихъ прѣдпочела да умра, отъ колкото да говоря за любовь на жената на единъ свой приятель.

Розенбергъ. Азъ пакъ по-скоро ще умра, нежели да прѣстана да ви говоря за любовь.

Барберина. Наистина! по честь, това е вашето чувство? (*Тя дава знакъ отъ прозорцѣтъ.*)

Розенбергъ. Кълна се въ душата си, въ честта си!

Барберина. И вие драговолно ще измамите единъ свой приятель?

Розенбергъ. Да, за да ви харесамъ, за единъ вашъ погледъ. (*Чува се звънцѣ.*)

Барберина. Ето звонъ, който ме кани да слѣза долу.

Розенбергъ. За Бога! не ме оставяйте така! . . .

Барберина. Какво да ви кажа? его Калекери.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

С ж щ и т ѣ. Калекери.

Розенбергъ. Какъ тази хърватка, тази трансилванка!

Калекери. Фермеритѣ ви очакватъ.

Барберина. Ей сега слизамъ.

Розенбергъ, (поглежда на Барберина). Е, какъ! ни една душа . . . ? ни единъ погледъ, който да рѣши моята съдба?

Барберина. Азъ вѣрвамъ, че вие сте великъ магьосникъ, защото чловѣкъ не може да ви се сърди. Моятъ фермери трѣбва да сѣднатъ за трапеза; почакайте ме тукъ една минута. Завчасъ ще се освобода отъ тѣхъ и ще се върна. — Хайде, Калекери, хайде.

Калекери. Калекери не ще да обѣдва.

Розенбергъ, (на страна). Тази иска да остане, малката египца! (*Високо*) Какъ, госпожице, вие не сте гладни?

Калекери. Не, не ща. Тѣ ви окачиха единъ звѣнецъ на върхътъ на една голѣма кула, когато тая машина дрънне, тогава Калекери ще ѣде. Но сега Калекери не ще да ѣде; Калекери нѣма охота за ѣденне.

Барберина, (я моли). Ела, чедо мое, ти прави каквото щещъ, но азъ имамъ нужда отъ тебе. (*На страна*). Въ сѣщностъ азъ мисля, тя е способна да надзирава и надъ самата менъ.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Розенбергъ, (самъ). Тя ще се върне! Тя ми каза да я чакамъ догдѣто се разотидатъ всички! Можеше ли по-добрѣ да ми даде да разбира, че азъ не ѣ се не харесвамъ? Какво говоря? то не е ли признание, че тя ме обича? не е ли това най-занимателно свиждане? . . . О да се не види! азъ бѣхъ много простъ, че си болѣхъ главата и прахосвахъ паритѣ си за да подражавамъ оня глупецъ Якимо! Ама пакъ че да си прави чловѣкъ трудъ да се крие, когато, за да побѣди, трѣбовало само да се яви! Истина, по съвѣсть азъ не очаквахъ, че толкова скоро ще ми се отзоватъ. О щастие! каква сполука! не, азъ не очаквахъ. Тая горда графиня, тоя голѣмъ обзалогъ! всичко това спечелено въ такова кратко врѣме! Колко право казваше тойзи драгъ Владиславъ! Нѣтъ азъ сега нея ще слушамъ да приказва за любовь! Защото сега редътъ е нейнъ, тя! Барберина! красотата! О радостъ неизказана! Азъ не ще мога миренъ да стоя; но трѣбва малко търпѣние. (*Той сѣда*).

Наистина, каква страшна мизерия е тая слабостъ на женитѣ.

Толкова бързо побѣдена! та нема азъ я обичамъ? Не, азъ не я обичамъ. Фи! да измамн такъвъ единъ мъжъ, толкова прѣпльненъ съ довѣрие и правота. Да отстѣпи при първъ заливенъ погледъ на единъ незнакъ! Какво чловѣкъ да прави съ това? Азъ въ главата си мисли друго нѣщо, а не да стоя тукъ. — Кой сега ще ми противостои? Его азъ виждамъ вече, какъ се завръщамъ при дворѣтъ и равнодушно и бавно прѣминавамъ изъ дългитѣ галерии. Придворнитѣ мълчаливо ми правятъ нѣтъ, женитѣ си шепнатъ; богатитѣ обзалогахъ лѣжи на масата, и кралицата ме посрѣща съ усмивка на уста. Каква сполучлива игра, Розенбергъ! Що значи щастие! Когато мисля за всичко, което стана съ мене, струва ми се че сънувамъ. Не, прѣдъ смѣлостѣта нищо не може да устои. — Чини ми се че чувамъ шумъ Нѣкой се качва по стълбата; приближава съ свитни стѣпки. А! какъ сърдцето ми тупа! (*Прозорцитѣ се затварятъ, и отъ възъ се чува шумъ отъ нѣколко заключалки*).

Що всичко това означава? Азъ съмъ затворенъ. Заклучватъ и вънкашнитѣ врата. Несъмнѣнно, това е нѣкаква прѣдпазателна мѣрка отъ страна на Барберина; тя се бои да не би въ време на обѣдъ нѣкой слуга да влѣзе тука. Тя трѣбва да е пратила слугинята си да затвори вънкашнитѣ врати, догдѣто улучи време да исплъзне сама. Но ако тя не дойде! ако се изпрѣчи нѣкое непрѣдвидено обстоятелство! О, тя нѣкакъ ще ме извѣсти. Но кой така зврви по коридорѣтъ? Иде нанасамъ . . . Това е Барберина, азъ разпознавамъ нейнитѣ стѣпки. Сега млъкъ! не трѣбва да имамъ изгледъ на хлапе. Азъ ще си съставя физиономия . . . оня, съ когото се случватъ такива нѣща, не трѣбва да се показва зачуденъ, (*Въ стѣната се отваря едно затулно прозорче*).

Барберина, (отвъзъ, говори чрѣзъ прозорчето). Болѣрипу Розенбергъ, понеже вие сте дошли тука съ единствена цѣль да извършите най-безобразна и заслуживающа наказание кражба, похищение честѣта на една жена, и понеже справедливостѣта изисква, щото наказанието да отговаря на прѣстѣпленieto, вие се затваряте като крадецъ. Никакво зло нѣма да ви се направи и съ хората отъ вашата свита ще слѣдватъ добръ да се обнасятъ. Ако искате да ѣдете и да пиете, нѣма освѣнъ да се заловите за занаятътъ на омразнитѣ вамъ стари жени, сирѣчь да прѣдете. Както знаете, тамъ при васъ се намиратъ една хурка и вретено, и вие можете да бѣдете увѣрени, че всѣкидневната порция на вашето ѣденie съвѣстно-точно ще бѣде увеличавана или намалявана споредъ количеството на прѣждата, която испрѣдете. (*Тя затвара прозорчето*)

Розенбергъ. Сънувамъ ли азъ? Хей? Барберино! ей! Иване! ей! Алберте! Що това означава? Вратата като че ли е зазидана; затвориха я съ желязни прѣчки; — прозорцитъ сж съ рѣшетки, а пакъ ей това прозорче не е по-голъмо отъ шапката ми. Ей, елате! кой и да е! отворете! отворете! отворете! това съмъ азъ, Розенбергъ, затворенъ тука. Отворете! кой ще ми отвори? Има ли тукъ жива душа? Моля ви се, отворете ми. Ей! вардачъ! тамъ ли сте? отворете ми, господине, моля ви. Да дамъ знакъ прѣзь прозорецътъ Хей! друже, елате да ми отворите; — той не ме чува: — да отворите, да отворите, азъ съмъ заключенъ. Тая стая е на първиятъ катъ. — Но що е това? нѣма ли да ми отворите!

Барберина, (отваря прозорчето). Господарю, тѣзи викове не служатъ за нищо. Става вече късно; ако искате да вечеряте, врѣме е да се заловите да прѣдете. (*Тя затваря прозорчето*).

Розенбергъ. Разбирамъ, разбирамъ! това е шега. Хитрата иска да ме испита съ тая весела подигравка, подиръ единъ четвъртъ часъ тѣ ще ми отворятъ; много съмъ глупавъ, че се безпокоя. О, безъ съмнѣние, то не е освѣнъ подигравка; но струва ми се малко нѣщо силна, и чрѣзь която може да ме зематъ на присиѣхъ. Хм! да ме затвори въ кула! така легко може ли да се отнасятъ къмъ чловѣкъ отъ моето положение. — Колко съмъ лудъ! Това доказва, че тя ме обича! тя не щеше да постѣпя тѣй фамилярно съ мене, ако не ме очакваше най-сладка награда. Сега за мене става ясно, тѣ ме испытватъ, и може би, наблюдаватъ моето поведение. Хайде да ги изненадамъ и да мочна весело да си пѣя. (*Той пѣе*).

Щомъ тетеревътъ види
Ловчията че иде,
Той трѣпва съ крилата
И хайде въ гората!

Пази да те не слѣже!
Съ пригответено оржие
И ти търчи въ гората —
Напъгвай си торбата!

Калекери, (като отваря прозорчето). Господарката казва, тѣй като вие не прѣдете, значи искате да минете безъ вечеря, и тя вѣрва, че не сте гладни; за това ви желая легка нощъ. (*Тя затваря прозорчето*).

Розенбергъ. Калекери! Чуй ме малко! Чуй де! ела да ми бждешъ дружина, момиче! . . Да не съмъ се хваналъ въ капана! ра-

Ботата май става сериозна! Да прѣношувамъ тукъ! безъ вечеря!
а пакъ като на зло гладенъ съмъ страшно! Та колко врѣме ще ме
продържатъ тукъ? Безъ-друго то става сериозно. Смъртъ! огънь!
кръвъ! гръмъ! ужасна Барберино! Неумолима! непрѣклонна! дже-
латинъ! проклѣтия! О! азъ злочестъ! ето ме въ тъмница. Вратата
ще зазидатъ! и ще ме оставатъ да умра отъ гладъ! това е от-
мщение отъ страната на графъ Улрихъ. Уви! уви! смилете се
надъ мене! . . . Графъ Улрихъ иска моята смъртъ, то е вѣрно!
жена му изпълнява неговитѣ заповѣди. Смилете се, смилете! азъ
съмъ мъртавъ! азъ съмъ загубенъ! . . . азъ нѣма вече да видя
никога баща си, моята ѳбдна леля Беатриса! уви! ахъ Боже! уви!
всичко е свършено за мене! . . . Барберино! госпожа графиньо!
драга госпожице Калекери . . . О ядъ! пламъци и огньове! о, ако
азъ нѣкога излѣза отъ тукъ, тѣ всички ще загинатъ отъ моята
рѣка; азъ ще ги обвиня прѣдъ самата кралица, като джелатки и
отровителки. Охъ! Боже! охъ! небеса! смилете се надъ мене!

Барберина, (отваря прозорчето). Господарю, прѣди да си
лѣгна, дойдохъ да узная да ли прѣдете.

Розенбергъ. Не, не съмъ прѣлъ, не прѣда, не съмъ прѣдачка.
А! Барберино! вие ще ми заплатите за всичко това.

Барберина. Господарю, кога попрѣдете, вие обадете това на
войникътъ, който стои на стража прѣдъ вашитѣ врата.

Розенбергъ. Не дѣйте си отива, графиньо. — За Бога, изслу-
шайте ме.

Барберина. Я си прѣдете, прѣдете!

Розенбергъ. Не, въ името на смъртъта! не, кълна се въ
жрвѣта си! азъ ще строша тая хурка. Не, по-скоро ще умра.

Барберина. Сбогомъ, господарю.

Розенбергъ. Още една дума, недѣйте си отива.

Барберина. Какво искате?

Розенбергъ. Но . . . но . . . графиньо . . . наистина . . .
азъ съмъ, азъ . . . не зная да прѣда. Какъ искате да почна да
прѣда?

Барберина. Научете се. (*Затваря прозорчето.*)

Розенбергъ. Не, никога нѣма да прѣда, па ако ще би небото
да падне отгорѣ ми! Каква истъчнена жестокость! Вижете тая Барбе-
рина! тя бѣше вече полусъблѣчена, тя ще си лѣгне скоро съ
нощна шапчица, и сто пѣти по-хубава . . . Ахъ, нощъта настѣпя;
подирь единъ часъ вече нѣма да бжде свѣтло. (*Той сѣда.*) И тѣй
това е рѣшено, не остава вече и съмнѣние. Не само съмъ въ зат-
торъ, но искатъ да ме унизатъ съ най-низка отъ работитѣ. Ако

не прѣда, смъртта ми е неизбежна. Ах! колко жестоко ме мъчи гладътъ. Шестъ часа вече отъ какъ не съмъ ѣлъ; нито една трошица хлѣбъ отъ тая заранъ. Накостний Владиславе! дано умрешъ отъ гладъ за твоитѣ съвѣти! Гдѣ съмъ дошелъ да се вобра! Също съмъ си натѣкалъ главата? Много ми бѣха притрѣбали тойзи графъ Удрихъ и неговата глупава графиня! Ама че пакъ пхтуваніе направихъ! Пмахъ си пари, конье, всичко, което ми обѣщаваше веселье животь при двора. Зель го врагъ! отъ гдѣ се испрѣчи тойзи обзалогъ! Загубихъ си бащинията, и сега пакъ да прѣдя . . . Денътъ се навършива и заедно съ него гладътъ ми расте. Да ли най послѣ не ще дотрѣбова да прѣда? Не, хиляди пхти не! Прѣдпочель бихъ по-добрѣ да умра отъ гладъ като единъ благороденъ. Да се не прѣкне . . . напестина, ако не почна да прѣда, слѣдъ малко ще бжде вече късно, (*той стана*). Я да видимъ какъ е направена тазъ хурка? Каква дяволска машинца е? Нищо не ѝ отбирамъ. Какъ ли я държатъ? Всичко ще счуна. Колко това е забъркано! О Боже, като си помисля, че ти може да ме гледа, и това е сигурно, не, нѣма да прѣда!

Единъ гласъ, (отвгънъ). Кой иде? (*Звонъ да се гасятъ огньоветѣ*).

Розенбергъ. Удари звонътъ за гасение на огньоветѣ! Барберина ще си лѣгне. Изъ пхтътъ минувать мулета, стадата се връщатъ отъ полетата. О Боже! да прѣкарамъ ноцта така! тука, въ тая темница! безъ огнь! безъ свѣтлина! безъ вечеря! студъ! гладъ! Хей, хей! другарю, та нѣма ли нѣкой войникъ на стража?

Барберина, (отваря прозорчето) Е, какво?

Розенбергъ. Азъ прѣда, графиньо, прѣда, заповѣдайте да ми дадатъ вечеря.

ЯВЛЕНИЕ X.

Розенбергъ, Калекери.

Калекери, (влиза съ двѣ блюда). Его вечерята ви. Браставици и салата.

Розенбергъ. Прѣмно го ме задължавашъ! попрѣди шпшонка, а пакъ сега темничарка! лошава Аранкиньо! Защо ми зима жълтвинтѣ?

Калекери, (туря една кисия на масата). Сега азъ мога да ви ги повърна.

Розенбергъ. Защо ми сж пари въ темницата? (*Чуватъ се трѣби*). Кой иде на насамъ? какъвъ е тойзи шумъ? Чувамъ тропотъ отъ конье въ дворътъ.

Калекери. Кралицата пристига тукъ.

Розенбергъ. Ти казвашъ кралицата?

Калекери. И графъ Улрихъ тъй сжщо.

Розенбергъ. Графъ Улрихъ! Кралицата! о! азъ съмъ загу-
бенъ. Калекери, пусти ме да излѣза отъ тука.

Калекери. Не, трѣбва да си стоите на мѣстото.

Розенбергъ. Азъ ще ти дамъ колкото щенъ жълтици, но за
Бога, пусти ме да излѣза. Кажй на стражата да ме пропустне.

Калекери. Не. — Защо дойдохте?

Розенбергъ. Ахъ! ти имашъ право. Гдѣ е графинята? Азъ
искамъ да прося у нея милость, или не, по-вече да ви обвиня; да, да
я обвиня прѣдъ самата кралица, защото по такъвъ начинъ хора се
не затварятъ. Гдѣ е твояга господарка?

Калекери. На прагътъ на свонтѣ порти да посрѣщне кра-
лицата.

Розенбергъ. За какъвъ врагъ иде кралицата?

Калекери. Калекери бѣше написала.

Розенбергъ. На кралицата?

Калекери. Не, на графъ Улрихъ.

Розенбергъ. По каква работа?

Калекери. Да си дойде дома.

Розенбергъ. И за да ме намѣратъ въ тая пещера?

Калекери. Не. — Калекери, когато написа, незнаеше, че вие
ще има да прѣдете.

Розенбергъ. А! тогава тая грациозна идея се дължи само на
графинята?

Калекери. Да, и графинята не знаеше, че Калекери бѣше
написала, защото графинята тъй сжщо написа.

Розенбергъ. И тя написа? това е крайне задължително.

Калекери. Да, догдѣто вие тъй ягката крѣщѣхте. Но Кале-
кери написа много по-рано. Калекери написа, щомъ вие ѝ проду-
махте.

Розенбергъ. Така ли? най-напрѣдъ ти, а послѣ графинята! Двѣ
издайничества отведнажъ! Чудесно! азъ съмъ се попадналъ въ доб-
ри рѣцѣ. Магносанъ отъ два демона-жени!

(Стражата, (отъ прагътъ на вратата). Господарю, вие
сте свободни. Кралицата тозчасъ пристига.

Розенбергъ. Какъ съмъ билъ честитъ. Сбогомъ, Калекери!
Кажй на твоята госпожа отъ моя страна, че итъа да ѝ проста до
животъ, а що се отnosi до тебе, дано цѣлата ти салата

Калекери. Напусто се тъй ядосвате, защото госпожата ми

рече, че ви намира много хубавичекъ, да, и че при двора вие нѣма освѣтъ да харесете на много дами, но че тука не ви било мѣстото.

Розенбергъ. Истина, тя каза това? Въ такъвъ случай, Калекери азъ ъбръмамъ, че ще мога да ѝ проста. А пакъ ти, ако бждеш скромна . . .

Калекери. О! не.

Розенбергъ. Какъ! ти се хвалеше тая утрень . . .

Калекери. За да се науча по-добрѣ тая вечеръ. Ето кралицата съ цѣлийтъ си дворъ.

Розенбергъ. О! азъ съмъ хванатъ.

ЯВЛЕНИЕ ХІ.

Прѣдшинитѣ, кралицата, Улрихъ, Барберина, придворни и др.

Кралицата, (на Барберина). Да, графиньо, ние пожелахме сами да дойдемъ да ви върнемъ визитата.

Барберина. Нашата скромна къща, Ваше Величество, не е достойна да ви приеме.

Кралицата. Азъ считамъ за честь да бжда приета тука. (*Къмъ Розенбергъ.*) Е! Розенбергъ, твойтъ обзалогъ?

Розенбергъ. Както виждате, Ваше Величество, той е изгубенъ.

Калекери, (полегка на Розенберга). О, да, сигурно изгубенъ.

Кралицата. Задоволенъ ли си отъ твоето пътувание? Какъ ти се хареса тоя замъкъ? Надѣвамъ се, че нѣма да забравишь онова гостеприимство, съ което въ него посрѣщатъ?

Розенбергъ. Азъ нѣма да прѣстана да си го научавамъ, Ваше Величество, всѣкий пазъ, когато направя нѣкоя глупость.

Калекери, (полегка на Розенберга). Това ще ви се случва често.

Кралицата. Неприятно е, че тая ти струва малко скъпичко.

Барберина. Ако Ваше Величество благоволи да ми даруваш милость, нека тойзи басъ се забрави!

Улрихъ. Моля ви сжщото, Ваше Величество. Да се съмнѣвахъ въ сърдцето на жена си, азъ можехъ да се възползувамъ отъ тойзи обзалогъ за да се възнаграда за безпокойството; но, по съвѣсть, азъ не печела нищо. Ето единственната награда която искамъ да имамъ (*Той дава ржка на жена си*).

Розенбергъ, (настрана). Кълна се въ името си, ама че достоенъ человекъ.

Калекери, (тихо на Розенберга). Искърнете се, нели.

Кралицата. Че вие двама така рѣшавате, азъ нѣмамъ нищо противъ. Но нашата кралевска дума е дадена, и ние не можемъ да забравимъ, че сме призвани за свидѣтелка въ прѣпирнята. Затова, Розенбергъ, ти ще заплатишъ.

Розенбергъ. Ваше Величество, паретъ сж готови.

Калекери, (тихо на Розенберга). Какво ли ще рече леля ви Беатриса?!

Кралицата. По вие разбирате, графе Урлихъ, че ако нашата справедливостъ заповѣдва, щото стойността на вашиятъ обзалога да ви бѣде прѣдадена, нашата властъ не отива толкова на далечъ, щото да ви сили да я приемете. — Подиръ това, Розенбергъ, ти можешъ да се загледвашъ на графинята.

Розенбергъ. Отъ все сърдце Ваше Величество, и ако да можеше . . .

Кралицата. Почакайте малко! ние се научихме отъ уста на самата графиня за успѣхътъ на това приключение; но тие господа не го знаятъ; справедливостта изисква да ги посветимъ въ всичко, понеже тѣ присѣдствуваха при неговото начало. Ето двѣ писма, които разправятъ за него; Розенбергъ, ти ще да ни ги прочетешъ.

Барбегина. А! Ваше Величество!

Кралицата. Бива ли се толкова великодушие? Въ такъвъ случай азъ сама ще ги прочета. Ето най-напрѣдъ първото, адресирано на графътъ и което не е дълго, защото не съдържа освѣнъ една дума: «Елате си». Подписано: «Калекери». Кой е написалъ това?

Калекери. Азъ Ваше Величество.

Кралицата. Ти си изрекла малко, но казала много, то е рѣдка дарба. Сега, господа, къмъ второто. (*Тя чете*):

«Мой драгий и почитаемий сжпруже,

«Ние приехме въ замъкътъ посѣщението на младийтъ баронъ фонъ Розенбергъ, който се издаде за вашъ приятель и за испратень отъ васъ. Макаръ че всѣка жена мѣдро прѣсмълчава за тайни отъ такова естество, но азъ не ща да скрия, че той ми говори за любовь. Надѣвамъ се, че по моя молба и прѣпорѣка, вие нѣма да гледате да му отмишавате, нито пакъ ще го намразите. Той е младъ момъкъ отъ добро семейство и ни най-малко не е лошъ. Не му достига само знание да прѣде, и азъ прѣдприехъ да го науча. Ако ви падне случай да видите баща му при двора, кажете му да не се обезпокоява отъ това. По настоящемъ той се намира въ нашата голѣма зала въ първийтъ катъ, съ хурка и вретено въ рѣ-

цѣ, и прѣде или ще почне да прѣде. Ще ви се види извънредно, че съмь му избрала такова занимание, но, понеже распознахъ, че при добри качества му липсва даръ на обмислювание, азъ резкъдихъ, че ще бжде за негова полза да изучи тойзи занаятъ, който дава на челоуѣка възможность да си мисли, колко му на душа драго, и въ сжщо врѣме да си печели хлѣбътъ. Вие знаете, че вашата голѣма зала се затваря съ явки заключалки; азъ му заржчахъ тамъ да ме чака, и го затворихъ. Малкото прозорче въ стѣната се улочи много сгодно, отъ тамъ ще му подаваме храна; по тоя начинъ азъ не се съмнѣвамъ, че отъ тука той нѣма да излѣзе, освѣнъ съ голѣма полза за себе си, и при това, ако въ течение на животътъ му го сполѣти нѣкое нещастие, той ще бжде благодаренъ, че има срѣдство сигурно да си спечели хлѣбъ за прѣзъ днитѣ си.

„Поздравлявамъ ви, обичамъ ви и ви прѣгржчамъ.

Барберина.”

Ако се присмѣте на това писмо, господа рицари, нека Господь Богъ пази женитѣ ви отъ зла-срѣща! Нѣма нищо по-сериозно отъ честъта. Графе Улрихъ, до утрѣ ние желаемъ да ви бждемъ гостенка, и заповѣдаме да обнародватъ, че извършихме това пжтувание нарочно, придружавани отъ цѣлвить си дворъ, за да се знае, че покривтъ, подъ който живѣе честна жена е такова истосвещенно мѣсто като черкова, и че кралегеѣ оставятъ своитѣ дворци за домове, угодни Богу.



ФРАНЦУЗСКАТА МЛАДЕЖЪ.

Нейнитѣ наклонности и домогвания.

отъ

Е. М. де Вогюе.

(Прѣводъ отъ Французски).

Много пѣти ми се е прѣдставлявалъ случай свободно да се разговарямъ съ нѣкои отъ оние, които слизать отъ височината Сентъ-Женевьевъ: млади момци, които вече сж получили или очакватъ да получатъ своитѣ учени степени слѣдъ завършване на висшето си образование; тѣ всички горѣщо клонатъ къмъ писателство, къмъ издирване на идеи и изцѣло сж заети да устроятъ своето умствено настаняване. Отъ тѣхъ има и такива, които пожелаха да ми повѣратъ своитѣ опити, въ стихове, въ проза. Тѣзи малки тетрадки показватъ умове насочени да изсмѣдватъ, нерѣшителни, съ безпокойно колебание на една компасна стрѣла, когато тя търси да намѣри своето прѣдопрѣдѣлено мѣсто. Азъ бихъ желалъ вкратцѣ да изложа онова впечатлѣние, което тѣ производять на мене, като единъ точенъ писарь, безъ да притурямъ нѣщо мое. Азъ ни най-малко не се наемамъ да начертая пълненъ и завършенъ рисункъ: та и кой може това да направи? А само нѣкой черти, които най-много се забѣлѣзватъ и хвърлятъ въ очи.

Нѣма голѣмъ интересъ да говори человекъ съ тие нови граждани върху прѣдмѣти отъ чиста политика; бесѣдата скоро се сключва. Тоя прѣдмѣтъ не възбужда въ тѣхъ страсть. Безъ съмнѣние, тѣ усѣщатъ жива нужда отъ независимостъ; тѣ държатъ на своята свобода на дѣйствие и на мисль; ако нѣкоя непрѣдпазлива рѣка би се докоснала до тие сжщественни условия на тѣхний животъ, очудванието имъ веднага ще се обърне въ възмущение. Но тѣзи блага имъ се виждатъ непоколебимо приобрѣтени, неоспоряеми като въздухътъ, който дишатъ, тѣ слабо се грижатъ за останалото, за политически теории, формули, прѣпорци. Утрѣ да се отворѣха лекции върху срѣдствата какъ да се добие най-добро управление, не на тѣхъ трѣбва да се разчитва, че ще пълнатъ аудиторията. Тѣ приематъ страната си такъва, каквато сж я намѣрили при заемане мѣсто на нея, безъ ентузиазмъ, безъ нетърпѣние, както живѣемъ съвършено естествено въ градъ, гдѣто сждбата ни е дала убѣжище; идея да го съборять до основи за да го застроятъ отново по новъ планъ, тая

идея, която нѣкогаж хвърляше въ възторгъ всѣкий интеллигентъ французинъ, безконечно губи почва въ възрастающитѣ поколѣния.

Това е едно извънредно явление, въ Франция, младежъ, която не чувствува нужда отъ промѣна на управление. Едно-врѣме, отъ най-нѣжна възраст, всѣкий носеше връхъ шапката си свой извѣстенъ знакъ.

* * *

По пѣманіе на «политически мнѣния» у най-мислящитѣ се заблѣзва друго прѣобладающе занимание: тѣ захващатъ да се безпокоятъ за социални задачи. Доста нова грижа за първи младици; ние, въ двадесетѣтъ си години, бѣхме погълнати въ нашитѣ страдания на въображеніето или на сърдцето; ние имахме до толкова чувствителностъ въ наше расположение спрямо народнитѣ страдания, до колкото послѣднитѣ се описваха отъ литературата. Характерната черта на врѣмето е тая всеобща мегаморфоза на старитѣ политически страсти въ домогванія къмъ социални реформи. Тя кара да мислимъ за онова развитие, което произлѣзе въ наукитѣ, когато алхимията се прѣвърна въ химия. Всички се отказватъ отъ да търсатъ кабалистическа формула, философскій камъкъ, идеално управление; и изведнажъ почеватъ да говорятъ за органическа медицинска химия. Нашитѣ млади писатели въ тоя случай сж новаци; тѣхъ всичко сж учили, освѣнъ това. Но тѣ смутно усѣщатъ, че не могатъ по-вече да се осамотяватъ въ свойтѣ мандаринизмъ. Когато отъ височината на Училищата мечтаятъ за бъдуще, когато отъ тамъ избиратъ точка на небото, на къдѣто да обърнатъ свойтѣ полѣтъ, тѣ вече не се увличатъ исключително, като тѣхнитѣ по-стари братья, отъ шумний и суетенъ Парижъ на вѣсници, театри и събрания; тѣ се взиратъ по-надалечъ, къмъ загадочнитѣ и мълчаливи голѣми прѣдградия, къмъ свѣтътъ на мжкитѣ, които тѣ не знаятъ, но подозиратъ. Въ тѣхъ расте чувството на челоуѣческа солидарностъ; тѣ разбиратъ, че знанието задължава, както и благородството; че науката и талантътъ не сж безвъзмездни дарове, но брѣме, дѣлове съ право на ползowanie отъ общото наслѣдство, въ което има смѣтки и низшата братья.

* * *

Наклонноститѣ на тѣхнитѣ умове и сърдца особенно се проявяватъ въ литературнитѣ имъ опити. Въ тѣхъ азъ намирамъ рѣзки бѣлѣзи и точни доказателства въ поддръжка на тие мои утвърждения. Азъ тука не говора за случайни сборища, гдѣто всѣкий издава

себе си за писателъ, но за млади момци, които вече сж свършили свойтъ курсъ на висше образование. Не отколѣ още, нѣкои отъ тѣхъ ми излагаха своитѣ теории и прѣдпочтения, които, споредъ тѣхъ, се сподѣлять отъ голѣмо число тѣхни другари. Его, въ сжщностъ, языкътъ, който тѣ държаха :

«Да не ни приказватъ вече за искусството като за искусство. Несъмнѣнно, ние се прѣкланяме прѣдъ Флобера и неговитѣ послѣдователи, като прѣдъ искусни работници, които се загварятъ въ кула отъ слонова кость да я украсаватъ извктрѣ на свобода. Но понеже ние никога не сме издебили диритѣ отъ тѣхний трудъ въ нѣкоя душа, то това не ни интересира и ние не щемъ да се опитваме да имъ подражаваме. Дилеттантизмътъ е великото зло на настоящий часъ. Наистина, той ни е потрѣбенъ малко, за да се запази животътъ приятенъ, което е едно отъ богатата на нашата земя, Франция. Но когато поглѣща цѣлий умъ, тогава той е кражба на нравственни и умственни сили, извършена спрямо отечеството и челоувѣчеството. Както дължимъ на отечеството си военна тежба, още по-повелително трѣбва да ни се налага умствена тежба, особено на оние, които сж способни за нея. Ако вкусътъ къмъ литературни отвѣченности ни отвръща отъ нея, ние сме дължни да ѝ пожертвуваме тойзи вкусъ, както бихме ѝ пожертвували по необходимостъ друга побуйни страсти. Въ важнийтъ моментъ, който прѣживяваме, ние не проумѣваме вече мисли, които да не могатъ да се прѣвърнатъ въ дѣйствия, въ дѣйствия за възможно по-голѣмо число хора. Искусството трѣбва да си зададе социална цѣль : не е работа да се прави отъ него храмъ ; на мѣсто да се ослая само на себе си ; то трѣбва да се разширочи, да изражава цѣлийтъ свѣрѣмененъ животъ, да обгърне тълпитѣ, които се отклоняватъ отъ него, да стигне до народътъ чрѣзъ простота и симпатия.

«При състоянието на нашето общество, недопустимо е, щото тая раздѣла да се продължава между тъмнитѣ множества и малкитѣ храмове на писателитѣ. Задачата е да се помиратъ народнитѣ дѣйствия съ деликатнитѣ искания на естетиката. Въ по-ранни врѣмена това вече бѣха рѣшили, та и изобщо бѣха изречени, къмъ всички челоувѣци, съ прѣкрасенъ языкъ, силни и достойни за помнение нѣща. Его що и ние искаме да опитае. Ние разбираме, че първото условие е да се забрави, че сжществува литературенъ занаятъ, писатели, ковачници на думи ; и да търсимъ сами въ себе си нашитѣ мисли и тѣхната форма. Вѣрвайге ни, че всички школи за насъ сж еднакво подозрителни.

«Безстрастнийтъ натурализъмъ е вече отживѣлъ своето врѣме

въ нашитѣ куклони. Тѣй сжщо и пессимизмътъ е много изтърканъ. Реализмътъ не може вече да се оспорва; трѣбва да се поддържатъ и да се распространатъ неговитѣ завоевания, като имъ се по-влре обаче надлѣжното мѣсто въ обширнийтъ свѣтъ, който не се побира цѣлъ въ една фуста, нито пакъ въ едни гаци. Сжщо и въ поезията; ние не сме чувствителни къмъ непогрѣшимата техника на практицитѣ; ние искаме чувства и идеи. Дилеттантизмътъ, ис-кусството за искусство е като чистата политика; писатели и поли-тици, сние всички, които нѣматъ друго нѣщо да ни прѣдложатъ, могатъ да обърнатъ другадѣ погледитѣ си.»

И дѣйствително, тѣхнитѣ стихове иматъ тая особенностъ, че сж въ явна реакция противъ парнасцитѣ. У нѣкомъ отъ тѣхъ се срѣща ламартиновско потекло заедно съ нѣжни и умислени душевни отклици, които наумяватъ Шелли. У други, вдѣхновенieto се по-ражда отъ оная необходимостъ за сближение съ народътъ, отъ она избликъ на братстаенностъ, които азъ по горѣ отблѣзахъ. Прѣди малко прочетохъ една поема, която изцѣло се върти около тая тема:

Вѣрвамъ азъ въ вѣкътъ, както на майка вѣрва синъ.

Не отдѣлямъ сждбата си отъ сждбата на други;

И не прѣзирамъ народътъ, гдѣто съмъ се родилъ,

И храна надѣжда обширна единъ день неговъ Омиръ да стана.

По философията, когато ги читате, кои учители допусчатъ, тѣ отговарятъ: никои. «Англичанетѣ, казватъ тѣ, и тѣхнитѣ фран-дузски послѣдователи ни описватъ явленияга, които подпадатъ подъ нашето съзнание като едно отдѣлно, осамотено цѣло, като островче, гдѣто наблюдателтъ трѣбва да се затвори. Вънъ отъ това било море на мракъ, ноцъ на тайна, неподлѣжаща на нашитѣ изслѣдания. Ние искаме да влѣземъ въ общение съ окръжаващата тайна. Ние я чувствуваме изъ-подъ формалнитѣ нѣща. Всичкитѣ сжщества ни се явяватъ като прѣдмѣтъ, поставенъ по между двѣ огледала, продъл-жаемъ чрѣзъ редъ образи, които ще слѣдватъ до безконечностъ».

Да ли това е възвръщание къмъ классическиятъ спиритуализмъ? Тѣ се бранятъ тѣй сжщо и отъ него. «Миниалий спиритуали-змъ, когато се опитва да изслѣдва прѣдлѣтитѣ на непознаваемото, ни се прѣдставлява като едно мореплавателно дружество, добръ на-редено, вѣрно на своитѣ задължения, което неизмѣнно обикаля едни и сжщи мѣста и се спира все въ едни пристанища. Стари и плахи кораби, които заобикалятъ брѣговетѣ на нѣкое затворено море. Ние отъ напрѣдъ знаемъ, кждѣ тѣ ще ни закарать. Ние бихме желали да видимъ други страни!»

Тая прѣврасна довѣрчивость е по годиниѣ имъ. Тѣ не искатъ да допустнатъ, че всички пѣтица на мислята сж прокарани отдавна, и че тѣ никога не водатъ много на далечъ; тѣ ще си доставятъ удоволствие отново да ги изнамѣратъ и да имъ дадатъ нови имена. Това е по тѣхната възраст. Никое положително учение не ги задоволява. Тѣ сж чули гласове, не знаятъ отъ кѣдѣ и трѣгватъ на щастие къмъ тѣзи не ясни ключове, и въ мъчително безпокойство се лутатъ около алтарѣтъ на незнайниѣтъ богъ.

* * *

Собствено онова, което най-силно обзема тие млади умове, е истиникѣтъ на отношението между нѣщата и дълбокитѣ корени, които тѣ иматъ въ невидимото, чувството на солидарность между человекитѣ, нуждата да се присѣдинятъ къмъ всеобщата человекеска вибрация, която е скритото електричество на нравствениѣтъ свѣтъ. Въ новитѣ поколѣния ще виждаме да се проявява единъ отъ главнитѣ елементи на нашето плѣме: колективната и братствена душа, — въ днешни врѣмена наречена демократия, — на староврѣмската келтска, галска основа.

Всичко прѣдвѣщава за поддигане на старата якость. Всичко се измѣнява. Политици, философи, писатели, поети, всички господства приети отъ една четвъртъ вѣка на насамъ сж расклатени; тѣ чувствуватъ, че новитѣ пришелци исплзватъ изъ-подъ рѣцѣтъ имъ. Междата е прѣкрачена, звѣздитѣ, къмъ които сме навикнали, залѣзватъ подъ вчерашнето небо, пѣтнициѣтъ дирятъ на напрѣдъ нови звѣзди. Единъ немарливъ погледъ може да се измами и да повѣрва, че всичко, както обикновено, смя задъ тие мъжделиви и рѣдки огньовете, които гаснатъ на небосклонѣтъ.

Азъ мисля, че ние сме злѣ извѣстени за числото и расположението на тие новобранци, на които не виждаме освѣнѣ главнитѣ стражи. Изъ-подъ насъ се подига войска, готова за дѣйствието.

За какво? Господъ знае. Азъ не се лаская да прѣдвидя нейната посока и мѣжество, съ нѣколкото оние признаци, които успѣхъ да събера. Тѣ почти всички сж отрицателни и доста неопрѣдѣлени. Едно единствено утвърждение е вѣрно и успокоително: тѣзи пришелци иматъ вѣра въ человекството; прѣди всичко тѣ мислятъ, че социалнитѣ връзки трѣбва отново да се стегнатъ, и при това да се гледа да се смегчи трението за по-слабитѣ.



КАКЪ СЕ ПРАВЯТЪ КНИГИ.

отъ

Уошингтъна Жрвинга.

(Прѣводъ отъ английски).

Ако слѣдующата строга прѣсжда отъ Сивезий е права — „По-голъмо прѣстѣпление е да откраднешъ трудътъ на единъ умрѣлъ човѣкъ, отколкото да откраднешъ неговитѣ дрѣхи“ — то какво би ставало съ повечето писатели? — *Анатомия на Меланхолията* отъ *Бъртона*.

Често съмъ се чудилъ, какъ е възможно да има толкова изобилне въ книжнината и какъ се случва, та толкова много глави, които природата, явно се вижда, е проклела да носятъ печата на бездарността, могатъ да произвождатъ многотомни съчинения. Като върви, обаче, човѣкъ все по-напрѣдъ и по-напрѣдъ въ цѣтя на живота, чуднитѣ нѣща за него се намаляватъ и той постоянно намира, че на това или онова велико нѣщо причината е твърдѣ малка. Така се случи и съ мене, че като се скитахъ насамъ-нататъкъ изъ славния Лондонъ, испрѣчи ми се една сцена, която ми откри нѣкои тайни по искусството за правение книги и азъ прѣстаняхъ да се чудя.

Единъ лѣтенъ день испаднахъ въ грамадитѣ салони на Британския Музей съ такава лѣнностъ, съ каквато човѣкъ може да се яви въ такъвъ музей прѣзъ лѣтната горещина. И какво правѣхъ? — Прѣметахъ си очитѣ по стълженитѣ долани на минералитѣ, или разгледахъ хиеороглифитѣ на нѣкоя египетска мумия, или пъкъ, съ не по-малко усѣихъ, азъ се мъчехъ да разберъ аллегорическитѣ изображения на високитѣ тавани. Така мързеливо като гледахъ тугъ-тамъ, зърнахъ една отдаелечена врата, затънтена задъ нѣколко отдѣлення отъ музея. Тя бѣ затворена, ала сегистогисъ се отваряше и нѣкое чудно-лично същество, обикновенно съ черни дрѣхи, излизаше изъ нея и прѣпъзляше изъ стайтѣ, безъ да погледне на прѣдметитѣ що стоехъ наоколо. Всичко това имаше такъвъ тайнственъ образъ, че разбуди моето удрѣмано любопитство, и азъ се рѣшихъ да се вмѣкнѣ въ тая врата, и да изслѣдвамъ какви сѣ по-нататъшнитѣ неизвѣстни страни. Вратата, като я хванахъ, ми се отвори така лесно, както се отварятъ дверитѣ на въл-

шебни кули прѣдъ скитника рицарь, що дири приключения. Намѣрихъ се въ една много широка зала, заобиколена съ грамадни долапи, пълни съ почтени книги. Надъ долапитѣ и тъкмо подъ корнизитѣ на стаята висѣхъ наредени множество чернолики портрети на древни автори. Изъ залата имаше дълги маси, съ столове за четение и писание, на които бѣхъ сж намѣстили много блѣди, ученолюбиви, лица; тия лица бѣхъ си вдълбочили всичкото внимание въ нѣколко прашни книги, прѣбобръщахъ плесенясаши ржкописи, и взпмахъ сума блѣжки изъ тѣхното съдържание. Гробна тишина владѣеше въ това тайнствено отдѣление; единственний шумъ излизаше отъ драсканпята на ученитѣ пера и отъ случайнитѣ дълбоки воздишки на мждрецитѣ що държехъ перата; тия воздишки мждрецитѣ издавахъ, кога си мѣнѣхъ положението съ цѣлъ да обърнхъ страницитѣ на нѣкое ветхо фолио, и нѣма съмнѣние, че тѣ ги издавахъ подъ влиянието на оная пустотата и вѣтърничавость, които сж присжци на дълбокоучението.

Отъ врѣме на врѣме тия личности написвахъ нѣщо на едно кжсче книга, удрахъ звънецътъ и его че прѣдъ тѣхъ се исправяше единъ духъ, взимаше кжсчето книга съ дълбоко мълчание, излизаше на прѣте изъ стаята и се връщаше скоро натоваренъ съ тежки томове книги, за които личноститѣ се залавяхъ като изгладнѣли. Не се съмнѣвахъ, че съмъ иснаднжлъ между едно общество *маги*, дълбоко владени да изучаватъ тъмнитѣ науки. Дойде ми наумъ, споредъ тая сцена, една стара арабска приказка, която расправя, че имало едно врѣме единъ философъ, затворенъ въ дъното на една планина, въ една вълшебна библиотека, която се отваряла единъ пжтъ въ годината; въ тая библиотека философътъ накарвалъ мѣстнитѣ духове да му донесхъ всички книги, които съдържали всѣкакви тъмни учения; отъ тия книги философътъ напълнялъ себе си съ толкова мждрость, че въ края на годината, когато магическата врата се отваряла повторно, той искачалъ до толкова натоваренъ съ забранена мждрость, че могълъ да лѣти надъ главитѣ на множеството и да владѣе врѣхъ силитѣ на природата.

Любопитството ми се усили сега още повече, и азъ пошупнжхъ на единъ отъ прислужницитѣ, кога да си излѣзе изъ стаята, та го помолхъ да ми обясни каква е чудната сцена прѣдъ мене. Двѣ думи ми продума и азъ разбрахъ. Разбрахъ, че тия тайнствени личности, които испърво зехъ за *маги*, били повечето автори, заняти съ самото фабрикование книги. Намирахъ се, съ други думи, въ читалнята на великата Британска Библиотека — граммадна колекция отъ томове, събрани отъ всичкитѣ вѣкове и

отъ всѣкакви езници на свѣта; много отъ тѣя томове сега сж забравени вече, а повечето се рѣдко четжтъ. Въ това уединено блаото отъ отживѣла литература нинѣшнитѣ автори ходжтъ, та ваджтъ съ кофи мждростъ классическа, или «чистъ, непоковаренъ английски езикъ», и съ това испълватъ безводнитѣ пусти долчега на своята мисль.

Като знаехъ вече тайната, азъ се положиохъ въ кйшето да наблюдавамъ, какъ се фабрикуватъ книги. Забѣлжихъ едно блѣдо, черно жълто създаише, което дирѣше само най-пзяденитѣ отъ черветомове, писани все съ готически букви*). Това създаише навѣрно градѣше такава дълбокоучена книга, която ще бжде купена отъ всѣки човѣкъ, който иска да го мислжтъ за ученъ, и ще бжде турена на лична полница въ библиотеката или растворена на масата, ала никога никой не ще да я чете. Забѣлжихъ, че горкото създаише сегисъ-тогисъ, изваждаше единъ голѣмъ вжсъ бискуитъ изъ джеба си и го гризѣше; да ли това бѣ му обѣдтъ или искаше по тоя начинъ да възобнови силитѣ на стомаха се, ковто сж били истощени отъ многото висѣние надъ сухи съчпнения, оставямъ да рѣшжтъ по-ученитѣ отъ мене.

По-настрана стоеше единъ пѣргавъ дребенъ джентълманъ въ свѣтли дрѣхи, съ едно шеговито, бѣбриво, изражение на лицето, който по всичко си личеше, че ще да е добръ съ печатаретѣ и книжаретѣ. Внимателно го слѣдихъ и разбрахъ, че той е събирачъ на «всѣкаквъ смѣсъ», който доста добръ се харчи въ търговия. Любопитенъ бѣхъ да виджъ, какъ фабрикуваше своята стока. Той седвижеше и се показваше, че работи повече отъ всички други; задълбочаваше се ту въ една, ту въ друга книга, прѣмѣташе листа ту на еднѣ, ту на другъ ржкописъ, отъ тукъ взимаше една часть, отъ тамъ друга. «редъ го редъ, правило по правило, отъ тукъ малко и отъ тамъ малко.» Съдържанието на книгата му не можеше да бжде по-разнообразно и по-несвързано. Тукъ виждашъ прѣстъ, тамъ палецъ, тукъ кракъ отъ жаба, тамъ жило отъ брѣмбаръ, а между, това и нѣщо оригинално отъ самия авторъ, като слѣдующето:

Сутренъ рано по вечера,
Въвъ срѣдъ лѣто по студа,
Азъ излѣзохъ на полето
И останжхъ у дома. . . »

Най-сетнѣ, помислихъ си азъ, може това расположение къмъ вражда да е всадено въ писателитѣ съ благородна цѣль: кой знае,

*) Най старитѣ английски книги сж писани съ готически букви

да не би Провидѣнието да е избрало съ това именно сръдство да съхрани отъ погибель сѣмената отъ знание и мѣдростъ, отъ вѣкъ на вѣкъ и отъ поколѣние на поколѣние, въпрѣки неизбѣжното разорение на съчиненията, въ които тѣ най напредъ сж се явили? Ние виждаме, че природата твърдѣ разумно, макаръ и малко каприциозно, е наредила, че стомахътъ на извѣстни птици да служи като сръдство за прѣнасяние сѣмена отъ единъ климатъ на другъ. Тѣй, че животни, които между другитѣ животни сж изродни, и които беззаконно обиратъ градинитѣ и вивята, въ сжщность, сж крадѣжне по които природата распръсква и увѣковѣкчава своитѣ благо словения. По сжщия начинъ хубоститѣ и прѣкраснитѣ мисли на стари и съвсѣмъ забравени автори сж улавятъ отъ тия рояци крадци — писатели, и се изнасятъ на видѣло да цѣвнатъ и вържатъ новъ плодъ въ по-отдалечено и по ново врѣме. Много отъ съчиненията на забравени автори минаватъ прѣзь единъ видъ *мстемпсихозисъ* и се явяватъ въ нови форми. Едноврѣмешнага сериозна история се обръща на романаецъ — стара нѣкоя легенда става на настояща драма — и нѣкое трѣзво философско съчинение доставя материялъ за цѣлъ редъ шумни и свѣтулкави опити. Тѣй става и съ унищожаванието на американскитѣ лѣсове. дѣто сме изгорили цѣли гери отъ гигантски борове никнѣтъ изродени дребнички дѣбчета; грамнадний трупъ на едно дърво що гние въ земята винѣги оставя за свои наследници цѣло племе гжби.

Да не плачемъ, тогава, за дѣто погиватъ и се забравятъ древнитѣ писатели. Тѣ като всички се покоряватъ на великия естественъ законъ, който провъзгласява, че всички подлунни видове материя ще бждѣтъ ограничени въ своя животъ, ала който, въ сжщото врѣме постановява тѣхнитѣ елементи никога да не загиватъ. Поколѣние слѣдъ поколѣние се избугватъ, нъ жизненитѣ принципи се прѣнася на потомството и родоветѣ продължаватъ да цѣвнатъ. Тѣй сжщо, автори раждатъ автори, и като произведѣтъ едно многобройно котило, тѣ заспиватъ по едно врѣме съ своитѣ бащи, т. е. съ авторитѣ, които сж ги прѣдшествовали и отъ които тѣ сж жрали.

Докато така безгрижно распуцахъ своитѣ блуждаещи мечти, азъ държехъ главата си облѣгнѣта о единъ купъ почтени томове. Дали отъ приспивателнитѣ испарения що излизахъ изъ тия томове, или отъ дълбоката тишина въ стаята, или отъ умора, която чувствува човѣкъ, при голѣмо скитание, или пакъ отъ злополучний обичай, който силно ме владѣе, да заспивамъ на важни минути и мѣста, — отъ какво не знамъ, ала азъ позадрѣмахъ. При все това,

въображението ми продължаваше своята работа; и наистина, сжщата сцена останѣ прѣдъ очитѣ ми, само че се измѣни малко въ нѣкои подробности. Азъ виждахъ въ сѣна си, че залата още бѣ украсена съ портретитѣ на древни писатели, само не съ толкова малко портрети, колкото виждахъ наявѣ, а повече. Дългитѣ маси съвсѣмъ се изгубихъ и на мѣстото на мѣдритѣ *magi* виждахъ дрѣшаво, олизано въ дрѣхитѣ, множество, такова, каквото ще намериш човѣкъ на улица *Монмаутъ* да събира парцали отъ хвърлени дрѣхи. Кога нѣкой отъ това множество хванѣше нѣкоя книга, менъ се показваше, тъй както се случва обикновенно насѣнѣ, че книгата се обръща на особна старомодна дрѣха, съ която се обличаше лицето що бѣ я хванѣло. Забѣлѣжихъ, обаче, че никой почти не претендираше да се облѣче въ цѣлъ единъ катъ както си е; всѣки гледаше да докачи ржкаветѣ отъ единъ, грѣбътъ отъ другъ, политѣ отъ трети и т. н. т. Така безразборно се обличаше всѣки отъ множеството, като оставяше нѣкои отъ своитѣ собствени дрѣшъ да се показватъ отвънъ между заетитѣ хубости.

Имаше единъ снаженъ, червендалестъ, добръ-угоенъ свещеникъ, който, забѣлѣжихъ, гледаше любезно нѣколко плесенясаши полемически писатели прѣзъ едно стѣкло. Той скоро скрои да измѣни грамадната мантия на единъ усопишъ праотецъ и като присламчи и сивата брада на другъ, направи се да изглежда извъпрядно мѣдъръ. Ала прѣбравеното му просташко улыбване разваляше всичкото впечатлѣние отъ мѣдрословнитѣ украшения. Другъ джентълманъ, съ болняво лице, пришиваше на една нищожна дрѣха златенъ ширитъ, обранъ отъ нѣколко дрѣхи отъ врѣмето на Царица Елисавета. Трети, съвсѣмъ дребенъ на бой, бѣ наподирѣлъ себе си съ плѣчка отъ нѣколко философски съчинения, тъй, че правѣше отпрѣдъ една величественна картина, а отдирѣ, — боже упзи! — той висѣше въ жалостни дрипи и малкитѣ му дрѣхи, забѣлѣжихъ, че сж закрѣпени съ въжове пергаментъ отъ единъ латински авторъ.

Имаше при това, трѣбва да си кажъ правото, нѣколко добръ облѣчени джентълмене, които прилагахъ на себе си само по единъ брилянтъ или нѣщо подобно, тагива брилянти лѣщѣхъ измежду тѣхнитѣ собствени украшения, безъ, обаче, да ги поставятъ въ *затмение*. Нѣкои, пъкъ, като че съзерцавахъ костюмитѣ на старитѣ писатели просто съ цѣлъ да усвѣтътъ тѣхния вкусъ и да уловятъ тѣхния духъ и тѣхния тонъ; нъ, съ съжаление го казвамъ, твърдѣ много укичвахъ себе си отъ главата до краката по оня кръпярски способъ, за който споменяхъ по-горѣ. Нѣма да забравя: никога единъ гений, облѣченъ съ кафяво-сукнени панталони и гетѣ

и съ аркадийска шапка, който бѣ лудо наклоненъ въмъ пасторалиитѣ, ала който освѣнъ често посѣщаванитѣ классически мѣста на Primrose-Hill и самотинитѣ на Regent's-Park, други мѣста, по селата, не бѣ виждалъ. Той бѣ натруфилъ себе си съ вѣнци и ленти отъ всички стари идиллически поети и, обвиснѣлъ съ главата си на една страна, съ единъ фантастически — сантименталенъ погледъ, блънуваше за зелени полета. Най-много впечатлѣние ми направи единъ безсраменъ старъ джентълманъ, въ духовни одежди, съ доста голѣма четвъртица, ала гола, глава. Той влѣзе въ стаята много *сербезъ*; като нухтѣше и сумтѣше, разбута множеството, та прѣмнѣхъ съ единъ до грубость самонадѣянъ погледъ, и, като се улови о единъ голѣмъ томъ писанъ на грѣцки хлупнѣ го на главата си и тържествено захванѣ да крачи съ една страшна нахждрена перука.

Посрѣдъ тоя литературенъ маскарадъ екижъ отъ всички страни единъ и сѣщъ видѣ: „Крадци! Крадци!“ Азъ си вдигнѣхъ очитѣ нагорѣ и какво да видѣ? — Портретитѣ по стѣнитѣ захващахъ да оживѣватъ. Древнитѣ писатели си показвахъ първо главата, послѣ рамената, изъ платното, на което бѣхъ изобразени; въ тоя видѣ поглеждахъ съ любопитство надолу къмъ шареното множество; слѣдъ това слизахъ бързо съ очи разсвирѣцѣли да си отнемѣтъ разграбената собственность. Безразборното движение и голѣмата гюрюлтѣя подвигнѣти отъ това не могатъ се описа. Нещастнитѣ крадци искахъ да побѣгнѣтъ заедно съ пляката, що бѣхъ се награбили. На една страна една дузина стари калугери оголвахъ единъ модеренъ профессоръ; на друга пѣкъ жалостно опустушение ставаше въ редовитѣ на модернитѣ драматисти. Beaumont и Fletcher*) свирѣпствувахъ на бойното поле единъ до другъ като Касторъ и Поллуксъ А грубий Ben Jonson**) извърши повече чудеса отколкото кога е билъ съ армията въ Фландрия. Оня пѣргавичкий дребничекъ джентълманъ, за когото казахме, че събираше смѣсъ, бѣше се напичилъ съ толкова разни кѣсове и бои, че приличаше на палиячо; затова сега около него бѣхъ се събрали толкова души да си обиратъ всѣки своето, колкото надали е имало около мъртвото тѣло на Патрокла. Жално ми бѣ да видѣхъ иѣкои хора, на които бѣхъ навикнѣлъ да гледамъ съ почетъ и уважение, че на драго сърдце гледахъ да се откопчѣтъ, па даже и голи съвсѣмъ безъ ни единъ дриселъ на тѣлото си. Нъ ето прѣдъ очитѣ ми се испрѣчи и оня безсраменъ старъ джентълманъ съ грѣцката нахждрена перука! Той

*) Двама другари драматисти — англичане: Beaumont е живѣлъ отъ 1586 — 1615, а Fletcher отъ 1576 — 1625.

**). Английски драматикъ — критикъ, живѣлъ отъ 1574—1637.

се мушкеше да излѣзе уплашенъ крайно, а слѣдъ него викахъ нѣщо двадесетина автора. Тѣ го докопчихъ най-послѣ. Веднѣга отскокнѣ отъ главата му перуката и едно по едно и другитѣ украшения се смѣхнѣхъ отъ него, докато въ нѣколко минути отъ царствения му салтанатъ останахъ само нѣколко дрипи, съ които си и излѣзе.

Толкола смѣшна ми се видѣ катастрофата що сполѣтъ учения мѣдрецъ, че азъ се изсмѣхъ колкото си могъ и веднѣга всичко се измѣни. Ни шумъ, ни борение нѣмаше въ стаята. Залата прие своя обикновенъ видъ. Древнитѣ автори се повърнахъ въ своигѣ черчевета и висѣхъ въ мрачна тържественностъ по стѣнитѣ. Накъсо, азъ се събудихъ и разбрахъ, че съмъ сънувалъ. Цѣлий Сонмъ отъ книжнитѣ червей бѣ се обвърнахъ, стрѣснѣхъ, къмъ мене. Отъ моя сънъ нищо не бѣ истина, освѣнъ громкий смѣхъ, съ който бѣхъ се изсмѣлъ; такъвзи гласъ никога по-прѣди не билъ чуванъ въ това достопочтенно светилище; всичкото братство се развълнува като отъ електричество отъ лошего впечатлѣние, което направихъ на ушитѣ имъ.

Библиотекартъ се исправи сега при менъ и ме попита имашъ ли входенъ билетъ. Испърво не можехъ да го разберъ, нъ скоро открихъ, че библиотеката е единъ видъ *„звѣринецъ“*, подчиненъ на извѣстни църкови закони, дѣто не всѣки трѣбва се наимъ да влиза вътрѣ безъ особно съзвонение. Съ малко думи, азъ излѣзохъ виновенъ, дѣто бѣхъ си позволилъ да влѣзъ въ библиотеката, и на драго сърдце си обрахъ крушитѣ, да не би да пустнахъ прогивъ мене цѣлъ пакетъ автори.



Novissima Verba

(ОТЛОМЪКИ ИЗЪ ВТОРАТА ЧАСТЪ.)

I

БАСНЯ.

Незнамъ при кой съборенъ мостъ намѣрила се плоча
Съсь тѣзи буквици: — „*Ма . . Г . . . Р . . . Ш . . . П Т . . .*“
И никой, — даскалъ нито пощъ, владика нито ходжа,
Тозъ надписъ не можалъ да прочете . . .
Стотина учени невѣжи, филолози

И тайновѣдци,
Законовѣдци
И педагози,

Отъ вредъ къмъ плочата се стѣкли, —
Стотини глупости изрѣкли . . .
Едений буквитѣ така тълкувалъ:

— „Мамо! дай горѣща питка!“ —

А другий — дълги часове подиръ като хитрувалъ,
Туй поясненъе измъждрувалъ:

— «Малка, грѣшна, плитка!»

Най послѣ се вѣстиялъ

Единъ овчаръ, планинецъ грубъ и простъ,
И твъртъ вѣрно буквитѣ прочелъ и разчленилъ
Така: — «Магарешкия пжтъ». — (*Съборения мостъ
туй носѣлъ парванне . . .*)

О роде мой, прерпазвай се отъ туй надмѣнно знанъе
Което днесъ блѣсти въ говора
На дипломиранитѣ хора.

II.

ЭПИГРАММА.

За X. Y. Z. прекалено редовенъ счетоводитель
и ревностенъ буквоедецъ.

Въ деня когато този дишлогографъ
Духътъ си Господу ще предаде,
На гроба му турете Епитафъ :
«— За своя духъ квитанция той взѣ!» —

III.

Изъ народнитѣ сказанія.

Небото распитва Земята : —
«— Кажи ми, тжовна Земѣце,
Отъ всички творенья които
Живѣжтъ на твоего лице
Най-много кое ти тѣжи?» —
Земята тозъ отговоръ дава : —
«— Слѣпецъ който спори за цвѣтъ,
«Глухъ който за хоръ разсѣждава!»

Де Профундисъ.

КОЛЕДНА ПРИКАЗКА.

отъ

Щедрина.

(Прѣводъ отъ руски).

Много хубава проповѣдь каза днесъ за празника нашия селски свещеникъ.

«Прѣди много вѣкове, каза той, въ този сѣщій день е дошла въ свѣтътъ Правдата.

«Правдата е вѣчна. Тя прѣди всичкитѣ вѣкове е сѣдяла заедно съ Человѣколюбца Христа отъ дѣсно на Бога Отца, заедно съ Него се е въплотила и е запалила на земята своя свѣтильникъ. Тя е стояла у подножието на кръстътъ и се е распинала заедно съ Христа; тя е сѣдяла въ видъ на свѣтозаренъ ангелъ при неговия гробъ и е видѣла Неговото воскресение. И когато Человѣколюбеца се възнесагъ на небето той оставилъ на земята Правдата, като живо свидѣтелство за своето неизмѣнно благоволение къмъ човѣческия родъ.

«Отъ тогава нѣма въ цѣлия свѣтъ ни единъ кѣтъ, въ който да не е проникнала правдата и да не го е изпълнила. Правдата възпитава нашата съвѣсть, згрѣва нашитѣ сърдца, оживява нашия трудъ, указва ни цѣльта къмъ която трѣбва да бжде насоченъ нашия животъ. Огорчениитѣ сърдца намиратъ въ нея вѣрно и всѣкога отворено убѣжище, въ което тѣ могатъ да се успокоятъ и да се утѣшатъ отъ случайнитѣ вълнения на живота.

«Неправилно мислятъ онѣзи, които утвърдяватъ, че правдата нѣкога е скривала своето лице, или — което е още по-горчиво — че е била нѣкога побѣдѣна отъ неправдата. Не е, даже въ онѣзи скърбни минути, когато на кѣсогледитѣ хора се е чинило, че тържествува бащата на лъжата, въ дѣйствителностъ е тържествувала правдата. Тя единичка не е имала врѣмененъ характеръ, единичка е вървяла сѣ напредъ, като е простирала своитѣ крилѣ надъ свѣтътъ и го е освѣтлявала съ присносѣщния си свѣтъ. Минното тържество на лъжата се е разсѣвало като тежкъ сънъ, а правдата е продължавала своето шедствие.

«Заедно съ гоненитѣ и униженитѣ правдата е слизала въ подземията и е прониквала въ планинскитѣ усои. Тя е горена заедно съ праведницитѣ на огъня и е стояла наредъ съ тѣхъ прѣдъ-

лицето на мъчителитѣ. Тя е раздувала въ тѣхнитѣ души священния пламъкъ, отгонвала е отъ тѣхъ малодушнитѣ помисли и измѣни; тя ги е учила да страдаятъ. Напрасно служителитѣ на лъжата сж мислили че тържествувать, като сж гледали тѣзи вещественни признаци, които сж прѣдставлявали наказанието и смъртта. Най-лютитѣ наказания сж били безсилни да сломятъ правдата, а на противъ тѣ ѝ сж съобщавали най-яка притегателна сила. Като гледали тѣзи наказания, западвали се сж проститѣ сърдца и въ тѣхъ Правдата е намирала нова благодарна почва за сѣяне. Огнетѣ сж пламтели и сж поглѣщале тѣлата на праведницитѣ, но отъ пламъка на тѣзи огнече сж се запалвали безчисленно множество свѣтилници, тѣй както на Свѣтлага утрень отъ пламъка на една запалена свѣщъ отеднѣжъ всичкия храмъ се освѣщава отъ хиляди свѣщи.

«А каква е тази Правда, за която азъ говоря съ васъ? — На това питане ни отговаря Евангелската заповѣдь. Прѣди сичко обичай Бога, а послѣ обичай ближния си, като самага себе. Тази заповѣдь, колкото и да е кратка, заключава въ себе си сичката мѣдростъ, сичкия смисълъ на човѣшкия животъ.

«Обичай Бога — защото Той е Живнодавецъ и Човѣколюбецъ, защото той е извора на доброто, на нравственната хубость и на истината. Той е Правдата. Въ тоя сщия храмъ, дѣто се приноси безкрѣвна жертва Богу, извършва се и постоянното служене на Правдата. Всичкитѣ му стѣни сж напоени съ Правдата, тѣй щото вие, — даже най-лонитѣ отъ васъ, — като влизате въ храма чувствувате се умиротворени, опросвѣтени. Тука прѣдъ лицето на Распнатия вие уталожвате вашитѣ скърби; тука намирате покой за размѣтенитѣ си души. Той е билъ распнатъ зарадъ Правдата, лучите на която сж се излѣли отъ него на всичкия свѣтъ, — та вие ли ще ослабнете духомъ прѣдъ испитнитѣ, които ви постигатъ.

«Обичай ближния си, като самага себе, — такъва е втората половина на Христовата заповѣдь. Нѣма да говора за това, че безъ любовь къмъ ближния е невъзможно задружното живѣяне, — ще кажа направо безъ забикалки: тази любовь сама по себе си, на страна отъ всѣки други съображения, е красота и ликуването на нашия животъ. Ние трѣбва да обичаме ближния си не зарадъ взаимността за да ни обича и той — но зарадъ самата любовь. Трѣбва да обичаме непрѣстанно, самоотвержено, съ готовность да положимъ душата си тѣй както добрия пастиръ полага душата си за своитѣ овце.»

«Ние трѣбва да помагаме на ближния си, безъ да смѣтаме

ще ли той да ни върне оказаната услуга или нече; ние трѣбва да го запазимъ отъ лошевинитѣ, макаръ подобна лошевина да заплашва и насъ да погълне; ние трѣбва да се застъпимъ за него прѣдъ голѣмцитѣ, трѣбва и на бой да идемъ за него. Чувството на любовта къмъ ближния е най-високото съкровище, което има само човѣкъ и което го отличава отъ другитѣ животни. Безъ неговия животворенъ духъ сичкитѣ човѣшки дѣла сѣ мъртви, безъ него гаснѣе и става непонятна и самата цѣль на човѣшкото съществуване. Само онѣзи хора живѣятъ пълненъ животъ, въ които пламти любовъ и самоотречение, тѣ единчки само знаятъ дѣйствителнитѣ радости на живота.

«И тъй, да обичаме Бога, да се обичаме единъ други — такъвъ е смисъла на човѣшката Правда. Нека нея да търсимъ и по нейнитѣ стѣпки нека търгнемъ. Да се неплашимъ отъ коварствата на лъжата, но добръ да се укрѣпимъ и да имъ противопоставимъ придобитата отъ насъ правда. Лъжата ще се посрами, а Правдата ще остане и ще згрѣва сърдцата на хората.

«Сега ние ще се върнете по домоветѣ си и ще се прѣдадете на веселби зарадъ празника на Рождеството Христово. Но и срѣдъ вашитѣ веселби незабравяйте, че съ Него е дошла въ свѣта и Правдата, че тя въ всичкитѣ дни, часове и минути присѣтствува посрѣдъ васъ и че тя е онози свещенъ огънь, който освѣтява и изгрѣва човѣшкото съществуване.»

Когато свещеника свърши и отъ клироса се раздаде: «Буди имя Господне благословенно,» то по сичката църка се испусна едно дълбоко въздхвание. Сякашъ че сичкитѣ богомолци съ това въздхвание потвърдяваха: «Да, буди благословенно!»

Но отъ сичкитѣ присѣтствующи въ черковата най-внимателно се вслушваше въ думитѣ на отца Павла десето годишния Сергея Русланцевъ. Отъ врѣме на врѣме у него даже се забѣлѣжваше възненение, очитѣ му се напълваха съ сълзи, бузитѣ му рукава и самичакъ той цѣль се надносеше напрѣдъ, сѣкашъ че искаше за вѣщо да попита.

Мария Сергѣевна Русланцева бѣше млада вдовица и имаше жъничко владане въ самото село. Прѣзъ врѣмето на крѣпостната зависимость (чокойството) въ това село имаше около седемъ помѣщически (спахійски) владания, които бѣха близу едно до друго. Помѣщичитѣ (спахитѣ) владѣха по малко земя, Федоръ Павловичъ Русланцевъ бѣше единъ отъ най-бѣднитѣ: той владѣше сичко три селски къщи и около десетина домашни слуги. Но тъй като него неспрѣжнато избираха на постоянни длѣжности, то службата му по-

могна да си збере единъ малък капиталъ. Когато настъпи освобождението (на селенитѣ), той получи, като дребенъ землевладелецъ износенъ откушъ, и като продължаваше земледѣлието на останалия му слѣдъ раздѣлата късъ земя, можеше да поминува отъ днеска за днеска. Мария Сергѣевна се ожени за него доста врѣме слѣдъ освобождението на селянитѣ, а слѣдъ година тя бѣше вече вдовица. Федоръ Павловичъ, веднажъ като разгледвагъ своя малъкъ лѣсъ, коня му се уплаши отъ нѣщо, хвърли го и той си разби главата о едно дърво. Два мѣсеца слѣдъ това младата вдовица роди синъ.

Мария Сергѣева си живѣеше доста скромничко. Тя напустна земледѣлието, земята си даде на селенитѣ да я работатъ, а за себе си остави само двора съ една градинка, съ единъ бостанъ край него. Единъ конь и три крави — това бѣше сичкия ѝ добитъкъ. Една стара бавачка съ дъщеря ѝ и съ женения ѝ синъ — това бѣха сичкитѣ вмъ слуги. Бавачката нагледваше за сичко изъ къщи и записваше малкия Серьожа; дъщеря ѝ готвеше я шѣташе изъ къщи; сина ѝ съ жената си гледаше добитъка, домашнитѣ птици, обработваше бостана, градината и пр. И заживѣха си тѣ тихо и мирно. Несѣщаха нужда за нищо. За дърва и за по-главнитѣ домашни потребности тѣ недаваха пари — имаха си ги; а което трѣбаше да купувать, минуваха и безъ него. Всички домашни говореха: «сжщо като въ рая живѣемъ!» И самичка Мария Сергѣевна забрави, че сжществува на свѣта други животъ (тя само крадишкомъ бѣше видѣла другия животъ изъ прозорцитѣ на института, въ който се бѣше воспитавала). Само Серьежа отъ врѣме на врѣме я безпокоеше. Изъ най-напрѣдъ той растеше добръ, нъ като приближи седмата година, зеха да се показватъ бѣлѣзи на една болѣзненна впечатли телность.

Той бѣше умно и тихо момче, но въ сжщото врѣме слабо и болѣзненно. Отъ седмата година Мария Сергѣевна го положи надъ книгата; изъ най-напрѣдъ тя го учеше сама, но послѣ, когато момчето ѝ приближи десетѣтъ години, зе да ѝ помага на ученето и отецъ Павелъ. Тя сиѣташе да прати Серьежа въ гимназията, та затова трѣбваше да се запознае той баремъ съ първитѣ основи на древнитѣ езици. Това врѣме приближаваше и Мария Сергѣевна съ голѣмо безпокойствие си прѣмислюваше за прѣдстоящата разлика съ сина си. Но нѣмаше що. Само при такъва разлика тя можеше да даде подобро възпитание на сина си. Окръжния градъ бѣше доста далечко и да се прѣсели тамъ при малкия си годишенъ доходъ нѣмаше никаква възможность. И тя вече водеше прѣписка за Серьежа съ своя роденъ братъ, който живѣеше въ окръжния градъ, дѣто

имаше нѣкаква служба; отъ ония дни тя получи и писмо, въ което братъ ѝ се съгласява да приеме Серьежа въ своего семейство.

Като се върнаха отъ черкова, додѣ пиха чай, Серьежа се продължаваше да се вълнува.

— Азъ, мамко, по правдата искамъ да живѣя! — повтаряше той.

— Да, гълъбче, въ живота главното е правдата — успокояваше го майка му: — само че твоя животъ е напредъ още. Дѣцата другояче не живѣятъ, та и немогатъ да живѣятъ, освѣнъ по правдата.

— Не, азъ не тѣй искамъ да живѣя; дѣдо попъ казваше, че онзи, който живѣе по правдата, длъженъ е да защитава ближния си отъ сякакви обиди. Ето какъ трѣба да се живѣе! А азъ мигаръ така живѣя? На, оня день на Ивана Бѣдния продадохъ кравата — мигаръ азъ се застъпникъ за него? Азъ само гледахъ и плачехъ.

— Ето, въ тѣзи твои сълзи е твоята дѣтинска правда. Ти не си и могаль да направишъ друго нѣщо. Продаде сж на Ивана Бѣдния кравата, това е сганало по закона, за дългъ. Има такъвъ законъ, че сѣкой трѣбва да плаща своитѣ дългове.

— Иванъ, мамо, неможеше да заплати. Той искаше, ама неможеше. И баба казва, че по-бѣденъ селенинъ отъ него нѣма въ цѣлото село. Е, каква е тая правда?

— Казвамъ ти пакъ, има такъвъ законъ и сички сж длъжни да изпълняватъ закона. Ако хората живѣятъ въ общество, то тѣ нѣматъ право да захвърлятъ своитѣ длъжности. Ти по-добръ за ученето мисли — ето твоята правда. Ще постъпишъ въ гимназията, бди тамъ и прилеженъ, мпреаъ — това ще и да каже, че ти живѣешъ по правдата. Не обичамъ азъ, когато ти се тѣй вълнувашъ. Каквото и да видишъ, каквото и да чуешъ, — се нѣкакъ си ти пада на сърдцето. Дѣдо поцъ говореше изобицо; въ черкова и не може другояче да се говори; а ти тоя часъ го зимашъ върху себе си. Моли се за ближнитѣ — повече отъ туй и Богъ неща иска отъ тебе.

Но Серьежа се не успокои. Той побѣгна въ готварницата, дѣто въ това врѣме бѣха се събрали сички слуги и пиеха чай зарадъ празника. Готвачвата Стефана се въртеше около пещъта и токо изваждаше съ куката гърнето съ заврѣлата мазна черба. Меризмата отъ тлъстия печенакъ и отъ празничния млинъ бѣше напоила сичкия въздухъ.

— Азъ, бабо, по правда ще живѣя вече! — обяви Серьежа

— Я го вишъ ти! много отъ рано си се накаралъ! — се пошегува бабичката.

— Не е, бабо, азъ съмъ си далъ вече дума — зарекълъ съмъ се! Ще умра за правдата, ама, на неправдата не ща се покоря!

— Ехъ, завалийката! вишъ какво му е дошло нему въ главичката!

— Мигаръ ти не чу, какво казва въ черкова дѣдо попъ? За правдата живота си трѣбва да полагаме, ето що! Въ бой е длъженъ да върви съкой за правдата!

— То се знае. Какво друго ще и да се говори въ черкова? За това е и дадена черковата, за да слушаме въ нея за праведни работи. Само ти, милчико, за слушанье — слушай, но и съ ума си размислявай.

— И споредъ правдата да се живѣе трѣбва пипане и озертане — продума наставително ратая Григория.

— Защо напримѣръ, ние съ мама пиемъ чай въ обѣдната стая, а вие — въ готварницата? Мигаръ това е право? — говореше пламналъ Серьежа.

— За правдъ — не е право, но така си върви отъ памтвѣка. Ние сме хора простички, намъ и въ готварницата е добръ. Ако биха отишли сички въ обѣдната стая, то и стая не бѣха се намѣриле толкова.

— Ти Сергей Федоричъ, ето какво! — пакъ се намеси Григория: — кога станешъ голѣмъ — сѣди дѣто искашъ: ако щешъ въ обѣдната стая, ако щешъ въ готварницата. А до дѣто си малъкъ, да сѣдишъ съ майка си — по добра отъ тази правда споредъ твойтъ години неще да намѣришъ. Скоро ще доде и дѣдо попъ за обѣдъ, и той ще ти каже скъцото. Ние макво не правимъ: и околъ добитѣка се въртимъ, и въ земята се ровимъ, а господаретъ такива работи не знаятъ. Тѣй е то!

— Та това е то неправдата я!

— А споредъ насъ така: ако господаретъ сж добри и милостиви, това е тѣхната правда. А ако ние работницитъ усърдно служимъ на господаритъ си, не лѣжемъ ги, трудимъ се както трѣбва — то е нашата правда. Благодарение и на това, ако сѣки варди своята правда.

Настъпи минутно мълчание. Видеше се, че на Серьежа се иска да отвърне нѣщо, но доводитъ на Григория бѣха тѣй добродушни, щото той се не рѣши.

— Въ нашитѣ мѣста — първа прѣкъсна мълчанието бавачката — отдѣто ние съ майна ти сме дошли, имаше едниъ помѣщикъ

(чоковицъ), викаха го Разсошниковъ. Испърво той си живѣеше както и другитѣ. На токо поиска отведнашъ да живѣе по правдата. И какво направи най-послѣ? — Продаде имотитѣ си, паритѣ раздаде на бѣднитѣ, а самичакъ отиде въ чужбина. . . . Отъ тогава не го е виждалъ никой.

— Ахъ, бабо, вижъ ти какъвъ човѣкъ!

— А при това неговия синъ служеше въ Петербургъ въ единъ полкъ — притури бавачката.

— Бащата раздаде имането си, а за сина не остана нищо. Я попитай сина му добра ли е бацината му правда? — разсѣди Григорий.

— А сина му мигаръ не е разбралъ, че баща му е постъпилъ споредъ правдата? се застъпи Серѣжа.

— Тамъ е работата, че той като че не разбралъ това, и зель да се опитва да си го повърне. Защо, казва, ме е записалъ въ полкъ, когато сега нѣма съ какво да се поддържамъ?

— Записалъ въ полкъ . . . нѣма съ какво да се поддържа . . . машинално повтаряше Серѣжа слѣдъ Григория, като се забъркваше слѣдъ тѣзи съпоставления.

— И азъ помня единъ такъвъ случай, продължи Григорий; — отъ този сѣщия Разсошниковъ се захвана и подигна единъ селенинъ на име Мартинъ. И той тѣй сѣщо колкото пари имаше, раздаде ги на бѣднитѣ; остави само една къщица на домашнитѣ си, на обирамчи торбата си и крадишкомъ, ношно врѣме отиде нагждѣто му видятъ очи. Само, не щешъ ли, забравилъ да си извади свидетелство отъ общината; и ето ти, че слѣдъ мѣсець го върнаха дома подъ конвой.

— Защо? нема билъ направилъ той нѣщо лошо? — възрази Серѣжа.

— Лошо не лошо, азъ за това не говоря, а за туй, че по правдата трѣбва да се живѣе съ пиране и озъртане. Безъ свидетелство отъ общината не се позволява да се ходи. Така сички ще се испопръснатъ, ще зарѣжатъ работата си — и не ще можешъ си отвори и вратата отъ скитници и просеци.

Тѣ се напиха чай, станаха и се прѣкръстиха.

— Сега ще да обѣдваме — каза бавачката: ха върви, гълъбче, при майка си, посѣди си при нея; скоро белки ще додаты и дѣдо попъ съ баба попадия.

Дѣйствително, вждѣ два часа слѣдъ пладнѣ дойде отецъ Павелъ съ жена си.

— Азъ, дѣдо попе, искамъ да живѣя по правдата. За правдата и на бой ще ида! — посрѣщача Серьежа гоститѣ.

— Гледай го ти какъвъ борець се появилъ! педя човѣкъ, а пъкъ се е накарналъ и на бой да върви! — се пошегува дѣдо попъ.

— Омръзнало ми е да го слушамъ! отзарава се това му е въ устата, — каза Мария Сергѣевна.

— Нѣма нищо, госпожо. Ще поговори и ще забрави.

— Не е, нѣма да забравя! — насгояваше Серьежа. — Вие одеве самички говорехте, че трѣбва да се живѣе по правдата . . .

— За това е и наредено да има черкова, за да се възвѣщава въ нея правдата. Ако азъ, като пасгиръ духовенъ, не изпълня своята длъжностъ, то черковата сама ще напомни за правдата. Сѣко слово, което се произноси въ нея отъ когото и да е — е правда. Само ожесточенитѣ сърдца могатъ да останатъ глухи къмъ нея. . . .

— А какъ да се живѣе?

— Трѣбва по! правдата и да се живѣе. Когато ти стигнешъ на възраст, тогава щешъ и да разберешъ както трѣбва правдата, а сега доста е за тебе и тази правда, която е свойственина на твоята възраст. Обичай майка си, почитай по-старитѣ, учи се прилежно, бжди скроменъ — ето твоята правда.

— Ами мъченицитѣ . . . вие сами говорехте одеве. . . .

— Имало е и мъченици. За правдата и поношения трѣбва да търпимъ. Само че тебѣ още не е дошло врѣме да мислишъ за това.

— Мъченици огневe говореше Серьежа забъркано.

— Е, стига толкова! — нетърпеливо му викна Мария Сергѣевна.

Серйожа мълкна, но доде обѣдваха той бѣше сѣ замисленъ. Въ врѣме на обѣда си приказваха, както сѣкога, за селскитѣ работи. Едни слѣдъ други слѣдваха расказитѣ и не сѣкога изъ онѣхъ се виждаше да е тържествувала правдата. По право казано, нѣмаше ни правда, ни неправда. Това си бѣше обикновенния животъ въ тѣзи форми и съ онази подкладка, къмъ които сички отъ памги-вѣкъ сме навикнали. Серьежа сѣки день е слушалъ тѣзи разговори, и никога не се е вълновалъ отъ тѣхъ нѣкакъ повече. Но този день въ неговото схщество проникна нѣщо ново, което го подбуждаше, и възбуждаше.

— Тъж де! — го караше майка му, като гледаше, че той май никакъ не ѣде.

— In corpore sano mens sana (въ здраво тѣло здрава душа)

— отъ своя страна притури дѣдо попъ. — Слушай майка си — съ това най-добрѣ ще докажемъ своята любовъ къмъ правдата. Трѣбва, истина, да обичаме правдата; но безъ причина да се мисли човѣкъ за мъченикъ — това е вече тщеславие, суетностъ.

Новото споминие правдата растревежи Серьежа. Той се понаведе надъ паницата и се мъчеше да ѣде; на отведнажъ токо зариде. Сячкитѣ угрижено го обиколиха

— Главата ли те боли? — го питаше Мария Сергѣевна.

— Боли ме, — отговори той съ слабъ гласъ.

— Е, ха иди си лѣгни, мами. Бабо, вижъ та го нагоди тамъ и го завий.

Отведоха го. Обѣда за нѣколко минути се прѣкъсна, защото Мария Сергѣевна се не удържа, ами отиде слѣдъ бавачката. Слѣдъ малко и двѣтѣ се върнаха и казаха, че Серьежа заспагъ.

— Нищо, ще поспи и ще му мѣне! — успокояваше Отецъ Павелъ Мария Сергѣевна.

Ала до вечерта не само не го прѣболя главата, ами рукна и въ огънь. Прѣзъ ноцта Серьежа трѣпенъ ставаше на постелката си и токо нишаше съ ръцѣтъ си на около, като ли че нещо диреше.

— Мартинъ . . . подъ конвой за правдата . . . какво е това? — бърбореше той несвързано.

— Каквъ Мартинъ спомѣнува той? — се обърна къмъ бавачката Мария Сергѣевна.

— Не помните ли, въ наше село нали имаше единъ селенинъ, дѣто отиде да проси за Бога по други мѣста. . . . Одеве Григорий расправа за него при Серьежа.

— Сѣ глупости разказвате вие — отвърна сѣрдито Мария Сергѣевна: — неможе човѣкъ никога да пусне при васъ дѣтето си.

На другий день утреньта слѣдъ черкова дѣдо попъ се съгласи да иде въ града за лѣкарь. Града бѣше далечъ отъ тѣхъ четиресе километра, тѣй щото лѣкаря можеше да се очаква чакъ прѣзъ ноцта. На и лѣкаря си бѣше старичекъ и не дигъ за свѣта. Той никакви други лѣкарства не употребяваше освѣнъ оподолдокъ,*) който даваше и за извънка и за извътрѣ. За него говореха изъ града: «въ медицината не вѣрва, а въ оподолдока вѣрва».

Прѣзъ ноцта около единадесетъ часа лѣкаря дойде. Той прѣгледа болния, попица му ржката и обяви, че има малкъ огънь.

*) Една масъ, съставена отъ сапунъ, камфора, спиртъ, миризливи масла и аммиакъ. Р.

Послѣ зарѣча да натриятъ болника съ оподелдокъ и напарагъ го да исише двѣ лъжичета.

— Има малко огънь, но ще видите че отъ оподелдока сичко ще се махне, като съ рѣка! — каза той съ увѣренность.

Нахраниха лѣкаря и му нагодиха да си лѣгне, а Серьежа сичката нощъ се мѣташе и гореше въ огънь.

Нѣколко пѣти будиха лѣкаря, но той се същитѣ лѣкарства даваше и продължаваше да увѣрява, че до утрянъта сичко като съ рѣка ще се махне.

Серьежа бълнуваше; въ бълнуванъето си той повтаряше: «Христосъ . . . Правдата . . . Разсошиковъ . . . Мартинъ . . .» и продължаваше да пина на нагоре, като казваше: «дека? дека?» . . . Къмъ разсъмване той се успокои и заспа.

Лѣкаря си отиде, като каза: «ще видите!» Той се отдумваше, че въ града го чакатъ други болници.

Цѣлия день прѣмина ту въ страхъ, ту въ надѣжда. Додѣто бѣше още видѣло, болния се осѣщаше по добрѣ; само че силитѣ му бѣха до толкова отпаднали, щото той почти не говореше. Като зе да се смръква, пакъ се появи огънь и сърцето му зе да бие почесто. Мария Сергѣевна сѣдеше прѣдъ постелката му замаяна и уплашена, като се мъчеше да разбере нѣщо, което не можеше да разбере

Цѣроветѣ на лѣкаря захвърлиха; бавачката му туряше на главата върни, намокрени съ оцетъ; вареше му липовъ цвѣтъ, съ една дума употрѣбяваше сички срѣдства, за които бѣше слушала и които имаше на рѣка.

Прѣзъ нощъта се захванаха мъжитѣ. Вечертъа въ осемъ часа изгрѣя пълна мѣсечина, и тѣй като пердетата на прозорцитѣ отъ зализъ не бѣха спуснати, то на стѣната се образува голѣмо свѣтло петно. Серьежа се по-подигна и посочи съ рѣка къмъ него.

— Мамо? — бѣбреше то: — гледай! цѣль въ бѣло . . . това е Христосъ . . . това е Правдата . . . Слѣдъ Него . . . къмъ Него. . .

Той падна на възглавницата, въздъхна дѣтински и умрѣ.

Правдата се мѣрна прѣдъ него и напои цѣлото му същество съ блаженство; но незаякналото сърдце на отрока не удържа напѣна, ами се прѣсна.



ОТЧЕ НАШЪ

(Le Pater) *

Драма въ едно дѣйствиe, въ стихове.

ОТЪ

Франсуа Коппé.

(Прѣводъ отъ французски).

ДѢЙСТВУЮЩИ ЛИЦА:

ГОСПОЖИЦА РОЗА.
ДУХОВНИКЪ.
ЖАКЪ ЛЕРУ.
ЕДИНЪ ОФИЦЕРИНЪ.
ЦЕЛІЯ.
СЪСЪДКА

Солдати.



Въ Белвилъ, Май 1871 г.

Една стая въ долния етажъ, съ едни врата и два прозореца на дъното, които гледатъ къмъ една малка освѣтлена градина, пълна съ разцвѣтели рози. Задъ градината, която се свършва съ една низка стѣна и на която портицата е отворена, — вижда се една улличка отъ предградистото и нѣколко високи фабрични комини. Покжжнината въ стаята е отъ най-проститѣ, почти селска. Единъ доланъ селски, една кржгла маса, столове и фотьойли сламени. Налѣво единъ каминъ, връхъ който е поставена статуя на Св. Богородица отъ алеабстръ. Надѣсно едно цилиндрическо бюро и една библиотека отъ червено дърво, напълнена съ подвързани томове. На стѣнитѣ едно голѣмо распятие и два священики ъбраза. Врата на дѣсно и налѣво.

ЯВЛЕНИЕ I.

Целія, Съсѣдката.

При повдиганието на завѣсата, Целія, стара слугиня

* Приета единодушно отъ комитета за четене въ Comédie—Française, четена и распредѣлена на артиститѣ, но запрѣтна по министерско распоряждане отъ 18 Декемврий 1889 год.

съ селски бонетъ, сѣди на единъ столъ, въ тъжно настроение.
До нея стои права съсѣдката, млада жена отъ предгра-
дята на Парижъ, безъ кърна на глава, съ една кошмица
за провизия.

Съсѣдката.

И тъй, разбойниците, сж го застрѣлили?
(*Целія прави утвърдителенъ знакъ съ глава*)
И тъй е вѣрно вѣчь.

Целія.

Не ли ви казахъ азъ. .
На улица Хаксò съсъ другитѣ духовни,
Когато извергятѣ бѣха господари
Въ квартала онзи день. . . Единъ съсѣдъ ни каза,
Видѣлъ го е въ лицето. . . За да благослава
Поднезъ ржка аббата и се поназигъ.
Ни азъ, нито сестра му знаемъ повѣчь нѣщо.
Но вѣрно е това. Когато го запрѣха
Като заложникъ, ний си думаме съ сестра му:
О! ще го видимъ пакъ. Той бѣше обичливъ
За цѣла околностъ на нашето предградъе.
Добъръ и милостивъ! Святець! . . . Ахъ! тѣзь проклѣти!
(*Чува се залъкъ отъ пушки*).

Съсѣдката (растреперена)

О, Боже!

Целія (като става).

Синове Версайлски отмъстете!
Колете всички. Тѣ заслужиха това.

Съсѣдката.

Цѣлѣе! . . . тамъ сега кръвниците наказватъ . . .
И въ тѣзь минута трѣбва да е цѣло кланье . . .
На двайсетий кварталъ, задъ общинското зданье
Потокътъ бѣ червенъ отъ кръвъ... Човѣкъ претръпва!...
И не единъ невиненъ . . .

Целія.

Казвашъ ти невиненъ!
Та кой бѣ по невиненъ отъ отца аббата,

Морея бѣдния? Сърдцето му бѣ злато!
Духовникъ истински! Той съ срѣдства бѣ нищожни,
А помощъ даваше всегда! . . . Да го убиятъ!
Тѣ трѣбва да сж сжщи тигри кръвожадни.
Азъ нищо не разбирамъ, въ село съмъ родена,
Но ваштѣ Парижане сж хайдушка сганъ.
Тѣ иматъ разумъ колко дивитѣ животни.
Какъ! за Коммуната ли? — глупости и фрази.
Убиватъ се и въ плѣнъ заложници задържатъ,
Като разбойници, като въ дивашки станъ.
И този мъжъ достоенъ да убиятъ тѣ,
Тозъ, които съ своитѣ в егдашни милостини,
Кога бѣ грозната обсада на Парижъ,
Почти че бѣ продалъ послѣдната си риза!
Съсѣдке, нѣма вече въ свѣта добросърдечье.
Тжъ сганъ хайдушка нека да изгребятъ цѣла.
Не трѣбва милость за такъвизъ немилостивни!

Съсѣдката.

Да. Да истребятъ вситѣ тѣзъ злодѣйци диви!
Не ще е жално никакъ. . . Бѣдния аббать! . . .
Кога презъ зимата се работата спрѣ,
При най-нешастнитѣ, — отъ вси благословенъ —
Той ходи да дѣли послѣдний си петакъ.
Убитъ! Опушканъ! Мъртавъ! . . . О, ужасно нѣщо!
Сестра му, Роза пѣкъ, които тѣй горѣщо
Обичаше аббата? . . . Тя ще ѣ безнадеждна!

Целия.

Да кажешъ нищо е, но трѣбва да я видишъ.
Огпърво тя замлѣкна, дума не продума.
Уплашихъ се. Азъ мислихъ, че ще полудѣй.
А сетнѣ пѣкъ избухна съ викове, съ риданья,
Съ злословия върху злодѣйцитѣ Парижски! . . .
Като повтаряше: О, ужасъ! О, позоръ! . . . >
Нягръхва челоуѣкъ! . . . Но слѣдъ това утихна,
Заспа на стола морна.

(Като показва вратата налѣво.)

Тука, въ тжзи стая. . .

Но ей сега на сънь си скърцаше зхбѣтѣ. . .
Очаквамъ я да стане.

Съсѣдката.

Бѣдната мома!

Цѣлія.

Петнадесетъ години служба азъ у нея.
Родителитѣ ѝ, селачи наполовина,
Поминали се бѣха малко по-преди.
Дванадесетъ години бѣ навършилъ братъ ѝ,
А пъкъ сестра му бѣше двадесетъ годишна,
Но вече съ майчино сѣрдце на тѣзи връсть.
Отъ школата се братъ ѝ връщаше съ награда.
Той бѣ покорень, тихъ. Гораѣеше се Роза,
Че братъ ѝ Жанъ е дѣте необикновено.
Постѣпа сетиѣ той въ начална семинария,
И винаги бѣ пръвъ и съ първитѣ награди.
Въ туй време се улучи да поиска Роза
Единъ богатъ фермиеръ отъ нейнитѣ кузени.
Но бѣше дала кѣтѣва да остане дѣва
И му отказа, — брата туря за предлогъ :
«Духовникъ като стане, кѣщата ще гледамъ»
Тя каза, и сдѣржа си дадената дума.
Тя цѣлия животъ за брата си живѣ.
Обичаха се тѣ съ нечувана любовь . . .
И да узнай сега че е убитъ навѣрно!
О, колко страшна е гражданската война!
Бат' го назначиха викарий за Белвилъ,
Тозь страшенъ край на вагабонтитѣ-голаци,
Азъ сѣ си мѣрехъ, имахъ нѣбакво предчувствѣе.
Но шойта господарка казваше ми строго:
«Та по добрѣ, ще прави добрини на тѣхъ».
И тѣзи мои думи спомня ги сега!
Какво нещастие! Каква злочестина!

Съсѣдката.

Наистина че туй е нѣщо безподобно.

(*Гласътъ на Г-ца Роза отъ стаята на лѣво*)
Цѣліе!).

Съсѣдката.

Чухте ли?

Цѣлія.

Събужда се съсѣдке.

Вий извинете, но идете си сега,
Защото тя ще почне да говори съ васъ,
Да стене . . . На боя се да не подлудѣй.

Съсѣдката.

Добрѣ, ще дойда сетнѣ. Сбогомъ за сега.
(*Съсѣдката излиза*).

ЯВЛЕНИЕ П.

Г-ца Роза, Цѣлія.

(*Г-ца Роза въ черни дрѣхѣ, влиза съ единъ отегченъ видъ и почти се завзля. Цѣлія се спуща бързо къмъ нея и я поддържа*).

Цѣлія.

Добрѣ ли сте сега?

Г-ца Роза.

Азъ? . . . Какъ! . . . Заснала бѣхъ . . .
Но тѣзи ужаси, които въ снѣ видѣхъ! . . .
Тѣзъ плѣнни, тѣзъ стѣна и тозъ гърмежъ отъ пушки!
И туй било спанѣ . . . Устата ми горятъ . . .
Азъ имамъ жагда . . .

(*Тя сѣда. Цѣлія и донася една чаша вода, която тя пие съ жагда*).

Чуй ли се гърмежъ тоновенъ?
Азъ на снѣ си чувахъ. Вечъ не се ли биятъ? . . .

Цѣлія.

Не. Казватъ, въ Перъ-Лашезъ сж вече побѣдени
Останалитѣ федерати.

Г-ца Роза.

Всичко тихо.
И кѣщата е въ редъ. Времето е прекрасно.
Небето въ Юния не е било тѣй ясно.
Градината раскошна. Сѣщамъ джхъ на рози.
Природата се смѣй надъ нашитѣ нещастья.

И тя е невзмѣнна Ний страдаймъ ли—нѣ ли,
За нея ѿ все едно. Безчувствени цвѣтя,
Отъ слънцето пригрѣти джхатъ ароматъ,
И птичкитѣ плашливи пѣятъ за растуха . . .
За тѣхъ е все едно че братъ ми е убитъ!

(сз въздишка)

О, братко мой! . . . загубень, за всѣгда загубень!

(на Цѣлія)

Не е ли идвалъ нѣкой азъ догдѣто спѣхъ?

Цѣлія.

Да, Бланшъ, съсѣдката . . .

Г-ца Роза.

Да, да . . . оназъ на края . . .

Семейство бѣдно и спомагано на често
Отъ моя братъ. По неговата грижа
И дѣдо имъ нели бѣ настанень
Въвъ Божий домъ.

Цѣлія.

И сетнѣ патера дойдѣ

Г-ца Роза (сѣпнато).

Не искамъ да го видя!

Цѣлія.

Какъ тѣй. госпожице?

Какъ нѣжно той обичаше аббата Жана.
Другарь му бѣ и братъ ви, негова дѣсница;
И длъжностъ му ѿ, и право да ви утѣши.
За вази има ли по скѣпно посѣщене?

Г-ца Роза.

Той каза ли че пакъ ще дойде?

Цѣлія.

Да, сега.

Г-ца Роза.

Тогдава нека дойде. Ази погрѣшихъ.

Обичаше той, знамъ, покойния ми братъ.
Но ако ми съвѣтва богопочитанье . . .
Ахъ! толкова по злѣ, азъ вече богохулствамъ ;
И толкова страдамъ, шото тозъ духовникъ самъ
Не ще посмѣй слѣдъ туй ужасно престъпленье
Да хвали правдата и добрината Божья !

(на Цѣлія)

Изгѣзъ си !

(Цѣлія излиза).

ЯВЛЕНИЕ III.

Г - ца Роза (сама).

О, нема азъ още ще живѣя ?
Защото азъ живѣя . . . часове минаватъ,
И пакъ тозъ старъ часонникъ съ тихия си шумъ
Минутитѣ ще счита денемъ и нощя.
Не се умира отъ единъ ударъ подобенъ !
Не, шъртва азъ не съмъ, не съмъ и стара още.
Далечъ е може би смъртъта която чакамъ,
И може още азъ да трая — кой го знай ? —
И петъ, и десетъ, даже двадесетъ години,
Съсъ тѣзи скръбъ всегда кървава и живуца,
Боято ще расте въвъ моето сърдце,
Бато растенье страшно, и ще дойде мигъ
Да ме раскъса съ свойтѣ клонове ужасни.
Въ селата ни поне убиватъ тѣзъ животни,
Бомто сж негодни . . . Азъ какво да правя ?
Бато убиха мойто мило дѣте, братъ ми,
Азъ нѣмамъ основанье вече да живѣя.
Охъ, азъ да уловя единъ отъ тѣзъ бандити,
Та да го блъскамъ, да му плюя въвъ лицето,
И сепиѣ да забия въ гърлото му ножа ! . . .
Разбити сж, добрѣ, но има бѣженци,
Убѣжище имъ даватъ, хората ги криятъ
И Богъ се не старае да имъ въспрети.
— Не, не ! Това ѣ чудовищно и е бесчестно !
Слѣдъ туй убийство страшно азъ се измѣнихъ,
И мойто благочестье вече е изгасено.
Разгарятъ се у менъ истивкти на тълпата.

Не могатъ уталожн страшната ми мжка
Да ми говорятъ за святогo провидѣнье,
Или за милосърдье, или за надѣжда.
Отъ вчера си съзидатъ гълтамъ, туй е ядъ,
Що трови, но що разумътъ възвраща.
Сега азъ зная. Тѣхний Богъ, ако го има,
Е нищо, — злото се противи, тържествува
И той е Господъ лошъ, или пъкъ е безсиленъ:
Като е позволилъ да мрѣ единъ невиненъ;
И срѣщу ангела на демона помага,
Не позволява пъкъ и да си отмѣстивамъ;
Въ тозъ Богъ, когото азъ тѣй глупо обожавахъ,
Не вѣрвамъ вече . . . Сега духовника да дойде.

(Когато тя казва послѣднитѣ думи, духовника, старецъ бѣловластъ, влиза отъ дъното на сцената. Той малку малката градина и се спира на прага на стаята. Г-ца Роза го сгледжда).

А, ей-го !

ЯВЛЕНИЕ IV.

Г-ца Роза, Духовника.

Духовника — (като се приближава до нея).

Бѣдно дѣте.

Г-ца Роза — (съ пресѣченъ гласъ).

Азъ благодаря,
За вашто посѣщенье, но ще извините,
Нервозна съмъ, и развълнувана, и болна . . .
Отчаяна съмъ. Ние сетнѣ ще говоримъ . . .
Ний ще се видимъ, вий го любяхте, азъ знамъ . . .
О, азъ съмъ неучтива . . . Но когато почне
За туй да се говори, хваща ме полуда
И азъ разсвирѣпявамъ . . . За това желая
Сама да си исплача всичката тѣга.

Духовника.

Нескромненъ ако съмъ, добрѣ, ще се оттегля . . .
Но зная че светецъ е претърпѣлъ мъчение,
Една ще дума само да ви кажа азъ :

О, жено, угѣши се, братъ ти ѣ на небето !

Г-ца Роза.

Небето ! азъ очаквахъ тозъ отвѣтъ истригъ,
Тъзъ дума що всегда повтѣри егоизма !
Ахъ ! братъ ми на небето ! Нека тѣй да бжде !
Но той е сжщо и на улица Хаксѡ,
Въ месарницата страшна, тука не далечъ,
Обезобразенъ, кървавъ и съсъ двацѣтъ рани.
А тѣзъ свирѣпства сж дѣйствителни нѣща.
Не можъ азъ да видя съ челонѣшки взоръ
Тамъ, горѣ, моя братъ, съсъ палма въвъ рѣка.
Но трупа му е сжщи и смъртъта му вѣрна.
Това е тѣй, и тѣзъ, що въ яма го зарѣха
Кат' хвърлиха върху му камъни и прѣстъ,
Заровиха и мойта вѣра въвъ небего,
Разбирате ли вий ? . . . Небето ! Все небето !
А пѣкъ когато тѣзи звѣрове жестоки
Пронизваха на Жана тѣлото съ крушуми,
Небето ваше синьо свѣтеше спокойно.
Не се безпокои сега за толкозъ малко,
Спокойно си е отъ Содома и Гоморра.
Небето ! вижте го, човѣче, какъ е ведро !
А пѣкъ Парижъ е пламнагъ, хора тамъ се колятъ
И улицитѣ съ газъ и кръвъ сж напоени.
Е, трѣбвало би туй да запрети небето !
Вечъ азъ, сестра на Жана, мразя туй небе !
Да, мразя и гнѣва си явно го изсказвамъ.
Азъ свършихъ. Прокълнете ме !

Духовника.

Не, съ васъ ще плача.
Тѣзъ богохулства никакъ ме не възмуцаватъ,
Не ме очудватъ, азъ ги и не слушамъ даже,
И Богъ ви ги прощава. Но въвъ святостъта
Съ която се сега обгжрна, въ своята слава
Помежду ангелитѣ, само мжченика
Съ расжсано ѣ сърдце отъ скръбната сестра.

Г-ца Роза — (съ ридание)

Ахъ, отче, вий не знайте колко съсъ нещастна ! . . .

Простете ме . . . Не зная вече що говоря.
Да, право имате, че той е вече въ рая;
Но вие ми кажете, какъ азъ да живѣя?
Да, крива съмъ кат' косвамъ мойта люта рана,
Това е тѣй, азъ зная, крива съмъ, признавамъ;
Но кой ще разбере до колко го обичахъ.
Бѣхъ повечъ отъ сестра за бѣдния си братъ.
Когато бѣше малкъ, бѣхъ му вмѣсто майка,
А сетнѣ, кат' аббата достоенъ и набоженъ,
На него азъ пѣкъ гледахъ като на баща.
Тозъ чистъ, великъ християнинъ, съ вѣра добротворна.
Обичахъ да му служа кат' покорна щерка.
Като навенъ, и разбѣянъ, и мечтателъ,
За него азъ се грижихъ, кат' за малко дѣте;
Вий виждате въ тозъ ужасъ, който ме обгръща,
Страдая като майка и кат' сиротиня . . .
И той . . . убитъ отъ тѣзъ разбойници умразни! . . .
О, какъ приятенъ бѣше нашия животъ,
Подъ тѣзъ спокойна стрѣха, въ туй уединенъе!
Той всѣка вечеръ, знайте, имаше обичай.
Да си чете цѣлъ часъ слѣдъ скромната вечеря.
Азъ шияхъ пѣкъ при него безъ да разговарямъ.
Но любящитѣ се разбиратъ се безъ дума.
И като мисляхме ний винаги еднакво,
То нарушавахме начесто тишината
Въ единъ и сѣщи мигъ съ една и сѣща дума.
За него азъ отказахъ бракъ и домочаде.
Сърцето на сестра, на застарѣла дѣва,
Скъпернишки ѡ ковчегъ, съкровище съ любовъ.
Не сме се раздѣлили съ него ни еднажъ.
И за единъ часъ само като поизлѣзе,
За него мисль даже въ примкитѣ я влагахъ
Въ отсъствието му чорапи кат' плетѣхъ! . . .
И свърши се вечъ туй, въ земята се зарови.
Но азъ не съмъ неблагоприятна бѣдний брате!
Азъ нѣма да позволя даже да говорятъ,
Да ми сунатъ сълзитѣ, да ме утѣшатъ
Напрежното ми щастѣе — ти бѣди увѣренъ —
Длъжа го тебъ, — съ страданъе ще го исилатъ.
Отъ твоята смъртъ да мрѣ ще бѣде за сестра тв
Жестока радостъ и горчиво наслажденъе.

Азъ любя мойта скръбъ и въ нея сѣщамъ прелестъ,
И искамъ да тече живота ми съ сълзитѣ,
Та като ме задави отъ тѣга потока
Да си издѣхна вече въ единъ послѣденъ плачъ.

Духовника.

Плачете ! Тѣзъ сълзи обичамъ, бѣдно дѣте !
Въвъ вашто бѣдуше и мрачно, и пустинно,
Отъ тѣхната роса ще никне оазисъ.
Сълзитѣ за скръбта сж като дѣждъ въ пустиня.
Да, говорете за покойника любимъ,
Обичайте си пакъ страданията ваши,
Но не оставяйте печалната надѣжда,
Че вижда той и знай какъ страдате за него.
Като духовникъ днеска азъ ви не говоря,
А кат' приятель, старецъ, и ви казвамъ : Жено,
Азъ сѣщамъ, тукъ надъ насъ, една душа лѣти.
Васъ братъ ви вижда, казвамъ ви, да, той е тукъ.
Азъ чувамъ като шепне той : «О, бѣдна сѣстро,
Благодаря за твоята обичъ безгранична !
Но доста богохулства, стига толкозь яростъ.
Плачи — сълзитѣ ти докарватъ облеженче,
Но лѣи сълзитѣ смѣло. Ти се успокой.
Сега съмъ горѣ, тамъ, и ще те благословямъ,
Живущъ въвъ твоето сърдце и въ твоята память.
Единъ день ние пакъ ще бѣдеме събрани.
Съ живота помира се, азъ ще бдя надъ тебъ.
Прочитай съ гласъ високъ Священното Писанье
И въ думитѣ небесни, що произнесешъ
Ще мислишъ че звучи екътъ на моя гласъ.
Предъ моето распяте всѣкой день склонена
Моли се отъ сърдце, о, бѣдна сѣстро моя,
И ти ще мислимъ, кат' ме имашъ на ума си,
Че виждашъ да блуждае моята усмивка
Врѣхъ устнитѣ Христови. Като посѣщавашъ
И мойтѣ сиромаси, ако се нуждаятъ,
Рѣка ти милостива кат' ще се отваря
За крайната имъ нужда, сестро незабравна,
Ще сѣщашъ че ти пружа моята рѣка.
О, християнко, слѣдвай пѣтя си до край.
Наистина, тѣгата е товаръ ужасенъ !

Но азъ ще те подържамъ, твоя водачъ невидимъ,
Върви, бори се, твоя братъ ще е свидѣтель
И се не безпокой че мигътъ е далечъ,
Кога ще те огрѣй зарята на смъртъта.
Старай се да заслужишъ рая, сестро мой, —
Да можемъ пакъ отново да се съберемъ!

Г-ца Роза.

Да бѣше вѣрно, отче, туй що чухъ отъ васъ!
И да скърбеше моя обожаемъ братъ,
Да бѣхъ увѣрена . . . добръ, ще бѣда твърда.
Ще се старая . . .

(съ тягостъ)

Охъ, защо не съмъ умрѣла!

(Новъ гърмежъ отдалечъ)

Духовника (на страна)

О, Боже! още стрѣлятъ!

Г-ца Роза (като трепва отъ гърмежитѣ)

Що се чуе тамъ?

Тозъ гръмъ далеченъ кат' че е стрѣлба отъ пушки.

Да, спомнямъ си . . . Коммуната е побѣдена . . .

Тѣзь изверги . . .

(съ единъ побѣденъ гласъ)

Той мсти за менъ! Да, той ги трепи!

Духовника (смутенъ)

Ужасно нѣщо! Кой знай? . . . Между тѣзь нещастни . . .

Г-ца Роза.

Немà сега ще се растжките за тѣхъ,
Ще ги оплаквате. Но тѣ сж кръвопийци,
И нѣмамъ милость азъ къмъ диви звѣрове.
Не може да се смѣтне колко зло сториха,
И кръвь пролѣха . . . Но, за менъ е все едно!
Въ дѣлата имъ прѣстѣпни азъ имъ се не мѣся,
Едно азъ само зная: тѣ убиха братъ ми,
Да, моя братъ убиха, чунате ли вий?
И нека за това ги трѣбятъ до единъ.

Тозь гръмъ отъ пушки е за менъ една услада
И упоение! И ако да е нуженъ,
Тамъ гдѣто ги казнятъ, да има чловѣкъ
Войската да распалва, пушкитѣ да пълни —
То нека дойдатъ тука да потърсятъ менъ!

Духовника.

Една жена да казва туй!

Г-ца Роза.

Позорни хора!

Тѣзи хора ближни ужъ, мжжѣе, жени, дѣца,
За тѣхъ се моя братъ лишаваше отъ всичко,
Повиваха го тѣ кога се разболѣятъ
И той стократно имъ помагаше въвъ нужда,
Сега тѣ всички за Коммуната държатъ,
Готови всички да исколятъ и да палятъ!
А Жанъ ги любеше, тозъ бѣденъ агнецъ Божий!
Той ходеше всегда въвъ жилищата тѣхни
И носеше имъ хлѣбъ, пари и облѣкла
И съ тѣхъ дѣлеше своя скуденъ капиталъ;
А тѣзъ самъ сега убиха го кат' псе!
Да, тѣ сами или пѣкъ тѣхнитѣ подобни.
Туй що е сторилъ Жанъ за тѣзъ презрѣнни хора
Нечувано е . . . Вижете . . .

*(Тя отваря бързо единъ ковчегъ и взема отъ тамъ едно
расо и една кръгла шапка)*

Азъ запазихъ тукъ

Туй расо съ тѣзи шапка вече съвсѣмъ истрити.
Азъ казахъ брату си: «Ехъ, ти ме срамишь, брате,
Тѣзъ дрѣхн увехтѣли да ги подносимъ.
Паритѣ сж готови въ моето ковчеже».
А той ми отговаря: «Розо, азъ ще ида .
Съѣднитѣ Дювалъ да пообиколя.
Ти знайшь, тѣ иматъ цѣли петь уста да хранятъ . . .
Нещастни хора! . . . И жената пѣкъ родила . . .
А вчера приставъ билъ у тѣхъ да прави описъ.
Не бива то, когато бѣднитѣ сж голи,
Абата да се пери съ нови облѣкла;
Обшии тѣзъ шапка ти, туй расо закръпи,

Ще ми послужатъ тѣ за още доста време . . .
(Тя хвърля шапката и расото на единъ столъ)
А четири дни слѣдъ туй той бѣше въвъ тъмница,
Като заложникъ взетъ, и никой не отиде
Защита да даде на този благодѣтель,
Тозь, който бѣ тѣй щедръ и нѣженъ спрямо тѣхъ.
И тѣзи божещи, тѣзь негови любимци
Отъ федератитѣ получваха пари,
И може би въ деци на страшноото убийство
И тѣ сж тамъ стоели . . . Ахъ! и вне смѣйте
Да хулите ядѣтъ ми? . . . Доста, отче, доста!
Катъ увѣрявате съ приятния си гласъ,
Че моя братъ е горѣ, — лѣжете, аббате,
Вий съ тѣзи музика обайвате скръбта ми.
Но не, обзема ме животния инстинктъ
Отъ тозь гърмежъ на пушки, който поразява
Тѣзь изверги. Да, тѣ убиха моя братъ!
За мене отмищаватъ. Толкозь по добрѣ!

Духовника.

Сега би трѣбвало, и то изъ уваженъе
На тѣзь одежди въвъ които съмъ облечень,
Веднажъ за винаги прагътъ ви да престъпна,
Да не дочакамъ повечъ да ме оскърбятъ.
Но пакъ на тая, що тѣй жажде отмищенье,
Последня дума строга длъженъ съмъ да кажа :
Богъ, който за свѣта загина на Голгота,
Тозь Богъ, комуто братъ ви кротко предъ алтаря
Безсмъртната му жертва славяше всега,
Когото оскърбява нашето безумье, —
Е Богъ на добрината и на милостта.
Азь вѣрвамъ—братъ ви въ мигътъ въ който е умиралъ
Е мислилъ само за распятия Христосъ.
Не бѣше той отъ тѣзь християни малодушни,
К които тннатъ въ пясъкъ предъ самия портъ,
Но, твърдъ на своята вѣра, подъ крушумень градъ
Съсъ меккостта на жертва, съ сила на герой,
Ржка поднелъ — джелати да благослови.
Съ сърдце отворено отъ злобата горчива
Ржкоплещете на суммарния нмъ сждъ,
Мразете, мстете нмъ, но знайте и това,

Че ако Жанъ Морель, тозъ християнинъ чистъ,
Вашъ благороденъ братъ, о, дѣво най-нещастна
Би билъ сждя на тѣзи що ги стрѣлятъ днесъ,
И да зависеше присждата отъ него,
Смилилъ се би за тѣхъ, той всички би простилъ.
Прощавайте!

Г-ца Роза.

Какво смущение ужасно
Вий хвърляте сега въвв моята душа!
Жанъ бѣше цѣлъ светець, а азъ—една жена.
Да, вѣрно е това, че своитѣ убийци
Е той благословилъ . . . Уви! какво да сторя,
Какво да правя азъ?

Духовника (на прага на вратата).

Молете се на Бога!

(излиза)

ЯВЛЕНИЕ V.

Г-ца Роза (сама).

Азъ много пѣти почвахъ своята молитва
Презъ тѣзи нощъ, но пакъ да свърши не можахъ . . .
Умътъ ми ѣ пълнъ съ умраза и съсъ възмущенье . . .
Да се помоля! Мога ли! Ще се опитамъ!

(Тя взема броеницитѣ си и начева да чете „Отче Нашъ“)

*«Отче Нашъ, който си на небесата, да се свети и
мето Твое, да дойде царството Твое, да бжде волята Твоя,
както на небото, тѣи и на земята . . .»*

Тѣзь думи ми повдигатъ буря въвв сърдцето.
И какъ да кажа: Нека бжде воля Твоя!

(Начева пакъ съ усилие)

*«Дай ми днесъ насущния хлѣбъ; и прости грѣховеѣ ми,
както и ние прощаваме на нашитѣ . . .»*

Какъ! да простя? Кому? На всички тѣзь убийци!
Свидѣтель Богъ, Святцитѣ и Святата Дѣва!
Азъ туй не казахъ, не, азъ искренна не бѣхъ.
Азъ лѣгахъ като мѣтахъ тѣзь зърна бройнични.
Ржцетѣ ми запади, прѣклѣта бройница!

(Хвърля ги на масата. Следъ кратко мълчанье)

Духовника каза, че братъ ми би простила . . .

Но азъ не мога . . . Охъ! убива ме скърбта!

Молитва? Ето пакъ възгубена надѣжда!

Да вчера набожна — незная да се моля,

Не би могла да свърша даже Отче Нашъ.

(Въ тѣзи минута единъ человекъ гологлавъ, въ безпорядкъ, съ федератска дрѣха, съ четири сребърни галуни, влиза бързо на дъното на сцената, презъ градинскитѣ врата и, като оглежда улицата на дѣсно и на лѣво, като да иска да се увери че не сж го видѣли да влиза, минува скоро малката градина и се спира на прага на стаята)

ЯВЛЕНИЕ VI.

Г-ца Роза, Жакъ Леру.

Жакъ Леру — (съ ослабналъ гласъ).

Спасете ме!

Г-ца Роза (извиква ужасно зачудена).

Ахъ!

Жакъ Леру.

Искате ли да ме скривите?

Смилете се! Азъ би можалъ да ги избѣгна,

Преслѣдвать ме, но ми загубиха слѣдитѣ.

И никой ме не видѣ като влизахъ тукъ.

Желайте ли да ме укривите?

Г-ца Роза (настрана).

Федератъ?

Тукъ! Дѣма!

Жакъ Леру.

Азъ съмъ побѣденъ и се спасявамъ!

О, милость! гонятъ ме кат' нѣкой звѣрь свирѣпъ-

Версайлци ме слѣдятъ на всѣка моя стѣпка.

И свършено е вече. Ще ме застрѣлятъ.

Но като бѣгахъ видѣхъ тѣжъ градинска порта

И влѣзохъ тукъ. Женитѣ сж съ добро сърдце,

И вие ще ме скривите, а, не-ли така?

Да се не ражда въ васъ къмъ мене подозрѣнье,
Че въ вчерашния ужасъ азъ съмь билъ участникъ.
Не съмь стрѣлялъ, нито съмь нѣкого убилъ.
Укрийте ме домà си въ нѣкой кътъ за днесъ,
Единъ день само! . . . Утрѣ азъ ще си излѣза. . .
Кълна се, азъ съмь простъ и неизвѣстенъ ратникъ!
Изгоните ли ме — смъртъта ме чака вѣнъ! . . .
Вий имате лицè, което ви е мило
Баща, сунругъ, или пѣкъ братъ, или же синъ,
Съсъ сгърнати рѣциъ ви моля, на колѣни,
Спасете бѣженеца, побѣденъ въ войната,
Вѣвъ името на този мъжъ, тозъ синъ, тозъ братъ!

Г-ца Роза

На моя братъ! . . . Стани! Изслушай и рѣши.
Братъ? — имахъ азъ единъ, но вѣчь не сжществува,
И неговото име ще ти отговори
На твоитѣ напраздни словоизверженя.
Той è аббатъ Морель, упушканъ кат' заложникъ.

Жакъ Леру.

Изгубелъ съмь! Да бѣгамъ!

Г-ца Роза (като му прегражда пжтя).

Да, пропадна вѣчь.
Излѣзъ ако желайшъ отъ дѣма ми, бандитъ!
Не щж те азъ остави, ще те слѣдвамъ вредъ,
Ще викамъ, ще те соча на гълпата сбрана
И полу-мъртавъ тебе, съ ножа ти въ гхрдитѣ,
Ще слѣдвамъ пакъ, съсъ викъ: «Убийцата хванете!»

Жакъ Леру.

Но азъ не съмь убийца! Съ своитѣ другари
На баррикадитѣ сражавахъ се кат' тѣхъ.
Тѣзъ престжлнения ужасни сж, признавамъ,
Но азъ съмь въ тѣхъ невиненъ? Милость, госпожà!

Г-ца Роза.

Да би заплакалъ даже съ кървави сълзи,
То само времето напусто ще изгубишъ!
Да те оставя живъ! Единъ отъ тѣзъ убийци!

Не, ще те хвана и самà ще те предамъ
На военния съдъ ! И скоро да те съди !
Ти искашъ милость ! Ти, началникъ и водителъ !
Да, лошо си изпадналъ, щастие си нѣмалъ.
Но, вижъ, тукъ всичкото възбужда въ мене мъсть !
(като взема расото и му го показва)

До тѣзи дрипа, носена отъ моя братъ,
Кога пилѣеше злато отъ милосърдѣе,
И все заради вази, изверги, убийци !
Да се смиля ли ? — Ти се смѣйшъ !

Жакъ Леру (като се истъпява)

Добрѣ ! предайте,
Предайте ме, азъ сбъркахъ че се толкозь молихъ.
Азъ храбро ще умрѣ ! Смъртъта ми кат' ви радва,
Узнайте до кѣдѣ отива вашго щастѣе.
Азъ членъ въ Коммуната съмъ, азъ съмъ Жакъ Леру.

Г-ца Роза

Вий !

Жакъ Леру.

Азъ не съмъ вотиралъ кървави закони !
Азъ мразѣхъ по инстинктъ божитѣ лицемѣри.
Но съмъ отблѣсвалъ само строгитѣ закони
И се сражавахъ срѣщу тѣзи отъ Версайль.
Това е всичко ! Но, азъ зная вѣчь що значи
Двулична добрина на пàтеръ и наббжничкъ.
О, жено безсърдечна, туй поне ще кажа,
Че тѣзи всички, що въвъ църква се приструватъ,
Че обожаватъ ужъ распятия невиненъ,
Когото тѣ наричатъ Исусъ Христосъ, —
Незнаятъ милость и единъ бѣглець предаватъ !

Г-ца Роза (на страна)

Тѣзь думи ! . . . Той говори сжщо онова,
Кое духовника го каза . . .

ЯВЛЕНИЕ VП.

Г-ца Роза, Жакъ Леру, Целія.

Целія (като влиза бързо отъ дъното на сцената)
Госпожице,

Солдати идатъ обискъ да направятъ въ къщи.
(Тя забълъзва Жакъ Леру и извиква)

Ахъ!

Г-ца Роза.

Хайде, ти изгъзъ!

(*Целия излиза надъсно*)

Г-ца Роза (настрана)

Духовника билъ правъ.

Жанъ би простилъ. Усѣщамъ го азъ тамъ, въ душата.

Жакъ Леру

Вечъ ще се мрѣ! Прощавайте жена, дѣца.

Куражъ! Сждбата ми таквазъ! Ще претърпя.

(*Г-ца Роза взема отъ стола расото и шилката и като ги подава съ една ржка на Жакъ Леру, съ другата му показва вратата надъсно.*)

Г-ца Роза

Влѣзнеге тукъ и облѣчете тѣзя дрѣхи.

Жакъ Леру — (смаянъ)

Азъ!

Г-ца Роза (съ повелителенъ жестъ).

Скоро!

(*Жакъ Леру взема дрѣхитѣ и излиза надъсно*)

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Г-ца Роза (сама).

Ти го искашь туй, о, брате мой,
Духовникъ свягъ, о, християнино великъ!
А може той да е отъ твоитѣ джелати;
И твойго расо нему давамъ да облича,
Остаткитѣ отъ тебе, драгий мъчениче!

ЯВЛЕНИЕ IX.

Г-ца Роза, единъ офицеринъ, солдати

(*Офицеринъ, послѣдванъ отъ нѣколко солдати влиза бързо отъ дъното на сцената.*)

*Офицерина (младъ, развълнуванъ, като се спира на
зрага на стаята)*

Госпожо, извините. Коммунаръ единъ
Въ тѣхъ улица се крий. Единъ началникъ важенъ. . .
И трѣбва да ви кажа — той се търси строго.
Сега отговорете. Ако вий го крийте,
То горко вамъ! Защото ний ще диримъ въ къщи. . .

Г-ца Роза.

Менъ твърдѣ ме зачудва вашто заблуждене.
Не крия никого. Разгледайте навредъ.

*(Офицерина мѣта единъ погледъ къмъ лѣгло, вижда рас-
пятието, Св. Богородица, образитѣ на святицитѣ и
отстѣпва съ смутенъ видъ)*

Да бихъ могла би дала нѣкой указанья
На драго сърце. Снисхожденъе нѣма въ менъ,
Повѣрвайте, за всички тѣзи Коммунари.
Хванете тозъ човѣкъ, ше ви благодарятъ.
*(Въ тѣзи минута Жакъ Леру, въ расо, съ духовниче-
ска шапка на глава, показва се на вратата отдѣсно, вижда
военния и се спира като вкамененъ. Г-ца Роза го сочи на
офицерина).*

Азъ тукъ живѣя само — ето съ моя братъ.

Офицерина (повдига си фуражката като вижда расото).
Простете, господниъ аббатъ. Пардонъ, госпожо.

(На солдатитѣ)

На пѣтъ!

(Излиза съ тѣхъ)

ЯВЛЕНИЕ X.

Г-ца Роза, Жакъ Леру.

*Жакъ Леру (като простира ръцетѣ си къмъ г-ца Роза, съ
единъ нискъ и смутенъ гласъ)*

Ще си напомнямъ въ цѣлия животъ. . .

Г-ца Роза

Ни дума! Съ дрѣхитѣ, които сте облѣкли,
Спасени сте. Тръгнете ей сега! Излѣзте!

*«Жакъ Леру, послѣдванъ отъ повелителния жестъ на Г-ца
Роза, трѣгва тихо къмъ вратата на дъното и излиза».*

ЯВЛЕНИЕ XI.

*Г-ца Роза (сама, взема броещницѣтъ, които бѣше хвърлила
на масата).*

(Колѣннич и пакъ начева своята несвършена молитва)

Азъ твой съмъ сестра, наследница смирена,

Покойниче любимъ! Благослови сега

Прекъснатия край на моята молитва!

*«Прости ми грѣховствѣтъ, както и ние прощаваме на на-
шѣтъ грѣшници. Не ни възвеждай въ искушение, но ни изба-
ви отъ лукавия. Аминъ».*

(Завѣсата пада)

Алеко Константиновъ.



ИЗЪ ЗАПИСКИТЪ

НА

ЕДИНЪ ОКИТНИКЪ ЧИНОВНИКЪ.

10 й Априлий 18..... година.

Деньтъ 8-й Априлий ще остане вѣчно въ паметъта ми. Този
день азъ бѣхъ свидѣтель на това, което съмъ чекалъ съ години.
Иска ми се да запишѣтъ всичко, което прѣживѣхъ въ този день,
за да не го заровѣхъ въ земята съ менъ. Това желание се усилява
още повече отъ обстоятелството, че ний сега прѣживяваме такива
врѣмена, когато всичко у насъ се метаморфозира, когато всички
словеса на народа захващатъ да взематъ и усвояватъ всичко чуждо
и да гледагъ на своето като на нѣщо низко, кално и нестойно
за човѣщината. Още нѣкоя година и ний ще имаме съвършено
друга, несвойстванна намъ, физиономия. — Азъ не вѣрвамъ да се слу-
чи менъ или нѣкомудругиму да види и чуе нѣщо подобно, на което азъ

бѣхъ свидѣтель, защото заедно съ старитѣ наши хорица умира всичко, което е било наша гордостъ и на което малцина сж обърнали внимание. Ще направя виденото и чутоето отъ менъ на 8-й Априлий и ще го оставя. Съ врѣме, ако уцѣлѣе, то ще падне, може би, въ ржцетѣ на нѣкого, който ще ме разбере, а, може би, и на такъвъ, който ще ме нарече людъ, ексцентрикъ, шибнѣтъ, виднотъ и нѣщо въ този родъ, както ме наричатъ и сега нашитѣ интелегентни младежи! Нека.

Всички едногласно ме обвиняватъ за това, че съмъ билъ пристрастенъ къмъ нашиятъ народъ, че съмъ го билъ считалъ за нѣщо повече отъ другитѣ народи и не знамъ още що . . . Може би и да е тъй, може тѣ да сж прави, нъ азъ никога не можъ да захванѣ да гледамъ съ очитѣ на тѣзи наши интелегентни младежи и да гледамъ на народа като на стада говеда, всички потребности и нужди на които се заключаватъ въ яденнето и пиеването. Азъ напротивъ казвамъ, че нашиятъ, както и всѣкъ другъ, народъ е и философъ, и поетъ, и че той усѣща и умѣе да искаже и чувствата и страданията си много по-осезателно отъ насъ образованитѣ. Истината неизсхва много голѣми и философски доказателства. Доста е да чуе човѣкъ неговитѣ мъдри поговорки и пословици и да се вслуша въ пѣснитѣ му. Едни отъ пѣснитѣ сж прѣпълни съ веселие, и човѣкъ не може да остане хладнокрѣвенъ, когато ги чуе: той забравя всички тѣжни мисли и се развеселява. Други отъ тѣхъ, тѣзи други сж прѣпълнени съ скръбъ, която се разлива като море, хвърля мракъ на всичко окръжающе, вмѣква се въ душата ти и те кара да страдаешъ и да усѣщашъ всички тегоба на страданията на тази, божемя, нечувствувкаща маса. Който е свиталъ по селата пролѣтно, лѣтно, зивно и есенно врѣме, той е билъ щастливъ неведнѣжъ да испита тѣзи, непонятни за мнозина отъ нашитѣ младежи, удоволствия: да се весели на чужда веселба и неволно да плаче на чужди гробница . . . Той, вѣрвамъ, е спиралъ коня си въ врѣме на жъртва, за да слуша и да не се наслуша на тѣжовната пѣсенъ на жтваркитѣ, мелодията на която исказва всички тежка и несноена сѣдба на нашета селенка . . . Това не е пѣсенъ, а—плачь който изсказва и рабска покорностъ на сѣдбата и роптания противъ сѣщата тази неумолима сѣдба . . . Всѣки единъ звукъ отъ тази пѣсенъ се вмѣква тъй дълбоко въ душата ти, щото те кара да забравяшъ всички весели дни отъ живота си, да заплачешъ и да заплачешъ тъй сърдечно, както не плачешъ, когато загубишъ най милото и скъпото за тебъ на този свѣтъ същество . . . Много пѣти, вѣрвамъ, онзи комуто е испадалъ щатливъ случай да чуе тази пѣсенъ, се е раскаивалъ за своето минжло, за напраздно и бесполезно из-

губеното време, а даже, може би, е стжалявалъ, че не се е родилъ въ срѣдата на тѣзи жѣтвурти, за да може да присѣдини и той свойтъ плачь къмъ тѣхнийтъ

Съ подобенъ смѣхъ и плачь исказватъ своитѣ чувства повече женитѣ, макаръ че понѣкога когато запѣ-занлаче мжжъ . . . Нъ стига, че се отстранихъ. Освѣнъ това срѣдство мжжѣтѣ иматъ и друго, съ което исказватъ и най малкиѣ движения на душата си. Това срѣдство е кавалтъ, прочутийтъ и справедливо въспѣтнийтъ кавалъ.

8-й Априлий е знаменитъ и паметенъ за менъ день, именно за това, че въ него день азъ чухъ за првъъ, а може би, и послѣденъ пжтъ този могжественъ уредъ.

Иска ми се да прѣдамъ, да изразж на хратия онова, което чухъ, нъ стжалямъ, че не притежявамъ срѣдствата, съ които да могж да изразж всичко това. Всѣкакви думи сж безсилни, за да могжтъ да искажжтъ поне сѣнката на онова, на което азъ бѣхъ свидѣтель . . . Защо ли човѣкъ не е билъ въ състояние да измисли нѣкой начинъ за записване онѣзи тѣнки движения на душата които се исказватъ съ кавала? Нотитѣ сж безсилни. Какъ и накаквъ другъ уредъ ще се повторжтъ тѣзи сладки и неподражаеми звукове? Мнозина се мжчжтъ да подражаватъ на разни уреди на звуковетѣ на кавала, нъ всички опитвания сж безуспѣшни. Кавалтъ е неподражаемъ. Защо нѣма възможность да се прѣдаде впечатлѣнието, произведено отъ кавала тѣй, за да могжтъ да го разбержтъ и почувствуватъ и другитѣ? — О, тогава азъ бихъ накаралъ да се съгласжтъ съ менъ онѣзи, които ме упрекаватъ въ пристрастие къмъ народа.

Ще се помжж да искажж, колкото ми позволяватъ силитѣ, и да отбѣлжж впечатлѣнието отъ 8-й Априлий, които ще изчезнатъ отъ мевъ само когато умрж.

Още когато бѣхъ мѣничккъ майка ми, Богъ да ъ прости, която бѣ чула веднѣжъ или дваждъ добѣръ свирачь съ кавалъ, ми расказваше такива нѣща за кавала, които ме накарахъ да обикнж тѣй силно този уредъ, щото и сега съмъ готовъ да кажа, че той е най-добрийтъ, най-изразителнийтъ отъ всички музикални уреди. — Мнжжж се години. Азъ ходихъ да се учж въ чужбина, гдѣто чухъ ~~какви~~ ли не свирни и свирачи на всевъзможни уреди, нъ желанието ми да чуж кавала не само че не заглжхваше, а напротивъ се усиляше все повече и повече. Помнж, че щомъ се възвѣрнжхъ въ освободената си татковина, а това бѣше по време на окупацията, азъ пожелахъ да отидж да чуж сладкитѣ звукове на

кавала. Баща ми тогава ми каза, че кавала не се слуша туку тъй, а трѣбва да се улучи врѣме. Право да си кажа, азъ не разбрахъ думитѣ на баща си, а и не пожелахъ да го питамъ за причинитѣ, за да не би да се покажж просѣтъ, тъй като туку-що-бѣхъ се завърнѣлъ отъ учение

Въ врѣме на окунацията ме назначиха на служба и то на такава, която ме принуждава да скитамъ и лѣтъ, и есени, и зимѣ и пролѣти по друмищата, селата, горитѣ и усонтѣ. Тази е вече третя година откакъ съмъ заскиталъ и едвамъ онзи-денъ можахъ да чужъ кавала. Само сега азъ разбрахъ думитѣ на баща си. — Много пжти азъ съмъ слушалъ момчорляци-овчаре и селски свирачи да свиржтъ съ кавалъ, но този могжщественъ уредъ е неузнаваемъ въ ржцетѣ но тѣзи учащи се и свирачи за пари свирачи. Много по-добрѣ е да не слуша човѣкъ такива свирачи, за да не си състави лжвовно понятие за кавала. Чувствата не се продаватъ за пари . . . Добрийтъ Свирачъ — кавалджия никога не свири за пари и по принуждение. Той е художникъ — вертуозъ и дава просторъ на чувствата си само когато е насамъ съ мащихата-си-майка природата. Тогава той приказва съ неж, излива всичкитѣ си чувства, исказва си болкитѣ, за да го разбере и успокои . . .

Азъ много пжти въ течение на тригодишното си почти скитание, като изгаряхъ отъ желание да чужъ кавала, съмъ опитвалъ всевъзможни срѣдства за тази цѣль. Всѣка несполука распалише още повече това ми желание и то се бѣ обрѣжло на страсть. Веднѣждъ, помнжъ, това бѣше пакъ пролѣтно врѣме, една утринъ рано азъ бѣхъ тргнѣлъ отъ селато К*** за с. Г*** Б — ска околия. Пжтувахъ рано съ цѣль да се надишж съ ароматнийтъ пролѣтень въздухъ. Като всѣки ексцентрикъ, азъ бѣхъ се замислилъ за нѣща, които не интересуватъ обикновеннитѣ, неекцентрични, хора. Какви ли не мисли не се въртѣхж въ главата ми ! . . . Едно врѣме ми се дочу като че стена нѣкой. Озърнахъ се наоколо — никого. Подкарахъ коня си и стѣнанието станж по-ясно. Азъ се мъчехъ да разберж полтъ и възрастта на стѣнящиятъ, нъ напрасно. Азъ ловехъ всѣки звукъ и бѣхъ притаилъ диханието си, да чужъ всичко, когато наведнѣжъ всичко спрѣ и се зачу обикновеннийтъ овчарений възгласъ «рей !», съ който подканватъ овцитѣ да вървжтъ. Сѣгнахъ се. Погледнахъ и видѣхъ малко на страна отъ пжтия овчаринъ, койго вървѣше прѣдъ овцитѣ и криеше кавала си въ кубура. Азъ се раскаяхъ, че не слѣзнахъ отъ коня си, за да можж да послушамъ този стонъ по дълго врѣме. Овчаринтъ, щомъ чу, че се доближава нѣкой спрѣ. — Нѣкаква тегоба на неудовлегорена потрѣбность, на болка отъ

рана, която се е покрила временно съ много тънка кожа, за да не разрани, за да се подновят утрѣ съ по голѣма сила болкигѣ, обзе цѣлото ми същество. Азъ захванахъ все повече да търся случая, за да удовлетвориж желанието си. Повече отъ една година време се изминѣ оттогава и само онзи-день можахъ да успѣжъ.

На 7-й Априлий вечерта, въ сѣбота, азъ стигнахъ въ селото Г***, което е близо до политѣ на планинага. Азъ бѣхъ чувалъ, че въ това село има единъ много вѣщъ свирачъ и рѣшихъ да се възползувамъ отъ случая — покрай другата си работа да удовлетвориж желанието си. Веднага азъ повикахъ селскигѣ власти въ кръчмата и имъ расправихъ цѣлта на идванието си. Слѣдъ това азъ вече попитахъ: гдѣ живѣе, можъ ли и да чужъ и по каквъ начинъ какъ свири дѣдо Димитръ, свирачътъ, за когото бѣхъ чулъ въ нѣколко околни села.

— Него не може накара никой да свири, отговори кметътъ. Той е чуденъ човѣкъ. Колко пѣти сѣ го викали още въ турско време голѣмци, пари сѣ му давали, ама като каже пустинийтъ му човѣкъ: «не знажъ да свира», та ако щешъ го приби. Той е заможенъ. Далъ му е Господъ и пари, и имотъ. Въ село, туку речъ, май и не дохожда. Знаешъ, нѣ ли е човѣкъ? Споетеха го злини: бабичката му умрѣ прѣди седемъ години старийтъ, му синъ го посекохъ въ време на войната, а младийтъ го прибра Господъ. Огъ снахитѣ му едната, старата, се пожени тугакъ и отведе съ себе си и внучето му въ село Б***, а младата е бездѣтка, нѣкъ и за нежъ се чува, че скоро ще се задоми и тя. Човѣщана. Нѣ ли знаешъ? Таквъ си е свѣтътъ. Той е останалъ самъ самненичкъ. Къщата му е загуствѣла — никой не живѣе въ нежъ. За грѣхотѣ Божии ѣ е оставилъ да мѣтжѣ бухали и кукумѣвки въ нежъ, та да плашѣтъ свѣтътъ. Нѣколко пѣти вече селенетѣ ми казватъ, кога се съберемъ въ Кръстювата кръчма, че тази къща трѣбва да се запали да изгори, защото откакъ е запустела появи се моръ по дѣтца, по добитѣтъ и по хора. Казватъ, че вампири и самодиви живѣяли въ нежъ. Кой знае! Смѣе ли нѣкой да иде да погледне? Иванъ топала, който е коншия съ къщата, казва, че срѣдъ-нощъ веднѣждъ излѣзналъ да даде сѣбно на добитѣка си и видѣлъ, че въ къщата влизали и излазали нѣкакви жени; чулъ че се свирѣло и пѣло вхтрѣ . . . Той се уплашилъ и занѣмѣлъ отъ страхъ. Чакъ на другия день му се отпустилъ езикътъ и расправилъ на селенетѣ. А нѣкъ, знаешъ, народъ е това! Едного, и тѣй и тѣй, можешъ кандариса, а какво ще правишъ кога ти гракнатъ триста гърла изведнѣждъ?! «Ще ѣ изгоримъ, викнали, или друго не!» — Прѣди

нѣколко дена ходихъ на кошарата при него и го молихъ да ъх хариже на селото, или да ъх даде нѣкому да живѣе въ нежъ. Къдѣ? Кой е лудъ да влѣзне въ нежъ! Ами азъ само тѣй. Казахъ му, че селенетѣ се канятъ да ъх запалятъ, защото въ нежъ се поселили вампири и самодиви, които правятъ пакости на селото. Той ме погледнѣ, наведе си очитѣ надолѣ, въздъхнѣ и ми каза: «правете каквото знаете . . . Когато Господъ ме наказва и мрази, та отъ хората ли ще очаквамъ добрини!! . . . Менъ кѣща не трѣбва. Когато умрѣ, да е халагъ на селото».

— Ами защо ли го е наказалъ Господъ? попитахъ азъ кмета. Да не би да е правилъ злини на хората? Да не би да е краднагъ, убивалъ?

— Господъ го знае. Никой не е видѣлъ отъ него зло. Кога ходи или работи и на мравкитѣ варжанджасъ пѣтъ прави. Откакъ се е родилъ никого не е исхулилъ или опсувалъ, кокошка или врабче не е заклѣлъ. Пази всмчки пости. Никому нищо не е излялъ. Кой знае! Може и да е съгрѣшилъ нѣщо на Бога. Знаешъ, хора сме. Човѣкъ колкото и да се пази, все може да помисли нѣщо грѣшно. Ние го знаемъ за божи човѣкъ. Белкимъ пакъ Богъ го обича и го испитва, та го наказва.

Менъ ме очудихъ думитѣ на селинина и азъ го спрѣхъ.

— Тогава? — попитахъ го азъ. Той да ли не свири вече?

— Защо да не свири? — Свири си. Ама ти не можешъ го чу, защото живѣе далечко, та на да ли ще идешъ да се трѣпнешъ. Пакъ и какво има да чуешъ? — Овчаринъ, знаешъ, простъ човѣкъ. А има и друго. Той свири все такива тѣжовни нѣща. Нѣма да ти се хареса. Нвий проститѣ хора харесваме такива свирни. Вашата работа е друга. Вий се веселите съ цигулки, тамбури и даарета. Нашитѣ рѣце не сж за такива тѣнки работи. Хубаво се веселите вий, хубаво си живѣете. Да знаете, че свѣтъ свѣтгувате!

— Далечно ли му е кошарата? попитахъ го азъ.

— Не, не е далече. Болкѣто да испунишъ дѣѣ лули. Има и друго. Той не свири всѣкога. Свири само сутринъ кога изгрѣва слънцето. Тогава той нѣма работа, а е още рано да искара овцитѣ. Това врѣме вий гражданетѣ спите найъ благо. По-добрѣ, го-слодине, си почивни. Казва се, пѣтъ си миналъ, не е шѣга. Пакъ и сутринъ е много росно и пѣтътъ ни е стрѣменъ. Да идешъ съ конъ неможешъ го чу. Конътъ е, казва се, добиче. Щѣ захване да дрѣхка или ще цвилне и всичката работа ще се побърка. Както знаешъ. Ако искашъ, ще те заведа.

Азъ поканихъ кмета да сѣдне, почерпихме се съ него и се уговорихме да видимъ, ако бѣде хубаво врѣмето.

Вечерта си легнахъ рано, за да мога да стана ранничко.

Имаше още цѣли три часа догдѣ се съмне и кмета дойде, че ме събуди. Тръгнахме. Прѣзъ цѣлия пѣтъ азъ, макъръ и да приказвахъ, си мислехъ да ли ще сполучѣ да чуѣ кавала, или не. — Нѣй втрѣвихме изъ една стрѣмна пѣтека. Деньтъ обѣщаваше да бѣде добъръ. Истокъ вече се зачерви като кръвъ, когато мойтъ сплтникъ ми каза : приближаваме ! — Велезохме въ една гѣста гора въ която владѣеше полумракъ.

— Сега легничко, ми каза сплтникътъ ми. Кошарата е близо. Нази се да не ни осѣтътъ псетата.

Азъ притаихъ диханието си и дебнешкомъ втрѣвихъ подиръ сплтникътъ си. Минѣ се малко врѣме. Той изведнѣждъ се спрѣ, турнѣ си показалеца до устата и ми каза да сѣднѣ. Сѣднахъ. Прѣдъ очитѣ ми се откри подобна картина : срѣдъ гората едно полянка, тѣй около 6—8 дюлюма, крайщата на която бѣха ограничени съ гѣсти млади дървета. Полянката имаше склонъ на истокъ. Почти въ срѣдата на полянката стоеше една вѣтха кошара, около която бѣха налегали нѣколко голѣми овчарски псета. Последнитѣ при приближаванieto ни захванаха да подушатъ въздуха. Едно отъ тѣхъ даже позарѣмѣжа малко, нѣ скоро се успокои. На единвѣйтъ вѣйтъ на полянката имаше два голѣми расовати брѣста, подъ сѣнката на които се притая една малка вѣтха колиба. Прѣдъ вратата на последнята се димѣше още пепелището на недавно горѣвшиятъ огънь. Азъ сѣднахъ на мократа трѣва и не сваляхъ очи отъ колибата. Сплтникътъ ми се наведе и ми каза шепнишкомъ :

— Ти сѣди и чакай, а азъ ще идѣ да обидѣ държавата си. Щомъ огрѣе добрѣ слънцето, ще дойдѣ да те взема и заведѣ въ село. Ако си вмаѣ късметъ, мадемъ казвашъ, че толкова вече искашъ да чуешъ на дѣда Диантра свирнята, ще ѣ чуешъ. На ти тая тояга да се бранишъ, ако те надушѣтъ псетата.

Азъ съвършено несъзнателно взехъ тоягата безъ да му кажа нищо. Той полегка се отдрѣгна и се скри. Останахъ самичкъ и се обърнахъ цѣлъ не внимание. Не се минѣ много врѣме и изъ отворенитѣ врата на колибата излѣзе единъ бѣлобрадъ старецъ. Той носеше въ ржката си пълнъ съ вода бѣкелъ. Той се сирѣ малко на страна отъ огънтъ, завърна си ржкавитѣ, повдигна сѣкалпакъ отъ челото и го нахлуши на тѣла си, наведе се и захванѣ да си име очитѣ. Слѣдъ това извади отъ пояса си единъ доста чистъ бѣлъ ржчникъ, отри си лицето и ржцетѣ, обърна се къмъ

пестокъ, свали си калпака, взе го въ лѣвата си рѣка и се прѣкръсти нѣколко пѣти, като направи нѣколко поясни поклона, пакъ си турих калпака на главата и внесе бѣкела въ колибата. Като излѣзъх повторно отъ колибата, той отиде право при кошарата, погледнѣх, върнѣх се и сѣднѣх прѣдъ вратата на колибата на едно мѣничко триножио много низко столенце. Въ сѣщото това врѣме отъ раскрѣхнатата вратня на кошарата излѣзе една коза съ двѣ весели, прѣлѣстни яренца. Тя, щомъ излѣзе, се прогегнѣх, като се подпираше само на тритѣ си крака, а четвѣртня протегнѣх, наклони и изви главата си и се прозевнѣх. Тя походи, походи около кошарата, отиде право при стареца и си легнѣх. Умнитѣ ѝ яренца не забавихъ да дойдѣтъ при неѣх. Тѣ се въскачиха и двѣтѣ на гърба на майка си и захванаха да се въсправятъ на заднитѣ си крака и да си играѣтъ. Слѣдъ малко отъ вратата излѣзоха нѣколко аганца. Тѣ погледнаха много плахо наоколо, нѣкои отъ тѣхъ се завърнѣхъ тутака въ кошарата, щомъ чухъ уплашеното блѣяние на майкитѣ си, а други, които бѣха по храбри останаха вънъ отъ кошарата, като гризеха шетѣтъ съ цѣль, може би, да си наострѣтъ зѣбенцата.

Старецътъ погледна всичко това, наведе си главата, разбѣрка пепелището, начумари се и се замисли. Слънцето позлати съ златнитѣ си лучи всичко, а тѣй сѣщо и лицете на стареца: хиляди бръчки покривахъ лицето и челото му. Изведнѣждъ той се сепнѣх, като че го убоди нѣкой въ сърцето. Пакъ се замисли бръкнѣх подъ дрѣвѣхата си, извади кубура, въ който държеше кавала си, извади послѣднийтъ, повѣртѣ въ него намазаното съ масло орлово перо, вгледа се въ играѣщитѣ яренца, сложи кобура и перото на земята и приближи кавала до устата си. Азъ едва устояхъ на мѣстото си. Сърцето ми туптеше толкова силно, щото азъ положително чувахъ всѣкой единъ неговъ ударъ като ударъ по гѣпанѣ. Старецътъ погледна още веднѣждъ наоколо, наведе си главата на една страна и като си припомни, вижда се, младитѣ безгрижни години, когато и той е билъ веселъ и игривъ, като окрѣжающитѣ го млади, невинни животни, захвана да свири нѣщо весело; нѣ изведнѣждъ веселието му прѣминѣх въ звукове, които приличахъ на истерически смѣхъ Не може кавала, който много вѣкове наредъ е плакалъ и искавалъ само страдания и болки, да се смѣе и весели, както не може да се смѣе плачущата майка, която е загубила любимото си чедо Опитѣтъ на стареца бѣ несполучливъ. Кавалѣтъ не го послуша: вмѣсто веселие той искаваше истерически, ужасенъ смѣхъ, отъ който настрѣхвватъ коситѣ на човѣка Челото на стареца

се набърча още повече. Той впѣри очитѣ нѣгдѣ надалече и промѣни пѣсенѣта. Кавала влѣзе въ ролята си: мелодията искажаваше и молба, и душевно страдание, и отчаяние. Тя се извиваше като змия и се вмѣкваше право въ душата, на оногози къмъ когото бѣше направена . . . Кавала се молеше тѣй, и искажаваше такива мисли, които не сж въ състояние да искажатъ никакви думи, никакви стихове . . . Всѣкой звукъ леденеше сърдцето ми . . . Камъкъ да бѣше човѣкъ щѣше да се спуска и не можеше устоя на такава молба . . . Разбрахъ, разбрахъ азъ къмъ кого зе отнасяше тази молба! Въ сжщи такъвъ недѣленъ день старецътъ още като младъ момъкъ е билъ принуденъ да сѣди при тѣзи глунави създания—овцитѣ, когато другаритѣ му играхтъ и се веселятъ съ дружитѣ си . . . Той моли своята дружка да не му измѣнява, че и той би дошелъ . . . Още нѣколко мига и пѣсенѣта мишж въ плачъ и стѣннения, които можътъ издържа само най силнитѣ нерви . . . Защо не можътъ да се отбѣлжѣтъ тѣзи звукове, за да можътъ да се повторхтъ пакъ тѣй чисто и ясно, както излизатъ отъ кавала! . . . Тежкитѣ и мрачни мисли, които сж бѣха натрупали тѣснитѣ черепъ на стареца, сега минавахъ прѣзъ още по тѣсната цѣвъ на кавала, като прѣзъ последньо чистилище и вземахъ осезателна форма . . . Всеоблемлющото сърдце на стареца оплакваше всичко: и вѣрната си другарка, и безврѣменно загубенитѣ си дѣца, сждбата на невинитѣ аганца и еренца които се веселѣхъ и играеха безъ да позорѣвмтъ, че сж се родили само да умрхтъ . . . Той оплакваше сждбата на майкитѣ на оцѣзи невини млади сжщества, които ще станхтъ безутѣшени . . . оплакваше сждбата на всичко живуще . . . Той плачеше, а мащихата му природа го слушаше съ голѣмо внимание. Всичко внимаваше на плачътъ на мнимийтъ царъ на природата. Всичко наоколо разбираше кавала. Даже и глупавитѣ овци не се помърдвахъ, да не би ем прѣкжснатъ този плачъ . . .

Колко врѣме е свирилъ старецътъ, не знж. Слънцето бѣше доста високо на небето, когато спжтникътъ ми се приближи деблиншкѣмъ при менъ и ме покани да си вървимъ. Азъ бѣхъ зашаманденъ като отъ силенъ ударъ по главата. Не ми се искаше и не щѣхъ да станж, ако не прѣкжснеше старецътъ свирията си. Той свърши, (скри кавала въ кбура си и подсвирихъ на исесата. Тѣ го наобиколихъ. Той хвърли на всѣко отъ тѣхъ по единъ голѣмъ ежсъ студенъ качамакъ отвори вратията на кошарата и овцитѣ захванахъ да излизатъ. Ний си трѣгнахме. Азъ вървѣхъ като автоматъ, безъ да усѣщамъ кратката си и силната жега. Небото бѣше

съвършено ясно, слънцето си грѣеша като всѣкога, но то ми се виждаше като една голяма кървава дъга. Ний стигнахме въ сѣлото, а въ ушитѣ ми още ечихъ сладкигь звукове на кавала Не напразно народа го е нарекъль медень . . .

СТРАННИКЪ.

(откъслѣкъ).

И вечерь азъ кога пренесень
Сѣжъ увисналь на брѣга
И вливамь въ Дунава чудесень
Душевната си скръбь, тѣга,
Подъ менъ вълнитѣ чюдна пѣсень
Запѣватъ дружно — и ека
Повтаря тѣхний звукъ небесень :

И тукъ е Божий свѣтъ прекрасень
И тукъ природата ѣ съ роскошь,
И тука грѣе мѣсець ячень,
Посрѣдъ звѣздитѣ въ полунощъ,
И тукъ живѣешъ, волно дишашъ,
И глѣдашъ Дунава голямъ,
Защо тѣй често ти въздишашъ
И мислитѣ ти все сж тамъ ?

„Въ тозь край, гдѣ страститѣ бѣснѣять,
Тамъ, гдѣ порокътъ е кумиръ,
Тамъ, гдѣ фалшиви хрмии пѣягъ
За правда, свобода и миръ,
Човѣкътъ гдѣто е изгубилъ
И съвѣсть и лице и срамъ,
Тозъ край не си го ти разлюбилъ
И мислитѣ ти все сж тамъ.

«И мѣсецьтъ кога услажда
Скръбьта ти съ бледа свѣтлина,

И Дунавътъ кога прохладна
Гржди ти съ ноцна хладина,
То ти ги любишь, знаемъ ние,
Четемъ по твоятъ погледъ нямъ :
Едений она край че ние,
А другия, че грѣе тамъ.

«Отвори сѣрдце си странникъ леденъ,
На нашъта дружба и любовь,
Другарьтъ тукъ, макаръ и бѣденъ,
На жергви сѣвга е готовъ,
И тебе, странникъ, вѣрвай назн,
Тукъ нѣма кой да те ласкай,
Защото никой те не мрази
Тѣй както мразятъ въ она край!

«Отъ злоба, завистъ и гоненье,
Ти друго тамъ не си видялъ,
и мигъ отъ радость, наслажденье,
Едва ли нѣгва си ималъ ;
Защо тогава туй мжченье
Защо тѣзь мисли, тазъ печаль ?
Отъ тебъ това е престъпленье!»
— Вълни, въ тозь край сжмъ азъ страдалъ!

*

Тогазъ вълнитѣ хукнатъ бѣснн,
Затѣтнжтъ, пѣсень заглушжтъ,
И, съ други мрачни, тжжни пѣсни,
Отнискать въ она край чудеснн
Сѣрдце и мисли и душа.

ПОЛЬ-ЛУИ КУРИЕ

И

НЕГОВИТЪ ПАМФЛЕТИ.

Ониѣ отъжелеци и кратки статии, що привождаме по-нататкъ., както и цѣлата литературна дѣятелность на Курие, сж тѣй свързани съ епохата, въ която той е живѣлъ, сж таковъ непосредственно изражение на неговитѣ лични мисли, чувства, наблюдения, възгледи, штоо намѣрихме за по голѣма ясность на читателитѣ да ги запознаемъ вкратцѣ съ неговата биография и да споменемъ и другитѣ му съчинения, които заематъ исклучително мѣсто въ французската литература и сж накарали да признаятъ въ авторътъ имъ «единственъ и рѣдкъ типъ на писателъ».

Той се е родилъ въ Парижъ прѣзъ 1773 г., отъ гдѣто въ скоро врѣме баща му билъ принуденъ да пзабѣе и да се засели въ Туревъ. Такъ бащата се заемъ съ воспитанието на синътъ си, отъ когото мечтавалъ единъ день да види ученъ математикъ, инженеръ. Но въ младий Курие отъ рано се забѣлѣзва прѣдпочтение къмъ литературата и любовь къмъ классическитѣ гръцки писатели, отъ които той черпи образци, какъ да пише на матершинтъ си языкъ. Верѣдъ тие тихи занятия узрѣва и избухва революцията. Нахлуванието на Пруссанитѣ вамира Курие въ Шалонъ, въ Артиллерийското училище. Тамъ той е трѣвало заедно съ своитѣ другари-съученици да стои на стража прѣдъ градскитѣ порти. Но благодарение на енергическитѣ смѣли движения на генерала Дюмурне, неприятельтъ е билъ длъженъ да отстѣпи, и Поль-Луи добива възможность да довърши мирно своето военно образование. На слѣдующата година той излиза отъ Шалонското училище съ първий офицерский чинъ по артиллерията и заминува за мѣстото на назначението си въ пограничнитѣ войски.

Отъ тогава се захваща неговий войнишкий животъ и се продължава почти непрѣкъснато до 1809 год. Като войникъ Курие прѣдставлява исклучително, своеобразно явление прѣзъ тие петнадесетъ години, когато въ французската история се срѣщатъ главнокомандующи на войски по на двадесетъ и три години, като Хонъ, Марсо и др., началници на щабове на восемнадесетъ години, полковници, бригадни командири по на двадесетъ години ; той най-малко се гонн за военна слава и високи титли, и все се срѣща като субалтернъ офицеръ, — догдѣ побѣдителитѣ сж заети да обирагъ побѣдени-

тѣ, той се рови изъ стариннитѣ монастири, замъци, изучава паметници на искусства, съ ужасъ и възмушение гледа на разрушителниитѣ духъ и печални слѣдствия отъ войната, пише на приятелитѣ си писма, въ всѣко отъ които признаватъ завършено образцово произведение по изящество и чистота на языкитѣ, по дълбочина на мисълта и искреностъ на чувството, всрѣдъ лагерний шумъ търси растуха въ старитѣ си любимици, гръцки автори; походи, битви, въ които други виждатъ тържество на военното искусство, въ него постепенно вселяватъ отвръщение къмъ службата му и най-послѣ той като че ли се рѣшава за винаги да се разпрости съ тоя *низкъ занаятъ*, споредъ собственото му изражение, и подава отставка. Но, кой знае по каква игра на съдбата, той се увлича веднага слѣдъ това заявление отъ мисълта да извърши единъ походъ поне подъ прѣкото началство на Бонапарта, и ето че скришомъ отъ всички, се взмѣква изъ Парижъ, отзовава се въ главната квартира и подиръ два дни стоение подъ Есслингенъ и Ваграмъ, оглушенъ отъ неумълкаемийтъ ревъ на топове, шумъ на артилерия, кавалерия, свидѣтель на купища, кунища мъртви тѣла, разочарованъ, той пада отъ изнеможение подъ едно дърво, и се свѣстява чакъ въ Виена, изцѣренъ тойзи пѣтъ за винаги отъ всѣко желание и домогване за военна слава.

Къмъ това врѣме се отnosi неговото пътувание по Италия, въ Флоренция, неговото прочуто *Писмо къмъ г. Ренуаръ* по поводъ на мастилното петно врѣхъ древнегръцкиитѣ рѣкописъ на Лонга. Това писмо привлѣкло толкова общественното внимание, щото дори самото тогавашне министерство се заинтересирало и признало въ чловѣкътъ на петното тъкмо оня ескандроненъ командиръ, който липсалъ отъ войскитѣ слѣдъ Ваграмското дѣло. Тѣй блистателно отмъстившии на флорентинскитѣ библиотекарѣ Курие попада въ най-затруднително положение: министрътъ на Вжтрѣшнитѣ Дѣла иска да поддвигне противъ него прѣслѣждане за кражба на гръцкии языкъ, а Военнийтъ иска да го сѣди като дезертиръ. Но той благополучно прѣминава това прѣмеждие, като се обѣщава да захвърли онова перо, което тѣй ненадѣйно е изкарало на-явѣ неговата ужасяюща мощъ. Нѣколко години наредъ той пътува, изучава и като че ли всички промѣни въ Франция: възстановлението на Бурбонитѣ, възвръщаннето и второто падение на Наполеона не сѣ въ състояние да го пробудатъ отъ политическа бездѣятелность. «Но, казва Арманъ Баррель, да види Франция два пѣти плаѣнена, ограбена, поругана, подложена на контрибуции, и всички тѣзи злополучия, всичкии тойзи срамъ най-напрѣдъ да клонатъ само въ полза

на единъ домъ, който щомъ намѣри прѣстолягъ празденъ, бърза веднага да го заеме; да вижда шепъ емигранти, въ надвечерното скитници, просеци, да приписватъ на себе си славата и нахално да се възнасятъ съ гнусността на тие двѣ поробявания; да вижда, че страшни прѣслѣдвания се распространяватъ чакъ до най-миролюбивата и въ вси врѣмена най-нереволуционна отъ нашитѣ провинции и сполитатъ всѣкого, който не отрече да даде убѣжище и хлѣбъ на нашитѣ печални побѣдени войници при Ватерлоо: никакво озлобление противъ Бонапарта, никаква омраза противъ военната тирания, никаква любовъ къмъ спокойствие и прѣдпочтение къмъ научни занятия, не можеха устоя прѣдъ подобно едно зрѣлище, у такъвъ единъ правъ и впечатлителенъ чловѣкъ, какъвто е билъ Курие». И той се явява между противниците на новиятъ редъ и, съ свойственний нему даръ, гнѣвъ на честенъ чловѣкъ, се нахвърля противъ върлющата пагубна система на прѣслѣдвания и угнетѣния. Като начало служи неговото *Пръшение къмъ двѣтъ камери: Господа, азъ съмъ Туренецъ*: впечатлѣнието отъ което е било отъ най-потресающитѣ, защото по нарисованата въ него картина на роялистическа реакция въ едно Туренско село, — цѣлата Франция е разпознала свойгъ печаленъ образъ. То се чеге и прѣчита отъ всички; самитѣ по-умѣренни управляющи търсатъ сближение съ авторътъ на тие нѣколко печатни страници, като напр. министръ Деказь, но безуспѣшно; Курие, като по прѣди, си остава истински прѣдаденъ на своитѣ ниви, гора, лозя, и ако е склонилъ да се яви въ министерскитѣ салонъ, то колкото за да има мира тамъ, въ селото си, отъ страна на властитѣ и на оние, които нащърбявали имотътъ му. Писмото *къмъ Господата отъ Академията на Надписитѣ и Искусствата*, публикувано въ 1820 г. съвършено разклатва онова добро разположение, съ което не е прѣставалъ да се ползова Курие между по-умѣренигѣ министри отъ врѣмето на Люийското прощение. Изобщо всички на мѣсто да оцѣнатъ безпрѣдѣлното искусство, съ което то е съставено, въ безпощадната сатира съгледали само ядъ и оскърбено самолюбие на единъ несполучилъ академикъ. Подиръ това слѣдвагъ *Писма къмъ цензорътъ*, за които той самъ забѣлзва, че „тѣ почнали да популяризиратъ името на авторътъ». Та изобщо репутацията на Курие расте отъ день на день; тѣй между послѣднето *Писмо къмъ цензорътъ* и *Простата рѣчь* върху подписката за Шамборъ се съгледа голѣмъ напредѣкъ въ това отношение, макаръ че и въ двѣтъ кратки произведения талантътъ е все единъ и сщий.

За послѣдната брошура той е билъ осъденъ на два мѣсеца за

творь и триста лева глоба, защото въ изражението : «Азъ нѣма да се подпиша, че Шамборъ трѣбва да се даде на дюкь Бордоский» намѣрили докачение за обществената нравственностъ. Веднага подиръ прѣсждата, Курие описва историята на свойгъ процессъ, заедно съ една рѣчь, която искалъ да каже прѣдъ сѣдътъ въ своя защита. И въ едно писмо къмъ жена си говори за извънреднийгъ успѣхъ, който е имала тая брошура, както и за желанието на нѣкои отъ вся сила да работягъ за избиранieto му народенъ прѣдставитель. Но той се възпротивилъ на тие заявления, понеже никога не е прѣставалъ вжтрѣшно да съзнава, че личнитъ му възгледъ сжщински не подхождатъ къмъ никоя партия. Въ всѣки случай тойзи процессъ и рѣшението на сѣдилището извънмѣрно способствовали за увеличенне славата на писателтъ: едвамъ встѣпилъ въ тъмницата Сентъ-Пелажи, всички се надпрѣдварягъ да му испращатъ писма, поздравления, да му правятъ посѣщения, което, вижда се, и е накарало поеттъ Беранже да се произнесе: «*На мѣсто на г. Курие азъ не бихъ далъ тѣзи два мѣсеца затворъ за сто хиляди лева*».

Въ деньтъ на освобождението си отъ тъмницата, Курие е трѣбвало отново да се яви прѣдъ сѣдилището по поводъ на другъ неговъ памфлетъ: *Прошение за селянстѣ, на които забраняватъ да танцуватъ*. Тойзи пѣтъ той се отървалъ съ едно мѣрzenie отъ страна на сѣдитѣ, — и се' заклѣва въ себе си за на прѣдъ нищо да не печата подъ свое име, и като съзналъ, че не е възможно, споредъ неговото собствено изражение, да *приказва* съ правителството чрѣзъ законнийгъ печатъ, той се обръща къмъ тайнийгъ. И така добрѣ си пази тайната, щото дори личнитъ му приятели не могатъ да разбератъ, какъ се печататъ и разносятъ неговитѣ послѣдующи съчинения. Въ течение на 1822—1824 се появяватъ *Първийтъ и Вторийтъ отговоръ на Анонимитѣ, Книжката на Поль-Луи, Селскыйтъ вѣстникъ*, тѣзи прѣвъзходни очерки, пълни съ ядовити подигравки, които, обаче, повечето се дължатъ на перото на единъ художникъ, нежели на единъ бунтовникъ или врагъ на правителството; сѣтнѣ *Дипломатическийтъ отломъкъ*, смѣло и моражоуеще прѣдположение, като какво е могло да се крие въ една двойственна и не особенно чиста кралевска душа прѣзъ 1823 г. Малко подиръ това излиза *Памфлетитъ на Памфлетитѣ*, неговата послѣдня лебедина пѣсенъ, както го наричатъ. «Въ него, казва Арманъ Каррель, талантътъ на Курие достига до оня периодъ на мощъ, когато вече писателтъ не подражава никому, а самъ гледа да служи за образецъ на други. Може

би, малко вѣщо искусственината зрѣлостъ на първитѣ произведения на Курне е отстъпила мѣсто на истинска зрѣлостъ, въ която силата е съединена съ грация и най-строгата оригиналностъ съ най-свършенна естественностъ. Вижда се, че тойзи блѣскавъ и извистеленъ гений най-послѣ е намѣрилъ языкътъ, който да отговаря на неговитѣ горчиви впечатлѣния за хората и работитѣ отъ неговото врѣме, и че той се пуца въ пѣтъ обржженъ отъ глава до пети. Въ Памфлетъ на Памфлетитѣ рече не селянинъ учено разсждава върху общественни интереси, а Поль-Луи съ извѣстенъ ентузиазмъ изказва своето призвание на памфлетистъ и отмищава за прѣзрѣнието на една частъ отъ обществото. Той брани общо дѣло заедно съ Сократа, Паскаля, Цицерона, Франклина, Демостена, св. Павла, Василия Великий; той се заобиколя съ тѣзи велики мъжи, като съ славно опълчение отъ апостоли на свободата на мисль, на гласностъ, на печатъ; прѣдставя ги, като себе си, памфлетисти, които, всѣкий въ свое врѣме, сж ратували противъ тая или оная тирания, както що той прави прѣзъ днитѣ си, като сж отправяли кратки послания, като привличали, проповѣдвали, поучавали народътъ, върѣки подигравкитѣ на дворьтъ, укоритѣ на честнитѣ хора, яростта на лицемѣритѣ и прѣслѣдвания отъ страна на съдебнитѣ власти; едни, като влизали въ затворъ, подобно нему, други, прѣслъвани да глътнатъ отрова или приемлюще смъртъ отъ ножътъ на вѣжкы гнусенъ наемникъ. Ето Памфлетътъ на Памфлетитѣ, отломъкъ отъ неудържимо увѣчение, и чийто стиль, отъ начало до край въ хармония съ развитието на най-своеволно и смѣло вдъхновение, е може би най-завършенъ като вкусъ и най-чудесенъ като искусство, отъ всичко, което може да се приведе въ нашиятъ языкъ».

Подаръ това понятна е общата скръбъ за безврѣмната смъртъ на Курне, когото Франция е изгубила въ разцѣптътъ на неговий талантъ, сили, тѣй необходими и незамѣними за недовършената още но онова врѣме борба. Той е падналъ мъртавъ на 10-й Априлий 1825 год., нѣколко крачки далечъ отъ вжщата си, прострѣленъ отъ неизвѣстна ржка. Дълго врѣме неговата смъртъ сж приписвали на партийна или политическа мечь, до гдѣто най-послѣ тайната не се разкрила свършенно случайно чакъ въ юний 1830 год. отъ вѣстната овчарка, Гриво, неволна свидѣтелка на убийството му. Прѣдъ сждътъ се е потвърдило, че участницитѣ били Фремонъ, слуга-надгледникъ у Курне, на когото той най-много е довѣривалъ, и двоица братя Дюбуа, негови ратаи, поради своекористни и алчни цѣли.

Остава да се споменатъ трудоветѣ на Курне, като еллинистъ.

между другитѣ му прѣводи — Луквада или Магарето, Пасторалитѣ на Лонга или Дафнясъ и Хлюя, първо мѣсто заемагь откъслецигѣ изъ Историята на Херодота, чийто цѣль прѣводъ той не е успѣлъ да довърши. Заблѣжителна е неговата система за прѣводжане, съ единъ малко нѣщо устарѣлъ стилъ, чийго оггласъ се збѣлѣзва и въ политическигѣ рѣчи на Туренскийгѣ селянинъ. То се обяснява не само съ желанието му точно да прѣдаде духгѣ на гръцкигѣ оригинални произведения, но и съ неговото удивително знание на образцовитѣ по-стари французски стилисти, языкѣтъ на които той е знаелъ въ съвършенство. На желающитѣ по-огблизу да се запознагѣ съ живогѣтъ и литературната дѣятелность на тойзи единственъ въ свой родъ писателъ въ новѣйшата история горѣщо прѣпорѣчваме биографията огъ Арманъ Карреля «Essai sur la vie et les Ecrits de Paul-Louis Courier» и оцѣнката огъ Сентъ Бюва въ *Causeries de Lundi*, които и намъ дадоха възможность да извлѣчешъ тѣзи кратки бѣлѣжки за человекѣтъ, за когото Сентъ-Бювъ признава, че е отъ оние, «които сж направили малко, но това малко е съвършено и завършено».

Мартъ 1890 год.

Прѣводачгѣ.

ПРОШЕНИЕ КЪМЪ ДВѢТЪ КАМЕРИ.

Господа,

Азъ съмъ Туренецъ, живѣя въ Люинъ, на дѣснийгѣ брѣгъ на Луара, мѣсто попрѣди значително, което отмиѣненнието на Нантскийгѣ едиктъ низведе до хилядо обитатели, и което съвършено ще запустѣе отъ новитѣ прѣслѣдвания, ако вашего благоразумие не се притече да тури редъ.

Азъ си прѣдставлявамъ, че болшинството помежду васъ, господа, нищо не знае за онова, което отъ нѣколко мѣсеци нанасамъ става въ Люинъ. Новинитѣ отъ тойзи край правятъ малко шумъ въ Франция и въ Парижъ особенно. И тѣй азъ съмъ дълженъ, за ясностьта на разказгѣтъ, който прѣдприемамъ, да почна да говоря за работитѣ по-огдалечъ.

На Св. Мартинъ се навърши година, отъ какъ у насъ заговориха за благонамѣренни и неблагонамѣренни подданици. Бакво

разушватъ подъ това, азъ добръ не зная, та дори и да знаехъ, надали ще го кажа, отъ страхъ да се не свадя съ твърдѣ много хора. По онова врѣме Франсоа Фуке, като отивалъ къдѣ голѣмата воденица, срѣща същеникътъ, че съпровожда единъ мъртвецъ на Люинскитѣ гробища. Пхтътъ билъ тѣсенъ; свещеникътъ, като съзрѣлъ яхналий на конь Фуке, извикалъ му да запре, — оня не спира; да свали шапка, оня не свая, но бързо прѣминава и опръсква съ калъ облѣченниятъ въ черковни одѣжди свещеникъ. Това не е всичко; нѣкои казватъ, и азъ безъ мъка вѣрвамъ, че, като минавалъ, Фуке възмърморалъ нѣколко псувни, че малко го било грижа за поштъ и неговий мъртвецъ. Ето фактътъ, господа; азъ не притурямъ, нито пакъ оттурямъ нѣщо; Господъ ми е свидѣтель, че не земамъ страната на Фуке, и не трѣся да смалявамъ неговитѣ вини. Той е постѣпилъ лоше; азъ го укорявамъ и тогава още го укорявахъ. Слушайте, обаче, що послѣдва.

Подиръ три дни, четирима стражари влизатъ у Фуке, хващатъ го и го откарватъ въ тъмницата на Лавже, свързанъ, босъ, съ жельза на ржцѣ и на нозѣ, и като връхъ на безчеловѣчие, посрѣдъ двоица знайни разбойници. И тримата бидоха хвърлени въ единъ и сщии каушъ. Фуке прѣстоя тамъ два мѣсеци; прѣзъ това врѣме семейството му да помине нѣма друго срѣдство освѣнъ състраданието на добритѣ хора, които, за добра честь, не сж рѣдки по нашитѣ мѣста. По насъ изобщо има по-вече милосърдие, нежели набожность. И тъй, догдѣто Фуке стоя затворенъ, дѣцата му не умрѣха отъ гладъ; и въ това той биде по-честнитъ отъ други.

Около сщщото врѣме арестуваха и по исто такава важна причина Жоржъ Моклеръ, когото подържаха близу петъ шесть седмици. За тоя, казваха, че билъ лоше говорилъ за правителството. Въ сщщность, то може и да е; малцина у насъ знаятъ, като какво нѣщо е правителство, нашитѣ познанья върху тоя въпросъ сж доста ограничени; то не съставлява обикновенно прѣдмѣтъ на нашитѣ размисления; и ако на Жоржъ Моклеръ е текнало да приказва за него, азъ не се чудя, че той лоше е говорилъ противъ правителството, но се чудя, че сж го затворили за това. То ми се вижда малко нѣщо строго. Азъ много по-вече одобрявамъ снисхождението, което имаша спрямо единъ другъ, познатъ на всички въ Люинъ, който се изрази срѣдъ пазаръ, при възлизанне отъ черкова, грѣмогласно, публично, че ще пази виното си да го продава сабдъ завръщанне на Бонапарта, като добави, че малко врѣме му остая за чаканне и други подобни глупости. Вие ще кажете по тойзи поводъ, господа, че той нито го е назилъ, нито продълвалъ, а че го

е испилъ. Такова бѣ и моето мнѣние още на врѣмето. Отъ това вече по злѣ не може да се приказва. А Моклеръ не е изрекълъ и на половинъ за да бжде затворенъ; първийтъ, обаче, оставиха на мира, защо? Защото билъ благонамѣренъ подданикъ: а другийтъ? билъ неблагонамѣренъ подданикъ, не угоденъ на оние, които иматъ сила да раскарватъ жандарми: ето работата, господа. Шатобрнанъ казва въ забранената книга, която цѣлъ свѣтъ чете: *Вие имате двѣ тегла и двѣ мѣри; за едно и сжщо дѣйствиe, единъ се осжжда, другъ оправдава.* Азъ мисля, че той е подразумѣвалъ онова, което се върши въ Парижъ; но и въ Люинъ, господа, ставатъ сжщо таква работи. Добрѣ ли сте вие съ тие или оние? добръ сте, оставятъ ви да си живѣете. Подигвали сте тжжба противъ еди-кого си, забравили сте да го поздравите, скарали сте се съ слугинята му, или замѣрили кучето му съ камъкъ? вие ставате неблагонамѣренъ, слѣдователно, бунтовникъ; къмъ васъ се прилага законътъ и по нѣкога ви го прилагатъ възгрубичко, както напоследне постжвиха сирамо десетъ наши най-мирни съжителци, хора богобоязливи, покорни на вметѣтъ, бащи на семействъ, повечето лозари, орачи, занаятчи, противъ които нвкой нѣма що да се оплаче, добри съсѣди, благодушни приятели, услужливи къмъ всички, безукорни по своето състояние, нрави, поведение; но неблагонамѣрени поданици. То е чудна история, която подигна и дълго врѣме ще вдига врѣва по нашенско; защото вие, селскитѣ обитатели, не сме навикнали къмъ тие държавни прѣврати. Работата на Моклера и на она другий, хвърленъ въ затворъ за гдѣто не си е смъкналъ шапката, кога минавалъ покрай свещеникътъ съ мъртвецѣтъ, що отъ това? то всичко въ сжщность има ли нѣкаква дѣна?

Това пакъ се случи на срѣдопостница 25 мартъ по единъ часа прѣзъ-нощъ; всичко бѣ заспало; четиредесетъ стражари влизатъ въ градѣтъ; отъ гостиницата, гдѣто отъ-най-напрѣдъ били слѣзли, слѣдъ като се разподѣлятъ и взематъ всички мѣрки и необходими указания, още при-зори тѣ се разпрѣсватъ по къщитѣ. Люинъ, господа, но величина се равнява на половината на Пале-Ройалъ. Ужасъ мигомъ се распростира на вѣду. Всѣкий бѣга или се крие; нѣкои, заварени въ лѣгло, сж изтрѣнати отъ ржцѣтъ на своитѣ жени или дѣца; но повечето, голи, въ бѣганвето си изъ улицитѣ или по полето падатъ въ ржцѣтъ на оние, които ги очаквали отъ вѣнъ градѣтъ. Слѣдъ дълготрайна сцена отъ викове и писъци, попадатъ се арестовани десетъ души: това бѣ всичко, което можахъ да уловатъ. Тѣхъ откарватъ; тѣхнитѣ сродници, дѣца, щѣха да ги послѣдватъ, ако властѣта бѣше имъ дозволила това

Властта, ето, господа, великото слово въ Франция. Другадѣ казвать законъ, тука власть. О! колко отецъ Каней щеше да е благодарень отъ насъ, ако можеше да оживѣе за единъ мигъ поне! той щеше на всѣкъждѣ да намѣри написано: *Никакви разсѣждениа; властта*. Истина е, че тая власть не е оная на Вселемскитѣ Събори, нито на Църковнитѣ Отци, още по-малко на юрисконсултитѣ; но тя е оная на жандармитѣ, която струва, разбира се, всѣка друга.

И тъй дигнаха тѣзи нещастници, безъ да имъ кажатъ, въ що ги обвиняватъ, нито какъ сѣдбата, която ги очаква, и забраниха на ближнитѣ имъ да ги придружатъ и поддържатъ до вратата на тъмницитѣ. Отблъснаха дѣцата, които искаха да уловятъ послѣдний погледъ на бацитѣ си, и желаеха да знаятъ въ какво мѣсто тѣ ще бѣдять захвърлени. Отъ десегѣтъ затворници тойзи пѣтъ нѣмаше ни единъ, който да не остави семейството си на произволъ на сѣдбата. Брюлонъ и жена му, прѣкарала въ затворъ шесть цѣли мѣсеци — толкова врѣме и дѣцата имъ прѣминаха като изоставени сираци. Пьерръ Оберь, вдовецъ, имаше едно момче и едно момиче; второго на единадесетъ години, а братчето ѝ още по-малко, но и на тая възраст тѣ интересираха всички въ Люинъ, по ради своята кротость и събуденность. Къмъ това се присѣдини тогава и жалостьта, която възбуждаше тѣхното нещастие; всѣкий, както можа, гледаше да имъ помогне. Нищо не имъ би липсало, ако да можеха родителскитѣ грижи да се замѣстятъ; но въ скоро врѣме момичето падна въ меланхолия, отъ която нищо не можа да го изгрѣгне. Оная нощъ, оние жандарми и образътъ на неговий баща въ окови не излизаха ни на мигъ изъ умътъ му. Впечатлѣнията отъ ужасътъ, които то запазило за онова страшно пробуждение, не го оставиха вече да се повърне къмъ веселието и игритѣ на неговата възраст; отъ тогава тайна, таха скръбъ легка полегка подкосяваше днитѣ му. Безъ да ще да се докосне до храна, то непрѣставаше отъ да вика баща си. Помислиха, че свиждане съ него ще смегчи тѣжата му и, може би, да го възвърне къмъ животъ: то получи, но твърдѣ късно, дозволение да влѣзе въ тъмницата. Той видя, държа въ прѣгръдкитѣ си своята дъщеря, и се ласкае още да я цѣлуе; той не знае своего пълно злополучие, което дори самитѣ стражи на тие мѣста трѣнератъ да му обадатъ. Въ дълбочината на тие ужасни жилища, той живѣе съ надѣжда, че единъ день най-послѣ щѣ го върнатъ на свѣтъ Божий, и че отъ ново ще намѣри нея; — има вече двѣ нецѣли, отъ какъ тя е умрѣла.

Справедливостъ, правосѣдие, Провидѣние! прздни души, съ ко-

што ни злоупотрѣбаватъ! на вѣдѣто и да обърна очи, азъ не вѣждамъ освѣнѣ прѣстѣпленieto тѣржествующе, а невинността при тиснатa. Азъ познавамъ едного, който съ цѣлъ редъ прѣдaтелства, клѣтвопрѣстѣпничества и купъ безумства, не е можалъ да докара своята гибель, а пакъ семейство, което обработва нивитѣ на бащитѣ си, е хвърлено въ зандани и исчезва за винаги. Да отвърнемъ погледитѣ си отъ тѣзи печални примѣри, които могатъ накара челоуѣка да се откаже отъ доброто и да се сѣмѣнѣва дори въ самата добродѣтель.

Всички тие сиромаси хора, арестовани, както що ви расправихъ, бидоха отведени въ Туръ, и тамъ затворени въ тъмница. Подиръ нѣколко дни, тѣмъ явили, че тѣ били бонапартисти; но не пожелали да ги осѣдагъ за това, нито пакъ да ги прѣслѣдватъ по углавенъ редъ. Прѣпратили ги на друго мѣсто, и твърдѣ справедливо; защото добръ е да ви се каже, господа, че помежду оние, които трѣбваше да ги сѣдятъ, като бонапартисти, тѣ, може би, бѣха единственитѣ, които не биха се клѣли въ вѣрность на Бонапарта, нито искали неговитѣ милости, нито пакъ протестирали за своята прѣданность къмъ неговата свещенна особа. Сѣдията, който ги прѣслѣдва днесъ съ такава строгость, подъ прѣдлогъ на бонапартизмъ, се отнасяше по сѣщий начинъ спрямо дѣцата имъ прѣди малко години, но по съвършено други причини, — че се отричатъ да служатъ на Бонапарта. Съ сѣщитѣ членове-помощници той рѣшаваше да се хване нецокорнийтъ новобранецъ и да се праги на заточение синътъ, който прѣдпочиташе баща си прѣдъ Бонапарта. Какво казвамъ! за неявяване на синътъ, той улавяше самийтъ баща, продаваше нивата, воловетѣ, ралото на нещастникътъ, чийго синъ два пѣти се не отзовеше на кличътъ на Бонапарта. Ето хората, които ни обвиняватъ въ бонапартизмъ. Що се касе до мене, азъ не обвинявамъ, нито пакъ донасямъ, защото не искамъ никаква служба и не храна омраза къмъ никого; но просто поддържамъ, че въ никаквъ случай не може да има причина да се арестуватъ въ Люинъ десетъ души, или въ Парижъ сто хиляди; защото сѣщияски работата е еднаква. Въ Люинъ, помежду жителитѣ не могатъ се намѣри десетъ крадци или убийци, то е тѣй ясно, што менъ се струва, че веднаждъ изречено, то е като доказано. Тогава тѣ грѣбва да сѣ десетъ врагове на кралътъ, за да ги лишаватъ отъ свобода, десетъ души, опасни за държавата. Да, господа, на сто мили отъ Парижъ, въ една загѣтена, неизвѣстна паланка, прѣзъ която даже ижгици не минавагъ, вѣдѣто се отива по невъзможни пѣтица, имало десетъ сѣзакѣтници, десетъ врагове на държавата и на кралътъ, де-

сеть души, противъ които трѣбвало да се зематъ мѣрки за охрана и при това съ голѣма прѣдпазливостъ. Тайна е душата на всѣко военно дѣйствиe. Въ полунощъ се качватъ на конѣе; трѣгватъ; безшумно пристигатъ прѣдъ портитѣ на Люинъ; вѣма стража за кланце, нито караули за изненаждане; влизатъ вжтрѣ, и чрѣзъ толкова добрѣ вземени мѣрки сполучватъ да хванатъ една жена, единъ берберинъ, единъ ботушаръ, четирма или петима орачи или лозари. — и монархията е спасена.

Да кажа ли? истинскитѣ бунтовници сж оние, които навсѣкждѣ такива намиратъ; оние, които облѣчени въ власть, виждатъ всѣкога въ своитѣ неприятели—врагове на кралътъ, и се мжчатъ да ги направятъ истина таква чрѣзъ непрѣстанни угнетения; оние най-послѣ, които търсатъ въ Люинъ десетъ души за арестование, десетъ семейства да доведатъ до отчаяние, до съсия и то отъ името на кралътъ; ето враговетѣ на кралътъ. Фактоветѣ говорятъ, господа. Дѣйцитѣ на тие насмля безъ друго се ръководатъ съ по-други мотиви, а не съ общественно благо. Азъ тука не искамъ да се впускамъ въ разисквания; искахъ само да ви явя нашитѣ болки, и чрѣзъ васъ, ако се може, да имъ се тури край. Но азъ още не съмъ ви изказалъ всичко, господа.

Нашитѣ десетъ запрѣни, заподозрѣни въ лошо говорение, слѣдъ като сѣдилището въ Туръ обяви, че не сѣди за души, бидоха прѣведени въ Орлеанъ. До като тѣхъ влачеха отъ тъмница въ тъмница, въ Люинъ ставаха други сцени. Една нощъ, подпалватъ кжщата на кметътъ. Насмалко това семейство, почтено въ много отношения, щеше да загине срѣдъ пламъци. Въ всѣкий случай помощитѣ пристигнаха у врѣме. За довършване довтасаха и жандарми: започнаха се арести, откарвание, затваряние на всички, които можеха да се покажатъ виновни. Тойзи ижъ като че ли справедливостта бѣ взимала страната на кметътъ; той подозираше цѣлъ свѣтъ, може би, справедливо. Азъ пѣма да ви дотегвамъ, господа, съ подробноститѣ на тойзи процесъ, който добрѣ не зная и който още се продължава. Ще добавя само, че отъ първитѣ десетъ арестовани, двоица осѣдиха на заточение (защото властта не трѣбваше да се покаже погрѣшима); двоица сж въ затворъ; шестима, пустнати безъ сѣдъ, се завърнаха дома си, по-вечето съсияни, немощни, неспособни да се заловятъ за старитѣ си работи. За тие, дозволено е да се вѣрва, че не сж говорили лошо. Да не дава Богъ никога да намѣратъ случай да дѣйствуватъ!

Но вие ще помислите, че Люинъ е свѣрталище на разбойници, несправими злодѣйци, огнище на бунтове, създакѣтия противъ

държавата. Ще ви се покаже, че тая паланка, обсадена всрѣдъ пълень миръ, изненадана благодарение на нощта отъ жандарми, пзъ която искарватъ десетъ пльнника, и гдѣто често се подновяватъ таква походи, не ще е заселена освѣнъ съ изроди, врагове на всѣ какво общество. За да можете да съдите за нея, господа, азъ трѣбва най-напрѣдъ да ви забълъжа, че Турень, отъ всичкитѣ области на кралевството, е не само най мирна, но може би, единственната мирна отъ двадесетъ и петъ години на насамъ. И нанстина, гдѣ ще намѣрите вие, азъ не казвамъ въ Франция, но въ цѣла Европа, кжтъ населена земя, гдѣто да не е имало, прѣзъ тойзи периодъ, ни война, ни изгнания, нито пакъ никакъвъ родъ безредици? А то може да се каже за Турень, която избавена отъ междуусобни крамоли и чуждеземни нахлужвания, като че ли отъ самото небо бѣ отредена, въ тве бурни врѣмена, да бжде единственно убѣжище на мъртъ. Ние по слухъ знаехме за бѣдствията на Лионъ, за ужаситѣ на Вандея, и за чловѣческитѣ хекатомби на великиятъ жрець на разумътъ, и за прѣсмѣтнатитѣ кланцета на оня гений, който измени великата война и висшата гелиция; но тогава, отъ толкова бичове, до насъ не се донасяше освѣнъ шумтъ; всрѣдъ толкова вълнения, ние останахме спокойни, като онне оазиси, които сж обиколени отъ подвижни пѣсци на пустинята.

Ако се възвърнете мисленно къмъ по-раннитѣ врѣмена, вие ще си докарате на умъ, че, подиръ пагубнитѣ прѣвратности при Пуатие и Азинкуръ, кога въ кралевството върлуваха неприятелски войски, Турень, немождната, дѣственна, запазена отъ веѣко насилие, даде прибѣжище на нашитѣ крале. Тѣзи смутове, що се распространяваха наврѣдъ като пожаръ и покриха Франция съ развалини въ течение на затворѣтъ на кралъ Иоанна, се спряха у полетата, които се поятъ отъ Шеръ и Луара. Защото такава е прѣимуществомъ на нашето положение; отдалечени отъ границитѣ и отъ столицата, до насъ послѣдни достигатъ народнитѣ движения и потрясения отъ войната. Женитѣ отъ Туръ никога не сж видвали лагеренъ димъ.

И при това въ една областъ, прѣзъ вси врѣмена, тѣй честита, миролюбива, тиха, нѣма околностъ по-спокойна отъ Люинъ. Тамъ не знаятъ, що е кражба, убийства, насилия; и най-старитѣ въ тойзи прѣдѣлъ, гдѣто хората живѣятъ до дълбоки старини, не помнятъ да сж видвали сѣдин, полицейски, прѣди онне, що дойдоха миналата година да научатъ Фуке какъ трѣбва да живѣе. Тамъ не знаятъ дори имената на шайки или партии; обработватъ си нивитѣ; и не се бъркатъ въ нищо. Омразитѣ, които посѣя на всѣду революцията, неможаха да поникнатъ у насъ, гдѣто тя нѣма да брои

нито жертви, нито новоспечелени богатства. Ние прѣди всячко държимъ божественното наставление да се покоряваме на властитѣ; но, извѣстияни късно за промѣнитѣ, отъ страхъ да не би не у врѣме да извикаме: Да живѣе Кралтъ! да живѣе Лигата! ние нищо не викаме; и съ тая политика сме сполучвали до дентъ, кога Фуке мина покрай мъртвецтъ безъ да свали шапка. И до тоя часъ азъ все се чуда, какъ сж взели тойзи прѣдлогъ за бунтовническии кличъ за да ни прѣслѣдватъ: всѣкий другъ би билъ по-благовиденъ; и намирамъ, че съ еднакво право би могли да ни горать, като запегнени отъ ерегичеството на нашатѣ прѣдци, както що ни пращатъ на заточение и затварятъ, като бунтовници.

Въ всѣкий случай ние виждате, господа, че Люинъ никакъ не е, както сте могли да помислите, срѣдоточие на бунтове, единъ отъ оние вертеци, които се прѣдоставятъ на общественна мечь, но най-тихъ кжтъ въ най-покорна областъ, какъвто само има въ цѣлото краевство. Поне той бѣ такъвъ, прѣди да бѣха, чрѣзъ въпниющи неправди, запалили озлобления и омрази, които дълго врѣме нѣма да угаснатъ. Защото дълженъ съмъ да ви обадя, господа, тая страна не е вече, какъвто бѣше; ако тя бѣ тиха въ течение на цѣли въкове въ тоя часъ тя не е вече такава. По настоящемъ въ нея царува терроръ, и той ще прѣстане за да отстѣпи мѣсто на отмъщавания. Огънятъ, хвърленъ въ кжщата на кмета, прѣди нѣколко мѣсеци, ви доказва до каква степенъ яростта е била възбудена; отъ тогава тя още се е усилила, и то у хора, които, до оня денъ, не сж проявявали освѣнъ кротость, търпѣние, покорность прѣдъ всѣко търпимо управление. Несправедливостта ги възмутѣ. Доведени до отчаяне отъ сжщитѣ оние сѣдии, които трѣбва да сж тѣхна естествена подпора, притискани въ имего на законитѣ, които трѣбва да ги закрилятъ, тѣ не знаятъ вече никаква юзда, защото оние, които ги управляватъ, ни знаеха никаква мѣбра. Ако длъжността на законодателитѣ е да прѣдупрѣдяватъ прѣстѣпленията, господа, бързайте да дадете край на тие размирици. Дано вашата мадрость и милостта на кралтъ повърнатъ на тойзи злощастенъ прѣдѣлъ тишината, която той е изгубилъ.

Парижъ, 10 Декемврий 1816.

ИЗЪ „СЕЛСКИИТЪ ВѢСТНИКЪ“.

— Тойзи вѣстникъ не е нито литературенъ, нито наученъ, а селашквий. Подъ това име, той трѣбва да интересира всички оние, които ѣдатъ хлѣбъ, било съ чesънъ, или други нѣкои по-прости ѣстия. Редакторитѣ сж хора познати, повечето обитаючи между мостътъ Клуе и Разцѣпенныйтѣ Джбъ, все орачи, лозари, дървари, жътвари и косачи, чинто мнѣния, начала никога не се сж мѣнували, не способни да се прѣструватъ или да иматъ други цѣли, освѣнъ тѣхнийтѣ собственъ интересъ, който, както всѣкый знае, е оня на държавата; спокойни спрямо всичко останало, и увѣрени, че щомъ тѣ сж ѣли, цѣлъ свѣтъ е ситъ. Поль-Луи, малко нѣщо писачъ, слуша тѣхнитѣ разкази, собира тѣхнитѣ пословци, изрѣчения, запознава се съ тѣхнитѣ тѣй наречени първенци, записва всичко и съставлява тие члѣнове, безъ нѣщо подъ тѣхъ да подразумѣва. Тука не трѣбва да се търси никаква хитрина. Ние наричаме по името имъ нѣщата и хората. Кога казваме зелка, тиква, краставица, ние ни най-малко не говоримъ за Дворѣтъ, нито пакъ за голѣмцитѣ. Ако *дсбелакътъ Пиеръ бие жена си*, ние нѣма да пишемъ: *Вчера се носеше слухъ, че г. де Ж. . . П. . .*; или *въ известни салони си казватъ на ухо. . .* Ние разказваме просто, както що по насъ приказватъ, и оплакваме нашитѣ горки събратѣя за мжчотвиетѣ, що теглатъ, защото трѣбва изведнажъ да угодятъ на читателитѣ, които искатъ правото, и на правителството, което заявява, че никоя истина не е добра за исказание.

— Господинъ кметътъ прѣстoj литургията въ свойтѣ тронъ. Слѣдъ божественната служба, господството му работи въ свойтѣ кабинетъ съ господинъ полицейсквийтѣ старший; подиръ което тѣзи господа испроводиха тѣхнийтѣ размеленъ, по прѣкоръ Гърбчо, съ единъ пакетъ до господинъ Управительтъ въ собствени ржцѣ. Ние знаемъ това отъ добъръ источникъ, и носителтъ трѣбва да се завърне съ отговоръ или съ расписка; видяли го дори, кога минавалъ близу до Женский-Градъ, гдѣто той хвърлилъ нѣкои и друга чаша. Що се относи до съдържанieto на депешата, нищо не можѣ да се узнае. Подозрѣватъ, че работата иде за нѣкои злонамѣренни подданици, които желаятъ да танцуватъ недѣленъ день и да работятъ прѣзъ празникътъ на Сентъ-Жилл.

Госпожата, сжпругата на господинъ кмета, доби синъ болѣринъ, при камбанний звонъ на мѣстната черкова.

— Славенѣтъ пѣять и ластовициѣтъ се връщать ; ето полската новина. Слѣдъ една сурова зима и три мѣсеци лошо врѣме, прѣзъ които нѣмаше възможность нито да се прѣкарва, нито да се оре, годината се започева най-послѣ, и работитѣ ще трѣгнатъ по свой редъ.

— Поль-Луи, на височинитѣ на Веретцъ, върши дѣлни работи. По вѣщина да развѣжда лозя той е пръвъ чловѣкъ на свѣта. Той прѣкарва, отъ не твърдѣ ближната гора, петъстотини кола чимове. Остава ги да гняятъ на откритъ въздухъ, сегизъ-тогизъ ги прѣобръща и смѣсва къмъ тѣхъ отъ сто до сто и петдесетъ кола торъ. Послѣ раскопава дълбоко срѣдъ всѣки два реда лози и насипва тая прѣстъ ; слѣдъ двѣ години, неговото лозе, истина младо и на което не е липсвало освѣнъ храна, достига до пълната си сила. Така обработени, десетъ уврати лозе, стига да се гледатъ съ грижа, прилѣжанне, търпѣние, мъка и трудъ, докарватъ на лозарѣтъ сто и петдесетъ лева годишно, и освѣнъ това триста лева за тунеѣдцитѣ мри Дворѣтъ. Смѣтката е лесна.

Наврѣмени, прѣзъ добритѣ години, тие десетъ уврата даватъ двадесетъ и четири товара или бѣчви вино, понѣкога нищо : срѣдний приходъ дванадесетъ бѣчви, всѣка отъ които се продава по шестдесетъ лева ; общъ сборъ, ако не грѣши, седемъ стотини и двадесетъ лева. Извадете обработваннето, данокътъ, утокътъ, гледанието, пазението, стойността на тая прѣстъ, която трѣбва всѣки петъ години да се подновява, вие ще намѣрите чистъ приходъ сто и петдесетъ лева за тойзи честитъ стопанинъ.

Но за Дворѣтъ, работата е друга. Оние дванадесетъ бѣчви отиватъ въ Парижъ, гдѣто отъ тѣхъ искарватъ Бургонско вино. Тѣ плащатъ барьерно право седемдесетъ и петъ лева всѣка ; освѣнъ това шесть лева за прѣнасяние, такса на Узурпаторѣтъ, днесъ узаконена ; толкова сѣщо за право на патентъ, и четири пѣти по толкова налози, които наричатъ сбрани наедно, безъ да се смѣтатъ оние, които зема полицията отъ дребнитѣ търговци ; послѣ още тридесетъ лева данокъ върху земята, чиято стойность прочее, по право на облаганне, минува цѣла въ рѣцѣтъ на хазната всѣки двадесетъ години. Смѣтайте и не дѣйте забравя нищо : барьерно право, право за прѣнасяние, право за патентъ, право на полиция, прѣко право, нецрѣко права, нѣколко право, сбрани наедно, право на прѣминуване ; това е всичко, което и докарва всѣка година триста лева за придворнитѣ или двѣстѣ и деведесетъ и шесть, ако се не лѣжа.

Поль-Луи притежава сто уврата, които той обработва и гледа

що тойзи начинъ съ семейството си. Както виждате, тѣзи добри хора искарватъ отъ тѣхъ годишно хиляда и петъ стотини лева за себе си, съ които и поминуватъ, и тринадесетъ хиляди лева за велегѣние на прѣстолътъ. Тукъ влиза и заплата на прокурорътъ, който бѣше хвърлилъ въ тъмницата Поль-Луи и отново ще го затвори за гдѣто е направилъ тая смѣтка.

— Его че благополучно прѣкарахме Св. Анисеть, критическото врѣме за пшкитѣ на растенията. Ако лозята у врѣме цвѣнатъ и гроздието не се орони, не ще да има кждѣ да се дѣне таз-годишното вино. Нивитѣ тѣй сжщо обѣщаватъ богата жътва. Земледѣлецътъ и лозарътъ сж задоволни до сега, рѣдкъ случай; и двамината се радватъ на небето и на врѣмето. Но колко случайности още прѣди трудътъ на единиятъ или на другиятъ да стори пари, за да му даде възможность да си исплати дѣлгътъ и да живѣе! Чуша, дѣждъ, бури, кралевски укази, постановления на окръжниятъ управителъ, на кметътъ, хиляди случайности, хиляди бѣдствия, и нищо не осигурено, освѣнъ дѣнокътъ. Ина хора, чиято жътва не заплашва ни зло врѣме, ни градъ, и тѣ не сж отъ оние, които, чрѣзъ оране и торение, са приготвяватъ най-добра нива, но отъ оние, които, като си иматъ служба, нищо не правятъ или съставляватъ Дворътъ. Безъ прѣдварително да харчатъ и безъ да полагатъ трудъ, тѣ жьнатъ въ всѣко врѣме прѣзъ годината. Когато добриятъ чловѣкъ е изрекълъ: Работете, трудете се, вижда се, дрѣмка да го е борѣла малко нѣщо. Право да си кажемъ, той трѣбваше да рече: Поднасяйте почитания, правете дълбоки поклони, то е имотъ, съ който никогажъ не се пропада.

— Кметътъ въ Веретцъ е избилъ свещеникътъ, гдѣто оставя селянетѣ да танцуватъ, и като го билъ, казвалъ му, че билъ лошъ попъ, че службата му не струвала нищо, че всѣкий пжтъ, кога служилъ, той билъ извършвалъ светотатство и билъ отново разцѣнилъ Христа на кръстъ. Свещеникътъ е осемдесетъ и двѣ годишенъ старецъ, образованъ и уменъ; кметътъ е младъ тридесетъ годишенъ момъкъ, когото много повече занимаватъ момитѣ, отъ колкото черковнитѣ служби. Плѣсницата, която той далъ въ тойзи случай, се показала такава на свидѣтелитѣ, каквато, казватъ тѣ, надали е добивало друго нѣкое духовно лице отъ врѣмето на Бонифация VШ. Веретцкиятъ кметъ не е турилъ желѣзна ржкавица, както направилъ пратеникътъ за да удари тойзи папа отъ името на кралятъ, свойтъ господарь, но пакъ отъ ударътъ добриятъ чловѣкъ се свалилъ наземъ, и до день-днешенъ още не се е поддигналъ отъ лѣгло. По всичко се вижда, че въ Веретцъ не ще вече да се танцува.

ИЗЪ КНИЖКАТА НА П. Л. КУРИЕ, ЛОВАРЪ ПРЪЗЪ СТОЕНИЕТО МУ ВЪ ПАРИЖЪ

Мартъ 1823.

— Господинъ де Таллейранъ, въ своята рѣчь къмъ кралятъ за да го отклони да обяви война, му казалъ : Господарю, азъ съмъ старъ. На мѣсто да рече: Вие сте старъ ; защото тѣ били връстници. Кралятъ, докаченъ отъ това, му отговорилъ : Не, господине де Таллейранъ, не, вие никакъ не сте старъ ; щеславие то не остарява.

— Единъ Англичанинъ ми каза : Нашитѣ министри не струватъ по-вече отъ вашитѣ. Тѣ, за да се удържатъ на властъ, развращаватъ народътъ, награждаватъ низостята, наказватъ всѣкакъвъ родъ великодушне. Тѣ обявяватъ лъжовни съзаклѣтия, гдѣто вливатъ оние, които не имъ се харесватъ, послѣ подбиратъ лъжовни съдебни засѣдатели за да съдятъ тие съзаклѣтия. Изобщо всичко съвсѣмъ като у васъ. Само ние нѣмаме полиция. Ето разликата.

Голѣма, твърдѣ голѣма е тая разлика, за щастие на Англичанинцѣтъ. Полицията е най-силното отъ всички сръдства за да направи единъ народъ низкъ и подълъ. Каква доблестъ може да има челоуѣкъ, въспитанъ въ страхъ отъ жандарми, който не смѣ високо да говори, нито да мръдие безъ паспортъ, за когото всѣкий е шпионинъ, и който се бои, да не би собствената му сѣнка да го улови за врагѣтъ.

— Полицията е на пхтъ да открие едно голѣмо съзаклѣтне, което, казватъ, щѣло да има обширни клонове по провинциитѣ и войската. Привождатъ вече имената на хората, които безъ-друго щесъж въ него. Но работата не е още свършена.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ОТЛОМЪКЪ, ИЗВЛЪЧЕНЪ ИЗЪ АНГЛИЙСКИ ВЪСТНИЦИ.

(1823).

Къмъ брата ми, краля на Испания.

Азъ получихъ вашето писмо, мой брате или братовчеде, понеже ние произхождаме отъ двама братя. Благодарение на Бога,

*) Известно е, че Испанскій краля Карль IV е билъ привуденъ отъ народътъ, въ 1808 год. да се отрече отъ прѣстолътъ, въ полза на

ние въ скоро врѣме ще се избавите отъ ржцѣтъ на вашитѣ виро-
глави подданици, за което азъ ви сърадвамъ като сродникъ, съ-
сѣдъ и приятель, напълно сподѣляющъ вашиятъ възгледъ върху
нашата законна и свещенна властъ. Ние царуваме милостю Божию,
която ни е дарувала народитѣ, и не дължимъ смѣтка за нашитѣ
дѣяния, освѣнъ на Бога, и на духовнитѣ отци, разбира се. Къмъ
това азъ добавямъ, като несъмнѣнно слѣдствие, че ние не трѣбва
никога да приемаме закони, изработени отъ подданицитѣ, никога
да не влизаме съ тѣхъ въ спогодби или дори да мислимъ, че по-
добни спогодби, празни и суетни въ сравнение съ Божественното
право, ни задължаватъ къмъ нѣщо. За особи отъ нашия санъ по-

сина си, Фердинанда VII. Последниятъ, обаче, по заповѣдъ на Наполеона
е билъ откаранъ въ Франция отъ Французскитѣ войски, които по онова
врѣме окупирали Испания. Цѣльта на това откарване била да може На-
полеонъ да възкачи на Испанскій прѣстолъ брата си, Иосифа. Но Ис-
панскій народъ не желаялъ да прѣвниси чуждото господство, и отъ тогава
се започва ожесточена война между полуобржженитѣ маси Испанци и
Французскитѣ войски. Най-подиръ, слѣдъ русскійтъ походъ на Наполео-
на, Испанцитѣ съ помощта на Англичанетѣ, подъ водителството на Ве-
лингтона, сполучили да изгонатъ Французитѣ отъ полуостровитѣ. Слѣдъ
паданieto на Наполеона Фердинандъ VII се възвърналъ въ Испания, и
първата му работа била да унищожки либералната конституция, която си
били създали Испанцитѣ въ 1812 г. прѣвъ неговото отсѣствие и да прѣ-
слѣдва всички оние, които му помогнали да се вързвърне въ отечеството
си, като провѣждали чуждеецѣтъ отъ испанската територия. Всички стари
Испански учреждения, като инквизиция и др., изново били възстановени.
По-образованитѣ Испанци, които вече вкусили отъ свободата прѣвъ
врѣмето на Наполеоновскитѣ войни, съ мжка прѣпасяли новата тирания.
Въ 1820 г. ставалъ бунтъ противъ правителството въ Испанскитѣ вой-
ски, подъ прѣвводителството на Риго и Квироса; цѣльта на това въста-
ние, което се распространило по цѣла Испания, е било възстановлението
на конституцията отъ 1812 г. Фердинандъ, слѣдъ несполучливи опитва-
ния да усмири въстанието съ сила, билъ принуденъ да приеме и да се
къдне въ тая конституция. Людовикъ XVIII Французскій, подпомаганъ
нравствено отъ Великитѣ Сили, съставляващи по онова врѣме Свещен-
ниятъ Сюзъ, Австрия, Прусия и Русия, и като самъ не желаялъ въ Ис-
пания да се увожда такава либерална конституция, което могло лоше да
се отзове на работитѣ въ Франция, се рѣшилъ да окупира Испания, да
унищожки нейната конституция и да възстанови Фердинанда VII, като само-
държавенъ господарь. Съ тая цѣль французски войски подъ прѣвводител-
ството на Дюкъ Англемскій, плѣменникъ на Людовикъ XVIII, минали
чрѣвъ Пиринетъ и слѣдъ много боеве успѣли въ своята задача, да въз-
становятъ съ щиковетъ си абсолютното управление на Фердинанда. Мно-
зина либерали били казнени, въ това число и Риго; а други сполучили
да избѣгатъ задъ граница и се спасили въ Англия. Ето собственно епо-
хата и поводѣтъ, които съ вдѣхнали на Куре това писмо.

Бѣлѣжка отъ прѣводача.

слѣдния степенъ на унижение е да се даватъ обѣщанія на подданицитѣ и да се държи думата спрямо тѣхъ, както много добръ е рекълъ, вѣчна му память, нашия прадѣдъ Людовикъ XIV, който отбираше свойтъ царскій занаятъ. При него, никой не видя французятъ да роптаятъ, съ каквото брѣме той и да ги товари, до каквато нищета и му скимваше да ги доведе; ни единъ отъ тѣхъ не пророни дума, прѣзъ цѣлий му животъ. За своитѣ войни, любовници, за да си гради палати, той имъ отнемаше послѣдната аспра; това се казва царуване. Барлъ II Английскій я карá, кажи, скъпо така; като насъ, настаненъ подиръ двадесетъ години изгнание и смъртъта на баща си, той велегласно объяви, че прѣдпочита по-скоро да се подчини на единъ чуждеземецъ кралъ, врагъ на неговий народъ, нежели съ него да се сногодява, или да се съвѣщава върху държавни работи; чувства възвишени и достойни за неговата кръвь, име и санъ. Азъ, мой братовчеде, който ви пиша това, можехъ да стана най-великий кралъ въ Европа, да искахъ само да се споразумѣвамъ съ мойтъ народъ. Нищо не бѣ по-легко. Но да ме нази Господь отъ подобна низостъ! Азъ се покорявамъ на конгресси, князье, кабинети, и често получавамъ отъ тѣхъ затруднителни заповѣди, всѣкога крайне дързки; но при все това слушамъ ги. Но, що желае мойтъ народъ и какво азъ нему обѣщавамъ, малко ми чини, толкова азъ обладавамъ гордость въ душата си и високомѣрие на моето потекло. Да държимъ, мой брате, тая благородна гордость спрямо подданицитѣ, нека скъпо да пазимъ нашитѣ стари правдини; да управляваме по образецъта на нашитѣ прѣдшественици, безъ никогажъ никому да даваме ухо, освѣнъ на нашитѣ служители, любовници, любимци, духовни отци, това е то чествъта на короната; щото ще да става, по-добръ да загинатъ народитѣ, отъ колкото божественното право.

Но всичко горѣ изложено, вие виждате, мой братовчеде, че азъ напълно сподѣлямъ всичкитѣ ваши чувства и моля Бога да ви укрѣпи въ тѣхъ; но не мога да одобря вашето отвръщение къмъ оня родъ управление, което е прието да наричатъ прѣдставително, а което азъ зова увеселително, понеже на свѣта не зная нищо позабавително отъ него за единъ кралъ, безъ да говоря вече за не малката полза, която то ни докарва. Азъ обичамъ абсолютното управление; но това. . . касателно печалата, струва по-вече. Азъ не правя никакви сравнения и го прѣдпочитамъ прѣдъ много други. Прѣдставителното дивно отговаря на моитѣ вкусове, стига само винаги менъ да прѣдоставятъ да назначавамъ прѣдставителитѣ на народътъ, както ние твърдѣ честито успѣхме да наредимъ въ тая

страна. По тоя начинъ прѣдставителното е земя обѣтованна, мой братовчедо. Пари — колко щещъ. Попитайте мойтъ плѣменникъ Ангулемскій, тука ние смѣтаме съ милиарди, или да кажемъ истината, за-бога, прѣстанахме да смѣтаме; отъ какъ имаме съ себе си депутатитѣ, едно болшинство, както го наричатъ, плѣтно, *компактно*, което истина е свързано съ разсопки, но незначителни. То не ми струва по-вече . . . не, сто гласа всѣка година не ми струватъ, увѣренъ съмъ колкото ми чини единъ мѣсець госпожа Каила; и всичко върви само по себе си; пари безъ брой и безъ-четъ, и божественното право не губи нищо; и нищо не ни прѣчи да вършимъ все и вся по наше щение, спрѣчь по прищевкитѣ на нашитѣ придворни.

Вашитѣ Кортеси сж ви накарали да намразите свѣщателнитѣ събрания; но единъ опитъ не доказва нищо; покойниитѣ ми братъ не можѣ да хароса съ него, но то не ми попрѣчи азъ отново да го опитамъ,—и сега не се плача.

Искате ли да бждете злочестъ, като него, който по нѣманне на петдесетъ нищожни милиони лева. . . Каква мизерия! петдесетъ хиляди милиона, мой братовчедо, не ме смущаватъ по-вече отъ два-прѣста емфе. Истина, азъ мислѣхъ като васъ прѣди моето ижтувание по Англия; азъ никакъ не обичахъ това прѣдставително; но тамъ съ очитѣ си видѣхъ, въ що се то състои: дори Турчинтъ да се сѣщаше като какво нѣщо е, той не щеше да желае друго и би прѣобърналъ свойтъ диванъ на двѣ камери. Опитайте го, мой драгнй братовчедо, и вие ще ми запѣте друга пѣсенъ. Въ кратко врѣме ще видите, че вашитѣ Инди, галioni (испански корабм), Перу не сж освѣнй сиромашки трохи наредъ съ тая измислица, единъ бюджетъ прокаранъ и гласуванъ отъ добри прѣдставители. Всички тие думи: свобода, гласность, прѣдставителство не трѣбва ни най-малко да ви плашатъ. Тѣ сж прѣдставления въ наша полза и печалата отъ тѣхъ е грамадна, а опасността никаква, каквото щатъ да казватъ. Едно сравнение може да ви го направи по-осѣзателно. Нагнетателенъ наносъ . . . или по-добрѣ паренъ котелъ, който всѣка минута ви дава тлѣста чорба, кога человекъ знае да се обхожда съ него, но прѣсва и убива, кога се не пина прѣдпазливо; ето моята работа, ето моето прѣдставително. Не се изисква освѣнй надлѣжаще да се подклажда, ни чрѣзмѣрно много, нито пакъ чрѣзмѣрно малко, а излегка; то е работа на министритѣ, а чорбата е миллиардъ. Подиръ това, хвалете вашето самодържавие, което докарваше на мойтъ починалъ братъ, що? три или четири стотини милиона на годината и то съ каква мжка! Тука всѣкий бюджетъ — цѣлъ мил-

лардъ, безъ ни най-малка мжчнотия. Какъ ви се струва това, мой братовчедо? Я, махнете на страна вашитѣ дребни прѣдубѣждения и се заловете задружно съ насъ да варимъ чорба; нѣма нищо по-добро отъ това. Ние взаимно ще си помагаме да я караме както се слѣдва, и да избѣгваме случайноститѣ.

Да бѣхте имали вие тойзи прѣдставителенъ котелъ, по врѣмето на островтъ Леонъ, пари не щѣха да ви липсватъ за заплата на солдатитѣ и тѣ нѣмаше да се бунтуватъ; не щеше да има нужда азъ да ви пращамъ помощъ и да вжднѣвамъ, за да ви извадя отъ онова затруднение, петъ стотини хубави миллона лева, мой братовчедо; не, че искамъ да ви натяквамъ за тѣхъ, за таково никакво нѣщо; между сродници всичко е общо: паритѣ и кръвта на моятѣ подданици принадлежатъ вамъ, както на мене; въ случай на нужда не дѣйте забравя да си припомните това. Азъ ще ви настанявамъ, ако дотрѣбва, десетъ пжти на прѣстольтъ, безъ ни най-малко да си развалямъ спокойствието, и безъ то да ви струва бита-пара. И нѣма никога да поискамъ отъ васъ разноснитѣ, както що направиха съ мене. То е низостъ отъ страна на моятѣ съюзници. Напротивъ, кога ви възстановя, азъ ще ви дамъ още пари, вамъ и на вашитѣ подданици, колкото поискатъ. Азъ давамъ пари на цѣль свѣтъ, и плащамъ навсѣгждѣ; азъ заплатихъ за моето възстановление, ще платя отново за вашето, защото имамъ много пари и храня крайна прѣданность къмъ чуждитѣ господари, които се противятъ да приемамъ закони, изработени отъ мойтъ народъ. Азъ имъ плащамъ, кога тѣ дохождатъ тука: азъ ви плащамъ, вамъ, кога отивамъ у васъ. Ние ли правимъ оккупация, насъ ли оккупиратъ, азъ плащамъ оккупацията. Азъ платихъ на Сакена и на Платова. Азъ плащамъ на Морилло на Баллестерось; азъ плащамъ на кабинетитѣ, на Силитѣ; азъ плащамъ на кортеситѣ, на регентството; плащамъ на Швейцарцитѣ и слѣдъ като платя на всички тие хора, остава ми още съ що да поддържамъ, не само моята гвардия, но и единъ дворъ тука, който намиратъ доста хубавъ, и съвършенно другъ отъ она на мойтъ прѣдшественникъ; освѣнъ това, любовницитѣ, които вече, естествено, ми струватъ нѣщо. Бюджетътъ постига за всичко, и ето що е онова прѣдставително, което тамъ ви задава такива страхова. Безумие, дѣтнство, мой братовчедо; нѣма нищо по-добро на свѣтътъ.

За да се настани тая машина у васъ, и да се тури въ движение, безъ ни най-малка опасность за вашитѣ кралевски особи, ако обичате, азъ ще ви испровода господина де Виллель, дивенъ чело-вѣкъ, или другито нѣкого отъ нашитѣ възлюблени подданици, съ-

двдесетина окръжни управители. Повърнете се тѣжъ; въ най кратко време тѣ ще ви наредатъ двѣ Камери и министерство, задъ което вие ще можете да си спите, до гдѣто то ще ви спасря пари. Отъ височината, гдѣто сме поставени, вие ще има охолно да се забавлявате, както казва генералъ Фoa. съ тѣхнитѣ прѣвнни, най-смѣшното нѣщо на свѣтътъ, истинский врсѣсъкъ на кучета и котки, които се гризатъ изъ улицитѣ за оглозгани кости. Кога тѣхнитѣ врсѣсци станатъ утегчителни, отгорѣ имъ изливатъ, щомъ бюджеттъ е прокаранъ, нѣколко мѣдника вода.

Дарувайте имъ, мой братовчече, дарувайте конституция и всичко свързано съ нея: право на избори, сѣдебни засѣдатели, свобода на печаттъ; дайте имъ и не се смуцавайте отъ нищо; главно не дѣйте забравя да създадете и нови благородни, които размѣшайте съ старитѣ — и ето, другъ видъ увеселение, което ще поддръжи вашето добро расположение и здравие за дълго време. Безъ него, въ Тюльери, вие щѣхте да изпомрежъ отъ скука. Кога се стѣкните съ гаранцията на Силитѣ, съ вашитѣ *Либералесъ*, и слѣдъ като, се закълнете да забравите миналото на всички тие бунтовници, заповѣдайте веднага слѣдъ амнистията да обѣсатъ петма-шестима, а другитѣ направете херцоги, перове, особенно отъ оние, които всѣжкий е видвалъ като хамали, коняри; адвокатитѣ, писателитѣ, философитѣ, тие всички горѣщо залибени въ равенството, прѣтрупайте съ ордени; обсивете ги съ стари титли и нови дипломи; послѣ внимавайте, азъ ви закълвамъ, да не тжжите, кога видите тие хора наредъ съ вашитѣ Санчовци и Гусмановци, че кичатъ колата си съ гербове и щитове: собствено това е смѣшната пиеса на една революция, комедия, на която чelовѣкъ никога се не насмща и която ще стане за вашитѣ подданиции вѣченъ карнавалъ.

Азъ имамъ още за много други работи да ви приказвамъ, но за сега ги отлагамъ, като моля Бога, мой братовчече, да ви земе подъ своята света охрана.

Подписано, Людовикъ.

Приподписано, дѣ Виллель.

Съ първообразното вѣрно, Поль-Луи Курие, лозаръ.



ВЪ НОЩТА ПРѢДЪ ВЕЛИКДЕНЪ.

ОТЪ

Владимиръ Короленко.

(Прѣводъ отъ русски).

Страстната сѣбота 188* година.

Тъмна вечеръ отдавна се спусна надъ притихналата земя. Разгрѣна прѣзъ денътъ, а сега легко обвѣяна отъ бодрото дихание на пролѣтнийтъ нощенъ мразъ, земята като чели тихо джаше отпълни гърди; отъ това дихание, играещи въ лучитѣ на величаво грѣйналото звѣздно небо, се възземаха бѣлизневи мъгли, сѣщо кѣба кадилевъ димъ, поднемаше се на срѣща на идущий празникъ.

Бѣше тихо. Малкий губернский градъ Н., весь обвѣянъ отъ тъмната прохлада, замлъкна, въ очакванье минутата, кога отъ висъ съборната камбанария ще прозвѣни първий ударъ. Но градътъ не спеше. Подъ покривтъ на влажний мракъ, въ сѣнката на мълчаливитѣ безлюдни улици, се усѣща сдържано очаквание. Нарѣдко само прѣмине закъснѣлъ работевъ челоувѣкъ, когото празникътъ на смалко що не свари надъ тежка, неспорна работа, продръпчи малка кола — и пакъ безмълвна тишина. . . Животътъ нахълта изъ улицитѣ въ къщята, въ богатитѣ домове и скромни хлачуги, съ свѣтнали къмъ улицата прозорци, в тамъ се притаи. Надъ градътъ, надъ полята, надъ всичката земя се усѣщаше невидимото вѣение на настѣпающийтъ празникъ на възкресение и обновенне.

Луната не бѣ се издигнала още, и градътъ лѣжи въ широката сѣнка на възвишенността, надъ която се види голѣма наче мерено сграда. Страннитѣ, прави и строги линии на това здание мрачно се отбѣлгзватъ на златникаво модро небе; тъмнитѣ му врата едвамъ-едвамъ се съзираатъ, знанали въ мракътъ на засѣнената стѣна, и четиритѣхъ кули на кѣтоветѣ отсичатъ въ небесата остритѣ си върхове.

Но ето отъ висъ съборната камбанария се отърва и проехтѣ въ бодрий въздухъ на замислената нощъ първий звѣнтящъ-ударъ . . . Слѣдъ минута отъ разни мѣста, на разни тонове, екнаха, залѣха се запѣха зюнове, и звуковетѣ, сплѣтени въ мощна, своеобразна гармония, тихо се залюлѣха и завиха въ ефирътъ. . . Изъ тъмното-зданше, което заслонѣваше градътъ, се сту тѣй сѣщо слабо, сипкаво-

трепене, като да трепери въ въздухътъ, въ безсилне да се подеме въ ефирната висъ слѣдъ могущий аккордъ.

Звънтенето мълкна. . . Звуковетъ разтаяха въ въздухътъ, но безмълвието на нощта едвамъ постепенно влизаше въ свойгѣ права: дълго още изъ нощний мракъ се чуваше смѣтенъ, примирающъ огъекъ, сѣщо като отъ трепение на нѣкоя невидима, обтегната въ въздухътъ струна. . . Огневетъ загаснаха по вѣщяята; церковнитѣ прозорци грѣйнаха. Земята 188* ѣ пътъ се готвеше да провъзгласи старата лозинка за побѣдата на мирътъ, любовта и братството. . .

Въ тъмнитѣ врати на начемереното здание изтракаха заключитѣ. Полузводъ войници, като издръчѣ въ тъмнината съ оржжията си, излѣзе да смѣнява нощнитѣ стражи. Тѣ приближаваха до жглитѣ, и се спираха за малко врѣме при постоветѣ; изъ тъмната купчина хора изстѣпваше съ разиѣрни крачки една фигура, а прѣжний стражъ като чели потъваше въ тази тъмна купчина. . . Слѣдъ това полузводътъ пакъ трѣгваше понататакъ, обходяще наоколо високата тъмнична стѣна.

На западната страна, на смѣна на стоящия тукъ стражъ, излѣзе младъ новобранецъ; въ неговитѣ движения не е изчезнала още селската неодѣланостъ; въ младото му лице се вижда изражение отъ напѣргнато внимание на новакъ, за пръвъ пътъ поставенъ на отговоренъ постъ. Той застава съ лице къмъ стѣната, тракна съ пушката си на плечо, прѣстѣпи два раскрача и, като се полуобърна, допрѣ се съ рамо до рамото на прѣжний стражъ. Онзи, като възви малко глава къмъ него, прочете съ навикналъ тонъ обикновенитѣ наставления:

— Отъ този до онзи жгль . . . да гледашъ . . . да не спишъ, да не дрѣмешъ!—Бързо говореше войникътъ, а новобранецътъ слушаше все тѣй напѣргнато, и въ сивитѣ му очи се мѣркаше нѣкакво особенно изражение на тъга.

— Разбра ли? — попита ефрейторътъ.

— Такъ точно; ради-старатся. . .

— Е, внимавай! — повтори ефрейторътъ строго, а послѣ, като измѣни тонъ, почна по добродушно:

— Та нищо, Фадѣевъ, не се страхувай! ти не си жена, я . . . отъ каракончо ли ще се боишъ, или отъ какво?

— Защо отъ каракончо? — наивно отвърна Фадѣевъ, и послѣ загрижено прибави: — Тѣй нѣщо-си . . . на сърдце като да ми е тежко, братя. . .

— Я го вижъ ти него, селската майцица! — съ прѣзрѣние измѣмла «старший» и рѣзко изкомандува:

— Наиле-чо! Шагомъ-маршъ! Караулътъ, като тракаше мѣрно са вървежъ, се затули задъ жгълтъ, и скоро стълпигтѣ имъ заглѣхнаха. Стражътъ мѣтна пушна на рамо и тихо трѣгна покрай нѣбната.

Вжтрѣ въ тъмницата, при послѣдний ударъ на камбаната, се почна движение. Мрачната и скърбна тъмнична нощъ отдавна не бѣ виждала подобно оживление. Като че дѣйствително благовѣстята ечна тукъ сѣщо вѣстъ на свобода: чернитѣ врати на камеритѣ една слѣдъ друга се разтварѣха. Арестантитѣ въ сиви халати, съ злокобни цвѣтни бѣлѣзи на гърбъ, на дълги върволицы, двой-подвой, прѣминаваха прѣзъ коридоритѣ, и влизаха въ тъмничната църква, блѣснала отъ огнене. Тѣ идѣха отъ лѣво и дѣсно, подемаха се по стълбата отъ долу, слизаха отъ горѣ; срѣдъ екотътъ отъ стълпигтѣ сегизъ-тогизъ се чуваше звонъ отъ оржжие и прѣсѣкнато дрънчание отъ ножни окови. При влизане въ обширната църква, сивата тѣлна се вмѣкваше въ ограденитѣ съ рѣшетки мѣста и тамъ затихваше. На църковнитѣ прозорци сѣщо се виждаха ягли желѣзни рѣшетки. . .

Тъмницата опустѣ. Само на край жглитѣ въ четиретѣхъ кули, въ малкитѣ крѣгли камери, затворени на глухо, четире осамотени арестанти мрачно се мѣтаха по своитѣ келии, отъ врѣме на врѣме като прилагаха ухо на вратитѣ и жадно се вслушваха въ входящитѣ до тѣхъ отривки отъ църковното пѣние. . .

И още на одъртъ, въ една отъ общитѣ камери, лѣжеше боленъ. Смотрителътъ, комуто доложиха за внезапно заболѣлиятъ, се приближи къмъ него, когато арестантитѣ ги отведоха въ църква, и, като се приведѣ, подозрѣ го въ очитѣ, пламнали отъ страненъ блѣсъкъ и тѣпо вперени въ пространството.

— Ивановъ! слушай, Ивановъ! извика смотрителътъ на болний. Арестанта не обърна глава; той бѣбреше нѣщо невнятно; гласътъ му бѣше прѣсипналь; пламналитѣ му устни се мърдаха съ усилие.

— Утрѣ въ болницата! — се разпорѣди смотрителътъ и излѣзе, като остави при вратата на камерата единъ отъ коридорнитѣ надзиратели. Този внимателно изгледа лѣжащиятъ въ огнища и поеви съ глава.

— Ехъ, скитнико, скитнико! Види се, брайно, отскиталъ си

си вече! — и, като рѣши че тукъ нѣма що да чини, надзирателтъ прѣмина прѣзь коридорътъ къмъ църква, спрѣ се прѣдъ заключенитѣ врата и почна да слуша службата, като отъ часъ на часъ се навождаше съ поклони до земята.

Пустата камера екаше отъ врѣме на врѣме отъ невнятный говоръ на болний. Това бѣше още не прѣминалъ човѣкъ, силенъ и сръпѣкъ. Той блѣнуваше, като прѣживяваше своето неотдавна минало, и лицето му се юдеше отъ изражение на мъка.

Сждбата злѣ се подгаври съ старийтъ скитникъ. Той прѣмина хиляди версти, промѣква се прѣзь тайги и диви върхове, прѣжара хиляди опасности и лишения, гоненъ отъ люта мъка за бащинъ край, ржководимъ отъ една надѣжда: «да видя понѣ за мѣсець, за недѣля . . . да поживѣя при своитѣ . . . а сетиѣ — ако ще би пакъ същото да ме сполѣтъ». Стотина версти до родното село той се озова пакъ въ тъмницата.

Но ето невнятный му говоръ утихна. Очитѣ на скитникътъ се разшириха, гърдитѣ му поемаха по равно. . . Надъ пламналата глава повѣха по отрадни мечти. . .

. . . Шуми тайга. . . Нему е познатъ този шумъ, еднакъвъ протегнатъ, свободенъ. . . Той е привикналъ да разпознава гласътъ на гората, говорътъ на всѣко дърво. Горделивитѣ борове звѣнтятъ високо-високо съ гжстата си тъмна зеленина. . . Елитѣ шепнатъ протегнато и ясно; веселий ясенъ муръ люлѣй гѣвки вѣтки; осината трепти и шумоли съ бодритѣ си плахи листи. . . Подсвирква свободната птица, ручейятъ шумно и буйно се прѣвѣта по каменливитѣ долчини, и горскитѣ шишони* — орлякъ крикливи свраки — се виятъ по въздухътъ падъ онѣзи мѣста гдѣто, невидимъ въ гжсталава, скитникътъ прѣминава прѣзь гората.

Също като че струя отъ свободенъ горски вѣтеръ лѣхна надъ болний. Той се подигна и дълбоко въздѣхна; очитѣ му съ изразъ на внимание гледатъ напрѣдъ, но извѣднаждъ въ тѣхъ блѣсна нѣщо като съзнание. . . Скитникътъ, привикналъ бѣжанецъ, видѣ прѣдъ себе си необикновено явление: отворени врата! . . .

Мощний истникътъ потърси цѣлий му организъмъ, разбитъ отъ болѣстята. Признацитѣ на блѣнуванъето бързо изчезнаха или се

* Сибирскитѣ бѣжанци разказватъ, че въ глухитѣ тайги свракиитѣ на орляци съпровождатъ бѣжанеца прѣзь гората, кждѣто той прѣминава. Въ онѣзи врѣмена, когато ловътъ за тие бѣжанци се позволявалъ отъ закончтъ, Бурятитѣ-ловчици сж улавяли диритѣ имъ по грачешето но орляцитѣ свраки.

группираха около едно прѣдставление, като ясенъ лучъ прорѣзано въ тоя хаосъ: единъ! . . вратата отворени! .

Чрѣзъ минута той стоеше правъ на подьтъ. Сичкий жаръ отъ възпаленый мозъкъ като че ли нахлу въ очитѣ му: тѣ гледаха нѣкакъ равно, упорно, страшно.

Нѣкой отвори за мигъ врата и изгѣзна изъ църква. . . Вѣли отъ стройното, смечено отъ разстоянието, пѣнене долѣтяха до ухото на скитникътъ и пакъ глухо замлъгнаха. На блѣдното му лице трепна умиленне, очитѣ му се замъглиха и прѣзъ умъ му мина отдавна лелѣяната отъ мечтитѣ картина: тиха нощъ, шумолене на борове, съ приведени тъмни вѣтки надъ старата църква въ родното му село. . . тѣла съзелени, огневе надъ рѣката, и това сжщо пѣнене . . . той бързаше на нхтъ, за да чуе всичко това тамъ, между свои!

Между това, въ корридорътъ, прѣдъ църковнитѣ врата, надзирательтъ усердно се молеше и струваше поклони до-земь.

Младий новобранецъ ходи съ пушка покрай стѣната. Прѣдъ него се стеле равно, неотколѣ оголено изъ-подъ снѣгътъ, далечъ прострено поле. Лекъ вѣтрецъ се прѣска по него, люлѣе изсхналий буренъ, звѣнти изъ миналогодешната трѣва и като че ли спокойна, тѣжна мисль нѣе въ душата на войникътъ.

Младий стражъ се спрѣ до стѣната?, изправи пушката си и, като сложи ржцѣ на устата ѳ, а глава на ржцѣтъ си, дълбоко се замисли. Той неможеше още да си прѣдстави, защо е той тука, въ тази тържественна нощъ прѣдъ празникътъ, съ оржие покрай стѣнитѣ, прѣдъ пустинно поле. Въобще, той още си бѣ сжщински селякъ, не рабираше още много и много, тѣй щото имаше защо войницитѣ да го подкачатъ съ «селото». Още не отдавна той бѣ свободенъ, бѣ стопанинъ, имаше си свои ниви, своя работа, а сега неразбранъ, необяснимъ, неопрѣдѣленъ страхъ, прѣслѣдваше го всѣка стѣпка, всѣко движение, силомъ нудеше младата и неотесана селска натура въ пхтътъ на строгата служба.

Но въ тая минута той бѣше самъ. . . Пустинний видъ разсланъ прѣдъ очитѣ му, свиреньего на вѣтъра изъ буренътъ, му навѣваха нѣкаква си дрѣмка, — и прѣдъ очитѣ на младий войникъ се мѣркатъ родни картини. Той вижда селото, и онзи сжщъ вѣтръ нѣе надъ него, и църквата блѣти отъ огневе, и тъмнитѣ борове люлѣятъ надъ църквата своитѣ зелени върхове.

Отъ врѣме на врѣме той като че се съзема, и тогава въ-

неговитѣ модри очи се отражава недоумѣние: какво е това? — поле, пушка и стѣна. . . Той за мигъ си спомня дѣйствителността, но скоро пакъ смѣтний звонъ на нощний вѣтъръ му навѣва родни картини, и войникътъ пакъ дрѣме, подпрянъ на пушката. . .

Недалечъ отъ мѣстото гдѣто стои часовиятъ, на върхътъ на стѣната се появява тъменъ прѣдметъ: това е човѣшката глава. . . Скитникътъ гледа далечъ въ полето, къмъ едвамъ видната черта на далечната гора. . . Гърдитѣ му се разширятъ, отъ жадното поеманье свѣжето свободно дхновение на нощта. Той се спуска на рѣцѣ и тихо се плъзга надолу по стѣната.

Радостний екъ на камбанитѣ буди ноцната тишина. Вратитѣ на тъмничната църква се разтвориха, на двора излѣзе кръстний ходъ; стройно пѣнене хлѣтна подобно вълна изъ църквата. Войникътъ трепна, изправи се, сиѣ шапка, за да се прикрѣсти и се скова на мѣстото си, съ подигната за молитва рѣжа. . . Скитникътъ, щомъ слезе на земята, бързо се впусна къмъ бурянтъ.

— Стой, братко, стой! — викаше часовиятъ, като повдигаше съ ужасъ пушката си. . . Всичко, отъ каквото се боеше, прѣдъ което трептеше, собира се надъ него, безформенно, страшно — въ образътъ на тази бѣжаша, сива фигура. «Служба, отговоръ!» — прѣмина прѣзъ умътъ на войникътъ и той като намѣсти пушка, помѣри бѣжачиятъ човѣкъ. Тъкмо когаго да гръмне, той съ нещастенъ изгледъ замижѣ съ очи. . .

А надъ градътъ отново се разливатъ и виятъ въ ефирътъ единъ слѣдъ другъ гармонически, ясни звукове. . . и пакъ сипкавий тъмниченъ звонъ трепти и се блѣска, като стои отъ ранена птица. Отвѣждъ стѣната стройно се разнасятъ на далечъ изъ полето първитѣ звукове отъ гържественната пѣсенъ: «Христосъ възкресе!»

И изведнаждъ, задъ стѣната, като заглуши всичко останало, ечна гръмъ. . . Слабъ, безпомощенъ стои се чу слѣдъ него, и за мигъ пакъ всичко замлъкна. . .

Само далечний екъ на пустинното поле, съ тжовенъ ропотъ, повтаряше последнитѣ кѣнтения на пушечний гръмъ.

ЛИТЕРАТУРНАТА КРИТИКА ВЪ ФРАНЦИЯ

ЛЕКЦИЯ ЧЕТЕНА ВЪ ОКСФОРДЪ
20-И НОЕМВРИЙ 1889 ГОД.

ОТЪ ПРОФЕСОСОРЪ ЕДВАРДЪ ДАУДЕНЪ.

(Пръводъ отъ английски).

Когато попечителитѣ на Тайлоровскитѣ Институтѣ ме почегоха съ покана да прочета нѣщо върху нѣкой прѣдмѣтъ, свързанъ съ изучаване на новата литература, азъ се озарнахъ назадъ къмъ неето скорошно четение, и намѣрихъ, че една значителна частъ, може би и значителна пропорция отъ него, се състои отъ французска литературна история и французска литературна критика. Неоткомѣшната смъртъ на прѣвъсходнитѣ критикъ, Едмондъ Шереръ, ме накара да направя единъ прѣгледъ на неговитѣ съчинения. Азъ намѣрихъ въ Брюнетiera единъ силенъ и строгъ учителъ въ литературната критика; единъ, който свързва новата мисль съ класическитѣ прѣдания. Азъ се наслаждавахъ нѣколко часове, колкото приятно, тъй и съ полза, съ блѣскавитѣ, макаръ и лежки очерки върху съврѣменнитѣ писатели отъ Жюль Леметра, въ които изложенieto на идеитѣ е съединено съ всецѣлата изящностъ и грация на едно декоративно искусство. Азъ слѣдвахъ за Поль Бурже, както инозина отъ насъ сж правили, чрѣзъ неговий по-мъченъ анализъ, гдѣто той изслѣдва, посредствомъ типическитѣ прѣдставители въ литературата, нравственнитѣ животъ на нашето врѣме. И обсебихъ до една степенъ умственното наслѣдство, завѣщано намъ отъ двоица млади писатели, пламенни изслѣдователи, които се сж интересирали съ философската страна на литературата, чиято безврѣйна загуба трѣбба да оплаква Франция, Гюйо, авторътъ на нѣколко съчинения върху въпроси по етиката и естетикага, и Хеннекенъ, чиято опитване да начертае една система на философска критика има поне заслуга на смѣла изобрѣтателностъ. Сгрува ми се, че въ наметъта ми още е свѣжъ прѣдмѣтътъ, койго би трѣбвало да интересира всички оние, що се грижагъ за литература, и че нѣма да направя злѣ, ако се помжча да събера нѣкои отъ монитѣ впечатлѣния върху новата литературна критика и особенно върху методитѣ или прѣлагаетелитѣ методи на критикага въ Франция.

Почти цѣло поколѣние взмина, отъ когато единъ отличенъ

снѣ на Оксфордъ, Матю Арнолдъ, яви, че главната нужда на нашето време — и особенно на нашата страна, Англия — била политическа и по-просвѣтена критика. Той не говореше само за литературата; той полагаше, че ние се нуждаваме отъ нова струя на идеи касателно животътъ въ различнитѣ му области. Но той включаваше областта на литературата, важноста на която, и особенно на поезиита, никой не е цѣнилъ по-високо отъ Матю Арнолда. И като встъпване къмъ по-добра критика, той прѣдприема своето доблестно и далечъ не неуспѣшно усилие да разклати нашето национално самодоволство, да ни накара да усѣтíme, че Филистия не е твърдѣ отдалечена земя; той се опита, което считалъ за най-патриотическо, да нагласи за наше ползуване тонътъ на Rule Britannia въ миноренъ ключъ. Неговиятъ влогъ, ако да се ползуваме разумно, е цѣненъ за нашето самосъзнание. Изящнитѣ жалби на пророкътъ надъ свойтъ народъ, който се намиралъ въ плѣнъ у Филистимлянетѣ, сж по-вече отъ изящни, тѣ сж вдъхнати отъ прѣкрасний идеалъ на умствена свобода и сж въодушевени отъ смѣла надѣжда, че идеалътъ може да бжде, поне отчасти, достигнатъ. Ученицитѣ, обаче, твърдѣ често изопачаватъ учителътъ, и азъ не съмъ увѣренъ, че нѣщо може по-лесно да се добие отъ афектацията на прѣзирание къмъ свойтъ народъ, къмъ своето жилище. Тукъ виждаме печално явление, произходяще отъ съзерцание умственото пхтувание на нѣкого, което отклонява притежателътъ му отъ прости домашни обязанности. Нашата британска неприслжнностъ къмъ идеи, своенравнието на нашиятъ темпераментъ, нашиятъ умствени каприции, нашето островно тѣпоумие, провинциалността на нашиятъ мисли, грубостта на нашиятъ вѣстници, плоскостта на нашиятъ общественни учители, нашата неспособностъ да управляваме, или поне да бждемъ приятни при управлението — това сж теми, върху които челоуѣкъ може лесно да се распростира. И съ помощта на единъ честитъ еклектизъмъ, който избира за сравнение блѣскавото людско сътъмното или скучно домашно, и запазва всичкото си любезно пристрастие и нѣженъ ентузиазъмъ за нашиятъ съсѣди, тогава наистина не е мъчно да добнешъ единъ новъ и висшій родъ утѣшение, утѣшение на национално самоуничижение.

Колкото се касае до литературната критика, Матю Арнолдъ ни направи добра услуга, като насочи нашиятъ погледи къмъ Франция, а когато говоримъ за французска литературна критика въ петдесетитѣ и шестдесетитѣ години на това столѣтие, ние прѣди всичко подразумѣваме Сентъ-Бюва. Тука Арнолдъ бѣше навѣрно правъ, и не излиза вънъ нито отъ равновѣсие, нито отъ мѣра, които той

толкова високо е цѣнилъ, когато въ *Енциклопедия Британика* изображава Сентъ Бьова, като водачъ безъ съперници въ запознаването ни съ французскійтъ гений и литература — «свършенецъ, до колкото може да бжде единъ бѣденъ смъртенъ критикъ, по знанне на прѣдмѣтътъ, по тактъ и тонъ.» Ние всинца сме ученици на Сентъ-Бьова. Но къмъ казаното отъ Арнолда за Сентъ-Бьова азъ желая да добавя слѣдующето : че великѣйтъ критикъ е французинъ по свойтъ тактъ, французинъ по своето искусство тънко да исказва своитѣ мнѣния, по своето прѣсторено *простодушие* и въ сжщо врѣме по мекката ядовитостъ на своето перо ; французинъ особенно по своето чувство за тѣсното родство на литературата съ социалнѣйтъ животъ, по неговий методъ като критикъ не е господствующий въ Франция методъ ; той надали е характеристически за французскійтъ умъ ; той е неговъ собственъ методъ и въ значителна степенъ нашия английскій методъ.

Защото французскійтъ умъ, въ сравнение съ английскійтъ, макаръ че притежава извъкредна подвижностъ въ извѣстни граници, рѣдко прѣходими, е по прѣвимущество систематическии, и за да добие система или методъ, или редъ въ своитѣ идеи, често се задоволява да разгледва прѣдмѣтитѣ по абстрактенъ или обобщенъ начинъ, или дори да изоставя нѣща, които прѣдставляватъ мъчнотии при систематизираннето. Въ най-високата си точка тойзи редъ е проявление на разумътъ, и когато се налага върху нашитѣ умове, той принася съ себе си чувство на свобода, което съпровожда признанието на единъ законъ. Но когато, за да се избѣгнатъ мъчнотиятъ, се установява единъ псевдо-редъ, и когато се открие, както неизбежно ще се открие въ течение на врѣмето, че той е тирания, тогава духътъ на система става сжщински елементъ на безредица, който прѣдизвиква духъ на анархия и, както го нарича Низаръ, духъ на химера. У единъ народъ, гдѣто стремлението къмъ централизация е силно, и вече е установенъ централенъ авторитетъ, единъ редъ на идеи, който отчасти е истиненъ, отчасти лъжовенъ, може да бжде наложенъ отъ тойзи авторитетъ, и съ врѣме да стане чрѣзъ това традиционенъ. Тѣй е въ Франция. Академията е тъмо единъ подобенъ централенъ авторитетъ въ умствената дѣятелностъ, и отъ самото начало тя е претендирала да стане върховенъ сждия въ литературната критика. Тя е наложила една доктрина и създадала една традиция. Защото дори у писателитѣ, които се възмущаватъ отъ традиционната или Академическа манера въ критиката, духътъ на система е присжтствующъ, понеже духътъ на система е характеристиката на французскійтъ умъ. Една идея, една

догма, веднаждъ провъзгласена, и фактоветъ се подбиратъ или при-тъкмаватъ за да отговорятъ на идеята ; единъ вѣкъ се ограничава съ нѣкоя формула, която се прѣдполага да изражава духътъ на онзи вѣкъ, и писателитъ на врѣмето се привождатъ като доказателства за една теория.

Сега, методътъ на Сентъ-Бьова като критикъ е съвършено отличенъ отъ тойзи абстрактенъ и доктринерский методъ. Той обича идеи, но се страхува отъ тиранията на една идея. Той е всѣкога нащрекъ противъ духътъ на система. Върху неговиятъ печатъ била изрѣзана английската дума «Truth» (истина), и коренътъ на всичко въ неговата критика, както казва Арнолдъ, е чистосърдечно посвещение на истината. Арнолдъ можеше да добави, че неговиятъ методъ за откриване на истината е методътъ характеристическия за най-добритъ Английски умове, да живѣешъ и дѣйствиувашъ въ най-тѣсно отношение съ фактоветъ и безирѣстано да прѣгледвашъ своитъ мнѣния, тѣй штога тѣ да бждатъ въ съгласие съ фактоветъ. Читателитъ на Сентъ-Бьова могатъ да си припомнятъ, че въ 1862 въ статиятъ върху Шатобриана, по-подиръ включени въ третиятъ томъ на Nouveaux Lundis, той се отбѣва настрана за да даде изложение на своитъ критическия методъ. Него укорявали съ фактътъ, че нѣмалъ билъ теория. «Онне, които се отнасятъ къмъ мене най-благоприятно, намиратъ за нуждно да казватъ, че съмъ доста добъръ сѣдия, но сѣдия, който нѣма кодексъ». И като допуща, че таквъ кодексъ не съществува, той отива по-нататкъ и утвърждава, че има методъ, образуванъ отъ практика, и обяснява въ що се състои тойзи методъ. За тойзи методъ по-подиръ той приема името натуралистическа критика. Той ни распрва, какъ неизбѣжно отъ книгата, която разгледваме, ние прѣминуваме къмъ цѣлата дѣятелность на авторътъ и къмъ самиятъ авторъ ; какъ трѣбва да изучаваме авторътъ, като образующъ единица на цѣла група съ другитъ членове отъ неговото семейство, и особенно ще бжде умно да трѣсимъ неговитъ таланти въ майка му, и ако има сестри, въ една или въ по-вече сестри ; какъ трѣбва да се мхчимъ да го намѣримъ въ «цървата срѣда», групата приятели и съврѣмenniци, които го окръжаватъ въ моментътъ, когато неговиятъ гений пръвъ пѣтъ се впуца въ своитъ пѣленъ полѣтъ ; какъ послѣ трѣбва да обрнемъ особенно внимание върху моментътъ, когато той почне да отпада или увѣхва, или да се отклонява отъ своята инстинска посока на напрѣдание подъ влиянието на свѣтътъ ; какъ трѣбва да се приблизимъ къмъ нашиятъ авторъ чрѣзъ неговитъ поклонници и врагове ; и какъ, като слѣдствие на всички тие процеси на изучаване, понекогажъ

се явява подходящата дума, която претендира върхъ всѣка сила на съпротивление, да бжде опредѣленіе на отличителниятъ талантъ на авторътъ, като наприм. че еди-кой си е «риторъ», еди-кой си «шипровизаторъ гений». Самъ Шатобрианъ, прѣдмѣтътъ на *cause-tic* на Сентъ-Бьова е «епикуреецъ съ въображение на единъ католикъ.» Но, добавя Сентъ-Бьовъ, нека почакаме съ това характеристическо име, да не бързае да го даваме.

Методътъ на Сентъ-Бьова, тойзи индуктивенъ или натуралистический методъ, който напрѣдва прѣдпазливо отъ частности къмъ принципи и който всѣкога е нащрекъ противъ идолитѣ, що обощаватъ умътъ, съвършено не удовлетворява, както той самъ казва, дори поклонниците му помежду неговитѣ съотечественици. Тѣ наричатъ неговата критика отрицателна критика безъ кодексъ на принципи; тѣ искатъ теория. Но тоя методъ е въ пълно съгласие съ нашитѣ английски навици на мисленіе, и нужно е, може би, да се забѣлѣжи, че когато Арнолдъ се е заемъ да посочи, за наше ползование недостатокитѣ и слабоститѣ на английската критика въ сравнение съ французската, Сентъ-Бьовъ мисли за великийтъ английский философъ, Беконъ, като за най-добъръ подготвителенъ учителъ за оние, които желаятъ да добиятъ върно сѣжденіе въ литературата. „Да бждешъ въ литературната история и критика ученикъ на Бекона, пише той, струва ми се да е нужда на врѣмето.“ Беконъ е полагалъ своитѣ основи върху твърда почва на фактове, и неговата цѣла задача била да се възвиси отъ тѣхъ до общи истини. И Сентъ-Бьовъ прозира въ бдущето едноврѣме, когато, като резултатъ на безбройни наблюдения, може да се създаде една наука, която ще бжде въ състояние да нареди въ различни родове или семейства разновидноститѣ на човѣческиятъ умъ и характеръ, така щото веднаждъ открито прѣобладающето качество на единъ човѣкъ, ние ще бждемъ въ състояние да изведемъ цѣла група второстепенни качества. Но дори и тогава една наука на критика нѣма да дозволи на духътъ на система да тиранизира критиката. Такава една наука, казва той, нѣма никога да бжде подобна на зоология или ботаника; човѣкъ притежава онова, «що се зове *свобода на волята*», което при всѣкакви обстоятелства прѣдполага голѣма сложность въ възможни комбинации. И дори ако въ нѣкой далеченъ периодъ тази наука на човѣческиятъ духъ бжде организирана, тя всѣкога ще бжде тѣй тънка и подвижна, казва Сентъ-Бьовъ, щото „тя ще сѣществува само за оние, които иматъ естествено призваніе къмъ нея и истинский даръ на наблюдение; тя всѣкога ще бжде *искусство*, което изисква иску-

свѣсенъ художникъ, както медицината изисква тактъ отъ оние, които я практикуватъ.“ Тукъ се срѣщатъ безбройни тъмни явления, съ които има работа критиката на литературата, и тѣ сж явления на животътъ въ постояненъ процесъ на промѣна; тука се срѣщатъ *отсѣпки*, които трѣбва да бждатъ уловени, що споредъ думитѣ на едного, който се е занимавалъ да ги наблюдава и описва, сж «понепостоянни отъ играта на лучитѣ върху водната повърхнина.» Сентъ-Бювъ чувствува, че за сега главното усилие на критиката, трѣбва да бжде да се схване една жива душа въ съприкосновение съ животътъ, да се докосне тукъ-тамъ до нѣкоя жизненна точка. Въ забѣлжителниятъ томъ, *Le Roman Experimental*, гдѣто Е-миль Зола се обхожда съ своитѣ другари не като съдия, но като свирѣпъ жандармъ, той горѣщо се завзема да прѣдстави Сентъ-Бюва като критикъ, сжщински поддържащъ неговата тѣй наречена експериментална школа; не е ли, наистина, духътъ на Сентъ-Бюва отъ оние прѣвъзходни умове, които разбиратъ тѣхний вѣкъ, защото той не е толкова отблъсванъ колкото подчиняванъ отъ генийтъ на Балзака, и не сполучи ли той да проумѣе, че романтическото движение отъ 1830 г. е само викъ за освобождение отъ догма и традиция на единъ вѣкъ по пѣтътъ му къмъ натурализмътъ на самага Зола? Въ извѣстни страници, казва Зола, Сентъ-Бювъ формулира съ спокойна смѣлостъ експерименталниятъ методъ, «който ние прилагаме на практика.» Вѣрно е, че има точки на съприкосновение между критиката на Сентъ-Бюва съ нейното грижливо изучаване *срѣдата* на писателятъ и доктринитѣ, провъзгласявани отъ Зола. Но каква противоположностъ между духоветѣ на двамината; каква противоположностъ дори въ приложението на идеитѣ къмъ животътъ, които тѣ притежаватъ наедно! Зола, чийто духъ е удавенъ отъ духътъ на система, чийто съчинения, неправилно наречени реалистически, сж чудовищно идеализиране на челоувѣчеството подъ типове на оскотинени мъже и жени, и Сентъ-Бювъ, който въ свойтъ методъ желае да бжде ученикъ на Бекона; Сентъ-Бювъ всѣкога прѣдпазливъ и подниженъ, който винаги приспособява свойтъ духъ къмъ точността на фактътъ, или грижливо групира своитѣ фактове въ надѣжда дано открие тѣхний законъ; Сентъ-Бювъ, когато, ако думата *реализъмъ* се налага на насъ, както се струва да е въ днешно врѣме, ние можемъ нарече истинский реалистъ въ индуктивното изучаване на темпераментитѣ отъ всѣкакъвъ видъ и условия хора.

За Едмонда Шереръ искамъ само да кажа, че той прилича на Сентъ-Бюва поне въ това, че тѣй сжщо се страхува отъ тира

нията на духътъ на система. Въ младинитѣ си, наистина, той се е домогвалъ, като философскій мислителъ и теологъ, до обладанне на абсолютни вѣрования; но намѣрилъ или мислилъ, че намира, че всичко, което той смѣталъ за установено, е било подвижно, измѣнчиво по свойтъ образъ и положение. Той съзрѣлъ или мислилъ че съзрѣва, че почвата, върху които е съзидалъ своята сграда и която той считалъ за всѣкога трайна, се колебае, както потокътъ прокопава твърдата земя; той призналъ, както мнозина сж признали, въ тоя вѣкъ на нравствени мжнотии процесътъ на еволюцията или поне промѣнитѣ на вѣрованята. Той прѣстаналъ да се надѣва за абсолютна истина, но не като некой разочарованъ, който търси убѣжище въ относителното. Той чувствувалъ, че неговата опрѣдѣлена задача да издирва истината е станала по-сериозна и по-пълна съ надѣжда на сполука. Нему се струвало да има нѣщо дѣтнско въ въздиганне искусни сгради на догма, харгійни кжшици, които веднага ще се струполятъ отъ влѣчащитѣ се поли на Врѣмето. Обязанността на единъ чловѣкъ е по-скоро да живѣе съ днешната истина, като вѣрва, че тя ще се развие утрѣ въ по-пълна истина, да вложи нѣкакво здраво знание и добръ обмислено мнѣние къмъ общото съкровище, да работи заедно съ всички други честни умове къмъ нѣкой общъ резултатъ, макаръ че, като какъвъ ще бжде резултатътъ, никой отъ насъ не може за сега да знае. Той мислилъ, че е усиѣлъ да забѣлѣжи логика въ това общо движение на чловѣческитѣ духъ, и е доволенъ отъ своя страна да вложи тукъ-тамѣ по нѣкой отломъкъ на истина, който може да влѣзе въ обширнитѣ индукции на она мощенъ логикъ, *Духътъ на Врѣмето*.

Единъ критикъ отъ подобенъ темпераментъ, като тойзи, надали ще установява абсолютни образци, по които да сѣди, надали ще направи единъ вѣкъ като окончателно мѣрило, и да осѣжда классикътъ, че не е романтикъ и романтикътъ, че не е классикъ. При все това, обаче, той не е скептикъ нито въ дѣлото на вѣрата, нито пакъ по литературнитѣ си убѣждения; той притежава твърдѣ ясни и силни мнѣния, и наистина е билъ обязанъ да даде рѣшително изражение на своето издирване на истина, дори ако то е частично издирване, защото какъ иначе би могълъ да спомогне на общото движение на мисълта? Поражението на абсолютното, както казва Шереръ, спомага на търпимостта, дори е благоприятно къмъ снисхождение, но то не трѣбва и не може да парализира сждението и безнадеждно да порази литературната съвѣсть: И самъ Шереръ, наистина, наврѣмени е по-наклоненъ къмъ строгость, нежели къмъ снисхождение; отзадъ чловѣкътъ, който е по-

миналният прѣдмѣтъ на неговата критика, той виждаше идеята, а съ една идея нѣма нужда да се пазятъ точно утънчени манери. Той трѣбвало въ сѣщо врѣме да направи своята идея ясна, трѣбвало да я изведе изъ собственниятъ си тезисъ. Обаче, той чувствувалъ всѣка минута, че неговата собствена идея, неговий собственъ тезисъ иматъ само относителна цѣнностъ, и че неговата критика въ най-благоприятенъ случай е нѣщо като опитване. Убѣждението на Шерера, че всички наши истини сж само относителни, и че при все това сж отъ голѣма важностъ за насъ, като придава въ висока степенъ особенъ характеръ, отведнаждъ опитвателенъ и пълненъ съ рѣшителностъ, на неговата критика.

Но Шереръ произхожда отъ страна на баща си отъ Швейцарска фамилия, и Парижскитъ критикъ се е образувалъ въ школата на Протестанска Женева; майката на Сентъ-Бюва е отъ Английско произхождение и неговото четение прѣзъ малолѣтството му се състояло значително отъ английски книги. То сж фактове, които могатъ лесно да бждатъ заблѣжени отъ оня, който приема принципитъ на литературно издирване на Сентъ-Бюва. Характеристичнитъ критически методи на французскитъ умъ, въ противоположностъ на Английскитъ, не сж методитъ, които ржководятъ и управляватъ съчиненията на тие двоица писатели. Въ тѣхнитъ съчинения липсва широкото расположение, господствующата логика, *unes d'ensemble*, въ която французскитъ духъ, наслѣдникъ на Латинската традиция, намира наслаждение. Безъ ни най-малко съпротивление ние отдаваме себе си на такива ржководители, защото процесътъ на тѣхнитъ умове се съгласява съ оня, на който ние Англичанетъ сме навикнали, само че той се съпровожда у тѣхъ съ лекостъ и грация, които у насъ сж рѣдки. Но, може би, ние печелимъ повече или поне нѣщо по-отличително отъ съприкосновение съ умове отъ единъ типъ, който сжщественно се отличава отъ Английскитъ типъ, духове по-умозрителни отъ нашитъ, по-наклонни да подвождатъ масса отъ конкретни фактове подъ ржководство и управление на идеи. Тѣзи характеристики на французскитъ умъ се прѣдставяватъ по единъ твърдъ поразителенъ начинъ отъ двѣ прочути истории на литература, които касателно методитъ и принципитъ на критиката се различаватъ, колкото е само възможно, една отъ друга — *Историята на Французската Литература* отъ Низара и още по-славната *История на Английската Литература* отъ Тена. Едната е отъ по-старата школа на критика, догматическа, традиционна; другата е отъ по-новата школа и претендира да бжде научна. И двѣтъ сж съчинения, надъ които прѣобладаватъ идеи —

или, може би, ние можехме да кажемъ господствувать съ излишенъ авторитетъ. Единъ духъ отъ английскій типъ надали е въ състояние да произведе която и да е отъ тѣхъ двѣтъ.

Името Дезире Низаръ ни прѣнася далечъ въ миналото. Има по-вече отъ половинъ-столѣтие, отъ когато той е направилъ прикритото нападение противъ романтичeskата школа, още въ буйната си младостъ, въ неговитѣ *Латински пости на упадъкътъ*, и е пуcтналъ свойтъ прочутъ манифестъ противъ *легката литература*. Въ 1840 се появили първитѣ два тома отъ неговата *История на Французската Литература*: но минали се двадесетъ години прѣди ти да се свърши: и малко по-вече отъ дванадесетъ мѣсеци Низаръ изнесе прѣдъ публиката своитѣ *Спомени и биографически бѣлѣжки*, послѣдвани въ нинѣшната година, може би въ вѣрѣда за славата му, отъ *Aegri Somnia*. Такъвъ единъ животъ прѣдаденъ на литературата е рѣдкость, и единството на неговата дѣятелность не е по-малко забѣлѣжително отъ нейната продължителность. Прѣзъ тие шестдесетъ години Низаръ е билъ пазителъ на достоинството на французската литература, пазителъ на чистотата на французскитѣ языкъ, поддръжателъ на традициитѣ на учеността и мисълта, непрѣклоненъ съдия въ дѣлото на умътъ и вкусътъ. Настѣпателнитѣ нападения въ младитѣ му години сѣ само часть отъ системата на защита, която по-късно съ по-голъма сдържанность той водѣ изъ твърдинята на своитѣ собствени идеи. Когато били написани първитѣ два тома на *Историята на Французската Литература*, доктрината и методътъ на Низара били напълно образувани, и когато двадесетъ години по-късно, той завършва своята задача, струва се, като че тя не е била прѣкъсвана; и макаръ че авторътъ поддръжа мнѣнието на Волтера, че който не знае какъ да исправя, не знае и какъ да пише, той нищо същественно не е измѣнилъ въ първитѣ части на своето съчинение. Това съчинение не е могло да бѣде популярно, защото методътъ му е противоположенъ на оная, който днесъ господствува, и стилътъ му има наставническа краткость, която не може да бѣде обична на тълпата равнодушни читатели. Въ тоя случай има, казва единъ съвремененъ критикъ, обща черта между двоица писатели, въ други отношения тѣй несходни, Низаръ и Ренанъ, че ни единъ отъ тѣхъ не може да бѣде приятенъ за обикновенната масса читатели, защото «тѣ еднакво сѣ заети, макаръ и по-разни пѣтища, съ усилене да бждатъ трѣзвенни и прости, да изличаватъ твърдѣ яркитѣ цвѣтове и никога да не отстъпватъ, въ умѣренното изражение на тѣхната мисль, отъ оная свѣтлива точность и изискана ясность, които

Вовенаргъ нарича *le vernis des maîtres*. И макаръ че книгата на Низара никога не е била популярна, тя пакъ си остава, и е извършила своето дѣло, дѣло още по-цѣнно, защото е противодѣйствувала въ много отношения на ходящите мнѣния и вкусове на нашия вѣкъ.

Какъвъ е методътъ на Низара? Той е колкото се може отдалеченъ отъ методътъ на Сентъ-Бюва, също както е отдалеченъ и отъ методътъ, който азъ наричамъ английскій методъ на критика. Едно литературно дѣло — поема, романъ, драма — закарва Сентъ-Бюва къмъ другитѣ съчинения на авторътъ, близи тѣ отъ скъпий родъ или не, отъ тамъ къмъ самиятъ авторъ, къмъ малката група лица, съ която той живѣе и дѣйствува и къмъ цѣлото общество, на което той е членъ. Низаръ разгледва съчинението отдѣлно отъ неговия авторъ и отдѣлно отъ другитѣ му съчинения, ако тѣзи съчинения сѫ отъ различни литературни видове. Той сравнява тази или онази книга съ други книги отъ скъпий родъ или по-добре съ типътъ на онзи родъ, който той чрѣзъ единъ процесъ на абстракция е образувалъ въ собствения си умъ; той я сравнява съ свойтъ идеалъ за особеныйтъ гений на народътъ, съ свойтъ идеалъ за генийтъ на Франция, ако книгата е французска; той сравнява языкътъ съ идеалътъ си за генийтъ на французскитѣ языкъ; най-сѣгнѣ той я сравнява съ идеалътъ си за генийтъ на човѣчеството, както послѣдний се олицетворява въ най-добрата литература на свѣтътъ, къмъ която страна или вѣкъ и да принадлежи тази литература. Критиката, както я разбира Низаръ, съпоставява всѣко едно литературно дѣло съ троенъ идеалъ — онзи на народътъ, она на языкътъ и она на човѣчеството: «elle note ce qui s'en rapproche: voilà le bon: ce qui s'en éloigne; voilà le mauvais.» Задачата на подобна критика, споредъ собственото опрѣдѣление на Низара, е «да регулира нашитѣ умственни удоволствия, да освободи литературата отъ тиранията на онова мнѣние, че за *вкусоветѣ* не може да има *прѣдписи*, да създаде точна наука, цѣльта на която ще е по-вече да ръководи, отъ колкото да угождава на душата».

Истина благородна задача — да ни освободи отъ тиранията на умственна анархия. Ние всинца мълчаливо признаваме, че има една ерархия отъ умственни удоволствия, и цѣльта на Низара е да възбуди тие индивидуални прѣдпочтения и отвърщения да излѣзатъ на прѣдъ за да оправдаятъ себе си или да бждатъ осждени отъ свѣтлицата на човѣческиятъ разумъ. Историкътъ на Французската Литература на едно мѣсто противопоставя двѣ заблѣжителни фигури отъ Възраждането и Реформацията — Монтеня и Балвина; Монтень

е прѣдставитель на духъ на любознателностъ и, въпрѣки неговото скептическо стремление, той е любителъ на истината; Калвинъ е прѣдставитель на една теологическа система и строгостъ, властитель на логиката на абстрактната идея. Ние можемъ да опишемъ Сентъ-Бьова като деветнадесетивѣковний потомъкъ на Монтеня, съ увеличено знание и възвишена чувствителностъ на тойзи по-послѣшенъ вѣкъ. Низаръ внася въ литературната областъ нѣщо отъ Калвиновскиятъ духъ на система, и ние не можемъ да се удържимъ отъ удивление прѣдъ изящната нетърпимостъ на неговото правовѣрие, кога той осъжда нѣкой еретикъ, който' не вѣрва или се съмнява въ авторитетътъ на великиятъ классически вѣкъ на французската литература. Той би желалъ критиката по-вече да изключва, нежели да допушъ, и не търпи «легкитѣ и притѣмливитѣ удивления на еклектизмътъ;» той види знакъ на упадѣкъ въ честолюбието свойствено на нашето врѣме, което претендира да съедини въ французското литературно искусство всички прѣвсходства и прѣимущества на чуждитѣ литератури. Лесно е да се отнасяшъ съ разслабляюща сннатия къмъ всичко; по-мъчно е, но и по-добрѣ, да различавашъ злото отъ доброто, и да стоишъ обрѣженъ поборникъ на разумътъ, редътъ и красотата.

Французскиятъ гений, споредъ Низара, е по-наклоненъ къмъ дисциплина, нежели къмъ свобода; той гледа на първата — дисциплината като на по-плодотворна съ чудесни резултати. Единъ великъ писателъ въ Франция е по-скоро «органъ на всички, нежели привилегировано лице, което има мисли, принадлежащи само нему, които той налага върху своитѣ съграждане чрѣзъ нѣкое извънредно право». И за това французската литература, въ най-добритѣ си форми, като избѣгва всѣкаква индивидуална каприция, всѣкаква распушнатостъ въ чувствата или въображението, е като че ли жива реализация на управление човѣческитѣ способности отъ разумътъ. Това се не случва съ литературата на Сѣверъ; тукъ равновѣсието на способнитѣ се нарушава, тукъ често свободата господствува надъ дисциплината, тукъ мечтитѣ и мѣдруванията често заематъ мѣстото на разумътъ. Не е така и съ литературитѣ на Югъ; тамъ често страстьта надвива на разумътъ и языкътъ на метафоритѣ заема мѣстото на языкътъ на умътъ. Човѣческиятъ разумъ, обаче, не е дошелъ до зрѣлостъ въ Франция прѣди вѣкътъ на классическата литература, вѣкътъ на Молиера, Расина и Лафонтена, на Боссюе и Паскаля, на Ла Брюера и Ла Рошфуко. Тогава за првъ пѣтъ въ французската литература човѣчеството напълно съзнава себе си, за првъ пѣтъ човѣкътъ билъ разбранъ като

человѣкъ въ цѣлата пълнина на неговитѣ сили, тогава за пръвъ нѣтъ чловѣческата натура е била отчетливо прѣдставена и избразена въ литературно искусство. И отъ врѣмето на онзи великъ вѣкъ, ако сведемъ балансъ за печалитѣ и загубитѣ, ние може би ще намѣримъ, че загубитѣ прѣвишаватъ печалитѣ. Въ осемнадесетитѣ вѣкъ, който претендира да е вѣкътъ на разумътъ, *sacculum rationalisticum*, авторитетътъ на разумътъ сжщински се намалява, и духътъ на Утопия, химерическиятъ духъ, прѣдставляемъ отъ Руссо, добива господство. Що се касае до нашия вѣкъ на ставническитѣ думи на осжждане, исказани отъ Низара прѣди половина столѣтие, може би, да сж добили по-голѣмо значение отъ деньтъ на появяването на неговитѣ *Латински поети на упадъкътъ*. Ние имаме, казва той, въ висока степенъ тънки анализи за извѣстни нравствени положения; искусни изслѣдвания за състояния, често болѣзници, на индивидуални души; но гдѣ е великото искусство, което има работа съ чловѣкътъ, като съ чловѣкъ, въ оние по-обширни способности и страсти, които малко се измѣняватъ отъ поколѣние до поколѣние? Мжчнотитѣ на нашитѣ социални задачи, числото на таланти, за които въ по-стари врѣмена надали щеше да се намѣри просторъ, послѣдователното безпокойство на духътъ, недостатъкътъ на религиозна дисциплина, болестта на съмнѣния, политическитѣ страсти на врѣмето, една безгранична свобода на желаниа и почти пълно отсъствие на пропорция между сили и желаниа, една истъвченостъ на умътъ, която увеличава нашитѣ нужди — тѣзи сж причинитѣ, които много отдавна е прѣброилъ Низаръ, като неблагоприятни за растѣтъ на една велика литература въ деветнадесетитѣ вѣкъ; и макаръ думата *пессимизмъ* и да не е била на мода въ 1834 г. внимателниятъ лѣкаръ въ свое врѣме е прозрѣлъ новата болестъ.

Не е за чудо, че такъвъ единъ критикъ не можеше да бжде популяренъ между младитѣ и разпалени духове въ първото рвенне на романтическото движение. Но, както азъ вече казахъ, трудътъ на Низара си остава цѣнень, отчасти по причина, че той поддържа великитѣ традиции на французската литература. Въ литературата на вѣкътъ на Людовика XIV, гдѣто Тенъ вижда само или главно литература на единъ Дворъ и придворни, Низаръ съзрѣлъ гениитъ на чловѣчеството, възплетенъ и изразенъ отъ специалниятъ гений на французскиятъ народъ. Неговото мнѣние е прѣдизвикано отъ по-дълбокъ и по-вѣренъ възгледъ, нежели онова на Тена или на романтическата школа отъ по-рано врѣме. Възмущението на романтическата школа само свидѣтелствува за мощта въ Франция на клас-

сическитѣ традиции, и на единѣ критикѣ на французската литература не може да бѣде сигуренѣ водачѣ, ако не признава силата и цѣнността на тая традиция. Ние Англичанетѣ, които нѣмаме нито единѣ върховно-великѣ вѣкъ, които нмаме двойна традиция за вѣкѣтъ на кралица Елизавета и за вѣкѣтъ на кралица Анна, вторитѣ възплачющѣ истинитѣ на дисциплината, първитѣ истинитѣ на свободата, не можемѣ да намѣримѣ въ нашата литературна история никакво течение «силно безѣ яростѣ, безѣ излшество пълно,» което да отговаря на онава, каквото е получила французската литературна история отѣ вѣкѣтъ на Людовика XIV. Ние можемѣ да бѣдемѣ увѣрени, че както и да се измѣняватѣ литературнитѣ вкусове, най добритѣ французски умове винаги, врѣме отѣ врѣме, ще се обръщатѣ къмѣ удивителната група писатели, поети, мислители, оратори, епиграматисти отѣ седемнадесетитѣ вѣкъ, и ще намиратѣ въ тѣхѣ безсмъртни учители на мисълѣ, на искусство, на литературенѣ стилѣ. И това е, което идеалистическата школа критици, прѣдставяема отѣ Низара, е правилно разбрала, и що историческата школа, прѣдставяема отѣ Тена, не е могла да проумѣе. Въ нинѣшно врѣме ние можемѣ да се радваме, когато виждаме такъвѣ единѣ прѣвъсходенѣ критикѣ, като Брюнегиера, да прави грамадно усилие за възврѣщанне къмѣ учителитѣ на великата традиция. Той пристѣпва къмѣ тѣхѣ не съ рабскии духѣ за да имѣ оказва слѣпо повиновение. Безѣ да приема осгроумнитѣ парадоксъ, че всѣкии класикѣ въ собственитѣ си дни е билѣ романтикѣ, той разбира, че тие уважаеми учители сѣщински сѣ били новатори и сѣ посрѣщали не малка опозиция отѣ тѣхнитѣ съврѣменници; тѣ сѣ разширили прѣдѣлитѣ на искусството, и всѣкии, който разшири тие прѣдѣли и прѣскочи междитѣ, може да бѣде въ истинскии смисълѣ ученикѣ на Расина и Молиера. Той разбира, че безсмъртната частѣ на такъвѣ единѣ писателѣ като Расинѣ, не е неговото възпроизведение на тонѣтъ и нравитѣ на Дворѣтъ. Ако Ассьюерусѣ въ драмата *Естиръ* говори по модата на Людовикѣ XIV или Вереника има сходство съ Мария де Манчини, то е, както казва Брюнетьерѣ, именно онава, което е слабо у Расина, то е оная частѣ отѣ неговитѣ съчинения, гдѣто се чувствуватѣ влиянията на врѣмето, оная частѣ, която е вече умрѣла. Трайната частѣ на неговитѣ съчинения е оная, която, ако и французска въ седемнадесетитѣ вѣкъ, има нѣщо по-вече' отѣ французско, оная частѣ, която е челоуѣческа, и която и въ 1889 г. има сѣщо такъва цѣнностѣ, каквато е имала въ честитѣ дни, когато неговитѣ майсторски пиеси за пръвѣ пътѣ се сѣ явили на сцената.

Брюнетьер е, като Низара, критикъ, който цѣни принципитѣ, който самъ притежава литературна доктрина и не разлива своитѣ дарования въ различни и лежки симпатии. Него описватъ като не толкова любезенъ, не толкова изященъ и не толкова деликатенъ Низаръ; и истина, нему липсва чистотата на кистъта, както и изящността на Низаровийтъ слогъ: но пакъ Брюнетьеръ не страда толкова отъ строгостта на система, и той има много по-вече симпатии къмъ свъръменнитѣ идеи отъ Низара. Той е мислителъ всѣкога готовъ за борба, съ логика поддържана отъ солидна ерудция и усилявана огъ рѣшителенъ темпераментъ, който не се страхува отъ жестокоститѣ на прѣспирнитѣ. Истина, че до извѣстна степенъ, Брюнетьеръ е помирителъ, като се опитва, както той прави това, да отдѣли що е вѣрно и плодотворно въ онова движение на настоящето врѣме, което претендира на име «натурализъмъ» и да съчетае това съ истинитѣ на онова друго искусство, осмъждано и прѣвъзнасяно подъ името «идеалистическо». Той признава силата на окръжавающитѣ условия, *срѣдата*, въ образуване на човѣческитѣ характери и насочване на тѣхнитѣ дѣйствия; но, както и прилича на оногози, който почита великото искусство на седемнадесетитѣ вѣкъ, — искусството на Корнелия и Расина, той признава тѣй сжщо (да си послужимъ съ нерѣшителната фраза на Сентъ-Бюва), че въ човѣка има онова, което се нарича свобода на волята: «Човѣкъ има всичко, което има природата, но има иѣщо и по-вече», казва въ единъ забѣлѣжителенъ сонетъ Матю Арнолдъ.

Въ единъ членъ по поводъ на забѣлѣжителниятъ романъ отъ Поль Бурже *Le Disciple* Брюнетьеръ въ интересъ на самото искусство и здравата критика, както и въ интересъ на нравствеността и общественитѣ животъ е принуденъ да противостои срѣщу, щото той нарича, великото заблуждение на послѣднитѣ сто години, срѣщу софизмътъ, който прѣвръща човѣка въ частъ на природата. Въ искусството, въ науката, въ нравствеността, доказва Брюнетьеръ, въ човѣкътъ остава толкова човѣческо, до колкото той отдѣля себе си отъ природата.

«*Естествено* е, пише той, щото законътъ на по-силниятъ или на по-искусниятъ върховно да господствува надъ животниятъ свѣтъ; — но, въ точностъ, то не е *човѣческо*. . . Да живѣемъ въ настоящето, като че ли то не съществува, сирѣчь, като че ли то не е освѣтъ продължение на миналото и приготвление къмъ бъдущето, ето що е човѣческо; и нѣма отъ него нищо по-малко *естествено*. По справедливостъ и съжалѣние да възнаграждаваме онова, което природата, несвършено побѣдена, остава още да се

държи неравенство между хората, ето що е *человѣческо*; — и нѣма нищо по-малко *естественно*. Намѣсто да се изоставятъ, напротивъ-трѣбва да се затегнатъ връзкитѣ на бракътъ и на семейството, безъ които невъзможно е за обществото по-вече да живѣе, както за самитѣ животъ да се образува безъ клѣтка, ето що е *человѣческо*; — и нѣма нищо по-малко *естественно*. Безъ да се опитваме да унищожаваме страствѣтѣ, да ги научимъ да се умѣриватъ, и въ случай на необходимостъ да се припуждаватъ къмъ това, ето що е *человѣческо*; и нѣма нищо по-малко *естественно*. И връхъ развалинитѣ на суевѣрното богослужение, поддържавано съ насилие, да настанимъ, ако можемъ, върховенството на справедливостта, ето все що е *человѣческо*! и, по-вече отъ всѣкога, ето що не е *естественно*.

Азъ цитирахъ горниитѣ пасажъ отъ Брюнетiera, понеже има една школа на литературна критика, прѣдизвикана къмъ съществуване отъ иститѣ стремления на настоящето врѣме, които породиха и онова, що Зола малко нѣщо неглино зове «експерименталенъ романъ», школа критици, прѣдводима отъ единъ прѣвъзходець французскій мислителъ, която доводда до минимумъ независимостта и творческата сила на художникътъ, и се задоволява да го прѣдставлява наедно съ неговитѣ съврѣменици, като естественъ и неизбѣженъ продуктъ на наслѣдственностъ и окръжающи обстоятелства. Отъ обнародвание *Историята на Английската Литература* отъ Тена прѣди около двадесетъ години, всички изучающи литературата и искусството малко-много сж били подъ очарованието на оная проста омая — плѣмето, *срѣдата* и моментътъ, и всѣкий критикъ безъ друго е научавалъ наустъ тая магическа формула. Новъ единъ догматизмъ, който въ името на науката е осмѣлъ прѣзрително-всички догми, изстѣпва съ своето *вѣрую*; и духътъ на система, оная страсть къмъ умственъ редъ, който характеризира французскийтъ духъ, изведнаждъ отново се вѣсгва по единъ мощенъ начинъ. Великото съчинение на Тена е таково, щото веднага овладѣва читателтъ съ свойтъ ясенъ и широкъ планъ, изразителна логика, научни искания, съ множеството фактове, наредени подъ подходящи рубрики; струва се за една минута, че той ни дава въ рѣцѣ единъ новъ органомъ за изучавание литературата; но по-вечето отъ нашето врѣме се губи, азъ се боя, въ правение на все по-голѣми и по-голѣми ограничения. Истината е, както забѣлзва Шереръ, че макаръ и да проповѣдва, че слѣдва по индуктивенъ пътъ. Тенъ е постоянно дедуктивенъ въ свойтъ методъ. «Той почва, като ни дава една формула, и подиръ това извлича отъ тази формула:

слѣдствия и заключения, които, както той вѣрва, сж включени въ нея. Съчиненията на тойзи или онзи писателъ се изучаватъ не поради самигѣ тѣхъ, но защото могатъ да снабдяватъ съ доказателства тезисътъ на научната критика. «Неговото изобиліе на описания, неговото прѣтрупване съ подробности — азъ привождамъ въ висока степенъ спаведливитѣ думи на Шерера — неговитѣ обработени фрази сж такива аргументи, щото давятъ читателътъ. Ние чувствуваме диалектиката дори подѣ призрацитѣ. Азъ никога не чета Тена, безъ да мисля за оние гигантски парии чукове, които удрятъ съ шумни и удвоени удари, распрьскватъ хиляди пекри, и подѣ чпнто удари стомъната се сплющва и изработва. Бсичко тукъ ни дава идея на мощъ, чувство на сила, но ние трѣбва да добавимъ, че человекъ е оглушенъ отъ толкова шумъ, и че подиръ всичко, единъ стилъ, който има твърдостъта и блѣсъкътъ на мегалъ, наврѣмени носи въ себе си и неговата коравостъ и тежина.»

Ние сме обязани на Тена, безъ съмнѣние, за два влога и признаваме това съ благодарностъ; първо, той ни спомогна да почувствуваме родственната свръзка между литературата на всѣка епоха и различнитѣ други проявления на духътъ на врѣмето; и второ, той ни спомогна да умѣримъ страстьта да произнасяме сжждения за добръ или лоше основано върху тѣсната естетика на вкусътъ на собственото наше врѣме. Ние всинца сме научили отъ Тена искусството да възпроизвождаме многозначущи фактове отъ подробноститѣ на общественитѣ прави, управление, закони, модни разговори, дори модитѣ на дрѣхитѣ, въ сравнение съ свѣрѣменнитѣ фактове на литературата. Той е улеснилъ за насъ да узнаваме, поне въ по-общи черти, онова, което се нарича духътъ на единъ вѣкъ. И то е доста, но има двѣ иѣща, които, както тѣ се изражаватъ въ литературата, той не е сполучилъ да ни разясни — индивидуалинитѣ гений на единъ художникъ, оная единична сила на виждане, чувствование, въображаванне, която той и само той притежава; и освѣнъ това, всеобщийтъ духъ на человекството, онова, което не се ограничава съ една епоха, нито се намира само у едно плѣме, но което еднакво живѣе въ колонитѣ на Партенонъ и въ сводоветѣ на готическии храмъ, което еднакво въдушевлява благороднитѣ сцени на Софокла и на Шекспира, което прави прѣкрасни повѣститѣ за гивѣтъ на Ахиллеса и паданието на Шотландскииъ Дугласъ. За онова, що е мѣстно и врѣменно въ искусството Тенъ говори съ извънредна енергия. За онова, що е трайно и всеобщо той намира по-малко що да каже. Всѣкий авторъ, когато възучава, той ни прѣдставлява като сздание на обстоятелствата отъ

негово време или поне като прѣдставителъ на неговото плѣме и народъ. Критикътъ не притежава онзи деликатенъ тактъ, който да му даде възможность да открие индивидуалността на всѣкий писателъ; той приспособява свойтъ тезисъ да гледа на индивидътъ като на членъ отъ една група. Нито пакъ той притежава оная висша философска сила, която да му дава възможность да види въ всѣко велико творение на искуството законитѣ на всеобщата душа на чловѣка.

Тенъ ни е направилъ услуга тъй сжщо, както азъ вече споменахъ, като умѣрява нашата ревность къмъ единъ родъ сждейска критика, която прогласява едно творение на искуството, че е добро или лошо, до колкото то се приближава или отдалечава отъ нѣкое мѣрило, прѣвъзрасено отъ вкусътъ или модата на нашето собствено време. Той излиза, обаче, отъ лъжовно положение — че критиката нѣма друга задача, освѣнъ да отбѣлѣжи характеристикитѣ на различнитѣ творения на литературата и искуството и да потърси тѣхнитѣ причини. То ще бжде, казва той, единъ видъ ботаника, прилагаема не къмъ растения, но къмъ чловѣчески творения. Ботаниката не прѣвъзрася трендафилтъ надъ крѣмътъ, нито пакъ критиката трѣбва да полага ерархия въ искуството; стига, ако опише характеристикитѣ и изнесе тѣхнитѣ причини. Но трѣбва да се забѣлѣжи, че Тенъ бързо захвърля своята лъжовна позиция. Въ неговитѣ лекции върху *Идеалътъ въ искуството*, той се показва готовъ да оправдава или да осжда, като нѣкой ученикъ на старата естетика; той говори съ языкъ, който може мъчно да се прѣтълкува, «Прѣзирай до-Рофаселовското искуство, то е аскетическо», «Прѣзирай Английската школа на живопись, тя е книжовна;» «Удивлявай се най-много на искуството на Възражданieto; то ви показва, че живописята трѣбва да показва прави членове, добръ развити мускули и здрава кожа».

Тенъ, наистина, не прѣстава да бжде сждейскій критикъ; но той се опитва да основе своитѣ сждения върху принципи отъ единъ другъ родъ отъ оние, приети отъ по-старата школа на сждейски критици. Той се опитва да намѣри онова, щото можеше да наречемъ обективно мѣрило на литературно и артистическо достоинство, мѣрило, което да бжде независимо отъ промѣнитѣ на индивидуалнитѣ карриции и изтърганитѣ навици на мисълта и чувството. Велико творение на искуство, ни казва той, е онова, въ което художникътъ прѣди всичко въ прѣдмѣтътъ, който желае да изобрази, разпознава прѣбладанието на неговага централна характеристика — плътотѣдната ачность напр. за голѣмитѣ хищни животни;

и второ, чрезъ съсредоточаване на ефекти, той трѣбва да усили въ свойтъ образъ видимото или осѣзателното прѣобладанне на оная характеристика, тъй щото у единъ великъ живописецъ на животни левътъ наистина става — както единъ зоологъ е описалъ звѣрътъ — челюсти, качени на четири крака. Така сжщо, въ изображаванне на челоуѣка, художникътъ или авторъ, който прѣдставя прѣобладанието на господствующитѣ сили на нашата челоуѣщина, стои по-високо отъ онзи, който само описва нѣкое извънредно състояние, или дори отъ онзи, който разяснява духътъ на нѣкое едно поколѣние. Книга, която притежава всеобщъ и безсмъртенъ животъ, като *Псалмитѣ*, *Илияда*, *Подражанне на Христа*, драматѣ на Шекспира сж достигнали това заслуженно прѣимущество по причина на тѣхното идеално изображение на онова, що е централно и господствующе въ челоуѣка. По таквъ начинъ Тенъ не по малко отъ Низара се опитва да установи една ерархия на умственни наслаждения, и той, може би, има това прѣимущество надъ Низара, че не отождествява челоуѣческиятъ разумъ съ генийтъ на Французскитѣ народъ, нито пакъ съ неговитѣ проявления въ литературата прѣзъ вѣкътъ на Людовика XIV. И ако не е извлѣкълъ полза, за това пакъ той и не губи отъ стѣснящото влияние на Французската традиция, което ние чувствуваме наврѣмени у Низара, той не се подчинява на оная благородна гордость или прѣдрасждѣкъ, който накаралъ веднаждъ Сентъ-Вьова въ нетърпѣние да възкликне: — «Вѣчно французскій духъ и неговото прославение!»

Брюнетьеръ въ единъ членъ върху *Литературното движение въ деветнадесетий вѣкъ* справедливо отбѣлзва Тена като критикъ, който е изразилъ най-мощно стремленията на онова движение, което е покарало литературата наурѣдъ по нови пжтища, отъ като романтическото движение прѣстанало да бжде жизненна сила. Романтическото движение въ сжщностъ по духътъ бѣше лирическо; то подчиняваше всѣко нѣщо на лично чувство, на лична страсть, често на лична фантазия или каприция; то малко се грижеше за животътъ на свѣта изобщо; то се състоеше отъ безконечна серия исповѣди въ проза и ритми, изречени отъ велики и мали души; то погина, защото ограничениятъ прѣдмѣтъ на тие исповѣди скоро се исчерпа, и се откри, че изучението на външнитѣ нѣща и общественъ животъ е неизчерпаемо богато по своитѣ плодове. Оттука проистича оправданието на онова движение въ наше врѣме, което е обсебило надсловътъ натурализъмъ или реализъмъ, и погрѣшката или несполуката на което е—че изучава твърдѣ изключително и твърдѣ настойчиво низката страна на животътъ. Крити-

ческитѣ съчинения на Тена, които се стремили да намалятъ значението на индивидуалното, съдѣйствуваха на научното стремление на нашето време въ антагонизмътъ му противъ лирическиятъ, личенъ характеръ на Романтическата школа; тѣ сѣщиски принадлежатъ къмъ истото движение на духътъ, което намѣри друго изражение въ драмитѣ на Дюма, строго безличнитѣ поеми на Леконтъ де Лиля, романитѣ на Флобера и съчиненията на новата школа историци, които стоятъ въ рѣзка противоположностъ съ лирическитѣ разкази на Мюшле и Карлейля. Една драма на Шекспира, нѣколко оди или елегии на Викторъ Хюго сж за Тена не толкова дѣло на тѣхний индивидуаленъ авторъ, колкото творение на плѣмето, *срѣдата* и моментътъ — единъ документъ въ историята и психологията на единъ народъ. Ние чувствуваме, както справедливо казва Брюнетперъ, тѣсното сродство между неговитѣ критически принципи и доктрината за безличността на искусството, една доктрина доведена до крайнитѣ логически слѣдствия въ нѣколко неогколѣ обнародвани писма на Флобера.

Научната критика, обаче, въ рѣцѣтѣ на послѣднитѣ немци излагателъ иде да възстанови за индивидуалнитѣ водители на литературата нѣкоп отъ тѣхнитѣ отчуждени права. Емили Хеннекенъ, макаръ че пзражава своето високо уважение къмъ Тена, като писателъ, който е направилъ по-вече отъ всѣкого друго отъ нашето поколѣние за да поддигне изучението на литературата, самъ има претензия да прѣобразува методътъ на Тена, да го подобри въ нѣкоп отношения, да разширич неговата основа и да прогласи подобренитѣ методъ като *Novum Organum* за изслѣдвание на литературата. Той не отрича влиянието на наследственността, което Тенъ утвърждава тѣй силно, но плѣмето, разгледвано като изворъ на нравствени и умствени характеристики, му се вижда да не е нищо по-вече, освѣнъ метафизическа фикция. Не съществува чисто еднородно плѣме, или поне нѣма ни едно, което да е станало народъ, ни едно което да е създадо държава и да е произвело литература и искусство. Нито пакъ е вѣрно утвърждаемото отъ Тена мнѣние, че умственитѣ характеристики на единъ народъ оставатъ неизмѣнни отъ поколѣние къмъ поколѣние. Влиянието на наследственността върху индивидуалнитѣ характеръ е въ висока степенъ промѣнливо и тъмно; ние можемъ да го допустнемъ като една хипотеза, но тя е неудобна хипотеза, която въ историческото изучаване на литературата може само да смущава, затруднява и да увожда въ заблуждение нашето изслѣдвание. Тѣй сѣщо колкото се касае до *срѣдата*, социалнитѣ кръгове, ние можемъ да допустнемъ, че тѣх-

ното влияние е реално и дори важно; но може ли това влияние, въ което нѣма нищо опрѣдѣлено и постоянно, да бѣде прѣдмѣтъ на наука? Художникътъ е въ състояние да се закрили или да се отстрани отъ влиянието на неговитѣ окръжающа и да създаде една малка *срѣда* въ хармония съ свойтъ особенъ геній; или може да се окаже упоритъ и да се постави срѣщу обществената *срѣда*. Какъ инакъ можемъ да си обяснимъ различieto, антагонизмътъ на талантитѣ, съществуващи въ единъ и същия историческия периодъ. Немъ Паскаль и Сентъ-Симонъ не дойдоха всѣкий единъ до своето пълно развитие въ същата епоха и същата страна? А Аристофанъ и Еврипидъ? Юмъ и Витфилдъ? Шелли и Валтеръ Скоттъ? Вилиамъ Блекъ и Давидъ Вилки? Хербертъ Спенсеръ и кардиналъ Ньюманъ? Истината е, че влиянието на окръжающитѣ постоянно се намалява, колкото по-вече искусството или литературата напрѣдва къмъ своята зрѣлостъ. Чловѣкъ добива възможность да приспособи обстоятелствата къмъ себе си и така да икономизира силитѣ на своята индивидуалность; въ едно високо цивилизовано общество всѣкий типъ на духъ може да намѣри частно обиталище и социална група, които да отговарятъ на неговитѣ особенни нужди и желания. Та и не е ли принципътъ на животътъ и растътъ съвършено оня на приспособяване къмъ окръжающитѣ условия; животътъ е тъй също «едно съпротивление и осамотяване или по-скоро отбранително приспособяване, антагонистическо къмъ дѣйствиата на външнитѣ сили», и колкото по-вече се минуватъ години, толкова системата на защитата става по-изобрѣтателна, по-сложна и по-успѣшна. Всѣко отъ великитѣ влияния, чиито слѣдствия Тенъ се е опиталъ да разкрие, безъ съмнѣние съществува и произвежда дѣйствие, но дѣйствието на всѣко отъ тѣхъ е скрито и промѣнливо. И ако резултатитѣ на Тена иматъ изгледъ на точность, то това произлиза отъ искусството, съ което той располага своитѣ фактове и нарежда своитѣ аргументи.

Такъва въ сжщностъ е критиката на младитѣ мислителъ — Хеннекенъ — върху методътъ на неговий учитель. Той не признава постоянно съотношение между единъ авторъ и неговото плѣме или неговата срѣда. Отъ друга страна таково едно постоянно съотношение навѣрно може да бѣде открито между единъ авторъ или художникъ и групата на неговитѣ ученици и поклонници. Той е единъ центръ на сила, който привлича къмъ себе си оние, които духовно приличатъ на него. Но такъвъ начинъ единъ великъ авторъ на мѣсто да бѣде творение на обстоятелствата, въ сжщностъ самъ създава една нравствена срѣда, единъ свѣтъ на мисли и чувства,

за оние, които сж били привлѣчени, и както можемъ каза, развити отъ неговийтъ гений. Историята на литературата е история на послѣдователнитѣ състояния на мисълта и чувството, проистекающи отъ прѣвзходни умове и добивающи господство, често върѣки голѣмата съврѣмenna оппозиция, надъ низшитѣ умове отъ сжщий типъ. Съ голѣмъ блѣсъкъ отъ научни термини — отъ които нѣкои се струватъ по-научни, защото сж варварски отъ литературна гледна точка — Хеннекенъ ни привождатъ къмъ очевидната истина, че единъ мощенъ писателъ, ако отчасти и да е образуванъ отъ свойтъ вѣкъ, въздѣйствиува на своитѣ съврѣменици и запечатлѣва своята индивидуалностъ върху тѣхъ.

Главниятъ фактъ въ отношение къмъ съврѣмennото движение остава, фактъ върху който съ голѣма сила напиратъ Брюнетьеръ, че литературата се е обърнала отъ лирическото, личното или, както го наричатъ, субективното, къмъ ревностно изучение на външниятъ свѣтъ и къмъ животътъ на чловѣка въ обществото. Лирическото, личното безъ съмнѣние има едно подчинено мѣсто въ литературната критика, но главната задача на критиката е да проумѣе, класифицира и разясни фактоветъ на литературата. Ние можемъ да прозрѣваме, че критиката въ близкото бѣдущее, ако и да възбуди по-малко душевни вълнения, ще да бѣде по-вѣща и не толкова пристрастна, колкото е била въ миналитѣ врѣмена. Ако тя ще се основава на точно знание, освѣтена отъ вѣрни възгледи, въодушевявана отъ чувство на справедливостъ, ние ще имаме да покажемъ печала срѣщу нашитѣ загуби. Да подчинишь себе си къмъ вѣрно прогласяване цѣлата истина на свойтъ собственъ прѣдмѣтъ ще бѣде извѣстно вознаграждение дори за отсъствие на страсть, възхищения, отчаяния, дидактическии ентузиазмъ у единъ великъ Английскій критикъ; извѣстно вознаграждение дори за възбуждащитѣ полу-възгледи и високо-духовитото, прѣлестно своенравие у другийтъ.*

* Първийтъ е, вѣроятно, Карлейль, а вторийтъ Матю Арнолдъ.
Бѣл. отъ прѣвод.



Д Е Н Щ И К Ъ .

Разказъ изъ военния животъ

(Прѣводъ отъ Италиански).

Четире години бѣха се изминали, откакъ тѣ, двамата — офицеринъ и денщикъ — живѣеха заедно и съвмѣстно дѣлеха радоститѣ и неволята на войнишкия животъ. Дълговрѣмната и тежка служба, която тѣ нераздѣлно прекарваха на всѣкъдѣ, бѣше породила помежду имъ единъ особенъ родъ дружба и нѣжни приятелски чувства, които, по естество, никакъ не противорѣчеха на установенитѣ отъ строгия дисциплинаренъ законъ правила за обноснитѣ на единъ началникъ къмъ неговия подчиненъ. Тѣ се обичаха безгранично, ко, при всѣ това, едина никога не забравяше, че е офицеринъ, а другия — че е простъ войникъ; първия всѣкога биваше войнишки строгъ, — втория солдатски преданъ и послушенъ. Любовта имъ поради това, не бѣше отъ онѣзи, които биятъ на ефектъ, които се хвърлятъ въ очи и крѣщатъ на дѣсно-на лѣво за своята искреностъ; тя бѣше, напротивъ, едно грубо, сурово и нѣмо чувство — краснорѣчиво, когато мълчи, нелѣно, когато заговори и привикнало да гълта сълзитѣ си, когато трѣбва да заплаче. Разговора имъ биваше винаги лакониченъ, кратъкъ; тѣ се разбираха по погледитѣ си, по движенията на рѣцѣтѣ си. —

— Какво още ще заповѣдате, г-нъ поручикъ?

— Нищо.

— Мога ли да си ида?

— Върви си.

Това бѣше обикновенната формула на тѣхния разговоръ, послѣ извършването на нѣкоя работа отъ страна на денщика — никога ни една дума повече. И тѣй се минаваха дългитѣ солдатски дни, мѣсеци — тѣй се изминаха цѣли четире године съвмѣстна служба, то по квартири, то на лагеръ, то въ походъ, то на война. Но въ тая строга мълчеливостъ, въ този кжсъ съдатски разговоръ, въ това бързо обмѣняване на погледи, означавши — отъ страна на едина: «направи еди какво», — на другия «разбрахъ» — имаше за оногова, който познаваше тѣзи два идеални характери, толкова сърдечностъ, учтивостъ и искрення преданностъ, колкото не съдържатъ въ себѣ си най-бурнитѣ проявения на обикновенна любовъ и нѣжностъ.

На бойното поле, на нѣколко стотини крачки отъ неприятеля, тѣ винаги биваха заедно и, послѣ страшното изсвирване на нѣкоя смъртоносна граната, тѣ неволно се обръщаха единъ къмъ други и, като се видѣха неповредени, въздъхваха си радостно и свободно. — «И тази мина» — си казваха тѣ и съ още по напръгнато вниманне чакаха слѣдующата. Не една студена и дъждовна ношъ бѣха прекарвали тѣ на аванпостовѣтъ, пронизвани отъ есенния вѣтрѣ, или потънали до колѣнѣ въ калъ и вода. А на утрѣнѣта, кога дойдеше нѣкой други боталюнъ да земе мѣстото на тѣхния, тѣ, мълчеливи и засмѣнни се поглѣдваха въ очитѣ, като че си казваха: «Ей слава Богу! и това прѣкарахме; сега ще идемъ набивака и тамъ ще починемъ». А колко пѣти, вечеръ, когато — хх.хх ще почне боятъ — една отъ тѣхъ се прибираше въ шатра си, а другия — вънъ, подъ открито небе, — се увиваше въ шинеля си, за да се запази отъ пощния мразъ. Съ расгренерашъ гласъ, въ такива случаи, казваше вѣрния децникъ «лека ношъ на господаря си; съ сжщия гласъ отговаряше и послѣдния на предания си слуга, защото никой не знаеше, да ли тѣ ще осжмнатъ здрави и читави. Нѣкога, когато се случеше да подаде една на другия нѣкое писмо, прието отъ домъ, по лицата и на двамата се забѣлжваше една сърдечна усмивка. «Това писмо е отъ кѣщи, отъ майка ти, познахъ го по адреса» — сѣкашъ че искане да каже една. «Благодаря» — искаше да отговори другия — «ти же крайно зарадва».

Послѣ това, тѣ отново си оставаха мълчеливи и серъзнии. Ни единъ пѣтъ гордия войникъ не забравяше да си туря ржката на шапката (да земе подъ козырѣкъ), когато се представяше, или прощаваше съ господаря си; смѣло и рѣшително държеше той винаги главата си; право и упорно гледаше въ очитѣ на любимия си началникъ, когато му говореше; а когато трѣбваше да си иде, — неговото обръщанне «на лѣво кругомъ» ставаше по всичкитѣ правила на военния уставъ.

Тѣй се изминаха четире годни. Най-послѣ приближи врѣме войника да бжде уволененъ въ запасъ. Единъ день корпусния командиръ издаде заповѣдъ да се распустнатъ солдатитѣ отъ неговия наборъ.

Вечеръта офицерина и войника, като никога, разиѣниха по между си нѣколко думи повече.

— Какво ще заповѣдате още, г-нъ поручикъ?

— Нищо . . . Днесъ се даде заповѣдъ да се пуствнатъ въ запасъ войницитѣ отъ нашата рота . . . Подиръ десетина дена ти ще трѣбва да си идешъ домъ . . .

Настъпн едно глухо мълчание; и двамата, умислени, гледаха въ разни страни.

— Мога ли да излѣза?

— Разбира се, можешъ.

Този пѣтъ биде прибавено изражението «разбира се», а при тѣхнитѣ обични обноски това бѣше една голѣма крачка напредъ къмъ по-открито сближаване.

Сърдцето и на двамата младежи се стѣгна отъ мъжа, при мисълта, че тѣ скоро ще трѣбва да се раздѣлятъ, нѣ не еднакво. Едина изгубваше своя приятелъ, другаръ — ба, повече отъ другаръ, братъ — който го обичаше и почиташе съ една почти религиозна преданность и любовъ. Другия тѣй сжщо губеше другаря си, наставника си, баща си, — но тогазъ когато положението на първия почти въ нищю не се измѣняваше, когато той все си оставаше на служба въ ротата, — на другия предстоеше да се завърне дома! Да се завърне дома! . . . Подиръ толкова опасности и страдания; подиръ толкова дълги ноци, прѣкарани въ лагера подъ меланхолическия звукъ на „зарята», когато въ шатритѣ изгасне свѣтлината и по всичкия този подвиженъ градъ отъ платно, прѣди малко веселъ и шумливъ, се растеле дълбокото спокойствие на сѣня; подиръ толкова минути на неутѣшна скърбъ, когато, съ наведена на колѣнѣтѣ глава, той хилядо пѣти си е напомнювалъ за майка си и, съ тѣжни въздишки, се е питалъ: „Какво ли прави сега тази бѣдна злочеста жена»? Да се завърне дома! . . . Да се завърне тѣй скоро тѣй неочаквано! Отново да види своето село, тѣзи весели и сладкогледни колиби, гдѣто, вечеръ, при срѣбърната свѣтлина на мѣсеца, се пѣятъ оиѣзи чудни и мелодични нѣсни, които тѣй ясно и сладко говорятъ на младото сърдце; да познае отъ дачечъ сламения покривъ на своята хижа; уморенъ да се затече на гумното, да види отпрѣдъ малката си сестра, сега вече мома, да срѣщне своето братче, порастнало вече момъкъ; да се хвърли въ разгърнатитѣ рѣцѣ на майка си, да повисне на шията ѝ, да се почувствува още веднажъ въ нейнитѣ скѣпи обятия, съ една дума, да испита всичкитѣ най-свети човѣшки чувства, — това ся работи, които, само при една мисълъ за тѣхъ, сж въ състояние да смѣгчатъ всѣ-каква скърбъ, да изсцѣрятъ всѣка рана.

При все това обаче, въ душата на младия войникъ злѣ за-сѣдна мисълта, че той скоро трѣбва да се раздѣли отъ добрия си господаръ и тази мисълъ почна да му не дава покой ни денемъ, ни ноцемъ. Освѣнъ това, като истински войникъ, той не можеше да захвърли солдатския мундиръ безъ съжалѣние, — този скѣсанъ

но сжип мундиръ, който сумма години му бѣ служилъ и за завивка, и за възгледница, когото той толкова пѣти бѣ чистилъ, бърпилъ и пралъ. Мили ставатъ на човѣка даже заднитѣ джебове на такъвъ мундиръ, гдѣто при появяванетоъ отъ нѣкъдѣ дежурния офицершиъ, тъй често се е крияла запазената цигара, или напълената чебучка.

И добродушния офицершиъ захвана, най-послѣ, да се умислюва, но, както и прѣди, прѣстана да прибавя какво-годѣ къмъ обикновенната формула на разговора си съ децшина. Сжщо и послѣдния. Но тѣ вече по често и по-продължително се заглѣдваха единъ въ други и като че си говорѣха :

— Тѣжко ни е, виждаме, но . . .

Войникътъ почна по-полегка да мие, трие и чисти стаята на офицерина, захвана нарочно да се потрива и да не излиза вънъ на сайвана, когато господаря му бѣше въ къщи, като мислеше, поне по този начинъ той ще може да се възнагради за прѣдстоящата раздѣла. По нѣкога той се правяше ужъ че смита праха отъ покъщнината въ стаята, когато сжщински, той не вършеше нищо, ами, покрусенъ отъ скръбни мисли, безсвѣстно махаше отривалката насамъ-натамъ, безъ да е допира до нѣкой прѣдмѣтъ. Въ такива случаи офицерина, съ скръстени на гърдитѣ рѣцѣ, сгоеше правъ и неподвиженъ прѣдъ оглѣдалото, внимателно глѣдаше на лицето и тихитѣ движения на слугата си, и, като се мжчеше да избѣгва поглѣдитѣ му, бързо и безцѣлно дигаше рѣцетѣ и очитѣ си на горѣ.

— Господинъ поручикъ, мога ли да излѣза? — попитваше, напоконъ войника.

— Разбира се, излѣзь.

И той излизаше умисленъ и нажаленъ. Но не успѣваше да направи и двѣ крачки на вънъ, когато изъ стаята се чуваше повелителното «вѣрни се», и той се връщаше.

— Ще заповѣдате ли още нѣщо г-нъ поручикъ?

— Не, нищо . . . Искахъ да ти кажа, че . . . но мѣма нищо . . . хайде утрѣ ще направишь това . . .

Не ще съмнѣние, че той викаше слугата си -- не съ цѣлъ да му заповѣда нѣщо, а просто да го види какъ, да поглѣдне още веднажъ на нажаленото му лице и, като му кажеше да излѣзе, той дълго врѣме продължаваше да глѣда на прага, прѣзъ които децшика се скриваше въ сайвана.

Най-послѣ доде деня на раздѣлята.

Офицерина този день остана домѣ си, защото знаеше, че скоро ще доде войникътъ му отъ казармата — къдѣто бѣ отишелъ за

платката си — да земе сбогомъ. Той пушеше. Изъ устата му излиза гъсти клъба димъ, а той съ разсѣянъ погледъ слѣдеше за тѣхното тихо движение въ въздуха, до като тѣ не се изгубваха съвършено. Сегизъ-тогизъ той отриваше отъ очитѣ си нѣкаква мокрота, която бѣше наклоненъ да счита по-скоро за резултатъ отъ острия тютюненъ димъ, отъ колкото като слѣдствие на нѣкакво си душевно възненіе. Злочестия, той искаше да скрие отъ самото себѣ си чувствата, които го възнуваха, да припише на цигарата си онова, що бѣ засѣдало тѣй дълбоко въ сърдцето му. И размишляваше си той: — Не, не, това трѣбваше да се очаква. Тогава, защо се безпокоя? Немà азъ не знаехъ, когато го земахъ за денщикъ, че не вѣчно ще живѣя съ него? Немà не ми бѣ извѣстно, че той ще служи само нѣколко години, че той има родители, къща, гдѣто се е родилъ, порастналъ, отъ гдѣто е търгналъ на служба съ плачове и проклятия и къдѣто сега се връща съ радостъ? Да го принуждавамъ да продължава тѣжката военна служба за моитѣ черни очи? Но това би било еговзъмъ. . . Азъ и тѣй съмъ си егоистъ. . . Какви вериги отъ благодарностъ го свързватъ съ мене? какво съмъ направилъ азъ за него? О, твърдѣ много! Неучтивостта и грубостта съ които постоянно съмъ срѣщалъ неговата преданностъ и добрина, — това малко ли е? Кая се сега, нѣ немога да не призная истината. . . Азъ всѣкога съмъ глѣдалъ на него съ онова проклѣто инквизиторско-началническо изражение, което тѣй злѣ се хвърля въ очи у добритѣ и простодушни хѳра. Тяя обноски, разбира се, се дължатъ повече на моя темпераментъ и на своеобразнитѣ условия на милитаризма, противъ които азъ съмъ билъ безсиленъ; но нема не бѣ възможно да се държа прѣдъ него поне по-човѣшки, да му продумвамъ нѣщо повече отъ строгитѣ и къси фрази, които съпровождаха всѣко негово влизаніе и излизаніе отъ стаята ми? . . . Сега той веселъ и честитъ ще се завърне у домà си, ще се залови пакъ за ралото и ще захване прѣдишния си тихъ и миренъ животъ; полека-легка той ще изгуби всичкитѣ си военни навики, ще забрави всячко. . . и полкъ, и другари, и господарь. Може би и азъ ще го забравя? Но колко врѣме, за Бога, трѣбва да мине, за да навикна азъ на лицето на новия си слуга, да не ми се струва утрѣнъ, прѣди да стана, че виждамъ *него*, задълбоченъ въ своята работа, че го глѣдамъ тамъ нѣкъдѣ въ кътътъ да прибира дрѣхитѣ ми, да не дъна, да не се мърда, за да не ме разбуди? Колко пакти ще се събуждамъ заранъ и, по навикъ, ще викамъ все неговото име? Колко годишни чувства на дружба, преданностъ и безкористно слугуваніе ме свързватъ съ тоя момъкъ, а сега. . . прощайъ всичко; той си

отива и . . . и свършено . . . и азъ трѣбва да се покора . . . Ехъ, такъвъ е нашия зацайтъ . . . нищо не можешъ стори насрѣща! Но какво сърдце! Какъвъ чудесенъ солдатинъ! По нѣкога, въ време на нѣкой походъ, уморенъ, испотенъ, изгорѣлъ отъ слънцето и задушенъ отъ прахъ, не успѣя да се обърна назадъ, или на страна, дано видя нѣкъда вода, — токо гледамъ отирѣдѣ ми пълна манерка и чувамъ гласъ: „г-нъ поручикъ, жедни ли сте? Взираамъ се — деншика ми стси предъ мене. Незабѣлено нѣкакъ той успѣлъ, още по пжтя, да излѣзе отъ рѣдоветѣ на ротата, да отиде нѣкъда . . . може би твърдѣ далечъ . . . да напълни манерката и, потъналь въ потъ, въ единъ мигъ, да се завърне на мѣстото си, да върви безпрестанно отиодирѣ ми и да чака да искажа азъ най малкото желание, че искамъ да пия. Въ лагера, ако се случеше да заспя подъ нѣкое дърво на сѣнка, и слънцето подирѣ малко ме огрѣваше въ лицето, — неговата грижлива ржка никога не забравяше да прикрие горѣщитѣ слънчеви лучи съ нѣкое клонче. да дигне палатката си надъ мене, или на нѣколко пушки сложени на „козелъ“, да растегне друпавия си мундуръ. Послѣ нѣкой дълъгъ походъ, като додехме на бивакъ, той изведнажъ ше обтѣгне палатката ми и, токо глѣдашъ, изгубилъ се. Нѣма го; азъ ходя по лагера, търся го, сърди се питамъ за него на горѣ на долу, заканвамъ се да го накажа, като се върне и т. н. Но не се минаватъ нѣколко минути и ето го че иде. Нагърбенъ подъ нѣкой чувалъ слама, спромалтъ едвамъ пристѣпва, на сила дъше, сърди се, кара се съ всѣкиго, който по иска да дръпне нѣщо отъ скъпия му, придобитѣ съ толкова мжки, товаръ, иже се изъ вървитѣ и калищата на необтѣгнатитѣ още войнички шатри' прескача прѣзъ долища и плѣтове, тѣче тѣрби (равници), настѣжива по пжтя спящитѣ, уморени свои другари, но иде ухиленъ, засмѣнъ, съзнающъ, че е изпълнилъ дълга си по единъ най-блѣскавъ начинъ. Тогава влизаше той въ шатра, слагаше сламата на земята. отриваше челото си отъ потъ и съ страхъ ме питаше: — На ли закѣснѣхъ, г-нъ поручикъ, на ли Ви накарахъ да ме чакате? Какво да прави, забавихъ се, трѣбваше далече да ходя за слама . . . — Нѣма нищо, нѣма нищо, отговаряхъ азъ іъ таква случаи. Той земеше, подирѣ това, на растелѣше хубаво чувала, пълненъ съ слама, туряше на единия му край ранца си за възглавница, приготвяше ми палтото за завивка и, като се обърнеше къмъ мене, питаше повторно: — Добрѣ ли ще ви е тѣй, г-нъ поручикъ? — Хубаво, хубаво, казвахъ азъ, кратко както всѣкога, хайде върви си сега, стига толкова трудъ, полегни си та си почини и ти. А въ време на нѣкой нощенъ походъ, когато азъ, полузасналь

едвамъ притяпямъ като се люля отъ едната-че на другата страна на шосето и хж-хж ще падна въ нѣкои оконъ,—колко пакти съмъ чувствувалъ на рамото си неговата ржка да ми извежда пакъ на срѣдъ пактя и неговия тихъ гласъ да ми говори : — Внимателно, г-нъ поручикъ, има окони отъ страни на шосето. И това бѣше все той . . . А азъ ? Какво добро бѣхъ направилъ азъ на този човѣкъ ; защо бѣше ме огладилъ той съ нѣжнитѣ грижи на една майка ? Съ какво бѣхъ заслужилъ азъ да бѣдъ обичанъ съ такава сила и прѣданность ? По какви причини и по каквъвъ начинъ този бѣденъ селвининъ, съ слинасяли отъ конанъ ржцѣ, съ такива груби черти на лицето, съ вдървени отъ трудъ и лишения членове, безъ всѣкакво възпитание порастналъ въ една селска колиба, можеше да бѣде кротъкъ и нѣженъ като мома, да си въспира дишаннето, за да не ме разбуди, да си туря ржката на рамото ми, за да ме отърре отъ опасность, да ми носи и подава писмата само съ два прѣста, отъ страхъ да не ги оскверни, да се чувствува честитъ само отъ една моя благосклонна усмивка, отъ една учтива думица, отъ единъ знакъ, отъ единъ погледъ, който да означава „добръ“ — Удивителна, непостижима работа ! . . . Ето защо трѣбва да се признае, че подъ дрипавия войнишки мундиръ, човѣшкото сърдце бие съ такива удари, каквито не може да чувствува онзи, който не е, или не е билъ солдатинъ. Напусто мислятъ хѳрата, че у насъ, войниците, нѣма други чувства, освѣнъ снѣзи, ковто ни овладѣватъ въ врѣме на бой. Малко ни познаватъ тѣ. Тѣ не знаятъ, че солдатското сърдце никога не старѣе, че подъ шинела тѣ се подмладѣва, крие въ себѣ си най-нѣжнитѣ човѣшки чувства и се облива съ сълзи въ бурното и ужасно зашамаявание на войната. О, който не е войникъ въ душата си, той никога не може разбра : какво свето и нѣжно чувство ме свързва съ този кротъкъ, простодушенъ и юнакъ момъкъ ! Това не е възможно ! Трѣбва човѣкъ да е спалъ много ноци на бивакъ, да е направилъ сума походи прѣзъ Юлий, много пакти да е стоялъ на аванпостовѣтъ подъ студения есененъ дѣждъ, да е страдалъ не веднѣжъ отъ гладъ и жажда — и всѣкога да е ималъ при себѣ си единъ преданъ и безкористенъ другаръ, който да го завие съ мундира си, да му очисти дрѣхитѣ и обувката, да му донесе вода, да му даде своя сухаръ за ядене, а самъ да стои гладенъ — за да разбере всячкитѣ тѣзи непостижими, на прѣви погледъ, работи ! . . . Слуга ! Лакей ! И има хѳра, които тѣй наричатъ денщицѣтъ си ! О, (тукъ гой извика съ негодванпе) това е кръвна обида ! . . . Да, най-голѣмото и най-незаслуженото оскърбление !

И сега този момъкъ си отива, остави ме самичкъ, прощав

се съ службата и азъ, може би, никога вече не ще го срѣцна, не ще го видя! . . . Не, това не може да бѣде! Азъ, безъ друго, ще го посѣта домъ му. Ще зема отпускъ и ще го намѣря; названieto на селото му зная, ще се науча гдѣ му е къщата, ще отида тамъ прѣзъ глава, ще го сваря, може би, на нивата и ще му извикамъ по име. Той зачуденъ ще се озърне.

— Немъ не познавашъ своя офицеринъ?—ще попитамъ азъ.

— Боже, какво виждамъ? Г нъ поручикъ Вие ли сте? Може ли да бѣде? — ще извика той съ растреперенъ гласъ.

— Да, да, азъ съмъ. Исклахъ безъ друго да те видя и още веднажъ да ти се порадвамъ. Ела тука, драгий, славни войниче, прегърни другаря си, дай . . .

Въ това врѣме по стълбата се зачуха тихи и равни крачки— като че нѣкой се качеше горѣ и се стараеше да върви по полегка. Офицерина се послуша и насочи очитѣ си право къмъ вратата. Крачкитѣ се чуха отъвнъ на сайвана; сърдцето му се стѣгна отъ жалость. Но ето вратата се отвориха, и на прагътъ застана като вкаменепъ нажаления войникъ. Лицето му бѣ мрачно, скръбно, очитѣ му червени. Той прѣстѣпи малко напредъ, спрѣ се и се вгъръни право въ очитѣ на господаря си. Последния не можа да издържи страшния погледъ на слугата си и неволно пѣкакъ се обърна назадъ.

— Господинъ поручикъ, азъ заминавамъ, — продума най-послѣ войника.

— Сбогомъ, синко, — му отговори смутения «господаръ», като си стискаше устнитѣ при изговарянието на всѣко слово, и като все продължаваше да гледа назадъ — сбогомъ . . . добъръ ти пжтъ . . . добро виждане . . . Върни се домъ, захвани си пакъ прѣдишната работа, продължавай да бѣдешъ добъръ синъ, честенъ човѣкъ, какъвто бѣше до сега и . . . сбогомъ . . .

— Господинъ поручикъ, прекъса солдатинътъ съ растреперенъ гласъ, като направи още една крачка къмъ господаря си.

— Върви, върви си, ще останешъ безъ другари за пжтъ, късно е вече, бързай . . . едвамъ проговори офицерина и му подаде ржката си. Войникътъ силно я стисна.

— Добъръ ти пжтъ, синко, — повтори офицерина, силно развълнуванъ — и не ме забравяй! Наполювай си по нѣкога за твоя бивши господаръ и приятель . . .

Войникътъ поиска да отговори нѣщо, помъчи се да каже, що му бѣ на устата, но не можа. Чу се само една силна и дълбока въздишка. Той стисна още веднажъ протѣгната ржка на господаря

си, цѣлуна я, погледна за послѣденъ пжтъ, къмъ «господаря си» който все продължаваше да гледа на задъ, извика: — Ахъ, господинъ поручикъ, и избѣга изъ вратата.

Офицерина, останалъ самичакъ, стана правъ, погледна на около си, постоя нѣколко минути втъпентъ въ вратата, отъ гдѣто излѣзе за винаги толкова годишния му другаръ, политна отъ силно вълнение и, съ отпустната на ржцѣ глава, сгромоляса се на стола. Двѣ едри сълзи се показаха на очитѣ му, за мигъ блѣснаха, и се търколиха на долу по странитѣ му, като че се страхуваха да не бждатъ забѣлжени отъ нѣкого. Той ги отри и, машинално, погледна на цигарата си, която отдавна бѣ изгаснала. О, този пжтъ, това бѣха сжщински сълзи, сълзи отъ сърдце. Той пакъ си наведе главата и даде воля на скръбта си. Обилни сълзи отново погекоха по лицето му . . .

ДЕНЪТЪ СЕ МИНА.

отъ

Хенри Лонгфело.

(Прѣводъ отъ Английски).

Тоя день замина скоро,
Мракъ, мжгла свѣта душатъ . . .
Тѣжка скръбъ е влѣзла въ мойга
Развъзнувана душа.

Друже, прочети ми нѣсенъ,
Прогони далечъ отъ менъ
Тягостното, мрачно чувство,
Що ми даде тоя день.

Не изъ тѣзь поети славни,
Тѣзь високи умове,
Що пренасятъ челоувѣга
Въ миналитѣ вѣкове.

Не, стихътъ имъ, катъ тревоженъ
Звукъ отъ военна трѣба,
Въ бой живота призовава,
Духъ ни буди за борба.

Азъ пакъ искамъ да почивамъ,
Охъ! сърдце ми злѣ тупти.
Отъ по слабитѣ поети
Прочети ми нѣщо ти.

Изъ онѣзъ, що отъ сърдце си
Лѣятъ нѣжни звукове.
Както дѣждъ въ земята жадна
Послѣ силии некове.

Изъ онѣзъ, що въ дневни грижи,
Въ нощъ безсънна ли стоятъ,
Въ глѣбинитѣ на душа си
Чудна музика таятъ.

Пѣснитѣ нмъ иматъ сила
Пулса силний да смирятъ
И въ душата, катъ молитва,
Сладкъ миръ да въдворятъ.

Избери каквото искашь,
Прочети го безъ прехласъ,
Тона нѣжний на поета
Слѣй съсъ твоятъ хубавъ гласъ.

И стихътъ му катъ ласкае
Съ двойна прелестъ слабий слухъ,
Миръ, спокойствие ще да влѣе
Въ моятъ развълнуванъ духъ.

Правовъ.

КУЧЕТО НА СЕНЬ-МАЛО.

Отъ

Б. Ф.

(Прѣводъ отъ французски).

Кучето на Сень-Мало не е куче, както вие можете да си помислите за пръвъ пжтъ. Това бѣ единъ доблестенъ кормчий, истинското име на когото е било Бернардъ, и когото бѣха нарекли *кучето на Сень-Мало*, за неговата вѣрность, правота и добръ позната омраза къмъ Англичанетѣ.

Трѣбва, обаче, да знаете, че по онова врѣме ние водехме вѣчна война съ нашитѣ съседли отвадъ Ламаншъ и че пристанището Сень-Мало въ Бретань бѣ мѣсто, гдѣто тѣхъ отъ все сърдце мразеха, и гдѣто живѣха страшни корсари, които жестоко съ тѣхъ воюваха и имъ нанасяха по-вече врѣда, нежели ескадритѣ на кралятъ.

Както ви казахъ, Бернардъ бѣше единъ отъ пристанищнитѣ кормчий, и то най-добриятъ, и най-прочутиятъ. Никой по-добръ отъ него не знаеше прѣзъ бурно врѣме да вкара или да искара изъ пристанището единъ корабъ. Той знаеше всички подводни скали, рифове, които сж тѣй многобройни у това крайбрѣжие, и притежаваше такъвъ погледъ и таково хладнокрѣвие, щото дори срѣдъ-нощъ, дори кога буря върлува съ най-голѣма ярость, той умѣеше да промъкне свойтъ корабъ въ мѣсто, гдѣто да хвърли котва, както единъ добръ всадникъ умѣе да управлява коньтъ си. И при това смѣлъ и неустрашимъ като левъ.

Кога нѣкой бригъ, обржженъ съ своитѣ топове и пѣленъ съ юначни моряци, излизаше привечеръ да иде на ловъ за Англичане, които кръстосватъ Ламаншъ, това бѣ винаги Бернардъ, който извождаше корабьтъ въ море. Кога послѣднийтъ се завърнеше съ добивьтъ на буксиръ отидръ си, то биваше пакъ Бернардъ, който въ свойтъ челнь плуваше отидръ му и го прокарваше изъ проходьтъ скали, издигнати чакъ до самата повърхнина на водитѣ, съ които природата е избраздила цѣлото това приборѣжие, като че ли да го защити отъ всѣкакво чуждо нашествие.

Всѣкога и въ всѣкий часъ кучето на Сень-Мало бѣше добръ стражъ и готовъ мигомъ да се пустне въ море, на своята малка варка съ матросьтъ Франсуа, кога отдалечъ нѣкой корабъ дадеше

знакъ на отчаяние или гибель: особено кога връхъ мачтата му се развѣваше знамето на Сень-Мало, знаме застрашително по онова време и което не смѣхъ възбуждаше въ нашитѣ неприятели Англичане!

Напротивъ, това проклѣто знаме ги забавляваше тѣй малко, щото веднаждъ Лондонското население, отчаянно отъ постояннитѣ побѣди на корсаритѣ отъ Сень-Мало, се нахвърлило на адмиралтейството и заплашвало да хвърли лордоветѣ въ Темза, ако послѣднитѣ веднага не зематъ мѣрки да бомбардиратъ това французко пристанище. Лордоветѣ се закѣли, че подиръ двѣ недѣли въ Сень-Мало нѣма да остане нито единъ камѣкъ правъ; и заржчали да се направятъ една исполинска адска машина, единъ паличъ пълненъ съ барутъ, селитра и картечь, способенъ да дигне планина. Паличтъ биде докаранъ срѣщу Сень-Мало, въ съпровождение на цѣла флота, състояща отъ двадесетъ голѣми военни кораби. Сень-Малойцитѣ, които не сж отъ оние, що лесно се плашатъ, се задоволиха съ искарвание на още нѣколко топа връхъ укрѣпленията и съ приготвление кораби за да атакуватъ неприятелската флота. Що се относи до паличтъ, тѣ само се подемиваха и дигаха рамена. За да може тая разрушителна машина да дигне грацтъ на въздухъ, както се хвалѣха Англичанетѣ, трѣбваше по-напрѣдъ да го вкаратъ въ пристанището или поне доста на близу, а това прѣдприятие не бѣше лесно; проливътъ, усѣянъ съ скали и рифове, се растילהше отъ-прѣдъ имъ, като една непроходима прѣграда, особено за корабъ, който най-малкото сътрясение можеше да накура да избухне прѣди нужното време и, слѣдователно, безъ всѣкаква врѣда за оние, на които той носи съсияния и смъртъ.

Само единъ человекъ можеше да се натовори съ тая задача и да сполучи; а тойзи человекъ бѣ Бернардъ, доблестното куче на Сень-Мало, закѣлтигътъ врагъ на Англичанетѣ.

И ето що караше Сень-Малойцитѣ още по-вече да се смѣятъ.

Но не се мина много, когато една прѣкрасна утрень тѣ наблюдавали за движенията на английската ескадра, и съ лукава усмивка разглеждали прочутигътъ паличъ, въ пристанището влиза нѣкакъвъ малкъ челинъ, единъ человекъ го кара, и той обгнѣвъ въ кърви и съ распокъсани дрѣхы. На сила той управлява своето кормило и вѣтрила.

Това билъ Франсуа, матросътъ на Бернарда. Вепчки се струпватъ на около му.

Той пада почти въ несвѣсть на брѣгтъ, едвамъ въ сила да изговори:

— Бернардъ е прѣдатель! Той се продаде на Англичанетѣ. Той се нае да прокара паличтъ.

— Бернардъ! извикватъ нѣколко гласа изъ тълпата. То не може да бжде!

— Тая нощъ, добавя ранениятъ съ усилие, ние търгнахме заедно и доближихме до адмиралскиятъ корабъ. Въ начало, азъ не разбирахъ; но той ме накара наедно да се качимъ на Английскаиятъ корабъ, и тогава азъ чухъ че му прѣдлагатъ 50000 лири по-вече, отъ колкото му прѣдлагаше оня шпионинъ, който вече бѣ прѣговарялъ съ него въ надвечернето,— ако се земе да прокара паличтъ до входа на пристанището.

— А послаѣ! извикаха двадесетъ разгнѣвени гласове.

— Що послаѣ! той прие! И ми заховѣда да остана при него. Азъ се съгласихъ; но тая заранъ, прѣди да се зазори, отвързахъ въжето на варката, мѣтнахъ се вътрѣ, заловихъ лопатитѣ и работихъ, догдѣто можахъ. Но разбойницитѣ ме съгледаха и гръмнаха върху мене. Безъ съмнѣние тѣ ме мислатъ за умрѣлъ, защото само Провидѣнието и Св. Анна ми помогнаха да стигна живъ.

Подиръ тойзи разказъ, разярената тълпа се унѣтва къмъ жилището на Бернарда.

— Огънь! огънь за къщата на измѣнникътъ! вика тя.

Цѣлото семейство на Бернарда се състоеше отъ баща му, осемдесетъ годишенъ старецъ, съ коси съвършенно бѣли и една двадесетгодишна дѣщеря съ коси съвършино черни. Дѣщерята бѣше хубава като кралица и старецътъ обладаваше внушителенъ изгледъ. И двамата се появиха у прагътъ на къщата.

— Какво искате? попита старецътъ възбудената тълпа.

— Да изгоримъ къщата на прѣдателятъ! отговори единъ гласъ. Твойтъ синъ се е продалъ на Англичанетѣ!

— Да! да! крѣщеха най-отчаянитѣ. Смъртъ! смъртъ!

— Приятели мои, отговори старецътъ съ твърдостъ, синъ ми не е измѣнникъ. Азъ отговарямъ за него.

— А! ние отговаряте за него! изрѣмжава оня, който говори пръвъ. Хубаво, толкова по злѣ за васъ!

— Тѣ сж съучастници! извиква вторий.

— Това нѣма нужда и да отричате! казва единъ снаженъ матросъ, въ чиито очи пламти мрачна злоба. Франсуа се върна съ три крушуми въ грѣдитѣ. Той се е спасилъ за да ни прѣдупрѣди, и ни разказа всичко.

— Франсуа се е завърналъ! извика младото момиче и веднага цѣло прѣблѣда.

— Да! и той всичко е чул! Вѣчно безчестие на вашитѣ глави!

— Смъртъ! заключи тълпата. Смъртъ на прѣдателитѣ!

— Нека тѣй да бжде! се обади старийтъ Бернардъ спокойно. Азъ съмъ готовъ, но смилете се надъ това дѣте.

И той сочеше младата мома, която гледаше съ плахи очи на всички тие застрашителни лица.

— Не! грубо отвърна матросьтъ, отровнитѣ гадина нѣматъ полъ! Смъртъ, смъртъ и за дъщерята!

— Смъртъ! повтори тълпата.

И повлѣкоха къмъ брѣгътъ бащата и дъщерята на Бернарда.

— Тамъ, тамъ, казваше матросьтъ. тѣ трѣбва да приематъ наказанието, тамъ, кога видятъ, че паличтъ приближи къмъ пристанището; та и прѣдательтъ, когато ще се завърне при Англичанетѣ, ще знае, че ние сме отмъстени!

Старецьтъ прѣгърна момичето. — Помоли се, Марно, каза той кротко, нека да умремъ като християне, както що сме проживѣли.

Двоцата колѣничиха на пѣськътъ и обърнаха очи къмъ небето. Въ това врѣме злोकобнийтъ корабъ, който носеше паличтъ, напредваше между рифоветѣ.

— Ето го! извика матросьтъ. Вижете! злодѣецтъ кара така, што да избѣгне посоката на нашитѣ топове. Кога той стигне у проходътъ, ние ще си видимъ смѣткитѣ съ бащата и дъщерята.

Въ тоя мигъ се почу едно ужасно избухвание, потокъ пламъци и картечь излѣтяха изъ чернийтъ корабъ. Той се ударилъ о скала и адската машина се прѣсна. Всички се понзгледаха. До брѣгътъ не стигна ни едно парче, ни едно зърно пѣськъ не се поклати. Тълпата заржколѣска и нададе тържествующъ викъ.

— То е прѣстъ Божий! се обади една жена.

— Да! рече матросьтъ, нечестивецтъ се излѣга.

— Тогава, милость за дъщерята и бащата! се опита да прѣдложи друга една жена.

И тълпата прѣмина, както всѣкога, къмъ противоположно чувство и се отзова: милость!

— Такъва ля е вашата воля? се обърна матросьтъ. Добрѣ! Хайде, добави той съ свойтъ грубъ гласъ къмъ двѣтѣ все още колѣнопрѣклонени жертви, ставайте! И никой вече да ви не срѣща тука.

Старецьтъ се справи тихо и съ гордѣливъ погледъ обгърна присѣтствующитѣ.

— Не, каза той и дигна прѣврасната си бѣла глава, не милость ние искаме, а справедливость! Ето четете.

И той извади изъ пазухата си едно писмо и го подаде на матросътъ. Послѣднийтъ го отвори и на високо прочете слѣдующето :

«Англичанетъ търсатъ прѣдатель за да унищожатъ Сень-Мало; отъ страхъ да не би шпионитъ да го намѣратъ, азъ искамъ да се вздамъ за такъвъ и да се прѣстора, че приемамъ тѣхнитъ прѣдложения. Азъ ще погубя тѣхната пълнена машина връхъ нѣкой подведенъ камъкъ и ще спася моего отечество, като загина самъ, и ще умра, както прилича на кучето на Сень-Мало. Бернардъ».

Електрически ропотъ пролѣтя вървѣ цѣлийтъ сборъ.

— Та защо не ни показахте тутакси писмото? защита старийтъ Бернардъ единъ отъ оние, които бѣха най-развирѣбли противъ него.

— Защото, отговори той просто, да бѣхъ искалъ това по-рано, шпионитъ, които сж въ градътъ, можеха да дадатъ знакове на неприятельтъ, и Англичанетъ въ такъвъ случай щѣха да мѣнатъ кормийтъ.

Послѣ старецътъ се обърна, хвана внуката си за рѣка, и тихо добави :

— Ела, чедо.

— Шанкитъ долу, всица! извика матросътъ съ гръмовитъ гласъ.

Всички присѣтствующи ги свалиха.

Старецътъ и младото момиче бавно прѣминаха чрѣзъ тълната и си влѣзоха въ къщи, съ достоинство и спокойни, както що бѣха излѣзли, но тойзи пѣтъ съпровождаеми отъ кликове на въсьхищене и ентузиазмъ.

Слѣдъ единъ часъ, единъ кървавъ трупъ биде изхвърленъ на брѣгътъ. Това бѣ оня на Бернарда, кучето на Сень-Мало.

Но и тойзи пѣтъ пакъ всеблагий Богъ бдеше надъ одного отъ своитъ доблестни синове: той бѣ още живъ. И до толкова неповрѣденъ, щото подиръ три мѣсеца можа да получи отъ кралътъ право на благородство, а отъ съгражданетъ си почетенъ компасъ и сщещвѣрженно началство надъ прибрѣжната стража.

ВРАБЕЦЪ.

Стихотворение въ проза

отъ

И. С. Тургеневъ

(Преводъ отъ русски)

Азъ се връщахъ отъ ловъ и вървѣхъ по аллеята на градината. Кучето тичаше прѣдъ мене.

Ненадѣйно то почна да стѣпя съ по-ситни крачки и да деби, като че ли бѣ подушило отпрѣдѣ си нѣкакъвъ дивечъ.

Азъ погледахъ изъ пжтеката и съзрѣхъ младо врабче съ жълтина около влюнътъ и съ пухъ на главата. То паднало отъ гнѣздото (вѣтърътъ силно люлъеше брѣзитѣ на аллеята) и сѣдеше недвижно, като бѣ безпомощно расперило своитѣ токо-що покαραли крилца.

Моето куче бавно пристѣпяше къмъ него, кога изведнаждъ прѣдъ самата му муцуна падна като камъкъ единъ старъ черногрждестъ врабецъ, който се мѣтналъ отъ ближнето дърво — и цѣлънаеженъ, настрѣхналъ, съ отчаянъ и жаловитъ писъкъ два пѣти подскогна къмъ неговитѣ зхбати, растворени уста.

Той се е хвърлилъ да спасява, да затули съ себе си своето чедо . . . но все пакъ мѣнничкото му тѣло трепереше отъ ужасъ, гласътъ му стана дивъ и сплкъвъ, той примираше, той жертвоваше себе си.

Какво ли грамадно чудовище трѣбва да му се е сторило кучето! И пакъ не го свѣртяло връхъ неговийтъ високъ, безопасенъ влонъ . . . Сила, по-мощна отъ волята му, го е гласнала отъ тамъ долу.

Мойтъ Трезоръ се спря, отдрѣпна се . . . Вижда се, че и той распозна тая сила.

Азъ побързахъ да видна смутеното псе — и ги отминахъ съ благоговѣние.

Да, недѣйте се смя. Азъ благоговѣехъ прѣдъ тая мѣнничка героическа птица, прѣдъ избликътъ на нейната любовъ.

Любовъта, си мислѣхъ азъ, е по-силна отъ смъртъ и отъ страхътъ прѣдъ смъртъта. Само тя, само любовъта държи и твка животътъ на напрѣдъ.

Априлий, 1878.

МЦИРИ *).

Поема отъ Лермонтова.

Вкусная вкусихъ мало меда,
И се азъ умираю.

І Книга Царствъ.

І.

Предъ нѣколко години, тамъ,
Води гдѣ сливать съ шумъ голямъ,
И се прегрщатъ катъ сестри,
Куръ, Арагва, всредъ гори,
Бѣ мѣнастирь. И диеска чакъ
Съглѣжда пѣтникътъ пѣшакъ
Колони отъ раснадналь входъ,
И кули, и църковний сводъ;
Нѣ нѣма вече, катъ преди,
Тамянь подъ него да кѣди,
Ни пѣнье чуй се въ нощний часъ
Отъ молящитѣ се за насъ.
Сега тамъ старецъ побѣлѣлъ,
Дълбока старость доживѣлъ,
Стражаръ, отритнатъ отъ свѣта,
Забравенъ дору отъ смрътьта,
Мете праха по гробове,
Надписани съсъ стихове
За прежня слава — и това,
Какъ съсъ натѣгнала глава,
Такъвзи царъ, въ такъвзи день,
Народа свой билъ принуденъ
На русситѣ да предаде

* * *

* *Мцири* на грузински языкъ значи „неслужащъ калугеръ“, нѣщо като „послушникъ“.

И Божья благодать доде
Надъ Грузия! — Огъ тозь часъ тя
Въ градини сѣбичасти цвѣтя,
На пукъ на свойтѣ врагове,
Задъ дружескитѣ щикове.

II

Единъ пжть русски генераль
Презъ тукъ къмъ Тифлисъ отиваль
И водялъ съ себе пѣвникъ малъ.
Тозъ пѣвникъ скоро ослабѣлъ
Отъ дългий пжть и тукъ се спрѣлъ
На шесть години, полудивъ,
Каго сьрна билъ той плашливъ,
И слабъ и гьвакъ, както трѣсть;
Нѣ пакъ и въ тази слаба връсть,
Неджгъ у него таенъ, глухъ,
Развилъ могъщия бащинъ духъ.
Безъ ропоть той останалъ тукъ,
Страдалъ, мжчилъ се, даже звукъ
Презъ дѣтски устни не пуцалъ;
Храната си съсь знакъ връцалъ
И тихо, гордо умиралъ.
Отъ жалость старъ единъ монахъ
Привдигналъ болния и той,
Спасенъ въ обителский покой,
Останалъ да живѣй при тяхъ.
Катъ никога той не виждалъ
Утѣхи дѣтски околъ си,
Въ началото странялъ отъ вси,
Ходилъ самичакъ, сѣ мълчалъ,
Глѣдалъ къмъ истокъ, въздишалъ,
Въ душа мжчимъ отъ скръбь една
За свойта бащина страна.
Но послѣ съ робство свикнатъ той,
Языкътъ чуждъ станалъ му свой;
Кръствали го по нашъ обредъ,
И той незнающъ шумний свѣтъ,
Въ цвѣтущата си младость ошь,
Монахъ да стане пожелаъ,

Кога внезапно той липсала
Презь есенна и бурна нощь.
По планината околвървьсть
Издига се лѣсъ тъмень, гжестъ.
Напраздно цѣлий мѣнастирь
Търсилъ го три дни; нъ подирь,
Далеко, въ равнинната чакъ,
Безъ чувства найденъ билъ и пакъ,
Спасенъ и тозь ижтъ отъ смрътъта,
Пренесенъ билъ въ обителъта.
Лицето бледно му било,
Като че болестъ, гладъ, тегло,
Той дълго време истърпялъ.
Кога го питали, мълчалъ
И всѣки день ослабевалъ.
И близу вече билъ смъртний часъ.
При него старъ монахъ тогазь
Дошелъ съсъ кротость и молби;
И той, облѣгнать на гърба,
Изслушалъ гордо до конецъ
Свѣтата рѣчь на тозь отецъ,
Съзвелъ се, слабъ духъ подкрепилъ,
И дълго тѣй му говорилъ:

III

«Дошелъ си, отче, съ дългъ свѣщенъ,
Да чуешъ исповѣдъ отъ менъ.
Благодаря ти. Въ тоя часъ
Грждитъ си добръ е азъ
Предъ нѣкого да облежъ —
Доволно вече азъ мълчъ.
Зло никому не съмъ сторилъ,
За туй безъ полза й, старче милъ,
Дѣлата ми да знаешъ вси —
Но мож ли душата си
Да ти раскажъ нестѣсенъ?
Живѣхъ азъ малко сѣ въвъ плѣнъ.
Такъвизъ живота два бихъ далъ
За другъ единъ, но плененъ цялъ
Съ тревоги, бури и борби:

Тогазъ живѣлъ бихъ, може би.
Една надъ менъ владѣйше съ власть,
Една—но силна, буйна страсть
Катъ черевъ въ мене тя се скри,
Душа изгриза, изгори.
Отъ който часъ ме сподѣтя
Мечтитѣ ми зовеше тя
Далечъ отъ глухий мѣнастирь,
Въвъ она чуденъ, буренъ миръ,
Гдѣ въ нѣбе крпятъ се скали,
Гдѣ вси сж волни катъ орли.
На тая страсть азъ всяка ноць
Съ тѣжи и сълзи давахъ мощъ.
И днесъ предъ тебъ, предъ всички оць,
Признавамъ громко тая страсть,
Но прошка ти не искамъ азъ.

IV

«Слушалъ съмъ често, старче милъ,
Че ти отъ смъртъ си ме спасилъ —
Защо? . . . Униль, осиротѣль,
Катъ ластъ, що вѣтрътъ е отвѣль,
Азъ тукъ порастохъ катъ монахъ
Но сѣ дѣте въ душа остахъ.
И никому азъ не казахъ
«Баща» и «майка». При това,
Ти старче искаше отъ тяхъ
Да ме отвикнешъ, доръ сжмъ тукъ —
Напразно: тѣхний сладкъ звукъ
Роденъ е съ мене. Други азъ
Виждалъ съмъ иматъ мила связь,
Огечество и домъ и родъ,
А азъ самичакъ цѣль животь,
Далечъ отъ всички, плѣвникъ, робъ,
Тукъ нѣмамъ даже ближень гробъ.
За туй сълзнтѣ си въспрѣхъ,
Въ душа си твърдо се заклѣхъ,
Макаръ за мигъ азъ нѣкой пѣтъ
Грѣди си болни, що пламтѣтъ,
Езъмъ други близу да допрѣ,

Въ прегрѣдки братски да умрѣ.
Уви! тазъ сладостна мечта
Погина въ пълна красота.
И азъ злочеть, забравень, робъ,
Ще найдж въ странство своя гробъ.



«Отъ гроба азъ нѣмамъ страхъ:
Теглата, казватъ хладний прахъ
Почиватъ вѣчно въ тишина.
Но въ тази крѣпка младина
Мень за живота ми е жалъ:
Азъ много мѣчно бихъ можалъ
Да го напустѣж толкозъ младъ.
Кажи ми, старче, бѣлобродъ,
Вкусявалъ ли си нѣвга ти
Онѣзъ младенчески мечти?
И ти, кадъ всички, младъ си билъ,
И ти си страдалъ и любилъ,
И въ тебъ сж бѣхтали грѣди,
Щомъ зърнешъ, блескъ, поля, води,
Отъ кулата съ високій глѣдъ,
Гдѣ пресень въздухъ вѣй отвредъ
И гдѣ по нѣвгажъ на стѣна,
Дошелъ изъ чужда намъ страна,
Подъ слонъ се крие глѣжбъ младъ
Отъ силенъ вѣтръ, буря, градъ?
Сега, тѣй слабъ и побѣлѣлъ,
Къмъ красний свѣтъ си охладѣлъ,
А на желанья и мечти
Наситилъ си се вече ти.
Защо? Ти старче си живѣлъ
И имашъ спомень отъ свѣта —
И азъ бихъ ималъ своя дѣлъ,
Но зла къмъ мень е участьта.



«Да кажа ли какво видяхъ,
Кога за мигъ свободенъ бяхъ?»

— Поля красиви, хълмове,
Що кичатъ свойтъ върхове
Съ вѣнецъ природенъ, хубавъ гжстъ,
Огъ редъ дървета околвърстъ,
Шумящи сладко кать гора
Иль братя въ весела игра.
Видѣхъ и мрачитѣ скали,
Кога потокътъ ги дѣли,
И мислитѣ имъ азъ раскрихъ:
Отъ горѣ вджхнатъ туй сторихъ!
Протегнали предъ моя взоръ
Обята каменни въ просторъ,
Тъ съ видъ тържественъ и великъ
Очакватъ срѣща всѣки мигъ;
Но дни, годинитѣ текжтъ
И тѣ не ще се привлекжтъ!
А планинскитѣ висоти
Пречудни бѣжж кать мечти,
Кога въ зори, предъ дневний жаръ,
Издаватъ димъ като олтарь,
И пушатъ се подъ свода синь,
Гдѣ облацитѣ по единъ
Напучатъ ношния си стапъ,
И, кать прелѣтенъ бѣлъ керванъ,
Къмъ истокъ направляватъ бѣгъ.
А тамъ далечъ, потъналъ въ снѣгъ,
Видѣхъ блѣщене кать елмазъ,
Незблемий и бѣлъ Кавказъ —
И тугакси, незная какъ,
Сърдце усѣти радость пакъ.
Говореше ми таенъ гласъ,
Че нѣвга тамъ сжмъ билъ и азъ,
И цѣло минало за менъ
Стана ми ясно както день.

VII

«И азъ си спомнихъ бащинъ кжтъ,
Долината и онзи ржтъ,
Гдѣ въ сѣнка нашего село
Раствано е на търкало.

Екà отъ звъници на стада,
Що слизатъ вечеръ низъ бърда,
И менъ познатий кучи гласъ,
Като че чувахъ въ онзи часъ.
Азъ помня нашѣтъ старци ощъ,
Когато въ ясна, лунна нощъ,
Насрѣща нашия домъ отъ вѣнъ,
Сѣдяхъ съ важность на лице;
Спомнѣхъ и съ трепетно сърдце
Кинжали пѣстри . . . и, катъ въ снѣъ,
Туй всичко смѣтно, съ бързота,
Представи ми се въ паметъта.
Баща ми? Той пакъ живъ за мигъ,
Яви ми се като войникъ,
И азъ припомнѣхъ броненъ звѣнъ,
На пушка блескътъ, катъ огънь,
На образа му бледний цвѣтъ
И гордий, неприклоненъ глѣдъ.
Подиръ това ми се стори,
Че зърнахъ своитѣ сестри.
И въ мигъ додѣ ми на умà
За сладостниятъ тѣхенъ взоръ
И звукъ отъ пѣсни и говоръ
Надъ люлката ми у дома.
Въ долината тече потокъ
Шумливъ и бръзъ, но не дълбокъ.
По пладиѣ, въ златний пѣськъ тамъ
Отивахъ да играя самъ,
И ластовицата съ очи
Слѣдяхъ надъ мене какъ хвърчи
И какъ игриво, предъ дъжда,
Крила допира до вода.
И много тукъ припомнѣхъ ощъ:
Спомнѣхъ си мирний бащинъ домъ,
Кога сѣдахме мълчешкомъ
И слушахме, презъ зимна нощъ,
Раскази дълги и пѣсни
За старо време, прежни дни,
Когато нѣмало злини.

VIII

«А знаешъ ли какво правихъ,
Кога свободенъ азъ ходихъ? —
Живѣхъ — и вѣрвай, отче милъ.
Безъ тѣзи три блаженни дни,
Днесъ щѣхъ да бѣдъ по унигъ
Отъ тебе въ тия старини.
Отдавна ази се тъкмяхъ
Да видж красната земя
Въ природното ѝ облѣкло,
И много ѝскахъ азъ да знамъ.
Защо живота ѝ даденъ намъ:
За воля или за тегло?
И въ нощенъ часъ, ужасенъ часъ,
Когато страшна буря вастъ,
Чрезъ грозни мълнии въ разгаръ,
Сѣбрала бѣше предъ олтаръ
И вдъхваше ви трепеть, страхъ,
Изъ мѣнастиря азъ бѣгахъ.
О, тази буря бѣхъ готовъ
Въ гърди да стиснж съсъ любовь!
Съ очи си облаци слѣдихъ,
Съ ржцѣ си мълнии ловихъ. . . .
Кажи ми, отче, въ тѣзи стѣни
Съ какво азъ могъ замѣни
Минутна дружба въ жаръ, огънь,
На мойта буря съ тазъ отъ вьнь?..»

IX

«Бѣгахъ азъ дълго — гдѣ и какъ?
Незная. Пктътъ бѣше въ мракъ,
Небето тъмно, безъ звѣзди.
Доволенъ бѣхъ азъ че гърди,
Изгнани тука въ чужбина,
Испълняхъ съ нощна хладина.
Отъ околнитѣ лѣсове.
Вървѣхъ азъ много часове,
Но спрѣхъ и най подиръ паднахъ;
Въ трѣвата гжста си лѣгнахъ

Разбитъ, отпадналъ, уморенъ,
Но вътрѣшно чеситъ, блаженъ,
Че дишамъ въ пълна свобода.
Услушахъ се азъ — ни слѣда
Отъ шумъ на стѣпки послѣ менъ.
Утихна буря. Блѣдень свѣтъ
Отвори моятъ слѣпнать глѣдъ
И азъ презъ ведри мрачини
Видѣхъ стърчахъ плании.
Недвижимъ, мълкомъ тукъ лѣжахъ,
Порой въ долината слушахъ
Какъ плаче жално катъ тече,
И какъ по пѣськъ се влече
Змия на близо отъ страна;
Но мене страхъ ме нехвана,
И азъ, катъ звѣрь подобно ней,
Плъзяхъ и крияхъ се катъ змѣй

Х.

„Подъ менъ дълбоко, слѣдъ дъжда,
Потокъ съ усилена вода,
Шумеше и шумътъ му глухъ
Дохождаше до моя слухъ
Като стотина гласове
Отъ сганъ сърдито що реве.
Макаръ безъ думи, тозъ говоръ
Разбирахъ: той бѣ вѣчнй споръ
Между безсилнитѣ води
И твърди каменни гради,
Готови сѣвга за отпоръ.
То мълкваше този разговоръ,
То пакъ изново по високъ,
Раздаваше се въ тишина;
Но ей въ мжглява висина
Запѣхъ птички и вѣстокъ
Покри се цѣлъ съ чървенина;
Вѣтрець повѣя по листья,
Мирисъ распръснахъ цвѣтя
Събудени. Изподъ трѣва
Катъ тѣхъ вдигнахъ и азъ глава

Да срѣчна свѣтлий божий день . . .
Кога разглѣдахъ околѣ мѣнь,
Стана ми страшно : азъ лѣжахъ
На край на бездна, гдѣ безъ страхъ.
Политаше съ услаенъ скопъ
Сърдитиятъ грѣмливъ потокъ.
До него водеше скала
Катъ стълба съ остри стѣпала.
Но тука само демонъ злий
По тѣхъ отгорѣ е стѣпалъ,
Кога, исплденъ, отивалъ
Въ подземна пронасть да се скрий.

XI.

„Наоколо бѣ сжщий рай ;
Върху растення безъ край
Лжцахъ божви съзи,
А по дърветата лози,
Покрити отвсѣдѣ съ листа,
Красяха повечъ тѣзь мѣста
Съ свойтѣ ниши плодове :
Чървени, пълни гроздове,
Катъ сжщи обници на глѣдъ,
Висяха гжсти и отвредъ
Влечахъ птици цѣлъ роякъ . . .
И връзь земята ази пакъ
Принаднахъ за да слушамъ какъ
Вълшебни чудни гласове
Шентяхъ сладко съ листовете.
Като че думата имъ бѣ
За тайнитѣ въ земля, небе ;
И вси природи звукове
Тукъ сливахъ се, както въ хоръ,
Въ тържественъ, чуденъ разговоръ ;
Но само въ тозь хвалебенъ часъ
Нечухъ човѣшкии горди гласъ.
Туй все, що чувствувахъ тогазь,
Исчезна вѣчь — но, отче драгъ,
Сега го прѣживявамъ пакъ
Съ расказа си. Въ туй утро бѣ

Тѣй чисто синето небе,
Че простий и прилѣженъ глѣдъ
Слѣдилъ би ангелскій полѣтъ —
Така прозраченъ и дълбокъ
Бѣ равносилний сводъ високъ ;
Очи си въ него впивахъ азъ,
Догдѣ пекѣтъ въ полдневний часъ
Мечти обайни разори
И силна жажда въ мѣнь турн.

XII.

..Тогазъ отъ тоя връхъ високъ
Почнахъ да слизамъ къмъ потокъ.
О храстые хващахъ се съ ржѣ,
По плочи хлѣзгахъ се съ крака.
По нѣвга камъкъ къмъ вода
Търкулваше се — и бразда
Отъ прахъ подиръ му стълбъ се вий,
А той отскокне и се скри
Погълнать въ бързата вълна ;
И азъ висѣхъ надъ глѣбина —
Но младостъ буйна е безъ страхъ :
Отъ смъртъ се ази небояхъ !
Щомъ слѣзохъ стръмни стѣпала,
Насрѣща ми изподъ скъла,
Хладець отъ планинскіи води
Напълни болни ми грѣди ;
Съ вода си жажда утолихъ ;
Но тутакси въ въздуха тихъ
Приятенъ гласъ и стѣпки чухъ . . .
Завчасъ се скрихъ въ гѣстакъ глухъ.
Съ неволенъ трепетъ азъ обзегъ,
Повдигнахъ боязливо глѣдъ
И жадно вслушахъ се въ лѣса,
Отъ гдѣто идеше гласа.
Грузинка млада пѣйще тамъ
И сѣ по близо нанасамъ
Дохождаше гласа ѣ живъ,
Така свободенъ, простъ, игривъ,
Като че само да зове

Другари съ мили звукове
Приученъ бѣше. Пѣсенята
Бѣ проста, но въ онѣзь уста,
Съ блаженство пълно ме опи
И тъй въ ума ми се вгълни,
Че всѣка вечерь слушамаъ азъ
Невидмаъ духъ я пѣе съ гласъ.

XIII

«Съсъ праздна стомна на глава,
По стръмна урва, безъ трѣва,
Гризинка съ хубава снага
Вървеше тихо къмъ брѣга.
По нѣвга хлѣзне се и съ гласъ
Сама се смѣе — видѣхъ азъ
Премѣна проста бѣ на ней;
А на глава ъ тънкий платъ
Отъ було, мѣтнато назадъ,
Съ развѣни краища се рѣй.
Лицето ъ отъ лѣтний жаръ
Покрито бѣше съ златешъ шаръ,
И дневнитѣ горѣщини
Трентяхъ въ устни и страни.
Отъ поглѣда ъ, пълнеъ съ сласть,
Смутихъ се — и не помня азъ
Освѣтъ на стомната ека,
Кога се пълнеше въ рѣка,
И шумолене въ хрусталакъ. . .
Кога очі отворихъ пакъ,
Тя бѣше вече надалекъ;
Съ походъ приятенъ, тихъ и легкъ
Вървеше права катъ тополъ. . .
И близу надъ прохладний долъ,
Гдѣ сѣвга носятъ се жъгли,
Видѣхъ скрѣпени на скали
Два дома; а надъ простъ куминъ
Издигаше се пушакъ сийнъ.
Като че оцъ я виждамаъ какъ
Врата бутна тя и презъ прагъ
Престъпни и загвора пакъ. . .

— Ти, старче, моята тѣга
Неможешъ я разбра сега;
Па даже и да би можахъ,
Менъ щѣше да мий много жалъ:
Тѣзи спомѣни, що менъ горжтъ,
Съсь мене нека да умрѣтъ.

XIV

«Отъ ношния трудъ уморенъ
Лѣгнахъ подъ сѣнка. Сънь блаженъ
Невслно очи ми схвана. . .
И пакъ грузинката въ сѣня
Видѣхъ съ красивата снага.
И чудна, сладостна тѣга
Обзѣ пакъ моитѣ грѣди.
Въ борба да вдѣхна катъ преди,
Пробудихъ се но вѣчь луна
Сняйше съ блѣда свѣтлина;
Подиръ ѝ само облакъ смѣлъ,
Прегрѣди жадни распрострѣлъ,
Подгонваше я катъ орелъ;
Свѣтътъ бѣ тъменъ, мълчаливъ;
И само снѣжниятъ покривъ
На планинскитѣ вършини
Предъ менъ лѣщеше въ мрачини,
И плискаше потокътъ въ брягъ.
Въ познатий домъ, всредъ ношния мракъ,
То затрепти огнець, то пакъ
Гаснѣй и губи своятъ пламъ:
Така звѣздица съ ярка мощъ
Гаснѣй на нѣбе въ полунощъ!
Желаяхъ . . . но да влѣзж тамъ
Несмѣяхъ. Само цѣль една,
Да идж въ бащина страна,
Имахъ — и съ твърдостъ издържахъ
Глада, до колкото можахъ.
И въ пѣтъ се пустнахъ слабъ и нѣмъ.
Но скоро въ гѣстий лѣсъ голѣмъ
Изгубихъ планинитѣ азъ
И пѣти бъркахъ всѣки часъ.

XV

«Наирадно, въ своя ядъ голямъ,
Съ ржцѣ раскжсновахъ тукъ-тамъ
Обвитий въ пануя трънакъ :
Сѣ вѣченъ лѣсъ бѣ околъ пакъ,
По гжстѣ и страшень всѣки мигъ;
И, катъ видѣние безъ лнкъ,
Презъ храститѣ на всѣки клонъ,
Съ тьмни очи миллионъ,
Второчваше се въ мень. ноцѣта . . .
Пстръпнахъ азъ отъ страха,
И по дърветата почнахъ
Да се кѣтеря — но зърнахъ
Че тоя лѣсъ къмъ края бѣ
Опрѣнъ о сѣмото небо.
Тогаяъ се долѣ озовахъ
И въ метжпленье заридяхъ ;
Гризяхъ земята азъ отъ ядъ
И сълзи, сълзи като градъ
Потекоха по хладна прѣсть
Но вѣрвай. отче, тоя кръсть,
Азъ чужда помощъ нежелыхъ,
Понеже чуждъ за всички бяхъ ;
Дору ако минутенъ викъ
Ипустняхъ, вѣрвай, въ сжщий мигъ
Отскубналъ бихъ тозъ слабъ язигъ.

XVI

«Ти помнишь, че отъ дѣтство оцъ
Сълзи и плачь не зная азъ,
Но, вѣрвай отче въ тази ноцъ
Като дѣте плакахъ съсъ гласъ.
И кой узна? Свидѣтель бѣ
Лѣсътъ и мѣсець на небе!
Облѣна съ лунна свѣтлина,
Покрита съ мжхъ и дребна прѣсть,
И окржжена околъврѣсть
Съ непроницаема стѣна,
Поляна бѣ прѣдъ мень. Надлжжъ

По нея сѣнка извѣднѣжъ
Мѣрна се съ вскра отъ разгаръ
На два огъня . . . послѣ звяръ
Искочи, въ пѣсака лѣгна
И въ знагъ да играй почна.
То бѣ пустинний вѣченъ гостъ —
Могъщый барсъ. Той жива кость
Гризеше, изъ носа прѣхти,
Опашка мѣта и върти,
Къмъ пълний мѣсець кривавъ глѣдъ
Обръща често, и отврѣдъ
По него косъмътъ лѣщи.
Въ рѣка съ чепелясть кривакъ,
Азъ чакахъ боятъ катъ юнакъ,
Пламналъ отъ жажда за борба
И кръвъ . . . да, саѣпата сѣдба
Изъ други нѣтъ поведе менъ . . .
Но днесъ азъ въ туй сѣмъ удѣбенъ.
Че въ бащинъ край, въвъ бой за кръвъ,
Азъ щѣхъ да бѣдѣ съвга прѣвъ.

XVII

«Азъ чакахъ. Ей че въ ноцний мракъ
Подуши той наблизу врагъ,
И вой протяженъ, жаловить,
Катъ стонъ се чу . . . подиръ сърдитъ
Да рие пѣсака почна,
Въстраи се и пакъ легна.
Отъ първия му скокъ връзь менъ
Азъ щѣхъ да бѣдѣ побѣденъ. . . .
Но азъ го предопрѣдихъ,
Ударѣтъ мой бѣ вѣренъ, скоръ:
Съ кривака си, като съ топоръ,
Широкя му лобъ разбихъ . . .
Той злѣ запѣшка катъ човѣкъ,
И се таркулна не далекъ.
Макаръ отъ лоба кръвъ порой
Течеше, пакъ са дѣгна той
И бой почнахме, смъртенъ бой!

XVIII

Върху гредитѣ ми тогазъ
Хвърли се той, но рече азъ
Успѣхъ въ уста му съ бързота
Да втична, дваждъ да завърта
Оржъето си . . . той зави,
Угасли сили поднови,
И ние, както змѣя два,
Запладохме се ; слѣдъ това,
Паднахме долѣ и въ прахътъ
Съсъ яростъ слѣдвахме боятъ.
И азъ бѣхъ страшенъ въ онзи мигъ :
Катъ барса имахъ зълъ, дивъ ликъ,
Катъ него вияхъ и пламтѣхъ,
Като че самъ азъ ражданъ бѣхъ
Въ онѣзи хладни лѣсове,
Всредъ барси. вълци, звѣрове.
Стори ми се дору че тукъ
Забравихъ хорскій гласъ и звукъ
И вѣвъ греди ми се роди
Тозъ дивъ и страшенъ звѣрски викъ,
Като че дѣтскій ми языкъ
Другъ гласъ не е зналъ преди. . .
Но моятъ врагъ се побѣди,
Затръшка се, душа забра,
Здави ме ощъ веднажъ и спря. . . .
Очи му съ неподвиженъ зракъ
Блѣснахъ грозно и въ часътъ
Закрихъ се за сѣтенъ пѣтъ
Но съ тържествующий си врагъ
Смъртъта посрѣща катъ юнакъ,
Що пада храбро вѣвъ боятъ! . . .

XIX

„По мене виждамъ ощъ стоятъ
Слѣди отъ барсови ногтѣ;
Не сж зарасли още тѣ,
Но пресний покривъ на прѣстъта.
Ще ги овлагни и смъртъта

Навѣки ще ги оздрави.
Страстьта и този пжтъ надви:
За тѣхъ забравихъ азъ тогазъ
И, сили катъ събрахъ, завчасъ
Въ лѣса исчезнахъ съ бързота. . . .
Азъ смѣло споряхъ съ участъта,
Но тя се смѣеше надъ мевъ!

XX

«Свършихъ лѣса. Ей божий день
Свѣтна и съ блеска си закри
Звѣзди безъ брой. Лѣсътъ, гори
Зашумолихъ, а далекъ
Село запуши. Сжтень ебъ
Въ долина съ вѣтра пробѣжа
Азъ сѣднахъ, вече неможѣхъ,
И вслушахъ се; но съ вѣтра той
Млѣкна Тогазъ взорѣтъ свой
Обърнахъ бързо навсѣдъ:
Тозъ край познать ми се видѣ.
Истрынахъ азъ и неразбрахъ,
Че много близу тука бѣхъ
До мѣнастирскитѣ стѣни.
Че безполѣзно толкозъ дни
Азъ таянъ замисель имахъ,
Търпѣхъ, мжчихъ се и страдахъ,
И то защо? — Цвѣтущъ и младъ,
Едва поглѣдналъ божий свить
Съ пречудната му красота,
Едва вкусихъ въ волността,
Да умрѣ въ крѣпка младина,
Съ тжга за бащина страна,
Въ мечти измаменъ и презрѣнъ! . .
Въ съмѣнѣе още потоенъ,
Но въ тозъ мигъ колоколенъ звѣнъ
Раздаде се пакъ въ тишина,
И всичко ясно ми стана . . .
О, азъ познахъ го въ сжщій часъ!
Отъ дѣтство още тоя гласъ
Пропждаше ми изъ умѣ

Видення живи за дома,
За мойтѣ ближни мойтѣ родѣ,
За степний, воленъ, дивъ животѣ,
За бързи коне катѣ стрѣли,
За чудни битки по скали,
Гдѣ вси другари катѣ орли,
Надвихъ ази до единъ! . . .
Но тукъ ослабналъ и саминъ,
Безъ плачъ и ропотъ слушахъ азъ,
И мисляхъ тоя звученъ гласъ
Ечи изъ моего сърдце,
Като че нѣкой, съ чукъ въ ржцѣ
Ме бийше силно по грѣди.
И смѣтна мисль се роди,
Че нивга въ родно мѣсто пакъ
Не ще да стѣпи мойтѣ кракъ.

XXI

Заслужвахъ тозъ ударъ свирепъ!
Могъщия конь въвъ чужда степь,
Катѣ хвърли конника страхливъ,
Кѣмъ родний край съ походъ игривъ
Ще найде правъ и краткъ пакъ . . .
Предъ него що съмъ азъ сега?
Желанья силни и тѣга,
Що тѣй жестоко ме ядѣтъ
И мжчатъ болни ми грѣди,
Ще загинѣтъ безъ слѣди;
Разбрахъ азъ вече, че тѣ сѣ жаръ
Безсилецъ, пусть, на умъ въ разгаръ,
Игра на мойтѣ мечти,
Затворѣтъ, отче, виждашь ти,
Наложилъ е печать на менъ . . .
И днеска азъ, въ легло прострѣнъ,
Личъ на овзи неженъ цвѣтъ
Въ затворъ що расалъ слабъ и бледъ,
Що дълго врѣме испускалъ
Листата си и сѣ чакалъ
Лучи живителни и свѣтъ.
Той най настѣ билъ отиѣтъ

И турнать въвъ градинска пръсть
При розитѣ, гдѣ околвърсть
Дшало сладость и животъ . . .
Но що? Едвамъ децътъ изгрѣлъ,
Цвѣтътъ нещастень изгорѣлъ
Подъ ясниаъ небесень сводъ . . .

XXII

Катъ него паеше и менъ
Безжалостниаъ топълъ день.
Напраздно криахъ подъ трѣва
Утрудената си глава ;
Катъ тръне сухитѣ листа
Бодѣха моего чело,
А на лице ми друго зло:
Сама земята въ тѣзъ мѣста
Пламтѣше катъ огньъ голямъ,
И отъ горѣщиятъ ѝ пламъ
Хвърчахъ искри. Надъ скали
Лѣтеше димъ. Отъ тозъ огньъ
Свѣтътъ бѣ падналъ въ тѣжакъ сьнь.
Като отчаянъ человекъ.
Нечуваше се тукъ ни екъ
Огъ птича пѣсень, ни гласецъ
Отъ сѣвга веселий шурець,
Нито журченъе отъ струя,
Катъ дѣтски шопотъ . . . Салтъ змня
Шумяща въ сухий буренакъ,
Съ напъстрень, лѣскавъ, жгдѣ грѣбнакъ
Отъ златенъ надписъ, кадъ синджиръ
Плъзеше тихо, а подиръ
Въ игра подъ пѣсакъ се зарий
И въ тройно колело се свий ;
То пакъ, опарена отъ жаръ,
Замѣташе се въвъ разгаръ
И бѣга въ храсте да се скрии . . .

XXIII

«И всичко тихо, ясно бѣ

Надъ мене въ синето небе.
Далеко само, всрѣдъ зари,
Чернѣяхъ се днѣ гори,
И мнѣнастерьтъ задъ една
Стърчеме съ жбеста стѣна.
Катъ съ поясъ сребрениъ и длъгъ,
Куръ, Арагва съ водениъ кръгъ
Опасватъ острови отворедъ
И тихи макаръ тѣ на глѣдъ
Течахъ шумно . . . но отъ тѣхъ
Съвсѣмъ далеко азъ стоѣхъ !
Да стана ѡскахъ, но въ часътъ;
Зави ми се въ глава свѣсътъ;
Да викиж — сухий ми языкъ
Бѣ схванатъ, нѣмъ. Въвъ тоя мигъ -
Умирахъ азъ . Предсмъртенъ бредъ
Закри свѣта отъ моя глѣдъ.
И ази мисляхъ, че дѣжахъ
Въ рѣка дълбока и че бяхъ
Посредъ таинствена мъгла,
Далечъ отъ болки и тегла
Съ журченъе хладната струя,
За вѣчна жажда катъ ми пѣй,
Въ гърди ми дойде та се влѣй
Око да мигиж се бояхъ —
Тжй сладко мило бѣ тогасъ
Отгорѣ си пакъ глѣдахъ азъ
Вълната тласкаше вълна,
И слънчевата свѣтлина
По сладко грѣйше отъ луна
И пѣстри рибки на стада
Съ лучитѣ въ бистрата вода
Играяха си между тѣхъ
Една приветлива видѣхъ
При мене близу катъ доде.
Грѣбнакътъ нешиъ на всждѣ
Бѣ съ луспи жълти позлатенъ.
Игра, въртѣ се тя надъ менъ,
И взорѣтъ ѡ зеленоокъ
Бѣ тжжно-неженъ и дълбокъ ,
Вълшебна рибка бѣше тя:

Съ гласецъ обаянъ ми шептя
Пречудни рѣчи, послѣ съ гласъ
Запѣише, мълкнеше завчасъ,
И казваще ми :
 «Тукъ при менъ
 Дѣтенце сѣвга стой,
 Животъть воденъ е блаженъ
 Тукъ хладъ е и покой.

*

«Сестритѣ си ще свикамъ азъ
Хоро да завъртишь,
Да влѣемъ радость въ тебъ и страсть
Въвъ твоята духъ мжчимъ.

*

«Засни! легло ти й меeko тукъ
И покривтъ свѣтливъ,
Ти вѣчно подъ вълшебенъ звукъ
Ще спишь блаженъ, щасливъ.

*

И казувамъ ти, не тая:
Тебъ любж, ангель мой,
Кать тази волната струя,
Като живота свой! . . .
 « И дълго, дълго слушахъ тукъ
И мисляхъ си че рѣчний звукъ
Пригласяше съсь ропоть тихъ
Забравихъ се и въ моя глѣдъ
Завчасъ угасна божий свѣтъ
И сънь замѣсти глушии бредъ . . .

XXIV

Така намѣренъ бѣхъ азъ тамъ . . .
Останалото знаешъ самъ.
Свършихъ. Вѣрвалъ ти — невѣрвалъ
Не маря. Само ми е жалъ,
Че моятъ трупъ, подиръ смрътъта,
Не ще да гние въвъ пръстъта
На бащицъ край. И повѣстъта

На мойтѣ мжки и тегла
Не ще възбуди жалостѣта
Що вашитѣ сбърчени чела.

XXV

Прощавай, отче, виждашь ти,
Ржка ми въ огънь какъ пламти . . .
Тозъ пламъкъ, знай, отъ дѣтство ощъ
Отъ мене черпи своята мощъ ;
Но днесъ катъ нѣма вечъ храна
Сърдце прогаря съ бързна,
За да се върне въ другий свѣтъ
При Оня, що на вси по редъ,
Законно отъ престола свой,
Раздава мжки и покой . . .
Но сѣ едно ми й, даже въ рай
Въвъ тоя свѣтъ , далеченъ край,
Душа ми да се пресели . . .
Уви! за тъмнитѣ скали,
Въ дѣтство дѣто съмъ игралъ,
И рай и вѣчностъ бихъ презрялъ! . . .

XXII

« Когато да умпрамъ азъ,
И, вѣрвай, близу й този часъ —
Кажь тѣло ми да прострѣтъ
Въ градината ми, гдѣ цвѣтѣтъ
Акаций бѣли съ растъ голямъ . . .
Трѣвата тѣй е гжета тамъ
И пресний въздухъ миризливъ,
И тѣй прораченъ и свѣтливъ
Предъ слънцето листецъ игривъ!
Желая тамъ да сложатъ менъ
Снянето на свѣтлий день
Ще ме опий въ послѣдний часъ:
Отъ тамъ се вижда и Кавказъ!
Той, може би, отъ върха свой
Прощаленъ поздравъ за покой
Ще прати съ хладенъ, тихъ вѣтрещъ. . .

Тогазъ предъ смъртния конецъ
Ще чуй пакъ азъ родний звукъ!
Ще мисля, че надвисналъ тукъ
Приятель или братъ ми милъ
Съ ржка пота ми е отрилъ
И шенне сладко въ полугласъ
За мойта бащина страна . . .
И съ тая мисль тихо азъ
Ще зàснж безъ да прокълна! . . .

Д. К. Поповъ.

ТАЙНАТА НА ЩАСТИЕТО.

ОТЪ

Жанъ Ришпенъ

(Прѣводъ отъ французски).

Едно врѣме имало единъ царъ и една царица; тѣ били много добри и много мѣдри, и имали само една дъщеря прѣкрасна и вселителна княгиня. За това и я обичали нѣжно и отъ все-сърдце желали да я видятъ най-честита на свѣтътъ, както що била тя и най-свършенната. То е доста казано за да си въобразите тѣхното голѣмо затруднение, кога дошло врѣме да я задомятъ.

Тѣ дълго, прѣдълго врѣме размислявали, прѣди да се спратъ върху оние главни бвлѣзи, по които да распознаятъ зетьтъ на своитѣ мечти.

Че той трѣбвало да е младъ, хубавецъ, то отъ само себе се разбира, и несъмнѣнно тѣ много държали на това, защото си припомвали, колко нѣкога сами се сж плѣнявали отъ взаимната си младость. При все това, понеже били мѣдри, тѣ знаели, че *не то съставлява щастieto* и истински желали да дадатъ на дъщеря си сжиругъ, който да усигури нейното нълно блаженство.

Но въ що се състои това блаженство? Тѣ размислявали още дълго, дълго врѣме.

Царицата, която била възлакомичка и вѣща по готварството, се изразила единъ день така :

— Мой драгий, не ти ли се прѣдставява едно ѣстие, което никогажъ не омръзва, като емблема на щастието ?

Царьтъ пакъ, който не мразялъ добритѣ вина, ѝ отговорилъ :

— Твърдѣ е възможно, моя драга, само съ условие това ѣстие да е полѣно съ нѣкое питие, прѣдпочитително прѣдъ всичкитѣ вина.

И тъй като на старини билъ станалъ малко нѣщо скжперникъ, той подиръ малко съ въздишка проговорилъ :

— Разбира се, стига то нищо да не сгрува !

Царицата, която всѣкога се отличавала съ поетическа душа, добавила :

— И особенно ако при завършване на трапезата се пѣе по една хубава пѣсень.

Изведнаждъ царьтъ приелъ вдѣхновенъ изгледъ и радостно извикалъ :

— Та ние най-послѣ намѣрихме, драга моя, що търсихме, да, това е то. Онзи ще стане нашъ зеть, който одѣлтвори за нашата любезна дѣщеря всичко онова, що ние токо сега изрекохме; защото ние опрѣдѣлихме пълното блаженство, безъ да обърнемъ сами на това внимание.

— Азъ не те разбирамъ, го прѣкъснала царицата.

— Остави ме, остави, душо моя, казалъ царьтъ. Не ме смущавай, догдѣ не съставя прокламация. Видящъшъ! . . . Охъ! да не сме забравили нѣщо? за Бога, да. Тойзи зеть трѣбва освѣнъ казаното да има и твърди начала за възпитание на дѣцата. Това послѣдне и онова което по-прѣди изказахме,—и всичко ще бѣде свършено. Каква радостъ, драга, каква радостъ!

И добрийтъ царъ почналъ да се върти, послѣ прѣгърналъ до-брата очудена царица. Подирѣ се оттеглилъ въ кабинета си за да напише своята прокламация.

На зараньта единъ глашатай, прѣдшествуемъ отъ тръби и литаври, припуска въ градътъ и на всѣкий кръстопътъ разгръща голѣмъ единъ пергаментъ и чете слѣдующето :

— Кѣмъ всички мои добри вѣрни поданици, азъ, добрий имъ царъ, явявамъ за знание, че моята единствена дѣщеря, най-дивната княгиня на свѣтътъ, утрѣ на пладне ще встъпи въ законенъ бракъ съ оногова (отъ каквото происхождение той и да бѣде, стига да е младъ, хубавъ и доблестенъ, залябевъ въ нея и любимъ отъ нея), който поднесе като вено на моего горѣспоменато лю-

безно чедо тайната на щастieto, а подъ нея азъ разумѣвамъ отговоръ на въпроситѣ що слѣдватъ: Коя е най-добра огъ хранитѣ, която никога да не омръзва? Кое питие е прѣдпочтително прѣдъ най-въсхитителното отъ вината? Кое е най-вѣрното срѣдство да се не прахосватъ никакъ богатствата? Коя е истинската метода добръ да се възпитаватъ дѣца? Коя е най прѣкрасната отъ всички пѣсни? Това е радостната вѣсть, която азъ, добрийтъ царъ, явявамъ за знание на моитѣ добри и вѣрни подданици.»

Въ цѣлото царство тая прокламация изтрѣгна ключъ на тържество и етузвазъмъ. Залибенитѣ въ княгинята се броели съ хиляди, толкова тя била хубава! Или подобръ да се каже, цѣлитъ народъ билъ въ нея залибенъ. И всѣкий починалъ да се надѣва, че побѣдата ще остане за него.

Но скоро, скоро, трѣбвало да се бърза съ изнаимѣрвание на отговоритѣ. За утрѣ! работата е за утрѣ! Въ една минута, улицитъ и площадитѣ опусгѣли. Всички потеглили къмъ домоветѣ си да мислятъ.

Оние, които вѣрвали че притежаватъ нѣкоя отъ тайнитѣ, и отъ страхъ да не би нѣкакъ прѣди врѣме да имъ я изтрѣгнатъ, заключвали вратитѣ си и всѣкакъ се заграждали отъ любопитството на женитѣ. Нѣкои дори си запушвали устата, до толкова ги борѣло желание да говорятъ.

Най-гордѣливи, най-увѣрени въ себе си били оние, които минавали за майстори по нѣкоя отъ исканитѣ специальности. Тѣ си казвали:

О! азъ, въ моето искусство, не се съмнѣвамъ ни най-малко, че ще въстѣржествувамъ; останалото е нищо! Защото моето искусство е всичко.

* * *

И ето, всѣкий едноврѣменно заетъ да си доказва прѣвъсходството на онова, което знае и погълнатъ цѣлъ да измѣдри отговори за онова, което никакъ не знае. Готвачи прѣдъ пещитѣ си, хлѣбари прѣдъ пититѣ си, сладкари съ носъ надвѣсенъ надъ своитѣ компоти, винари съ ржка връхъ своитѣ чепове, мечтаятъ за водение на смѣтки и за педагогия. Банкири се мжчатъ да ритмуватъ и да измислятъ нови соуси. Учители и философи търсатъ незнайни сладка, невиджани паштета, нечуги питиега. Поети и музиканти турятъ въ ритми далъ-зелъ, и тананикатъ или декламираатъ *искусството какъ да се пострѣчатъ разносцитѣ*.

А пакъ въ това врѣме княгинята, отъ която скрили прокла-

мащията на баща ѝ, нито се съмишлявала, че цѣлѣй народъ се надпрѣдваря, какъ да я направи честита. Тя прѣспокойно си спала оная нощъ, която прѣдшестгивала на рѣшителниятъ день. Станала рано, както подобава на една добродѣтелна княгиня и тръгнала сама да се расходи по обширната градина, съ нозѣ потънали въ роса, съ очи обърнати къмъ зората.

Най-сѣтѣй часовникътъ на палатътъ ударилъ пладне.

— Що това означава? казалъ царътъ, като се появилъ заедно съ царицата на балконътъ. Като че ли душа нѣма на площадта.

— То е истина, отговорила царицата, я да идемъ да видимъ изъ градътъ.

— Да идемъ, отвърнала добриятъ царь

Тѣ слѣзли и наистина намѣрили площадта прѣдъ замъкътъ, а тѣй сѣщо и всичкитѣ други площади и улици съвършено пусти. Градътъ ималъ изгледъ на измрѣлъ градъ.

— Да не влѣземъ ли въ къщитѣ? казала царицата.

— Да влѣземъ, склонилъ царътъ. По къщитѣ тишина ужасоуща. На всѣду хора, или съ прѣстъ на чело или съ чело въ рѣцѣ, — размишляватъ.

И въ онова врѣме, когато готвачи, хлѣбари и сладкари продажжавали да търсатъ ненамѣримото срдѣство, какъ да се не прехосватъ богатства или какъ добръ да се въспитаватъ дѣца, его че соусятъ прокиснали, пититѣ изгорѣли на вжгленъ, компотитѣ се прѣварили. Догдѣ банкиритѣ ритмували, крадци испочупили тѣхнитѣ каси Догдѣ поетитѣ и музикантитѣ искали да се прѣвърнатъ въ готови отговори на всички въпроси, паяци исплѣли мрѣжи всрѣдъ свититѣ рѣцѣ на мечтателитѣ и нлѣхове прѣгрзили струритѣ на тѣхнитѣ цигулки. Учителитѣ оставили да избѣгатъ всичкитѣ хланега, които вмъкнали по една лула отъ хартия въ устата на философитѣ. Най-послѣ въ всичкитѣ зимници, захлѣстнатитѣ винари забравили да завъртатъ человетъ на шурацитѣ и тѣсно гледали, какъ благитѣ имъ вина се проливатъ наземъ.

— Горко ни! извикалъ добриятъ царь. Защо поисквахъ азъ отъ тѣзи бѣдни хора тайната на щастнето?

— Уви! прошепнала добрата царица, може би щастие никакъ и да не сѣщ-ствува!

И печално тѣ се повърнали по пѣттѣ къмъ замъкътъ, и двоичната плачешкомъ си казвали, че тѣхната любезна дѣщеря нѣма да има сжпругъ, какъвто тѣ желаятъ за нея.

Когато стигнали до градината, съзрѣли, че тя се връща отъ расходка и че радостно се спуща къмъ тѣхъ.

— Ахъ! извикала тя, като ги цалувала, каква прѣкрасна утрень азъ прѣкарахъ.

— Прикажи ми всичко, казали царьтъ и царицата.

И тя имъ разказа.

* * *

— Е тамъ, тамъ, въ дълбочината на голѣмата градина, при самата гора, тя намѣрила единъ младъ циганинъ, заспалъ подъ едно дърво. Той се пробудилъ и ѝ рекълъ.

— Колко си хубава!

И тутакси двамата се пуствали да бератъ цвѣтя и да гонятъ пеперуди. И така се скитали дълго, и прѣзъ цѣлото врѣме, младийтъ циганинъ пѣлъ. Послѣ срѣщнали купъ дѣца, избѣгали отъ училището да си играятъ въ гората, и той ги научилъ на една игра, пѣсенъта на която се завършвала:

Тичайте, играйте

Волни и безгрижни.

Вечко, що се знае.

Очитъ го даватъ..

Младини по-буйни, старини по-мѣдри.

Изведнаждъ се показалъ вълкъ и дѣцата се пуствали да бѣгатъ. Но младийтъ циганинъ се хвърлил срѣщу звѣрьтъ, хваналъ го за муцуната и му изкрѣщялъ на ухото:

Вълчо, вълчо, за какъвъ ме смѣташь?

Иль не виждашь збитѣ ми остри.

И вълкътъ го отминалъ и мърдналъ съ опашъ, като куче, кога намѣри свойтъ стопанинъ.

Сѣтиѣ, като се уморила отъ много тичание, тя сѣднала съ думитѣ:

— Какво злощастие, че нѣма що да си похапнемъ!

— Какъ да нѣма! отговорилъ циганинътъ.

И взмъкналъ изъ торбата си корица хлѣбъ, послѣ свилъ тръбичка отъ крѣмовъ листъ и ѝ гребналъ вода отъ извѣрьтъ. Никого въ живота си княгинята не била нито ѣла, нито пила нѣщо по-добро.

— Защо тѣй? тя го била запитала.

— Защото си гладна и жедна, билъ отговорѣтъ на циганина.

Сѣтиѣ той ѝ изпѣлъ пѣсенъта която казва:

Когато ти гърлото прѣсѣхне,

Най-разхладява водата прѣсена,—

Дори горчива тя ще ти е сладка,
Като сълзитѣ на твойта майка.

Въсхатена отъ добриятъ обѣдъ и трогната отъ тая пѣсенъ,
тя поискала да даде кисията си на циганинцѣтъ. Но той отре-
кълъ да я приеме.

— Земи я, земи, му казала тя, и гледай да я пазвишь, тя
може да ти дотрѣбва.

— Не, билъ неговийтъ отговоръ, не, защото единственното
срѣдство нѣщо добрѣ да спазвишь е да го нѣмашъ.

Тогава той нѣжно цѣлуналъ княгинята, и съ смѣхъ избѣгалъ.
Тя го викала да се върне за да ѝ испиѣ още нѣкоя пѣсенъ.

— Коя? попиталъ той отъ далечъ.

— Най-хубавата.

— Моята най-хубава пѣсенъ, отговорилъ той, е оная, която
азъ ще съставя утрѣ и която тоя часъ още не зная.

И подиръ това изчезналъ за винаги. Но тя не тѣжила, защото
никога нѣмало да забрави ни тая срѣща, ни тойзи обѣдъ, ни тѣзи
пѣсни на волна птица, нито пакъ оная цѣлувка.

— А! моя душо, извикалъ добриятъ царь, като се хвърлилъ
на шията на царицата, да бѣде благословенъ Господь! Най-напоконъ
ние си намѣрихме зетьтъ.

— То е истина, драгий мой, отговорила добрата царица, като
цѣлунала добриятъ царь.

И веднага двамата съ безпокойство се обръщатъ къмъ кня-
гинята.

— Поне той трѣбва да ти е казалъ своето име?

— О, да, мои мили родители.

— Е, какъ го викатъ?

— Името му е: *Оня-що-се-не-връща*.

НЕБОТО И ЗЕМЯТА.

Заритѣ идатъ отъ небето,
Отъ тамо пада бѣлъ снѣгътъ,
Отъ тамъ надѣжди за сърдцето
И свѣтли мисли за умътъ.

Отъ тамъ чака упованіе
Всѣкѣи нещастенъ человекъ,

Ако му нѣщо тежко стане
Отъ тамъ с'молитва чака лѣкъ.

Но що отива на нагорѣ?
Що праща человекътъ клѣтъ?
Едни въздишки, едно горе,
Една молитва безъ отвѣтъ.

ЕГМОНТЪ.

Трагедия въ петъ дѣйствія

ОТЪ

Иоханнъ Волфгангъ Гете.

(Прѣводъ отъ нѣмски).

Историческо въведение и критически анализъ на драмата.

I

Равнината при устията на Рейнъ и Шелда, която занимаватъ сегашнитѣ кралевства Белгия и Холландия, носящи заедно името Нидерланди, въ древностъ е била заселена отъ нѣколко различни плѣмена — едни галско произхождение, други германско; тамъ всекога сж господствували два языка, та и сега Валонитѣ говорятъ на французско, а Фламандцитѣ и Холландцитѣ на тевтонско нарѣчие. При Карла Великий тие двѣ страни признавали господството на императоритѣ; но когато феодалната система почнала да се распространява и развива, тамъ изникнали херцогства, графства, епископства и пр., владѣтелитѣ на които се опитали да се освободатъ отъ подчинение на императорската властъ. Отъ друга страна различни голѣми градове, като Гентъ, Брюге, Антверпенъ, Брюксель и др., които добили прѣзъ срѣднитѣ вѣкове голѣма важностъ съ своята търговия и промишленностъ, се опитали да спечелатъ извѣстни права и привилегии, както граждански, тѣй и политически; и успѣли въ това до толкова, щото гражданетѣ имали право да укрѣпаватъ и заграждатъ градоветѣ си съ стѣни, да избиратъ своитѣ управители и да рѣшаватъ дѣлата си въ събрания народни. Този периодъ е развилъ оная любовъ къмъ свобода, съ която се сж отличавали жителитѣ на Нидерланди. Всички отдѣлни провинции били независими една отъ друга; въ 14-то столѣтие, обаче, се захваща тѣхното обединение въ една държава, подъ единъ скиптръ. Филиппъ Смѣливъ, синъ на краль Иоаннъ французский, се оженилъ за наследницата

на графство Фландрия, и по тоя начинъ го присъединилъ къмъ херцогство Бургундия, което той получилъ отъ баща си. Фландрия става ядката на едно царство, което расте все по-вече и по-вече. При Филиппа Добрий били съединени, или съ купуване, или по наследство, или съ насилие, Намюръ, Брабантъ, Люнебургъ, Холландия, Зеландия и Хенегау съ херцогство Бургундия. На сина си той оставилъ почти цѣлитѣ сегашни Белгия и Холландия. Безпокойниятъ характеръ на Карла Смѣлий накаралъ го да прѣдприеме походъ срѣщу Швейцарцитѣ, гдѣто той и погиналъ. Единственната му дъщеря била задомена за ерцхерцогъ Максимилианъ, бждущий германский императоръ. Тѣхний синъ, Филиппъ, нареченъ Хубавецъ, се оженилъ за Испанската принцесса-наслѣдница Иоанна, дъщеря на Фердинанда Католикъ и Изабелла, отъ който бракъ е произлзълъ Карлъ, по-поздиръ прочутиятъ Германский императоръ Карлъ V. По тойзи начинъ чрѣзъ бракове се е създадала една отъ най-големитѣ империи въ историята, и отъ тукъ е пословицата : *Bella gerunt alii, tu felix Austria nube* (нека другитѣ водатъ войни, ти честита Австрия прави свадби). Господартъ, «въ чинто владѣния слънцето никога не захождало», скоро далъ на Нидерландцитѣ да разбератъ, че сж въ властта на единъ самодържавецъ глава; Карлъ се заелъ да укроти буйниятъ духъ на свобода въ Нидерландскитѣ си подданици и да искорени новата вѣра, която намѣрила между тѣхъ ревностни послѣдователи. Той налагалъ на тѣхъ произволни данъци, въ тѣхнитѣ градове поставилъ чужди гарнизони и упражнявалъ най-големи строгости срѣщу протестантитѣ. Той строго наказалъ дори родниятъ си градъ Гентъ, когато жителитѣ поискали да покажатъ, че се ползватъ съ конституционни права. При всичко това той билъ тѣй популяренъ между Нидерландцитѣ, тѣй лъститъ, на тѣхното национално щеславие, тѣй умѣялъ да ги првлече съ своитѣ межки обноски, щото прѣзъ животътъ му никакво общо движение противъ неговата властъ не било възможно. Работата приема съвсѣмъ другъ обратъ, когато го наслѣдилъ синъ му, Филиппъ II, чистъ Испанецъ въ най-лошитѣ си черти : мълчаливъ, гордъ, фанатикъ. Нидерландцитѣ го мразили за неговий мраченъ характеръ и се страхували отъ неговий деспотизмъ. Той натуралъ навсѣждѣ испански гарнизони, усилилъ строгоститѣ срѣщу протестантитѣ и съ това нарушилъ най-главнитѣ права на Нидерландцитѣ. Но за добрачестъ Нидерландската аристократия не се отдѣлила отъ народътъ, и скоро се явява на чело срѣдъ поборницитѣ на народнитѣ правдини. Главнитѣ участници въ тая борба, по происхождение, богат-

ство, санъ, влияние и патриотизмъ, сж тронца великожи: Егмонтъ, Хорнъ и Вилхелмъ Оранскій.

Ламоралъ, графъ Егмонтъ, почналь своята карьера като пажъ при дворець на Карла V, съ милостята на когото се е ползувалъ въ най-висока степенъ. На деветнадесетата си година той вече командува единъ отредъ легка кавалерия, участвува въ походътъ на Карла противъ Берберитъ и още тогава е билъ отбѣлзванъ отъ императора като блѣскавъ офицеръ. Въ 1544 г., когато Егмонтъ празнувалъ своето бракосъчетание съ графиня Сабина Баварска, той билъ възвисенъ въ санъ Имперскій свѣтъникъ и шамбеланъ, а слѣдъ двѣ години самъ Карлъ му окачилъ важниѣтъ, съединенъ съ грамадни права, орденъ Златното Руно, въ онзи сжщъ день, когато тойзи орденъ е билъ даруванъ и на Алба, бѣдущий върлъ врагъ на Егмонта. Войната между Франция и Испания, слѣдъ отричанieto на Карла отъ прѣстолътъ въ полза на сина си Филиппа II, дала на Егмонта възможность да покаже на дѣло свойтъ воененъ гений. Въ 1555 г. като началникъ на легката конница, той спечелилъ при Сенъ-Кентенъ голѣма побѣда надъ Французитъ, прѣдводими отъ коннетабълтъ Монморанси. Филиппъ, пристигналъ на другий день слѣдъ бойтъ, лично поздравилъ побѣдителтъ за великиѣтъ подвигъ. Още по-голѣмо поражение нанесълъ Егмонтъ на Французитъ подъ началството на маршала де Терма при Гравелинъ. Макаръ че тия побѣди принесли полза на Испания, а не на Нидерланди, тѣ направили Егмонта извънмѣрно популяренъ между неговитъ съотечественици. Тая негова военна слава имъ давала възможность да се мѣрагъ съ високомѣрнитъ Испанци, които отъ своя страна силно завиджали на Егмонта. Освѣнъ това той притежавалъ и други качества, които го правили любимецъ на народътъ и войската: потомъкъ на старъ и благороденъ Нидерландскій народъ, богатъ и щедъръ, хубавецъ и любезенъ, и въ сжщо врѣме горѣщо привързанъ къмъ своето отечество и неговитъ свободни учреждения. Тая популарность накарала Фалиппа, макаръ че той подозиралъ и тайно ревнувалъ за побѣдата при Сенъ-Кентенъ, да го назначи за губернаторъ на Фландрия и Артуа и държавенъ свѣтъникъ. Народътъ, обаче, това не задоволява, —той е чакалъ, че Егмонтъ ще бѣде назначенъ за регентъ или управителъ на всички провинции, които съставяли Нидерланди. Но Филиппъ рѣшилъ иначе: на това мѣсто той назначилъ сестра си Маргарита Пармска. Маргарита била незаконна дъщеря на Карла отъ една Фламандка. Карлъ се погрижилъ да ѝ даде прѣвѣснодно за онова врѣме възпитание. Надарена отъ природата съ силенъ умъ, мжжественна, величественна външность, гордъ, енергическій харак-

теръ, тя била прочута наѣздница и ловчийка, а животътъ при двороветъ я направилъ искусна въ дипломацията. Тя два пѣти е встъпвала въ бракъ, изпърво за Александръ Медичи, а подиръ неговата смъртъ за Оттавио Фарназе Пармский. При такива качества, струвало се, като че тя е най-подходящото лице за трудниятъ постъ, управителка на Нидерланди, още по-вече защото народътъ не можалъ да гледа на нея като на чужденка.

Задачата на новата управителка не била отълеснитъ, ней прѣдстояло да спре онова религиозно движение, което се распространило по цѣлата страна, отъ Калвинистическа Франция и Швейцария, и отъ Лютеранска Германия. Първата вземана отъ нея мѣрка за тая цѣль била да прибави къмъ четиритъ съществуващи до тогава епископства още нови тринадесетъ. Тая мѣрка никакъ не се харесала на Нидерландцитъ, но омразата за нея паднала върху главниятъ съвѣтникъ на Маргарита, кардиналъ Гранвелла. Егмонтъ, наедно съ Вилхелмъ Оранский и графъ Хорнъ отправили писмо къмъ Филиппа съ молба да не оставя такъва неограничена властъ въ рѣцѣтъ на кардиналтъ. Следъ дълги колебания и двоумѣния най-сѣтнѣ Филиппъ се съгласилъ да извика Гранвелла въ Испания, отгдѣто, той въ качеството си довѣренъ съвѣтникъ на Филиппа по Нидерландскитъ работи, не закъснява отново да отзове своето пагубно за Нидерланди влияние. Кралътъ заповѣдалъ на управителката да обнародва и приложи въ дѣйствиe по цѣлата страна декретитъ на Съвѣтътъ, които били отъ такова естество, щото управителката не се одързостявала това да направи. Тогава тя заедно съ Нидерландскитъ държавенъ съвѣтъ рѣшила да испратятъ Егмонта въ Мадридъ съ специална миссия до кралътъ да моли «да смегчи декретитъ и окаже милость къмъ свойтъ народъ.» Колко жалко самъ Егмонтъ е довѣривалъ на Испанцитъ, показватъ думитъ на историкътъ Мотлей: „Той (Егмонтъ) билъ придуженъ отъ мнозина свои познайници чакъ до Камбре. Прѣди да се раздѣлатъ съ пратеникътъ, тѣ съставили записъ, който запечатали съ кръвта си и прѣдали на графинята, неговата жена. Въ тойзи документъ, въ знакъ на тѣхната неизразима и особена обичъ къмъ Егмонта, тѣ общавали, че ако, прѣзъ стоението му въ Испания го сполѣти нѣкое зло, тѣ се кълнатъ като благородни хора и рицари на честта да отишътятъ на Гранвелла или на всѣкий другъ, който би станалъ причина на това“. Въ Мадридъ, обаче, направили такъвъ блѣскавъ приемъ на Егмонта и, кралътъ се отнесълъ къмъ него съ такова горѣщо чувство на лична дружба, като същеврѣменно му изразилъ своето пламенно желание за щастието на Нидерланди, щото Егмонтъ,

самъ неспособенъ на лицемѣрие, напълно повѣрвалъ въ благотѣ намѣренія на Филиппа. Скоро слѣдъ възврщанieto си, Егмонтъ шакаръ и да се убѣдилъ, отъ новитѣ распоряжания, въ двоеличността на Филиппа, все пакъ продължавалъ съ голѣма енергия да помага на управителката да се възстанови въ страната редъ. Щетно Оранскій го прѣдумва да прѣгърне напълно народното дѣло и да излѣзе внѣ отъ Нидерланди, Егмонтъ не скланя да подигне оръжие противъ свойтъ господарь; Оранскій заминува за Германия, а Егмонтъ, все увѣренъ въ милостята и справедливостята на кралтъ, си остави въ Нидерланди.

По него врѣме Филиппъ прѣдприелъ да искорени всѣкаква религиозна ересь въ тая областъ, за която цѣлъ и непрагилъ тамъ херцогъ Алба съ опитни испански солдати. Фернандо де Толедо, дюкъ де Алба е единъ отъ най-заблѣжителнитѣ пълководци по онова врѣме; още въ царуването на Карла V той е билъ отличенъ воинъ, но при Филиппа той достига до най-високи почести; чрѣзъ своята голѣма прѣданность къмъ краевеката особа, фанатическа привързанность къмъ католическата вѣра и абсолютното управление, извънредна енергия и скритность, той се въздига въ очитѣ на кралтъ и става неговъ довѣренъ съвѣтникъ, и за това той е билъ избранъ отъ Филиппа за усмиряването на Нидерланди. При пристиганieto на Алба, Егмонтъ отива да посрѣшне свойтъ смъртоносенъ врагъ 25 мили далечъ отъ Брюксель съ други четиридесетъ благородни. Първийтъ приемъ отъ страна на Алба билъ доста студенъ; но отъ послѣ, както той, тѣй и други висши испански офицери, се мжчили да смегчатъ първото впечатлѣние и му оказвали възшиши знакове на благорасположение и уважение. Довѣрието на Егмонта къмъ Испанцитѣ до толкова се усилило, щото той извикалъ изъ Германия свойтъ частенъ секретарь и успѣлъ да убѣди и графа Хорна да се върне въ Брюксель; нѣкои отдаватъ това слѣпо довѣрие на Егмонта на дружбата му съ незаконпорожденный синъ на Алба, донъ Фернандо де Толедо. — На 9 Септември 1567 г. Егмонтъ, Хорнъ и мнозина други аристократи присѣтствували на банкетъ у другъ единъ синъ на Алба, донъ Федрикъ де Толедо. Въ три часа пристигналъ пратеникъ отъ Алба съ покана на Егмонта и Хорна да дойдатъ у него за да разгледатъ нѣкои планове по укрѣпленията. Казватъ, че донъ Фернандо билъ пошепналъ на Егмонта да земе най-бързийтъ си конь и да се спасява. Фактътъ, обаче, е че тѣ сж отишли при Алба. Подиръ нѣколко часа прѣнния, щомъ херцогтъ получилъ извѣстие, че неговитѣ заповѣди сж изпълнени—сир. че секретаритѣ на Егмонта и Хорна заедно съ Антверпенскійтъ

кметъ сж арестувани, — той прѣкратилъ съвѣщанята, кѣго за повѣдалъ да изведатъ Егмонта и Хорна отъ разни врати. Дворецътъ въ това врѣме тихо билъ обиколень отъ петъ стотини испански солдати. Когато Егмонтъ минавалъ чрѣзъ градината, капитанъ Санчо д' Авила поискалъ отъ него на Алба саблята му. Принуденъ да се подчини на грубага сила, Егмонтъ подалъ саблята си, по не се удържалъ отъ да не каже нѣколко горчиви думи: «че съ тая сабли той много пжти е побѣждавалъ враговетъ на Негово Испанско Величество и че заслугитъ му сж достойни за по голѣма награда». Хорнъ е билъ тѣй сжщо хайдушки арестованъ. И двамата затворници били откарани въ Гентъ. Ужасъ се распространилъ по цѣлата страна; кралятъ не билъ не доволенъ, а радостта на Гранвелла се омрачавала само, че и Оранский не можалъ да се хване въ сжщиятъ капанъ. Слѣдъ сждъ, койго траялъ деветъ мѣсеца и прѣзъ което врѣме двамата графа били държани подъ строгъ затворъ, лишени отъ въздухъ и свѣтлина, раздѣлени отъ роднини и приятели, тѣ били докарани назадъ въ Брюксель 3 юний 1568 г. На утренята Алба прочелъ въ «Кървавийгъ Съвѣтъ», койго билъ нѣщо като военно сждилище смъртната прѣсжда срѣщу Егмонта и Хорна, съгласно съ върховната воля на Филиппа. Тѣ били обвиненъ въ измѣна противъ държавата. Прѣзъ нощта отъ 3 на 4 юний Егмонтъ билъ събуденъ отъ епископъ Ипериский, койго билъ наговоренъ да събощи за прѣдстоящата нему участъ. Въ сжщо врѣме съ нега миссия билъ оглашенъ при Хорна единъ свещеникъ. Филипъ Монморанси графъ Хорнъ е тѣй сжщо като Егмонта единъ отъ висшитѣ аристократи въ Нидерланди; той произхождалъ отъ прочутата французска фамилия Монморанси, билъ членъ на Държавнийгъ съвѣтъ, кавалеръ на орденътъ Златного Руно, управителъ на провинциитѣ Гелдернъ и Цюгифенъ и заемавалъ постѣтъ адмиралъ на Нидерландската флота. Ужасната казнь на двамага мжченици-патриоти била извършена на 5 юний по пладне въ голѣмата Брюкселска градина; двоицата казнени посрѣщнали смъртта, както и подобава на хора, които не веднаждъ ѝ сж погледвали въ очитѣ на бойното поле. Првъ казнили Егмонта. Съ единъ сабеленъ ударъ главата му била отдѣлена отъ трущѣтъ. Викъ отъ ужасъ, казва историкътъ Прескотъ, се раздалъ изъ тѣлната; и нѣкои, обезумѣли отъ скръбъ, прокжсали редоветъ на солдатитѣ и въ яростъ топили свонтѣ кърпи въ кръвта, която се стичала отъ ешафотгъ, и споредъ свидѣтелството на лѣтописецътъ Страда, тѣ ги запазили, като драгоценни спомени на любовь и живо наумявание за отмъщение.

То не се забавило дълго врѣме. Вилхелмъ Оранский, който

бил по онова време въ Германия, се възползвалъ отъ всеобщото негодование, както въ Нидерланди, тъй и въ цѣлиятъ образованъ свѣтъ за безправедното убийство на двамата мъченици и вдигналъ прѣпорещъ на открито възстание противъ Испанското владичество. Съ тоя бунтъ се започва една отъ най-интереснитѣ страници на всесвѣтната история. Вилхелмъ се оказалъ на височината на своето положение. Той билъ тъй сжщо възпитанъ при дворътъ на Карла V, и ако е устжиялъ на Егмонта, като войникъ, той го е прѣвзхождалъ като политикъ. Голѣмото му богатство, знатниятъ му родъ и многобройнитѣ му роднини, които всички стаали протестанти и и се завтекли на помощъ съ пари и войници, — го правили опасенъ съперникъ на Флиппа. Почти всичкитѣ му братья паднали на бойното поле за освобождението на Нидерланди. Той самъ билъ убитъ отъ единъ фанатикъ католикъ. Но прѣди смъртъта той успѣлъ да съедини една значителна частъ отъ Нидерланди и да я отцѣпи формално отъ Испания, и чрѣзъ това положилъ основание за бъдущата Холландска республика. Дѣлото на бащата продължавалъ синъ му Морицъ, който надминувалъ баща си като пълководецъ, но му устжиялъ като държавенъ мъжъ. Но и Испанцитѣ отъ своя страна приобѣгнали къмъ други мѣрки; Филиппъ скоро трѣбвало да се убѣди, че варварска и кръвнишка строгостъ не могатъ усмири страната, и се рѣшилъ да извика отъ тамъ Алба и да го замѣсти съ лице, по-наклонно да дѣйствува мекко спрямо народътъ. Единъ слѣдъ другий управляватъ Нидерланди донъ Луисъ де Реквезенсъ-и-Цунига, донъ Жуанъ Австрийскій и Александръ Фарназе Пармскій, синътъ на Маргарита. Тѣ всички мислили, че съ по-добро обръщение ще сполучатъ по-вече, и дѣйствително успѣли да оградятъ отъ движението южнитѣ провинции и ги запазили вѣрни на Испания и на католическата вѣра. Но сѣвернитѣ провинции се отцѣпили за винаги, и дори такива велики пълководци като донъ Жуанъ и Александръ Пармскій, отъ които вторийтъ е билъ и искусенъ полатикъ, не били въ състояние да повърнатъ назадъ тие окончателно загубени сѣверни провинции. Съ това се свършва кървавата борба за независимостъта на Нидерланди.

Благодарното потомство храни паметъта на своитѣ поборници за свободата: въ 1860 година Белгийцитѣ въздигнаха на Егмонта и Хорна голѣмъ паметникъ на Grande Place, мѣстото на тѣхната жазнь.

II

Това сж вкратцѣ историческитѣ данни, които сж послужили

на великият германски писателъ, Гете, за основа на неговата драма «Егмонтъ», която читателитѣ ще намѣратъ по-долу. Обемътъ на нашето списание за сега не ни позволява да дадемъ и пълната биография на тойзи първокласенъ поетъ, за когото въ европейската литература, както върху животътъ му, така и за неговата творческа дѣятелность сѣществуватъ толкова сѣчненія, щото само съ тѣхъ человекъ би могълъ да напълни цѣла библиотека. При такъвъ готовъ натрупанъ материалъ въ чуждитѣ литератури, когато оцѣнки за всѣко негово произведение, може би, у всѣкий народъ отдѣлно могатъ се намѣри у по нѣколко автори, зловиди ни се да даваме на читателитѣ си само единъ голъ прѣводъ на «Егмонтъ», безъ да извлѣчемъ отъ тѣхъ поне нѣкои бѣлѣжки и възгледи, както върху самата драма, тѣй и върху дѣйствующитѣ въ нея лица, исторически и не исторически. За тая цѣль си послужихме по прѣимущественно съ *Goethe's Leben und Werke* отъ Viehoff, *Literaturgeschichte* отъ Hettner, *W. Goethe* отъ Mézières, *Life of Goethe* отъ Lewes, това въ чисто литературно отношение, а въ историческо отъ трудоветѣ на Prescott: *Philip II*, и Motley: *Rise of the Dutch Republic*.

Прѣзъ 1775 г., когато Гете е прѣкарвалъ послѣднитѣ мѣсеци на свойтъ Франкфуртскій животъ, прѣди да замине за Веймаръ на служба у тамошниятъ херцогъ Августъ, съвършено случайно между книгитѣ на баща си той намѣрилъ съчиненнето на незугитѣтъ Страда *De bello Belgico*. Това четение го увлѣкло и незабавно въ главата му се явила мисль да се залови за драма, въ която първата роля да играе Егмонтъ, чията «человѣчески-рицарствена» фигура го е силно поразила, и той прѣдприема да я изобрази тѣй, както що тя се е прѣдставила на неговото идъхновенно въображение — въображение на 26 годишенъ поетъ. Тая мисль узрѣва въ дѣло: още въ Франкфуртъ той успѣлъ да начертае нѣкои характери и да напише нѣколко сцени. Но скорошното му прѣселване въ Веймаръ го накарало да отложи тая тѣй горѣщо намислена и захваната драма за други по-спокойни дни. Въ течение на своето първо десетгодишно стоение тамъ той на два-три пѣти се е поврщалъ къмъ нея, но безъ да успѣе нито да я довърши, нито пакъ да направи нѣкои значителни поправки или измѣненія. Послучайна игра на обстоятелствата сѣдено е било Гете отново ревностно да се залови за свойтъ Егмонтъ чакъ подиръ 12 години, тъкмо когато въ Брюкселъ произлизали подобни на описанитѣ тѣй отколѣ отъ него народни сцени. То било прѣзъ второто му пътувание въ Италия и прѣстоявание въ Римъ, отъ гдѣто той въ пис-

ма към своитѣ приятели въ Веймаръ, отбѣлѣзва 5 Септемврий 1787 година като празниченъ день въ животътъ си, тъй като неговата драма собственно тогава е добила она окончателенъ видъ, както я ние притежаваме днесъ.

Изобщо, драмата е била посрѣщната съчувствено, макаръ че Шпллеръ въ своята пзвѣстна рецензия *Върху Егмонтъ, трагедия отъ Гете* строго му натяква въ за своеволно обръщание и изопачаване на историята въ лицето на геройтъ. Гете е далечъ отъ да не знае точнитѣ исторически данни за избраната отъ него епоха, въ която се развиватъ изображаемитѣ въ драмата му характери. Всѣкий почти редъ, напротивъ, говори за грижливо изучение на свойтъ прѣдмѣтъ отъ страна на писателтъ; че въ трагедията на Гете звучи отгласъ на истински, отдавна минали събития, това въ свое врѣме е билъ длъженъ и самъ Шиллеръ да признае. Не по незнание на историята, а по влѣчение на свойтъ поетическии геній той ни рисува образтъ на *свои* Егмонтъ, и въ това отношение като че ли одѣлтоворява миѣнието на Лессинга: «Малко ме е грижа, дали единъ характеръ съотговаря или не на историята; стига той да е добръ обмисленъ, правдоподобенъ и винаги въ съгласие съ себе си.» Гете, истина, се е вдъхновилъ отъ великата борба на Нидерланди за защитата на своитѣ правдини противъ Испанскитѣ насилия и деспотически посѣгателства, но неговийтъ Егмонтъ собственно не е поборникъ за свободата на народтъ, а стои на междата срѣди революционнитѣ стремления на своитѣ съграждане и подавялющата тирания на чуждеземецтъ. Неговийтъ Егмонтъ, истина, съчувствува на тѣхнитѣ тайни домогвания, защото горѣщо обича отечеството си, народтъ си и неговийтъ свободолюбивъ духъ, и самъ скъпо цѣни своята лична свобода и нестѣсняемостъ на дѣйствиия, но той не е демагогъ, и най-малко му дохожда на умъ да се възползува отъ всеобщото незадоволство и омраза къмъ управленето на Испанцитѣ, и всеобщата прѣданность къмъ него и онова влияние, съ което се е наслаждавалъ срѣдъ народтъ, за да ги употреби, било за постиганне на свои лични цѣли или за своя безопасность, споредъ него достаточна оградена отъ Златното Руно, било за толкова желанието отъ народа отърवानне отъ несноснийтъ гнетъ на високомѣрнитѣ чужденци, което споредъ него е само въпросъ на врѣме. Напротивъ великийгъ, храбрийгъ Егмонтъ, побѣдителтъ при Сень-Кентенъ и Гравелинъ, на когото сж обрънати очитѣ на всички и за когото любовно тунатъ сърцата на цѣлийгъ народъ, е високо-рицарсквенъ, чудно блѣскавъ образъ на юноша, койго подпръ славни боеве и, може би, въ навечерие на други

по-ужасни борби, гдѣто той пакъ пръвъ и безбоязненно ще полѣти срѣщу смъртта, за сега бърза да се наслаждава съ животътъ и гледа на него, като на упойтелно праздничество, на вѣчна пролѣтъ. Надъ главата му отъ вси страни се сбиратъ черни облаци, а той безстрашно, но и безъ злоба, увѣренъ въ правото дѣло на народътъ, не се стрѣска отъ нищо, продължава безгрижно и весело да се наслаждава съ настоящий мигъ, безъ да пита за утрѣ или да споменува за вчера. То сж все черти на характеръ, които по никой начинъ художественныйтъ вкусъ на такъвъ писателъ, като Гете, не е могълъ да придаде на чловѣкъ прѣминалъ, жененъ и баща на 11 дѣца, което споредъ Шиллера щѣло да бжде по-умилително. «Отъ като го подмладихъ въ мислитѣ си, казва Гете, и освободихъ отъ всевъзможни обязательства и задължения, азъ му вселихъ жажда за животъ, безгранично довѣрие въ себе си и другитѣ, дадохъ му дарба да привлича къмъ него симпатитѣ на хората и поклонението на народътъ, да съчели тайното благорасположение на регентката, горѣщата любовъ на едно момиче, участието на единъ държавенъ мждрецъ, да привлѣче дори синѣтъ на свойтъ най-въртъ противникъ.» Горѣ-долу все качества, съ каквито щедро отъ природата е билъ надаренъ самийтъ поетъ. Егмонтъ става жертва на своята безгрижностъ и довѣрчивостъ. Нечакано, безъ борба той попада въ рѣцѣтъ на свойтъ противникъ. Въпрѣки настоятелното, прѣятелски-нѣжно убѣждаване на Оранскій — Егмонтъ да напустне Нидерланди, въпрѣки неговото прѣдупрѣждане за кръвнишкитѣ намѣрения на новийтъ кралевскій пратеникъ. Алба, той отива на свиджане съ тойзи послѣденъ безъ ни най-малка сѣнка на безпокойство, засмѣнъ и ясенъ, въ противоположностъ на трѣпетнийтъ страхъ, съ който оня очаква своята жертва.

На редъ съ Егмонта стои прѣкраснийтъ образъ на Клерхенъ, олицетворение на женска любовъ и поклонение прѣдъ всичко високо-благородно, блѣсково, героическо. Природната чистота и сърдечна нѣжностъ на Клара Гете е начерталъ съ еднаква задушевностъ и правдивостъ, както Гретхенъ въ Фаустъ. Омайна е грацията на тне дѣтски възторженни, любовни срѣщи на Клара съ нейнийтъ Егмонтъ; оная сцена, напр., гдѣто Егмонтъ се явява обгърнатъ въ тъмна мантия, слѣдъ хвърлянето на която той се прѣдставя прѣдъ възхитевитѣ очи на младото момиче въ великолѣпенъ испанскій костюмъ съ орденътъ Златно Руно на гърдитѣ, е поразителна по своята прѣлестъ и естественостъ; навивнийтъ възторгъ, радостъ, любовнитство и страхътъ на Клара да се докосне до тойзи блѣсъкъ, като че ли сж списани отъ природата. То е нѣжна, идилическа картина

наредъ съ тайнитѣ незадоволства на народѣтъ, изобразени съ такъва чудна живостъ въ нѣколко майсторски сцени, съ мрачната злокобна личностъ на Алба, съ тъкоразсѣдигелната Маргарита Пармска, безстрастнигъ, мъдрийтъ държавенъ мъжъ Оранскій. Но въ сжщностъ Клара се въздигъ и пораства въ нашитѣ очи отъ оня мигъ, когато неминуема гибель заплашва животѣтъ на безпрѣдѣлно любимпйтъ отъ нея человѣкъ; въ високо поетическо свяние ни се явява тя, когато приканва слашенитѣ отъ жестоката политика на Алба граждани да възстанатъ, да се слобятъ въ едно цѣло и да върнатъ на свобода свойтъ до-вчера всеобщъ любимецъ. Когато всички се разбѣгватъ при името Егмонтъ, тя обезумѣла отъ отчаяние, въ пълно съзнание на своето безсилне да направи нѣщо, се връща дома и приема отрова.

Оранскій въ много отношения прѣдставлява пълненъ контрастъ съ Егмонта Той е прѣдвидливъ, прѣдпазливъ, слѣди за всѣка черта, движение на своитѣ противници, постоянно е на щрекъ, готовъ въ рѣшителна минута да прѣгърне дѣлото на народа, той знае и собствената си цѣна: «Ние не принадлежимъ на себе си, Егмонте; на насъ лѣжи обязанность да се жертвуваме за благо на хиляди, заради тѣхъ тѣи сжщо трѣбва и да пазимъ себе си». Истинно дълбоко впечатлѣние прави оня сцена, гдѣто тойзи хладенъ, суровъ человѣкъ не може да удържи съзритѣ си за Егмонта, когото той смѣта за безвъзвратно загубенъ. Отъ сжщийтъ разговоръ се захваща и расте нашиятъ страхъ и безпокойство за Егмонта, когато Оранскій съобщава, че Алба е вече на пѣтъ. А за Алба ние сме вече прѣдизвѣстени и по описанието на самата регентка, за което тя се признава, че не може да намѣри достаточо мрачни цвѣтове. Съ нѣколко майсторски черти Гете е сполучилъ да оживи прѣдъ насъ крвожаднигъ, неумолимигъ образъ на истинскійтъ исторически Алба, тѣи както го изобразанатъ и такива историци, като Мотлей: «Той не е съединявалъ въ себе си голѣмо разнообразие на пороци, но оние, които е притежавалъ, сж колосални; и не е ималъ никакви добродѣтели. Той не е билъ нито слаголобинъ нито невздржанъ; но дори неговитѣ открити поклонници признавали грамадното му користолюбие, а пакъ свѣтътъ не е видалъ такова съединение на грабежничество и свирѣпость, търпѣливо дебение за мьстъ и крвожадность нито въ единъ дивъ горскій звѣрь, камо ли въ едни человѣчески гърди». Тойзи страшенъ образъ е толкова по поразителенъ, че наредъ съ него Гете е прѣдставилъ юношеското увлѣчение на неговий синъ, Фердинандъ, отъ блѣскавитѣ подвизи на Егмонта на бойното поле; това увлѣчение се спазило и укрѣ-

нило още по-вече слѣдъ близкото му запознаване съ Егмонта : толкова е било силно обаянието на неговата личностъ. Тъзи чувства трогателно се проявявагъ въ послѣдното дѣйствие и служатъ за безирѣдѣлна утѣха на Егмонта прѣзъ послѣднитѣ часове на неговийгъ животъ.

Регентката се явява въ двѣ сцени, нейнийгъ чисто-политический, почти мъжкий характеръ до негдѣ се смегчава чрѣзъ нѣкои женствени черти, когато тя се оплаква прѣдъ свойгъ секретаръ. Макиавель, противъ брата си, Филиппа, че несправедливо цѣни нейното управление въ Нидрланди, и прогивъ Егмонта за неговото легкомисленно и безгрижно отношение къмъ възстаническитѣ движения на народътъ ; тукъ една фраза издава нейното тайно чувство спрямо него : „Огъ Оранскій азъ се боя, а за Егмонта се страхувамъ.“ — Макиавель не е исторически известнийгъ историкъ и публицистъ ; съ това пме поетгъ произволно кръщана полуисторическата личностъ, — секретаръ на Маргарита Пармска. Той като че ли говори съ строго-спокойнитѣ уста на самий Гете, когато прѣпорѣчва тѣй прасещитѣ на неговата собствена натура духъ на умѣренность и търпимость. Несправедливо ще бжде да се умълчи за честнийгъ, правдивийгъ Бракенбургъ, който не се раздѣля отъ Клерхенъ и подиръ онова, когато знае, че тя е загубена за него ; той не веднаждъ възбужда нашето искрено съжалѣние и съчувствие ; въ строитѣ на драмата неговата личностъ не е излишна, напротивъ, той хвърля свѣтлина, както на характеритѣ на Клерхенъ, така и на Егмонта. Тѣй Егмонгъ като че ли ни се прѣдставлява по-омаенъ, когато виждаме, че дори тойзи злощастенъ неговъ съперникъ не може да се огнася къмъ него другояче, освѣнъ съ симпатия. А Клерхенъ именно въ чувствата си къмъ Бракенбурга получава първий нжтъ възможность да прояви всичкага мегка нѣжность и чистота на своето сърдце : «Укорявамъ се сама, че го мамя, че храня въ сърдцето му праздни надѣжди, зная какво то е лоше, но види Богъ — азъ не го лъжа, но страдамъ съ неговитѣ страдания. Не искамъ, щото той да се надѣва, и пакъ нѣмамъ сила да го хвърля въ отчаяние».

За народнитѣ сцени, гдѣто се явяватъ разговаривающии Брюкселски граждани, почти всички критици признаватъ, че мъчно е да се намѣри по-хубавъ исторический паметникъ на събития, изразени въ толкова малко думи. Всичкитѣ лица сж живи, между тѣхъ се извисява краснорѣчивийгъ Фанзенъ, нѣщо каго политический паличъ, съ силно развити агитаторски наклонности.

Тѣзи сж почти всичкитѣ дѣйствующи лица на драмата ; отъ

тѣхъ по-вечето сж истински исторически личности. съ строго сиазени тѣмъ свойственни, отличителни характеристики; собственно чисто създаване на поетътъ е Клара, послѣ Бракенбургъ и, разбира се, дѣйствующитѣ лица въ народнитѣ сцени. Мнозина осжждали Гете за патетическия край на драмата, край, койго споредъ Шиллера, повече си има мѣстото въ опера. Той може да се обясни отчасти съ отличителното свойство на природата на писателятъ, свойство, унаслѣдвано отъ майка му — да страни отъ всѣкакъвъ родъ тежко-скръбни зрѣлища, способни силно да развѣдуватъ душата. До колко това чувство е било развито въ майка му, показва разказътъ, наприм., че когато тя си приставяла нови слуги, първото ѣ наставление било: да не ми приказвате за нищо потресающе и неприятно, което би се случило, било въ къщата ми, било у съседитѣ или въ градътъ. Единъ нхтъ за всѣкога, азъ не ща за нищо таково да зная. Ако то се относи до мене, азъ ще го чуй винаги доста у врѣме. Ако ли пакъ не се касае до мене, то никакъ не ми влиза въ работа.» Отчасти пакъ и съ врѣмето, и кръгътъ, въ които е била свършена драмата: неговото увлѣчение съ италиянската музика, постоянно навъртване въ общество на артисти, художници и съ любовта на Великиятъ херцогъ, Августъ, неговъ покровителъ, къмъ музиката.

На драмата «Егмонтъ» изобщо сж далечъ отъ да гледатъ като на образцова трагедия; самиятъ край на геройитѣ, колкото печаленъ и да е, не е трагическия, — защото истинскитѣ причини за неговата смъртъ не сж собственно, че той се е борилъ за свободата на народътъ, че се е домогвалъ да прѣмахне чуждото иго, но неговото извънредно упоение отъ животътъ, изумителна довѣрчивость къмъ хората и вѣра въ непокътността на своитѣ права; като такива, тѣ придаватъ на неговата кончина не общо значение, както го изисква една трагедия, а чисто личенъ характеръ. И то е накарало мнозина критици строго да се отнесатъ къмъ тая драма, да ѣ прѣд-явяватъ различни искания и да намиратъ, че, — колкото много отдѣлни сцени и да сж драматични, — цѣлото не е драматическо. Такавъ даже горѣщъ поклонникъ на Гете и високъ почитателъ на това негово произведение, като Люистъ, който казва за образитѣ на Егмонтъ и Клерхенъ, че тѣ дори изъ-подъ перото на Шекспира не би могли да излѣзатъ по пълнителни, — уприличава цѣлата драма на романъ въ разговорна форма, а Юлианъ Шмигъ се произнася, че: «Гете се е водилъ отъ драматическо намѣрение, но го изпълнилъ въ лирически-музикаленъ стилъ»; пакъ споредъ Шиллера «въ Егмонта нѣма нито развитие, нито сжщинскій драматическия планъ,

а само външно съпоставление на много отдѣлни дѣйствия и картини, които почти съ нищо друго не сж свързани, освѣнъ съ личността на геройтъ; единството на драмата не се дължи нито на различнитѣ положения, нито пакъ на нѣкоя страсть, но само на человекътъ». Великата политическа страна на Нидерландската борба за свобода трѣбваше да накара Гете да създаде велика историческа трагедия, а не само историческа характерна картина, се произнася Хейтнеръ, и послѣ тутакси смеччава своята прѣсжда, като признава, че безъ «високо сърдечнитѣ, поразително живийтъ, любезенъ, героически образъ на Егмонта щеше да ни явнса сжщественна черта за кношеското прѣдставление на Гете»

Но каквито недостатъци и да намиратъ критицитѣ въ цѣлото това произведение, като драма, неколко всички признаватъ, че всѣка критика е безсилна да изгони изъ паметта или да помрачи сиянието отъ омайнитѣ образи на Егмонта и Клерхенъ; като художественни творения, начертани съ вѣща рѣка на единъ твъркъестествоиспитателъ и на които неговийтъ поетически гений е пролѣлъ свойтъ чаровенъ блѣсъкъ, тѣ вѣчно ще заематъ лично мѣсто въ свѣтлицѣ, високи зали на Искусството.

Прѣводачтъ.

ДѢЙСТВУЮЩИТЪ ЛИЦА.

МАРГАРИТА ПАРМСКА, дъщеря на Карлъ V, Управителка на Нидерланди.

ГРАФЪ ЕГМОНТЪ, принцъ Гаврекий.

ВИЛХЕЛМЪ ОРАНСКИЙ.

ХЕРЦОГЪ АЛБА.

ФЕРДИНАНДЪ, неговъ незаконенъ синъ.

МАКИАВЕЛЪ, на служба у управителката.

РИХАРДЪ, частенъ секретаръ на Егмонта.

СИЛВА

ГОМЕЦЪ } служачи у Алба

КЛАРА, любовница на Егмонта.

НЕЙНА МАЙКА.

БРАКЕНБУРГЪ, синъ на единъ брюкселскый гражданинъ.

СОЕСТЪ, дребень търговецъ

ЕТТЕРЪ шивачъ

ДЪРВОДЪЛЕЦЪ

САПУНАРЪ

} брюкселски
граждане

БУИКЪ, войникъ подчиненъ на Егмонта.

ГУИСУМЪ, глухъ ниваледъ.

ФАНЗЕНЪ писаръ.

НАРОДЪ, СВИТА, СТРАЖА и др.

Мѣсто на дѣйствието е Брюксель.

ДѢЙСТВИЕ ПЪРВО.

Стрѣлище.

Солдати и граждане съ самострѣли. Еттеръ, брюкселски гражданинъ, шивачъ излиза напредъ и опѣва самострѣлѣтъ. Сосетъ, брюкселски гражданинъ, търговецъ на дребно.

Сосетъ. Е, стрѣлай, де! Колкото и да се напъваш, нѣма да ми надвиеш! Три черни кръга пронизахъ, таково нѣщо ти прѣзѣдѣлий си животъ не можешъ направи. И тъй тая година азъ ще съмъ майсторътъ.

Еттеръ. Майсторъ и кралъ още. Кой ще се мѣри съ тебе? Ама пакъ за твоята лоякостъ пада ти се и двойно да платишъ, така го изисква сираведливостта.

Буикъ, холландецъ, солдатъ, подчиненъ на Егмонта.

Буикъ. Еттеръ, азъ купувамъ твойтъ изстрѣлъ, дѣля печалата и черна тие честни господа: — тука съмъ отдавна и ви дължа много добрини. Ако не улуча, твойтъ изстрѣлъ си остава въ сила.

Сосетъ. Макаръ и да имамъ да кажа нѣщо противъ това, тъй като, май, азъ губя; — нека бѣде по твоemu, Буикъ.

Буикъ, (стрѣля). Ей, страшилище, навождай се! Единъ! два! три! четири!

Сосетъ. Четири кръга? Нека тъй да е!

Всинца. Да живѣе кралътъ! пакъ и пакъ да живѣе кралътъ.

Буикъ. Благодаря, господа! Благодаря ви за честта!

Еттеръ. Ти благодари на себе си.

Руисумъ, фрисландецъ, глухъ, инвалидъ.

Руисумъ. Чуйте, що ще ви река.

Сосетъ. Какъ си, старче?

Руисумъ. Чакайте да ви кажа, де, той стрѣля, като господарьтъ си, той стрѣля, като Егмонта.

Буикъ. О, въ сравнение съ него азъ съмъ нищо. Той така лучи, както никой на свѣта. И то не само, когато щастнето му работи, или когато е добръ расположенъ, но всѣкий пжтъ, кога му скивне да се прицѣли. Азъ се понаучихъ у него. За нищо негоденъ человекътъ щеше да е онзи, който на негова служба не би се на-

училъ на нищо. — Не забравяйте, господа, че кралтъ храни своитѣ хора. И тъй, на кралска смѣтка, вино тука!

Еттеръ. У насъ е прието, щото всѣкий —

Буикъ. Азъ не съмъ тукашенъ и съмъ кралъ, за това не ща да зная за вашигѣ закони и обичаи.

Еттеръ. Бе, ти си по-лошъ отъ самий испанскій кралъ: той поне до сега ги търпи.

Руисумъ. Що? що?

Соестъ (високо). Той иска да ни гошава и не ще, щото и ние да му спомогнемъ въ разноскиѣ; като кралъ желае да плати двойно.

Руисумъ. Е, и оставете го! не му се смѣсвайте. То е пакъ обичай на господарьтъ му: винаги да бжде щедръ и да оставя всѣкого да живѣе по волята си. (*Донаятъ вино*).

Всички. За здравieto на негово величество! Ура!

Еттеръ (на Буика). Сирѣчь, за твоего!

Буикъ. Благодаря отъ все сърдце, когато тъй искате.

Соестъ. Разбира се. Защото за здравieto на негово испанско величество никой отъ нидерландцитѣ не пие на драго сърдце.

Руисумъ. За кого?

Соестъ (високо). За Филиппъ вторий, испанскій кралъ.

Руисумъ. За нашия всемилостивъ кралъ и господарь! Господь да му дава дълги дни!

Соестъ. Но баща му, Карлъ V, не ви ли се харесваше по-вече?

Руисумъ. Господь да упокои душата му! Ама пакъ че господарь бѣше! Дѣсницата му се простираше надъ цѣлъ свѣтъ и навсѣду той биваше всичко; случеше ли му се да ви срѣщне, той ви поздравяваше, като съсѣдъ съсѣдътъ си; ако отъ свѣтъ загубѣхте себе си, той умѣеше да се отнесе тъй нѣкакъ съ добро. — Вие ме разбирате, я. — Той излизаше или пѣши, или съ кола, или на конь, както му скивнеше, съ много малко хора. Че плакахме пакъ всинца, когато прѣдаде управленето тука на сина си — нели ме разбирате, тойзи вече е нѣкакъ друго-яче, по-величество.

Еттеръ. Догдѣ бѣше тука, той не се позкаваше инакъ, освѣнъ съ царскій блѣсъкъ и голѣма свита. Както го приказватъ хората, той говорилъ малко.

Соестъ. Не е господарь той за насъ нидерландцитѣ. Нашиѣтъ князье трѣбва да сж весели и свободолюбиви, като насъ; сами да живѣятъ и другитѣ да оставятъ да живѣятъ. Ние не искаме да ни прѣзиратъ и да ни угнетаватъ, каквито добродушни простаци и да сме.

Еттеръ. Азъ мисля, че кралътъ щеше да е по-милостивъ господарь, ако имаше по-добри съвѣтници.

Соестъ. Не, не! Той не е расположенъ къмъ насъ Нидерландитѣ, сърдцето му не клони къмъ народътъ, не ни обича той; тогава какъ ние можемъ да го обичаме? Защо цѣлъ свѣтъ е прѣдаденъ на графъ Егмонта. Защо всички сме готови на ржцѣ да го носимъ? Защото по него личи, че ни иска доброто; въ очитѣ му свѣти веселие, искренность, привѣтливостъ спрямо всички насъ; защото той нѣма нищо, което да не ще да сподѣли съ нуждающійтъ се, дори и съ такъвъ, който не търпи оскѣдностъ. Да живѣе графъ Егмонтъ! Буйкъ, тебъ се пада да пиешъ първата наздравица. Пий наздравица за твойтъ Господарь!

Буйкъ. Отъ все сърдце: ура графъ Егмонтъ.

Рюсумъ. Побѣдителътъ при Сенъ-Кентенъ!

Буйкъ. Геройтъ на Гравелинъ!

Всички Ура!

Рюсумъ. Сенъ-Кентенъ бѣ моето послѣдне сраженне. На сила влачѣхъ нозѣ и едвамъ мѣкиѣхъ тежкото орѣжие. Ама пакъ сколасахъ още веднаждъ да повстунамъ кожухътъ на французитѣ, и на испроводякъ се сдобихъ съ още една драскотина на дѣснийтъ кракъ.

Буйкъ. Гравелинъ, приятели! ама че пакъ бой бѣше! Побѣдата спечелихме ние самѣ. Нели валонскитѣ псета бѣха запалили въ цѣлата Фландрия плѣнъ и пожаръ? Но ние имъ дойдохме до-хака! Тѣхнитѣ стари, упорити войници се държаха ягката дълго врѣме срѣщу насъ, но ние стрѣляхме по тѣхъ, тѣснихме ги, догдѣ имъ разжасаме редоветѣ и смажемъ муцунитѣ. Тогава убиха коньтъ подъ Егмонта, и дълго врѣме се сражавахме ние, прѣснати, чловѣкъ срѣщу чловѣкъ, конь срѣщу конь, кунчина срѣщу кунчина, по широкото пѣсчливо равнище до самото море. Изведнаждъ, като че ли отъ небото отъ кждѣ устието на рѣката се почуха гър, гър, и все топовни гърмежи право всрѣдъ французитѣ. То бѣха Англичане, които подъ началството на адмирала Малинъ по пхтѣтъ отъ Дюнкирхенъ се намѣрили тука. Въ сжщность тѣ много не ни помогнаха; защото не можеха да дѣйствуватъ освѣнъ съ най-малки кораби и то не твърдѣ отъ близу; тѣхнитѣ снаряди падѣха и на насъ. — Но пакъ добрѣ стана! То смути валонцитѣ и подигна нашитѣ духове. Ама че жежкъ бой се почена отново! Всичко прибито до смъртъ или натигано въ морето. Сиромаситѣ се нагълатахъ солена вода, ние пакъ като исти холландци и въ водата ги прѣсгѣдвахме, като жаби, и все не прѣставахме да сѣчемъ и да стрѣ-

ляме по неприятелтъ, като по патици. Що остана живо, добиха ги въ бѣганнето имъ селянкитѣ съ своитѣ вили и брадви. Това накара валонското величество да ни протегне рѣка да заключимъ миръ. И тъй мирътъ вие дължите намъ, на великийтъ Егмонтъ го дължите.

Всички. Ура! да живѣе великий Егмонтъ! ура! ура!

Еттеръ. Да бѣха ни турили него за регентъ на мѣсто на Маргарита Пармска.

Сосетъ. Така не бива! Истината си остава истина! Азъ не давамъ да се приказва лоше за Маргарита. Сега е мой редъ. Да живѣе нашата милостива управителка!

Всички. Да живѣе!

Сосетъ. Да си кажемъ правичката. Тойзи царственъ домъ е далъ не малко отлични жени! Да живѣе управителката!

Еттеръ. Умна и умѣренна е тя въ всичкитѣ си работи; само да не бѣше толкова упорито защищавала тие понове. Не по нейна ли вина, ние сега имаме четиренадесетъ епископски камилавки повече отъ по-прѣди? За какво ни сж тѣ? Всичко това не е ли направено, щото за чужденцитѣ да има по-вечко добри мѣста, а на ние да върваме, че то се върши за полза на вѣрата. По прѣди, нели ни стигаха трима епископи и всичко вървѣше почтено и редовно. Сега всѣкий се перчи, като че ли безъ неге се не може. И що отъ това? — бъркотия, ядове. Колкото по-вече бъркаше водата, толкози и тя по се размѣтява. (*Всички пиятъ*).

Сосетъ. Такъва бѣ волята на кралтъ; тукъ тя не може нищо да измѣни.

Еттеръ. Сега не бивало да пѣемъ новатѣ псалми. Като че ли тѣ не сж хубави и не съдържатъ добри мисли. Тѣхъ не пѣй, а неприлични пѣсни — пѣй, колкото ти гласъ държи. А защо? Защото, казватъ тѣ, въ първитѣ имало ересь и Господъ знае, що още. Самъ пѣлъ съмъ ги неведнаждъ и нищо таквозъ не забѣлѣжихъ, то е пакъ пѣщо ново.

Буикъ. Искахъ да ви попитамъ, а защо въ нашата провинция ние си пѣемъ, каквото искаме, то защото нашъ управителъ е — графъ Егмонтъ, който на такива работи и внимание не обръща. Въ Гентъ, Ипернъ и въ нѣла Фландрия всѣкий си пѣе, що му душа иска. (*Високо на Руисума*). Не е ли истина, чичо, че по-безвинно нѣщо отъ духовного пѣение нѣма?

Руисумъ. Тѣй, тѣй. То е все едно като богослужение, като поучение.

Еттеръ. Но тѣ казватъ, че тѣзи псалми не били написани, както трѣбва, не били по тѣхному, че били опасни и за това добро

било, да се отречемъ отъ тѣхъ. Служителитѣ на инквизицията вредъ си вовиратъ гагата и отбѣлзватъ всичко; не единъ честенъ челоуѣкъ вече е станалъ отъ тѣхъ злощастенъ. Само то личисваше -- да ни насилватъ свѣстѣта! Ако не ме оставятъ да правя, каквото си ща, то поне да не ми забраняватъ да си мисля и пѣя, щото искамъ.

Свостъ. Инквизицията нищо не може да направи. Ние не сме испанци, я пѣма да допуснемъ да ни тиранизиратъ свѣстѣта. И велможитѣ би трѣбвало да диятъ сгоденъ случай, па да имъ поотрѣжатъ крилата.

Еттеръ. Лошо врѣме, бе! Ами, ако се случи тие любезни приятели да се вмѣкнатъ въ кмшата ми, тамамъ, когато си сѣда та работа, и си тѣнаникамъ пѣкой французский исаломъ, безъ да му мисля нито за зло, нито за добро; а просто си го пѣя, защото самъ ми се е испрѣчилъ въ гърлото. И его ме тугакси еретикъ и затворенъ. Или съмъ излѣзълъ да се порасходи вѣнъ отъ градѣтъ, виждамъ навалица народъ, спирамъ се да послушамъ едного отъ оние проповѣдници, що сж наошли отъ Германия. Това забѣлзватъ, обявяватъ ме бунтовникъ, и его пакъ опасностъ да изгубя главата си. Чуваши ли сте пѣкой таквъ проповѣдникъ?

Свостъ. Смѣли хора! Сега скоро азъ чухъ едного, когато проповѣдваше въ полето прѣдъ хиляци и хиляци души. То никакъ не приличаше на опова, което сме навикнали да слушаме отъ нашитѣ, кога гърмятъ отъ катедрата и глушатъ хората съ своитѣ латински мѣдрования. Той говореше отъ сърдце и обясняваше, какъ нашето духовенство ни води за носѣтъ, какъ ни държи въ невѣжество, и какъ ние бихме могли да бждемъ по-просвѣтени. И всичко това той доказваше съ библията.

Еттеръ. Тѣй, тукъ трѣбва да има пѣщо. Азъ това всѣкога съмъ говорилъ и самъ съмъ мислилъ върху тия работи.

Бункъ. Не напраздно подирѣ имъ тича цѣлийгъ народъ!

Свостъ. Вѣрвамъ това, защото челоуѣкъ може да чуе отъ тѣхъ пѣщо добро, па още и ново.

Еттеръ. И що отъ това? Нека всѣкий проповѣдва, както си ще.

Бункъ. Я, бждете по-весели, господа! Вие за тие проповѣди забравяте вицото и Оранский.

Еттеръ. Той не е за забравяние: той е нашъ вѣренъ щитъ -- стига челоуѣкъ да си цауми за него и ще повѣрва, че задъ плѣшитѣ му може, биле, и отъ дявола да се не страхува. Да живѣе Велхелмъ Оранский, ура!

Всички. Да живѣе!

Соестъ. Е, старче, сега е редъ и за твоята наздравица.

Руксулъ. За старитѣ войници, за всички войници! Да живѣе войната!

Буикъ. Браво, старче! За всички войници! Да живѣе войната!

Еттеръ. Война, война! Знаете ли вие, какво прокобявате? Че такъва дума лесно се исплъзва изъ устата ви, то се разбира; но какъ звучи тя въ ушитѣ, като на насъ мирни граждани, азъ се не змамъ да ви расправа. Цѣла година само и чувашъ бучение на тѣпани, и расправи, какъ една чета тръгнала насамъ, друга — нататъкъ, какъ прѣминали прѣзъ нѣкоя могола и се спрѣли при една воденица, че прѣстояли тамъ толкова и толкова врѣме, че еди-гдѣ си провзлѣзло сблъскване, въ което едни побѣдили, други били побѣдени, и всичко това, безъ да можешъ да разберешъ, що се е сполучило или изгубило отъ него. Или чуешъ, че еди-кой си градъ билъ прѣвзетъ, че всички мъжъе били убити, а съ клѣтитѣ жени и невиннитѣ дѣца било тѣй и тѣй постъпено. Живѣешъ подъ вѣченъ страхъ и нужда, и всѣка минута мислишь: «Ето ги идатъ!» и съ насъ ще бжде сѣщото».

Соестъ. За това и трѣбва, я, всѣкий гражданинъ да умѣе да владѣе оружие.

Еттеръ. Тѣй, тѣй, особено, който има жена и дѣца. Но пакъ по-обичамъ да слушамъ за войници, отъ колкото да ги виждамъ.

Буикъ. Това, май, ти менъ подмѣташь.

Еттеръ. Не, не, побратиме, за тебе не говора. Отъ като се отървахме отъ испанскитѣ гарнизони, почнахме пакъ свободно да дъшемъ.

Соестъ. Вѣрвамъ; казватъ, че ти най-много си прѣтеглилъ отъ тѣхъ.

Еттеръ. То сж все празни думи!

Соестъ. Приказватъ, че тѣхното стоение у васъ ти струвало, май, не ефтино.

Еттеръ. Дръжъ языкътъ си задъ зкбитѣ!

Соестъ. Тѣ го пронѣдили изъ готварницата, зминикътъ, стаята — лѣгло. (*Всички се смѣятъ.*)

Еттеръ. У, дяволско шво!

Буикъ. Е, господа мирно! Войникъ ли трѣбва да ви приканва къмъ миръ. Като не ви се ще да слушате за войници, я, да пнежъ за ваше здравие. Да живѣятъ всички граждани!

Еттеръ. На това сме готови. Безопасность и спокойствие!

Соестъ. Редъ и Свобода!

Буркъ. Хубаво! сега и ние сме задоволни.

(*Тѣ се чукатъ и весело повтарятъ всѣкий свое възкли-
цание, тѣй щото се образува единъ видъ припѣвъ; старийтъ
тѣй сжцо приглася.*)

Всички. Безопасность и спокойствие. Редъ и свобода!

Дворецъ на управителката.

*Маргарита Пармска въ ловчийски дрѣми. Придворни.
Пажи. Слуги.*

Управителката. Да се отложи ловътъ, днесъ не ми се отива.
Кажете на Макиавель да дойде при мене.

(*Всички се разотиватъ.*)

Мисълта за тие страшни събития ми не дава мира! Нищо не може да ме развесели, отвлѣче, отпрѣдъ ми все сжщи картини, все тие грижи. Кралятъ безъ-друго ще каже, че тѣ сж слѣдствия отъ моята добрина, отъ моя немарливостъ, макаръ че съвѣстьта всѣка минута ми шушне, че съмъ постжпяла добръ и справедливо. Немá трѣбваше чрѣзъ бурята на гнѣвътъ си да раздухамъ тая искра и да я прѣвърна въ пожаръ? Азъ се надѣвахъ, че то ще се утоложи и ще угасне само по себе. Да! всичко, което сама на себе си говора, всичко, което тѣй добръ зная, ме оправдава прѣдъ собственитѣ ми очи; но какъ братъ ми ще погледне на него! Не може да се отрече, че дързостъта на чуждеземнитѣ проповѣдници отъ день на день все нараства; тѣ опорочаха нашитѣ светини, окрилиха глухитѣ инстинкти на народътъ, вселеха въ умътъ му своеволнический духъ. Къмъ бунтовницитѣ се присѣдиниха нечисти духове, и страшни дѣла се извършиха, при една мисълъ за които тръпки ме побиватъ, и за тѣхъ азъ съмъ длъжна незабавно да извѣста дворътъ едно по едно, прѣди да ме прѣвари всеобщата мъгла, за да не се дава на кралятъ поводъ да мисли, че отъ него се крие нѣщо по-важно и по-лошо. Не виждамъ никакви срѣдства — нито строги, нито кротки, които да отвърнатъ злото. О, що сме ние, свѣтовнитѣ голѣмци, срѣдъ вълнитѣ на челоувѣчеството? Ние мислимъ, че ги управляваме, а тѣ произволно си играятъ съ насъ и ни тласкатъ насамъ-нататъкъ.

Влиза Макиавель.

Управителката. Готови ли сж писмата за кралятъ?

Макиавель. Слѣдъ единъ часъ тѣ ще бждатъ подложени вамъ за подписъ.

Управителката. Изложено ли е въ тѣхъ всичко подробно?

Макиавель. Подробно и обстоятелно, както обича кралятъ. Азъ разказвамъ, какъ въ начало иконоборческата яростъ се прояви въ С. Омеръ, какъ една побѣснила тълпа съ тояги, бравни, чукове, стълби, възжета, съпровождана отъ малцина обржени, най напредъ нападна на параклиси, черкови, манастири, пропѣди молящитѣ се тамъ, испочуни заключенитѣ порти, изкърти олтаритѣ, разби статуйтѣ на светцитѣ, изхаби иконитѣ, — съ една дума потъпка, разкъса, изпотроши, разнебити всичко свето или осветено, което срѣщаше изъ пътятъ си. Послѣ излагамъ, какъ тая тълпа все по вече и по-вече нарастваше, какъ жителитѣ на Ипернъ сами ѝ отвориха портитѣ, съ каква невѣроятна бързина тя запуститамошниятъ съборъ и изгори библиотеката на епископтѣ; какъ по-послѣ грамадно множество народъ, обзетъ отъ сжщото безумие, се устреми къмъ Менинъ, Коминесъ, Фервикъ и Лилъ, безъ да срѣщне нейдѣ ни най-малко противение, и какъ най-сѣтнѣ това ужасно съзаклѣтие за единъ мигъ се распространи и приведе въ изпълнение въ цѣла Фландрия.

Управителката. Охъ, какъ твоео повторение подновява моитѣ страдания! И къмъ тѣхъ се присъединява страхътъ, че това зло ще се усилава все по-вече и по-вече. Кажй ми твоитѣ мисли по това дѣло Макиавель!

Макиавель. Простете ме, Ваше Височество, моитѣ мисли тѣй приличатъ на мечтания; макаръ вие и да сте били винаги доволни отъ службата ми, но рѣдко сте злѣдовали моитѣ съвѣти. Вие често на шега сте ми казвали, «ти Макиавель, виждашь твърдѣ на далечъ; ти би трѣбвало да бждеш историкъ. Онзи, който дѣйствува, трѣбва да се грижи за най-близкото бдуще». А не ви ли прѣдсказвахъ азъ тие събития? Не прѣдвидѣхъ ли всичко.

Управителката. Азъ сжщо тѣй много работи прѣдвиждамъ, но нѣмамъ възможность да ги измѣна.

Макиавель. Турямъ хилядо срѣщу едно, че нѣма да потычете новото учение. Оставете ги на шира, отдѣлете ги отъ право-вѣрнитѣ католици, дайте имъ черкови, въведете ги въ общийтъ гражданскй строй, ограничете ги дори, — чрѣзъ това вие веднага ще успокоите всички възненя. Всѣкакви други срѣдства сж празни, — вие опустошавате страната.

Управителката. Та забрави ли ти, съ каква омраза братъ ми отхвърли нашето прѣдложение — да се отнесемъ съ по голѣма търпимостъ къмъ новото учение? Не знаешъ ли, какъ въ всѣко свое писмо той ми прѣдписва най-ревностно да поддържамъ истинската

вѣра? Той не ще да чуе за никакво спокойствие и съгласие, купени съ цѣната на религията? Не държи ли той самъ въ провинциитѣ шпиони, които ние не знаемъ, за да испитватъ и да му донасятъ имената на оние, които клонятъ къмъ новото учение? За наше голѣмо оцудване, не ни ли е извѣщавалъ той прѣвъ, че тойзи или онии огъ нашитѣ приближенни е прѣгърналъ тайно тая ересь? Не изисква ли той отъ мене строгость и твърдость? И азъ ли да бъда мекка и устѣпчива, азъ ли да му съвѣтвамъ да гледа на всички прѣвъ прѣсти и да бъде търпѣливъ? О, азъ бихъ изгубила за всекога неговото довѣрие и неговата вѣра въ мене!

Макиавель. Азъ зная добръ, че кралятъ заповѣдва и че ви съобщава своитѣ намѣрения. Споредъ него, ние трѣбва да въведемъ спокойствие и миръ по начинъ, който е способенъ още повече да подразни духоветѣ и неминуемо да докара война въ всички краища на страната. Помислете, що правите? Най-богатитѣ търговци, благороднитѣ, народътъ, вашитѣ солдати сж заразени. Каква полза да упорствуваме въ мнѣнията си, когато всичко около насъ се мѣнува? О, да можеше нѣкой добъръ гений да вдъхне на Филиппа, че подобръ е единъ царь да царува надъ подданици отъ двѣ различни вѣроисповѣдания, отъ колкото да унищожава едната половина съ помощта на другата.

Управителката. Никога такива думи въ мое присѣствие! Азъ добръ зная, че политиката рѣдко се придържа до правилата на честность и вѣра, че тя прогонва изъ нашето сърдце искренность, чистосърдечие и устѣпчивость. За жалость, въ свѣтовнитѣ работи то е така; но трѣбва ли и съ Бога тъй сжщо да си играемъ, както единъ съ другъ? Трѣбва ли да бждемъ равнодушни къмъ нашата испитана вѣра, за която толкова хора сж жървували животътъ си? Можемъ ли да я отстѣпимъ и промѣнимъ съ сегашното, незнайно и само на себе си противорѣчущо учение.

Макиавель. Само не дѣйте отъ това мисли за мене по-лоше!

Управителката. Азъ добръ познавамъ тебе и твоята вѣрность, и зная още, че человекъ може да си остане честенъ и разуменъ, макаръ наврѣмени и да се отбива отъ правитѣ ижъ, който води къмъ спасението на нашата душа. Има и други освѣтитѣ тебе, Макиавель, които азъ трѣбва и да цѣня, и да укорявамъ.

Макиавель. За кого ми загатвате?

Управителката. Трѣбва да исповѣдамъ, че днесъ Египетъ дълбоко ме наскърби.

Макиавель. Съ що?

Управителката. Съ своята обикновена безгрижливость и

легкомислие. Азъ приехъ страшното извѣстие тъкмо, когато въ съпровождение на мнозина, въ това число и на Егмонта, излизахъ отъ черкова. Безсилна да потая страданията си, азъ почнахъ високо да се облаквамъ и като се обърнахъ къмъ него, извикахъ : «Виждате ли, що става въ вашата провинция! И вие търпите това, графе, вие, на кегото кралтъ тѣй се уповава!»

Макиавель. А той какво ви отговори?

Управителката. Като че ли идеше рѣчь за нищо и никакви работи, той забѣлжи само : «Стига Нидерландцитѣ да сж успокоени относително своитѣ права; всичко друго ще дойде у врѣме».

Макиавель. Може би, той да е говорилъ по-право, отъ колкото умно и скромно. Какво довѣрие може да се пороци и да трае, когато нидерландецтъ вижда, че тука работата се касае по-вече до неговий имотъ, нежели до неговото благо и спасяване на душата? Новитѣ епископи не погълнаха ли по-вече тлѣсти черковни приходи, отъ колкото души спасоха? и по голѣмата часть отъ тѣхъ не сж ли чужденци? До сега штаттхалтерствата сж още заети отъ нидерландци, но не е ли ясно, като день, за всѣкиго, че испанцитѣ ламтятъ и за тие мѣста? Не иска ли всѣкий народъ по-добрѣ да се управлява отъ свои съотечественици, съгласно съ роднитѣ му обичаи, нежели отъ чужденци, които се явяватъ въ страната съ единственна цѣль да напълнатъ джебовеѣ си отъ потѣтъ на туземцитѣ, всичко да мѣратъ съ своята чужда мѣра, и да властвуватъ безучастно и враждебно?

Управителката. Ти се туряшь на страната на нашитѣ противници?

Макиавель. Сърдцето ми, разбира се, не е за тѣхъ, но желалъ бихъ, щото и умътъ ми да бжде напълно за нашитѣ.

Управителката. Споредъ тебе значи, азъ бихъ направила добрѣ, ако се откажехъ отъ властѣта и я прѣдадѣхъ на Егмонта и на Оранский, които отдавна желѣятъ надѣжда да заематъ това мѣсто. По-прѣди тѣ бѣха съперници, а сега въ съюзъ противъ мене, тѣ станаха приятели, нераздѣлни другари.

Макиавель. Опасна двойца!

Управителката. Да ви кажа ли искрено — отъ Оранский азъ се боя, а за Егмонта се страхувамъ. Оранский замишлява нѣщо не добро, неговитѣ мисли го увеличатъ на далечъ, той е таенъ, на гледъ съ всичко се съгласява, никога не противорѣчи, но съ прѣсторено, дълбоко страхопочитание, съ най-голѣма прѣдпазливостъ върши само онова, което нему е драго.

Макиавель. Егмонтъ, съвършено напротивъ, върви открито и свободно, като че цѣлий свѣтъ принадлежи нему.

Управителката. Той носи главата си толкова високо, като че ли дѣсницата на Негово Величество не се простира надъ нея.

Макиавель. Очитѣ на цѣлий народъ сж обърнати къмъ него и всички сърца сж нему привързани

Управителката. И никакъ не се грижи да отблъсне отъ себе си подозрѣнията, сѣкашъ, че нѣма кому смѣтка да дава, и не само продължава да носи името Егмонтъ, *графъ Егмонтъ*, но вижда се, че то го радва още, той не иска да забрави, че неговитѣ прѣдци сж били владѣтели на Гелдернъ. Защо не се нарича принцъ Таврскій, както трѣбваше? Защо прави така? Да не иска да възврне угасналитѣ права?

Макиавель. Азъ го имамъ за вѣренъ слуга на кралтъ.

Управителката. Да желаше само — колко лесно можеше да добие расположението на правителството, на мѣсто да ни причинява неизказана скърбъ, и то безъ ни най-малка полза за себе си. Неговитѣ събрания, пиршества и празнества сж свързали и сблизили всички велможи по-вече, нежели най-опаснитѣ тайни общества. Съ своитѣ наздравници той навѣва въ главитѣ на гоститѣ си такъва мъгла и такъвъ шемедъ, щото тѣ надали могатъ нѣкога се проясни и избистри. Какъ често шеговититѣ му рѣчи възнуватъ духоветѣ на народътъ, и какъ се чуди ѥ зная тълпата на новитѣ ливреи и глупави шевове по дрѣхитѣ на неговитѣ слуги.

Макиавель. Азъ съмъ убѣденъ, че въ всичко това нѣма зли намѣренія.

Управителката. И то е доста лошо. Повтарямъ : той врѣди намъ, и на себе си полза не принася. Той се отнoся на шегата и къмъ сериозното, а ние и къмъ шегитѣ трѣбва да се отнасяме сериозно, за да не ни считатъ слаби и легкомислени. То се държи едно о друго, и често като че ли на зло се случва онова, което най-много сме се мѣчили да избѣгнемъ. Той е по-опасенъ отъ всѣкий откритъ главатаръ на единъ заговоръ, и азъ надали ще се излъжа, ако кажа, че ностѣпкитѣ му се показватъ подозрителни на всички при дворътъ. Не мога да крия, рѣдко минува день, щото той да не ме наскърби и чувствително наскърби.

Макиавель. Чини ми се, че въ всичко той се води по съвѣстѣта си.

Управителката. Съвѣстѣта му държи прѣдъ него невѣрно огледало. Обноскитѣ му биватъ често оскърбителни. Че то той изглежда, като че ли е напълно увѣренъ, че той е господаръ тука, и

че само отъ любезна вѣжливостъ не ни дава това да разберемъ, и ако не ни изгонва изъ страната, то само защото очаква, че всичко ще дойде въ свое врѣме

Макиавель. Вѣрвайте, неговата искренность и честита природа да гледа на всичко важно отъ горѣ—отъ горѣ не сж тѣй опасни, както вие си ги прѣдставлявате. Съ това вие само врѣдите нему и на себе си.

Управителката. Нищо не си прѣдставлявамъ, а говора само за неизбѣжитѣ сѣтнини, азъ го познавамъ. Славниятъ му нидерландский родъ и Златното Руно на гърдитъ му поддържатъ неговата самоувѣренность и смѣлость, тѣй като едното и другото могатъ го защити отъ ненадѣйна и бърза немилость отъ страна на кралятъ. Я размисли малко, не е ли той единствениятъ виновникъ за всичкитѣ бѣдствия, които сполитатъ Фландрия? Не той ли пръвъ снисходително се отнесе къмъ чуждитѣ проповѣдници, като гледаше на всичко прѣзъ прѣсти, а може би, тайно и да се радваше, че ни се отваря работа. Не ме прѣкъсвай, азъ трѣбва да излѣя всичко, което ми е накинѣло на сърдцето! Азъ не ща на-пусто да хвърлямъ стрѣла, тя трѣбва да улучи цѣльта; азъ зная неговото слабо мѣсто. Той е тѣй сжщо чувствителенъ.

Макиавель. Заповѣдахте ли да се свика съвѣтътъ? Ще ли дойде и Франскій?

Управителката. Пратихъ въ Антверпенъ за него. Искамъ да сваля на тѣхъ всякото брѣме на отговорность, ще ги накарамъ или заедно съ мене дѣятелно да се заловятъ за искореняване на злото, или и тѣ да се обяватъ за бунтовници. Побързай да свършишь писмата и ми ги донеси за поднесъ. Послѣ ще испратимъ испитанныитѣ Васка въ Мадридъ; той е неуморимъ и вѣренъ; братъ ми трѣбва отъ него пръвъ да получи извѣстие, да не го прѣвари шъвата. Искамъ и азъ сама да поговора съ него прѣди той да замине.

Макиавель. Вашитѣ заповѣди ще бждатъ изпълнени точно и незабавно.

Кжца.

Клара. Нейна майка, Бракенбургъ.

Клара. Не искате ли да ми подѣржите да навия прѣждата, Бракенбургъ?

Бракенбургъ. Моля ти се, пощади ме, Клерхень.

Клара. Какво ти е пакъ? Защо ми отричашъ такъва дребна услуга?

Бракенбургъ. Ти си ме свързала съ нишки толкова ядро отпрѣдъ си, щото не мога да се спаса отъ твоитѣ очи.

Клара. А, глупости, а! Ела дръжъ!

Майката (сѣди и плѣте). Испѣйте ми, нѣщичко де. Бракенбургъ приглася тѣй хубаво. По-прѣди вие бѣхте весели, та и азъ имахъ случай да се посмѣя.

Бракенбургъ. О да, то бѣ отдавна.

Клара. Хайде да пѣемъ!

Бракенбургъ. Както обичашъ.

Клара. Но само по-весело и по-живо! то е войнишка пѣсень, моя любима пѣсень.

(*Тя навива прѣжда и пѣе съ Бракенбурга.*)

Гърмятъ барабани,
Тржбитѣ тржбятъ!
И бърза обрженъ
Мой драгий на штъ.

—
Високо му копѣ
Прѣдъ строя синий,
Сърдцето ми тупа,
Кръвьта ми играй

—
Дружини повежда —
На добъръ имъ часъ!

Ахъ шлемъ и рейтузи
Що нѣмахъ и азъ!

—
И азъ бихъ трѣгнала
Слѣдъ него самий,
Бихъ гъпкала съ него
Тѣзъ вражьи земи.

—
Вразитѣ отстѣпватъ
Слѣдъ грозна борба. . .
Ахъ, иматъ мжжетѣ
Завидна еждба!

(*Бракенбургъ въ врѣме на пѣсницето не си мача очитѣ отъ Клара, въ начало пѣе съ нея нѣедно, напоследокъ гласгъ му се прѣкъсва, очитѣ му се насълзяватъ, той испуца прѣждата, става отъ мѣстото си и отива къмъ прозорецънъ. Клара свързва пѣсеньта сама, майката незадоволно ѝ клати глава. Клара става, прави нѣколко крачки къмъ Бракенбурга, но нерѣшително се поврци и сѣда на прѣдишнето си мѣсто.)*

Майката. Какво става на улицата, Бракенбургъ? Струва ми се да маршируватъ.

Бракенбургъ. Минуватъ тѣлохранителитѣ на управителката.

Клара. По това врѣме? Що ли то означава? (*Тя се доближава до прозорецънъ, при който стои Бракенбургъ.*) То не е всѣкидневнийтъ караулъ, тука сж много по-вече! почти всички нейни

дружини. О Бракенбургъ, иди, узнай, що се е случило, трѣбва да е нѣщо особено. Бържѣ, бържѣ върви, добрий Бракенбургъ, направи ми удоволствие.

Бракенбургъ. Отивамъ и завчасъ ще се върна. (*Той протѣга ржка, тя му подава своята.*)

Майката. Ти пакъ го испрати.

Клара. Любопитна съмъ; и да ти кажа ли — неговото присѣтствие ми тегне. Никакъ не зная, какъ да се обнасямъ съ него. Не съмъ права къмъ него и сърцето ми се вжса, че той го чувствува тѣй силно. Но пакъ не мога нищо да измѣна!

Майката. Той е такъвъ добъръ момъкъ.

Клара. За това и не мога да измѣна обноситѣ си къмъ него, трѣбва да го срѣщамъ дружелябно. Ржката ми неволно трѣбва, когато неговата се докосва до моята тѣй тихо, тѣй нѣжно. Укорявамъ се сама, че го мамя, че храна въ сърцето му праздни надѣжди. Зная, колко то е лошо. Но види Богъ — азъ не го лъжа. Не искамъ, щото той да се надѣва, но пакъ и не мога да го хвърля въ отчаяние.

Майката. То не е добръ.

Клара. Поврѣди той ми се харесваше, и сега отъ душа му желая добро. Азъ можехъ за него да се задомя, а вървамъ, че никога не съмъ била залюбена въ него.

Майката. Съ него ти щеше всѣкога да бждеш честита.

Клара. Щѣхъ да съмъ усигурена и животътъ ми щеше да бжде спокоенъ!

Майката. И всичко това по твоя вина е изгубено.

Клара. Азъ съмъ въ чудно положение. Богато почна да мисля, какъ всичко това се случи, азъ като че ли зная и не зная, но щомъ погледна на Егмонта, тутакси всичко ми става ясно, дори повече отъ ясно. Ахъ, Боже, какъвъ чедовѣкъ! Всичкитѣ провинции го боготворатъ, та азъ ли въ неговитѣ прѣгрѣдки да не бжда найчеститото сѣщество на свѣта?

Майката. Какъ ли всичко това ще се свърши?

Клара. Ахъ, азъ питамъ само: обича ли ме той? обича ли ме? а то подлѣжи ли на съмнѣние?

Майката. Огъ дѣца нищо освѣнъ главоболія и не очаквай. Какъвъ ли ще да е крайтъ! Все грижи и тѣги. Нищо добро нѣма да излѣзе. Ти направи себе си злощастна, злощастна направи и мене!

Клара (сдържано). Въ началото вие гледахте инакъ.

Майката. Да, азъ бѣхъ много мекка, и сега съмъ много мекка.

Клара. Когато Егмонтъ минуваше покрай нръсъ и азъ се спущахъ къдѣ прозорецътъ — карахте ли ми се? Не се ли доближаваше и вие сами къмъ него? Когато той погледнеше на горѣ, усмихнеше се и ме поздравеше — бѣше ли ви това неприятно? Вие сами не гледахте ли на себе си като почетена въ вашата дъщеря?

Майката. Пакъ още ми прави укори!

Клара (развълнувана). Когато той почна все по-често и по-често да се появява въ нашата улица и ние най-послѣ се усѣтихме, че той минува изъ тоя пкътъ само заради менъ, не вие ли първа забѣлѣзахте това съ тайна радостъ? Забранявахте ли ми да стоя у прозорецътъ и да го чакамъ?

Майката. Мислѣхъ ли азъ, че то тѣй далечъ ще иде?

Клара (като удържа сълзитѣ си и съ прѣкъснатъ гласъ). А когато, обгърнатъ въ мантия, една вечеръ той ни изненада и завари у лампата, кой побърза да го срѣщне, когато азъ обезумѣла отъ очудвание, останахъ на мѣстото си, като прикована?

Майката. Можехъ ли азъ тогава да се страхувамъ, че тая злощастна любовъ тѣй скоро ще увлѣче моята умна Клерхенъ? И сега съмъ длъжна да тегля, щото дъщеря ми—

Клара (сълзитѣ ѝ риватъ). Майко, вие сами желаете това. Драго ви е да ме плашите.

Майката (като плаче). Още пакъ плачи! и съ твоята печаль прави ме по-злочесга! Като че ми не стига, че единичката ми дъщеря е отхвърлено същество!

Клара (като се исправя и студено). Отхвърлена? Любимата отъ Егмонта отхвърлена? Коя княгиня не би позавидяла на онова мѣсто въ сърдцето му, което заема бѣдната Клара! О майко, мила майко, вие никога не сте ми приказвали така. О майко, бѣдете добри! що е намъ до онова, какво мислагъ хората, що ни е до влюкитѣ на нашитѣ съсѣдки! — Тая стайчка, тая малка къщичка станаха на рай, откакъ въ тѣхъ живѣе любовта на Егмонта.

Майката. Истина, чловѣкъ не може да не го обича: той е винаги тѣй дружелюбенъ привѣтливъ и искрененъ.

Клара. О, въ него нѣма нито капка лъжливостъ. Майко, и нели той е великийтъ Егмонтъ! А кога е съ мене, колко е добъръ, нѣженъ! той като че ли иска да потули своето високо положение, мжжество! колко е угриженъ да ми угоди като чловѣкъ, като другаръ, като любовникъ.

Майката. Ще ли той да дойде днесъ?

Клара. Че не виждате ли какъ често се доближавамъ до прозорецътъ? Не забѣлѣжихте ли, какъ се вслушвамъ въ най-мал-

койтъ шумъ задъ вратата? Ако и да зная, че той нѣма да дойде прѣди нощъ, но все му се надѣвамъ всѣка мицута отъ зараньта, щомъ стана. Да бѣхъ момче и да можехъ винаги да ходя съ него, въ дворецътъ и навредъ! Да можехъ да му нося знамето въ боеветъ!

Майката. О, ти всѣкога си била немирна; отъ дѣте още ти то лудувашъ, то се замесляшъ. Нѣма ли да се облѣчешъ малко по-добрѣ?

Клара. Може, може, майко! ако врѣмето ми се покаже дълго. — Прѣдставете си, вчера минуваха покрай насъ неговитѣ слуги и и пѣха иѣкакви иѣсни въ негова честь. Името му поне се споменуваше въ тѣхъ. Останалото не можахъ да разбера. Сърцето ми почна толкова силно да туна, като че ли гърдитѣ ми щѣха да се пръснатъ. — Да не бѣше ме досрамяло, азъ на драго сърдце бихъ ги повикала да се върнатъ.

Майката. Бѣди прѣдпазлива! Твоята расналенность още по-вече губи всичко! ти се издавашъ много прѣд хората. Ето и прѣзъ денетѣ, кога бѣхме у нашиятъ роднина, ти, като видя картината съ надписътъ, че като извика: Графъ Егмонтъ! Азъ се изчервихъ отъ срамъ!

Клара. Та какъ да не извикамъ? То бѣше Гравелинската битва; съгледвамъ горѣ на картината буква Е, почвамъ да диря долу въ описанието. Тамъ стои: «Графъ Егмонтъ, подъ когото бѣ убитъ коньтъ.» Азъ трѣпнахъ, но отиодирѣ не можахъ да се удържа отъ смѣхъ прѣдъ дървената фигура на самий Егмонтъ, койго бѣ толкова високъ, колкото близу-стоящата Гравелинска кула и английскитѣ кораби на морето. — Когато си науча, какъ по-прѣди азъ си въобразявахъ тойзи бой, какъ, като дѣте, си рисувахъ графа Егмонта, когато вие ми разказвахте за него, и за всичкитѣ други графове и князье — и сега какъ е!

Влиза Бракенбургъ.

Клара. Каква е работата?

Бракенбургъ. Нищо положително не се знае. Говоратъ, че въ Фландрия отново избухнало възстание; че управителката бързала да вземе мѣрки, да се не распространи то и тука. Дворецътъ е натъпканъ съ войска, гражданетъ на многобройни тѣлпи стоятъ у портитѣ, улицитѣ сж пълни съ народъ. — Сега да бързамъ при старийтъ си баща. *(Като че ли иска да излѣзе.)*

Клара. Утрѣ ще ли да ви видимъ? Отивамъ да се поприбера. {Братовчедъ ми ще дойде, а пакъ азъ на какво приличамъ.

Майко, ще ли ми помогнешь малко. — Земете тая книга, Бракенбургъ, и донесете ми друга, пакъ нѣкоя такъва история.

Майката. Остани си съ здравие.

Бракенбургъ (като подава ржка). Вашата ржка!

Кларъ (крие си ржката). Когато пакъ дойдете (*Клара и майка ѝ излизатъ*).

Бракенбургъ (самъ) Азъ бѣхъ самъ рѣшилъ да си ида, но кога тя тѣй приема моитѣ думи и ме оставя да си вървя, като че ли бѣсъ ме хваща — Злощастнику! и съдбата на твосто отечество не те ли вълнува? не те ли плаши това възстание, което расте отъ часъ на часъ? — да ли ти е все едно единородецъ или испанецъ, и кой управлява, и кой има право? — Другъ ли бѣхъ азъ, когато ходѣхъ на училище? Кога ни дадеха тема: „Рѣчь на Брута върху свободата за упражнение въ краснорѣчието“ — Фрицъ биваше всѣкога пръвъ, и ректорътъ казваше: само да имаше по-вече редъ и да не бѣше всичко тѣй сплѣтено едно съ друго. — Тогава бурно и стремително връше кривъта въ мене! — Сега се влача прѣдъ очитѣ на това момиче! Та не мога ли азъ да я оставя! Та не може ли тя да ме обикне! — Ахъ не — тя, — тя не може да бѣде съвършено да ме е отблъснала, — не съвсѣмъ, ни наполовинъ, нито никакъ! Не мога по-вече това да тегла! Дали е онова истина, което ми пошерна прѣзъ деньетъ единъ приятель, че нощемъ тя впушала тайно нѣкоя мжжъ, когато менъ пѣди, щомъ рѣкне? Не, това не е истина, то е лъжа, клеветническа, ниска лъжа! Клара е тѣй невинна, както азъ злочестъ. Тя ме отблъсна, тя ме пропѣди изъ сърдцето си — и азъ още ли ще живѣя? Азъ не мога, не мога това да прѣтърпа. Междуусобици върлуватъ и кжсатъ отечеството ми, а азъ безучастно гледамъ на тие размирици. То не е за търпѣние! Кога затрѣби трѣба, кога изгърми пушка, тѣ ме пронизватъ до мозъкътъ на коститѣ; ахъ, но тѣ нѣматъ сила да ме накаратъ да полѣта въедно съ другаритѣ си, да сподѣляемъ съ тѣхъ опасността и да спасявамъ своитѣ. — Жалостно, позорно положение! По-добръ е да свърша отведнажъ. Прѣди малко азъ се хвърлихъ въ водата и вече се давѣхъ, — но прирожденныйтъ страхъ ме обори; азъ си наумѣхъ, че зная да плувамъ и се избавихъ претивъ желанието си. — Да можехъ да забравя онова връме, когато тя ме обичаше, или менъ се струваше, че ме обича! — Защо щастieto бѣше се промѣгнало до мозъкътъ на коститѣ ми? Защо надѣждата за рай, посоченъ само отъ далечъ, отрови вспикитѣ наслаждения на животътъ? А оная първа цалувка! първа и единственна! Тукъ, (*туря ржката си на масата*), тукъ ние

бѣхме сами — тя биваше винаги добра и привѣтлива къмъ мене, — а тогава тя ми се показа по-мегка, — тя ме погледна — всичко се завъртя около мене — и азъ усѣтихъ нейнитѣ устни възъ моитѣ. — А сега, сега? — Умри, клѣтнику! Какво очаквашъ още? (*Той измква шишенце изъ джебѣтъ си*). Не на пусто те откраднахъ азъ отъ санджето на мойтъ братъ-докгоръ, тебе спасителна отрово! Ти трѣбва отведнаждъ да погълнешъ и да прѣкънешъ тойзи страхъ, това съмнѣние и тѣзи смъртни мжки.

ДѢЙСТВИЕ ВТОРО.

Площадъ въ Брюксель.

Еттеръ и единъ дърводѣлецъ се срѣщатъ.

Дърводѣлецътъ. Е, не прѣдрекохъ ли азъ това? Още прѣдм осемъ деня азъ казахъ въ събранието на нашиятъ еснафъ, че настаятъ усилни врѣмена.

Еттеръ. Истина ли е, че тѣ обрали черковитѣ въ Фландрия?

Дърводѣлецътъ. Тѣ не отгинали нито една черкова, нито единъ параклисъ безъ да ги разнебитатъ; отъ тѣхъ стърчатъ само четири. голи стѣни. Иста сбирщина! И то силно ще поврѣди на нашата добра работа. Ние трѣбваше по рано, по единъ миренъ, но въ сжщо врѣме и настоятеленъ начинъ, да заявимъ прѣдъ управителката за нашитѣ правдини. Но сега щомъ се съберемъ, щомъ заговоримъ за това, токо виждъ, обявицатъ ни бунтовници.

Еттеръ. Да, всѣкий, който се залавя за тая работа, нека си каже: що си вовирашъ носѣтъ напредъ? или не знаешъ, че отъ него не е далечъ до вратѣтъ?

Дърводѣлецътъ. Най-много се страхувамъ, да не се почнатъ вълнения и между станѣта, народъ, който нѣма що да губи. Тѣ ще зематъ това за поводъ, ние ще трѣбва да се отзовемъ, и ще вкараме цѣлата страна въ злочестини.

Присгединява се Соестъ.

Соестъ. Добъръ день, байновци! Какво има ново? Истина ли е, че иконоборцитѣ идѣли право на насъ?

Дърводѣлецътъ. Тука, май, тѣ не трѣбваше нищо да бутатъ.

Соестъ. Днесъ въ дюкенчето ми влѣзе единъ солдатицъ да си купи тютюнъ. Азъ го запитахъ. Управителката, колкото и да е храбра и умна, тойзи пжтъ, казва, изгубила и ума и дума. Работата

трѣбва да е твърдѣ лоша, ако тя се крие задъ своята стража. Дворецътъ е ягката натѣпканъ съ войска. Прѣдиологатъ дори, че тя искала да бѣга изъ градътъ.

Дърводѣлецътъ. Тя не трѣбва да прави това! Нейното при-
сѣствие ни брани, и ние сме по-кадрни да я защитимъ отъ кол-
жото нейнитѣ късомустакати пазители. А ако ли пакъ още тя
поддържи нашитѣ правдини и волности, тогава ние ще я носимъ
на рѣцѣ.

Присѣдинява се сапунарътъ.

Сапунарътъ. Лоши работи! страшни работи! Всичко е не-
спокойно и всичко се клати. — Пазете се, кротувайте, да не ви
взематъ за бунтовници.

Соестъ. Ето ги седемътѣ мъдречи на Гърция.

Сапунарътъ. Азъ зная, тукъ мнозина тайно държатъ съ кал-
виниститѣ, псуватъ епископитѣ и не зачитатъ кралятъ. Но единъ
вѣренъ подданикъ, единъ истинскій католикъ —

*(Лежка по легка къмъ тѣхъ се присѣдиняватъ всѣкакви
хора и се вслушватъ въ разговоритѣ).*

Присѣдинява се Фанзенъ.

Фанзенъ. Помагай Богъ, господа! Що има ново?

Дърводѣлецътъ. Не се свързвайте съ него, той е лошава
человѣкъ.

Еттеръ. Не е ли той писарътъ на докторъ Витцъ?

Дърводѣлецътъ. Той е мѣнилъ вече много господари. Испърво,
истина, бѣше писаръ, но тъй като единъ слѣдъ другъ стопанитѣ
му го пѣдятъ, сега поминува наполовинъ съ шмекерии, като се търка
покрай адвокати и нотариуси, и е отчаянъ пиеница.

(Дохожда още по-вече народъ и се сбира на купчини).

Фанзенъ. Ето ви събрани, допрѣни глава съ глава. Тамамъ
случай да поприказваме.

Соестъ. И азъ тъй мисля.

Фанзенъ. Да имаше сега единийтъ или другийтъ сърдце, и при-
това още тойзи единъ или другъ да носеше глава, то ние можехме
изведнаждъ да прѣмахнемъ испанскитѣ вериги.

Соестъ. Господине! Да не говорите така. Ние сме се клѣли
на кралятъ.

Фанзенъ. И кралятъ на насъ. Забѣлѣжете това.

Еттеръ. Това се слуша. Кажете своето мнѣние!

Мнозина. Слушайте, не прѣкъсвайте! Тозъ го бива.

Фанзенъ. Азъ имахъ покровитель единъ старецъ, той притежаваше купъ пергаменти и староврѣмски хартии отъ веѣти записи, контракти и привилегии; освѣнъ тѣхъ той имаше и много най-рѣдки книги. Въ една отъ тѣхъ се излагаше нашиятъ цѣль уставъ : какъ ние, нидерландцитѣ, изначало сме се управлявали отъ отдѣлни князье, споредъ установени правдини, привилегии и обичаи ; какъ нашитѣ прѣдци дълбоко почитали князетѣ си, когато тѣ управлявали, както се слѣдва, и какъ завчасъ се повдигали срѣщу тѣхъ, щомъ князетѣ посѣгнѣли върху правдинитѣ имъ. Шгаговетѣ веднага се обаждали ; защото всѣка областъ, колкото малка и да била, е имала свои прѣдставители, свои събрания.

Дърводѣлецъ. Стига си дрънкалъ ! то е познато всѣкому отдавна. Кой добъръ гражданинъ не знае уставътъ си, до колкото му трѣбва ?

Еттеръ. Остави го да говори, де ; все научва челоуѣкъ нѣщо.

Соестъ. Тѣй, тѣй, ти имашъ пълно право.

Мнозина. Разказвай ! разказвай ! Не всѣкий день се чуватъ такива нѣща.

Фанзенъ. Такива сте вие гражданетѣ ! Живѣете отъ день за день ; и както сте добили отъ родителитѣ си нѣкакъвъ занаятъ, така и правителството оставяте да се распорѣжда и да ви върти, както му скивне. Вие не питате ни за обичаи, ни за история, нито пакъ за правата на единъ управитель. Его тая ваша безгрижливостъ до гдѣ я докара : испанцитѣ да ви станатъ господари.

Соестъ. Кой му мисли много ? Стига да има хлѣбъ всѣкий день.

Еттеръ. Проклѣтия ! Защо никой не излѣзе у-врѣме и не ни каза такава нѣщо ?

Фанзенъ. Азъ ви го казвамъ днесъ. Испанскиятъ кралъ, комуто слѣпото щастие помогна да стане владѣтель надъ всички наши провинции, нѣма право да борави и управлява въ тѣхъ инакъ, освѣнъ както дребнитѣ князье, които нѣкога сж ги владѣли отдѣлно. Разбрахте ли ме ?

Еттеръ. Разясни го по-добрѣ.

Фанзенъ. То е ясно, като день. Не сж ли длъжни да ви сждатъ споредъ законитѣ на страната ? Къдѣ се дѣна това ?

Единъ гражданинъ. Истина !

Фанзенъ. Нѣма ли брюкселецътъ други права отъ оние на антверпенецътъ ? антверпенецътъ отъ оние на единъ гентецъ ? Къдѣ се дѣнаха и тѣ ?

Другъ гражданинъ. За Бога!

Фанзенъ. Но ако допуснете и за напредъ тъй да я каратъ, то ще ви огрѣе и нѣщо по друго. Шей! Щото не можаха да направятъ Карлъ Смѣлий, Фридрихъ воинственний, Карлъ V ий, онова върши сега Филиппъ чрѣзъ една жена!

Соестъ. Тъй, тъй! но и напредъжнитѣ князѣ се сж опитвали да правятъ същото.

Фанзенъ. Да, но нашитѣ прѣдци сж знаели да ги укротятъ! Щомъ ставало нѣкое спрѣчкване между тѣхъ и господарѣтъ, тѣ хващали синѣтъ му и наследникѣтъ, държали го у себе си за творенъ и не го освобождавали иначе освѣнъ на най-сгодни условия. Нашитѣ бащи сж били хора! Тѣ сж знаели, що ги ползова; тѣ умѣяли да водятъ работитѣ си и още какъ вѣщо! Его защо нашитѣ привилегии сж тъй ясно опрѣдѣлени, нашитѣ волности тъй усигурени.

Сануаритъ. Какво бръщолени той тамъ за волности?

Народѣтъ. За нашитѣ волности, за нашитѣ привилегии! Разкази още нѣщо за привилегиятъ ни!

Фанзенъ. Ние, брабанцитѣ, сравнително съ другитѣ провинции, сме добили най-изгодни права. Азъ прочетохъ всячко това.

Соестъ. Е, казвай, де!

Еттеръ. Слушайте!

Единъ гражданинъ. Моля ви, почнете.

Фанзенъ. Тамъ на първо мѣсто стои написано: Херцогъ Брабантский се задължава да бѣде добъръ и правосѣденъ господаръ.

Соестъ. Добъръ! Тъй тамъ и стои?

Еттеръ. Правосѣденъ? Истина ли е това?

Фанзенъ. Тъй, както ви казвамъ. Той има задължения къмъ насъ, както и ние спрямо него. Второ: Той не само не трѣбва да проявява надъ насъ своята властъ или произволъ, но дори по нѣкой начинъ да ни не дава поводъ да забѣлѣжимъ или да го заподозримъ въ това.

Еттеръ. Хубаво! хубаво! да не проявява.

Соестъ. Да ни не дава поводъ да забѣлѣжимъ!

Другъ единъ. Дори да го не заподозримъ! — То е главната точка. Никакъ да не мисли за това!

Фанзенъ. Да, всичко е изложено съ най изразителни думи.

Еттеръ. Намѣри ни тая книга.

Единъ гражданинъ. Ние трѣбва да я имаме.

Мнозина. Книгата, книгата!

Другъ единъ. Съ тая книга ние ще да идемъ при управителката.

Другъ единъ. Вие ще държите слово, господинъ докторе.

Сапунарътъ. О, праздни братуни!

Мнозина. Още, още нѣщо отъ книгата.

Сапунарътъ. Избиввамъ му зхбитѣ, ако продума още една дума.

Народътъ. Видящемъ, кой ще го бутне! Кажу ни нѣщо за привилегиитѣ! Имаме ли ние още други нѣкакви привилегии?

Фанзенъ. Много още и твърдѣ добри, твърдѣ полезни. Тамъ тѣй сѣщо стои: Управителтъ, безъ съгласието на велможитѣ и на съсловията, не може да обогатява или да увеличава духовенството. Заблѣжете това! А тѣй сѣщо и да измѣнява уставтъ на страната.

Соестъ. Тѣй ли?

Фанзенъ. Азъ ще ви посоча това написано прѣди двѣстѣ-триста години.

Гражданинъ. И ние търпимъ новитѣ епископи! О, ние ще надробимъ такъва попара, велможитѣ трѣбва да ни подкрѣпятъ!

Мнозина. И ние се оставяме на инквизицията да ни тъпче въ козий рогъ?

Фанзенъ. Сами сте криви.

Народътъ. Ние имаме още Егмонта, Оранский! Тѣ се грижатъ за нашето добро.

Фанзенъ. Вашитѣ братия въ Фландрия сѣ починали добра работа.

Сапунарътъ. Ахъ, куче недно! (Бис го).

Мнозина. (викатъ и пристѣпватъ къмъ него). Ти испанецъ ли си, бре?

Другъ единъ. Какъ? честниитѣ человекъ?

Другъ единъ. Ученийтъ?

(Нападатъ на сапунарътъ).

Дърводѣлецътъ. Смирете се, за Бога! (Мнозина се намѣсватъ въ бойтъ). Граждане, що правите?

(Момчета захващатъ да подсвиркватъ, да замѣрятъ съ камъни, да съскатъ кучетата; граждане стоятъ и гледатъ; народъ се стича, едни равнодушно се расхождатъ, други почеватъ да обиратъ чуждитѣ джбове. Викъ, крѣскъ.)

Мнозина. Свобода и привилегии! Привилегии и свобода!

Явява се Егмонтъ съ свитата си.

Егмонтъ. Умирате се! граждане! що е това? Умирате се, и се разпръснете!

Дърводѣлецътъ. О, милостивий господарю, вие се явихте между насъ, като ангелъ небесенъ. Ей, мирно ! Не виждате ли ? Графъ Егмонтъ ! Поздравете графа Егмонтъ !

Егмонтъ. И тукъ сжщото ! . . . Какво сте почнали ? Гражданинъ срѣщу гражданинъ ! Дори близостъта на нашата царствена управителка не сдържа вашето безумие ? Раздѣлете се, и всѣкий да си върви по работата. То е лошъ бѣлѣгъ, когато вие празнувате и въ дѣлникъ. Що се е случило ?

(Вълненцето легка-по-легка утихва, всички го заобикалятъ.)

Дърводѣлецътъ. Тѣ се биятъ за своитѣ привилегии.

Егмонтъ. Които тѣ сами тѣй легковѣрно ще унищожатъ. — Но кой си ти ? Ти ми изгледвашъ честенъ человекъ.

Дърводѣлецътъ. Това е моето желанне.

Егмонтъ. Съ що се занимавашъ ?

Дърводѣлецътъ. Дърводѣлецъ съмъ и първомайсторъ.

Егмонтъ. А ти ?

Соестъ. Търгувамъ на дребно.

Егмонтъ. А ти ?

Еттеръ. Азъ съмъ шивачъ.

Егмонтъ. А, наумявамъ си, ти ши ливрен за монтѣ слуги. Твоего име нели е Еттеръ ?

Еттеръ. Голѣма честь е за мене, гдѣто го помните.

Егмонтъ. Не забривамъ лесно оногози, съ когото съмъ говорилъ и когото поне веднаждъ съмъ видвалъ. — А що се касае до васъ, граждани, гледайте да назите тишината ! И безъ това доста сте нарочени. Не дразнете крадѣтъ по-вече ! Най-послѣ нели властѣта е въ неговитѣ рѣцѣ. Всѣкий добъръ гражданинъ, който честно помнчува съ трудѣтъ си, навредъ ще има толкова свобода, колкото му трѣбва.

Дърводѣлецътъ. Ахъ, така, така ! Това е сжщинската наша нужда. Тие, простете ме, разбойници всрѣдъ бѣлъ день, пиянници, нехривци, отъ нѣмай-къдѣ мжтятъ водата и крѣщатъ отъ гладъ за привилегии; лъжатъ любопитнитѣ и легковѣрнитѣ, и, за да ударятъ нѣкоя-друга пара да плататъ чашата си бира, тѣ поддигатъ кражолѣ, които правятъ хиляди хора злочести. Тѣмъ толкова хваща. Ние дибъ добръ назимъ кжщитѣ и сжнджцитѣ си ; инакъ тѣ съ огънь биха ни изгонили отъ тѣхъ.

Егмонтъ. На всички ви ще бжде оказана справедливостъ ; за искоренение на злото сж вземени вече мѣрки. Дръжте се ягко срѣщу новото учение и само не вървайте, че привилегии се закрѣ-

пять съ бунтувание. Стойте си въ къщи! Гледайте и други да се не трупатъ по улицитѣ! Благоразумни хора могатъ много нѣщо да направатъ.

(По-голтмата часть се разотива).

Дърводѣлецътъ. Благодаримъ, ваше сиятелство, за доброто ви мнѣние за насъ, благодаримъ. Всичко, що можемъ, ще направимъ. *(Егмонтъ си отиза).* Ей че милостивъ господарь; истъ нидерландецъ! Нищичко испанско!

Еттеръ. Ехъ, да бѣше той нашъ управитель! На него драго ти е и да се покорявашъ.

Соестъ. Таматъ кралятъ да се съгласи. Това мѣсто той държи все за своитѣ.

Еттеръ. Съгледа ли му дрѣхитѣ? Тѣ бѣха по последнята мода, по испанскій крой.

Дърводѣлецътъ. И какъвъ е хубавецъ!

Еттеръ. А вратѣтъ му? Ама че завиденъ късъ за единъ джелатинъ.

Соестъ. Ти полудѣлъ ли си? Какъ се побра такъва мисль въ главата ти?

Еттеръ. Глушешка е доста, ама чели ми хрумна. — Отъ нѣкое врѣме на насамъ все таквозъ ми се шѣрка. Видя ли хубавъ, дългъ вратъ, тутакси, безъ да ща, си мисля: ето го, като че ли е създаденъ за сѣкира, за клупъ. Проклѣти казни! тѣ не ми излизатъ пзъ умѣтъ. Момчета ли се къпятъ, и се подаде нѣкое голо гърбенце, ето че прѣдъ очитѣ ми минуватъ върволицы съ дюзини отъ оние, които съмъ видвалъ да истезаватъ съ прѣтѣ. Срѣщна ли нѣкой дебелъ, и вече си го прѣдставявамъ, че го пекатъ на шинѣ. Нощемъ, на снѣ, трѣпки побиватъ цѣлото ми тѣло и нѣмамъ ни минута покой. Азъ съмъ забравилъ вече, що е шега, що е веселба; тие страшни образи, като че ли съ нажежено желѣзо сж отпечатани на мозъкѣтъ ми.

Жилището на Егмонта.

Секретарьтъ му самъ при една маса, на която сж расхвърлени хартии; той безпокойно става.

Секретарьтъ. Още го нѣма! а вече два цѣли часа, какъ го очаквамъ съ перо въ рѣка и съ тие хартии прѣдъ мене, и то днесъ, когато тѣй ми се искаше по-рано да си ида. Подъ краката ми огнь гори. Отъ нетърпѣние едвамъ стоя. „Бъди у врѣме тукъ“, ми

заповѣда той, прѣди да излѣзе, а ето че още не се връща. А работа толкова, щото и до сръднощъ надали ще свърша. Истина, той често на много нѣща гледа прѣзъ прѣсти. Но азъ бихъ желалъ, щото той да е строгъ, а да ме освобождаваше отъ работа въ опредѣлени часове. Человѣкъ можеше да располага съ себе си. Отъ управителката има вече два часа, откакъ е излѣзълъ; кой знае, що го е забавило изъ пѣтьтъ.

Влиза Егмонтъ.

Егмонтъ. Какъ отива работата?

Секретарьтъ. Азъ съмъ готовъ, и трима пратеници чакатъ.

Егмонтъ. Забавихъ се твърдѣ много, затова и лицето ти е толкова кисело.

Секретарьтъ. Съгласно вашата заповѣдъ, азъ съмъ тукъ отдавна. Ето хартиитѣ!

Егмонтъ. Донна Елвира ще ми се разсърди, като чуе, че азъ съмъ те задържалъ.

Секретарьтъ. Вие се шегувате.

Егмонтъ. Не, не. Не се черви, де. То прави честь на твойтъ вкусъ. Тя е хубавичка; и менъ е драго, че ти имашъ въ дворецѣтъ приятелка. Що има въ писмата?

Секретарьтъ. Различни, но малко радостни нѣща.

Егмонтъ. И то добрѣ, че имаме радость въ къщи, та нѣма нужда да я очакваме отвънъ. Много ли сж получени?

Секретарьръ. Доста, и трима пратеници чакатъ.

Егмонтъ. Почни отъ най-нуждното.

Секретарьтъ. Че тукъ всичко е нужно.

Егмонтъ. Е, тогава едно слѣдъ друго, само по бързо.

Секретарьтъ. Капитанъ Бреда донася за послѣднитѣ събития въ Гентъ и неговитѣ околности. Възстанието почти вредъ е утихнало. —

Егмонтъ. Не извѣщава ли той още за нѣкои други безредици и глуцави буйства?

Секретарьтъ. Да, има и такива.

Егмонтъ. Освободи ме отъ тѣхъ.

Секретарьтъ. Хванати сж още шесть души за норуганне надъ образѣтъ Св. Богородица въ Фервихъ. Той пита, — да обѣем ли и тѣхъ, като другитѣ.

Егмонтъ. Уморенъ съмъ вече отъ това бѣсенне. Нека имъ удари по нѣколко тояги и да ги пустне.

Секретарятъ. Мѣжду тѣхъ има двѣ жени; ще заповѣдате ли и тѣхъ да биятъ?

Егмонтъ. Тѣхъ строго да смѣмре, и да ги пустне.

Секретарятъ. Брвикъ, войникъ отъ дружината на Бреда, иска да се ожени. Капитантъ мисли, че вие нѣма да му разрешите, защото, както той пише, въ отредѣтъ му имало толкова жени, щото въ походитѣ тая дружина приличага по-вече на циганскій таборъ, нежели на кралевска войска.

Егмонтъ. Е, на тогези може още да се дозволи. Той е такъв хубавъ, младъ момъкъ и ми се моли тѣй настоятелно прѣди моето трѣпанье за насамъ. Но за напрѣдъ никому да не разрешава, макаръ и да ми е жално, че на тѣзи сиромаси, които и безъ това много теглатъ, се отрича най-скжпоцѣнната растуха.

Секретарятъ. Двоица отъ вашитѣ слуги, Сетерь и Хартъ, сж извършили насилие надъ една невинна мома, дъщеря на нѣкой си ханджия. Тѣ я нападнали, когато момичето било само и немогло отъ тѣхъ да се отбрани.

Егмонтъ. Ако тя е честна, и тѣ сж употребили сила, нека да ги наказватъ три дни наредъ съ тояги, — и ако притежаватъ нѣщо, отъ имотѣтъ имъ да се отдѣли такъва часть, която да е достаточна за прекия на момичето.

Секретарятъ. Единъ отъ чуждитѣ проновѣдници искалъ тайно да се промъкне чрѣзъ Коминесъ и билъ уловенъ. Той се кълне, че ималъ намѣрение да прѣмине въ Франция. Споредъ указѣтъ той трѣбва да бѣде обезглавенъ.

Егмонтъ. Нека мъчшиката да го испратятъ до граница и да го заплашатъ, че повторно такъва стѣпка не ще да му мине напусто.

Секретарятъ. Ето писмо и отъ надзорникѣтъ надъ вашитѣ имоти. Той пише, че собрани пари имало малко и че се затруднява, какъ прѣзъ тая недѣля ще ви испрати трѣбуемото количество; възстанете било изпоразбърнало всичко.

Егмонтъ. Паритѣ трѣбва да бждатъ тука; нека се погрижи и изнамѣри срѣдства, какъ да ги събере.

Секретарятъ. Той казва, че ще употреби всичко възможно и напоследокъ ще прѣдаде Раймонда, който тѣй отдавна ви дължи, на съдъ и ще остави да го затворятъ.

Егмонтъ. Та той нели се врече да ги заплати.

Секретарятъ. Последний пѣтъ той самъ си опрѣдѣли двѣ недѣленъ срокъ.

Егмонтъ. Да му дадатъ още четиринадесетъ дена; и послѣ да го прѣслѣдватъ по сѣдебенъ редъ.

Секретарьтъ. Тѣй му се нада. Той не плаща не отъ нѣшанне, а защото не иска. Той безъ-друго ще се отнесе сериозно, щомъ види, че вие не се шегувате. — По-нататкъ надзорникътъ казва, че рѣшилъ да задържи за половина мѣсець пенсиятъ, които, по ваша милостива заповѣдь, се даватъ на стари войници, вдовици и други нѣкон; догдѣ се прѣмисля нѣщо по-добро, а тѣ нѣкакъ ще поминатъ и безъ тѣхъ.

Егмонтъ. Какъ тѣй ще поминатъ? Че тие хора се нуждаятъ въ пари по-вече отъ менъ. Нека това си остане, както по-рѣди.

Секретарьтъ. Тогава отгдѣ ще му заповѣдате да земе пари?

Егмонтъ. Той да му мисли; то бѣше казано още въ мима-лото писмо.

Секретарьтъ. За това той и прави тие прѣдложения.

Егмонтъ. Които нищо не струватъ. Той трѣбва да измисли нѣщо друго. И да прави такива прѣдложения, които да сж за приеманне, а прѣди всичко да намѣри пари.

Секретарьтъ. Ето пакъ ви изваждамъ писмото на графъ Олива. Простете, че отново ви наумявамъ за него! Тойзи благороденъ старецъ заслужва по-вече отъ всѣкого друго обстоятеленъ отговоръ. Вие искахте сами да му напишете. Истина, той ви обича, като баща.

Егмонтъ. Сега не мога. Между многото оразни нѣща, най-ообразно за менъ е писанието. Ти тѣй добръ подражавашъ на моята рѣка; напиши му отъ мое име. Азъ чакамъ Оранский. Да пиша самъ нѣмамъ врѣме, а желалъ бихъ да му се напише нѣщо въ успокоение.

Секретарьтъ. Кажете ми поне горѣ-долу вашитѣ мисли; тогава азъ ще приготвя отговорътъ и ще ви го прѣдстави. Той трѣбва да е написанъ тѣй, щото и прѣдъ сѣдилището да може да мине за вашъ собственорѣченъ.

Егмонтъ. Дай ми писмото. (*Слѣдъ като го прочита*). Добъръ, благороденъ старецъ! Но да ли бѣше ти тѣй разсудителенъ и на младо врѣме. Никога ли не си се вѣскачвалъ пръвъ на укрѣпление? Въ сраженията да ли си постигналъ всѣкого тѣй, както ти съвѣтства благоразумието, отзадъ ли си оставалъ? Колко нѣжни грижи! Той трѣниере за животътъ, за щастнето ми, а не усѣща, че онзи е мъртавъ вече, който мисли само за своята безопасность. — Напиши му, да бѣде спокоенъ; азъ дѣйствиувамъ, както съмъ длъженъ, ще бѣда прѣдпазливъ, а той да употреби своето влияние при дво-

рътъ въ моя полза и да е винаги увѣренъ въ моята най-дълбока благодарностъ.

Секретарьтъ. И друго нищо? О, той очаква много по-вече.

Егмонтъ. Е, та какво по-вече да кажа? Ако искашь да има по-много думи, притури отъ себе си. Той постоянно се върти около една и съща точка: да живѣя тѣй, както азъ не мога да живѣя. Да съмъ веселъ, да гледамъ легко на работитѣ, да бързамъ съ животътъ — ето моето щастие; и него азъ не мѣнувамъ за всичката безопасностъ въ една гробница. Въ монтѣ жили нѣма нито една капка кръвъ за испанскій образъ на живѣние; и нѣмамъ ни най-малко желание да съразмѣрямъ стѣпкитѣ си споредъ новитѣ тържествени придворни етикети. Нема азъ само за това живѣя, щото все за животътъ да мисля? И не трѣбва да се наслаждавамъ съ настоящитѣ мигъ, за да бѣда увѣренъ за послѣдующитѣ, а послѣ и него да троя съ грижи и страхове?

Секретарьтъ. Моля, господарю, не бждете тѣй строги и студени къмъ тойзи добъръ чловѣкъ. Вие сте къмъ всички тѣй дружелюбни. Кажете ми една добра дума, която да успокои вашиятъ благороденъ приятель. Вижте, какъ той се грижи за васъ, какво нѣжно участие приема въ вашата съдба.

Егмонтъ. Но той постоянно удря все връхъ една и иста струна. Той знае отдавна, колко ми сж омразни всички тие наставления; тѣ само смущаватъ, безъ да помогнатъ нѣщо. Да бѣхъ сомнамбулистъ и да се раскождахъ по стрѣменъ покривъ на нѣкоя висока къща, — кажи, било ли би приятелска услуга — да ме викнатъ по име, за да ме прѣдпазятъ, — и ме събудятъ и убиятъ? Остави всѣяго да върви по избраниитѣ отъ него пѣтъ; той ще знае самъ да упаци себе си.

Секретарьтъ. Рарбира се, вие не щете да се грижите за себе си, но който ви познава и обича.—

Егмонтъ (пакъ зема писмото). Ето пакъ старата приказка за онова, какъ една вечеръ, разпалени отъ приятелска бесѣда и добро вино, ние поговорихме, може би, по-вечко, — и що само не изведоха отъ това и не распрѣснаха по цѣлото кралевство. — Не стига и то! Заръчяхме по ржкавитѣ на слугитѣ си да ушиятъ глушаки калпаци и зевзешки долами, послѣ замѣстихме тие людешки украшения съ вързопъ стрѣли, и ето още по-опасенъ символъ въ очитѣ на оние, които дирятъ значение и тамъ, гдѣто нищо подобно нѣма. Истина, въ весели минути ние скриохме и направихме не една лудосия; виновни сме били, че една върволица благородни съ просешки торби и съ огъ само себе избрани прѣкори, въ това свое

кошическо увнжение, паумявали на кралът неговитѣ длѣжности; виновни сме, — и какво по-патайткъ? Или забавленията прѣзь карнавалътъ е вече държавна измѣна? Какъвъ грѣхъ, какво прѣстѣпление въ оние пѣстрошарени дрипи, съ които юношескийтъ духъ, веселата младостъ прѣбудава сиромашката голота на нашиятъ животъ? Ако на животътъ почнете тѣй строго да гледате, за какво е той тогазъ? Ако зората не ни буди за нови радости, ако вечерътъ прѣстане да ни навѣва надѣжди за наслаждениа, то струва ли тогава всѣквй день да се обличаме и сѣбличаме? За това ли ми свѣти слънцето днесъ, за да разправамъ, що е било вчера и да кроя, да отгавамъ, що? сѣдбата на единъ день, който не е настѣпилъ още. Избави ме отъ такива размишления! Да ги оставимъ по-добрѣ за ученицитѣ и придворнатѣ. — Тѣзи трѣбва да мислятъ и прѣмисляватъ, да се лутатъ и да пѣзатъ, да достигатъ до онова, до което могатъ, и да си испросватъ, щото могатъ. — Ако всичко това ти послужи въкакъ, и писмото ти не излѣзе цѣла книга, ще ми бже драго. Добрийтъ старецъ отдава на всичко голѣма важность. Тѣй единъ другаръ, който длго врѣме е държалъ нашата рѣчка, я стисва по-силно още веднаждъ, прѣди да я пустане.

Секретаритъ. Простете ме! У клѣтийтъ пѣшакъ тъмнѣ въ очитѣ, когато отпрѣдѣ му пролѣти въкой конникъ съ бързината на стрѣла.

Егмонтъ. Дѣте, дѣте! Спири! Когато свѣтлотозарнитѣ коньне на врѣмето, гоними отъ невидими духове, носатъ легката колебница на нашата сѣдба, намъ не остава друго, освѣнъ бодро и ятко да държимъ юздитѣ и да обръщаме то на дѣсно, то на лѣво, за да отбѣгнемъ камънитѣ и прѣчкитѣ изъ пѣтътъ. Кой знае, накѣдъ тѣ отиватъ? и кой помни, отгдѣ тѣ сѣ трѣгнали?

Секретаритъ. Господарю! господарю!

Егмонтъ. Азъ стоя високо и мога, и трѣбва да се въздигна още по нависоко: азъ усѣщамъ въ себе си надѣжди, смѣлость и мощь. Не съмъ достигналъ още до височината на мойтъ растъ; ако ли пакъ съмъ я достигналъ вече, азъ искамъ да стоя твърдо, а не страховливо. Ако ми е писано да падна, дано нѣкой грѣмовитъ ударъ, бурный вихрь или една моя невѣрна стѣпка ме катурятъ назадъ въ бездната; тамъ ще лѣгнатъ съ мене много, много хиляди други. Съ моятъ бойни другари азъ никога не съмъ се двоумялъ да хвърля кървавъ жребий за най-малка сполюка; трѣбва ли да ми се свиди, когато работата иде за цѣлата цѣна на единъ свободенъ животъ?

Секретаритъ. О господарю! Вне не знаете, какви думи изговаряте! Господъ да ви пази!

Егмонтъ. Прпберп твоитѣ хартни. Оранскій иде. Приготови, щото е най-потрѣбно, за да могагь пратеницитѣ да заминатъ, прѣди да се затворятъ градскитѣ порти. За всичко друго има врѣме. Писмото за графѣтъ остави за утрѣ! Не забравяй да идешъ при Елвира, и поздрави я отъ мене. Гледай да узнаешъ за управителката! Тя не ше да е расположена, макаръ и да крие това. (*Секретарьтъ си отива*).

Влиза Оранскій.

Егмонтъ. Добрѣ дошелъ, Оранскій. Ти не ми изгледвашъ твърдѣ веселъ.

Оранскій. Какво казвашъ ти за нашиятъ разговоръ съ управителката?

Егмонтъ. Азъ не съгледахъ въ нейнитѣ обноски спрямо насъ нищо извънредно. Такъва съмь я видвалъ вече често. Показа ми се не съвсѣмь здрава.

Оранскій. Не забѣлѣза ли ти, че тя бѣше по-сдържана? Огь най-напрѣдъ тя като че ли бѣше довольна отъ нашето поведение прѣзъ послѣднитѣ народни вълнения; сѣтнѣ посочи нѣкои случаи, които могли лоше да се прѣтълкуватъ, и изведнаждъ прѣмина къмь старата си обикновенна пѣсенъ: че нейната добрина, любовь къмь нидерландцитѣ не се припознавали и цѣнили досга, че нищо нѣмало да приведе къмь желаненъ исходъ, и че най-послѣ тя щѣла да изгуби всѣко търпѣние, кралътъ щѣлъ билъ да се рѣши на други мѣрки. Ти чу ли това?

Егмонтъ. Не всичко; азъ мислѣхъ по онова врѣме друго нѣщо. Тя е жена, драгий Оранскій, а женитѣ обичатъ всичко всѣкога и драговошно да се прѣкланя подь тѣхното нѣжно нго, всѣкий Херкулесъ да си хвърли левовата кожа и да увеличи тѣхнийгь придворенъ штабъ прѣдачки; тѣ обичатъ, понеже всѣкога сж миролюбиво настроени, щото вълненията, които обгръщатъ единъ народъ, буритѣ, които силни съперници повдигатъ единъ срѣщу другъ, да утихватъ отъ тѣхната първа сладка дума, и най-омразнитѣ единъ на другий елементи у краката имь да се слѣятъ въ едно хармоническо цѣло. Тая е работата; а тѣй като тя не може да достигне това, то шей и не остая, освѣнъ да се прѣструва на оскърбена, да се оплаква противъ нашата непризнателность, неразумие, да прѣдсказва страшни бѣдствия за бждущето, да заплашва, че ше си иде.

Оранскій. А не вѣрвашъ ли, че тойли пѣтъ ти може да изпълни своето заплашвание?

Егмонтъ. Никага! Болко пѣти вече азъ съмь я виждалъ

пригответа за пътъ. И накъдѣ ще иде? Тука тя е управителка, кралица; вѣрваш ли, че тя ще поиска да влаци въ нищожество своитѣ дни при дворѣтъ на брата си? или ще иде въ Италия да гласне подѣ брѣмето на старитѣ семейни отношения?

Оранский. Считатъ я неспособна за такова рѣшение, защото сж видвали, какъ неведнаждѣ се е колебала и огстживала, но тя може да го направи; нови обстоятелства я каратъ да прѣгжрне онова рѣшение, което тя тѣй отдавна отбѣгва. А ако си иде, и кралятъ ни испроводи нѣкого другиго?

Егмонтъ. Да заповѣда, и за него ще се намѣри работа. Ще се яви съ велики планове, проекти и мисли, — какъ всичко да прѣобърне, да сглоби и да приведе въ редъ; но, токо виждѣ, днесъ му се испрѣчило едно, утрѣ—друго, въ другий-день—нова бѣда; и тѣй единъ мѣсець ще посвети на своитѣ прѣдначинания, другий—на ядосвание за несполуката въ прѣдприятията си, половинъ-година—на уреждане на една единствена провинция. По тоя начинъ врѣмето ще се изминува, главата му ще се върти, а работитѣ ще си слѣдватъ по старийтъ пътъ, така щото, намѣсто да прѣплува широкийтъ океанъ по прѣдначертана линия, той ще възблагодари Бога, ако въ тоя ураганъ удържи свойтъ корабъ далечъ отъ скалитѣ.

Оранский. А ако посѣвѣтватъ на кралятъ да направи опитъ?

Егмонтъ. Като каквъ?

Оранский. Да види, какво ще прави трупѣтъ безъ глава.

Егмонтъ. Какъ тѣй?

Оранский. Егмонте, въ течение на много години азъ трупамъ въ сърдцето си всичкитѣ грижи по нашитѣ работи, постоянно съмъ на-шрекъ, като прѣдъ шахматна дѣска, и нито единъ ходъ отъ страна на противникѣтъ не смѣтамъ за незначителенъ: и както празни хора най-много жадатъ да узнаятъ тайнитѣ на природата, азъ пакъ считамъ, че длъжността, призиването на единъ князь е—да знае духоветѣ и намѣренията на всички партии. Азъ имамъ причини да се страхувамъ отъ избухвание. Кралятъ отдавна гони една извѣстна цѣль; той вижда, че по досегашнийтъ пътъ нѣма да я искара; тогава що по-вѣроятно отъ онова, че той ще се опита да тргне по другъ единъ пътъ?

Егмонтъ. Не вѣрвамъ. Когато чловѣкъ остарѣва и е направилъ толкова опити, и въ свѣтътъ все редъ нѣма, той най-последѣ ще се е наситилъ.

Оранский. Име едно, което той още не е опиталъ.

Егмонтъ. Що?

Оранский. Да щадн народътъ и да унищожава князъетъ.

Егмонтъ. Мнозина вече отдавна се сж плашили отъ това ! Не струва и да се грижимъ за него.

Оранский. Истина, въ начало само подозрѣние, то легка-по-легка се прѣобрази въ вѣрность, а сега е вече увѣренность.

Егмонтъ. Та имали кралятъ по-вѣрни слуги отъ насъ ?

Оранский. Да, ние му служимъ по своему; и помежду си можемъ да исповѣдаме, че знаемъ добръ да прѣтегливаме краляскитѣ права и нашитѣ собственни.

Егмонтъ. Но кой не прави това ? Ние сме покорни нему и му въздаваме, щото му се нада

Оранский. А ако той припише на себе си *по-вече*, и нарече *измѣна*, което ние зовемъ запазване на нашитѣ права ?

Егмонтъ. Тогава ние ще знаемъ да се защитимъ. Нека той да свива всичкитѣ кавалери на Златното Руно. Ние ще се оставимъ да ни сждатъ.

Оранский. А ако ни осждатъ, прѣди да ни изслѣдватъ, и ни прочетатъ смъртната прѣсжда, прѣди да ни сждатъ ?

Егмонтъ. То ще да е несправедливостъ, съ каквато Филиппъ никога нѣма да очерни себе си, и безумие, каквото не прѣдполагамъ нито въ него, нито въ неговитѣ съвѣтници.

Оранский. А ако тѣ се покажатъ несправедливи и безумни ?

Егмонтъ. Не, Оранский, то е невъзможно ! Кой ще се осмѣли да дигне ржка на насъ ? — Да ни хванатъ — то е изгубено, неиспълнимо прѣдприятие. Не, тѣ нѣма да се одързостятъ да издигнатъ знамето на тиранията тѣй високо. Диханието на вѣтърътъ, което ще разнесе тая вѣстъ изъ цѣлата страна, ще подблуде страшень огънь. Та и за какво ще имъ послужи то ? Кралятъ не може да ни сжди и осжди самъ ; а нема тѣ змишляватъ коварно убийство противъ насъ ? Тѣ не могатъ да желаятъ таква нѣщо. Цѣлийтъ народъ въ единъ мигъ би се сглобилъ въ ужасень съюзъ. Омираза къмъ испанското име и вѣчна раздѣла отъ Испания щѣха открито да се провъзгласятъ.

Оранский. Тогава огънятъ ще буйствува надъ нашитѣ гробове, и кръвта на нашитѣ врагове ще се пролѣе напусто, като очистителна жертва. Нека си помислимъ, Егмонте.

Егмонтъ. Но що могатъ тѣ да прѣдприематъ ?

Оранский. Алба е вече на пѣть.

Егмонтъ. Не вѣрвамъ.

Оранский. Азъ го зная за вѣрно.

Егмонтъ. Управителката тѣй сжщо не знаеше за това.

Оранский. И то ме убѣждава още по-вече. Управителката ще жу отстъпи мѣстото си. Азъ познавамъ неговата кръвожадность, а той иде съ войска.

Егмонтъ. Да прѣдаде провинцитѣ на нови угнетения! То ще искара народътъ отъ търпѣние.

Оранский. Прѣди всичко ще се усигуратъ откъмъ главатаритѣ.

Егмонтъ. Не, не!

Оранский. Нека всѣхъ отъ насъ иде въ провинцията си; тамъ да се укрѣпимъ; той нѣма да почне съ явни насилия.

Егмонтъ. Не сме ли длѣжни да го поздравимъ, щомъ пристигне?

Оранский. Ще почакаме.

Егмонтъ. А ако ни повика веднага при себе си отъ името на кралятъ?

Оранский. Ще потърсимъ нѣкой прѣдлогъ.

Егмонтъ. А ако настоява?

Оранский. Ще се извинимъ.

Егмонтъ. А ако все постоянствува?

Оранский. Тогава пакъ още по-малко ще се явимъ.

Егмонтъ. И войната е обявена, и ние сме бунтовниците! *Оранский,* не оставяй умътъ да те увлича твърдѣ надалечъ; азъ зная, че не страхъ те кара да излѣзешъ отъ тука. Прѣмисли твоята стѣпка.

Оранский. Азъ я прѣмислихъ вече.

Егмонтъ. Помисли, ако се заблуждавашъ, каква вина земашь отгорѣ си: губителна война, която ще опустоши цѣла една земя. Твоето отричане да се явишь прѣдъ Алба ще зазвучи въ провинцитѣ, като въззивъ къмъ обрѣждане, то ще послужи за оправдане на всички жестокости, за които Испанцитѣ очакватъ само прѣдлогъ. Онова, което ние тѣй упорито и дълго гасихме, ти искашь съ единъ махъ да распалишь въ ужасно възстание! Помисли за градоветѣ, благороднитѣ, народътъ, търговията, промишленността, земледѣлието! И помисли за опустошенията, за убийствата. На бойното поле, истина, войникътъ спокойно гледа, какъ неговитѣ другари падатъ у враката му; но тука, прѣдъ очитѣ ти рѣката ще носи тѣлата на мирни граждани, невинни дѣца, жени; въ ужасъ ще стоишь ти прѣдъ тѣхъ и нѣма да знаешъ—чие дѣло бранишь, тѣй като гинатъ оние, за свободата на които си дигналъ оржие. И какво ще ти бѣде, когато съвѣстътъ тихо ти пошушне: «ти го поддигна за своята лична безопасность».

Оранский. Ние не принадлежимъ сами на себе си, Егмонте,

на насъ лѣжи обязанность да се жертвуваме за благого на хиляди, заради тѣхъ тѣй сжщо трѣбва и да назимъ себе си.

Егмонтъ. Който пази себе си, пада въ собственнитѣ си очи.

Оранскій. Който познава себе си, може безопасно да върви и напредъ, и назадъ

Егмонтъ. Бѣдствията, отъ които ти се планишь, безъ-друго ще бждатъ прѣдизвикани чрѣзъ твоята постѣпка.

Оранскій. Да се посрѣща неизбѣжното зло е благоразумно и смѣло.

Егмонтъ. При такъва голѣма опасностъ не е-за отхвърляние и най-малката надѣжда.

Оранскій. Намъ вече не остава мѣсто нито за най-дребна крачка : пропастьта е прѣдъ насъ.

Егмонтъ. Та милостята на кралтъ толкова ли е слаба подпора?

Оранскій. Слаба, не, но лъгава.

Егмонтъ. За Бога ! несправедливи сте къмъ него. Не мога да допустана тѣй недостойно да се мисли за него. Той е смѣнъ на Карла и не е способенъ на никаква низостъ.

Оранскій. За кралетѣ не сжществуватъ низки постѣпки.

Егмонтъ. Трѣбваше да се научимъ да го познаваме.

Оранскій. Това знание и ни съвѣтва да не започваме опасенъ опитъ.

Егмонтъ. За смѣлийтъ никой опитъ не е опасенъ.

Оранскій. Егмонте, ти се вълнувашъ.

Егмонтъ. Азъ трѣбва да видя всичко съ очитѣ си.

Оранскій. О, да бѣше погледналъ поне тойзи пжтъ съ монтѣ! Приятелю, защото очитѣ ти сж открити, ти мислишь, че виждашь. Азъ заминувамъ. Чакай пристиганието на Алба и — Господъ да те пази ! Може би, моята постѣпка да те спаси. Може би, тойзи драконъ да не посѣгне върху тебе, като не намѣри случай да погълне и двама ни изведнаждъ. Може би, той ще се позабави, за да нанесе по върно свойтъ ударъ, и то ще ти даде врѣме да видишь работата въ истинската ѝ свѣтлина. Но тогава бържѣ, бържѣ спасявай се, спасявай ! Сбогомъ ! Изъ подъ твоего внимание нищо да не исплъзва : узнай, колко войска е дошла съ него, какъ тя ще бжде расположена въ градтъ, каква власть остава въ ржцѣтъ на управителката, какъ сж настроени твоитѣ приятели ? Съобщавай ми за всичко — — — Егмонте. —

Егмонтъ. Що още ?

Оранскій (като го улавя за ръка). Егмонте, остави да те прѣдумамъ ! Ела съ мене !

Егмонтъ. Какъ? Съззи, Оранскій?

Оранскій. Единъ погиналъ може и мѣжъ да оплаква.

Егмонтъ. Ти ме мислишь вече за погиналъ?

Оранскій. Да! Прѣмисли още — остава ти твърдѣ кратковрѣме. Сбогомъ! (*Отива си*).

Егмонтъ (самъ). Какво силно влияние иматъ на насъ по нѣкогажъ мислитѣ на другъ человекъ! На менъ никога не би дошло таково нѣщо наумъ, а ето че тойзи человекъ ми вдѣхна всички свои страхове. — Но вѣнъ! — То е чужда капка въ моята кръвъ. О, добра природо, изхвърли я изъ мене! За да пропаде тие умисленни брѣчки отъ моето чело, азъ нели си имамъ още едно приятно срѣдство.

ДѢЙСТВИЕ ТРЕТЬО.

Дворецътъ на управителката.

Маргарита Пармска.

Управителката. Азъ трѣбваше да прѣдвидя това. Кога человекъ прѣкарва всичкото си врѣме въ усиленъ трудъ, той всѣкога мисли, че върши онова, което е най-възможно, — и онзи, който отъ далечъ слѣди и заповѣдва, тѣй сжщо вѣрва, че изисква само възможното. — О кралъ! — Никога не бихъ повѣрвала, че ще ми бжде тѣй тежко. Да властвувашь е толкова приятно! а да се отречешъ отъ власть? — Не зная, какъ баща ми е могълъ; но и азъ ще направя сжщото.

Макиавель се явява въ дълбочината на сцената.

Управителката. Елате насамъ, Макиавель. Азъ тука съмъ се умислила надъ писмото отъ брата си.

Макиавель. Мога ли да попитамъ за неговото съдържание?

Управителката. Въ него има толкова нѣжно внимание къмъ мене, колкото и угриженостъ спрямо държавата. Той хвали моето постоянство, усърдие и вѣрность, съ които до сега съмъ пазила правата на Негово Величество въ тие земи. Съжалява ме, че съмъ имала толкова да тегла отъ вироглавийтъ народъ. Той е тѣй дълбоко убѣденъ въ моята проникателность и тѣй извънмѣрно е задоволенъ отъ моето благоразумно поведѣние, щото азъ почти мога да кажа, че това писмо, като отъ кралъ, е много хубаво написано, а като отъ братъ — не ще и дума.

Макиавель. То не е пръвъ път, гдѣто той ви изразява своето справедливо задоволство.

Управителката. Но пръвъ път то е риторическа фигура.

Макиавель. Азъ не ви разбирамъ.

Управителката. Ще разберете. — Защото слѣдъ това встъпление, той мисли, че безъ войска, безъ малка армия, азъ винаги ще играя тука плачевна роля. Ние сме били направили, казва той, грѣшка, гдѣто, въ слѣдствие на оплаквания отъ жителитѣ, сме извикали нашитѣ солдати отъ провинцитѣ. Единъ гарнизонъ, мисли той, който тежи на гърбътъ на гражданетѣ, не имъ позволява чрѣзъ това брѣме да правятъ високи скокове.

Макиавель. Но то крайно би възбудило духоветѣ.

Управителката. Но кралятъ мисли, — чувашъ ли ти? — Той мисли, че единъ способенъ генералъ, такъвъ, който не приема никакви резони, завчасъ ще свърши и съ народъ, и съ благородни, — съ граждани и съ селяне; — и за това праща съ голѣма войска — херцогъ Алба.

Макиавель. Алба?

Управителката. Ти се очудвашъ?

Макиавель. Вие казвате: — праща. Не, вѣроятно той, пита, да прати ли?

Управителката. Кралятъ не пита; той праща.

Макиавель. Тогава вие ще имате въ ваше услужение единъ опитенъ воинъ.

Управителката. Въ мое услужение? Говори прѣко, Макиавель.

Макиавель. Не бихъ искалъ да ви прѣварямъ.

Управителката. И азъ бихъ искала да се прѣструвамъ. То е за менъ оскърбително, твърдѣ оскърбително. Азъ бихъ желала, щото братъ ми да каже, както мисли, а не да подписва формални хартии, съставени отъ неговий държавенъ секретаръ.

Макиавель. Но не можеше ли това да се прѣдвиди?

Управителката. Та и азъ ги познавамъ надлъжъ и наширь. Тѣмъ се иска, щото всичко да е чисто и пометено, но не въ състояние сами да извършатъ тая работа, тѣ я довъряватъ всѣкому, който се яви прѣдъ тѣхъ съ метла въ рѣцѣ. О, като че ли виждамъ кралятъ и неговийтъ съвѣтъ исписани тука на тие стѣни!

Макиавель. Тѣй живо?

Управителката. Не липсва ни една черта. Помежду нивъ се намиратъ и добри хора. Честнийтъ Родерихъ, койго е тѣй опитенъ и умѣренъ, който нито иска да се възнеса, нито пакъ оставя

нѣщо да унизатъ ; прѣкииътѣ Алонзо, трудолюбивийтъ Френета, твърдийтъ Ласъ-Фаргасъ и още нѣколкоина, които се държатъ заедно, когато тържествува правото. Но тамъ засѣдава и толедецьтъ съ хлѣтналитѣ очи, съ мѣдното чело и дълбокийтъ огненъ погледъ, който постоянно прѣзъ зъби мърмори за женска слабостъ, неуврѣмни устѣпки, и който увѣрява, че женитѣ могатъ да ѣздатъ само на добрѣ дрессирани конѣ, и че сами не сж способни да ги дрессиратъ, и такива шепи отъ страна на господа политицитѣ ми се е случвало не веднаждъ да изслушвамъ.

Макиавель. Добри цвѣтове избрахте вие за вашата картина.

Управителката. Съгласете се сами, Макиавель, че въ множеството цвѣтове и отсѣнки, отъ които мога да се възползвамъ за моята живопись, нѣма ни единъ такъвъ жълтомуругъ, черножълченъ, каквото е лицето на Алба, и такъвъ, съ каквото той самъ рисува. Всѣкий у него е — богохульникъ, оскърбителъ на Величеството ; защото на това основание той може всѣкиго начасътъ да забива на колъ, да четвъртува, да изгаря. На доброто, което азъ тука съмъ направила, разбира се, тамъ отъ-далечъ гледатъ като на нищо, само и само защото е добро. — Той се залавя за всѣка дреболия, която отдавна е прѣминала, наумява за всѣко вълнение, вече усмирено, — и прѣдъ очитѣ на кралятъ захващатъ да се мѣркатъ толкова убийства, грабежи и безумия, щото най-сѣтнѣ, нему се прѣдставлява, като че ли тука хората ѣдатъ единъ другий, когато въ сжщность миналитѣ скоропрѣходни вълнения на грубата тѣлаца у насъ отдавна вече сж забравени. И въ сърдцето на кралятъ се явива истинска омраза къмъ бѣднитѣ хора : тѣ му се виждатъ отвратителни, нѣщо като диви звѣрове, чудовища, той се хваща за мечъ и огнь и полага, че хората така се укротявали.

Макиавель. Чини ми се, че твърдѣ се горѣщите и че прѣувеличавате работата. Вие нели си оставате пакъ управителка ?

Управителката. Разбирамъ азъ, какъ то става. Той ще донесе съ себе си инструкции. Азъ доста съмъ врѣла въ държавнитѣ дѣла, та зная, какъ единъ се прѣмахва отъ мѣстото си, безъ, обаче, да му се даде отставка. — Отъ най-напрѣдъ той ще прѣдстави една инструкция, която ще е неопрѣдѣлена и дволична ; послѣ ще почне навсѣкждѣ да се намѣсва, защото властъта е въ рѣцѣтъ му ; ако захвана да се оплаквамъ, той ще се оправдава съ друга тайна инструкция ; когато поискамъ да я видя, той всѣкакъ ще върги, ще суче ; ако настоявамъ, той ще ми посочи нѣкаква хартия, която пакъ ще съдържа нѣщо съвършено друго ; ако не се успокоя и тогава, той ще ме остави да говоря, безъ ни най-малко да дава

ухо на монѣтѣ думи. А прѣзь това врѣме той ще е извършилъ онова, отъ което се страхувамъ, и ще е отклонилъ друго, което азъ желая.

Макиавель. Азъ бихъ желалъ да мога да ви противорѣча.

Управителката. Онова, което азъ съ неисказано търпѣние утोलожвахъ, той отново ще възбуди съ своитѣ жестокости и безчеловѣчине; азъ ще трѣбва да гледамъ съ очитѣ си, какъ той събаря извършенното отъ мене, и освѣнъ това, ще има да нося отговорностъ за него.

Макиавель. Почакайте, Ваше Височество!

Управителката. Още имамъ толкова властъ надъ себе си, да бѣда спокойна. Нека дойде; по най-вѣжливъ начинъ ще му отстъпя мѣстото, прѣди той да ме истика отъ него.

Макиавель. Тѣй лесно се рѣшавате вие на тая стѣпка?

Управителката. По-мъчно, отъ колкото ти мислишь: който е навиналъ да властува, на когото е станало обичай да държи всѣкий день въ рѣцѣтѣ си сѣдбата на хиляди, той слиза отъ тронътъ, вато въ гробъ. Но то пакъ е по-добро, нежели да ходишь като призракъ между живитѣ, и напусто да заявявашъ желание за мѣсто, което другъ единъ е наслѣдилъ, и вече го владѣе и се наслаждава съ него.

Жилището на Клара.

Клара. Майка ѝ.

Майката. Такъва любовъ, какъвато е на Бракенбурга, никогата не съмъ видвала; азъ мислѣхъ, че тя сѣществува само въ рицарскитѣ романи.

Клара (раскожда се по стаята и полегичка пѣ).

Душата що люби
Е само честита!

Майката. Той подозрѣва твоего познанство съ Егмонта, но вѣрвамъ, че да се отнасяне къмъ него малко пѣщо дружелюбно и да искаше, той пакъ би се оженилъ на тебе.

Клара (пѣ)

И радость невѣрна,
И мъка безмѣрна
Брий нашій животъ;
Отъ тѣхъ той бои се,
Но съ тѣхъ пакъ стреми се

Да найде исходъ,—
Ту въ радость залита,
Ту въ скѣрби се губи . . .
Душата що люби,
Е само честита.

Майката. Какво тананикаш ти тамъ, като че приспивашъ нѣкого.

Клара. О, не ми се карайте! То е една мощна пѣсенъ. И вече не веднаждъ азъ съмъ приспивала съ нея едно велико дѣте.

Майката. Въ главата ти, виждамъ, нѣма нищо друго освѣнъ любовь, та любовь. Заради едното, недѣй забравя всичко друго. Браденбурга трѣбва да зачиташъ, ти казвамъ азъ. Той до нѣкого пакъ може да те направи честита.

Клара. Той ли?

Майката. Да, да, доще врѣме! Вие дѣцата нищо не виждате на напръдъ, и не слушате нашата опитностъ. И младостъ, и прѣкрасна любовь—всичко си има край; дохождатъ врѣмена, когато чловѣкъ благодари Бога, ако има гдѣ да прислони глава.

Клара (трѣбва и слѣдъ кратко мълчанис). Майко, нека това врѣме настане заедно съ смъртъта. Ужасно е да се мисли за него! — А когато то дойде . . . когато ще бъдемъ принудени — тогава и ще мислямъ, какво да правимъ . . . Тесе ли да изгубя, Егмонте! — (Съ сълзи). Не, то е невъзможно, невъзможно!

Влиза Егмонтъ въ рейтарска мантия, съ шапка джѣлко нахлуена.

Егмонтъ. Клерхень!

Клара (извиква, хвърля се къмъ него). Егмонтъ! Егмонтъ! (Прѣгръща го.) О ти мой драгий, добрий, желанный! Ти дойде? ти си тука?

Егмонтъ. Добъръ вечеръ, майко!

Майката. Господъ да ви благослови, благородний господарю! Моята дъщеря съвсѣмъ се измъчи, че ви нѣма толкова дълго врѣме; пакъ цѣлъ день е нѣла и говорила за васъ.

Егмонтъ. Ще ли ми дадете да повечеримъ?

Майката. Много честь ни правите. — Стига да имахме нѣщо.

Клара. Е, разбира се. Бждете спокойни, майко; азъ за всичко се погрижихъ и приготвихъ нѣщичко. Да не ме издавашъ, майко.

Майката. Бденпето ти е доста спромашно!

Клара. Почакайте само! И послѣ азъ мисля, когато той е при мене, азъ не усѣщамъ никакъ гладъ; така и той не би трѣбоvalo да има голѣта охота, когато азъ съмъ съ него.

Егмонтъ. Ти мислишь? (Клара тротва съ крикъ и се отвърща съ незадоволенъ изгледъ.) Какво ти е?

Клара. Какъвъ сте студень днесъ! Дори ни веднаждъ не ме

цѣлунахте. Заще сте си замотали рѣцѣтъ съ тая мантия, като пеле-
наче дѣте? На любовникъ, както и на войникъ, не прилича да има
свързани рѣцѣ.

Егмонтъ. Не всѣкога, либе, не всѣкога. Богато войникътъ
стои въ засада и желае да измами неприятельтъ, той като че ли
цѣлъ се свива, обгръща се съ рѣцѣтъ си и здраво обмишляза свойтъ
ударъ. И любовникъ —

Майката. Защо не сѣднете? тѣй ще ви бжде по-добрѣ.
Азъ трѣбва да ида въ готварницата. Клара не се грижи за нищо,
когато вие сте тука. Трѣбва да ви задоволимъ.

Егмонтъ. Вашата добра воля е за мене най-добрата гозба.

(*Майката излиза*).

Клара. Какво ли пакъ подирь това ще е моята любовъ?

Егмонтъ. Всичко, щото искашь.

Клара. Сравнете я съ нѣщо, ако имате само сърце!

Егмонтъ. Най-напрѣдъ това. (*Хвърля мантията и се
явява въ великолѣпно испанско облѣкло.*)

Клара. Ахъ!

Егмонтъ. Сега рѣцетѣ ми сѣ свободни. (*Прѣгръща я.*)

Клара. Остави ме, остави, ще ги смачкашь! (*Отстъпва
назадъ.*) Боже, какво великолѣбие! Азъ не смѣя да се докосна до
тебе.

Егмонтъ. Благодарна ли си? Нели ти се врекохъ да дойда
нѣкой пѣтъ въ испански дрѣхи.

Клара. Последне врѣме азъ не ти се и молѣхъ: мислѣхъ,
че не искашь. — Ахъ, ето и Златното Руно.

Егмонтъ. Най-послѣ ти го виждашь

Клара. Самъ царьтъ ли ти го окачи?

Егмонтъ. Да, мое дѣте. Тойзи орденъ дава на който го носи
най-благородни права. На земята азъ не припознавамъ другъ сѣдия
надъ моятъ постѣпки, освѣнъ върховникътъ на орденътъ при
пълно събрание на кавалеритѣ.

Клара. О, ти можешъ да се оставишь да те сѣди цѣлъ
свѣтъ. — Кадифето колко е хубаво! какви ширити? каквъвъ шевъ!
— Не знаешъ, отгдѣ да почнешъ.

Егмонтъ. Само нагледай се до ситостъ.

Клара. И Златното Руно! Ти ми разказа единъ донь негова-
та история и забѣлѣжи, че той е най-великийтъ и сѣкѣпоцѣненъ
орденъ, който може да се заслужи само съ неуморни трудове и
усърдие. Истина, то е сѣкѣпоцѣнно. — Азъ мога да го сравня само

съ своята любовь. — Азъ тъй сжщо я нося въ сърцето си, — и
послѣ

Егмонтъ. Какво искашь да кажешъ ?

Клара. Послѣ . . . послѣ моето сравнение се прѣкъсва.

Егмонтъ. Та защо ?

Клара. Азъ нея не добихъ съ трудъ и съ усърдие, нито пакъ
я заслужихъ.

Егмонтъ. Съ любовъта то е другояче. Ти я заслужвашъ,
защото не я търсишь — та и по-вечето вжти съ нея се сдобивать
хора, които не тичать подиръ ѝ.

Клара. По себе си ли сждишь ? Тая гордѣлива забѣлѣжка
върху самого себе ли направи ? Ти когото обича цѣлнйтъ народъ ?

Егмонтъ. Та направилъ ли съмъ нѣщо за нея ? и можехъ
ли да направя ? Да ме обича — то е негова добра воля.

Клара. Ти навѣрно си билъ днесъ у управителката ?

Егмонтъ. Да, бѣхъ.

Клара. Добрѣ ли си съ нея ?

Егмонтъ. На гледъ, да. Ние сме услужливи и внимателни
едннъ къмъ другъ.

Клара. А по сърце ?

Егмонтъ. Желая ѝ всѣкакви блага. У всѣкого има свои соб-
ствени възгледи. То не бърка на работата. Тя е прѣвъсходна жена,
познава своитѣ хора, и щеше дори да е доста проникателна, ако
да не бше толкова подозрителна. Азъ ѝ причинявамъ много гла-
воболня, защото въ моитѣ дѣйствия тя дири все тайни, а какъ азъ
нѣмамъ ни една.

Клара. Да ли тъй ни една ?

Егмонтъ. Разбира се, има малка сдържанность. Всѣко вино
слѣдъ врѣме оставя на дъното на бѣчвитѣ търгия. Но Оранскій прѣд-
ставлява за нея още по-добро занимание, като една постоянна нова
гатаанка. Той си е положилъ за слава да изгледва, като че ли жром
нѣщо таинствено, и ето че тя не си маха очитѣ отъ неговото че-
ло, като какво ли мисли, отъ неговитѣ стжпки, накждѣ ли ще ги
ушжти.

Клара. А сама тя тайна ли е ?

Егмонтъ. Тя е управителка и ти питаешъ ?

Клара. Опрости ме, азъ искахъ да питамъ : да ли е тя
лукава ?

Егмонтъ. Не по-вече и не по-малко отъ всѣкого, който иска
да постигне своитѣ намѣрения.

Клара. Азъ не бихъ знаела, що да правя въ високийтъ

свѣтъ . . . Пакъ тя се отличава съ мъжскій духъ, не прилича като на насъ пивачки, готвачки. Тя е снажна, мъжественна, рѣшителна.

Егмонтъ. Да, догдѣто работата върви наредъ. Но тойзи пактъ, май, и тя се е поизгубила.

Клара. Какъ тѣй?

Егмонтъ. На горнята ѳ устна има малки мустачки, и на врѣмени тя страда отъ подагра. Иста амазонка!

Клара. Величественна жена! Азъ бихъ се уплашила, да се срѣщнахъ съ нея.

Егмонтъ. Ти у мене не си страхлива. То не щеше да е страхъ, а срамежливостъ, свойственна на всички момичета.

Клара (*навожда очитѣ си на долу, земя ржката му и се стиска до него.*)

Егмонтъ. Разбирамъ те моя, хубава моме! Ти можешъ да поддигнешъ очитѣ си. (*Той цѣлува очитѣ ѳ.*)

Клара. Остави ме да мълча! остави ме да те държа. Остави ме да те гледамъ въ очитѣ: да намѣра въ тѣхъ всичко — утѣшение и надѣжда, радостъ и тѣга. (*Прѣгръща го и го гледа.*) Кажу ми, кажи! Азъ не разбирамъ! Ти ли си Егмонтъ? графъ Егмонтъ? оня великий Егмонтъ, за когото се толкова говори, за когото пишатъ въ вѣстниците, комуто сѣхъ прѣдадени провинциитѣ?

Егмонтъ. Не, Клерхень, това не съмъ азъ.

Клара. Какъ?

Егмонтъ. Видишь ли, Клерхень! — Дай да сѣдна. (*Той сѣда, тя се исправя на колѣнитѣ връхъ едно столче, обляга се на колѣнитѣ му и го гледа.*) Оня Егмонтъ — е омразенъ, надутъ, студень Егмонтъ, който трѣбва да бѣде сдържанъ и да приема то единъ, то другъ изгледъ; измъченъ, неразбранъ отъ никого, свързанъ по рѣцѣ и нозѣ, когато хората го счигатъ весель и доволенъ; любимъ отъ народъ, който самъ не знае, що иска; почетенъ и въздигнатъ отъ тълпа, съ която нищо не е за прѣдприемание; обиколенъ отъ приятели, на които той не може да се ослания; наблюдаемъ отъ хора, които всѣкакъ би искали да му поврѣдятъ; той работи до изнеможение, често безъ цѣль, по-вечето безъ възнаграждение. — О, остави ме да мълкна, да не доисказвамъ всичко онова, което той тегли, и като какъ му е на душата. — А тойзи Егмонтъ, Клерхень, е спокоенъ, искренъ, честитъ, любимъ и разбранъ отъ най-доброто на свѣта сърдце, което и той напълно познава, и което сега съ дълбока любовъ и довѣрие притиска къмъ своето. (*Прѣгръща я.*) Това е твой Егмонтъ!

Клара. Дай ми тѣй да умра! Въ свѣтътъ нѣма по-пълно блаженство.

ДѢИСТВІЕ ЧЕТВЪРТО.

Улица.

Еттеръ Дърводѣлецътъ.

Еттеръ. Ей, ей, байно! една думица!

Дърводѣлецътъ. Върви изъ пѣтьтъ си и кротувай.

Еттеръ. Само една дума! Нѣщо ново вѣма ли?

Дърводѣлецътъ. Пищо, освѣнъ онова, че ни е забранено да приказваме за новини.

Еттеръ. Какъ?

Дърводѣлецътъ. Ела по близо насамъ до кѣщата. Пази се! Херцогъ Ааба веднага слѣдъ пристиганіега си е издалъ заповѣдъ, че, ако двама или трима души се сбератъ и приказватъ на улицата, тугакси, безъ изслѣдваніе, да ги обявяватъ виновни въ държавна измѣна.

Еттеръ. О, горко ни!

Дърводѣлецътъ. Подъ страхъ на вѣчеиъ затворъ забранено е да говоримъ за държавнитѣ работи.

Еттеръ. Уви, нашата свобода!

Дърводѣлецътъ. И съ смъртъ се наказва онзи, който укорява дѣлата на правителството.

Еттеръ. Охъ, главитѣ ни!

Дърводѣлецътъ. Съ голѣми обѣщанія приганватъ, щото бащи, майки, дѣца, роднини, приятели, слуги да донасятъ за всичко, което става вѣтрѣ по кѣщитѣ, въ особно за тая цѣль учредено сѣдилище.

Еттеръ. Да си идемъ дома!

Дърводѣлецътъ. А на послушнитѣ обѣщаватъ, че нито тѣлото имъ, нито честиъта, нито имотѣтъ не щѣли да прѣтърпатъ никакво нащърбение.

Еттеръ. Каква милость! Ето защо ми било тежко, отъ какъ херцогѣтъ стѣпи въ градѣтъ. Отъ него врѣме все ми се чини, като че ли небето е забулено съ черна пелена, и че се е спустинало толкова низко, щото чловѣкъ трѣбна да се навожда, за да не се блѣсне о него.

Дърводѣлецътъ. А какъ ти се харесватъ неговитѣ солдати? Не ти ли се прѣдставяватъ тѣ като другъ видъ раци отъ оние, на които вне почти бѣхме навикнали.

Еттеръ. Тю! Сѣкашъ въ сърдцето те пробжда, кога видишъ, какъ нѣкоя дружина марширува изъ улицитѣ. Прави, като свѣщи, съ обѣщени очи тѣ, колкото и да сж много, върватъ съ равни крачки. А когато стоятъ на караулъ и ти минавашъ покрай нѣкого отъ тѣхъ, струва ти се, като че ли иска да те пронже съ погледъ си, и избощо изгледва тѣй навжсено и грозно, шото отподирѣ у всѣкий кжтъ хване да ти се мѣрка по единъ джелатинъ. Нашитѣ опълченци поне бѣха все веселъ народъ; зематъ съ себе си по нѣщо, застанатъ нѣкъдѣ съ раскривени колѣнитѣ, мѣтнатъ шапката си на едно ухо — тѣ сами живѣяха и на другитѣ не бъркаха; ами тѣзя побратими сж като машини, въ които сѣди по единъ дяволъ.

Дърводѣлецътъ. Такъвъ единъ да викне: «Стои!» и да зашѣри, — какъ мислишъ, можешъ ли устоя на крака?

Еттеръ. Умрѣлъ бихъ веднага на мѣстото си.

Дърводѣлецътъ. Да си ходимъ сега.

Еттеръ. Не е на добро. Сбогомъ!

Появява се Соестъ.

Соестъ. Приятели, другари!

Дърводѣлецътъ. Млѣкъ! Не ни спирай!

Соестъ. Знаете ли?

Еттеръ. Дори и прѣмногo.

Соестъ. Управителката заминала.

Еттеръ. Господи, смили се надъ насъ!

Дърводѣлецътъ. Тя една още ни крѣпеше.

Соестъ. Ненадѣйно и скришомъ. Тя не могла да се спогоди съ херцогтъ; казала на велможитѣ, че ще се върне, но никой не вѣрва на това.

Дърводѣлецътъ. Господъ да прости на благороднитѣ, че дозволиха още тоя новъ хомоть да ни окачатъ на вратътъ. Тѣ можеха да го не допустнатъ Хвръкнаха нашитѣ привилегии!

Еттеръ. За самого Бога ни дума за привилегии. Подушвамъ за утрѣ езекуции; слънцето не иска да изгрѣе, мъглата издава сирадъ.

Соестъ. Оранский тѣй сжщо е заминалъ.

Дърводѣлецътъ. И тѣй, ние сме изоставени отъ всички!

Соестъ. Графъ Егмонтъ е още тука.

Еттеръ. Хвала Богу! Да го подкрѣпятъ всички светци за наша защита! Само той може нѣщо да направи.

Появява се Фанзенъ.

Фанзенъ. Ще ли намѣра най послѣ двама души, които да не се сж смушкали въ своитѣ дунки?

Еттеръ. Направете ни удоволствие — вървете си изъ пѣтьтъ!

Фанзенъ. Вие не сте вѣжливи.

Дърводѣлецътъ. Не е врѣме за комплименти. Да не те сѣрби отново гърбътъ? Или вече се изцѣри?

Фанзенъ. Пита войникъ за ранитѣ му! Да бѣхъ азъ обръщалъ внимание на бой, нищо свѣсно не щеше да излѣзе отъ мене.

Еттеръ. Може да бжде и по-лоше.

Фанзенъ. Както се вижда, вие усѣщате жалостна слабостъ въ членоветѣ прѣдъ бурята, която се кани да зафучи.

Дърводѣлецътъ. Ако не мирясашъ, твоитѣ членове ще има да се расхождатъ нейдѣ-другадѣ.

Фанзенъ. Кѣлти мишки, които завчасъ се отчайватъ, щомъ стопанинътъ се сдобие съ нова котка! Малко нѣщичко другояче, и ние можемъ да караме и за напрѣдъ нашето сжществование, както попрѣди, бждете само спокойни!

Дърводѣлецътъ. Ти си дързкъ халостникъ.

Фанзенъ. А ти си хланакъ, праздна катуна! Остави херцогтѣ на мира. Старийтъ котакъ изгледва, като че ли е глътналъ дяволъ на мѣсто мишка, и сега не може да го смеле. И оставете го! Нели и той трѣбва да ѣде, да ние, като другитѣ хора? Той не ми е страшенъ, стига ние врѣмето си да употрѣбимъ съ полза. Въ начало всичко отива бързо; но по-послѣ и той ще намѣри, че по-добрѣ е да си живува въ трапезария между мазни вѣсове и да си почива цѣла нощъ, отъ колкото да деби изъ хамбаритѣ за нѣкоя мишка. Не се обезсърдчавайте само, азъ зная управителитѣ.

Дърводѣлецътъ. Какъ всичко минува на такъвъ единъ чело-вѣкъ! Да бѣхъ прѣзъ животътъ си азъ казалъ подобно нѣщо, не бихъ се считалъ нито за една минута усвгуренъ.

Фанзенъ. Бждете спокойни! Господъ въ небесата не обръща внимание като на насъ червеи, та камо ли управителтъ?

Еттеръ. Ама че дрънкало!

Фанзенъ. Азъ зная нѣкои други, за които щеше да е по-добрѣ, ако, намѣсто геройскій духъ, вмаха въ тѣлото си кръвта на единъ шивачъ.

Дърводѣлецътъ. Що искашъ ти съ това да кажешъ?

Фанзенъ. Хм, за графътъ азъ мисля.

Еттеръ. Егмонта? Та отъ що има той да се плаши?

Фанзенъ. Азъ съмъ въплътенъ голакъ, и можѣхъ цѣла една година да проживѣя съ онова, което той губи въ една вечеръ. И пакъ той би ми харизалъ годишниятъ си приходъ, за да има моята глава само за единъ четвъртъ часъ.

Еттеръ. Ти много се занасяшъ. Космитѣ на Егмонта сж помни огъ твойтъ мозікъ.

Фанзенъ. Приказвайте, каквото щете! Но тѣ не сж и потънки. Господаритѣ се маматъ първи. Той не трѣбваше да се довърява.

Еттеръ. Какво тамъ бръщолеви! Такъвъ единъ господарь!

Фанзенъ. Именно защото не е шивачъ.

Еттеръ. Ахъ, ти мръснику недивъ!

Фанзенъ. Азъ бихъ желалъ вашата храбрость за единъ часъ поне да влѣзе въ неговитѣ членове, да ги расклати, и до тогава да го кара да се прѣвива и трѣпере, догдѣ не напустне градътъ.

Еттеръ. Говорите безсмислици; той е тѣй въ безопасность, като звѣзда на небето.

Фанзенъ. А не си ли виждалъ такава, която пада? Мигъ — и нѣма я!

Дърводѣлецътъ. Кой иска нѣщо да му направи?

Фанзенъ. Кой иска? Ти ли ще попрѣчинишъ? Ще ли поддигнешъ бунтъ, когато го арестуватъ?

Еттеръ. Ахъ!

Фанзенъ. Ще ли рискувате съ вашитѣ ребра за него?

Соестъ. Е!

Фанзенъ (като ги дразни.) И! О! У! Изражавайте си очудванието съ цѣлата азбука. Тѣй всѣкога е било и ще бжде! Госпедъ да го пази!

Еттеръ. Твоео безсрамие просто ме плаши. Отъ що има да се страхува такъвъ единъ благороденъ, правъ человекъ?

Фанзенъ. Безобразникътъ вредъ е прѣдпочетенъ. На скемята на подсѣдимитѣ той прави сѣдята глупакъ; на сѣдейското кресло той съ радость обявява подсѣдимийтъ за прѣстѣпникъ. На, азъ прѣписвахъ такъвъ единъ протоколъ, гдѣто комиссарътъ се награждава отъ дворътъ и съ пари, и съ похвали, че отсѣдилъ нѣкой си клѣтникъ, просто защото билъ честенъ и тамъ не се харесналъ.

Дърводѣлецътъ. Ето пакъ прѣсна, прѣсна лъжа. Какъ може да се отсѣди нѣкой, ако е невиненъ?

Фанзенъ. О, куфалиници, куфалиници! Когато нѣма вина, изнамиратъ я. Честниятъ почти винаги постѣпя необмисленно и рѣзко. За това исърво му прѣдлагатъ въпроси отгорѣ-отгорѣ, като че

ли пхтьомъ, а той, горделивъ отъ своята невинность, исказва всичко право, и дори онова, което единъ разбранъ би прѣмълчалъ. Тогава инквизиторътъ отъ отговоритѣ прави нови въпроси, особено отъ оние, гдѣто се е проявило най-нищожно противорѣчие, — и ето вжзельтъ затегнатъ, и тежко на клѣтникътъ, ако тука е казалъ нѣщо по-вече, а тамъ по-малко, или още по-лоше, ако, Богъ знае защо, е утаилъ нѣкое обстоятелство, или най-послѣ се е упушилъ и събркалъ; тогава вече правийтъ пхтъ е хванатъ! И вѣрвайте ме, ветхаркитѣ не се ровяатъ тѣй усърдно изъ смѣтатъ за дрини, както тие безбожници въ най-дребнитѣ криви, погрѣшни, безумни, принудени, изгеглени отговори и показания, за да измайсторосатъ най-сѣтнѣ едно плашило отъ слама и парцали, и то за да могагъ да обѣсатъ своята жертва in effigie. И нека още благодари Бога оня сиромасъ, който може да види, какъ го обѣсатъ.

Еттеръ. Ама че языкъ, а!

Дърводѣлецътъ. Мухитѣ би се хванали. Оситѣ се смѣятъ надъ вашата мрѣжа.

Фанзенъ. То зависи отъ паяцитѣ. Вижте нашиятъ дългъ херцогъ, той не е отъ корместитѣ паяци, които обикновенно не сж и толкова вредни, но отъ тарангулитѣ съ дълги крака, тънко тѣло, — които, колкото и да ѣдатъ, не дебелиятъ, и точатъ изъ себе си, истина, тънки, но толкова по-жилави нишки.

Еттеръ. Егмонгъ е кавалеръ на Златното Руно; кой ще подигне ржка отгорѣ му? Той може да бжде сѣденъ само отъ равни нему, въ пълното събрание членове на орденгъ. Твойтъ лъжливъ языкъ и нечиста съвѣстъ те тикагъ къмъ такова брѣгвение.

Фанзенъ. Та нема азъ му желая злото? Далечъ отъ това. Той е прѣвъзходенъ господаръ. Двоица мои добри приятели, които другагѣ отдавна щѣха да бждатъ обѣсени, той пустана слѣдъ като имъ удариха нѣколко тояги по гърбътъ. Сега распрьсвайте се, вървете си! И азъ самъ ви съвѣтвамъ това. Е, тамъ пакъ виждамъ патруль, по изгледътъ имъ не се види, че скоро ще се побратиматъ съ насъ. Хайде, да постоимъ да ги позѣпаеме. Азъ имамъ двѣ лѣмяници и кумъ, който държи механа; ако се запознаятъ съ тѣхъ не сганатъ по-питомни, тогава тѣ сж ненасятни вълци.

Куленбургският дворецъ.

Жилище на херцогъ Алба.

Силва и Голецъ се срѣщатъ.

Силва. Испълни ли ти заповѣдитѣ на херцогътъ?

Голецъ. Точно. На всичкитѣ дневни патрули е заповѣдано въ опредѣлено врѣме да се сбератъ на различни мѣста, които азъ имъ означихъ; до него врѣме, както обикновенно, тѣ ще обикалятъ улицитѣ, за да бдятъ за редътъ. Никой не знае, че пста заповѣдъ е дадена и другиму, и мисли, че само той я е получилъ, тъй щото въ единъ мигъ може да се събере пѣлийтъ отредъ и да заеме всичкитѣ входове въ дворецътъ. Не знаешъ ли ти причинитѣ на тая заповѣдъ?

Силва. Азъ съмъ навикналъ слѣпо да се покорявамъ. Та и кому е по-лесно да се повинувашъ отъ колкото на херцогътъ, когато тъй скоро сътщинитѣ показватъ, че неговата заповѣдъ е била права?

Голецъ. Добрѣ, добрѣ! Никакъ не ми се види чудно, че и ти си станалъ таенъ и лакониченъ, както е той, понеже почти неотлъчно се навирашъ възъ него. На менъ, навикналъ на по-легка служба въ Италия, това иде нѣкакъ чуждо. По вѣрностъ и покорностъ и азъ съмъ старъ; но все обичамъ да си побърря и да се попрѣпирамъ. Вие пакъ всички мълчите, катъ че ли винаги сте сърдити. Херцогътъ ми се прѣдставлява като нѣкоя желѣзна кула безъ порти, охраняема отъ крилатъ гарнизонъ. Неотдавна на трапезата азъ чухъ, какъ той се изрази за единъ веселъ, добродушенъ чедовѣкъ, че билъ приличалъ на гнуснава механа съ нацапана връхъ нея ракийна табла, която да привлича всевъзможни нехранимайковци, просеци и крадци.

Силва. И мълченкомъ не доведе ли ни той тука?

Голецъ. Кѣй говори за това? Истина, който е билъ очевидецъ на неговитѣ мъдри распоредания, какъ промъкна чрѣзъ Италия и доведе тука войската, може да се хвали, че е видѣлъ нѣщо. И какъ ни прокара той помежду приятели и неприатели, между французи, ройалисти и еретници, между швейцарци и съюзници, какъ знае да запази най-строга дисциплина и какъ лесно и бързо извърши тойзи походъ, койго всички считаха толкова опасенъ! — Да, ние влиѣхме нѣма, на които можемъ сега и други да научимъ.

Силва. А тука? Не е ли всичко тихо и спокойно, като че ли възъ тание и не е било?

Голецъ. Че всичко бѣше вече мирно, когато пристигнахме.

Силва. Но въ провинциитѣ стана много по-спокойно; и ако още нѣкой шава, то е за да избѣга. Но и на тие той, азъ масля, скоро ще прѣпрѣчи пхътътъ.

Голецъ. Тогава вече той ще спечели напълно милостъта на кралътъ.

Силва. А намъ не остая друго, освѣнъ да заслужимъ неговата. Когато кралътъ дойде тука, нито херцогътъ, нито оние, които той прѣпоръчи навѣрно вѣма да останатъ ненаградени.

Голецъ. Ти вѣрвашъ, че кралътъ ще дойде?

Силва. Правиятъ се толкова приготовления, щото то е твърдѣ вѣроятно.

Голецъ. Мень тѣ не могатъ увѣри.

Силва. Поне не приказвай за него. Защото, ако намѣрението на кралътъ е да не дойде, онова поне е вѣрно, че всички сж длъжни това да вѣрватъ.

Явява се Фердинандъ, незаконенъ синъ на Алба.

Фердинандъ. Баща ми още не е ли възвѣзълъ?

Силва. Ние него чакаме.

Фердинандъ. Князетѣ скоро ще пристигнатъ.

Голецъ. Тѣ ще дойдатъ днесъ?

Фердинандъ. Оранскій и Егмонтъ.

Голецъ (полегка на Силва). Азъ се сѣщамъ нѣщо.

Силва. Държъ го за себе си.

Явява се херцогъ Алба,

(Когато той влиза, другитѣ отстъпватъ назадъ).

Алба. Голецъ!

Голецъ (изтъпя напредъ). Заповѣдайте, Господарю!

Алба. Стражитѣ распорѣдѣли ли сж и всичко ли е на редъ?

Голецъ. Най-точно. Дневнитѣ патрули —

Алба. Стига! Чакай въ галереята. Силва ще ти каже моментътъ, кога да ги съберешъ и заемешъ входонетѣ въ дворецътъ. Останалото знаешъ.

Голецъ. Слушамъ, господарю! *(излиза).*

Алба. Силва!

Силва. Тугъ съмъ!

Алба. Всичко, което до сега съмъ цѣнилъ въ тебе: мжжество, рѣшителность и безпрямѣрна точность въ изпълнение на заповѣдитѣ ми — всичко това покажи днесъ!

Силва. Благодаря, че ми давате случай да покажа, че съм все старий Силва.

Алба. Щомъ князетѣ влѣзатъ при мене, начасътъ бързай и арестувай секретарьтъ на Егмонта! Зема ли всички мѣрки за арестуването на другитѣ тебъ указани лица?

Силва. Положеге се на насъ. Тѣхната сѣдба ще ги постигне у-врѣме и ужасно, като нѣкое добрѣ разсчитано слънчево затмение.

Алба. Нареди ли добрѣ да ги наблюдаватъ?

Силва. Всички, и особено Егмонта. Той е единствениятъ, който, отъ както ти си тука, не е промѣнилъ свойгъ образъ на живѣние. Той се мѣта отъ конь на конь, прѣкарва днитѣ си въ канение на гости, водение съ тѣхъ весели разговори на трапезата, игра на кости, стрѣляние, а нощемъ се промѣква при своята любовница. Напротивъ, другитѣ значително сж си мѣнили животьтъ: сѣдатъ си дома, и прѣдъ портигѣ имъ изгледва, како че ли боленъ шматъ въ кѣщи.

Алба. За това да бързае! догдѣ, противъ желанието ни, не оздравѣятъ!

Силва. Азъ ги пазя. Споредъ твоята заповѣдъ ние сме относително тѣхъ най-услужливи и любезни. Страхъ ги е; но, като политици, изражаватъ ни боязлива благодарностъ, чувствуватъ обаче, че най-доброто е да се бѣга. Никой не се одързостява на такъва стѣпка; тѣ се двоуматъ, не могатъ се съедини; а да извършатъ отдѣлно нѣщо храбро, удържа ги общийтъ имъ корпоративенъ духъ. Много имъ се ще да отхвърлятъ огъ себе си всеко подозрѣние, а подпадатъ подъ него все по-вече и по-вече. Азъ вече съ радость виждамъ твоитѣ прѣдначинания всецѣло изпълнени

Алба. Азъ се радвамъ само слѣдъ свършването на каквото и да било дѣло, и то не напълно, защото винаги оставатъ дреболии, за които трѣбва да мислимъ и да се грижимъ. Щастieto е свое-правно, често, облагородява най-нищожното и низкото, а дѣла, дълбоко обмислени, завършва съ нищо и никакво. Почакай, догдѣ пристигнатъ князетѣ! Послѣ дай заповѣдъ на Гомеца да заеме уличитѣ, а самъ бързай да арестувашъ секретарьтъ на Егмонта и другитѣ вече тебъ указани лица. Това извършено, ще се върнешъ тукъ и ще кажешъ на мойтъ синъ, да ми съобщи новината въ съвѣтътъ.

Силва. Надѣвамъ се, че тойзи вечеръ ще се явя прѣдъ тебе.

Алба (*отива къмъ синътъ си, който до тогава стои въ галерейта.*)

Силва. Колкото и да е тежко да се съзная но. . . моятѣ надѣжди блѣднѣятъ. Боя се, че нѣма да стане тѣй, както той мисли.

Азъ виждамъ отпрѣдѣ си нѣкакви духове, които тихо и умислено прѣгегливатъ на черни капъни сѣдбата на князетѣ и на много хиляди други хора. По-лека се колебае стрѣлката то на една, то на друга страна; дълбоко, струва се, мислятъ сѣдинтѣ; най-сѣтиѣ едната пада на-долу, другата чаша се издига стремително на-горѣ, по капризътъ на своенравната сѣдба, — и всичко е рѣшено. (*Изилиа*).

Алба (изстѣпя съ Фердинанда). Какъ намѣри ти градътъ?

Фердинандъ. Навредѣ е спокойно. Азъ го обиколихъ цѣлъ, улица подиръ улица, като че ли бѣхъ на расходка. Вашитѣ искусно расположени стражи сж вдѣхнали такъвъ страхъ на жителитѣ, щото тѣ не се рѣшаватъ дори и да си шпынатъ. Градътъ привлича на поле, надъ което отъ далечъ се събира буря; не се вижда ни птица, ни звѣрь, освѣнъ оние, които бързатъ да се скриватъ въ по надѣженъ заслонъ.

Алба. И нищо по-вече не видя?

Фердинандъ. Егмонта, който минаваше съ нѣколцина други чрѣзъ пазарътъ; ние се поздравихме; той сѣдѣше на хубавъ още необѣзденъ конь, азъ не утрирѣхъ да не го похваля. «Трѣбва бързо да си обѣздимъ конетѣ; тѣ скоро ще ни дотрѣбватъ» ми извика той. Той щѣлъ пакъ днесъ да се види съ мене, защото по ваше жскание ще дойде въ свѣтътъ.

Алба. Да, той ще те види!

Фердинандъ. Отъ всички рцари, съ които азъ тука се запознахъ, тѣй най-много ми се харесва. Струва ми се, че ние ще станемъ приятели!

Алба. Ти все още си бързъ и непрѣдпазливъ; винаги распознавамъ въ тебе легкомислието на твоята майка, което тѣй безусловно я хвърли въ ржцѣтъ ми. Вѣйкашниятъ блѣсъкъ не единъ пѣтъ вече те е увличалъ къмъ бързи, опасни свръзки.

Фердинандъ. Вашата воля е за мене законъ.

Алба. Азъ отдавамъ на твоята млада кръвъ тази легкомисленна довѣрчивость и тѣзи непрѣдпазливи увлѣченя. Само не забравяй, за какъвъ подвигъ азъ тука съмъ испратенъ, и като какъвъ дѣлъ бихъ желалъ и ти да вмашь въ него.

Фердинандъ. Наумявайте ми и не ме щадете, когато намѣрите за необходимо.

Алба (слѣдъ кратко мълчанис). Сине мой!

Фердинандъ. Тате!

Алба. Князетѣ скоро ще пристигнатъ, Оранскій и Егмонтъ

ще дойдатъ. Не отъ недовѣрие азъ чакъ сега ти откривамъ, какво има да стане. Тѣ нѣма вече да излѣзатъ назадъ отука.

Фердинандъ. Що си намислилъ ти?

Алба. Рѣшено е, тѣ да се арестуватъ. Ти се чудишь? Слушай, що има ти да правишь! Причинитѣ ще узнаешъ, когато всичко бжде свършено. Само съ тебъ единъ бихъ искалъ азъ да сподѣля тая най-велика тайна; насъ съединява ягка неразривна връзка; ти ми си скъпъ и мѣлъ, за това и бихъ желалъ на тебе всичко да възложа. Азъ бихъ желалъ да вдѣхна въ тебе не само навикъ да се покорявашъ, но и да развиешъ способностъ да заповѣдвашъ, да прѣсмѣтвашъ и всѣка работа да довършвашъ докрай; за тебъ остава едно грамадно наслѣдство — да бждешъ най-необходимитѣ служителъ на кралтъ; тебъ надарявамъ съ най-доброто, што имамъ, за да можешъ безъ да се червишь, да заемешъ мѣсто наредъ съ твоитѣ братия.

Фердинандъ. Съ какво да отвърна за тая любовь, която ти изливашъ само върху мене, и то, когато цѣла държава трѣпере прѣдъ тебе!

Алба. Сега слушай, що има да се прави. Щомъ князетѣ възлѣзатъ тука, всѣкий входъ въ палатѣтъ ще бжде заетъ отъ стража. За него вече Голецъ получи заповѣди. Силва прѣзъ него врѣме ще арестува секретарѣтъ на Егмонта и други най-подозрителни лица. Ти ще трѣбва да надгледвашъ стражитѣ, прѣдъ портитѣ и въ двортъ. Но прѣди всичко займи съѣднитѣ съ тази стаи съ най-вѣрни хора. Послѣ чакай въ галереята възвръщанието на Силва, подиръ което донеси ми нищо незначущъ листъ хартия за знакъ, че дадената нему порѣчка е изпълнена. Сѣтнѣ стой въ първата зала, догдѣ излѣзе Оранскій; послѣдвай го! Егмонта азъ ще задържа тука, като че ли имамъ още нѣщо да му говора. Въ края на галереята, поискай отъ Оранскій саблята, викни сгража и арестувай по-скоро тойзи най-опасенъ человекъ; а съ Егмонта — азъ самъ ще свърша.

Фердинандъ. За првъ пѣтъ ти се покорявамъ, тате, съ наскърбена душа и съ безпокойство.

Алба. Прощавамъ ти това, тойзи е първитѣ великъ день, който прѣживѣвашъ.

Влиза Силва.

Силва. Единъ пратеникъ изъ Антверпенъ. Ето писмо отъ Оранскій. Той нѣма да дойде.

Алба. Пратеникътъ ли ти обади това?

Силва. Не, сърцето ми го казва

Алба. Въ тебе говори мойтъ зълъ гений. (*Прочита писмото, климва на двамата, и тѣ се отдалечаватъ въ галерията. Той остава самъ.*) Той нѣма да дойде! До послѣдня минута той отлага да се обясни. И има смѣлостъ да се не явява! Противъ всѣко очакванне тойзи пжтъ умнийтъ се показа доста уменъ, за да не бжде уменъ! — Часътъ приближава! Още единъ краткъ пжтъ на сгрѣлката и едно велико дѣло ще бжде извършено или ще пропадне, и ще пропадне безвъзвратно; защото то не е ни за отлагане, ни за потуляние. Дълго врѣме азъ зрѣло прѣсмѣтахъ всичко и обмишлявахъ сегашнийтъ случай и твърдо начергахъ, като какъ ще дѣйствувамъ; а сега, когато вече настъпва врѣме да дѣйствувамъ, въ душата ми, като че ли отново се захваща борба на «за» и «противъ». — Ще ли е благоразумно да арестувамъ тогози и другитѣ, когато онзи испъзна изъ ржцѣтъ ми? Да отложя, и да оставя Егмонта да избѣга заедно съ своитѣ единомисленици, да избѣгатъ и тве, които, може би, само днесъ сж още въ моитѣ ржцѣ? Не надвива ли най-сѣтливъ сждбата и на тебе непоколебимий? Какъ дълго обмишлявахъ! Какъ бѣ хубаво приготвено! Какъвъ великъ и прѣкрасенъ планъ! Колко бѣ надѣждата близу до цѣльта! И ето въ рѣшителнийтъ мигъ ти си поставенъ между двѣ пропасти; ти пушашъ ржката си въ тъмното бждущо, като въ урна, и теглишь единъ още сжрнатъ жребий, стоишь и не знаешъ, дали е то печала или загуба! (*Вслушва се и се дближава до прозорецътъ.*) Той е! — Егмонтъ! Колко лесно твойгъ конь те вкѣра вътрѣ? Какъ не отскокна той отъ кървавийтъ мерисъ, нито отъ истегленнийтъ блѣскавъ мечъ на духтъ, който те посрѣща при вортага? — Слизай! — Ето тѣй, ти сж вече съ единийтъ кракъ въ гробтъ, — а тѣй, и съ двата! — Да, благодари го за вѣрната и послѣдня служба, милвай го, тупай по шията! — За мене нѣма вече другъ изборъ. Оново ослѣпление, коего доводжа тука Егмонта, не може вторий пжтъ да ми го доведе. — Ей!

Фердинандъ и Силва бързо влизатъ.

Алба. Ще вършите, както ви заповѣдахъ. Никакво измѣнение нѣма да има. Ще задържа Егмонта, догдѣто получа чрѣзъ тебе извѣстие отъ Силва. Послѣ наврѣтай се тука на близу. Сждбата сжщо ти отнема случайтъ да направишь най-голямата услуга — да уловишь най-опаснийгъ врагъ на кралтъ съ собственитѣ си ржцѣ. (*На Силва*) Бързай! (*На Фердинанда*). А ти иди да го посрѣщнешъ. (*Алба остава самъ и мълчаливо ходи назадъ-напредъ.*)

Влиза Егмонтъ.

Егмонтъ. Азъ дойдохъ за да приема, за да изслушамъ заповѣдитъ на кралтъ, каква служба иска той (отъ насъ, които му остаеме вѣчно прѣдани и вѣрни.

Алба. Прѣди всичко той желае да чуе вашиятъ съвѣтъ.

Егмонтъ. Върху каквъ прѣдметъ? Нема Оранскій не дойде? Азъ мислѣхъ да го намѣра тука.

Алба. Жално ми е, че тъкмо въ тойзи важенъ часъ той ни липсва. Кралтъ желае вашитъ съвѣти и мнѣния, какъ да се успокоятъ тие провинции. И той се надѣва, че вие, съ вашето мощно съдѣйствиe, ще му помогнете да се утложатъ тѣзи вълнения, и въ провинцитъ да се въведе за винаги пълень редъ.

Егмонтъ. Вие трѣбва по-добрѣ отъ мене да знаете, че вече всичко е доста спокойно, и бѣше още по-спокойно до появяването на новитъ солдати, което възбуди новъ страхъ и грижи въ всички умове.

Алба. Вие, струва се, искате да кажете, че щеше да е най-благоразумно, щото кралтъ да не бѣше направилъ оние распорѣждания, които ме доведоха до свиждане съ васъ.

Егмонтъ. Простете! Що щеше да е по-полезно за страната — личното ли присѣствие на Негово Величество или испращане на войска, да сѣда не е моя работа. Войската е тука, него — нѣма. Но ние щѣхме да бждемъ много благодарни и кжсопаметни, ако не си наумявахме, що дължимъ на управителката. Трѣбва да признаемъ! Тя чрезъ своето благоразумно и твърдо обяснение, като дѣйствуваше гдѣ съ сила, гдѣ съ кротость, гдѣ съ прѣдумване, гдѣ съ хитрость, усемири общого възстание и, за удивление на цѣлийтъ свѣтъ, зная въ течение на нѣколко мѣсеци да възвърне единъ бунтовнический народъ къмъ сѣзнание на своитъ обязанности.

Алба. Азъ това не отричамъ. Възлеието е утложено и всѣкий, нагледъ, се държи въ границитъ на покорността. Но не отъ произволтъ ли на всѣкого зависи, щото да ги прѣсѣжчи? Кой ще попрѣчи на народтъ отново да почне да върлува. Гдѣ е силата, която да го удържи? Кой ще ни се поръчи, че и за напредъ той ще изпълнява своитъ вѣрноповиннически длѣжности. Неговата добра воля — ето единственното наше поръчителство!

Егмонтъ. Нема добрата воля на народтъ не е най-надѣждното и благородно поръчителство? Боже правий! Та кога единъ кралъ може да се счита най въ безопасность, ако не тогава, когато всички стоятъ за одного, и единий за всички? най сигуренъ въ борбата противъ вжтрѣшни и външни врагове?

Алба. Вие нѣма да ни убѣдите, че тука за сега работитѣ тѣй стоятъ.

Егмонтъ. Стига кралтъ да издаде едно всепрощение, духоветѣ ще се успокоятъ; и скоро ще видите, какъ заедно съ довѣрието отново ще се възвѣрнатъ и вѣрность, и любовь.

Алба. И всѣкий, който е хулилъ височайшата властъ на кралтъ и светата вѣра, спокойно и свободно ще се расхожда, ще живѣе като насърчителенъ примѣръ за други, че чудовищни прѣстѣпления оставатъ безнаказани!

Егмонтъ. Та и прѣстѣпление, извършено по несмислен или въ нетрѣзвенъ видъ, не заслужва ли по-вече прошка отъ колкото жестоко наказание? Особенно гдѣто има такъва сигурна надѣжда, дори увѣренность, че злото нѣма вече да се повтори? Не щѣха ли кралетѣ да бждатъ по въ безопасность? Не ще ли се славятъ отъ съврѣменниците и потомството оние отъ тѣхъ, които сж знаели да прощаватъ наносимитѣ на тѣхното достоинство оскърбления и да съжалѣватъ и прѣзиратъ виновниците? Не за това ли ги уподобяватъ на Бога, който е твърдѣ великъ, за да може да стига до него всѣко хуление?

Алба. Тѣмо за това кралтъ и е длъженъ да стои за Бога и религията, а ние да бранимъ краското достойнство. Отъ което върховникътъ се отвърща съ прѣзрѣние, наша длъжность е да отмѣстимъ. Споредъ мене, нито единъ виновенъ не трѣбва да остане ненаказанъ.

Егмонтъ. Вѣрваш ли, че ще можешъ да изловишъ всички? Не се ли чува всѣкий день, че страхътъ ги кара постоянно да мѣнуватъ жилищата си, или да се изселяватъ въ съсѣднитѣ държави? Богатитѣ изнасятъ съ себе си своитѣ имоти, дѣца, приятели, а пакъ сиромаситѣ продаватъ на съсѣдитѣ своитѣ работни рѣцѣ.

Алба. Тѣ постѣпнатъ така, когато нѣма кой да имъ забранява. По тая причина кралтъ изисква отъ всѣкий князь съвѣтъ и съдѣйствие, и строгость отъ всѣкий штаттхалтеръ, а не само празни расправи, какъ е било и що би произлѣзло, ако се оставеше всичко да върви по старому. Да гледашъ отпрѣдъ си голѣмо зло, да се ласкаешъ съ надѣжди, да се повѣришъ на врѣмето, сегизъ-тогизъ да встѣпяшъ ужъ въ борба съ злото, като на куленискій театръ, за да произведешъ глѣчь, че правишъ нѣщо, и въ сжщностъ нищо да не е направено — то не дава ли поводъ къмъ модозрѣние, че на бунтътъ се гледа съ удовоствие, и че ако чедовѣтъ не го е възбудилъ, то на драго сърдце би го поддържалъ?

Егмонтъ (пламва отъ гнѣвъ, укротява се и слѣдъ кратко

мъчанис). Не всѣко намѣрение бива явно, и за това намѣрениета на много хора погрѣшно се тълкуватъ. Ето отъ всѣ страни се чува, че ужъ намѣрението на кралятъ не било толкова да управлява провинциитѣ по еднообразни и ясни закони, да поддържа уважение къмъ вѣрвата и да дарува общъ миръ на свойтъ народъ, колкото безусловно да го пороби, да отнеме неговитѣ стари правдини, да стане стопанинъ на неговитѣ имоти, да ограничи прѣкраснитѣ права на благороднитѣ, за които тѣ само и му слугуватъ, като жертвуватъ за него и душа, и животь. Религията, казватъ тѣ, била само великолѣпна завѣса, задъ която всѣкий опасенъ ударъ по-лесно се извършва. Колѣнопрѣклонниятъ народъ се моли прѣдъ свежитѣ изображения, а отзадъ завѣсата лончийтъ се услушва, като какъ да измами своята жертва.

Алба. И това азъ трѣбва да чуя отъ тебе?

Егмонтъ. То не сж мои мисли! А само онова, което се изговаря високо и распространява навсѣду както отъ богати, тѣй и отъ сиромаси, както отъ умни, тѣй и отъ глушави. Нидерландцитѣ се страхуватъ отъ двойно иго, и истина, кой отговаря за тѣхната свобода?

Алба. Свобода? Прѣкрасна дума, ако се разбѣра, както трѣбва. Но каква свобода искатъ тѣ? Въ що се състои свободата на най-свободниятъ? — Да постѣпя справедливо, законно! — Кралятъ тона не имъ забранява! Не, не! тѣ не се мислятъ свободни, когато нѣматъ възможность да врѣдатъ на себе си и на други. Не е ли по-добрѣ да се отречешъ отъ властѣта, отъ колкото да управлявашъ такъвъ единъ народъ? Ако случайно нападнатъ вѣншни врагове, за което някой гражданинъ не мисли, заетъ само съ най-ближната нечу работа, — и кралятъ поиска помощъ, тѣ никога не могатъ се съгласи по между си и, токо виждъ, присѣдинили се къмъ противницитѣ! Много по-добрѣ е да ги повиешъ въ пелени, като малки дѣца, и, като дѣца, да ги уплътвашъ къмъ тѣхното добро. Вѣрвай ми, единъ народъ никога не става нито възрастенъ, нито умненъ; той е въ вѣчно дѣтинство.

Егмонтъ. Какъ рѣдко гледатъ кралятѣ на работитѣ зрѣло! И не е ли естествено, че мнозина по-надраго сърдце довѣрватъ на мнозина, нежели на едного? и не само на едного, но и на оние малцина, които сж остарѣли прѣдъ очитѣ на свойтъ господаръ. Тие, разбира се, вече иматъ право да сж умни.

Алба. Може би, именно защото не се сж полагали сами на себе си.

Егмонтъ. За това пакъ никой и не ще охотно да се полага на тѣхъ. Нека става що-ще! Азъ отговорихъ на твоето питанье и

повтарямъ: тъй не бива! тъй не може да върви! Азъ познавамъ момитѣ съграждане. Тѣ сж хора, достойни да ходятъ по Божиата земя. Всѣкий отъ тѣхъ е за себе си господарь, малкъ краля, постояненъ, работенъ, способенъ, вѣренъ и привързанъ къмъ старитѣ си обичаи. Мжчно е да се спечели тѣхното довѣрие, но лесно се то пази. Тѣ сж упорити и непоколебими! Врѣменно могатъ да търпатъ притѣснения, но да носатъ постояненъ хомоть — никога!

Алба (като оглежда нѣколко пжти наоколо си). И всичко това ти ще имашъ дързость да повторишъ дорж и прѣдъ лицето на кралятъ?

Егмонтъ. Толкова по-лоше, ако неговото присѣствие ме уплаши. И толкова по добръ за него, за народътъ му, ако той ми вдѣхне мжжество и довѣрие, щото азъ да мога нему още по-вече да искажа.

Алба. Което е полезно и азъ мога да изслушамъ, както и той.

Егмонтъ. Азъ бихъ му казалъ: лесно кара овчарьтъ своего голѣмо стадо овци, волътъ тегли своего рало, безъ да се противи; но за да се качишъ на благороднийтъ конь, и да можешъ да го ѣздишъ, трѣбва да изучишъ неговитѣ нрави и неразумно да не изисквашъ отъ него нищо неразумно. Тѣй сжщо и всѣкий гражданинъ жѣлае да пази старийтъ си уставъ, да се управлява отъ свои съотечественници, защото той знае какъ ще го поведатъ, защото отъ тѣхъ може да очаква безкористие и участие къмъ сждбата си.

Алба. И управительтъ не трѣбва да има власть да отиѣнява това старо? Не е ли то тъкмо неговото най-добро право? Що е неизмѣнно на този свѣтъ? Може ли стройтъ на една държава да стои все еднакъвъ? Съ течение на врѣмето не се ли измѣняватъ отношенията между хората, тогава старитѣ учреждения нѣма ли да станатъ причина за хиляди злини, защото не отговарятъ на настоящето положение на народътъ? Азъ се боя, че тие стари правдини за това само и сж толкова драги, защото образуватъ прибѣжища, въ койго умнийтъ и силнийтъ, въ ущърбъ на народътъ, въ врѣда на цѣлата страна, може да се скрива и мълчешката да се измѣква.

Егмонтъ. А тѣзи произволни измѣнения, тази неограничена необузданность на върховната власть — не сж ли прѣдвѣстници, че единъ иска да прави онова, което е забранено на хиляди? Иска той само да бжде свободенъ, за да удовлетворява всѣко свое желание и да привожда въ изпълнение всѣка своя мисль. Но дори да бѣхме се довѣрили напълно на единъ добръ, мждръ краля, може ли той да се поржчи за своитѣ наслѣдници, че никой отъ

тѣхъ нѣма да управлява безопасно и да прѣдвява неумѣстни искания? Кой ще ни избави тогава стъ шлний произволъ, когато той ни испрати свои слуги и роднини, които безъ да знаятъ страната и нейнитѣ нужди, ще почнатъ да се распорекдтъ на лѣво и на дѣсно, както имъ скивне, безъ да срѣщатъ претивдѣйствие отъ никѣдѣ, и като знаятъ, че не сж отговорни прѣдъ никого?

Алба (пакъ се огледва наоколо). Нищо по-естественно отъ онова, че краль, който желае пълновластно да управлява, поржчва изпълнението на своитѣ заповѣди прѣдпочтително на оние, които най-добрѣ ги разбиратъ, които искатъ да ги разбератъ, които безусловно изпълняватъ неговата воля.

Егмонтъ. Сжщо така естествено е, че гражданетѣ искатъ да иматъ за управителъ оногова, който се е родилъ и възпиталъ помежду имъ, който еднакво съ тѣхъ разбира правото и неправото, на когото тѣ могатъ да гледатъ, като на свой братъ.

Алба. Благороднитѣ обаче далечъ не еднакво се сж сподѣлили съ тѣзи свои братья.

Егмонтъ. То е станало прѣди стотини години, и за това сега се търпи безъ завистъ. Но ако ще се пращатъ безъ всѣкаква нужда нови хора, които поискатъ вторий пъкъ да се обогатятъ отъ гърбътъ на народътъ, и той усѣти, че е изможенъ на люта, дръзка, необузданна алчностъ, то ще произведе таково вълнение, което само по себе не ще лесно да се утоложи.

Алба. Ти говоришь нѣща, които азъ не би трѣбвало да чувашъ, — и азъ сжщо съмъ чужденецъ.

Егмонтъ. Ако ти говора това въ очитѣ, то показва, че думитѣ не се отнасятъ къмъ тебе.

Алба. Дори и така, акъ пакъ не бихъ желалъ да ги чуя отъ тебъ. Кралятъ ме испрати въ надѣжда, че тука азъ ще намѣра съдѣйствието на благороднитѣ. Волята на кралятъ е воля! Слѣдъ дълбоки размисления кралятъ постигна, гдѣ е благого на народътъ; работитѣ не могатъ да останатъ въ таково положение и да вървятъ, както до сега. Намѣрението на кралятъ е да го възвърне къмъ собственото му добро, къмъ собственото му благосъстояние, и ако до трѣбва, той ще направи това дори противъ неговата воля; ще се пожертвуватъ нѣколко врѣдни граждани, за да намѣратъ останалитѣ спокойствие и да се наслаждаватъ съ щастиего на едно мѣдро управление. Таково е неговото рѣшение; азъ имамъ заповѣдъ да го съобща на велможитѣ; отъ негово име азъ искамъ съвѣтъ не — *що, но какъ* да работимъ; защото първото вече е рѣшено отъ него.

Егмонтъ. За жалость, твоитѣ думи оправдаватъ страхътъ на

народътъ, всеобщийтъ страхъ! И тъй той рѣши онава, на което ни единъ господарь не би трѣбвало да се рѣшава. Той иска да омаломощи, да потъчи, да унищожи — силата, духътъ и самоуважението на свойтъ народъ, за да може по-лесно да го управлява. Той иска да изгръгне самийтъ корень на неговата самобитностъ; разбира се, съ намѣрение да направи своитѣ подданици по честити. Той иска да ги истрѣби, за да създаде отъ тѣхъ нѣщо, но съвсѣмъ друго нѣщо. О, ако той мисли, че намѣрението му е добро, той се лъже! Противъ кралтъ никой не възстава, прѣдъ него само се испрѣчватъ и го прѣдпазватъ отъ първитѣ злополучни стѣпки по единъ лъжовенъ пѣтъ.

Алба. При такова настроение на мисли, бесполезно ще е понататкъ да се съвѣщаваме. Ти се отнасяшъ неуважително къмъ кралтъ и прѣзрително къмъ неговитѣ съвѣти, когато се съмнѣвашъ, че всичко не било доста обмислено, испитаю, прѣтеглено. Азъ имамъ заповѣдь всѣко «за» и «противъ» да обсъждамъ още веднаждъ. Отъ народътъ азъ искамъ покорностъ, — а отъ васъ, негови първенци, велможн — съвѣтъ и съдѣйсвие, като поръчителство на тая безусловна длъжностъ.

Егмонтъ. Искай нашитѣ главн, то ще е по просто. Да во-врешъ главата си въ хомоть или да я сложишъ подъ сѣкира, — за благородно срдце е все едно. Напусто говорихъ азъ толкова; произведохъ само колебания въ въздухътъ, — и нищо повече.

Влиза Фердинандъ.

Фердинандъ. Простете, че прѣкъсвамъ вашата бесѣда. Его писмо, на което пратеникътъ очаква незабавенъ отговоръ.

Алба. [Дозволете, да видя съдържанieto. (*Дръзва се на страна*).

Фердинандъ (*на Егмонта*). Че хубавъ конь ви доведоха слугитѣ за връщанне!

Егмонтъ. Да, той не е отъ долнитѣ. Азъ го имамъ отдавна, и мисля да го продамъ. Ако ви се харесва, бързо щемъ се спотоди за цѣната.

Фердинандъ. Добрѣ, видящемъ.

Алба (*климва на синътъ си, който се оттеглива въ джлбочината*).

Егмонтъ. Дозволете ми да ви кажа сбогомъ и да ви оставя. Защото, за Бога, нѣма що повече да ви говоря.

Алба. Честитъ случай ти побърка да издадешъ по-нататкъ своитѣ мисли. Испрѣдпазливо разкри ти всичкитѣ потайни сгѣнки

на твоето сърце и самъ изрече противъ себе си по-вече обвинения, отъ колкото единъ твой най върлъ неуривителъ можеше въ своята злоба това да направи.

Егмонтъ. Тойзи укоръ никакъ не ме докача; азъ доста познавамъ себе си, и зная колко съмъ прѣдаденъ на кралятъ; много по-вече отъ мнозина, които на негова служба сами на себе служатъ. Неохотно оставямъ нашитѣ прѣширни недосвършени, и желая, щото нашитѣ длъжности къмъ Господарьтъ и благого на страната скоро да ни съгласятъ. Въ друго по-честито врѣме, при повторно свиданне, когато ще присѣтствуватъ и другитѣ князье, които днесъ лицеватъ, може би, ще се сполучи онова, което днесъ ви се вижда невъзможно. Съ тая надѣжда азъ си отивамъ.

Алба (който тутакси подава знакъ на синьтъ си). Стой, Егмонте! Твоята сабля. — *(Срѣдната врата се отваря, вижда се галерия цѣла пълна съ стража, която стои неподвижно).*

Егмонтъ (зачуденъ мълчи нѣколко врѣме). Та ето каква е била работата! За това ли ме покани? *(Хваща се за саблята, като че ли иска да се зацѣпява).* Нема съмъ безъ оръжие?

Алба. Азъ те арестувамъ по заповѣдь на кралятъ. *(Начавтъ отъ двѣтъ страни влиза обрѣжена стража).*

Егмонтъ (слѣдъ мълчание). Кралятъ? — Оранскій! Оранскій! *(Подиръ малко дава саблята си).* На, земи я! Тя почесто се е повдигала за кралятъ, нежели за защита на тие гърди. *(Той излиза чрѣзъ срѣдната врата; стражата върви подиръ му, Фердинандъ ги послѣдва, Алба остава самъ. За вѣсата пада).*

ДѢЙСТВИЕ ПЕТО.

Улица. Вечерна помрачина.

Клари. Бракенбургъ. Граждане.

Бракенбургъ. Душо, Кларе, за Бога, какво мислишь да правишь?

Клара. Ела, ела, Бракенбургъ! Ти, види се, малко познаваш хората; ние на вѣрно ще го освободимъ. Що може да се равнява съ тѣхната любовъ къмъ него? Заглѣвамъ ти се, всѣкий чувствува пламенно желание да го спаси, да отклони опасността отъ скъпоцѣннийтъ животъ и да възвърне свобода на любимецътъ на свободата. Върви! липсва само гласъ, който да ги свика. Въ тѣхнитѣ сърдца още тъй е прѣсно всичко, което тѣ нему дължатъ! И тѣ

зваятъ, че само неговата мощна ръка забавя тѣхната гибелъ. Зарадъ него, зарадъ себе си тѣ трѣбва на всичко да се рѣшатъ. И съ що рискуваме ние? Въ най-краенъ случай съ живогътъ си, за запазването на който не струва и да се мисли, ако той погине.

Бракенбургъ. Кѣтнице! Ти не виждашъ ли оная сила, която ни е стѣгнала съ желѣзни обржчи?

Клара. Тя не ми се вижда необорима. Но да оставимъ празни думи! Насамъ идатъ стари, честни, смѣли хора! Чуйте, приятели! Съсѣди, слушайте! — Кажете, що стана съ Егмонта?

Дърводѣлецътъ. Що иска това момиче? Накарайте я да млъкне!

Клара. Елате по-близу, ще говоримъ полегка, догдѣ се не сглобиятъ, и не станемъ силни. Не трѣбва да губимъ ни минута! Необузданната тирания, която се одързости да наложи на него окови, вече вдига ножъ да го убие. О, приятели! всѣка стѣпка на вечерната зора усилва въ мене страхътъ. Азъ се боя отъ тая нощъ. Вървете, — да се раздѣлимъ, да се распиляемъ по цѣлнйтъ градъ и, твичешкомъ отъ къща въ къща, да свикаме гражданетѣ. Нека всѣвий грабне своето старо оружие! Да се срѣзнемъ отново на пазарнийтъ мегданъ; нашиятъ буренъ потокъ ще увѣче всѣкиго подирѣ си. Неприятелитѣ ще се видятъ обиколени отъ поройтъ; и ето ги удавени. Що може да ни противопостави една шепа наемни раби? И той ще тръгне посрѣдъ насъ, ще се види освободенъ, и ще има единъ пътъ да благодари намъ, намъ — които толкова дължимъ нему. И тогава може би, той ще види, — не, навѣрно ще види утренната зора на безоблачното небо.

Дърводѣлецътъ. Що ти е, моме?

Клара. Та вие не ме ли разбирате? Азъ говора за графътъ! За Егмонта говора!

Еттеръ. Не изговаряй това име! Отъ него вѣе смъртъ.

Клара. Какъ? да не изговарямъ! това име да не изговарямъ? Бой при всѣкий случай не го е изговарялъ? Гдѣ не стои то написано? Какъ често съмъ го прочитвала азъ на небеснийтъ сводъ, начертано съ златни звѣзди. Да го не произнасямъ? Що значи това? Приятели! Мои добри, драги съсѣди, вие сънувате; свѣстете се! Не ме гледайте тѣй второчено и боязливо! Не дѣйте се озъртва тѣй плахо по странитѣ. Азъ само ви призовавамъ къмъ онова, което всѣкий отъ васъ тайно желае. Мойтъ гласъ не е ли гласъ на нашето собствено сърдце? Кой отъ васъ, въ тая страшна нощъ, прѣди да се простре връхъ своето безпокойно лѣгло, нѣма да се хвърли на колѣнитѣ съ горѣща молитва къмъ Всемогущийтъ за не-

говото освобождение? Попитайте се единъ другий! Кой отъ васъ, слѣдъ като се вслуша въ себе си, нѣма да повтори съ мене: «Свобода на Егмонта или смъртъ!»

Елтеръ. Да ни пази Господь! Тогава ние сме изгубени.

Клара. Стойте! стойте! не бѣгайте при името на оновога, който още тъй неотдавна весело ви сбираше около себе си. — Едвамъ се разнасеше мълва, едвамъ се чуеше: «Егмонтъ се връща! Егмонтъ иде отъ Гентъ!» и всички жители по оние улици, изъ които той трѣбваше да мине, се считаха честити. И щомъ се чуеше тропотъ отъ неговитѣ конье, всѣкий захвърляше своята работа и тичаше къмъ прозорци, порти, — и по угриженнитѣ до тогава лица свѣтваша зари на радостъ и надѣжда, които низлитаха отъ него, като отъ слънце. И отъ праговетѣ на вашитѣ жилища вие високо издигахте дѣцата си и имъ го сочехте: «Гледайте, това е Егмонтъ! великийтъ Егмонтъ! Това е той! Отъ него вие можете да очаквате по честати дни отъ оние, които прѣкарваха вашитѣ клѣти бащи». Не дѣйте допуца, щото единъ день дѣцата ви да питатъ: «Гдѣ е той? Гдѣ сж честититѣ врѣмена, за които вие ни се вричахте?» Да не губимъ врѣме на-пусто! Съ нашето бездѣйствие ние го прѣдаваме!

Соестъ. Какъ не те е срамъ, Бракенбургъ! Не я оставяй да загине!

Бракенбургъ. Мила, драга Кларо! Хайде да си идемъ. Какво ще каже майка? Може би—

Клара. За дѣте ли ме смѣташ или за луда? Защо е това «може би»? Съ никакви надѣжди ка свѣтътъ ти не можешъ да забулишь отъ мене тая ужасна дѣйствителность. — Вие трѣбва да ме изслушате и щете, — защото, азъ виждамъ, вие сте се смаяли и не можете да се окопитите. Хвърлете прѣзъ настоящата опасность само единъ погледъ къмъ миналото, къмъ неотдавна миналото! И мисленно обърнете се къмъ бѣдущето. Можете, и ще ли вие да живѣете, когато той погине? Съ неговата послѣдня въздишка ще улѣти и вашата послѣдня свобода. Що бѣ той за васъ? За кого се хвърляше той въ най-голѣми опасности? Неговитѣ рани истичаха отъ кръвъ и оздравяваха само за васъ. Великата душа, която васъ всички побираше въ себе си, сега е затворена въ тъмница, и ужасъ на насилственна смъртъ се носи надъ нея. И въ тоя мигъ, може би, той мисли за васъ, на васъ се надѣва—той, навикналъ само да се жертвува, само да се бори за благо на всички.

Дрвдѣлецътъ. Буме, да си вървимъ.

Клара. Азъ нѣмамъ ни ржцѣ, ни сила, като васъ; но пакъ

чиамаъ друго, което вамъ липсва, мъжество и прѣзрѣние къмъ опасността. Да можехъ съ диханието си да ви възбуда! Да можехъ всички ви да стисна въ моитѣ прѣгръдки, за да ви ожива и въпламена! Вървете! Азъ ще тръгна посрѣдъ васъ! Както едно безоръжно знаме се развѣва надъ благородна войска и води войниците на прѣдъ, тъй и мойтъ духъ ще пламти надъ вашитѣ глави, а любовь и мъжество ще сглобать нерѣшителниятъ, разединенъ народъ въ една страшна войска.

Ентеръ. Тегли я на страна; свиди ми се за нея. (*Гражданетѣ се разотиватъ*).

Бракенбургъ. Клерхень, ела на себе си; погледни — гдѣ сме!

Клара. Гдѣ? Подъ небесниятъ сводъ, който тъй често ми се виждаше по-великопъленъ, когато Благородниятъ се расхождаше още подъ него. Отъ тѣзи прозорци се подаваха по четири, по петъ глави една прѣзъ друга, само за да го зарнатъ, при тѣзи вратни се струпаха, и го поздравляваха, и му климаха, когато той хвърлеше погледъ къмъ тѣхъ. О, какъ тогава азъ ги обичахъ, че му въздавать такъвъ почитъ! Да бѣше тиранинъ, тѣ щѣха да сж въ правото си да се отвърщатъ отъ него при паденето му. Но тѣ го обичаха! — О, вие ржцѣ, които тъй усърдно прѣдъ него се хващате за шапки, не можете ли да се хванете за мечъ — Бракенбургъ, а ние? Да ги мърремъ ли? — Тѣзи ржцѣ, които тъй често сж го стискали въ своитѣ обятия, — какво правятъ сега за него? — Хитростята е сполучвала толкова работи на той свѣтъ. — Ти знаешъ всички входи и изходи въ старийтъ палатъ. Нѣма нищо невъзможно; дай ми свѣтъ.

Бракенбургъ. Кога се върнемъ дома.

Клара. Добрѣ.

Бракенбургъ. Тамъ при жгълтъ съглеждамъ стражата на Алба; дозволи най-сѣтнѣ гласътъ на разсѣдкѣтъ да стигне до твоето сърдце. Немъ ти ме считашъ за страхливецъ? Не вѣрвашъ ли, че за тебъ азъ съмъ готовъ да умра? Тука ние и двама сме полудѣли, азъ сжщо тъй, както и ти. Не виждашъ ли, то е невъзможно? Ела, свѣсти се! Ти си вѣнъ отъ себе си.

Клара. Вѣнъ отъ себе си! Ужасно! Бракенбургъ, ти си вѣнъ отъ себе си! Когато вие високо го чествувате, като герой, и го наричате доброжелателъ, подпора и надѣжда, кога той минуваше вкахте сура, — азъ стоехъ въ мойтъ кжтъ, полурасгваряхъ прозорецѣтъ, краденкомъ поглеждахъ и се вслушахъ, но сърдцето ми тупаше по-силно, отъ колкото у васъ всички. И сега то се бие по-силно нежеми у васъ всица! Вие се впрете, щомъ

се яви нужда, отричате се отъ него и не усѣщате, че сами сте изгубени, щомъ той погине.

Бракенбургъ. Къде, да си идемъ дома.

Клара. Дома?

Бракенбургъ. Свѣсти се! Погледни около себе си. То сж улици, на които ти се появяваше само недѣленъ денъ; прѣзъ тѣхъ ти тѣй тихо и скромно отиваше на черкова и силно се смущаваше, когато тя срѣщаше и се обърнехъ къмъ тебе съ нѣкоя привѣтлива, дружелюбна дума. А сега стоишь и говоришь на тъпа, и я подбуждашь врѣдъ очитѣ на цѣлъ свѣтъ; дойди на себе си, драга, какво ще то да ни помогне?

Клара. Да си идемъ! Да, азъ се свѣстявамъ. Да си вървимъ дома, Бракенбургъ. Знаеш ли, гдѣ е моята родина? (*Отиватъ си*)

Тъмница

Осѣтена отъ една лампа, въ дълбочината ѝ лѣгло.

Егмонтъ самъ.

Старий другарю, неизмѣнно вѣрний сѣне! и ти ли ме оставишь, като другитѣ приятели? Какъ благосклонно се спущаше ти на моята волна глава и като прѣкрасенъ миртовъ вѣнецъ на любовта раскладяваше моитѣ сѣнища! Врѣдъ гръмътъ на оржания и буритѣ на животътъ азъ намирахъ почивка въ твоитѣ прѣгърдки, и дивехъ тихо, като новородено дѣте. Когато бури стенѣха между клоноветѣ и листата, потърсвахъ стволътъ и навождахъ върхътъ, вели вжтрѣ сърдцевината оставаше непожтната. Що те вълнува сега? Що смущава твойтъ твърдъ, вѣренъ духъ? Усѣщамъ, то е звонътъ на смъртоносната сѣкира, която жадно прѣсича моитѣ корени. Азъ стоя още правъ, но вжтрѣшни трики вече ме побиватъ. Да, прѣдателската сила надвива; тя се подконава подъ яткитѣ, високъ стволъ и, прѣди да повѣхне кората, твоята корона съ трѣсъкъ и шумъ пада на земя.

Защо сега ти, който тѣй често прогонваше изъ главата най-силни грижи, като сапунени мѣхурчета, защо не можешъ да разнесишь онока прѣдчувствие, което се мѣрка подъ хиляди образи прѣдъ тебе? Защо почна ти да се боишь отъ смъртта, когато до сега нейнитѣ промѣнливи образи, както и други призраци отъ тойзи свѣтъ, те оставахъ спокойно да живѣеши. — Не е ли той все сжщий врагъ, срѣщу когото здравитѣ гърди бурно се стремятъ; то е за-

творътъ, подобие на гробъ, който е омразенъ на геройтъ, както и на страхливецътъ. Често, когато сѣдѣхъ въ тържественно събрание на мекъ столъ и слушахъ, какъ князетѣ се прѣпираатъ за работи, за рѣшеннето на които стигаха двѣ-три думи, азъ се чувствувахъ като смазанъ отъ мрачните стѣни и великолѣпний потокъ на залата. И при първа възможность, бързахъ съ дълбока отдишка навънъ. Конятъ лѣтеше тамъ, гдѣто всѣкий се усѣща, като дома! Въ полето, гдѣто природата извлича изъ земята своитѣ най-благии дарове и ни благославя отъ небото съ сиянието на своитѣ звѣзди; гдѣто ние, като земни исполнии, отъ докосване до нашата майка захващаме по-силно да се стремимъ къмъ височинитѣ; гдѣто въ всичкитѣ си жили усѣщаме цѣлото човѣчество и всички човѣчески желанія; гдѣто въ душата на младийтъ ловецъ пламва потребностъ — да върви напредъ, да надвива, да покорява, да упражнява своята сила, да воюва и да владѣе; гдѣто войникътъ прѣдпява своето прирожденно право да прѣмине съ бързи крачки прѣзъ цѣлъ свѣтъ и, пълненъ отъ необуздало своеволие, като ураганъ се прѣнася чрѣзъ ливади, поля и гори, безъ да припознава каквито и да било прѣдѣли, начертани отъ човѣческа рѣка.

Ти си само картина, възпоминание, мечта на онова щастие, което азъ толкова дълго вѣреме обладавахъ; накѣдѣ те заведе прѣдателката съдба? За това ли не даде да срѣщнешъ смъртъта, отъ която ти никога не си се страхувалъ, прѣдъ лицето на слънцето, — за да те накара да прѣдвкусишъ гробътъ верѣдъ мръсна тиня? Какъ отъвратително вѣе тя на мене отъ тѣзи камъни! Животътъ вече се спира, прѣдъ това лѣгло кракътъ трѣпва, като прѣдъ гробъ.

О, тжго, тжго! ти, що прѣди вѣреме захващашъ убийството, почакай! — Отъ кога е Егмонтъ самъ, съвършено самъ на тойзи свѣтъ? Сега те прави безчувственъ съмнѣнието, не щастieto. Та и какъ правосъдието на кракътъ, въ което си вѣрвалъ прѣзъ цѣлвийтъ животъ и приятелството на управителката, което — ти с-га можешъ да се признаешъ — бѣше почти любовь, — веднага ли исчезнаха, като блѣскавъ огненъ метеоръ нощемъ, и те оставиха самъ на тъмнийтъ пѣтъ? На чело на твоитѣ другари нѣма ли Оранскій да се рѣши на нѣкое отчаянно дѣло? Нѣма ли да се спере народъ и да се опита съ своята бурна мощъ да спаси свойтъ старъ приятель?

О, стѣни, които ме окръжавате, не спирайте бурнийтъ потокъ на добритѣ гении; нека онова мжжество, което тѣ нѣкога черпѣха отъ моитѣ очи, се повърне сега назадъ отъ *mbxnumb*.

сърдца въ мосто. О, да, тѣ възставатъ съ хиляди! Тѣ идатъ; възъ менъ сж вече! Тѣхнитѣ благочестиви молитви се възнасятъ къмъ небесата, — тѣ молятъ за чудо. И ако не слѣзе отъ горѣ нѣкой ангелъ за мое избавление, тѣ сами ще се заловатъ за своитѣ мждраци и сабли. Струполяватъ се шорти, рѣшетки се трошатъ, стѣнитѣ се рутятъ подъ тѣхни ржцѣ, и свободата, за едно съ първитѣ зари на деньтъ, радостно ще посрѣщне Егмонта. Колко познати лица ще ме привѣтствуватъ съ ликующи кличове! Ахъ, Клерхень! Да бѣше ти мжжъ, навѣрно тебе първа щѣхъ да видя азъ тука, и тебъ щѣхъ да благодаря, за което тѣй е тежко да се благодаря на единъ краля, — за свобода.

Кжщата на Клара.

Влиза Клара изъ сгвднята стая съ лампа и съ чаша вода; тя туря чашата на една маса, и съ лампата се доближава до прозорецътъ.

Бракенбургъ? Вие ли сте? Що ли ми се почу? Нѣма никого! Да, никого! Ще туря лампата на прозорецътъ да види, че не спя още, че още го чакамъ. Той обѣща да ми проводи извѣстие. Извѣстие? Ужасно удостовѣрение! Егмонтъ осъденъ! Но кое сѣдилище има такъва дързостъ? И тѣ го осъдиха! Кралятъ ли го осъди? Или херцогътъ? И управителката се измъкна! Оранский и всички негови приятели губятъ врѣме! Не е ли това свѣтътъ, за непостоянството и лъжовността на който азъ толкова чувахъ и нищо не разбирахъ? Това ли е свѣтътъ? Кой можеше да бжде толкова злобенъ, щото да враждува противъ драгийтъ на всички? Чия злоба бѣ толкова силна, щото тѣй бързо да погуби общийтъ любимецъ? Но то е тѣй — тѣй е! — О, Егмонте! азъ те считахъ обезпеченъ прѣдъ Бога и хората, както въ моитѣ обятия! Що бѣхъ азъ за тебе? Ти ме нарече твоя, и цѣлийтъ мой животъ биде посветенъ на твойтъ. — А сега що съмъ азъ? Щетно простирамъ ржцѣ къмъ твоитѣ окови. Ти безпомощенъ, а азъ свободна! Ето ключътъ отъ моята врата. Отъ мене зависи да влѣза и да излѣза, и пакъ не мога нищо да направя за тебе! — О, свържете ме, за да ми се не земе умътъ; хвърлете ме въ най-дълбокъ зандакъ, за да удрямъ тамъ о влажнитѣ стѣни главата си, да плача и мечтая за свобода, какъ бихъ му помогнала, какъ бихъ го освободила, да не бѣхъ везана до ржцѣ и нозѣ. — Сега азъ съмъ свободна, и въ тая свобода

лъжи ужасът на безсилнето. — Сама себе си съзнавамъ неспособна единъ членъ да мръдна за да му помогна! Ахъ, за жалостъ, и най-дребната частъ отъ твоето битие, твои Клерхень, е като тебе плътница и раздѣлена съ тебе, въ агония съ смъртта тя само губи своитѣ послѣдни сили. — Чувамъ стѣпя, кашля нѣкой — то е — Бракенбургъ! Горкѣй, добрий челоуѣкъ, твоята съдба остава все същата; твоето либе ти отвара пощемъ вратата, но, ахъ, за какво печално свиждане!

Влиза Бракенбургъ.

Клара. Ти си тѣй смутенъ и блѣденъ, Бракенбургъ! Що има?
Бракенбургъ. Чрѣзъ опасности и прѣмездия ида при тебъ. Голѣмитѣ улици сж завзети съ войска; за да се промъкна до тукъ трѣбваше да криволича, да заобикалямъ, да прѣскачамъ плѣтища.

Клара. Разказвай, както що е.

Бракенбургъ (като съда). Ахъ, Клере, дай ми да се наплача. Азъ не го обичахъ. Той, богаташъ, взимаи единичката овца на сиромаштѣ на своатѣ по-добри наши. Азъ никога не съмъ го вѣлѣлъ; Богъ ме е създалъ покоренъ и кроткъ. Животътъ ми истече въ страдания, и всѣкий день азъ се надѣвахъ да умра.

Клара. Забрави това, Бракенбургъ! Забрави себе си. Говори ми за него! Истина? Той осжденъ ли е?

Бракенбургъ. Да, истина е! Азъ го зная положително.

Клара. Но живъ ли е още?

Бракенбургъ. Да, живъ е.

Клара. Какъ можешъ това да утвърждавашъ. Тиранията убива доблестниятъ ношемъ. Скрита отъ всички очи тече неговата кръвъ. Въ безпокойна дрѣмка лъжи слисанийтъ народъ и сънува за избавление, сънува за изпълнение на своитѣ безсилни желаня, когато неговата душа, съ негодование къмъ насъ, оставя тойѣжъ свѣтъ. Тя е вече тамъ! — Не лъжи мене! Себе си не лъжи!
Бракенбургъ. Не, истина, той е още живъ. — Но, за жалостъ, испанцитѣ готвятъ на народътъ, когото искатъ да смажатъ, страшно зрѣлище, което навѣки ще съкруши всѣко сърдце, въ което още се таи любовь къмъ свобода.

Клара. Продължавай, и смѣло изговори и моята смъртна прѣсѣда! Азъ се приближавамъ все по-вече и по-вече къмъ блаженнитѣ прѣдѣли, и на мене вече вѣе успокоение отъ страната на вѣчнитѣ миръ.

Бракенбургъ. По расположение на стражитѣ изъ градътъ, по нѣком-други рѣчи, поронени тукъ-тамъ, азъ можахъ да забѣлѣжа

че на пазарнийгъ мегданъ се готви скришомъ нѣщо ужасно. Азъ се промъквахъ чрѣзъ нѣкои тѣсни улички, чрѣзъ менъ познати ходове къмъ-то къщата на мойгъ братовчедъ, и изъ заднийгъ прозорецъ погледнахъ на мегдантъ. — Верѣдъ голѣмъ кръгъ отъ испански солдати се мѣркаха насамъ-нататкъ фенери. Вперихъ не-свикналиятъ се още съ нощта погледъ, и изъ мрактъ прѣдъ мене се испрѣчи черенъ ешафотъ, обширенъ и високъ; растрѣперахъ се отъ това зрѣлище. Мнозина бѣха заети покрай тая дървена сграда, и прѣбулваха и обвиваха съ черно сукно видимитѣ тукъ-тамъ бѣли части. Най-сѣтигъ покриха съ черно и стжалата;—азъ видѣхъ това добрѣ. Тѣ като че ли се готвѣха къмъ освещение на нѣкоя ужасна жертва. Единъ бѣлъ кръстъ, издигнатъ високо отъ едната страна на ешафотътъ, блѣстеше въ мрактъ, като срѣбъренъ. Азъ гледахъ, и страшната увѣренность стана за мене по-достоверна. Самъ-тамъ мѣждѣха още фенери; но малко по-малко и тѣ почнаха да се отдалечаватъ и най-послѣ изчезнаха. И изведнаждъ и това чудовищно порождение на нощта се загуби и скри въ нейното майчино лоно.

Клара. Стига, Бракенбургъ! Сега стига! остави тая завѣса да си почине въ моята душа! Изчезнаха вече призрацитѣ, и ти благодатна нощъ мѣтни свойтъ покривъ на бѣдната земя, която се вълнува въ себе си; тя нѣма сила да носи това отвратително брѣме, съ вой се пукатъ нейнитѣ дълбоки нѣдра, и поглъщатъ смъртоносната сграда. Богъ ще испрати свой ангелъ за да посрами нечестивитѣ убийци; отъ едното свето докосвание на Божийтъ посланикъ ще се съкрушатъ затвори и окови, и той ще пролѣе на другаргътъ кротко сияние; чрѣзъ мрактъ тихо и спокойно ще го изведе на свобода. И мойтъ нѣжъ лѣжи верѣдъ тая тайнствена тъмнина, азъ ще ида да го посрѣщна.

Бракенбургъ (като я удържа). Дѣте мое, какъдѣ? На що си се ти рѣшила?

Клара. По-легка, драгий, да не събудимъ нѣкого, да не събудимъ сами себе си! Знаеш ли ти това шишенце, Бракенбургъ? Азъ го отнехъ отъ тебе на шега, когато често въ нетърпѣние ти заплашваше да прѣкъснешъ животътъ си. — А сега мой другарю—

Бракенбургъ. Въ името на всички светии! —

Клара. Ти нѣма да ми попрѣчишь. Мойтъ дѣлъ е смъртъ! Остави ме да въсприема сладката, бърза смъртъ, която ти готвеше на себе си. Дай ми твоята рѣка! — Въ тойзи мигъ, когато отварямъ мрачната врата, отъ гдѣто връщание нѣма, съ това стискание бихъ искала да ти кажа, какъ много те обичахъ и какъ дълбоко те

съжалъвахъ. Мойтъ братъ умря малъкъ; тебе азъ избрахъ да заемешъ неговото мѣсто. То противорѣчеше на твоеото сърце и мжчеше себе си и мене, ти все по-горѣщо и по-горѣще искаше онова, което не бѣ тебъ обречено. Прости ме и бѣди честитъ! Дозволи ми да те наричамъ братъ! То е име, което включаваше въ себе си много други имена. Приими послѣдното прѣкрасно цвѣте на раздѣла, достойно за твоеото вѣрно сърце — приими тая цѣлувка! — Смертьта съединява всичко. Бракенбургъ; та и насъ ще.

Бракенбургъ. О, дай ми да умра съ тебе! Раздѣли! раздѣли! Тукъ има доста, за да угаси два живота.

Клара. Стѣй! Ти трѣбва, ти можешъ да живѣешъ. — Бѣди подпора на майка ми, която безъ тебе ще загине отъ сиромашия. Бѣди за нея онова, което азъ вече не мога да бѣда! Живѣйте заедно и ме оплаквайте. Оплаквайте нашето отечество и оногози, който единъ само можеше да го поддържа. Сегашното поколѣние нѣма да доживѣе до крайтъ на своитѣ мѣки; дори самата яростъ за отмъщение не ще да ги утложи. Живѣйте, вие клѣтници, прѣживѣйте това врѣме, което даже не е и врѣме. Днесъ отведнаждъ кръговъртенцето на вселенната се зазира, всичко се спира, и мойтъ пулъкъ едвамъ има още нѣколко минути да тупа. Бѣди честитъ!

Бракенбургъ. О, живѣй съ насъ, както ние само за тебъ ще живѣемъ! Твоята смърть ще убие и насъ, о, живѣй и търци! Ние ще бѣдемъ при тебе нераздѣлно и всѣкога любовта грижливо ще ти дава най прѣкрасно утѣшение въ своитѣ животворни обятия. Бѣди наша! наша! Азъ не дързя да кажа моя.

Клара. По-лека Бракенбургъ! Ти не усѣщашъ, до що се докосвашъ. Гдѣто за тебе сияе надѣжда, тамъ за менъ е отчаяние.

Бракенбургъ. Раздѣли надѣждата съ живитѣ! Запри се у крайтъ прѣдъ бездната, погледни въ нея и се обърни отново къмъ насъ.

Клара. Азъ всичко оборихъ; не ме извиквай на нова борба.

Бракенбургъ. Ти си заслѣпена; прѣбулена въ ноцъ, ти търсишъ бездната. Още не е угаснала послѣдната свѣтлина, денътъ е още наирѣдъ.

Клара. Тежко! чрѣзъ тебе ми е тежко! Жестоко съдра ти завѣсата прѣдъ моитѣ очи. Да, ще съмне, ще настѣпни день! Нануесто мъглата ще се противи, ще съмне! Боязливо ще погледнатъ гражданетѣ изъ своитѣ прозорци, ноцъта е оставила слѣдъ себе си едно черно петно; тѣ се взираатъ и въ свѣтлината страшно израства прѣдъ тѣхъ убийственниятъ ешафотъ. — Поруганиитѣ образъ на Спасителя отново страдачески ще обърне свойтъ погледъ къмъ Бога-Отца. Слън-

цето не ще да изгрѣе, за да не опрѣдѣли часътъ, въ който тоѣ трѣбва да умре. Бавно извършва стрѣлката свойтъ пжтъ, и единъ часъ удря слѣдъ другий. Чакайте! Чакайте! сега е вече врѣме! Прѣдчувствувамъ приближението на утрото; то ме гони въ гробъ. (*Отива кждѣ прозорецътъ, ужъ за да погледне навънъ, и скришомъ испива отровата*).

Бракенбургъ. Клере! Клере!

Клара (*доближава до масата и пие вода*). Ето остатокътъ! Азъ не те каня да ме послѣдвашъ. Прави както знаешъ, сбогомъ! Угаси тихо тая лампа и незабавно! Азъ отивамъ на покой. Прѣдпазливо излѣзъ и притвори вратата подирѣ си. Полегка! Да не събудишъ майка ми! Скоро, спасявай се! Спасявай се, ако не искашъ да те зематъ за мой убийца. (*Излиза*).

Бракенбургъ. И за послѣденъ пжтъ тя ме оставя, както всекога. О, да можеше нѣкоя човѣческа душа да чувствува, какъ знае тя да кжса едно любяще сърдце! Тя ме остави, прѣдостави ме самъ на себе, когато смъртъта и животътъ за мене сж равно прѣзрѣнии. — Да умра самъ! — О, плачете, вие любящи! Никоя сждба не е по-жестока отъ моята! Тя дѣли съ мене какитѣ на смъртъта и ме пѣди, пѣди, да не бѣда възъ нея! Викна ме подирѣ си, и отново ме тласна назадъ въ животътъ. О Егмонте! какъвъ прѣкрасенъ жребий ти се е падналъ! Тя отива прѣди тебе; побѣднийтъ вѣнецъ ти ще приемешъ отъ нейната ржка, и заедно съ него тя носи насрѣщъ ти цѣлото небо! — Трѣбва ли азъ да ги послѣдвамъ, отново да стоя отстрана? и неугасимата завистъ да прѣнесе и въ оние селения? На земята за менъ нѣма вече мѣсто, а адътъ и райтъ ми прѣдричатъ все сжщи мжки. Какъвъ сладостенъ дѣлъ за злочеститѣ щеше да е страшното за другитѣ небитие!

Бракенбургъ си отива; сцената остава нѣколко врѣме праздна. Захваща музика, която изражава смъртъта на Клара; лампата, която Бракенбургъ забравилъ да угаси, издига пламкъ на нѣколко пжти и послѣ угасва. Мѣстото на дѣйствието скоро се мѣнува на

Тъмница.

Егмонтъ спи на лѣгло. Чува се звукъ отъ ключъ и вратата се отваря. Влизатъ слуги съ фенсери; слѣдъ тѣхъ върви Фердинандъ, синътъ на Алба и Силва съ обржжени хора. Егмонтъ се пробужда отъ снъ.

Егмонтъ. Кои сте вие, що тѣй недружелюбно провѣдихте-

сънътъ отъ очитѣ ми? Какво идатъ да ми извѣстатъ вашитѣ безпокойни, корави поглеи? Що значи това страшно облѣкло? Съ какво ужасно блѣнувание дойдохте да поразите моята полусъбудена душа?

Силва. Насъ праща херцогътъ, за да ти извѣстимъ прѣсждата.

Егмонтъ. А джелатинътъ съ тебе ли е, за да я изпълни?

Силва. Изслушай, тогава ще научишь, що те очаква.

Егмонтъ. То прилича на васъ и на вашитѣ позорни дѣла! Нощемъ намислено и нощемъ изпълнено! Така поне ще се скрие това злодѣйско дѣло на неправосъдието! — Изстживай смѣло напредъ ти, който потуляшь мечътъ подъ мантията си! Ето моята глава, най-свободна отъ всички, които нѣкога тиранията е откъсвала отъ трупътъ.

Силва. Ти се лъжеш! Постановеното отъ справедливи съдии не се криве отъ лицето на деветъ.

Егмонтъ. Тогава наглостъта прѣвсходи всѣко понятие и мисль.

Силва (зема отъ близстоящиятъ прѣсждата, разгръща я и чете). «Въ името на Кралътъ и въ силата на особенната намъ отъ Негово Величество дарувана власть — да съдимъ всички Негови подданици, къмъ което съсловие тѣ и да привналяжатъ, безъ да исклучаваме дори и кавалеритѣ на Златното Руно, ние признаме—

Егмонтъ. Нема кралътъ може да прѣдава и тая власть?

Силва. „Ние признаме, слѣдъ прѣдварителни, точни и законни изслѣдвания тебе, Хейнрихъ графъ Егмонтъ, принцъ Гаврскій виновенъ въ измѣна противъ държавата и произнасяме прѣсжда: щото ти на разсъмване да блдешъ изведенъ изъ тъмницата на пазарътъ и тамъ прѣдъ лицето на народътъ, за страхъ на всички измѣнници, да приемешъ смъртъ отъ мечъ. Издадено въ Брюксель на² — (Годината и числото се прочитатъ толково неясно, щото не се разбиратъ отъ слушателитѣ).

«Фердинандъ херцогъ Алаба, прѣдсѣдатель на съдилището отъ Дванадесеттѣ».

Сега знаешъ съдбата си; остава ти малко врѣме да се приготвишь, да наредишь домашнитѣ си работи и да се простишь съ своятъ.

Силва съ свитата излизатъ. Остава Фердинандъ съ двама факелноносци. Театрътъ е слабо освѣтенъ.

Егмонтъ (потъналъ въ мисли, не вижда излизанието

на Силва. Той се мисли самъ; когато поддига очитѣ си, съглежда синѣтъ на Алба). Ти си още тука? ти остана? Не искаш ли съ присъстването си да увеличиш моето зачудване, мойтъ ужасъ? Да не искаш да занесеш на баща си приятното за него извѣстие, че не мъжски се отчайвамъ? Иди! Кажу ми, кажи, че той нѣма да излѣже нито мене, нито свѣтътъ. Кажу ми на честолюбецътъ, че испърво задъ рамото му по легка ще шушиатъ, а послѣ все по-високо и по-високо ще изговарятъ и най-сѣтиѣ, когато се струполи отъ тази височина, на която сега стои, хиляди ус а въ очитѣ ще му викатъ, че — не благодто на шгатовегѣ, не пазение достоянството на кралтъ, не успокоеннето на провинциитѣ сж го довели тука. За лачни облаги подаде той свѣтътъ за война, защото войникътъ важи на война. Той възбуди тѣзи чудовищни смутове, за да направи себе си необходимъ. И азъ падамъ жертва на неговата низка омраза и дребнава завистъ. Да, азъ зная това, и трѣбва да го кажа; умирающитѣ, смъртелпораченитѣ може да го исповѣда: на менъ високомѣрнитѣ е завиждалъ; менъ да погуби отдавна той мисли и се готви. Още, когато ние бѣхме по-млади и играехме на кости, и куповегѣ злато, единъ слѣдъ другъ, прѣминуваха отъ неговата страна къмъ моятъ. той пламналъ отъ яростъ, се прѣструваше на спокоенъ, а въ душата му кипеше злоба, и то по вете противъ моето щастие нежели противъ своята загуба. Още сега си наумявамъ неговитѣ огненъ погледъ, прѣдателска блѣдностъ, когато на единъ народенъ празникъ, въ присѣствие на много хиляди зрители, се състязвахме съ него да лучимъ въ цѣлъ. Възвизгътъ бѣ направилъ той, два народа, испанци и нидерланци застанаха съ страхъ и надѣжда прѣдъ тойзи двубой. Азъ му надвихъ; неговитѣ крушумъ не по падна, мойтъ улучи; високъ, радостенъ кличъ на нашитѣ огласи въздухътъ. Сега неговитѣ изстрѣлъ улучва менъ. Кажу ми, че азъ това разбирамъ, че азъ го познавамъ, че свѣтътъ прѣзира всеко побѣдно отличие, което единъ назкъ человекъ добива съ всевъзможни забикалки и подкочи. А ти, ако е възможно синтъ да не върви по диритѣ на бащата, приучавай себе си къмъ срамъ, тѣй като ще имашъ много да се срамувашъ за оногези, когото би желалъ отъ все сърдце да почиташъ.

Фердинандъ. Азъ те изслушахъ, безъ да те прѣкъсвамъ! Твоитѣ укори падатъ отгорѣ ми, като тежки удари връхъ шлемъ; азъ усѣщамъ търсѣнието, но съмъ защитенъ. Ти ме улучвашъ, но не ме наранявашъ; азъ чувствувамъ само болезтъ, който ми кж-

са гърдитъ. Тежко ми е! Тежко! До какво зрѣлище доживѣхъ, на що съмь пратенъ да бѣда зритель!

Егмонтъ. Какъ! ти се оплаквашъ! Що те вълнува, що те наскърбява! Да ли късно раскаяние, че си участвувагъ въ позорно съзаклѣтне! Ти, тѣй младъ и надаренъ съ такава честита вѣнчаностъ. Ти се отнасяше къмъ мене тѣй довѣрчиво, тѣй дружелюбно. До гдѣто гледахъ на тебе, азъ се примирявахъ съ баща ти. И за това тѣй лукаво, по-лукаво отъ него, ме примамн ти въ примката. Ти си гнусецъ! Който се довѣрява на баща ти, той съзнателно влиза въ опасностъ; но кой можеше да се плаши отъ опасностъ, че се довѣрява на тебе? Махни се! махни! Не ми отнемай послѣднитѣ нѣколко минути! Остави ме да си сбера мислитѣ, да забравя свѣтътъ и прѣди всичко — тебе!

Фердинандъ. Що мога азъ да ти кажа? Стоя и те гледамъ, и не те виждамъ, и самъ себе си не усѣщамъ. Трѣбва ли азъ да се оправямъ прѣдъ тебе? Трѣбва ли да те увѣрявамъ, че само етно, само напоследокъ научихъ намѣренята на баща си, че съмь дѣйствиувагъ като принудено слѣбно орджие на неговата воля? Що ми е сега до онова мнѣние, коего ти имашъ за мене? Ти си изгубенъ; а азъ, злополучникъ, стоя тука за да те увѣрявамъ въ това и да те оплаквамъ.

Егмонтъ. Какъвъ чуденъ гласъ, какво нечакано утѣшение ме срѣща по нѣтътъ къмъ гробътъ? Ти, синъ на мойгъ првѣвъ, на мойгъ почти единственъ врагъ, ти ме жалишь, ти не си отъ мойгъ убийци? Говори, кажи! За какъвъ азъ трѣбва да те имамъ?

Фердинандъ. О, жестокосърдий баща! Да, азъ те познавамъ въ тая заповѣдъ. Ти знаеше моето сърце, мойгъ мисли, за тѣхъ, като наслѣдени отъ нѣжно-добрата ми майка, ти често ме мъреше. За да образувашъ отъ мене твое подобие, ти ме испрати тука. Принуди ме да гледамъ, какъ тойзи мжжъ стои у крайгъ на зиналийгъ гробъ и очаква насилственна смъртъ, за да прѣтегла най-дълбоки мжки, за да стана глухъ къмъ всѣкакви прѣвратности на съдбата, за да стана безчувственъ, къмъ каквото и да било.

Егмонтъ. Ти ме очудвашъ! Съземи се! Почакай, говори като мжжъ.

Фердинандъ. О, да бѣхъ жена! Да можеше да ми се рече: що те смущава? Що те вълнува? О, кажи ми едно по-голѣмо, по-ужасно зло, направи ме свидѣтель на още по-чудовищно дѣло; азъ ще те благодаря и ще отговора: то не бѣ нищо.

Егмонтъ. Ти си вѣнъ отъ себе си. Що ти е?

Фердинандъ. Остави тие страдания да изблжкнатъ, остави

свободно да излѣя жалбитѣ си. Азъ не ща да се прѣструвамъ твърдъ, когато всичко въ мене стене. Тебе ли азъ трѣбна тукъ да гледамъ? — Тебе? — То е ужасно! Ти не ме разбирашь? И какъ можешъ да ме разберешъ? Егмонте! Егмонте! (*като се хвърля на шията му*).

Егмонтъ. Отвори ми тайната!

Фердинандъ. Никаква тайна.

Егмонтъ. Но какъ сѣдбата на единъ чуждъ чловѣкъ може тѣй дълбоко да те покърти?

Фердинандъ. Не чуждъ! Ти не си чуждъ за мене. Твоето име, отъ първи младиини, ми свѣтеше като небесна пжтеводна звѣзда. Какъ често азъ се обръщахъ мисленно къмъ тебе съ въпроси и те изслушахъ. Надѣждитѣ прѣвръщатъ дѣтето въ юноша, а юношата въ мжжъ. Така ти вървѣше отпрѣдъ ми; всѣкога напредъ, и азъ безъ завистъ гледахъ на това, и слѣдвахъ подиръ ти, и тѣй нататкъ, нататкъ. Азъ все се надѣвахъ нѣкога да те видя, видѣхъ те и сърцето ми полѣтя къмъ тебе. Тебъ азъ бѣхъ избралъ за свой образецъ, и щомъ те видѣхъ, отново те прѣизбрахъ. Вече се надѣвахъ съ тебе да бѣда, съ тебе да живѣя, твоео расположение да заслужи. И всичко това хвъркна, и азъ те виждамъ тукъ!

Егмонтъ. Другарю мой, ако то може да те зарадва, вървай ме, че отъ първата наша срѣща моето сърце принадлежеше на тебе! Но слушай! Дай да размѣнимъ нѣколко спокойни думи! Кажими: неизмѣнна ли е строгата воля на баща ти да ме умъртви.

Фердинандъ. Да! да!

Егмонтъ. Тази прѣсѣда да не е праздна игра, съ която да ме заплашватъ, и чрѣзъ страхъ и заплашване съ смъртъ да ме унижатъ, а послѣ пакъ да ме поддигнатъ по милостята на кралятъ?

Фердинандъ. Не, ахъ, за злощастие, не! Въ начало азъ и самъ се ласкаяхъ съ тая прѣдателска надѣжда, и още тогава почувствувахъ страхъ и тѣга, че ще те гледамъ въ това положение. А сега то е истинно, неотвратимо. Не, азъ не мога да владѣя себе си. Кой ще ми подаде помощъ, съвѣтъ да избѣгна неизбѣжното?

Егмонтъ. Слушай! Ако твоята душа тѣй неудържимо те кара да ме избавишь, и ако се гнусишь отъ това насилие, което ме държи окованъ,—тогава спаси ме! Минутитѣ сж. свърши. Ти си силенъ на всеслияниетъ и самъ силенъ, направи да побѣгнемъ! Азъ зная пжтищата, а срѣдствата не могатъ да бѣдатъ неизвѣстни за тебе. Само тие стѣни, само нѣколко мили ме дѣлатъ отъ монтьпрятелни. Прѣмахни тѣзи прѣчки, съедини ме съ тѣхъ и стани нашъ. Навѣрно, кралятъ до нѣкога ще ти благодари за моето спа-

сенне. Сега той е изнезаяданъ, а, може би, всичко и да не знае. Твойтъ баща се распореджа самовластно, и Негово Величество трѣбва да одобри станалото. макаръ и да е възмутенъ отъ него. Ти мислишь? О, измисли ми пътъ за свобода! Говори и подкрѣпи надѣждитѣ на живата душа.

Фердинандъ. Млъбни, о млъбни! Всѣка твоя душа услѣва моето отчаяние. Тука нѣма исходъ, нѣма съвѣтъ, нѣма избавление. То ме мѣчи, отчайва и кѣса гърдитѣ ми, като съ ногти. Азъ самъ затегнахъ тая мръжа и зная нейнитѣ япки, твърди вжзели; зная още, че всѣка смѣлость, всѣка хитрость сж безсилни противъ тѣхъ; усѣщамъ себе си свезанъ заедно съ тебе и много други. Щѣхъ ли азъ да се оплаквамъ, да не бѣхъ всичко испитаалъ още попрѣди? Азъ се търкаляхъ у нозѣтъ му, просѣхъ, умолявахъ. И той ме испрати тука, за да унищожи въ тоя мигъ всичко, което ми правеше животътъ милъ и драгъ.

Егмонтъ. И никакво спасение?

Фердинандъ. Никакво!

Егмонтъ (тропва съ кракъ). Никакво спасение! — Сладостний животъ! Прѣкрасний, приятний навикъ да съществувамъ и дѣйствивамъ, азъ трѣбва съ тебе да се раздѣла, и да се раздѣла тѣй изоставенъ! Не всрѣдъ ужаси на бойтъ, не всрѣдъ грѣмъ на орѣжия, не всрѣдъ възбуждение на борба ми давашъ ти бързолѣтното «прощавай»; ти не земашъ краткото „сбогомъ“ и не съжсѣвашъ мигътъ на раздѣлата. Азъ трѣбва да те хвана за рѣка, още единъ пътъ да те погледна въ очитѣ, отново живо да прочувствувамъ твоята прѣлестъ, твоята цѣна и тогава рѣшително да се откасна и да ти кажа: Махни се!

Фердинандъ. А въ това врѣме азъ съмъ длъженъ да стоя тука токо до тебе, да те гледамъ, безъ да мога да те поддържа, нито да имъ попрѣча! О, гдѣ да найда думи за моята тѣга! Кое сърдце може да прѣнесе толкова стенания?

Егмонтъ. Успокой се!

Фердинандъ. Ти можешъ да бждешъ спокоенъ, ти можешъ подъ рѣка съ необходимостта геройски да извършишь твоята послѣдна тежка стѣпка. А що мога азъ? Що азъ да прѣдначена? Ти ще побѣдишь себе си и насъ; ти ще прѣтърнишь; а азъ ще прѣживѣя тебе и самъ себе си. Съ тебе угасва свѣтленикътъ на монтѣ радости, пада въ прахъ моето бойно знаме. Печална, праздна и безнадѣжна се явява моята бждина!

Егмонтъ. Младий другарю, когото по несповѣдима сждба печала и губя въ едно и исто врѣме, който зарадъ менъ испитва

смертни мъжкѣ и за мене страда, погледни ме въ тие мннути, тѣ не ме губишь. Ако мойтъ животъ ти е служилъ за огледало, въ което ти на драго сърдце си се огледалъ, нека бжде тѣй и съ моята смърть. Хората не сж наедно само тогава, когато се намиратъ единъ възъ другий; но и отсжествующитъ, и раздѣленийтъ отъ насъ живѣе при насъ. Азъ доста живѣхъ за себе си, сега ще живѣя за тебе. Азъ се радвахъ на всѣкий день; всѣкий денъ съ по-голъмо усърдѣ извършвахъ мойтъ обязанности, споредъ както ми подсказваше съвѣстѣта. Сега животътъ ми се свършва, както то можеше да се случи и по-рано, много по-рано на пѣсцитѣ при Гравелинъ. Прѣставамъ да живѣя; но азъ живѣхъ! Тѣй живѣй и ти, мой другарю, весело и радостно, и не се плаши отъ смъртѣта.

Фердинандъ. Ти можеше да спазишь твойтъ животъ за насъ. Ти самъ себе си уби. Чесго ми се е случавало да чувамъ, какъ умни хора говорятъ за тебе; твоитѣ зломисленици и доброжелатели на дълго се сж прѣпирали върху твоитѣ достойнства, но както единтъ, тѣй и другитѣ винаги се сж съгласявали въ едно, и това никой не крие, всѣкий утвърждава: Да той върви по опасенъ нѣтъ. — Какъ често азъ желяехъ да мога да те прѣдпазя! Та нѣмаше ли ти приятели?

Егмонтъ. Тѣ ме прѣдпазваха.

Фердинандъ. И какъ буквално всички тие обвинения азъ намѣрихъ въ обвинителныйтъ актъ, заедно съ твоитѣ отговори! Доста добри за да те извинатъ; но не доста основателни, за да те освободатъ отъ вината—

Егмонтъ. Да оставимъ това. Человѣкъ мисли, че самъ нарежда животътъ, че е свободенъ въ дѣйствиата си, а пакъ неговийтъ духъ неудържимо върви по влѣчението на своята сждба. Да не мислимъ вече за това! Да се избавя отъ тие мисли е лесно — помжчно отъ грижата за тая земя. Да можеше моята кръвь да се пролѣе за мнозина, да докара на народътъ миръ, — тогава проливамъ я драговолно. Но, за зла честь, то нѣма тѣй да бжде. Но не прилича на единъ мъжъ да мжрува тамъ, гдѣто той не може вече да дѣйствува. Ако можешъ да сдържашъ, да оправяшь съмнителната власть на баща си, направи го. Кой ли ще може това? — Прощавай!

Фердинандъ. Азъ не мога да си ида.

Егмонтъ. Дозволи ми да оставя слугитѣ си подъ твое покровителство. Тѣ сж добри, честни хора; гледай да не ги распрьснатъ, да не ги направятъ злочести! Що става съ Рихарда, мойтъ секретаръ?

Фердинандъ. Той те прѣвари. Тѣ, като съучастникъ въ измѣна противъ държавата, го обезглавиха.

Егмонтъ. Горкий клѣтникъ! — Още едно — и послѣ прощавай, не мога вече. Колкото силно и да бжде развълнуванъ нашиятъ умъ, природата най-сѣтитъ прѣдпява своитѣ права; и както дѣте, обгърнато отъ змия, вкушава расхладителенъ сѣнь, тъй и уморениятъ пѣтникъ прѣдъ вратата на смъртта се слага още веднаждъ наземъ и дълбоко почива, като че ли му прѣдстои далеченъ пѣтъ. — Още едно — азъ познавамъ една мома; ти нѣма да я прѣзирашь, че е била моя. Сега като ти я прѣпорѣчихъ, азъ умирамъ спокойно. Ти си благороденъ чловѣкъ; жена, която такъвъ намѣри, е вѣнъ отъ опасность. Живъ ли е мой старий Адолфъ? Свободенъ ли е?

Фердинандъ. Она весель старецъ, който винаги ви съпровождаше на конь?

Егмонтъ. Той сжщиятъ.

Фердинандъ. Той е живъ и свободенъ.

Егмонтъ. Той знае нейното жилище; кажи му да те заведе, и го награждавай до живогъ, че ти е посочилъ пѣтътъ къмъ това съкровище — Сбогомъ!

Фердинандъ. Не си отивамъ.

Егмонтъ. (Като го потика къмъ вратата). Прощавай!

Фердинандъ. О, остави ме още!

Егмонтъ. Другарю, безъ прощаванья!

(Той испраца Фердинанда до вратата, откъсва се отъ неговитѣ обаяния. Фердинандъ, оглушенъ, слисанъ, бързо излиза).

Егмонтъ (самъ). Жестокий чловѣче! Ти не знаешь какво благодарение ми направи съ пращането на сина си. Благодарение нему, азъ се отървахъ отъ гъжи и страдания, отъ страхъ и всѣко тежко чувство. Благо и настойчиво иска природата свойгъ послѣденъ данокъ. Всичко е свършено, всичко е рѣшено! Онова, що миналата нощъ съ своята неизвѣстность ме държеше буденъ, сега, напълно разячено, приспива моитѣ чувства.

Той сѣда на лѣгло. Музыка.

Сладкий сѣне! Ти идешъ като свѣтло щастие, нечакано, невикано, по своя добра воля. Ти резвързвашъ възмитѣ на нашитѣ напѣргнати мисли, смѣсвашъ въедно всички прѣдставления на радостъ и скръбъ; безпрѣпятственно текатъ нашитѣ задушевни чувствованья, и загърнати въ омайниятъ покривъ на самозабравяние, ние се унасяме и прѣставаме да сжществуваме.

(Той заспива; музика съпровожда неговия смъх. Задъ лъглото му стъпната, стъкаш, се разтваря и се показва блъскаво явление. Свободата въ небесно одъяние, обиколена съ сияние, се носи на единъ облакъ. Тя имл чертитъ на Клара, и се навожда надъ спящиятъ герой. Лицето ѝ изражава тъга, тя като че ли го оплаква. Скоро лицето ѝ се проявява, развеселява, и тя му сочи вързопъ стрѣли, тояга и шапка. Тя го насърчава да бжде веселъ, като му дава да разбере, че той съ своята смъртъ ще спечели свободата на провинциитъ, признава го побѣдителъ и му подава лавровъ вѣнецъ. Когато тя се доближава до главата му съ вѣнецътъ, Егмонтъ се стрѣсва, като чловѣкъ развълнуванъ на смѣти обръща лицето си къмъ нея. Тя държи вѣнецътъ надъ главата му и той като че ли стои на въздухътъ; отъ далечъ се чува военна музика отъ барабани и флейти, при първиятъ звукъ на който видѣнието изчезва. Музиката се усилва. Егмонтъ се събужда. Тъмницата е слабо осветена отъ утрешната зора. Първото движение на затворникътъ — е да се хване за главата: той става и гледа наоколо, безъ да сваля ръка отъ главата си)

Изчезна вѣнецътъ! Ти прѣкрасно видѣние, свѣтлината на деньтъ те пропъди! Да, то бѣха тѣ, съединени въ едно, двѣтѣ най-сладки радости на моето сърдце. Божественната свобода прие образътъ на моята възлюблена; прѣлестната мома се прѣмѣни въ небесното одъяние на своята другарка. Въ първий мигъ тѣ се явиха слѣни въ единъ строгъ образъ, да, по-вече строгъ, нежели любезенъ. Съ окървавени нозѣ прѣдстана тя прѣдъ мене, и подигъ на дългата ѝ мантия тѣй сжщо бѣха опръскани съ кръвъ. То бѣ моята кръвъ и кръвта на мнозина други благородни. Не, тя се пролѣ не напусто. Прѣгази я, храбрый народе! Богинята на побѣдата те води! И както морето пробива тѣснящигъ го дамби, пробий се и ти, устреми се и измай тиранията отъ онова мѣсто, което тя си е присвоила!

Барабанитѣ се чуватъ по на близу.

Чуй! Чуй! Какъ често тѣзи звукове те викаха въ полето за бой и побѣда! Какъ весело стъпваха моитѣ другари на опасниятъ, славенъ пѣтъ! Тѣй и азъ ще излѣза изъ тая тъмница срѣщу почетната смъртъ: азъ умирамъ за свобода, за която живѣхъ и се сражѣвахъ, и за която сега ставамъ страдна жертва.

*Дълбочината на сцената се напълва съ испански
солдати, обржжени съ алебарои.*

Да, настъпвайте всички купомъ! Стѣгнете вашитѣ редове, вие
не ме плашете. Азъ съмъ навикналъ да стоя прѣдъ и срѣщу ко-
пиеца, и обиколенъ отъ вси страни съ заплашителна смъртъ, азъ
само съ двойна бързина усѣщахъ мощнийтъ животъ.

Барабани.

Врагътъ те обиколи отъ всички страни! Мечове блѣщатъ;
другари, удвоете вашето мъжество! Задъ въсь стоятъ вашитѣ ро-
дители, жени, дѣца!

(Като показва на стражата).

А тѣзи вѣди студената дума на повелителтъ, — не тѣхното
собствено чувство. Бранете вашии имотъ! и въ защита за най-
драгото вамъ, умпрайте радостно, както азъ ви давамъ примѣръ.

*(Барабани. Когато той прѣминава покрай стражата
и доближава до вратата въ дълбочината на сцената, за-
вѣсата пада; музиката се прѣкъсва и завършва пиесата съ
една побѣдна симфония).*

БАСНЯ

Единъ пѣтъ случи се да мина
По пѣтьтъ старий единъ левъ,
Кученца малки дѣсетина
Лавнаха подиръ него с'гнѣвъ.

Скимятъ, но само отъ далече,
Виятъ глава си с'бѣсъ и ядъ;
Едно се даже по затече,
Отъ страхъ се върна пакъ назадъ.

Левъ се обърна да погледни,
На търгна гордо той напредъ,
А тѣ, палаши, грозни, дребни
Остаха пакъ подъ старий и легъ

Руссе. 1890 г.

М. Московъ.

СЛАБИТЪ НА ДЕНЪТЪ.

Разказъ.

Бѣхъ слаби, защото имахъ силни убѣждения. И тия убѣждения не мѣ позволявахъ да се кланятъ прѣдъ силнитѣ на деньтъ.

Не се плашехъ отъ нашитѣ силни, тия жилави поборници за Българщината въ Южна България, които не бѣхъ се унашили отъ Европа; които, отъ килавото дѣте на многото дипломатически баби, събрани въ Берлинъ, отъ многоязичната и многовѣрна Источна Румелия, бѣхъ направили една българска хубавица, съ единъ языкъ, съ една вѣра въ своето бъдѣще, съ едно копѣенне за плодовитъ бракъ съ сѣверний момъкъ.

Тия борци бѣхъ источно-румелийскитѣ българе депутати.

Когато за пръвъ пѣтъ тѣ дойдохъ да засѣдаватъ въ Областното Събрание, тѣ прѣдставлявахъ едно зрѣлище, което не се е видѣло отъ тогава насамъ, и което, уви, едва ли ще се види отъ сеганататѣтъ. Тѣ бѣхъ българе депутати, и при все това всички, до единъ, бѣхъ съгласни, всички, до единъ, бѣхъ въодушевени отъ една само мисль, отъ единъ само идеалъ — да направятъ българско онова, което враждебни намъ държавници бѣхъ поискали да направятъ румелийско.

Нѣ когато тая цѣль се постигнѣ; когато побългаряването на Источна Румелия се извърши, разреци се сгъстената фаланга на патриотитѣ, и демонитѣ на партизанството можа да се вмѣкне и въ нея. Патриотитѣ станѣхъ партизани. Тѣ се расцѣпихъ на два лагера.

И кърлюшката на парламентаризма се закърлюши и тамъ. Ония, които вчера бѣхъ горѣ, днесъ слизахъ долу. Днешнитѣ слаби ставахъ утрѣшнитѣ силни.

Силата и силнитѣ сѣ били тѣй често въспѣти, въсхвалени, славословени, щото сѣ станѣли банални прѣдмѣти, неспособни да вдѣхнѣтъ нѣщо ново или интересно.

Колко по-поетични сѣ слабитѣ! И какъвъ мощенъ художникъ е билъ Катонъ, когато се с въсищавалъ за побѣдената кауза!

* * *

Не можеше да бѣде многобройна, источно-румелийската парламентарна оппозиция, въ едно Събрание, което броеше всичко 56 законодатели.

Отъ тия 56 душъ, десетътъ бѣхъ членове по волята на Европа и мнѣостъта на случайтъ, тѣй като тѣ бѣхъ началницитѣ на седемътъ припознати источно-румелийски вѣроисповѣдания и трима високи сановници. Тѣ се наричахъ членове по право, като че останжалитѣ 46 душъ — отъ които 36-тъ се избирахъ отъ населението, а 10-тъ се назначавахъ отъ Главний Управитель — бѣхъ законодатели по криво.

Въ тая законодателна мозайка, прѣдставителитѣ на чуждитѣ елементи бѣхъ твърдѣ малобройни. Обикновенно, българетѣ членове се въскачваха на 45 душъ.

И въ тая шъпа отъ хора имаше една кривача болшинство и половинъ кривача меншенство. И между слабитѣ, съставляющи меншенството, имаше разни типове оппозиционери.

Борци отчаянни, много отъ тѣхъ се борехъ дори и когато за всички бѣше явно, че борбата не можаше освѣнъ да бѣде безплодна. Тѣ бѣхъ недоволни отъ всички и всичко. И тѣ считахъ не само за свое право, нѣ и за своя длъжностъ, да исказватъ това свое недоволствие когато имъ прилѣгнеше. И тѣ не пропускаха годний случай безъ да шибихъ нѣкой силенъ или да плѣснатъ нѣкой ревностенъ защитникъ на силнитѣ.

Въ протоколитѣ на Областното Събрание вѣроятно ще се намери отговорътъ, който единъ отъ тия буйни духове даде веднажъ на единъ директоръ.

Директорътъ — въ Источна Румелия директоритѣ бѣхъ единъ видъ министри — се оправдаваше отъ едно обвинение въ непръдвидливостъ, като утвърждаваше, че не билъ пророкъ за да прѣдвиди бѣдѣщето.

— Ние ви плащаме за да прѣдвиджате, му отговори недоволний вития.

Сжщий ораторъ другъ пъкъ бѣше отправилъ нѣкои остри критики къмъ началницитѣ на вѣроисповѣданията, които засѣдавахъ въ областното събрание. Единъ отъ тия началници му отговори, че не трѣбва да се нападатъ духовнитѣ пастири, защото всички сме овце въ нѣкое паство.

— Ти си овца, Господине, му искряска нетърпѣливий законодатель.

Слабацитѣ като него не бѣхъ безъ сила.

* *
*

Не бѣхъ безъ острога и смѣлитѣ смѣхотворци, които всякога и всякъждѣ внасятъ веселата нота въ горестъта на оппозицитѣ. Не-

мошни за да повалятъ противниците си, тѣ ги дразнехъ и сърдѣхъ. Ту се тайно втилявахъ, и ту се явно подигравахъ. И въ неприятнитѣ горчилки, съ които поехъ силнитѣ, тия слаби намирахъ едно сладко отмъщение.

Впрочемъ, самото помѣщение на Областното Събрание — помѣщение, ксето, както е познато, прѣди създаването на Источна Румелия бѣше баня — и самий разнороденъ, разнояченъ и разноуменъ съставъ на южно-българскій парламентъ, прѣдставлявахъ изобилень источникъ на най-растущителнитѣ смѣхорини

Бившитѣ членове на това законодателно тѣло още помнятъ, какъ, при отварянето на една отъ сесии тѣ му, най-старий изъ между тѣхъ, който сганъ приарѣменень прѣдсѣдателъ, до избиранието на постоянний, поздрави свѣитѣ събратия. Тоя Несторъ помежду румелийскитѣ депутати, който не бѣ Българинъ и говорѣше малко български, бѣ помолилъ, види се, нѣкой свой младежь сънародникъ да му напише, съ чужди букви, нъ на българскій языкъ, задължителната въ такива случаи поздравителна рѣчь. Рѣчьта му бѣ написана на една малка книжка. Той взвади тая книжка, зе да я чете. . . . и първитѣ думи, които паднахъ отъ прѣдсѣдателското мѣсто, бѣхъ :

«Господа Кленове на Облѣстнѣното Собрание».

Уважаемий старецъ, намѣсто членове, бѣ прочелъ *кленове*, и намѣсто *областно* — *облѣстнѣно*

Попитанъ отъ одного изъ тия *кленове*, защо единъ и същия законопроектъ се прѣдставляваше въ двѣ различни форми, единъ директоръ отговори, че това двоелико прѣдставление се дължа на типографическа грѣшка.

Въ същето «блѣстнѣно» Събрание, другъ директоръ, другий пътъ, повдигна хомерическй смѣхъ съ едно свое твърдѣ оригинално обяснение.

Разискваше се законопроектътъ за гражданското състояние — *l'état civil*. Тоя законопроектъ бѣше съставенъ отъ единъ чехъ юристъ, а отпослѣ прѣведенъ на български. Въ едно мѣсто, той гласѣше, че когато нѣкой умре, кметството на оня градъ или на онова село бѣ длъжно да издаде за погребението на мъртвеца едно свидетелство, «безъ платно и безъ ковчегъ». Сганъ единъ прѣдставителъ и поиска отъ директорътъ обяснѣния върху тия думи. Високий сановникъ се исправи, тури очилата си, и откакъ прочете два-три пѣти въпросний пасажъ, заяви, че смислата му била явна, че той имае за цѣль да дозволи да се закопанатъ мъртъвци безъ платно и безъ ковчегъ. Жертвата бѣ паднала въ примкага. Скокиж иску-

свий ловець, който бѣ поставилъ тая примка, и заяви, че по-груба-грѣшка не могла да бѣде. Г. Директорътъ нѣмалъ освѣнѣ да попита свойтъ чехъ чиновникъ, и щѣлъ да узнае, че когато е писалъ законопроекта, той е искалъ да постанови, щото свидѣтелството за погребението да се издава „безплатно и безъ гербова марка“, тѣжъ като *колежъ* по чешки значило гербова марка.

Това тълкование бѣше правото, и единъ концертъ отъ смѣхове, кикотения и хиления поздрави посрамений директоръ.

* * *

Не всички оппозиционери бѣхъ, обаче, остроумни оратори или хитрорѣки смѣшници.

Много отъ тѣхъ бѣхъ безвредни мечтатели. И тѣ мълчахъ, недоволни отъ поразителний контрастъ, който съществуваше между тѣхнитѣ вѣчни идеали и съврѣмнената дѣйствителность. Откакъ бѣхъ паднали въ оппозицията, тѣ не можахъ вече да иматъ на расположението на своитѣ приятели освѣнѣ мечти и надежди. И тѣ тѣжехъ, когато нѣкои отъ тия тѣхни приятели се отказвахъ отъ тия въздушни мечти и надежди, и отивахъ другадѣ да дирятъ по-вещественни служби и заплати.

Единъ отъ тия безгласни народни гласоподаватели, Дядо Добре, ни остави едно особно живо впечатление. Той една само дума проговори въ Събранието, нѣ тая дума го уби.

Слабостъта на оппозиционера е товаръ, който иска силни плещи за да бѣде понесенъ. Надне ли на слаби рамена, тоя товаръ или озлобява или уморява чловѣка.

Въ пловдивската Областна Камара имаше оппозиционери озлобени, имаше и оппозиционери убити.

Къмъ послѣднитѣ принадлежѣше Дядо Добре. Най-старий изъ между българетѣ членове на Събранието, той бѣше, и по възраст и по услуги, естественний тѣхенъ прѣдсѣдатель. Самъ се наричаше тѣхенъ баща. И когато нѣкои отъ тѣхъ се отдѣлихъ и тръгнахъ по другъ пѣтъ, той трѣбва да е усѣтилъ това, което усѣща много-чадната кокошка, когато види излупенитѣ отъ нея патета да се барбоватъ въ първата мръсна бара, която имъ се испрѣчи.

Чадо на мияжлата епоха, той не можаше да се отгърве отъ онова вкоренено страхопочитанне къмъ властѣта — каквато и да е тя — което отличава почти всичкитѣ наши хора отъ старото поколение. Безъ да ще, благоволенieto на силнитѣ бѣше за него една скришна радость, тѣхната сръдня — една тайна скръбъ.

Нѣ тѣхний погледъ не го хипотизираше до тамъ, щото да

му отнеме упражнението на самия му разсъдък. Безсѣдно минаваха по край него фокуситѣ на официалнитѣ хипнотизатори. Безъ влияние оставаха тѣхнитѣ внушения. Той разсъждаваше. И когато разсъждаваше, много отъ дѣлата на силнитѣ му се виждаха безплатни. Виденъ дѣецъ въ борбата ни съ грѣцката патриаршия, той бѣ отъ ония, които вѣрваха, че патриотизмътъ трѣбва да бѣде незаходната пжтеводна звѣзда на нашето поведение, че борбата между Българинъ и Българинъ е нечестива, че съгласието е спасение.

И не обичаше той дребнитѣ честолюбия, личнитѣ смѣтки, и мразеше ония, които за пръвъ пжтъ бѣха вдигнали знамето на партизанството въ самото нѣдро на южно българското прѣдставителство.

— Помни ми думата, казваше той. Тия врагове ще ни направятъ повече зло отъ колкото ни сж сторили Грѣцитѣ и другитѣ.

Дългата привичка бѣше станжала втора природа, и той не споменуваше името на . . . другитѣ. Когато трѣбваше да го спомене, той си снишаваше гласътъ, и хвърляше единъ плахъ погледъ около себе си.

— Отъ вътрѣшни раздори пропаднахме ние въ старо врѣме, продължаваше той. Пѣй историята, и ще видишь. . .

Той казваше *пѣй*, намѣсто *чети*, по нѣкога, когато се забравяше.

Не разбираше Дядо Добре парламентарната полемика, нейнитѣ приструвки и прѣтълкувки, нейнитѣ прѣсилени аргументи и прѣкалени чувства.

— Комарѣтъ на камила правите, казваше той на невъздържитѣ витии.

И той негодуваше срѣщо прѣвувелчениитѣ нападения, отъ която страна и да идѣха тѣ.

— Баятъ станж и твоята, забѣлѣжваше безразлично и на съмисленничитѣ и на противничитѣ, които бѣха се провинили въ нѣкоя прѣкалена критика.

* * *

Дядо Добре се особно възмущаваше отъ постѣпки, които можахъ да се прѣтълкуватъ въ признания, че южнитѣ Българи бѣха доволни отъ положението, създадено тѣмъ отъ берлинскій конгресъ.

Още помня, какъ тая негова ненавистъ къмъ недоносчето на биконсфидовата фантазия избухна единъ день, при гласуванието

на едно предложение, което бѣше негодно нему, нѣ угодно на Главний Управитель.

Гласоподаване се поименно. Когато се извика името на Дядо Добре, и трѣбваше и той да се произнесе, дали бѣше за или противъ предложението, той се поподигна отъ стола си, прострѣ старческата си ржка, и съ гласъ, който приличаше на въздишка, пошпнижъ:

— Не си давамъ думата.

Той искаше да каже, че не си даваше гласътъ за предложението.

Това предложение се прие съ значително болшинство. Главний Управитель бѣ постигналъ цѣльта си, нѣ бѣ страшно се разсърдилъ на ония, които бѣхж гласували прогивъ нея.

Силнитѣ рѣдко умѣять да бжджтъ великодушни.

Три дни подиръ това гласоподаване, Дядо Добре отиде да посетн Главний Управитель по единъ въпросъ отъ общъ интересъ.

Главний Управитель не го прие.

Дядо Добре останж като гръмнжтъ. Много тежка бѣ за него тая обида, нанесена нему, на старий патриотъ, по интригитѣ на нѣкои млади прѣскачета, както той ги наричаше.

— Отъ дѣ знае Главний Управитель, казваше той, какъ съмъ гласувалъ азъ, ако не сж тия шпиончета да му казватъ. Тѣ сж го и подсъскали да ми направи тая обида. Па кой гледа, че азъ се докачвамъ, ами хората какво ще кажатъ. . .

Шъ една издайница съзза, готова да се тръкугне по набръчената буза на стареца, ясно шпниѣше, че докаченийтъ не казваше цѣлата истина, че докачанието бѣше тежко паднжло на неговото и тжй наранено сърдце.

Той се разбогѣ. Една малка настинка усили неговий хронический бронхитисъ. И тая старешка болестъ, подпомагана отъ лошето му субективно настроение, свършено го повали.

Азъ отидохъ да го видж. Той лѣжѣше въ една стая съ едно легло, една икона, едно кандило, и четири стола. Прострешъ на леглото, той береше душа, почти несъзнателенъ. Край него, на единъ столъ, сѣдѣше жената, която го гледаше. Като ме видѣ, тя станж, и ми поднесе единъ столъ, мълчишката.

Азъ не поискахъ да сѣднж. Исправихъ се до болний, и му хванж хржката. Той се пооконити. Обърнж си очитѣ къмъ мене и се опита да ми каже нѣщо. Нѣ думитѣ умрѣхж въ гърлото му, удавени отъ хрколи. И неговитѣ очи, които бѣхж добили вече стъклении блѣсъкъ на умирающитѣ, се нацълнихж съ съззи.

Той страшно хркаше. Отъ врѣме на врѣме, една дълбока въз-

дишка прѣкъсваше хърканieto му, и му разлюляваше цѣлото тѣло. Слѣдъ подобни въздишки, той се поуспокояваше. И по очитѣ му минаваше една зоря отъ неземно блажество, като че той виждаше вече по-добрий свѣтъ, дѣто не ще има нито областни събрания съ своитѣ затруднителни гласоподавания, нито сърдити голѣмци съ своитѣ усърдни шпиони. . .

Вънъ въ дворътъ, отъ дѣто стаята зимаше свѣтлина, клоноветѣ на една черница, пооголени отъ есенъта, се люлѣяхъ отъ вѣтърътъ. Слънцето бѣше задъ черницата, и лучитѣ му влизахъ въ стаята, процѣдени прѣзъ вѣйкитѣ на дървото. И като се клатѣше рѣдката шума, играеше и свѣтлината на слънцето по леглото на старецътъ. Но стаята се носеше проникателний джхъ на мосхоса, който лѣкарътъ даваше на болникътъ, за да помага дѣйствието на сърдцето му.

Азъ цѣлувахъ рѣката на страдалеца. Той се не усѣти. Рекохъ да излѣзъ, нъ на прага срѣщнахъ лѣкарътъ, и се върнахъ съ него. Докторътъ попица жилата му.

— Нѣма ли надежда? попитахъ го азъ.

— Никаква, отговори той. Да бѣше нравствено по-бодръ, можеше се избави. Нъ при тоя психически ушадкъ, отъ начало още се видѣше, че не ще го искаше.

И той го не искаше. Подиръ два дня, голѣмий звънецъ на черковата св. Богородица ни пригласи на погребението на стареца.

Хората на науката ми обяснихъ, че вслѣдствие на извънредна слабостъ, той не бѣ можалъ да исрачи храркитѣ си, и бѣ умрѣлъ удушень отъ тѣхъ. А менѣ, не знамъ защо, ми се стори, че душата, която той бѣше отказалъ да даде, бѣ го удавила.



Novissima Verba

(ОТЛОМКИ ИЗЪ ВТОРАТА ЧАСТЪ.)

ИЗЪ

„ХАМЛЕТА.“

Воленъ прѣводъ.

Животъ или небитие: въпросътъ ето гдѣ е! . .
Когато злото го надвий, притисне го и смаже,
Когато не намѣрва миръ ни предъ Олтара даже,
Да ли чловѣкъ пакъ трѣбва да живѣе!

*

Животъ или небитие: въпросътъ ето гдѣ е! .
Кое е по добро, по-доблестно кое е:
Дали да преклонямъ безропотно глава
Подъ ударитѣ на жестоката сждба,
Или пъкъ грѣмътъ съ грѣмъ да отстраниме,
Съ едно замахване да прекратиме,
Свѣтовната борба,
И отъ бѣди да се освободиме?

* *

Животътъ си да съкратишъ, —
Туй значи да заспишъ! . .
Конецъ многожеланный, да,
За сѣка земна суета!
Досвършване на всичкитѣ мъченья,
Наслѣдство наше подъ небето!
Прѣмахване на всичкитѣ вълненья
Отъ разума и отъ сърдцето!

* *

Да, себе си да осмъртишъ, —
Туй значе да заспишъ! . .
Да ли е тѣй, уви! . . Въ смъртта очи като затворъ
Не ще ли глѣдамъ пакъ? . . Не ще ли слушамъ пакъ,
Кога престанж да говоръ?

Въ гробовний сънъ, въ незнайний онзи мракъ,
Да ли не ще на посѣтъжтъ видѣния безъ брой,

И сънища цѣлъ рой ?

Задгробния покой —

Покой ли е, кой знае ?

Кой знай, уви !

Три педи трапъ какво таѣ,

Въ нищожество що стои ? . .

Да ли страдалецътъ и тамъ неще страдае ?

Дали мечтателътъ и тамъ неще мечтае ?

Кой знай, кой знай, уви !

*

И ето спѣнката предъ нашето рѣшенъе

Да търсимъ бързо избавленъе

Въвъ своеволна смъртъ, въ самоунищоженъе ! . .

Тъзъ е причината на нашето търпѣнъе !

* * *

Кой би държалъ — една минута само, —
Товарътъ отъ страдания на слабото си рамо,

Кой би принесълъ свѣчко туй което

Позори днесъ чловѣчеството клѣто,

Кой би търпѣлъ неправди и убиди,

Сирмашество, на () смѣшки ядовити,

Отхвърлена любовъ, приятелство коварно,

Надмѣнни голѣмци, сѣдилище продажно,

Безсилието на държавнитѣ закони,

Властѣта — оцачана съ дѣянѣя недостойни,

Презрѣнието на презрѣнитѣ души

Къмъ добродѣтелята, — да би било възможно

Отъ тѣзи язви чловѣкъ да се лиши,

Веригитѣ си да строши,

Да хвърли бремето несносно,

И, чрезъ едно забиванъе на острий ножъ въ гърдитѣ,

Да се освободи отъ гнета на сѣдбитѣ !

* * *

Но този страхъ : — Каква е бѣдѣщността ни

Въ незнайнитѣ онѣзъ страни, —

Какво ще ни сполѣте тамо,

Задъ гробний прагъ, въ онѣзь дебели тынмини,
Отъ гдѣто нема връщанье, увп!
Този ужасъ на въздържа само,
Съсь този страхъ крѣпиме днитѣ си!
Нищожно, клѣто ти чловѣшко сжщество!

*

Търпиме ний позоръ и зло,
Безъ да обръщаме око
Къмъ този цѣрь: — острѣлото на ятагана,
И волята ни въ желѣза е сѣкашь обкована!
Нищожно, клѣто ти чловѣшко сжщество!

* *

Търпиме ний, страдаци вѣковѣчни,
Търпиме всичкитѣ бѣди въ които сме родени,
Готови сме да претърпимъ и други по-голъми,
Но въ неизвѣстность да вървимъ, туй само ний нецеме!
Безвѣстностьта! . . Най-грозний бичъ за нашия разумъ ти е!
Чловѣкъ отъ сичко по-напредъ едно нѣщо желае:

Кждѣ върви да знае!

Тѣй жалкото съзнание въ страхливци ни обръща! .
И яркый цвѣтъ на нашата рѣшителность могъща
Блѣднѣй предъ гъстий мракъ на тѣзи размисленья!
О, нема исходъ нашето опитвание смѣло,
И горкитѣ ни засмяли сж сѣнка и видѣнья,
И планѣтъ ни не се привожда въ дѣло!

Де Пробундисъ



ПОЖЕРТВОВАНИЕТО НА ЖАНА-КЛОДТА.

р а с к а з ъ

отъ

Жюль Клареси).

(Преводъ отъ французски).

Името му бѣше Жанъ-Клодтъ-Менъе. Той живѣеше въ Сирианъ, дѣто баща му имаше чифликъ. Бѣше на дваисеть години, но по скромността си приличаше на шестнайсетъ годишно момче, защото не само че не смѣеше да открие любовта си на Катерина Бернаръ, която обожаваше, но даже не смѣеше да говори съ нея.

Катерина бѣше съ живи очи, миниатюрна брюнетка, приказлива, откровенна, весела. Съ Жана-Менъе тя бѣше въ добри отношения, но го обичаше, колкото обичаше всѣкого отъ приятелитѣ си, не повече. Жанъ обаче искаше друга любовъ. . . Санкимъ, не, той нищо неможеше да иска и му стигаше това, че Катерина не му се присмиваше, както другитѣ момичета, а всѣкога бѣше съ него добра; ей за туй-е я обичаше той толкова.

Въ това врѣме въ Сирианъ първий между младежитѣ бѣше хубавеца-чифликчия Пласналя. За него — кой-знай, но тѣй си приказваха хората — нѣмаше непристъпни жени, съ които той да не има земяне давание. Той бѣше кожемити хубавецъ, първъ играчъ, не лошъ пѣвецъ и душа на обществото отъ всѣкаква сѣдянка. Него го наричаха влючъ за всѣкакъвъ сърдеченъ затворъ, което го радваше, дразнеше неговото самолюбие.

Катерина Бернаръ не може да се укрие отъ неговитѣ очи — отъ читѣ на този сириански Дон-Жуанъ: той захвана да я обикаля, увѣрентъ, че ще сполучи. За жалость у нея имаше голѣмо довѣрие къмъ него, тѣй щото за да я надвие Пласналя не употребяваше никакъвъ трудъ. Но пъкъ за туй тя твърдѣ за скоро се раская за своята любовъ. Пласналя скоро я напусна и момчето захвана да схъне и вѣхне, като цвѣте безъ вода.

— За какво скърбите толкова отъ нѣкое врѣме насамъ, Катерино? — не можа да се утърпи да я не попита Клодтъ, на когото сърдцето се раскъсваше, като гледаше любимото си момиче. — Все страдате зарадъ нѣщо, нали? кажете ми какво е то, сподѣлете скръбта си съ мене и ще ви полекне.

Тя подигна напуганитѣ си съ сълзи очи. Жанъ едвамъ се-

утърне да не заплаче; съ такова съчувствие гледаше на нея, щото тя не можеше да скрие повече своята тайна отъ него. Пъкъ винаги почти се усѣща нужда да се открие скръбта, която ни мъчи, на жого и да е. И ето, че тя всичко расказа на бѣдний Клодтъ, който едвамъ се удържа на краката си. Сърдцето му болезнено се стисна и въ гърлото му се запречи нѣщо.

— Ахъ, вие бѣдно момиче, клето дѣте! . . . — Само туй може да продума той.

Тя му се откри и въ това, че скоро ще бѣде майка и че не ще може вече да крие тази тайна отъ баща си. А що ще бѣде съ нея, когато той узнае за нейния срамъ! . . .

— Не, не! Той никога нѣма да знае туй! — увѣрено извика Клодтъ и загрижено се прости съ Катерина.

Още същия денъ той отиде при Плассиала.

— Ти трѣбва да се оженишъ за Катерина! И още тозъ часъ, чувашъ ли? — Извика му той съ необикновена живость.

Безсрамника се изсемя.

— Не искашъ ли?

Плассиалъ продължаваше да се смѣе.

— Хубаво, вагабонтину! Огъ сега на татъкъ да ми се не напречвашъ на улицата, защото ще те нарека съ името, което ти се слѣдва и нѣма да минешъ благополучно отъ моитѣ плѣсници! . .

Съ тѣзи думи Клодтъ излѣзе и трѣгна направо къмъ стареца Бернаръ. Катерина бѣше дома си.

— Знаешъ ли какво ще ви кажа, дѣдо — захвана Клодтъ, като се мъчеше да не гледа Катерина. — Вие ме познавате добръ, азъ макаръ да не съмъ богатъ, но не съмъ и нехранимайко, не съмъ пиеница, зная да работя и обичамъ. . . Дайте ми дъщеря си, азъ ще ѝ бѣдѣ добръ мъжъ. . . .

— Да ви благослови Господъ отговори старий Бернаръ.

Катерина бѣше блѣдна като платно, но не продума ни думица, а само съ благодарностъ погледна Клодта.

Свадбата искараха простичко, въ дома си. Вечерта Клодтъ каза на младата си жена:

— Слушай, Катеринке, нека забравимъ миналото, като че не се е случило даже. А бѣдѣщето е наше. Азъ ще те обичамъ всекога, а отъ тебе искамъ макаръ малко любовъ, която всекога съмъ хранилъ къмъ тебе.

Въ края на първиятъ шестъ мѣсеца отъ омъженвия си животъ Катерина роди синъ. Това се распрѣсна по цѣлото село: женитѣ

клатеха глави, мжжегѣ се смѣха, а Пласнагъ, безъ да го мжчю съвѣстѣта, се смѣше най мого отъ всички.

Клодтъ не можа да истърпи това; като се срѣщна единъ пътъ на улицата съ Пласнага, той го улови за еката и тъй го поблѣска, щото го накара да забрави и смѣхъ и всичко. Отъ тогава и другитѣ захванаха да се отнасятъ къмъ Клодта съ уважение и не смѣха вече да му се присмиватъ, когато го срѣщатъ.

Катерина бѣше всѣкога добра и достойна жена. Семейството имъ изобищо бѣше едно отъ най щастливитѣ. Дѣтенцето бѣше здраво и раетеше бързо. Клодтъ го кръсти на себе си и не само, че не го ревнуваше и не хокаше Катерина за него, което тя обичаше до полуда — този пръвъ плодъ на своята нещастна любовъ — но и самъ не можеше да му се парадва.

— Обичай го, по силно го обичай! — често казваше той на Катерина. — Азъ самъ съмъ готовъ за него живота си да дамъ.

Клодтъ не лъжеше; отъ любовъ къмъ жена си той забравяше, че това дѣте не е негово, и всѣкога се стараше да му угождава, за да накара майка му да забрави за станалото.

Между тоза врѣмето минаваше и мѣничкий Клодтъ отъ дѣте стана младъ човекъ, а неговий не сжщъ баща бѣше вече старецъ; космитѣ му побѣляха, на челото и странитѣ му се явиха бръчки, но по духъ той бѣше както по напредъ младъ, както и по напредъ наивенъ и добръ, въ всичко вѣрваше, само, може би, въ злото не.

Настата врѣме за младий Клодтъ да тегли жребие за солдатинъ. Нумера бѣше пълневъ и баща му като нѣмаше да купи рекрутска квитанция, защото едвамъ се поддържаха, то младий Клодтъ трѣбваше да отиде солдатинъ. Баща му и майка му не можеха да си скѣтатъ на страна за черни дни нито петъ пари, защото всичкитѣ си спечелени съ трудъ пари исхарчваха за образованието на сина си, който напредваше въ учението и знаеше повече отъ своитѣ другари: изучилъ бѣше не само родний си языкъ, но и чуждитѣ, знаеше историята, географията, математиката.

Но това учение не излѣзе ефтино: Клодтъ забѣднѣ, и сега, макъръ да продаваше и гвоздетѣ си, всичкитѣ си покѣщинни — и тогази пакъ не можеше събра пари за да купи квитанция да не ходи младия солдатинъ.

А пакъ въ това врѣме, като на пукъ, бѣше френско-пруската война, и онѣзи, които зарадъ пари отиваха вмѣсто други солдати, искаха много. Да си солдатинъ тогава значеше да си почти умрялъ човѣкъ. Катерина съвършено се отчайваше. Тя день и нощъ само едно казваше:

— Азъ ще умра заедно съ сина си, не мога претърпя разлъчваннето си отъ него.

— Не, не! Азъ нѣма да те оставя да умрешъ! — увѣрено казваше мъжа ѝ.

Но както и да е врѣмето за събиране на новобранцитѣ наближаваше. Макаръ и да се трудеше много бащата, пакъ не можа да намѣри потрѣбнитѣ пари. Майката, изсъхнала и измъчена, ридаше тѣй, щото сърдцето да ти се раскъса. Никакви утѣшения на мъжа не помагаша. На всичкитѣ си мъжеви утѣшения тя само едно отговаряше:

— Той ще замине — и менъ не ще ме има между живитѣ. Не ще прѣживѣя тази скръбъ! . . .

Старий Клодтъ не я утѣшаваше вече. Той самъ се замисли дълбоко.

Веднажъ той се приготи още отъ сутринята за нѣщо и като прегърна горѣщо жената си и сина си, благослови ги безъ да го заблѣжатъ. Когато той слѣзваше изъ сълбата, неговитѣ съсѣди видѣли съзри на очитѣ му.

Мръкна се. Клодтъ се не върна. Мина се ноцята, мина се и другий день — него го нѣма. Катерина подочу нѣщо не добро и шолеше съсѣдитѣ си да отидатъ да търсятъ нейний мъжъ. Трупа на Жюна-Клодта-Менъ, намѣриха въ езерото, а недалече, подъ единъ трънъ, намѣриха горнята му дрѣха, на която отъ джоба се показваше парче хартия.

То бѣше кратко писамце до жена му.

«Нѣма да зематъ за солдатинъ твой синъ, Катерино; той ще стои при тебе, защото на вдовицитѣ не зематъ синоветѣ за солдати».

Само това бѣше писано вътрѣ.

Изъ Ст. Андрейчинъ.



ФАУСТЪ,

разказъ въ дѣветъ писма

отъ

И. С. Тургеневъ.

(Преводъ отъ русски).

Entbehren sost du, solst entbehren.

(Фаустъ, часть I.)

Писмо първо.

(Отъ Павелъ Александровичъ Б. . . до Симеонъ Николовъ В. . .)
Съло М. . . се, 6 й Юний, 1850 г.

Прѣди четири дѣня пристигнахъ тукъ, драгий ми приятелю, и, споредъ както ти се обѣщахъ, земамъ перото да ти пишж. Дребенъ дъждъ вали отъ отзарана: да излезешъ е невъзможно; пакъ и азъ искамъ да поговоря съ тебе. Его ма нѣ, пакъ въ старото си гявздо, въ което не съмъ билъ — страшно е да продумамаъ — цѣли дѣветъ години. Право да ти кажа, като помисля, чини ми се, че другъ чловѣкъ съмъ станалъ. Та и наистина съмъ другъ човѣкъ: помнишь ли ти въ гостопримната стая мѣничкото, тъмно огледалце на прабаба ми, съ такава чудни завитки по жгловетъ, — ти сѣ тогава размишляваше за онова, което е видѣло то прѣди сто години, — азъ, щомъ като си додохъ, приближихъ се до него, и неволно се смутихъ. Азъ на часа забѣлѣжихъ, колко съмъ остарѣлъ и съмъ се измѣнилъ за послѣдно врѣме. Впрочемъ, не само азъ съмъ остарѣлъ. Кжщичката ми, вече отдавна е овѣхтяла, а сега едвамъ се държи, искривила се е, впаднала е въ земята. Моята добра Василиевна, ключарницата (вѣрвамъ ти не си я забравилъ: тя те е черпила съ такъво хубаво сладко), съвсѣмъ е изсжхнала и се сгърбила; като ме видѣ, тя неможа да извижа, нито пъкъ да заплаче, а само заохка и се закашля, сѣдна въ безсилне на стола и замаха съ ржката си. Стареца Тарентий още се младѣе, както по прѣди се държи право, и когато ходи, криви си краката, на които сж нацѣнати онѣзъ сжщитѣ жълти нанкови панталони, и на които сж обути онѣзъ сжщитѣ скръцливи чепици, съ високигѣ чукови и съ панделкитѣ, отъ които ти не веднажъ си дохождалъ въ умиленье. . . . но Боже мой! — да видишь какъ се махатъ тѣзи панталони на

сухитѣ му крака! до колко сж побѣлѣли космитѣ му! и лицето му съвсѣмъ се е свило и станало малко, както тонче; а когато той заприказва съ мене, когато захвана да се распореджа и да дава заповѣди въ съсѣдната стая, мене и смѣшно и жално ми стана за него. Всичкитѣ му зъби сж паднали, и той фифле съ подевирване и шумение. За това градината чудно е разхубавѣла: мѣничкитѣ салкѣмчета и люляци (помнишь ли, ний тѣхъ заедно сме сядили) се сж разрастли и станали великолѣпни, гѣсти шубръци; брѣзитѣ, кленоветѣ — всичко това е порастнало и се е разширило; липовитѣ алей особено хубави сж станали. Обичамъ азъ тѣзи алей, обичамъ пенеляно-зелееникѣвия нѣженъ цвѣтъ и мекката миризма на въздуха подъ тѣхнитѣ връшници: обичамъ свѣтлитѣ колелца, които покриватъ като шарена мрѣжа тъмната земя — песъкъ, ти знаешъ, азъ дѣмамъ. Моето любимо джбенце станало вече младъ джбъ. Вчера, по пладнѣ, азъ повече отъ единъ часъ сѣдѣхъ подъ сѣнката му на столѣ. Бѣше ми много добрѣ. На около трѣвата тѣй весело е разцвѣтѣла: на всичко лежеше златната, силна и мѣгка свѣтлина; дори и въ сѣнката проникваше тя . . . а пакъ птици колко се чуеха! Ти, азъ вѣрвамъ, не си забравилъ, че птицитѣ сж моя страсть. Горголицитѣ не мѣкваха, сегизъ-тогизъ се чуваше свирението на авлигата, зебката нѣеше своята мила пѣсенъ, дрозда се сърдѣше и трѣщеше, кукувицата се обаждаше татъкъ въ далечнината; изведнажъ, като лудъ, силно крѣщеше кълвача. Азъ слушахъ, слушахъ всичкиа този меккъ, слѣпъ шумъ и да се помръднѣ не ми се искаше, а сърцето ми се пълнеше съ едно дълбоко спокойствие, съ едно умиление. И не само градината е порастнала: на очитѣ ми винаги се срѣщатъ снажни, едри момци, — прѣжни познати на мене момчета, — които азъ никакъ немога да позная. А твоя любимецъ, Тимотейчо е станалъ сега такъвъ Тимотей, щото ти не можешъ да си прѣдставишь. Ти тогава се страхуваше за неговото здравие и му прѣдсказваше охтика; а да погледнешъ ти сега на неговитѣ голѣми, червени рѣцѣ, какъ тѣ се подаватъ изъ тѣснитѣ рѣкави на нанковото му сетре, и да видишь какъ се издаватъ напредъ неговитѣ крѣгли и дебели мускули! Вратѣтъ му е като на бикъ, главата руса и къдрава — сжщъ Херкулесъ Фарнезийскій! Впрочемъ лицето му се е измѣнило но малко, отъ колкото на другя, дори и въ обемъ не се е уголѣмило много, и веселата му, както ти казваше, «зяпнала» усминка останала е сжшата. Азъ го зехъ при себе си за камердинеръ; своя петербургскій оставихъ въ Москва; много вече той обичаше да ме засрамява и винаги ми даваше да разбере прѣвѣсходството си надъ мене въ

столчицинтѣ си обноски. Огь мѣитѣ кучета азъ не намѣряхъ нито едно; всички сж измрѣлп. Само Нефа по дълго врѣме отъ всички е живѣла и тя не ме е дочекала, както Аргусъ е дочекамъ Одисея; не бѣ тя честита да види съ угасналитѣ си очи господаря и другаря си по ловъ. Азъ сега живѣя въ бившата ти стая. Наистина, слънцето я пече, и има много мухи въ нея; затова пакъ по-малко мирише на вѣхта кѣща, отъ колкото въ другитѣ стаи. Чудно нѣщо! тази задушлива, малко кисела миризма силно дѣйствува на въображението ми: не мога да кажа че тя ми е неприятна, наопаки; но тя ми възбужда тъга, а най-подиръ униние. Азъ, тѣй сжщо, както и ти, много обичамъ старитѣ тумбести комоди съ мѣднитѣ дъсчици, бѣлитѣ крѣсла съ облитѣ грѣбове и съ криви крака, запетвенитѣ отъ мухи стѣклени полиселен, съ голѣмото яйце отъ синя фолга по срѣдата, — съ една дума, всичката прадѣдова мебелъ; но постоянно да гледамъ всички това отъ прѣди-си не мога: нѣкакво си безспокѣйство, мъжа (именно тѣй!) захващамъ да усѣщамъ. На стаята, гдѣто азъ живѣя, мебелта е най-проста, домашна работа; обаче, азъ оставихъ въ кѣтътѣ тѣсния и дългъ долапъ съ подлечитѣ, на които прѣзъ праха едвамъ се виждатъ различнитѣ вѣхозавѣтни сѣждове отъ зелено и синѣо стѣкло; а на стѣната азъ казахъ да закачатъ, помнишъ ли, онзи женски портретъ, въ черната рама, който ти наричаше портретъ на Мавонъ Леско. Той малко е потъмнѣлъ за тѣзи деветъ години, но очитѣ гледатъ пакъ тѣй замислено, лукаво и нѣжно, уснитѣ пакъ тѣй легко-мисленно и печално се смѣятъ и полу-излучения трандафилъ пакъ тѣй полегка се истрѣвя отъ тънкитѣ прѣсти. Много ме забавляватъ пердетата въ стаята ми. Тѣ едно врѣме сж биле зелени, но сж пожълтѣли отъ слънцето: по тѣхъ съ черни бои сж изписани сцени отъ д'арленкуровския «Пустинникъ». На едното перде този пустинникъ, съ прѣголѣма брада, съ испъкнжли очи и въ цървули откарва въ планината една разрошена жомъ; на другото — се върши кървава борба между четирма юнака въ берети, и съ буфи на раменѣтѣ; единъ лежи, en garçon, убитъ — съ една дума, всичкитѣ ужаси сж прѣдставени, а наоколо такъво невъзмутимо спокойствие, и отъ самитѣ пердета падатъ такива кротки отражения на тавана. . . Нѣкаква си душевна тишина ме обвладѣ, отъ когата азъ додохъ да живѣя туку; нищо не ми се работи, никого не ща да видя, да мечтая нѣма за що, мързи ме да размишлявамъ сериозно, но да си наумѣвамъ за-едно-за-друго не ме мързи. Въспоминания за дѣтнството ми най-напрѣдъ ме обвзехъ. . . вѣдѣто и да ходѣхъ, на каквото и да погледвахъ, тѣ изникватъ отъ всѣ-

жждѣ ясни, до най-малкитѣ подробности ясни, и като че неподвижни сѣ своята ясна опрѣдѣленостъ. Подирь, тѣзи въспоминания се смѣниха отъ други, подирь . . . подирь азъ полегка се отърнахъ отъ миналото, и въ гърдитѣ ми остана само едно тихо брѣме. Прѣдстави си! като сѣдѣхъ на яза, подъ една върба, азъ веднага неочакванно заплакахъ и дълго врѣме бихъ плакалъ, при всичкитѣ ми вече възрастни години, ако не бихъ се засрамилъ отъ селянката, която минаваше покрай мене и която сѣ любопитство ме изгледа, а подирь, безъ да обърне лицето си къмъ мене, ти ми се поклони низко и си замисна. Азъ много бихъ искалъ да остана въ такъво настроение (разбира се, нѣма вече да плача повече) до тръгването ми отъ тукъ, т. е. до мѣсець септември, и именно бихъ се наскърбилъ, ако би нѣкой отъ съседитѣ ми намислеше да ме посѣти. Впрочемъ да се страхувамъ отъ това, чини ми се, пѣма за какво; па нѣмамъ и наблизу съседи. Ти, азъ вѣрвамъ, ще ме разберешъ; ти самъ отъ опитъ знаешъ, колко благотворно бива често пѣти осамотението. . . То ми е нужно сега, подирь всичкитѣ странствувания.

А ижчно пѣма да ми е Азъ донесохъ сѣ себе си нѣколко книги, и тука има доста голѣма библиотека. Вчера азъ отворихъ всичкитѣ долапи и дълго врѣме бъркахъ покрититѣ сѣ мухулъ книги. Азъ намѣрихъ много любопитни, отъ по-напрѣдъ незабѣлзани отъ мене нѣща: „Кандидъ“ въ ръкописенъ прѣводъ отъ 70-тѣ години, вѣдомости и журнали отъ онуй пакъ врѣме, «Тържествующий Хамелионъ» (то естѣ: Мирабо), *Le Paysan parvenu* и т. н. т. Намѣрихъ азъ дѣтски книги, и моятѣ собствени, и на баща ми, и на баба ми, и доря, прѣдстави си, на прабаба ми: на една вехта-вехта френска граматика, сѣ хубава подвързана, написано е сѣ едри букви: *Ce livre appartient à m-lle Eudoxie de Lavigne*, и турена годината — 1741. Азъ видѣхъ книгитѣ, които съмъ донесълъ нѣкога отъ странство, между другитѣ Гетевския „Фаустъ“. Ти, може би, незнаешъ, че азъ, едно врѣме, знаехъ „Фаустъ“ наизустъ (първата часть, разбира се) отъ кора до-кора; азъ неможехъ да се начета сѣ него. . . Но „други дни, други сѣнища“, и прѣзъ послѣднитѣ деветъ години на дали съмъ зималъ въ рѣцѣтѣ Гете. Сѣ какво неизяснимо чувство видѣхъ азъ малката, добръ позната менѣ книга (едно калпаво издание отъ 1828 год.). Азъ я зехъ сѣ себе, легнахъ на пата си и захванахъ да чета. Какъ подѣйствува на мене цѣлата великолѣпна първа сцена! Появяването на духа на земята, неговитѣ думи, помнишъ ли: „на жизненитѣ вѣлини, въ буритѣ на творението“, ми възбудиха отколѣ неспитания трепетъ и студене-

нена на въсторга. Азъ си припомнихъ всичко: и Берлинъ, и студенческото време, и госпожица Клара Шгихъ, и Зейделманъ въ ролята на Мефистофелъ, и музиката на Радзивилъ, и всичко, всичко. . . Дълго време азъ неможахъ да заспя: младостта ми доде и се исправи прѣдъ мене, като сѣнка; като огнь, като отрова тя се разлѣ по жилитѣ ми, сърдцето ми се разшири и не искаше да се свие, нѣщо си удари по струнитѣ му и закипѣха желаннията. . . .

Его на какви мечти се прѣдаваше твоя токорѣчи четиредесето-годишенъ приятель, сѣдналъ, самъ-саменичкѣ въ своята осамотена къщичка! Какво ако нѣкой ме видѣше! Че какво? Азъ ни най малко нѣмаше да се засрамя. Срамежливостта е сѣщо бѣлѣгъ на младостта; ама азъ, знаешъ ли, защо захванахъ да забѣлѣзвамъ, че остарѣвамъ? Ето защо. Азъ сега съ старая да прѣбуголтѣмъвамъ прѣдъ себе си своитѣ весели чувства и да укротявамъ скърбнитѣ, а пакъ въ днитѣ на младостта азъ постживахъ съвсѣмъ наопаки. Тогава, азъ носѣхъ своята скърбъ, като чели носѣхъ нѣщо скѣпо, и се срамувахъ отъ всѣко весело проявление на чувствата ми. . .

Но се пакъ ми се струва, че при всичкия ми жизненъ опитъ, има още нѣщо си такъво на свѣта, приятелю Хорацио, което азъ не съмъ испиталъ, и това „нѣщо“ на дали не е най-важното.

Че пакъ до какво азъ додохъ съ своето писание! Сбогомъ! До други пакъ. Какво правишъ ти въ Петербургъ? Щѣхъ да забрави: Савелий, селския ми готвачъ, каза ми да те поздравя отъ негова страна. Той сѣщо е остарѣлъ, но не много, раздебелялъ и шипкавъ е станалъ малко. Тѣй хубаво пакъ прави той пилешката чорба съ разваренъ лукъ, изписанитѣ кравайчета и „пигусъ“, отъ което языка ти побѣлѣваше и стоеше като колъ въ течение на цѣли дни. За това пакъ праженото той, както и по-напрѣдъ, тѣй сухо ме ти го приготви, щото земи, че го удари о чинията — сѣщъ пѣонъ. Сига вече, сбогомъ!

Твой П. Б.

Писмо второ.

(Отъ сѣщия до сѣщия).

Сезо М...ое, 12 Юний, 1850.

Има да ти събша една доста важна новина, любезний ми приятелю. — Слушай! Вчера, прѣди обѣдъ, азъ поискахъ да се поразходя — само не въ градината; тръгнахъ по пакъ къмъ градътъ. Да вървишъ безъ всѣкаква цѣль бързо по дългъ, правъ

пжтъ е твърдѣ приятно. Като че ли работа вършишь, бързашъ за нѣйдѣ си. — Гледамъ: иде насрѣща ми пайтонъ. Не до мене ли? помислихъ си азъ съ таенъ страхъ. . . Обаче, не: въ пайтона сѣди единъ господинъ съ мустаки, непознатъ менѣ. Азъ се успокояхъ. Но щомъ този господинъ ме приближъ, веднага заповѣдва на пайтонджията да спре конетѣ, почтително поддига фуражката си и още по почтително ме пита: «не съмъ ли азъ еди-кой-си?» като произнасяше името ми. Азъ, отъ своя страна, се спирамъ и съ храбростъ на единъ подседимъ човѣкъ, когото каратъ на изслѣждане, отговарямъ: «азъ съмъ еди-кой-си», а самъ гледамъ, като овца, на господинъ съ мустакитѣ и си казвамъ въ себе: «виждалъ съмъ нѣйдѣ си тозъ човѣкъ»!

— Неможете ли ме познà? произнася той, слизайки, между това отъ пайтона.

— Никакъ немога.

— А азъ тѣй на часа познахъ васъ.

Дума по дума: излиза, че той е билъ Приемковъ, помнишь ли, бившия нашъ университетски другаръ. «Каква е тази важна новина?» мисливъ ли си ти въ тази минута, любезний ми Сямеонъ Николаичъ. — «Приемковъ, до колкото помня, бѣше човѣкъкъ легко-мисленъ, макаръ не зълъ и не глупавъ.» Се тѣй, приятелю, но слушай пò-нататъкъ разговора.

— Азъ, казва, много се зарадвахъ, когато чухъ, че вий сте си дошли въ село, до насъ съсѣди. Вирочемъ, не само азъ се зарадвахъ.

— Позволете ми да узная, попитахъ азъ: — кой е билъ още тѣй любезенъ. . . .

— Жена ми.

— Вашата госпожа!

— Да, жена ми: тя е ваша стара познайница.

— А позволете ми да узная, какъ викатъ сжпругата ви?

— Викатъ я Вѣра Николаевна; бащината ѝ фамилия е Елцова.

— Вѣра Николаевна! извиквамъ азъ неволно. . . .

Ето тази е тò оназъ самата важна новина, за която ти явявамъ въ началото на писмото си.

Но, може би, ти и въ това нищо важно не намирашь. . . . Ще трѣбва да ти разкажъ нѣщо и друго отъ моето минало . . . отъ моето отдавнашно минало.

Когато ний заедно съ тебе свършихме университета въ 183... година, азъ имахъ двадесетъ и три години. Ти постъжи на служба; азъ, както ти е извѣстно, се рѣшихъ да утида въ Берлинъ. Но

въ Берлинъ по-рано отъ Октомврий нѣмаше какво да правя. Понска ми се да прѣкарамъ лѣтото въ Руссия, въ село да се поистегамъ добръ за послѣденъ пѣтъ, а че подиръ да се захвана здравата за работа. До колко се сбждна послѣдното прѣдположение, за това сега нѣма за какво да се распространявамъ. . . . Но гдѣ да прѣкарамъ лѣтото? питахъ се. Въ село да си утидя не ми се искаше: баща ми на скоро бѣ се поминалъ, близки роднини нѣмахъ, страхувахъ се отъ мъчиотията на осамотеннето. . . И загова на драго сърдце приехъ поканата на единъ мой далеченъ роднина да ида у него въ имѣнието. въ Т...та губерния. Той бѣше човѣкъ богатъ, добъръ и простодушенъ, живѣеше като болѣринъ и имаше болѣрски палати. Азъ утидохъ у него. Челядъта на вуйка ми бѣше голѣма: два сина и петъ дѣщери. Освѣтъ това въ къщата му живѣехъ много хора. Гости постоянно вървѣхъ — а се пакъ не бѣше весело. Днитѣ минаваха шумно, да останешъ самичкѣтъ не бѣше възможно. Всичко ставаше задружно, всички се мъчеха нѣкакъ си да се развлекатъ, нѣщо-си да измислятъ и къмъ свършека на деня всички биваха страшно уморени. Безсѣдържателенъ бѣше нѣкакъ си тозъ животъ. Азъ вече захващахъ да мисля за отпътувание и чакахъ само да мине пменний денъ на вуйка ми, по въ този сѣщий денъ азъ видѣхъ на бала Вѣра Николаевна Елцова — и останахъ

Тя бѣше тогава на шестнадесетъ години. Живѣеше съ майка си въ единъ малкъ чифликъ, около петъ версти далечъ отъ вуйка ми. Баща ѝ е билъ, казватъ доста забѣлжителенъ човѣкъ, отъ рано е добилъ полковнишки чинъ и сигналъ би по високъ, но е загиналъ на млади години, ненадѣино грѣмнатъ на ловъ отъ единъ неговъ другаръ. Вѣра Николаевна е останала подиръ него дѣте. Майка ѝ бѣше сѣщо чудна жена: говорѣше на нѣколко язици, много знаеше. Тя е била седмъ или осмъ години по-стара отъ мъжа си, за когото сѣ омѣжила по любовь; той я открадналъ отъ бащината ѝ къща. Тя едва могла да прѣнесе неговата загуба и до смъртъта си (по думитѣ на Приемкова, тя е умрѣла скоро подиръ свадбата на дѣщеря си) е носила само черни дрѣхи. Живо ми е въ памятьта лицето ѝ: изразително, мургаво, съ гѣста, побѣлѣла коса, съ голѣми, строгя, като-че угаснали очи и съ правъ тѣнѣкъ носъ. Баща ѝ — фамилията му била Ладановъ — петнадесетъ години е живѣлъ въ Италия. Майката на Вѣра Николаевна се е родила отъ проста селянка отъ Албано, която на другия денъ подиръ ражданието ѝ е била убита отъ единъ транстеверинецъ, неинъ годеникъ, отъ когото Ладановъ я открадналъ. . . Тази случка е подигнала въ свое време голѣма вѣрва. Като се завърналъ въ

Руссия, Ладановъ не само отъ къщи, но и отъ стаята си не излизалъ, занимавалъ се билъ съ химия, анатомия, кабалистика, искалъ да продължи човѣшкия животъ, мислилъ си, че човѣкъ може да влиза въ сношение съ духоветѣ, да извиква умрѣлитѣ. . . Слѣдитѣ му го били смѣтали за магьосникъ. Той много е обичалъ дъщеря си, самичтъ е училъ на всичко, но не ѝ проствалъ бѣганieto съ Елцовъ, не пожелалъ нито нея, нито мъжа ѝ да види, прѣдсказалъ имъ на двамата печаленъ животъ и умрѣлъ самичкъ. Като останала вдовица, г-жа Елцова посветила всичкото си врѣме за възпитанието на дъщеря си и токо-рѣчи съ никого не е дружила. Когато азъ се познахъ съ Вѣра Николаевна, тя, прѣдстави си, нито въ единъ градъ не е бивала отъ ражданиято си, дори и въ своя околийски.

Вѣра Николаевна не приличаше на обикновеннитѣ руски позиции: на нея лежеше нѣкакъвъ си особенъ отпечатъкъ. Азъ при първо виждане се смаяхъ отъ нейното чудно спокойствие на всичкитѣ ѝ движения и думи. Тя, струваше ми се, за нищо не се грижеше, не се безпокоеше, отговаряше просто и умно, слушаше внимателно. Изражението на лицето ѝ бѣше искрено и правдиво, като на дѣте, но малко студено и еднообразно, макаръ и не замислено. Весела тя нарѣдко биваше и не тъй, както другитѣ: ясность на невинна душа, нѣщо по-мило отъ веселостта, свѣгѣше въ цѣлото ѝ сщество. Тя бѣше невысока, твърдѣ добръ сложена, малко тънка, черти имаше правилни и нѣжни, прѣхубаво равно чело, златно-руски коси, носъ правъ, както у майка ѝ, доста пълни устни; пѣстритѣ ѝ дори черни очи гледаха нѣкакъ-си твърдѣ право изъ подѣ дългитѣ, нагорѣ възвити мигачи. Ржцѣтѣ ѝ бѣхъ не голѣми, но не твърдѣ хубави: хора съ таланти такива ржцѣ нѣматъ, . . . и, наистина, Вѣра Николаевна никакви особени таланти нѣмаше. Гласа ѝ звѣнтѣше, както на седмь-годишно момиче. Азъ на бала у вуйка си бѣхъ прѣпоръченъ на майка ѝ, и подиръ нѣколко деня, за пръвѣ патѣ утидохъ у тѣхъ.

Г-жа Елцова бѣше една жена твърдѣ чудна, съ характеръ, настойчива и сърдѣточена. На мене тя имаше силно влияние: азъ и я почитахъ, и се боѣхъ отъ нея. Всичко тя вършеше по система, и дъщеря си възпитаваше по система, но не ѝ стѣсняваше свободата. Дъщеря ѝ я обичаше и слѣпо вѣрваше въ нея. Стига г-жа Елцова да ѝ даде нѣкоя книжка и да каже: на тази страница не чети — тя по скоро по-първата страница ще пропусне, ама нѣма да погледне въ забранената. Но и г-жа Елцова имаше своитѣ idées fixes, своитѣ особености. Тя, напримѣръ, като отъ огънь, се боеше

отъ всичко, което може да дѣйствува на въображението; и затова дъщеря ѝ до седмнадесетъ-годишна възраст не бѣ прочела нито една повѣсть, нито едно стихотворение, а по географията, историята и дори по естествената история често пѣти засрамваше мене, кандидатъ, и кандидатъ не отъ послѣднитѣ, както ти, може би, помниши. Азъ единъ пѣтъ се поопитахъ да поприказвамъ съ г-жа Елцова за нейния чуденъ възгледъ на живота, макаръ мъчно бѣше да я въвлечешъ въ разговоръ: тя бѣше много мълчалива. Тя само поклати главата си.

— Вий казвате, продума тя най-сетнѣ; — да се четатъ поетически произведения и полезно е, и приятно. . . . Азъ мисля, трѣбва по-отрано да се избере въ живота: или полезното, или приятното, и тъй вече да се рѣши челоуѣкъ, единъ пѣтъ за всѣкога. И азъ нѣкога си съмъ искала да съединя и едното и другото.... То е невъзможно и води къмъ погинване или къмъ безсѣдържателенъ животъ.

Да, чудно сѣщество бѣше тази жена, сѣщество честно, горделиво, съ нѣкакъвъ си оособенъ фанатизмъ и суевѣрие. „Азъ се страхувамъ отъ живота“, — каза ми тя веднажъ. И нанстина тя се страхуваше отъ него, страхуваше се отъ онѣзи тайни сили, върху които е съграденъ живота, и които нарѣдко, но ненадѣйно се показватъ на явѣ. Тѣжко и горко на оногози, надъ когото тѣ се разиграятъ! Страшно се сбжднаха тѣзи сили на Елцова: припомни си смъртѣта на майка ѝ, на мъжа ѝ, на баща ѝ. . . Това всѣкиго би заплашило. Азъ не съмъ видѣлъ нѣкога да се усмихне тя. Като че ли е затворила себе си и ключа хвърлила въ водата. Тя, вижда се, много скѣрбъ е прѣнесла прѣзъ своя животъ и нѣкога, съ никого не е сподѣлила тѣгата си: всичко въ себе си по-таила. . . . Тя до толкова е научила себе си да не дава воля на чувствата си, щото дори и се срамуваше да показва страстна обичъ къмъ дъщеря си; тя нито единъ пѣтъ не я цѣлува при мене, нѣкога не я наричаше съ умалително име, винаги: Вѣра. Помня азъ една нейна дума, азъ нѣкакъ си бѣхъ ѝ казалъ, че всицца ний, съврѣменитѣ хора, сме обезсилени. . . — „Не трѣбва челоуѣкъ да се обезсиля, проговори тя — трѣбва цѣлъ да прѣсили себе си, или по-добрѣ да се не занима“. . .

Малцина ходѣха у Елцова; по азъ начесто я госѣщавахъ. Азъ тайно въ себѣ си съзнавахъ, че тя къмъ мене бѣше расположена; а Вѣра Николаевна много ми се харесваше. Ний съ нея разхождахме се. . . Майка ѝ не ни бъркаше; самата дъщеря не обичаше да бжде безъ майка си, и азъ, отъ своя страна, не усѣщахъ

сжщо нужда въ осамотенъ разговоръ. Вѣра Николаевна имаше единъ чудецъ навикъ да шепне нависоко когато мисли ; прѣзъ нощитѣ тя ясно е блѣнувала за онова, което ѝ направило впечатление прѣзъ деня. — Веднаждъ, като ме изгледа внимателно и, по своя навикъ, като бѣ се подирѣла легко на ржката си, тя ми каза : «струва ми се, че Б. е добъръ човѣкъ ; но да се облегнешъ на него не може». Отношенията между насъ бѣха най-приятелски и спокойни ; само единъ пѣтъ ми се показва, че заблѣжвихъ тамъ, нѣйдѣ си далечъ, въ самата дълбочина на свѣтлитѣ ѝ очи, нѣщо си чудно, нѣкаква си страсть и нѣжностъ. . . . Но, може би, азъ се излѣгахъ.

Между това, врѣмето минаваше и приближаваше деня за трѣгване. Но азъ се маехъ. По нѣкога, като помислѣхъ като си спомнѣхъ, че скоро нѣма да видя повече това мило момиче, което азъ тѣй обикнахъ — тѣжно ми ставеше. Берлинь захванаше да губи притегателната си сила. Азъ не дрѣзнахъ прѣдъ себе си да съзная онова, което се вършеше въ мене. та и неразбирахъ, какво се върши въ мене, — като че ли мъгла лежеше на душата ми. Най-подиръ, една утрень, азъ всичко ясно разбрахъ. »Какво още да се търси?«, помислихъ си азъ, «къдѣ да се стремя? Истината се пакъ не може се постигне. Дали не е по-добрѣ да остана тука, да се ожена?» И, прѣдстави си, тази мисль за женитба никакъ не ме уплаши тогава. Напротивъ, азъ се зарадвахъ отъ нея. Не стига това : въ сжщия още день азъ обявихъ своето намѣрение, само не на Вѣра Николаевна, както трѣбваше да направя, а на самата Елцова. Старата ме погледна.

— Не, каза тя : — мой драгий, вървете въ Берлинь, по-присмлете се още. Вий сте добри ; Но не такъвъ мъжъ е потрѣбенъ за Вѣра.

Азъ наведохъ глава, изчервихъ се и, което тебе вѣроятно ще очуди още повече, на часа вѣтрѣшно се съгласихъ съ Елцова. Слѣдъ една недѣля азъ замиснахъ и отъ тогазъ вече не съмъ виждалъ нито нея, нито Вѣра Николаевна.

Азъ ти описахъ моятъ походження на кратко, защото знаа, ти не обмачашъ нищо на дълго и широко. Като пристигнахъ въ Берлинь, азъ много скоро забравихъ Вѣра Николаевна. . . . Но, признавамъ ти се, неочакваното извѣстие за нея ме развълнува. Мене изненада мисльта, че тя е тѣй близу, че тя е моя съседка, че азъ нея тѣзи дни ще видя. Миналото, като че отъ земята, ненадѣйно изникна прѣдъ мене, тѣй и ме обяви. Приемковъ ми каза, че той ме е посѣтилъ именно съ цѣль да поднови нашето старо познание, и че той се надѣва въ най-скоро врѣме да ме види у тѣхъ.

Той ми събщи, че е служил въ кавалерията, далъ си е отставката още когато е билъ поручикъ, купилъ единъ чифликъ близу до мене, на осъмъ версти, и има намѣрение да се занимава съ стопанство, че той е ималъ три дѣца, но че двѣтъ сж умрѣли, останала му е една петгодишна дѣщеря.

— И вашата жена ме помни? попитахъ азъ.

— Да, помни ви, отговаряше той малко церѣштелно. — Разбпра се, тя тогава още е била, може да се каже, дѣте; но майка ѝ васъ винаги много хвалѣше, а пакъ вий знаега, колко скжно тя цѣни всѣка дума на покойницата.

Додоха ми на умъ думитѣ на Елцова, че азъ не струвамъ за нейната Вѣра. . . . «Ще каже ти струваше», помислихъ си азъ, когато погледнахъ отъ страни Припикова. Той посѣдѣ у мене нѣколко часа. Той е много добъръ, хрисимъ човѣкъ, тѣй скромно приказва, тѣй добродушно гледа; него неможешъ да не обикнешъ. . . . но умственитѣ му способности не се сж развили отъ тогазъ, отъ когато ние го знаехме. Азъ безъ друго ще утѣда у него, може би утрѣ. Твърдѣ любопитно ми е да види, като каква е станала Вѣра Николаевна.

Ти, дяволъ, вѣроятно, ми се подсмивашъ сега, сѣдналъ при директорската си маса: а азъ се пакъ ще ти напиша какво впечатлѣние ще ми направи тя. Сбогомъ! До друго писмо.

Твой П. Б.

Писмо трето.

(отъ скжция до скжция).

Село М...ое, 16 Юний, 1850.

Е, бай Симеонъ, азъ бѣхъ у нея, видѣхъ я. Прѣди всичко трѣбва да ти събща едно удивително нѣщо: вѣрвай ми или не вѣрвай, както щѣши, но тя токо рѣчи въ нищо не се е промѣнила, нито въ лицето, нито въ снагата. Когато тя излезе да ме посрѣщне, азъ насмачко че не извикахъ «ахъ»: седемнадесетъ-годишна дѣвойка, че и толкозъ! Само очитѣ ѝ не сж като на момиче; впрочемъ, очитѣ ѝ въ младостта бѣхж не дѣтнвски, твърдѣ свѣтли. Но скжщото спокойствие, скжщата ясность, скжщия гласъ, безъ една бръчка на челото, като че ли прѣзъ всички тѣзи години е прѣкарала нѣидѣ въ сиѣга. А тя е сега на двадесетъ и осъмъ години, и три дѣца е имала. . . . Неразбирамъ! Ти, моля ти се, не мисли, че азъ отъ прѣдубѣждение прѣуголѣмявамъ; наопаки, това «непрохѣненне» никакъ не ми харесва.

Надвдесетъ и осемъ години, жена и майка при това, нетрѣбва да прилича на момиче: не токо тѣй напрасно е живѣла. Тя много любезно ме посрѣщна; но Приимковъ просто се зарадва отъ моето дохождение: тази добра душа тѣй и гледа да се првѣръже къмъ нѣкого. Кжщата имъ е твърдѣ стодна и чиста. Вѣра Николаевна и облечена бѣше като момиче: цѣла въ бѣло, съ свѣтлосинъ поясъ и съ тънко златно кордонче на шията. Дъщеря ѝ е много хрисимо момиченце и на нея никакъ неприлича: тя замязва на баба си. Въ гостопринемната стая, надъ канапето, виси портрета на тази чудна жена, удивително сличенъ. Той ми се хвърли въ очите, щомъ като влѣзохъ. Чипише ми се, тя строго и внимателно гледаше на мене. Ний сѣднахме, вспомнихме си за стари врѣмена и малко по малко влѣзохме въ разговоръ. Азъ, незная какво тѣй, се токо попогледвахъ тъмния портретъ на Елцова. Вѣра Николаевна сѣдѣше право подъ него: то е обичното ѝ мѣсто. Прѣдстави си моето очудване: Вѣра Николаевна до сега още не е прочела нито единъ романъ, нито едно стихотворение, — съ една дума, нито едно, каквото тя нарича, измислено съчинение! Това непостижимо равнодушие къмъ най-възвишенитѣ удоволствия на ума ме разсърди. За жена умна и, до колкото азъ мога да разсждавамъ, тънко чувствующа, то е съвсѣмъ непростително.

— Що, попитахъ азъ; — вие сте си турили правило никога да не четете такива книги?

— Не се е случвало, отговори тя: — нѣмало е кога.

— Нѣмало е кога! Азъ се удивлявамъ! Поне вий, продължавахъ азъ, като се обърнахъ къмъ Приимкова: — да сте научили вашата жена.

— Азъ надраго сърдце . . . бѣ захваналъ Приимковъ; но Вѣра Николаевна го прѣкъсна.

— Не се втилявай: ти самъ много не обичашъ стиховетѣ.

— Колкото за стиховетѣ, тѣй, отговори той: — азъ не до тамъ; но романитѣ, напримѣръ. . .

— Че какво вий правите, съ какво се занимавате прѣзъ вечеритѣ? попитахъ азъ: — на книги ли играете?

— Нѣкога играемъ, отговори тя: — но малко ли има съ какво человекъ да се занимава? Ний сжщо четемъ: има добри съсчинения и покрай стиховетѣ.

— Защо вий стиховетѣ тѣй нападате?

— Азъ тѣхъ не нападамъ: азъ отъ дѣтството си съмъ навикнала да не чета тѣзи измислѣни съчинения; на майка ми бѣше такъва волята, а азъ колкото повече живѣя, толкозъ повече се убѣ-

ждаванъ въ онова, че всичко, което майка ми правеше, всичко, което тя говореше, е истина, света истина.

— Е, както щете, а азъ съ васъ негома да се съглася: азъ съмъ убѣденъ, че вие напрасно се лишавате отъ най-чистото, най-законното наслаждение. Не ли вие не отхвърляте музиката, живописното: защо отхвърляте поезията?

— Азъ не я отхвърлямъ: азъ до сега още не съмъ се запознала съ нея — това е всичко.

— Азъ ще се заемъ за това! Нели майка ви не ви е забранила за прѣзъ всичкия живовъ да се не запознаете съ произведенията на изящната словестность?

— Да, не ми е забранила; щомъ като се омъжихъ азъ, майка ми сие отъ мене всѣко запрещение; но на менъ самата и прѣзъ умъ не е минувало да чета . . . какъ вий го казахте? . . . това, съ една дума, да чета романи.

Азъ съ недоумѣние слушахъ Вѣра Николаевна: азъ това не очаквахъ.

Тя ме гледаше съ своя спокоенъ погледъ. Птицитѣ тъй гледатъ, когато не се плашатъ.

— Азъ ще ви донеса една книга! извикахъ азъ. (Заведнажъ ми мина прѣзъ умъ не отколѣ прочегения отъ мене «Фаустъ»).

Вѣра Николаевна полегка въздъхна.

— То . . . да не бжде Жоржъ Зандъ? попита тя не безъ вътрѣшенъ страхъ.

— А! ще каже, вий сте слушали за нея? Макаръ и тя да е, какво има отъ това? . . . Не, азъ ще ви донеса другъ авторъ. Нели по нѣмски не сте забравили?

— Не, не съмъ забравила.

— Тя говори както нѣмкия, продума Примковъ.

— И много хубаво! азъ ще ви донеса . . . и вий ще видите какво чудно нѣщо ще ви донеса.

— Е, добръ, ще видя. Хайдете сега да утидемъ въ градината, че на Наташа не се сѣди на мѣстото.

Тя турна на главата си сламенната капелла, дѣтинска капела, също такъва, каквато турна на главата си дѣщеря ѝ, само малко по голѣма, и ний тръгнахме къмъ градината. Азъ вървехъ редомъ съ нея. На чистия въздухъ, въ сѣнката на високитѣ липи, лицето ѝ ми се показваше още по-хубаво, най-вече, когато тя полегка се обръщаше и си подигаше главата, за да ме погледне изъ подъ краищата на капелата. Ако не вървеше подиръ ни Примковъ, азъ ме прикваше прѣдъ насъ момиченцето ѝ, азъ, наистина, можехъ да

помисля, че не съм на 35 години, а на 23; че азъ само се кажа още да ида въ Берлинъ, толкова повече, че и градината, въ която ний се намирахме, много приличаше на градината въ чифлика на Елцова. Азъ неможахъ да истърпя и исказахъ впечатлѣнието си на Вѣра Николаевна.

— Всички ми казватъ, че външно малко съмъ се изменила, отговорн тя: — впрочемъ азъ и вътрѣшно съмъ си останала същата.

Ний се приближихме до мѣстичката китайска къщичка.

— Такъва къщичка ние вѣмахме въ Осиева, каза тя: — но вий недѣйге гледа, дѣто е поовѣхтяла тъй: вътрѣ е много добръ и прохладно.

Ние влѣзохме въ къщичката. Азъ погледнахъ наоболю.

— Знаете ли какво, Вѣра Николаевна, проговорихъ азъ: — распоредете се да донесатъ тука една маса и нѣколко стола за втори пѣтъ когато дода у васъ. Тука, наистина, е чудесно. Азъ тукъ ще ви прочета . . . Гетевия „Фаустъ“ . . . ето какво нѣщо ще ви прочета.

— Да, тукъ мухи нѣма, заблѣжи тя простодушно: — а кога вие ще додете?

— Въ другий-денъ.

— Добрѣ, каза тя, — ще се распоредя.

Наташа, която заедно съ насъ влѣзе въ къщичката, веднага извика и се дръпна цѣла поблѣднѣла.

— Какво има? попита Вѣра Николаевна.

— Ахъ, мамо, продума момиченцето, като показваше въ ежтѣтъ съ прѣста си: — гледай, какъвъ страшенъ паякъ!

Вѣра Николаевна погледна въ ежтѣтъ: голѣмъ шаренъ паякъ полегка пълзеше по стѣната.

— Отъ какво се страхувашъ? каза тя, — той не хапе, вижъ.

И, прѣди да я спра, тя зе безобразното насѣкомо въ ржката си, остави го свободно да погича по дланъта ѝ и го исхвърли на звънь.

— Ама сте безстрашни! извикахъ азъ.

— Че отъ какво да се плаша? Този паякъ не е отъ отровнитѣ.

— Вижда се, вий както и поирѣди сте силни въ естествешата история; азъ пакъ и въ ржцѣ не бихъ го зель.

— Нѣма защо человекъ да се бои отъ него, мовтори Вѣра Николаевна.

Наташа мълчешката изгледа насъ двамата и се усмихна.

— Болюкы ты прилича на майка ви! заблѣжихъ азъ.

— Да, отговори Вѣра Николаевна съ усмивка отъ удовольствие: — това ме много радва. Дано тя да мяза на нея не само съ лицето си!

Повикаха ни да обѣдваме, и слѣдъ обѣдъ азъ си утидохъ. Н. В. Обѣдтъ бѣше много добъръ и вкусенъ — това азъ въ скоби явявамъ тебѣ, ненастигнуку! Утрѣ ще занеса у тѣхъ „Фаустъ“. Страхувамъ се, да не би ний съ стареца Гете да пропаднемъ. Ще ти опиша всичко подробно.

Е, сега, какво ти мислишь за всички „тѣзи происшествия“? Не бой се, дѣто тя ми е направила силно впечатление, че азъ съмъ готовъ да се залюбя въ нея и т. н. т. Праздна работа е това, байно! Врѣме е и честта да се знае. Доста глупости съмъ правилъ; стига! Въ моитѣ години не се захваща живота отново. При това, и по-прѣди не такива жени ми харесваха. . . Впрочемъ, какви ли жени ми харесваха!!

Азъ трепвамъ — сърдце ми се свива —
Срамъ ме ѣ отъ моитѣ идоли.

Въ всѣкий случай, много ми е драго за това съсѣдство, драго ми е, дѣто ми се прѣдставлява възможность да се виждамъ съ едно умно, скромно свѣтло същество; а какво ще бѣде по-нататкъ, ще узнаешъ въ свое врѣме.

Твой П. Б.

Писмо четвърто.

(Отъ сжция до сжция)

Село М...ое, 20 Юний, 1850.

Четението произлѣже вчера, милий ми приятелю, инакъ именно, затова слѣдватъ пунктове. Прѣди всичко бързамъ да ти кажа: успѣхъ неочакванъ . . . т. е. „успѣхъ“ — а не дума. . . Слушай, сега. Азъ додохъ за обѣдъ. На софрата бѣхме шестима: тя, Приемковъ, дъщерята, възпитателката (незначителна бѣла фигурка), азъ и иѣкой си старъ нѣмецъ, въ кжсъ, кавианъ фракъ, чистъ, обрѣснатъ, истритъ, съ най-мирно и честно лице, съ безжкба усмивка, съ миризма на цвкорно кафе . . . всички стари нѣмци тѣй мирошатъ. Запознаха ме съ него: той е билъ иѣкой Шиммельъ, учителъ на нѣмски язикъ у съсѣдитѣ на Приемкова, князове Х. . . ви. Вѣра Николаевна, струва ми се, е расположена къмъ него и го е поканила да присѣдствува на четението. Ний късно обѣдвахме и дълго врѣме не ставахме отъ софрата, подиръ се разходихме. Врѣмето бѣше чудесно. Прѣзъ утрента валѣше дѣждъ и вѣтеръ духаше.

а при вечеръ всичко утихна. Ний заедно съ нея излѣзохме на една отворена поляна. Право надъ полянта легко и високо стоеше единъ голѣмъ червеникъвъ облакъ ; като димъ се проточваха по него пѣпеляни ивици ; най на края му, ту показвайки се, ту изгубвайки се, трѣпереше една звѣздица, а малко по-нататкъ се виждаше мѣсечинния сърпъ върху слабо зачервенената небесна сивевина. Азъ показахъ на Вѣра Николаевна този облакъ.

— Да, каза тя : — това е крѣкрасно, но погледнете пакъ на самъ. Азъ се обърнахъ. Като затуляше заходящото слънце, издигаще се другъ единъ прѣголтѣмъ, тъмно-синъ облакъ ; той се прѣдставляваше като една огнедишуща гора ; върха му като широкъ снопъ се растизаше по небето ; зловѣща огнена червенина, като ясенъ поясъ, го обвиняше и въ едно мѣсто, тъмно на срѣдата, пронизване тѣжката му грамада и излизаше като че ли отъ паметящи уста.

— Ще имаме грѣмотевница, забѣлѣжи Приемковъ.

Но азъ се отдалечавамъ отъ главното. Въ послѣдното си писмо забравихъ да ти кажа, че като се върнахъ дома отъ Приемкови, азъ се раскайвахъ, дѣто ѝ обадихъ «Фаустъ» ; за пръвъ пѣтъ по-добрѣ би било за нея да чета Шиллера, шомъ работата е дошла до нѣмци. Особенно ме плашеха първитѣ сцени до запознаването съ Гретхенъ ; относително Мефистофелъ сѣщо не бѣхъ спокоенъ. Но азъ се намирахъ подъ влиянието на «Фаустъ», и нищо друго не бихъ могълъ да ѝ прочета съ драгостъ. Когато вече съвсѣмъ се стъмни, ний трѣгнахме за китайската къщица ; нея снощи бѣха прибрали и вѣрдили. Право срѣшу вратата, прѣдъ канапето, стоеше една кръгла масичка, покрита съ бохча ; наоколо бѣха наредени кресла и столове ; на масата горѣше лампа. Азъ сѣднахъ на канапето, зехъ книжката. Вѣра Николаевна сѣдна въ едно кресло малко подалече, близу до вратата. Залъ вратата, посрѣдъ тъмнината, се полаваше, като се влатеше полегка, зеления клонъ на салкѣма, освѣтенъ отъ лампата ; сегизъ-тогизъ нахѣлтваше въ стаята струя отъ носенъ въздухъ. Приемковъ се расположи на единъ столъ близу до мене, а нѣмеца до него. Въспитателката бѣ останала съ Наташа въ къщи. Азъ произнесохъ една малка вѣжпителна рѣчь : спомѣнахъ за старата легенда на докторъ Фаустъ, за значението на Мефистофелъ, за самия Гете и помолехъ да ме сиратъ, ако намѣратъ нѣщо неразбрано. Подиръ се искашляхъ. . . . Приемковъ ме попита, не искамъ ли вода съ захаръ и, по всичко можеше да се забѣлѣжи, че той остава твърдѣ доволенъ отъ себе си, че ми зададе такъво питанье. Азъ се отказахъ. Дълбоко мълчание се въдвори. Захванахъ да чета, безъ да подигамъ очи ; чувствувахъ се стѣсненъ, сърдцето

ми тупаше и гласа ми трѣпереше. Първия съчувственъ гласъ издаде нѣмеца, и въ продължение на четението само той единъ прѣкъсваше тишината. . . «Чудно! високо», твърдише той; понякога пакъ притуряше: «а, тона не е дълбоко». Приемкову както можяхъ да забѣлѣжа, бѣше мѣчно: но нѣмски той доста слабо разбира и самъ се признаваше, че стихове не обича! . . . Воля му! — Азъ на сифрата щѣхъ да загатна, че четението може да стане и безъ него, но досрѣмъ ме. Вѣра Николаевна не се мърдаше; единъ-два пѣти азъ крадешкомъ я погледахъ: очитѣ ѝ внимателно и право бѣха насочени къмъ мене; лицето и ми се показа блѣдно. Слѣдъ първата срѣща на Фаустъ съ Грегхень тя се исправи въ креслото, сгъна рацѣтъ си и въ такъво положение остана неподвижна до края. Усѣцахъ, че на Приемковъ дотѣгна четението, и отъ това азъ най-напрѣдъ се слушавахъ, но малко-помалко забравихъ за него, разгорѣшихъ се и зехъ да чета съ пламъкъ, съ увлечение. . . Азъ четохъ само заради една Вѣра Николаевна: единъ вътрѣшенъ гласъ ми казваше, че «Фаустъ» на нея дѣйствиува. Когато свършихъ (интермецтото азъ пропуснахъ: това нѣщо прилича на втората частъ; сѣщо и отъ «Нощта на Брокелъ» исхвърлихъ, нѣкои и други нѣща) . . . когато свършихъ, когато се чу това послѣдното «Хей-рихъ!» нѣмеца съ умиление изрече: «Боже! келко е прѣкрасно!» Приемковъ, ужъ зарадванъ (горкия!) стана, въздъхна и зе да ми благодари за направеното удоволствие. . . Но азъ не му отговорихъ: азъ гледахъ Вѣра Николаевна. . . Искахъ да чуя какво ще каже тя. Тя стана, приближи се нерѣшително къмъ вратата, постоя на прага и полегка излезе въ градината. Азъ искочихъ подирѣ ѝ. Тя бѣ се отдалечила вече на нѣколко раскрача; роклята ѝ едвамъ бѣбеше въ гѣстата сѣнка.

— Е, какъ? извикахъ азъ: — не хареса ли ви?

Тя се спрѣ.

— Можете ли ми остави тази книга? раздаде се гласа ѝ.

— Азъ ще ви я подаря Вѣра Николаевна, ако искате да я имате.

— Благодаря ви! отговори тя и се скри.

Приемковъ и нѣмеца додоха при мене.

— Колко е топло! забѣлѣжи Приемковъ: — дори и тѣжко.

Но кѣдѣ утvide жена ми?

— Струва ми се, въ кѣщи, отговорихъ азъ.

— Мисля, че врѣме е вече да вечеряме, каза той. — Виѣ прѣвъсходно четете, прибави той подирѣ малко.

— На Вѣра Николаевна, чини ми се, хареса се «Фаустъ», продумахъ азъ.

— Не ще съмниѳние ! извика Примковъ.

— О, разбира се ! пое Шиммельъ.

Ний се завърнахме въ къщи.

— Гдѣ е господарката ? попита Примковъ слугинята, която прѣсърѣцнахме.

— Въ спалната стая влезе.

Примковъ утиде при жена си.

Азъ излѣзохъ на балкона заедно съ Шиммельъ. Стареца поддигна очитѣ си къмъ небето.

— Колко звѣзди ! бавно проговори той, като потѣгли емфие :
— и това сж се свѣгове, прибави той и потѣгли втори пжть.

Азъ ненамѣрихъ за нужно да му отговоря и самоу млчешката погледнахъ на горѣ. Тайно едно недоумѣние тѣжеше на душата ми. . . Звѣздитѣ, ми се струваше, сериозно ни гледать. Слѣдъ петь минути се яви Примковъ и ни повика въ трапезарийницата. Ний сѣднахме.

— Погледнете на Вѣрочка, каза ми Примковъ.

Азъ я погледнахъ.

— Какво ? нищо незабѣлѣзвате ?

Азъ, навстина, забѣлѣжихъ промѣнение въ лицето ѳ, но, незная защо, отговорихъ :

— Не, нищо.

— Очитѣ ѳ сж червени, продължаваше Примковъ.

Азъ промълчахъ.

— Прѣдставете си, азъ утидохъ горѣ при нея и я намирамъ : тя плаче. Такъво нѣщо съ нея отколѣ не се случвало. Мога да ви кажа, кога тя послѣденъ пжть плака : когато Саша ни умрѣ. Его на, какво вий направихте съ вашия „Фаустъ !“, притури той съ усмивка.

— Ще рѣче, Вѣра Николаевна, захванахъ азъ : — вий сега виждате, че бѣхъ правъ, когато. . .

— Азъ неочаквахъ това нѣщо, прѣкъсна ме тя : — но Богъ знае още, да ли сте прави. Може би, за това майка ми и забранявала ми е да чета такива книги, че тя е знаела. . .

Вѣра Николаевна спрѣ.

— Какво е знаела ? повтори азъ. — Кажете.

— Защо ? Азъ и тѣй се страхувамъ : за какво съмъ плакала ? Впрочемъ, ний съ вѣсъ още ще поговоримъ. Азъ много нѣща недобрѣ разбрахъ.

— Защо вий не ме спрѣхте ?

— Думитѣ всички разбрахъ, и смисъла имъ, но. . .

Тя недовърши думата си и се замисли. Въ тази минута въградната се зачу шумоленето на листата, ненадѣйно расклатени отъ появившия се вѣтъръ. Вѣра Николаевна трепна и се обърна съ лицето си къмъ отворения прозорець.

— Азъ ви казахъ, че ще имае грѣмотевца! извика Приемковъ. — А ти, Вѣрочка, защо тѣй трепвашъ?

Тя го погледна мълчешката. Слабо татъкъ нѣйдѣ си далечъ свѣтна мълнията, която таинствено се отрази на неподвижното ѝ лице.

— Всичко това е за хатѣра на „Фаустъ“, продължаваше Приемковъ. Подиръ вечерята ще трѣбва да си легнемъ . . . не е ли тѣй г. Шиммельъ?

— Подиръ нравственото удоволствие физическата почивка е толкова благотѣлна, колкото и полезна, каза добрия нѣмецъ и пещи една чашичка-ракия.

Подиръ вечерята ний на часа си разутдохме. Като знаехъ събогомъ отъ Вѣра Николаевна, азъ ѝ стиснахъ ржката: ржката ѝ бѣше студена. Отидохъ въ отредената ми стая и дълго врѣме стояхъ прѣдъ прозореца, прѣди да се съблѣка и да си легна на креватата. Прѣдсказанието на Приемковъ се сбѣдна: засвѣтка се, загърмѣ. Азъ слушахъ бучението на вѣтѣра, плисканието и шуртението на дъжда, гледахъ, какъ, при всѣко свѣтканне, стгадената наблизу надъ езерото църква се явяваше заведнажъ, ту черна на бѣло поле, ту бѣла на черно, ту пакъ се поглѣщаше отъ мрака. . . Но мислитѣ ми бѣха далечъ. Азъ мислѣхъ за онова, какво ще ми каже тя, когато сама прочете «Фаустъ», мислѣхъ за нейнитѣ съззи, спомнѣвамъ си, какъ тя слушаше. . .

Небето вече отдавна се разясни — звѣздитѣ заблѣстяха, всичко наоколо мълкна. Една неизвестна менѣ птица пѣше и си кърпеше гласа, като повтаряше нѣколко пжти нарець едно и сѣщо нѣщо. Звънливия ѝ, осамотенъ гласъ странно се носѣше посрѣдъ дълбоката тишина; а азъ се още не лѣгахъ. . .

На утрѣнята азъ отъ всички най-рано слѣзохъ въ гостоприемната стая и се спрѣхъ прѣдъ портрета на Влцова. «Що, сполучи ли! — рѣкохъ себе ся съ едно ироническо тѣржество — сѣ пакъ прочетохъ на дѣщеря ти забранената книга!» Веднага ми се пристори . . . ти, вѣроятно, си заблѣжилъ, че очи еп face винаги се показватъ насочени право на зрителя . . . но тоя пжтъ, да ти кажа право, ми се пристори, че старата съ укоръ ги обърна къмъ мене.

Азъ се отстранихъ, приближихъ се при прозореца и съгледахъ Вѣра Николаевна. Съ чадъръ на рамо, съ легка бѣла пеле-

рина на глава, ходѣше тя по градината. Азъ на часа излѣзохъ отъ кѣщи и я поздравихъ.

— Цѣла нощъ не спяхъ, ми каза тя : — главата ме боли ; поизлѣзохъ малко на чистъ въздухъ — дано ми мине.

— Нема това е отъ снощиото четение? попитахъ азъ.

— Разбира се : азъ на това не съмъ научена. Въ тази ваша книга има пѣща, отъ които азъ никакъ немога да се избѣя ; струва ми се, че отъ тѣхъ ми е пламнала главата, притуря тя, като гуди ржката си на челото.

— И много хубаво, казахъ азъ : — но ето що е лошото : страхувамъ се, да не би тази безсънница и това главоболие да ви развалятъ охотата да четете такива пѣща.

— Мислите ли ? отвърна тя и вървѣйки, отвѣсна една китчица — сапунче. — Богъ знае ! струва ми се, че койго стѣни веднажъ на тея нѣтъ, той вече нѣма да се върне назадъ.

Тя захвърли на страна китката.

— Хайде да идемъ да сѣднемъ въ този кѣшкѣтъ, продължаваше тя : — и, моля ви се, до катъ не ви отворя дума сама, не ми наумявайте . . . за тази книга. (Тя като че ли се боеше да произнесе името «Фаустъ»).

Ний влѣзохме въ кѣшка, сѣднахме.

— Нѣма да ви говоря за „Фаустъ“, захванахъ азъ : — но позволете ми да ви поздравя, че ви завиждамъ.

— Вай ми завиждате ?

— Да ; вамъ, както ви познавамъ сега, съ вашата душа, колко наслаждения ви прѣдстоятъ ! Има велики поети, освѣтъ Гете : Шекспиръ, Шиллеръ . . . та и нашъ Пушкинъ . . . и съ него ще трѣбва вий да се запознаете.

Тя млъчеше и съ чадѣра си чертаеше пѣщо по пѣсъба.

О, приятелю мой, Симеонъ Николаичъ ! да би могълъ ти да видишь, колко бѣ тя прѣлестна въ тази минута : блѣдна, токо-рѣчи прозрачна, съ малко наведена глава, измозжена, вътрѣшно измъчена — и се пакъ ясна, както небото ! Азъ говорихъ, говорихъ дълго врѣме, подиръ млъкнахъ — и тѣй сѣдѣхъ, млъчахъ и само я гледахъ.

Тя не подигаше очи и продължаваше, ту да чертае съ чадѣра си, ту да истрива начертаното. Изведнажъ се зачуха бързи дѣтински стѣпки : Наташа влезе въ кѣшка. Вѣра Николаевна се исправи, стана и, за мое удивление, съ една особена пѣжливостъ бързо притърна дѣщеря си . . . Това нѣмаше въ нейнѣтъ павици. Подиръ доде и Приемковъ. Бѣловласий, но точний, редовний младенецъ Шим-

мелъ бѣ си утишълъ рано въ зори, за да не изгуби урока. Ний утидохме да приемъ чай.

Да ти кажа, вече се уморихъ ; врѣме е да свърша това писмо. Тѣ трѣбва да ти се покаже нелипо, не ясно. Азъ самъ се усѣщамъ смутенъ. Не ми е добръ. Не зная що стана съ мене. Върти се отпрѣдъ ми мъничката стая съ голѣмитѣ зидове, лампата, отворенитѣ врата, миризмата и приятността на нощта, а тамъ, до вратата, внимателното младо лице, легкитѣ бѣли дрѣхи. . . Разбирамъ сега, защо искахъ да се ожена за нея : азъ, види се, не съмъ билъ тъй глупавъ прѣди трѣгванieto ми за Берлинъ, както съмъ мислилъ до сега. Да, Сименъ Николавичъ, въ едно чудно душевно състояние се намира приятеля ви. Всичко това, зная, ще прѣмине . . . а ако не прѣмине — пакъ що? нѣма да прѣмине. Но азъ се съмъ доволенъ отъ себе си : първо, прѣкарахъ единъ прѣкрасенъ вечеръ ; а второ, ако разбудихъ тази душа, кой може да ме обвини ? Старата Елцова е прикована къмъ стѣната и трѣбва да мълчи. Старата! . . всичкитѣ подробности на живота ѝ не ми сж известни ; но зная, че тя е избѣгала отъ бащината си къща : вижда се, не на празно тя се е родила отъ италиянка. Тя искаше да усмори дѣщеря си. . . Ще влиамъ.

Хвърлямъ писалката. Ти, присмивачу, моля ти се, мисли за мене, както щешъ, но не се подигравай съ мене въ писмата си. Ний съ тебе сме стари приятели и трѣбва да бждемъ по-межки единъ къмъ друго. Сбогомъ.

Твой П. Б.

Писмо пето.

(Отъ сжщия до сжщия).

Село М....ое, 26 Юлий, 1850. г.

Азъ отдавна не съмъ ти писалъ, драгий ми Симеонъ Николаичъ ; струва ми се, има повече отъ мѣсець. Имаше за какво да ти пиша, ама мързела не ме оставише. Да ти кажа право, азъ комай и не си наумявахъ за тебе прѣзъ това врѣме. Но отъ послѣдното ти писмо до мене мога да заключа, че ти правишь на моя смѣтка едни прѣдположения, които не сж вѣрни, сирѣчь, не съвѣтъмъ вѣрни. Ти сега мислишь, че азъ съмъ увлеченъ отъ Вѣра (нѣкакъ си не ми иде да я наричамъ Вѣра Николаевна) : ти се лъжешъ. Разбира се, азъ начесто се срѣщамъ съ нея, тя много ми харесва . . . че кому ли не би харесала тя ? Искалъ бихъ да те погледна на моето мѣсто. Чудно творение ! Бързата проникателность въ нея се съеди-

нява съ дѣтинска неопитностъ, бистрия, здравъ умъ — съ вроде-ното чувство на красота, постоянното стремление къмъ правдата и високото — съ разбиране на всичко, дори на порочното и смѣш-ното, — и надъ всичко това отгърѣ, както бѣлитѣ крила на ан-гела, се издава тихата женска прѣлестъ. . . Та що ли да се говори? Ний много четохме, много приказвахме съ нея прѣзъ тоя мѣсець. Да четешъ съ нея е наслаждение, каквото азъ не бѣхъ още исцит-валъ. Като че ли нови страни откривашъ. Въ вѣсторгъ тя отъ ни-кого не дохажда: всичко шумно за нея е чуждо; тя цѣла тѣй тихо свѣти, когато ѝ харесва нѣщо, и лицето ѝ зима такъво благородно и добро . . . имъно добро изражение. Отъ най-ранното си дѣтни-ство, Вѣра не е знаела, що нѣщо е лъжа: тя е навикнала на прав-дата, тя съ нея живѣе, а затова и въ поезията само една правда ѝ се показва естествена; тя тутакси, безъ да си дава мжка, по-знава я, както познато лице . . . велика дарба и щастие! Неможе за това да не спомни човѣкъ съ добро майка ѝ. Колко пѣти си мислѣхъ азъ, гледайки Вѣра: да, правъ е Гете: — „добрия чо-вѣкъ и въ неясното си стремление винаги чувствува, гдѣ е истин-ния пѣтъ“). Едно само ме е гнѣвъ: мжка ѝ се около насъ се върти. (Моля ти се, недѣй се смѣ съ глупавъ смѣхъ, не омърсявай дори и съ съмнѣние чистата ни дружба). Той толкозъ е способенъ да разбира поезията, колкото азъ съмъ расположенъ да свира на флаута, а пакъ не ще да остане по-доленъ отъ жена си, иска и той сжщо да се просвѣти. По нѣкога и тя самата ме ядосва, чудна нѣкакъ си става: нито да чете желае, нито да разговаря, шие си на гергефа, занимава се съ Наташа, съ «ключарката», до готвар-ницата ще утѣде, или само сѣди съ сгнѣжти рѣцѣ и гледа въ про-зореца, или пакъ ще земе да играе въ «дурачки» съ бавачката . . . Забѣлѣжихъ: въ такъво врѣме по-добрѣ е човѣкъ да я остави на-мира и да чака, до катъ тя сама не доде и не заприказва или сама не земе книжката. Самостоятелностъ въ нея има много, и мене това твърдѣ радва. По нѣкога, помнишь ли, въ младитѣ ни години, нѣкое момиче земе да ти повтаря, както може, твоитѣ думи, а ти се радвашъ отъ това ехо и дори му се покланяшъ, до като не раз-берешъ, каква е работата; а тази . . . не: тя своето знае. Тя токо тѣй лесно въ нищо нѣма да повѣрва; съ авторитетъ не ще можешъ я заплаши; тя нѣма да се прѣпира, но нѣма да се убѣди. За «Фаустъ» ний сме разсжждавали много пѣти: но — чудна ра-бота! — за Грѣтхенъ тя сама нищо не говори, а само слуша, ка-квото азъ ѝ кажа. Мефистофелъ я плаши не като дяволъ, а като нѣщо си тагъво, което у всѣки човѣкъ може да бжде. . . Това

сж нейни сжщи думи. Азъ бѣхъ захвърналъ да ѝ распрavamъ, че тона «нѣщо-си» ний наричаме рефлексия; но тя неразбра думата рефлексия въ нѣмския смисълъ: тя само знае значение на френското «reflexion», и е навикнала да го почита за полезно. Чудни сж нашитѣ отношения? Отъ една страна да се погледне, азъ мога да кажа, че имамъ на нея голѣмо влияние и като че я възпитавамъ; но и тя сама, безъ да знае, ме измѣнява въ много отношения, прави ме по-добъръ. Азъ, напримѣръ, само поради нея не отдавна открихъ, колко много условно, риторитическо се съдържа въ много хубави прочути поетически произведения. Къмъ това, къмъ което тя оставаше студена, то вече въ моитѣ очи бѣше подозрително. Да, азъ станахъ по-добъръ, по ясенъ. Да ѝ бждешъ близъкъ, да се виждашъ съ нея и да останешъ сжщия човѣкъ е невъзможно.

Какво отъ всичко това ще излезе? ще попиташъ тя. Право да ти кажа, азъ мисля, — нищо. Много добръ ще прѣкарамъ времето до септемврий, а-че подиръ ще си върва. Тѣменъ и мжченъ ще ми се покаже живота въ първитѣ мѣсеци. . . Ще навикна. Зная до колко е опасна каквато и-да-е връзка между мжжъ и млада жена, до колко едно чувство се смѣнява съ друго. . . Азъ бихъ могълъ да се отстраня, ако не бихъ съзнавалъ, че ний и двамата сме съвсѣмъ спокойни. Наистина, веднажъ се случи между насъ едно (свобенно нѣщо. Не зная какъ и защо — помня, ние четѣхме «Онѣгинъ» — азъ ѝ цѣлунахъ ржката. Тя полетка се дръпна; изгледа ме съ единъ особенъ погледъ (азъ освѣнъ у нея, у никого не съмъ виждалъ такъвъ погледъ: въ него имаше и замисленостъ, и внимание и нѣкаква си строгостъ) . . . исчерви се, стана и си утиде. Въ този день азъ неможахъ да сполуча да бжда съ нея на-самѣ. Тя ме избѣгваше и цѣли четпри часа игра съ мжжа си, съ бавачката и съ въспитателката въ «свои-козири»! На слѣдующата утрень тя ме покани да утидемъ въ градината. Ний я прѣминахме цѣла до самото езеро. Тя токо отведнажъ, безъ да се обръща къмъ мене, тихо ми шепна: «моля ви се, за напрѣдъ неправете това!» и на часа зе да ми разказва нѣщо си. . . Азъ бѣхъ много забраменъ.

Трѣбва да ти се призная, че образа ѝ не ми излиза изъ главата, и азъ нели не съмъ сѣдналъ да ти пиша писмо само-и-само да имамъ възможностъ да говоря и да мисля за нея. Азъ слушамъ прѣхтеннието и топурканието на конѣтъ: пайгона ми вече ме чака. Утивамъ у тѣхъ. Пайтонджиятъ вече не ме пита, кждѣ да кара; когато се качвамъ на пайтона — право тѣгли у Прримкови. Щомъ, при голѣмото извивание на пжтя, прѣзъ брѣзовата кория се лъсне кжщата имъ, нѣкакъ-си драго ми става на сърдцето. Шимелъ (без-

звредния онзи старецъ по пѣкога дохожда у тѣхъ: тѣ, слава Бѣгу, сѣ видѣли само единъ пѣтъ князюве Х...ви). . . Шиммель не на праздно токо говори съ свѣйственната му скромна тържественостъ, показвайки кѣщата, гдѣто живѣе Вѣра: «това е обигель на мира». Въ тази кѣща, като-че ангела на спокойствие живѣе. . .

Съ крило си мене обгърни,
Сърдце ма буйно умири. —
И благодагна ще бѣде сѣнката
За очарованиага душа.

Е, вече, стига; че ти, Богъ знае, какво ще помислишь. До други пѣтъ. . . Какво ли ще ти напиша въ слѣдующето писмо? — Сбогомъ! — Доде ми на умъ, тя никога нѣма да каже: сбогомъ, а винаги: е, сбогомъ. — То страшно ма харесва.

Твой П. Б.

Р. С. Азъ не помня, да ли ти съмъ казвалъ, че тя знае, дѣто азъ съмъ я искалъ.

Писмо шесто.

(Отъ сѣщия до сѣщия).

Село М...ое, 10 Августъ, 1850 г.

Кажки правикчата, ти очаквашъ отъ мене писмо, или отчаяно, или въстържено. . . Но не е такъва работата. Писмото ми ще бѣде както всички писма. Ново нищо нѣма, че мисля, и какво ли може да има. Тѣзи дни ние се расхождахме съ варка по езерото. Ще ти опиша тази разходка. Ний бѣхме трима: тя, Шиммель и азъ. Не разбирамъ, за какво ъ се иска тѣй на често да кани тя тогози старецъ. Х. . . ви се сърдятъ нему, казватъ, че той е захваналъ да занемаря уроцитѣ си. Впрочемъ, този пѣтъ той бѣше интересенъ. Примковъ не доде съ насъ: глава го болѣла. Врѣмето бѣше хубаво, весело: голѣми, като-че распокжсани бѣли облаци се растилаха по синето небе, на всѣкъдѣ имаше блѣсъкъ, шумоление на дървесата, пляскание и удряние на водата о брѣга, слънчевитѣ зари, както златний змий, играеха по вълнитѣ, хладина повѣваше и слънцето грѣеше! — Отпървенъ ние съ нѣмеца карахме варката; подиръ развихме платната и се пуснахме. Носа на варката тѣй и цѣпеше водата, а задъ кърмага брѣздата шумеше и се нѣнеше. Тя сѣдна при кърмилото и зе да управлява; на главата си тя прѣвърза кърна: канеллата не можеше да се удържи, тя би хвъркнала; ждритѣ се подаваха изъ-подъ нея и легко се развѣваха отъ вѣ-

треца. Тя ягко държеше върмилото съ загорѣлитѣ си рѣцѣ и се усмихваше на капкитѣ, които понѣкога ѳ прѣскаха лицето. Азъ сѣднахъ на дланото на варката, близу до краката ѳ, нѣмеца извади чубучката, зануши своя кнастеръ и — прѣдстави си — запѣ съ единъ доста приятенъ басъ. Най-напрѣдъ той испѣ старата пѣсенъ : «Freu't euch des Lebens», послѣ една ария отъ „Магйосната Флаута“, подиръ единъ романсъ по име : „Азбука на Любовта“ — «Das A-B-C des Liebe». Бъ този романсъ се прѣминува съ прилични притурки, разбира се — цѣлата азбука, като захванешъ отъ А, Бе, Це, Де, Венъ ихъ дихъ зе — и свършишь : У, Фау, Иксъ Махъ ейненъ киваксъ. — Той испѣ всичкитѣ кунлста съ чувствително изражение ; но трѣбваше да видишь, колко хитро той смитна сѣ лѣвото си око на думата : киваксъ ! — Вѣра се засмѣ и му се заклани съ прѣстъ. Азъ забѣлѣжихъ, че, до колкото ми се чини, г. Шиммельъ, въ свое врѣме, е билъ антика. „О, да, и азъ не бѣхъ доленъ !“ продума той съ важность, изсина пенелъта отъ чубучката върху дланъта си и, бъркайки съ прѣститѣ си въ тютюновата кия, горделиво, отъ страни, налага мемето на лулата. «Когато бѣхъ студентъ», прибави той : — «о-хо-хо !» Повече той нищо не каза. Но какво ли бѣше това : о-хо-хо ! — Вѣра го помоли да испѣ нѣкаква студентска пѣсенъ и той ѳ испѣ «Knaster, du gelben», но на послѣдната нота той сбърка. Много вече той се распусна. Между това вѣтера се поуспои, излѣзоха доста голѣми вълни, нашата варка малко се искриви ; ластовички засноваха низко покрай насъ, ний прѣмѣстихме платното, захванахме да лавираме. Вѣтера токо-отведнажъ се обърна, ний неможахме да се увардимъ — една вълна плѣсна прѣвъ борта, варката силно загрѣба. И тука нѣмеца се показа юнакъ ; дръпна отъ мене вѣжето и турна платното както трѣбва, като каза при това : «Его какъ се прави това въ Куксхафенъ !» — So macht man's in Cuxhafen !»

Вѣра, вѣроятно, се уплаши, защото прѣблѣднѣ, но, по характера си, не продума нито една думица, сѣбра си роклята и стѣпи съ носовѣтъ на чешицитѣ си върху прѣчника на варката. Тукъаки ми хрумна на умъ стихотворението на Геге (азъ отъ нѣкое врѣме цѣлъ съмъ заразенъ отъ него) . . . помнишь ли : „По-вълнитѣ блѣщать хиляди третяци звѣзди“, и азъ го издикламирахъ. Когато додохъ до стиха : „Очи мой, защо вий се навождате ?“ тя малко си подигна очитѣ (азъ сѣдѣхъ по-низко отъ нея : погледа ѳ паднаше отгорѣ ми) и дълго врѣме гледа въ далечнината, като жумеше отъ вѣтра. . . Ситенъ дѣждъ заваля отведнажъ и заскачаха мѣхурчета по водата. Азъ ѳ прѣдложихъ моею палто : тѣ

го намѣтна върху плещитѣ си. Ний излѣзохме на брѣга — не на пристанището — и до къщата утидохме пѣши. Азъ я водихъ подъ рѣка. И не зная се като-че ми се искаше да ѝ кажа нѣщо; но мълчахъ. Обаче, доде ми на умъ, попитахъ я, защо тя, когато е дома, винаги сѣди подъ портрета на г-жа Елцова, като-че-ли нѣкъсе пиленце подъ крилото на майка си? — «Сравнението ви е много вѣрно» — отвърна тя — «азъ никога не бихъ искала да излѣза изъ-подъ крилото ѝ.» — «Не бихте искали да излѣзете на свобода?» попитахъ я пакъ. Тя нищо не отговори.

Не разбирамъ, защо ти разказахъ тази разходка, — затова, може би, че тя е останала въ памятьта ми, като едно отъ най-свѣтлитѣ събития на миналитѣ дни, макаръ въ смѣтностъ какво е това събитие? Бѣше ми тѣй отраднo и такъва тиха веселостъ лежеше на душата ми, и сълзи, сълзи легки и щастливи, тѣй и насмалко щѣха да закапятъ изъ очитѣ ми.

Да! прѣдстави си, на другия день, като минувахъ прѣзъ градината покрай кѣошка, чуя отведнажъ единъ приятенъ, звученъ женскій гласъ пѣе: «Freu't euch des Lebens». . . Погледнахъ въ кѣошка: — то бѣше Вѣра. «Браво!» извикахъ азъ: — «азъ и незнаехъ, че вий имате толкова хубавъ гласъ! — Тя се засрами и мълкна. Вѣнъ отъ шегата, тя има отличенъ, силенъ сопрано. А тя, азъ мисля, и не е подозирала, че има такъвъ прѣкрасенъ гласъ. Колко непожтнати богатства още се скриватъ въ нея! Тя сама себе-си не знае. Но не е ли истина, че такъва жена въ наше време е рѣдкость?

12 Августъ.

Прѣдълъгъ разговоръ ний имахме вчера. Дума се отвори най-напрѣдъ за привиденията. Прѣдстави си: тя въ тѣхъ вѣрва и казва, че има за това свои причини. Примковъ, който сѣдѣше тукъ, наведе очитѣ си и заклати главата, като-че потвърдяваше думитѣ ѝ. Азъ захванахъ да я распитвамъ, но скоро заблѣжихъ че тоя разговоръ ѝ бѣ неприятенъ. Ний подкачихме да говоримъ за въображенieto, за силата на въображението. Азъ разказахъ, че въ младостъта си, като мечтаехъ много за щастieto (обикновено занятие на хора, които въ живота си не сж сполучвали или не сполучватъ), между другото мечтаехъ си за това, какво блаженство би било да прѣкарамъ наедно съ любимо сжщество нѣколко недѣли въ Венеция. Азъ мислѣхъ тѣй начесто за това, особенно прѣзъ ношитѣ, щото малко-помалко у мене въ главата се състави цѣла картина, която азъ можехъ, когато искахъ, да си прѣдстави прѣдъ себе си: стигаше само да затвори очитѣ си. Ето що ми се прѣдставяваше: нощъ, мѣсечина, свѣтлина отъ мѣсечината, бѣла и нѣжна, миризма. . .

ти мислишь, на лимона ли? не, на ванилия, миризма на кактуса, широка водна повърхнина, равенъ оттровъ, обрасалъ съ маслини; на острова, при самия брѣгъ, малка мраморна къща, съ растворени прозорци; слуша се музика, бозна отъ къдѣ; въ къщата дървета съ тъмни листа и свѣтлина на полузакрита лампа; отъ единия прозорецъ се е прѣбѣтнала тѣжка кадифеена мангия съ златни рѣсни и пада съ единия си край върху вадата: а облегнати на мантията, единъ до другъ сѣдатъ *той* и *тя* и гледатъ далечъ тамъ, дѣто се вижда Венеция. Всичо това тѣй ясно ми се прѣдставляваше, като че азъ го виждахъ съ собственигѣ си очи. Тя изслуша моитѣ бланування и каза, че и тя сѣщо начесто мечтае, но че мечтанията ѝ сж съвсѣмъ други: тя или си въображава, че се намира въ стенигѣ на Африка, съ иѣкакъвъ пѣтникъ, или търси диритѣ на Франклина въ Ледовития океанъ; живо си прѣдставлява всичкитѣ лишения, на които трѣбва да се подхвърля, всичкитѣ трудности, съ които тя има да се бори. . .

— Ти си се начела съ пѣтування, забѣлѣжи мѣжъ ѝ.

— Може би, отвѣрня тя: — но ако се земе да се мечтае, да се мечтае за неиспълнимо?

— Та и защо не? поехъ азъ. — За какво горкото неиспълнимо е криво?

— Азъ не тѣй се изразихъ, продума тя: — азъ искахъ да кажа, защо да мечтае човѣкъ за себе си, за щастieto си? Да се мисли за него нѣма за какво: то не иде — защо ли ще го търсимъ! То е както здравieto: когато не го забѣлѣзвашъ, ще рѣче, има го.

Тѣзи думи ме очудиха. Тази жена има велика душа, вѣрвай ми. Отъ Венеция разговора прѣмяна къмъ Италия, къмъ италианцитѣ. Примковъ излѣзе, ний съ Вѣра осганахме сами.

— И въ жилитѣ ви тече италианска кръвь, забѣлѣжихъ азъ.

— Да, каза тя: — искате ли, ще ви покажа портрета на баба ми?

— Ако обичате.

Тя утиде въ кабинета си и донесе отъ тамъ единъ голѣмъ златенъ медалионъ. Каго отворихъ този медалионъ, азъ видѣхъ едни прѣвѣсно написани минпатюрни портрети на бащата на Елцова и на жена му — тази селянка отъ Албано. Азъ се очудихъ отъ голѣмата прилика, която е ималъ дѣдото на Вѣра съ дъщеря си. Само чергитѣ му, окръжени съ бѣлѣ облакъ-пудра, показваха се още по строги, по-заосгрени и по рѣзки, а въ мъничкитѣ му очи свѣтѣше иѣкакъвъ си мраченъ инатъ. Но пакъ какво лице имаше

италианката! сладострастно, отворено, както разцъвналъ трюфанъ, съ голѣми испъкнали влажни очи и съ самоволна усмивка на аленитѣ ѝ устни! Тънкитѣ ѝ чувствени ноздри, струваше се, трѣперѣха и се разширяваха, както подирь цѣлувка; отъ мургавитѣ ѝ бузи тѣй и вѣше огънь и здравие, раскошна младостъ и женска сила . . . Това чело никога не е размишлявало. Тя е нарисувана въ своя албански костюмъ; живописецътъ (майсторъ!) на кичилъ съ едно лозяно клонче черната ѝ, като смола, съ ясно-пепелянъ отблескъ коса: това вакхическо украшение отговаря както неможе да бжде по добръ на изражението на лицето ѝ. И знаешъ ли, кого ми напомнѣваше това лице? — моята Манонъ Леско въ черного черчеве. И което е най-чудно: гледайки на този портретъ, азъ си спомнихъ, че у Вѣра, при всичката голѣма разлика на чертитѣ ѝ, мѣрка се по нѣкога нѣщо-си прилично на тази усмивка, на този погледъ. . .

Да, повтарямъ: нито тя сама, нито пакъ другъ нѣкой на свѣта не знае още всичко, що се скрива въ нея. . .

Знаешъ ли! Елцова, прѣдъ свадбата на дѣщеря си, ѝ разказа всичкия си животъ, смъртъта на майка си и т. н. т., вѣроятно съ поучителна цѣль. На Вѣра особено е подѣйствувало онова, което е чула за дѣдо си, за този таинственъ Ладановъ. Не отъ това ли тя вѣрва въ привиденията, и тѣй свѣтла, а се страхува отъ всичко мрачно, подземно и вѣрва въ него. . .

Но стига. Защо ли ти пиша всичко това? Впрочемъ понеже то е написано вече, то нека да върви.

Твой П. Б.

Писмо седмо.

(Отъ сжщия до сжщия).

Село М...ое, 22 августъ.

Зимамъ се за перото подирь десетъ дена отъ послѣдното ми писмо. . . О приятелю мой, азъ немога да скривамъ повече. . . . Колко ми е тежко! колко азъ я любя! Можешъ ли ти да си прѣдставишь, съ какво горчиво потрѣпервание ти пиша тази фатална дума? Азъ не съмъ дѣте, не съмъ дори и младъ момъкъ; азъ нѣмамъ вече онази възраст, когато да излъжешъ другиго е много мъчно, а самъ себе-си да излъжешъ е съзсѣтъ лесно. Азъ всичко зная и виждамъ ясно. Зная, че имамъ близу четвирдесетъ години, че тя е жена на другиго, че отъ нещастното чувство, което ме е обхвацало, азъ, освѣнъ тайни мъчения и съвършено изгубва-

ние жизненитѣ си сили, нѣма какво да очаквамъ, — всичко това зная, на нищо не се надѣвамъ и нищо не искамъ; но отъ това не ми е по-леко. Още прѣди единъ мѣсець захванахъ да забѣлѣзвамъ, че увлечението ми къмъ нея става се по-силно и по-силно. Това до нѣйдѣ ме смущаваше, донѣйдѣ дори и ме радваше. . . Но можехъ ли да очаквамъ, че съ мене ще се повтори всичко онова, на което, струваше ми се, както и на младостта, нѣма връщание? Но какво казвамъ! Така азъ никога не съмъ любилъ, не, никога! Манонъ Леско, Фретилони — ето кои сж били моитѣ идоли. Такива идоли да разбиешъ е лесно; а сега . . . само сега разбрахъ, какво ще рѣче да залюбишъ жена. Срамъ ме е дори и да говоря за това; ама то е тѣй. Срамъ ме е Любовта е сѣ-пакъ егоизмъ; а пакъ въ моитѣ години да бжде човѣкъ егоистъ не е позволено: не можешъ на тридесетъ и седмъ години да живѣешъ за себе-си; трѣбва да живѣешъ съ полза, съ цѣль на земята, да изпълнявашъ дългътъ си, работата си. И азъ бѣхъ се захваналъ за работа. . . . Ето пакъ всичко е развѣено, като отъ вѣтъра! Сега чакъ разбирамъ, за което ти бѣхъ писалъ въ първото си писмо; сега разбирамъ, какво испытание не ми е достигало. Какъ ненадѣйно падна този ударъ надъ главата ми! Стоя и безсмисленно гледамъ напредъ: черна завѣса се е спуснала прѣдъ самитѣ ми очи; на душата тежко и страшно ми е. Азъ мога да сдържамъ себе-си, външно съмъ спокоенъ не само при хората, но и на-самъ; че и нѣма да зема да лудувамъ, най-подиръ, като дѣте! Но червея е влѣзълъ въ сърдцето ми и го подяда день и нощъ. Какъ това ще се свърши? До сега въ нейно отсъствие съмъ тжгувалъ и съмъ се вълнувалъ, а при нея на часа съмъ утихвалъ. . . . Пакъ сега азъ при нея не съмъ спокоенъ — ето що ме плаши. О приятелю мой, колко е тежко да се срамувашъ отъ съязитѣ си, да ги криешъ! . . На една младостъ е позволено само да плаче; само на нея съязитѣ приличать.

Немога да прѣчета това писмо; то неволно се истърва отъ гждитѣ ми, като единъ стонъ. Немога нищо да притура, нищо да ти разкажа. . . Дай ми врѣме: ще се свѣстя, ще усмиря вълненieto на душата си, ще приказвамъ съ тебе, като мжжъ, а сега бихъ искалъ да присловия главата си на твоитѣ гжди и . . .

О Мефистофель! и ти ми не помагашъ. Азъ се спрѣхъ съ цѣль, съ цѣль раздражавахъ въ себе си ироническата жилка, припомнѣвахъ на самага себе, колко смѣшни и глупави же ми се покажатъ слѣдъ една година, слѣдъ половинъ година тѣзи тжжби, тѣзи излияния. . . Не, Мефистофель е безсиленъ, и зжба му е притѣялъ. . . Сбогомъ.

Твой П. Б.

Писмо осмо.

(Отъ сжщия до сжщия).

Село М...ое, 8 Септември 1850 г.

Любезний ми приятелю, Симеонъ Николаичъ !

Ти твърдѣ близу до сърдце си приелъ послѣдното ми писмо. Ти знаешъ, колко наклоненъ съмъ билъ винаги къмъ прѣуголѣмяване на моятѣ чувствования. Това нѣкакъ-си неволно става у мене : бабешка натура ! Съ годиниѣ, то разбира се, ще мине ; но, признавамъ се съ въздишка, до сега азъ се още не съмъ се поправилъ. А за това успокой се. Нѣма да отричамъ впечатлѣнието, което ми е направила Вѣра, но се-пакъ ще кажа : въ всичко това нѣма нищо чудно. Да додешъ ти тукъ, както ми пишешъ, нѣма за що. Да вървишь хиляди «версти», бозна за какво — та това е лудостъ ! Но азъ ти съмъ много благодаренъ за това ново доказателство на твоето приятелство и, вървай ми, никога нѣма да го забравя. Твоето пътувание тука за това още е неумѣстно, че азъ самъ се жая скоро да дода въ Петербургъ. Сѣдѣщемъ на твоето канале, ще ти разкажа много нѣща, ама сега право да ти кажа, не ми се иска : какво санкимъ, мога пакъ да се задрънкамъ и нѣщо да събъркамъ. Прѣди трѣгванието ми азъ пакъ ще ти пиша. И тъй, до скоро виждане. Огани съ здравие и добро, и недѣй жали много за сѣдбата на

искренния ти *П. Б.*

Писмо девето.

(отъ сжщия до сжщия).

Село П...ое, 10 Мартъ, 1853 г.

Дълго врѣме има, отъ както не съмъ ти отговорилъ на писмото ; прѣзъ всички тѣзи дни за него мислѣхъ. Усѣцахъ, че ти си го написалъ не отъ празно лобопитство, а отъ истинно приятелско съчувствие, но азъ се двоумѣхъ : дали да послушамъ съвѣта ти и да изпълня желанието ти ? Най-наподиръ азъ се рѣшихъ ; всичко ще ти разкажа. Ще ми стане ли по-легко отъ моето исповѣдане, както ти мислишь, не знамъ ; но чини ми се, че нѣмамъ право да скривамъ отъ тебе онова, което за винаги ми е измѣнило живота ; чини ми се, че азъ дори и бихъ останалъ виновенъ . . . уви ; още по-виновенъ прѣдъ онази незабравима, мила сѣнка, ако не бихъ искавалъ скърбната ни тайна на единичкото

сърдце, което аз цѣня още скъпо. Само ти единъ, може би, на земята помнишь за Вѣра и ти разсждавашъ за нея легкомисленно и криво; това не мога да прѣгълтна. Научи всичко. Уви! всичко това може да се искаже съ двѣ думи. Онова, което е било между васъ, мѣрна се въ единъ мигъ, както мълния, и както мълния донесе смъртъ и гибелъ. . .

Отъ тогава, отъ когато я нѣма вѣче, отъ тогава, отъ когато азъ додохъ да живѣя въ това затѣнчено мѣсто, което нѣма да оставя до края на днитѣ си, минаха се повече отъ двѣ години, и всичко е тъй ясно въ паметта ми, тъй е горчива горѣстята ми. . .

Азъ нѣма да зема да се оплаквамъ. Оплакванията, наистина, като раздражаватъ, умиряватъ скърбта, но не моята. Ще зема да ти разказвамъ.

Помнишь ли послѣдното ми писмо — онова писмо въ което искахъ да ти разсѣя страхуванята и те прѣдумахъ да не трѣгвашъ отъ Петербургъ? Ти подозрѣ тогава неговата искрення откровеностъ, не повѣрва за нашето скоро виждане: и бѣше правъ. Въ надвѣчерieto на онзи день, когато ти писахъ, азъ узнахъ, че тя ме люби.

Като написахъ тѣзи думи, азъ разбрахъ, до колко ще ми бѣде мъчно да продължавамъ разказа си до края. Неотстранимата мисль за смъртъта ѝ ще ме яде съ двойна сила, мене ще горятъ тѣзи въспоминания. . . Но азъ ще се потрудя да събера силитѣ си и, или ще захвърля писанieto, или пакъ нѣма да кажа непотрѣбна дума.

Ето какъ узнахъ, че Вѣра ме люби. Прѣди всичко трѣбва да ти кажа (и ти ще ми повѣрвашъ), че до онзи день азъ рѣшително нищо не подозирахъ. Наистина, тя по вѣкогажъ бѣше зела да се позамислива, което съ нея понапрѣдъ не ставаше; но азъ неразбиряхъ отъ какво произлизаше това. Най насѣтнѣ, единъ день, на 7 септемврий — паметенъ за мене день — ето що се случи. Ти знаешъ, какъ я любѣхъ и до колко ми бѣше тѣжко. Азъ се скитахъ, като сѣнка, свѣрталище немощехъ да си намѣря. Азъ искахъ да остана въ къщи, но не истърпѣхъ и утидохъ при нея. Намѣрихъ я сама въ стаята ѝ. Приемковъ не бѣше дома: той бѣ утишелъ на ловъ. Когато влѣзохъ при Вѣра, тя внимателно ме погледна и не ми отговори на поздравлението. Тя сѣдѣше при прозореца: на колѣнитѣ ѝ имаше една книга, която на часа познахъ: то бѣше моя „Фаустъ“. Лицето ѝ изражаваше измъчване. Азъ сѣднахъ на грѣща ѝ. Тя ме помоли да и прочета овази сцена на Фаустъ съ Грегенъ, гдѣто тя го пита, дали вѣрва той въ Бога. Азъ зехъ книгата и наченахъ да чета. Когато свѣршихъ, азъ я погледнахъ.

Съ приложена глава къмъ гърба на вреслото и съ скръстосани рѣцѣ, тя се тъй внимателно ме гледаше.

Не знамъ, защо сърцето ми затупа еднага пб-силно.

— Какво вий направихте съ мене! продума тя полегка.

— Какъ? взрѣкохъ азъ съ смѣщение.

— Да, какво вий направихте съ мене! повтори тя.

— Вий искате да кажете, захванахъ азъ: — защо ви убѣдихъ да четете такива книги?

Тя стана мълачешкомъ и излѣзе вѣнъ възъ стаята. Азъ гледахъ подиръ нея.

На прага на вратата тя се спрѣ и се обърна къмъ мене.

— Азъ ви любя, каза тя: — ето какво вий направихте съ мене.

Кръвта ми се хвърли въ главата.

— Азъ ви любя, азъ съмъ залюбена въ васъ, повтори Вѣра.

Тя излѣзе и затвори подиръ си вратата. Не искамъ да ти описвамъ, какво произлѣзе тогава съ мене. Помня, азъ излѣзохъ въ градината, скрихъ се въ едно затѣтно мѣсто изъ гжсталака, опрѣхъ се о едно дърво и до колко време тамъ постояхъ, немога да кажа. Азъ като че-ли се упоихъ; чувството на блаженство по нѣкога като вълна обхващаше сърцето ми . . . Не нѣма да говоря за това. Гласа на Примкова ме събуди отъ вледенѣлото състояние; пратили били да му кажатъ, че азъ съмъ дошълъ: той се билъ завърналъ отъ ловъ и зель да ме търси. Той се очуди, като ме намѣри въ градината самъ безъ шапка, и поведе ме въ къщи. «Жена ми е въ гостоприемната стая — продума той — хайде да идемъ при нея». Ти можешъ да си прѣдставишь, съ какви чувства прѣстѣпихъ прагътъ на пруста. Вѣра сѣдѣше въ катътъ и шиеше нѣщо на гергефъ; азъ я погледнахъ крадешкомъ и дълго време подиръ не си поддигахъ очитѣ. За мое очудвание, тя се показваше спокойна; въ онова което тя говорѣше, въ звука на гласа ѝ не се слушаше вълнение. Най-подиръ азъ се рѣшихъ да я погледна. Погледатѣ ни се срѣгнаха. Тя мъничко се исчерви и се наведе надъ канвата. Азъ зехъ да я наблюдавамъ. Тя като че недоумѣваше нѣщо; невесела усмивка по нѣкога заиграваше на устнитѣ ѝ.

Примковъ излѣзе. Тя токо-отведнажъ поддигна главата си и съ единъ доста високъ гласъ ме попита:

— Какво мислите вий да правите сега?

Азъ се смутихъ и бързо, съ въздържанъ гласъ, отговорихъ, че имамъ намѣрение да изпълня дългътъ на честенъ човѣкъ — да

се отстраня, «защото — притурихъ азъ — азъ ви любя, Вѣра Николаевна, вий, вѣроятно, отколѣ сте забѣлѣжили това.» Тя пакъ се наведе надъ канвата и се замисли.

— Азъ трѣбва да поприказвамъ съ васъ, продума тя: елате днесъ вечерята слѣдъ чая въ нашата кѣщичка, знаега, гдѣто вий четохте „Фаустъ“.

Ти каза това тѣй ясно, щото азъ и сега немога да разбера, какъ Препимковъ, койго въ сѣщата минута влизаше въ стаята, не чу нищо. Полегка, мжчително полегка прѣмина този день. Вѣра по-нѣкога се озърташе съ такъво изражение, като че питаше себе-си: да ли не снува? И въ сѣщото врѣме на лицето ѝ бѣ написана рѣшимость. А пакъ азъ . . . азъ не можехъ да дода въ себе-си. Вѣра ме любя! Тѣзи думи безпрѣстанно се въртѣха изъ главата ми: но азъ не ги разбирахъ, не разбирахъ нито себе-си, нито пъкъ нея. Азъ не вѣрвахъ на такъво щастие, коего тѣй неочакванно ме покърти: съ трудъ си спомѣнавахъ за минжлото, а и сѣщо гледахъ, говорѣхъ като на снѣ. . .

Слѣдъ чая, когато азъ вече захващахъ да мисля, като какъ да искоча изъ кѣщи, щото никой да не ме види, тя сама веднага изяви, че иска да се поразходи, и ми прѣдложи да я придружа. Азъ станахъ, зехъ капелата си и трѣгнахъ подирѣ ѝ. Азъ не дръзвахъ да заприказвамъ, едвамъ дишехъ, чакахъ първата ѝ дума, чакахъ обясненията ѝ; но тя мълчеше. Мълчешката додохме ний до китайската кѣщичка, мълчешката влѣзохме въ нея, и тукъ — азъ до сега не зная, какъ това стана — ний ненадѣйно се видѣхме въ пригръдкитѣ единъ на други. Нѣкаква си невидима сила гласна мене къмъ нея, нея къмъ мене. При гаснѣющата свѣтлина на деня, нейното лице, съ отхвърлени назадъ кѣдряви косми, въ единъ мигъ се озари съ една усмивка на самозабравяние и нѣжнѣсть, и нашитѣ устни се слѣха къ цѣлувка. . .

Тази цѣлувка бѣ първа и послѣдня.

Вѣра веднага се откъсна отъ рѣцѣ ми и, съ широко отворени очи, които изражавахъ ужасъ, дръпна се надирѣ. . .

— Погледнете, каза ми тя съ единъ гласъ, който трѣпереше: — вий нищо ли не виждате?

Азъ бързо се обърнахъ.

— Нищо. А вий мигаръ виждате ли нѣщо?

— Сега невиждамъ. ама видѣхъ.

Тя дълбоко и рѣдко дишеше.

— Кого? що?

— Майка ми, продума тя полегка и цѣла се разтрѣпера.

Азъ тъй сжщо трѣпнахъ, като че студенина ме обхвана. Менѣ отведнажъ ми стана страшно, като на прѣстѣпникъ. Че нема азъ ме бѣхъ прѣстѣпникъ въ тази минута?

— Е, стига! рѣкохъ азъ : — защо вий ставате такъва? Кажете ми по-добрѣ. . .

— Не, бога ми, не! прѣкъсна ме тя и се хвана за главата си. — Това е безумие. . . Азъ полудявамъ. . . Съ това немощеш да се шегувашъ — това е смъртъ. . . Сбогомъ. . .

Азъ ѣ протѣгнахъ ржката си.

— Почакайте, моля, малко, извикахъ азъ съ единъ неволенъ поривъ. Азъ незнаехъ, що говорѣхъ и едвамъ се държехъ на краката си. — Моля. . . това е жестоко.

Тя ме погледна.

— Утрѣ, утрѣ вечеръ, бързо заговори тя : — не днесъ, моля ви се . . . идете си днесъ . . . утрѣ вечеръ елате при вратичката на градината, гдѣто е до езерото. Азъ тамъ ще бжда, ще дода . . . заклѣвамъ ти се, че ще дода, притури тя съ увлечение, и очитѣ ѣ свѣтнаха : — който и да ме спира, заклѣвамъ се! Азъ всичко ще ти кажа, само пустни ме днесъ.

И прѣди да мога да продумамъ една дума, тя се изгуби.

Покъртенъ до дъното на душата, азъ останахъ на мѣстото си. Главата ми се въртѣше. Заедно съ безумната радостъ, която пълнѣше цѣлото ми сжщество, азъ усѣщахъ и мъка. . . Азъ погледнахъ. Страшна ми се показа глухата, влажна стая, въ която стоехъ, съ нейния низкъ сводъ и съ тъмнитѣ ѣ стѣни.

Азъ излѣзохъ внѣ и трѣгнахъ полегка къмъ кжщата. Вѣра ме чакаше на чардака; щомъ като се приближихъ, тя влезе въ кжщи, и на часа се отдалечи въ спалната си стая.

Азъ си утидохъ дома.

Какъ прѣбварахъ нощъта и другия день до вечеръта — това не мога ти описа. Помня само, че азъ лежехъ на гърди съ скрито въ ржцѣтѣ лице, спомнѣвахъ си за нейната усмивка прѣди цѣлуването, шепнѣхъ си : «я гледай я най-наподиръ. . .»

Спомнѣвахъ си сжщо за думитѣ на Елцова, които ми събщи Вѣра. Тя и казала единъ пжтъ : — «ти си като ледъ : до като се не растопишъ, си ягка като камень, а катъ се растопишъ, и прахъ отъ тебе нѣма да остане.»

Ето още какво ми дохаждаше на умъ : ний нѣкакъ си приказвахме съ Вѣра за това, какво ще рѣче знание, талантъ.

— Азъ зная само едно, каза тя : — да мълча до послѣдната минута.

Азъ тогазъ нищо неразбирахъ.

«Но какво значи оплакването ѝ? питахъ азъ себе-си. . . — Нема тя наистина е видѣла Елцова? Въображение!» мислѣхъ си азъ и пакъ се прѣдавахъ въ чувствата на очакване.

Въ тоя день азъ бѣхъ ти написалъ — съ какви мисли, страшно ми е да си спомня — онова лукаво писмо.

Вечерта слънцето още не бѣ залѣзло — азъ вече стоехъ на петдесетъ раскрача далечъ отъ вратичката на градината, въ високата и гъста лозница при брѣга на езерото. Азъ отъ дома додохъ пѣши. Признавамъ се за мой срамъ: страхъ, страхъ най-малодушенъ пълнеше грудитѣ ми, азъ безпрѣстанно потрѣпвахъ . . . но не чувствувахъ раскаяние. Скрыть между клонѣтѣ, азъ не си дигахъ очитѣ отъ вратичката. Тя не се растваряше. На, залѣза слънцето, на, смръкна се; на, вече звѣздитѣ се показаха, и небего почернѣ. Никой не се появяваше. Трѣска ме растрѣсе. Настъпи ноцта. Азъ неможехъ повече да търпя, дебнишкомъ излѣзохъ изъ лозницата и додохъ до вратичката. Всичко бѣше тихо въ градината. Викнахъ полегичка, съ шумнение, «Вѣра!», викнахъ втори пѣтъ, трети. . . Никакъвъ гласъ не ми се отзова. Мина още половинъ часъ, мина цѣлъ часъ; съвсѣмъ тъмно стана. Прѣмаляхъ отъ очакване; дръпнахъ къмъ себе вратичката; изведнажъ я отворихъ и на прѣстѣтѣ, като крадецъ, трѣгнахъ на къмъ кѣщата. Азъ се спрѣхъ въ сѣнката на липитѣ.

Въ кѣщата токорѣчи всичкитѣ прозорци бѣха осветени: хора ходѣха назадъ-напрѣдъ изъ стаятѣ. То ме очуди: часовника ми, до колкото можахъ да различа при слабата свѣтлина на звѣздитѣ, показваше одинадесетъ и половина. Отведнажъ се раздаде тропотъ задъ кѣщата: пайтонъ влѣзе въ двора.

«Вижда се, гости сж» помислихъ си азъ. Когато изгубихъ всѣкаква надѣжда да видя Вѣра, азъ излѣгохъ отъ градината и съ бързи крачки трѣгнахъ за дома. Ноцта бѣше тъмна, септемврийска но топла и безъ вѣтъръ. Чувството не толкова на ядѣтъ, колкото на скърбѣта, което бѣше ме овладѣло, се разсѣя полегка-легка, и азъ се завърнахъ у дома, малко уморенъ отъ бързото ходение, но успокоенъ огъ тишината на нещта, щастливъ и токорѣчи веселъ. Азъ влѣзохъ въ спалната си стая исплѣдихъ Тимотей, безъ да се събличамъ, тръшнахъ се на кревата и се замислихъ дълбоко.

Отпървенъ моятѣ мечти бѣхъ отрадни; но скоро заблѣжихъ въ себе си чудно промѣнение. Азъ зехъ да усѣщамъ нѣкаква си тайна мжка, която ме гризеше, нѣкакво си дълбоко, вътрѣшно безспокойство. Азъ неможехъ да разбера, отъ какво то произлизаше;

но ставаше ми страшно и тъжно, като че нѣкое си близко нещастие идѣше да ме сполѣти, като че нѣкой си милъ страдаше въ тази минута и ме викаше на помощъ. На масата воцената свѣщъ горѣше съ малѣкъ, неподчиженъ пламѣкъ, махалото цѣкаше тѣжко, равномерно. Облегнахъ главата на ржката си и зехъ да гледамъ въ празния полумракъ на моята осамотена стая. Помислихъ за Вѣра, и сърдцето ми се сви: всичко, на което азъ тѣй се радвахъ, показва ми се, както то и трѣбваше да бѣде, нещастие, безисходно опропастванне. Чувството на мъка въ мене растѣше и растѣше, азъ неможехъ да лежа повече; отведнажъ пакъ ми се пристори, че нѣкой си ме вика съ умоляющъ гласъ. Поддигнахъ главата си и трѣзнахъ; и наистина, азъ се не лѣжехъ: жалостенъ викъ долетѣ отъ далече и се доурѣ, слабо трѣперайки, до чернитѣ стѣни на прозорцитѣ. Стана ми страшно: азъ скочихъ отъ кревата, отворихъ прозореца. Едно явствено стенание се втурна въ стаята и като-че се завъртя надъ мене. Студени трѣпки ме обзеха отъ ужасъ, азъ внимавахъ на послѣднитѣ му ечения, които тихо, полегка-легка се изгубваха въ околната тишина. Струваше ми се, че нѣкого колятъ татѣкъ далече, и злочестия напраздно се молеше да го простятъ. Дали бухъла бухна въ гората, или друго нѣкое същество издаде това стѣнанне. азъ тогава не се спрѣхъ да помисля, но, както Мазепа на Кочубей, отговорихъ съ викъ на зловѣщия гласъ.

— Вѣра, Вѣра! извикахъ азъ: — ти ли ме викашъ? Тимо-тѣй, снливъ и очуденъ, се яви прѣдъ мене.

Азъ додохъ въ себе си, испиохъ една чаша вода, утидохъ въ друга стая; но съвъ не ме хвана. Сърдцето ми тупаше болѣзненно, макаръ и по-нарѣдко. Азъ вече неможехъ да се прѣдавамъ на мечтитѣ за щастие; азъ вече не вѣрвахъ въ него.

На заранята прѣди обѣдъ азъ се ухитихъ къмъ Приемковъ. Той ме посрѣшна съ загрижено лице.

— Жена ми е болна, каза той: — лежи въ постелката; пращахъ за доктора.

— Какво ѝ стана?

— Не зная. Вчера вѣчеръ бѣ утишла въ градината и, не-чешъ ли, върнала се не въ себе си, исплашена. Слугинята се затече при мене. Дохаждамъ, питамъ жена си: какво ти е? Тя нищо не ми отговаря и на часа легна; прѣзъ нощта зе да блънува. Въ блънуваннето си Богъ знае какво говорѣше, васъ спомѣнуваше. Слугинята ми каза едно нѣщо за чудение: ужъ на Вѣрочка се при-видѣла въ градината покойната ѝ майка, ужъ ѝ се показало, че-тя иде при нея на срѣца, съ расворени ржцѣ.

Ти можеш да си прѣставиш, какво почувствувахъ азъ при тѣзи думи.

— Разбира се, това е празна работа, продължаваше Приимковъ : — обаче, азъ трѣбва да се призная, че съ жена ми и други пѣтъ се сж случвали такива необикновени пѣща.

— И, кажете ми, Вѣра Николаевна много ли е болна ?

— Да, болна е : прѣзъ нощъта злѣ бѣше ; сега тя е въ не-свѣсть.

— Какво каза доктора ?

Доктора каза, че болѣстьта още не може да се опрѣдѣли. . .

12 Мартъ.

Не мога да продължавамъ тѣй, както съмъ захваналъ, любезний ми приятелю : това ми растворя твърдѣ много ранитѣ и за него употребявамъ много голѣми усилия. Болѣстьта, спорѣдъ думитѣ на доктора, се опрѣдѣли, и Вѣра умрѣ отъ тази болѣсть. Тя двѣ недѣли не живѣ подиръ фаталния день на нашето свиждане. Азъ я видѣхъ още единъ пѣтъ прѣди умиранieto ѝ. Азъ нѣмамъ въспоминание по-жестоко. Азъ вече знаехъ отъ доктора, че нѣма надѣжда. Кѣсно прѣзъ вечеръта, когато всички бѣха си легнали въ кѣщата, азъ полегичка додохъ до вратата на спалната ѝ стая и я погледнахъ. Вѣра лежеше въ постелката съ затворени очи, суха, мъничка, съ трѣскава червенина на бузитѣ. Като вдървенъ, азъ я гледахъ. Отвѣднажъ тя раствори очитѣ си, обърна ги къмъ мене, вгледа се и, като протѣгна възсѣхналата си рѣка —

Що иска той на осветеното мѣсто.

Тозъ . . . на тозъ . . . *)

произнесе тя съ единъ гласъ до толкова страшенъ, щото азъ зехъ да бѣгамъ. Тя токорѣчи прѣзъ всѣкото врѣме на болѣстьта си е бѣлпувала за «Фаустъ» и за майка си, която наричала ту Марта, ту майка на Гретхенъ.

Вѣра умрѣ. Азъ бѣхъ на погрѣбението ѝ. Отъ тогава азъ напуснахъ всичко и се прѣселихъ тукъ за винаги.

Поразмисли сега за това, което ти расказахъ ; поразмисли за нея, за това сжщество, което тѣй скоро загина. Какъ това се случи, какъ да се обясни тази непонятна памѣса на мъртвия въ дѣлата на живия, азъ не зная и никога нѣма да зная : но ти разбери, че не припадѣка на каприциозната меланхолия, както ти се изража-

*) Was will er dem heiligen aort

Der pa . . . dor dort . . .

Фаустъ. I часть. Последната сцена.

ваш, ме накара да се отдалеча отъ обществото. Азъ не съмъ вече онзи, какъвто ти ме знаешъ : азъ въ много работи вѣрвамъ сега, въ които не вѣрвахъ по-прѣди. Азъ прѣзъ вкличкото това врѣме твърдѣ много мислихъ за тази нещастна жена (на-смалко щѣхъ да кажа : мома), за нейното происхождение, за тайната игра на орисницата, която ний, слѣбитѣ, наричаме слѣвъ случай. Кой знае, колко сѣмена остави на земята всѣки човѣкъ, които (сѣмена) сж осждени да покарать само подиръ смъртъта му ? Кой може да каже, съ каква таинственна верига е свързана сждбината на човѣка съ сждбината на неговитѣ дѣца, на неговото потомство, и какъ се отразавать върху тѣхъ неговитѣ погрѣшки ? Ний всинца трѣбва да се смиримъ и да наведемъ глава прѣдъ Незнайното.

Да, Вѣра загина, а азъ останахъ цѣлъ. Помня, когато бѣхъ още дѣте, ний въ къщата си имахме една хубава ваза отъ прозраченъ алебастръ. Нито едно петненце не грозѣше нейната моминска бѣлизнина. Веднажъ, като останахъ самичкъ, азъ захванахъ да влгата цоколтъ, на който тя стоеше . . . и, не щешъ ли, вазата пада и се разбива на парчета. Азъ останахъ вдървенъ прѣдъ парчетата. Баща ми влѣзе, видѣ ме и ми рече : «на, гледай, що направи ти : нѣма вече да имате нашата хубава ваза ; сега вече съ нищо неможе да се поправи тя». Азъ заплакахъ. Показа ми се, че съмъ извършилъ прѣстѣпление.

Азъ станахъ мъжъ — в легкомисленно разбихъ ссждъ хиляди пжти по-сжжпоцѣненъ . . .

Напусто си казвамъ, че неможехъ да очаквамъ такъва мигновенна развирьска, че тя ме покърти съ своята ненадѣйность, че азъ не подозирахъ, какво сжщество е била Вѣра. Тя наистина е знаела да мълчи до послѣдната минута. Азъ трѣбваше да бѣгамъ, щомъ като почувствувахъ, че я любя, любя омжжена жена ; но азъ останахъ, — и разбихъ на парчета прѣкрасното създание, и съ нѣмо отчаяние гледамъ на извършената съ мене работа.

Да. Елдова ревниво пазеше дъщеря си. Тя я упази до края и, при първата непрѣдпазлива стжпка, я занесе съ себе-си въ гроба.

Врѣме е да свърша . . . Азъ и стотната часть не съмъ ти казалъ отъ онова, което трѣбваше да ти кажа ; но отъ мене стига и това. Нека пакъ падне на дъното на душата ми всичко, което исплува . . . На свършване ще ти кажа : едно убѣждение азъ искарахъ отъ ошита на послѣднитѣ години : живота не е шегя и не е забава, живота дори не е и наслаждение . . . живота е тѣжъкъ трудъ. Отречение, отречение постоянно — ето тайния му смислъ, отгадката му ; не изпълнението на любимитѣ мисли и мечтания,

колкото и възвишени да сж били тѣ, — изпълненнието на дълга, ето за какво трѣбва да се грижи човѣкъ; безъ да си тури вериги, желѣзнитѣ вериги на дълга, той неможе до, не падайки, до края на своето поприще, а пакъ въ младостта си ний мислимъ: колкото е по-свободно, толкова е по-добрѣ, толкова по-далече ще утидешъ. На младостта е позволително тѣй да мисли; но срамно е да се угѣшавашъ съ плюзии, когаго строгого лице на изгината ти погледне най-подиръ въ очитѣ.

Сбогомъ! По напредъ азъ бихъ притурилъ: бѣди щастливъ; сега ще ти кажа: старай се да живѣешъ, то не е тѣй лесно, както ни се чини. Спомнѣвай си за мене, не въ часоветѣ на скърбта — въ часоветѣ на размишленията, и пази въ душата си образа на Вѣра въ всячката му чисга непорочность. . . . Още единъ пжъ, сбогомъ!

Твой П. Б.

Г. А. Миндовъ.

ЖАННА-ЦВѢТЕ.

Огъ

Натулъ Мендесъ

(Прѣводъ отъ французски).

Тя бѣше тѣй хубава и младичка, съ такъва нѣжна руменина на бѣлото лице, отъ нея се разнасеха такива крѣхки тънки благоухания, като отъ напоенъ съ меризми ситѣгъ, та дори срѣдъ-зима, на улицата или изъ пжтьтъ, кога минувахте покрай нея като че ли вървѣхте наредъ съ мѣсець Априлий.

При всичко това Жанна изгледваше умислена, почти навжсена, кога една заранъ се расхождаше покрай гората, гдѣто слънцето позлатива мъховетѣ, помежду меккитѣ мрѣжи, що се образуватъ отъ сѣнката на осенитѣ. Загрижена, че я вижда печална, една съ-вършено мѣничка фея, въ лилеково атлазено облѣкло, съ глава не по-едра отъ зърно маргаритъ, накинчена съ срѣбъренъ вѣнецъ, излѣзе изъ подъ единъ листъ, и проговори съ гласъ на щурець, който би се научилъ да приказва.

— Е! Жанно, кумичке, отъ що тая умисленность! Азъ ви дадохъ всичко, за което мечтаятъ младитѣ момичета: коса златно-

руса като кукурузъ, очи сини като теменужка, страни като млѣко, въ което като че има растопени ягоди, и ходъ легкъ като на пгичка, най-послѣ, радостта да чувате младитѣ момци, щомъ ви зарнатъ, да си шепнатъ въ възхищение: «Ахъ! защо ли не ми е дарувано да съмъ сжпругъ на тая!» Наистина, азъ не мога да си обясня, отъ какъдѣ тая угриженность.

Безъ да отговори, Жанна въздхна.

— Да не би, облѣчена въ тъменъ вънепникъ, каза добрата малка фея; да сте видѣли въ градътъ изъ мазитѣ кадифе и свиленни платове, съ които желаете да се накичите, и да не би да искате да промѣните вашитѣ малко нѣщо корави, обути на босъ кракъ нагъми на други атлазени пангофки съ златни ширити.

Жанна пакъ въздхна.

Да не ви е омръзнало да ѣдете простъ хлѣбъ съ диви черники, които вапсватъ устнитѣ, да не ви е текнала охота да вкусите отъ хубавитѣ сладка, приготвени съ каймакъ и медъ, които се слагатъ за трапезата на богаташитѣ.

Жанна не прѣставаше отъ да въздиша.

— А! колко сте били щеславна, кумичке! На мѣсто да имате за баща и майка дърваръ и дърварка, които сбиратъ сжчки изъ горитѣ, да не би да прѣдпочитате да сте дъщеря на нѣкой всесленъ монархъ, отъ заранъ до вечеръ ка около ви да се навъртатъ двадесетина услужливи почетни дѣвойки, въ танцитѣ да ви подава ржка князь Визануръ или императорътъ на Голконда, въ зали съ подове отъ безцѣнни камъни.

Тогава Жанна се одързости.

— Не, кръстнице, каза тя. Азъ никога не мога да видя цвѣте, — цвѣтята сж тѣй хубави, — безъ да позавида, — искала бихъ да съмъ горска теменуга.

Малката фея не била отъ оние, които обичатъ да противорѣчатъ; тя мислила, че кога человекъ обича хората, най-добръ е веднага да имъ услужва, безъ да се правятъ възражения противъ оние пожелания, които тѣ изказватъ.

— Нека желанието ви да се испълни, рекла тя.

И Жанна стана теменуга всрѣдъ позлатенитѣ на слънце мѣхове, подъ легката мрѣжа, която се образува отъ сѣнката на осенитѣ.

III.

Тя бѣше тѣй чудно благовонна, че дори при голѣмо пробирание, не бѣше възможно да се намѣри подобна теменуга. Тя се потуляше, до колкото се може, при дънерътъ на едно дърво, по-

между двѣ ягоди, но нѣмаше сила да забрани, што то дѣхътъ ѝ да се распростира въ въздухътъ, та цѣлъ денъ нѣмаше мира отъ заливени пчели и свади на пеперуди.

При все това тя нѣмаше изгледъ на задоволна; болѣзно-скръбна, тя се навождаше на своето тъничко стѣбло; роснитѣ капки, които я увлажаваха всѣко утро, изгледваха като ситни сълзи. Угрижена, че я вижда печална, феята съ лилековитѣ атлазени одѣжди се подаде изъ подъ единъ стрѣжъкъ трѣва и заприказва съ свойтъ гласъ на щурець, който обича да си побѣбре:

— Е! теменужке, моя кумичке, що още ви докарва мъжа? Нели всичко стана споредъ както желяехте? Не сте ли по-омайна отъ всички ваши горски посетрими? Наистина, не мога да си обясня, отгдѣ тие грижи у васъ.

Теменугата въздѣхна, както въздишатъ цвѣтията.

— Да не би, рекла добрата фея, да ви е детегвало да живѣете скрита въ тъмнина за винаги; и да не би да искате охолно да цѣвнете подъ блѣсъкътъ на слънцето?

Теменугата отново въздѣхна.

— Да не ви е омръзнало любезничанието на пеперудитѣ и пчелитѣ?

Теменугата не прѣставаше отъ да въздиша.

А! какъ сте щеславни, кумичке! На мѣсто да си растете незнайно възъ стволътъ на едно дърво, гдѣто може да ви смаже царвулътъ на нѣкой торлакъ, вие бихте желали да ви гледатъ, срѣдъ сиянието и веселието на нѣкое празднество, въ една отъ оние великолѣпни китайски вази, съ изобразени по тѣхъ гении съ златни брѣди и сѣднали царици въ облѣкла отъ газъ и ярво-огненъ атласъ?

Тогавъ теменугата се одързости:

— Не, кръстнице, каза тя. Но сега ми се струва, че теменугата е цвѣте малко нѣщо извънмѣрно тѣжно, съ свойтъ тъменъ цвѣтъ, та въ сжщность и дѣхътъ ѝ не е отъ най хубавитѣ. Наумявамъ си, че веднаждъ бѣхъ откъснала единъ токо що цвѣналъ хиацинтъ, цвѣтътъ му бѣ отъ оние, какъвто чловѣкъ може най хубавъ да си въобрази; азъ бихъ желала да съмъ хиацинтъ въ градина.

— Не виждамъ и за това нѣкаква прѣчка, рече феята.

И Жанна стана хиацинтъ срѣдъ искусно-изрѣзани лѣхи, въ градина цѣла облѣна съ слънчови зари.

III.

Но тя пакъ не биде задоволна.

Хиацинтъ, тя пожела да стане божуръ ; цвѣтътъ на хиацинтитѣ въ скоро врѣме прѣстана да ѝ се харесва. Огъ божуръ тя поиска да се обърне на крѣмъ ; божуритѣ ѝ се видѣха извънмѣрно червени. Слѣдъ крѣмъ тя поиска да стане на трендафилъ ; крѣмоветѣ ѝ се показаха много бѣли. И тя не се видя благодарна, дори когато се прѣвърна въ трендафилъ.

Е! розо, моя кумичке, каза феяга съ срѣбърнийтъ накитъ, що сега ви опечалва още. Не винаги ли всичко ставаше по ваше желание? Не сте ли вие толкова крѣпка и въсхитително благоуханна, като вашитѣ сестри въ градината? Наистина азъ не мога да отгатна причината на вашата тѣга.

Слѣдъ като въздъхна, Жанна отговори :

— Азъ бихъ желала да бѣда цвѣте таково изящно, подобно на което да не е имало, цвѣте по прѣврасно отъ теменугитѣ, хиацинтитѣ, божуритѣ, крѣмоветѣ и самитѣ рози, — цвѣте по-хубаво отъ всички цвѣтя!

— Добрѣ! та що не казахте това по рано! отвърна добрата фея и се изсмя;

И що произгѣзе подиръ това? Съ едно докосвание на свойтъ жезлъ, тя прѣобърна Жанна въ прѣдишна Жанна, — Жанна тѣй хубавичка и тѣй младичка, съ такава нѣжна руменина на бѣлото лице, и отъ която се разнасяха такива прѣсни и тънки благоухания, като отъ напоенъ съ меризми свѣгъ, та дорч срѣдъ зима, на улицата или изъ нѣтътъ, кога минавахте покрай нея, като че ли вървехте наредъ съ мѣсець Априлий.

НОВИЙ МИ ПРИЯТЕЛЪ.

РАСКАЗЪ

отъ

Густавъ Дрозъ.

(Прѣводъ отъ французски).

Случи ми се да се запозная съ него преди три недѣли, ей тамъ подъ върбата, и то досущъ случайно. Нѣкаква си вътрѣшна привързанность, обичливостъ, която се пораждаше, както ми се чини, отъ еднаквостьта на нашитѣ вкусове ни привързваше, сближаваше единъ съ други. Първи пѣтъ азъ го видяхъ и заблѣжихъ въ едно

голямо стадо отъ сини патки, които, като ме видяха, недовърчиво захванаха да мигатъ съ глупавитѣ си очи и послѣ съ всичката си сила захванаха да бѣгатъ, като наведоха на долу опашкитѣ си.

Само той си стоеше въ трѣвата безъ да се мърдне, като се изтягаше на слънцето. Като обърна къмъ мене своята хубава глава, той ме погледна безъ гордостъ и безъ страхъ и пакъ скри главата си подъ крилото. Колкото и бързо да бѣше онова погледнованне, азъ пакъ можахъ да забѣлѣжа въ него нѣкаква си меланхолия и омраза къмъ живота. А наоколо бѣше веселичко, видѣлично, радостно; слънцето трѣптеше съ червеникава свѣтлина по чистата зеленина; шурцитѣ свирѣха изъ трѣвата, а въ височината, въ ширината чучулгата пѣше своитѣ тъжни пѣсни.

Азъ кожемти се замислихъ за скръбта на моя съседъ. Той бѣше много хубавъ, тъй както стоеше замисленъ. Като се страхувахъ да го не уплаша, азъ полегичка извадихъ своята пѣтна книжка и захванахъ да изрисувамъ портрета му. Но макаръ че се пазѣхъ добръ, то пакъ забѣлѣжи, че азъ върша нѣщо, стана тихичко отъ своето спскайно мѣстище, заобиколи ме и, ужъ случайно, запре се задъ гърба ми. Сетнѣ, като си истегна главата красничко, погледна какво правя, и, като си подигна крилата, каза ми гжгливо, присмивайки се:

— Охъ, далечъ сте отъ природата миличкий!

Азъ се смаяхъ и, додѣ додя въ себе си отъ такава ненадѣйностъ, натарока бѣше вече въ водата.

Тѣй се свърши нашето първо запознавание. Като работѣхъ всѣки день на това мѣсто, азъ тѣй навикнахъ на моя всекогашенъ сплтникъ, щото той за скоро врѣме ми стана като необходимъ—и ний бѣхме вече приятели. Колкото повече се събирахъ съ него, толкози по-много и по-много намѣрвахъ азъ въ него голѣмо съпикасване и тънакъ умъ.

Единъ пѣтъ, като приказвахме, не знамъ какъ доде работата, щото той ми разказа своя миналъ животъ.

— Миличкий приятелю, захвана той, ако започна родословието си отъ далечъ, то трѣбва да ви кажа, че моя прадѣдъ билъ дивъ паторокъ, юначенъ, хубавецъ и буйна глава. За да се ява азъ на свѣтъ била причина неговата страсть. Той се предалъ на хубостта на една домашна патка, която тѣй сжщо го обичала, и двамата, той и тя, искарали на свѣта дванайсетъ нещастни дѣца, които никога не познавали своя баща,—скръбна сетнина на всѣки насполучливъ бракъ. Въ числото на тѣзи дванайсетъ билъ и моя беца, най-умний, но, за нещастие, и най-немирний воененъ ата-

фракъ, който се посвети да издава вѣстници. Тогази въ учената, въ литературната средина биле досущъ други обичаи, а не като ницѣшнитѣ. Макарь въ по-многого случаи неможало да имъ се откаже остроумието и тънкото перо, но пакъ и отпунстнатостта на правитѣ била твърдѣ голѣма, тъй щото моя баща, да кажамъ чакъ до смъртта си не се видялъ съ своитѣ родители и роднини. Азъ се родихъ въ трѣстиката, случая бѣше моя кръстникъ, мояга майка . . . но що ли сж тѣзи припомнявания? Азъ, милостивий господине, съвсѣмъ не познавамъ майка си и, да си кажа правичката, явилъ съмъ се на свѣтъ отъ една кокошка.

Той ме погледна нѣкакъ си искриво и продължи :

— Вий, както виждамъ, усмихвате се на това, че такива идеи могатъ да възлунуватъ патарока. Цѣлий вашъ човѣшкий родъ е привикналъ да гледа на насъ огъ егоястическа гледка и единичкий въпросъ, който ви кара да се замисляте за насъ, е — като какъ да ни соготвите: съ каша ли, или на яхния?

— Но моля ви се, отъ дѣ знаете всичко туй? — го прексинахъ азъ. — Напраздно мислите тъй.

— Не се мжчете да се оправдавате: всичко туй азъ знаа отъ опитъ, а много узнахъ и отъ лично съпикасание. Малко ли сж тѣзи отъ по между васъ, които се гордѣятъ съ себе си, съ своя умъ и величие, а пакъ мжчатъ насъ, бѣднитѣ животни. . . .

— Моля ви се, що се отнасяте до мене . . .

— Азъ нѣма да показвамъ на никого по именно — забѣлжжи ми той и горчива усмивка прѣмина по неговата клѣвка. — За да оправдаятъ сами себе си и своята жестокость къмъ насъ, хората казватъ, че ний сме безъ сърдце, безъ душа, безъ умъ . . . О, глушаци! . . . И подиръ туй тѣ се гордѣятъ съ своитѣ знания! Тѣ мѣрятъ нашитѣ чувства по своитѣ, наший животъ по своя животъ и тъй като ний не се занимаваме съ политика и пасемъ трѣва — то тѣ мислятъ, че наший животъ е на половина на тѣхний. То си е право, че тъй ний никога неще да се разумѣемъ, защото ний нямаме съвсѣмъ други принципи. Тѣ не знаятъ за нашата скръбъ и радость, а ний отъ наша страна не искаме да ги познаваме. Веднажъ азъ додохъ тука, на тази поляна и се случи та заварихъ съсѣднии кметъ; туй бѣше на другий день, отъ когато получи той нишанъ (ордѣнъ) и бѣше дошелъ тука, вижда се работата, да се понарадва на самъ съ него. Като ме видя — азъ тогазъ се грѣехъ на слъницето — той, като искаше да ми се курдисва съ таа играчка, обърна се къмъ мене и ми испречи право отъ преднишанътъ си. Азъ, разбирава се, се възвърнахъ и се махнахъ отъ

него за което той прѣзрително се усмихна и захвана да ме попържа. Този човѣкъ ме прѣзираше за туй, защото неговата играчка, за която той трепереше и се радваше като лудъ, на мене докарваше отвръщение само. А пъкъ азъ отъ своя страна мога да го обвинявамъ, че той не разбира, какво голѣмо наслаждение е, да се разохвашъ по трѣвата и сладко да спишъ на слънце, — че той не разбира много нѣщо отъ онова, което азъ напотивъ зная. Наистина, азъ не струвамъ за кметъ — подигра се смѣящецъ патарока — но за туй пъкъ и отъ кмета би излѣзалъ твърдѣ лошъ патарокъ, на когото всичкитѣ патки щѣха да се присмиватъ. Не е ли право?

Ний се разсмѣхме и двама и се смѣхме кожемити. Да си кажа правичката, патарока имаше право. Подиръ малко той отиде въ рѣчичката на онова мѣсто, дѣто дъното ѝ бѣше пѣсчливо и се наши вода.

— Азъ обикновено малко приказвамъ — каза ми той — и не свободно; вижда се, че всѣкой дългъ разговоръ ме прави да ожедиѣя. Но на това мѣсто азъ не мога да пия, безъ да си не припомня за една тѣжна случка. Тука отъ този камъкъ едно врѣме азъ първий пѣтъ се хвърлихъ въ водата. Азъ като че и сега виждамъ тази, която ми бѣше вмѣсто майка; тя плачеше, викаше, цапаше съ криле, обикаляше около рѣчичката и уплашено ни викаше да бѣгаме далечъ отъ водата. Отъ всичкитѣ си заварени дѣца тя най-много се кахъреше за сѣдбата на най-слабичкото, най-мъничкото и най-красивичкото изъ помежду насъ—общо обичаната Бѣлка.

— Нещастни, ще загините, ще умрете! . . . викаше тя, — Бѣлка, мила Бѣлка! — отчаяно викаше нашата майка — кокошка.

А ний безгрижничко, безъ да разбираме опасността, плувахме по течението на рѣчичката, като цапахме съ мъничкитѣ си крилца и загребахме сума вода съ гагичкитѣ си. Но на скоро захванахме да изгубваме силитѣ си; изведнаждъ азъ видяхъ, че Бѣлка гледа на мене съ ужасъ, защото не бѣше въ сила да устои въ вълната, която я теглеше на втрѣ въ водата. Бързо като свѣтковица се хвърлихъ азъ между нея и вълната и извѣкохъ бѣдното дѣте на брѣга. Отъ тогази тя стана за мене много скѣпа и мила и азъ посветихъ всичкий си животъ за служение на нея.

Тука патарока най-сладкოდумно ми расказа за любовта си съ Бѣлка, като се стараше да докаже всичката добрина на живота на паткитѣ прѣдъ човѣшкии животъ.

— Вий ми се вѣрите—каза той въ заключение—че въспроизвеждате природата; но азъ ви казвамъ, че вий никакъ не я познавате, нѣмате хаберъ отъ нея; вий гледате; ама нищо не ви-

дите, — едвамъ вѣшността може да различитѣ, а азъ на всѣгждѣ съмь проникналъ, всичко съмь разгледалъ и разбралъ.

— Но моля ви се, вий неможете да се мѣрнитѣ съ мене, защото моето гледание е много по голѣмо отъ вашето — докачихъ се азъ. — Азъ съ очитѣ си, съ моя бистъръ погледъ всичко мога да обгърна, — азъ виждамъ хоризонта, цѣли дървета, а не едно само клонче.

— Какви работи имамъ азъ съ вашитѣ хоризонти, когато ей тамъ, гдѣто ходя азъ, между трѣстиката има цѣлъ новъ свѣтъ; когато, като си гурна главата въ водата азъ виждамъ безкрайни равнини, най-голѣми гори и милиони живи сжщества по добри отъ мене и тебе? Истина, вий видите само едно малко парче отъ природата и пакъ сте сѣднали да мислите, че вашето зрѣние е по-голѣмо отъ моето. Наистина, вий сжщо сте единъ видъ патарокъ, приятелю мой; само че вашето малко парче отъ природата, което вий едвамъ разумявате, не ви задоволява, а азъ намѣрвамъ въ негово цѣлъ купъ радости и наслаждения.

Азъ се позачервихъ: мене ме смутиха мѣдрованията на патарока.

— Вашитѣ артистически наслаждения — продължи той, като си оправи полегка перата съ гагата си, — сж толкози малко, щото вий търкувате съ тѣхъ, а пакъ нашитѣ сж безъ дѣно, безкрайни; у насъ нѣма нито житейски буря, нито нужда да си изработваме едно парче хлѣбъ. Нашия животъ е непрѣкъснато гълтане, което вий не можете да разберете, защото вий сте създадени другояче. Богато ний сме сити — наслаждаваме се съ зрѣнието си; когато ума ни се насити съ познания, ний отиваме въ хларупата на старото дърво и си отпочиваме въ приятна, сладостна полудрѣмка. Вашитѣ поети сж само за туй поети, защото въ своя животъ макаръ веднажъ, макаръ за нѣколко минути сж били патароци, макаръ единъ часъ сж прѣкарвали лице съ лице съ природата, — въ гжсталака на гората, на брѣга на рѣчичката — като сж пълнили ума и сърдцето си съ тихо наслаждение въ тази мирна срѣдина. А ний, паткитѣ, само съ това се занимаваме и никога не ни дотегва живота. Виждалъ ли си ти нѣкога нѣкой захласнатъ патарокъ?

— Приятелю, — отговорихъ му — Вий нѣмате време за това: живота ви прѣминава толкозъ скоро . . .

Азъ се заприхъ, защото ми доде на умъ, че я прѣкалимъ. Приятеля ми поблѣдня.

— Вий събуждате у мене тѣжни спомѣни: онази която азъ любѣхъ, преди една недѣля свърши своя тѣженъ животъ. Нея е

уловила въ езерото, когато тя още спеше и още въ същия денъ азъ чувахъ плачове и охкания, които сърдцето ми раскъсваха, удари, и пакъ, но вече за послѣднѣ пхтъ, плачове и охкания . . . Огъ тогазъ азъ вече не чухъ нейния милъ гласецъ и не видяхъ моята скъпа Бѣлка . . . И за мене, разумяна се, ще бжде същата участь, но азъ се мъча да си не спомнямъ за това : ний всички ще умремъ на дръвника — такава е нашата урисица ; ний сме жертви, туй е право, но мигаръ и вий не сте жертви на вашитѣ страсти и воля ? Мигаръ вий не сте се кастрили по между си съ хиляди ? Мигаръ вий не си отсичате единъ другиму главитѣ, не се набивате на колове ? Мигаръ вий не сте взмислили стотини искусни орждия за да се убивате по между си по-искусно ? . . . Всичко туй надминава нашия дръвникъ, приятелю ! У насъ има баремъ туй утѣшение, че ний сме невинни за смъртта си и че не сме истребили сами нито една патка отъ по между ни . . . Трѣбва да се мисли че онзи, който управлява вашата съдба, не счита вашия животъ по съжпъ отъ нашия, защото се обръща къмъ него безъ да се събни, както си иска. Любопитно щѣше да е, както ми се струва, да може нѣкога нашата земя да се сблъска съ нѣкоя голѣма планета, на която да има същества, по-високостоящи отъ всѣка страна, отъ васъ, и тогава вий — царетѣ на нашето мѣничко кѣлбо — ще станете робове на друга, по вече силна страна ; и то робове ниски, нищожни и по умъ, и по тѣло, — кѣсичката и правичката казано ще станете нѣщо си като охлювче на шумака ! . . . а, не е ли любопитно ? . . . А пъкъ туй е нѣщо твърдѣ възможно и за върване. Да кажемъ, вий сте завладѣли цѣлъ редъ същества и стемъ станали глави, — хубаво, но кой ви е казалъ, че този редъ за васъ е създаденъ ? Най напрѣдъ вий не знаете, дѣ ся е захваналъ този редъ отъ същества ; не можете тѣй също да знаете, дѣ ще се и свърши . . .

Ив. Ст. Андрейчинъ.

СКАЛИТЪ НА ХАНСЪ ХЕЙЛИНГА

Чехско народно прѣданіе.

отъ

Теодоръ Кьорнеръ.

(Прѣводъ отъ нѣмски).

Едно време живѣялъ единъ богатъ селянинъ въ едно селце на рѣката Егеръ.

Прѣданіето не ни казва, какъ се е то наричало, но прѣдполага се, че то е лѣжало на лѣвия брѣгъ на рѣката Егеръ срѣщу доста познатото на всички карлсбадски посѣтители село Айхъ.

Вештъ, така се наричалъ селянинътъ, ималъ прѣлѣстна гиздава дъщеря — радостта и украшението на цѣлата мѣстность. Елисавета била дѣйствително много хубава и при това тѣй добра и възпитана, щото по онова време немогло лесно да се найде друга ней подобна.

Въ Вештовата къща се намирала една малка хижа, която принадабѣжала на младия Арнолдъ, чийто баща прѣди малко билъ се поминналъ. Арнолдъ се билъ научилъ на зидарскій занаятъ и се завърналъ за пръвъ пѣтъ пакъ въ отечеството си, когато баща му умиралъ. Той проливалъ като добръ синъ сърдечни сълзи надъ гробътъ на баща си; макаръ че той не му оставилъ въ наследство нищо освѣнъ една сиромашка хижа, но Арнолоъ носилъ въ гърдитѣ си друго тихо скжпоцѣнно наследство: честностъ и вѣрность, и будна мисль за всичко добро и хубаво.

Веднага слѣдъ пристиганието му въ селото вече баща му се разболѣлъ, и ненадѣйната радостъ на свияданіето не можелъ да издържи старецътъ. Арнолдъ, който неуморимо се угрижилъ за него, не го оставялъ ни на мигъ, така щото слѣдъ смъртъта на баща си не билъ се виждалъ съ никого отъ своитѣ познати и приятели отъ врѣмето на дѣтнството, освѣнъ съ оние, които сами го посѣтили при лѣгло на болникътъ.

Най много се радвалъ Арнолдъ, на Вештовата Елисавета, защото тѣ били наедно пораснали и той всѣкога напоминювалъ съ удоволствие за малкото дружелюбно момиче, което толкова го обичало и тѣй силно плавало, когато той трѣбвало да замине при свойтъ майсторъ въ Прага. Арнолдъ станалъ снаженъ, хубавъ мо;

мъкъ, и че Елисавета трѣбва да е вече порастнала и да е станала хубава, Арнолдъ бѣше си го прѣдсказвалъ вече много пѣти.

Третията вечерь слѣдъ смъртъта на бащата, потъналъ въ тежки мисли сидѣлъ синѣтъ надъ прѣснийтъ гробъ, кога му се по-чули легки стѣпки, задъ него на гробищата, Той се обърналъ, едно гиздаво момиче, се мѣркало между зеленитѣ могили и носяще въ рѣка едно кошниче съ цвѣте.

Единъ бжзевъ клонъ го закривалъ още отъ очитѣ на Елисавета, защото била тя, която искала да украси съ цвѣтя гробътъ на своитѣ добръ съсѣдъ.

Тя съ съзри на очитѣ се навела и проговорила тихо, като си стѣрнала рѣцѣтъ; «почивай тихо добрий человекъ! Нека ти бжде шръстѣта по лѣгка; отъ колкото животътъ и твой гробъ не трѣбва да бжде безъ цвѣтя, както що бѣха и твоитѣ дни!» Тогава Арнолдъ скокналъ отзадъ хрстѣтъ на рѣдъ. «Елисавето!» викналъ той и поелъ уплашеното момиче въ обятията си, «Елисавето, познаваш ли ме?» — Ахъ, Арнолде, вие ли сте? «прошеднала тя, като се изчервила, вие не сме се виждали много отдавна.» — И ти си станала тѣй хубава, мила, и любезна и ти си обичала моитѣ баща и сега си напоминовашъ за него така сърдечно! Драго, мило момиче!» «Да, добрий Арнолде, истина го обичахъ отъ все сърдце», казала тя и тихо се освободила отъ неговитѣ рѣцѣ; «вие сме говорили често зарадъ васъ; радостѣта за своитѣ синѣ бѣше единичното щастие, което той имаше.» — «Истина, той радваше ли ми се;» прибавилъ бързо Арнолдъ, «О, азъ благодаря ти, Боже, че си ме запазилъ честенъ и добръ. — Но, Елисавето, помисли си само какъ всичко се е промѣнило. Прѣди, кога бѣхме малки — баща ми сѣдеше прѣдъ вратата, вие си играехме на колѣнитѣ му; ти бѣше така искрена къмъ мене, и вие не можехме да бждемъ единъ безъ другъ, а сега! — Добрийтъ старецъ дреме тука подъ насъ, вие сме израстнали; но ако азъ и да не можехъ да бжда възъ тебе, пакъ мислѣхъ за тебе много често.» — И азъ за тебе! «прошущна Елисавета тихо и го погледна съ своитѣ голѣми привѣтливи очи.

Въдушевления Арнолдъ извикалъ на това: «виждь, Елисавето, вие сме се обичали още отъ по напрѣдъ, но азъ трѣбваше да замина; но тука, гдѣто азъ пакъ те намирамъ надъ гроба на баща си, и двоица вие въ твоё воспоминание за него, сгрува ми се, като че ли не е била никаква раздѣла за насъ. Дѣтинското чувство се събужда въ мене като мжжска страсть. — Елисавето, азъ те обичамъ! Тука на тойзи свещенъ кѣтъ казвамъ ти за първъ пѣтъ: азъ те либа! — А ти? — но Елисавета скри пламналиитѣ си

образъ на неговитѣ гърди и сладко плачеше. «А ти?» попита Арнолдъ вторий пѣтъ, молящъ и развълнуванъ. Полегка си повдигна ти главницата и го послѣдна прѣзъ сълзи, но весело въ очитѣ. «Арнолде, азъ те обичамъ отъ сърдце, азъ съмъ те обичала всѣкога, всѣкога!» Тогавя той пакъ я шотегли на гърдитѣ си, и цѣлувки, запечатаха признанието на сърдцата имъ.

Слѣдъ първийтъ избликъ на щастлива любовъ тѣ още дълго време сѣдяха въ сладко блаженство върхъ бащиния гробъ.

Арнолдъ разказвалъ, какъ е поминалъ, какъ всѣкога е мислилъ за у дома, а Елисавета говорила пакъ за бащата и дѣтинството, за онѣзи хубави дни. Слънцето вече залѣзло отдавна, безъ тѣ да го забѣлжватъ.

Най послѣ ги събудилъ отъ тѣхнитѣ мечти единъ шумъ на близката улица и Елисавета се изтръгнала изъ ржцѣтѣ на Арнолда съ бърза прощална цѣлувка. Късната нощъ заварѣ Арнолда, потъналъ въ блаженни воспоминания, на бащиния му гробъ, и приближавало утро, когато той влѣзалъ въ бащината си хижица съ пълно богато сърдце.

На зараньта, когато Елисавета донесла на баща си утрѣнната закуска, подкачилъ стария Веитъ да говори за Арнолда.

«Съжалаявамъ бѣдния момъкъ», казалъ той, отъ сърдце; ти навѣрно си наумявашъ за него, Елисавето; вие всѣкога сте играли заедно.» — «Какъ не?» прошепна Елисавета и се изчерви. — «Не ми се харесва ти като се си възгордяла и не щешъ да споминишъ за бѣднийтъ момъкъ. Истина, отъ тогава азъ съмъ разбогатѣлъ, и Арнолдови все оставатъ сиромаси, но тѣ всѣкога сж били честни хора, поне бащата, та и синътъ, чувамъ да го захвалаятъ» — «Безъ-друго, тате» добави Елисавета бързо, и «младия Арнолдъ е много добръ!» — «Гледай, гледай, Елисавето, продума бащата, «отъ вждѣ пакъ знаешъ за това така положително?» — Приказватъ въ селото, «пошушна Елисавета.» Добръ, то ме радва; ако можехъ да му помогна въ нѣщо, азъ не бихъ отказалъ. Елисавета, за да свърши разговора, и потули червенината на лицето си, намѣри нѣщо работа за кухнята и така се отстрани отъ испитующитѣ погледи на старецътъ, който остана да клати глава.

Още прѣди обѣдъ намѣрилъ Арнолдъ своята мома, както щя му бѣше обѣщала, въ градината на Веитовата къща. Тя му разправила за цѣлия разговоръ и той черпилъ отъ това найблагъ надѣжди за своето щастие. «Да», казалъ той най-послѣ, «азъ обмислявахъ цѣла нощъ: най добръ е, още днеска да отида при баща ти и да му исповѣдамъ, че ние се обичаме и че надраго сърдце

бихме се оженили, ще му покажа моя занаятъ и свидѣтелството отъ моитѣ майстори, и ще го помоля да ни благослови. Моята откровеностъ ще го зарадва, той ще даде своето съгласие, азъ ще отида тогава съ нови сили въ чужбина, щя си спечела малко пари, ще се върна вѣренъ и радостенъ, и ние ще станемъ щастливи. Не е ли така, сладка, добра Елисавето?» — «Да!» извика възхитеното момиче и повисна на шията му, „да, баща ми навѣрно ще се съгласи; той така ме обича!» — Пълни съ радостни надѣжди, тѣ се раздѣлиха.

Вечерята Арнолдъ се прѣмѣни, отиде още веднаждъ на бащиния си гробъ, искрено се моли за неговата благословия и тръгна съ трепетъ назадъ къмъ Вейтовата къща.

Елисавета, която трепереше отъ радостъ, го посрѣгна и го заведе веднага при баща си. — Съсѣде Арнолде! извика стареца насрѣща му, «що ми носите?» — «Самого себе си», отговори той. «Що то значи?» попита Вейтъ: — «Господинъ съсѣде,» проговори Арнолдъ, отъ начало съ преперящъ гласъ, но по послѣ твърдо и сърдечно! Господинъ съсѣде, позволете ми да захвана по отдалече, тогава ние е ще можете и по добрѣ да ме разберете. Азъ съмъ бѣденъ, но съмъ се изучилъ на нѣщо добро, това могатъ да ви докажатъ тѣзи свидѣтелства. Цѣлия свѣтъ ми е отворенъ, защото азъ не искамъ да остава само съ занаятъ, но и да изуча искусството; отъ мене нѣкога трѣбва да стане искусенъ майсторъ, затова съмъ се врекълъ и на покойния си баща. Но, Господине, всичко въ всѣта трѣбва да има своя ценѣръ, и при работата трѣбва да се има една цѣль: Както къщитѣ, които азъ града, не се праватъ само зарадъ граденнето, а заради ползата отъ тѣхъ, тъй е и съ моето искусство. Азъ не се занимавамъ съ него, само за да се занимавамъ съ искусство, напротивъ азъ бихъ желалъ при това да постигна нѣщо, и сега онова, което ми стои въ умѣтъ, зависи отъ насъ да ми го дадете. Кажете ми, че ще го имамъ, ако извърша нѣщо важно, и азъ ще употрѣба всичкитѣ си сили. «А шо притежавамъ азъ», прѣсѣче го Вейтъ, «което е за васъ стъ такава важностъ?» — «Вашата дщерея, Господине! Ние се обичаме. Азъ съмъ дошълъ право при бащата, като единъ честенъ момъкъ, а не съмъ ласкалъ по прѣди момичето, както нѣкои си го праватъ. Не, спорѣдъ стария добрѣръ (бвчай дождавамъ при васъ и ви моля да ми се общаете, че нѣма да се противите на благословия, когато азъ слѣдъ три години се възвърна отъ чужбина и спечела нѣщо, и че ние ще позволимъ на момата, да ми остане за тѣзи три години вѣрна годеница».

«Младий другарю», му отговори старецътъ: «азъ ви оставихъ

да си поговорите; оставете сега и мене и азъ да ви кажа направо и вѣрно мое то рѣшение. Че вий обичае дъщеря ми, то ме радва; защото вие сте събуденъ момъкъ, и че вие идете направо при бащата, ме радва още повече и заслужвате голѣма похвала. Вашитѣ майстори ви наричатъ искусенъ младежъ и ви даватъ надѣжди за нищо голѣмо: азъ ви желая щастие; но надѣждата е едно несигурно богатство и трѣбва ли азъ върху него да основавамъ бѣднцето на моята Елисавета? Въ расстояние на тритѣ години може да дойде нѣкой, който се по харесва на дъщеря ми, или пакъ такъвъ, който менъ се по харесва трѣбва ли азъ да му отказвамъ, защото вие ще има да дойдете? Не, младий другарю, то не е за приказване. Дойдете си, и ако Елисавета е сводобна, и вие сте си приготвили щастieto, тогава азъ нѣма да ви попрѣча; а за сега ни една душа повече върху това. — «Но, съсѣде Веите», молеше се Арнолдъ, треперяще и като хвана ржката на стареца, «помислете си пакъ!» — — — «Нѣма какво да мисля», му каза Веитъ, «така Богъ го е заповѣдалъ или ако желаете още да останете, то бѣдете ми любезенъ гостъ; но само нищо повече за Елиза.» — «То ли е вашето послѣднѣо рѣшение?» проговори Арнолдъ. — «Мое то послѣднѣо» отвѣрна старецътъ студено. — «Сега, нека ми помага Богъ», изви-калъ оня и поискалъ да си отиде. Тутаки Веитъ го уловилъ за ржка и го задържалъ. «Младий другарю, не прѣдприемай нѣкоя лудешка работа! Ако си мжжъ и ако имашъ сила и доблестъ стѣгни се и прѣпърпи болѣжтъ. Свѣта е голѣмъ; на напредъ въ живота, тамъ ще се успокоите. — Сега сбогомъ, желая ви щастие на чужбина!» — Съ тие думи той го пусна и Арнолдъ се завърна въ своята хижна.

Той съ плачъ свърза своята торба, прости се съ бащиното си наследство и отиде къмъ гробищата за да се прости и съ бащиния си гробъ. Елисавета, която отчасти била чула разговора, плувала въ сълзи. Тя мечтаяла всичко тъй хубаво, а сега всѣка надѣждата че ли се изгубвала.

Още веднажъ искала тя да види свойтъ Арнолдъ; за това се исправила на прозореца на спалнята и чакала догдѣ той излѣзе изъ хижата и свие къмъ церковния дворъ. Тя изхвъркнала скоро подиръ му и го заварила, че се моли на бащиния гробъ. «Арнолде! Арнолде! Ти си отивашъ?» извикала му тя и го прѣгърнала. «Ахъ, азъ вѣма да те пусна!» Арнолдъ се исправилъ, като събуденъ отъ сънъ: «азъ трѣбва, Елисавето, трѣбва да замина. Не ми късай сърдцето съ твоите сълзи, защото трѣбва, трѣбва!» — «Ще ли се върнешъ пакъ? и кога?» — «Елисамето, азъ ще работа, до кол-

«Като единъ мъжъ може, азъ ще бъда скъперникъ за всѣка една минута отъ времето; слѣдъ три години азъ пакъ съмъ тука. Ще ли ми останешъ вѣрна?» — «До смъртъ, драгий Арнолде!» извика ридающата. — «А ако бащата те принуди?» — «Нека ме повлѣкътъ въ черква, азъ и прѣдъ олтара ще викамъ не! — Да, Арнолде, нека си останемъ ние вѣрни тука и тамъ. Нейдѣ ще се найдемъ ние пакъ!» — «И тъй прощавай!» извикалъ Арнолдъ, въ очитѣ на когото прѣзъ сызи блѣсналъ лучъ на надѣжда. «Прощавай!» азъ не се боя вече отъ никакви прѣпятствия, нищо не трѣбва да ми бъде извънредно велико, нито извънредно смѣло. Съ тази цѣлунка азъ се сгодявамъ съ тебе, сега сбогомъ! Слѣдъ три години ще бъдемъ честити.» Той се откъсна отъ нейнитѣ ржцѣ. «Арнолде», извикала тя, «Арнолде не оставяй твоята Елисавета!», но той билъ много далечъ. Отъ далечъ вѣслъ ѝ той съ своята бѣла кръпа за поздравление, догдѣто най-послѣ исчезналъ въ горската тъмнина.

Елисавета се хвърлила надъ гроба и почнала пламенно да се моли на Бога, Увѣрена въ Арнолдовото постоянство, тя станала по-спокойна и могла по-сдържана да се яви прѣдъ баща си, който я изгледалъ строго, като че ли искалъ да узнае нейното най-дребно душевно състояние. Всѣка заранъ тя се отправяла къмъ мѣстото, гдѣто за послѣденъ пѣтъ тя бѣ прѣгърнала Арнолда; стария Вентъ позабѣлѣзваше по нѣщо, но оставяше я да отива и бѣше вече доволенъ, че Елисавета може да бъде спокойна, па дори по нѣкога и весела.

Така се изминала година, и за Елисаветина голѣма радостъ се не явилъ ни единъ годеникъ, който да се поврави на баща ѝ. Въ края на втората година слѣдъ дълго отсъствие въ селото се върналъ единъ човѣкъ, който по прѣди билъ се махналъ отъ тамъ поради развратни работи и който се билъ впушалъ въ много искуси.

Хансъ Хейлингъ излѣзълъ като най-послѣденъ голакъ, а се върналъ назадъ въ най-добро положение. Той като че ли дошълъ въ селото нарочно да се покаже прѣдъ своитѣ прѣдишни неприятели, като богаташъ. Отъ началото той като че ли не искалъ да се бави въ селото, все говорилъ за важни занятия, но скоро се видѣло че той се готвилъ за по дълго прѣстояванне.

Въ селото приказвали чудни нѣща за него; не единъ честенъ човѣкъкъ поддигалъ рамена, мнозина не искали само да кажатъ, но знааяи твърдѣ добръ, отъ кѣдѣ иде всичко това.

Както и да е, Хансъ Хейлингъ посѣщавалъ ежедневно стария Вентъ, разказвалъ му за своитѣ пѣтешествия, какъ билъ даже въ

Египетъ, и какъ пътувалъ и много на далечъ прѣзъ моря, така щото той се харесалъ на стареца и му се виждало много мъчно, ако вече Хейлингъ не дойде въ стаята му.

Наистина той почувъ нѣщо отъ съсѣдитѣ, но той недовѣрчиво клатилъ глава, само едно нѣщо му се виждало чудно, че Хансъ Хейлингъ се скрива всѣкой празникъ и сѣди цѣлъ день самъ дома си. Той го запиталъ, какво прави по него врѣме у дома си. «Едно обѣщание», билъ отговора, «ме задължава, всички празници да прѣкарвамъ въ тиха молитва». Веитъ се успокоилъ; Хансъ си излязалъ и влизалъ както и по прѣди и така се обяснялъ, щото могло да се види какви намѣрения има той спрямо Елисавета.

Но Елисавета имала необяснимо отвръщение къмъ тойзи человекъ; ней се струвало, като че кръвта ѝ се спира въ жилитѣ отъ неговия погледъ.

Най послѣ той направилъ на бащата формално прѣдложение и получилъ въ отговоръ, че трѣбва по прѣди самъ да си опита щастieto прѣдъ момичето. За това Хансъ се възползувалъ една вечеръ когато Веита нѣмало дома.

Елисавета сѣдѣла прѣдъ чекръктъ, когато той се показалъ на вратата; тя уплашена скокнала и му извѣстила, че баща ѝ не е дома. «О, нека ся по приказваме малко сами, моя прѣлѣстна дѣвойко!» билъ неговия отговоръ и съ това той сѣдналъ до нея. Елисавета се отстранила бързо отъ него; Хансъ, който смѣталъ това само дѣтинска боязливостъ и който ималъ правило, че съ женитѣ трѣбва да бжде человекъ смѣлъ, ако иска да сполучи, прѣгърналъ я бържѣ и заговорилъ ласкателно: «Не жлае ли хубавата Елисавета да посѣдне до мене?» Но тя се изгръгнала отъ ржцѣтъ му съ гадливо чувство и поискала да излѣзе изъ стаята, като му казала: „не е добро за мене, да бжда самичка съ васъ,“ когато той я стигналъ и прѣгърналъ по силно. «Баща ви ми е далъ своето съгласие, хубава Елзо; искате ли да бждете моя жена? Азъ нѣма да ви пустана, догдѣ ми не потвърдитѣ това!» Тя щегно се браняла отъ неговитѣ цѣлувки, които ѝ горили бузитѣ. Напраздно викала тя за помощъ; а той, на когото и яростта била пламнала ставалъ по дързостенъ, когато ненадѣйно зарналъ кръстътъ, който Елисавета носяла на шията още отъ дѣтинство, като наследство отъ майка си, която умрѣла много отколѣ. Той веднага я пустилъ уплашенъ и преперяще побързалъ да излѣзе. Елисавета поблагодарила Бога за своето спасение. Тя разказала на баща си, щомъ той се завърналъ, за Хамлинговитѣ лоши обноси. Веитъ поклатилъ глава и се показалъ твърдѣ угриженъ.

Той натекналъ на Ханса при първиятъ сгоденъ случай, оня се извинилъ съ распадеността на своята любовъ, но това приключение имало за Елисавета честити слѣдствия, че то не я обезпокоявалъ дълго време съ своитѣ прѣдложения. Тя носѣла кръстътъ, който нѣкога станалъ нейнъ спасителъ, безъ да знае и тя защо, всѣкога свободно и отворено на гърдитѣ, и забѣлѣзвала, че Хамлингъ не ѝ говори ни дума щомъ я найде така напичена.

Третията година вече навършвала. Елисавета която умѣяла по най искусенъ начинъ да задържа и де прѣкъсне баща си, когато той ѝ заговорѣлъ за съединението съ Хемлинга, ставала по-весела и по-весела. Всѣкий день тя ходила на гроба на Арнолдовия баща и прѣдъ рѣката Егеръ, на пѣти, който водилъ за Прага, съ надѣжда, че ще срѣщне нѣкога нейния вѣренъ да си иде.

По него време тя една заранъ се лишила отъ кръстето, което обичала така много; трѣбва да ѝ се го откачили на снѣгъ: тъй като тя не го махвала отъ себе си никога и тя се усъмнила въ една отъ слугинитѣ, която въ надвѣчернето била чула да говори съ Хемлинга задъ къщата.—Тя разказала на баща си за това съ плачъ, но той се измѣялъ върху нейното подозрѣние, като утвърждавалъ, че Хемлингъ не може да бѣде замѣшанъ въ тая работа, че той не се занимава съ такива замлюбени играчки, и че тя навѣрно го е загубила на друго мѣсто.

Тя останала напълно при своето мнѣние и забѣлѣжила, че Хансъ изново подкачилъ своитѣ старания и то съ голѣма найстойчивость и съ по голѣма увѣренность. Та и бащата ставалъ все по вече и по вече жестокъ, и най послѣ се изразилъ, че тя трѣбва да даде на Ханса ржката си, и че то трѣбва да стане по негова твърда, непрѣклонна воля; Арнолдъ навѣрно, и третѣ години вече се сж изминали, я е забравилъ. Хемлингъ влѣгъ ѝ се въ присѣдствието на бащата въ вѣчна любовъ и че я обича не както нѣком за пари, а чисто по любовъ, тъй като той е ситъ съ пари, и че искалъ да я направи по богата и по щастлива, отъ колкото тя дори нѣкога е снужвала.

При всичко това, Елисавета прѣзирала него, както и неговитѣ богатства; но когато тя, притискана отъ двѣ страни и измъчена отъ мисльотта на невѣрность или смъртъ не нейниятъ Арнолдъ видѣла че нѣма другъ изходъ, освѣнъ оня, който отива за всички отчаяни, тя се помолила да ѝ дадатъ още срокъ отъ три дена, тъй като. охъ! тя се все надѣвала за завръщанкето на своитѣ любовникъ.

Тритѣ дни били ѝ разрѣшени. Пълни съ надѣжда да видатъ

своитѣ желанія вече одѣлоторени, двата мъжа изи́зели изъ къщи, и Веитъ придружилъ Хейлинга. На улицата се показали мѣсгния попъ и прѣдъ него клисарьтъ; тѣ отивали при единъ умирающій за да му дадатъ послѣдно утѣшение. Всичко се прѣклонило прѣдъ изображението на распявето и Веитъ се исправилъ на колѣнѣ: но неговия другаръ съ ужасъ скокналъ въ най ближната къща. Очуденъ и съ страхъ го изгледалъ Веитъ, и си тргъналъ за дома, обзетъ отъ недоумѣние.

Веднага пристигналъ пратеникъ отъ Хейлинга, съ извѣстие, че неговия господаръ ненадѣйно лѣгналъ боленъ отъ зашемадяване на главата. — Веитъ трѣбвало да отиде при него и да не мисли за нищо зло. Но той му отговорилъ и се прѣкърстилъ: «види и мъжи, че азъ трѣбва да се радвамъ, ако то е било само зашемадяване на главата.» Въ това врѣме Елисавета сѣдела и плачела и молила се на единъ върхъ прѣдъ селото, отъ гдѣто тя е могла да види цѣлийтъ пѣтъ къмъ Прага.

Въ отдалечение се издигналъ облакъ—прахъ: сърдцето ѝ затупало силно; но когато тя вече могла да различи това и съгледала тъпна богато облѣчени хора, нейната хубава надѣжда отново исчезнала.

Отпрѣдъ на това шествие, отъ лѣвата страна на единъ почетенъ старецъ ѣздилъ единъ хубавъ момъкъ, на когото като че ли бързиятъ ходъ на конетѣ се виждалъ твърдѣ бавенъ, и когото старецътъ като че ли се мъчилъ да удържи малко назадъ. Елисавета се побояла отъ множеството мъже и си навела очитѣ, безъ да гледа повече на шествието. Изведнажъ момъкътъ скокналъ отъ коньтъ и се хвърлилъ прѣдъ нея на колѣне: «Елисавето! възможно ли е това! мила моя, любезна Елисавето!» — Елисавета уплашена се вдигнала и съ чувство на най голѣмо блаженство нацнала въ прѣгръдкитѣ на момъкътъ съ възгласъ: «Арнолде! мой Арнолде!» — Дълго врѣме тѣ стояли така въ нѣмо възхищение— уста възъ уста и сърдце възъ сърдце.

Арнодовитѣ съпровождаче стоели обзети отъ радостно възнеение около блаженитѣ двоица, стареца си сгърналъ рѣцѣтъ и благодарилъ Богу, и никога заходящото слънце не бѣ виждало по щастливи челоуѣци. Когато любящитѣ се посвѣстили отъ шумѣтъ на радостта и двоица не знаели кой трѣбва да разказва по напредъ. Най послѣ Елисавета подкачила и съ малко думи расправила за нещастното си положение и за случката съ Хейлинга. Арнолдъ се вкаменналъ отъ едната мисль, че той е могълъ да изгуби своята Елисавета. Старецътъ, като изслушалъ разказътъ за Хейлинга, из-

викалъ : « Да, приятели, то е сжщия безсрамникъ, който извърши онѣзи низки силетни въ родния ми градъ и който се избави отъ ржката на правосъдието само чрѣзъ бързо побѣгване. Нека благодаримъ Богу, че ние тукъ у врѣме идемъ да унищожимъ едно отъ неговитѣ злодѣйства!» Врѣдъ такива разговори за Хейлинга и Елисавета, най послѣ тѣ стигнали въ селото, ако и доста късно.

Тържественно доведе Елисавета нейниятъ Арнолдъ при баща си, който не искалъ да вѣрва на очитѣ си, като видѣлъ множеството богато облѣчени мъжѣе. — «Баща на моята Елисавета!» подкачилъ Арнолдъ: «ето ме тукъ и искамъ ржката на вашата дъщеря; азъ сега съмъ се обогатилъ, хората ме почитатъ и мога да изпълна повече, отъ колкото ви съмъ се обѣщавалъ!» — «Какъ?» проговорилъ Веитъ, «вие ли сте бѣдния Арнолдъ, синътъ на моя покоенъ съсѣдъ?»

«Да, това е той», поелъ думата стареца, «сжщия, който замина прѣди три години бѣденъ и отчаянъ отъ това село. Той дойде при менъ, азъ веднага познахъ, че той може да стане майсторъ на занаятътъ си, и му дадохъ работа. Той я свърши за голѣма радостъ на всички, и въ кратко време можахъ да го употрѣбя като висшій наглѣдникъ върху най важни работи. Той си е придобилъ въ много голѣми градове вѣчна слава и сега ще трѣбва да довърши въ Прага най важното за неговото искусство. Той се е обогатилъ, херцози и графове ласкаво приематъ и богато надаряватъ. Дайте му вашата дъщеря и изпълнете старото обѣщание. Хлапакътъ, на когото искахте вие да подарите вашата Елисавета, е заслуживалъ хилядо пжти бѣсилката; азъ познавамъ тойзи бездѣлникъ!»

«Вѣрно ли е всичко това, както ми съобщавате?» попиталъ зачудения Веитъ. «Истина! истина!» повторили всички. «Сега, азъ не искамъ да прѣпнствувамъ на щастнето ви, добрий майсторе!» обърналъ се Веитъ тогава къмъ Арнолда. «Земете момата. Нека Божията благословия бжде съ васъ!» Ощастливенитѣ, които не бѣха въ състояние да поблагодаратъ, хвърлиха се при нозѣтъ му, той ги привлѣче къмъ гърдитѣ си, и така остана вѣрността възнаградена.

«Господинъ Веитъ,» проговори стареца слѣдъ дълго мълчание, което се прѣкъсвало отъ радостното ридание на любящитѣ се! «Господинъ Веитъ, още едно нѣщо, бихъ желалъ да ви помоля. Позволете свадбата да стане утрѣ, за да се зарадвамъ и азъ, като видя съвсѣмъ щастливъ моя добръ Арнолдъ, когото азъ обичамъ като синъ, понеже — небето не ми е подарило никакъвъ синъ. Въ другиденъ азъ трѣбва пакъ да замина за Прага. — «Ей, сега,» се обади Веитъ, който билъ станалъ много веселъ, «ако вамъ се харесва

това толкова много, нека го направиме. — Дѣтца» извикалъ той къмъ щастливцитѣ: «утрѣ ще бѣде свадбата! Азъ искамъ да я извършимъ на мелеровия дворъ върхъ Егеровата планина. Азъ ще извѣста веднага на свещеника; а ти, Елисавето, иди въ кухнята, да нагостимъ спорѣдъ нашата длъжностъ скъпитѣ ни гости.» —

Елисавета послушна, и естествено е, че нейния Арнолдъ тукъ я послѣдва и че ги намираме и двоицата въ градината сладко разговориваючи.

Слѣдъ като добриятъ синъ се свързе малко отъ радостния избликъ, дойде му на умъ бащиния гробъ; и тѣ се упяхтиха ржка въ ржка къмъ мѣстото, което заослѣденъ пхтъ бѣха изоставили тѣй отчаянии.

На гроба се подновиха тѣхнитѣ кѣтви и двоицата се намираха въ чудно — свето настроение. «Не е ли подобъръ този единичекъ мигъ блаженство,» продума Арнолдъ, като прѣгърна горѣщо своята годеница, «не е ли по добрѣ тѣй отъ колкото тритѣ години страдания? Ние си достигахме цѣлѣта, животътъ не дарува никакво по високо наслаждение; само тамъ горѣ трѣбва да съществува още по велико.» Ахъ, дано нѣкога да умрѣме ние пакъ така ржка въ ржка и сърдце възъ сърдце!» продумала Елисавета. — «Да умремъ ли?» повторилъ Арнолдъ, да умра на твоитѣ гърди! Милостивий Боже, не ни мърри, че въ безмърността на нашата радост ние запазваме още чувство за по високи наслаждения. Ние съ благодарно сърдце припознаваме, щото си ти създавалъ въ насъ велико! Да Елисавето, нека се помолимъ тука на бащиния гробъ и да възблагодаримъ за Божията милост!» Молитвата била тиха, но сърдечна и света, и любящитѣ се върнали дома безкрайно развълнувани. Хубаво приятно било слѣдующето утро, било петакъ и празника на Св. Лаврентий! Цѣлото село било весело, но всичкитѣ порти стоели прѣмѣнени момичета и момчета; Веитъ билъ богатъ и нищо не пожалилъ за свадбеното тържество.

Само Хейлинговата врата била заключена; тѣй като било Петакъ, а въ този день той не се вѣствявалъ.

Въ кѣсо време се стѣкнило шествиенето за черковата, което водило прѣвеселата двоица къмъ най-хубавото празднество. Веитъ и Арнолдовия мѣйсторъ вървѣли заедно и проливаха сърдечни сълзи отъ радостъ за щастieto на дѣцата си. За обѣдното угощение Веитъ избралъ мѣстото подъ голѣмата липа всрѣдъ селото. Нататкъ потѣглило шествието слѣдъ като се свършили церемонийтѣ. Небесно блаженство блѣстѣло въ очитѣ на любящитѣ се.

Тържественитѣ обѣдъ траялъ нѣколко часове и често отъ

украсенитѣ маси се провъзгласявало: «да живѣе Арнолдъ» и неговата невеста!»

Отъ липата щастливницатѣ отишли съ двамата бащи, съ Арнолдовитѣ приятели и съ нѣколко Елисаветини дружки въ манеровия дворъ на Егеровата планина. Къщата се издигала върху високата стѣна надъ долините и въ тойзи малъкъ, но повѣренъ кръгъ часоветѣ прѣминвали за упоенитѣ отъ радостъ Арнолдъ и негова Елисавета, като мигове.

Въ Мелеровия дворъ била приготвена и хубавата брачна стая и врѣдъ богатитѣ овощни шуми на градината била сложена приятелската трапеза и прѣкрасно вино се пѣнило въ пѣлнитѣ чаши срѣщу гоститѣ.

Отдавна вече въ долината мръгнало, но веселитѣ кръгъ не заблѣжавалъ това. Най послѣ се изгубила и послѣдната дневна свѣтлина и една звѣздосийна нощъ поздравила въсхитителната двойца.

Стария Веитъ подкачилъ да говори за своята младостъ, и то на пространно, защото виното го направило много разговорливъ, така щото най-послѣ настѣпило срѣднощъ, и Арнолдъ и Елисавета поглеждали съ горещо желание разговора да се свърши по скоро. Най-послѣ Веитъ свършилъ и извикалъ: «сега лѣгка нощъ, дѣчица!» и поискалъ да испроводи младоженцитѣ до тѣхната стая. Токо това време долу въ селото ударило 12 часа; изъ дълбочината се вдигналъ и донесълъ единъ страшенъ бученъ вѣтръ и Хансъ Хейлингъ застаналъ съ ужасно искривенъ образъ всрѣдъ исплашенитѣ. «Дяволе!» изкрѣщялъ той, „азъ ще ти скратя служебното време унищожми ми тази!» — «И тѣй ти си мой!!» — се раздадо изъ бурния вѣтръ. — Ако и да принадлежва на тебе, ако и да ме чакатъ всички мъжи на цкъльтъ, — унищожми тая!» Тогава се показало нѣщо като пламъкъ надъ планината, — Арнолдъ и Елиза, Веитъ и приятелитѣ се преобърнали въ скали, младоженцитѣ любовно прѣгърнати а останалитѣ съ ржце сгърнати за молитва. «Хансъ Хейлингъ!» гримѣло съ прѣзрителенъ смѣхъ изъ бурния вѣтръ; «тѣ сж благословени въ смъртта; душитѣ имъ лѣтятъ къмъ небето. Твоя дългъ се свършва ти ставашъ мой!» Хансъ Хейлингъ скокналъ отъ скалистата височина въ шумящия Егеръ, който яросно го припелъ и погълналъ, никое око не го е видвало отново. На другата заранъ рано дошли Елисаветинитѣ приятелки съ цвѣта и вѣнци, за да украсятъ младоженцитѣ, и цѣлото село се завтукло заедно съ тѣхъ. Тамъ на всѣкадѣ личала ржката на разорение; тѣ разпознали чертитѣ на приятелитѣ въ скалиститѣ групи, и момичета съ високи риданя обвила цвѣтия си около

каменнитѣ изображения на любовницитѣ. Всички паднали на колѣнѣ съ молба за залюбенитѣ души. «Хвала на тѣхъ!» така прѣкъсналъ най-послѣ единъ почтенъ старецъ дълбоката тишина: «Хвала на тѣхъ, тѣ си отишли тамъ съ радостъ и любовъ, и сж прѣминали въ смъртъ рѣка въ рѣка, и сърдце възъ сърдце. Украшавайте всѣкога съ прѣсни цвѣтове тѣхнитѣ гробове; тѣзи скали ще ни останатъ като паметникъ, че никой зълъ духъ нѣма сила надъ чисти сърдца, и че вѣрна любовъ се запазва и въ смъртъта!»

Огъ тогава всѣки любящи се въ мѣстността отивали на Хансъ Хейлингвитѣ скали и се обръщали къмъ прѣобразованитѣ за благословия и защита. Набожния обичай вече несѣществува, но прѣданието е запазено живо въ сърдцето на народа; даже и до днесъ водачтъ, които води чужденцитѣ въ страшната Егерова долина къмъ Хансъ Хебленговитѣ скали, споменува имената на Арнолда и Елисевета, и показва каменнитѣ фигури, въ които тѣ се прѣобърнати, а така сжщо и на бащата на невѣстата и на останалитѣ гости.

Приказва се, че още и до прѣди нѣколко години, Егеръ страшно и чудно е бурлилъ на онова мѣсто, гдѣто се е сгрѣмулясалъ самъ Хансъ Хейлингъ, и че никой, никой не минавалъ покрай него безъ да не се прекръсти и безъ да не прѣдаде Богу душата си.

ВРАГЪ И ПРИЯТЕЛЪ.

СТИХОТВОРЕНИЕ ВЪ ПРОЗА.

Отъ

И. С. Тургеневъ.

(Прѣводъ отъ руски.)

Единъ осжденъ на вѣченъ затворъ се узкубналъ изъ тъмницата и се пустналъ да бѣга, що му държатъ нозѣ . . . Подирѣ му се погнала потеря.

Той тичалъ отъ вси сили . . . Прѣслѣдвателитѣ начнали да оставатъ назадъ.

Но ето отпрѣдѣ му рѣка съ стрѣмни брѣгове, тѣсна, но дълбока рѣка . . . той не знае да плува!

Огъ единнитѣ брѣгъ на другийгъ е мѣтната тънка, гнила, дѣска. Бѣглецтъ вече дигналъ кракъ за да стѣпи на нея

Но случило се така, че токо възъ рѣката стоели: неговийтъ най-добъръ приятель и неговийтъ най-върлъ врагъ.

Врагътъ не продумалъ нищо, а само сгърналъ ржцѣ; пакъ приятельтъ изкикалъ съ високийтъ си гласъ: «За Бога! Що правишь? Свѣси се, безумнику! Нема не виждашь, че дъската е съвършено изгнила? — Тя ще се счупи подъ твоята тежина — и ти неотвратимо ще загинеш!»

— «Но другъ мостъ нѣма . . . а потерята чувашъ ли?» отчаяно истевалъ нещасникътъ и стъпилъ на дъската.

— Нѣма да допустна! . . . Не, нѣма да допустна, щото да загинеш! — Загърмялъ ревноснийтъ приятель и изтъргналъ изъ подъ краката на бѣглецьтъ дъската. — Она въ единъ мигъ се сгърмоляса въ бурнитѣ вълни — и се удавилъ.

Врагътъ самодоволно се исмѣлъ — и тръгналъ изъ пхтьтъ: а приятельтъ сѣдналъ на брѣгътъ и почналъ горчиво да оплаква свойтъ злополучень . . . Злополучень приятель!

Да стоваря вината за неговата гибелъ върху себе си, обаче, не му дошло на умъ . . . нито на единъ мигъ.

«Не рачи да ме послуша! Не ме послуша!» — си шепналъ той съ униние.

»Нели пакъ цѣлийтъ си животъ той трѣбваше да се мжчи въ ужасната тъмница! — проговорилъ той най-послѣ. Поне сега той вече не страда! Сега му е по-легко. Вижда се, такъва му е била сѣдбата.

«Макаръ че пакъ ми се свиди, отъ человекщина!»

И добрата душа слѣдвала безутѣшно да плаче за свойтъ злополучень приятель.

Декемврий, 1878 г.



СЪДЪРЖАНІЕ:

I. <i>Турновоѣзъ</i> . Комедіи въ пяти дѣйствіяхъ отъ <i>Меллера</i> . Преведъ отъ <i>Григорія М. Славейкова</i>	105
II. <i>Брвенненската Псалтирь</i> отъ <i>В. К.</i>	105
III. <i>Извѣстїи и смѣлки на зрѣща Деметриалъ Комоназ</i> отъ <i>Фредерикъ Шенбергъ</i> . Преводъ отъ немца	108
IV. <i>Сонети</i> . — <i>Скърби</i> — <i>Песни</i> — <i>Н. К.</i> отъ <i>Н. П. Славейкова</i>	109
V. <i>Кюмекскій рѣкъ</i> отъ <i>Елизабетъ Зейл</i> . Преводъ отъ французска	111
VI. <i>Природа</i> отъ <i>Ив. Козлова</i> . Преводъ отъ русска <i>Превозъ</i>	115
VII. <i>Брѣби за Пловдивъ</i> . Разказъ	116
VIII. <i>Джордано Бруно</i> , отъ <i>Гюбертъ де Франкъ</i> . Преводъ отъ немца <i>Д. Мановъ</i>	123
IX. <i>Апологията на Сократъ</i> отъ <i>Платонъ</i> . Преводъ отъ старогръцки	129
X. <i>Писма</i> отъ <i>Мустафи Кели Ханъ</i> до <i>Аселя Хакализ</i> отъ <i>Вашингтона Преминга</i> . Преводъ отъ Англичанинъ, <i>Иванъ П. Славейковъ</i>	153
XI. <i>Мѣсто нѣма</i> . Разказъ отъ <i>Карлтъ Превель</i> <i>Г. А. Мановъ</i>	169
XII. <i>Стихотворенїи въ проза</i> отъ <i>Ив. Тургеневъ</i> . Преводъ отъ русска	219

X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV

СЪДЪРЪЖАНИЕ.

XIII.	<i>Кой е стариятъ желязния илазъ?</i> Отъ И. А. Некрасовъ. Прѣводъ отъ руски	240
XIV.	<i>Сказание за римлянинаго Сатуръ и неговъ Агриппа.</i> Отъ Владимиръ Кернъ. Прѣводъ отъ руски	241
XV.	<i>Лудъ Гидил.</i> Стихотворение отъ П. П. Славейковъ	242
XVI.	<i>За Египта,</i> речениа отъ Ф. Шлегелъ. Прѣводъ отъ нѣмски Д-ръ К. Бруннеръ	243
XVII.	<i>Любовъ.</i> Стихотворение отъ П. П. Славейковъ	244
XVIII.	<i>Изъчь</i> отъ Леонъ Гамбетта. Прѣводъ отъ французски	245
XIX.	<i>Величнето.</i> Стихотворение отъ П. П. Славейковъ	246
XX.	<i>Сръца.</i> Разказъ отъ Веселина	247
XXI.	<i>Сънъ.</i> Разказъ отъ Ив. С. Тургеневъ. Прѣводъ отъ руски Ив. Ст. Андрейковъ	248
XXII.	<i>Прѣдзидливостъта на Аказил.</i> Отъ Вилъ-лье-де-Лиль-Адамъ. Прѣводъ отъ французски	303
XXIII.	<i>Стихотворения въ Проза.</i> Отъ Ив. С. Тургеневъ. Прѣводъ отъ руски	306



Явление I.

Флици

Вий

ТАРТЮФЪ

Комедия въ петъ дѣйстви

отъ

МОЛИЕРА

(Прѣводъ отъ французски.)

ДѢЙСТВУЮЩИ ЛИЦА:

ГОСПОЖА ПЕРНЕЛЬ — майка на Оргона.
ОРГОНЪ, мжикъ на Елмира
ЕЛМИРА, жена на Оргона
ДАМИСЪ, синъ на Оргона.
МАРИЯНА, дъщеря на Оргона и любовница на Валера.
ВАЛЕРЪ, любовникъ на Марияна.
КЛЕАНТЪ, шурей на Оргона.
ТАРТЮФЪ, лицемеренъ набожникъ.
ДОРИНА — довѣренна служка на Марияна.
Г. ЛОЯЛЪ — сержантинъ.
ЕДИНЪ ЧИНОВНИКЪ.
ФЛИПОТА — слугиня на госпожа Пернель.

Сцената е въ Парижъ, въ къщата на Оргона.

ДѢЙСТВИЕ ПЪРВО.

Явление I. — Госпожа Пернель, Елмира, Марияна, Клеантъ, Дамисъ,
Дорина, Флипота.

Госпожа Пернель.

Флипото, хайде! — да се отърва отъ тѣхъ.

Елмира.

Вий бързате така, че трудно ѝ да ви стигна.

Госпожа Пернель.

Да ме испращате не азъ го пожелахъ,
Върнете се, сама ще си достигна.

Елмира.

Ний изпълваме дългътъ си спрямо васъ.
Защо тъй, мамо, ни напущате завчасъ?

Г-жа Пернель.

Не можъ ви търпя домашния порядъкъ.
Вий грижите ли се живота да ми ѝ сладъкъ?
Излизамъ си за туй, че не стърпихъ го вече
На всѣка дума да ми се противорѣчи;
Не уважаватъ нищо; всѣкой распорежда;
Домашния ви редъ на лудница изглежда.

Дорина.

Но . . .

Г-жа Пернель.

Вие сте една слушкиня проста,
Устата ви играятъ, грубостта вий доста
И вий се мѣсите въвъ всичкитѣ нѣща.

Дамисъ.

Но . . .

Г-жа Пернель.

Вий глупакъ сте, внуче мой; азъ безъ утайка
Говоря ви кат' ваша стара майка.
Предсказвала съмъ и предъ вашия баща,
Че вий ще бждете съсъ лошо въспитанье.
И само ще му причинявате страданье.

Марияна.

Азъ мисля . . .

Г-жа Пернель.

О, и ти, ти, негова сестрица
На видъ се тиха, сѣкашъ че свѣтица,
Но тихата вода е много по опасна,
Подъ було кринешъ ти черта за мень ужасна.

Елмира.

Но, мамо . . .

Г-жа Пернель.

О, невясто, вий се не сърдете,
И вашто поведение не е май цвѣте.
Примѣръ да сте за тѣхъ, като суируга.
Ехъ, майка имъ, покойната, бѣ друга!
Вий много харчите, а срѣдствата отъ гдѣ сж?
Обличате се сжщо нѣкоя принцесса.
Жена, коя суиругътъ си обича,
Не трѣбва толкова да се овича.

Клеантъ.

Но послѣ всичко, госпожа . . .

Г-жа Пернель.

А васъ

Обичамъ, уважавамъ, но пакъ азъ
Да би била съруга на синътъ си
Не бихъ ве пустнала нито веднажъ въ домътъ си.
Отъ васъ таквизъ нѣща се проповѣдватъ.
Каквито честни хора трѣбва да избѣгватъ.
Говоря ви свободно, право въвъ лицето,
Не крия азъ това, що ми е на сърдцето.

Дамисъ.

Но вашия Тартюфъ честитъ е, безъ сжмнение . . .

Г-жа Пернель.

Да, той добъръ е и заслужва уважене;
Не можъ да търпя да го кори човѣкъ
Катъ тебъ налудничавъ и легкъ.

Дамисъ.

Какъ! да търпя тозъ лицемѣръ проклѣтний,
Заграбилъ всичката семейна власть въ ржцетѣ,—
Да не получватъ нигдѣ развлечение,
Догдѣ отъ господствѣ му нѣма разрѣшене?

Дорина.

По неговото ти ако вървишь учение,
Каквото и да сторишь — правишь престжпление;
За всичкото слѣди тозъ критиканъ горещъ.

Г - жа Пернель.

И трѣбва да слѣди защото той е вѣщъ.
Той въ пѣтя къмъ небето ще ви вкара;—
Синъ ми да го обикнете ще ви накара.

Дамисъ.

О, вѣрвайте, нито баща ми може
Умразата къмъ него да ми утoloji.
На своето сърдце не измѣнявамъ азъ,
И виждамъ, че такъвъ ще дойде часъ,
Че ще излѣза вече отъ тѣрпѣнье
И ще изскажа всичко безъ стѣсненье.

Дорина.

Наистина че отъ тѣрпѣнье изважда
Да гледашъ чуждъ въ дома ти да се распоряжда;
Кат' просекъ той дойдѣ, обеща безъ да има
И съ дрѣхи, що не струваха и петъ сантима,
А стигна чакъ до тамъ, че вече се не узнава —
Той всичкитѣ кори и съ всички се расправа.

Г - жа Пернель.

А азъ пѣкъ имамъ туй желанье едничко,
По неговата воля да се върши всичко.

Дорина.

Вий за светецъ го имате и за примѣръ,
Но всичко върши, вѣрвайте, кат' лицемѣръ.

Г - жа Пернель.

Я виждъ языкъ!

Дорина.

Той съсъ слугата си Лорана
Еднакво възпитанье има и отхрана.

Г - жа Пернель.

Слугата му не зная и не възражавамъ,
Но господаря му кат' честень увиждавамъ.
Умраза къмто него въ васъ се забѣлѣзва,
Защото истината той въ очи ви казва.
Грѣха той не тѣрни—въ сърдцето го пробожда.
И ползата небесна въ всичко го предвожда.

Дорина.

Добрѣ, но пъкъ защо, отъ нѣкое си врѣме,
Той гости не търпи, — тежата му като бreme?
Що пречи на Небето визитата честна,
Та той повдига шумъ и крамола несвѣтна?
Но право да си кажа, на страна лъжата . . .
(като сочи Елмира)

Азъ вѣрвамъ вече, че той ревнува госпожата.

Г-жа Шернелъ.

Мълчете, думитѣ добрѣ съобразите.
Не е тукъ само той, що мрази тѣзъ визити :
Тозъ шумъ на хората, кои ви посѣщаватъ,
Каруци непрестанно въ портитѣ ви шаватъ,
Слуги на кунища, раскошества, обѣди,
Раздразватъ вече и вашитѣ съѣди,
Азъ вѣрвамъ истина, че лоше се не прави,
Но хората говорятъ, — туй ми се не нрави.

Клеантъ.

Не можете ги спрѣ да не говорятъ.
Но тия много злѣ ще сторятъ,
Боито зарадъ думи глунави и прости
Откажатъ се отъ драгитѣ си гости.
Богато искатъ тѣ да правятъ намъ интриги
Какво ще сторимъ ти — иди и спри ги.
Противъ злорѣчието не търси спасенье,
Таквизъ глуци дрънкачи погледни съ презрѣнье.
Да гледаме ний да живѣемъ катъ свѣтътъ
А нека тѣ си бѣбратъ колко щятъ.

Дорина.

Дафнѣ, съсѣдката, съ мъжа си зарадъ насъ
Да ли не сиятъ хули часъ по часъ?
Боито иматъ лошо поведенье
Тѣ най-вече клѣветатъ и безъ стѣсненье;
Тѣ гледатъ въ нѣщо само да се закачатъ,
Макаръ и призрачно, — и вече не мълчатъ,
Распрѣснатъ новина по всичкитѣ страни
И радватъ се кат' се распространи.
Лозорятъ всички хората отъ тѣзъ порода,

Да се издигатъ съ туй въ очитѣ на народа-
И лъжатъ се че сминатъ си позора
Когато тѣ сами почернятъ в ичби хора
И всичкия позоръ, що върху тѣхъ лѣжи.
Врѣхъ други свалятъ, да не имъ тежи.

Г-жа Пернель.

Тѣзь всички думи нишо не доказватъ.
Оранта, знайте я, — за нея всички казватъ,
Че е жена примѣрна, — но и тя била
Осждадала, каг' други, вашитѣ дѣла.

Дорина.

Примѣрътъ чуденъ; тя, добра жена!
Да, тя живѣе въ строга тишина;
Но въ възрастѣта се криятъ всичкитѣ причини;
Тя инакъ да живѣй не може въ тѣзь години.
А пѣкъ когато е била въ цвѣтуща младостъ,
Тогазъ привличала ѝ сърдцата съ радостъ.
И като вижда вечъ, че старостѣта налита, —
Отхвърля обществото, що я незачита.
И вечъ подъ булото на мъдростъ и смиренъе
Прикрива хубоситѣ исхабени.
Кокеткитѣ таквизъ сж като застарѣятъ —
Не могатъ да търпятъ тѣ други да живѣятъ.
Оставени отъ всички, — кой за тѣхъ ще спомни —
Какво да правятъ тѣ? — Играятъ роль на скромни.
Таквизъ жени все строгостъ съблюдаютъ
И хулятъ всичко, — нищо не прощаватъ
Корятъ живота тѣ на всѣкого съ ненавистъ.
И не съсъ блага цѣль, но всичкото отъ завистъ.
Не могатъ другъ да гледатъ да се наслаждава,
Когато възрастѣта отъ туй ги тѣхъ ляшава.

Г-жа Пернель. (къмъ Елмира).

На тебе се харесватъ тѣзи празни глуми
И азъ не можъ тукъ да кажа двѣ-три думи,
Защото господствю ѝ всичкитѣ заглуша,
Но пакъ ще кажа азъ, и който ще да слуша:
Доволна съмъ че моя спитъ постигилъ умно,
За дето е прибралъ това лице разумно.

Испраща го къмъ васъ самото провидѣнье
Да ви поправи той отъ всѣко заблужденье,
Правете туй, което той го прави
Той само е противъ распуснатитѣ нрави,
Игри и разговори, балове, визити
Все отъ Духа Лукавий всички сж открити.
Ти нѣма тамъ да чуешъ рѣчи благочестни,
А само праздни думи и пѣсни несвѣстни,
Глупешки клѣвети, играчки, лудини
И съсъ интриги пълни прѣсни новини.
А умнитѣ човѣци въ вашитѣ събранья
Получватъ само главоболѣе и страданья.
И глупости безъ край, бездѣлни кат' море.
Единъ ми докторъ каза, помни го добръ,
Че туй на Вавилонската Кула замязва,
Тамъ всѣкой бързи, всѣкой, — безъ да знай що казва
И почна да разказва всичкото подробно . . .

(като показва Клеанта)

А! смѣйте ли се вече? Това не ви ѣ угодно.
Търсете луди и на тѣхъ се смѣйте,

(къмъ Елмира)

Невѣсто сбогомъ! Както щѣте да живѣйте,
Но нѣма да пристѣжива тука моя кракъ,
Дано се носвѣстите, кат' се видимъ пакъ.

(Като удря плесница на Флипота)

Ти спишъ, прозевашъ се и лапашъ тукъ врабцѣтѣ,
Но чакай, азъ ще ти натрия пакъ ушитѣ,
Е, хайде, маршъ.

Явление II. — Клеантъ Дорина.

К л е а н т ъ.

Не щж да ида съ тѣхъ,
Да се не скараме огново ме е страхъ;
И тази баба . . .

Д о р и н а.

Жално е че този часъ

Не бѣше тука, та да чуе васъ;
Тя би доказала, че не до тамъ е слаба,
Че още рано е да я шарчатъ баба.

К л е м т з.

За нищо противъ насъ се въ препирня увлича!
А пъкъ Тартюфа, видишь, колко го обича!

Д о р и н а.

Да, тѣй, но тя е нищо въвъ сравненіе съ сина.
Да би го видѣли, ще кажете „загина“.

И той се считаше ужъ уменъ между насъ,
И смѣлъ, кат' служеше на своя князь.
А пъкъ сега е станалъ боязливъ кат' дѣте,
Отъ какъ е влѣзълъ на Тартюфа въвъ рѣцѣтъ;
Залюбилъ се е въ него, братъ го свой нарича,
Отъ всичкитѣ домашни него най-обича
И тайнитѣ си всички нему повѣрява,
Въвъ всичкитѣ дѣла Тартюфъ го управлява;
И тѣй го милва нѣжно, щото ще хареса
Любовника съ тазъ нѣжностъ всѣкоя метреса.
На масата за него първо мѣсто дава,
Кат' гълта за шестима, — той се възхищава;
Добритѣ кжсове на него ги предлага,
Уригне ли се онзи, каже: «Богъ помога!»
Въ полуда е отъ него; вѣждѣ той че той!
На всичко му се чуди, счита го герой;
Дѣлата му нищожни чудеса ги счита,
И думитѣ му кат' пророчества почита,
А онъ кат' знай кого да лъже и играй,
Съсь всички низки срѣдстава го мотай,
Съсь лицемѣрье сумма граби му пари
И право присвоилъ насъ всички да кори.
И даже неговий слуга си позволява
По нѣкой пѣтъ уроци да ни дава,
Говори грубости, съ очи разсвирѣѣли
Разхвъртва наштѣ дрѣхи и дантели,
Проклѣтникъ, кърпата ми скжса онзи день,
Че я намѣрилъ въ книгата му *Fleur des Saints*,
Вий, каже, грѣшни сте, вий смѣсвате нарочно
Утрѣпки дяволски съсь святостъ непорочна.

Явление III. — Елмира, Маряна, Дамись, Клеантъ, Дорина.

Елмира (на Клеанта)

Честитъ сте че не дойдохте вие съ насъ,
Да чуйте прикизскитѣ ѝ до този часъ.
Видѣхъ сега мжжа си още отъ далече,
Ще ида горѣ, той ще стигне вече.

К л е а н т ъ.

Азъ ще го чакамъ тука, да се срѣщне съ менъ
Че искамъ да му пожелаю добъръ—день.

Явление IV. — Клеантъ, Дамись, Дорина.

Д а м и с ъ.

Кажете за годѣжа сестринъ двѣ-три рѣчи.
Азъ подозрѣвамъ че Тартюфъ тукъ нѣщо пречи.
И той баща ми кара да е тъй безгриженъ,
А вие знайте съ туй до колко съмъ загриженъ.
За полза на сестра си и Валера тичамъ.
Сестрата на Валера, знайте, азъ обичамъ
И ако може . . .

Д о р и н а.

Иде.

Явление V. — Оргонъ, Клеантъ, Дорина.

О р г о н ъ.

Братко, добъръ-день.

К л е а н т ъ.

Излизахъ, но те срѣщамъ и съмъ възхитенъ,
Бвѣвъ селото сега не весели сж днитѣ.

О р г о н ъ (на Клеанта).

Дорино . . . Братко, моля, извините,
Азъ ще задамъ тукъ нѣколко въпроса,
Ще питамъ за дома какво сж що сж.

(на Дорина)

Е, какъ преминахте безъ мене днитѣ?
Благополучно? Здрави ли сж вситѣ?

Дорина.

Госпожата отъ трѣска бѣ болнава,
До вечерята глава я не остава.

Оргонъ.

Ами Тартюфъ?

Дорина.

Тартюфъ? — живѣе си прелестно.
Дебелъ червенъ и съ здравие чудесно.

Оргонъ.

Охъ, сиромаха!

Дорина.

Надвечеръ тя пакъ трепера,
И нѣмаше охота да вечеря,
До толкова главата ѝ болѣ я.

Оргонъ.

Ами Тартюфъ?

Дорина.

А той вечеря самъ предъ нея,
Двѣ яребици скромно си взѣде,
Слѣдъ туй съ бутъ овнешки си пѣкъ доѣде.

Оргонъ.

Охъ, сиромаха!

Дорина.

Цѣла нощъ истече,
Не мигна тя доръ слънцето испече.
Отъ жаръ неможеше въ лѣглото да сѣди
И трѣбваше при нея силно да се бди.

Оргонъ.

Ами Тартюфъ?

Дорина.

Той дълго не дотрая,
Трапезата напустна, влѣзе въ своята стая
И върху меккото лѣгло успокоенъ,
Преспа си тихичко до другий день.

Оргонъ.

Охъ, сиробаха!

Дорина.

Най-поляръ я убѣдихме
И тя склони, та малко кръвъ пустѣхме,
Тогава чакъ усѣти облягчение.

Оргонъ.

Ами Тартюфъ?

Дорина.

О, той бѣ смѣлъ, неше сжмнѣнье.
Противъ злинитѣ като си скрѣпи душата,
За да въстанови кръвѣта на госпожата,
До четирь литри вино си налѣ въ стомаха
Кат' си закусваше.

Оргонъ.

Охъ, сиробаха!

Дорина.

Сега добрѣ сж всички. Бързамъ при жена ви
Да кажа какъ ви радва че сж здрави.

Явление VI. — Оргонъ, Клеантъ.

Клеантъ.

Присмива ви се право въвъ очитѣ
И, истина ви казвамъ, вий се не сърдите,
Тя има право тѣй да се присмива.
Постжикитѣ ви днесъ за нищо ги не бива!
До толкова ви хванжлѣ тозъ човѣкъ въ ржцѣ,
Че само той испъзнаилъ вашето сърдце.
И слѣдъ кат' го извлѣкохте отъ бѣдността
Дошли сте чакъ до тамъ . . .

Оргонъ.

О, братко личността
На тозъ човѣкъ не ви е тѣй добрѣ позната.

Клеантъ.

Не го познавамъ, тѣй да бжде. но отъ брата
Очаквамъ съ личността му да ме запознай.

О р г о н з.

Ще бжде възхитенъ тозъ който го узнай
И наслъдението му ще да трай до вѣкъ,
О, той е челоуѣкъ... ахъ, той такъвъ е челоуѣкъ...
Веднаждъ изслушай му проповѣдта —
Нищоженъ ще ти се покаже вѣч свѣта,
Прераждашъ се отъ неговия разговоръ.
Сега азъ всичко гледамъ съсь спокоенъ взоръ
И хладнокрѣвенъ съсь кѣмъ близкитѣ сърдца,
Да би умрѣли майка, братъ, жена, дѣца
И туй би срѣщналъ равнодушно даже.

К л е а н т з.

Човѣшки чувства, братко, кой що ще да каже!

О р г о н з.

Да бихте видѣли какъ ний живѣймъ кат' братя,
Прегърнали го бихте въ своитѣ обятия.
Да ходи всѣкой день въвъ църквата обича
И тъкмо срѣщу менъ смиренно колѣнича.
Събранъето кѣмъ него си очи обраца —
И той молби горещи кѣмъ небето праща.
Въздихна той, грѣхитѣ си вълнува.
И часъ по часъ земята съ жаръ цѣлува.
Кога излизамъ, той съсь стѣпка ускорена
Преварва ме и дава ми вода святена.
Отъ неговий слуга благочестивъ узнахъ,
Че той живѣлъ тукъ близо и е сиромасъ.
Направихъ му подаръкъ: той тѣй скромнъ бѣше,
Че всичкитѣ цари да прибере нещѣше
„О, стига, казва, доста ми съ половина,
Азъ не заслужавамъ и таквази милосгнѣя“.
Отказахъ се да ги приема пакъ назади
И той предъ менъ на сиромаситѣ ги даде.
Внуши ми Богъ да ги приема у дома си
И всичкото кат' че напредна отъ тогази.
Той грижи се за всички у домъ ми,
Особенно, признавамъ, за жена ми,
Обажда тѣзь, които се ласкаятъ съ нея,
По вѣч отъ менъ я той завижда и милѣе
И десетъ пакти по-вѣч е ревнивъ.

Не знайте вий до колко е благочестивъ,
Въвъ нищо, нищо, той не съгрѣшава,
Отъ най-невинна приказка се възмуцава.
Онѣзи дни раскайва се предъ менъ,
Че въвъ молитвата си билъ смутенъ,
Ухананъ отъ бѣлха — въ гнѣвъ я смазва
И съ туй билъ съгрѣшилъ, ми казва.

К л е а н т ъ.

Вий луди ли сте, ил' ще полудѣите,
Серьозно ли приказвате, или се смѣите?
Какво вий мислите? Че тозь безмисленъ . . .

О р г о н ъ.

О, не бждете тѣй свободомисленъ:
Грѣхътъ е въвъ душата ви намѣрилъ мѣсто,
Но азъ предупредявалъ съмъ ви често.
Че зло посига тѣзь, които въ грѣхъ нагазватъ.

К л е а н т ъ.

Подобнитѣ ви винаги така приказватъ:
Тѣ искатъ всичкитѣ кат' тѣхъ слѣщи да бѣдять,
А всички мислящи ги кат' безбожни съдять.
И щомъ не уважавашъ тѣхнитѣ обряди —
Невѣрникъ си и губишь Божитѣ награди.
Но ваштѣ думи въ мене не възбуждатъ страхъ,
Азъ зная що говоря, знай Богъ че съмъ правъ,
Не се поробвамъ азъ на тѣзь свѣтци лукави,
Преструватъ се набожни и съсь строги нрави,
Тѣ считатъ само тѣзь за благочестивы,
Коиито лицемѣрятъ съ външности лъжливи,
А съ туй ли се достига Божие спасенье—
Съ обрядности лъжливи, въ църква съ посѣщенье?
Какъ! нѣма ли за вази никакво различье
Межъ истинна набожностъ и между двуличице?
Еднакво давате имъ мѣсто въвъ сърдцето,
Вий смѣсвате наивно маската съ лицето,
Сравнявате приструвката съ искренността
И истината чиста съсь видимостъта,
Фантазното видѣние съ лицето,
Фалшивата съсь чистата монета?

Създадена е чудно хорската порода !
Не можешъ да имъ видишь чистата природа :
Тѣмъ разумътъ имъ е съсъ граници прегъсени ;
И съ своитѣ домогванья несвѣстни
Най-чиститѣ нѣща тѣ често ги хабятъ
Съ прекаленостъ дано да ги възвеличатъ.

О р г о н ъ.

Да, вие сте ученъ съ извѣстностъ припозната ;
Всесвѣтнитѣ науки въ васъ се само слѣни,
Салъ вие сте мждрецъ, салъ вие сте учений,
Оракулъ и Катонъ на настоящий вѣкъ —
И нѣма на свѣта другъ уменъ чловѣкъ.

К л е а н т ъ.

Не казвамъ азъ че съмъ отъ първитѣ учени,
Нито че всичкитѣ науки въ менъ сж слѣни.
Но имамъ толкова познания въ главата
Да различавамъ истината отъ лъжата.
И като азъ не виждамъ нищо по почтенно
Отъ истинното благочестие смиренно,
И нищо тѣй къмъ почитъ ме не кара
Като святия жаръ на истинната вѣра ;
Тѣй сжщо отъ душа пѣкъ ненавиждамъ
Двуличнитѣ набожници кат' виждамъ,
Тѣзь явни шарлатани, улични святци,
Тѣзь святотатци и безочливи лъжци,
Коиито тѣпчатъ смѣло дързновенно
Това, което е за смъртнитѣ священо ;
За своитѣ интереси тѣ не се боятъ,
Търгуватъ съ вѣрата си като съ занаятъ
И искатъ да печелятъ почегъ, уважене
Съсъ вдиганье очи, съ молитвени движенья,
Съ горѣщи ужъ молитви да ги гледатъ вситѣ.
Чрѣзь пжтя къмъ небето — тичатъ къмъ паритѣ.
Съсъ блѣсъка, съ молитѣ, гонятъ интереса
И съ своитѣ проповѣди тикатъ се въ двореца.
Пороцитѣ прикриватъ съ благочестье,
А пълни съ хитрости, съсъ мстителностъ, съ бесчестье,
За да погубятъ чловѣка тѣ съ искусства
Съсъ Божьи ужъ дѣла прикриватъ своитѣ чувства ;

И тѣ сж по опасни кат' сж разгнѣвени,
Че вдигатъ срѣщу насъ оржмя священни,
И страститѣ имъ диви кат' се разгоряватъ
Тѣ противъ насъ съсъ мечъ священъ възставатъ.
Таквизи лицемѣри има въ всѣко мѣсто,
А истина добри не срѣщашъ твърдѣ често.
Но и въвъ нашия вѣкъ накъ могатъ се намѣри
Таквизи, що заслужватъ да сж за примѣри . . .
Вий вижте, на примѣръ, Оронгъ или Клитандръ
Алцидамасъ, и Полидоръ, и Периандръ.
Тѣхъ и до днесъ почита ги свѣта
И нѣма въ тѣхъ двулицье въ добродѣтелята.
И не съглеждашъ въ тѣхъ тазъ вѣншность превъзносна
И тѣхната набожность е човѣшка, сносна:
Тѣ не слѣдятъ слѣдъ другитѣ какво ще правятъ,
А гледатъ себе си най-първо да поправятъ
И тѣ съсъ празнословье се незанимаватъ,
А съ своитѣ дѣла примѣръ добъръ ни даватъ,
И зло яви ли се, — не тѣй го ненавиждатъ
И склонни сж добро и въ другитѣ да виждатъ,
Въ тѣхъ нѣма робство, ѹнтриги безъ четъ,
Съ доброто общество живѣятъ си наредъ,
Тѣ противъ грѣшника не сж въ ожесточенье,
Но мразятъ пѣкъ самия грѣхъ до отввращаеъ,
Не проповѣдватъ тѣ налѣво и надѣсно
Смирение, спасение небесно.
Това сж хора, тѣхъ ги уважавамъ
И за примѣръ на обществото давамъ.
А вашия Тартюфъ не е отъ този класъ,
Напусто сж хвалбитѣ, що ги чухъ отъ васъ;
И той ви ѣ заблудилъ съсъ вѣншността.

О р г о н ъ.

Ехъ, братко свършихте ли разговора?

К л е а н т ъ.

Да.

О р г о н ъ. (като си отива).

Е сбогомъ.

К л е а н т ъ.

Дума още, имаите търпѣние.

Валеръ да стане зетъ очаква разрѣшене,
Очаква думата послѣдня по напрѣжъ.

О р г о н ъ.

Да.

К л е а н т ъ.

Вий деня сте назначили за годежъ.

О р г о н ъ.

Да, вѣрно.

К л е и н т ъ.

Но тогазъ защо се продължава?

О р г о н ъ.

Незная.

К л е а н т ъ.

Може друга мисль ви смущава.

О р г о н ъ.

Кой знай!

К л е а н т ъ.

Отъ думата си ще се отречете?

О р г о н ъ.

Не казвай туй.

К л е а н т ъ.

Но, моля, ви кажете,

Що пречи тукъ на вашто обѣщанье?

О р г о н ъ.

Зависи.

К л е а н т ъ.

И за дума толкозъ колебанье?

Валеръ за туй ме прати да ви посѣтя.

О р г о н ъ.

Добрѣ.

К л е а н т ъ.

Тогазъ какво да извѣстя?

О р г о н ъ.

Каквото щете.

К л е а н т ъ.

Трѣбва туй да знай.
Какво вий мислите?

О р г о н ъ.

Каквото пожелай
Самъ Господь.

К л е а н т ъ.

Моля ви се, говорете свѣстно:
Държите ли къмъ него ванто слово честно?

О р г о н ъ.

Прощавай.

К л е а н т ъ. (самъ)

Не разбирамъ тѣзь нѣща!
Да ида при Валера да му съобща.

ДѢЙСТВИЕ ВТОРО.

Явление I — Оргонъ, Марияна.

О р г о н ъ.

Ела тукъ, Маряно.

М а р я н а.

Ида, тате.

О р г о н ъ.

Азъ тайно ще говоря, близичко ела ти.

М а р я н а. (на Оргона, който гледа въ кабинета.)

Какво тамъ търсите?

О р г о н ъ.

Да нѣма тука нѣкой,
Не искамъ да ни чуе разговора всѣкой.
Сега сме сами. Ази, Маряно,
Познавамъ кроткиятъ ти нравъ отъ рано
И винаги съмъ те обичалъ, щерко харна.

М а р я н а.

За тази обичъ, татко, ви съмъ благодарна.

О р г о н ъ.

Добрѣ, така, но да я заслужвашъ,
Ти трѣбва да ме слушашъ, да услужвашъ.

М а р и я н а.

О, да, за туй се азъ старая безъ сжмиѣние.

О р г о н ъ.

Добрѣ. Е, за Тартюфа на какво си миѣние?

М а р и я н а.

Кой, азъ?

О р г о н ъ.

Да. Помисли за отговора.

М а р и я н а.

Каквото пожелайте, — туй ще ви говоря.

Явление II — Оргонъ, Марияна, Дорина,
(Която влиза тихо и се исправя задъ Оргона, безъ да
я забѣлжи).

О р г о н ъ.

Тѣй, умно. Е, кажи съсъ твоя гласъ спокоенъ,
Че той е человекъ и уменъ и достоенъ,
Че ти е по сърдце, че нѣма никой другъ
Богото ти да предпочиташъ за супругъ.

А?

М а р и я н а.

А?

О р г о н ъ.

Какво?

М а р и я н а.

Какъ?

О р г о н ъ.

Що?

М а р и я н а.

Да ли азъ тѣй разбрахъ?

О р г о н ъ.

Какъ?

Марияна.

За кого вий мислите да кажа,
И кой ми й по сърдце, и нѣма нивкой другъ,
Богото азъ да предпочитамъ за сжпругъ?

Оргонъ.

Тартюфъ.

Марияна.

Заклѣвамъ се, — това не подозрѣвамъ,
Защо ме карате съ лъжа да сѣгрѣшавамъ.

Оргонъ.

Но азъ го искамъ именно така да стане,
Това е мое искрено желанье.

Марияна.

Какъ! Вий желайте тате? . . .

Оргонъ.

Къ захъ го напрѣжъ,
Съ Тартюфа да сме родъ чрезъ вашия годѣжъ.
Рѣшилъ съмъ да ти стане той сжпругъ.

(Като вижда Дорина)

Но заблѣзвамъ азъ . . . Какво ти трѣбва тукъ?
Туй любонитство малко ми се нрави,
Да слушашъ що говорятъ, гдѣ какво се прави.

Дорина.

Не зная отъ кждѣ излѣзе този слухъ,
Но увѣрявамъ ви, че ази вече чухъ
За тази свдба — и не ще ни дума
Че се изсмѣхъ, като надъ дѣтска глума.

Оргонъ.

Що има тукъ невѣроятно?

Дорина.

И отъ васъ
Да чуй туй, не ще повѣрвамъ.

Оргонъ.

О, тогазъ,
Ще ви направя да се увѣрите всички.

Дорина.

Шегувате се, вий не вѣрвате самички.

Оргонъ.

Ще видите че туй не е шега.

Дорина.

Това е празна работа.

Оргонъ.

Не е така.

Дорина.

Не вѣрвайте, баща ви се подзема.

Оргонъ.

Не, увѣрявамъ ви

Дорина.

Да, азъ сега ще взема.

На туй да вѣрвамъ . . .

Оргонъ.

Но не ме сърдете.

Дорина.

Добрѣ! Ще вѣрвамъ; вий тогазъ сте дѣте;

Възможно ли е уменъ челоуѣкъ

Съ брада обрасагъ, той да бѣде легкъ,

Да иска тѣй несвѣстно . . .

Оргонъ.

Замълчите!

Вий почвате съвѣтъ свободно да гълчите,

А азъ не съмъ ви далъ до толкозъ воля.

Дорина.

Не се сърдете, господине, моля.

Но да помисля даже ми е невъзможно

Да вземе щерка ви това лице набожно:

Той има други длъжности да изпълнява,

Кѣмъ тозъ съюзъ кое ви принуждава?

Най-сегнѣ просекъ зель защо да избереге:

При вашто състояние? . . .

С р г о н ѝ.

Мълчете.

Той уважение заслужва въ бѣдността,
И тази бѣдностъ той изкупва съ честността,
Сиромашията го вдига до величье,
Той самъ се отъ богатството отрича,
Защото той не търси земно развлечение.
А всичко върши за душевното спасенье,
Но съ мойтъ срѣдства, щомъ той зеть ни стане,
И бѣдността му вече ще престане.
А той е отъ добро происхождение
И, виждате го, съ благородно обращенье.

Д о р и н а.

Да, той го казва. Колко пъкъ прилича
Набожникъ съ титли родственни да се окича.
Ужъ всичко върши за душевното спасенье,
А хвали се съсь име и съ происхождение.
На челоувѣкъ смиренъ, благочестивъ
Не му прилича да е тѣй себелюбивъ,
Тѣй гордъ! . . . Не ви сж думитѣ ми по сърдцето,
Но настрана родътъ, да видимъ пъкъ лицето,
Немà ще можете да се рѣшите,
Съ такъвъ кат' него дъщеря си да сгодите?
Не мислите ли вий за тѣзь несъответствья?
Предвиждате ли вие всичкитѣ послѣдствья?
Рискуватъ на момата съ добродѣтелята,
Богато пренебрѣгнагъ въ нея склоносттага;
Жената честна винаги за да живѣй
Зависи отъ мъжа съ когото се вѣнчей.
Самитѣ мъжие сж виновати,
Бога ги правятъ тѣхнитѣ жени рогати.
И трудно е жената честна да остая,
Бога ѝ даватъ мъжъ, когото не желае.
Кой дава щерка си на тозъ, когото тя мрази,
Саминъ е кривъ, кога тя въ грѣхове нагази.
Мислете за подирь, — недѣйте я принужда.

О р г о н ѝ.

Отъ вашитѣ съвѣти малко имамъ нужда.

Дорина.

Добрѣ било би да ги чујте тѣзь сѣвѣти.

Оргонъ.

Не чувай, дѣще, тя приказна като дѣте;
Азъ зная що ти трѣбва, азъ съмъ ти баща.
И на Валера, истйна, те общахъ,
Но чухъ че билъ присграстенъ картофоринъ.
И като за безбожникъ ми се стори:
Той никакъ църквитѣ не посѣщава.

Дорина.

Вий искате кат' другигѣ да се явява,
Предъ всички на очи да пада на колѣни.

Оргонъ.

Не се нуждая азъ отъ вашто миѣнье
Избранный отъ менъ е челоуѣкъ набоженъ,
А по-добъръ имотъ въ смѣта е невъзможенъ.
Тозь бракъ ще ви докара всичкитѣ доволствья,
Ще плавате въвъ щастье, въ удонолствья,
И ще живѣйте двама съ иѣжностъ въвъ сърдцѣ.
Кат' гължби неввинни, мила кат' дѣца.
Срѣдня и крамоли до край не ще узнаешъ
И той ще прави туй, което ти желашъ.

Дорина.

Ще го превърне тя въ глупецъ за смѣхъ.

Оргонъ.

Какви сѣ тия думи?

Дорина.

Мяза май на тѣхъ,

Влияншето му налъ Маряна
Не ще докара бѣднина желанна.

Оргонъ.

Не ме пресичайте, ума си съберете
И въ всѣки разговори си носа не врте.

Дорина.

За вашето добро говоря, господине:

О р г о н ъ.

Мълчете. И безъ вашѣ грижи ще се мине.

Д о р и н а.

Отъ обичъ къмто васъ . . .

О р г о н ъ.

За себе я държете.

Д о р и н а.

Но ази ви обичамъ, ако да не щете.

О р г о н ъ

Ахъ !

Д о р и н а.

Вашта честь ми ѝ скъпа. Туй се не утрайва,
Съсь глупость тозь човѣкъ да ви омайва.

О р г о н ъ.

Млъкнете най-подирь!

Д о р и н а.

Да, съ тозь глупакъ

Да гледамъ равнодушно дъщеря ви въ бракъ !

О р г о н ъ.

Ще млъкнешъ ли ти, змиѣо, съ твойтѣ гнусни глуми !

Д о р и н а.

На набоженъ човѣкъ не мязать тия думи.

О р г о н ъ.

Съ тѣзь глупости ти всѣкого ще разяришь,
Отново ти повтарямъ — да мълчишь.

Д о р и н а.

Добрѣ. Ще млъкна, но ще мисля пакъ за туй.

О р г о н ъ.

Мисли каквото щешъ, но гласъ да се не чуй.

(на дъщеря си)

И не можахъ да ти говоря . . . Стига . . . Азъ
Претеглихъ всичко . . .

Дорина (на страна).

Пръсвамъ се завчасъ

Ако мълча така.

Оргонъ.

Не казвамъ че изглежда

Тартюфъ кат' хубавецъ . . .

Дорина.

Да, муцуна говежда.

Оргонъ.

Но щомъ единъ пътъ го обикнешъ ти,

То всички други . . .

Дорина. (на страна)

Ще я убъди!

Оргонъ се обръща къмъ Дорина и съ кръстосани рѣцѣ я гледа въ
лицето)

Да бѣхъ на нейно мѣсто, ни единъ не може

Безъ наказанье този бракъ да ми наложи.

И до вѣнецъ да дойдатъ даже съ принужденье, —

Жената и слѣдъ брака знае отмъщенье.

Оргонъ (на Дорина)

Та ти не щешъ да чуешъ туй което казвамъ?

Дорина.

Защо се сърдите? Азъ нищо не приказвамъ.

Оргонъ.

Кому говорите?

Дорина.

На себе си говоря.

Оргонъ. (на страна).

Не зная съ тази безочлива какво да сторя,

Азъ ще я плѣсна най-подиръ съ рѣцѣ.

(Прави движения за да удари плѣсница на Дорина и слѣдъ всѣка

дума, която казва на дъщеря си, обръща се да гледа

Дорина, която стои на страна безъ да говори).

Чуй, Маряно, казвамъ ти го отъ сърдце . . .
Повѣрвай, че мжжа . . . когато ти избрахъ . . .
(на Дорина)

Е, говори си, де!

Дорина.

Азъ всичко си казахъ

Оргонъ.

Е, още думица.

Дорина.

Не ми се вече хортува.

Оргонъ.

Е, моля ти се.

Дорина.

Ахъ, недѣйте се шегува . . .

Оргонъ.

Най-сетнѣ, дъще, трѣбва да се подчинишъ,
И вѣрвамъ моя изборъ ще го одобришъ.

Дорина. (като отбѣгва)

Азъ би подмѣтнала такъвъ супругъ на глума.

Оргонъ (като не успѣва да плѣсне Дорина)

Ти, дъще, имашъ не помощница, а чума,
Съ която, чюдя се, какъ мога да живѣя.
Не мога да говоря вече, стопихъ се съ нея;
Омръзна ми така безочливо да дрѣнка.
Ще ида въздухъ чистъ да си подишамъ вѣнка.

Явление III. — Маряна, Дорина.

Дорина.

За Бога, онѣмехте ли, кажете, моля?
И трѣбва ли азъ да взема вашата роля.
Предлагатъ ви съюзъ безмисленъ—вий търпите;
Не казахте ни дума да го отклоните.

Маряна.

Противъ рѣшителенъ баща какво да сторя?

Дорина.

Да бихъ на ваше мѣсто, щѣхъ да му говоря.

Марияна.

Какво?

Дорина.

Че съ заповѣдъ не свързватъ се сжпруги,
Че вий се жените за васъ, а не за други.
Че тѣй като за васъ се всичко прави,
Не нему, — вамъ сжпругътъ трѣбва да се прави.
И ако толкова Тартюфъ го въسخишава,
Да се вѣнчѣе съ него, — кой му запрещава.

Марияна.

Бащитѣ надъ дѣцата иматъ пълна власть,
И за това не смѣя да издигна гласъ.

Дорина.

Но ето вече Валеръ ви е поискалъ, знайте:
Обичате ли го, или пъкъ не,—признайте?

Марияна.

За тази любовь, Дорино, ти ме оскръблявашъ.
Та трѣбваше ли питанье да ми задавашъ?
Сто пжти вече предъ тебъ сърдцето си откривамъ,
Ти знаешъ съ тази любовь до колко се уивамъ!

Дорина.

Но знамъ ли азъ, говорите ли отъ сърдце
И колко ѣ силна любовта къмъ туй лице?

Марияна.

Дорино, мъчно ми е като се сжмиѣвашъ,
Когато мойтѣ чувства явно ги познавашъ.

Дорина.

Тогазъ, обичате ли го?

Марияна.

О, да, безкрай!

Дорина.

И той ви тъй обича, то се знай!

Марияна.

Азъ вѣрвамъ.

Дорина.

И желайте двама неизмѣнно
Да се вѣнчайте часъ по скоро?

Марияна.

Непремѣнно.

Дорина.

За този други бракъ какво сте се рѣшили?

Марияна.

Съсъ смъртъ ще свърша, ако нѣкой ме насили.

Дорина.

И тази добра. Отъ васъ не чакахъ туй рѣшене...
Немѣ въ смъртта ѣ единичното спасенъе?
Чудесно срѣдство! Сграшно ме раздразватъ,
Богато чуйа тъй да ми приказватъ.

Марияна.

О, Боже! Ти, Дорина много се ядувашъ!
За чужди болки не желайшъ да чувашъ.

Дорина.

Да, не жалѣя тѣзи, що праватъ глупотии,
При първа спънка вече омегкватъ както вие.

Марияна.

Но що да сгоря? Азъ съмъ боязлива.

Дорина.

Любовъ безъ твърдостъ въвъ сърдце не бива.

Марияна.

Но къмъ Валера ѣ твърда любовта ми,
И трѣбна той да ме поиска отъ баща ми.

Дорина.

Но ако е баща ви толкозь заслѣненъ,
Че на Тартюфа въ ногтатѣ е падналъ въ плѣнъ,
И иска да ви жени съ този лицемѣръ,
То и тогазь виновенъ ли ще е Валеръ?

Марияна.

Добрѣ. Но само съсь отказъ и съсь презрѣние
Да ли се измѣнява бащино рѣшене?
А може да ме нарече той вѣвъ гнѣва си
Безсрамна щерка, непокорна на баща си?
Немѣ ти искашъ въ миѣнието на свѣта? . . .

Дорина.

Не, не, не искамъ нищо. Знамъ че любовта
Влече ви къмъ Тартюфа. Грѣшка азъ сторихъ,
Че противъ този бракъ се обявихъ.
Мажътъ добъръ, а азъ безъ основанья
Говорихъ противъ вашитѣ желанья.
Мую Тартюфъ кого не ще обай?
Мую Тартюфъ си работата знай,
За да се сѣкне — кракъ не ще подемe.
И всѣкоя за честь ще счита да я вземе.
Цѣль свѣтъ го слави и го уважава,
И той е благороденъ, хубость притежава,
Съ лице червено, тлѣсть и накървенъ,
Съ такъвзи мажъ е праздникъ всѣкой день.

Марияна.

О, Боже!

Дорина.

И ще расцвѣтите изведнѣжъ,
Щомъ станете жена на този мажъ.

Марияна.

О, моля, престани, недѣй ми тѣй говори,
Кажи що трѣбва срѣщу тозь бракъ да се стори.
Макаръ и свършено, — на всичко съмъ рѣшена.

Дорина.

Не, дъщерята на баща си ѣ подчинена,

Па ако ще съ маймуна да я жени даже.
О, вие сте честити — всѣкой ще го каже.
Съ талига въ своя малѣкъ градъ ще ви сткара,
Тамъ лели и вуйзи ще дойдатъ на камара,
Отъ приказкитѣ тѣхни вий ще се омайте.
Съ доброто общество тамъ ще се запознайте.
И за добръ дошли ще идете съ визити
На сѣдняга и на кмета при женитѣ.
Тѣ ще ви срѣщнатъ съ вѣжлива манера.
На карнавала тамъ сѣ веселѣи безъ мѣра.
Игри и музика отъ инструменти рѣдки
И представления съ марионетки,
И то ако мѣжа ви . . .

М а р и я н а.

Ахъ, недѣй ме триви,
Съвѣтвай ме що трѣбва да се прави.

Д о р и н а.

Слуга покорна.

М а р и я н а.

О, Дориню, чуй . . .

Д о р и н а.

За ваше наказанье, — нека стане туй.

М а р и я н а.

О, мила.

Д о р и н а.

Не.

М а р и я н а.

Тогазъ ще важа явно . .

Д о р и н а.

Тартюфъ е вашъ, ще го узнайте незабавно.

М а р и я н а.

Азъ съ тебе винаги била съмь откровенна . . .

Д о р и н а.

Но ще се отартюфите вий непрѣменно.

Марияна.

Е, щомъ съдбата ми не струва съжаление,
Ти остави ме въ туй окаяно положение:
Сърдцето ми отъ него ще почерпи сръдства;
Азь зная гдѣ се крий цѣрътъ на мойгѣ бѣдства.

(Марияна иска да излѣзе)

Дорина.

Не, не, върнете се. Гнѣвътъ ми вече угасна
И домигѣхте ми, защото сте нещастна.

Марияна.

О, ако ме изложатъ на това мъч-нѣе,
Повѣрвай, ще потрѣся въввѣ смъртъта спасение

Дорина.

Не бойте се. По другъ пътъ този лицемѣръ
Ще го избѣгнемъ . . . Его и Валеръ.

Явление IV. — Валеръ, Марияна, Дорина.

Валеръ.

Азь, госпожице, новина узнахъ тозъ часъ
И вѣрвамъ да е радостна за васъ.

Марияна.

Каква?

Валеръ.

Че се вѣнчавате съ Тартюфа.

Марияна.

Знамъ.

Баща ми този планъ си го съставилъ самъ.

Валеръ.

Баща ви?

Марияна.

Да, той измѣнилъ вече своето миѣние
И ми изсказа новото си намѣрене.

Валеръ.

Какъ! сериозно ли е туй?

Марияна.

И още какъ.

Той положително рѣшилъ за този бракъ.

Валеръ

А вий съгласни ли сте съ плана на баща ви?

Марияна.

Не зная.

Валеръ.

Отговора честь ви прави.

Не знайте?

Марияна.

Не.

Валеръ.

Какъ, не?

Марияна.

Но дайте ми съвѣти.

Валеръ.

Съвѣтвамъ ви съ Тартюфа се женете.

Марияна.

Да.

Марияна.

Истина ли?

Валеръ

Безъ съмнѣнье,

Прекрасенъ изборъ, приемете туй рѣшенъе

Марияна.

Добрѣ. И съ тозъ съвѣтъ се съгласявамъ.

Валеръ.

И ще го слѣдвате безъ мжка, увѣрявамъ.

Марияна.

Тѣй както дадохте безъ мжка тозъ съвѣтъ.

Валеръ.

За да ви угодя, го дадохъ, — не за връщъ.

Марияна.

А вамъ да угодя, ще го изпълнявамъ вече.

Дорина (като се оттегля на дъното на сцѣната) —

Какво ще стане — ще ги слушамъ азъ далечъ.

Валеръ.

И туй било любовъ? Лъжа е онова,
Което вий . . .

Марияна.

Не говорете за това

Вий сами ми казахте ясно да приема

Тартюфа за сжиругъ мой да го взема :

И азъ ви обявявамъ, че ще го направя,

Защото вий съвѣтвате така да правя.

Валеръ

Не извинявайте се съ мойто мнѣние.

Вий бѣхте склонни съ бащиното ви рѣшенъе,

И тозъ предлогъ измислахте отново,

За да ви не корятъ съ отказъ отъ честно слово.

Марияна.

На мѣсто казано.

Валеръ.

Разбира се; и въ васъ

Не се ѝ възбуждала любовъ къмъ менъ ни часъ.

Марияна.

Да, позволено вий да мислите така.

Валеръ.

Да, позволено : но въ душата си съ тжга

Ще ви предупредя въ подобно предприятъе,

Менъ чака друга обичъ и обятъе.

Марияна.

Не се сжмѣвамъ азъ, че съ вашитѣ заслуги . . .

Валеръ.

Ахъ, оставете ласкитѣ за други:
Доказахте го че заслуги нѣмамъ.
Но азъ на любовта на друга се надѣвамъ,
Предъ нейната душа азъ всичко ще забравя,
Загубеното съ нейна помощъ ще поправа.

Марияна.

Голѣма загуба! Ще се разсѣйте
Съсъ новата любовъ, и нѣма да жалѣйте.

Валеръ.

Да, ще се постарая и ще го направя.
Сърдце, което ни отхвърля и забравя,
Докосва ни честта и трѣбва да се боримъ
Да го забравимъ, или пъкъ да се присторимъ;
Таквози унижение прошка не намира:
Да любиниъ тазъ, която те презира.

Марияна.

Туй чувство ѝ благородно, безъ сжмиѣне.

Валеръ.

Да, да, това е най-похвално повѣдене.
А какъ! желайте вѣчно въ моитѣ гърди
Бѣжъ васъ любовъ горѣща да пламти,
Въ обаята на други да ви наблюдавамъ,
А пъкъ сърдцето си на друга да не давамъ?

Марияна.

Напротивъ, искамъ туй, което вий желайте,
Побързайте, побързайте да се вѣнчайте.

Валеръ.

Желайте?

Марияна.

Да.

Валеръ.

Е, доста унижение.

Ще го изпълня вechъ за ваше утѣшене.

(Тръгва да си отиде)

Марияна.

Добрѣ.

Валеръ (като се връща).

Пове ще помните тогазъ
Че тази стъпка прави зарадъ васъ.

Марияна.

Да, да.

Валеръ (като се връща отново)

И че на вази подражавамъ,
Съ това рѣшенъе.

Марияна.

Тѣй, и съ туй се съгласявамъ.

Валеръ (на излизанъе)

За моята женитба ще ви съобщагъ.

Марияна.

И по добрѣ.

Валеръ (пакъ се връща)

При вази съмъ за сѣтенъ пѣтъ.

Марияна.

На добъръ-часъ.

Валеръ (като се обръща на излизанъе).

А?

Марияна.

Що?

Валеръ.

Не ме ли викате?

Марияна.

Азъ? вий сънувате.

Валеръ.

Е, сбогомъ останете.

Марияна.

Съсъ здравъе, господине.

Дорина (на Марияна)

Мина вече часъ,

И чувамъ само глупости отъ васъ.

Рѣшихъ се препирнята ви да трая,

Да видя гдѣ ще ѝ излѣзе края.

Ея, господинъ Валера!

(Спира Валера за ржбата)

Валеръ (приструва се че се противи)

Е, какво Дорино?

Дорина.

Елате тукъ.

Валеръ.

Не, не, гнѣвътъ не ще ми мине;

Не ме отвърщайте отъ туй що тя желай.

Дорина.

Почакайте.

Валеръ.

Рѣшено, вече душа не трай.

Дорина.

Ахъ!

Марияна (на страна).

Той ме не търпи и ненавижда,

Да си отида по добрѣ, да ме не вижда.

Дорина.

(като оставя Валера и тича слѣдъ Марияна)

Сега пъкъ тя! Къдѣ?

Марияна

Ахъ, остави,

Дорина

Дойди.

Марияна

Не щж; не можешъ вече ме убѣди.

Валеръ (на страна).

Азъ виждамъ — даже кат' ме гледа тя страдае
И по добръ ще бѣде тукъ да се не мая.

Дорина.

(като оставя Марияна и тича слѣдъ Валера)

Пакъ! чудна работа — и нѣматъ срама.
Хвърлете глупоститѣ и елате двама.

(улавя за ржцѣтъ, Валера и Марияна, и ги довежда)

Валеръ (на Дорина).

Какво желаете?

Марияна. (на Дорина).

Какво ще правишъ ти?

Дорина.

Да ви сдобря; единъ другъ да прости.

(на Валера)

Защо се карате, недѣйте тѣй лудува.

Валеръ.

Но ти не чувашъ ли, какво ми тя хортува?

Дорина (на Марияна).

Тазъ препирня ума ли ви занесе?

Марияна.

А не видѣ ли ти какъ той се съ менъ отнесе?

Дорина (на Валера).

И двама глупави. — А азъ ви увѣрявамъ,
Тя само васъ обича, — честна дума давамъ.

(на Марияна)

Той тѣй ви люби, че не спомнева за друга,
Единчко що желае — да му сте сжпруга.

Марияна.

Защо ми дадохте тсгазъ тагъвъ свѣтъ?

Валеръ.

Защо ме питохте вий за тагъвъ предмѣтъ?

Дорина.

Вий луди сте и двама. Дайте си ръцѣтъ.

(на Валера)

Де, вий.

Валеръ.

(като си подава ръката на Дорина)

Защо е туй?

Дорина (на Марияна).

И вий ще я дадете.

Марияна (като дава също ръката си).

Какво е туй?

Дорина.

О, Боже, още ли се майте.

Вий сами вашата любовъ не знайте.

(Валеръ и Марияна стоятъ извѣстно врѣме условени за ръцѣтъ
безъ да се глѣдаты).

Валеръ. (като се обръща къмъ Марияна)

Защо се мъчите така — вамъ туй не мяза,

Е, погледнете ме сега баръ безъ омраза.

(Марияна се обръща къмъ Валера съ усмивка)

Дорина.

Но всички влюбени кат' че сж съ мозъкъ боленъ.

Валеръ (на Марияна).

Е право нѣмахъ ли да бжда недоволенъ?

Вий колко злѣ постѣжихте съсъ менъ,

Съсъ колко неприятности бѣхъ награденъ?

Марияна.

Но кой е тѣй неблагодаренъ като васъ?

Дорина.

Вий оставете спора си за други часъ.

А пъкъ сега да си помислимъ пакъ,

Съ кой начинъ да отхвърлимъ този омразенъ бракъ.

Марияна.

Свѣтвай ме какво сега да правя,
Отъ тозъ прогивенъ бракъ да се избавя.

Дорина.

Съсъ всички срѣдства трѣбва да се боримъ (на Марияна).
Баща ви се противи, (на Валера) ний ще го съборимъ

(на Марияна)

Но най добръ ще бжде зарадъ васъ,
Догдѣ настъпн по благоприятенъ часъ.
Да се показвате съ баща си ужъ съгласни,
Тогазъ, и въ случай на минути по опасни,
Вий лесно ще отлагате деньтъ на брака:
Тукъ главното е врѣмъ-то да се протаѣ,
По нѣкой пжтъ ще се преуравяте на болна,
Догдѣ ви изцѣрятъ — печелите доволно.
Ил' ужъ предчувствия ви безпокоятъ,
И страшни сънища се въкъ ума ви роятъ,
Или се счуни вашето огледало,
Ил' виждате мъртвецъ, ил' блато потъмняло.
Но най-подиръ, догдѣ не сте се съгласили,
Не могатъ ви вѣнча; не става бракъ съ насилъе.
Но за да се успѣе, ви свѣтвамъ сама, —
Пазете се да ви не виждатъ двама.

(на Валера)

Излѣзте вече; молете вашитѣ другари
Да ви помататъ, кой съ каквото свари,
А ний отъ брата и ще търсиме облага,
И майка и тѣй сжщо ще помага.
Прощавайте.

Валеръ (на Марияна).

Каквито срѣдства силни
И да приложимъ въ дѣйствиѣ ний, — сж все безсилни!
Предъ вашата любовь, надъждата е въ васъ.

Марияна (на Валера).

За воля башина не отговарямъ азъ,
Но никога не щѣ да бжда друга:
Или Валерова, ил' ничия смируга.

Валеръ.

О, колко съмъ честитъ! И смѣлость ми предава. . . .

Дорина.

За тѣзи влюбени насита не остава.

Излѣзнете, си

Валеръ (като връща).

Но

Дорина.

Стига вече! ни хората.

Вий бѣжъ отъ тукъ, а вий — отъ другитѣ врата.

(Дорина ги тласка и ги принуждава да се раздѣлятъ).

ДѢЙСТВИЕ ТРЕТО.

Явление I. — Дамисъ, Дорина.

Дамисъ.

Небесний нека грѣмъ да свърши мойтѣ дни,
Подлецъ да ме сметатъ отъ всичкитѣ страни,
Ако ли азъ отъ почитанье или страхъ
Не свърша туй до край, което обѣцахъ.

Дорина.

За Бога, усмирете вашто раздражение:
Баща ви прави си предположенье.
Не се изпълня всичко що се предполага,
Отъ мисль до дѣйствие не лесно се пресяга.

Дамисъ.

На тозъ подлець азъ плана ще му пресѣка.
Двѣ думи само на ухо да му рѣка.

Дорина.

По тихо, моля! Съ него, както и съ баща ви,
Вий оставете майка ви да се расправи.
Тя надъ Тартюфа е добила доста власть,
Готовъ е да ѝ угоди той всѣки часъ,

И щомъ любовни сцени съ нея той захване,
Тогазъ, добръ е Господъ, всичкото ще стане;
За туй ще го повика, ще го позамай,
Какво той мисли зарадъ брака ще узнай.
И ако види тя, че храни той надѣжда,
Ще почне ужъ съ участие да му изрежда
Какви злини ще истекать отъ този бракъ.
Азъ ходихъ да го викамъ въ стаята му пакъ,
Слугата му казà, че моли са въ тозъ часъ,
Наскоро щѣлъ да слѣзе да се срѣщне съ насъ.
Азъ ще почакамъ тукъ, а вие си идете.

Д а м и с ъ

При този разговоръ и мене оставете.

Д о р и н а.

Не може. Трѣбва да останатъ сами.

Д а м и с ъ.

Ни дума нѣма да излѣзе изъ уста ми.

Д о р и н а.

Шегувате ли се : при вашто отношење
Ще поврѣдите всичко, безъ сжмиѣње
Излѣзте си . . .

Д а м и с ъ.

Не, не, азъ искамъ да ги видя;
И ще се въздържа и нѣма да обидя . . .

Д о р и н а.

Ахъ, вий ме сърдите! . . . Ще дойде да ви види . . .
Излѣзте си поскоро . . . чувайте го — иде!

(Дамисъ отива въ единъ кабинетъ въ дъното на сцената).

Явление II.

Т а р т ю ф ъ.

(Говори високо на слугата си, който е задъ сцената,
щомъ забѣлѣзва Дорина).

Ти книгата и ризницата скрий, Лоране,
Моли се. Господъ отъ лукавий да те брани.

Кажи, — ако ли дойдатъ да ме търсятъ хора,
Че днесъ раздавамъ милостъ въвъ затвора.

Дорина (на страна).

Какви хвалби омразни и какво двуличиѣ!

Тартюфъ.

Какво желаете?

Дорина.

Да кажа . . .

Тартюфъ.

Отъ приличье,
Вземете първо тази кърпа, о, за Бога! . . .

Дорина.

Какво?

Тартюфъ.

Покрийте си гърдитъ, — азъ негома
Да гледамъ тѣзъ нѣща . . . смущаватъ ми душата,
И грѣшни мисли ми пораждатъ въвъ главата.

Дорина.

Вий много се поддавате на искушение,
Плътята на вашгѣ чувства прави л' впечатление?
И чудна работа! отгдѣ такъвъ разгаръ;
Признавамъ ви се, — азъ несѣщамъ толкозь жаръ,
Да сте и голи отъ главата до петитъ, —
То съ вашто тѣло нѣма да ме съблазните.

Тартюфъ.

Недѣйте въ думитъ си скромността забравя,
А то ще ме принудите да ви оставя.

Дорина.

Не, стойте вий, а азъ ще си отида;
Но госпожата каза, щомъ ви вида,
Че тя ще слѣзе тука, да ви съобща,
Че има да ви пита нѣком нѣща.

Тартюфъ.

Съ голѣмо удоволствие!

Дорина. (на страна)

Какъ сега умягна!

Излиза вѣрно туй, което азъ си рѣвна.

Тартюфъ.

А скоро ли ще дойде?

Дорина.

Чакамъ я тозь-часъ

Ей иде. Останете си сами тогазь.

Явление III. — Елмира, Тартюфъ.

Тартюфъ.

Всевишния съ небесенъ свѣтъ да ви огрѣй,
И въ тѣло, и въ душа ви здравье да прогѣй,
Да продължи живота ви азъ моля,
Покоренъ рабъ на неговата воля.

Елмира.

Благодаря за туй желанье благородно.

Сѣднете, моля, да говоримъ по удобно.

Тартюфъ (сѣда).

Е, какъ сте съ болѣстѣта — мина ли вече?

Елмира.

Добрѣ съмь; грѣската ми се пресѣче.

Тартюфъ.

Съ молитвитѣ си, да повѣрвамъ азъ негома,
Че съмь измолилъ здравие за васъ отъ Бога,
Но винаги, въ молбитѣ си сърдечни,
За вдрието ви съмь молилъ Бога Вѣчний.

Елмира.

Вий много сте се безпокоили за мень.

Тартюфъ.

Но вашто здравье е за мень предмѣтъ безцѣннъ.
За вашето би жертвувалъ и мойто здравье.

Е л м и р а.

Тазъ милость християнска честь ви прави.
Обязана съмъ ви за всички добрини.

Т а р т ю ф ѝ.

Съ достоинствата ви какво ще се сравни!

Е л м и р а.

Жалая тайно да ви кажа двѣ-три рѣчи.
Сами сме тука, никой нѣма да ни рѣчи.

Т а р т ю р ѝ.

Дано, дано не ни побъркатъ въ този часъ,
О, колко ми е драго да сме двама съ васъ :
За мигъ такъвъ съмъ молилъ Благия Творецъ
И случая чудесенъ дойде на конецъ.

Е л м и р а.

Желала бихъ при днешнитѣ ни разговори
Сърдцето ви предъ менъ да се отвори,

(Дамись, безъ да се показва, полуотваря вратата на
кабинета въ който бѣ влѣзълъ, за да чува разговора)

Т а р т ю ф ѝ.

Това ѝ и моето желание едничко,
Да ви открия ясно въвъ душа си всичко,
И да ви увѣря, че глжчката и шума
Що вдигахъ азъ за дѣто гости сума,
За ваштѣ прелести, се въ дома ви привличать, —
Че отъ умраза тѣ не проистичать,
А всичко ставаше отъ мойто увлечение
И отъ усърдие . . .

Е л м и р а.

За моето спасение . . .

Тартюфъ (улавя Елмира за ржката и стисва прѣститѣ)
О, да, госпожо, толкозь съмъ увлеченъ . . .

Е л м и р а.

Охъ, стискате ми прѣста.

Т а р т ю ф ѝ.

Туй е знакъ сърдеченъ,

А не че искамъ зло да сторя вамъ,
По скоро азъ . . .

(Тури си ржката на колѣното на Елмира)

Е л м и р а.

Ржката ви що търси тамъ ?

Т а р т ю ф ъ.

Азъ пипамъ дрѣхата : материята ѝ мекка.

Е л м и р а.

Ахъ, оставете, гжделъ ме ѝ . . . полегка . . .

(Елмира отдръпва стола, си Тартюфъ се
приближава до нея)

Т а р т ю ф ъ. (като глади шалтъ на Елмира)

О, Боже! колко тѣзъ издѣлъя сж прелестни !
Сега изработватъ материи чудесни :
За пръвъ пѣтъ виждамъ азъ таквизъ нѣща.

Е л м и р а.

Да, да. Но слушайте какво ще съобща :
Азъ чухъ че моя мжжъ си думата презрѣлъ
И свойта дъщеря на васъ я обѣщалъ.
Е, вѣрно ли е туй ?

Т а р т ю ф ъ.

Да, той ми каза нѣщо,
Но, знайте, че тона, що жажда азъ горѣщо,
Въвъ други хубости чудесни го намирамъ,
Къмъ тѣхъ се само азъ стрема . . .

Е л м и р а.

Разбирамъ,
Къмъ земнитѣ нѣща васъ нищо не влече.

Т а р т ю ф ъ.

Да, но и въ моето сърдце все кръвь тече.

Е л м и р а.

Но мисля азъ че салъ Небото ще обича
Сърдцето ви, а земното ви не привлича.

Т а р т ю ф ѝ з.

Но обичѣта коя ни свързва съ небесата,
Не задушава любовѣта ни въвъ сърдцата,
И чувството ни може да се възхищава
Отъ хубоститѣ земи, що ги Богъ създава.
На други вамъ подобни Той е хубостъ дава,
Но въ васъ е чудеса отъ хубости събралъ,
На вашето лице тазъ красота блѣсти,
Очитѣ ми се впивать и сърдце трѣбити.
И щомъ погледна васъ, божествено творенѣе,
Азъ виждамъ въ тѣзъ чърти самото провидѣнѣе,
Любовъ горѣща пълни моето сърдце,
Предъ тозъ портретъ на Божѣето лице :
Съмнѣвахъ се че туй влеченѣе омайно
Испраца ми Духътъ Лукавий тайно,
И мислихъ да избѣгвамъ вече срѣща съ вази,
Спасението ми душевно да се свази ;
Но най-подаръ узнахъ, о, хубостъ, най-общна,
Че тази страсть не е до толкозъ неприлична,
Че съ мойта, срамежливостъ туй се оправдава
И воля тя на моето сърдце не дава.
Признавамъ че ще сторя твърдѣ дързко нѣщо
Да ви предложа даръ отъ туй сърдце горѣщо, —
Зависи всичко отъ сърдцето ви прекрасно,
А не отъ моето усилие напразно.
Отъ васъ надѣжда и покой ще чагамъ.
Отъ васъ блаженство или мъки ще дочакамъ.
Зависи отъ рѣшението ви сърдечно, —
Честитъ ли да съмъ азъ, или нещастенъ вѣчно.

Е л м и р а.

Да, кавалерско бѣше вашто обясненѣе,
Но, право да ви кажа, е за удивленѣе;
Не трѣбва вий да се възлнувате тѣй много,
А да обмисляте постѣпкитѣ си строго.
Васъ за човѣкъ набоженъ ви познаватъ . . .

Т а р т ю ф ѝ з.

Но и въ набожника се чувства съхраняватъ.
Щомъ види нѣкой лика ви небесенъ,
Плѣни му се сърдце, обръща се въ несвѣсенъ.

На мойтъ думи вий се чудите и майге,
Но ангелъ азъ не съмъ, госпожо, вие знайте;
И не осждайте вий моето признанье,
Вината й въ хубостта ви, Божие създанье.
Щомъ вашето неземно зарна азъ лице,
Въ мигъ ставамъ паѣнникъ вашъ съ душа и съсъ сърдце.
Божественний ви погледъ вещь ме побѣди,
Разби упорството на моятъ гърди:
Забравихъ азъ и постъ, молитви и сълзи,
О, вашта красота душа ми порази.
Съ очи, съ въздишки далъ съмъ туй да разберете,
Сега да се искажа съ думи позволете.
Смилете се и погледнете нѣжно
На ваший рабъ страданиято безнаѣжно;
И ако вий желайте мойто утѣшенье
Къмъ менъ, нищожния, сторете снисхожденье
И азъ, повѣрвайте, о, дивна красота! —
Ще ви боготворя предъ всичко на свѣта.
Честъта ви съ мене нѣма да страдай,
Стѣснение и страхъ не ще ви обладай.
Мжжеть и женитъ въ обществата сийяни,
Раздъривкватъ си дѣлата и не пазятъ тайни;
Успѣятъ нѣгдѣ и съ хвалби се превъзнасятъ,
Сполучатъ ли, — на всекъждѣ мълва разносятъ,
Языкътъ имъ нескроменъ винаги й готовъ
Олтаря да мръси на святата любовь.
А ний, набожнитъ сме скромни хора
И тайната у насъ се пази кат' въ затвора.
Та ний, за да запазимъ честното си име,
Принудени сме строго тайна да държиме;
У насъ ще найдатъ салъ любовь безъ разглашенье,
Безъ страхъ и безъ опасностъ чисто наслажденье.

Е л м и р а.

Изслушахъ цѣлата ви рѣчь краснорѣчива,
Която вашата душа предъ менъ открива.
Не ви ли й страхъ, това любовно обяснение
Да го раскажа на мжжеть си безъ стѣснение,
И тозь постъпкъ — той ако узнай,
Навѣрно дружбата ви нѣма вещь да трай?

Т а р т ю ф ъ.

Но ази съмъ увѣренъ въвъ вашта милостивость,

Вий ще простите моята непредпазливост ;
Човѣшка слабостъ — вий ме извинете,
Ако сте оскърбени, — моля ви, простете.
Но щомъ погледните на своето лице,
Ще го признайте сами отъ сърдце,
Че най подиръ и азъ не съмъ слѣпецъ,
И азъ съмъ чловѣкъ съсъ тѣло, наконецъ.

Е л м и р а.

На мое мѣсто друга щѣше да ви каже . . .
Но мойто въздържанье тукъ ще се покаже :
Азъ отъ мжжътъ си всичкото ще скрия,
Но за възнаграждение искамъ, щото вие
Сами да дѣйствувате предъ мжжа ми,
За брака на Валера съ дъщеря ми.
Тя нему е отдавна обѣщана,
А вий да се откажете отъ Марияна,
И . . .

Явление IV. — Елмира, Дамисъ, Тартюфъ.

Д а м и с ъ.

(като шлиза изъ кабинета, гдѣто бѣ се скрилъ)

Не, ще го расправя азъ предъ всички хора,
Бѣхъ въ тази стая — чухъ ви разговора ;
Самъ Богъ кат' че ме введе тука въ кабинета,
Да смажа гордостята на тази душа проклѣта,
Да си отворя пѣть за отмъщение
На този лицемеръ, достоенъ за презрѣние.
Баща ми нека знай че, тозъ подлець
Разбойникъ е — подъ було на светець.

Е л м и р а.

Не, не Дамисъ ; доволно е и този страхъ,
Той ще заслужи прошката що обѣщахъ,
И моля те, недѣй ме отклонява
Не съмъ отъ тѣзъ, що вдигатъ шумъ и врѣва,
Жената съ глупости таквизи се шегува,
Не трѣбва съ тѣхъ мжжа си да вълнува.

Д а м и с ъ.

Постъпвайте съгласно съ вашето рѣшенье,

Азъ имамъ други планъ и друго намѣрене,
Ще бжде смѣшно челоуѣкъ да го жалѣй :
Не! стига вече безочливо да ми се смѣй
И надъ гнѣва ми справедливъ да тържествува,
И стига вече въ къщата ни да бѣснува,
Не трѣбва вече баща ми да е въ заблуждене.
Не трѣбва тозъ да триви нашто наслаждение,
А трѣбва подлостъта да се открий сега,
Самъ Богъ ми дава срѣдствата въ рѣка.
Благодаря за туй Святото Провидение.
Тозъ мигъ да пренебрѣгнешъ—правишъ престѣпление.
Назадъ да ти го Богъ отнеме ще заслужишъ

Е л м и р а.

Дампсе . . .

Д а м и с ъ.

Не, не мога иначе да постѣпя.
Доволенъ съмъ безкрайно, — нѣма да отстѣпя,
Напусто се старайте да ме убѣдите,
Отъ отмъщение нѣма да ме отклоните.
И тѣй, азъ ще раскажа всичко на баща си,
И ще задоволя съ това гнѣва си.

Явление V. — Оргонъ, Елмира, Дамись, Тартюфъ.

Д а м и с ъ. (къмъ Оргона)

Ще ви раскажа неприятна новина,
Печаленъ случай, който преди мигъ станà :
Тозъ господинъ цѣнилъ е ваптъ ласки,
Заплащалъ ви добръ за нѣжнитѣ обнаски.
До колко ви ѣ обичалъ — туй се вече вѣсти,
Цѣльта му е била да ви обесчести.
Азъ тукъ го хванахъ, че признанье прави
Въ любовь престѣпна, гнусна, предъ жена ви.
Но тя като добра, при туй и прѣдпазлива,
Желасе това на васъ да не открива ;
Но азъ не одобрихъ — не мога да търпя,
Да ви не кажа — значи да ви оскърба.

Е л м и р а.

Да, но съ таквизи приключенья праздни,

Не струва никога сжируга да се дразни;
И съ безполезенъ шумъ честта се не запазва,
Кога човѣкъ не знае какъ да се предпазва,
И ти, Дамисе, ако ме почиташъ,
Не трѣбваше съ доноса да се вплаташъ.

Явление VI. — Оргонъ, Дамисъ, Тартюфъ.

О р г о н ъ.

О, Боже, туй да ли е вѣроятно!

Т а р т ю ф ъ.

Да, брате, азъ съмь грѣшенъ невъзвратно,
Злодѣй, виновникъ пѣленъ съ зло, съ развратъ,
Най първия разбойникъ въ този свѣтъ,
Живота ми е пѣленъ съ гнусотии,
Съ цѣлъ редъ отъ престѣпления и проклѣтти,
За наказание самото провиденье
Убива ме съ туй дивно приключенье;
Съ позоръ да ме обсипятъ — азъ мълча,
Не защитавамъ се, не смѣя да гълча.
Тѣ казватъ право, вий ги вѣтъ си не пазете
И кат' престѣпникъ ме на пѣтя исхвърлете.
Съ каквото и да ми отвърнете презренье
Заслужвамъ туй, и още даже унижение.

О р г о н ъ. (на сина си)

Нешастникъ! съ тѣзь лъжи какъ имашъ ти сърдце
Да чернишъ добродѣтелята на туй лице!

Д а м и с ъ.

Какъ! вие още вѣрвате на тозь подлець,
Кат' се преструва! . . .

О р г о н ъ.

Замълчи! проклѣтъ лъжець!

Т а р т ю ф ъ.

Ахъ, нека си говори; вий го не вините,
А по добръ — повѣрвайте му новинитѣ.
Защо залѣгате за менъ слѣдъ този фактъ?

Вий знайте ли до колко азъ съмъ виноватъ?
Вий имате довѣрие къмъ външността ми,
Защо по външность сждите за личността ми?
Не, вий се мъжете отъ туй що е на гледъ;
А въ сжщность азъ съмъ — както каза той — проклѣтъ.
Свѣта почита ме за чловѣкъ почтенъ,
Но азъ заслужвамъ, истина, да съмъ презрѣнъ.

(като се обръща къмъ Дамиса)

Да, сине мой, хулете ме че съмъ подлець,
Развратенъ скотъ, разбойникъ и крадецъ,
Отрупвайте ме съ имена и по ужасни,
Заслужвамъ; оправданъята ми сж напрасни.
Ще слушамъ на колѣни всички оскърбленья,
И вечкия позоръ за мойтъ престжиленья.

О р г о н ъ.

(на Тартюфа) (на сина си)

О, брате, стига. Нѣмашъ ли, нещасникъ, срама.

Д а м и с ъ.

Какъ! вие се поддавате на тазъ измама . . .

О р г о н ъ

Мълчи! (като повдига Тартюфа)

Станете, брате, — азъ се възмуцавамъ!

Бесчестникъ!

Д а м и с ъ.

Може . . .

О р г о н ъ.

Замлъгни!

Д а м и с ъ.

О, полудѣвамъ . . .

О р г о н ъ.

Мълчи, или ще смажа тѣзь уста омразни.

Т а р т ю ф ъ.

О, брате мой, недѣйте се, за Бога, дразни!

По-скоро прегърпѣлъ би сташно наказание,
Отъ кълкото за менъ да сѣти той страданье.

Оргонъ (на сина си).

Неблагодарникъ!

Тартюфъ.

Оставьте го на воля,

Готовъ съмъ на колѣни да ви моля . . .

Оргонъ (колѣнчи и цѣлува Тартюфа).

О, смѣйте ли се? (на сина си)

Звѣрь, виждь коюко той е благъ!

Дамисъ.

Е, сетнѣ . . .

Оргонъ.

Ти млъкни!

Дамисъ.

Какъ! Азъ . . .

Оргонъ.

Мълчи, дивакъ.

Азъ зная отъ вждѣ интригитѣ излазять,
Жена, дѣца, слуги — защо ги всички мразять,
Употрѣбватъ срѣдства срамни, безобразни,
За да пропждятъ салъ набожника нещастний;
Но нека тѣ се мжчатъ — всичко й безъ сполука,
И азъ нарочно пакъ ще го загнузда тука;
Азъ часъ по-скоро ще му дамъ и дъщеря си,
Тогазъ ще усмирятъ тѣ гордостта си.

Дамисъ.

На сила ли вий ще му я дадете?

Оргонъ.

Да, още тази вечеръ, — да се изѣдете!
Азъ вамъ ще ви покажа, — ще се смайте,
И кой е господаря тукъ ще познайте.
Сега, вземи си думитѣ предъ мене,
И прошка му поискай на колѣни.

Дамисъ.

Кой? азъ! на тозъ злодѣецъ, който съзъ измамн . . .

О р г о н ъ.

Ти още клъветишь! . . . Че чуйшь заповѣдта ми!

(на Тартюфа)

Бастоня ми ; бастонъ! . . . Недѣйте ме забира,

(на сина си)

На вѣнъ! духътъ ти тукъ да се не спира,

И да не стѣпятъ тука твоитѣ крака.

Д а м и с ъ.

Да, ще излѣза азъ, но . . .

О р г о н ъ.

Вѣнъ! навѣнъ, сега!

И знай, че отъ наслѣдство си лишенъ.

Проклѣвамъ те завинаги . . . Бѣди презрѣнъ!

Явление VII. — Оргонъ, Тартюфъ.

О р г о н ъ.

Врѣхъ този святъ човѣкъ се сипятъ оскрѣбленъ!

Т а р т ю ф ъ.

Прости му, Боже, неговитѣ прегрѣшенъ!

(на Оргона)

О, мъчно ми е, брате тѣй като говорятъ,

И се предъ васъ старятъ да ме опозорятъ.

О р г о н ъ.

Уви!

Т а р т ю ф ъ.

Въ неблагогодарность менъ да обвиняватъ!

Сърдцето и душата съ туй ми нараняватъ . . .

О, Боже, ужасъ . . . Бий сърдцето ми, не спира,

Не мога да говоря, охъ, ще се умира . . .

О р г о н ъ.

(затичва се съ сълзи до вратата, отъ която бѣ исплдилъ сина си),

Проклѣтникъ! кая се че се надъ тебъ смилихъ

И че на мѣстото не те убихъ

(на Тартюфа)

Но успокойте се, не се сърдете вече.

Тартюфъ.

Добрѣ да прекратимъ тѣзь неприятни рѣчи.

Отъ менъ сж недоволни всичкитѣ у васъ

И трѣбва да напустна дѡма ви тозчасъ.

Оргонъ.

Шегувате ли се?

Тартюфъ.

Не, менъ ме мразятъ,

Предъ васъ набожността ми искатъ да погазятъ.

Оргонъ.

Е, та какво? Придавамъ ли имъ азъ значенъе?

Тартюфъ.

Но тѣ ще продължаватъ, безъ сжмиѣнъе;

И тѣзь доноси, що направи ваший смѣъ,

Ще дойде часъ да ги повѣрвате саминъ.

Оргонъ.

Не, брате, никога.

Тартюфъ.

Ахъ, брате мой, жената

Ще завладѣе лесно на мжжа душата.

Оргонъ.

Не, не.

Тартюфъ.

Пустнете ме да си отида азъ,

И всичкитѣ нападки ще се сиратъ тогазъ.

Оргонъ.

Не, тука ще живѣйте — инакъ азъ умирамъ.

Тартюфъ.

Добрѣ, за вашето спасенъе се спирамъ,

Но ако вий . . .

Оргонъ.

Ахъ, моля!

Т а р т ю ф ъ.

Стига, азъ отстживамъ.
Ще зная за напрѣдъ какъ трѣбва да постъпвамъ.
Честъта е деликатна, и не ще сжмиѣнѣе,
Че да предупрѣдя и шумъ, и подозрѣнѣе,
Азъ трѣбва да избѣгвамъ срѣща съъ жена ви . . .

Д о р и н а.

Не, на инатъ, тази срѣща често да се прави.
И нека цѣлий домъ да си бѣснѣе,
Азъ искамъ да ви виждамъ всѣкой часъ съъ нея.
Това е малко: за да ги съсия всички,
Наслѣдникъ ще направя васъ едничкий,
И всичко туй формално ще направя,
И всичкитѣ имоти въ даръ ще ви оставя.
Добрня ми другаръ, когото зетъ наричамъ,
По-вечъ отъ синъ, роднини и жена обичамъ.
Премате ли туй, което азъ ви моля?

Т а р т ю ф ъ.

Да се изпълни въ всичко Божията воля!

О р г о н ъ.

Охъ, сиромаха! Хайде да напишемъ записъ;
И нека всички пръсне злоба, ядъ и завистъ!

(Предлагатъ единъ другиму да излѣзе пръвъ изъ вратата; най-сетнѣ
Тартюфъ отстъпва и излиза пръвъ).

ДѢЙСТВИЕ ЧЕТВЪРТО.

Явление I. — Клеантъ, Тартюфъ.

К л е а н т ъ.

Повѣрвайте — говорятъ всичкитѣ за туй
И обвиненѣе само противъ васъ се чуй;
Добрѣ че ви намѣрихъ тукъ въ уединенѣе,
За да ви съобща какво е мойто мнѣнѣе.
Това що се говори — на страна оставямъ,
Отъ други край въпроса азъ залавамъ;

Да предположимъ че Дамисъ постъпилъ криво,
Че всичко е лъжа което той открива :
Но християнина е длъженъ да прощава,
А не да се гнѣви и не да отмъщава.
Ще траете ли вие, споредъ вашия споръ,
Да се прогони синъ отъ бащиния дворъ ?
Повтарямъ — противъ васъ сж всички настроени,
И малко и голѣмо — страшно възмутени ;
И ако вѣрвате, то вий ще се смирите
И вече ще престанете да мстите.
За Бога успокойте си гнѣвътъ
И примирете пакъ бащата съсъ синътъ.

Т а р т ю ф ъ.

О, колкото за менъ, азъ отъ сърдце желая :
Омраза къмто него никакъ не питая ;
Прощавамъ му и всичко ще забравя,
Готовъ съмъ всѣкаква услуга да направя ;
Но туй ще бжде противъ волята на Бога,
Синътъ кат' дойде — азъ да бжда тукъ негома ;
Слѣдъ неговата кльвета ужасна,
Съвмѣстно да живѣемъ — е мечта напрасна,
И Богъ знай хората какво ще да рекатъ !
Политика коварна ще го нарекатъ,
Ще кажатъ че кат' сѣщтамъ своята вина,
Съ тазъ хитра милость искамъ да се извиня,
Че се боя и го затуй лаская,
За менъ да не говори се старая.

К л е а н т ъ.

Тѣзь извинения не сж скроени вѣщо,
И ваштѣ доводи не чинатъ много нѣщо.
Защо се за небото грижите напрасно,
Богъ може да накаже грѣшния всечасно
И нему оставете да си отмъщава,
Отъ насъ се иска всѣкому да се прощава.
Не трѣбва хорската мълва да ви тревожи
Кога постъпвате по правилата Божьи.
Какъ ! мигаръ миѣнието хорско тѣй е драго,
Та ще се отречете и отъ дѣло благо !
Ний да живѣемъ както Господъ повелява

И нека другото умътъ ни не смущава.

Т а р т ю ф ъ.

Азъ казахъ че го отъ сърдце прощавамъ
И съ туй Небеснитѣ закони изпълнявамъ ;
Но слѣдъ скандала невъзможно стана—
Самъ Богъ го запрѣщава да живѣемъ двама.

К л е а н т ъ.

А Богъ ли заповѣдва да се постарайте
Капризния баща така да го омайте,
И въ даръ да вземете богатствата му цѣли,—
Така предписва Святото небѣ ли ?

Т а р т ю ф ъ.

Тозъ който ме познава нѣма да помисли,
Че азъ питая користолюбиви мисли.
Бѣмъ земнитѣ богатства азъ не лакомя,
Отъ блѣскътъ имъ лъжливъ око ми не слѣпѣ,
И ако се рѣшихъ да взема отъ бащата
Кога ми доброволно подари нѣщата,
Направихъ го да кажа правото, отъ страхъ,
Да го не распилѣятъ тозъ имотъ катъ прахъ ;
Тѣ щомъ си раздѣлятъ наслѣдството богато,
За грѣшни работи ще хвърлятъ всичко злато,
А азъ ще правя, грѣшенъ, съ злато и сребро,
За слава Божия, на ближния добро.

К л е а н т ъ.

Ехъ, господине, оставете този страхъ
За оногова, който е наслѣдникъ правъ,
Васъ нѣма никой да ви безпокой,
Ако не знае да владѣй имота той.
И нека него да корятъ за расточенье,
Отъ колкото да хулятъ васъ за похищенье,
Азъ мислѣхъ съвѣстѣта ви че ще ви подкаже
Да не допускате, да ви предлагатъ даже.
Защото въ име Божье, Богъ не ще позволи
Законния наслѣдникъ тѣй да се оголи.
И ако истина Небото ви ориса
Съ препятствье да живѣйте заедно съ Дамиса,
То по добрѣ не е ли, катъ човѣкъ почтень,

Да бждете сами отъ тугъ отдалеченъ,
А не да трайте — противъ Божитѣ законъ,
Бащата отъ домътъ сина си да изгони.
Говорите за добродуше, господине . . .

Т а р т ю ф ѝ зъ.

Вечь три часа й половина ще заmine,
А менъ тамъ чака работа благочестива,
Вий извинете, трѣбва вечь да се отива.

К л е а н т ѝ зъ (самъ).

Ахъ!

Явление II. — Елжира, Марияна, Клеантъ, Дорина.

Д о р и н а (на Клеанта).

Моля ви и вий елате, помогнете,
Тя тѣй страдай ужасно — погледнете;
Годежа що баща ѝ го крои за днесъ
Отчайва я и хвърля я въ несвѣсть.
Той иде. Да употрѣбиме вси усилъя,
Да развалиме плана съ хитрость ил' съ насилъя,
Тозь планъ нещастенъ, койго ни смущава.

Явление III. — Оргонъ, Елмира, Марияна, Клеантъ, Дорина.

О р г о н ѝ зъ.

А! всинца сте събрани — туй ме въсхищава.

(на Марияна)

За тозь контрактъ отъ смѣхъ не ще ви съдържа,
Ти, вѣрвамъ, че се сѣщашъ вечь какво съдържа.

М а р и я н а. (золѣнничи предъ Оргона)

О, татко, въ името на Господа Всеблагий,
И въ име на оцѣзъ, които ви сж драги,
Смегчете къмто менъ правата и властъта си,
Не ме правете, ако съмъ ви мила,
На Бога да роптая дѣт' съмъ се родила;
И тозь животъ, уви! — когото сте ми дали,
Не го пълнете, татко, съ мжки и печали,
И ако вий сте противъ туй лице,
Което азъ обичамъ съ всичкото сърдце,

Понѣ не давайте ме на такъвъ човѣкъ,
Когато ще го мразя цѣлия си вѣкъ,
Не ползувайте се съ властѣта си чакъ до края
Или . . . о, татко, азъ ще се отчая . . .

Оргонъ. (като си усѣща трогнатъ)
Сърдце, не се смегчавай съ чувства нѣжни.

Марияна.

Видъ дръжте отношенията си напрѣжни
И дайте му имуществомъ свойто,
Не стигне ли — придайте му и мойто,
На всичкото ще бжда отъ сърдце съгласна,
Но само личността ми да е непричастна
И позволете ми да ида въ монастыря
И тамъ утѣха на скръбѣта си да подиря.

Оргонъ.

Ахъ! ето ги калугерки момитѣ,
Щомъ любовѣта имъ се не нрави на бащитѣ.
Дигни се. Колкото сърдцето ти го мрази,
Къмъ него по вече почетъ сетнѣ ще да спази;
Ще умъртвишъ ти нервитѣ си съ този бракъ.
И постарай се да ме не разсърдвашъ пакъ.

Дорина.

Но какъ . . .

Оргонъ.

Мълчи. Ти съ свойтѣ,— съ менъ недѣй хортува,
Не позволявамъ и гласа ти да се чува.

Клеантъ.

Но позволете азъ понѣ съвѣтъ да дамъ . . .

Оргонъ.

Съвѣтитѣ ви сж прекрасни, азъ ги знамъ,
И твърдѣ уважавамъ умнитѣ съвѣти,
Но за сега отъ тѣхъ ме избавете.

Елмира (на Оргона).

Като те гледамъ въ туй ужасно заслѣпенье.
Въ менъ не възбуждашъ друго, — само съжаленье.

Тазъ слѣпота до тамъ те вech докарва,
Че фактъ ти съобщихме — ти го неповѣрва.

О р г о н з.

Да, тъй е то, да си невѣрвамъ на очитѣ!
Кат' искашъ на сина ми да смѣгчишъ лъжитѣ,
То ти го защитавашъ най-подиръ до тамъ,
Догдѣ той не обсипа сиромаша съ срамъ;
Ти бѣ спокойна и за туй не вѣрвамъ азъ.
О, инакъ ти се би възлунувала тогазъ.

Е л м и р а.

Немà на всѣкой людъ любовното му щенье
Ще прави въвъ сърцето ни смущенье?
И срѣщу всячки глупави любовни рѣчи
Е нужно да бѣснѣи чelовѣкъ и да злорѣчи?
Съ подобни предложенья азъ се подигравамъ,
И считамъ неумѣстно да се възмушавамъ.
Азъ предпочитамъ съ миръ да се покажемъ мъдри,
А не да пордажавамъ тѣзи цѣломъжъри,
Кои то съ ногти, съ зъби за чeстѣта боравятъ
И за нищожна рѣчь човѣка раскървяватъ;
Да ме упaзи Богъ отъ тази скромность бѣсна,
Азъ искамъ добродѣтель, но да бѣде свѣтна.
Азъ мисля — хладината мирна на лицето
Не е по малко силна да разбий сърцето.

О р г о н з.

Азъ зная всичко; мнѣньего си не мѣнявамъ.

Е л м и р а.

А азъ на слабостѣта ти пѣкъ се удивлявамъ;
Но що ще отговоришъ ако ти докажа
И тазъ любовна сцена я предъ тебъ покажа.

О р г о н з.

Кой, ти ли?

Е л м и р а.

Да.

О р г о н з.

Невѣрвамъ.

Елмира.

И напрасно.

Какво би казалъ, ако видишь всичко ясно?

Оргонъ.

На вѣтеръ думи!

Елмира.

Вижь човѣкъ! Отговорѹ,

Поне че ужъ ме вѣрвашь ти се присторѹ;

И допустни че тука, скритъ въвв нѣкой жгълъ,

Ти чуйшь и видишь че не те е никой лггалъ,

Какво би казалъ за свѣтеца си тогазь?

Оргонъ.

Тогазь ще кажа . . . Та какво ще кажа азъ,
Не е възможно.

Елмира.

Траешь още въ зблуждене,

Но стига вече си считалъ за лъжкиня мене.

За удоволствие, безъ да ходимъ по далечъ,

Сега ще те направя очевидецъ вече.

Оргонъ.

Премамъ. Нека бжде твоего желане,

Ще чакамъ да исполнишь свойто обѣщане.

Елмира (да Дорина).

Иди го викай.

Дорина (на Елмира).

Той е хитръ човѣкъ.

Внимане трѣбва — да се дѣйствува полекъ.

Елмира (на Дорина).

Жената влюбения лесно ще подлъже,

И него самолюбыето ще го излъже

Иди го викай. (на Клеанта и Марияна),

За сега излъзте виѹ.

Явление IV — Елмира, Оргонъ.

Елмира.

Ела до масата и се отдолу скрий.

О р г о н ъ.

Какъ ?

Е л м и р а.

Да, за да присъжтствувашь въвъ тази стая

О р г о н ъ.

Защо подъ тази маса ?

Е л м и р а.

Ахъ, недѣй се мая.

Ще разумѣешъ послѣ моя планъ.

Е, скрий се вече, и тишина да пазишь тамъ

Да те не види той, да те не чуй.

О р г о н ъ.

Кждѣ по вече отстѣпчивость отъ чуй :

Но твоя планъ, увѣренъ съмъ, ще прегори,

Е л м и р а.

Сега ти слушай, а пкъ сѣтиъ говори.

(на Оргона който е подъ масата)

Ти знай, че азъ открито ще говоря,

Но ти се не сърди каквото и да сторя.

И всичко да приказвамъ ще ми позволишь,

Тогава въ истината ще се убѣдишь.

Азъ съ маската на влюбена ще се покривя,

На този лицемѣръ душата да отворя,

Азъ ще лаская щенията му срамотни,

Ще си допушамъ обращения свободни,

Ще се присторя че на всичко съмъ съгласна,

Догдѣ се въ истината убѣдишь ужасна,

И ще престана чакъ тогазъ, когато ти

Поискашь тази сцена да се прекрати,

Ти самъ ще укротишь натурата му грозна

Щомъ чуйшь че работата става сериозна.

До крайность недопушай; толкозъ да търпишь

До колкото ти стига да се убѣдишь,

Какъ трѣбва да постѣпишь — ти го знайшь добръ.

Ей-види. Скрый се. Гледай да те не съзрѣ.

Явление V. — Тартюфъ, Елмира, Оргонъ (подъ масата).

Т а р т ю ф ъ.

Вий имали сте нѣщо да ми съобщите.

Е л м и р а.

Да. Нѣщо тайно. Моля ви се затворите,
Не искамъ пакъ да ни заваряиъ тука.

(Тартюфъ затваря вратата и се връща)

Тазъ утрѣшната наша несполука
Да бждемъ предпазливи ни накарва.
Но днесъ Дамисъ тѣй ясно ни заварва
Че, вѣрвайте улашихъ се за васъ,
И, както знаете, се заловихъ тозъ часъ
Да го придумвамъ и да му се моля,
Да не говори никому. И по неволя,
Отъ страхъ самá не знаехъ що да казвамъ;
Но съ божията воля, както забѣлзвамъ,
Утихна всичкото и влѣзе въ своя редъ,
Сега сме даже по свободни отъ напръдъ.
Мжжа ми не допуща и да се сжмнѣва,
Той толкозъ ви обича и ви уважава!
А приказкитъ хорски за да ги избѣгне,
Желее съ васъ да съмъ когато ми прилѣгне.
И ето за какво азъ, безъ да се страхувамъ,
Тукъ съ васъ затворена, свободно си хортувамъ,
И съ тази свобода, предъ вашто лице
Ще ви раскрива ясно своето сърдце.

Т а р т ю ф ъ

Тѣзъ думи турятъ ме въ недоумѣнье.
Вий тази утринъ бѣхте съ друго поведень.

Е л м и р а.

Немá отъ тозъ отказъ вий ще се оскърбите?
Тогазъ не знаете сърдцата на женитѣ!
Не зийте тѣзъ сърдца какво тогазъ усѣщатъ,
Когато любовта съ отбрана я посрѣщатъ!
Противимъ се ний първо, — ний сме срамежливи,
Но споредъ тази скромность по-сме обличливи
И даже, любовта да ни плѣни съвсѣмъ,

Не можемъ изведнажъ ний да се предадемъ,
Противимъ се, но нашето лице показва,
Че вече сърдцето ни не може да отказва;
Слѣдъ туй признание какво желайте вече.
О, азъ се впуснахъ твърдѣ на далечъ.
Но вече свършено и нѣма що да правя,
Не молихъ ли Дамиса азъ да не расправа?
Не ви ли съсъ търпѣние изслушахъ азъ,
Когато се въ любовь признавахте цѣлъ часъ?
Немá азъ щѣхъ да имамъ толкова търпѣние.
Да бѣше ми противно вашто обяснене?
И ако се старахъ съ усилие голѣмо
Сама да ви попреча въ брака съ дъщеря му,
Туй трѣбваше да ви покаже явно,
Че всичко става отъ желанье своенравно,
Като препятствувамъ да ви е тя сжируга
Да не дѣля тогазъ сърдцето ви съсъ друга.

Т а р т ю ф ѝ.

Вий знайте че отъ радостъ азъ ума си губя,
Кат' чувамъ тия думи отъ уста що любя;
Медътъ на тѣзъ уста тѣй нѣжни и прелестни
Излива ми въ сърдцето сладости чудесни,
Честта че съмъ любимъ ме прави упоенъ,
Желанията ви блаженства сж за менъ;
Но моето сърдце ви иска позволене,
Да се сжмиѣва малко въ вашто обяснене,
Азъ мисля тия думи хитростта сж искусна,
Та мисълта за бракъ съ Марьяна да напустна,
Но ако искате да бждемъ откровенни:
Не мога да повѣрвамъ думи самъ безцѣнни,
Догдѣто вий на дѣло ме не увѣрите.
Че любовта ми силна истинно цѣните,
И чрезъ това да всѣйте твърдо увѣренне
За вашето добро и чисто намѣренне.

Е л м и р а.

(като кашля за да даде знакъ на мжжа си).

Недѣйте бърза толкозъ съ любовта,
А съхранете по за дълго нѣжността.
Направихъ ви признание откровенно,

Не стига ли това ; желайте непремѣнно
Да дойдемъ до дѣла съвсѣмъ вече волни,
Тогава чакъ да бждете доволни.

Т а р т ю ф ѝ.

Не съмъ достоенъ азъ, за туй се не надѣвамъ.
И на словата само мѣчно довѣрявамъ :
Азъ трѣбва да испитамъ първогъ наслаждение,
Тогазъ не ще да има мѣсто за сжмиѣнье.
Защото въ себе си достоинства не намѣрвамъ,
За туй на щастieto си невѣрвамъ ;
И невъзможно ѣ инакъ да се убѣдя,
Освѣнъ кога въ дѣйствителность се насладя.

Е л м и р а.

О, Боже ! вие сте тиранинъ въ любовта !
Започна да ми се смущава и свѣстѣта !
Вий съ ярость страшна завладѣвате сърдцата !
Вий съ сила вземате въвъ плѣнъ жената !
На васъ съпротивление кой ще ви окаже,
Не давате ни врѣме да въздхнемъ даже !
Прилича ли свирѣно тѣй да се старайте,
Да стигнете до край на туй що го желайте,
И съ вашитѣ усилия да унизите
Приятнитѣ и нѣжни чувства на женитѣ ?

Т а р т ю ф ѝ.

Но ако сѣщате къмъ мене уважение,
Тогава докажете ми го безъ стѣснение.

Е л м и р а.

А какъ това азъ да изпълня мога,
Съ това не ли ще разгнѣвиме Бога ?

Т а р т ю ф ѝ.

Небето ли е само дѣто ще ви прече ?
Това препятствие тукъ нѣма сила вече
И вашето сърдце да го сдържи не може.

Е л м и р а.

Но винаги ни плашатъ съ наказанье Божье.

Т а р т ю ф ѝ.

Азъ ще разсѣя тѣзи смѣшни опасенья
И зная начинъ да распръсна тѣзъ сжмиѣнья,
Богъ нѣкой наслажденья запретява строго,
Но съ него да сме въ мнръ ний знаемъ срѣдства много,
За всѣка нова нужда има и наука,
Растѣгнешъ ствѣстыта си — стигнешъ до сполука,
Заглаждаме ний всѣко дѣло безъ стѣсненье, •
Съсъ чистотата ужъ на наштѣ намѣренья,
Азъ ще ви съобща, госпожо, тѣзъ секрети
И вне слѣдвайте по монтѣ свѣти.
Задоволете ме, небойте се ствѣсѣмъ,
Азъ всичкиа отговорность вземамъ върху мень.

(Елмира кашля по-силно)

Вий кашляте, госпожо.

Е л м и р а.

Кашлямъ и се мжча.

Т а р т ю ф ѝ

(като подава една кутийка)

Осмѣлвамъ се лакрица да ви препоръча.

Е л м и р а.

Не, имамъ силна хрема и не може

Лѣкарство никакво да ми помага.

Т а р т ю ф ѝ.

О, съжелявамъ . . .

Е л м и р а.

И заслужвамъ съжаление.

Т а р т ю ф ѝ.

И тѣй, разсѣйте вашето сжмиѣнье.

Увѣрени бждете, — всичко ще се тай,

Опасно е това мълвата да не знай,

Туй свѣтския скандалъ го прави неприлично, —

А грѣхъ не е кога грѣшиме тайно-лично.

Е л м и р а.

(като кашля пакъ и чука по масата)

Азъ виждамъ, — трѣбва вechъ да се отстъпн;,
Предѣла на приличъето да се престъпн;
Безъ туй мъжа не се задоволява,
Кога се предадемъ — и той ни се предава.
Менъ твърдѣ ми е тежко туй да си позволя
И права го съвѣмъ не по свободна воля;
Но като настоява да му се предамъ
И кат' ще мога съ друго вѣра да му дамъ,
А трѣбватъ доказателства на дѣло,
То нѣма що . . . отстъпвамъ вechъ всецѣло.
И ако чрезъ това престъпкъ бѣде сторенъ,
То който ме насила, — той е отговоренъ:
Азъ върху съвѣстѣта си грѣхъ не вземамъ.

Т а р т ю ф ъ.

О, да, госпожо, азъ грѣха приемамъ . . .

Е л м и р а.

Вратата отворете, — вижте тамъ добръ
Отъ нѣкъдѣ мъжа ми да се не изврѣ.

Т а р т ю ф ъ.

Защо се вий за него безпокойте?
Азъ за наса го вода, вие се небойте.
Той въ нашѣ разговори сладость ще намѣрва,
Ще вижда всичкото, и пакъ не ще да вѣрва.

Е л м и р а.

Добръ, но пакъ разгледайте една минута,
Въ онѣзи стаи може нѣкой да се лута.

Явление VI — Оргонъ, Елмира.

О р г о н ъ

(като излиза изподъ масата)

Е, гнусенъ билъ човѣкъ, това ще го призная!
Съсипа ме съвѣмъ, главата ми замая.

Е л м и р а.

Какъ! Ти излѣзе? Скоро да се скрийшъ!
Не е дошла минутата да се откриешъ:
Потрай, да дойдешъ самъ до ясни убѣждения,
Не довѣрявай само на предположения.

О р г о н ѝ

И Ада не изригва хора тѣй омразни!

Е л м и р а.

Постой! невѣрвай още на словата праздни,
Ти първомъ убѣди се, — сетнѣ се гнѣви;
Прибързашъ ли — неможешъ вече го улови.

(Елмира скрива задъ себе си Оргона)

Явление VII. — Тартюфъ, Елмира, Оргонъ.

Т а р т ю ф ѝ (безъ да види Оргона)

Като че всичко ѝ склонно съ мойто намѣренъе.
Прегледахъ ставтѣ на цѣло отдалънъе,
Или кой нѣма . . . тържествувамъ вече . . .

(Когато Тартюфъ се спуща съ растворени ржкѣ да прегърне
Елмира, тя се отегла и Тартюфъ вижда Оргона).

О р г о н ѝ.

Полегка! Неотивайте до тамъ далечъ,
Не трѣбваше до толкозь да се пристрастите.
Кат' съ васъ набожникъ искахте да ме дарите!
Къмъ искушение душата му се мами!
За щерка ми се жени. — ржкше слѣдъ жена ми!
Азъ първо предполагахъ че се той шегува,
И че ще почне по набожно да хортува.
Но доказателства азъ повечъ не желая,
Сега съмъ убѣденъ, сега го вече зная . . .

Е л м и р а (на Тартюфа).

Това що сторихъ бѣ не спредъ мойтѣ врази;
Принудиха ме тѣ така да се направи.

Т а р т ю ф ѝ (на Оргона).

Какъ? Вий повѣрвахте?

О р г о н ѝ.

Той смѣе да глечи!

Махнете се огъ мойтѣ очи.

Т а р т ю ф ѝ.

Но мойто намѣренъе . . .

О р г о н ъ.

Стига думи празни.

И дома ми сегà отъ насъ да се испразни!

Т а р т ю ф ъ.

Не, вий да го испразните се постарайте:
Тукъ азъ съмъ господарь; и вне ще познайте,
Ще ви покажа че прибѣгвате напрасно,
За да се скарате, кѣмъ срдство тѣй опасно,
И вий се лъжете като ме клѣветите,
Азъ зная какъ да ви накажа за лъжитѣ,
Чрезъ менъ нанасяте на Бога оскърблене
И ще получите отъ мене отмъщение,—
И тѣзъ, които да мя гонятъ се стараятъ,
Ще ги направя всичкитѣ да се раскаятъ.

Явление VIII. — Елмира, Оргонъ.

Е л м и р а.

Какво ни плаши той? Какво туй всичко значи?

О р г о н ъ.

Не е шега, и той ме страшно озадачи.

Е л м и р а.

Какво?

О р г о н ъ.

Съзнахъ сега че глупости направихъ,
Имуществото си на него кат' оставихъ.

Е л м и р а.

Приписа му?

О р г о н ъ.

Да. Грабна всичко той;
Но има друго, що ме твърдѣ безпокой.

Е л м и р а.

Кое?

О р г о н ъ.

Ти сетнѣ ще узнаешъ. Но да идемъ.
Набързо въ сгаята ми та да видимъ

Да ли е още тамъ едно сънджче,
Ако ли го е взелъ, — той много ще ни мъчи.

ДѢЙСТВИЕ ПЕТО.

Явление I. — Оргонъ, Клеантъ.

К л е а н т ъ.

Ждѣтъ търчите тѣй?

О р г о н ъ.

Че зная ли?

К л е а н т ъ.

Тогазъ

Ний трѣбва да се посвѣтваме тозчасъ,
Да предприемемъ нѣкакво рѣшене.

О р г о н ъ.

Охъ, туй сънджче хвърля ме въ смущение;
Предъ всичко друго то ме най отчайва.

К л е а н т ъ.

Но, моля ви, кажете що се тамъ погайва?

О р г о н ъ.

Приателя Аргосъ, когото съжелявамъ,
Остави тѣзъ нѣща да му ги съхранявамъ.
Книжа въ сънджчето нмало разни,
Отъ тѣзъ книжа секретни и опасни
Зависяли богатството му и живота.

К л е а н т ъ.

Защо ги вржчихте вий на тогоза скота?

О р г о н ъ.

За чиста съвѣсть ужъ, — ми даде той съвѣтъ.
На тозъ подлець открихъ му всичкия секретъ,
И той ме убѣди съсъ хитрози безъ брой
Да дамъ сънджчето да ми го варди той,
Та и кога ги нѣкога властьюта подири,

Да мога да откажа — и да нѣма дири,
Да мога съ чиста съвѣсть клѣтва да приема,
Че ужъ сънджкъ съ таввизъ книжа у мене нѣма.

К л е а н т ъ.

Да, работата лоша. Дѣто му дарихте
Имота цѣлъ, и дѣто тайната открихте,
Направили сте, споредъ мойто мнѣнье,
Постъпки твърдѣ легковѣрни, безъ сжмнѣнье.
Той ше ви мѣчи много съ тѣзь нѣща въ рѣцѣтъ.
Кат' има той имота ни и тѣзь секретн
Да го раздразвате е неблагоразумно,
А трѣбва да се търся средство по безшумно.

О р г о н ъ.

Какъ хитро се е представлявалъ за светецъ,
А пъкъ въ сърдцето — лицемѣръ въ душа — подлецъ!
Да го приема съ радостъ въ къщата си азъ . . .
Невѣрвамъ на набожнитѣ отъ този часъ,
Почувствовахъ къмъ тѣхъ ужасно отвръщенье
И занапрѣдъ ще жѣжда само отмъщенье.

К л е а н т ъ.

На, ето пакъ предавате се на вълнение!
Не можете се спази въ тихо настроенье:
Не знаете умѣренность и трайность,
А хвърляте се отъ една въвъ друга крайность.
Сега признавате го, че отъ увлеченье
Отъ набожникъ лѣжливъ били сте въ заблуждене;
Но за да си поправите една погрѣшка,
Защо да сторите и друго йощъ по тежка,
Та съсъ единъ човѣкъ безъ съвѣсть и безбожний
Да смѣсвате и хора истинно набожни?
Защото ви измамилъ нѣкой си лѣжецъ
Привкрить подъ маската на скромникъ и светецъ,
Вий мислите че като него ще са всички,
Че нѣма на свѣта набожникъ ни единчкий?
Безбожницитѣ нека тѣй да оцѣняватъ:
Приструвката отъ правда да не отличаватъ;
Не бързайте когато хората цѣните,
Но съ всички винаги умѣрени бждете.

Пазете се отъ почести къмто лъжеца,
А истинно-набожния, мъдрецъ,
Почитайте го винаги, не го мразете,
И ако трѣбва крайность, — то да предпочтете
Да отдадете почести на лицемѣренъ,
Отъ колкото да мразите единъ примѣренъ . . .

Явление II. — Оргонъ, Клеантъ, Дамись.

Д а м и с ъ.

Да ли е истина, що онзи звѣрь направилъ?
Че всичкитѣ ви добрини като забравилъ, —
Въвъ тѣзи добрини орѣжии намѣрилъ
И срѣщу васъ за отмъщение наперилъ?

О р г о н ъ.

Да, сине мой, и азъ скърбя за туй ужасно.

Д а м и с ъ.

О, не, небезпокойте се напрасно.
Азъ нему, трайте вий, ушитѣ ще откасна,
Охотата за мщение ще му прекъсна.
За да ви отърва отъ тази гнусотия,
Отивамъ ей сега да го прибия.

К л е а н т ъ.

И ти постъпвашъ, истина, като момче.
Поусмири се малко и недѣй хвърче.
Споредъ законитѣ, съ които управляватъ,
Самоуправството го вече не позволяватъ.

Явление III. — Г-жа Пернель, Оргонъ, Елира, Клеантъ,
Марияна, Дамись, Дорина.

Г-ж а П е р н е л ъ.

Какво е туй? Кажете ми за Бога!
Какви сж тѣзи ужаси и тази тревога?

О р г о н ъ.

Таквизъ, каквито азъ ги видѣхъ съсь очитѣ.
Получихъ си наградата за добринитѣ,
Приемамъ сиромахъ човѣкъ съ охота въ къщи,
Поя го, храни го, кат' братъ мой сжици;

И всѣкой день отрупвамъ го съ благодарѣнье
И давамъ щерка си и всичкото иманье,
А този лицемѣръ проклѣтъ съ измами
Възималъ гнусенъ планъ да обладай жена ми !
И недоволенъ пакъ отъ тѣзи си злини,
Намислилъ да ме плаши съ мойтѣ добрини,
Изказалъ съмъ му тайни, далъ съмъ му пари
И съ тѣхъ сега той иска да ме разори ;
Да ме лиши сега отъ всичкото богатство,
Коего му дарихъ ужъ въ името на братство
И да ме доведе до смъщо положенье,
Отъ гдѣто го извадихъ азъ отъ съжаленье.

Дорина.

О, сиромаша !

Г-жа Пернель.

Азъ не вѣрвамъ, сине мой,
Таквизъ дѣла ужасни да направи той.

Оргонъ.

Какъ ?

Г-жа Пернель.

За добритѣ хора пускатъ се слова.

Оргонъ.

Какво желайте вий да кажете съ това ?

Г-жа Пернель.

Че много чудесии ставаха у вази,
И нѣмаше единъ Тартюфа да не мрази.

Оргонъ.

Що общо има тазъ умраза съ мойта рѣчь.

Г-жа Пернель.

Сто пкти въ дѣтството ти казвала съмъ вещь :
Че винаги преслѣдватъ добродѣтелята,
Завистниците мржтъ, но не и завистьта.

Оргонъ.

Но туй се не отнася до въпроса пакъ !

Г-жа Пернель.

Надумали сж ви лъжѣ за тозъ челякъ.

Оргонъ.

Но казахъ ви че самъ го видѣхъ съсъ очитѣ.

Г-жа Пернель.

Злословцитѣ сж твърдѣ хитри на лъжитѣ.

Оргонъ.

Но вий ме сърдите. Азъ казахъ ясно,
Че го заварихъ въ престъпление ужасно.

Г-жа Пернель.

Язицитѣ отрова пускатъ ежечасно,
Отъ тѣхъ ще се завардвашъ ти напрасно.

Оргонъ.

Не мога да ви разумѣя препирнитѣ.
Видѣхъ го, чухте ли, видѣхъ го съсъ очитѣ,
Разбрахте ли: видѣхъ го. За да го узнайте,
Нема да кряскамъ на ушитѣ ви желайте?

Г-жа Пернель.

О, Боже! вѣнниостъта ни лъже често насъ;
Щомъ видимъ нѣщо да не вѣрваме завчасъ.

Оргонъ.

Азъ кипвамъ вече!

Г-жа Пернель.

Кѣмто лъжливи подозрѣнья
Сме склонни, и добритѣ намѣрѣнья
Тълкуваме ги лошо.

Оргонъ.

За благодарѣянье
Тогавъ да приема гнусното желанье
Жена ми да цѣлува.

Г-жа Пернель.

За да кажешъ
Че той е виноватъ, то трѣбва да докажешъ.
За да се убѣдишъ, изисква да се чака.

О р г о н ъ.

Но, Боже мой, слѣдъ туй какво се още сака?
Немѣ да чакахъ да захване вече
Предъ менъ . . . Е карашъ ме да ида тѣй далечъ.

Г - ж а П е р н е л ь.

Кат' виждамъ неговото явно благочестье,
Не мога да допустна че това бесчестье,
Коего казвате, ще стори той.

О р г о н ъ.

Ахъ, да не бѣхте моя майка, Боже мой,
То би ви наговорилъ много въвъ гнѣва си.

Д о р и н а (на Оргона).

Сега исплащате на другитѣ грѣха си:
Вий намъ не вѣрвахте, сега и вамъ не вѣрватъ.

К л е а н т ъ.

Гѣ врѣмето си въ глупости прекарватъ,
Богато трѣбва вече мѣрка да се вземе
И противъ тѣзъ заплашванья да се не дрѣме.

Д а м и с ъ.

Немѣ безсъвѣстника чакъ до тамъ ще иде?

Е л м и р а.

Неблагодарността му явно ще се види,
За туй невѣрвамъ азъ да си допустне той . . .

К л е а н т ъ (на Оргона).

Ба, туй едва ли ще го безпокой.
Съсъ вашия имотъ и вашитѣ секрети
Той има вече добро оръжие въ рацѣтъ
И като го разсърдите, — за отмъщенье,
Той може да ви тури въ трудно положенье
И всичкото това кат' знаехте вий самъ,
Не трѣбваше да го раздравате до тамъ.

О р г о н ъ.

Да, истина. Сега какво да правя?
Тогавя не можахъ гнѣва си да подавя.

Клеантъ.

Желалъ бихъ между васъ, да се старайте вий,
Понѣ за лице миръ да се възстанови.

Елмира.

Че ималъ срѣщу насъ тѣзи данни да би знала,
Да вдигамъ онзи шумъ азъ би се побояла.

Оргонъ

(на Дорина, като вижда, че влиза г. Лояль).

Понитай оногова що желае, кой е?
Сега намѣрилъ врѣме да ме безпокон.

**Явление IV. — Оргонъ, Г-жа Пернель, Елмира, Марияна,
Клеантъ, Дамисъ, Дорина, г Лояль.**

г. Лояль.

(къмъ Дорина, на дъното на сцената).

А! добъръ день! Кажете че човѣкъ единъ
Желае да говори съ ваший господинъ.

Дорина.

Сега той има гости, много е заетъ,
Сжмиѣвамъ се че вий ще бждете приетъ.

г. Лояль.

Невѣрвамъ господаря ви това да сторн;
Ще имамъ съ него азъ приятни разговори.

Дорина.

А вашто име какъ е?

г. Лояль.

Вий кажете само,
Че менъ Тартюфъ ме праца тукъ до милостъта му.

Дорина (на Оргона).

Базà ми тозь човѣкъ, по начинъ най-приятенъ,
Че тукъ за работа е отъ Тартюфа пратенъ,
Благоприятна вамъ.

Клеантъ (на Оргона).

Да видиме тогазъ
Какъвъ е тозъ човѣкъ и що желай отъ васъ.

Оргонъ (на Клеанта).

А ако е испратенъ тукъ за примиренье,
Какво ли да държа тогава поведенье!

Клеантъ.

Не трѣбва твърдѣ много да се колебайте,
Щомъ той поиска миръ и вий го пожелайте.

г. Лояль (на Оргона).

Здравейте, господине, Богъ да ви запазва
И тѣзи що ви врѣдятъ строго да наказва!

Оргонъ (тихо на Клеанта).

Тѣзъ благи думи оправдаватъ мойто миѣнье,
Че работата ще клони къмъ помиренье.

г. Лояль.

Мень вашата фамилия винаги се нрави,
Азъ по напрѣдъ съмъ билъ служителъ при баща ви.

Оргонъ.

Съ стѣснение признавамъ, драгий господине,
Че не познавамъ васъ, нито пъкъ вашто име.

г. Лояль.

Наричамъ се Лояль, въ Нормандия роденъ,
До чинъ съдебенъ приставъ вече съмъ повишенъ.
Четиресетъ години съ Божьето желанье
Испълнямъ службата си съ честность и старанье.
Сега дойдохъ при васъ, съсъ ваше позволение,
За да ви предявя едно постановление.

Оргонъ.

Какъ! вий дойдохте? . . .

г. Лояль.

Но не се сърдете.

Рѣшението само скоро изпълнете.

Да се испраздни часъ по скоро тази къща,
Отъ васъ и отъ семейството ви сжщо.
И да се предаде на сжщий притежателъ.

О р г о н ъ.

Да си излѣза азъ?

г. Л о я л ъ.

Да, драгий мой приятелъ,
Тазъ къща, на сжмнѣние не подлѣжи,
На господинъ Тартюфа вech принадлежи.
Имота ви на името му се й принесълъ
Споредъ единъ контрактъ, когото съмъ донесълъ,
Законенъ актъ, не подлѣжащъ на споръ.

Д а м и с ъ (къмъ Лояля).

Съ каква безочливостъ той води разговоръ.

г. Л о я л ъ (на Дамиса).

Азъ нѣмамъ, господине, работа съсъ васъ,
(като показва Оргона)

А съ милостъта му: оставете ни тогазь
Да си говоримъ; той закона уважава
И нѣма на властъта да се съпротивлява.

О р г о н ъ.

Но . . .

г. Л о я л ъ.

Да, невѣрвамъ азъ нито за милиони
Да се опрете на държавнитѣ закони,
Надѣвамъ се — ще траете съ търпѣние,
Догдѣ изпълня тугъ съдебното рѣшенъе.

Д а м и с ъ.

Врѣхъ вашта мантия, за тѣзи думи благи,
Заслужвате си нѣколко тояги.

г. Л о я л ъ (на Оргона).

Кажете на сина си. моля, да мълчи
Или излѣзе. Ако пакъ ми загълчи,
Ще бжде призованъ къмъ отговоръ формаленъ.

Дорина (на страна).

Лояль по име ужъ, но май не е лояленъ.

г. *Лояль*.

Къмъ васъ, почтени хора, азъ съмъ деликатенъ,
Туй дѣло взехъ върху си каго дълъгъ приятенъ,
Да ви помогна нѣщо съ нѣкои услуги;
Да бѣхте имали вий работа съсъ други,
Що нѣматъ къмто васъ кат' мене уважене,
То щѣше да възникне недоразумѣние.

Оргонъ

Какво по вече отъ туй: да гонятъ домакина
Отъ собственния домъ.

г. *Лояль*.

Но врѣме още има;

До утрѣ рано мога срокъ да ви отстъпя
И вече тогазъ къмъ изпълнене ще пристѣпя.
Нощта съ дестина души тука ще прекарамъ,
Ни шумъ, ни главоболѣе нѣма да докарамъ
И за формалностъ само ще ми предадете
Ключоветъ отъ портата въ ржцетъ.
За вашето спокойствие самъ азъ ще се боря
И туй що е излишно нѣма да го сторя.
Но утрѣ рано вий се пригответе
Отъ тука всичкитъ нѣща да изнесете.
За да помогнатъ азъ избрахъ все силни хора
И тѣ ще изнесатъ нѣщата ви на двора.
Азъ върша туй, което ще е вамъ угодно,
Но пакъ въ замѣнъ на мойто дѣйствие благородно,
Желая вий да се распоредите
На изпълнението ми да не врѣдите.

Оргонъ. (на страна)

При всичкия ми недостагъченъ имотъ,
Сто златни далъ бихъ само този скотъ,
За удоволствие, по муграта несвѣтна
Съ една плѣсница здрава да го плѣсна.

Клеантъ. (тихо на Оргона)

Пограйте, дръжте се.

Дамисъ.

Не може се търпи
Таквазъ безочливостъ . . . ржката ме сърби.

Дорина.

Гърбътъ ви, господинъ Лояле, търси
Съсзъ нѣколко тояги да се понетърси.

г. Лояль.

А васъ за тѣзи думи можтъ да накажатъ ;
Въ сждилищата вече женитѣ ги не важатъ.

Клеантъ (на Лояла).

Е, доста, господине, стига, престанете,
Тазъ книга ни предайте и се вече махнете.

г. Лояль.

До виждане. Господъ съ радостъ да ви плаща.

Оргонъ.

Да порази и тебъ и оня който те праща.

Явление V. — **Оргонъ, Г-жа Пернель, Елмира. Клеантъ**
Марияна, Дамисъ, Дорина.

Оргонъ.

Сега видѣхте ли че азъ съмъ ималъ право ?
Слѣдъ тази сцена убѣдихте ли се здраво,
Че той билъ чловѣкъ безъ съвѣсть и безъ честь ?

Г-жа Пернель.

О, азъ се смаяхъ, паднахъ като въввъ несвѣсть.

Дорина. (на Оргона)

Не се оплаквайте, напусто гъ вините ;
Напротивъ, тукъ му се показватъ добринитѣ .
Любовъ къмъ ближния го тука ржководи :
Богатството, той знай, че къмъ развала води
И за това ви взема всичко безъ стѣсненье
За да не пречи въ вашето душеспасенье.

Оргонъ.

Мълчи. Не бъркай се когато ний говоримъ.

Клеантъ (на Оргона).

Сега да се съвѣтваме какво да сторимъ.

Елмира.

Постъжката му съ мене вий я разгласете
И силата на акта съ туй унищожете.
Щомъ стане явно неговото поведенье
Едва ли ще успѣй той въ своето рѣшенье.

Явление VI — Валеръ, Оргонъ, Г-жа Пернелъ, Елмира,
Клеантъ, Марияна, Дамисъ, Дорина.

Валеръ.

Извѣстие нося, — то ще ви безпокои,
Но ще го кажа : вамъ опасность предстои.
Единъ приятель, въ твърдѣ близко съ менъ сношенье
Кат' знае моето къмъ вази уваженье,
Казà ми въ името на нашта дружба тѣсна
Единъ секретъ, съсь който силно ме пострѣсна.
Бѣда ужасна е повиснала надъ васъ,
Ще трѣбва вech да бѣгате тозчасъ
Подлеца, който ви държеше въ заблужденье,
Предъ краля се явилъ срѣщу ви съ донесенье,
Въ рѣцетѣ му успѣлъ, проклетника, да врѣчи
Книжа престъжни и едно сънджче,
Комто силно ви компромитирать,
И въ тѣзь нѣща престъжностъ нѣкаква намирать,
Незная именно въ какво ви обвиняватъ.
Но слѣдъ доноса изведнажъ рѣшаватъ
Тартюфа и единъ чиновникъ тукъ да пратятъ
За да ви хванатъ и въ тъмницата испратятъ.

Клеантъ.

На, ето съ тѣзь оржжя гнусното създаенье
Желай да завладѣе вашето иманье.

Оргонъ.

Човѣка е една проклѣта животина.

Валеръ.

Опасно е, не се бавете; врѣме мина.

Файтона ми ви чака вече на двора,
Донесохъ и за пъкъ хиляда луйдора.
Недѣйте губи врѣме : злото ще ви свари.
Съсъ бѣгство отвърнете грознитѣ удари.
Съ васъ заедно и азъ ще бѣда въвъ колата
Догдѣто вече съвсѣмъ избѣгнете бѣдата.

О р г о н ъ.

Безкрайно съмъ ви задълженъ за тази услуга,
За благодарностъ трѣбва ми минута друга,
Ще моля Господа да ми помогне самъ
Така да ви отслужа, както азъ си знамъ.
Прощавайте : и вий за менъ се погрижете . . .

К л е а н т ъ.

Ще се погрижимъ, брате мой ; вървете . . .

Явление VII. — Тартюфъ, Единъ Чиновникъ, Г-жа Пернель,
Сргонъ, Елмира, Клеантъ, Марияна, Валеръ,
Дамисъ, Дорина.

Т а р т ю ф ъ (като спира Оргона).

А, стойте, стойте, не ходете на далечъ,
Защото мѣстото ви е готово вече :
Самъ краля ни е пратилъ, вий сте подъ арестъ.

О р г о н ъ.

Подлецъ, ти вече се косна и до мойта честь.
И съ тозъ ударъ, разбойникъ, кат' ме разрушавашъ,
Ти всички подлости си съ него увѣнчавашъ !

Т а р т ю ф ъ.

Отъ ваштѣ думи малко ще се оскърбя,
Наученъ съмъ за име Божье да търпя.

К л е а н т ъ.

Умѣренность голѣма, трѣбва да призная.

Д а м и с ъ.

Безсрамника съсъ име Божье си играе !

Т а р т ю ф ъ.

Палете се, отъ туй се азъ не раздразявамъ,
Азъ мисля само своя дългъ да изпълнявамъ.

М а р и я н а.

Вий съ туй ще придобие те голѣма слава
И тази дължностъ много честностъ ви придава.

Т а р т ю ф ъ

И всѣка дължностъ е съгласна съ съ честъта,
Когато се налага отъ властъта.

О р г о н ъ.

Не помнишъ ли, неблагодарникъ, помощъта
Съ която те избавихъ отъ сиромашта?

Т а р т ю ф ъ.

Да, помня тѣзь услуги, кой ще ги откаже,
Но кралевския интересъ за менъ по-важи
И тази свята дължностъ който нарушава
И моята признателностъ съ туй заглушава;
За краля азъ ще жертвувамъ жена, имотъ,
Родители, другари, цѣлия животъ.

Е л м и р а.

Ахъ, лицемеръ!

Д о р и н а.

И какъ искусно се прикрива
Подъ маска на душа благочестива!

К л е а н т ъ.

Но ако сте готови всичко да дадете
Отъ преданностъ къмъ краля, даже да умрете,
Защо тази преданностъ тогазъ я проявихте,
Богато се съ Елмира въ низостъ улжихте,
Защо вий не направихте доноса свой
Преди — водимъ отъ честъ — да ви изгони той?
Азъ нѣма да ви карамъ да унищожите
Тозь актъ чрезъ който му заграбихте паритѣ,
Но за престѣжникъ като сте го днесъ почели,
Защо сте му имота вий отнели?

Т а р т ю ф ъ (на Чиновника).

Бажете да мълчатъ ; замайватъ ми свѣстѣта.
И изпълнявайте си вече заповѣдѣта.

Ч и н о в н и к ъ т ъ.

Благодаря, напълно съ васъ се съгласявамъ,
Че трѣбва мойта заповѣдъ да изпълнявамъ ;
И затова вървете подиръ менъ тозчасъ,
Въ затвора е готово мѣстото за васъ.

Т а р т ю ф ъ.

За менъ ли господине ?

Ч и н о в н и к ъ т ъ .

Да.

Т а р т ю ф ъ.

Защо въ затвора ?

Ч и н о в н и к ъ т ъ.

Не считамъ за потребно да ви отговора.

(на Оргона)

Сега се успокойте, мина крамолата,
Насъ кралъ ни управлява, врагъ на клѣветата,
Кралъ, който съсъ очи сърдца ни угадава.
И кой на лицемѣритѣ се не подава.
Той има пронизателностъ въ душата,
Той вѣрно опредѣля винаги нѣщата.
Той никога се въ нищо не увлича,
Разсждѣка му крайноститѣ не обича.
На скромни и благочесгиви честъ отдава,
Но никой пжтъ се слѣпо не прѣдава ;
За всички честни хора е съ сърдце прекрасно,
А лицемѣритѣ ги мрази най ужасно.
И тозъ нещастникъ вмѣсто краля да измами
Самичккъ въ примкитѣ му се подмами
И краля съ вѣщия си погледъ е открилъ
Тѣзь подлости, които тозъ е крилъ.
Той обвинявалъ васъ, а себе си предалъ,
И господаря ни го самъ узналъ
Че той единъ подлецъ ужасенъ билъ
И до сега подъ чуждо име се е крилъ,

Отъ низкитѣ дѣянъа що е той направилъ
Отъ нѣколко томове трудъ се би съставилъ.
Монарха го е укорявалъ въ сѣщій часъ
За черната неблагодарность кѣмто васъ.
И най-подирь предъ васъ за да го унижа,
Проводиха ме тука да го придружа
Да видимъ до кждѣ ще стигне подлостъта му
И вне да се запознайте съ личностъта му.
И акта съ който цѣлѣя пмотъ ви взема
Предъ васъ отъ него трѣбваше да го отнема,
Но вий да сте спокойни : за унищоженье
На този актъ е дадено распорѣженъе,
И краля ви прощава дѣт' сте съгрѣшили
И тайнитѣ книжъа другарски сте укрили,
Защото вий това сте сторили по дружба.
Прощава ви за прежната ви вѣрна служба,
За да покаже че умѣй да опѣнява
И за добри дѣла да награждава;
Че винаги заслугитѣ цѣни
И помни ясно всички добрини.

Дорина.

Великъ е Богъ !

Г-жа Пернель.

Отлекна ми завчасъ!

Елмира.

Чудесенъ край!

Марьяна.

И кой очакваше отъ насъ.

Оргонъ

(на Тартюфв, когото чиновника извожда.)

Огледай се, проклетникъ! . . .

Явление VIII. — Г-жа Пернель, Оргонъ, Елмира, Марьяна,
Клеантъ, Валерь, Дамись, Дорина.

Клеантъ.

Брате мой, недѣй,

Не унижавай се предъ тозь злодѣй.

И безъ това печална му е участьта,

Не умножавай мъжитѣ на съвѣстѣта,
Но пожелай му къмъ добро да се обърне
И добродѣтелята отъ ново да прегърне
Бат' си очисти отъ порокъ душата,
Дано и краля му смегчи сждбата;
И ти иди при краля и благодари
За тѣзи милости съ които те дари.

О р г о н ъ.

Да, истина, туй нѣма да забравя,
Това е първи дългъ когото ще направя.
Слѣдъ тѣзи длъжностъ друга нѣкъ настѣпя —
Предъ общото желанье съ радостъ ще отетѣпя
И на Валера давамъ мойта Маршиана
За неговата честностъ и добра отхрана.

Край.

Алеко Константимовъ.

КРЪСНЕНСКАТА КЛИСУРА.

Слѣдъ като напустне Джумайската котловина, Струма се вмѣква въ Кръсненската Клисура. Устието на клисурата е толкози красиво, колкото и самата тя. Отъ двѣтъ страни на буйната ибнлива рѣка се издигатъ двѣ отвѣсни канари, като два великана. Едната е скалиста, гола, а другата е покрита съ гжста зелена гора. Голата е надъ лѣвния брѣгъ на рѣката и образува началото на *Кръсна Планина*, която тукъ обгръща южната страна на котловината и се слѣвива съ великолѣпния Пиринъ, гористата се издига надъ дѣсния брѣгъ на рѣката и образува началото на *Каршияка*, която е клонъ отъ неизученитѣ още *Малешевски планини*. Два шумливи бистри планински потоци, единъ отъ лѣво, другъ отъ дѣсна страна орошаватъ прѣкрасната мѣстностъ и се вливатъ въ Струма до самото устие на прохода, единъ срѣщу другъ. Раскошна зеленина кичи подножието на скалитѣ и коритото на потоцитѣ. Отъ лѣва сграна по върховетѣ на Кръсна се виждатъ десетина колибни, като орли накацали по канарата, и на дѣсно се черибе гжста зелена гора и надъ нея — синето небе.

Отъ началото клисурата е много тѣсна. Канаритѣ по лѣвния брѣгъ стрѣмно опиратъ до коритото. По нѣкои мѣста тѣ достигатъ една височина отъ 500 метра надъ рѣката. По нѣкъждѣ се синѣятъ само голи скали; по нѣкъждѣ стрѣминитѣ сж покрити съ гѣста гора, а на много мѣста трудолюбивия селянинъ е посадилъ лозя на такива стрѣмни мѣста, дѣто човѣкъ едвамъ може да се катери. Направени сж малки квадратни полянки, обградени съ сухи зядове и между тѣхъ тѣсни пѣтчечки на стѣпала, за да слиза водата въ врѣме на дъждове и да се катерятъ работницитѣ по тѣхъ въ врѣме на работа. И въ тѣзи почти отвѣсни каменисти полянки стърчатъ редове отъ тънки лозиневи главинки. Разказватъ, че човѣцитѣ, когато работатъ по тѣзи стрѣмнини, вързватъ се нѣкои пѣти съ въже за дърветата, за да не би да се откачатъ отъ нѣкоя височина. Съ кървавъ потъ се искаря прѣхраната въ тѣзи планински диви мѣстности! Въ замѣна на тежкия трудъ едвамъ достъжнитѣ лозя раждатъ прѣкрасно гроздѣ. Отъ него се прави прочутото по Македония Крѣсенско вино, което по вкусъ и пивкостъ държи едно отъ първитѣ мѣста между нашенскитѣ вина. Често се виждатъ по върховетѣ на скалитѣ на една височина повече отъ 500 метра надъ рѣката малки глинени бѣщички, които измежду скалитѣ и дърветата иматъ дивенъ изгледъ.

Планинската верига, която отива покрай дѣсниа брѣгъ на рѣката, твърдѣ много се отличава отъ срѣщу-положната си. Върховетѣ на *Каршияка* се издигатъ много по високо отъ Крѣсенскитѣ, но тѣ сж по полегати и по достъжни отъ тѣхъ. Тукъ ние срѣщаме великолѣпни долини, покрити съ гѣсти непроходими лѣсове, високи канари, обрасли съ лѣсове; нѣма поляни, нѣма голи скали, нѣма лозя, нито села. Това е дива, мрачна, очарователна мѣстность! Гората, която допира ниско до рѣката, се състои главно отъ дѣбъ, ясенъ, лѣщакъ, а по нѣкъждѣ има липи. Свободно се дише въ тѣзи прѣлестни горски кѣтове! Бистри, студения извори се срѣщатъ на сѣка криволичка. Шосето отива ниско до самата рѣка, въ подножието на Каршияка.

Тази планинска тѣснина е дълга 5 часа пѣтъ и на всѣкъждѣ окоето не се уморява отъ омайнитѣ хубости на природата. Рѣката, сплвана отъ канаритѣ, е принудена да криволичи и съ жѣка да си пробива пѣтъ на Югъ. Тѣзи кривини ни напомнюватъ първия планински проходъ на Струма, който майсторски е очертанъ отъ г. Иречѣка. Всѣка кривина ни открива предъ очитѣ особенни хубости. Окоето вижда само стрѣмни, гористи ридове отъ една страна, отвѣсни скали отъ друга, а въ дѣното буйна распѣнена рѣка, и

надъ нея високо горѣ, само малка частъ отъ небето. Тукъ-тамъ измежду канаритѣ се промъкватъ малки планински потоци, които додѣто стигнатъ до Струма, обръщатъ се само на пѣна.

Тъкмо на срѣдата на клисурата на едно тѣсно мѣсто е направенъ напоследъкъ отъ каменье и дърво единъ здравъ и хубавъ мостъ, построенъ отъ мѣстни майстори; три четвърти отъ работата е била ангария. Шосето минува по моста на лѣвия брѣгъ на рѣката. Долината тукъ се малко расширява. Надъ шосето се издигатъ грамадни голи, отвѣсни канари, а подъ него шуми пълноводната Струма.

Половинъ часъ на Югъ отъ моста, на лѣвия брѣгъ на рѣката, лежатъ Кръсенскитѣ ханове и скелето на Кръсна. Тука е първото мѣсто на Струма, отъ дѣто се спущатъ салове по течението на рѣката. Дъски, грѣди, диреци и разни видове дървени материяли за постройки се наплатватъ на едно корито, сглобено отъ сжщитѣ дъски и дървета, и всичко това се спуща по течението на рѣката. Всеки салъ се управлява отъ 3—4-ма човѣци, които съ дълги лостове въ рѣцѣтѣ го оправятъ изъ коритото на рѣката.

Високо горѣ надъ рѣката едвамъ се съзиратъ нѣколко малки глинени къщички. Тамъ е селото *Кръсна*. То е заселено на една великолѣпна планинска тераса, която се издига повече отъ 400 метра надъ рѣчището. Мѣстото е толкози стръмно, щото непривикналъ човѣкъ мъчно може да се катери по тѣзи скали. Да се ѣзди, тукъ е невъзможно. Да се стигне до селото,—изисква се единъ часъ най-утомителенъ пѣтъ. Привикналитѣ пѣргави селене, обаче, бѣгатъ като кози на горѣ. Терасата, на която е заселена Кръсна, е прорѣзана съ долини и селото е прѣснато на едно грамадно пространство. То не брои повече отъ 300 къщи, но тѣ захващатъ площъ два часа широка. Селото се дѣли на три главни махали, отдѣлени съ долове една отъ друга. Сѣка махала си има черква и училище, въ които отдавна се служи на народния български езикъ. Гърцизмътъ никога не е ималъ успѣхъ въ тѣзи планински мѣста Кръсенчане се отличаватъ по своята прѣданность къмъ родния си езикъ, и въ това отношение, тѣ упражняватъ силно влияние на цѣлата околностъ. Кръсенчане сж здрави и яжки планинци; главния имъ поминъкъ се състои въ винарство, дърводѣлство и скотоводство. Лозята имъ сж прѣснати на голѣмо разстояние по околнитѣ канари. Виното се разнося главно въ Мехомия и Банско. Ако да не бѣха пограничитѣ мита, това прѣвъсходно вино би намѣрило добъръ пазаръ въ София. Дърводѣлието отдавна врѣме е занаятъ на Кръсенчане. Изработения дървенъ материялъ въ планината се

прави на вързопи и се спуща низ стръминнитѣ къмъ рѣката; въ нѣколко минути тѣзи вързопи достигатъ скелето изгладени отъ търканието при паданieto си отъ грамадната височина. Щ) се касе до скотоводството, мѣстото много спомага за развъждане на кози, които се продаватъ за касапницитѣ на Съръ и други околни мѣста.

Изгледътъ на околността отъ с. Крѣсна е величественъ. Надъ селото се възвишаватъ роскошнитѣ върхове на старо-славния Пиринъ, толкози често възпѣванъ въ нашитѣ пѣсни. Подъ селото на ужасна дълбочина бучи Струма между канаритѣ и, ту се крие отъ жадния погледъ задъ скалитѣ, ту пакъ се появява и бѣга задъ планинскитѣ височини. А на срѣща се възвишава гористата хубавица *Каршияка*. Една очарователна долина се извира тамъ право прѣдъ погледътъ ни, — това е дивната *Мирчовица*, покрита съ непроходимъ мраченъ лѣсъ, развеселяванъ отъ буенъ планински потокъ, който носи сжщото име. Вечерно врѣме, когато слънцето се скрива задъ гиганскитѣ върхове на Каршияка, когато хладния вѣтрець заклати листнето на гората, когато божитѣ свѣтила почнатъ едно по едно да се появяватъ на високото сине небе и столѣтнитѣ джбове и борове захванатъ тихо да разказватъ за миналитѣ вѣкове, когато стадата съ своитѣ вѣрни пси весело се прибиратъ въ кошаритѣ, тогазъ по върховетѣ на Крѣсна човѣкътъ забравя грозното минало, забравя грозното настояще и усѣща въ душата си една дивна, неописуема, божествена услада!

Отъ Крѣсенската скала на Югъ клисурата се отваря малко повечко, но пакъ и по двата брѣга на рѣката нѣма равно мѣсто нито за една нива. Често се виждатъ остатки отъ съборени здания по пѣттѣ. Единъ буенъ планински потокъ прорѣзва Крѣсна-Планина и се влива въ Струма на $\frac{1}{2}$ часъ разстояние отъ скелето. Той извира изъ върховетѣ на Пиринъ и е нарѣченъ *Ченгене-Дереси*. Въ дъждовно врѣме е непроходимъ. Отъ тукъ на долу клисурата пакъ се стѣснява. Крѣсна слава все повече и повече сложна и гориста — почва да заприличава на Каршияка. По цѣлия дѣсенъ брѣгъ на клисурата нѣма ни едно село, ни една колиба не се вижда въ това диво мѣсто!

Тамъ дѣто клисурата се свършва, въздигатъ се отъ двѣтъ страни на рѣката двѣ високи отвѣсни канари, като два грамадни стълпа на едни гигантски врата, и Струма, като прибира отъ лѣвия си брѣгъ още единъ потокъ, промѣква се между канаритѣ съ голѣмъ шумъ, за да излѣзе въ Мелнишката котловина и си отдѣхне отъ трудния пѣтъ прѣзъ канаристата клисура.

ЖИВОГЪТЪ И СМЪРТЪТА НА ГРАФЪ ЛАМОРАЛЪ ЕГМОНТЪ.

Отъ

ФРИДРИХЪ ШИЛЛЕРЪ.

(Прѣводъ отъ нѣмски).

Ламораль, графъ Егмонтъ и принцъ Гаврскій, билъ роденъ въ 1523 г. Баща му е билъ Иоханнъ Егмонтъ, камерхерръ на служба у императорътъ, майка му Франциска, Люксембургска принцеса. Неговийгь родъ, единъ отъ най-благороднигь въ Нидерланди, смѣталъ своето произхождение отъ Гелдернскитъ херцоги, които дълго врѣме упорито бранили своята независимостъ срѣщу бургундскитъ и австрийскитъ домове, най послѣ обаче трѣбвало да се подчинатъ на мощта на Карлъ V; тѣ дори докарвали своето потекло до старитъ фрисландски крале. Още много младъ Ламораль Егмонтъ постъпилъ на военна служба у императорътъ, и прѣзь французскитъ войни на тойзи монархъ се е образувалъ за бѣдущий герой. Въ 1544 г. на имперскитъ сеймъ въ Шпейеръ и въ присѣствие на императорътъ той встъпилъ въ бракъ съ Сабина, Баварска графиня, сестра на Иоханна, курфюрстъ Пфалцскій, която и му придобила три принца и осемъ принцеси. Двѣ години подиръ това въ едно събрание на капитултъ, свиканъ отъ императорътъ въ Утрехтъ, той билъ въздигнатъ въ кавалеръ на Златното Руно.

Французската война, която изново избухнала въ 1557 прѣзь царуването на Филиппъ II, отворила на графъ Егмонтъ пъкъ къмъ слава. Емануилъ Филибертъ, херцогъ Савойскій, който командувалъ въ качеството на генералиссимусъ съединенитъ англо-испански и нидерландски войски, обсадилъ Сень-Кентенъ въ Пикардия, а Французскитъ конетабль се поддигналъ съ 30000 души и съ цѣвтъ на французскитъ благородни, за да освободи тоя градъ. Дълбоко благо дѣляло двѣтъ войски. Французскитъ пълководецъ сполучилъ да прѣхвърли нѣколко стотани души въ градътъ, слѣдъ като бомбардиралъ лагерътъ на херцогътъ и накаралъ послѣднитъ да остави своитъ позиции. Но понеже испанската войска била около 60000, слѣдователно два пѣти по-голъма отъ неговата, конетабльтъ се задоволилъ съ това, че уселилъ гарнизонътъ на Сень-Кентенъ, гдѣто по нощно

врѣме тѣй сѣщо се прѣхвърлилъ и адмиралъ Колинъи, и вече се готвилъ гѣмъ отстѣпление. Тѣкмо отъ това се страхували въ испанскійтъ воененъ съвѣтъ, който билъ държанъ въ лагертъ на Егмонта Егмонтъ, когото увличала свойственната нему смѣлость и когото по-слабата численность на враговетѣ правяла по-храбрѣъ, горѣщо настоявалъ да се нападне и влѣзе въ бой съ неприятельтъ.

Това миѣние, макаръ и оборвано отъ мнозина, добило връхъ. На десетий Августъ, като въ день на Св. Лаврентий, херцогтъ повелъ войската чрѣзъ единъ тѣсенъ проходъ, който билъ слабо защитенъ и веднага оставенъ отъ неприятельтъ; Егмонтъ съ своята легка конница напредъ, слѣдъ него графъ Хорнъ съ 1000 тежки конници, подирѣ му нѣмската конница съ 2000 конѣе, подъ прѣдводителството на херцогитѣ Ерихъ и Хейнрихъ Брауншвейтски; самийтъ херцогъ Савойскій сключвалъ шествието съ пѣхотата. Французката войска отстѣпвала вече, конницата на Егмонта се спуствнала подирѣ ѳ тѣй стремително, што успѣла да я настигне три мили длачъ отъ Сентъ-Кентенъ. Нидерландцитѣ съ такъва буйность отъ вси страни се нахвърлили върху неприятельтъ, што съсипали неговитѣ прѣдни части, побъркали бойнийтъ редъ и обърнали цѣлата войска въ бѣгство. Три хиляди французи лѣгнаха на мѣстото, херцогъ Бурбонскій билъ убитъ, и освѣнъ конетабелтъ, който раненъ се свалилъ отъ коньтъ и билъ взетъ въ плѣнъ съ двамата си синове, още много други отъ най-първитѣ французски благородни попаднаха въ ржцѣтъ на побѣдительтъ. Цѣлийтъ лагеръ билъ прѣвзетъ съ голѣмо число хванати плѣнници. Въ тая блѣскава побѣда, която е имала за слѣдствие прѣвзиманието на Сентъ-Кентенъ, Егмонтъ има двойна заслуга, че е съвѣтвалъ встѣпление въ бой, и че най-много самъ е способствувалъ за неговата сполука.

Скоро съ извикванието на херцогъ Гизъ изъ Италия военното щастие се прѣобрѣща и французското оружје добива връхнина. Той отървалъ Кале отъ Англичанетѣ, французска войска опустошавала Люксембургъ, Фландрия била обезпокоявана отъ маршалъ де Термъ. Срѣщу тойзи послѣденъ Филиппъ испратилъ графа Егмонтъ на чело на 12000 души пѣхота и 2000 конница. Маршалгтъ искалъ, слѣдъ като изгорилъ Дюнкверсенъ, да се оттегли въ Кале покрай брѣгтъ. когато Егмонтъ го нападналъ на 13 Юлий 1558, тѣкмо кога се той сбиралъ да прѣмине малката рѣка Ха при Гравелинъ. Французитѣ, 10000 души пѣхота и 1500 конница, въ боенъ редъ го посрѣщнали съ убийственъ огънь, така што при първото нападение коньтъ му билъ убитъ подъ него. Не съ по-малка ярость той продължавалъ да ги тѣсни, и понеже широката пѣсчлива равнина

благоприятствувала на бойтъ, почнала се отчаянна битва, гдѣто се сражавали человекъ срѣщу человекъ, конь срѣщу конь, подобна на която въ по-новитѣ врѣмена се сж запазили малко примѣри. Доста дълго врѣме побѣдата била съмнителна между тие двѣ еднакво храбри и испитани войски, догдѣто най-послѣ честита случайность я рѣшила въ полза на Нидерландцитѣ.

Гърмътъ на оржжието привлѣкълъ нѣколко английски кораби, които по заповѣдъ на кралица Мария кръстосвали покрай тие брѣгове, за да прочистватъ проходътъ между Дюнкирхенъ и Кале; като малки кораби, тѣ могли доста да доближатъ до земята, за да могатъ съ бойнитѣ си орждия да достигатъ единтъ флангъ на французитѣ. Кожкото малка и да била врѣдата, която тѣ причинявали, тъй като твърдѣ далечното разстояние почти съвършено обезсилвало дѣйствието на тѣхното оржие, и то безъ разлика попадало и въ приятель, и въ неприятель, в'е пакъ тѣхната нечакана намѣса смутила едната страна и поддигнала духоветѣ на другата. Графъ Егмонтъ, отъ когото това не се скрילו, заповѣдалъ на своитѣ нѣмски конници незабѣлѣзано отзадъ пѣсчливитѣ могили да ударатъ въ флангътъ на французската кавалерия, и чрѣзъ това до нѣкъдѣ ги накаралъ да стѣпнатъ; при това още по-буинно се спустнала бургундската конница, распокжсала бойниятъ редъ и причинила пълна безредица между пѣхотата. Хилядо и петъ стотини останали на бойното поле, освѣнъ оние, които искали чрѣзъ плувание да се спасятъ и били издавени отъ Англичанетѣ. Де Термъ и неговитѣ най-добри офицери, всички ранени, трѣбвало да се прѣдадатъ; знамена, оржжия, заедно съ всичката до тогава награвена пѣчка минали въ рѣцѣтъ на побѣдителятъ. Много по-злощастна сѣдба очаквала оние, които се избавили отъ сраженieto и попаднали въ рѣцѣтъ на фламандскитѣ селяне. Тѣзи, разярени до ний-висока степенъ срѣщу французитѣ поради опустошаванието и разграбванието на селата имъ, се нахвърлили съ смъртелна злоба върху безоржжитѣ бѣженци; самитѣ жени, разказва Страда, на купове ги прѣслѣдвали по цѣлата страна, пробуждали ги съ вилци, или бавно ги добивали до смъртъ съ сопя, така щото отъ всички, които изгорили Дюнкирхенъ, почти ни единъ не се избавилъ. Дѣстѣтъхъ души, които Англичанетѣ хванали живи, тѣ испратили въ Лондонъ на своята кралица, безъ съмнѣние за да утвърдатъ своето участие въ побѣдата. Отъ Нидерландцитѣ не се наброявали и четиристотини убити. Скорото прѣвземание на изгубенитѣ градове било единственниятъ плодъ на тая славна побѣда, въ която Егмонтъ съединилъ заслугата на пѣлководецъ съ храбростта на простъ войникъ.

Пораженията при Сенъ-Кенгенъ и Гравелинъ направили Хенрихъ Вторий много наклоненъ къмъ миръ, който и билъ сключенъ на слѣдующата 1550 год. въ Chateau Cambresis. Въ тая война особено име си съставила нидерландската конница, и всичката слава се струпала върху графъ Егмонтъ, който билъ нейний вождь. Фландрскитѣ градове, които слѣдъ бѣдствията на войната, чистото мѣсто на дѣйствиетѣ били, отново се наслаждавали на цвѣтуещъ миръ и усѣщали себе си особенно задължени за това благодарение на графа Егмонтъ, чиято храбрость накарала неприятельтъ да имъ го дарува. Неговото име било въ устата на вѣжкого, и всеобщата мѣлва го обявила за герой на вѣмето. Дори Филиппъ II до толкова отстѣпилъ отъ своята испанска гордость, щото открито припозналъ себе си за неговъ длъжникъ и обѣщаль по достоенъ начинъ да се исплати за тойзи дългъ. Скоро подиръ сключването на мирътъ кралътъ далъ распорѣждане, че щъ да остави Нидерланди за да се възвърне въ своитѣ, тѣй нему скѣпи, испански владѣния. Едно отъ най-важнитѣ обстоятелства, което той трѣбвало да уравни прѣди заминуванието си, било назначението на единъ генераленъ штатхалтеръ върху съединенитѣ Нидерланди, която длъжность поради оттегливането на херцогъ Савойскій въ Италия стояла по него вѣме упразднена. Между претендентитѣ, за които ставало рѣчь за тая важна длъжность, били прѣди всичко графъ Егмонтъ съ Вилхелмъ I, принцъ Оранскій, и желанието на народътъ се колебаяло между тие двоица. Но Филиппъ не смяталь за благоразумно да даде такъва голѣма власть нито въ рѣчѣтъ на единъ *приятель на народътъ*, акъ и да цѣнялъ графа Егмонтъ за храбъръ воинъ и тънъкъ политикъ, качества необходими за такъвъ постъ, него пакъ на принцъ Оранскій, къмъ правовѣрнето и вѣрносѣгата на когото той хранилъ не съвѣснъ не безосновно недовѣрие, за това прѣскачилъ и двоицата, повикалъ незаконнороденната си сестра херцогиня Маргарита Париска изъ Италия за да управлява Нидерланди въ вѣме на неговото отстѣствие. Графа Егмонтъ той искалъ да задоволи съ двѣтъ изгодни штатхалтерства надъ Артуа и Фландрия, а принцъ Оранскій—съ три други Холландия, Зееландия и Утрехтъ, но колкого блѣскаво и да било това възнаграждение, колкото то и да надминавало всички други, които получили останалитѣ високи благородни, пакъ то не могло да удовлетвори честолюбието на двамата мжжѣе, чиято надѣжди били обърнати къмъ нѣщо по-високо; съ това извънредно прѣдпочгенне Филиппъ само посѣялъ сѣме за бѣдуще възстание.

Тѣхното честолюбие, обаче, най послѣ щѣло е да се примири

и съ това несполучливо очакване, тъй като имали да се покоряват на сестрата на свойтъ краля, и като женско управление то имъ давало надѣжда, че тѣ ще приематъ най важно участие въ управлението. Но и тая надѣжда била прѣсѣчена съ влизанието на Арраскийтъ епископъ, бѣдущий кардиналъ Гранвелла, въ министерството, когото кралятъ билъ далъ на сестра си за таенъ съвѣтникъ, като го облѣкълъ съ колкото омразна толкова и противозаконна власть. Вече неговото тъмно происхождение, понеже дѣдо му билъ ковачъ, трѣбвало да възбуди противъ издиганието на тойзи прелатъ крайне гордитѣ съ своитѣ прѣимущества нидерландски велможи, и тая неприязнь била толкова по-справедлива и толкова по-горѣща, че Гранвелла не билъ туземець, а уставтъ на Нидерланди изрично исклучавалъ всички чужденци отъ *всѣкакви* служби. Ролята, която тойзи человекъ игралъ въ Германия прѣзъ прѣдишното царуване, ни най-малко не била отъ оние, които да му спечелатъ сърдцата на Нидерландцитѣ. Неговото противозаконно поведение въ Брюкселскийтъ държавенъ съвѣтъ, самоуправството, съ което той потѣпквалъ всичкитѣ привилегии на провинцитѣ, неговата алчностъ, раскошно-распуснатъ животъ, високомѣрна личностъ, гнетѣтъ, подъ който тѣ държалъ висшиѣ велможи, и прѣзрителното обхождение, което си допушалъ спрямо нѣкои отъ първенцитѣ, — възбудили омраза противъ него до най-висока степенъ и увлѣгли по голѣмата частъ отъ тѣхъ да се съединятъ ерѣщу тойзи общъ врагъ.

Учредяванието на тринадесетъ нови епископства, дѣло на тойзи министръ, разярило цѣлокущныйтъ нидерландский народъ противъ него. Освѣнъ че това самовластно разширочение на иерархията, за което не били допитани съсловията, било противно на земскитѣ волности на провинцитѣ, то заплашвало да унищожи тѣхнийтъ уставъ, защото отъ сега се виждало, че тѣзи нови съсловия ще бѣдатъ най-ревностно привѣрзани къмъ дворѣтъ, като обязаны нему за своето сществуване, и че болшинството на гласоветѣ въ събранието ще клонн къмъ страната на кралятъ. Всички абати и калугерцъ били възбудени противъ новитѣ епископи, защото тѣ били поставени, надъ приходитѣ на монастыритѣ и учрежденията, като реформатори на духовенството. Простийтъ народъ се гнусялъ отъ тѣхъ, като отъ оръдия на ненавистныйтъ инквизиционенъ съдъ, който той вече съгледвалъ, че върви по диритѣ имъ. Жестокитѣ мѣрки, които, съгласно съ строгитѣ религиозни едикти, се вземали противъ еретичитѣ, нахалството на испанскитѣ войски, които още отъ послѣдната война на насамъ, възпрѣки кон-

ституцията, стояли въ пограничните градове, и за чието поната-тъшно стоеие всички се промизнасяли съ най-голяма омраза, това съединено съ частни оплаквания противъ министрътъ — всичко способствувало, щото да прѣвъзми населението съ грижи, и благороднитѣ, както и народътъ, да възстанатъ противъ него на министрътъ.

Огъ незадоволнитѣ се сближили най-тѣсно по между си принцъ Оранскій, графъ Егмонтъ и графъ Хорнъ. И тримата били държавни съвъгници, и получвали огъ властолюбието на кардинальтъ еднакви оскърбления. Слѣдъ като напусто се опитвали да съставятъ партия между останалитѣ благородни, които рабскій страхъ прѣдъ министрътъ още удържалъ отъ по-силна стѣпка, тѣ покарали своего дѣло сами и отправили до кралятъ едно общо писмо, въ което министрътъ се прѣдсгавлявалъ каго врагъ на народътъ и каго причина на всички дотогавашни безредици. Тѣ явявали, че всеобщото назадоволство нѣма да прѣстане, догдѣто тойзи омразенъ прелатъ стои у кормилото на управленнето, и че тѣ сами нѣма да могатъ да засѣдаватъ въ държавнийгъ съвътъ, ако Н. Величество не благоволи да отдалечи тойзи человекъ. Понеже тойзи опитъ останалъ безъ послѣдствие, тѣ наистина напустили държавнийгъ съвътъ, гдѣто занарѣдъ кардинальтъ останалъ неограниченъ стопанинъ.

Понеже по тойзи начинъ не сполучили да прѣмахнатъ министрътъ, тѣ се опитали чрѣзъ осмивание на неговата личность и управление да го докаратъ самъ да се оттегли. Веселата мисль, която текнала на Егмонта, да даде на слугитѣ на всичкитѣ велможи еднакво облъвало, съ по една ахмашка капа ушита връхъ него, подхвърлила кардинальтъ, като насочена противъ него, на всеобщъ смѣхъ, но дворътъ се намѣсилъ и забранилъ това облъбло. Нестѣсняемостта на народътъ спрямо министрътъ отивала до тамъ, щото въ ржцѣтѣ му вийквали пасквили, щомъ той се покажель открито. Той упорствувалъ прѣдъ омразата на цвлийтъ народъ, но не можалъ да прѣнесе тая степенъ отъ открито прѣзрѣние. Той се отрекълъ отъ министерството, и оставилъ провинциитѣ.

Подиръ оттегливането на Гранвелла графъ Егмонтъ заемалъ почти първо мѣсто въ благорасположението на управителката. Но понеже липсвала твърда ржка, която да удържа раздвоенитѣ по между имъ и заетитѣ съ различни частни интереси велможи, анархията станала всеобща, правосдъието се отдавало лоше, финанситѣ били занемарени, религията била на упаданне и сектитѣ почнали да буравять на всжду. Най-близното слѣдствие отъ това разстройство било

изостреното подновяване на религиознитѣ едикти изъ Испания, но народътъ изгалеиъ съ до сегашното снискождение не искалъ вече да носи това ново иго. Тѣкмо по онова врѣме трѣбвало да турятъ въ дѣйствиe въ Нидерланди рѣшенията на Тридентскитѣ църковенъ съборъ. Тѣхното съдържание противорѣчало на правдинитѣ на провинциитѣ, и всичкитѣ съсловия се въспротивили. За да докаратъ кралятъ на други мисли, управителката испроводила графа Егмонтъ въ Испания, който би можалъ съ своитѣ словесни съобщения да му прѣдстави настоящето положение на работитѣ, по-добрѣ отъ колкото съ писма. Егмонтъ трѣгналъ отъ Нидерланди прѣзъ Януарий 1565 г.

Приемътъ, който му направили въ Мадридъ, билъ отличенъ. Кралятъ и всички негови кастилски сановници се прѣдваряли единъ прѣзъ други за да ласкаятъ неговото щеславие. Всичкитѣ негови частни просби били, въспрѣки очакванието му, изпълнени, и освѣтъ това били послѣдвани на трѣгване съ единъ даръ отъ 50000 гудена. Мекитѣ укори за нерасположението къмъ Гранвелла, които кралятъ му искалъ на една частна ауденция, трѣбвало по-вече да усилятъ нежели да намалятъ неговото довѣрие въ искренността на кралятъ. За благитѣ намѣрения на кралятъ спрямо нидерландскитѣ народъ били изречени, както отъ него самий, тѣй и отъ всичкитѣ негови съвѣтници, най-добри увѣрения. Говорило се, че кралятъ, слѣдъ по доброто освѣтление, което получилъ сега отъ графътъ, ще уважи единодушното желание на провинциитѣ и че ще прѣдпочете пѣтътъ на доброто прѣдъ наследственитѣ мѣрки. Егмонтъ оставилъ Мадридъ честитъ, разнасялъ по Нидерланди хваления на монархътъ, когато вече нови заповѣди слѣдвали отъ-подирѣ му, за да искаратъ на лъжа неговитѣ увѣрения.

Твърдѣ късно се пробудилъ той отъ своето упоение. Всеобщата мълва го обвинявала, че той зарадъ частнитѣ си облаги забравилъ общото добро. Той се провиквалъ високо противъ испанското коварство и заплашвалъ да сложи отъ себеси всичкитѣ длѣжности. Но той си останалъ съ заплашванието. — Егмонтъ ималъ единадесетъ дѣца, и билъ прѣтоваренъ съ дългове. Той не можалъ да помине безъ кралятъ.

Прогласението на изостренитѣ религиозни едикти имало за слѣдствие съюзътъ на низшитѣ благородни, който е извѣстенъ подъ името *съюзъ на Гьозитѣ*. Лично Егмонтъ не е приемалъ никакво участие въ тая конфедерация, но мнозина отъ неговитѣ припознати приятели били вътрѣ; неговитѣ собственъ секретаръ, Иоханнъ Казебродъ ванъ Баккерзеелъ билъ отъ тѣхъ. Това обстоятелство въ послѣдствие усилило обвинението противъ него. Казвало се, че той

знаял това и пакъ продължавалъ да го държи на своя служба — и за това самъ билъ виновенъ въ измѣна противъ държавата.

Веднаждъ, кога графъ ванъ Бредероде угощавалъ съюзнитъ благородни въ Куленбургскитъ дворець въ Брюксель, случайно той съ нѣколцина свои приятели минавалъ покрай него. Невинно любопитство го увлѣкло вжтрѣ. Той билъ принуденъ да пие заедно съ тѣхъ. Дошло да пиятъ наздравица за Гьозитѣ, той приелъ безъ да знае, до какво се добиватъ. И това отъ послѣ е послужило за обвинение въ измѣна противъ държавата.

Скоро подиръ основанието на съюзтъ на Гьозитѣ въ провинцитѣ завърлувало иконоборството. Штатхалтеритѣ побързали отъ Брюксель въ своитѣ области, за да въведатъ отново спокойствие. Тука Егмонтъ се отличилъ съ своето рвеніе по между всички други. Въ Артуа и Фландрия той наказалъ съ смъртъ много възстанници, и усмирилъ протестантитѣ. Но и тая голѣма заслуга отпослѣ му смѣтали като измѣна противъ държавата, защото той билъ направилъ на протестантитѣ нѣкои дребни отстъпки, на които не билъ въ състояние да откаже съ сила.

Крайноститѣ на открититѣ проповѣди и на иконоборството послужили за оръжие въ рѣка на старитѣ непримирими врагове на нидерландскитъ народъ, на кардиналъ Гранвелла, — който все продължавалъ да има влияние на кралтъ, — на херцогъ Алба и на великиятъ инквизиторъ Спиноза, да нанесатъ въ расположението на кралтъ смъртелна рана на главатаритѣ на Нидерландското велможество. Всички тѣзи безредици били стоварени отгорѣ имъ. Тѣхната немарливост на службата у кралтъ, тѣхното снисхождене къмъ върлующитѣ секти, тѣхнитѣ тайни интриги и насърчаваніе, тѣхнитѣ примѣри на съпротивление, тѣхнитѣ свръзки съ съюзнитѣ Гьози — всичко това трѣбвало е да способствува само за да поддигне духоветѣ на бунтовницитѣ и да благоприятствува на тѣхнитѣ революции. При това още мнозина отъ оние безумци, които били хванати при събаряние на икони и осъдени на смъртъ, се прикривали съ имената на принць Оранскій, графове Егмонтъ, Хорнъ и други, като искали чрѣзъ него да смеччатъ своитѣ безчестни постѣпки. Истина безъ високитѣ протести, които Нидерландскитѣ велможи изказвали противъ жестокитѣ карателни повелѣния, проститѣ народъ никога нѣмаше да стане лързновенъ, щото открито да се смѣе надъ тие повелѣния, нито пакъ щѣха да избухнатъ такива буйства; но по какво право сѣтници, за които оние нито сж помисливали, сж турени на тѣхна смѣтка? Оние протести сж съвмѣстими съ най-строга вѣрность къмъ монархтъ; и благого на народтъ, чинто

мѣстни прѣдставители и повѣрители сж тѣ били, въмъ ги е назагаго като свещенна обязанность — какъ можеха да ги правять отговорни за злочеститѣ слѣдствия на тѣхнитѣ похвални намѣрения?

Свѣтътъ въ Сеговия сѣдилъ инакъ. Убѣдили кралятъ, да промѣни досегашното си поведение, да цаде царедѣтъ, като взамениъ, и да наказва възможитѣ. Не е за утайване, че външноста говорила противъ тѣхъ, и еипи монархъ като Филиппъ не е могълъ да гледа на тѣхнитѣ обесели оуъ друга гледна точка. Нидерландскитѣ благородни прѣставители права, на каквото въ цѣлата монархия и примѣръ итмало. Омаляюще се о гордиятъ титулъ на съсаовна свобода, поради прѣдпочитанието и слабостъта на Карлъ V къмъ своето отечество, още по-вече утвърдени въ високомѣрие, което и безъ това притежавали въ висока степенъ, тѣ въ великитѣ свои дѣла се ръководили по духъ на необузданность, който граничилъ съ своеволие, и който никакъ не билъ търнимъ съ принципъта на еипиъ монархъ. Онова, що въ Брюксель било обикновена и дозволена свобода, безъ друго въ Мадридъ се хвърляло въ очи като най-беззаконна дързость. И Кастилската аристократия била горда съ своитѣ прѣимущества, но монархъ, който ги принознавалъ, можалъ да ги води на собствената имъ гордость, като съ поведеникъ. Духътъ на независимостъ, който и между пенанскитѣ велможи не можалъ още да се удави, се примирявалъ съ монархията, дори съ деспотизмътъ, дѣлкъмъ защото тѣзи велможи били научени на деспотизмъ, който тѣ упражнявали сиряме своитѣ собствени поданици; когато напротивъ нидерландската аристократия, съвършено се огучила да прѣнася деспотизмъ, защото тя сама заповѣдала на свободни хора, защото сама не могла да упражнява никакви насилія.“

При такова силно прѣдубѣждение на кралятъ къмъ главатаритѣ на нидерландската аристократия, не е за чудо, че той се е поддавал на насилственни мѣрки противъ тѣхъ. Още отъ тогава мълкъмъ било рѣшено унивоженieto на принцъ Оранскій, графъ Егмонтъ, Хорнъ и на мнозина други; но за да ги примаматъ въ примката, която имъ готвили, трѣвало по-напрѣдъ да ги успокоятъ съ прѣстерени изявления на неговото задоволенство. Огравяли имъ ваи милостиви писма, прѣблнени съ довѣрие и благосклонность. Натякванията и укоритѣ, които принлигали въ тѣхъ по едипиъ искусвъъ начинъ, придавали на тие увѣренія изгледъ на искренность, и ги хвърляли въ опасно спокойствие, като че ли било само това, за което имали да се оплачатъ противъ тѣхъ. На графа Егмонтъ често въ тѣзи писма се искавали тежки нѣща;

за това още по-малко му теквало на умъ, че отпрѣдъ може да има още нѣщо

Колкото лесно било да се ввара Егмонтъ въ примката, толкова било мъчно да се измами Оранскій. Една честита дарба да прѣтеглява обстоятелствата, поголѣмо знание на свѣтътъ и на двороветъ, и вниманието на неговитѣ неприятели—го прѣдпазили отъ измамата. Тъкмо по онова врѣме, когато кралятъ се изливалъ въ увѣренія на своето задоволство отъ него и неговитѣ приятели, едно хванато писмо огъ единъ испанскій пратеникъ изъ Парижъ му открило истинското расположение на кралятъ. При една срѣща, която ималъ въ Фландрия, въ Дендермонде, съ графоветѣ Егмонтъ, Хорнъ, Хогеграгенъ и Нассаускій, той имъ прочелъ това писмо, съдържанието на което се потвърждавало отъ друго едно, което Хорнъ по сжщото врѣме получилъ изъ Мадридъ. Помискали да се сговоратъ за мѣрkitѣ, които да прѣдприематъ съвкупно въ тая налѣжща опасностъ; говорили за съпротивление съ сила, за което много разчитвали на почитѣтъ къмъ Егмонта между нидерландскитѣ войски. Но какъ се зачудили, кога тойзи изскачилъ и се изразилъ по тоя начинъ: „По-добрѣ, рекълъ той, да става съ мене щото-ще, отъ колкото тѣй дързко да испытвамъ щасгаето. Брѣтвението на испанецтъ Алава малко ме безпокои — какъ тойзи человекъ е можалъ да назърне въ скритната душа на свойгъ господарь и да отгатне неговитѣ тайни? Извѣстията, които ни дава Монтиньи, доказватъ не по-вече, освѣнъ че кралятъ има твърдѣ двойствено мнѣние за нашата служебна ревностъ, и вѣрва че има причина да не довърява за нашата вѣрностъ; затова, чини ми се, ние сме му дали поводъ съ нашето минало. За това моето най-сериозно намѣрение е, чрѣзъ удвоявание на рвеніето си, да подобря неговото мнѣние за мене, и чрѣзъ бждущето си държание да угася онова подозрѣние, което досегашното ми поведение е можало да хвърли върху мене. И трѣбва ли да се откъсна отъ рцѣтъ на многобройното си и безпомощно семейство, за да се скитамъ по чужди дворове като бѣжанецъ, като товаръ за всѣкиго, който ме приеме, като рабъ на всѣкиго, който склони да ми даде убѣжище, като слуга на чуждеземци, и то за да избѣгна отъ една търпима неволя въ отечеството ми? Никога кралятъ не може немилостиво да постѣпи спрямо единъ служителъ, който винаги му е билъ обиченъ и драгъ, и който си е спечелилъ основателно право за неговата благодарностъ. Никога не могатъ ме убѣди, че той, що храни такива милостиви чувства спрямо нидерландскитѣ народъ, и които прѣдъ мене тѣй настойчиво е исповѣдалъ, сега ще кове

такива деспотически замисли противъ него. Нели възвърнахме на страната прѣдишното ѝ спокойствие, показахме възстанниците, настанахме отново католическото богослужение, вървайге менъ, иъма вече да се чуе за никакви испански войски; и къмъ това, азъ приканвамъ васъ всички съ съвѣтъ и примѣръ, и къмъ него съ наклонни по-вечето отъ благороднитѣ. Що до мене, азъ не се страхувамъ отъ гибъна на монархътъ. Съвѣтъта ми е чиста. Моята скѣба стои въ неговата справедливостъ и милостъ.“

Всичкитѣ възражения на принцъ Оранскій останаха напусто. Избухването на иконоборчеството отворило на графъ Егмонтъ очитѣ какво победение да държи Той билъ ревностенъ католикъ, и прѣдадеиъ на кралятъ на по-вече отъ едно основания и по-вече нежели самъ е съзнавалъ. Продължаващата се прѣписка съ дворътъ, дочѣрчивитѣ отношения съ управителката, и, по-вече отъ всичко това, личнитѣ обязательства, които той ималъ спрямо кралятъ, го удържали най-тѣсно привързанъ къмъ короната. Какъ трѣбвало да го възмущаватъ тѣй сжщо нечуенитѣ насилия, които извършвали сектитѣ подъ име на свобода, заради която той до сега се сражавалъ за тѣхъ съ най-невинни цѣли! Отъ тогава той одѣлялъ съвършено своето дѣло отъ тѣхното, и се подчинилъ на всички тѣ мърки, които управителката пожелаала да тури въ дѣйствиетрѣтивъ тѣхъ. И когато тя поискала събраннытъ благородни да поднесатъ нова кѣтва на вѣрностъ, той билъ единъ отъ първитѣ, който я далъ.

Около него врѣме въ Испания било рѣшено испращаннето въ Нидерланди на единъ испанскій воененъ огрътъ, който трѣбвало да се командува отъ херцогъ Алба. Въ провинциитѣ вече регентвата усиѣла отново да възстанови спокойствието съ оружие, и протестантитѣ били почти напълно усмирени. Понеже безредицитѣ били уталожени и страната успокоена, това обржжено шествие на херцогътъ не могло да има друга цѣль, освѣнъ наказание на миналото и притискание на сплашенитѣ велможи. По-вече отъ загатванията, които били получени отъ Испания,—това се потвърждавало отъ личниятъ характеръ на херцогъ Алба.

Ужасътъ на тойзи слухъ докаралъ мягекната аристократия прѣдъ нозѣтъ на управителката. Оние, що се били твърдѣ тежко провинили, за да могатъ да се надѣватъ на прощение, или които не довърявали на неопрѣдѣленитѣ увѣрения за помиляние, бързо напустнали страната, като захвърлили драговолно имотитѣ си. Принцъ Оранскій билъ между тѣхъ, но още прѣди своего отпиктувание той се помжчилъ да склони и графа Егмонтъ къмъ подобно рѣ-

шение. Въ Виллеброкъ, село между Антверпенъ и Брюксель, станала срѣща, на която присѣтствуваха сѣщо графъ Мансфелдъ и частивитъ секретаръ на управителката. Следъ като последниятъ, заедно съ графъ Егмонтъ, щетно се опитали да поколебаятъ рѣшението на принцъ Оранскій, оня се оттеглилъ съ принцътъ къмъ единъ прозорецъ. „То ще ти струва много, казала Егмонтъ, ако постоествувашъ на намѣрението си.“ — „А тебъ животътъ, Егмонте, ако не мѣнишь твоего,“ отговорилъ принцътъ. „Азъ поне ще имамъ утѣшеніе въ всѣко прѣмемдіе, че въ часа на нужда съмъ поддържалъ приятели и отечество съ примѣръ и съвѣтъ; ти ще поемѣтъ съ себе си въ гибель приятели и отечество.“ Още веднаждъ принцътъ употребилъ всичкото си краснорѣчие, за да осветли своелъ другаръ въ близката опасность и да го склони къмъ едно спасително рѣшение, но напраздно. Егмонтъ билъ прикованъ къмъ отечеството си съ хиляди връзки, безумна уфренность държала очитъ му свързани, неговата сѣдба се исправяла отпрѣдъ му.“ „Нивого ти нѣма да ме убѣдишь, Оранскій, казала той, да гледамъ на нѣщата въ такава мрачна свѣтлина, както що тѣ се прѣставяватъ тебъ. Не способствувахъ ли азъ токо прѣди малко, да усмиря бунтовниците и да повърна на провинциитъ прѣдшнното имъ спокоействие,—какво може кралятъ да има противъ мене? Кралятъ е милосивъ и справедливъ, азъ съмъ си заслужилъ право на неговата благодарность. Та самъ ли да обявя себе си недостоеенъ за нея съ позорно бѣжаніе.“ — „Добрѣ, извикалъ Оранскій, уповавай се на тая кралевска благодарность. Но менъ говори едно печално прѣдчувствие — и дай Богъ то да ме мами! — че ти ще станешъ, Егмонте, мостъ, по който Испанцитъ ще вѣзатъ въ земята, и който тѣ ще строятъ, щомъ прѣминатъ.“ Подиръ тие думи той го прѣгърналъ още веднаждъ, очитъ му били влажни; тѣ виждали единъ друго за последенъ път.

Егмонтъ билъ единъ отъ първитъ, които поздравили херцогъ Алба при вѣлживаніето му въ Люксембургъ. Когато последниятъ го сгледалъ отдалечъ, обърналъ се къмъ оние, що били до него: *Ето великиитъ еретикъ*. Егмонтъ който чулъ това, застаналъ смутенъ на мѣстото си и прѣблѣдѣлъ. Но когато херцогътъ го привѣтствувалъ съ повеселѣло лице, това прѣдпазване веднага било забравено. Той поднесълъ на херцогътъ два прѣкрасни коня, за да спечели неговото приятелство.

Два таква противоположни характери, като Егмонтъ и Алба, не можеха никога да бѣдатъ приятели; отколѣшна ревность къмъ военна слава отдавна вдѣхвала въ херцога тайна неприязнь къмъ

Егмонта, непризнав, която била подгръбна отъ няколко дребни случки. Егмонтъ веднажкъ изгразалъ отъ него нѣколко хиляди златни гулдени въ игра съ кости, докатошение, което сжакерникътъ Испанецъ никогажъ не можалъ да прости. Другъ единъ нхтъ Егмонтъ го извикалъ на съезидатие да сгрблать въ цблъ, и го надвизалъ. Цблнийтъ Брюксель високо изразилъ своята радостъ, и ликувалъ, че Фламандецътъ се показвалъ майсторъ прѣдъ Испанецътъ. Такива дребни обстоятелства никога не се забраватъ отъ хора, които се съблскватъ единъ съ другъ при въздиганieto сп: а Алба можалъ тѣи малко да прещавалъ, както и кралъ му.

Перватѣ дни слѣдъ своето пристиганне въ Брюксель херцогътъ се държалъ съвръшено спокойно; той трѣбвало най-напрѣдъ да успокои аристократията, за да примами всички оние, съ които е ималъ да се расирава. Графъ Хорнъ смѣталъ за благоразумно да не бжде при сръщанта; но увбренята, които графъ Егмонтъ му прѣдалъ за доброто настроение на новийтъ шатхалтеръ, дали му смѣлость и той слѣдъ кратко време да дойде. Липсвалъ още графъ Хогегра-тенъ, комуто било заповѣдано подъ прѣдлогъ на работа да се яви въ Брюксель. Честигъ случай го заназилъ отъ гибель.

Дълго време, обаче, херцогътъ не искалъ да забавя тая важна стжяка; тайната м гла да се подуши, и жьргвитѣ да исплзнятъ изъ рхцйтѣ му. Ней послѣ, билъ назначенъ денътъ, когато искали да се усигурятъ отъ страна на двамата графа, Хорна и Егмонта. Въ сжщото време трѣбвало да арестуватъ тѣхнитѣ секретари и да прибератъ тѣхнитѣ книжа. Испанскійтъ управителъ въ Антверпенъ, графъ Лопронъ, ималъ заповѣдъ въ сжщийтъ день да арестува кметътъ, и щомъ това изврши, веднага да извѣсти чрѣзъ пратеницъ.

Въ тоя день подъ прѣдлогъ на извънредно съвѣщание, въ Куленбургскійтъ домъ, квартирата на херцога, били събрани графоветъ Мансфелдъ, Хорнъ, Егмонтъ, Барлемонъ, Аршо и други, заедно съ сивоветѣ на херцога и висши испански офицери. Херцогътъ се съвѣщавалъ съ тѣхъ за планътъ на една брѣностъ, която искалъ да издигне въ Антверпенъ, и гледалъ колкото е възможно по-вече да продължи засѣданнето, защото не искалъ да направи никаква стжяка, докато не узнае, какъ се е свршило неговото прѣдпрятанне въ Антверпенъ. За да се достигне това съ по-малко подозрѣние, той накаралъ военнийтъ инженеръ Пачотто, когото довелъ съ себе си изъ Италия, да прѣдстави плацътъ на крѣпостята, и веложитѣ да покажатъ своитѣ мнѣния. Сбтивъ, когато пристигналъ изъ Антверпенъ пратеникътъ съ приятни извѣстия, той рас-

пуста на съвѣтъ. Егмонтъ вече се готвилъ да излѣзе съ синьтъ на херцога, когато началникътъ на тѣлохранителитѣ на херцога, Санчо Авила, му прѣбрѣчилъ нѣтътъ, и, въ сѣщото врѣме, се показалъ купъ испански войници, които правили немислими неговото бѣганне и защита. Офицерътъ му поискалъ саблята, той му и прѣдалъ съ пълно присѣствие на духътъ. «Тая стомана, рекълъ той, вече много нѣти не безъ щастие е бранила дѣлото на кралътъ.» Въ сѣщия часъ въ друга часть на дворецътъ билъ арестуванъ исто и графъ Хорнъ. Хорнъ попиталъ, що става съ Егмонта? Отговорили му, че и той тѣкмо него мигъ е взетъ подъ стража, слѣдъ което той се прѣдалъ безъ съпротивление. «Азъ се оставихъ да ме води, извикалъ той, право е, што да сподѣля съ него еднаква сѣдба». Догдѣто това произлизало въ Куленбургскитѣ замѣкы, прѣдъ него стоялъ единъ испанскій полкъ съ оржвието си.

Нѣколко недѣли подиръ арестътъ, двамата графа били прѣпратени въ Гентъ съ стража отъ 3000 испански войници, гдѣто ги дѣжали, затворени въ крѣпостта по-много отъ осемъ мѣсеци. Тѣхното дѣло се разгледвало по всичкитѣ форми отъ Съвѣтъ на Двѣнадесетѣтъ, на чието изслѣдване херцогътъ билъ подложилъ миналитѣ безредици въ Брюксель, а главниятъ прокуроръ, Жанъ дю Буа, трѣбвало да състави обвинението. Онова, което било обрнато противъ Егмонта, съдържа деветдесетъ различни обвинителни точки, а касающето се до Хорна — шестдесетъ. Било би много обширно да ги привождаме тука; та и нѣкои образци отъ тѣхъ вече по-горѣ сѣ дадени. Всѣка най-невинна постѣпка, всѣко поупущение били разгледвани по оная гледна точка, която още отъ самото начало била ягката установена, «че двамата графа, заедно съ принцъ Оранскій, се домогвали да съборятъ кралевската власть въ Нидерланди и да завзематъ управлението на страната въ рѣцѣтъ си.» Изгонванието на Гранвелла, прашането на Егмонта въ Мадридъ, съюзътъ на Гюзитѣ, смисхождението, което е оказвано въ тѣхнитѣ штатхалтерства на протестантитѣ — всичко това трѣбва да е ставало въ полза на оная планъ, да е имало свръзки съ него. Нищо и никакви дреболии станали чрѣзъ това важни, и една отравяла друга. Слѣдъ като грижливо обявили за по-вечето отъ точкитѣ отдѣлно, че сѣ прѣстѣпления въ оскърбление на Величеството, толкова полесно могло да се изнесе такъва прѣсѣда отъ всички въ съвкупность.

Обвинението било прѣпроводено на всѣкиго отъ двамата затворници, съ означение, да отговоратъ на него вѣтрѣ въ петъ деня. Слѣдъ като това било извршено, дозволили имъ да си взематъ

сашитници и съвѣтници, на които билъ разрѣшенъ свободенъ достъпъ при тѣхъ. Понеже тѣ се обвинявали въ оскърбление на Величеството, ни на одного отъ тѣхнитѣ приятели не било дозволено да ги вижда. Графъ Егмонтъ си послужилъ съ господинъ Ландасъ и съ нѣкои искусни юристи отъ Брюкселъ.

Тѣхната първа стѣпка била да протестирагь противъ сѣдилицето, което трѣбвало да се произнесе върху тѣхъ, понеже, като кавалери на Златното Руно, само кралтъ, като главниятъ кавалеръ на тойзи орденъ, можалъ да ги сѣди. Но тойзи протестъ билъ отхвърленъ, и се настоявало, щото тѣ да прѣдставятъ своитѣ свидѣтели, защото въ противенъ случай съ тѣхъ ще бѣде постѣпено *in contumaciam*. Егмонтъ отговорилъ на осемдесетъ и двѣ точки съ най-удовлетворителни основания; сѣщо и графъ Хорнъ отговорилъ на своето обвинение точка по точка. Обвинението и защитата още сѣ запазени; всѣко безпристрастно сѣдилище подиръ такъва защита щеше да ги обяви оправдани. Прокурорътъ настоявалъ за свидѣтели, и херцогъ Алба издалъ нѣколко приказа да бързатъ. Тѣ отлагали отъ недѣля на недѣля, и въ това врѣме подновили своитѣ протести противъ незаконността на сѣдѣтъ. Най-послѣ херцогъ Алба имъ далъ единъ срокъ отъ деветъ дни, за да прѣдставятъ свидѣтели; слѣдъ като се изминалъ и той, обявилъ ги за уличени и лишени отъ всѣкаква защита.

Докато се водило това дѣло, роднинитѣ и приятелитѣ на двамата графа не стояли празни. Жената на Егмонта, рождена Баварска херцогиня, отправяла жалби до Германскитѣ князѣ, до императорътъ, до Испанскитѣ кралъ. Сѣщото правила и графиня Хорнъ, майката на затворениятъ, която била въ сродство или приятелство съ първитѣ княжески фамилии въ Германия. Всички високо протестирали противъ това незаконно поведение, и искали да противоставятъ на срѣщъ му германскитѣ правдини, — на които графъ Хорнъ като имперскитѣ графъ е ималъ още особенно право, — Нидерландскитѣ правдини и привилегитѣ на орденътъ. Графиня Егмонтъ зарадъ сѣпругътъ си турила почти всичкитѣ дворове въ движение; испанскитѣ кралъ и неговитѣ штатхалтеръ били обсаждаеми отъ застъпничества, които прѣпращали единъ другиму и надъ които и двамата се смѣяли. Графиня Хорнъ събрала отъ всичкитѣ кавалери на Златното Руно изъ Испания, Германия, Италия писменни удостовѣрения за да докаже чрѣзъ тѣхъ привилегитѣ на орденътъ. Алба ги повърналъ назадъ, като обявилъ, че тѣ въ настоящий случай нѣматъ никаква сила. «Прѣстъпленията, въ които се обвиняватъ графовегѣ, се касаятъ до дѣлата на Нидерландскитѣ провинции, и

той, херцогътъ, е туренъ отъ кралътъ за единственъ съдия на Нидерландскитѣ работи.»

Четари мѣсеци били дадени на прокуратурата за обвинението и петъ на двата графа за тѣхната защита. Но на мѣсто да губятъ врѣме и трудъ за привождане на свидѣтелства, които би ги ползували малко, тѣ поохотно ги употребивали за протести противъ своитѣ съдии, които още по-малко имъ помогнали. Съ по-мѣднитѣ тѣ въронго все съ *зобляли* послѣдната прѣсѣда, и прѣзъ онава врѣме, което чрѣзъ това изтелило, силнитѣ ходатайства на тѣхнитѣ приятели все съ могли да имагъ дѣйствиe; съ своего упорито постоянство да отхвърлятъ съдилището, тѣ дали на херцогътъ случай въ рѣцѣтъ да скъси процесътъ. Подиръ истичаието на послѣднийгъ грѣшенъ срокъ, на първай Юлий 1568 г., Съвѣтътъ на Дванадесетѣтъ ги обявилъ виновни, и на четвъртий отъ тойзи мѣсець послѣдвала послѣдната прѣсѣда.

Казийта на двадесетъ и петѣтъ благородни Нидерландци, които вжрѣ въ три дни били обезглавени на пазарѣтъ въ Брюксель, било уважното начало на съдбата, която очаквала двамата графа. Похванъ Назембродъ ванъ Бакерзель, секретарьтъ на Егмонта, билъ единъ отъ оние и-щастинци, който получилъ такъва награда за своята прѣданность къмъ господарьтъ си, която той не прѣставалъ да поддържа и средъ изгнанията, и за своето рвенне на служба у кралътъ. Който той проявилъ ерѣзцу икопоборцитѣ. Останалитѣ, или хвакати съ оружие въ рѣка прѣзъ възтанието на Гьозитѣ, или за своего ибѣгашю участие въ жалбата на благороднитѣ, били привѣчени като прѣдатели спрямо държавата и осъдени.

Херцогътъ ималъ причини да бърза съ изпълнението на прѣсѣдата. Графъ Лудвигъ Нас-ауский ималъ едно облъскване съ графъ Аренбергъ при монастирьтъ Св. Леонъ въ Гронингенъ, и ималъ шастие да го надъне. Веднага подиръ побѣдата той се обърналъ ерѣзцу Гронингенъ, койго и държалъ въ обсада. Щастиего на неговото оружие подпинало духоветѣ на привърженцагъ му, и принць Франекий, братъ му, билъ вече на близу съ една войска за да го подкрѣпи. Всичко това правяю присхтветвото на херцогътъ необходимо въ тѣзи отдалечени провинции; но прѣди да се рѣши съдбата на двамата толкова важнѣ затворници, той не можель да се осмѣли да остави Брюксель. Цѣлийгъ народъ мѣляль къмъ тѣхъ най-енгузпастическа прѣданность, която тѣхната злочестѣ съдба не малко увеличала. Та и една частъ строгѣ католици завиждала на триумфѣтъ на херцога, че държи въ рѣцѣтъ си такъва значителни мъжъе. Една единствена побѣда, свечелена отъ

оржачето на възстаниците, или престо слухъ таквъ прѣнать изъ Брюксель, било достаточо за да прѣдизвика възнене въ той-зи градъ, прѣсъ което двамата графа сж мѣжали да избѣгатъ на свобода. Добавете къмъ това, че жалобитъ и застъпничествата, кояго шѣли отъ страна на германскитъ имперски князе у него, както и у Пенанскитъ краля, отъ дель на дель ставала все чо многобройни. тѣй што дори самъ императоръ Максимилианъ II увѣрвалъ графиня Емогтъ: *че ти не трѣбвало да се безижот за животитъ на своитъ смъртъ*, кямо уважителни ходатайства могли найпослѣ да нахарагъ кралягъ да измѣни своето рѣшене въ полза на затворницитъ. Може би дори кралягъ, увѣрень въ бързинага на своитъ шагхалтеръ, на гдетъ да се подѣде на прѣставленаяга отъ страна на толкова князе и да отгѣни смъртната прѣжда за затворницитъ, кямо сигурень, че неговогъ помилование ще пристигне твърдъ кѣно. Ожованиа достаточни, што херцогтъ да не се бава съ изпълненяго на прѣждата, шомъ ти бѣде произнесена.

Веднага на другитъ день двамата графа били прѣкарани отъ Гентската крѣпость въ Брюксель подъ прикрятие на 3000 пещанци, и били затворени въ Бродхаусъ на голѣмийгъ базаръ. На другата заранъ билъ свиканъ Съвѣгтъ за Безредицитъ, въярвай своето обяжовение и самъ херцогтъ се явилъ, и двѣтѣ прѣжди, въ пликове и припечатани, били отворени отъ секретарьтъ Прагтъ и високо прочетени. Двамата графа се обяжавали виновни въ оскърбление на Величествогъ, *защото били одобрявали и благосъприятствували на екуменогъ съюзнитѣ благородни, и въ тѣхнитѣ шпалталтерствитѣ дѣше изпълнявали обязанности си къмъ кралягъ и Черковата*. Пдвамата трѣвало да бѣдять обезглавени, главитѣ имъ забодени на коље и да се не снематъ безъ изрячна заповѣдь отъ херцогтъ. Всички тѣхни имоти, лещи владѣния и права прѣминавали въ съкровището на държавата. Прѣждата била подписана само отъ херцогтъ и отъ секретарьтъ Прагтъ, безъ да се погриватъ за съгласяго на останалитѣ съдебни членове.

Прѣсъ ноцѣта отъ 4-ий на 5-ий Юний прѣждага била имъ донесена въ тъмницата, когаго тѣ вече лѣгнали да спатъ. Херцогтъ я вржчалъ на Пшернскитъ епископъ, *Мартинъ Рашовъ*, когого той нарочно извикалъ въ Брюксель за да приготи затворницитѣ къмъ смъртъ. Когато епископътъ добилъ това прѣдложение, той падналъ у нозѣтѣ на херцогтъ и, съ слъзи на очи, умолявалъ за помиловане — поне за отлагане смъртъта на затворници-

тъ; на което съ гнѣвѣнь, твърдѣ гласъ му било отговорено, че той не е повиканъ отъ Иисрънъ, за да се противи на прѣсѣдата, но за да я направи по легка за злополучнитѣ графове съ своитѣ насърченія. Той явилъ смъртната прѣсѣда най-напрѣдъ на графа Егмонтъ. „Наистина, то е строга прѣсѣда, извикалъ графътъ блѣденъ и съ ужасенъ гласъ. Не вѣрвамъ толкова тежко да съмъ докачилъ Негово Величество за да заслужвамъ такова обръщение. Но ако то *тръбви* да стане, азъ съ покорностъ се прѣдавамъ на тая сѣдба. Стига тая смъртъ да исплати моитѣ грѣхове и да не бѣде въ вѣрда на жената и дѣцата ми! Това поне, азъ мисля, че мога да очаквамъ за моитѣ минали заслуги. Смъртъта азъ ще посрѣщна съ приготвена душа, защото тъй е било угодно на Бога и на кралятъ“. Подиръ това той неотстъпно молилъ епископътъ, да му каже сериозно и искрено, да ли не може се надѣва на никаква милость? Когато му отговорили, не, той се исповѣдалъ, приелъ причастие отъ свещеникътъ, слѣдъ когото съ голѣмо благоговѣние повтарялъ молитвитѣ. Той запиталъ, коя е най-добрата и най-умилостивителна молитва, съ която да се прѣдаде на Господа въ послѣднийтъ си часъ? Когато оня му отговорилъ, че нѣма по добра молитва отъ оная, която Иисусъ Христосъ самъ ни е научилъ, *Отче Нашъ*, той се приготвилъ веднага да я изрече. Мисльта за жена му го прѣкъснала; той казалъ да му дадатъ перо и мастило, и написалъ двѣ писма, едно за жена си, друго за Испанскійтъ краль, отъ които послѣдното гласи така:

Господарю,

Тая заранъ изслушахъ прѣсѣдата, която на Ваше Величество е било угодно да заповѣдате да изречатъ противъ мене. Колкото и да съмъ билъ далечъ отъ да прѣдприемамъ каквото и да било противъ особата и санътъ на Ваше Величество, както и противъ единственната истинска, стара, католическа вѣра, азъ пакъ съ смиренше се подлагамъ на сѣдбата, която Богу е било угодно да ми прѣдопрѣдѣли. Ако прѣзъ миналитѣ размирици съмъ нѣщо поустналь, посвѣтвалъ или извършилъ, щото нагледъ да противорѣчи на моитѣ обязанности, то навѣрно е станало отъ най-добри намѣрения и ми е било наложено отъ силата на обстоятелствата. За това моля Ваше Величество да ми го прости, и въ память на моитѣ минали заслуги да се смилъ надъ злочестата ми сѣпруга и надъ моитѣ клѣти дѣца и слуги. Съ тая твърда надѣжда азъ се прѣдавамъ на безпрѣдѣлното милосърдие Божие.

Брюксель 5 Юний 1568, близу до послѣднийтъ мигъ.

На Ваше Величество най-вѣренъ подданикъ и служитель.
Ламораль графъ Егмонтъ.

Това писмо най-настоятелно той прѣпоръчилъ на епископътъ; и за по-сигурно испратилъ още една собственоръчна копия отъ същото на държавниятъ съвѣтникъ Виглиусъ, най-правилнѣ чловѣкъ въ Сенатътъ, и не е за съмняване, че то дѣйствително е било прѣдадено на кралятъ. Отгъ-послѣ на семейството на графътъ възвърнали всички негови имоти, и-гови лени и владѣния и права, които въ сила на прѣсждата, прѣминавали въ кралевската хазна.

Въ това врѣме въ Брюксель на пазарътъ прѣдъ градскитъ домъ билъ изингнатъ ешафотъ, гдѣто били вбити два кола съ желѣзни краища, всичко покрито съ черно платно. Двадесетъ и двѣ роти отъ испанскитъ гарнизонъ окръжавали ешафотътъ, прѣдпазливостъ, която не била излишна. Между десетъ и единадесетъ часа въ стаята на графътъ влѣзла испанска стража, тя била снабдена съ къжя, за да му върже, споредъ обичайтъ, ржцѣтъ. Той се възпротивилъ на това и обявилъ, че приема доброволно и е готовъ да умре. Самъ отрѣзълъ вратникътъ на своята дрѣха, за да улесни длъжността на желатинътъ. Той билъ въ нощно облѣкло отъ червена дамаска. връхъ него черна испанска мантия, обшита съ златни шириги. Така се явилъ той на ешафотътъ. Донъ Жулианъ Ромеро, началникъ на лагерътъ, единъ испанскитъ капитанъ по име Салинасъ, и Ипернскитъ епископъ го последвали горѣ. Великиятъ маршалъ на Двора, съ червенъ жезлъ въ ржка, застаналъ на конь у подножieto на ешафотътъ, гдѣто билъ скритъ желатинътъ.

Въ началото Егмонтъ искалъ желание, отъ ешафотътъ да държи слово на народътъ, но когато епископътъ му прѣдставилъ, че или нѣма да го чуютъ, или, ако го чуютъ, то може, при настоящето опасно настроение на народътъ, да поведе къмъ насилия, което ще хвърли въ гибель неговитѣ приятели, — той се оставилъ отъ това намѣрение. Съ благороденъ изгледъ въ течение на нѣколко минути той ходилъ назадъ-напрѣдъ по ешафотътъ, и жалилъ, че не му било дарувано за свойтъ краля и своето отечество да умре съ по-славна смъртъ. До послѣдния минута той не можалъ съвсѣмъ да се убѣди, че това строго дѣло на вралтъ е сериозно, и че то ще бѣде закарано по-далечъ, нежели отъ до просто заплашване съ езекуция. Като приближилъ рѣшителниятъ моментъ, когато той трѣбвало да приеме послѣдното таянство, като продължавалъ все очаквающе да изгледва на около и все още нищо не последвало, той се обърналъ къмъ Жулианъ Ромеро и го попиталъ още веднаждъ, да ли нѣма надѣжда за никакво помиление? Ромеро дигналъ рамена, погледналъ наземъ и останалъ безмълвенъ.

Товага Емонтъ стиснахъ зъби, хвърлихъ своята мантия и изиде дрѣха, колѣбничалъ на възглавница, за да изрече послѣдната си молитва. Епископътъ му даде да пѣдне распятието, даде му послѣдното прощание, слѣдъ което графътъ му направилъ знакъ да го остави. Товага нахлунилъ на очигъ си една копринена шапка, и оставилъ ударътъ. — Надъ трущътъ и течащата кръвъ веднага мѣнаха чело платно.

Цѣлникъ Брюксель, който се тѣснилъ около ешафогътъ, почувствувалъ смъртениитъ ударъ. Високи ридания нарушили страшната тишина. Херцогътъ, който гледалъ на казньта отъ единъ прозоречъ, си обърналъ очигъ.

Скоро подиръ това докарали графа Хорцъ. Тойзи, увѣщаемъ отъ по-горѣши характеръ, нежелъ на неговиитъ приятель, и отъ много причини за омраза къмъ кралятъ, приелъ прѣсѣдата съ по малко хитростъ, макаръ че спрямо него та и да била несправедлива въ по-малка степенъ. Той си дозволилъ тежки изобличения противъ кралятъ, и епископътъ съ мъка го салонилъ да направи отъ своигъ послѣдни минути по-добро употребленіе, нежелъ да ги губи въ кѣтви противъ враговетъ си. Най-послѣ той дошелъ на себе си, и положилъ прѣдъ епископътъ своята исповѣдь, която въ началото некалъ да откаже.

Въ сжито съпровождение, като неговиитъ приятель, той се качилъ на ешафогътъ. Но икътъ издравилъ мнозина отъ познатитъ си; той билъ не свързанъ, като Емонта, въ чераа дрѣха и мантия, съ меднолазка шапка отъ негий цѣтъ на главага. Когато се въскачилъ, мѣтналъ погледъ на трущътъ, който билъ подъ платното, и попиталъ едного отъ близусгоящятъ, да ли то е тѣлото на неговиитъ приятель? Когато му отговорили на това утвърдително, той казалъ нѣколко думи по испански, хвърлилъ отъ себе си мантияга и колѣбничалъ на възглавницата. — Вжички извикали високо, когато добилъ смъртениитъ ударъ.

Дѣтѣ главѣ били забодени на коловѣтъ, които се извишавали надъ ешафогътъ, гдѣто и оставали до третѣ часа подиръ пладиѣ, товага били смети и положени заедно съ двата трупа въ капаени санджци.

Пришествието на толкова много стража и джелати, каквито окржжавали ешафота, не могло да удържи Брюкселскитѣ граждане отъ да не пагонягъ кърпитѣ си въ низестѣающата се кръвъ и да не отнесатъ тие скжпоцѣнни останки въ домоветѣ си.



СОНЕТИ.

(Ст. К. Сарафозу)

СКРЪБЪ.

О, има дни въ които сѣщамъ азъ
Суетността на своите надѣжди,
И, въ тѣхно име, вѣзиките прѣмежди
Прѣкарани до тѣхъ послѣдний часъ.

И чувствамъ азъ на мосто тегло
Грамадиността — отъ гдѣго изходъ нема :
Унише душата ми обзема,
И въ тиха скрѣбъ обрѣщамъ азъ чело.

Азъ въ тази скрѣбъ се вдавамъ безочетно,
Като на сънъ цѣлебень, вълень съ сладость,
Съ надѣжда за спокойствие завѣтно —

Туй на коет' е чужда мойга младость,
И къмъ което тя стреми се тщетно . . .
О, сладка скрѣбъ — единичка моя радость!

ПРИМАМА

Прѣстѣпна мисль често я смущава
Душата ми ввѣрена за скрѣбѣта . . .
Кат' избавителка въвъ него часъ смъргѣта
Прѣдъ замъглений погледъ ми прѣдстава.

И примиренье сладостно вселява

Въ душата ми едва що дойде тя —
На новъ животъ прѣдвѣстница свята,
Богиня строга, мила, величава.

Азъ чувамъ какъ съ невнятенъ шопоть таенъ
Тя шепне ми надъ морното чело
За *онзи миръ* невидимъ, но омаенъ,

Бждѣто тя царува отпрѣдврѣме,
Бждѣто не достига нищо зло —
Чаробний миръ на вѣчното забвенъе!

N N

C'est lui, bonheur suprême.

Умрѣ ти рано, скѣпий друже мой . . .
Подъ сладкий шумъ на младата джбрана,
Въ недрата земни, нищо не смущава
Тебъ толкова желанный ти покой.

Тукъ никога срѣдъ глухиятъ усой,
Животътъ съсъ сугната 'си врѣва
До тебъ не ще тревожно долѣтява,
Та твоя вѣченъ сънь да стрѣска той.

Въвъ размисли се често азъ запирамъ
При тебе тукъ ; растуха азъ намирамъ
Надъ гробътъ гдѣтъ, щастливецъ, ти мирувашъ . . .

О, друже незабравенъ,
Честитъ си ти — навѣки си избавенъ
Да чувствувашъ, да мислишъ и да чувашъ!

П. П. Славейковъ.

КОТЕШКИЙ РАЙ

отъ

ЕМИЛИЯ РОЛАН

(Прѣводъ отъ френски).

Една моя лея ми завѣща единъ ангорскій когакъ — най-глупавото отъ всички животни които знамъ. Его какво ми разказа моя когакъ, една змица ветеръ, прѣдъ топлото огнище.

I.

Азъ бѣхъ тогава на двѣ години, котка най-отгоена и най-наивна, каквато може да си прѣдставите. На онази крѣхка възраст азъ показвахъ още всичката прѣдубѣжденностъ на живоотно, което прѣзира домашнитѣ удобства. И при все това, колко благодарствия дължа азъ на providението, за дѣго ме бѣ настанило у вашата лея. Прѣкрасната жена ме обожаваше. Азъ имахъ, въ дѣното на единъ долапъ, една яглицка стая за спанье, възглавница отъ перушина и тройна покривка. Храната не падаше подолу отъ лѣглото: ни хлѣбъ, ни чорба — нищо освѣнъ мѣсо, хубаво кърваво мѣсо.

Добрѣ! И посрѣдъ тѣзи удобства, азъ нѣмахъ освѣнъ едно желание, единъ блѣнъ — да се измъкна прѣзъ отворения прозорець и да избѣгамъ на покривътъ. Ласкигъ ми ся показвахъ безвкусни, мекостята на моето лѣгло ми ставаше противна; бѣхъ дебелъ, та самъ на себе си бѣхъ умръзналъ. Дотегваше ми по цѣли дни да се сѣщамъ чесгить.

Трѣбва да ви кажа, че като си протегнѣхъ шията, азъ виждахъ прѣзъ прозорецьтъ цѣлийгъ покривъ, отъ къмъ лицето. Него день, четире настърхнали котки, съ вирнати опашки се боричкаха и търкаляха на припекъ, по спивавитѣ лѣскови плочи, съ радостни крѣсъци. Никога не бѣхъ срзерцавалъ такова извънредно зрѣлище. Отъ тогава моитѣ чаяния и вѣрвания се още повече утвърдиха. Истинското щастие за мене бѣ на онзи покривъ, задъ прозорецьтъ, когото тѣй грижовно затваряха, сжщо както затваряха вратитѣ на долапътъ, отзадъ когото крияха мѣсото.

Азъ рѣшихъ проектъгъ да избѣгамъ. Въ живота трѣбва да има и друго нѣщо, освѣнъ свѣжото тѣло. Това бѣше неизвѣстното,

идеалътъ. Единъ день забравиха да притворятъ прозорецътъ на готварницата. Азъ скокнахъ на една малка стрѣха, която се намираше тъкмо отъ долу.

II.

Какъ хубави бѣха покривитѣ. Широки жлебове ги обвиваха отврѣдъ, отъ които се испаряваха приятни благовония. Азъ обикалѣхъ тѣхъ жлебове, въ които монтѣ стѣпки потѣваха въ една чиста стайка, която бѣше хладка и безкрайно сладка. Струваше ми се че азъ стѣквахъ по кадефе. Бѣше доста горѣщо на слънцето, до толкова горѣщо, че моята тлѣстина се тонеше.

Изма да скрия отъ васъ, че азъ цѣлъ-цѣлнѣничкѣ трѣнерѣхъ. Имаше ужасъ въ моята радостъ. Особенно си спомнямъ едно ужасно движение, което щеше да ме накара да падна на улицата. Три котки се въртяха на стрѣхата на къщата и се приближиха до менъ съ ужасни мяукания, и тъй като азъ бѣхъ отмалялъ, тѣ се обхождаха съ мене като съ лѣново животно; казваха ми, че тѣ мяукатъ за смѣхъ. Започнахъ и азъ да мяуча съ тѣхъ заедно. Това бѣ възхитително. Приемѣхулицитѣ иѣмаха моята глупава дебелна. Тѣ ми се смѣяха, когато азъ се плъзнахъ като тонка по цинковитѣ плаки, нажежени отъ нектъ. Единъ старъ котъ измежду тѣхъ ме взѣ подъ своето особено покровителство. Той ми предложѣ да ме ръководи, което азъ приехъ съ благодарностъ.

Ахъ, какъ далечъ бѣше мѣсото на вашата леля! Азъ пияхъ отъ жлебоветѣ, и никога поделаденото млѣко не ми се е виждало тъй сладко. Всичко ми се показваше добро и хубаво. Мина една котка, възхитителна една котка, чийто видъ ме изпълни съ едно непознато за менъ до тогава възненіе. До тамъ монтѣ мечти въздигнаха тѣзи прѣлестни създания, чийто гърбове имаха възхитителна глѣбавостъ! Ний побѣрахме, монтѣ трима другари и азъ, на права монтѣ комплименти на възхитителната котка, но единъ отъ монтѣ другари жестоко ме ухапа за вратѣтъ. Азъ изврякахъ отъ болѣстъ.

— Бахъ! ми каза стария котъ, като ме отстраняваше: — що има да видите още!

III.

Слѣдъ единъ часъ разходка, азъ се сѣтихъ жестоко гладѣтъ.

— Какво ѣдатъ тука по покривитѣ? попитахъ азъ моя цѣкѣтель.

— Каквото намърятъ, ми отговори важно той. Този отговоръ ме смути, защото азъ навредъ бѣхъ прѣтърсилъ, и нигдѣ не найдохъ нищо. Най-сетнѣ забѣлижихъ въ една малка стаячка младъ работникъ, който си приготвише закуска. Върху масата, подъ самия прозорецъ, се показваше една хубава котлета съ привлекателна червенина.

— Ето за мене работа, наивно си помислихъ азъ.

И азъ скокнахъ на масата, та хванахъ котлетата. Но работникътъ ме слѣдѣ и ме сврасна по гърба съ мѣтлата; азъ испузнахъ мѣсото, търтихъ да бѣгамъ, като гнусно го испунахъ.

— Тебе ти била проста работата! ми каза кота. Мѣсото що стои по маситѣ е турено само да се облизваме отъ далечъ за него. Въ жлебоветѣ трѣбва да се дири, въ жлебоветѣ.

Никога немога да разбира, какъ тѣй мѣсото отъ готварниците може да не принадлежи и на коткитѣ. Стомахътъ ми почна сериозно да се вълнува. Моя приятель котъ съвършено ме объстри като ми каза, че трѣбва да се чака нощта. Тогава ний ще слѣземъ на улицата, ще прѣтършуваме купищата смѣтъ. Да се чака нощта! Той казваше това съ спокойствие, съ философска сдържностъ. Азъ се почувствувахъ още по изнемоциялъ, отъ едната мисль за тази продължена постъ.

IV.

Нощта падаше полегка, мъглива нощ, която ме вледеняваше. Скоро заваля, плѣсканъ отъ вѣтра, ситенъ, проникающъ дъждъ. Ний слѣзохме прѣзъ стъклената пролука на една стълба. Какъ отвратителна ми се показва улицата! Нѣмаше вече оназъ хубава топлина, онова щедро слънце, онѣзи свѣтли покриви, върху които тѣй приятно можаше да се поъркаляшъ. Стжикитѣ ми се подплъзваха калдърмътъ. Съ горчевна си спомняхъ азъ за моята тройна завивка и нерушнена възглавница.

Щомъ излѣзохме на улицата, моя приятель-котъ почна да трѣperi. Той ставаше отъ малкъ по малкъ, и се промъкна сгущенъ покрай кѣщата, като ми казваше да го слѣдвамъ колкото се може по бързо. Когато стигна до една врата той шмигна въ нея, като високо измърка отъ удоволствие.

Тѣй като азъ го запитахъ за това избѣгване :

— Видѣ ли онзи човѣкъ съ кошътъ и куката? ме попита той.

— Да!

— Виждъ! Ако той ни заблѣжешъ, щѣме да бждемъ убити и изѣдени на шишъ отъ него.

— Изѣдени на шишъ! извикахъ азъ. Но тогава улицата не е за насъ. Не ѣдешъ, а може да бждешъ изѣденъ.

V.

Между това, прѣдъ вратата имаше изхвърленъ смѣтъ. Азъ ровняхъ купчинитѣ обезнадѣженъ. Срѣщнахъ два-три оглоедани кокали, измъкнати отъ пепельта. Тогава разбрахъ азъ колко прѣсния дробъ е соченъ. Моятъ приятель ровеше смѣттътъ артистически. Скитахме се до зори, като наглеждахме всѣка улица, безъ да се спрѣмъ. Нѣщо около десетина часа азъ траяхъ на дѣждътъ, като трѣперяхъ цѣлъ цѣленичккъ. Проклѣта улица, проклѣта свобода,— колко съжелявахъ азъ за своята тъмница.

На разсъмване, котътъ, като ме видѣ че се олюлявамъ:

— Доста ли ви е? ме запита той съ единъ страненъ видъ.

— О, да! отговорихъ азъ.

— Желайте ли да се върнете у васъ си?

— Разбира се, но какъ да намѣря къщата?

— Елате. Оназъ заранъ, като ви видѣхъ да излизате, азъ разбрахъ, че една тлѣста като васъ котка не е създадена за радоститѣ на свободата. Азъ знамъ вашето жилище и ще ви доведа до портата ви.

Той казваше това съвсѣмъ просто, тоя достоенъ котъ. Когато ойдохме:

— Сбогомъ, ми каза той безъ всѣкакво вълнение.

— Не извикахъ азъ: — ний нѣма да се раздѣлимъ така. Вий ще дойдете съ мене. Ний ще раздѣлимъ сжщото лѣгло и сжщото мѣсо. Моята господарка е добра жена . . .

Той не ме остави да довърша.

— Доста, каза натъртено той; вие сте глупави. Азъ би умрялъ въ вашитѣ топли и межки удобства. Вашии удобенъ животъ е добъръ за готовановцитѣ котки. Свободнитѣ котки неще куцятъ никога, съ цѣната на една тъмница, вашии дробъ и вашета перушинена възглавница . . .

И той се въздрасна пакъ по своитѣ стрѣхи. Азъ видяхъ неговий сухъ и голѣмъ силуетъ какъ потрепера отъ удоволствие въ лучитѣ на възходящото слънце.

Когато азъ влѣзохъ, лея ви взѣ една прѣчка и ме набѣхга хубаво, което азъ приехъ съ дълбока радостъ. Азъ опитахъ щедро ласкостюбието да ѣмъ на топло и да бжда битъ. Когато тя ме

Обиеше азъ съ наслаждение мислехъ за мѣсто, което тя тутакси щеше да ми даде.

VI.

Видите ли — заключи моя котъ, като се отстраняваше предъ жаравата, — истинското щастие, райтъ, мой драгий господарю, е да бждешъ затворенъ и битъ въ една стая, гдѣто да има и мѣсо.

Азъ говоря за коткитѣ.

ПРИРОДА.

Отъ Ив. Козлова

(Преводъ).

Природо! колко си прекрасна!
Ти сѣвга, въ всичко, въ всѣки край,
Си мила, чудна иль ужасна!
Отъ тебе Божество сияй.
Въ небѣ ли ясно слънце блѣсне
И цѣлъ свѣтъ оживѣ съ лжчи;
Изъ облакъ мълния ли тресне,
Гръми ли, вѣтъръ ли ечи;
Нощта посѣй ли по небето
Звѣзди, като цвѣтя въ полето,
И нѣжно грѣе ли луна;
Киши ли морската вълна;
Журчи ли тихо вода мала,
И лава Етна заспала
Изригне и съ огнь голямъ:
Туй всичко означава намъ,
Какво една е сѣ душата,
Що распоружда съ красотата
И съ буритѣ въ тозъ миръ широкъ,
Съ моря, съ небето и земята, —
Любовь, премждрость, сила—Богъ!

Правовъ.

БОРБА ЗА ПЛОВДИВЪ.

РАЗСКАЗЪ.

Оня день бѣ праздникъ за ученицитѣ на пловдивското българско училище. Пиперката, страшний Пиперка, бѣше си далъ оставката и бѣше тръгналъ за къмъ Трояни, за да просвѣтѣва и Сѣверна България. Не даромъ лютий му характеръ бѣ му спечелилъ и лютий прѣкоръ, Пиперката. Сърдитъ и зачобърсиятъ, опакъ и мѣстителенъ, той бѣ плашилото на отдѣленията отъ „взаимното“ училище, въ които той прѣподаваше. Затова и ликувахъ ученицитѣ отъ твѣ отдѣления, като се избавяхъ отъ тоя омразенъ дѣто-мжчитель.

Тѣ бѣхъ излѣзли на дворѣтъ на училището и празнувахъ тържеството си. Весели и звънящи ечахъ тѣхнитѣ гласове, шумни и буйни се раздавахъ подвикванията на тѣхнитѣ игри.

— Не глѣчѣте, извика еднѣ гласъ отъ прозореца на учителската стая.

Тѣ познахъ гласа на главний учитель, и млъкнахъ. Тѣхното млчание обаче оня день не можеше да трае за дълго. Скоро дѣйствието на повелителното „не глѣчѣте“ изчезна и ученицитѣ зехъ пакъ да лудувать. Върѣдъ това бѣснение влѣзе въ дворѣтъ на училището еднѣ мжжъ на около 35 години, високъ, мършавъ, облѣченъ въ тѣсни дрехи, съ неминуемий фесъ на главата и съ услужливата бройница въ дѣсената ржка. Съ другата той водѣше едноседмогодишно дѣте, което очевидно бѣше неговъ синъ, защото бѣше цѣлъ бащнелко на гледъ. Не по малко очевидно, това дѣте видѣше да постъпи въ училището.

Единъ новъ другаръ! За любопитнитѣ ученици не можеше да бжде зрѣлище по-интересно, и тѣ тръгнахъ подиръ новодошлитѣ, както бихъ тръгнали подиръ една мечка, ако бѣше тя сезозвала въ тѣхната срѣда.

Въ една стѣпа улица бѣше това достопамятно заведение за прогледване — тогавашното пловдивско българско училище. Вѣдното на единъ неголѣмъ дворъ се издигаше зданието. Дървено и залѣсрадено, то съ прѣдшествоваше отъ единъ покритъ входъ, отъ дѣто една стѣла водѣше на долу, а двѣ други на горѣ. Долний

етажъ състоеше отъ двѣ стаи, въ които квартирувахъ пансионеритѣ на Главний Учитель, и отъ една изба. А горний—отъ двѣ учителски стаи, до самитѣ стълби, отъ дѣсно и отъ лѣво, отъ единъ салонъ, въ който учехъ размѣсено отдѣленията, и отъ двѣ класни стаи, пакъ отъ дѣсно и отъ лѣво, къмъ дѣното на салонътъ.

Новолошлитѣ, баща и синъ, потеглихъ къмъ горний етажъ, и влѣзохъ въ учителската стая, що бѣ отъ лѣво, при Главний Учитель. Нѣколко ученици се качихъ подиръ тѣхъ, и тѣй като вратата, въ онова патриархално врѣме, не се затваряхъ, тѣ се спрѣхъ отвънъ за да гледатъ и слушатъ що става и какво се говори вътрѣ.

— Господинъ учителю, почнѣ бащата, азъ ви доведохъ Янка.

— Добрѣ сторихте, господинъ Петре, отговори учительтъ.

— Както знаете, пое пакъ бащата, нашия синъ не знае още бащиний си языкъ.

— Ние ще го научимъ, усмихнато каза учительтъ. На и той все ще поразбира вѣщо.

— Разбира до нѣйдѣ, нѣ освѣнъ една-двѣ молитви, които научи отъ мене, друго почти нищо не знае да каже. Я кажи иъ-жоя молитва, синко.

Янко звнѣ и съ единъ звънявѣ гласъ почнѣ:

— Отце нашъ взе еси . . .

Той не можѣ да продължи. Едно общо кикотение отъ страна на малкитѣ слушатели извѣнъ вратата тѣй го смути, щото той се спрѣ. Ново бѣше за тѣхъ това произношение. което показваше, че малкии Янко бѣше се научилъ гръцки не отъ пловдивский Гръкъ, а отъ чистовръвевъ Елминъ.

— Не гълчѣте, искрѣска къмъ смутителитѣ учительтъ. Защо сте се спрѣли тамъ? Защо не идите да прѣговаряте?

И той станѣ, та затвори вратата.

Ученицитѣ се повискахъ още малко, и, лишени отъ зрѣлището, слѣзохъ да продължатъ играта.

* * *

Подиръ малко слѣзе той, когото учительтъ бѣ нареклъ Господинъ Петръ, придруженъ отъ сина си Момчето испроводи баща си до вратата, и се върнѣ надирѣ. При всичкото сконфузване, което бѣ прѣгърпѣло отъ ученицитѣ, то пакъ се приближи къмъ една весела дружина, и зе да играе съ нея.

Живо, приятно, събудено, то скоро се сириятели съ всички,

Нъ не съ всички можеше то да говори. Бъше се отхранило съ гръцкии языкъ, защото майка му бѣшъ Гръквиня. А бѣше постъпило въ българското училище, защото баща му, виденъ Българинъ, бѣше настоягъ върху своитѣ права, като баща, и бѣше изпълнилъ своята длъжностъ, като Българинъ.

Исполнението на тая длъжностъ не бѣ се извършило безъ употреблението на доста тънка домашния дипломатия. Жената на тоя виденъ Българинъ бѣше една видна Гръквиня, единственната дъщеря на единъ богатъ Гръкъ, Киръ Яне. Като всичкитѣ чистети Гръци въ Пловдивъ, Киръ Яне бѣше пришлецъ. Роденъ въ Тессалия, принуденъ да бѣга отъ тамъ слѣдъ потъпкванието на тессалийското движение въ врѣмето на гръцката завѣра, той се бѣ прѣселилъ въ Пловдивъ, бѣ намѣрилъ тамъ жена и търговия, и бѣ обогатѣлъ. Нъ богатството бѣ дошло само, непридружено отъ щастieto. Послѣдователни удари бѣхъ го озлостили. Най-напрѣдъ бѣхъ умрѣли, единъ подиръ другъ, млада зелени, неговитѣ два сина. Слѣдъ тѣхъ починахъ, смазана отъ тая двойна загуба, и неговата стопанка, една уредна кѣщовница, опретнѣта чистохвайница и прѣданна съпруга. Убитъ, отчаянъ, той бѣ починалъ да се страхува и за своето здравие. Той бѣше кравенъ, кѣсвратъ и червендалестъ. Затова и се особно боеше отъ скоропостижнитѣ болести, на които падатъ жертви хора съ таково тѣлосложение. И посвѣтътъ на лѣваритѣ, той бѣ се отреклъ отъ всякакво питие и зареклъ да се пазн отъ всякакво вълнение.

Киръ Яне бѣше далъ дъщеря си на Българинъ въ епохата, когато — както казватъ въ Пловдивъ — нѣмаше още Българе и Гръци, не бѣше още избухнала распрята между тѣхъ. Нему се бѣ понравилъ тоя пѣргавъ, честенъ и трудолюбивъ Българинъ Петръ, който знаеше добръ и гръцки, и зедно съ рѣката на дъщеря си, той му даде мѣсто и въ своята кѣща. Той го прибра у дома си.

Той още повече се привърза къмъ зетѣтъ, когато погѣдний, отъ уважение или отъ лѣскатество, даде на първий си синъ името на теста си. Унучето зе името на дѣда си, зе и половината отъ сърдцето му. Другата половина бѣ дадена на другото унуче, което той имаше отъ първий си синъ и което бѣше свраче и отъ баща и отъ майка. Лудъ бѣше дѣдото за тия два унука. Всичката обичъ, която бѣше усѣтилъ едно врѣме за двамата си сина, сега пламнѣ отъ ново и по силно за двамата Янковци. Той ги милваше, коткаше, глезѣше. При него спѣхъ, съ него се раскождахъ. Затова и тѣ правѣхъ исклучение: не бѣхъ се научили въ

кжци български отъ слугинитѣ, тия бездипломни възпитателки и безсвѣдѣтелни учителки на българскій язикъвъ пловдивскитѣ гръцки челяди.

Порастнахъ двамата братовчеди и стигнахъ училищна възраст. Съ тѣхъ заедно порастна и враждата между Българе и Гръци — едно малко неспоразумение въ началото, една цѣла бездна на крайтъ. Раздѣлихъ се сърдцата, раздѣлихъ се и училищата. По голѣмий Янко, унукътъ отъ синъ, се испрати въ гръцкото училище. Когато дойде врѣме да се испрати и по-малкий Янко на училище, дѣдо му не скри желанието си да види и него въ гръцкото образователно заведение. Петръ зе да работи чрѣзъ жена си. Постави той чрѣзъ нея на дѣда си въпросътъ — какво би рекълъ той, Киръ Яне, ако имаше синъ и ако нѣкой му прѣдлагаше да прати тоя си синъ въ българско училище.

И най-голѣмитѣ неприятели на Гръцитѣ трѣбва да имъ отдадѣтъ тая справедливостъ, че тѣ сж патриоти. Киръ Яне не правѣше исклучение. Той бѣше патриотъ. Щастието и величието на Гръция бѣхъ за него идеали, които го бѣхъ утѣнили при много злощастия. Нѣ тия идеали не го заслѣпявахъ до тамъ, щото той да се не съобразява съ реалиститѣ на животътъ. Неговий зеть бѣ Българинъ. Той обичаше тоя зеть, и като истинскій патриотъ, при всичко, че по нѣкога жалѣше, защото зетьтъ да не е Гръкъ, той признаваше, че като Българинъ, Петръ не можеше да не изпълни своитѣ длъжности къмъ народътъ си.

Та Киръ Яне си даде съгласнето, щото вторий му унукъ да иде въ българското училище. Нѣ когато да си даде и благословията, въ деньтъ на постъпването, намѣсто дума, изъ сърдцето му се изстрѣгна една въздишка. Изъ очитѣ му бликнахъ сълзи. Той цѣлуна Янка, и тая цѣлувка му се видѣ като цѣлувка на вѣчна раздѣла. Той усѣти, като че ржката, която бѣ му отскубнѣла отъ сърдцето толкозъ мили нему твари, му истрѣгваше сега още едно любимо нему сщество.

Колко подобни домашни трагедии се криятъ въ голѣмитѣ драми на народнитѣ възраждания! Колко сърдна трѣбва да се смажатъ за да въскрѣсне единъ народъ!

* * *

Малкий Янко постъпи въ българското училище въ самий разгаръ на българо-гръцката распря. Той скоро станѣ Българче отъ най-распаленитѣ. Такава бѣхъ тогава атмосферата, която обикаля-

ше, вѣтрътъ, който вѣеше, духътъ, който кипѣше въ българскитѣ училища, щого ученикътъ, който се учеше въ тѣхъ, ставаше ратующъ Българинъ прѣи още да може да разбере, за какво именно Българинътъ трѣбва да ратува.

Мѣрено съ днешнего мѣрло, пловдивското българско училище, както то бѣше организирано въ десетгѣтѣ години подиръ Кримската Война, не би нито за минута отговорило на условията за едно добро училище. Безъ правилникъ, безъ система, безъ програма, то се караше по волята на единъ само челоуѣкъ. Тая почти безконтролна воля замѣняваше и програма и система и правилникъ. Новитѣ педагогически методи — баловетѣ и съобщенията, началнитѣ испити и крайната матура — не бѣхж още прѣсѣгнали прагътъ на нашитѣ училища, за да ги направятъ мрачни исповѣдала за младото поколение. Тогавашнитѣ ученици постѣпвахж безъ формалности, учехж безъ учебници. слѣдвахж, като отдѣлни прѣдмѣти, Статистика и Палеография, Геология и Археология — прѣвождани обикновенно отъ Cahiers d' une Elève de Saint-Denis — нѣ излизахж Българе прѣкрасни . . . за оная епоха.

По врѣмето, за което е думата, трима бѣха учителитѣ на пловдивското българско училище: единий за българскій и турскій язици и за прѣдмѣтитѣ въ классовѣтѣ, вториий за французскій и гръцкій язици, а третиий за взаимното училище, както тогава се наричаше отдѣлението за началнитѣ ученици

Първиий бѣше и главенъ учитель. Той живѣеше въ училището и имаше по петъ-шестъ душъ свои пансионери. Той не само прѣподаваше, нѣ, въ отсѣтствие на учебници, прѣвождаше за ученицитѣ си уроцитѣ, и имъ даваше да ги прѣписватъ. Инстинктивно, младитѣ ученици оцѣнявахж тая негова полезна дѣятелность, и го почитахж. Тѣ подозирахж по нѣкога, че той имъ прѣдава науки, които той самъ не бѣ училъ, че имъ прѣвожда отъ язици, които той самъ не бѣ усвоилъ. Нѣ тѣ го тачехж. Нравеше имъ се тоя смѣлъ и трудолюбивъ наставникъ, съ срѣдний растъ, съ сипаничавото лице, съ умното чело, съ очи станжали кѣсогледитѣ отъ много четение, съ облѣкло занемарено отъ много занятия. И когато, безъ фесъ, безъ вратовръзка, съ тетрадка подъ рѣка, съ палто намѣтнато на рамо, той излизаше изъ своята стая за да иде въ класната, и извикваше «не гълчѣте», като рѣби мльвахж всичкитѣ ученици.

Сухъ, високъ, обрѣснатъ, съ гладко лице, съ неизразителна физиогномия, неговий помощникъ, учительтъ на гръцкій и французскій язици, нито можеше, ниго искаше да претендира на сѣщий авторитетъ. Въ прѣподавателнитѣ си методи той бѣ цѣлъ елек-

тикъ. Обожателъ въ гръцкѣи языкъ на стари системи — на Генадиевата Грамматика и на Рагканиевата Хрисоматия — той бѣ поклонникъ на нови способи, щомъ се касаешъ за языкътъ на Французитѣ. Той пръвъ въведе въ Българско училище Олендорфовата Метода. — Имате ли хлѣбъ? — Азъ нѣмамъ хлѣбъ. — Ваший братъ има ли вода? — Той има вода. — Цѣлъ часъ ученицитѣ му се занимавахъ съ тия интересни питання и съ тия животрещущи отговори. Той ги оставаше да питатъ и да отговарятъ безъ да се намѣсва много въ тѣхнитѣ разговори. Отъ врѣме на врѣме само, когато нѣкоя французска дума се произнесѣше криво отъ нѣкой ученикъ, той дигнѣше глава, отваряше уста и поправяше думата съ единъ малъкъ водоскокъ отъ лиги. Никого учителъ не е оросявалъ тѣй изобилно сѣмената на учението, посаждани отъ него въ младитѣ глави, както тоя прѣподавателъ на Олендорфовата метода.

Третий учитель — взаимний — слѣдъ отстранението на Пиперката, бѣше единъ безвреденъ и незначителенъ момъкъ, чийто слѣди въ памятьта на повечето ученици, отъ начало още плитки и лесноизгладими, сега сж съвършено изчезнахли.

* * *

Такова бѣ училището и тия бѣхъ учителитѣ, у които малкиятъ Янко Петровъ почна и слѣдѣа своего учение. Картината ще бѣде непълна, ако при училището и при учителитѣ не се прибавятъ и нѣ възрастнитѣ ученици, отъ които началнитѣ възпитаници черпѣхъ тогава уроци по любовта къмъ отечеството, по омразата къмъ Гърцитѣ. Тая любовъ и тая омраза расѣхъ отъ мѣсець на мѣсець, отъ день на день, повече и повече у младий Янка. Съ дѣтиска любовъобщителность и съ патриотическо самохвалство обичаше той да расказва и въ къщи всичко, що чуеше въ училището. Хвалби и надежди за Българетѣ, хули и заканвания срѣщу Грѣцитѣ, той всичко штрѣсваше съ невъзмутима самоувѣренность.

Слушаше тия дѣтиски филиппици Кляръ Яне и често се чудѣше, дали на-сынѣ или на-явѣ става всичко това. Можеше ли това момче, което говорѣше такава немислими работи, да бѣде неговъ унукъ, синъ на неговата дъщеря? Уви! Можеше, можеше. Свѣтътъ се бѣ тѣй развалилъ! И за него, патриотътъ, бѣше мѣка неисканана да гледа свойтъ унукъ, плътъ отъ неговата плътъ и кость отъ неговата кость, да вика по тоя неприличенъ начинъ противъ всичко, което бѣше нему мило и свято.

Той страдаше, нъ мъчеше. Не мъчеше обаче и по-голямий му унукъ, синьтъ на покойнийтъ му синъ. Отъ гръцкото училище и той бѣ почерпалъ омраза противъ Българегъ тѣй силна, тѣй неуримири-ма, каквато бѣ и ненавистьта срѣщу Гръцитѣ, която българското училище бѣ вдъхнало на по-малкий Янка. И често двамата братовчеди се спочвахъ като двѣ пѣтлета, наддумвахъ се, надвиквахъ се и прѣобръщахъ мирната къща на дѣда си въ единъ шуменъ вертепъ на разночувствия и разногласия.

— Мирни, имъ подвикваше но нѣкога, въ такива случаи, Киръ Яне. Вие нѣма да оправите свѣтътъ.

Нъ унуцитѣ излизахъ изъ стаята за да продължатъ прѣшир-нята си въ двортъ на дѣдовата си къща.

Пристигнахъ и замата на 1859—60 години, когато Българе и Гърци въ Пловдивъ се бихъ за черквата св. Богородица, се псувахъ и клеветихъ, и се окончателно намразихъ. Раздѣлихъ се черковитѣ, както бѣхъ се раздѣлили и училищата. Тестъ и зеть, Гръчето Янко и Българчето Янко, зехъ да се черкуватъ въ два разни храма. Сякашъ, че въ Киръ Яневата къща задомувахъ хора не само отъ двѣ племена и отъ два языка, нъ и отъ двѣ вѣри.

Разяренieto бѣше такова, щото нервитѣ на домовладиката затрепервахъ, щомъ се отворѣше дума за гръко-българскитѣ расправиш. По едно мълчаливо съгласие, тестъ и зеть никога не обѣлвахъ зхбъ по тия въпроси. Нъ кой можеше да запуши устата и на дѣцата? Тѣ слѣдвахъ да се надпиратъ, както и по-напрѣдъ.

Единъ день, избухнахъ пакъ, въ присѣтствието на дѣдото, вѣчната прѣширия. Отвори се дума и за Пловдивъ и Българчето унуче съ буйно витийство настоя, че Пловдивъ е билъ българскый градъ и ще бжде пакъ.

— Ще ви присѣдне, сърдито му отговори Гръчето.

— Никакъ нѣма да ни присѣдне, му отвърнахъ съ ярость Българчето. Ще ве набиемъ и ще го земемъ.

— Вие ли, бе?

— Ние.

— Хондрокефале, дебѣла главо . . .

— Гърче нарче рѣшетарче . . .

И двамата братовчеди се спустнахъ единъ връзь другий и се заловихъ за коситѣ. И прѣдъ очитѣ на дѣдото, бербата за Пловдивъ между двата унука се почна жестока, свирѣпа. Какво стана тогава въ умьтъ на Киръ Яне? Дали това сбивание бѣше послѣд-нята капка, която направи чашата ва ядоветѣ да прѣлѣе? Дали той не можи да понесе ударьтъ на противоположимтъ чувства, ко-

што се сблъснѣхъ въ мозъкътъ му? Дали възбуденото въображение му прѣдстави и въ бѣдѣщего дѣтѣ най-любими нему сѣщества въ смъртоносна битва за милии нему градъ на Филиппа, за Пловдивъ?

Както и да е, той поиска да потропне кракъ за да наложи миръ на двамата млади борци, и кракътъ сѣ не мръднѣ. Поискта да подигне рѣка, и рѣката не шавнѣ. Поискта да проговори дума, и языкътъ отказа да го послуша.

Единъ страшенъ апоплектически ударъ бѣ парализирагъ цѣлата му дѣсна страна и бѣ му отнегъ употреблението на языкътъ.

Дълги години се бори тоя патриотъ Гръкъ съ тая ужасна болестъ. Едно милостиво Провидѣние му прѣкрати болкитѣ тъкма на врѣме за да не види той нито окончателното побългаряване на Пловдивъ, нито неговото безвъзвратно прѣобрѣщение въ втора столица на България.

ДЖОРДАНО БРУНО. *)

Отъ

РОБЕРТЪ ДЕ ФИОРИ.

(Прѣводъ отъ нѣмски.)

„Богъ е вътрѣшната основа, а не само външната причина на мирозданнето, заради това всичко сѣществующе е изпълнено съ единъ духъ; и всичко, що живѣе, е само единъ животъ, който прониква прѣзъ всичко.“

Оня, що е писалъ това, билъ единъ бѣденъ калугеръ доминиканецъ, който не трѣбвало да има постоянно мѣстопрѣбиванне на земята. Както се случва съ всички, що показватъ на челоуѣчеството пѣтя, и той, вмѣсто благодарность, заслужилъ само присмѣхъ

*) Джордано Бруно, философъ, прѣдтеча на новия пантеизмъ (споредъ който Божеството е единъ духъ, разлѣгън по всичката природа), родилъ се е въ Нола (ю. Италия) въ 1550 г., а билъ изгорѣнъ въ 1600 г. въ Римъ за еретически сѣ ужъ възрѣвнѣ. Отъ съчиненията му най-забѣлжителни сѣ: „Della causa, principio ed uno“, „Del infinito universo“ и др. Тѣ сѣ писани на италически и латински, а сегѣ сѣ прѣведени на главнитѣ европейски езици. Миналата година тържественно и всенародно му се въздигна паметникъ.

и гонение, и най-сѣтнѣ умрѣлъ съ мъченическа смъртъ. Но ако и развѣянъ прахътъ му, и огорѣлатѣ му кости—хвърлени въ Тибъръ, духътъ му е наддѣлѣлъ надъ врѣмената: днесъ поети и философи се очудватъ и благоговѣятъ прѣдъ тоя калугеръ отъ Нола, прѣдъ тоя прѣдтеча на великия утѣшителъ Барухъ Спиноза, на когото свѣтлия и кроткия ликъ пилѣе всѣкакво безразсѣдие и унищожавя всѣкаква страсть.

Родното мѣсто на Джордано Бруно се намира на прѣлестнитѣ ридове, които вълнообразно се спущатъ отъ Везувий на с. з. къмъ долината. Блѣсъкътъ на небето и зноятъ на родната му земя вдѣхнали му стрѣмление къмъ *божественото* въ природата, съ което е надъхана всѣка една негова дума. Тѣ му вдѣхнали онова горделиво мъжество, което го е повело на смъртъ съ издигната глава и съ прѣзрителенъ погледъ къмъ желатитѣ, когато тѣ прѣдъ пламналото огкище му прѣдставили всеобщата индулгенция *in articulo mortis*.

«Азъ съмъ роденъ 12 мили далечъ отъ Неаполъ, въ Нола,» казвалъ той на венецианскитѣ сѣдници. «Баща ми бѣше войникъ. Той, както и майка ми, сж умрѣли вече Въ Неаполъ изучавахъ азъ хуманистиката, логиката и диалектиката . . . На 15 години (1565 г.) постѣпихъ въ манастиря св. Доминикъ въ Неаполъ, гдѣто бидохъ покалугеренъ и проживѣхъ единайсетъ години». Но тайната на католическитѣ догмати, непонятността на положителната вѣра не намѣрили въ него покорното унижение на страхливитѣ души или легкомисленното равнодушие на водачитѣ свѣтски животъ духовници, но жадната за истина смѣлость на единъ борець. Нравствено-религиозното и общественото движение, което наложи на възражданieto на искусствата въ Италия единъ своеобразенъ печатъ, токощо било прѣминало въ буйствующа негърпимостъ, когато Бруно продумалъ своя зарѣкъ, който го прѣсѣдилъ на духовно робство. Римскитѣ папи се борѣли за власть и сила и безжалостно въртѣли сабитѣ си възъ главитѣ на своитѣ врагове. Но идеи, които прѣзъ цѣлъ вѣкъ вълнуватъ най-благороднитѣ души, не угасватъ тѣй бързо и тѣй лесно. Духътъ и ученията на флорентийскитѣ платонци, които казвали, че душата на всичкитѣ чловѣци е една и сжца, не бѣха умрѣли. Още живѣяли химноветѣ на Лоренцо Великолѣпний, които възвеличавали свѣтътъ като физическо и духовно единство, като козмосъ, вжтрѣ въ койго се намира Божественния Разумъ. Тоя свободенъ духъ събужда и душата на младия Нолавецъ. Бруно хвърля принуждението на догматическата авторитетна вѣра и мъжски послѣдва подиръ своитѣ мисли, които го докарали до от-

рицане на всичкитѣ вѣроисповѣдни догмати, непонятни за чело-
вѣческото съзнание ; до схващане на една божествена идея, която
го повдигнала надъ съврѣменницитѣ му и благодарение на която
той прѣдугадалъ истини, що почнаха естествениитѣ науки да
издирватъ по емпирически начинъ само подиръ двѣстѣ години.
Безъ да ще да знае за опасността, той извлича, безъ колебание
нищо за една минута, послѣдницитѣ отъ своитѣ убѣждения. Облѣ-
гающе се на силата, която го отървала отъ робството, той оставя
спокойния монастырь и се пуца въ скитание, което му докарва слава
и смъртъ въ огнени пламъци. Въ Ге-уа той получилъ мѣсто—прѣ-
подавателъ на граматика въ едно начално училище. Но въгрѣш-
ния потикъ, духътъ, който всичко испитвалъ и не давалъ мира на
мислитѣ му, съзнанието на собствената стойностъ, не го оставили
да се бави много въ тихо мѣсто.

Скитникъ рицаръ на свободната мисль, будителъ на чело-
вѣческия духъ, самичкъ той се нарича често exhibitor, той се прожъква
навсѣкдѣ, гдѣто има да поучава и да се бори. Неговата смѣла дума
и вулканическото му краснорѣчие сжисчврѣменно и въодушевлявали,
и стрѣскали. Политически причини принудили най-сѣтнъ Венеция да
се обезпечи отъ тоя опасенъ челоуикъ : той билъ испъденъ отъ Па-
дуа, гдѣто, въпрѣки всичкитѣ вѣроисповѣдни изъзледи, намѣрилъ у
сѣстрадателнитѣ доминиканци подслонъ и прѣхрана, и почналъ да
се скита. Той ходилъ почти голъ и босъ въ Женена, Тулуза, Пар-
ижъ. Въ послѣдния градъ го покрѣпцать добръ, и той взема въ
Сорбонна любимата си учителска длъжностъ. Тукъ той произнесль
изрѣчението : «Истината се познава по това, че съдържа очевидна
ясность ; нѣма ли ясность, — ние можемъ да се съмняваме.» И по-
нататкъ : «Ако истината се познава и измѣрва по възрастата,
нашва вѣкъ е по-честитъ отъ Аристотелевил, защото днесъ свѣтътъ
е на двайсетъ вѣка по-старъ».

Въ борбата си за освобождение отъ всичкитѣ вериги на прѣ-
даннето, Бруно не знае никакви ограничения, никакви съображения.
Скоро той билъ длъженъ да се научи въ Парижъ, че истината е
едва сабя, която докарча до крайно оскъдие оновова, койго я носи.
Завистята откъмъ профессоритѣ и омразата откъмъ духовницитѣ го
принуждаватъ да продължава скитанието си. Въ Англия той намира
мисльотъ у дѣвственната Елисавета, «прѣкрасната весталка на тро-
нитѣ на Западъ». Отъ благоговѣние къмъ нея, Бруно ѝ посвѣщава
вдъхновени стихове, които подиръ нѣколко години, поради омразата,
въздигната въ Римъ срѣщу кралицата, играели гибелна роля. Въ Окс-
фордъ, гдѣто аристотелианцитѣ били силни, той пресповѣдва противъ-

тѣхъ и съ бори съ тѣхъ, и за пръвъ пѣтъ въ учено общество обявява война въ името на Коперника срѣщу Птолемеевската система на свѣтътъ. Огъ Оксфордъ той се връща пакъ въ Парижъ, оттамъ отива въ Германия, гдѣто подиръ продължителни лугания и лишения намира въ лицето на херцогъ Брауншвайгский единъ набоженъ вѣренъ благопожелателъ. И Хегель, като довѣрява на авторитета на единъ забравенъ исторически писателъ, казва, че тукъ Бруно е прѣминалъ въ протестанство, — това било доказвали и похвалитѣ му рѣчи за Лютера. Но стига да си помислимъ за буйнага фантазия на Бруно, да вземемъ прѣдъ видъ всякъва му житейски пѣтъ и мъжеството му, и ще разберемъ, че съвсѣмъ отъ други идеали се е вълнувалъ той, че реформацията могла е да бѣде само едно срѣдство къмъ цѣльта, а не крайна цѣль на земния му подвигъ. Той събарялъ, кагурѣлъ онова, къмъ което Лютеръ се отнасялъ съ уважение. За него било немислимо нивакво раздѣление на чловѣка отъ Бога или отъ свѣтътъ, никакво раздѣление на духа отъ природата. Разумътъ билъ за него вжтрѣшния художникъ, който образува и украсява природата. „Отъ вжтрѣшността на кореня“ — казва Бруно — „разумътъ испуша вѣйки, сѣтнѣ — гранки, отъ тѣхъ цѣпки, листа и цвѣтя. Така, Всемирното е единъ Безконеченъ Духъ, въ което всичко живѣе и се движи по разнообразенъ начинъ“. Това сж отзиви отъ Кантовата цѣлесобразностъ, и тоя необузданъ мжжъ, тоя пламъкъ можеше ли токо-тъй да се отрѣче отъ убѣждението си и да приеме една вѣра, която изисква посрѣдничеството на църквата между чловѣка и Бога и се основава на правила, порицавани отъ Бруно прѣдъ лицето на цѣлия свѣтъ?

Не се знае, какъ се случило, че Бруно оставилъ нѣмската земя, гдѣто намѣрилъ свобода и защита, и се завърналъ отгвдъ Алпитѣ. Прѣдполагатъ, че той се надѣвалъ да го прости Климентъ VIII за заблуденията му. Но забравятъ при това, че за самия него дори срѣдъ най-горчивитѣ злочестини подобна надѣжда трѣбвало да му се покаже суетна и глупава: едва бѣ истекло едно чловѣшко поколѣние, отъ като съотечественникътъ му Алгнери, като «прѣзирачъ на християнската вѣра», билъ прѣдаденъ на огъня, а отъ тогава папската сила бѣ съ повдигнала още повече особенно въ дѣлата по вѣрата. Всичко въ Италия се прѣкланяло прѣдъ инквизицията. Дори да допустнемъ, че той се е стръмѣлъ къмъ примирение съ църквата, за да успехи измореното си тѣло, пакъ си остая несправедливо порицанието отъ страна на противникитѣ му. Очистената отъ разврати и противохристиянски мжжѣе църква всѣкога той искалъ да признае, като едно общественно учрѣждение;

той е чувствувал даже погрѣбностъ отъ една по-възвишена, по-чиста вѣра, която несмѣсена съ нищо земно, да се възнеси въ областта на идеалното и да съединява въ духовна хармония всичкитѣ земни нѣща. Но можеше ли той да се отнеде съ търпимостъ спрямо римското духовенство, на което духътъ и характерътъ той добръ познаваше и дамгосваше, зачерняваше съ своя силнѣ реализмъ? То щѣше да бѣде противорѣчие. По-вѣрно ще е да прѣдположимъ, че друга една сила е притегнала дѣтето на слънцето въ родната му земя : то е огненото небо, високитѣ гори, широкия ясенъ хоризонтъ на отечеството му. «О благословено Италианско небо!» провиква се той веднажъ : «о земно, изпълнена отъ божеско благоволение! Неаполъ, душо и главо на чловѣчеството!»

Той отишелъ въ Венеция, единичкия градъ, който можѣлъ да му прѣложи безопасностъ. Но, издаденъ отъ ученика си Мочениго, единъ день го уловили агентитѣ на инквизицията и го затворили во оловенитѣ тъмници на дожския палатъ. Единъ документъ отъ 28 Септемврий 1592 г., изнамѣренъ отъ Ранке въ Венецианския архивъ, разказва : «Тие дни биде уловенъ Джордано Бруно и прѣдаденъ въ затвора на Сантъ-Уффицио. Той се обвинява не само за ересь, но и за основанието на една секта, тъй като той е писалъ книги, гдѣто е възхвалялъ английската кралица и други еретически господари и е изказалъ много неприлични нѣща при всичко че съ философски езикъ. Той е отстъпникъ, понеже е носилъ прѣди доминиканско облѣкло.» Подиръ нѣколкомѣсеченъ затворъ, Бруно билъ испратенъ въ Римъ, отгдѣто главния инквизиторъ Санта Северина го е искалъ нѣколко пѣти настоятелно. Това станало едва въ Януарий, на 1593 г. Седемъ години лежѣлъ злочестия до-блестенъ мѣжъ въ заданитѣ на римската инквизиция. Седемъ дълги години той противостоялъ на всичкитѣ искушения — да прокълне своитѣ „ужасни заблуждения“. На седмата година той, съ разнебитно вече и неджгаво тѣло, но съ непрѣклоненъ още духъ, билъ прѣдаденъ на джелатина „за да бѣде наказанъ по единъ най-легкъ начинъ, безъ кръвопролитие“. Смислътъ на тая формула скривалъ най-страшна смъртъ, — смъртъ отъ огнени пламъци.

Звѣрскитѣ съдници, които му обявили прѣсѣдата, той из-хокалъ и прѣдъ лицето имъ се присмѣлъ : „вие ми обаждате за прѣсѣдата, а васъ повече вие страхъ, отколко мене, комуто се лада да я чуе.“ Деветъ дена го турятъ да чака въ обществото на крадци и разбойници, и „за да не зачерни съ порочитѣ си съ-вѣстѣта на своитѣ околни“, турятъ му клапи на жунитѣ — едно оръдие, съ което се стегатъ и запушватъ устата тъй, щото да не-

може да ги мръдне чело̀вѣкъ и да проговори нѣщо!

На 27 Февруарий 1600 г. най-сѣтнѣ, повели тоя „още младъ чело̀вѣкъ“ на Камподи Фиори, въ жълто обла̀кльо на еретицитѣ. Слѣ̀дъ като му откъснали езика съ огненни влѣ̀щи, възкачилъ се той на натрушания купъ дърва — неговото огнище. Въ това врѣме надолглата въ Римъ по поводъ на единъ празникъ вѣ̀търничѣва сганъ запѣ̀ла хулни пѣ̀сни. Като се възвили огненни пламъци около снагата му, и тя затрѣ̀щела, подали му на върлани иконата на Распятия за да я цѣ̀луе. Той се извърналъ тихо: Христосъ билъ за него най справедливия, символѣ̀тъ на любовѣ̀та, но тоя символъ вѣ̀ржцѣ̀тъ на сѣ̀дитѣ̀ му билъ за поругание . . Той си извърща лицето и умира.

Пепельта му развѣ̀ли всичкитѣ̀ вѣ̀трове, но мислитѣ̀ му не сж угаснали, и мнозина съзнателни или несъзнателни исповѣ̀дници на неговата вѣ̀ра, живѣ̀лят днесъ въ невѣ̀змутима свобода. Днесъ му вдигатъ паметникъ отъ бронза и камѣ̀къ на Кампо-ди-Фиори, гдѣ̀то той напусналъ земния животъ. Какво означава тоя паметникъ? — Че дошло едно по-кротко врѣме, и — кокво щатъ нека говорятъ — почна се вече господството на свободния духъ. — „Бруно и Спиноза“ — казва Шопенхауеръ — „стоеха нѣ̀какъ особено, тѣ̀ не принадлежѣ̀ха ни на вѣ̀ка си, ни на отечеството си . . . Тѣ̀хния злочестъ животъ и тѣ̀хната умирачка на Западъ напомва нѣ̀кое тропическо растение посадено въ Европа: истинско отечество тѣ̀хно бѣ̀ха брѣ̀говетѣ̀ на священния Гангъ. Тамъ биха прѣ̀карали тѣ̀мирень и почтенъ животъ при едномисленницитѣ̀ си!“ — Сега врѣ̀мената сж имъ завладѣ̀ли толко̀зъ, щото имъ се въздигатъ паметници като знакове на чело̀вѣ̀чката нравственностъ на Западъ. Вѣ̀рата на Бурно е толко̀зъ стара, колкото и — свѣ̀тътъ; първото ѣ̀ дълбоко изражение се намира въ най-почтеннитѣ̀ и най-старитѣ̀ книги, священнитѣ̀ Вѣ̀ди. Тя е вѣ̀рата на всѣ̀ка живѣ̀ща душа, въ която усѣ̀ща въ себе си часть отъ Божественния огнь. Тя е вѣ̀рата на всички чело̀вѣ̀ци, които се стрѣ̀мятъ къмъ познание, вѣ̀рата въ Бога, като въ първо и най-свѣ̀ршено начало на битието.

Солунгъ, 1890 г.

Прѣ̀велѣ̀ Д. Матовъ



АПОЛОГИЯТА НА СОКРАТА

отъ Платона.

(Прѣводъ отъ старогръцки).

I. Какво впечатление сж направилъ вамъ, о мъжие атиняне, моитѣ обвинители, не знажъ; но азъ безмалко щѣхъ да забравжъ себе си, до толкозъ убѣдително говорѣха; макаръ че, може да се каже, тѣ, нищо истинно не казаха. Но отъ многото онова що лѣгаха, най-вече ме удиви, дѣто ви прѣпоржчаха да се пазите да не би да бждете измамени отъ моето краснорѣчие. И наистина, несрамуваншето имъ, че веднага ще бжджтъ изобличени отъ мене на дѣло, когато и волкогодѣ краснорѣчивъ не се виждамъ, ми се стори най-безочливо; освѣнъ, ако тѣ наричатъ краснорѣчивъ оногова, който говори истината. Ако прочее това разбиратъ тѣ, то несъмнижно азъ бихъ се самъ призналъ, че съмъ риторъ и то не като тѣхъ; защото тѣ, както рекохъ, почти нищо истинно не казаха; а вие отъ мене ще слушате всичката истина. Но вие, о мъжие атиняне, кълнж се въ Зевса, нѣма да чуете отъ мене рѣчи искусно накичени съ изрѣчения и имена, каквито сж рѣчитѣ на моитѣ обвинители, а ще слушате да се говори въ обикновени думи; защото съмъ увѣренъ, че ще говоря справедливо, и никой отъ васъ да не чака отъ мене по-друго нѣщо. Та и не прилично е за менъ, о мъжие атиняне, на тази ми възраст да се явжъ предъ васъ и съ приструвки като младо момче да ви говоря рѣчь. Напротивъ, ще ви се молжъ и настоявамъ, о мъжие атиняне, като ме слушате, да не се удивлявате и да не негодувате, че се защищавамъ съ сжщитѣ ония рѣчи съ каквито съмъ навикнжлъ да говоря и на площада при ковчезитѣ на сарафитѣ и на други мѣста. Защото ето каква е работата. Сега азъ първъ пѣтъ се явявамъ предъ сждилище, когато съмъ вече на повече отъ седемдесетъ години, слѣдователно съвсѣмъ съмъ ненавикнжлъ на языка, който се говори тука. Както прочее щехте, ако бѣхъ наистина чужденецъ, навѣрно да ми позволите да говоря на онова нарѣчие и по оня начинъ, на който съмъ се приучилъ отъ дѣтинство, така и сега тази справедлива, както ми се вижда, молба правя къмъ васъ, да оставите на страна начинътъ на говореншето (билъ той лошъ

или добъръ) и само на това да гледате и въ него да внимавате — право ли говоря или не; защото това е длъжността на съдията, а на ритората — да говори истината.

II. И преди всичко, мъжие атиняне, азъ имамъ право да се защита противъ по първитѣ срѣщу мене лъжливи обвинения и противъ по-прежнитѣ ми обвинители, а слѣдъ това и противъ по-сетнѣшнитѣ обвинения и по послѣшни обвинители; защото имало е мнозина мои обвинители предъ васъ отдавна, прѣди нѣколко години, но които нищо истинно не сж казали. Отъ прежнитѣ мои обвинители азъ се боъ повече отъ колкото отъ Анита и ония около него, макаръ и тѣ да сж страшни. Но все пакъ ония, о мъжие атиняне, сж по-страшни, които сж взели мнозина отъ васъ и още отъ вашето дѣтинство сж ви убѣждавали съ лъжитѣ си и сж ме коваждали, че има нѣкой си Сократъ, *мждръ мжжъ, който се занимава съ небеснитѣ явления, испытва всичко що е въ недра-тата на земята, и нисшитѣ причини прѣвраща въ висши.* Его, о мъжие атиняне, ония, които сж распространили тѣзи клевети противъ мене, сж страшнитѣ мои обвинители; понеже ония, които слушатъ тия нѣща, мислятъ си, че занимающитѣ се съ подобни изслѣдания и въ богове не вѣрватъ. Сетитѣ тѣзи мои обвинители сж много та и отъ отдавна врѣме насамъ сж ме коваждали; при това още тѣ сж говорили вамъ тия нѣща, когато вие още сте билъ едни — дѣца а други — юноши, сирѣчь на такъва възраст, въ която най-лесно сте могли да повѣрвате, и клѣветили сж съвсѣмъ задочно — безъ да има нѣкой да се защищава. А най-страшното отъ всичко е онова дѣто не е възможно нито имената имъ да се знаятъ и кажатъ, освѣнъ името на единъ комикъ ¹⁾. Всички ония, които подбуждани отъ завистъ и злоба сж ви убѣждавали, и ония които сами убѣдени отъ тѣхъ сж други убѣждавали, сж за мене съвсѣмъ недосегаеми. Защото менъ е невъзможно нито да извикамъ нѣкого отъ тѣхъ тукъ, нито да изобличъ нѣкого, а съмъ принуденъ при защищаванието си като съ сѣнки да се сражавамъ и да изобличавамъ безъ да имамъ предъ себе си ни единъ отвѣтникъ. Прочее, изволѣте да знаете и ви, както казахъ, че има два вида мои обвинители: едни—които ме преди малко обвиняваха, а други—които сж мя по-рано обвинявали, и за които ви говоря. И съгласѣте се, че азъ съмъ длъженъ по-напредъ противъ по-предешнитѣ да се защита, защото вие тѣхъ сте слушали по-напредъ да ме обвиняватъ, и много повече отъ колкото послѣшнитѣ.

И така азъ трѣбва да се защищавамъ, мъжие атиняне, и да се помжчж да изгледа изъ вапитѣ умове въ толкозъ кратко врѣме оная клѣвета, която отъ толкова дълго врѣме насамъ слушате. Же-

далъ бихъ да имамъ сполука въ това, ако моето оправдание може да послужи за полза на васъ и на менъ и да принесе нѣщо по добро; но азъ мисля, че това е жѣчно и много добръ си го зная какво е. Но то нека си бжде, както е Богу угодно, а пакъ азъ съмъ длъженъ да се покоря на закона и да се защита.

III. Да захванемъ прочее отъ начало, въ що се състои обвинението, на което се основава наклѣветяването и въ което, като е вървалъ Мелитъ, написалъ е обвинението. Прочее въ какво ме обвиняватъ клѣветниците? Трѣбна да се прочете тукъ тѣхното обвинение споредъ както то е представено подъ клегва: *Сократъ постѣжива прѣстѣпно и иска много да знае, като изслѣдва подземнитѣ и наднебеснитѣ явления, и като прѣвзраща ништитѣ причини въ вищи, та че и другитѣ учи на тия нѣща*. Такъно е то обвинението; а тия нѣща вие сами сте видѣли и въ Аристофановага комедия, гдѣто нѣкой си Сократъ люлѣящи се въ овиснѣкта кошница се хваля, че плува по въздуха и много още други върѣли не кипѣли брътви, каквито менъ и на умъ не сж дохождали. Това като казвамъ, азъ не го говоря за да унижъ едно толкозъ важно знание, ако би нѣкой отистина да го знае (макаръ Мелитъ пакъ и това да ми виѣни въ вина), но защото въ тия нѣща, о мжже атиняне, азъ никакъ не се мѣшамъ, а за свидѣтели можъ да представя повечето отъ самитѣ васъ; и моля ви, които отъ васъ сж ме слушали нѣкога да се разговарямъ, а тѣ сж мнозина, помежду си да се расчитате и да си кажете. Кажете си прочее единъ другиму, чувалъ ли ме е нѣкой изъ помежду васъ да съмъ разговарямъ нѣкога за такива нѣща, и отъ това ще разберете, като какви сж тия та и другитѣ нѣща, които множеството говори за мене.

IV. Нѣма прочее нищо върно въ всичко това, нито пакъ има нѣщо истинно въ онова, което може би сте слушали отъ нѣкого да говори, че азъ се завземамъ да учъ хората, и земамъ за това пари. Макаръ да ми се вижда, че е много добро нѣщо да може чловѣкъ да прѣподава уроци както Горгий Леонтийский, Продикъ Хиоский, и Иппий Елейский. И всякий единъ отъ тѣхъ, о мжже атиняне, може да ходи изъ градъ въ градъ и да придумва юношитѣ, на които нищо не прѣчи даромъ да се ползуютъ отъ наставленията на свитѣ съграждане, да оставятъ тѣзи наставления и да се обрнѣжтъ къмъ него да слушать бесѣдитѣ му, за което пари да му плащатъ а вѣнъ отъ това още благодарностъ. Понеже бѣхъ узналъ на послѣдне, че тука е дошълъ отъ Паросъ единъ мждрецъ, когато случайно срещнахъ Баллия, Иппониковия синъ, който е самъ платилъ

на софиститѣ пари повече отъ колкото всичкитѣ други, азъ го запитахъ — а той има двама синове: Баллие, рекохъ му азъ, ако твоитѣ двама синове бѣха се родили жребета или телета, щеше да трѣбва да имъ намѣришъ и наемнешъ наставникъ, който, като бждеше самъ или коняръ или орачъ, да можеше да имъ даде приличнитѣ съвършенства, а сега като сж чловѣци, какъвъ наставникъ имашъ на умъ да имъ земешъ? Кой е оня, който знае достаточнo, кои добродѣтели подобаватъ чловѣку и гражданину? Защото азъ мисля, че ти, като имашъ синове, си помислявалъ за тоза нѣщо. Имашъ ли ти такъвъ нѣкой, запитахъ го азъ, или нѣмашъ? — То се знае, че имамъ, отговори той. — Кой е той, рекохъ азъ, отъ гдѣ е, и за каква цѣна учи? — Евинъ, каза ми той, отъ Паросъ, Сократе, учи за петъ мни²⁾. Тогава азъ позавидѣхъ Евину, ако той отистина има такава наука, и я прѣподава за толкозъ умѣренна цѣна. Та и азъ самъ бихъ се подвосялъ и голѣмѣлъ да знаехъ тия нѣща, ала не ги зная, о мжжие атиняне.

V. Но може би нѣкой отъ васъ да запита: «Сократе, каква ти е работата? отъ гдѣ сж те сполѣтели тѣзи клѣвети? Инакъ ако ти не си вършилъ по-особно нѣщо отъ другитѣ, за тебе не би се тѣй приказвало и тълкувало, освѣнъ ако ти правишъ нѣщо по-друго отъ онова което по вechето отъ гражданетѣ вършатъ. Кажни прочее, що е това нѣщо, за да не заключаваме на свой умъ за тебе³⁾. Който би ме тѣй запиталъ, той би ме умѣстно запиталъ, и поради това азъ ще се опитамъ да ви покажж, кое е това нѣщо, което ми е име създало и клѣвета принесло. Слушайте, прочее; може би на нѣкои отъ васъ да се види, че се шегувамъ; но знайте, че само истина ви говоря. Това име, мжжие атиняне, азъ не за друго нѣщо, а за нѣкаква си мждростъ съмъ си го спечелилъ. А каква е тази мждростъ? може би чловѣческа, ако има такава. Защото, страхъ ме е, може би, че азъ по нея съмъ мждрецъ, а пакъ ония, за които преди малко говорихъ, сж повече мждреци по нѣкаква си мждростъ по-горня отъ тая, на която предметъ е чловѣка, и тогава вече нѣма що да кажж, защото нея мждростъ азъ я незная и който казва, че азъ я зная, той лъже и говори това съ цѣлъ да ме наклѣвети. Но да невъзнегодувате, молжъ Ви, мжжие атиняне, противъ мене, дори ако ви се види, че ви говоря съ надмѣнностъ; понеже онова, което ще приведж, не е отъ мене казано, а ще ви представя да ви говори авторитетъ, който заслужва вашето довѣрие; — защото като свидѣтель за моята мждростъ, ако отистина сжществува, ще ви представя Делфийския богъ. Вие много добрѣ познавате Херефона; той и мой приятель бѣше още отъ дѣтинство, та и на повечето отъ васъ бѣ

приятелъ и заедно съ васъ бѣ изгоненъ и съ васъ се завърна; вие знаете така също какъвъ бѣше Херефонъ и съ какво усърдие се прѣдаваше на всичко, което предприемаше. И ето той като отишелъ нѣкога си въ Делфи, осмѣлялъ се да запита оракула, но и пакъ да невъзнегодувате, мѣжте атиняне, за онова което привеждамъ. Той запиталъ оракула: има ли нѣкой, който да е по-мѣдръ отъ мене? — Отговорила му, прочее, Пития, че нѣма по-мѣдръ. Херефонъ е вече умрѣлъ, но тия нѣща вамъ ще ги засвидѣтелствува братъ му.

VI. Вижте сега, по кои причини ви говоря тия нѣща, понеже искамъ да ви покажъ, отъ гдѣ ми е дошло наклеветяването. Като чухъ за този отговоръ, азъ разсмѣждавахъ така: Като какво ли казва съ това богъ; като какво ли иска да даде да се подразбира? Ето на, азъ ни най малко не считамъ себе си мѣдрецъ; какво ли иска да каже той, като ме нарича най мѣдрий? Навѣрно той не лъже; защото това е нему несвойственно. И дълго врѣме недоумѣвахъ, като какво казва оракулътъ; сетнѣ едва слѣдъ много лутания приехъ слѣдующето (средство за узнавание намерѣнето на оракула). Отидохъ при одного отъ ония, които минаватъ за мѣдреця, та тука повече отъ всякъдѣ другадѣ да могъ да избличъ оракула и неговото изречение, че ето този е по мѣдръ отъ мене, а ти бѣше казалъ, че азъ съмъ билъ най мѣдрий. И като разгледвахъ азъ тогава (нѣма нужда да казвамъ името му, мѣже атиняне, достатъчно е да ви кажъ, че оня, къмъ когото азъ бѣхъ се обърналъ за тази цѣль, бѣше единъ отъ политицитѣ) и като се разговаряхъ съ него, видѣхъ, че този мѣжъ се вижда на мнозина други, а особно на себе си, мѣдрецъ, но на дѣло той не е такъвъ. И послѣ се опитахъ да му докажъ, че той се мисли за мѣдрецъ, но въ сжщностъ не е мѣдрецъ; и чрѣзъ това станахъ омразенъ както нему тѣй и на мнозина отъ присѣтствувавшитѣ. Като се връщахъ, прочее, къмъ дома, мислехъ си, че отъ този чловѣкъ азъ съмъ по-мѣдръ, защото ни единъ отъ двама ни не знаемъ, що е хубаво и добро, а той се мисли, че знае нѣщо, когато незнае, а пакъ азъ като не зная, и не мисля, че зная. Ето азъ по това малкото съмъ и по-мѣдръ отъ него, че онова што не зная, не мисля че го зная. Отъ при него азъ се уплтихъ къмъ друго едно отъ ония, на които приписватъ още повече мѣдростъ отъ колкото нему; но и тамъ пакъ също ми се видѣ. И по този начинъ и на тогава и на мнозина други станахъ омразенъ.

VII. Слѣдъ това, макаръ че усѣщахъ и скърбехъ та и боехъ се, дѣто си навлѣкохъ омряза, като считахъ за необходимо

божнето дѣло да турямъ по-горѣ отъ всичко, азъ тръгнахъ на редъ. За да испитамъ смисълъта на оракуловото изречение азъ ходихъ у всички, които се мисляха, че знаятъ нѣщо, и заклѣвамъ въ се, мъжние атиняне — предъ васъ трѣбва да се говори истинна —ето какво впечатление изнесохъ отъ при тѣхъ: едни, които най много се славеха, видѣха ми се почти най оскъднитѣ отъ познание, когато азъ ги запитвахъ по божнето дѣло; други пакъ, които се мислеха по-долни, видѣха ми се, че сж по способни мъжже за здраво размисление. Трѣбва да ви раскажж всичкото си скитание, както и предприетитѣ отъ мене трудове, за да си остане оракуловото проричанче за мене неопровержимо. И наистина отъ полититѣ азъ ходихъ при поетитѣ — и трагическитѣ, и дитерамбическитѣ и другитѣ, съ мисль че именно тука азъ явно ще се уловя по неукъ отъ тѣхъ. Като вземахъ прочее ония отъ тѣхнитѣ съчинения, които ми се виждаха че сж ги най добрѣ обработали, запитвахъ ги да ми разясняватъ, като какво искатъ да кажгъ (съ нѣкои изречения), та заедно съ това да се научж нѣщо отъ тѣхъ. Но срамъ ме е да ви кажж, о мъжние, истината, а трѣбва да я кажж. Защото, да си го кажимъ, всички които присѣтствувахъ при разговоритѣ ни, малко по-добрѣ би говорили за съчиненията имъ нежели самитѣ имъ съчинители. И чрѣзъ това малкото азъ узнахъ и за поетитѣ, че онова, което тѣ съчиняватъ, не по внушение отъ мъдростъ го съчиняватъ, а отъ нѣкоя си вродена дарба дохождатъ въ иступление като оракулитѣ и проричателитѣ; защото и тѣзи послѣднитѣ, макаръ че говорятъ много и добри нѣща, но за нищо отъ онова което говорятъ нѣматъ съзнание. Такова нѣщо ми се видѣ да пащатъ и поетитѣ. При това азъ забѣлжвахъ още, че поетитѣ, като иматъ поетическа дарба, считатъ се за най-мъжри отъ всички чловѣци, което нѣщо тѣ не сж. Отидохъ си прочее и отъ тука като намѣрихъ въ себе си такава прѣимущество надъ тѣхъ каквото и надъ полититѣ.

VIII. Най сетѣъ ужитихъ се къмъ художникитѣ съ тази увѣренность, че азъ нищо не разбирамъ отъ тѣхното искусство, но тѣхъ, както ми бѣше извѣстно, щехъ да намѣря да знаятъ и много и хубави нѣща. И наистина, въ това азъ не се излъгахъ, защото тѣ знаеха нѣща, които азъ незнаехъ, и по това бѣха по-мъдри отъ мене. Но все пакъ, мъжние атиняне, и най добритѣ майстори ми се показаха, че иматъ сжщата грѣшка каквато и поетитѣ: всякой отъ тѣхъ, за дѣто добрѣ владѣше своето искусство, мислеше се за най-мъдрий чловѣкъ и по други дѣла отъ най голѣма важность; а тази имъ глупость затъмняваше истинската имъ мъдростъ; така

щото като се запитвахъ самъ си отстрана на оракула, кое да си избержъ: да ли да си останж както съмъ си сега, т. е. ни мъдръ по нѣщо отъ тѣхната мъдрость, ни невѣжда съ невѣжеството имъ, или да си придобвжъ и двѣтѣ тѣхни принадлежности, — отговаряхъ на себе си та и на оракула, че за менъ е по полезно да си бжджъ какъвто съмъ си.

IX. Ето отъ това изслѣдване, мъжже атиняне, менъ сполѣтѣха много омрази и то най жестоки и най силни, които ми причиниха много влѣвети та още и това да ме именуватъ мъдрецъ; и то защото присжтствующитѣ на тия разисквания ме считатъ за мъдрецъ въ онова нѣщо, въ което изобличавамъ друго въ незнание. Но въ сжщностъ, мъжже атиняне, мъдръ е богъ, а съ оракуловото изрѣчение исказва се мисълта, че челоувѣческата мъдрость е маловажна и дори нищожна. А вижда се още, че не за самия Сократа се говори въ това изрѣчение; моето име е употребено тукъ като примѣръ, както да бѣше казано: оня изъ помежду ви, о мъжже, е най мъдри, който както Сократъ се съзнава, че той по отношение къмъ мъдростта отиствна нищо не струва. И така азъ и сега още скитамъ та издирвамъ и испитвамъ споредъ изречението на оракула, нѣма ли да намѣря нѣкого било отъ гражданетѣ или чужденцатѣ, че е мъдрецъ; и когато не се намѣри, немогжъ ли доказа, въ подкрѣпление на божнето проричание, че нѣма мъдрецъ на свѣта.

Като заетъ съ това дѣло, азъ не съмъ ималъ свободно врѣме да испълня нѣкоя важна обязанность било къмъ града било къмъ домашнитѣ си, а за служението богу търпя най-голяма бѣдность.

X. Надъ това отгорѣ, юношитѣ, които располагатъ съ най-много свободно врѣме, и принадлежатъ на най-богатитѣ семейства и драговолно се привързватъ къмъ мене, радватъ се като слушатъ какъ азъ испитвамъ хората, а често пжти тѣ мене подражающи, захващатъ сами други да испитватъ. Въ това нѣщо вѣрвамъ тѣ намиратъ твърдѣ много хора, които мислятъ, че знайтъ много, а въ сжщностъ или малко или нищо не знайтъ. Отъ тукъ прочее излиза това дѣто отъ тѣхъ испитванитѣ не тѣмъ а менѣ се сърдятъ и говорятъ, че има нѣкой си мрисникъ Сократъ, който развращава юношитѣ. И когато вѣкой ги запита, какво върши и какво учи той? Не могатъ нищо да кажжтъ, защото дѣйствително нищо не знайтъ; а за да не се покажжтъ, че недоумѣватъ, наговорватъ всичко онова, което обикновенно се расправа противъ всичкитѣ философи: той изслѣдва причинитѣ на въздушнитѣ явления и на скрититѣ въ недрата на земята тайни, не признава богове, и нисшитѣ причини

прѣвраща въ висши. Да кажатъ истината, чини ми се, тѣ не желятъ, защото тогава ще стане явно, че макаръ да се приструватъ да знайтъ, нищо не знайтъ. А понеже такивато хора, чини ми се, сж честолюбиви, буйни, и много, и понеже тѣ говорятъ противъ мене слуmano и убѣдително, тѣ отодавна и силно сж ви проглушили ушитѣ съ клѣветънието си. Изъ между тѣхъ явили сж се съ доноситѣ противъ менъ — и Мелитѣ и Анитѣ и Ликонѣ, и то Мелитѣ ми мсти за поетитѣ ³⁾, Анитѣ—за ходожницитѣ и политикитѣ ⁴⁾, а пакъ Ликонѣ — за риторитѣ ⁵⁾. Така щото, както казахъ въ началото, чудновато щеше да е, ако да бихъ смогналъ азъ въ толкозъ кратко врѣме да оборя толкозъ дълговрѣменно и многообразно клѣветение. Ето ви истината, мжние атиняне, която азъ ви расправихъ безъ ни най-малко да ви скриж или изопачж, макаръ и да знаж, че тази истина ми навлича ненавистъ. А това е то което доказва, че азъ говорж истина, че тѣхния доносъ е клѣвета противъ мене, на която подбудителнитѣ причини сж ония сжщитѣ, които казахъ. Сега ли, пб-послѣ ли помскате да разгледасте моето дѣло, все едно и сжщото ще намѣрите.

XI. Прочее нека противъ онова, въ което сж ме обвинявали първитѣ ми обвинители, казаното до сега въ тази моя защита да бжде достаточнo за васъ въ мое оправдание! А отъ тука на сетитѣ ще се помжж да се защита противъ добрия и (както самъ се нарича) любящия Атини (φιλόπολις) Мелита и противъ другитѣ които слѣдъ него идатъ мои обвинители. Понеже тѣзи обвинители сж други, да вземемъ и тѣхното клятвенно показание дума по дума. То е такава: *Сократъ, казватъ, постжпва прѣстжпно, като развращава юношитѣ и непризнава боговетѣ, които града признава, а възвежда други нови божества.* Ето такава е обвинението. Нека сега да разгледаме всяка негова точка. Най напредъ, казватъ тѣ, че постжпвамъ прѣстжпно като развращавамъ юношитѣ. Азъ пакъ, мжние атиняне, казвамъ, че постжпва прѣстжпно Мелитѣ, защото той се шегува съ сериозни нѣща, и безъ зазоръ—легкомумно тегли хората на сждъ, като се приструва, че съ особна ревностъ се грижи и залага за работи, за които той никога не се е грижилъ. А че това е така, азъ ще се помжж да ви докажъ.

XII. Дойди ти тука, Мелите, и кажи ми: не ли ти най-много се грижишъ за това, какъ да станжтъ юношитѣ добродѣтелни? — Така. — Ела, прочее, сега та кажи на тѣзи (нашитѣ сжди) кой прави юношитѣ пб-добри? Очевидно е, че ти знаешъ, понеже ти не напустo се грижишъ за това. Его вече изнамѣрилъ си, казвашъ, оногова, който ги развращава, и си ме привикалъ та ме обвиня-

вашъ : дойди прочее та кажи, кой ги прави по-добри и покажи го на тия, кой е той. Видишь ли, Мелите, мълчишь и нѣма що да кажешъ? и не е ли срамно за тебе, и едно неопровержимо доказателство за моятъ думи, че ти не си се погрижвалъ за такъво нѣщо? Но кажи, добрый чловѣче, кой ги прави най-добри? — Законитѣ. — Не за това питахъ азъ, прѣдобрий, а — кой е оня чловѣкъ, който е добръ изучилъ законитѣ? — Тѣ сж, Сократе, сждитѣ. — Какъ казвашъ ти, Мелите? тѣзи, сждитѣ, могатъ ли да учятъ юношитѣ и да ги правятъ по-добри? — Най-вече тѣ. — Ами всички ли или едни изъ помежду тѣхъ могатъ а други не? — Всички. — Много добръ казано, ради Ира; и колко голѣмо изобилие на хора които принасятъ добри услуги! Е какво още? Ами тѣзи слушателитѣ правятъ ли и тѣ юношитѣ по-добри, или не? — И тѣ. — Ами свѣтницитѣ? И свѣтницитѣ. — Е добръ, о Мелите, да не би въ събраннето, посѣтителитѣ на събранията да развращаватъ по-младитѣ? или пакъ и они всички ги правятъ по-добри? — И они. — То ще кажъ, че всички атинине освѣнъ мене правятъ юношитѣ харни и добри, а само азъ ги развращавамъ. Така ли казвашъ? — И твърдѣ рѣшително, казвамъ това. — Голѣма бвда ми присяждашь. Но все пакъ отговаряй ми. Така ли, по твоего мнѣние, става и съ коньетѣ? сирѣчь, че тѣхъ ги правятъ по-добри всички хора, а само единъ нѣкой си ги разваля? Или съвсѣмъ наопаки е всичко това: — т. е. оня, който може да ги прави по-добръ изучени е само единъ или пакъ сж нѣколцина коняри, а мнозината щомъ захванатъ да се свиѣсватъ при обучаванието на коньетѣ и да си служатъ съ тѣхъ, побъркватъ ги? Не е ли това така, Мелите, и за коньетѣ та и за всичкитѣ други животни? Несъмнѣно това си е така, па ако ще би ти и Анитѣ и да не погвърдявате или да погвърдявате. Наистина голѣмо щастие щяше да е за юношитѣ, ако само единъ да ги развращаваше, а всички други да ги ползуваха! Но ти, Мелите, си достаточено доказалъ, че никога не си се погрижвалъ за юношитѣ, и явно посочвашъ нехайството си, че никакъ не си се погрижвалъ за онова, за което мене викашь на сждѣ.

XIII. Кажи ти намъ още, ради Зевса, Мелите, кое е по-добро, да ли да живѣе човѣкъ между добри граждани, или между лоши? Отговаряй де, любезний, не те пигама нѣщо загруднително. Не е ли истина, че лошитѣ хора всякога зло правятъ на ония, които сж близу до тѣхъ, а пакъ добритѣ — добро? — Така е. — Ами има ли нѣкой, който повече да желае да му вредятъ ония съ които живѣе, нежели да го ползуватъ? Отговаряй, добрый чловѣче, защото и законътъ повелява, да отговаряшь. Има ли нѣкой който да желае

да му се пакости? — Явно е че не. — Е сега, като ме обвинявашъ тука, че развращавамъ юношитѣ и ги правя по вѣрѣдни, какъ правя: азъ това, съ умисълъ ли или неволно? —

— Съ умисълъ, разбира се, (тя обвинявамъ азъ че правишъ това). — Е какъ така, о Мелите? Ти тѣй младъ си толкозъ по-младъръ отъ мене, който съмъ вече старецъ, та си узналъ, какво злитѣ всякога зло докарватъ на свѣтѣ ближни, а пакъ добритѣ — добро, а пакъ азъ съмъ испадналъ въ такъво невѣжество, та дори и това не знаешъ, че ако нѣкого отъ ония, които иматъ съ мене общение, направя лошъ, ще се изложж на опасностъ зло да получж отъ него; и надъ това отгорѣ казвашъ още, че това голѣмо зло азъ съзнателно вършж? — Въ тия нѣща ти мене неможешъ убѣди, а вѣрвамъ и никого друго изъ между хората. Или азъ не развращавамъ, или развращавамъ неволно; така щото ти и въ двата случая лъжешъ. Ако ли азъ развращавамъ неволно, то такъва по неволя грѣшници законътъ предписва не тука да бжджтъ привиквани, а да ги учи и вразумява чловѣкъ насамъ; защото е явно, че щомъ се вразумяше прѣстанж отъ да правя това, което неволно правя. А ти си отбѣгвалъ отъ да се събирашъ съ мене и никога не си пожелалъ да ме поучишъ; напротивъ привиквашъ ме на сждъ тука, гдѣто по законътъ се привикватъ ония, които трѣбва да бжджтъ наказани, а не ония които иматъ нужда отъ поука.

XIV. Ето сега е вече явно, мъжие атиняне, онова, което казахъ, че Мелитъ никога и ни най малко не се е погрижвалъ за тия нѣща. Бакто и да е, кажи ти намъ, Мелите, като какъ, казвашъ ти, развращавамъ азъ юношитѣ? Не е ли явно, че споредъ твоего писмено донесение, азъ ги учж да признаватъ не онѣзи богове, които града признава, а други божества нови? — Не ли тия нѣща като проповѣдвамъ, казвашъ ти, развращавамъ? — Именно това е то което азъ казвамъ. — Заклевамъ те, прочее, въ тия сжщи богове, за които сега се говори, разясни това ти нѣщо още по-ясно и на мене и на тѣзи тука присжтствующитѣ мъжие — сжднитѣ. Защото не можж да разберж: да ли казвашъ ти, че азъ учж да се вѣрва какво има нѣкои богове (слѣдователно и самъ азъ вѣрвамъ че има богове, и несъмъ съвсѣмъ безбожникъ та и не беззаконствувамъ въ това отношение) но не оная, които града има, а други, и това е то което ти ми ставишъ въ вина, че други богове доущамъ? Или пакъ казвашъ, че и азъ никакъ не признавамъ богове, та и другитѣ учж на това? —

— Това казвамъ, че ти никакъ не признавашъ богове.

— О чудноватий Мелите, че защо казвашъ ти това? Да ли че не вървамъ както другитѣ хора, каквѣ слънцето и мѣсецътъ сж божества?

— Не, заклевамъ се въ Зевса, мжжие сждейски, той не върва това, понеже казва, че слънцето е каменъ, а мѣсечината земя.—

— Ти, види се, любезний Мелите, Анаксагора обвинявашъ. Да считаашъ тѣзи, които ни слушатъ, за толкозъ невѣжди въ писанията, щото да не знаятъ, че съчиненията на Анаксагора Клазоменийскій сж пълни съ такива мнѣния, значи да ги унижавашъ. Мигаръ юношитѣ отъ менъ учатъ ония нѣща, които тѣ могатъ най-сжкпо за една драхма да научятъ отъ сцената (оркестрата) и да се присмиватъ на Сократа, ако би той зелъ тия и други негѣпости да показва за свои Но, ради Зевса, истина ли ти считаашъ, че азъ не признавамъ ни единъ богъ? —

— Навѣрно не, ради Зевса, ти не признавашъ никакво божество. —

— Ти вече, Мелите, както изгледа, и самъ себе си не вървашъ. Така, мжжие атиняне, менъ се вижда този твърдѣ голѣмъ псувачъ и нахалникъ, и че е написалъ това обвинение просто отъ нахалство и разглезеностъ и дѣтинство; защото изглежда като да е съчинилъ гатанка и като да испитва: „да ли ще може Сократъ, мждрецътъ, да узнае, че азъ се гавря и самъ си противорѣчж, или ще можъ и него самаго да измамя та и другитѣ, които ме слушатъ?“ И навстина, мжжие атиняне, менъ се вижда, че той самъ на себе си противорѣчи въ обвинението, като да казваше: „Сократъ беззаконно постжля, като не признава богове, а пакъ отъ друга страна,—че признава богове“. Нѣма съмнѣние, че той се гаври.

XV. Нека сега наедно разгледаме, мжжие атиняне, какъ намирамъ азъ, че той именно това казва въ обвинението, а ти намъ, Мелите, отговаряй. Вне пакъ, мжжие сждници, споредъ както и въ началото ви молахъ, помнѣте да не негодувате, ако говорението ми бжде както съмъ си привикнжлъ. —

Има ли, Мелите, въ свѣта человекъ, който да признава челоуѣческитѣ работи а да не признава, че има человекъ? Нека с-га той отговаря, мжжие сждници, а не да бжбрия това и онова. Има ли нѣкой, който да не признава коньетѣ, а да допуца конярство? Или пакъ—който да не признава, че има свирачи съ цѣвници, а отъ друга страна—тѣмъ свойственнитѣ дѣла да не признава? Ако ти не желаяшъ да отговаряшъ, прѣвъсходнѣйший человекъ, то азъ казвамъ на тебе и на тѣзи, другитѣ, присжтствующи, че такива людие нѣма. Прочее отговори поне на слѣдующия въпросъ. Може:

ли нѣкой да признава, че има божественни дѣла, а божества да не признава? — Не може. —

— Болко ме зарадва, че най-сетнѣ принуждаванъ отъ съднитѣ отговори! Его вече ти казвашь, че азъ и самъ признавамъ и другитѣ учъ да признавать, че има божественни дѣла, било стари било нови та и споредъ твоята рѣчь божествени дѣла азъ признавамъ, а това си ти показалъ въ писменното си обвинение подъ влѣтва; ако прочее признавамъ божественното, става необходимо и божества да признавамъ. Не е ли така? Така е. Полагамъ, че ти си съгласенъ, понеже не отговаряшь. А божества не считаме ли ние било боговетѣ било тѣхнитѣ дѣтца?

Потвърдявашъ ли ти това или не? —

— Потвърдявамъ.

— И така понеже божества, споредъ твоего казване, азъ признавамъ, и понеже тия божества сж единъ видъ богове, то е съвсѣмъ вѣрно онова, което азъ преди малко казахъ, че ти ни предлагашъ загадка и се гавришь, каго казвашь, че азъ не признавамъ богове, а пакъ послѣ — че признавамъ богове, понеже признавамъ божества: ако ли пакъ божествата сж дѣтца на богове нѣкой побочни (*υῖφοι*) или отъ нимфи или отъ други жени, отъ които казвать че сж родени, кой отъ чловѣцитѣ би могълъ да признава, че има дѣтца отъ богове а богове не би признавалъ? — Това би било толкозъ неумѣстно, колкого ако нѣкой признава, че има конски жребеге и ослини мулета, а конье и осли не признава че има. Не е възможно, Мелите, ти да не си написалъ това обвинение или за да ни испиашъ, или пакъ като си недоумѣвалъ, какъва истинска вина да ми накликашь; а да можешъ ти да убѣдишь нѣкого, макаръ и колко годъ разсѣдѣкъ имѣющия, че единъ и сжщи чловѣкъ може да вѣрва какво има божественни и божески работи, и пакъ сжщия да не доуща нито богове нито герои, това по нѣкой начинъ не е възможно.

XVI. И така, мѣжше атиняне, за че не постъживамъ прѣстѣпно, споредъ какго Мелитъ ме обвинява, чини ми се нѣма нужда отъ по-дълго оправдание, а доста е и това, което казахъ; а онова което, както по преди говорихъ, ми е причинило голѣма и между много хора омраза, добрѣ знайте, че е истина. И менѣ ще наддѣлѣе, въ това сждилище, ако ми наддѣлѣе, не Мелитъ или Анитъ, а враждата и завѣсгята на множеството. Тѣ сж които и други мнозина и добродѣтелни хора сж погубили и, види се, ще погубвать; и не е никакъ чудновато, ако то нѣма да се спре на мене.

Но може би нѣкой да каже: „Не срамуваш ли се, Сократе, дѣто си се вилѣлъ въ такива работи, които те излагатъ сега въ опасностъ да погинешъ?“ На такъвъ азъ бихъ справедливо възразилъ, че ти, человекче, не говоришъ праведно, ако мислишъ че оня, който може да принесе каква годѣ полза, колкото малка и да е тя, трѣбва да има предъ видъ опасността да не умре или изгодата да живѣе, а не само да внимава на едно нѣщо, да ли справедливо постѣжива или несправедливо, и дѣлата му да ли приличатъ на дѣла на добродѣтеленъ или на лошъ человекъ. Споредъ твоего казване недостойни за почитъ би били полубоговетъ, които сѣ паднали подъ Троя та и другитѣ, както и синътъ на Тетидя, който за да не прѣтърпи позоръ, до толкозъ прѣзрѣлъ смъртѣта, че при желанието му да погуби Хектора, когато майка му богинята му рекла, чини ми се, така нѣкакъ *„чадо, ако накажешъ убиеца на твоя приятель Патрокла, и убиешъ Хектора, ти самъ ще умрешъ; защото тутакси, казала му, слѣдъ Хектора гибельта ти е готова“* той като чулъ това, прѣзрѣлъ смъртѣта и опасността и побоялъ се да остане живъ бидейки лошъ и не отмѣстилъ за приятелитѣ си. *„Тутакси, казва, нека да умрѣ, слѣдъ като накажѣ онеправдившитѣ, та да не останѣ подсмѣшнице при джовиднитѣ кораби безползена тяжестъ на земята.“* Да не мислишъ, че го е било грижа отъ смъртѣта и опасността? Тѣмо така е, мъжне атиняне; длъжностъ человеку е да устои на поста си, било че него той самъ намиранай-почтенъ, било че на него е поставенъ отъ началника си; и чини ми се, че той трѣбва да остане на него въпрѣки всѣка опасностъ, защото въ сравнение съ позора и смъртѣта всичко друго не е нищо.

XVII. И тѣй азъ бихъ ужасно постѣпилъ, мъжне атиняне, ако, по заповѣдъ на архонтитѣ ⁶⁾, които вие бѣхте избрали да ми началствуватъ и въ Потидея, и въ Амфиполи, и въ Дилионъ, азъ тогава, гдѣто тѣ ме поставеха стоехъ и както всяки други излагахъ се на опасностъ да изгубя живота, а ако при повелението божие, съ което, както азъ съмъ привикналъ да мисля, ми се заповѣдва да прѣкарвамъ врѣмето въ философствование и въ испитване себе и другитѣ, азъ се побоехъ било отъ смъртъ било отъ друго нѣщо и напустнехъ поста си. Да, ужасно би било това, и тогава отистина справедливо би ме теглилъ нѣкой сѣдъ, че не признавамъ богове, не се повинувамъ на оракула, боя се отъ смъртъ, и мисля се за мѣдръ, когато не съмъ. И наистина, боянието отъ смъртъ, о мъжне, не е друго нищо, освѣнъ да се счита человекъ че е мѣдръ, когато не е; защото то е да се показва, че знае онова

що не знае. А никой не знае смъртта — никой не знае дори и това, не е ли тя у човѣка най-голѣмото отъ всичкитѣ блага. И все пакъ хората се боятъ отъ нея като да знаеха, че тя е най-голѣмата отъ всичкитѣ злини. И не е ли най-достоосѣдително невѣжество да мисли човѣкъ, че ужъ знае онова що не знае? Азъ пакъ мжже атиняне, и въ това отношение, може би, по това се отличавамъ отъ многото люде, и по това бихъ нарекълъ себе си по-мждъръ отъ друго, че като не знажъ достаточнo работитѣ въ онзи свѣтъ, така си и мисля, че не ги знажъ. А че беззаконствуванieto и не покорствованието къмъ по-горния си, билъ той човѣкъ или богъ, е лошо и срамотно, това азъ знажъ. Поради това азъ нѣма да се боя и да отбѣгвамъ онова, за което не можъ да знажъ добро ли е то, повече отъ колкото се боя и отбѣгвамъ злото, което ми е познато че е зло. Така щото, ако вие сега ме пуснете, като не повѣрвате Анита, който каза, че или още отъ начало не би трѣбвало да бждъ привиканъ тука, или когато съмъ привиканъ, необходимо е да бждъ погубенъ, като ви говоря, че, ако би да избѣгнж смъртта, дѣтцата ви, които вече слѣдватъ учението на Сократа, всички съвсѣмъ ще се развратятъ, и ако надъ това отгорѣ вие ми кажете: „Сократе, ние сега нѣма да повѣрваме Анита, и ще те отпустимъ, но пакъ съ това условие, щото ти вече да не се занимавашъ съ таково ислѣдване нито съ умствувание; ако ли се уловишъ, че правишъ пакъ сжщото, ще загинешъ,“ ако прочее, както казахъ, ме пуснете подъ това условие, щехъ да ви кажъ, че азъ васъ, мжже атиняне, почитамъ и обичамъ, но повече ще послушамъ бога, нежели васъ, и до когато дишамъ и можъ, нѣма да прѣстанжъ отъ да философствувамъ и да предлагамъ на всякого отъ васъ, когото срѣщна, убѣждения и доказателства, говорящъ както съмъ привиканъ: „почтениѣиши мжжу, като си гражданинъ на Атини, на най-великия и най-славния по мждростъ и сила градъ, ти не срамувашъ ли се дѣто се грижишъ за да имашъ колкото е възможно повече пари, слава и почетъ, а пакъ за благодарумие, за истина, за душата, за да бжде тя колкото е възможно по добра, да не хаешъ нито да се грижишъ? И ако нѣкой отъ васъ се подвоуми и рече, че се грижи за това, нѣма тутакси да го оставя и да си отиджъ отъ при него, а ще го запитвамъ, ислѣдвамъ и разузнавамъ, и ако ми се покаже, че той не е приобрѣлъ добродѣтель, а си я приписва, ще го изобличжъ, че у него най-висшитѣ нѣща се унижаватъ, а най-долнитѣ се считатъ за много важни. Тѣй ще се отнесжъ азъ и спрямо по-младъ и спрямо по-старъ—съ когото и да ми се случи да се срѣщна—и съ иностра-

яецъ и съ атинянинъ, а още повече съ атинянетѣ, колкото сж ми по-близни по плѣме; защото добръ знайте, тѣй заповѣда богъ. — Азъ даже мисля, че за града вие неможете намѣри по-голъмо благо отъ моето служение богу; защото при отиванието ми насамъ натамъ азъ нищо друго не правя, освѣнъ убѣждавамъ и по-младетѣ и по-старитѣ изъ помежду ви, ниго за тѣлото нито за пари да се грижатъ по-напредъ и повече отъ колкото за душата, за да я направятъ най съвършенна, като мнѣ говоря, че не отъ паритѣ се ражда добродѣтель, а отъ добродѣтелята — пари както и всички частни и общественни блага за хората. Ако прочее тия нѣща като говоря развращавамъ юношитѣ, то тѣ би били огисгина врѣдо носни; ако ли нѣкой казва, че азъ по-друго нѣщо отъ това което казахъ говоря, той не казва нищо. Надъ това ще ви кажж още, мжжие атиняне, че повѣрвате ли не повѣрвате ли Анита, пуснете ли ме, не пуснете ли ме, азъ никога нѣма другоаче да погжпямъ, па ако ще би да ми се падне много пакти да умрѣ.

XVIII. Не шумѣте, мжжие атиняне, а устойте на онова за което ви се молахъ — да не негодувате за ония нѣща, които ще говоря, а да внимавате; защото, споредъ както азъ мисля, вниманието ще ви ползува. Его азъ мисля да ви кажж и други нѣкои нѣща, за които може би вие ще подигнете врява, но недѣйге прави това. Знайте добръ, че ако вие убиете мене, такъвъ человекъ — какъвто азъ описвамъ себе си, вие нѣма мене да повредите повече отъ колкото себе си. Мене нѣма да поврѣди ни Мелитъ ни Анитъ, та и неможатъ; защото азъ мисля, че не си е въ реда, щото на по-добрия человекъ да му пакости по-долний. Да предположимъ, че той ще ме убие, или изгони или опозори. Но това е голъмо зло само по неговото или пакъ по мнѣнието на друго нѣкого, а по моето мнѣние то не е зло. Напротивъ, азъ считамъ много по-голъмо зло онова, което той сега прави — именно, да иска да погуби не-праведно единъ человекъ. Поради това, мжжие атиняне, сега азъ никакъ не защищавамъ себе си, както би си помислилъ нѣкой, а васъ, да не би съ осжждането мене, да се лишите вие отъ дадения вамъ отъ бога даръ. Защото, ако мене умъртвите, не лесно ще намѣрите другъ такъвъ като мене, който, макаръ смѣшно казано ала справедливо, съмъ приставенъ на града отъ бога, като на едъръ и ягъ конь, който конь, поради величината си бива доста троменъ, та има нужда да бѣде подпъргавяванъ чрѣзъ бодванке съ махмузъ. Тази именно длжнность, види се, по отношение къмъ града и е възложилъ менѣ богъ, за да събуждамъ, и убѣждавамъ и мѣрия всѣкого одного и никакъ да не прѣставамъ а цѣлъ день то при

единъ то при други да присѣдвамъ. И наистина, граждани, други такъвъ нелесно можете да имате, поради това, ако мене повѣрвате, ще ме пощадите. Но може би вие, разядосани, като разбуденнитѣ отъ сънъ, ме гласнете, и слушащи Анита, лесно ме погубите, та послѣ останалии си животъ да си прѣминете въ сънъ, ако би, богъ грижаци се за васъ, не ви проводи друго нѣкого. А че азъ съмъ такъвъ, какъвто богъ ме е далъ на града, ще разберете отъ слѣднето: Не изглежда на чловѣчески разчетъ това дѣто азъ съмъ занемарилъ всичкитѣ си работи и търпя отъ толкозъ години домашнитѣ неустройства, а отивамъ всякога да се занимавамъ съ вашитѣ работи, разговарящи съ всѣкого едного отдѣлно като баща или пакъ по-старъ братъ и убѣждающъ да се залѣга за добродѣтеля. И имало би нѣкаква си причина да постѣпямъ тѣй ако чрѣзъ това азъ да съмъ гонилъ нѣкаква изгода и да съмъ вземалъ заплата за наставленията си, а сега и вие сами видите, че моитѣ обвинители, колкото безсрамно и да влѣветяха въ всичко друго, пакъ не можеха да бждятъ и до толкозъ безстыдни, та да прѣдставятъ свидѣтелъ за-че азъ съмъ нѣкога било взелъ било искалъ заплата. И чини ми се, че моята бѣдностъ е достаточенъ свидѣтелъ на истината, която исказвамъ.

XIX. Може би ще се види чудновато, дѣто азъ ходя отъ мѣсто на мѣсто и всячески се старая да съвѣтвамъ, а публично не дерзнавамъ да влезъ въ вашето събрание и да съвѣтвамъ града. Причината на това сте много пжти слушали отъ мене: азъ съмъ често говорилъ, че у мене се проявява нѣщо божественно и свѣрхчловѣчно—вжтрѣшенъ гласъ, което нѣщо и Мелитъ осмива въ обвинението. При все това азъ още отъ дѣтинство слушамъ въ себе си нѣкакъвъ си гласъ, който, когато се появи, всякога ме отвърща отъ онова, което съмъ искалъ да направя, а никога не ме подканя. Ето тоя гласъ е който ми забранява да се занимавамъ съ политически работи, и чини ми се, много умѣстно ми забранява; защото добръ знайте, мъжие атиняне, че ако да бѣхъ азъ отъ отдавна врѣме захванълъ да се занимавамъ съ общественитѣ работи, отдавна щѣхъ да съмъ загинѣлъ, и нито вамъ нито менѣ си не щѣхъ да съмъ принесълъ никаква полза. И не дѣйте ми се сърди за дѣто говоря истината; нѣма чловѣкъ който би могълъ да се спасе, когато се противи съзнателно било то вамъ, било на друго нѣкое народно-събрание, и когато прѣпятствува да се вършатъ неправди и беззакония въ града. И така става нужда щото истинно борящия се за правдата, ако иска да запази живота си, макаръ за малко врѣме, да си стои на страна и да не се мѣша въ общественитѣ работи.

XX. За тѣзи нѣща азъ можъ да ви представи доказателства силни—не думи, а онова което вие цѣнитѣ—дѣла. Слушайте, прочее, онова щото ми се е случвало, за да узнаете, че нищо не може да ме отвърне отъ справедливото, дори и когато съ смъртъ ме заплашватъ да ме погубятъ, щомъ не послушамъ; азъ ще ви кажъ нѣще, което ще ви се види възтежичко и досадно, но то е истинно. Азъ, мъжие атиняне, никога никаква правителствена служба не съмъ заемалъ, освѣнъ дѣто съмъ билъ съвѣтникъ ⁷⁾. Случило се бѣше нашето колѣно Антиохидата да сенаторствува (да е на реда си въ пританвята), когато вие искахте скупомъ да сждите десетмината полководци ⁸⁾ за дѣто не погребли падналитѣ при морското сражение. Такъво сѣденше, споредъ както отпослѣ на самитѣ васъ се показа, не бѣше съгласно съ законитѣ. Тогава само азъ единъ отъ сенаторитѣ (пританейтѣ) ви се въспротивихъ да не правите нищо вънъ отъ законитѣ, и подадохъ противенъ гласъ, и макаръ че и риторитѣ бѣха готови да ме обвинятъ и да ме дадѣтъ подъ стража, па и вие искахте това и крисахте, азъ счетохъ че съмъ длъженъ повече да бѣдъ на страната на закона и правдата и да бѣдствувамъ, нежели да се побѣя отъ затворъ или смъртъ и да бѣдъ съ васъ, които не сѣдяхте право. И това станъ още когато градътъ се управляваше демократически. Когато же настана олигархията, Тридесетѣтъ привикаха мене съ други още четирма въ Кржглата Палата (Ῥέζλον) ⁹⁾ и ни заповѣдахъ да доведемъ изъ Саламинъ Леона Саламинца, за да го погубятъ. Много такива приказания тѣ и на други мнозина давали като желаяли, колкото се може да увеличатъ повече броя на виновнитѣ. Тогава азъ пакъ не съ думи а на дѣло доказахъ, че смъртъта за мене, да се изразя по-скромно, нищо не значи, а всичката ми грижа е да не би да направя нѣщо несправедливо и нечестиво. Така щото онова правителство, колкото силно и да бѣше, не можа да ме уплаши та да ме накара да извършъ нѣщо несправедливо, но когато излѣзохме отъ Кржглата Палата, другитѣ четирма отидоха въ Саламинъ и доведоха Леона, а пакъ азъ се отдѣлихъ отъ тѣхъ и отидохъ доша си. Може би азъ за това нѣщо да загинехъ, ако да не бѣше онази власть на Тридесетѣтъ Тирани изчезнала. А за тия нѣща вамъ можѣтъ мнозина свидѣтелствува.

XXI. Мислите ли, прочее, вие, че азъ бихъ могълъ да проживѣмъ толкова години, ако да бѣхъ вършилъ общественни длъжности, и, дѣйствующъ както подобава добродушному чловѣку, помагахъ на правитѣ, и както слѣдва, поставехъ това по-горѣ отъ всичко? Никакъ не, мъжие атиняне; та и никой другъ не би могълъ да до-

стигне до такъва старостъ. При това цѣлий мой животъ, не само при извършването на какви и да било общественни дѣла, но и въ частнитѣ ми занимания, е такъвъ, че азъ никога и никому не съмъ отстъпялъ ни на друго нито на никого отъ оиѣзи, които клѣветницитѣ ми наричатъ мои ученици ¹⁰⁾. Азъ никога никому не съмъ билъ учителъ. Ако ли нѣкой е желаялъ да слуша думитѣ ми, когато съмъ изпълнявалъ обязанността си, билъ той младъ билъ по възрастень, никому не съмъ запрещавалъ. При това азъ не съмъ отъ ония, които, ако зематъ шари, разговарягъ, ако ли не зематъ, не разговарягъ; но еднакво позволявамъ на богатъ и на бѣденъ да ме запишва, а който желае, може само да отговаря, като ислушва запитванията ми. По право азъ не можъ да земж на себе си това — добъръ ли става нѣкой изъ моитѣ слушатели или не; защото азъ никому отъ тѣхъ не съмъ обѣщавалъ уроци, нито пакъ съмъ училъ нѣкого нѣщо. Ако ли пакъ нѣкой казва, че ужъ билъ научилъ или слушалъ нѣкого отъ мене на самъ нѣщо по-друго отъ онова което всички други сж слушали, добръ знайте, че той не говори истина.

XXII. Ами пакъ защо ли нѣкои твърдѣ обичатъ да прѣкарватъ дълго врѣме съ мене въ разговорание? Вие чухте, мжжие атиняне, азъ ви исказахъ всичката истина, че моитѣ слушатели съ удоволствие слушатъ, когато азъ испитвамъ ония, които се мислятъ за мъдрецъ а въ сжщность не сж; слушатъ съ удоволствие това, защото то не е неприятно. А менѣ, споредъ както ви казахъ, това ми е отъ бога заповѣдано да го вършж и чрѣзъ оракула, и чрѣзъ сънища и чрѣзъ всички срдѣства, съ които нѣкого божественната воля си е послужвала, за да се искаже челоуѣку и да му предпише да извърши нѣщо. Това, мжжие атиняне, е и истинно и лесно доказуемо. И наистина, ако азъ едни отъ по-младитѣ развращавамъ, а други вече съмъ развратилъ, трѣбвало би, ако нѣкои, като станали по възрастни, разбрали, че когато били млади азъ нѣкого съмъ ги нѣщо лошо съвѣтвалъ, сега тѣ сами да излѣзатъ тука да ме обвинятъ и да искатъ наказанието ми. Ако ли тѣ сами не би поискали да направятъ това, трѣбвало би нѣкои отъ тѣхнитѣ домашни — бащи и братия и другатѣ имъ родственници сега да си спомнятъ, да ли сж пострадали нѣщо зло роднитѣ имъ и да поищеха моего осжждане. Още повече, че мнозина отъ тѣхъ виждамъ да присжтствуватъ тука, и първо ето този Бритонъ, мой врѣстникъ и едномахаленецъ, бащата на Бритобула; послѣ Лизаниасъ Сфитгинецътъ, бащата на тогози Еслина. Има тука още и такива на които братията сж имали често разговоръ съ мене: Никостратъ, напримѣръ, Теодотидовия синъ и брата на Теодота (но

Теодотъ е вече умрѣлъ та нѣма нужда отъ братовата му защита,) ето и Паралосъ Димодиковия синъ, на когото Теагисъ бѣше братъ. Па и Адимантъ Архистонвия, на когото братъ е този Платонъ, и Вантодоръ, на когото братъ е този Аполлоторъ. Та азъ можъ да ви кажъ и други мнозина отъ които поне нѣкого би трѣбвало особно въ рѣчта си Мелитъ да е представилъ за свидѣтель. Ако ли тогава той е забравилъ, то нека сега ги представи, азъ не прѣпятствувамъ, и нека говоря, ако има нѣщо таково да каже. Но, вие, мъжкие атиняне, ще намѣрите съвсѣмъ прогивното на всичко това т. е. вие ще намѣрите всякъя тия хора гогови да защитаватъ мене, развратителя и (спорець думигъ на Анята и Мелита) злостворителя на домашнитъ имъ. Истина е че може да бжде, сами тѣ като развратени да имагъ причина да искагъ да ме защищаватъ, но неразвращенитъ, като хора вече по-възрастни и тѣхни родственници, какво основание би могли да имагъ, менъ да помагатъ, ако не могатъ праводушие и сираведливосгъ и убѣдението имъ, че Мелитъ лъже, а пакъ азъ говоря истина? —

XXIII Его тия, а може би, и други такива, о граждани, сж доводитѣ, които азъ искахъ да кажъ за свое оираждане. Но може би нѣкой отъ васъ да вънегодува прогивъ мене, каго си припомни, че той самъ въ много по-маловажно дѣло отъ моето защитающъ се просилъ е и съ много сълзи умолевалъ сждитѣ, кто привеждалъ тука дѣцата си и други много родственници и приятели та тѣй колкото може повече да умилостиви сждитѣ, когато пакъ азъ нищо такъво не правя, макаръ че се намирамъ, чини ми се, въ много голъмо прѣмеждие. Може, прочее, нѣкой при такъво разсжждане да встане съ самолюбиего си прогивъ мене и, разгнѣвенъ за такъвото ми поведенне, да искаже ядтъ си чрѣзъ подаванието неблагоприятенъ гласъ за мене. Ако, прочее, нѣкой отъ васъ е тѣй настроенъ (което не допушамъ) то считамъ за прилично да му кажъ слѣдующето: и азъ, почтеннѣйший человекъ, имамъ свои роднини. Защото, за да кажъ съ Омировитѣ думи, и азъ не отъ джбъ и не отъ камень съмъ роденъ, а отъ хора, така щото и роднини си имамъ, и трима синове, мъжкие атиняне, отъ които единий е вече момче, а двамата още малки. Но все пакъ никого не съмъ привелъ тука, и нѣма да ви прося да не давате гласа си прогивъ мене. А защо азъ нищо такъво нѣма да направя? Това не е отъ надмѣнность, мъжкие атиняне, нито пакъ че ви не зачитамъ Мжжественно ли ще срѣщнахъ азъ смъртъта или немжжественно, това е другъ въпросъ. Не, доживѣлъ до такъва възраст, и спечелилъ такъво име, сираведливо било то или не, менъ се чини, че не добро би било и за моята

собственна и за вашата па и за честъта на народа да направя азъ такъво нѣщо. Ето вече на всички е извѣстно, че Сократъ се отличава съ нѣщо отъ множеството. Ако прочее ония изъ помежду васъ, които се отличаватъ било по мждростъ, било по каква да е друга добродѣтель, да постъпятъ тѣй, то би било срамъ за тѣхъ. Видвалъ съмъ азъ отистина много цхти, че нѣкои хора, макаръ и хора съ самомиѣние, когато попаднхтъ на сждъ, правятъ чудновати работи ; тѣ мислятъ че ще прѣтърпятъ нѣщо ужасно, ако умрхтъ, и като че ли ще останхтъ безсмъртни, ако вие не имъ земете живота. Такива хора, по место миѣние, срамятъ своя градъ. Тѣхъ като гледа чуждестранецъ ще предположи, че и най отличнитѣ отношение на добродѣтели наши съотечественници, които атинянетѣ предпочитатъ отъ себе си, и за да ги избиратъ за началници и за да имъ отдаватъ други още почести, по нищо и тѣ не различаватъ отъ жени. Тия нѣща, мжжие атиняне, ни ние не бива да ги правимъ, кивквито и да считаме себе си, нито пакъ вие трѣбва да ни допусхате, ако ние ги вършимъ ; напротивъ вие сте длжжи да покажете, че много повече ще осждите оногова, който въвежда тия печални сцени и съ това прави града си достоенъ за осмивание, нежели оногова, който си мълчи.

XXIV. Та освѣнъ неблагоприятното миѣние, което произлиза отъ този обичай, менъ се чини, атиняне, че е несправедливо както да моли человекъ сждника си, тѣй и чрѣзъ моление да избѣгва осжданието си ; тукъ той трѣбва да обяснява и да доказва. Защото сждникътъ е поставенъ не за да жертвува правдата а за да отсжда, та и клѣлъ се е не за да жертвува правдата на които му скимне, а да сжди по законитѣ. Трѣбва прочее нито ние васъ да приучваме, нито пакъ вие сами да навикновате да нарушавате клѣтвата си ; защото тогава и ние и вие ще бждемъ въ нечестие. Недѣйте мисли, атиняне, че по отношение къмъ васъ съмъ длженъ да вършх такива нѣща, които азъ считамъ недобри, несправедливи и нечестиви, както въ всѣко друго врѣме, кълнх ви се въ Зевса, така сжщо особно сега, когато имамъ да отблснх обвинението въ нечестие, наклюкано менъ отъ ей-тогава Мелита. Защото е доста явно, че ако да ви убѣждавахъ и съ моление принуждавахъ да прѣстхпите клѣтвата си, съ това щехъ да ви учж да не вѣрвате, че има богове, и по този начинъ, неумѣло защищающъ се, самъ себе си бихъ обвинявалъ, че не вѣрвамъ никакъ въ богове; по това никакъ не е тѣй. Защото азъ, мжжие атиняне, вѣрвамъ въ богове както ни единъ отъ моитѣ обвинители и предоставямъ вамъ и на бога да отсждите за мене така, както ще бжде най добръ и за мене и за васъ.

(Тука сждицитѣ гласоподаватѣ и гласовитѣ имѣ събрани, б олтинството
сѣ 281 гласа противъ 275 обявѣя Сократи виновенъ. Сократѣ продължава).

XXV. За да не негодувамъ, о мъжне атиняне, противъ станѣлото събитие, дѣто ме осѣдихте, има и други много причини, които ме каратъ съ спокойствие да си го представамъ, на още то не бѣ ми и неочаквано. А онова, което ме много повече очудва, то е дадения брой гласове *за* и *противъ*. Защото и азъ самъ не вѣрвахъ, че толкова малка ще бѣде разликата, а—много по голѣма; ала както сега се вижда, само три гласа ако бѣха испаднали въ полза щехъ да бѣдѣ освободенъ. Огъ Мелитовото обвинение, прочее, както ми се вижда, и сега съмъ освободенъ, и не само съмъ освободенъ, но става за всички явно, че ако Анитъ и Ликонъ да не бѣха присъвокупили своитѣ клѣветения, Мелитъ щещъ още да бѣде осѣденъ да плати хилядо драхми, понеже не получи една пета отъ всичкитѣ гласове.

XXVI. Прочее този человекъ иска за мене смъртно наказание. Нека така да е. Ами азъ сега какво наказание самъ да си избера? Явно е че такова каквото заслужвамъ. Какво прочее заслужвамъ? Какво наказание тѣлесно трѣбва да истегля, или каква глоба да платя, за дѣто съзнателно занемаряхъ ония нѣща, за които повече отъ хората се най много граватъ, именно, събирание имание, въртение голѣмо домакинство, командование войски, ораторствованието и влиянието на народнитѣ събрания и на другитѣ власти; за дѣто не съмъ вземалъ участие ни въ създаватията ни въ възбунтуванията, които често ставаха въ республиката, като си мислехъ, че за менъ е по прилично да не отивамъ тамъ, гдѣто щехъ да издожж живота си, безъ да бѣдѣ полезенъ ни вамъ ни менѣ, а избрахъ си единъ видъ животъ, койго да ми позволява на всякого отдѣлно да правя най голѣмо благодѣяние, както казахъ, като се мъчахъ отдѣлно всякого едного отъ васъ да убѣждавамъ, че за нищо отъ онова що е около него да не се грижи повече отъ колкото за самага себе — какъ да стане по добродѣтеленъ, и по мъдръ, и че нищо отъ онова що принадлежи на республиката да не го занимава повече отъ колкото самага республика, а така също и за всячко друго. Какво прочее заслужвамъ да прѣтърпя като съмъ такъвъ. — Нѣщо добро, навѣрно, мъжне атиняне, ако трѣбва по заслугитѣ си да се награждава человекъ, и то добро такъво, което да ми прилича. Прочее, какво добро прилича на единъ бѣденъ благодѣтель человекъ, койго има нужда да бѣде на спокойствие, за да може да размишлява само за

ползовититѣ съвѣти, които трѣбва да ви дава? Не е ли, че много по прилично е такъвъ единъ челоувѣкъ да се храни въ Пританионъ, ¹¹⁾ отъ колкото — той или оня изъ помежду ви, който напредварилъ въ Олимпийскитѣ вгри съ прѣпусканье конье, или съ колесница двуконва, триконна или четериконна; защото този послѣдний ви прави само мнимо щастливи, а пакъ азъ ви учъ да бждете на дѣло таква; и той нѣма нужда отъ храна, а пакъ азъ имамъ. Ако прочее трѣбва справедливо да присядя себе си на каквото заслужвамъ, азъ присяждамъ себе си — да бждъ хранень въ Пританионъ.

XXVII. Може би че и тия нѣща, които говоря сега, ви се видятъ както ония за смияваннето и измолваннето, сирѣчь че ги говоря за гавра; но това не е така, о мжжие атиняне, а ето какъ. Азъ съмъ дълбоко убѣденъ, че никой челоувѣкъ не съмъ онеправдалъ съзнателно; но васъ азъ не можъ убѣди въ това; защото малко врѣме разговаряхме помежду си; а пакъ азъ мисля, че ако да имаше у васъ законъ, както има у много други народи, насмъртъ да не осждаете само въ единъ день, но прѣзъ много дни, бихте се убѣдили: сега же не е лесно въ толкова кратко врѣме толкозъ закорѣнѣли клѣвети да изкоренъ. Еднажъ убѣденъ, че азъ никого не съмъ онеправдалъ, още по малко себе си ще онеправдая, и самъ да кажъ противъ себе си, че заслужвамъ да прѣтърпя нѣкое зло и самъ себе си да присядя на такова. Че отъ какъвъ страхъ да направя азъ това? Да не би за да не испатя онова, което ми Мелитъ наклика, за което азъ казахъ, че незнаж добро ли е то или зло? И вмѣсто него да избержъ нѣщо отъ ония, които добръ знаж че сж злини, и за него да се обявя достоенъ? А що да избержъ? затворъ ли? И защо ми е потрѣбвало да живѣе въ темница робствующъ всекога на поставената власть на Единадесетъ? ¹²⁾ Или да избержъ глоба и да стоя въ темница, до гдѣ спечеля да се отплатъ? Ала това е за мене пакъ същото, което преди малко казахъ: азъ нѣмамъ пари отъ гдѣ да платъ. Или да предпочетъ — изгнание? Защото може би на това и вие ще склоните. Трѣбвало би да съмъ много животолюбець, о мжжие атиняне, и до толкозъ не смисленъ, да неможъ да разберъ, че, ако вие, които сте ми съграждане, не можахте да тършите моитѣ разговори и рѣчи, които ви сж толкозъ дотегнали, и омржзнали, та искате сега да се оттървете отъ тѣхъ, то чуждитѣ още по малко ще ги понесжтъ. Никакъ не, мжжие атиняне. Добъръ ще бжде оня животъ, когато излезъ азъ отъ тука мжжъ на такана възраст, и захванъ единъ слѣдъ други градъ за градъ да мѣнявамъ и да живѣж тамъ като изгнаникъ! Защото азъ добръ знаж, че дѣто и да отидъ, младитѣ ще

дохсждатъ да ме слушатъ, кога говоря, както е тука. И тогава прогоня ли ги азъ, тѣ сами мене ще испядатъ, като убѣдятъ по старитѣ си; не прогоня ли ги азъ, тѣхнитѣ бащи и роднини ще ме пропядатъ заради тѣхъ.

XXVIII. Но може нѣкой да каже: Ами ако си мълчишь и мирувашъ, Сократе, не можешъ ли си излѣзнѣлъ вѣнъ отъ насъ живѣ? — Ето въ това ми е най мѣчно да убѣдѣж нѣкои отъ васъ. Защото, ако кажж, че това е непокорностъ на бога и слѣдователно невъзможно ми е да си мълчж, вие нѣма да ме повѣрвате, а ще помислите, че се подигравамъ; ако ли пакъ кажж, че за чловѣка най голѣмото благо е той всякъдневно да размишлява и да разговаря за добродѣтелята, и за другитѣ ония нѣща, за които вие слушате мене да разговарямъ, когато и себе си и други испитвамъ, и че животъ безъ испитвания не е животъ достоенъ за чловѣка, вие още по-малко ще ме повѣрвате. Твѣя нѣща сж тѣй, о мжние атиняне, както азъ казвамъ, но не е лесно да ви убѣдѣж. При това азъ некога не съмъ привикнѣлъ да считамъ себе си достоенъ за какво да било зло. Ако да имахъ пари, бихъ се откупилъ съ пари, колкото бихъ могълъ да платѣж; защото това никакъ не би ме поврѣдило; но сега не можж да направя това, защото нѣмамъ, освѣнъ ако бихте искали съ толкозъ да се откупя, колкото бихъ азъ могълъ да платѣж. А види се, могълъ бихъ да ви платѣж около една сербренна мина; та за толко и присжждамъ себе си. Но ето. мжние атиняне, този тукъ Платонъ, Критонъ, Кривулъ и Аполлдоръ подканитъ ме да склонѣж да платѣж тридесетъ минни, и тѣ поржчителствуватъ; прочее, най сетнѣ скланямъ и на такава глоба, а поржчителѣ предъ васъ ще ми бждѣтъ тѣзи заможни за да платятъ толкова сребро хора.

(Тукъ сждитѣ гласоподаватъ втори нжтъ, и смъртното наказание противъ Сократа се произнася. Той продължава.)

XXIX. За дѣто не сте имали тѣрпението да почакате малко врѣме (догдѣ ми дойде естественната смъртъ), вие, о мжние атиняне, ще се видите изложени да бждете предмѣтъ и причина на ония, които ще искатъ да нападатъ този градъ, че сте умъртвили Сократа, чловѣка мждраго, защото онѣзи, които ще искатъ да нападатъ града, ще говорятъ че съмъ мждръ, ако и да ме съмъ такъвъ. Ако ли пакъ почакахте малко врѣме, това сжщото отъ само себе си щеше да си стане: вие виждате вѣзрастѣта ми, колко много е напрѣднѣла и колко близу съмъ до смъртъта. Това, което казвамъ, говори не на вѣчки ви, а само на ония, които

подадох гласоветѣ си за осъжданието ми на смъртъ. А къмъ тѣзи сжщитѣ азъ отправямъ и слѣдующето. Може би да мислите, о атиняне, че азъ падамъ отъ недостатъкъ на думи, съ които да можехъ ви убѣди, ако да мислехъ, че трѣбва да направя и искажъ всичко за да избѣгна присъдата. Това съвѣтъ не е така. Причина на паданието ми е отистина недостатъкъ — но само не недостатъкъ на думи, а недостатъкъ на дързость, на безочливость и на нежелание да гогоря предъ васъ такива нѣща, които навѣрно вамъ ще бждтъ найугодни да слушате, когато бихъ, сирѣчь, плакалъ и ридалъ, правилъ и говорилъ много други такива, както казахъ, недостойни за менъ нѣща, каквито вие сте привикнали да слушате отъ другитѣ. Не, азъ и напредъ не съмъ ималъ обичай, поради опасность да извършвамъ нѣщо унизително-рабско, та нито сега се разкайвамъ, че тѣй се защищавахъ. Напротивъ азъ предпочитамъ по този начинъ защищаванъ да умрж, нежели — по она и да живѣж. Защото нито азъ нито други нѣкой, било въ сждилището или на война, не бива да устрѣмлява мислитѣ си къмъ това — съ какви да било срѣдства да избѣгне всичко що може да му причини смъртъ. И найстина, кой не знае, че и въ битката би могълъ да избѣгне смъртъта който захвърли оржжието си и припадне на молба предъ неприятеля ! Има и други още много срѣдства, при всяка опасность, за избѣгване смъртъта, стига да има нѣкой дързость да върши и да говори всичко. И така не е мжно да се избѣгне смъртъта, мжже атиняне, а много по-мжно е да се избѣгне злобата. Защото тя много по-бързо тича отъ смъртъта. Его и азъ сега, като по-троемъ и по-старъ, съмъ застигнатъ отъ по-мудната ; а пакъ мнитѣ обвинители, които обладаватъ пѣргавината и легкостата на младостъта сж подпаднали подъ властъта но по-бързата — на злобата. — Прочее азъ отивамъ да прѣтърпя смъртното наказание, на което сте ме осждили, а тѣ да се прѣдадтъ на злобата и на неправдата, на които сж осждени отъ истината ; и азъ настоявамъ за моето наказание, а тѣ — на тѣхното. Може би че тия нѣща тѣй и трѣбваше да бждтъ, и моето мнѣние е, че така е по-добрѣ.

XXX. Его слѣдъ това у менъ сега се поражда желание да ви попредскажъ нѣщичко, о мжже осждители ; защото сега съмъ азъ въ положение въ което хората, особено кога приближава да умржтъ, предсказватъ. И казвамъ ви, о мжже, които ме уморяватъ-че вамъ ще ви дойде, кълнж ви се въ Зевса, тутакси слѣдъ моятя смъртъ, много по-тежко наказание отъ онова на което мене обрекохте. Защото сега вие правите това съ надѣжда да се отгървете отъ да бжде избличаванъ живота ви ; но ще излезе, казвамъ ви,

свѣсъмъ противното: между васъ ще се появятъ много изобличители, които до сега азъ удържахъ, а вие дори и не забѣлѣвахте това; и тѣзи изобличители ще бѣдѣтъ толкозъ по-несносни, колкото сѣ по-млади, и тогава ще ви бѣде още по-досадно. Защото, ако мислите, че съ убивание хора вие ще можете да обезустите ония, които ви изобличаватъ за лошото ви живѣние, вие не разсѣждавате добръ; това сръдство за избавяние не е нито доста силно нито почтенно; сръдството, което би било най-лесното и най-почтенното, то не е турението другитѣ въ невъзможность да говорятъ, а съобразяванието своя животъ по начинъ като да бѣде чловѣкъ възможно най добродѣтеленъ. Его тия нѣща като предсказахъ вамъ, мои осѣдителю, оставямъ ви.

XXI. А съ васъ, монѣ оправдателю, менѣ би било твърдѣ приятно да се поразговорямъ за станжлото сега събитие, до когато архонгитѣ (Единадесетѣ) сѣ занети съ други работи, и до гдѣто не съмъ трѣгнѣлъ за тамъ, гдѣто като отидѣ, трѣбна да умрѣ. Постоите, прочее, още съ мене до това врѣме. атиняне. Его нищо не ни прѣчи да си поприказваме, до когато е възможно. Защото на васъ, като на мои приятели, азъ искамъ да обясня: какво значи това събитие, което ми се случва днесъ. Защото наистина, о мжтне сѣдници (а васъ като наричамъ сѣдници, справедливо ви давамъ това название) предъ мене нѣщо необикновенно стана. И дѣйствително оня тайнствененъ и божественъ гласъ, който въ по-прежнитѣ врѣмена бѣше всякога твърдѣ наврѣмененъ (πρωτό) и въставаше сръщу твърдѣ малки обстоятелства, когато мислехъ да извършѣ нѣщо неправо, сега пакъ, като ми се случиха такива, които и вие сами виждате, би счелъ чловѣкъ за най голѣмитѣ злини, божественный знакъ нито отзаранъ като излязяхъ изъ къщи за да дойдѣ тука, ми се въспротиви, нито като излязяхъ предъ този сѣдъ, нито като говорехъ нѣгдѣ, въ момента, когато искахъ да кажѣ нѣщо, както при други рѣчи често пѣти тоя гласъ мя е спиралъ на средата. А сега по тоза дѣло нигдѣ нито на нѣкое дѣйствие нито на нѣкоя дума ми се е въспротивилъ. Прочее, на какво могѣ да отдамъ това? — Азъ ще ви кажѣ: трѣбна това, що ми се случва днесъ, да е добро за мене, и слѣдователно ние никакъ непредполагаме право, като мислимъ, че смъртъта е зло. А за мене голѣмо доказателство за това е обстоятелството, дѣто не е възможно да не ми се въспротиви моя обикновенъ вътрѣшенъ гласъ, ако нѣмаше да направя нѣщо добро.

XXII. Нека размислимъ сега и върху това, има ли голѣма надѣжда, че смъртъта е добро. Умиранието е едно отъ двѣтъ — или че тоя който умира, става нищо, и се лишава за винаги отъ всяко

съзнание, или пакъ, спередъ както обикновенно говорятъ, то единъ видъ прѣселяване на душата отъ това земно мѣсто на друго. И ако предположимъ, че смъртъта е съвършено изгубване на всяко съзнание. вато дълбоко спанне, което чловѣкъ прѣспана безъ да бжде смущаванъ отъ никакви сънища или друго нѣщо, то тогава смъртъта би била чудесна печалба. Защото азъ съмъ на мнѣние, че ако би нѣкой поискалъ да избере оная нощъ, въ която е той спокойно спалъ та нито съвъ сънувалъ, и съпостави другитѣ дни и нощи на живота си съ тази нощъ, би трѣбвало, слѣдъ като размисли, да важе: колко други дни и нощи той по-добре и по-сладко отъ тази нощъ е прѣживѣлъ въ живота си, мисля, че не само простия смрътевъ но и самъ великий царь би намѣрилъ твърде малко други дни и други нощи, които да се сравнятъ съ оная. Прочее ако смъртъта е нѣщо такъво, то азъ казвамъ, че тя е голѣма печалба. Защото цѣлото нейно траяние нѣма да бжде освѣтъ само като една нощъ. Ако ли пакъ смъртъта е единъ видъ прѣселяване отъ тоя свѣтъ на други, и ако е иствна онова що се приказва, че тамъ сж всички до сега умрѣли, може ли да бжде по голѣмо добро отъ това, мъжие сѣдни? — Защото ако най сетнѣ нѣкой като отиде въ Ада (царството на Плутона), слѣдъ като се е избавилъ отъ тѣзи тукъ, които се мислятъ за сѣдни, намѣри тамъ истинскитѣ сѣдни, ония които тамъ, казватъ, раздавали правосѣдие: и Миносъ, и Радамантъ, и Аякъ, и Триптолемъ и толкозъ други отъ полубоговетѣ, които сж били справедливи прѣвъ живота си, може ли да бжде лошо това прѣселяване въ оня свѣтъ? — Какво не би далъ тоя или оня изъ помежду васъ за да може да прѣбивава съ Орфея, Музея, Исиода и Омира? Азъ поне бихъ склонилъ да умрѣ много пѣти, ако сж истинни тия нѣща. И наистина колко приятни и чудни разговори би вмагъ тамъ, когато се срѣщнаж съ Паламида и Аякса Теламонновъта и съ други нѣкой отъ едноврѣмешнитѣ, който е умрѣлъ по несправедливо осѣждане. Да сравнявамъ моитѣ страдания съ тѣхнитѣ, чини ми се нѣма да бжде неприягно. А най голѣмото ми удоволствие ще бжде да прѣминувамъ всичкото си врѣме въ испытание и изучаване тамошнитѣ както тукашнитѣ, за да узнавамъ, кой отъ тѣхъ е наистина мѣдръ и кой се мисли за такъвъ а не е. А какво не би далъ нѣкой, о мъжие сѣдни, за да поиспита оногова, който е повелъ противъ Троя една толкозъ многобройна войска, или пакъ Одиссея или Сизифа, и толкозъ други мъжие и жени? Да разговаря чловѣкъ съ тѣхъ тамъ, да бжде тамъ и да ги испытва трѣбва несъмнено да е особеннъ приятно. Навѣрно поне тамъ испытанието нѣма да бжде прѣстѣплене, което се наказва съ смрътъ. Защото и по-

други отношения онзисвѣтнитѣ сж по честити отъ този-свѣтнитѣ а още и по това, че тамъ тѣ сж безсмъртни, ако сж истинни прѣданията.

XXXIII. Имайте прочее, и вне, о мъжие сждши, твърда надежда на смъртѣта и проникните се отъ тази единствена и важна истина, че за добрия челоуѣкъ нѣма лошо ни при животъ а нито послѣ смъртѣта му, и че никога боговетѣ не занемарятъ ни интереситѣ му; така щото и това което сега се случва съ мене, не става случайно, и азъ съмъ убѣденъ, че за менъ е по добрѣ да се избавя отъ тукашнитѣ грижи и да умрж. Ето защо нигдѣ мѣ е свише предосторожение не ме предотврати, и азъ не негодувамъ противъ ония, които ме ослѣдихъ и които ме обвиниха, макаръ че тѣ ме ослѣдиха и ме обвиниха не съ такава мисль, а съ намѣрене да ми направятъ зло, за което заслужватъ да бждатъ порицавани.

Както и да е, ето каква милость искамъ азъ отъ тѣхъ: отгьстѣте, Атиняне, на синоветѣ ми, като ги наказвате съ тия сжщитѣ мъки съ които азъ съмъ мъчалъ васъ. Ако се покажатъ, че тѣ се грижеть било за снечелване пари било за друго нѣщо повече отъ колкото за добродѣтелята, или пакъ се мислятъ за нѣщо а не сж нищо, укорявайте ги, както азъ васъ съмъ укорявалъ, че не се грижатъ за каквогѣ трѣбва и че се мислятъ за нѣщо, когато не сж за нищо достойни. И ако правите така, тогава и самъ азъ та м моитѣ синове ще получимъ огъ васъ онова, което е сираведливо.

Но врѣме е вече да се разотидимъ—азъ за да умрж а вне за да живѣега. А кой отъ насъ отива на по доброто, никой незнае, освѣнь Богъ.

К Р ▲ Й.

Б Ъ Л Ъ Ж К И.

Стр. 130 *бѣл.* 1) Тукъ се подразбира комикътъ Аристофанъ, който въ своята комедия „Облаци“ е распространилъ най докачителни мнѣния противъ Сократа. Тази комедия е била представена първи пжтъ прѣвъ втората година отъ 89 Олимпиада сирѣчь около 22 години преди епохата въ която се предполага да е говорена тази вашита.

• 132 *бѣл.* 2) *Мина* е старобврѣменна грѣцка монета, която струвала 100 тогавашни драхми (равни на около 75 наши лева.)

- 139 „ 3). Мелитъ се опитвалъ въ лирическата и трагическа поезия, но нѣмалъ никакъ споука, тогава се рѣшилъ да напише хубави правила за пиитика. До колко му се удало и това вижда се отъ Аристофановата комедия „Жаби“, гдѣто сж турени на единъ уровеньъ съ „Карийскитѣ пѣсни“. А Карийцитѣ още Омиръ наричалъ „βαρβαροφώνους“. Когато представилъ на сѣда обвинението си противъ Сократа, Мелитъ билъ още младъ, но вече много мечталъ за себе си, и поради това Сократъ него по строго отъ другутъ избличава. Казватъ още, че Мелитъ е билъ единъ отъ чегирмата, на които Тридесетѣтѣ Тирани заповѣдали да доведжтъ въ Атини Леона отъ островъ Салминъ.
- „ 136 „ 4). Анитъ билъ по професия табакъ. Богатството му било причинъ за дѣго Тридесетѣтѣ Тирани, които твърдѣ много се стараяли да конфискуватъ частни имущества, го изгонили изъ отечеството му, поради което той могълъ да се вмъкне въ любовта на народа, и въ Атинската република той заемалъ доста важни длѣжности. Тѣзи негови случайни успѣхи разули гордостѣта му та зель много да мисли за себе и особно се сѣрдилъ на Сократа, когато той за обяснение на мислитѣ си земалъ за примѣри обушаритѣ, грѣшаритѣ, табакитѣ и др. т. и поради това Анитъ билъ най злий врагъ на Сократа.
- „ 136 „ 5). Ликонъ билъ това което Атинянегѣ наричали *демагогъ* и *риторъ*. Последното име не подходдало на всички ония които се мѣшали и говоряли върху общественитѣ работи. Споредъ Солоновитѣ закони въ републиката трѣбвало да има десетъ ритори натовзрени да предлагатъ на народа закони или пакъ най износни рѣшения. Ликонъ е билъ единъ отъ тѣхъ.
- „ 141 „ 6). Архонтитъ — *οἱ ἄρχοντες*. Тука Сократъ иска да каже за военачалницѣтѣ Калмиасъ Клеонъ, и Иппократъ, отъ които първий началствувалъ при сраженieto въ Делиумъ, вторий при сражението въ Амфиполисъ и третий при обсадата на Потидея. И въ третѣ тия сражения юначетвото на Сократа е засвидѣтелствувано отъ историчитѣ.
- „ 145 „ 7). Съмъ билъ съвѣтникъ — *ἐβούλευσα*. Въ тѣзи епоха сенатѣтъ (ἡ βουλή) въ Атини се е съсгонлъ отъ петсготинѣ души и се наричалъ — съвѣтъ на петѣтъ стотинъ — ἡ βουλή τῶν πεντακισίων. Членоветѣ на тоя съвѣтъ се наричали *βουλευταί*, атовата, думата *βουλεύω* значила членъ съмъ на съвѣта. По закона членоветѣ на тоя съвѣтъ се избирали съ жребие отъ всичкѣтѣ десетъ атически колена (*φυλαί*) и то по петдесетъ отъ всяка *φйла*. Всичкитѣ избрани за съвѣтници не изведнажъ съставлявали съвѣта, а се редували по колѣвна, и то всякое колѣвно, тѣй да се каже, дѣйствувало по 5 седмици или 35 дни. Прочие петдесетъ съвѣтници подъ името *πριτανεи* (*πρωτάνεις*) предсѣдательствовали въ народнитѣ събрания и въ сената. Тѣ се подраздѣляли още на петъ групи, и всякоя отъ тѣхъ управлявала една седмица.

- Стр. 145 Членовецъ на всякоя група десетица въ врѣме на управле-
нието се наричали *πρεβροι* — председатели. Но и тѣ не
всички всякоя день имали еднаква власть въ съвѣтъ а за
всяког отъ седемьтъ билъ назначенъ единъ день въ който
той председателствувалъ, държалъ кассата и печата и се
наричалъ *ἐπιστάτης* — настояникъ; длъжността пакъ на
остаиваитѣ трима отъ десетицата била просто да при-
сѣдствувать въ съвѣтъ. Колѣното на което принадлежали
пританейтъ се наричало — *κόλῳ, πριτανείονα*, а врѣмето 35
дни прѣвъ които едно колѣно управлявало се означавало съ
думата *πριτανεία*
- „ 145 „ 8). Десетѣтъ полководци — *τοὺς δέκα στρατηγούς*. Думата е
тука за десетѣтъ полководци, които удържали надъ Ла-
кедемонянетѣ морската побѣда при Аргинуси. Но понеже
тѣ сами не погребли надналитѣ въ сражението мъртви, а
оставили това на своитѣ замѣстници — таксиархи, то били
прѣддени на съдъ и осъдени на смъртъ.
- „ 145 „ 9). Въ кръжлата палата — *εἰς τὴν θέλον*. Кръжлата палата
или Толосъ е билъ едно здание кръгло и покрито съ сводъ
въ което пританейтъ се събирали да обѣдватъ.
- „ 146 „ 10). Мои ученици — *ἐπὶ τοὺς μαθητάς*. Тукъ Сократъ под-
разбвря Алкивида и Критиаса, които, споредъ мнѣнието на
народа, били получили лонитѣ прави и павици въ жи-
вота си и дѣятелноста си въ школата на Сократа.
- „ 150 „ 11). Пританионъ — *πριτανείον* е било здание въ крѣпостта
на Атина (Акрополисъ) гдѣто се пазили вѣконитъ на Солона
и гдѣто се хранили на общественни разноски овия, които
били направили важни услуги на държавата.
- „ 150 „ 12). Единадесетѣтъ — [*οἱ ἑνδεκά*] имали исполнителната
власть, тѣ се вземали отъ всяко колѣно по единъ, еденаде-
сетий билъ, тъй да се каже, дѣловодителтъ. Тѣхната обя-
занность била да привождатъ въ изпълнение опрѣдѣленията
на Севата, съ които опрѣдѣления виновния се присѣждалъ
на смъртъ.



**Писма отъ Мустафа Руб-а-дубъ Кели Ханъ, капитанъ на гемия,
до Асемъ Ханамъ, главень надзиратель на робитѣ на
Н. Височество Триполийскій Паша.**

отъ

ВАШИНГТОНА ИРВИНГА

(Прѣводъ отъ Английски).

I

Славний учениче Мохамедовъ, отъ това писмо ти ще узнаешъ че отъ нѣкое врѣме насамъ азъ ся намирамъ въ Нью Йоркъ — най-голямий, най-образований, най-великолѣпний градъ на Съединитѣ Щати въ Америка. Но защо ми ся менѣ неговитѣ наслаждения? Азъ ся скигама като робъ по хубавитѣ му улици и и съ тѣжно око поглеждамъ всѣко утро което мя заваря на заточение, далечъ отъ моето отечество. Жененитѣ христиени тукъ горчиво оплакватъ даже и най-кратковрѣменното свое отсѣтствие отъ домътъ си, макаръ въ него да оставятъ само по една жена да оплаква тѣхното отсѣтствие. Какви, прочее, трѣбва да бждѣтъ чувствата на злосчастниѣ твой сродникъ който толкозь врѣме ся намира далечъ отъ своитѣ двадесетъ и три тѣй горѣщо любими и покорно послушни жени въ Триполи? О, Аллахъ, нѣма ли твойтъ рабъ да ся възвърне въ своето отечество, и нѣма ли още веднѣжъ да види милчкитѣ си жени които свѣтятъ като розово утро въ неговата память и които сж красиви като Мохамедовата камила?

Но, колкото и да сж красиви моитѣ жени, могущий мой надзирателю, женитѣ на тая страна сж много по хубавици отъ тѣхъ. Даже и онии които тукъ кръстосватъ по улицитѣ съ голи рѣцѣ и шии (и пр. пр.), тѣй оскѣдно облѣчени щото дрехитѣ имъ едва можѣтъ да ги запазятъ отъ суровостъта на врѣмето и отъ опулениѣ очи на любопитнитѣ, и които, както ся види, ходятъ безъ ступани, сж прѣлѣстни като хурнитѣ обитающи райтъ на правовѣрнитѣ. Ако тогазъ тия които щрѣкльѣжѣтъ по улицитѣ безъ да има кой да се погрижи да ги прибере сж толкозь красиви, въобрази си, драгий приятелю, какви ще бждѣтъ очарованията на ония които

стоятъ затворени въ харемитѣ и на които никога не е позволено да излизать на вѣнъ ! Навѣрно въ областта на красотата, въ долината на грациитѣ, не ще ся намира нѣщо по неподражаемо хубаво.

При всичкитѣ очарования на тия невѣрници жени, тѣ иматъ единъ недостатъкъ който е крайно неудобенъ и пакостенъ. Ще ми повѣрвашъ ли, Асеме, че спорѣдъ както ми увѣри единъ отъ прочутитѣ тукашни дервиши (или доктори, както тукъ ги наричатъ), нѣма една нег'та частъ на тия жени имали душа ? Невѣроятно както това може да ти ся прѣдстави, по мой собтвенъ опитъ и по онова което чрѣзъ други съмъ можалъ да узнамъ, азъ съмъ наклоненъ да вѣрвамъ че тѣ притежаватъ тая чудовищна излишность. Въ скитанието си по улицитѣ азъ съ очи видѣхъ една благовидна господжа да има достатъчно душа въ себе си да издърпа до насита ушитѣ на свойгъ мжжъ, и космитѣ на брадата ми потрепераха отъ негодвание като видѣхъ униженото положение въ което плуждъ тия окаяни невѣрници. Увѣрватъ мя че нѣкои отъ тия жени имали до толкозъ душа въ себе си, щото да ся осмѣляватъ да нахлуватъ мжжки гащи ; но прѣдилагамъ че такива трѣбва да сж женени и добрѣ държани за юздитѣ, защото азъ не съмъ срѣщалъ до сега тѣй странно облѣчена жена. Казватъ още че имало жени, душитѣ на които не ся страхували и да кънжтъ ! Тако ми брадата на Великаго Омара, който ся молялъ по три пѣти на всѣкиго едного отъ стотѣхъ и двадесетъ и четири хиляди пророци на нашата вѣра и който прѣзъ цѣлий си животъ не е проклинжалъ освѣнъ веднъжъ, това което казвамъ е истина.

Иди въ джамията, мой Асеме, и възблагодари на священный нашъ пророкъ дѣто ся показалъ до толкозъ грижливъ за спокойствието на всѣкой правъ мюсюманинъ, щото не е далъ на нашитѣ жени повече душа отъ колкото на котката, на кучето и на нѣкои и други отъ домашнитѣ животни.

Нѣма сумнѣние че ти ще искашь да знаешъ какъ ни приеха въ тая страна и какъ ся отнесе къмъ насъ населението на което ний сме навикнжли да гледами като на непроевѣтени варвари.

Като излѣзохми на сухо, насъ ни причакваха, несумненно по заповѣдъ на мѣстното кметство, прѣдъ вратитѣ на нашето оирѣдѣлено жилище, едно голѣмо число достопочитаеми момчети—черни които викаха, крязаха и си хвърляха шапкитѣ на въздухъ съ цѣлъ, навѣрно, до отдадѣтъ прилична почестъ на великодушний Мустафа, капитанинътъ на една гемия. Тая папачъ изглеждаше окжсана, опърлана и кирлива, но това ся отдава на тукашната републиканска простота на нравитѣ. Едно отъ тия момчети, въ горѣщината

на възхищението си, запокити върху ми една стара калевра която поздрави не до тамъ вѣжливо главата на твойтъ приятель. Азъ си докачихъ отъ това, но наший толмачъ ни разясни че този билъ обикновенний начинъ за посрѣщание голѣмитъ хора въ тая страна и че колкото по видни били тия хора, толкозъ по много били излагани на нападения и замѣрания отъ страна на тълпата. На това отгорѣ азъ три пѣти ся поклонихъ като си държахъ съ рѣка турбантъ на главата и произнесохъ рѣчь по Арабо-Гръцки, която произвѣде такова голѣмо удоволствие, щото по главитѣ ни полѣтяха като градъ стари обувки и шепки.

Ти ще ся надѣвашъ още да ти дамъ отчетъ и за законитѣ и политиката на тая страна. За тия работи ще оставяъ да ти поговоряъ другъ пѣтъ, когато ще бѣдѣ по вникналъ въ тѣхното сплетено и видимо противорѣчуще естество.

Тази империя ся управлява отъ единъ главенъ и всеиленъ паша, наричанъ Прѣдсѣдатель. Той ся избира отъ лица които ся шбиратъ отъ събрание избрано отъ народтъ: отъ това и тълпата тукъ ся нарича върховний господаръ, а страната — свободна (вижда ся че управлението тукъ ся уподобява на корабъ който най-добрѣ ся управлява отъ опашката си). Настоящий паша е единъ старъ, но твърдѣ обикновенъ человекъ; вижда ся още да е и хумористъ, защото ся забавлява съ такива работи като набождане пеперуди на карфици и пълненне шишета съ жечета да ся спазватъ като краставички въ оцетъ. Той сега е почналъ да губи много отъ популярността си, защото доста хора сж докачени отъ това че носялъ червени гащи и че ималъ навикъ да върже коньтъ си у колъ. *) Хората на тая страна сж мя увѣрявали че тѣ сж най-просвѣтений народъ подъ слънцето, но ти знаешъ че и пустиннитѣ варвари, които при лѣтното слънцестояние ся събиратъ да стрѣлятъ съ лѣкветѣ си срѣщу славното небесно свѣтило за дано охладятъ нетърпимо горѣщитѣ му лучи, и тѣ иматъ сжщата претенция. Коя отъ тия двѣ страни има право азъ не ся наемамъ да рѣшя.

Заблѣжилъ съмъ, макаръ и съ удивление, че тукашнитѣ хора не бързатъ твърдѣ да ся сдобиятъ и съ едната жена която законтъ имъ позволява да водятъ. Тая назаднявость по всеѣка вѣроятность ся дължи на това обстоятелство, че между тѣхъ не ся

*) Съ това писателтъ загатва за извънредната външна простота съ която Г. Джефферсонъ, прѣдсѣдатель на Съединенитѣ Щати, ся огнавялъ даже и въ случаи когато малко повече блясъкъ би билъ по умѣстенъ за положението което занимавалъ.

намиратъ нѣми жени. Ти знаешъ колко безцѣлни сж такива мълчаливи другарки, каква висока цѣна даватъ за тѣхъ на истокъ, какви забавителни жени тѣ биватъ, какво блаженство е да гледа чловѣкъ мълчаливото краснорѣчие на тѣхнитѣ знакове и движения, но жена която да има и языкъ и душа — туй е чудовищно, чудовишно! Странно ли е че тия нещастни невѣрници избѣгватъ да ся свързватъ съ тѣй нелѣпо надарена жена?

Безъ друго ти си челъ въ списанията на Абдулъ Фаранъ, Арабский историкъ, прѣданшето, споредъ което веднѣжъ музитѣ безъ малко щѣли да си изедатъ ушиитѣ когато станжло въпросъ между тѣхъ да ли да допустякътъ въ числото си и десета една муза, и чакъ когато тая послѣдната съ знакове и махания имъ дала да разбережтъ че тя е нѣма, чакъ тогазъ тѣ я приели съ голѣма радость по между си. Азъ трѣба да ти прѣдведомжъ че има само деветъ християнски музи които прѣди били язически и които отъ послѣ били покрѣстени, и че въ тая страна никога нищо не ся чува за десета муза, освѣнъ ако нѣкой людъ поетъ пожелае да направи нѣкой прѣвувеличенъ комплиментъ на любимата си, въ който случай нея прѣдставляватъ за десета муза, четвърта грация, макаръ да била но безкнижна и отъ Хотентотитѣ, но грозна и отъ мечка която разигравать!

Когато изучахъ тоя народъ по дълбоко, азъ пакъ ще ти пишж. Между това наглеждай домѣтъ ми и не дѣй би моятѣ мили ханжмки, освѣнъ ако ги уловишь да си показватъ носѣтъ вѣнъ отъ прозорцитѣ. Макаръ че съмъ далечъ и робъ, нека ти бжжж на сърдцето както и ти си на моето. Не дѣй помисля, о ти задушевний ми приятелю, че блясъкътъ на тоя разкошенъ градъ, великолѣпныйтъ му палати, огромныйтъ му джамии и хубавицитѣ му жени, които ходять като диви по улицитѣ, ще можтъ да тя заличають отъ моята память. Азъ постоянно споменувамъ името ти въ двадесетъ и петѣхъ молитви които ежедневно възнасимъ Богу, и нека великий нашъ пророкъ, слѣдъ бато ты дари съ вѣщкитѣ добрини на тоя животъ, най-послѣ, въ старосгъ, да ты прибере въ рай, тамъ подъ дебелитѣ сѣнки, да ся наслаждавашъ на пашовский чинъ съ три онашки.

Мустафа.

II

Драгий ми Асеме, азъ обѣщахъ да ти поразкажж нѣщичко

върху правителството което мя държи въ робство. Макарь че за тая цѣль старателно съмь гледалъ да изучтъ въпросъ подробно, азъ се не съмь чакъ до толкозь доволенъ отъ резултатътъ на моитѣ изслѣдванія; защото, както може да си въобразишъ, виденията на единъ заробенъ ся помрачаватъ отъ мъглитѣ на иллузитѣ и прѣдразсждѣкътъ, а небосклонътъ на спекуляциитѣ му естествено трѣбва да бжде ограниченъ. Азъ намирамъ че населението на тая страна самб не знае и не може да опрѣдѣли естеството и характерътъ на своето управление. Даже и неговитѣ собствени дервиши ся намиратъ въ пълнъ мракъ относително тая точка и постоянно ся занимаватъ съ най-нелѣпитѣ литературни изслѣдванія по тоя прѣдмѣтъ! Нѣкои настояватъ че това управление мерише на аристократия, други поддържатъ че то е чиста демократия, а трети едни теористи утвърждаватъ по най-положителенъ начинъ че то е чиста тълпократия (*mobocracy*). Тия послѣднитѣ, трѣбва да исповѣдамъ, макаръ че сж доста заблудени по тоя въпросъ, се пакъ най ся доближаватъ до истината. Ти безъ друго знаешъ значението на горнитѣ разни названия по управлението, понеже сж зети отъ древний Грцкый языкъ, обстоятелство което показва убогството на тия окаяни невѣрници по отношение на тѣхний языкъ, понеже немогътъ да употрѣбятъ ни една научна дума безъ да я откраднътъ отъ старитѣ мъртви язици. Драгий мой Асеме, тука всѣкой който говори разумно по свойтъ языкъ може да ся наслаждава на прилично уважение отъ съотечественицитѣ си; но всѣкий глупецъ, който облѣче сламенитѣ си идеи въ чуждо или стародревне облѣкло, бива литературно чудовище за тѣхъ. До като азъ разговаряхъ съ тукашнитѣ хора просто по Английски, на мене малко внимание обръщаха; но щомъ зехъ да имъ говоръж по старогръцки, всѣкий зе да гледа на мене съ удивление като на оракулъ.

Макаръ че между дервишитѣ има голѣмо разногласие по грѣпоменжтый въпросъ, всички ся съгласяватъ въ едно: че тѣхното управление е едно отъ най-миролюбивитѣ въ свѣтътъ. Немогж освѣтънъ да ожалъ тѣхното невѣжество и да ся очудя на ония смѣшни заблуждения въ които попадатъ народитѣ които не сж освѣтени отъ поученията на Мохамеда, нашый божественъ пророкъ, и не сж просвѣтени отъ петстотѣхъ и четирidesетъ и деветъ книги на мждростьта отъ безсмъртний Ибрахимъ Хассамъ ал' Фусти. И тоя народъ ся нарича миролюбивъ! Това е просто безумие! То ми припомня за Шеика на онова диво Арабско племе, който, макаръ и да опустошавалъ долинитѣ на Балседенъ, това не му прѣчало да носи титлитѣ: «Звѣзда на благовъспитанието» — „Заря на Прѣстолътъ на Милостьта».

Самата истина е, че тоя народъ съвсѣмъ не познава сжщни-
ский свой характеръ; защото, до колкото съмъ можялъ да заблѣ-
жж, той наиротивъ е единъ отъ най-военнолюбивитѣ, и, могъ да
кажж, отъ най-ожесточенитѣ въ борбата си. Той не само че
ся намира въ една своеобразна война съ почти всичкитѣ чужди
народи, но същеврѣменно, спрямо себе си, намира ся въ една отъ
най-силетенитѣ граждански войни която е сжществувала въ коя-да-
е отъ ония нещастни страни върху които Аллахътъ е изсинвалъ
своитѣ проклетии.

Да ти откривж безъ забикалки една тайна, която е непозната
и на самнитѣ тоя народъ, неговото управление е чиста, несмѣсена
логокрития, т. е. управление съ думи Цѣлий народъ си върши
всичкитѣ работи съ живъ гласъ, съ думи въ уста и въ това отно-
шение той е единъ отъ най-войнственнитѣ народи на свѣтътъ.
Всѣкой единъ тукъ на когото, както ся казва, работятъ устата,
т. е. който може да дръпка много, е готовъ войникъ и постоянно
ся намира въ война. Сграната изключително ся защитава *vi et
liana*, т. е. съ сплата на езикътъ . . .

Ти добрѣ знаешъ че тамъ дѣто владѣе логократията съвсѣмъ
нѣма или твърдѣ малко случаи има за употрѣбаванне на пушки
и други подобни оржжия. Всѣка нападателна или отбранителна
мѣрка ся полага въ дѣйствиe посрѣдствомъ сражение съ думи,
или чрѣзъ война съ хартии. Тоя на когото языкътъ е най-дългътъ,
или на когото перото е най-остро, той е най-увѣренъ че ще побѣди,
че ще нанесе удари на и ще озлослови неприятельтъ, че ще потопи
въ мастило самийтъ негови лагеръ и че безъ милость и пощада
ще натъкне мжжъе, жени и дѣтца на върхътъ на — перого си!

Въ тая страна още сж спазени останки отъ оня готический
духъ на рицарско странствувание, който толкозъ безпокаялъ вѣр-
нитѣ въ срѣднитѣ вѣкове отъ Хеджирата. Тѣй като при всичкитѣ
имъ воинствени наклонности тукашнитѣ жители сж много прѣда-
дени на търговия и земледѣлие и трѣбва по необходимость въ
извѣстни врѣмена да ся занимаватъ съ тия занаятия, тѣ сж изми-
слили това срѣдство: да си опрѣдѣлятъ особни рицари, или посто-
яни войници, непрѣстанны кавгаджи, подобни на ония кѣнто въ
прѣднитѣ вѣкове сж давали клетва вѣчно да враждуважъ противъ
последвателитѣ на нашия божественъ пророкъ. Подобни рицари, на-
рѣчени редактори (газетари), или пустословци, ся назначаватъ въ
всѣкой градъ, въ всѣко село за да водятъ и външната и въ-
трѣшната война и може да ся каже че тѣ ся намиратъ въ посто-
янно сражение съ думи. О, приятелю! Ако би можялъ да бждешъ

свидѣтель на безобразията които по нѣкога тия великани пустословци вършатъ, и самиятъ твой турбанъ би ся възправилъ надъ главата ти отъ ужасъ и удивление. Азъ съмъ ги виждалъ да влизать да упостош шавать и самитѣ готварници на тѣхнитѣ противници и да посягатъ съ своитѣ удари и върху самитѣ имъ готвачи. Увѣрявамъ тя азъ видѣхъ какъ единъ отъ тия войни нападнѣ и на едного отъ най-достоуважаемитѣ паши и само съ едно джасване на перото да го разпори отъ поясъ до шия!

Отъ нѣкое врѣме насамъ една ужасна гражданска война ся води по слѣдствие едно съзаклятие между по горнитѣ классове да свалжѣтъ Н. В. настоящий паша и да качжѣтъ другито на мѣстото му. Азъ съмъ билъ събркалъ дѣто ти писахъ по прѣди че негодованието противъ пашата било че той носялъ червени гащи. Наистина, народътъ за дълго врѣме ималъ голѣма умраза противъ червеното поради едно сблъскване, нѣщо прѣди двадесетъ години, съ варваритѣ обатающи Британскитѣ острови. Тоя цвѣтъ, обаче, пакъ станжлъ на мода, понеже женитѣ го зели отъ гащитѣ на пашата и го прѣмѣстили на главитѣ си. Истинската причина за негодованието противъ пашата произлизала отъ това, че той не вѣрвалъ въ истинността на приказката за Балаамового магаре; напротивъ, утвърждавалъ че на това животно се му било позволявано да говори освѣнъ въ истинската логократия въ която, дѣйствително, гласътъ му често ся чуялъ и ся слушалъ съ благоговѣние като „гласъ на върховний народъ». Да, пашата до толкозь ся показалъ упоритъ въ мнѣнието си, щото имадъ даже смѣлость да покажи единъ явентъ допотопецъ отъ Галлската Империя, който освѣтилъ цѣлата страна съ своитѣ начала и — съ своитѣ носъ! *)

Тоя фактъ билъ достаточень да разнали огнь въ цѣлата страна: всѣкой единъ отъ пустословцитѣ прибѣгнжлъ до своитѣ языкъ или до своего перо и прѣзь цѣли години една най-жестока война ся води въ която цѣли томове думи сж употребени, цѣли мория мастило изхабено безъ да ся пощадиаватъ ни врзрастъ, ни полъ, ни положение. Всѣкой день тия пустословци най-яростно ся нападатъ единъ другито, както взаимно и послѣдователитѣ си, като ся обстрѣлятъ съ най-тежка артиллерия, състоища отъ голѣми лштове прѣблнена съ думи като: вагабонгинъ! мръсникъ! лъжець! мышеникъ! картуна! глупецъ! дуракъ! лукава глава! тиква! магаре! и, къляжѣ та ся въ брадата си, макаръ и да

*) Тънѣкъ и емѣкъ и легко изобличение на Джефферсона за гдѣто-повикалъ отъ Франция въ Америка писателтъ Тена.

знакъ че нѣма да мя повѣрвашъ, въ нѣкои отъ твѣ сражения и самийтъ великъ паша не е бивалъ пощадяванъ, а най-позорно обругаванъ. При все това ни единъ отъ твѣ пустословци не е опитвалъ сладоститѣ на дървеннй господь!

Случава ся сегисъ тогисъ че нѣкои отъ твѣ пустословци съ по дълбоки глави, или, по добрѣ, съ по дългъ отъ събратията си языкъ да помѣри и стрѣлне прѣзь океантъ върху главата на Френскй императоръ, или на Английскй царь, или, ако мож' мя повѣрва, о Асеме, даже и върху Великй Триполискй паша! Стрѣлата на такива пустословци ще бжде: тиранинъ! похититель! разбойникъ! тигръ! чудовище! и, както можешъ самъ да си въобразишъ, подобни стрѣли причиняватъ голѣмъ ужасъ и сграхъ въ лагертъ на неприятеля и чудесно безпокоятъ коронованитѣ глави противъ които сж отправени. Пустословецтъ, или словозвержецтъ, мѣкаръ билъ той и простъ защитникъ на нѣкое село, слѣдъ като испушне сгрѣлата си, трѣгва изъ уллицитѣ на селото да ся кокошеви съ голѣмо самооудоволствие като пуякъ, ухилень до уши поради голѣмий шумъ който дигналь, като че на лицето му сж исписани думитѣ: «Е, господине, какво мислятъ хората за мене въ Европа.» Това е доста да ти покаже начинтъ по които твѣ крѣвави, или по добрѣ вѣтърничави борци ся борятъ и тозь начинъ е единственнйтъ позволенъ въ логократията, т. е. управлението съ думи. Нека забѣлѣжж и това, че гражданскитѣ тукъ войни иматъ хиляди разклонения.

Догдѣто войната ярестно върлѣе въ столицата, всѣкой градъ и всѣко село си има своята мѣстна борба произтекающа отъ великата народна расправа, или по добрѣ която ся движи въ кръгтъ на тая послѣдняя подобно на ония силетени механизми въ които «одно колело ся движи въ друго».

Главогствующето естество на тукашното управление ся най-добрѣ вижда въ народнй Диванъ, наречень Конгрессъ, въ който ся лѣжтъ законитѣ. Това е едно шумно и бурно събрание въ което всичко ся върши съ гюлюртия, патардия и разискванне. Защото, както трѣбва да знаешъ, членоветѣ на това събрание не ся събиратъ за да дирятъ мѣдрость въ множеството на съвѣтницитѣ, но да ся боричкатъ, да ся злословятъ и да произнасятъ дълги рѣчи. Когато конгрессътъ ся открие пашата най-напрѣдъ му исраща дълго едно послание, т. е. едно грамадно количество думи, — *vox et græterea nihil*, които нѣматъ никакво значение, защото не съдържатъ нѣщо друго освѣнъ онова което прѣдставителитѣ уже знакътъ. Слѣдъ това, цѣлй конгрессъ ся хвърля въ брожение, и въпросътъ

за количеството думи съ които трѣбва да ся отговори на това послание за дълго врѣме ся разисква, и безкрайни прѣпири ставать за изменения и поправки нѣкои които трѣбва да ся направять въ *понеже-та и прочее-та*. Цѣль мѣсець ся изминава само съ рѣшаванне въпросътъ за количеството думи които отговорътъ трѣбва да съдържа, а още толкова врѣме ся прѣкарва съ рѣшаванне въпросътъ да ли този отговоръ трѣбва да бѣде занесенъ на пашата пѣшкомъ, на конѣе, или въ карети. Слѣдъ като тоя сериозенъ въпросъ ся рѣши, тѣ почватъ да разискватъ самото послание и дигать такъвъ крясъкъ надъ него вакъвто нито свракигѣ не дигать надъ запарѣкъ яйце. Послѣ тѣ раздѣлятъ посланието на малки части които прѣдаватъ на разглеждане на по малки събрания отъ дърдорници, наричани *комити*, тия комити изсипватъ сумма думи върху всѣкой единъ отдѣленъ параграфъ, послѣ връщатъ го пакъ назадъ въ Диванътъ, който изново и повторно почва да ся прѣпира върху цѣлий въпросъ. Слѣдъ всичко това прѣпиране, разискване, каранне и дърдоранне, често ся случана че въпросътъ е за нищо и никаква работа и ся свършва въ димъ. Неможе ли въ тоя случай да ся каже че цѣлий народъ е разисквалъ безполезно? И наистина, населението като че съзнава тая своя наклонность къмъ праздно говорение съ която ся отличава, и за това често употребява поговорката: „само праздни приказки, пакъ нищо за зжбъ“. Тая поговорка най-вече приспособяватъ къмъ конгрессътъ, или събранияето на всички мѣдри горгорбавши на народътъ, когато въ врѣме на голѣма опасность или важно събитие това тѣло е прѣкарало цѣла сессия само съ караница и когато нищо друго не е извършило освѣнъ да покаже колко сж дълги язицигѣ и праздни главигѣ на членовегѣ му. Подобно нѣщо, приятелю, ся случавало не само веднажъ, и, да ти съобщж друга една тайни, тоже повѣрително ми е казвано че стари дърдоници жени, изъ различни части на страната, били въ дѣйствителность вмѣквени прѣдрешено въ конгрессътъ и които, както самъ можешъ да си въобразишъ, щомъ нахлуяли гащи и стѣняли въ прагътъ на това учреждение, изведъжъ ся туряли на челю на разискванията и потопявали цѣлото събрание съ своигѣ бръцолевения! Кожкото ся отнася до мене, съ теченне на врѣмето, азъ не виждамъ защо старигѣ баби, както и старцигѣ, да не сж избираеми за общественигѣ длъжности. Защото, подобни жени наистина притежавать въ голѣма стѣпень всичкигѣ изисквани качества за управляване въ една демократия.

Нищо, както постоянно съмъ ти расправялъ, неможе да стане въ тая страна безъ говоренне; но въпросигѣ чакъ до тамъ ся

раздрънватъ, щото, кога ги рѣшжтъ най послѣ, ето и врѣмето за тѣхното приложение ся измивжло. Нещастенъ народъ е този който така ся раскжсва съ вжтрѣшни прѣбирни и страхъ мя е че такъвъ народъ никога нѣма да мжкъе и да види миръ. Думитѣ сж нивцо друго освѣнъ джжъ. Джжтъ е въздухъ, въздухъ тластнжтъ въ движение е вѣтръ: слѣдователно тая пространна империя може да ся уподоби на една грамадна мелница карана отъ вѣтръ, а ораторитѣ, дърдоринцитѣ и словонизвергателятѣ служатъ вмѣсто вѣтръ да я каратъ. За злощастие, обаче, тия хора не духатъ се въ едно направление, тѣй щото мелницата незнае на кждѣ да ся върти, колелата ъ стоятъ на едно мѣсто, млевото ѣ не ся смѣла, а мелничарьтъ и домочаднето му измивратъ отъ гладъ.

Всичко въ тая старана има характеръ на вѣтарничавата природа на управленито ъ. Въ случай на нѣкое вжтрѣшно зло, или на нѣкоя обида отъ външенъ врагъ, цѣлий народъ ся разщкѣва, въ всѣкой градъ ся свикватъ митинги на които всѣкой глджникъ за новини отива и всѣкой който отиде мисли себе си за нѣкой Атласъ на раменѣтъ на когото лежи тежкий товаръ на грижитѣ за народьтъ, всѣкой твърдо рѣшенъ да спасява отечеството си и въ които всѣкой ся пери като пуякъ, надуть съ думи, вѣтръ и безумие. Слѣдъ доста викъ, крясъкъ и шумъ, и слѣдъ като всѣкой единъ присжтствующъ покаже че той несумненно е най-важната птица въ събранието, най послѣ прокарва ся една върволица отъ резолюции, т. е. думи прѣдварително приготвени за случайтъ. Тия резолюции причудливо ся наричатъ мнѣние на присжтствующитѣ на митингьтъ и ся испращатъ за свѣдение и ржководство на царствующий паша, който благосклоно ги приема, внимателно туря въ джобьтъ на червенитѣ си гащи, забравя да ги прочете и тѣй въпросьтъ ся свърша.

Колкото за Негово Височество, настоящий паша, който стои на самото чело на тая логократия, никога не е имало другъ сановникъ по достоенъ за мѣстото което занимава. Тѣй е чловѣкъ въ най голѣма степенъ надуть, който не може да ся сравни съ друго освѣнъ съ единъ голѣмъ мехуръ испълненъ съ въздухъ. Той говори че ще съкруши всѣка оппозиция чрѣзъ силата на разумьтъ и философията; той хвърля ржжавица на всичкитѣ народи по свѣтътъ и ги кани да ся срѣщнжтъ съ него — въ полето на сражение съ аргументация! Народното достоѣние докачи ли ся (случай въ който Негово Триполийско Величество би немелленно искаралъ всичкитѣ си войски), — Американскій Паша промжнися рѣчь! Външенъ нападателъ бърка ли на търговията въ самнитѣ устия на

пристанищата (докачение което би накарало Негово Триполийско Величество да пусне по морето цѣлата си флота), — Негово Американско Височество произнася рѣчь! Свободнитѣ Американски гражда ни грабнѣтъ ли ся насилствено отъ своитѣ си кораби и откарать и задържѣтъ въ военнитѣ кораби на друга държава, — Негово Височество произнася рѣчь! Нѣкой миренъ гражданинъ убива ли ся отъ мародеритѣ на нѣкоя чужда държава, било то и при самитѣ граници на своето отечество, — Негово Височество произнася рѣчь! Въстание повдигне ли ся въ нѣкоя далечна часть на империята, — той пакъ произнася рѣчь! Да, нѣщо по вече; тукъ той показва и енергията си: на бързо испраща пратеникъ на конь, заповѣдва му да изходва по 120 мили на день, натоваренъ съ товаръ прокламации, т. е. цѣлъ купъ думи свързани въ дисаги. Пратеникитѣ получава наставления да показва нито благоприпятствие, нито любовь, но да ся хвърля въ най гжститѣ редове на неприятельтъ и да произнася рѣчи, да стрѣля съ думи догдѣ потуши, разбие съзаклятието и избие съзаклятницитѣ. О, приятелю, въ какъв шумъ живѣмъ тука! Това ми напомня приказката за онья пѣтель който, като ровялъ изъ боклукѣтъ на своето купинце, случайно изровилъ единъ малъкъ червей и по тоя случай разкраскалъ ся до колкото сила му държало и свикалъ около себе си всичкий си харемъ отъ кокошки, които ся стекли отъ врѣдъ да изклоцатъ бедното това червейче. О, Асеме, Асеме! Въ какви грамадни размѣри всичко ся намира въ тая страна!

И тѣй, позволи ми да сключъ наблюденията си съ слѣдующето заключение. Всѣкой неправовѣренъ народъ си има по една отличителна черта по която може да ся познае. Испанецътъ, на примѣръ, може да ся каже че дрѣме надъ всѣка важна работа, Италианецътъ че цига-лига за всичко на цигулката си, — че Френецътъ — хопа-тропа на всичко, Германецътъ — че въ сичко си пуши чебучката, Англичанинътъ — че само еде за всичко, а за тукашнитѣ вѣтърничави подданци на Американската логократия — че за всѣко нѣщо сѣ рѣчи говорятъ.

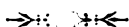
Всегда Твой

Мустафа.

МѢСТО НѢМА.

Разназъ отъ Каронинъ.

(Прѣводъ отъ русски).



I.

По посланата съ килими стълба Лобановичъ слезе съ такава бързина, щото човѣкъ можеше да помисли, че сж го тласнали отъ горѣ.

Него, тъй да се каже, наистина, бѣха тласнали отъ стълбата, само не въ буквална смисль; нему просто бѣха дали пхтьтъ отъ службата.

Колко пхти вече това става!

Лицето му бѣше червено отъ ядъ, токорѣчи диво, когато той като фортуна прѣмина покрай «швейцара» и искочи на улицата. «Е какъвъ е лудъ, я!» — промърмори Швейцара, очуденъ отъ бързото тичанне на господина.

Но когато утрения вѣгрецъ разхлади горѣщата глава на Лобановича, а свѣтлитѣ слънчеви зари ослѣпиха очитѣ му, той на часа се успокои и вече тръгна по улицата полегка, като разуменъ човѣкъ. А намѣсто гнѣвъ, на лицето му се показа смѣщение, дори и срамъ.

До сега къмъ различнитѣ житейски работи, а съ това наедно и къмъ «мѣстата», той се отнасяше съ безгрижността на една чучулига. Има «мѣсто» — добръ, нѣма — и окото не ще да му мигне. Но тозъ пхтъ той се стрѣсна. Когато приятелитѣ му го настаниха на тази длъжностъ, то му се закахиха на шега, че повече нѣма да му трѣсятъ мѣсто; дяволъ да го земе, ако той самъ за себе не се грижи. Въобще това мѣсто, доста добро и съ бжжщностъ, е било добито съ голѣми усилия отъ приятелитѣ му. И на него му дадоха пхти.

И въ неразсждителната глава на Лобановичъ проникна благодарно смѣщение. Вървейки подъ горѣщитѣ зари на майското слънце, той отъ всѣка една страна обмисляше своего положение. Той искаше избощо да разсжди, при вслчко че малко бѣ навикналъ да разсждава за своитѣ работи.

Вѣроятно въ него има нѣкакъвъ органически порокъ, който му прѣчи да си усигури мѣстото на „жизнената трапеза“. Но какъвъ е този порокъ? Не може да се каже, че не е порядоченъ човѣкъ, — поне никой не може да го укори въ нищо осждателно. Не може да се каже, че е и глупавъ; наопаки, всичкитѣ му приятели и познати го смѣтатъ дори за не съвсѣмъ отъ обикновенитѣ хора, и ако Иванъ Ивановичъ го нарича магаре, то това още нищо не показва. При това, всички виждатъ, че той не се отказва нито отъ една работа, и знаятъ, че той е способенъ за безбройно много нѣща. Самъ той чувствува, че въ него има съвѣсть, гордость и честь. Може би, на днешния пазаръ всичко това и не струва повече отъ пара, но и пара да е — пакъ е цѣнность; ако безбройно много съвѣстливи и благородни хора ходятъ сега безъ работа, то сѣ-пакъ тѣ иматъ какво-годѣ вѣрменно занятие. А пакъ той съвсѣмъ вече не може нижде да се прислони, сѣкашъ че всички се сжгговорили отъ вредъ да го иждягъ. Слѣдователно, трѣбва да има нѣкакъвъ си особенъ порокъ въ него, нѣкакво си отласкателно свойство, нѣкакъва си нетърпимъ духъ.

Лобановичъ съ страхъ трѣсеше въ себе си таинственнитѣ подлости, нетърпимия духъ. Но отъ тѣзи търсения той нищо съществено неможа да открие, и колкото повече се заравяше въ дѣното на душата си, за да намѣри таинствения порокъ, толкова повече той се отдалечаваше отъ цѣльта. Напраздно си бжхташе главата.

— Но, Боже мой! трѣбва нѣкакъ да се живѣе, — болѣзненно испъшка той, като минаваше покрай градската градина.

Студенъ потъ покриваше челото му; устата му прѣсжхнаха. Страшна тежина притискаше мислитѣ му. Купове отъ съображения, като роякъ, напълниха главата му, и той съ ожесточение се ровеше въ тѣхъ, безъ да може да ги тури въ редъ. Най-подиръ, вродената му безгрижность на една минута сѣ връхъ надъ него; той веднага прѣстана да мисли за тѣзи трудни и неприятни нѣща, и всички този смѣтъ възвѣрли изъ главата си.

Тѣкмо въ него вѣрме той се намѣри при вратата на градината; той влезе въ нея, тръгна по една отъ алеитѣ и сѣдна на една лавица съ блаженна усмивка на човѣкъ, който всичко е обмислилъ и най-добрѣ си е наредилъ работитѣ. Той сиѣ шапкана си, съ облекчение въздъхна и се успокои. Недалече отъ него тичаха и врѣщеха дѣца отъ разни възрасти.

Лобановичъ нѣколко вѣрме наблюдаваше гонението имъ, сериозно се вслушваше въ ясниѣ имъ-гласоѣе и полегка легка влезе въ

тѣхнитѣ интереси. Между мѣничкитѣ хора се появи скоро нѣкаква си прѣбирня, която се свърши съ общо скарване; едно момченце показва езика си на друго; послѣдното отговори на противника съ докачителна дума и тѣй ежшо отъ своя страна му покача езика си. Тайфата се раздѣли; едни се застъпваха за едното, други — за другото, слѣдъ което двѣтѣ партии захванаха да дразнятъ една друга съ твърди оскорбителни думи и жестове. Това се продължи до тогава, до когато едното отъ скараниятѣ не грабна шанката на другото; като я грабна, той я захвърли на върха на сакъма; тогава докачения ревна зѣ високъ гласъ, като затули очитѣ си съ мѣничкитѣ си рѣчици. Лобановичъ подиръ това зѣ участие въ каранието имъ и захвана да ги спогажда и умирява. Всичко това той направи съ такъво убѣждение и тѣй горѣщо, щото подиръ нѣколко минути раздоритѣ се свършиха. Мѣничкитѣ хора пакъ почнаха да играятъ, като поканиха при себе си и Лобановича. Послѣдний на драго сърдце зѣ участие въ игритѣ имъ; високия му расте и честата му брада ни най-малко не му бъркаха да се забавява съ миниатурното човѣчество; но още въ първата игра нѣколко момченца го излъгаха и го накараха да стои като кукла. Да пзовражава кукла — такава е била сѣдбата на всѣки, който бивалъ изиграванъ, и Лобановичъ покорно се подчини на послѣдствията отъ своята несполука.

III.

На далечпата манастирска камбанария удари три часа.

Лобановичъ трѣшна. Нѣщо неприятно отведнажъ го бодна въ сърдцето. «Какво тѣй днесъ съ мене се случи? . . . А, ха! дадох ми пжля отъ мѣстото?».

— Да имъ илюя ва мѣстото! — каза тѣй съ гласъ.

Но мануето той се храбрѣше. Смъщенгето отъ ново и въ още по-голѣма стѣпенъ го обвзе. Той се науми, че ей-сега-е ще се завърне у дома, гдѣто ще го срѣщне другаря му, Иванъ Ивановичъ, и — какво ще му каже, че го испъдиха отъ мѣстото? А до вечерята всички ще казватъ!

— Знаете ли, Лобановичъ пакъ о пуснатъ на чистъ въздухъ.

А Катя съ обикновенното съчувствие ще попита:

— Василий Михайловичъ, мигаръ вий пакъ ще бждете принудени да търсите работа? — тя това ще го каже съ съжаление, съ искрено състрадание за несполуката му, но то е още по-лоше.

Рисувайки прѣдъ себе вички тѣзи и много други докачи-

телни картини, Лобановичъ доде въ ожесточение. Той бързишкомъ излезе изъ градината, тръгна по улицитѣ за квартирата си и по пътя пълнеше себе си съ тенднецозна злоба противъ всичкитѣ хора, а най-вече противъ приятелитѣ си, противъ Иванъ Ивановича и противъ Катя. До колко той съ това сполучи, мъчно може да се каже; но само въ квартирата той се яви, наистина съ свирѣно лице.

Софрата вече бѣ сложена; Иванъ Ивановичъ търпѣливо го чабаше. Слѣдъ минута врѣме слугинята принесе обѣдъ и Лобановичъ мълчишкомъ, но свирѣно, захвана да ѣде. Пламналъ отъ злоба, той най-първо откъсна съ зхбитѣ си единъ кхшей хлѣбъ, подиръ откъсна една мръвка мѣсо и чакъ тогава обърна, пълния си съ омраза, погледъ къмъ приятеля си.

Иванъ Ивановичъ, разбира се, нищо не подозираше и затова съ недоумѣние го погледна, като че го питаше: «че каква е какъ тази демонстрация?» Впрочемъ, той отговори на лютия му погледъ.

— Ти ме гледашъ тѣй, като че ей-сега-е сж те набили.

— Да ти кажа азъ, по-лошо . . . отъ службата ме испъдиха! — извика горѣщо Лобановичъ, като се рѣши изведнажъ да свърши съ този въпросъ.

— Какъ?

Това възклицание на Иванъ Ивановича съвършено уби Лобановича, който мислеше да се скрие задъ своята свирѣпотъ. Той за единъ мигъ изгуби всичката си храбростъ, изчезна отъ него всичката набрана злоба и въ силно смъщение захвана да си роши космитѣ.

Между това Иванъ Ивановичъ почена пронически да го распитва, какъ това се случи. Работата била проста. Патронътъ на Лобановичъ му заповѣдалъ да състави нѣколко книжа по единъ доста нечистъ процесъ. Лобановичъ изпълнилъ заповѣдта, но дѣлото му се показало до толкова мръсно, щото той счелъ за свой дългъ да искаже на адвоката своето наивно откритие. Адвокатътъ, обаче, вѣжливо му забѣлжилъ, че той не иска никой да му се бърка въ работата. Слѣдъ това между тѣхъ произлѣзло едно кратко, но рѣшително размѣняване на мислитѣ.

— Право да ви кажа, дѣлото наистина, е не добро! — възразилъ Лобановичъ съ горѣщо убѣждение.

— При всичко това, азъ не съмъ задълженъ да слушамъ вашата проповѣдъ!

— Каква проповѣдъ! азъ само бихъ желалъ да ви убѣда

да оставите това подло дѣло! — продължавалъ да настоява Лобановичъ.

— Когато е тъй, азъ ви моля да оставите службата у мене.

Подиръ това Лобановичъ си зелъ шанката и си излѣзълъ. Това е всичкото.

— Ти тъй му и каза: «мръсно дѣло»? — пакъ го попита Червински.

— Просто казахъ: «подло».

Лобановичъ при това обърна пламениия си погледъ татъкъ нѣйдѣ въ пространството, очевидно, пакъ като прѣживяваше отзраншино обяснение съ адвоката и, по навика си, съ двѣтъ ржцѣ, разрошаше космитѣ си.

— Нанстина, просто! . . . Какво си ти, бе Василе, позволи ми да ти кажа, магаре! — спокойно продума Червински, съкаши констатираше фактътъ, който не подлежи на съмнѣние.

Лобановичъ, като чу познатия си еинтетъ токо се усмихна съ весела, дѣтиска усмивка.

— И недѣй ме хока! Немѣ трѣва да се прѣмълчава на таква скотове? На моето мѣсто и ти би постъпналъ тъй. Съ една дума, азъ съмъ готовъ да се завзема за каквато-и-да-е работа, само да получа коматъ, но нѣма да зема да се продавамъ.

— Трѣва още да се попита, ще се намѣри ли нѣкой, който иска да те купи! — отговори спокойно Червински.

Това ироническо изражение, отново поддигна всичката необузданность на Лобановичъ. Той съ негодвание погледна на приятеля си и нѣколко минути мълчинкомъ подбираше най-убийственъ, смъртоносенъ отговоръ.

— Азъ, въ всѣкой случай, нѣмамъ намѣрение да бѣда стайно куче, което подъ трапезата чака подающитѣ отъ ржцѣтъ на пирующитѣ трохи — каза той, най-сетиѣ, начумерено.

— Прѣдпочитайш да бѣдешъ дворно?

Тѣй, ами! Дворно! Именно дворно! извика Лобановичъ.

— Дворнитѣ кучета, до колкото ми е извѣстно, турятъ на синджиръ . . . повечето пакти на синджиръ, — отвѣрна Иванъ Ивановичъ.

— На синджиръ ли? Въ такъвъ случай азъ прѣдпочитамъ да бѣда улично!

— То, разбира се, е свободенъ животъ, но, за жалость, уличнитѣ кучета въ днешно врѣме ловятъ, и тровитъ, като бѣсни...

Лобановичъ пакъ си изгуби смѣлостта на една минута. На развълнуваното му лице се появи болѣзнено чувство отъ докачение и отчаяние.

— Тъй, тъй! Азъ знамъ . . . въ душата си вий всички ме наричате легкомисленъ, вѣтърничавъ! За васъ азъ съмъ човѣкъ празенъ, който въ нищо не сполучва, който за нищо не е способенъ, който по добръ би направилъ ако се изгуби нѣйдѣ: «Интелигентенъ скитникъ»! Какво може да бѣде по смѣшно и по-глупаво отъ интелигентния скитникъ? Вий сте прави. Азъ съмъ скитникъ, бездѣльникъ, не урисанъ, азъ съмъ всичко, каквото вий искате! Но позволете ми въ едно да остана правъ: азъ не клатя шанка и не се продавамъ! А на васъ практичнитѣ и хитритѣ, ще кажа: вий сте лакеи, низкопоклонци прѣдъ всѣка сила, която се издига отъ обстоятелствата! . . . Азъ ви наричамъ тъй и знамъ, че заслужавате това име . . .

Лобановичъ при тѣзи думи, крайно разгнѣвенъ, стана отъ софрата, бутна съ кракъ стола и изкочи вънъ изъ стаята.

Иванъ Ивановичъ бавно свърши обѣдътъ, но погледа му безпокойно се мѣташе отъ прѣдметъ на прѣдметъ.

Той пропустна покрай ушитѣ си неочакваното нападение на приятеля; къмъ подобни не умѣрени и нелѣпи обращения на послѣдния той бѣ навикналъ. Но този пѣтъ той бѣше поразенъ отъ състоянието на Лобановича, и обмисляше, какво да прави сега. Трѣбва по-скоро да му се намѣри нова работа, но какъ това по-добръ да стане? Нѣма що, Василий наистина тегли отъ незнанието си и отъ своята необузданность . . . Да се търси за него *нѣкакво* мѣсто е безполезно: отъ него тъй скоро ще му дадатъ нѣтъ, както и отъ по-първитѣ мѣста. Нему трѣбва да се намѣри такъво положение, което да не докача фантазинтѣ му, което да не възбужда необузданностьта му.

Иванъ Иваовичъ обичаше подиръ обѣдъ да се потъркала на канацето съ нѣкакъвъ вѣстникъ въ ржѣцъ, който за скоро врѣме му докарваше блаженъ сънъ; тъй тъй сжщо обичаше всичко да прави чисто и обмислено, но този пѣтъ развали катадневния си редъ. Относително Лобановича нему хрумна единъ планъ, който тутакси трѣбваше да тури въ изпълнение. За това той старателно се облече и тръгна да трѣси ново мѣсто за безумния.

Въ това врѣме този послѣдния се скиташе изъ улицитѣ въ най-меланхолично настроение, като се зарови отново въ дното на душата си, за да трѣси порока на своя животъ. Тази безплодна работа би се продължила дълго врѣме, да не бѣше му дошла честитата мисль да отиде въ библиотеката. Поради службата на послѣдното мѣсто, той токорѣчи бѣ прѣстаналъ да чете. Такова лишение бѣ за него тежко; той слѣдѣше за всичко, което се върши въ

свѣта, и като не бѣ видѣлъ два мѣсеца нито една книга, нито единъ вѣстникъ, той вече мислене, че е затъпѣлъ и подивѣлъ. Четеннето му бѣше единствѣнна работа, която той вършеше чисто, въ съвършенство и въ най голѣмъ редъ.

И сега като се окръжи съ пѣлъ купъ вѣстници, той съ наслаждение зѣ да вишна въ себе си въздухъ отъ широкитѣ близки нему интереси. За двата мѣсеца, които той прѣбара на омазната служба заради едно парче хлѣбъ (дадохъ му илгя отъ адвоката даже още прѣди да навърши два мѣсеца), той бѣше длъженъ много нѣща да възстанови отъ забравенитѣ и изгубенитѣ. Него интересуваше една експедиция въ вжтрѣшността на Африка, и той се залови да слѣди за нейната съдба; тогава прѣди два мѣсеца, той бѣ я оставилъ въ най-критическо положение и сега съ най живъ интересъ слѣдѣше за вървежа ѳ; за свое удоволствие, той намѣри експедицията пѣла и не поврѣдена, а не е била извѣдена отъ людобѣдитѣ, както той мрачно си въображаваше. Подирѣ, имайки познати въ всичкигѣ часги на свѣта, той прѣмина въ Азия, а отъ тамъ, слѣдъ половина часъ, прѣилува въ Америка, гдѣто билъ присъжествувалъ прѣди два мѣсеца на грамадия мигнингъ на желѣзнопѣкитѣ служащи; обаче, тукъ той нищо не намѣри отъ прѣдшното и съ недумѣние се върна въ Европа. Тукъ той около двадесетъ минути се спрѣ въ Прандия; по-дълго врѣме той не можеше въ тази страна да остана, защото чувствуваше, че въ него се поддигна негодвание и отвращение и затова побърза да прѣмине въ Франция. Той имаше чудна симпатия къмъ Франция: влѣчко що тамъ се върши, той го змаше за свое лично, близко, което може да го радва и огорчава, да му възбужда любовь и негодвание. Ей-сега-е той почувствува послѣдното. Онова, което е било прѣди два мѣсеца, се продължаваше и сега. Само че сега работитѣ тамъ сѣ още по негърпими, по-грозни. Какъвъ подълъ, какъвъ тѣжъ и недалекогледенъ класъ е тази буржуазия! Колко развала тя внася въ страната и колко жѣртви отъ нея иска! . . . На Лобашовича веднага стана тѣй тежко, щото той остави вѣстниците и се замисли.

Впрочемъ, слѣдъ малко врѣме той вече бѣше въ Руссия и разглеждаше русекитѣ работи. Роднитѣ извѣстия той прѣглеждаше най-подирѣ, защото отъ тѣхъ винаги му ставаше мѣчно. И обикновенно, като ги прѣглеждаше на бърза рѣка, като-че-ли по обязанность, той сѣ тѣхъ свършваше четението, понеже слѣдъ това той впадале въ едно съливо състояние, отъ което, безъ нѣкакъвъ извъреденъ случай, мѣчно можеше да се извади.

Обаче, сега той счете за нужно основателно да прѣгледа всичко, което бѣ се извършило за два мѣсеца.

Настъпи вечерь, а той сѣ още сѣдѣше. Слънчевия блѣсъкъ вече полегато се протегна по масата, трѣпна нѣколко минути по вѣстника, подирь се смѣси въ брадата, подигна се до очитѣ, като ослабѣи читателя, който бѣ се забравилъ, и, най-сетнѣ, угасна въ рошавитѣ му косми.

— Хайде, господине, излизайте! . . . Врѣме е да затвора, — каза съзливо библиотечния слуга.

И наистина, въ стаята ставаше тъмно.

Лобановичъ се стрѣсна и си излѣзе, но дълго врѣме той неможа още да се избави отъ дълбоката замисленность. Най-послѣ се успокои отъ всичкитѣ вълнения и докачения прѣзъ тоя день. Библиотеката бѣше истинский храмъ за него, въ който той отъ сѣ сърдце се молеше и който уснокояваше всичкитѣ страдания на буйния му темпераментъ.

Но ако Иванъ Ивановичъ, който въ това врѣме водеше дипломатически прѣговори съ единъ инженеръ, би могълъ да се усѣти, надъ какво той бѣ се замислилъ, то втори пътъ би го нарѣкълъ магаре.

III.

Тѣ бѣха чудни хора. Тѣ въ нѣщо не си приличахъ единъ на други, нѣма ни най-малкъ интересъ да живѣятъ заедно. Но при всичко това, тѣ дълго врѣме не се раздѣляха, своеобразно привързани единъ къмъ други съ нѣкакви си невидими връзки.

Когато питаха Лобановича, защо той е тѣй привързанъ къмъ Червински, той сериозно отогаряше:

— Той има винаги такива чисти чепици!

И наистина, чепицятъ на Червински винаги бѣха хубаво исчистени; и еката, и прическата, и дрѣхитѣ, — всичко бѣше чисто и прилично. Стаята, масата, патата му винаги бѣха хубаво наредени. Той не можеше да търпи ни най-малка нечистотия около себе.

Такъвъ редъ той имаше и въ всичкитѣ си работи. Право да се каже, той тѣй сѣщо нѣмаше опрѣдѣлено положение, опрѣдѣлена нѣкаква служба; и той, както безбройно много други интеллигентни скитници, бѣше принуденъ да живѣе както завърне. Но той никога не оставаше безъ работа: ако едно занятие изгубваше, на другия день намираше ново; ако възрѣшитѣ му се истърваваше нѣкое мѣсто, той залавяше друго, — залавяше твърдѣ не сигурно, но съ чудна бързина.

То прозлязаше отъ това, че той въ съвършенство бѣ изучилъ, у кого и отъ коя страна трѣбва да се утѣде: у одного трѣбва да се явишъ прѣди обѣдъ, у другото — подиръ обѣдъ; въ една къща трѣбва да се промъкнешъ презъ главната порта, а въ друга — прѣзъ заднитѣ порти, прѣзъ готворницата; одного трѣбва да намѣришъ въ кабинета му, другото — нѣйде на улицата, ненадѣйно.

Съ течение на врѣмето, поради такъво обширно познайниство съ разни практически въпроси, въ душата на Иванъ Ивановича се набра много смѣтъ (и затова той не обичаше смѣтъ въ стаята си), но това му даваше голѣмо прѣимущество въ борбата за коматъ. Той на всѣкъдѣ се държеше независимо, и своя личенъ животъ водеше чисто и акуратно. Той си знаеше цѣлата и никому не позволяваше да го занемаря. На хората, които се распореджатъ съ всѣкакви мѣста, той гледаше съвсѣмъ просто — като на торба, хатъра на които много-много не трѣбва да се гледа.

При всичко, че главата му бѣ пълна съ разенъ практически смѣтъ, но той си състави една своеобразна теория, по която неизмѣнно слѣдваше,

— Сегашния вѣкъ — казваше той, — е вѣкъ на паричната торба, прѣдъ която всичко — въ това число и ума, знанието, таланта — пада никомъ. Но това не трѣбва да бѣде. Интеллегенцията, най-нашѣтъ, ще се освободи отъ тежината на паричната торба. А за сега тя трѣбва да унижавъ себе си, и да не изгубва храбростъ въ борбата съ тежката, но бездушна сила.

И той уважаваше себе си

Когато ходеше да молъ за мѣсто, то собственно не молеше, а настояваше при което даваше да се разбере, че той ни най-малко не се съмнява въ своето право за това мѣсто. Това произвеждаше впечатление. Цѣлата му благопристойна, чиста фигура съ всакия си приличенъ видъ говореше, че той е човѣкъ, който трѣбва да се уважава и комуто не иде да се откаже въ каквото-и да е.

Иванъ Ивановичъ намираще мѣсто не само за себе си, но и за мнозина отъ онѣзи безбройни скитници «братя», които не знаятъ гдѣ да приложатъ знанията си, а по нѣкога и несъмнителитѣ си таланти. Всички тѣзи скитници «братя» имаха обикновено разстроени нерви и носѣха въ себе разнообразни душевни болѣсти, като захванешъ отъ слаба меланхолия и свършинъ съ пълно *taedium vitae*, тъй щото Иванъ Ивановичъ изъ между тази неорганизирана, болна масса се показваше като нѣщо скъпоцѣнно. По нѣкога той нѣмаше възможность самъ да намѣри мѣсто, но затова пакъ винаги

можеша най-добрѣ да покаже, прѣзъ кждѣ трѣбва да се промъкнешъ, за да получишь мѣстото.

— Я идете при Червински, той ще ви намѣри! — думаха томува, който трѣсъше хлѣбъ, — думаха съ таквазъ увѣреннасть сѣкашъ че мѣстото е вече памѣрено.

При всичко, че въ душата на Иванъ Ивановича бѣ се натрупала житейска калъ, но той имаше прѣголѣма потрѣбность за жлна работа; а понеже всички тѣзи работи само за единъ хлѣбъ, всички тѣзи мѣста само за едни пари, не даваха никакво удоволствие на различнитѣ непризнати потрѣбности, свойственни, обаче, на всѣки човѣкъ, то той, безъ да се усѣти, захвана полегка-лека да прѣкарва скиталчески животъ. Когато забѣлязваше, че нѣкоя работа начева лоше да влияе на него, той я захвърляше и залавяше друга.

— Омръзва, бе. Пакъ още и поглупявашъ, за това и оставихъ, — обясняваше той честото си мѣстение.

При всичко това, влиянието на безпрѣстанната му расправия съ житейскитѣ съображения лоше се отрази върху него: той въ много нѣща остана надирѣ, и човѣчески мечтания не се раждаха вече въ него тѣй свободно, както напримѣръ, въ другаря му.

И това, вѣроятно, бѣше една отъ невидимитѣ причини, за гдѣто той е тѣй привързанъ къмъ Лобановича. Въ послѣдния той обичаше онзи рай, отъ който, за грѣховегъ си, е билъ самъ испѣденъ, — райгъ на свободнитѣ мисли и мечти, на безкрайнитѣ идеали и фантастически планове.

Нарѣдко минуваше день безъ прѣпирня; даже тѣ не межах да се погледаатъ единъ други, безъ да се не скаратъ веднага; искренъ разговоръ между тѣхъ бѣ съвсѣмъ немислимъ, защото и за най маловажни нѣща тѣ имаха противоположни възгледи. Своитѣ убѣждения при това тѣ изказваха по такъвъ начинъ, щото всички хора, които минуваха покрай тѣхнитѣ прозорци, поддигаха глави на горѣ, съ пълна увѣренность, че тамъ се биятъ; по цѣлата улица се слушаше трѣщението на мебелта и отчаянитѣ имъ викоуе; по нѣкога тази врѣва ненадѣйно утихваше, което можеше да се обясни съ това, че единиятъ отъ распаленитѣ е хванлъ другий за гърлото и го души. Нито една квартирна стопанка повече отъ три мѣсеца не можеше да търпи тоя катадневенъ скандалъ, — само на една квартира тѣ се застояха половинъ година, но и то затова, че стопанката на къщата бѣше съ двѣтѣ уши глуха; но когато съсѣдитѣ захванаха постоянно да се оплакватъ отъ тѣхъ за безпокойствието и поискаха отстранението на размирицитѣ, то глухата жена бѣ

принудена да ги испъди. Съ една дума, приятелитѣ се намираха въ вѣчна вражда помежду си, и при всичко това, единъ безъ другъ неможеха да живѣятъ.

Лобановичъ бѣше десетъ пѣти по начатенъ отъ Иванъ Ивановича. Второто му прѣмущество прѣдъ послѣдния се заключаваше въ това, че той знаеше да говори за всичко «изобщо». Най дребно нѣщо той тутакси свързваше съ нѣкое общо голѣмо явление, и намираше централно мѣсто, което притегля къмъ себе си всички дребни нѣща отъ даденъ родъ. Затова въ всѣкий тѣхенъ разговоръ Иванъ Ивановичъ чуваше нѣщо неочаквано.

Иванъ Ивановичъ често пѣти дохождаше въ удивление, безъ да бжде въ състояние да тури въ редъ всичкитѣ съображения на противникътъ си. Въ сѣщо врѣме, когато той все въртеше около една и вѣта мисль, Лобановичъ го обшиваше съ двадесетъ нови, една отъ друга по-неочаквани. Лобановичъ прѣдъ очитѣ му играйки се прѣнасяше отъ едно мѣсто на друго, поддѣгаше се нагорѣ и ходеше по облацѣтѣ, носеше се съ вѣтроветѣ, качваше се на слънцето, безъ да бжде ни най малко ослѣпенъ отъ заригѣ му и, разбира се, че Иванъ Ивановичъ, който вѣчно се валяше по подѣтъ, посрѣдъ своитѣ дребнави мисли, съ очудвание слѣдѣше тѣзи безумни полѣти. Понѣкога той чувствуваха негодование къмъ необузданата фантазия на прѣягелтъ си, но повечето пѣти изумление.

Имаше, обаче, една областъ, гдѣто Лобановичъ отъ своя страна се чувствуваше не твърдѣ добръ. Тя бѣше именно практическия животъ, а най вече неговия собствень. Тукъ вече Иванъ Ивановичъ прѣдставаше грозно като страшенъ обвинитель и неумолимъ стопанинъ, а Лобановичъ земаше позата на еднѣ страхливъ подсъдимъ.

— За такива некадърни хора, за такива глупави трѣбва сопа, сопа! — говореше Иванъ Ивановичъ, кога се отварише тази тема. — Азъ не казвамъ за общественнитѣ работи, — своитѣ виѣ не може да наредите добръ. Сѣщинския, неизмисленъ животъ за васъ е тъмна, нощъ, въ него виѣ не можете ни една крачка да прѣстъпите, безъ да направите нѣкоя глупость! . . . Виѣ много добръ, — това трѣбва да ви се признае, — много добръ сте разбрали теорията за онова, какъ трѣбва да се умира, но виѣ не знаете азбуката на живота! Герои въ смъртъта, виѣ сте позорище въ живота! Виѣ мислите, че стига човѣкъ да си разбие глупавата глава за идеала — и всичко ще трѣгне по медъ и масло; но да се живѣе, да водишь искусна борба посрѣдъ безбройнитѣ сѣпки — това е по вашему пошло! . . . Че ти, напримѣръ. . .

Ти, вждѣ ще утидешъ съ свойтѣ фантазии, когато неможешъ своитѣ работи да наредишъ, и все мислишъ кждѣ да се пжхнешъ въ огъня?! . . . Разбери, ти можешъ да бждешъ изѣденъ цѣлъ-цѣленичккъ отъ всѣка свиня, на която най първо се попаднешъ! . .

Лобановичъ, като слушаше тѣзи грозни рѣчи, и се сърдеше, и отговаряше остро, но въ дълбочината на душата си усѣщаше силна болка, защото думитѣ на приятеля падаха върху болното мѣсто.

Въ дѣйствителния животъ той се чувствуваше съвсѣмъ злѣ. Когато се явяваше необходимостъ да се погрижи за себе си, за своето благоустройство, той губеше положително всякаква смѣлостъ. Особно неможеше да разбере, защо намираньето на мѣсто, работа или хлѣбъ бездруго зависи отъ различни, свършено маловажни обстоятелства. Цѣлия му животъ прѣдставляваше една дълга върволица отъ несполуки. И по нѣкога той дождаше до отчаяние при мисълта, че за нищо го не бива.

Всѣко негово опитвание да си осигури положението, обикновено се свършваше съ сюрпризъ, и да се засѣди на едно мѣсто той не бѣше въ състояние. Отъ едно мѣсто самъ си излизаше, отъ друго го исплждаха каго врѣденъ човѣкъ, който е способенъ да произвѣде нѣкакъвъ скандалъ.

Най-насѣтнѣ, вѣчната му грижа за мѣста стана за него изворъ на сградания. По-лесно той живѣеше, когато намѣреше нѣкакви частни работи, — като на човѣкъ способенъ, нему всѣка работа спореше. За жалостъ, такива частни работи имаше малко, и затова годината той прѣкарваше тѣй: въ продължение на два мѣсеца биваше на занятие, а прѣзъ десетѣтѣ мѣсеца се расхождаше свободно. Та и прѣзъ тѣзи два мѣсеца той намѣраше работа, благодарение на грижитѣ на Ивана Ивановича.

— Защо вий толкозъ се грижите за Лобановича? — Питаша Ивацъ Ивановича, като не разбираха въобще тази чудна дружба.

— Защото той е лапни-шаранъ, — отговори Червиски.

— Нема той не може безъ васъ да се устрои?

— Вие не можете да си прѣдстанитъ, какво магарее той! Той непрѣмѣнно ще доде до такова положение, отъ което не можемъ го извади, — поясняваше мисълта си Иванъ Ивановичъ, а по нѣкога разядосано прибавяше: — инатъ-добиче! За него трѣбва само общественъ животъ!

Отъ страна на Ивана Ивановича бѣше слабо обяснение за привързанносѣта му къмъ това „инатъ добиче“, дори може се ка-

за не обяснение, а само желание да не се покаже сантименталенъ въ отношенията си къмъ Лобановича. Но въ укорителнитѣ му думи имаше нѣщо справедливо.

Лобановичъ, наистина, се усѣщаше по добръ само въ такива случаи, когато не мислеше за себе си, за своя животъ, за своитѣ работи. Въ общественитѣ идеи и работи (а тѣ у него бѣха — и мисли, и дѣла) всичко е тъй просто и ясно; тукъ нѣма нужда да се првструвашъ, да лъжешъ, да кривнешъ душата си; тукъ не само нѣма нужда да хитрувашъ, да скривашъ убѣжденията и дѣлата си, а, наопаки, трѣбва да излезешъ свободно, съ отворено лице, смѣло и твърдо да испълнявашъ своитѣ мисли и идеали, и, безъ ни най малко двоумие, да слѣдвашъ цѣльта си. Лобановичъ бѣше испиталъ всичко това на опитъ и знаеше, колко легко му бѣше, когато върши не свое лично дѣло, а общественно.

Но съвсѣмъ друго нѣщо той усѣщаше, когато биваше при нуденъ да дири хлѣбъ за себе си, да дири мѣсто и да се грижи за собственото си благоустройство. Тукъ той ходеше като слѣпецъ мислеше се за изгубенъ и глупавъ, и положително нищо не можеше да разбере. Ела че съобрази, въ коя порта трѣбва да се промъкнешъ, за да намѣришъ потребното мѣсто; ела че обмисли, какво трѣбва и какво не трѣбва да се каже на хората, които държатъ въ рѣцѣтъ си това мѣсто! А като се намѣри мѣсто, трѣбва да знаешъ и какъ да го удържишъ. А за това какъ повечето пшти трѣбва да скривашъ всичкитѣ си мисли, съ исключение на мръснитѣ и непотрѣбнитѣ, да угасишъ огъня въ душата си, като оставишъ само нѣколко главни полегка да цушатъ, да вършишъ онова само, което ти заповѣдватъ, и да повдигашъ главата си само до толкова, колкото я подига свинята, когато си търси храна. Колко лукавщини, колко хитри съображения и измисливания сж нужни за това! Но то е само за начало. А сѣгнъ, за да удържишъ добитото съ такива немомѣрни усилия положение, за да се закрѣпишъ на него, трѣбватъ още безбройно много нищожни подлости (отъ които послѣ се образува „великото свинство“), а тѣхъ у такива непракичъ, хора нѣма.

Лобановичъ, слѣдъ всичко това, крайно се докачаше, когато му казваха че у него нѣма нищо подобно. Той въспаленно възражаваше, че до сега сериозно не е мислялъ за това, но, че веднажъ ако рѣши да се устрои, — то той въ практическия животъ ще тури въ джоба и най искусния интригачтъ Не боговетѣ, най-сѣгнъ, пекать гърнетата, я! Но Червенска съ прѣсни факти на рѣцѣ

основателно опровергаваше думитѣ му, и доказваше всичката не-
лѣпостъ на неговото самомнѣние.

И това бѣше за Лобановича неисказано о кърбление.

IV.

Обикновенно слѣдъ всѣка своя житейска несполука Лобано-
вичъ по нѣколко деня се губеше, като се криеше отъ другаритѣ
си, отъ Червински и отъ Катя Даниленко, сѣкашъ че е развѣрзанъ
отъ верига. Той тогава нигдѣ не се спираше. Най-първо, слѣдъ
като му дадѣха пѣтя отъ мѣстото, той утиваше да се види съ
всичкитѣ си познати, и у всѣкого, дѣто отидеше, отвареше дума
за въпроситѣ, които го интересуваха; подирѣ той оставаше своя
градъ и съ страшна бързина се впукаше въ далечни пътувания
по други мѣста, гдѣто той имаше познати хора, като проявяваше
и тамъ трѣскава дѣятелностъ. При това той не се отказваше нито
отъ едно поръчение, колкото неприятно и тежко да бѣ то, нито
отъ една работа колкото, и груба да бѣ тя.

Отъ тази негова слабостъ често се ползоваха не до тамъ съ-
вѣстливитѣ хора, като го караха да имъ върши тѣхни лични ра-
боти. Веднажъ, двѣ недѣли го накараха да сѣди при една госпожа,
която лѣжеше отъ легка, но продължителна болѣсть; други пакъ
пакъ бѣ длъженъ да прѣпаше единъ голѣмъ твърдѣ глупавъ
ржкописъ, защото принадлежеше на човѣкъ, който се считаше
великъ.

За тази трескава дѣятелностъ той употрѣбляваше често пѣти
много врѣме и много трудъ; но той не жалѣше нито, трудътъ,
нито врѣмето, стига само да не мисли за себе си и за своето ли-
чно благоустройство. За това пакъ той биваше всѣки пакъ дово-
ленъ, когато сполучеше за нѣколко врѣме да се огърве отъ про-
летитѣ житейски грижи.

Само по нѣкога между другото попитваше, като че ли си
испълнявате длъгътъ :

— А, приятели! нѣма ли тука у васъ нѣкоя работа за мене?
Работа, разбира се, не се оказваше.

И той на пълно се задоволяваше отъ този отговоръ.

Какъ той въ такова врѣме се прѣхранваше — мъчно може
да се каже. Потрѣбноститѣ му бѣха съвсѣмъ малки, — нужно бѣше
само единъ пакъ въ деня да ѣде. А то лесно се достигаше.

— Момчета, имате ли нѣщо да си похапна? — Попитваше
той, като утидеше при нѣкои приятели.

Какво да е винаги се намърваше и у най бѣднитѣ, — той похапваше и напълно се задоволяваше.

Като се минеше нѣкой и други день, той, най сѣтитѣ, се завръщаше у дома, при Иванъ Ивановичъ, уморенъ, оглабнатъ и одърпанъ. И само слѣдъ всичко това утиваше при Катя Даниленко, която той считаше за върховенъ сѣдия на всѣхитѣ си грѣхове. Тримата тѣ бѣха нераздѣлни приятели, и ако Лобановичъ и Червински неможеха въ нѣщо да се съгласятъ, то момичето се явяваше по между тѣхъ като примирителенъ элементъ, който при това и заягчаваше дружескитѣ имъ отношения. Тѣ двамата еднакво я уважаваха, както и тя отъ своя страна уважаваше тѣхъ. Може би, одного отъ тѣхъ отдѣляше тя въ особенъ кѣтъ на сърдцето си, но тѣ до сега не сж имали случай да помислятъ за това.

Тѣй стана и сега. Слѣдъ бурния разговоръ съ Червински, Лобановичъ за нѣколко дена се изгуби. Иванъ Ивановичъ нигдѣ неможа да го намѣри. Катя тѣй сѣщо напразно за него распитваше познатитѣ. Но веднажъ късно вечерята той полека и ненадейно влѣзе въ малката квартира, въ която живѣяха Даниленкови, и въ смѣщение се спрѣ до вратата. Отъ стаята се чу познатия нему гласъ: кой е тамъ?

— Азъ съмъ, Катерина Димитриевна, — се отзова Лобановичъ въ най-голѣмо смѣщение.

Отъ стаята се чу въсклицание, подиръ смѣхъ, а слѣдъ една минута момата вече му стискаше ржката.

— Мама лѣгна да спи. . . . Хайде по-добрѣ да се расходимъ, — прѣдложи тя, и подиръ малко трѣгнаха за градината, която се намираше задъ къщата.

— Е, гдѣ се губехте до сега? — съ оживено лице продума момата.

— Тукъ се скитахъ! Само срамъ ме бѣше да се покажа прѣдъ васъ. . . — нажалено каза Лобановичъ.

— Отъ какво срамъ? Що, пакъ ли ви исплѣдиха? Но то е винаги тѣй! . . . Впрочемъ азъ се радавамъ, че вий, най-сѣтитѣ, захванахте да се срамувате отъ скитническия си животъ. . . . Такъвъ голѣмъ човѣкъ, а пакъ се държи като дѣте. . . .

Като говореше това, момата се смѣеше. Но отведнажъ тя внимателно се вгледа въ лицето на Лобановича и прѣкъсна своитѣ шегѣ даже на половинъ дума. Лицето му бѣше печално и, въ сѣщо врѣме, на него се показа нѣщо като отчаяние, като озлобение. Това никога не е бивало. По напрѣдъ, надъ всѣка своя несполука

той първъ се смѣше и шегуваше, и смѣха му бѣше безгри-
жентъ, а шегитѣ — юношески. Но сега нѣщо мрачно покри лицето му.

— Тѣй, ами . . . Азъ знамъ, азъ съмъ за васъ смѣшенъ! —
каза токо отведнажъ Лобановичъ остро.

— Вий, струва ми се, сте се отучили да разбирате шегии?
— бързо отговори Катя.

— Какви шегии! Това никакъ не е шегя. Азъ съмъ наистина
смѣшенъ и глупавъ. . .

— Азъ се пошегувахъ, Василе! . . . Но защо вий става,
те такъвъ зълъ?

— Не, не! Тазъ шегя право ме биеше по главата! Истина
е: такъвъ голѣмъ човекъ, а пакъ живѣе като дѣте,

Лобановичъ, като говореше това скочи отъ лавицата, бързо
походи по пътеката, но веднага се завърна назадъ и пакъ сѣдна на
сѣщото мѣсто. Момата не знаеше, какво и да помисли за състояни-
ето на приятеля си.

— Азъ най подиръ чищо не разбирамъ! — извика тя улашено.

— Сега е, всичко ще ви кажа — Лобановичъ бѣ силно опе-
чаленъ и развълнуванъ. Като сиѣ на лавицата шапката отъ гла-
вата си, той обърна мрачния си погледъ върху момата и захвана
да разказва, но съ такъвъ мъчителенъ гласъ, щото въ душата на
неговата слушателница се набрраше тъга и недоумѣние.

— Човѣкъ, който е достигналъ до моигѣ години и не е до-
билъ опрѣдѣлено положение въ живота, разбира се, че у всички
ще възбужда подозрѣние. Василий Лобановичъ . . . Какво прави
той? Какъ живѣе? Защо се скита той безъ работа по свѣта? За-
що отъ всѣкъдѣ го гонятъ, като улично куче? Това сж все въ-
проси, които се отнасятъ до мене. Азъ нѣмамъ ниго стрѣха, ниго
прибѣжище, нито почва подъ кракага си, ниго опрѣдѣлено по-
ложение по мекду хората. И вий всички сге прави, когаго ми каз-
вате, че съмъ бездѣльникъ, скитникъ, гладенъ интеллигентъ, или какво
още . . . хиляди пѣти сге прави! Но его гдѣ сте неправи. Вий
мислите, че азъ съмъ скитникъ по собствена воля заради забава,
и за това още, че незнамъ да се устрою . . . То не е истина!
Азъ много съмъ размишлявалъ за себе си, искамъ да се устрою кол-
кото се може по добръ, но не съмъ кривъ, когаго, дяволъ да го
земе, нищо не излиза! Его каква е работата. Нашѣго поколение
въ това число и азъ има въ душата си нѣкои и други мисли,
кѣжеге ги идеали, ако обичаге громкитѣ думи, и въ тѣзи мисли
и се заключаватъ всичкитѣ негови нещастия. Сега не е какго по-
напрѣдъ. Тогазъ човѣкъ натъпявашъ главата си съ всевъзможни

мисли, като куфаръ съ книги, и се разхожаше въ такъв смѣшенъ видъ; а когато имаше нужда да направи нѣкое жизнено пѣтувание, той испразнуваше куфара отъ безполѣзния багажъ, натѣжавше го съ разни нѣща, които трѣбватъ за пѣгъ, и повече нищо! Тази операция — изхвърлянето на идеалитѣ отъ куфара — въ онова врѣме се вършеше лесно. Но за насъ то е вече невъзможно. Нашигѣ мисли се обърнаха у насъ въ съвѣсть, т. е. ни не можемъ нито да ги изхвърлимъ нито да ги забравимъ, а трѣбва на всѣждѣ да ги носимъ съ себе си. Ето въ какъо се състои работата, а никакъ не въ скитничеството! . . . Но чакайте сега по нататѣкъ да ви расправа . . . Мислитѣ, идеалитѣ, които се сж обърнали въ съвѣсть, трѣбва, най-сегнь, нѣидѣ да се приложатъ. Пита се, какѣ? Този въпросъ различо се е рѣшавалъ и рѣшава. Едни сж прилагали съвѣстьта си въ различни крайни прѣдприятія. Но тѣ сж сполучили само, както се изражава Червенски, да разработатъ теорията за смъртъта. Тѣ научиха себе и други, какъ трѣбва да се мре. Ясно се вижда, че то не е рѣшение . . . Други зъвсѣмъ нѣидѣ не сж приложили съвѣстьта си и сж били замѣчени отъ нея; къмъ този типъ хора спада онзи страдалецъ интелигентъ, който сега служи за присмѣхъ и подигравка по всичкитѣ крестопѣтища. Трети пакъ — а азъ къмъ тѣхъ принадлежа до нѣидѣ, — се мислили нѣкакъ да помиратъ своитѣ мисли съ положението. Тѣ сж вѣрвали, — и азъ съмъ въ това тѣхъ сжщю убѣденъ, — че въ всѣко мѣсто, дори въ най-мръсното, но което дава коматъ, може да се внесе порядѣчностъ, честностъ, свобода и свѣглина. Тукъ е имало много прѣуголемявания и още повече недоразумения. Но да можешъ, ако се погледне здраво на работата, да съгласишъ мислитѣ съ хлѣба, душата съ стомаха, идеалитѣ съ мръснитѣ дѣла . . . въ повечето случаи, невъзможно е. Но азъ вѣрвамъ, има мѣста, гдѣто може много да се работи. А тукъ вий сте пакъ прави. Има такива мѣста, но мѣтъ не бива зѣ такива работа. Вѣронгно, трѣбва да имамъ нѣкакъвъ органически порокъ! Трѣбва да е истина, както ме увѣрва Иванъ Ивановичъ, че азъ, дѣйствително, не струвамъ за такава служба, заплаћена и голѣма работа! . . . Но вий поне не дѣйте ме би . . .

Лобановичъ стана отъ мѣстото си, походи по пѣтеката, върна се назадъ и съ едно особенно бързо движение нахлуци шапката си чакъ до очитѣ. Както се виждаше, то означаваше, че той нѣма ни най-малко желание повече да говори. И наистина, той облѣгна главага си на рѣцетѣ и замѣлча.

Катя не знаеше какво да му каже. Тя изгуби всѣкава охота

да го утѣшава, като го глѣдаше тъй дълбоко опечаленъ. Но колко ѝ се искаше да му каже, че тя и не мисли да се подиграва съ неговитѣ несполуки!

До толкова я бѣше срамъ, за гдѣто нарѣче безгрижностъ и легкоумие неговото скитничество, щото чакъ мъжа усѣщаше въ душата си. И тя самата принадлежеше къмъ необезпеченитѣ хора, но тя не бѣше въ състояние да си прѣстави, какъ тъй човѣкъ може неопрѣдѣлено да живѣе, както живѣе Лобановичъ. Тя самата се занимаваше съ уроци, намираше и други работи и живѣеше доста добръ, гледаше въ сѣщото врѣме своята стара майка и своя братъ гимназистъ, Лобановичъ винаги ѝ се показваше безгриженъ, но всичко, което той говореше, неи се харесваше. И на сега, не отведнажъ стана мъчно, задѣто тя мислеше тъй.

Лобановичъ, между това, продължаваше мълчишката да сѣди. Както можеше да се види, той чакаше, че тя, както е бивало и други пѣтъ, ще му каже нѣщо утѣшително, ще се пошегува като съ близъкъ другаръ и ще го испроводи съ всевъзможна смѣхъ. Но думи сега у нея не се намѣриха.

Тогавата той скочи отъ мѣстото си и трѣгна да си утиде.

Тѣ двамата дойдоха до вратичката на градината.

Съвсѣмъ вече бѣше късно. По улицитѣ нѣмаше никого.

Като прѣстѣпи прага на вратата, Лобановичъ още единъ пѣтъ ѝ протегна ржката си за сбогомъ. Катя я хвана и я задържа; подиръ полегка я потегли къмъ себе. Една минута той нищо не разбираше, но отведнажъ се видѣ въ пригряжкитѣ на момата.

Когато подиръ малко той се връщаше у дома, струваше му се, че, отъ излишъкъ на сили, той ще полудѣе. Главата му гореше и хиляди мисли, като потокъ, вървеха изъ нея.

Но една мисль скоро се отдѣли отъ всичкитѣ, распѣди всички други и се исправи прѣдъ пламналото му съзнание, като грамадна сѣнка. „Трѣбва да се дири сполука, защото само сполуката дава сила“ — мислеше си той, развълнуванъ. Него любать — и той трѣбва да помни за това. Личното щастие е центъръ, отъ който излизатъ пѣтица за различни страни, и ако човѣкъ не намѣри тези центъръ, той е обреченъ прѣзъ всичкия си животъ да се скита по незнайни пѣтица. . . . Сполука, сполука! . . .

— Прѣди всичко лична сполука, а всащо друго — подирѣ! — Каза той, съ високъ гласъ и камънитѣ на празната улица потвориха гласа му въ ношната тишина.



— Мѣсто се намѣри за тебе! — продума Иванъ Ивановичъ съмълвиво, едважъ като си отваряше очитѣ и като мислѣше по какъвъ начинъ да разбуди Лобановича.

За негово очудване, послѣдния вече бѣ облѣченъ и си нареждаше стаята, като никога.

— И прѣкрасно! А пакъ азъ мислѣхъ самъ да тръгна да си трѣся мѣсто. Прѣкрасно! Сега, ще рече, не трѣбва. Благодаря, Иване! Е, казвай, какво мѣсто.

Лобановичъ всичко това исказа радостно и твърдо, като че-ли най-обикновенна работа за него е да мисли за мѣста.

Иванъ Ивановичъ отъ патѣтъ си го гледаше зачудено.

— Мигаръ ти си мислилъ да тръгнешъ да трѣсишъ мѣсто? — попита той недобѣрчиво.

— Разбира се. Че какво има тука чудно? Трѣбва най-подиръ да се настаня . . . И, при това, веднажъ за винаги. Омръзна ми скитническия животъ! Стига вече съмъ гладувагъ! . . .

— Ти на подигравка ли говоришъ? — попита очудено Иванъ Ивановичъ, за пръвъ пѣтъ чувайки такива нѣща отъ безгрижния Василъ.

Послѣдния поддигна раменѣтъ си въ знакъ на прѣнебрѣжение.

— Нито ми се иска да говоря на подигравка. Остави това ти, ами, я ми разкажи какво мѣсто! — отговори той сериозно.

— Чакай да се омия, — отвърна Иванъ Ивановичъ, слезѣ отъ пата и задвана да се натъкмява.

Той се обтѣгна съ наслаждение, облѣче се, оми се и замислено зе да си разчесна брадата и косата. Подиръ начена да се чисти. Тѣзи обязанности той изпълняваше методичво и обмислено, и винаги мълчеше въ врѣме на извършванието имъ. Инакъ не може. Ако нѣкой помска да говори въ врѣме на омиванне или чесанне, то той, остави, че умно нищо нѣма да каже, ами я брадата ще остави не разчесана. Не може човѣкъ да гони два заяка. Който иска да има въшность, той трѣбва да посѣщава на нея извѣстно врѣме и извѣстни гриви.

Лобановичъ съ нескриваемъ ядъ слѣдѣше всичкитѣ движения на приятеля си, но най сѣтнѣ не истърпя :

— А, бе, ще свършишъ ли ти нѣкога! Какво мѣсто? — извика той.

— Ей сега е. Като сѣднемъ да пиемъ чай, всѣчко по редъ ще ти разкажа, отговори Червенски отъ далеченъ единъ кѣтъ на

коридора, гдѣто въ тази минута чистеше сетрето си, при което се слуша равномѣрно швърканье на четката и енергично плюване.

Най подиръ, въ врѣме на чая, той расправи подробно за своитѣ прѣговори съ единъ инженеръ

Работата е на новата ж-лвзница, която сега се прави. На единъ прѣдприемачъ е нуженъ разбранъ надзиратель. Обязаноститѣ се заключаватъ въ това: да се исчислява количеството на произведенитѣ работи, да се слѣди, въ сжщю врѣме, за тѣхното качество; да се исчислява работнага заплата и да се наблюдава за работниците. Непосрѣдствения началникъ е самия прѣдприемачъ. Подчиненитѣ сж нѣколко дружини работници. Цѣлъ день човѣкъ ще се намира въ движение по кѣра. Платата е съобразна съ онова, каква частъ отъ линията и колко дружини ще се намиратъ въ негово распореджанье.

— Както виждашь, мѣстото не е до тамъ добро. При това, до нѣйдѣ ще трѣбва да бждешъ и «гърбачъ» по отношение къмъ работниците . . . Ти това имай прѣдъ видъ, — каза Иванъ Ивановичъ, като свърши своето описание на мѣстото.

Лобановичъ внимателно изслуша всичкитѣ условия, и когато Иванъ Ивановичъ свърши, той му зададе нѣколко въпроси, които го очудиха по своята пракгичность и здравъ смисъль. Подиръ рѣшително каза:

— Азъ трѣгвамъ.

— Не се ли гнусишь? Помни, ти ще бждешъ до нѣйдѣ гърбачъ въ ржцѣтъ на прѣдприемача, — още веднажъ повтори Червински, като се очудваше на неговата бърза рѣшимость да залови таква работа.

— Гърбачътъ има два краища, Иване. Фактически отъ него винаги се ползува не онзи, който най-първо го е зель, а онзи, койго умѣе да го отнеме . . . Но това на страна. Още едно ще попитамъ: кой ще бжде инженеръ на моята дистанция? —

— Фамилията му не помня; но моя познайникъ казва, че тоу е човѣкъ порядоченъ.

— Много добръ. Азъ съ него ще се сприятеля. А чрѣзь него ще се потруда да добия истинско сигурно мѣсто, когато пакъ ще бжде свършенъ. По такъвъ начинъ, ролята на гърбача ще бжде само врѣменна неприятность, и ти не се безпокой, азъ ще знамъ да избѣгвамъ двусмисленнитѣ положения. Трѣбва, най-послѣ, да стѣпя добръ на крака. Кога ще трѣгвамъ?

Слушайки всичко това, Иванъ Ивановичъ не можеше да скрие своето очудване. Лобановичъ имаше твърдъ, рѣшителенъ и нѣла-

къвъ благороден видъ. Но напредъ той винаги очудваше Иванъ Ивановича, като му откриваше сѣ нови и нови страни отъ своята натура, но *това* не можеше и да се подозира въ него. Твърдостъ той показваше още, особено когато работата се отнасяше до нѣкое не добро прѣдиряние, но благородие — никъга!

— Да вървиш ли кога, казвашъ? — Разсѣяно попита Иванъ Ивановичъ, като бѣше се замислил надъ радикалното промѣнение въ приятеля. — И утрѣ можешъ!

— Утрѣ не ще мога . . . имамъ нѣкои и други работи да свърша. Но въ другъ-день съмъ готовъ отвърна Лобановичъ.

— Това рѣшение свършено ли е?

— Свършено.

— Тѣй и ще кажа.

И Червински направилъ единъ мълчаливъ жестъ, съ който изражаваше одобрение. Тозъ човѣкъ щѣ да се е вразумилъ, най-послѣ . . . Вижда се, оръзнало му е скитанието . . . Но що значи това нѣщо? Отъ гдѣ? . . .

Като размисляваше тѣй, Иванъ Ивановичъ методично сръбваше чай изъ чашата, методично захващаше бѣлъ хлѣбъ и прибираще въ едно купче всичкитѣ трохи. А, въ сѣщо врѣме, развърза езика си. Той се viuетна да развива обикновеннитѣ си мисли за «коматътъ хлѣбъ», за «мѣстата», но този пѣтъ подновени отъ извънредния случай. Тѣзи мисли бѣха не числи, но тѣ винаги имаха едно достоинство: вѣрно опрѣдѣление на хората и положенията.

— Драго ми е, че ти, най-подиръ, доде до моитѣ заключения. Ний не можемъ да му въздираме много-много въ мѣстата, а трѣбва да залавяме онова, което ни се падне подъ ржцѣ. Нашето избирание е най-ограничено. Азъ раздѣлямъ мѣстата тѣй. Има мѣста, които ний *не можемъ* да заемемъ, има други, които ний *не искаме*, и има трети, които ний можемъ и искаме, но до които насъ *не допускатъ*

Лобановичъ се изсмѣ съ гласъ; тозъ пѣтъ той слушаше мълчаливо Червински, безъ да му възражава нѣщо. А когато не спираха Ивана Ивановича, той можеше безкрайно дълго врѣме да бжбре; неговата «воденица» бѣ здрава.

— Чакай, ти се не смѣй. Ний наистина имамъ прѣдъ насъ много малко нѣща за избирание. Понеже ний нѣмаме нѣкоя специалностъ, то всѣки отъ насъ, не може да бжде докторъ, адвокатъ, инженеръ, механикъ, офицеръ, свещеникъ и т. н. Отъ друга страна, надарени съ нѣкои понятия отъ интелегентно свойство, ний не

искаме да бждемъ служителъ въ кафенето, калфа въ дюгения, джандаринъ въ участъка, писаръ въ „судната контора“, надзирателъ въ тъмницата и т. н., и т. н. И така, на наше расположение остава твърдъ ограничено поле, но и тукъ не ни пускатъ, защото цялото това поле се намира въ рѣцѣтъ на полуграмогии, невѣжественни хора. Трѣбва ли да се промѣнѣмъ тукъ, за да измѣстимъ необразованитѣ хора? Споредъ мене това тѣй и трѣбва да бжде. Тѣй или инакъ но въ всѣко мѣсто ний внасяме известни приличия, прѣкратяваме кражбитѣ, а често пѣти и грабежите, които се извършватъ по срѣдъ день, разсѣйваме макаръ малко-от-малко мъглата, очистваме калъта . . . Ще рѣче, ний не само можемъ, ами и трѣбва да се промѣнѣмъ въ тия чужди мѣста, гдѣто не ни пускатъ. И ще се промѣнѣмъ, Василе нели?

— Поне ще се опитае — каза Лобановичъ и пакъ се засмѣ.

За пръвъ пѣтъ сега приятелитѣ тѣй мирно се разговаряха. Иванъ Ивановичъ продължаваше дълго врѣме още да развива своитѣ ниски мисли, защото Лобановичъ, мъчливо го слушаше. А, кой знае, може би, и никакъ не го слушаше, размишлявайки за други нѣща. Слѣдъ чая тѣ дори и на улицата излѣзоха заедно, но по пѣти не се прѣпираха.

Слѣдъ единъ день Лобановичъ, както бѣ се обѣщавъ, замина за далечното мѣсто.

Испроваждаха го Червински и Катя. При това Червински за блѣжжи, че между неговия приятелъ и момичето се сж завързали нѣкакви си нови, топли отношения. Прѣдъ третото изсвирване на парахода Лобановичъ и Катя ненадѣйно нѣйдѣ-си се скриха, а когато се върнаха на стълбата, то момичето бѣше твърдъ развълнувано, съ просълзени очи, но щастливо, а Лобановичъ гледаше загрижено, но горделиво.

— Тѣ се любятъ . . . — истинктивно разбра Иванъ Ивановичъ и нему веднага стана мъчно.

Когато зимаха сбогомъ, Лобановичъ му пришепна на ухо, да пази той момичето въ неговото отсъствие и да се грижи за него. Иванъ Ивановичъ тържественно му се обѣща, но усѣти, какъ му ставаше сѣ мъчно и по-мъчно.

При тръгването на парахода, когато вече въ него задрѣнкаха машинитѣ и той бързо захвана да се отдалечава, Иванъ Ивановичъ замаха съ шапката си, а добродушнитѣ му очи се напълниха съ сълзи и отведнажъ страшно чувство на осамотение му стисна сърдцето, защото парахода заедно съ себе си отнасяше не само оногози, къмъ когото той бѣше привързанъ, но и оная, която той любеше.

Но честното му сърце не можеше да ревнува; като испрождаше момичето дома ѝ, слѣдъ отплауването на парахода, той само чувствуваше своето осамотение, мъка и безцѣлността на своето съществуване

VI.

До скоро още тази страна прѣдставляваше дива, затѣнтена мѣстность, гдѣто нарѣкнато се раздаваше човѣчески гласъ. Въ тъмнитѣ гори тукъ не се чуваха нито скърцанье на кола, нито кѣтение на брадва, нито мукание на домашенъ добитѣкъ. Поцѣ зеления връшникъ на бороветѣ и брѣзитѣ съ чуваше само трещението на кълвача, куканието на кукувицата, а нощемъ се разнасяше таинственното буханье на бухъла.

Цѣлата страна надлъжъ и наширь бѣше кръстосана съ планински вериги. То придаваше на цѣлата мѣстность още по-дива, по-величественна красота. Никакви пѣтяници не прѣсичааха планинитѣ, покрити чакъ до остритѣ върхове съ непроходима гора, тѣ оставаха недогнани до сега. А изъ дълбокитѣ долине и долини, гдѣто лжкатушѣха рѣки и лъщеа езера, не се виждаха никакви мостове. Всичко тукъ бѣ обрасло; шургението на ваичкиитѣ, ту тихо, ту шумно, всѣки единъ можеше да чуе, но самитѣ тѣхъ неможеше да види, — тѣ бѣха обрасли съ такава чесга трѣва и шума, щото водата, струваше се човѣку, че тече бързо нѣидѣши изъ подъ земята.

По нѣком мѣста стѣнитѣ на хресталака и на гората се отдрѣпваха, та отваряха пѣть на рѣчката, за да образува широко естествено плато, повърхнината на което тѣй сжщо биваше покрита съ дива, гжста зеленина; покрай брѣгветѣ, чакъ до срѣдата на разлѣтото плато, растѣше дебела трѣсъ, а другата му частъ бѣше обрасла съ воденъ кремъ и съ други водорасли.

Това бѣше най-дивия кжтъ на прѣкрасната Башкирия. Стопанинъ тукъ се смѣташе башкирецътъ; но той е немрливъ стопанинъ та е изоставилъ тоя кжтъ. Само по нѣкога, когато той се промѣкваше чрѣзъ гжсталака възсѣдналъ на мършавъ конь, се раздаваше пѣсната му. Той пѣе въ нея за всичко, което му се испрѣчва прѣдъ очи: — пѣе за клончесотото дърво, което го удря по главата, пѣе за голия черепъ на повисалия конь, покрай когото минува, пѣе за мравуняка, за изгнилия пѣнь, за поваленото отъ бурата дърво . . . Но това не е пѣсень, а вѣлчи вой.

Токо отведнажъ, като че ли съ единъ ударъ на магическия

жезълъ, тукъ всичко се измѣни. Поливиха се тайфи отъ работници съ лопати, чукове и трюни; въ спокойния до сега въздухъ раздадоха се удари на брадви, писъкъ на трюни, гръмъ на динамически избухвания. И на всѣкъ мѣстъ, гдѣто прѣминваха дружинитѣ, подирѣ имъ оставаше страшна дупа отъ разровена прѣстъ, истъркани и изгорени шубръци, повалени дървета, прорѣзани бърда. А задъ тайфитѣ-работници се зададе тъмната, опушена огнедвигуща желѣзница и испътни въздуха съ тържествующий си писъкъ, който накара да млъкнатъ старитѣ обитатели на мрачния кътъ. Прѣстана тайнствено да буха бухълътъ, кукувицата вече кукаше нѣйдѣ си далечъ, трѣсъкътъ на кълвача не се чуваше и свърши се безкрайната пѣсенъ на башкирецътъ; него наеха да копае прѣстъ, дадоха му въ рѣцѣтъ лопата, и той млъкна.

Но ако би нѣкой пожелалъ да види този кътъ въ всичката му мрачна красота, той стига само да се дръпне на малко разстояние отъ ивицата на пътя. Тогава ролитѣ се мѣняватъ. Страната тогава се явява въ цѣлата си тържествующа дивостъ, а новодошитѣ чужденци, наопаки, се показватъ като да сѣ погребени подъ тъмния гѣсталякъ, посрѣдъ тѣзи диви урви и дълбоки блата; удара на брадвитѣ и на чуковетѣ се дочува тукъ като ударѣтъ на кълвачъ съ човката му по дървесната кора, а свирката на машината напомнѣва жалостния писъкъ на мишка. А пакъ гласовѣтъ на хората съвсѣмъ не се чуватъ и, намѣсто тѣхъ, пакъ се разнася плача на „калугерицата“, уханнето на водния бикъ и крѣсъкътъ на дугана, като че ли тукъ нищо не се е случило.

Такова впечатление произведе дивото мѣсто на Лобановича, когато той въ свободнитѣ недѣлни дни оставаше бараката си и се затѣнтваше подъ тъмнитѣ сводове на околнитѣ гори; стигаше да се стдалечи той на половинъ верста на страна, и шумния животъ на строющата се желѣзница съвършено заглъхваше, поглънатъ отъ тайнственната мълчаливостъ на природата.

Той се скиташе по тѣзи гори, прѣгазваше рѣкитѣ и блатата, скачваше се на канаритѣ и се чувствуваше тѣй добръ, както никога. Зи новия си животъ той пишеше въсторженни писма на Батя и на Червянски.

Службата му тѣй сжщо добръ вървеше. Прѣдприемача, поради економии държеше само единъ надзирателъ, — Лобановича; то правеше двоенъ трудъ на послѣдния. Подъ негово наблюдение имаше нѣколко дружини работници, распрѣснати на десетъ версти по линията. Той трѣбваше отъ утрень до вечеръ да ходи съ конь или съ кола, или пакъ просто пѣши; къмъ свършека на деня отъ та-

кова движение той биваше страшно уморенъ. По това го не ядосваше; нему и най-същителна работа не можеше да се покаже тежка, щомъ я считаше за необходима. Въ сегашния случай той считаше тази служба за необходима . . .

Слѣдъ тръгването му отъ X неговата рѣшителност да се побори за личната си сѣдба само порастна. Като си постави отпрѣдъ само тази единствена цѣль — да си извоюва сигурно положение, той веднага почувствува приливъ отъ необикновена сила въ себе си. По напрѣдъ всички тѣзи сили, не насочвани къмъ единъ фокусъ, безслѣдно пропадаха, което го правеше въ очитѣ на всички вѣтрничавъ, а въ своитѣ очи — слабъ; сега, когато всичката му енергия се обърна само къмъ една точка, той по отрано почувствува побѣда.

До цѣльта си той, наистина, бързо се приближаваше.

Съ всички, и съ прѣдприемача, и съ инженеря, и съ работниците, той завърза опрѣдѣлени отношения.

Прѣдприемача не можеше да се нахвали съ него. При това, още отъ първитѣ дни той почувствува нѣкакъвъ страхъ къмъ него, като къмъ човѣкъ, който всичко разбира. Това бѣше инстинктивно чувство отъ уважение къмъ нѣщо-си високо.

Той му викаше „господинъ Лобановичъ“, отнасяше се къмъ него съ прѣдурѣдителна вѣжливостъ. Той не само не го третираше като подчиненъ, но, наопаки, винаги считаше за нужно да се оправдава за нѣщо.

Като се оплакваше много пакти отъ своята горчива сѣдба, той горѣщо се оправдаваше отъ неяснитѣ обвинения на незнайни обвинители. То го нападнаше вечерно врѣме, когато тѣ се завръщаха въ бараката да спятъ.

— На, въ вѣстниците, господинъ Лобановичъ, такива като насъ по главата ги чукать . . . Въ мѣстния листъ какво не ме направиха! Бре, прѣдприемача е кръвопиецъ! Бре, експ . . . какъ туй пуштината бѣше? . . . Кажете го, де . . . съ една дума, разбойникъ! Какъ вий мислите, право ли е това?

— Че какво ми влиза въ работа! — отвръщаше Лобановичъ уклончиво.

— Не, моля! Вий сте човѣкъ ученъ . . . Разсѣдете сами, каква справедливостъ има тука? Азъ поддържамъ синъ въ университета, студентъ, другъ пакъ — въ гимназията, а въ къщи сж още осемъ души едно отъ друго по-малки! Ела — че нахрани толкова гърла! Ами азъ, ами жена ми, ами други разноски! . . . Какъ ви

се чини, малко ли трѣбва да истегля? . . . Азъ и тъй работа като волъ! . . . Единиятъ ми синъ въ университетъ, другия въ гимназията. — ще рече, азъ искамъ да имъ дамъ образование! Какво право има вѣстника да печата, че азъ съмъ експ . . . съ една дума, разбойникъ.

Лобановичъ подъ различни прѣдлози избѣгваше отъ отговоръ. Прѣдприимача бѣше за него новина; въ него той виждаше чуденъ субектъ, въ едно и също врѣме, и смѣшенъ, и мизеренъ, и достоенъ за съжаление. До сега подъ име „прѣдприимачъ“ той разбираше човѣкъ безсъвѣстенъ, алченъ, джеллатинъ, но неговия прѣдприимачъ не притежаваше нито една, поне тъй му се струваше, черта отъ такъвъ опрѣдѣленъ типъ-експлуататоръ.

Ходеше той съ капела, съ сетре и съ кордонъ прѣзъ врата. Бѣше отъ неизвѣстно происхождение. Грамотенъ. Нощемъ, като забодеше лояна свѣщъ на говоздей, четеше некакъвъ-си романъ (той признаваше „романъ“) *Кървава диря*. Свободни капитали той нѣмаше; поне по сжбботигъ, когато се расплащаше съ работниците, биваше цѣлъ мокръ отъ потъ и възлнение. На линията той нарѣдко ходеше; всичко врѣме миткаше изъ града, гдѣто заключаваше нѣкакви си парични обязательства. Въобще той бѣше субектъ, който, висеше между небото и земята.

— Гледай какви хора имало още! — съ очудвание си мислеше Лобановичъ, като наблюдаваше оригиналната разновидность на хората, които имаха такъвъ не лесенъ поминкъ.

Наврѣмени, подиръ дълготъ му оплаквания отъ трудността да добие дванедесетъ комата, Лобановичъ искаваше дори и съчувствие. Но въобще той се мъчеше съвсѣмъ да не мисли за него, — не му е работа.

Съ инженеритѣ той завърза още по-добри отношения. Съ одного отъ тѣхъ Лобановичъ съвсѣмъ се сприятели.

Чистичкъ, нѣжничкъ, съ изящни ржчички, винаги прѣмъненъ, дори и тука, въ гората, тъй като че ей сега е изгѣзълъ отъ шивачтъ, — той бѣше най хулавичкия инженеръ въ цѣлия свѣтъ. Лобановичъ, съ високата си, едра фигура, съ неодѣланитѣ си торлашки манери, прѣдъ него се показваше като горско плашило. И все пакъ, между тѣхъ се завързаха дружески отношения и се намѣри нѣщо общо.

Срѣщайки се всѣки часъ по линията, тѣ по дълго врѣме дрънкаха за всичко на свѣта. Покрай нѣкои тѣхни общи възглѣди, тѣ и двамата, за свое удоволствие, се оказаха страстни любители на музиката и често до зори, сѣднали нѣйдѣ на края на

нѣкой урва, спомняха си за чудеснитѣ откъслени отъ опери, сонати и симфонии. Разбира се, само си спомняха, защото въ мрачната гора, на хиляди версти далечъ отъ всѣка музика, тя мъчно би могла да се изпълни. При все това, тѣ можеха и да испѣятъ нѣщо; но и това бѣ затруднително, защото Лобановичъ имаше чудовищенъ гласъ, въ който по нѣщастенъ начинъ бѣха съединени рева на магаре и груктение на свиня; колкого се отнася до инжинера, то той имаше слабъ, нѣженъ баритонъ, но гласа му се губеше въ честата гора. Съ една дума, тѣ бѣха принудени да се наслаждаватъ отъ музиката, сѫко като се разговаряха за нея, но и отъ тѣзи разговори тѣ дохождаха въ вѣстържено настроение.

Много пѣти тѣ разговаряха и за други нѣща. Веднажъ, инженерера, очуденъ отъ дълбокитѣ знания на своя събесѣдникъ, го попита :

— Че какво тѣй ви е дошло на умъ да завземете такава мръсна, кална работа ?

Лобановичъ прѣдъ този наивенъ въпросъ се смути.

— За да свърши цѣлата желѣзна пѣтна школа, — слѣга той отъ начало.

Но тутакси подиръ това той се рѣши да се възползува отъ подходящата минута и искаша желание за да заеме мѣсто на желѣзницата. Инжинера се отнесѣ крайно съчувствено къмъ такъво желание, распита дали има работа и слѣдъ нѣколко дни искаша доста голѣма, и положителна увѣренность, че управлението на желѣзницата нѣма да изпусне такъвъ полезенъ служащъ. А още слѣдъ нѣколко деня той вече съ радостъ съобщи, че службата му е сигурна. Работата бѣше за единъ важенъ постъ по линията.

Подиръ такъвъ случай дружбата между тѣхъ още се по-уягчи. Нѣжня, хубавичкия инженеръ хранеше най-дълбоко уважение къмъ Лобановича и прѣкарваше заедно съ него побечето отъ тежкитѣ и мрачни нощи. Лобановичъ пакъ отъ своя страна бѣше искрененъ и откровенъ къмъ случайния си приятель.

За своята служба, за сполукитѣ и надѣждитѣ си Лобановичъ събщаваше на Катя, която въ отговортѣ си изказваше истинска радостъ и се обѣщаваше скоро да дойде при него. Въ друго едно писмо до Иванъ Ивановича, Лобановичъ подробно обясняваше сегашното си настроение :

„Азъ разбрахъ една истина : човѣкъ не трѣбва да се увлича отъ чуждитѣ интереси, докато не изпълни своитѣ. Тукъ на често у насъ се вършатъ възмутителни нѣща, но азъ се научихъ да

гледамъ на тѣхъ хладнокрѣвно. Дори и самъ се очудвамъ, какъвъ неисчерпаемъ изворъ отъ равнодушие азъ открихъ въ себеси; за всичко, което се върши около мене, не ща ни да знамъ до като не достигна поставената си цѣль.“

Червински, като знаеше много добръ Лобановича, прѣдвардваше го отъ крайно увличание на равнодушнето.

„Нуждно и необходимо е човѣкъ да бжде равнодушенъ въ извѣстни случаи, но трѣбва мѣрка да знае на всичко. Равнодушне къмъ онова, що се върши наоколо, сега-за-сега за тебе е полезно, но и тукъ не се увличай, не прѣкалявай, иначе въ тебе ще настѣпи реакция, ще се забатачишь, и бозна колко безумни работи ще направишь,“ пишеше винаги благоразумния Иванъ Ивановичъ.

Най главното, за което се пишеше въ тѣзи писма, бѣше за отношенията му къмъ работниците. Млчнотитѣ на тѣзи отношения Лобановичъ нади съ най голѣмъ трудъ.

Подъ негово распореджане се намбраха нѣколко дружини; тукъ имаше самарци пензенци, вятчане („вички,“ както тѣ сами се зовеха.) най-послѣ, една тайфа башкирци. Съ всички трѣбваше да знае какъ да говори и какъ да имъ удовлетворява претенцитѣ. Интереситѣ на прѣдприемача, разбира се, изискваха што той да забѣлѣзва още повѣче отсъствуващи дни, а по-малко свършени работи; наопаки, въ интереса на работниците пакъ естествено бѣше да желаятъ, што да се не отбѣлѣзватъ никакви отсъствуващи дни, и да показватъ повече кубически метрове отъ изровена прѣстъ и раздробени камъни.

Лобановчъ благоразумно избѣгна и едното и другото. Тѣй даде да разбере на предприемача, че нѣма намѣрение да допуска никакви погрѣшки въ смѣтките, та и прдприемача нѣмаше кога да слѣди за тази тефтерска справедливостъ — той токо се губеше по цѣли недѣли, търсейки кредити за срочнитѣ исплащания. Отъ своя страна пакъ работниците се увѣриха, че записванията на тѣхнитѣ работи и заплати се водятъ точно, макаръ че всичкитѣ работници гледаха отъ нѣкое врѣме насамъ на тѣзи записвания съвсѣмъ равнодушно.

Това до нѣйдѣ очудваше Лобановича, но той не търсеше причината. Отъ вътрѣшния животъ на всички тия хора той гледаше да стои на страна, да се показва слѣпъ и глухъ къмъ онова, което до скоро още го интересуваше.

Въ мислитѣ му се образува и ягко засѣдна въпроса:

— Че какво ми влиза въ работата?

VII.

Бъше недъленъ день; слънцито едвамъ що се показа. Въ бараката стана влажно. Лобановичъ бързо се облече, турна си въ чантата едно парче хлѣбъ и излезе на чистъ въздухъ.

Той можеше да се скита изъ усойтѣ до три часа, — въ това врѣме тѣ бѣха се сговорили съ пикнера да утидатъ на ловъ.

Като прѣмина тѣсното пространство на пътя, загрупано съ греди, съ купове камъни и прѣстъ, той на часа се изгуби въ гъстата първобитна гора. Подъ нейния сводъ царуваше полумракъ и стоеше тишина; утрѣнното слънце не можеше да пробие честата шума на гъсталака, и само рѣдки негови зари се промъкваха та позлатяваха роината горска трѣва.

Лобановичъ колегичка се провираше изъ между дърветата и се вслушваше въ таинствения животъ на този тъмешъ кѣтъ. Той завари гората тъкмо тогава, когато тя захващаше да се пробужда отъ ношния си сънъ. Въ мъргвата тишина се слушаше всеки звукъ, чуваше се, какъ по шумата пълзи гъсеницата, какъ падна листъ отъ върха на дървото, какъ се исправи веднага клончето, извито отъ нѣкоя ржка, какъ шумолятъ мравенгѣ сколо своето жилище. Изгракването на усорлицата, което ненадѣйно се раздаде по гората като пискунъ, накара Лобановича да трѣпне, но слѣдъ минута врѣме, когато гласа на малкото хищно птиче мълкна, гората отново замрѣ въ таинствено мълчание.

Вървейки сѣ нататѣкъ между дърветата, Лобановичъ забѣлѣжи недалече поляна и трѣгна къмъ нея. Огъ тамъ се слушаше нѣкакъвъ плѣсъкъ на водата, което заинтерисува неговото праздно внимание. Той знаеше, ча тамъ посрѣдъ храстѣто и трѣсталаза тече рекичка и поиска да си обясни, какви бѣха звуковетѣ, които се слушаха отъ тамъ?

Слѣдъ минута, работата се разбра. На брѣга на рѣчичката, въ най широкото ѣ мѣсто, сѣдеше единъ рибаръ, той ловеше риба съ вѣдица. Посрѣдъ гъстия папурякъ мъчно можеше да се забѣлѣжи неговата прѣгърбена фигура; дебелията му конопена риза по боята си твърдѣ малко се различавше отъ сухата трѣва, а смачканата му избѣлѣла шапка приличаше на единъ отъ лопуховитѣ листа, съ които бѣха обрасли брѣговетѣ на рекичката. Този човѣкъ можеше да се земе за единъ пнь, обрасълъ съ мъхъ и прикритъ отъ горѣ съ лопухувъ листъ, да не бѣше само всекоминутното мърданне на тоягата, която му служеше за трѣстъ.

Лобановичъ позна че той е главатаря на „вчакитѣ“ селене единъ доста старъ човѣкъ. Той го поздрави, и сѣдна до него и взе да гледа, какъ той вѣща. Но на часа забѣлѣжи, че на селенина не иде отъ рѣки къцаннето, че той за пръвъ пѣтъ държи въ рѣцѣ вѣдица. Намѣсто съ трѣсть или прѣчка, стареца си служеше съ една дебела като колѣ тояга, а пакъ намѣсто конецъ той бѣше употрѣбилъ едно до толкова дебело вѣже, щото съ него лесно можеше да се удържи конь, и при това, на такъво. вѣже бѣше привързалъ едно прѣголѣмо вѣдище. Тази чудна вѣдица, съ още по чуднитѣ ѿ части бѣше тѣй направена, като че стареца ще извади изъ-подъ лонуховитѣ листа нѣкаква моруна. А въ рѣчицата се вѣдеха само бѣбои и косати. Разумѣва се, че той нищо неможа да улови, — отъ постоянното маханне съ колѣтъ само мѣхурчета се появяваха по повърхнината на водата, но нищо повече

— Що, не се ли лови? — попита Лобановичъ низко отъ страхъ да не силъни рибата.

— Нищо не мога да хвана! — Отговори стареца загрижено, и съ напрѣгнатостъ гледаше въ водата.

-- Ти, ми се струва, за пръвъ пѣтъ ловишъ риба?

— Кажй, че за пръвъ — хичъ не ми иде отъ рѣки! А пакъ трѣбва.

— Риба ли ти се е дощяло?

— Не на менъ . . . Момчето ми Силантий, се оплаква отъ коремъ, — че за него . . . Отъ вчера насамъ остави и да работи вече.

— Разболѣлъ ли се е?

— Лѣжи. Не ѣде. Вчера едвамъ ми каза „искамъ риба“.

На Лобановича стана криво.

— Нема лопе въ хранитѣ?

— Грозно, синко! . . . Хлѣбътъ още види доди, ама да погледнешъ ѣстието му, тая ми ти чорба съ „крупа“ — грозно нѣщо!

— Че вий, ми се чини, въ условieto имате месо опрѣдѣлено?

— За имание имаме и месо по нѣкой пѣтъ турятъ въ котела, ами за сърдцето не понася! Смърди много.

Лобановичъ се исчерви. Нѣкакъвъ гнѣвъ свѣтна въ очитѣ му.

Тѣ продължаваха да говорятъ съ шумненне.

Много ли болни имате?

— Доста свѣтъ се испорболѣ отъ това сърдце. Огъ нашата дружина още хвала Бога! Госюдь ни е уназиль: оплакватъ се момчетага, ама все се държатъ. Ами да видите колко много самарци отъкараха въ „назарета“! . . .

— Нема умиратъ ? !

— Отъ пензевцитѣ вече седемь души умрѣха.

Стареца говореше равнодушно, съ невъзмутимо спокойствие при което съ напруженостъ гледаше вѣдницата ; всичкото му внимание бѣше съсредоточено върху вѣжето и плутата, когото той бѣ направилъ отъ миналогодишенъ напуръ, сгънатъ въ видъ на свонче.

До сега той още нищо не бѣ уловилъ. Единъ пхтъ се хвана нѣкаква си риба, но отъ радостъ той тѣй бързо я измъкна изъ водата, щото тя полѣтѣ въ хресталака, — гдѣ ще я диримъ тамъ ? Други пхтъ пакъ се хвана едно калко бѣбойче, но се откачи отъ вѣдницата, падна на брѣга и се плъзна въ водата. Стареца съ двѣ ржцѣ се втурна да го лови, растрѣперено пинаше по трѣвата, бъркаше въ водата, готовъ дори да се хвърли въ рѣката ; но гдѣ ще го хванешъ ? — Бѣбой не е ахмакъ да стои при брѣга ! Подиръ захвана и съвѣстмъ да се не улавя риба. Старецѣтъ пакъ се пулѣше въ вира, постоянно махаше съ колѣтъ и произвождаше съ вѣжето мѣхурчета по повърхността на водата, но на-пусто само се ядосваше.

Лобановичъ го гледа, гледа и, най послѣ, продума съ нетърпение :

— Е, дѣдо, ти тѣй нищо нѣма да хванешъ. Ами дай на менъ малко !

Въ дѣтинството си той имаше голѣма страсть къмъ къцанше и сега не истърпѣ. Той взе отъ ржцѣтъ на старица чудната вѣдница и бързо начена да я поправи. Колѣтъ той махна, а намѣсто него отрѣза една тънка прѣчка; връвта разви на тънки конци и взе отъ тѣхъ само единъ ; а намѣсто прѣголѣмото вѣднице, привърза другъ, по-малка вѣдница, която, за щастие, се намбри у стареца.

Слѣдъ нѣколко минути той вече извади единъ голѣмъ бѣбой. Стареца тѣй бѣ очуденъ отъ появяването му изъ водата, щото го сграбчи съ двѣ ржцѣ, и ягко го държеше, както се вижда, малко вѣрваше въ честността на бѣбоя. Само когато искусния риболовецъ захвана веѣка минута да измъква изъ водата други бѣбой и косати стареца малко се успокои и токо почна увѣренно да туря рибата въ скута, като наблюдаваше съ дѣтинска радостъ, въ смѣщо врѣме, движението на господина, и веѣки пхтъ, когато послѣдния изваждаше риба, той я пускаше съ смѣхъ въ скута, при което казваше :

— Ама че майсторски го пишна !

Слѣдъ малко врѣме се налови доста риба. Лобановичъ остави вѣдницата и стана отъ мѣстото си. Старецѣ тѣй смѣщо стана и забърза.

— Да си живъ и здравъ! Дано Господь сега да даде да се поправи Силантий! — каза той на сбогомъ. Този Силантий бѣ едипственния му синъ.

Чудна се показваше на Лобановича тази вѣра, че стига Силантий да похашне отъ рибата, — и ще се изцѣри отъ сграшната болѣсть. Лобановичъ се същаше, каква е тази болѣсть, и на него нападна странно озлобение. Противъ кого и защо той се ядуваше — на това надали можеше да отговори и той самъ, но озлобението тѣй неочаквано го обхвана, щото никакъ неможеше да се отърве отъ него.

Когато подиръ обѣдъ той отиде съ инжинера на ловъ то дълго врѣме още не можеше да доде въ себе си, въ прѣдшното благоразумно настроене. Вървѣйки редомъ съ инжинера той се ядосваше отъ всичко и за всичко. Него раздражаваха блатото, прѣзъ което тѣ минувахъ, шубрацитѣ отъ „кляститѣ черешп“ и глоговетѣ, измежду които тѣ трѣбваше да се промъкватъ, тежката пушка на рамото, хубавичкия инженеръ, който пристѣпваше дребно-дребно край него. Него раздражаваше въспоминането за стареца, който съ колъ ловеше риба, за тѣзъ „вячки“ които болѣдуваха отъ коремъ, за тѣзи самарни, които откарватъ въ „Назаретъ“, и той съ нескриваемъ ядъ отговаряше на въпроситѣ на инженера!

— Какво ви е, драгий ми приятелю? — попита го инжинера полузагрижено, полу-иронически.

— Трѣбва да не съмъ се наспалъ. Въ нашата барака сега е много влажно . . . А пакъ и още, моя прѣдприемачъ чакъ до разсъмване, кажѣ, четѣ новия „романъ“ *Призракъ безъ тѣло* . . . И дяволъ го знае, отъ гдѣ намира такава глупостя!

Инжинерътъ се и искжкоти.

— А бе, — продължаваше Лобановичъ, — знаете, менъ се вижда, че той е подлецъ?

— Твърдѣ е възможно, — каза равнодушно инжинера.

— Менъ се струва, че той, най-напоконъ, ще излъже работницитѣ. Той, ми се чини, и пари нѣма за да се расплати.

Лобановичъ при това расправи за дизинтерията на работницитѣ, за смъртѣта, за «назарета», За всичко, щото чу отъ стареца, и за всичко, за което той самъ отдавна се договѣждаше. А павъ за онова, дѣто той самъ повече отъ мѣсець не получава заплатата, той се посвѣрни да спомене.

Инжинера се намръщи, но се намръщи не за друго нѣщо, а само защото тоя разговоръ му бѣше неприятенъ.

— То е обикновена работа, отвърна той съ прѣнебрѣжение.

— Дизинтерията ли? — попита Лобановичъ.

— Изобщо всичкото казано отъ васъ.

— И чорбата? И вонѣщото месо? И хлѣбътъ, който не може да се ѣде? — прѣборяваше разядосанъ Лобановичъ.

— Всичко. Какъвъ навнень човѣкъ ставате! Че тъй се правятъ всички желѣзници. Та и мигаръ само желѣзниците? Културата на нашия вѣкъ е само война! — каза почитателно инжинера.

— Да речемъ; но и на война сж потрѣбни извѣстни приличия?

— Потрѣбни сж, но тѣхъ никой не пазя, — нѣма кога! Задачата на нашия вѣкъ е да създаде машина, безкрайна, която на всѣкъдѣ да прониква, която да напълни съ гърмежъ цѣлата земя. Човѣка е забравень, за него нѣма кога да се мисли . . . Ей-сега-е на, тази машина се мушна въ гърдитѣ на дивата страна, за добро ли тя се мушна или за зло — сега е безполезно да се разсѣждава. Сѣ едно, парната машина щеше да се появи тукъ и безъ наше участие. Може би, тя ще смаже хиляди души, но да се жалѣе за това е безполезно. Но тсс! . . . Застанете тукъ! Гърмете на дѣсно! — искоманува веднага инжинерина съ шепнение, като показваше на куш-дивя патници, които плаваха около папурата на езерото, гдѣто тѣ ненадѣно се намѣриха. Лобановичъ машинално, но тѣй бързо грѣмна, щого инжинера остана още съ недигната пушка.

Разбира се, нищо не удари. Инжинера се разсърди.

— Ехъ холанъ и вий, съ вашата чорба всичкия ловъ развалихте! — каза той намръщено, като гледаше орлекътъ птици, които хвъркаха, подплашени отъ ненавѣржното изгрѣмяване.

Лобановичъ се засрами и начумдери.

Ловътъ, наистина, днесъ бѣ несполучливъ. Тѣ походиха около единъ часъ изъ гѣсталака, около блатата, и послѣ оставиха. Инжинера прѣдложи да похапнатъ; като избра една хубава муравка въ боровата гора, той сѣдна и сложи въ живописно безредие различнитѣ нѣща за ѣденне, които се намѣриха въ чангата му, притури къмъ тѣхъ и едно шише хубаво вино. Покрай това, прѣзъ всичкото врѣме на ѣдението, той угощаваше Лобановича още съ остри анекдоти върху темата, какъ се правятъ желѣзници. Слушайки това бръщолѣвение, а, може би, подъ влиянието на хубавото вино ж закуската, Лобановичъ по легка-легка се успокои. И въ неговата

душа отъ ново се исправи и изпълни всичкитѣ му мисли благо-
разумния въпросъ :

— Че какво ми влиза въ работа ?

VIII.

Единъ день, на мѣстото, гдѣто работеха дружинитѣ, нѣмаше нито одного отъ началницитѣ. Инжинера и другитѣ служащи още прѣди него день бѣла отишли на друга дистанция, а прѣд-приемача пакъ бѣше се изгубилъ нѣйдѣ да трѣси пари на заемъ. Лобановичъ бѣше сега за нѣколко врѣме като отговорно лице въ работитѣ и като пазител на редѣтъ.

Той стана рано и, както винаги, искаше, слѣдъ излизане изъ бараката, тутакси да отиде на далечния край на линията. Но той не бѣ още добръ разсъненъ, когато биде извиканъ на неочаквано обяснение съ една тѣлпа работници, които бѣха наобиколили бараката му като дебела стѣна. Тѣлпата, както се вижда, бѣше възбудена отъ нѣщо, защото се слушаше силна глъчка, пощържни, псувни върху нѣкого. Лобановичъ, като се видѣ посрѣдъ тази шумотевица, отъ всички страни натиснатъ отъ тѣлпата, въ първитѣ минути нищо не разбираше.

— Какво искате отъ мене ? — нѣколко пѣти повтори тѣи питанието си сърдито, тласканъ и заглушаванъ отъ гѣстата тѣлпа.

— Гдѣ е прѣдприемача ? . . . Заплати ни надницитѣ и ни пусти ! . . . Човѣкътъ избѣгалъ въ града, а тукъ ний да мремъ ! Не гледайте, братя, него — дръще се, искайте ! . . . Споредъ закона дай ни, що ни се пада ! . . . Не щемъ вече ! . . .

Тѣзи безсвързани викове безпрѣстанно се раздаваха отъ всички страни.

— А отъ мене какво искате вий ? — извика, най-сетитѣ, силно разядосанъ Лобановичъ.

На това питанне отново се зачуха отъ тѣлпата безсвързани отговори, въ които се подпускаха и пощържни. Най-подирѣ, единъ отъ най-близусгоящитѣ селяне като надвика всичката тѣлпа, взе да прѣдлага на Лобановича по свързани въпроси. Тѣлпата на врѣме утихна и съ внимание се вслуша въ слѣдующия разговоръ :

— Ти ни повикай, Василий Михайловича, прѣдприемача . . . него лично ? — каза селянина.

— Нѣма го тука, — отговори Лобановичъ.

— Къдѣ е отишълъ ?

— Че отъ гдѣ да знамъ ?

— Ти трѣбва да знаешъ! Щомъ го нѣма — отговаряй ти!
— Какво да отговарямъ? Що ме натискате бе, дяволи недни?
— се разсърди Лобановичъ.

— Да ни расплатишъ, — ето какъвъ отговоръ!

— У мене ли сж паригъ? Искайте отъ прѣдириемача.

— И ще искаме. Стига ни е хранилъ съ конска мърша! Не щемъ вече да работимъ! . . . Дай го тука!

— Кого?

— Прѣдириемача ни дай!

— А бе, нѣма го тука, а кждъ е отишълъ — кой го знае?
— не ми влиза въ работа. Той и менъ не плаща. На и азъ не искамъ да остана тукъ, — крѣщеше Лобановичъ.

— А тебе що е? Ти ще си вирнешъ онащтъ — и това за това, нѣма и да се видишъ! А ний имаме контрактъ, пашпортъ!
. . . , Кога ще се расплати съ насъ?

— Отъ гдѣ да знамъ?

Този диалогъ, по такъвъ начинъ се продължи дълго врѣме. Най-послѣ, тълпата разбра всичката безплодность на обясненията съ човѣкъ, който нищо не знае, за когото всичко това е работа чужда, и отъ когото нищо не можешъ добѣ. Тази именно мисълъ бѣ изразена отъ одного съ добродушно прѣнебрѣжне.

— А бе, братя, какво да се дрънка съ този драккачъ! Не го ли видите, и той самъ си е прѣтегснълъ корема (Лобановичъ бѣше опасанъ съ ремикъ) отъ гладеня! Слушате ли, и нему заплатата не плаща . . . Ний трѣбва да държимъ самия идолъ!

Слѣдъ минута подиръ такова заключение тълпата прѣстана да обръща внимание на Лобановича, и той се освободи отъ навалищата, безъ да бжде повече отъ нѣкого спиранъ.

Той тръгна по линията. Но на мѣстото на работитѣ стоеха само башкирцитѣ. Тѣхнитѣ бръснати глави съ шръквали уши отдалече още лъщеха по ржтлинитѣ и по проконанитѣ мѣста на пхтя. Когато той се доближи до тѣхъ, възсѣдналъ на конь, и имъ зададе обикновенното питанне:

— Скоро ли ще свършите?

Тѣ отговаряха тъй сжщо съ обикновения отговоръ:

— Скоро ще свършимъ байо! Много скоро ще свършимъ!

Но всичкитѣ други работници бѣха оставили лицията и бѣха се распръснали. На всѣкждъ по пхтя се търкаляха чукове, лопати, колици: тукъ-тамъ се виждаха и самитѣ работници, или на бунове, или по единъ, но никой отъ тѣхъ не обръщаше внимание на него,

когато той минаваше покрай тѣхъ. Нѣщо се кроеше. Обикновенния редъ се изгуби.

Лобановичъ бодна коня си и го обърна назадъ. Той искаше прѣзрително, съ спокойно равнодушие да каже: «че какво ми влиза въ работа?» — но не можѣ. Той бѣше страшно развълнуванъ огъ разнородни чувства, които се бореха въ него. Въ това врѣме, когато конятъ му, като усѣти пуснатата юзда, вървеше полегка, въ неговата глава произлизаше бурна борба на мисли. Какво да прави? Да махне съ рѣка и да стане хладнокрѣвенъ зритель на тази гнусна измама — нема това ще бѣде добръ? Работниците сж разярени и, може би, ей-на, въ тази минута тѣ вече разнасятъ бараката въ прахъ и пепелъ — тѣ трѣбва да се сиратъ. Може би, тѣ вече сж се стоворили да бѣгатъ отъ това проклето мѣсто, гдѣто вече се распространи епидемията, но тѣхъ ще изловятъ, ще ги доведатъ и ще ги турятъ въ по-тежкъ яремъ, — тѣ трѣбва да се научатъ на умъ отъ нѣкого. На тѣхъ трѣбва да се помогне въобще, инакъ ще се окажатъ сж щинскій «драскачъ».

Лобановичъ забрави за всичко на свѣта, той само си бѣхгаше главата надъ въпроса, какъвъ по добръ съвѣтъ да имъ даде? Той дълго врѣме се мѣчи, безъ да дойде де нѣкакво заключение. Но, най-послѣ, хрумна му нѣщо; погледа му свѣтна отъ радостна рѣшимость, той дръпна юздата и припустна къмъ бараката прѣзъ шубраци, по баури, изъ между купове отъ камъни и грѣди.

По пхтя той настигна едни кола съ болни, които откарвахъ въ града; тѣ правеха впечатлѣние като на ранени, които вдигатъ отъ бойно поле; отъ друсливатъ кола се раздавахъ пѣшкания Нѣколко минути Лобановичъ вървѣ редомъ съ бричката, распитвайки опѣзи отъ болнитѣ, които можеха още да отговарятъ. Подиръ, развълнуванъ, съ ненавистъ въ погледа, той говореше въ себе си: «каква гнусотия, Боже мой! какво гнусно дѣло! И азъ присѣтствувамъ още при него».

Когато той се приближи до бараката, работницитѣ вече не се притискаха, както по-напрѣдъ при вратата, а бѣха се раздѣляли на купчини. Да отидатъ на работа, разбира се, не мислѣха. Всички нѣщо чакаха. Настроеноко на тѣлицата, както забѣлѣжи Лобановича, стана по-лошо; лицата на всички бѣха озлобени и, въ сжщо врѣме, легкомислени, дори и засмѣни. Това бѣше едно отъ опѣзи настроения, които избухватъ съ нѣкакво бурно разрушение, защото никой вече въ такъвъ случай не е способенъ да мисли и да дѣйствува правилно. И, въ сжщо врѣме, всички се радватъ, че се свърши тѣхния обикновеиъ, мѣчителенъ животъ.

Лобановичъ горѣщо се завзе за работата. Като прѣминаваше отъ едно сборище къмъ друго, той обясняваше на работниците, какъ е по добръ да се постъпи въ тѣхното бизисходно положение. Отпървенъ го слушаха съ подозрителна недовѣрчивость, но полегна-легка захванаха да вѣрватъ на неговитѣ разумни, горѣщо казани думи. И слѣдъ малко врѣме той отново бѣ наобиколенъ отъ тълпата, но този пѣтъ не дива, както бѣ прѣди два часа, а загрижена, която внимателно слушаше и распитваше.

— Що да чинимъ? Ако избѣгаме, да ли ще ни изловятъ? — пятаха едни.

— Бездруго ще ни изловятъ и тогазъ лошо! — потвърдяваха други.

— Ще ни изловятъ и пакъ ще ни докарать тука!

— Ако вий токо-тѣй избѣгнете, то нищо друго нѣма да спечелите, освѣнъ бѣдѣ, — горѣщо възражаваше Лобановичъ.

— Тѣ си е така! Ама и да останемъ веке неможемъ! А бе, той по просия ще ни пусне.

— Отъ гладъ тукъ ще ни измори!

— Този вагабонтинь какво още измисли . . . съ конско месо да ни храни! — извика единъ, и тѣзи думи отново поддигнаха глъчка въ тълпата, която въ мигъ пакъ прѣе дивъ, грозенъ видъ.

Чакъ сега Лобановичъ разбра, каква е била причината на тази вѣрва. Днесъ утреньта нѣкой отъ работницитѣ намѣриль въ общин казанъ единъ конски кракъ. Новината за този кракъ бързо се разнесе по пѣлата линия; тя всички жегна и разяри: чашата на неудоволствията вече се прѣпълни. До сега хората за всичко прѣмътъчаваха: за хлѣбътъ съ пърстъ, за вонѣщото месо за горчивата крупа, за болѣститѣ, но съ конския кракъ тѣ неможеха да се примирять. Може би, той е попадналь случайно, отъ башкирската провизия, но работницитѣ бѣха увѣрени, че тѣхъ прѣзъ всичкото врѣме сж хранили съ конье, и се разяриха, докачени въ своето религиозно отвращение.

Когато гнѣвнитѣ псувни, прѣдизвикани отъ напомнѣванието за кракътъ се поутоложиха, нѣкои отъ присѣтствующитѣ захванаха да подпускатъ вронии, като погледнаха на всичко това отъ комическата страна.

— За башкиреца то е нищо! Той ще поѣзди коня, а сетнѣ и ще го изѣде! Прѣститѣ дори ще си обляже!

— Башкирцитѣ и при нашия прѣдприемачъ отъ гладъ нѣма да умратъ. Ако имъ не достигне, тѣ ще сварять и неговитѣ конье.

— И печено ще направять!

— И кюфтета!

— Ами знаете ли, братя, на кой конь кракътъ туриха въ казана?

— На кой?

— На онзи дъртия, на когото ни носѣха храна отъ града! И отъ сега всѣ, братя, нѣма съ какво да ни носятъ храна!

— То и защо ни е храна? И дъртия ще ни стигне . . . а-х-х, колкавъ е!

Като се въсползува отъ това шегаливо настроение, Лобановичъ имъ расправи, що е най-добрѣ да прѣдпраематъ. Той ги посвѣтва, прѣди всичко, да пратятъ една депутация до главния инженеръ съ оплакване, подирѣ имъ прѣдложи, въ това сѣщо врѣме, отъ лицето на всички дружини да напишатъ искъ въ сѣда, прозба за разваляние на контрактитѣ. Двѣтъ прѣдложения извикаха шумно одобрение, — тѣ не излизаха нѣкъ отъ закона.

За единъ мигъ, кой знае отъ гдѣ, се появи маса, книга и мастило; за единъ мигъ нѣколко испотрошиха около масата шубржкитѣ, гдѣто произлизаше това съвѣщание; единъ пакъ донесе за Лобановича кютукъ, намѣсто столъ. и се захвана правението на прошенията. Тълпата затихна, разговоритѣ токорѣчи мълкнаха. Въ хрусталака се чуваше пѣнието на птици; отъ съсѣдната гора се раздаваше нѣжното гукание на гургулицата. Никой не искаше да бърка на Лобановича.

Отъ страна на просителитѣ се направиха и нѣколко прѣдложения, между другото, не забравиха и за конския кракъ.

— Ама за кракътъ напиши всичко както трѣбва, — заблѣжи единъ грамотенъ селянинъ отъ «вчакитѣ», въ видъ на наставление.

— Ще напиша.

— И го приложи при прошениято.

— Що?

— Кракътъ . . . При това, рѣчи, прилагаме кракътъ на дъртия конь, който кракъ се намѣри, рѣчи, въ казана!

— А защо е това? — попита Лобановичъ, като не разбираше добрѣ.

— Ний ще го подадемъ заедно съ прошениято.

— Кракътъ ли?

— Ами какъ?! Инакъ, братя, нѣма да ни повѣрватъ. Ний го запазиме.

Лобановинъ употреби голѣмъ трудъ до като ги раздума отъ „приложениято“.

Слѣдъ като се състави прошениято и се подписа отъ присѣж-

ствующитѣ, начасътъ се испрати депутация до главния инженеръ, който се намираще на двадесетъ версти дачечъ, а прошеннето зеха на съхранение дружиннитѣ главатаря.

Цѣлия тоя день прѣмина въ възлещие. Лобановичъ бѣше твърдѣ развълнуванъ, като чели всичката тая расправия бѣ негово собствено крѣвно дѣло, но той се чувствуваше весело, легко, като че се освободи отъ нѣкакъвъ си тежъкъ товаръ, който го натискуваше. Чакъ до късно той се скитѣ по околнитѣ усои и урви, пѣ безъ да мѣкне, и силния му дѣвъ гласъ до сръдъ ноцъ кѣнтеше изъ гората, като хармонираше съ дивостѣга на окрѣжащата природа.

На утрѣнната той стана късно и начаса се научи отъ слугата при бараката за снощнитѣ събития. Пратената при инженера депутация още не се е завърнала, а, може би, е избѣгала. Дружината на „вѣжкитѣ“ тайно на разсѣиване се скрила кой знае гдѣ, като зела съ себе си прошеннето за сѣда и конския кракъ.

Лобановичъ отъ ядъ испсува.

Нему не бѣ миналъ гнѣва за глупостѣта на «вѣжкитѣ», когато отъ далечната часть на линията доде единъ и му събщи, че тамъ двѣ дружини тѣй сѣщо сѣ избѣгали ноцесъ. Бѣганнето, както се види, е станало по цѣлата линия.

Когато той се упѣти да обиколи дистанцията си, то не намѣри нито одного тамъ, само башкирцитѣ стоеха на своитѣ мѣста, та и тѣ не работеха, а тихо спѣха на припѣкъ. Той се върна назадъ, но отъ мъка не знаеше дѣ да се дѣне.

Какво ще прави за напрѣдъ, — той смѣтно си прѣдставляваше. Вчера той нѣмаше и кога да се занимава съ въпроса, — бѣше съвсѣмъ се забравилъ. Но днесъ работата е друга. Днесъ трѣбваше да рѣши, какво да прѣдприеме. Но той не знаеше, какво да прѣдприеме. Ясно бѣше само едно: прѣбиваннето му тукъ е свършено, за него нѣма повече мѣсто и за напрѣдъ нѣма да бжде.

Впрочемъ, той дочака обясненията.

Привечеръ пристигна прѣдприемача и, като узна за всичко, отпървенъ силно се обезсърди. Лобановичу той каза съ единъ жаленъ гласъ:

— Ехъ, господинъ Лобановичъ!

На Лобановича дори и жално стана за него.

— Съсипахъ се азъ сега до край! — притуря печално прѣдприемача.

Но слѣдъ малко жалнитѣ му чувства въ него се замѣниха съ необикновенна злоба. Той отведнажъ се рѣстича, развика се, за

повѣда да впрѣгнатъ вонетѣ, даде и други нѣкакви заповѣди. А като срѣщка Лобановича, той токо се обрна къмъ него съ злобенъ укоръ.

— Не ви е срамъ, господинъ Лобановичъ! . . .

— За какво? — попита послѣдний мрачно.

— Тѣй, нищо! Само не ви е срамъ! . . . Да дигате бунтъ противъ мене, а! Защо ли ви държахъ на служба! . . .

Лобановичъ кипна при тази глупость.

— Не струвате за такъва честь, щото противъ васъ да дигамъ бунтъ! — каза той.

— Да, много е срамно! . . . Даже съвсѣмъ не е добръ! — злобно крѣщеше прѣдприимача, като се качваше на талигата. — Но азъ ще ги науча, какъ да бѣгатъ отъ мене! Всички ще излова! Съ закона! Азъ имамъ контрактъ! . . . Отъ днѣвъ-земя ще ги изровя; тѣзи подлещи ме съсипаха!

Той дълго врѣме още си дра гърлото по този начинъ, до като талигата не се скри въ храсталака. „И бездруго ще ги хванатъ!“ — си помисли Лобановичъ, и сърдцето му се сви при мисльбата за тѣзи, които пакъ ще дотѣратъ тукъ да умиратъ.

Друго едно обяснение, както трѣбваше да се очаква, промълѣзе съ инжинера-приятеля. Той се срѣщна съ Лобановича, както се види, съ прѣжната симпатия, но послѣдния забѣлѣжи, че той се държи неискренно. Между тѣхъ нито една думица не бѣ казана за събитията на деня; Лобановичъ чакаше щото най първо инжинера да заприказва, но той съ намѣрение не искаше да влѣзе въ разговоръ. Само когато Лобановичъ захвана мрачно да зима сбогомъ, инжинера отведнажъ се смути и отъ языка му се исплъзнаха нѣколко сърдечни думи съ искренно, горѣщо постисвание на ржката.

— Съвѣтвамъ ви, драгий ми приятелю, незабавно да се отдалечите отъ тукъ, до като противъ васъ не сж поддигнали още дѣло! — каза му той съ въинение.

— Какво дѣло? Защо попита Лобановичъ.

— Ний не обичаме, когато ни се бъркатъ въ нашитѣ семейни работи!

— А какво ще ми направятъ? И защо?

— Не питайте, но, моля ви се, трѣгвайте!

Инжинера при тѣзи думи още веднажъ растърси ржката на Лобановича.

До вечеръта послѣдний се приготви. Коньетѣ на прѣдприимача не се намираха на линията, та и да бѣха тѣ, Лобановичъ бж се отказалъ отъ тѣхъ. Недоплатенитѣ нему пари не рачи той тѣй

сщо да дири. Като нарами куфарътъ, той се ухвати пѣши за близусъсѣдното село.

Но пакъ той още единъ пакъ мжчително попита себе си, кждѣ ще утиде? Гдѣ ще се дѣне сега? Иванъ Ивановичъ и всичкитѣ му приятели ще го посрѣщнатъ съ въпросъ: „Пакъ ли?“ А Катя съ недоумѣние ще захване да го распитва, какъ всичко това се случи и какво памѣрение има сега да прави.

При този споменъ всичката му кръвъ бликна на лицето, и въ неговото сърдце закипѣ гнѣвъ и отчаяние.

Той трѣбваше да стигне на пристанището, отъ което утрѣ парахода трѣгва за N, онзи градъ, гдѣто живѣеше момата и неговитѣ приятели. Но когато стигна до кръстопакъта, гдѣто пакътищата се раздѣлятъ, той съ гордо отчаяние възви по друма, който водеше прѣзъ гората и само мислено испрати прощаленъ привѣтъ на своето лице.

Минаха се около двѣ години. Катя отдавна се омжжи за Иванъ Ивановича, и тѣ нераздѣлно живѣеха въ N. Иванъ Ивановичъ остави скитническия животъ заради любимата си жена, не се мѣстеше вече отъ мѣсто на мѣсто, а сигурно се устрои. Тѣ държеха съ кира една малка кжщичка, заобиколена съ венециански прозорци; зимѣ тя се грѣеше отъ слънцето, като кафезъ, а лѣтѣ въ нея вѣеше хладина; въ стаятѣ, които бѣха добрѣ наредени, мвршеше на теменуга, зюмбюль и резеда. Тѣ бѣха любимитѣ цвѣта на Иванъ Ивановича, и Катя пълнеше съ тѣхъ всичкитѣ стаи, като украшаваше при това съ букетъ и масата на мъжа си. Ней само бѣ жално, че тѣ тѣй скоро увѣхватъ.

Тѣ прѣкарваха животъ друженъ, пълненъ съ трудъ и доста веселъ. Но нѣкога тѣ си спомнѣваха за Лобановича, чиято карточка стоеше на масата на Иванъ Ивановича, но тѣзи спомени не разстрояваха взаимната имъ любовь; наопаки подиръ всѣки такъвъ споменъ Катя нѣжно пѣлуваше мъжа си, а този послѣдния скърбеше за любимия си приятель.

За Лобановича около една година нищо не се чуваше, сѣканшъ, че въ морето пропадна. Сетиѣ захванаха отъ врѣме на врѣме да дохаждатъ слухове, но такива не ясни, като че идеха отъ край-земя отъ другъ незнаенъ свѣтъ. Отъ най напрѣдъ Червѣнски се стараше да се научи за прѣдишния си другаръ, но малко по малко прѣстана; живота на деня тѣй пълно заемаше врѣмето му, щото му не оставаше нито една свободна минута да се интересува още

съ работи които излизатъ вѣнъ отъ прѣдѣлитѣ на тоя животъ.

Батя бѣ щастлива. Само навремени, когато дневнитѣ грижи се прѣкратаваха и настѣпваше тихи вечеръ, на очитѣ ѝ се появяваха съззи, и нѣкаква безпрѣдмѣтна мѣка за нѣщо си небивало неиспитано, за онова, което, може би, и никакъ да не съществува, стискаше сърдце то ѝ. По нѣкога въ вечерната дрезгавина съззитѣ ѝ прѣминаваха въ хълцание, като че ли тя нѣкого погребавала. Но на слѣдующата утрѣнъ тя отново ставаше весела, бодра и грижлива.

Превелъ Г. А. Миндовъ.

СТИХОТВОРЕНИЯ ВЪ ПРОЗѢ.

ОТЪ

И. С. ТУРПЕНЕВЪ.

(Прѣводъ отъ руски).

ДОВОЛНИЙТЪ ЧЕЛОВѢКЪ.

По една улица въ столицата лѣти и подскача единъ доста младъ момъкъ. — Движенията му сж весели, пжргави; очитѣ блѣщатъ, хилятъ се устнитѣ му, приятно се рументе умилното му лице . . . Цѣлъ цѣлничекъ — задоволение и радость.

Що ли му се е случило? Наслѣдство ли му се е паднало? На чинъ ли сж го повишили? Да не бърза на любовно свиждане? Или просто — хубаво е пообѣдвалъ, — и чувство на здравие, чувство на сита сила се е разиграло въ всичкитѣ му членове? Да не би да сж окачили на шията му твойтъ хубавъ осмохгъленъ кръстъ, о, полскій крале Станиславе!

Не. Скроилъ той влѣвета противъ единъ свой познайникъ, распръсналъ я грижливо, чулъ я, същата тая влѣвета, отъ устата на другъ познайникъ — и самъ ѝ повѣрвалъ.

О, колко е доволенъ, колко даже е добъръ въ тази минута, тоя милъ, многообѣщающъ младъ момъкъ.

ФЕВРУАРИЙ, 1878.

СВѢТОВНО ПРАВИЛО.

Ако искашь хубавенце да напакостишь и даже да поврѣдишь на противниктъ си, говореше ми единъ старъ скопосникъ — уко-

ривай го въ оня сжщъ недостатокъ или порокъ, който усѣщашъ въ себе си, — негодувай . . . и укоривай !

Първо — то ще накара другитѣ да мислятъ, че у тебъ тойзи порокъ нѣма.

Второ — негудването ти може да бѣде дори искрено . . . Можешъ да се възползувашъ отъ укоритѣ на собствената ти съвѣсть.

Ако ти, напр., си измѣнникъ — укоривай противникътъ си, че той нѣма убѣждения !

Ако самъ ти си лакей въ душата си — говори му съ укоръ, че той е лакей . . . лакей на цивилизацията, на Европа, на социализмътъ !

Можешъ дори каза : лакей на безлакейството ! — забѣлѣжихъ азъ.
— И то може, — подзе скопостникътъ.

ИСТОЧНА ЛЕГЕНДА.

Кой въ Багдадъ не познава великиятъ Джаффаръ, слънцето на вселенната ?

Веднажъ — прѣди много години — той билъ още момче, — се разхождалъ Джаффаръ по околноститѣ на Багдадъ.

Изъ единъ пѣтъ дочулъ той сивкавъ викъ: нѣкой отчаянно молилъ за помощъ.

Джаффаръ се отличавалъ между връстникитѣ си съ благоразумие и обмисленность ; но сърдцето му било жаловито — и той се надѣялъ на своята сила.

Той се завтекълъ на викътъ и видѣлъ грохналъ старецъ, притиснатъ отъ двоица хайдути, които го обирали.

Джаффаръ взмъкналъ саблята си и нападналъ на злодѣйцитѣ : едного убилъ, а другийтъ прогонилъ.

Освободениятъ старецъ падналъ възъ нозѣгѣ на свойтъ избавителъ и, като цѣлуналъ политѣ на дрѣхата му, възкликналъ : « храбрый момку, твоего великодушие нѣма да остане безъ награда. На-гледъ — азъ съмъ клетъ просекъ, но то е само на-гледъ. Азъ не съмъ простъ челоуѣкъ. — Дойди утрѣ рано заранѣта на голѣмийтъ чазаръ ; азъ ще те чакамъ при шадравантъ — и ти ще се убѣдиши въ справедливостта на думитѣ ми. »

Джаффаръ си помислилъ : « На-гледъ тойзи челоуѣкъ е, наистина, просекъ, обаче — всичко става. Защо да се не опитамъ ? » — и отговорилъ : « добрѣ, отче ; ще дода ».

Старецътъ го погледналъ въ очитѣ — и си замисналъ.

На утрѣнята, щомъ почнало да се чазаря, Джаффаръ отишълъ

на пазарътъ. Старецътъ го вече чакалъ, облегатъ на мраморната чаша на шадраванътъ.

Мълчешкомъ хваналъ той Джиаффара за ржка и го завелъ въ една малка градина отъ вси страни обиколена съ високи стѣни.

Тъкмо всрѣдъ градината, на зелена мурава, расло дърво отъ необикновенъ видъ.

То приличало на кипарисъ; само листата му били отъ модъръ цвѣтъ.

Три плода — три ябълки — висѣли на тънкитѣ нагорѣ обрнати клончета: — едната, срѣдна величина, дългнеста, млѣчно-бѣла; другата, голѣма, кръгла, червена; третата, дребна, обрчкана, жълтеникава..

Цѣлото дърво шумолѣло, макаръ че нѣмало вѣтъръ. То звѣнѣло тънко и жаловито, като стъклено; струвало се, че то чувствува доближаваннето на Джиаффара.

«Момку» промѣлвилъ старецътъ, — «откъсни, който щещъ отъ тие плодове, и знай: откъснешъ ли и изѣдешъ бѣлийтъ — ще бждешъ най-умнийтъ отъ всички хора; откъснешъ ли и изѣдешъ червениятъ — ще бждешъ богатъ, като еврейнътъ Ротшилдъ; откъснешъ ли и изѣдешъ жълтиятъ — ще се харесвашъ на старитѣ жени. Рѣшавай се и не се бави. Слѣдъ единъ часъ и плодоветѣ ще повѣхнатъ и самото дърво ще пропадне въ дънъ-земя.»

Джиаффаръ навелъ глава — и се замислилъ. — «Какво тукъ да се прави?» рекълъ той съ полугласъ, като че разсждалъ самъ съ себе си. — «Да станешъ много уменъ — може да не искашъ да живѣешъ; да станешъ най-богатъ отъ зсички — ще ти завидатъ всинца; по-добрѣ да откъсна и изѣмъ третата, обрчкана ябълка.»

Така той и направилъ, а старецътъ се засмѣлъ съ свойтъ беззбидий смѣхъ и рекълъ: «О мждрѣйший момку! Ти богатата часть избра — За какво ти е бѣлата ябълка? Ти и тѣй си по-уменъ отъ Соломона. — Червената ябълка тѣй сжщо ти не трѣбва . . . И безъ нея ще бждешъ богатъ. Само че никой нѣма да завидва на твоето богатство.»

— Я ми разправи, старче, попиталъ стрѣснато Джиаффаръ. «Гдѣ живѣе почтенната майка на нашиятъ богоснасаемъ Халифъ?»

Старецътъ се поклонилъ до-земи и посочилъ пътятъ на мшкѣтъ.

Кой въ Багдадъ не познава слнцето на вселенната, великийтъ, прочутийтъ Джиаффаръ?

Априлий, 1878.



КОЙ Е СТРОИЛЪ ЖЕЛЪЗНИЯ ПЪТЪ

ОТЪ

Н. А. Некрасовъ

(Прѣводъ отъ русеки)

Ваня *(въ национално облякло)*,
Тате, кой е строилъ този пѣтъ?

Бащата *(въ шинель съ червена подплата)*
Инжинеритѣ, пиленце!

I.

Чудна ѣ тази есенъ, съ листа позлатена!
Въздуха морнитѣ сили крѣпи;
Ледъ незаякналъ въ рѣката смразена,
Също кат' захаръ, кога се топи;

Околъ гората кат' въ мегка постеля
Можемъ да спимъ — тишина и просторъ!
Листьетѣ още не сж потъмнѣли,
Жълти и прѣсни лѣжатъ кат' коворъ.

Чудна ѣ тази есенъ; нощъ мразна, голѣма,
Яни сж тихитѣ дни,
И безобразье въ природата нѣма.
Блато, гора лѣсове, равнини—

Лунния блѣсъкъ ги прави чудесни!
Родна Россія узнавамъ навредъ,
Бърже лѣтя азъ по релси желѣзни;
Мисли се мѣркатъ въ ума ми безъ редъ. . .

III

Че защо, генерале, въ това заблуждение
Умния Ваня да трай?
Да му раскажа прѣдъ васъ съ позволение,
Правдата нека узнай.

Този трудъ, Ваня бѣ страшно грамаденъ,
Тежкъ, ужасенъ товаръ!
Царь има въ мирѣтъ, и царь безпощаденъ:
Гладъ се нарича тозъ царь.

Армии, флоти въ морето той води,
Хората гласка къмъ трудове, потъ,
Слѣдъ оралата, мотивитъ ходи,
Вредъ задъ гърба на работний народъ.

Той е довлѣкалъ тукъ маси народни,
Множества—съ гладна утроба,
Тѣ оживиха мѣстага безплодни,
Но си намѣриха гроба.

Пѣтъ, гледашь, правъ; виждашь насипи прости,
Стълбове, мостове, релси наредъ,
А по странитѣ все русски сж кости. . .
Колко сж! Ваня, ти знайшь ли? . . . Безчегъ!

Чуй! гласове се тамъ грозни зачувать!
Скрежетъ отъ зжбн се смѣсва съ шумѣтъ,
Вънъ край прозорцитѣ сѣнки минавать,
Що е това? Мъртвеци, вижъ, вѣрвать.

Ту ни прѣварвать изъ пѣтя желѣзни,
Ту отъ странитѣ вѣрвать.
Чувашъ ли пѣние? . . . *«Въ ноци прѣлестни
«Драго ѱ кат' гледаме нашия пѣтъ;*

*«Ние съсъ жжжи, по слънце, по гладъ,
«Съ вѣчно прѣжнатъ надъ работа кръсть
«Смръзнали, смокрени, съ жажда и гладъ,
«Спѣжме въ колиби патрупани съ прѣстъ.*

«Грабиха ни грамматици — десетници,
«Би ни началството; но отъ нужда
«Всичко търпѣхме ний, божии ратници,
«Мирни дѣца на труда.

«Братя! Вий жнете това що сме съжали!
«Ние сме въ гроба, отъ вази далечъ . . .
«Споменъ за насъ въ паметта ви живѣе ли?
«Ил' ни забравихте всѣ? »

О, не плаши се отъ тѣхното пѣние!
Сбрани отъ Волховъ, отъ Волга сираци,
Тукъ сж дошли ужъ да търсятъ спасение . . .
Тѣ сж все братия твои — селаци!

Плашишъ се—срамъ . . . да си крнешъ лицето . . .
Я погѣдни бѣлорусина тамъ —
Болѣстъ му тежка раскъсна сърдцето,
Той се държи на нозетѣ едвамъ :

Съ устни безкрѣвни и клѣпикитѣ хлѣтнаи,
Съ язви на сухи рѣцѣ,
Съ вѣчно въ вода до колѣнитѣ втѣнали
Сдуги нозѣ; и съ обрасло лице;

Сгънатъ въ гърдитѣ,—лопата старателно
Съ тѣзи гърди е налѣгналъ до вѣка . . .
Виждь го, огледай го, Ваня, внимателно:
Мжно си хлѣба добивалъ човѣка!

Той не исправилъ снага си гърбата,
И до сега съ тѣпоумность студена,
Той машинално рждава лопата
Вбива въ прѣстыта замразена!

Навика този къмъ трудъ благороденъ
Трѣбва и ний да отхранимъ съ търпѣнье,
Благослови този трудъ ти народенъ
И къмъ селача бжди съ уваженье.

И се не бой за народа любезенъ . . .
Русский народъ е търпѣль и пропатѣль;

Той истърпи веч и пхтя желѣзенъ —
Всичко ще глътне, що Богъ му испрати!

Всичко ще глътне—съ гърди си желѣзни,
Съ връпки гърди ще си пхтя пробий,
Жално е само че въ тѣзь дни прѣлестни
Нѣма да сме между живитѣ ний.

III.

Въ тази минута сигналъ оглушителенъ
Писна — и въ мигъ мъртвецитѣ исчезнахъ,
«Тате, сънувахъ азъ сънъ удивителенъ :
«Селяне съ хиляди купомъ излѣзоха —

«Всички отъ руский народъ представители,
«Щомъ се явиха — и той ми внуши :
«Тѣзь на желѣзния пхтъ сж стронтели!...»
Но генерала го съ смѣхъ заглуши :

—Бѣхъ не отдавна въвв Римъ, въ Ватикана,
По Колизея ноцѣ съмъ ходилъ.
Видѣхъ въ Виена святого Стефана —
Тамо народа ли й всичко сградилъ?

—Внй извинете, — смѣхътъ ми е дерзки,
Но пкъ логиката ви й неправа,
Или за васъ Аполлонъ Белведерский
Сжщо кат' грънци се лесно създава?

—Вашья народъ е и грубъ, и безъ срамъ.
Всѣко искусство й прѣдалъ на рушенеъ.
«Ази говоря на Ваня, не вамъ»,
Но генерала не трай възраженеъ:

—Ваш'тѣ инглези, славяне, германци,
Не да създаватъ—да трѣбятъ имъ дай.
Барвари! Купъ отъ дваца, пьянци! . . .
Но . . . да разправимъ и Ваня да знай;

—Знаете, само съ нѣща жаловити
Грѣшно й да мжтите дѣтско сърдце,
Вий на дѣтето сега покажете
Свѣтлата часть.

IV.

О, на драго сърдце!

Слушай: Вечь нѣмецътъ религиѣ стави,
Свършенъ е пѣтя съсъ мѣки и потъ.
Мъртви заровени, болни, нездрави,
Скрити въ колибитѣ. Бѣдний народъ

Чака въ контора—пари ще имъ даватъ . . .
Чакатъ почесватъ се по враговетѣ:
Смѣтката сторена — длѣжни останатъ, —
Всичко за вѣтъръ били трудоветѣ.

Всичко гледачитѣ туряла въ смѣтка —
Вземалъ за бани, лѣжалъ отъ сърдце:
„Може да има и нѣкой остатка,
Кой ще те чуе! . . .” И махватъ съ рѣцѣ.

Его и прѣдприемачъ се явява,
Тѣгъсть и широкъ, като мѣдъ зачарвенъ,
Ходи по линиита, наблюдава,
Пѣтя вечь свършенъ; днесъ праздниченъ день,

Вситѣ работници пѣтъ струватъ чинно . . .
Прѣдприемача се трие отъ потъ
И имъ говори, испичченъ картинно:
«Хубаво . . . bravo . . . работенъ народъ!..

«Сбогомъ вечь, свършено всичко — честито!
(Шапкитѣ долю кога ви приказвамъ)
«Бъчва съсъ вино ще бѣде испито, —
«Отъ дълговетѣ ви азъ се отказвамъ! . . .»

Нѣкой «ура» закрѣща. И подхващатъ
Силно, задружно, протегнато . . . Съ пѣсни
Бъчвата вече търкалятъ . . . Захващатъ . . .
Тукъ и лѣниивъ да е—пакъ ще се сгрѣсне!

Долу конитѣ — и прѣдприемача
Съ крѣськъ «ура» го тѣпата повлача . . .
Е, генерале, азъ мисля — не може
Нищо по-радостно да се изложи?

СКАЗАНИЕ

ЗА РИМЛЯНИНЪТЪ ФЛОРЪ И ЦАРЪ АТРИППА,

какъ той сговарялъ народътъ нѣмъ търпѣние и що казалъ върху това
Менахемъ, синъ Мегудовъ, Гамалиотъ, и съ прибавна
на една притча.

ОТЪ

ВЛАДИМИРЪ КОРОЛЕНКО.

(Прѣводъ отъ русски).

I.

По онова врѣме Римъ се въздигна съ своята мощъ и неговото владичество се простря отъ единий до другий край на земята.

Защото въ Европа римлянетъ побѣдиха галлитъ и ягкоснажнитъ германци, и брититъ, обградени, освѣнъ съ океанъ, още съ стѣна, и планинската Испания, обгърната съ моря. А тъй сжщо Гърция и народитъ, живущи около Понтъ, и много други признаха властѣта на оредѣтъ.

Въ Африка, отъ Геркулесовитъ Стълпове и до Черно море, Картегенъ и безбройнитъ етиопи испитаха силата на орѣжнето и се задължиха да каратъ запаси, съ които въ течение на осемъ нѣсеци се хранеше римскийтъ народъ. Освѣнъ това, тѣ плащаха всѣкакви данъци и у врѣме посрѣщаха нуждитъ на римската държава.

Въ Азия петдесетъ града се прѣклянаха прѣдъ единъ управителъ отъ Римъ, безъ да бждатъ присилвани къмъ тона отъ многобройна стража, но само отъ гледание ликторскитъ вързопи, съ които бѣха обиколени консулитъ.

Египетъ и Аравия, народитъ на Индия, и мадяне, и партяне, и гордитъ киринеяне, вѣдущи свойтъ родъ отъ лакедемонянетъ, и шармаридяне и страшнитъ сиртяне, и насамони, и маври, и нумидийци, и много други народи — всички не можаха да устоятъ срѣщу храбростѣта на легионитъ.

Но сложиха орѣжние, наведоха вратъ прѣдъ яремътъ и треперѣха . . . Треперѣха вече тѣ не прѣдъ мечтъ на завоевателитъ, но прѣдъ вързопитъ на ликторскитъ прѣтъя, които наумяваха на народитъ за тѣхното срамно рабство.

Затихна противението на обирѣтъ, рѣцѣтъ на борцитъ повиснаха

въ мъртво безсилие, склопиха се очи, що се обръщаха къмъ свобода, замлъкнаха гласове, що издигаха кличъ за защита . . . И надъ заглъхналиятъ въ ужасъ свѣтъ се распери римскиятъ орелъ, и владичеството на Римъ лѣгна надъ поробената земя . . .

И за време въ свѣтътъ настана миръ. Но той донесе съ себе си не процвѣтъ и благо, а зло. Въ нивата на животътъ вирѣеше не маслина, а трънъе и рѣпей, защото нивата на животътъ рѣсеше не благодатенъ дъждъ, а кървавий потъ на рабството, и отъ край до край надъ земята се раздаваха стенанията на угнетеннитѣ . . .

Па и за римлянетѣ, които се хранѣха отъ плодоветѣ на рабството, не бѣ то благо : отъ тие плодове въ народътъ се разливаше отрова, която прѣди всичко отрови управителитѣ.

* *
*

Защото първитѣ кесари, като срѣщаха упиране и противодѣйствиe, трѣбваше да се упражняватъ не само въ жестокость, но и въ благородумие; съ мѣрки отъ благородумна кротость тѣ привличаха оние, чиито ржицѣ още можеха съ мечъ да бранятъ свободата; подъ цвѣта на челоуѣколюбие тѣ потуляха веригитѣ на рабството, за да не прѣдизвикатъ въ гордитѣ синове на свободата — желание да умратъ на бойно поле.

И за това, като покориша Иудея, оставиха на народътъ отечески закони, и вѣра въ Единаго, и собственно управление.

И подъ страхъ на смъртъ забраниха на войницитѣ да прѣстѣпять прѣдѣлитѣ на храмътъ.

Но ето че ключоветѣ къмъ борба за свобода навредъ утихнаха, прѣстана противение срѣщу насилието на завоевателитѣ, свѣтътъ омаломощенъ прѣклони глава, само тукъ-тамъ въ безсилие подрѣкваша вериги. И тъй минуваха години. Римлянетѣ навикваша да заповѣдатъ, свѣтътъ навикваше да се позинува. Въ сърдцето на Римъ растеше високошѣрие и гордость.¹⁰ Той мислеше: «Нинѣ кой ще посѣгне?» И отговаряше: „Никой“. А навсѣду въ свѣтътъ рабството втореняваше навици на страхъ и низкопоклонство.

И Римъ рикаше срѣщу вселенната, както нощемъ хищний левъ рика срѣдъ ливийската пустиня. А вселенната, подобна на пустиня срѣдъ мракъ и мълчание на рабство, внимаваше съ страхъ ма риканieto на насилникътъ, като помнеше страданията на бацитѣ, мо забравила тѣхната доблестъ.

И колкото повече въ народитѣ заглъхваше светото чувство на гнѣвъ, толкова повече въ Римъ губѣха всѣка мѣра на благородумие.

Исчезна мѣдростъта на неговитѣ управители, която ги караше

да щадатъ народитѣ, а на нейно мѣсто навсѣкждѣ издигваха глава користъ, слѣпа гордостъ и кръвожадность, които не срѣщаха прѣгради въ никакво съпротивление.

Подиръ кесаритѣ Юлий и Августъ се въцари свирѣпний Тиверий, а слѣдъ него безумецътъ Кай, който намисли въ сърдцето си да обезглави вселенната въ лицето на самийтъ Римъ. И най-сѣтнѣ, подиръ слабоумний Клавдий, най жестокиятъ отъ смъртнитѣ, Неронъ, отъ висотата на кесарскитѣ прѣстола, прѣдъ лицето на вселенната, тъпчеше законитѣ на Бога и на природата. Той тури ложето на развратътъ на планинска височина, като се смѣеше на самото име добродѣтель, и поеше трепналата земя съ кръвта на невиннитѣ...

* *
*

Въ Иудея вече отдавна нѣмаше нито кроткий Петроний, ни дори Пилата, който нѣкога изнесе изъ священнитѣ градъ прѣпорцитѣ съ изображението на Кесаря, за да не оскърбява народното чувство. Но Албинъ, управителтъ, челоуѣкъ алченъ и жестокъ, подобенъ на разбойникъ, промъзводаше насилъ надъ беззащитнитѣ, щото нѣмаше злодѣяние, което той да остави не извършено. „Защото своитѣ копиеносци, прѣдначинени за пазение редъ, той употребяваше за да обира мирноживущитѣ. Свободата на словото бѣше отнето, и никой не дързаеше да издигне гласъ, било да осѣди или да се оплаче, макаръ и да властвуваха мнозина“. Никой нѣмаше сила да окаже справедлива защита, но всѣкий, който се наслаждаваше съ сила, имаше възможность да обира и да нанася обиди.

Така растеше страданието на угнетенитѣ и покоренитѣ. . .

* *
*

Така растеше страданието, но прѣдѣлтѣ си още не бѣ стигнало. Защото Гессий Флоръ, слѣдъ завземанне мѣстото на Албина, показва, че въ сравнение съ него и Албинъ може да се смѣта за кроткъ управител. Въ онова врѣме, когато Албинъ много отъ своитѣ злодѣйства извършваше потулено и скришомъ, Флоръ, въ подражание на Нерона, се хвалеше съ нанесенигѣ на народа обиди. Той се явяваше безчелоуѣченъ въ работи, които изискваха милосърдие, а пакъ гнуснитѣ дѣла не само осгавяше безъ наказание, — но самъ биваше тѣхенъ пръвъ и най-безсраменъ начинателъ и закрилникъ.

Тѣй вирѣеше дървото на насилнето врѣхъ почвата на слабостта, и гордостта врѣхъ почвата на смиреннето И за народътъ нѣмаше надѣжда, нито исходъ, защото изворитѣ на правосъдието бѣха задрѣстени.

* * *

Случи се, щото въ празникътъ на опръсноцитъ въ Перусалимъ да дойде Цестий Галлъ, управителътъ на Сирия, койго се ползуваше съ сила у римлянетъ. Тогава цѣлото множество юдеи, като заобиколиха велможата, съ плачъ великъ се оплакваша отъ притѣсненията на Флора, като молѣха за правосъдие и защита.

И Цестий заста на едно възвишение срѣдъ простиращийтъ къмъ него рѣцѣ народъ и мислеше.

Той бѣ суровъ воинъ и се не страхуваше отъ смъртъ, но отъ гнѣвътъ на своитѣ повелители се боеше. Въ бой сърцето му не затуваше почесто, но прѣдъ немилостивъ погледъ трепваше. Защото таква сжъ сърцата на оице, що служатъ на насилюго.

И Цестий мислеше: ако имъ дамъ защита, — може да ме споляти немилостта на Нерона, защото Флоръ е силенъ при двора, а Неронъ и самъ е кръвожаденъ. Ако ли пакъ не се застъпня, мѣрата на търпѣнието на народътъ ще се прѣцѣли и той ще да възстане. Тогава ще да произлѣзе кръвопролитие и азъ ще трѣбова да поведе срѣщу тѣхъ моитѣ легиони. Последнето е по-добро.

И до като той така размисляваше, народътъ протегаше къмъ него рѣцѣ, а Флоръ стоеше наредъ и явно се смѣеше надъ народнитѣ плачове и нацъ народната надѣжда. Защото знаеше, че не щатъ намѣри правосъдие.

Като усмири виковетѣ на юдеитѣ, Цестий имъ каза съ лицемѣрне да се успокоятъ, понеже билъ зналъ, че Флоръ има намѣрение да направи на народътъ милость.

И безъ да пророни дума за правосъдие, той замина, а Флоръ тръгна съ него, за да го испрати дори до Кесария, въ знакъ на своето расположение къмъ велможата, че е запазилъ съ него съгласие.

Подиръ това, като испроводи въ Перусалимъ войницитѣ си, заповѣда имъ да взематъ 17 таланти изъ сѣкровището на храмътъ, което се пазѣло въ кулата, наречена Антония.

Тѣй, въ своитѣ домогвания къмъ съвършено обирание на храмътъ и на цѣлийтъ народъ, Флоръ посѣгна къмъ светинята.

* * *

Между римлянетъ се намираше нѣкой си по име Авлъ Катуллъ, тысященачалникъ. Той бѣ побѣлѣлъ воинъ, който помнеше врѣмената на доблестнитѣ и благоразумни вожди . . . Като отгатна намѣренията на Флора, той издигна гласъ прѣдъ легионитѣ и каза:

— Гесвий Флоре, помнишь ли ти, защо си испратенъ въ тая страна? Дали за това, щото да притискашь народътъ и самъ безмѣрно да се обогатявашъ, или, наопаки — за да поддържашъ единството на империята чрѣзъ мѣдро управление. Когато угнетениятъ народъ възстане, а подиръ него възстанатъ и други, какъвъ отговоръ ще дадешъ ти прѣдъ сенатътъ?

Но Флоръ, опиянѣлъ отъ жажда за користь и прѣзрѣние къмъ иудеитѣ, се взема на думитѣ на Авла Катулла и проговори:

— Азъ познавамъ иудеитѣ. Та тойзи ли прѣзрѣненъ народъ ще се одързости срѣщу насъ, храбритѣ римляне. Не, римската държава отъ тѣхъ нѣма да се расклати, а ние храбритѣ ще получимъ лесенъ добивъ. Иудеитѣ сж страшливи и несговорни въ своитѣ прѣдначинания. Дори да възстанехъ, то, слѣдъ легка побѣда, ще се прѣдстави случай къмъ голѣма користь, и вече безъ всѣкакъвъ страхъ прѣдъ Кесаря и сенатътъ. Ако ли пакъ всичко ще прѣнасятъ съ велико смирение, ние безъ мѣка ще обсебимъ съкровището на храмътъ, и ще се завърнемъ въ отечеството си богати, като очистимъ мѣсто на нови легиони за лесно обогатяване. Защото користь е дѣлътъ на храбритѣ, а дѣлътъ на смиреннитѣ е работа за други . . . Тѣй мислятъ всички храбри, а ти, Катулле, си малодушенъ. И за това не си достоенъ да началствувашъ нгдѣ мжжѣ, но трѣбва да влѣзешъ въ редоветѣ на проститѣ войници, а други ще поведатъ легионитѣ къмъ богатство.

Срѣдъ римлянетѣ тогава се почуха високи кликове. И макаръ да имаше войници, които обичаха Катулла и мислѣха еднакво съ него, но тѣ бѣха малцина и за това не се осмѣлиха да се противятъ. И Катуллъ сие началническото оржие и застана въ редоветѣ.

* * *

А въ Иерусалимъ срѣдъ народътъ тѣй исто се показъ голѣмо сметение. Несъгласни по между си, хората много се прѣпнраха и свадѣха. Едни високо казваха:

— До кога ще търпимъ насилие спрямо хората и оскърбление спрямо светинята? Или не виждате, какдѣ влѣче Флора неговата користь и зло сърдце! . . . Не ще се спре, до като не ограби светинята, а и тя обсебена, той ще получи новъ потокъ къмъ по-нататашни насилия. Защото както легионитѣ стоятъ около прѣпорецътъ, тѣй и нашиятъ народъ стои около светинята. И ако прѣпорецътъ попадне въ ржцѣтъ на неприятельтъ, легионътъ е побѣденъ, и неприятельтъ избива бѣгущитѣ съ голѣма леснина. Така и Флоръ ще рече самъ въ себе си: ако тойзи народъ не можа

да се застъпи за светинята си, на що подирь това той ще се въспротиви, и какво не мога да извърша азъ надъ тѣхъ? Това ли искате? Или искате, штоо легионеритѣ при завръщанне въ отечеството си, прѣтърбени отъ плѣчка, да казватъ на своитѣ другари: «вървете въ Иудея. Защото народа тамъ е малодушенъ, и войникътъ въ сражение ще срѣщне не опасности, а само приятности: юдеитѣ не бранятъ своитѣ, но бацитѣ съ смирение привождатъ невръстнитѣ си дѣщери къмъ ложето на солдатитѣ.»

И съ такива рѣчи тѣ распалваха въ народътъ бунтовнически чувства, и мнозина казваха: «По добръ смъртъ прѣдъ прагътъ на Антония за защита на светинята и честта. Флоръ иска мечъ, ще го има Ние не виждаме правосъдие у кесаря, тогава нека Господъ, распоредителтъ на войнитѣ, ни разсжди съ Флора.»

* * *

Такива бѣха мнозина отъ народътъ, а тѣй сжщо и много мѣдрци срѣдъ ученитѣ и помежду другитѣ Менахемъ, синъ на Иегуда, Гамалиотъ, който пролѣ кръвта си въ борба за свободата на отечеството.

Бащата бѣ завѣщаль на синътъ своята любовь и своята омраза. Неговата любовь бѣ любовь къмъ свободата, а неговата омраза бѣ вражда къмъ угнетението. Понеже Менахемъ, като баща си, казваше: «недостолѣпно е да се покланяме прѣдъ алтаритѣ на кесаритѣ, защото кесаритѣ сж чловѣци; поклонение подобава на единий Богъ, който създаде чловѣцитѣ за свобода.»

Освѣнъ това мѣдрий Менахемъ, като скърбеше за безсилието на свойтъ народъ, се задълбочи въ книжно изучение, и знаеше отъ книгитѣ на Заветъ и отъ чуждземнитѣ книги всичко, що става въ свѣтътъ, и що е зло и добро, и въ какво се състои силата на силнитѣ народи, и отгдѣ произлиза слабостта на покоренитѣ. Въ ученето той бѣ великъ и не приличаше нито на гордитѣ фарисей, нито на смиреннитѣ ессеи, нито на саддукеитѣ, що се прѣчитаваха отъ храмътъ. Но съ свойтъ испитвающъ умъ той неуморно търсеше истината, като обръщаше стремленията на душата си не на назадъ, а на напредъ.

И славата на Менахема се распространи между народътъ, и дори чужденцитѣ наричаха мѣдритѣ Гамалиотъ остъръ философъ, защото неговийтъ языкъ, въ поразяване лъжливи измислици, приличаше на мечъ. Въ сърдцето пакъ на Менахема горѣха любовь и омраза, като ясенъ пламъкъ.

Любовьта бѣ пламъкъ, а омразата вѣтъръ. Защото колкото

повече се усилаваше омразниятъ гнетъ, толкова повече Менахемъ обръщаше сърдцето си къмъ народътъ, — сърдце, пламтѣюще отъ любовъ.

Ако ли пакъ омразата сравнямъ съ пламъкъ, тогава любовта щеше да е вѣтъръ, защото отъ любовъ къмъ угнетеннитѣ се распалваше омразата къмъ угнетателитѣ.

И сега Менахемъ съ мощенъ гласъ привикваше къмъ оржжие иерусалимляне и галилеяне. и гадаритяне, и бързатѣ въ нападение идумей? Пробудете се, казваше той, и тогава часъ Господень ще удари за Флора.

* *
*

Но другитѣ въ Иерусалимъ бѣха на противно мнѣние.

„Понеже, — казваха тѣ — Флоръ търси война, ние трѣбва да пазимъ кротостъ и търпѣние, за да не изгубимъ и онова, що е останало.“

Такива бѣха свещеницитѣ и велможитѣ, и вси, що се хранѣха стъ храмътъ, и богатитѣ, що се страхуваха да изгубатъ богатството си; за това тѣ обикаляха народътъ, падаха прѣдъ нозѣтѣ на хората и смиренно прѣгръщаха колѣнитѣ на сиромаситѣ, за да ги склонятъ къмъ кротки постѣпки и къмъ търпѣние.

И народътъ се склоня къмъ страната на смиреннето.

* *
*

По него врѣме Флоръ се приближаваше съ отрядътъ, като се завръщаше изъ Кесария. Народъ иерусалимскій излѣзе внѣ отъ града за да посрѣщне и поднесе на легионътъ доброжелателни поздравления. Но Флоръ се разсърди.

— Прѣзрѣнни! — рече той съ гнѣвъ. Зная, че всѣкий отъ васъ въ сърдцето си ме мрази, пакъ въ устата ви е привѣтъ лицемѣренъ. . . . Да бѣхте мжжѣ съ честъ и правда, щѣхте да ни посрѣщнете съ оржжие въ рѣцѣ. Сега е ласкание въ устата ви, които тѣй неотколѣ още ме хулѣха.

И заповѣда на войницитѣ си да се хвърлятъ на юдеитѣ. Тогава се случи, че дошлиятъ да поздравятъ римлянетѣ припаха кждѣ градътъ, като плахо стадо, а римлянетѣ ги настигаха, като вълци. И тѣй въ градътъ настана нощъ срѣдъ пискътъ, смущение и стенание . . .

На утрентъа Флоръ заповѣда на войницитѣ да разграбятъ тържището, наречено Горне, и войницитѣ грабѣха, а оние, що срѣщаха, избиваха безъ всѣкакво милосърдие. Тогава настѣпи страшенъ

бѣгъ изъ улицитѣ, избивание челоѳци, и насилване жени и вѣсзаванне невинни. И всичи избити него день съ женитѣ и дѣцата достигаха до шестъ хиляди и триста иудей. *)

* *

Тогава на Горнето тържвще се събра велико множество смутенъ народъ, тъй щото нѣмаше яйце вждѣ да падне. Събранитѣ около Гамалиота бунтовници распалваха въ народътъ огънь, за да се разгнѣвагъ и омъстагъ за невъинно затрититѣ. Цѣлото многолюдство съ велики вопли олакваше убититѣ.

А пакъ Флоръ, като събра войницитѣ, се затвори въ свойтъ дворецъ, въ очакване какво ще да правятъ ; и римлянетѣ говорѣха : „ожесточихме ние тойзи народъ изъ-вънъ мѣра ! . . . Да не загинемъ нѣкакъ огъ това ! “ А Флоръ мълчеше.

Но най-личнитѣ граждане и първосвещеницитѣ изново се устремиха всрѣдъ народътъ и пакъ, като се унижаваха прѣдъ протитѣ, умоляваха ги да се обърнатъ къмъ смирение. „Защото, казваха тѣ, — Флоръ сега засна, като тигрътъ наситенъ съ кръвъ, недѣйте събужда тигрътъ въ негового логовище, за да не накарате неистовийтъ да извърши нови злини.“

И народътъ пакъ се покори на тѣхнитѣ молби и, като потаи плачъ, почна да се разотива. Напусто мятежнийтъ Гамалиотъ издигаше гласъ за да го свика къмъ оржжие. Той приличаше на левъ въ пустиня, който губи свойтъ добивъ. Щетно скърца съ зжби и се хвърля да распокъжа съ нокти утробата на земята ! . . .

* *

Началницитѣ и първосвещеницитѣ, слѣдъ като дойдоха до вжщата на Флора и бидоха пустнати при него, казаха на свирѣпийтъ римлянинъ : „Его ние укротихме народътъ, погледни на нашето смирение.“

А Флоръ съ смѣхъ се обърна къмъ тысященачалницитѣ, сотницитѣ и рече : „виждате ли ! “ Пакъ на иудейтъ отговори любезно, като кроеше отново най-гнусно коварство :

— Виждамъ, че сте смиренни, но не зная още до каква степенъ. За да убѣдите всинца ни, — излѣзте пакъ съ народътъ да посрѣщнете и привѣтствувате нашитѣ възврѣщающи се изъ Сирия легиони.

*) Тѣзи фактове сж вземени изъ съчинението за Иудейската Война отъ Иосифъ Флавий.

А самъ отрано испрати на оние войници наставления.

(Свещеницитѣ и началницитѣ се смугиха, понеже знаеха, че сега настѣпя най-мѣчното. За това влѣзоха въ храмътъ, облѣкоха се въ всеблаголѣпие, въ което се извършва богослужението, а тѣй исто взеха свещеницитѣ сѣждове, и като поканиха съ себе си пѣсно-пѣвци и свирачи съ всичкитѣ имъ орждия, трѣгнаха по улицитѣ за да привлѣкатъ народътъ съ зрѣлище на великолѣпие.

Когато се събра народъ, почнаха отново да се кланятъ, като молѣха още веднаждъ да се смирятъ и да не довождатъ римлянетѣ до ограбване всички тие сѣждове. Първосвещеницитѣ плачеха, съ прѣклонени глави, посипани съ пепелъ, съ разпокъсани хитони и голи гърди. „Запазете ни тие сѣждове! — молѣха тѣ. — Съ своето непокорство недѣйте прѣдава отечеството въ рѣцѣтѣ на оние, които ламтятъ къмъ ноговата съвършенна съсияя. Защото, ако покажете покорностъ и отново срѣщнете войницитѣ съ кротки привѣтствия, тогава за Флора не ще остане никакъвъ прѣдлогъ за нападение, и отечеството и сами вие нѣма вече нищо да теглите!“

Тѣй приказваха тѣ и още веднаждъ склониха смутенийтъ народъ. По него врѣме Гамалиотъ не се намираше въ горнийтъ градъ; излѣзълъ къмъ гробътъ на първосвещеникътъ Иоаннъ, токо-що задъ градскитѣ стѣни, — Менахемъ се готвеше да отиде въ Галилея съ своитѣ ученици и привърженици галилеяне и иудеи. За това не се възпротиви на първосвещеницитѣ.

И тѣ поведоха народътъ къмъ Кесарийскитѣ пѣть и всички тихомъ въ редъ трѣгнаха насрѣщъ легионитѣ.

* *

Срѣдъ прахъ и тропотъ доближиха до тѣхъ суровитѣ римски войници и застанаха въ мълчание; и на привѣтствието си иудеитѣ не чуха отговоръ. А когато отъ срѣдата на иудеитѣ се издигна гласъ, да моли у войницитѣ снисхождение къмъ народътъ, да не постѣпятъ както Флоръ, тогава отново римлянетѣ се хвърлиха срѣщу иудеитѣ съ мечове и копия, и отново иудеитѣ се пустанаха да бѣгатъ.

И пакъ настана избивание: римлянетѣ настигаха съ оружие бѣгущитѣ, тѣпчаха ги съ конѣе, и всѣкакъ мѣчеха смиреннитѣ. Въ портитѣ отъ многолюдна навалица иудеитѣ прѣтърпѣха съвършенна гибель, така щото отъ всички излѣзли да посрѣщатъ не остана нито единъ чловѣкъ, когото най-близкитѣ роднини можеха да познаятъ.

Войницитѣ пакъ, распалени отъ джхѣтъ на кръвта и оха-

нията на чeлoвѣцитѣ, хвърлиха се чрѣзъ Везефа и, носяще съ себе си гибель изъ улицитѣ на градътъ, се устремиха къмъ Антония, като мечтаеха срѣдъ шумътъ на бойгъ да достигнатъ и обсебятъ съкровището на храмътъ. И Флоръ, излѣзълъ изъ дворецътъ, весело встѣпи въ сѣчата, говоряще на войницитѣ си : „Напусто се страхувахте отъ тойзи народъ. Ето ни сега двѣ шепи юнаци гонимъ цѣлийтъ народъ и безъ голѣма мъка ще добиемъ съкровището.“

Така отплащаха римлянетѣ на юдеитѣ за тѣхното смирение, защото не виждаха да се противятъ на насилията. Но не сполучиха да завзематъ съкровището, понеже мятежнитѣ хора и съ тѣхъ Гамалиотъ чуха стенанията на съгражданетѣ, спустнаха се срѣщу римлянетѣ и ги задържаха на улицитѣ, които водѣха къмъ Антония и къмъ храмътъ. Сѣтнѣ, като прѣсѣкоха прѣходитѣ, що водятъ отъ храма къмъ Антония, отнеха у римлянетѣ надѣжда да влѣзатъ въ кулата, и по тойзи начинъ укротиха срѣбролюбивето на Флора. А пакъ насърченнитѣ юдеи, застанали на височинитѣ надъ прѣходитѣ, отгорѣ хвърляха връхъ римлянетѣ камъни. Тогава легионитѣ, уплашени отъ съвършенна гибель и като не виждаха користъ, отстъпиха. Юдеитѣ, като купъ ловчии слѣдъ бѣгущъ звѣрь, се спуснаха подиръ отстъпвающитѣ и много отъ грабителитѣ паднаха на улицитѣ, като издръгнаха съ щитоветѣ и търкуваха въ прахъ кървавото си оружие. И Флоръ, мрачно навъсенъ и засраменъ отъ несполуката, отстъпваше заедно съ други, като бранеше свойтѣ животъ противъ разяренитѣ юдеи.

И тѣй настана нощъ, но и прѣзъ нощта изъ улицитѣ и надъ храмътъ, и по всички площади и прѣходи стоеше екъ отъ гласове, а пълната мѣсечина озаряваше движението на възстаналийтѣ народъ. Понеже гнѣвътъ на народа бѣ прѣпълниль чашата на търпѣнието.

* *
*

А римлянетѣ накладоха огньове прѣль двореца на Флора, и войницитѣ стоеха въ мрачно мълчание на стража, защото, слѣдъ като срѣщнаха отпоръ, видяха, че сж постѣпили неблагоприятно и жестоко. Тѣ гледаха на небото и съзираха поличба : мѣсечината, като се скланяше къмъ земята, червенѣеше се като че ли тънеше въ кървави вълни ; и стѣнитѣ на храмътъ свѣтѣха съ багрянъ цвѣтъ, като че кръвьта на убититѣ се разля по земята и по небото, и заедно съ воплитѣ на възстаналийтѣ народъ се сгъсти въ тежкъ облакъ, който повисна надъ Иерусалимскитѣ хълмове.

И научиха си легионитѣ за думитѣ на благоразумний Авлъ, а неговитѣ привърженици издигнаха гласъ и думаха:

— Стариятъ тысященачалникъ бѣше правъ, а Флоръ ни до- кара до позоръ.

И като заобиколиха Авла, пратиша го при Гессий да му каже отъ името на войскитѣ:

— Въ сегашниятъ мигъ ние още ти се покоряваме, но знай, жестокий челоувѣче, че сами ние ще поднесемъ жалба противъ тебе на сенатътъ. Погледни, — нашата кръвъ и кръвта на пудентѣ вопие срѣщу тебе къмъ небото.

Тѣзи думи бѣха на малцина благоразумни, които сега доби- ваха значение, а дързновеннитѣ, що по-прѣди бѣха за Флора, — мълчеха, защото виждаха възстанието на народътъ и своята неспо- лука. По тая причина повечето земаха страната на благоразумнитѣ. А багряната свѣтлина все по-вече и по-вече обгрѣщаше не- бото и земята . . .

Когато мѣсечината се скри, и надъ земята се распространи мракъ, и втората нощна стража смѣни първата — Флоръ мрачно посърналъ, съ наведени надолу отъ срамъ очи, искара изъ дворецътъ легионитѣ и въ мълчание ги поведе вѣнъ изъ градътъ.

На утреньта въ свещенниятъ градъ на Иудея нѣмаше римляне.

II.

Надъ градътъ Гамала слънцето заходеше . . .

Тихъ вечеръ се спущаше надъ цѣлата иудейска земя; благо- датенъ покой осѣни тая земя . . .

Вечерни сѣнки тукъ-тамъ вече трептѣха въ долинитѣ, но нощта не бѣ запалила още своитѣ блѣскави кандила. И не се виждаше още огненниятъ мечъ, който ето вече нѣколко ноци плува въ синиитъ етиръ и гори на небото, като кара сърдцата на хората да тупатъ съ безпокойно очаквание.

Страшната звѣзда, като ангелский огненъ мечъ, всѣка нощъ плуваше въ безпрѣдѣлнитѣ пространства, и хората усѣщаха, че същю тѣй неуклонно настѣпятъ въ свѣтътъ велики събития и велика скърбъ . . .

Но сега въ тойзи часъ на тихий заходъ, — свѣтътъ, струва се, забрави за звѣздата, прѣдвѣстница на скърби, и безгрижно по- чиваше въ спокойствие. Планинитѣ се синѣха, слънчевиятъ заходъ се аленѣеше съ златни руменини, въ височината тихо се топеха бѣлитѣ облачета, раскошнитѣ палми наведоха глави въ немощъ, и по пътътъ се дигаше прахъ, като играеше съ послѣднитѣ зари на слънцето. . . .

Нищо не говореше на хорага за грядущитѣ бѣдствия. . . .

И само тамъ, горѣ надъ звѣздитѣ, соннове ангели прѣдъ прѣстолътъ на Негова-Адиной загуляха съ рѣцѣ очитѣ си и въсклицаваха съ нечути за смъртно ухо гласове:

— Горе вамъ, о Иерусалиме и Гадаро, и злочеста самоубийствена Иотапато! . . .*)

Но смъртнитѣ не чуваха тие вопли, завѣсата на близкитѣ врѣмена се не издигаше прѣдъ тѣхнитѣ погледи. Долу, на земята, обгърната съ вечерна помрачина, съществувахе само настоящето. Адиной е прѣсѣдилъ на смъртнитѣ — безъ да виждатъ бждущето, сами да се лутатъ язъ мрачнитѣ пѣтица на животътъ, като издирватъ щателно, гдѣ е злото и гдѣ благого.

И слѣпнитѣ родъ ликуваше. Легионитѣ на Флора отстъпиха, и Цестий потърпя несполука. Бѣдствията като че ли бѣха прѣминали и дѣщеритѣ на Галилея свиваха вѣнци и пѣха пѣсни. А въ Иерусалимъ дори фарисейтѣ провъзгласяваха вѣсти за свобода.

Но Гамалиотъ не участвувахе въ ликуването. Той знаеше, че война още прѣдстои, че римскитѣ орелъ се кани да распустне нокти и за това, далечъ отъ Иерусалимъ, ходеше по страната да свиква опълчение. И сега уморенъ, отъ ключове къмъ оръжие, се завърна въ домътъ си, за да вкуси почивка и покой.

И като гледаше на румениитѣ заходъ на синето небо, той плачеше, защото ясното небо му говореше за вѣчнитѣ законъ на вселенната, а неговото сърдце жаждаше миръ на земята, и се отвърщаше отъ война и кръвъ. И то като че ли се смегчи отъ умилятелното дихание на кротката зора, и на душата на Гамалиота налѣтя тихо забравяние.

Наоколо му, връхъ стѣпалата на къщата, лѣжеха неговитѣ ученици и привърженици въ одѣжди за почивка. И всички мълчеха, защото мълчеше учителътъ, надъ когото бѣ прѣхвъркналъ тихитѣ ангелъ на всезабравяние . . . Той забрави за римлянетѣ, и за загиналитѣ братя, и за баща си, който бѣ положилъ своята глава въ

*) При покоряването на Иудея, като се искачили на стѣнитѣ на обсаденитѣ градъ Иотапата, римлянетѣ намѣрили всички нейни жители мъртви. Тѣ сполучили да намърятъ само една бабичка, която имъ разказала, че въ навечерие на послѣднитѣ штурмъ, обсаденитѣ най на прѣдъ небили женитѣ и дѣцата, а послѣ загинали и сами драговошно, като прѣдопели смъртѣта прѣдъ рабството. (Иосифъ Флавий „За Иудейската Война.“)

войната за свобода, и за невинно проляната кръв, и за онова, че и него чакатъ убийства и опасности.

И съ откъртена отъ пълни гърди въздишка Гамалиотъ изрече :

— Хората трѣбва да сж братья, и божийтъ свѣтъ е хубавъ . .

* *
*

Но далечъ изъ пѣтьтъ се зададе прахъ и приближаваше все по-вече и по-вече и, като прикри очигъ си съ ржца, Гамалиотъ съгледа тълпа хора, които идѣха къмъ къщата му.

То бѣха пратеници изъ Иерусалимъ, идуци при Менахема съ вѣсти, и галилейски жители, и идумѣи, и есеи въ бѣло облѣкло. Изъ пѣтя тѣ се прѣпираха помежду си, и смущаваха съ шумѣтъ на нестройнитѣ си гласове тихата вечерня нѣга.

И така доблчжиха до къщата на Менахема, нѣкои подрѣнкваха съ запрашеното си оръжие и всички не прѣставаха да се прѣпиратъ. Когато вече дойдоха на близу, и се спрѣха, Менахемъ попита, защо имъ е прѣпирната.

* *
*

Напрѣдъ излѣзоха пратеницигѣ и речеа :

— Ние идемъ съ вѣсти отъ Иерусалимъ и прѣди всичко чуй насъ.

Менахемъ каза : „говорете,“ и тѣ разказаха на Гамалиота :

— Слѣдъ като ти и мнозина други оставихте Иерусалимъ, за да призовете на помощъ странага — въ Иерусалимъ се върна царь Агриппа, който отсъствувахе. Като видя, че народѣтъ се готви да прѣмахне игото, той се наскърби, имающе въ прѣдвидъ своята власть . . . Защото, ако се присъедини къмъ народѣтъ, римлянетѣ, въ случай на побѣда, не ще го оставятъ на прѣстолѣтъ. Сжщо и иудеитѣ, — ако се присъедини къмъ римлянетѣ. Царь Агриппа има прѣстолъ и за това е готовъ да се мири съ рабството. Като събра народѣтъ, тѣй се обърна къмъ него съ придумвание. Народѣтъ стоеше долу на улицитѣ, а царѣтъ на върхѣтъ на прѣходитѣ. А пакъ сестра си Вероника, която народѣтъ обича за нейната кротость, исправи срѣщу себе си върхъ покривѣтъ на Асмонеевата къща, като и заповѣда прѣдъ лицето на всички да пролива сълзи. Тѣй искаше той съ силата на своето изострено краснорѣчие да смуги мислитѣ на народа, а съ женскитѣ сълзи — да загаси пламѣкътъ на народнитѣ гнѣвъ. Въ своето слово той наричаше Нерона кротѣкъ управителъ, а римлянетѣ — великодушни побѣдители, и казвахе : „нищо тѣй не утоложава болката отъ ударитѣ, като кротостъта и търпѣнието на обиден-

нитъ . . . “ И смуги мнозина. Сега по разни крайща на страната шовтарятъ думитъ на Агришна, и срѣдъ единодушно възстаналитъ народъ е посѣянъ раздоръ. И ето тие, що съ насъ дойдохъ, тый него се придръжагъ о различни мѣнния и се прѣциратъ . . .

Когато пратеницигъ свършиха разказъгъ, нанасрѣдъ изстѣпиха Матафия и Захария, търговци, и казаха на Менахема :

— Агришна има право, а пакъ ти и твоитъ сѣбегъ зло : баща ти загина на война и погуби и нашитъ бащи, невиновни въ бунтъ, и ти искашь чрезъ бунтъ да погубишь насъ, мирнитъ търговци. Тебъ живогтъ не е свиденъ, защото нѣмашъ богатства, а намъ се свиди. Бъди сираведливъ, мъдрий Менахеме, синъ на загиналий Негуда.

Менахемъ хладно отговори на търговцитъ :

— Баща ми загина и бацитъ ви сжщо загинаха ; баща ми загина съ оръжне, а бацитъ ви бидоха убити огъ разяренитъ побѣдители, но азъ ви казвамъ истина : не баща ми погуби вашигъ бащи, а наопаки — тѣ погубиха доблестнигъ Негуда.

И търговцитъ заштахъ : какъ тый ? Менахемъ отговори :

— Негуда извърши свойгъ дългъ, когато отиде срѣщу насилието на завоевателигъ. Така сж постигнахъ най доблестнигъ мъжие у всички народи : партяне, и нумидийци, и маври. И да бѣха всички изпълнявали тойзи дългъ, нѣмаше Римъ да излѣзе вѣнъ отъ своитъ прѣдѣли, и въ свѣтъгъ щеше да има миръ, и земята нѣмаше да стене подъ нгого. И баща ми щеше да е живъ. Но вашитъ бащи, сжщо като малодушнитъ между другитъ народи, оставиха своитъ поборници безъ помощъ, и тѣ загинаха, а ние, синоветъ на оние чловѣци, трѣбва да влѣчемъ позоръгъ на рабството. Ето какъвъ е отговоръгъ ми, търговци . . . Вървете си !

* * *

Тогавъ пристѣпиха къмъ него есенитъ въ бѣли одѣжди, и казаха :

— Ти сѣнешъ зло, мъдрий Менахеме, съ учението, което въ своята гордостъ се стреми да познае всичко, що е било, е, и ще бжде. Не стига ли за чловѣка да знае законъгъ на Моисея и още — какъ да оре земята ? Ти сѣнешъ сжщо тый зло съ учението, което призовава на борба ! . . . И горко тебъ, Менахеме, сине Негудовъ ! Кога обсаждагъ нѣкой градъ и градъгъ се противи, тогавъ обсаждающитъ прѣдлагатъ на крогкитъ животъ, а бунтовницитъ обричатъ на смъртъ. Ние, що проповѣдваме кротостъ, ще се спасимъ огъ общата гибель и ще останемъ живи, — ние и нашитъ дѣца, и на-

шето учение . . . А вие, бунтовниците, ще прѣтърпите смъртъ . . . И за това ние сме — живи хора, а вие сте отсѣдени на смъртъ . . . Тогава, кое учение е по-добро? . . .

И тѣ му разказаха притча, която Менахемъ изслуша съ внимание, и друга, и третя, въ които се расправяше, че борбата е зло.

— Водата, казаха тѣ, не може се изсуши съ вода, а съ огънь, и огънътъ не гасятъ съ пламъкъ, а съ вода. Тѣй и силата се не надвива съ сила, която е зло . . .

* *

И ученицитѣ на Менахема бень Йегудовъ се смутиха.

Но самъ Менахемъ не се смути и отговори :

— Истина казахте вие, кротки есеи, чиста истина: кога нѣкой градъ се противи, обсаждащитѣ обръщатъ оръжието си срѣщу оние, що го бранятъ; пакъ на оние, които сж готови да се прѣдадатъ, обѣщаватъ животъ, за да склонятъ по-голъмо число къмъ прѣдаване . . .

Да, то е истина! Но когато на единъ градъ нападнатъ грабители, и никой не дързае да се поддигне за защита, какво вършатъ тогава насилниците? . . . Не избиватъ ли тѣ всички безъ разлика, като не съглеждатъ никакво различие, нито пакъ нѣкаква причина за милость? . . . Припомнете си за Флора: неговитѣ войници не еднакво ли убиваха оние, що стоеха съ оръжие и оние, кои излѣзоха да посрѣщнатъ легвонитѣ съ кротки привѣтствия? . . . А днесъ Цестий, воююще съ насъ, ви привлича съ обѣщания за безопасность и покровителство! Путѣ Господни сж скрити отъ очитѣ на смъртнитѣ: твърдѣ е възможно, че вие, защитниците на свободата, ще загинемъ, а вие останашете съ дѣцата си и съ дѣцата на дѣцата ви. Тогава, кротки есеи, нѣма ли съ благодарность да си наумите за насъ, бунтовниците, които привлѣкохме върху себе си всичката сила на гнѣвътъ на завоевателитѣ, и съ своята гибелъ купихме вамъ миръ и спокойствие? . . . За това бждете благодарни къмъ гнушитѣ вие, кротки и запазваюци животъ; защото вашата кротость добива цѣна само поради нашата буйность, а вашето спокойствие прилича на цвѣтя, що цвѣтатъ на ниви, наторени съ наша кръвъ . . .

* *

И още ще отговора на вашитѣ доводи :

Мислитѣ ви се криятъ задъ уподобявания и притчи, въ които нѣма духъ на знание, а има само форма. То сж мѣхове, въ които

може да се налива и лошо вино, и добро; но по мъховетъ не може се позна, ком вино е лошо и кое добро; виното се познава при употребяване.

Така и истината се познава и доказва не съ уподобявания, но съ опитъ, който е испитъ за истината . . .

Силата на ржката не е нито зло, нито добро, а е сила, а пакъ злото или доброто се крие въ нейното прилагане. Силата на ржката е зло, когато се издига за грабежъ и обяда на по-слабийтъ, — когато се подига за работа и защита на ближнийтъ, тя е добро.

И ако вие мислите, че ангелтъ, който открива смисълтъ на уподобяванията, служи само на вашата истина, тогава вие се лъжете въ това, както и въ останалото. Огънъ не гасятъ съ огънъ, и вода не поливатъ съ вода. То е право. Но камъкъ трошатъ съ камъкъ, стомана отблсватъ съ стомана, а силата съ сила . . . Такова е моето уподобяване . . .

И ангелтъ на притчигъ не вамъ само разкрива тѣхната тайна. Азъ също бесѣдвахъ съ него, и чуйте, що той на менъ расправи, за да стане учението ми върху светостта на противението по-ясно. . .

* *
* *

И рабби Менахемъ разказа на ученицитъ си и на дошлитъ при него есеи слѣдующата притча :

Веднаждъ Богъ се смилилъ надъ земята, цѣла редомъ покрита съ злини и бѣдствия И си рекълъ : да испратя на хората мойтъ любимъ ангълъ, когото още земята не е видвала . . . И повикалъ при себе си невиннийтъ ангелъ, чието име било „Невѣдение на Зло“.

Въ очитъ на брилатийтъ се изразявала такъва дълбока ясность, такъва тиха радостъ и невинна кротость, штоо всѣкий пактъ, когато погледътъ на Бога, твърдъ дълго врѣме обърнатъ къмъ грѣшната земя, се омрачавалъ, — Той поглеждалъ въ лицето на свойтъ любимецъ, въ неговигъ сани, сияйни очи и самъ ставалъ ясенъ . . . Ангелтъ прѣдстаналъ прѣдъ Бога въ своята бѣлоснѣжна одѣжда и дигналъ на Него погледигъ си, въ които се свѣтѣло юно невѣдение. . .

И Богъ казалъ на свойтъ ангелъ: полѣти е—тамъ, на земята, да съзратъ человекитъ твоята ясность и да се засрамятъ отъ мрачнийтъ позоръ. Нека се засрамятъ и погнусятъ отъ него. Твоето невѣдение е тѣй силно, штоо тѣ ще забравятъ пороктъ.

Ангелтъ се усмихналъ и тихо полѣтѣлъ къмъ земята.

И мнозина го видѣли, и комуто се паднало да погледне въ неговитѣ чисти очи, ставало по-свѣтло на душата . . .

Злочестийтъ забравялъ своята скръбъ, а злийтъ забравялъ своята злоба, и около ангелтъ злобата утихвала, а той лѣтѣлъ нататакъ и, както по-прѣди, очитѣ му били яени, защото той не знаеялъ зло.

Веднаждъ лѣтѣлъ той надъ земята и съгледалъ въ една гора чловѣкъ. Чловѣкътъ вървѣлъ по пжтека, като се вслушвалъ въ горскійтъ шумъ, и се озърталъ, защото подирѣ му тичали хора.

Но ангелтъ не знаеялъ, защо хората гонятъ изъ гората тойзи чловѣкъ, и поискалъ да се спустане при нещастниктъ въ гж-сталакътъ и да се яви прѣдъ него, въ сияние на своята чистота и кротка невинность.

Но по него врѣме оня чловѣкъ доближилъ до жилището на другъ чловѣкъ, който сѣдѣлъ на прагтъ, и като падналъ въ изнеможеніе прѣдъ кжщата, бѣглецтъ проговорилъ :

— Не мога да вървя понататакъ, уморенъ съмъ, а слѣдъ мене тича потеря и ще ме убиятъ. Дай ми убѣжище и защита подъ твойтъ покривъ.

И чловѣкътъ отговорилъ : азъ зная, кой те гони : тѣхнитѣ бащи и дѣди винаги прѣслѣдваха невиннитѣ, а моитѣ бащи и дѣди даваха подслонъ на слабитѣ и угнетеннитѣ ! . . . И азъ ще ти дамъ убѣжище. Влѣзь въ кжщи и поспи . . . Но по-наврѣдъ дай да ступя твоитѣ вериги, както правеха бащитѣ и дѣдитѣ ми и както менъ завѣщаха.

И той ступилъ веригитѣ и съ силната си ржка ги захвърлилъ надалечъ, като рекълъ :

Да се не оскверни домтъ на бащитѣ ми и домтъ на дѣцата ми съ вериги на рабство !

И прѣслѣдванійтъ чловѣкъ влѣзълъ и засналъ, а ангелтъ всичко чулъ и видѣлъ, и нищо не проумѣлъ, защото името му било Невѣденіе.

Той се навелъ надъ изнемощѣлийтъ, и усмивка се показала на устата на спящійтъ, и душата му станала ясна, а сънътъ ягкъ.

И послѣ ангелтъ приближилъ къмъ стопанинтъ, който сѣдѣлъ на прагтъ, но стопанинътъ не съгледалъ ангелтъ Невѣденіе, защото погледитѣ му били обрнати къмъ гората. Той пазѣлъ сънътъ на свойтъ гостенинъ.

Тогавъ ангелтъ полѣтѣлъ нататакъ.

И не далечъ срѣщналъ хора уморени, измжчени и разяреени.

Потъ и злоба застилали тѣхнитѣ очи и тѣ не съзрѣли, че отпрѣдѣ имъ стои ангелъ, а само пытали, не е ли видѣлъ челоуѣкъ съ вериги.

И на ангелътъ доплѣло за измѣченитѣ хора, протегналъ ржка къмъ къщата, гдѣто бѣ видѣлъ челоуѣкътъ съ вериги и ре-вѣлъ: вървете подирѣ ми, — той е тамъ.

И самъ тръгналъ напрѣдъ и ги довелъ до къщата; бѣгле-цътъ спялъ, съ усмивка на лице, защото душата на бѣглецътъ била ясна.

И само домакинътъ чулъ челоуѣчески стѣпки и съзрѣлъ иду-щитѣ; той бързо се исправилъ и влѣзълъ въ къщи.

И, като събудилъ заспалитѣ, казалъ му: брате, ти си отпо-чина. Излѣзъ изъ моята къща и бързай да идешъ надалечъ, защото тука наближава потерята . . .

Челоуѣкътъ се уплашилъ и рекълъ:

— Тѣ ще ме убиятъ въ гората. Азъ спяхъ у тебе, и за това не ще имамъ време да замина . . . Горко мене, загиналъ съмъ! . . .

Но стопанинътъ отговорилъ:

— Заминувай по-скоро, азъ ще ги задържа тука. Моитѣ бащи и дѣди ми завѣщаха да пазя сънътъ на гостенинътъ, и още никой не е страдалъ отъ това, че е спялъ въ къщата ми.

Бѣглецътъ повѣрвалъ и се упутилъ въ гората, а стопанинътъ взелъ оржжие и се исправилъ на прагътъ.

И хората отъ потерята, като доближили, видѣли стопани-нътъ и казали:

— Въ къщата ти има челоуѣкъ, когото търсимъ да убиемъ. Прѣдай ни го.

Но стопанинътъ отговорилъ:

— Вашитѣ бащи и дѣди всѣкога гонѣха невиннитѣ, а мо-итѣ бащи ми завѣщаха да пазя сънътъ на гостенина.

Тогавъ хората изтеглили мечове, а ангелътъ стоялъ и нищо не проумѣвалъ, защото името му било Невѣденне.

И стомана се кръстосала съ стомана, и високо зазвѣнтѣла, и заскърцала, при оспорване животътъ на челоуѣкъ, който бранѣлъ животътъ на другиго . . .

А ангелътъ слушалъ, но не разбиралъ нищо . . .

И дълго време стоманата блѣстѣла, скърцала, и звѣнтѣла, до-като най-сѣтнѣ, съ кратко змѣино съскание, се не впила въ гърдитѣ на защитникътъ. И падналъ той на прагътъ на къщата си, оба-грень съ кръвъ . . .

И изъ раната бликнала кръвъ и прѣснала въ бѣлоснѣжното одѣяние на ангелътъ и застинала на него като алено петно. А слу-

хътъ на ангелътъ билъ поразенъ отъ прѣдсмъртното стенание на чловѣкътъ, когото той погубилъ по невѣденне . . .

Гонителитѣ се спуствали въ кѣщи и не намѣрили никого. И, като излѣзли отъ-тамъ рекли, на стопанинътъ :

— Его, ти излѣга, скри отъ насъ истината, и самъ умирашь.

А стопанинътъ отговорилъ :

— Азъ скрихъ отъ васъ истината, но моята правина е ясна прѣдъ Бога, защото умирамъ при защита на слабиятъ, както правеха бацитѣ и дѣдитѣ ми. И завѣщавамъ кръвьта си на мортѣ дѣца и на вашитѣ.

И съ тие думи той умрялъ, а ангелътъ, що чулъ всички тие рѣчи, не разбралъ тѣхнийтъ смисълъ, защото името му било Невѣденне . . .

Но щомъ погледѣтъ на ангелътъ падналъ на алената кръвь, — нейнийтъ отблѣсъкъ се отразилъ въ очитѣ му, и тѣ загубили своята прѣдишна ясность . . . Той ги издигналъ къмъ хората съ изразъ на плахо и дълбоко жаловно чувство, а сѣтнѣ, въ смъртенъ ужасъ, полѣтѣлъ къмъ прѣсеголтъ на Бога и прѣдстаналъ прѣдъ Него. И Богъ погледналъ въ очитѣ му и на неговата одѣжда . . .

Ангелътъ стоялъ прѣдъ Него, и въ очитѣ му нѣмало ясность, а смущение, и болка, и срамъ, защото билъ обагрень съ кръвь. И очитѣ на ангелътъ били мжтни, защото въ тѣхъ вече нѣмало чистото невѣденне на прѣдишнитѣ врѣмена, но нѣмало сжщо и скръбно зѣяние . . .

И Богъ се омрачилъ, а ангелътъ рекълъ съ укоръ :

— О, Адиное, Адиное! . . . Ето вждѣ испрати ти свойтъ ангелъ . . . ето що направиха чловѣцитѣ съ мене . . . сега на сърдцето ми тежи камѣкъ . . .

И Богъ, като гледалъ на ангелътъ, заплакалъ :

— О, чловѣци, чловѣци! що направихте вие съ мойтъ любимецъ! какъ стана това съ тебе и гдѣ изгуби ти прѣдишнияга си ясность . . .

Тогава ангелътъ расправилъ на Адиноя всичко, що съ него се случило :

— Въ гората видѣхъ чловѣкъ съ вериги и другъ, който сѣдеше на прагѣтъ на своята хижа. Тѣ приказваха нѣщо за гонения и за защита, но азъ нищо не разбрахъ. Послѣ уморенийтъ чловѣкъ влѣзе въ хижата. а азъ полѣтяхъ нататакъ . . . искахъ да прѣдстана отпрѣдъ имъ, но тѣ не ме съгледаха, защото бѣха заети съ друго . . .

— Тѣмъ не трѣбваше твоео лицезрѣние, — рекълъ Гос-

подъ. Ти по напръдъ трѣбваше да се явишь прѣдъ гонителитѣ, а прѣдъ гонимийтъ подирѣ.

— Азъ не знаехъ, — отговорилъ на това ангелътъ — И понататакъ срѣщнахъ други хора, чиито очи бѣха застлани съ потъ и вражда. Тѣ питаха, безъ да ме гледатъ, — гдѣ е челоувѣкътъ съ веригитѣ. И азъ имъ посочихъ хижата . . .

Богъ навелъ глава и рекълъ :

— Скрѣбъ, велика скрѣбъ! . . . Виждамъ сега, че на земята нѣма мѣсто за кротко Невѣденше! . . .

А ангелътъ расправилъ всичко и възкликналъ :

— Ти самъ не испрати на земята, ти си виновенъ за онова, що се случи, а не азъ! . . . Смѣлни тежината, която притиска сърдцето ми, махци огъ одѣждата ми тие отвратителни амени негна!.. Направи, Прѣдвѣчний, щото азъ, както поупрѣди, да *не зная*, щото въ душата ми огново да се посели ясногъ на сего невѣденше. И ангелътъ съ ридания се склонилъ прѣдъ прѣстолътъ на Бога.

Но Богъ отговорилъ :

— Самъ не знаешъ, за какво се молишь. Азъ това не ща да направя, но ще направя друго: на мѣсто *Невѣденше* ще ти дамъ *Скрѣбно Разбирание*.

И Богъ расправилъ на ангелътъ, каква кръвъ е обагрила неговата одѣжда, и му рекълъ :

— Заповѣдамъ ти да носишь тая кръвъ като светиня. То е чиста кръвъ, пролѣна за защита на слабитѣ. И съ това знание ти ще скрѣбинишь, а невѣдението никога нѣма да се повърне при тебе . . .

Дори азъ не мога да излича отъ скрижалитѣ на врѣмената онова, което веднаждъ е било въ миналото. И немà ти искашь, щото всичко, що е било, да остане назадъ, а въ сърдцето ти да царува ясна радосгъ? . . . Това ли искашь? за това ли се молишь? . . .

И до като Богъ говорилъ, нѣ очятъ на ангелътъ исчезнаа смутната болка и въ тѣхъ засияа скрѣбно знание, и той въ ужасъ падналъ прѣдъ Божийтъ прѣстолъ и възкликналъ :

— Не, Всемогущий . . . Не искамъ, не искамъ! . . . Остави ми за винаги моята скрѣбъ.

И Богъ подвигналъ ангелътъ и рекълъ :

— Ти, както по упрѣди, ще бждешъ мой любимецъ, и моята любовъ къмъ тебе ще стане по голѣма . . . Но отъ нинѣ ще имашъ за име не *Невѣденше* . . . Твоего име ще е *Велика Скрѣбъ* . . .

И ангелътъ се исправилъ и дигналъ очи къмъ Бога; и Богъ пакъ съ любовъ погледналъ въ тие очи и видѣлъ въ тѣхъ . . . скрѣбъ.

И ангелът рекълъ : Господи, пусти ме сега пакъ на земята. . . . Азъ ще отнеса свещенната кръвъ на дѣцата на праведникътъ и на дѣцата на убийцитѣ . . . И нека, кога тѣ порастатъ, ясността въ тѣхнитѣ очи отстъпи мѣсто на скръбта на познанието . . .

И тогава първитѣ, по обичайтъ на родътъ си, ще бждатъ готови да се поддигатъ за защитата на слабитѣ и ще изпълняватъ завѣщанието на бащитѣ си до тогава, до когато дѣцата на гонителитѣ разбератъ всичката скръбъ, що проистича отъ завѣщание на насилници . . .

И слѣдъ като се прѣклонилъ прѣдъ прѣстолътъ на Бога, ангелътъ се издигналъ, махналъ тихо съ крила и полѣтѣлъ къмъ земята, а Богъ съ любовъ слѣдѣлъ за тойзи лѣтъ на скръбта. . . .

До като Гамалиотъ говореше притчата, вечерята облѣче земята съ своята синя риза

И земята потъна въ мракъ, а на небото се запалиха огньове Господни, и отново пламенниятъ мечъ, обърнатъ къмъ Иудея, за сия въ височината.

И сърдцата на всички се смириха и укротиха, а въ душната имъ се пробуди благоговѣенъ страхъ прѣдъ знамението на Господнята воля. И всички мълчеха, като се вслушваха въ ноцната тишина. На хората се струваше, че чуватъ грозниятъ бѣгъ на звѣздата по безпрѣдѣлнитѣ пространства, — на звѣздата, що прѣдръча неминуеми събития.

А Гамалиотъ се исправи на стѣпалата на къщата си, въздѣна рѣчи къмъ небесната синина и цѣлъ озаренъ отъ отблѣсъкътъ на звѣзднитѣ огньове, се обърна съ молитва къмъ Адиноя :

— О, Адиное, Адиное! . . .

Ти пращашъ на земята знамения, но не раскривашъ тѣхнитѣ смисълъ. Въ тая земя, къмъ която е насочено острилото на твойтъ мечъ, — днесъ за днесъ има угнетатели и угнетени . . . Първитѣ или вторитѣ заплашвашъ ти съ това знамение? . . .

Да бжде воля твоя, но вземли на моята горѣща къмъ тебѣ молитва. Приеми я ти, що възсѣдавашъ въ горнитѣ селения, и що виждашъ съ мждро око безкрайнитѣ врѣмена. Въ тебѣ е изпълнение на надѣжди, въ тебѣ е разрѣшенне на невѣдоми, въ тебѣ е примирение. . . .

И ако ти, по безконечна мждрость, въ наше врѣме си прѣсджилъ гибель на правото дѣло, и още веднаждъ да дадешъ на насилнето да възтържествува, —

И ако намъ, на защитницитѣ, е съдено да загинемъ, а на

угнетателитѣ да въздигнатъ алтари на тържество и нечестие връхъ мѣстото на твоитѣ алтари,—

Да бжде тъй! . . .

Но изпълни молбата на обреченнитѣ, изпълни нашата молба, Всевишній!

Да не забравимъ никога ние, докль сме живи, завѣтътъ да се боримъ за правото.

Никога да не речемъ: по-добрѣ да се избавимъ сами, като оставимъ по-слабитѣ безъ защита.

Ни единъ нашъ ударъ да не бжде насоченъ противъ невиновенъ въ насилие.

Никога да не посѣгаме къмъ светостъта на чуждитѣ алтари, като помнимъ поруганието на нашитѣ.

Нека мислитѣ ни запазятъ ясность, за да уплѣтватъ нашитѣ стези по пътитѣ на истината, а ударитѣ на ржцѣтъ — за защита, а не за угнетение.

И кога прѣдъ смъртъта очитѣ ни се прѣмрѣжатъ, — не отнемай отъ насъ, Адиное, вѣрата въ тържество на правото дѣло на земята.

Щото да знаемъ ние, че законътъ на истината е неизмѣненъ, както е неизмѣненъ законътъ на природата: ето днесъ страшното знамение гори на небесната синица, но то ще прѣмине и исчезне. А кротката мѣсечина, която днесъ малко се заблѣзва, — ще изгрѣва надъ земята въ свое врѣме отъ вѣка и до вѣка.

Кога удари часътъ на твоята воля и ние загинемъ, да осѣни Ангелътъ на скръбъта съ крилото си нашитѣ гробници и разкаже за насъ на нашитѣ дѣца и на дѣцата на враговетѣ ни, тъй щото и нашата смъртъ да послужи на правото дѣло.

И вѣрвамъ азъ, о, Адиное, че на земята ще настѣпни твоео царство! . . .

Насилието ще исчезне, ще се стекатъ народитѣ на празникътъ братство и никога вече нѣма да се пролѣе челоувѣческа кръвь отъ челоувѣческа ржка.

Тогавъ Ангелътъ на Скръбъта радостно ще трепне съ крила и ще се въздигне на небото, а на земята ще настане радостъ и миръ.

Нека тогавъ челоувѣцитѣ си научатъ за насъ, злочеститѣ, що въ жестоко врѣме пролѣхме кръвьта си за защита, а не за угнетение. Аминъ! . . .



ЛУДЪ ГИДИЯ

*

«Криво сѣди, право сѣди,
Старъ кадия: —
Не оставя на миръ село
Лудъ гидия!

«Не е лудо като други
Отъ селото, —
Тамбура му яворова
На бедрото.

«Рано заранъ, младъ гидия
Почва легко,
Свири легко, а се чува
На далеко;

«Надалеко по полето
До жътварки, —
Сърпи пуцатъ и захвърлятъ
Паламарки,

«Плѣсватъ съ рѣце и залавятъ
Хоро вито, —
Извиха се, изтъпкаха
Злато жито.

«Дойде пладнѣ, младъ гидия
Не почива,
Колко свири, толкозъ повече
Злѣ отива!

«Че се чуе до невѣсти
На рѣката, —
Тѣ забравятъ бухалкитѣ
И платната,

«Та на танецъ се залавятъ
Пощурели, —
Дойде порой и отвлече
Платна бѣли.

«Падне вечерь, людъ гидня
Не прѣстава,
На бабитѣ край огнище
Миръ недава.

«Насамъ на тамъ . . . заслушватъ се
Въ гласъ далечень :
Огънь гасне — все зелникътъ
Недопечень!»

*

Криво сѣди, право сѣди старъ кадия :
— «Скоро тука тамбурата, младъ гидня!

Де да видимъ, що отъ тебе дивно чудо,
Да прѣвращашъ старо — младо, младо — лудо!»

Занаглася младъ гидня тамбурата, —
Се поглади старъ кадия по брадата;

Ей прѣмѣтна младъ гидня два-три крака, —
Залови се старъ кадия за мустака ;

Запрѣплете младъ гидня изведнѣжка,
Че се сѣпна кадиево сърдце мжжко ;

Ощъ не почналъ истинската людъ гидня,
На юнашки нозѣ рипна старъ кадия, —

Завърте се чакъ отъ подѣтъ до таванѣтъ :
Паницата съ мастилото отъ диванѣтъ

И торбитѣ съ харзували по стѣнитѣ,
Като пилци полѣтяха изъ мъглитѣ . . .

— «Свири, свири, Богъ убилъ те, младъ гидня,
Божья дарба на запитвса старъ кадия !

Свири, струвай старо — младо, младо — лудо :
Туй е Божья дарба — не е Божье чудо!»

П. П. Славейковъ

В А Е Г М О Н Т А ;

ТРАГЕДИЯ ОТЪ ГЕТЕ.

РЕЦЕНЗИЯ.

отъ

Ф. Шиллера.

Трагическии поетъ избира за сюжети на своитѣ произведения или извънредни дѣйствия и ситуации *), или страсти или характери ; и ако и често да се срѣщатъ и третѣ, като причина и слѣдствие, събранн въ една пиеса, пакъ съкога главната тема на една трагедия нѣма да бждатъ всичкитѣ, а само едното или другото. Ако главната цѣль на поета е случката или ситуацията, тогава той само толкова ще се спира върху страститѣ и характеритѣ, колкото му сж потрѣбни тѣ, за да нарисува ситуацията. Ако ли главната му цѣль е страстѣта, тогазъ той често се задоволява съ най-нищожната случка, стига само тя да раздвижва страстѣта. Въ Огелло една масторска сцена произлиза само отъ една кърпа, намѣрена не на мѣстото си. Ако ли най-сетнѣ характерѣтъ е неговата главна цѣль, тогава той е още по-свободенъ въ съединението на случкитѣ, и желанието му да нарисува цѣлия човѣкъ, не му позволява да дава много мѣсто на една страстъ. Старитѣ драматици се ограничавахж комай само съ ситуации и страсти. Затова тѣхната поезия е толкова лишена отъ индивидуална, подробна и дълбока характеристика. Едвамъ въ онова врѣме, и то отъ Шекспира на самъ, трагедията се обогати съ третия родъ ; Шекспиръ бѣше първий, който въ Макбета, Ричардъ III и др. прѣдстави на сцената пълни хора ; въ Германия авторѣтъ на *Геуз Фонъ Берлихингена* (Гете) ни даде първий образецъ отъ този родъ. Не му е мѣстото тука да изслѣдваме, колко отговаря този родъ отъ трагедия на послѣдната цѣль на трагедията : да възбужда страхъ и състрадание ; стига че я има и че е подчинена на извѣстни правила.

Къмъ послѣдния родъ принадлежжи и тѣзи трагедия, и лесно е да се заблѣжжи, каква свръзка иматъ горнитѣ бѣлѣжки съ прѣдмета на статията. — У *Егмонта* нѣма нито извънредни случки,

*) Положения.

нито особно силна страсть, нито разни заплитания, нито драматичен планъ — нищо отъ всичко туй: ний виждаме въ него само една върволица отъ сцени, които не сж свързани съ нищо освѣтъ съ характера на Егмонта, който взима участие въ всичко. Единството на тази трагедия не се крие нито въ положенята, нито въ нѣкоя страсть, а въ *човѣка*. Но истинската история на Егмонта и не би могла да даде друго нѣщо на автора: неговото затваряне и осжждане на смъртъ не е слѣдствие на нѣкоя негова особенно интересна постѣпка, а на много дребни, които никакъ не сж могли да ползватъ поета и които не сж тѣй свързани съ катастрофата, щото да образуватъ *едно дѣйствиe*. Като е искалъ да създаде отъ този прѣдметъ една трагедия, той е трѣбовало да избира между двѣ нѣща: или да измисли нови случки къмъ тази катастрофа, или щѣкъ да остави съвсѣмъ тѣзи два рода и да обърне всичкото си внимание върху характера, който го е наѣнилъ. Той е прѣдпочелъ послѣдното, което е безспорно и най трудното, и то вѣроятнo не отъ голѣма любовъ къмъ историческата истина, а защото е чувствувалъ, че съ *богатството* на своя гений нѣма да остави да се забѣлѣжи скждността на сюжета.

И тѣй, въ тази трагедия — ако рецензентътъ не е побъркалъ съвсѣмъ гледната точка — се рисува единъ характеръ, който като единъ сомнамбулъ ходи по края на стрѣхата: той живѣе въ опасно врѣме, заобиколенъ е отъ примките на една подозрителна политика, запазенъ е само чрѣзъ своитѣ заслуги и е изпълненъ съ прѣголъма вѣра въ своето право дѣло — което само за него е право. Туй прѣголъмо довѣрие, което, както виждаме отподиръ, излиза безосновно, и нещастний исходъ — ето кое ще ни изпълни съ страхъ и състрадание. Трѣбва да признаемъ, че туй впечатление е постигнато.

Егмонтъ въ историята не е великъ характеръ — и въ трагедията той не е такъвъ. Тукъ той е добродушенъ, веселъ и искренъ човѣкъ, приятель на цѣлия свѣтъ, пълненъ съ легкомисленно довѣрие къмъ себе си и къмъ другитѣ, тѣй свободенъ и смѣлъ, като че свѣтътъ е неговъ; храбъръ и неустрашимъ, дѣто трѣбва, при туй и великодушенъ, милъ и нѣженъ въ духа на хубавото рицарство, хубавецъ и малко самохваленъ, чувственъ и влюбенъ — съ една дума едно весело дѣте. И всички тѣзи качества сж слѣни въ една жива, свършено вѣрна индивидуална картина, която нищо, свършено нищо не дължи на украсяващото искусство. Егмонтъ е герой, нѣ свършено фламандски герой, герой отъ XVI столѣтие; той е патриотъ, нѣ такъвъ патриотъ чийто радости не се смущаватъ отъ

всеобщото нещастие; той е любовникъ — нъ туй не му прѣчи да обича ѣденъето и пиенъето. Той е честолюбивъ и се стрѣми къмъ велики цѣли; нъ туй не му прѣчи да кжса всички цвѣтя, които вижда на пѣтя си, не му прѣчи, ноцемъ да тича прп любовницата си — туй не му причинява безсънни нощи. Смѣло рискувалъ той живота си при Сенъ Кентенъ и Гравелингенъ, нъ е готовъ да плаче когато помисли, че трѣбва да се раздѣли отъ този веселъ, сладкъ навикъ да живѣе и да дѣйствува. „Нима живѣя само за това“, тѣй описва той себѣ си, „за да мисля за живота? Нима трѣбва да не се наслаждавамъ отъ настоящия мигъ, за да бжда сигуренъ за утрѣшния? Па и него да отравямъ съ грижи и страхове“ . . .

„За туй ли свѣти днесъ слънцето, за да размислюватъ, какво е било вчера“ и т. н.

Този характеръ има за цѣль да ни трогне съ своитѣ прѣкрасни, чисто човѣшки черти, а не съ своята извънредность. Последнята поетътъ тѣй грижливо е избѣгвалъ, щото му е приписвалъ една човѣшка слабостъ слѣдъ друга, само за да приближи своя герой къмъ насъ; щото най-подиръ го е лишилъ отъ онуй величие и онъзи сериозность, които по нашето мненне му сж неизбѣжно нужди—за да си спечели за тѣхъ най-високъ интересъ къмъ него. Истина е, че тѣзи чововѣшки слабости ни привличатъ съ неоодолима сила, нъ въ характера на единъ *герой* и то пакъ смѣсени въ прѣкрасна хармония съ велики подвизи. Хенрихъ IV французский не е толкова интересенъ за насъ и слѣдъ най-блѣскавата побѣда, колкото въ своитѣ нощии скитания къмъ своята Габриела. Нъ Егмонтъ? Съ каквъ блѣскавъ подвигъ, съ какви велики заслуги си е спечелилъ той правото за подобно участие и отстъпчивость? Казва се, че тѣзи заслуги се прѣдполагатъ като извършени вече, че тѣ живѣятъ въ наметъта на цѣлия народъ и че всичко, което той говори, душа съ желание и способность да ги спечели. Вѣрно; обаче всичкото нещастие се крие именно въ това, че заслугитѣ му знаемъ отъ слухове и сме принудени да вѣрваме, каквото ни се каже за тѣхъ. Всяко ни сочи на Егмонта като на последнята подпорка на народа, а какво велико нѣщо извършва той за да заслужи това довѣрне? (Думитѣ, които казва Егмонтъ на своята Клерхенъ: „Хората печельтъ любовта когато я не търсятъ. *Клара*. Да не правишъ тѣзи горда забѣлѣжка за себе си, ти, когото обича всички народъ? *Егмонтъ*. Да бѣхъ направилъ поне нѣщо за тѣхъ! И можехъ ли да направа? Да ме обичатъ—туй е тѣхна добра воля; тѣзи думи не говорятъ нищо противъ нашия вѣролъ). Не е необходимо да бжде, Егмонтъ нѣкой великъ мжжъ, нъ и заспалъ не бива да бжде, защото

ний искаме отъ всѣки трагически герой едно релативно, относително величие, една извѣстна сериозностъ; защото искаме да не зане, марва великото поради дребното; да не смѣсва врѣмената. Напркой би одобрилъ слѣднето? Орански токо що го е оставилъ; Орански, който съ всичкитѣ мотиви на разума му е посочилъ близката погибель, който, както ни разказва самъ Егмонтъ, го е покрътилъ съ доводитѣ си. „Този човѣкъ, казва той, ме зарази съ страховетѣ си Далечъ отъ менъ! То е чужда капка въ моята кръвъ! Мой добри гению; шхвърли я изъ менъ! А за да пропѣдъжъ отъ челото си тия замислени бръчки и азъ си имамъ още едно весело срѣдство!“

Това весело срѣдство — нека го научи, който още не го знае — не е друго нищо освѣнъ едно посѣщение у любовницата. Какъ! Нима подиръ този сериозенъ разговоръ той не мисли за друго освѣнъ за развлѣчение? Не, драги графъ Егмонте! Бръчки дѣто трѣбва! и весели срѣдства, дѣто имъ е мѣстото. Когато ви затруднява много да мислите за спасението си, тогава заслужавате, да ви хвърлятъ примкитѣ на врата. Ний не сме навикнали да подаряваме състраданияето си.

Ако това намисанье на една любовна история принася истинска врѣда на нашия интересъ къмъ трагедията, то двойно по-голяма е врѣдата отъ това, че съ туй поетътъ е развалилъ историческата истина. Споредъ историята Егмонтъ е жененъ и баща на ¹⁾ (споредъ нѣкомъ 11) дѣца. Тъзи подробностъ поетътъ можеше да има прѣдъ видъ или не; то ще зависи отъ неговитѣ цѣли; нъ той не е трѣбвало да я прѣнебрегва, щомъ внася въ трагедията си постъпки, които сж естествени слѣдствия отъ тѣхъ. Истинскии Егмонтъ съ-сипалъ състоянието си чрѣзъ своя твърдъ богатъ животъ и ималъ нужда отъ испанския кралъ — което му свързва рѣцѣтѣ въ републиката. Нъ най-главното нѣщо, което тъй фатално го е задържало въ Брюксель, даже и тогава, когато всичкитѣ му приятели вече бѣха се спасили съ бѣгъ, е била фамилията му. Неговото избѣгване не само би го лишило отъ богатитѣ приходи отъ двѣ намѣстничества, нъ отъ всичкитѣ му имоти въ областъта на краля, защото тѣ незабавно би били конфискувани. Нъ нито той самъ, нито съ-пругата му — една баварска херцогиня, е била навикнала да търпи лишения; па и дѣцата му не сж били тъй въспитани. Тѣзи причини той самъ при много случаи по единъ трогателенъ начинъ е противопоставилъ на Оранския принцъ, когато той го е убѣждавалъ да бѣга заедно съ него, и тѣзи причини сж го карали да се хваща за най-малкото клонче отъ надѣжда и да мисли, че кралътъ го гледа съ добро око. Колко необходимо, колко хуманно е въ този случай

неговото поведение! Той не е жертва на едно слѣпо глупаво довѣрие, а на прѣкалено-страхлива нѣжност къмъ милитѣ си. Защото е твърдѣ благороденъ и твърдѣ деликатенъ, та не може да иска отъ своята фамилия, която обича повече отъ всичко, тѣзи голѣми жертва за това его погубва себе си. Ами Егмонтъ въ трагедията?

Като го лишава поетѣтъ отъ съпруга и отъ дѣца, той унищожава свѣрзката между неговитѣ дѣйствия. Той е принуденъ сега да припише това фатално оставанье на една легкомисленна самоувѣренность и тѣй да намали свѣршено нашето уважение къмъ ума на героя си, безъ да му възнагради тѣзи загуба съ нѣкое особено качество на сърцето му. Напротивъ, той ни лишава отъ трогателната картина на единъ нѣженъ баща и любящъ съпругъ и ни дава единъ обикновенъ любовникъ, който убива едно мило момиче, което никога не ще може да бѣде негово, нито пъкъ ще може го прѣживѣе, чнето сърце и той самъ не може да спечели, безъ понапрѣдъ да унищожи една любовь, на хоризонта на която свѣти една щастлива звѣзда. Съ една дума казано, поетѣтъ ни дава единъ любовникъ, който съ най добро намѣрение прави нещастни двѣ души, за да махне, замисленитѣ бръчки отъ челото си. И всичко туй поетѣтъ извършва въ ущѣрбъ на историческата истина, която той наистина може да прѣнебрѣгне, нъ за да възвиси прѣдъ нашитѣ очи своя прѣдметъ, а не за да го унизи. Колко скжко ни кара поетѣтъ да зачатимъ за този епизодъ, който въ едно по-голѣмо произведение, между по голѣми дѣйствия, би направилъ най-силно впечатление.

Трагическата сждба на Егмонта проистича отъ неговия политически животъ, отъ отношението му къмъ народа и къмъ правителството. Едно изложение на тогавашното политическо гражданско състояние на Нидерландитѣ трѣбва по тѣзи причина да образува основата на драмата, или по-право да образува една часть отъ драмата. Като помнимъ колко трудно се драматизиратъ държавни дѣла, какво искусство трѣбва, за да се събержтъ въ една нагледна жива картина толкова отдѣлни черти, и за да направи общото на индивидуално и конкретно, както прави Шекспиръ въ своя „Юлий Цезарь“; като помнимъ по-нататкъ особеноститѣ на Нидерландитѣ, които не сж единъ народъ, а сбирщина отъ нѣколко дребни народа, които олицетворяватъ най-голѣмитѣ контрасти — така щото ще бѣде безкрайно по-лесно да ни прѣнесятъ мисленно въ Римъ отъ колкото въ Брюкселъ; като помнимъ най-сетитѣ колко безкрайно много дребни обстоятелства сж влияли за да създадатъ духа на онова врѣме и онова политическо състояние — то неможемъ се начуди на

силата на овзи творчески гений, който е побѣдилъ всички тия мжнотии и ни е очаровалъ и прѣнеслъ и въ този свѣтъ съ сжщото онова искусство, съ което ни прѣнася въ други двѣ свои произведения въ епохата на нѣмското рицарство и въ Еллада. Не само че виждаме тѣзи хора прѣдъ насъ да живѣятъ, нъ като и ний че сме между тѣхъ, като че сме тѣхни стари познати. Отъ една страна веселата общителность, гостопримството, приказливостта, самохвалството на този народъ, републиканский духъ, който пламва при най-малкото нововедение и често все тѣй бърже отстѣпва на най-слабигѣ доводи; отъ друга страна теглата, подъ които сега въздиша: отъ новитѣ епископски шапки дори до французскитѣ псалми, които не му даватъ да пѣе — нищо не е забравено въ тѣзи чудна картина, нищо не прѣдставено безъ най-голяма естественность, истинность. Ний не виждаме тука простага тълпа, която всѣкъждѣ е една и сжща, а познаваме нидерландца, а именно нидерландца отъ това, а не отъ друго нѣкое столѣтие; между тѣхъ различаваме брюкселеца, холандца, фриза, а между послѣдния богатия и просека, дюлгерина и шивача. Таквозъ нѣщо искусственно не се постига; то се дава само на единъ поетъ, който е цѣлъ проникнатъ отъ сюжета си. Тѣзи черти се отдѣлятъ отъ перото му, както се отдѣлятъ и проявяватъ у оногова, койго ги притѣжава, безъ той да го иска и да го съзнава; едно прилагателно, една запетая рисува единъ цѣлъ характеръ. Бушкъ холандецъ, Егмонтъвъ солдатинъ, се отличилъ въ стрѣлянието и, като царъ на тържеството, иска да гости гоститѣ. Нъ туй било противъ обичая.

Бижкъ. Азъ не съмъ тукашенъ и съмъ краль, затова не ща да зная за вашитѣ закони и обичаи.

Еттеръ. Ба, ти си по-лошъ и отъ самия краль: той поне до сега ги търпи.

Руизумъ. Е оставете го, не му се смѣсвайте, то е пакъ обичай на господаря му: винаги да бѣде щедръ и да оставя всѣкого да живѣе по волята си.

И колко е истинно, когато, гражданитѣ се разговарятъ за управителитѣ си.

Руизумъ. Ами пакъ че господарь бѣше! Дѣсницата му се простираше надъ цѣлия свѣтъ и на всждѣ той биваше всичко. Случеше ли му се да ви срѣщне, той ви поздравляваше, както съсѣда си и т. н. Че плакахме нѣкъ синца я, като прѣдаде управленieto на сина си, ний ме разбирате я — Този е нѣкакъв другояче, той е по-величество.

Еттеръ. Както казватъ, той не билъ прмкачливъ.

Соесть. Той не е (господарь) за насъ нидерландцитѣ. Нашитѣ князье трѣбва да сж весели и свободни — като насъ: сами да живѣятъ и другитѣ да оставятъ да живѣятъ.

Колко сполучливо ни рисува той, съ една единичка черта, мизера на ония врѣмена: Егмонтъ мивува изъ пѣтя и гражданитѣ го гледатъ съ удивление.

Дърводѣлецъ. Какъвъ хубавецъ.

Еттеръ. Какъвъ хубавъ вратъ има той за джелатина!

Малкитѣ сиѣни, въ които се разговарятъ брюкселскитѣ граждани, ни се виждатъ резултатъ на едно дълбоко изучаване на оная епоха и онзи народъ, и едва ли би се намѣрилъ въ толкозъ малко думи единъ по хубавъ исторически паметникъ за нея епоха.

Не съ по-малка истинность е изработена и оная часть отъ картината, която ни запознава съ духа на управлението и съ распоряжданията на кралтъ, за угнѣтяванъето на нидерландския народъ. По кротко и по хуманно е тукъ всичко, а особенно е облагороденъ характерътъ на херцогинята. «Азъ знамъ, че и онзи човѣкъ може да бѣде честенъ и разуменъ, който не е намѣрилъ най-близкия и най-добрия пѣтъ за спасението на душата си», — казва тя, когато една въснитанница на Игнатия Лоила едва ли би могла да каже тѣзи думи. Много искусно е умѣлъ поетътъ чрѣзъ извѣстна женственность, която той щастливо слива съ нейния мжжски характеръ, да освѣтли и да стопли студения държавенъ интересъ, който ни прѣдставлява тя и да му придаде извѣстна живость и индивидуалность. Прѣдъ неговия херцогъ Алба ни побиватъ трѣпки, нъ не се отвърщаме съ ужасъ: той е твърдъ, непоколебимъ и недостѣпенъ характеръ, «той е желѣзна кула, кула безъ врата, която иска да бѣде вардена отъ крилата войска». Умната прѣдпазливость, съ която той се распореща за арестованъето на Егмонта, възбужда нашето удивление къмъ него, ако и да не ни вдъхва любовь къмъ него. Начинътъ, по който ни раскрива поетътъ глѣбинитѣ на душата му и напрѣга вниманието ни къмъ исхода на прѣдприятието, ни прави за минута съучастници въ него: ний се интересуваме за него, като за нѣщо, което ни е омилѣло.

Масторски е намислена и изпълнена сцената между Егмонта и Младия Алба въ тъмницата; тя принадлежи само на автора. И може ли да има нѣщо по трогателно отъ това, дѣто свнѣтъ на неговия убиецъ му исказва уваженieto, което отдавна хранѣлъ въ сърдцето си къмъ него. «Твоеото име бѣше, което ми свѣтеше въ зарата на младинитѣ ми, като една небесна звѣзда. Ъолко често съмъ те трѣсилъ и ламтелъ за тебе!» . . . «Надѣвахъ се най-сетнѣ

да те видя, видѣхъ те и сърцето ми се прилѣпи къмъ тебе. Едвамъ сега се надѣвахъ да бѣдн и да живѣя заедно съ тебе, да те стисна въ обятията си, да те . . . всичко туй загина като въ единъ сънъ и азъ те виждамъ тука». И когато Егмонтъ му отговаря: «Ако моя животъ е билъ за тебе огледало, въ което ти си искалъ да гледашъ себе си, то нека ти служи тъй и моята смъртъ. Хората не сж наедно само тогава, когато се намиратъ единъ при други: и далечний и покойний живѣе въ насъ. За менъ си азъ доста живѣхъ, сега ще живея за тебе и т. н. — Другитѣ характери въ трагедията сж обрисувани масторски, ако и съ малко думи. Една единчка сцена ни рисува хитрия, скжния на думи и далекогледъ принцъ Орански, който отъ всичко се плаши и страхува. Алба и Егмонтъ се рисуватъ чрѣзъ устата на близкитѣ тъмъ хора; този похватъ е прѣвъсходенъ. За да пада всичката свѣтлина върху Егмонта, поетътъ го е изолиралъ и за това е испустналъ графа Фонъ Хоорна, ако и той да е ималъ съ Егмонта скжщата скѣба. Съвсѣмъ новъ характеръ е Бракенбургъ, Клариний любовникъ, когото Егмонтъ омѣства. Тъзи картина, образувана отъ съединение на единъ меланхонически темпераментъ съ страстна любовъ, би заслужвала особено разглеждане. Клара, която го оставя зарадъ Егмонта, е испила вече отровата, и излиза, като му дава остатъка. Той стои самичкъ. Колко сж хубави думитѣ, съ които описва ужасното си положение.

«О, тя ме остави на монтѣ мжкн. Тя раздѣли съ мене смъртоноснитѣ капки и ме праща далечъ отъ себе си . . . Привлича ме и пакъ ме тласка назадъ въ живота . . . О, Егмонте, колко е прѣкрасенъ твой жребий! Тя отива напрѣдъ и тебъ те чака цѣлото небе. Да ида ли и азъ слѣдъ тѣхъ? И тамъ отхвърленъ да бѣдн? И завистъята злочеста въ онѣзъ пространства да прѣнеса отъ тукъ? Въ свѣтътъ за мене нийдѣ мѣсто нѣма и небето, адтъ съ еднакви мжкн чакамъ».

Самата Клара е нарисувана неподражаемо прѣкрасно и вѣрно. Въ най-високото благородство на своята невинность тя пакъ си остава едно просто момиче — и то нидерландско момиче, облагородено отъ своята пламенна любовъ, прѣлестно въ своего спокойно състояние, увлѣкателно и чудесно въ своя эффектъ (въ оная неподражаема сцена на улицата въ IV актъ). Нъ кой се съмнява, че авторътъ е неподражаемъ тамъ, дѣто самъ си служи за образецъ!

Колкото по-високо стои природата, истинността (реалността) на тъй трагедия толкова по-чудно става, защо авторътъ самъ доброволно я е нарушилъ. — Егмонтъ расправилъ всичкитѣ си ра-

боти и най-сетѣ, побѣденъ съ умората си, заспива. Чува се музика и задъ леглото му, като че се отваря една стѣна и се явява едно блѣсково видение: свободата, въ образътъ на Клара, се показва въ единъ облакъ. По този начинъ, чрезъ единъ salto mortale изведнжжъ се виждаме прѣнесени изъ най-истинската и най-трогателна ситуация въ единъ фанстатиченъ свѣтъ, за да гледаме — единъ сънъ. Смѣшно ще бѣде да доказваме на автора, колко е насилнъ съ това нашѣтъ чувства; той е знаелъ това тѣй добрѣ и по-доорѣ, отъ колкото ний, нъ той е считалъ мисльта, да се съединятъ съ Егмонтвата душа двѣтъ нему най-мили същества — свободата и Клара — толкова важно, щото да може да извини тѣзи свобода. Нека аресва тѣзи мисль, която иска, а рецензентъ признава, че той охотно би се лишилъ отъ една духовита мисль, само да се наслаждава отъ едно чисто естетическо впечатление.

Прѣвелъ отъ нѣмски Дръ К. Кръстевъ

ЛЮБОВЪ

Щастливъ е овзи, който въвъ свѣтътъ
Знай че за него нѣкой другъ милѣ,
И въ мисльта за него салъ живѣе,
Уединенъ на жизнениятъ пѣтъ.

И знае той че има нѣгдѣ тамъ
Сърдце едно, — сърдце олтарь священний,
И тамо е подпаленъ пламъ нетленний,
И грѣй за него този чистий пламъ.

И вѣрва той въвъ тоя чистий пламъ, —
Бат' възхвѣтъ въ звѣздата пѣтеводна,
Изгрѣяла по волята Господня, —

Че той ще го изкара тъмно тамъ —
На щастъето въ обѣтований край,
Гдѣ любовта възвишена сияй.

Р Ъ Ч Ъ,

назана въ намерата на депутатитѣ на 15 Ноемврий 1877 г.

ОТЪ

Леонъ Гамбетта.

(Прѣводъ отъ французски)

Ако прѣдложеніето, което е на обсъждане въ камерата, посрѣщна рѣшителни доводи въ своя полза, то е несъмнѣнно въ твърдѣ искусствата и твърдѣ лукава рѣчь, която токо що изслушахте. Намстина, опитниятъ политикъ, който слѣзе отъ тая трибуна, хвърли най-жива свѣтлина върху положението и, като го излагаше прѣдъ васъ съ такъвъ изисканъ, малко нѣщо гадателенъ и прѣзрителенъ языкъ, той ви накара да почувствовате всичката отъ-къмъ извѣстна политика упоритостъ на противодѣйствиенъ срѣщу рѣшенията на страната, срѣщу най-изрично проявената и най-енергичната воля на народътъ—да се отърси най-послѣ отъ тие мѣрки, интриги, комбинации и низки коалиции, които отъ седемъ години насамъ, нѣматъ освѣнъ една цѣль: да оспорватъ на Франция управление, което тя иска да си даде. (*Рѣкопльсканія срѣдъ лѣвицата и центрътъ*).

Ако необходимостта за анкетата, искана отъ г. Албертъ Греви и неговитѣ приятели, стана за всинца ни очевидна, то е въ моментътъ, когато ораторътъ, комуто имамъ честь да отговарямъ, исчерпа всички срѣдства на своята дипломатия за да поддигне, по поводъ на изборитѣ прѣзъ мѣсець Октомврий 1877 г., сжщиятъ софизмъ, какъвто той се мжчеше да поддигне подиръ изборитѣ въ 1877 г. А какъвъ бѣше тойзи софизмъ? Че въ Февруарий 1876 г. Франция била се провзнесла за республиката, защото било злоупотрѣбено съ името на маршалъ Макъ—Махона. И днесъ що казватъ? Тѣ казватъ, че Франция е подновила онова утвърждение, че това болшинство е влѣзло тука, само защото страната, сплашена съ война, е обладана отъ чувство на ужасъ. Ето тѣхната система! (*Рѣкопльсканія въ лѣвицата и центрътъ*).

Но сжщо както можаме да схванемъ искуснитѣ ходове на оная политика, която, слѣдъ петнадесетъ мѣсеци парламентска стратегия около властта, накара маршалътъ да извърши 16 ий Май, като сполучи да го убѣди, че вие сте могли да сѣднете на тие столове, като

побѣдоносно бѣлшинство исклучително чрѣзъ злоупотрѣбиванше съ неговото име, чрѣзъ прикриване съ неговото обаяние, чрѣзъ експлуатирание неговата слава посрѣдъ населението, — сѣщо и днесъ, господа, подирь най рѣшителна и най-тържественна избирателна побѣда, каквато е дадена на тая страна да удържи, въпрѣки всички ваши хитросплѣтения и потулени мърки, и, понеже сега не може да се поддържа, че името на маршалътъ е вожало при изборитѣ, вие търсите другъ двусмисленъ прѣдлогъ, други комбинации, друга лъжа и гледате да увѣрите, че страхътъ прѣдъ война е довелъ насъ тука. (*Ржкоплѣскания въ центрѣтъ и лѣвицата*)

И тъй, може би, днесъ вече е врѣме да кажа на цѣль свѣтъ, на меншинството, на бѣлшинството, на страната, на сенатътъ, на самата власть, че тая измислица не е по-сериозна отъ първата, че тая смѣтка не е по-честна отъ първата. . . . (*Викове всрѣдъ десницата. — Ржкоплѣскания въ лѣвицата и центрѣтъ*). . . — и че ако докаратъ вгоръ распуцанне на камерата, върху чийто прѣсгжнический характеръ вчера призовавахъ вашето внимание, то ще има сѣщия характеръ и ще произведе сѣщигѣ слѣдствия за народната съвѣсть. (*Браво въ лѣвицата и центрѣтъ*.)

Но, господа, да се спирамъ ли и да оборвамъ тие измислени лъжи, колкото артистически подготвени и прѣбулени тѣ и да сж? Азъ знаа едно; право да пристѣпямъ къмъ сѣщността на въпросътъ. И тъй, гдѣ е истината? Его я : на 16-ий Май, едно меншинство похити властѣта, испрѣчи се прѣдъ страната и, като настани извѣсна политика, направи отъ държавний глава, който по конституцията е неотговоренъ, не само кандидатъ, но великий избирателъ на страната; хвърли го на избирателната арена, въ голѣмъ ущърбъ за положението и обществената тишина, като още притури къмъ прѣчкитѣ, които вие като безумни дръзко натрупвате прѣдъ стѣжитѣ на отечеството. (*Продължени ржкоплѣскания въ центрѣтъ и лѣвицата*).

Като меншинство, не ви оспорвамъ това право, вие наложихте рѣжа на властѣта; като меншинство, вие се затуляхте задъ страната; като меншинство, което като имаше ницѣжда, че Франция, че всеобщото гласоподавание ще угвъртагъ вишето похищение на властѣта, вие се явихте прѣдъ сенаторската камера, и тамъ искубахте, знаете съ какви мжки, знаете съ помощта на какви измислици, знаете верѣдъ какви страхове тогава и какво погаено раскаяние днесъ. . . . (*Викове отъ десницата. — Много добръ! много добръ! отъ лѣвицата*), вие искубахте единъ вогъ, съ чиего широко ползувание се наслаждавахте цѣли петъ мѣсеца, като

запушвахте устата на вашитѣ противници, . . . (*Отрицания отъ дѣйствицата. — Да! да! то е истинна отъ лѣвицата*), като забранявахте цѣли петъ мѣсеца отъ Дюнкерхенъ до Марсилия, и отъ Байона до онова, що ни остава отъ Вогезскитѣ граници, въ какви размѣнувания на писма, вѣстници, полемика. Вие имавте претенцията едни да говорите на тая страна съ обявления по всички сѣѣни въ Франция, съ омерзителни брошури, съ раздаване продажни вѣстници. И отгдѣ черпихте вие необходимитѣ за такава агитация пари? (*Въсклицания и викове отъ дѣйствицата: къмъ редъ. — Ржкопльскания вървѣтъ лѣвицата*).

Азъ казвамъ, че вие, меншинството, употребихте отчаяни насилия надъ чиновницатѣ, надъ всички зависящи, подчинени на администрацията; казвамъ, че тласнахте духовенството къмъ избирателната урна. . . . (*Протести и отрицания вървѣтъ дѣйствицата. — Много, много добръ! и ржкопльскания помежду лѣвицата*).

Забравихте ли вие, гомнода, пастирскитѣ послания на нашитѣ прѣосвещени епископи, грѣхотнустигелнитѣ грамоти, общественитѣ молебни, на които се свикваше всеобщото опълчение на правовѣрнитѣ, истинский наборъ на духовна войска? Забравихте ли онова рвеніе, коего караше на въѣка французска катедра да се явява не служител на Божието Слово, но служител на министерско слово, като се прѣобрази по тоя начинъ и най-свещенното въ избирателно сръдство, въ полза на прѣдприятието отъ 16-ий Май? (*Одобрителни изявления помежду лѣвицата*). Добавямъ, че като меншинство, имѣюще въ рѣцѣтъ си всички държавни сръдства, способно да располага съ всички общественни, политически и административни сили на страната, като изсипахте връхъ народнитѣ маси,—на бонто прѣди малко гледахте като на неспособни къмъ достоинство, твърдостъ и прогиводѣйствие,—цѣлокупността на всички тие ваши прѣимущества, вие достигнахте до такъвъ резултатъ, съ който Франция истински има право да се гордѣе, като се възхищава чловѣкъ отъ оня прѣвъзходенъ героизмъ, който проявитя въ противодѣйствието си сръщу васъ,—вие сполучихте да имате четридесетъ мѣста чрѣзъ кражба и измама. (*Шумни есклициания и протести отъ дѣйствицата. — Продължителни ржкопльскания отъ лѣвицата*).

Това анкетата ще потвърди. . . . (*Прѣжжванля и нови протести отъ дѣйствицата*).

Поль де Кассаньякъ. — Отгеглете думата — кражба.

Гамбетта. — Нѣмамъ желание да приемамъ заповѣди отъ

васъ. (*Много добръ! много добръ! отъ лъвицата.*)

Полъ де Кассаньякъ. — Вие ще ги приемете отъ събранието.

Маркизъ де Биллиотти. — Ние не сме крадци.

Прѣдсѣдателтъ. — Оставете ораторътъ да се обясни.

Гамбетта. — Да не е Воклюзский депутатъ, който ме прѣкъсва? (*Ръжкоплѣскания отъ лъвицата.*)

Маркизъ де Биллиотти. — Да! прѣкъсва ви единъ Воклюзский прѣдставителъ, който протестира противъ вашитѣ изражения, които сж оскръбленне за избирателитѣ отъ окръгътъ Оранжъ.

Контъ дю Деманъ. — Ние ще докажемъ на чья страна сж кражбата и измамата!

Барсилонъ — Господинъ Гамбетта, прѣкъсвамъ ви, и съмъ длъженъ това да направя въ качеството си на Воклюзский прѣдставителъ: азъ ще ви го докажа, кога стане разискванне за моитѣ изборъ.

Гамбетта. — Господинъ Барсилонъ, анкетата ще го рѣши.

Кунео д'Орнано. — Израженията, съ които си служи ораторътъ, сж нетърпими! Да не мисли той, че се намира въ кафенето Провопъ или въ нѣкое отъ свърталищата, що посѣщаваше по-прѣди?

Гамбетта. — Господинъ Кунео д'Орнано, идете гледайте си псарнята, гдѣто мѣсите вашето республиканско тѣсто! (*Ръжкоплѣскания помежду лъвицата.*)

Мнозина членове отъ дѣсницата. — Къмъ редъ! къмъ редъ! ораторътъ!

Кунео д'Орнано слиза въ полувржгътъ и, отъ подножието на трибуната, обръща къмъ ораторътъ запитвания, които се не чуватъ отъ шумъ.

Отъ лъвицата и центрътъ. — Къмъ редъ! къмъ редъ! прѣкъсвачътъ!

Кунео д'Орнано. — Искамъ думата, господинъ прѣдсѣдателю.

Прѣдсѣдателтъ. — Не мога да прѣкъсвамъ ораторътъ, който е на трибуната, за да дозволя вамъ да се качите; ще ви дамъ думата по-подиръ, ако настоявате да я искате.

Думата има господинъ Гамбетта за да се обясни.

Гамбетта. — Изговорихъ дума, която г. прѣдсѣдателтъ ме кани да оттегля или да разясна: прѣдпочитамъ да я оттегля, понеже е прѣждеврѣменна, но когато анкетата свърши работата си, вие ще имате доказателството на онова, що исказахъ прѣдварително. (*Живи възклицания отъ дѣсницата.*)

Де ла Рошфуко, дюкъ де Бизачиа, де Бодри д'Ассонъ

и други членове. — Нѣма да я бѣде, вашата анкета! (*Шумъ.*)

Полъ де Кассаньякъ — Ораторътъ да оттегли доказателната дума, която изговори!

Баронъ Дюбуаъ. — Най-напрѣдъ да прѣдаде своитѣ смѣтки! Хората даватъ смѣтки, прѣди да иматъ право да третиратъ другитѣ като крадци. (*Ржкопльсканія отъ дѣсницата.*)

Гамбетта. — Азъ дадохъ моитѣ смѣтки, господине! . . .

Отъ дѣсницата. — Не! не!

Отъ лѣвицата. — Да! Да!

Гамбетта. — Азъ ги прѣдставихъ . . .

Отъ лѣвицата. — Не си правете трудъ да имъ отговаряте.

Гамбетта. Азъ ги прѣдставихъ тѣй добрѣ, щото поканвамъ вашитѣ министри и вашитѣ покровители да поддигнатъ срѣщу мене съдебно прѣслѣдване за даване смѣтки. (*Ржкопльсканія отъ лѣвицата.*)

Полъ де Кассаньякъ. — Господинъ прѣдсѣдателю, оттегли ли господинъ Гамбетта думата, която произнесе?

Прѣдсѣдателитъ. — Думата бѣше оттеглена ясно и просто.

Гамбетта. — Да, азъ я оттеглихъ ясно и просто.

Барсильонъ. — То не е достаточо.

Прѣдсѣдателитъ. — Господа, приканвамъ ви къмъ мълчание.

Гамбетта. — Азъ казахъ, господа, че меншинството, което похити властта на 16-ий май, упражни и злоупотреби съ всички срѣдства, що располага централната властъ въ тая страна, за да накара Франция да изобличи себе си; но това изобличение не стана, а наопаки, Франция, като утвърди още веднаждъ своята енергическа воля да брани и развива республиканскитѣ учреждения, поиска да добави нѣщо по-вече, — ясно и опрѣдѣлено осъждане личната политика, ясно и опрѣдѣлено осъждане постоянството и упоритостта на хората, които не сж республиканци, а противници на республиканскитѣ интереси и партия, да стоятъ вѣчно на властъ, да омитатъ държавниитѣ глава, да го заблуждаватъ, като му споменуватъ непрѣстанно за нѣкакви миними задължения, чѣто съществуване, текстъ и особенно законность никога не ви сж откривани . . . (*Ржкопльсканія помежду лѣвицата*) да експлоатиратъ, противъ волята на народътъ, не зная какъвъ сж призракъ на общественна гибель, на радикални учения, на социалистически учения, химерически хипотези, за които расправни и подробности не се намиратъ освѣнъ въ подкупенитѣ вѣстници и подъ перото на писачитѣ на министрѣтъ на Вжтрѣшнитѣ дѣла. (*Нови ржкопльсканія срѣдъ лѣвицата.*)

Не е ли истина това, господа? Не видяхме ли да разпръсватъ по всички наши общини, да лѣпятъ по стѣнитѣ . . .

Отъ дѣсницата. — А, ето пакъ!

Гамбетта. — Какъ да нарека оня отвратителекъ памфлетъ, какъ да опрѣдѣля оня гнусенъ памфлетъ? (*Живи рѣкопѣлѣския срѣдъ лѣвицата.* — *Протести отъ дѣсницата.*) Да, гнусенъ! . . . който прикриватъ и защишаватъ въ сѣдалищата, и който отминуватъ съ мълчание тука, защото не може да се избѣгне избухванне гнѣвътъ на цѣлата камера, защото, господа, всички вие щѣхте да се присѣдвите къмъ тойзи гнѣвъ, въ прѣдвидъ че тукъ работата иде да се зикрили независимостта и достоѣнието на членоветѣ на тая камера, каквито тѣ и да сж?

Ахъ, прѣкрасно бѣше да слуша человекъ, токо прѣди малко, какъ дюкъ де Броли се плачеше, съ гласъ заглушаванъ отъ сълзи, че му били докѣчили честѣта, че въ прѣпирнитѣ се нападало не само като на политическии мѣжъ, но и като на частенъ человекъ, че за него и за други високи държавни лица били прѣскани какви-не несправедливи, диффаматорски и клѣветнически обвинения!

Той напълно има право, но грижата за неговото собствено достоинство, въ изборната борба, не трѣбваше да го оставя да изпуща изъ прѣдвидъ, че правителство, което почита себе си, трѣбва прѣди всичко да захване да почита свoitѣ противници . . . (*Одобрене срѣдъ лѣвицата и лѣвийтъ центръ*), че правителство, което се грижи да е консервативно правителство — и ние сме като васъ консерватори . . . (*Живи рѣкопѣлѣския на сжизитѣ мѣста*) — никога не трѣбва да се унижава до тамъ, щото да прави отъ чиновницитѣ, отъ правителствениитѣ печатѣ, отъ народната печатница орджия за общественна диффамация и клѣвета.

Въ лѣвийтъ центръ и лѣвицата. — Много добръ! много добръ!

Гамбетта. — Ето що трѣбваше то да мисли.

Госпора, не искамъ да говоря за себе си: знаа, че всѣко азъ е прѣзрѣнно; но прѣдъ анкетната комиссия задържамъ правото си да извадя наявѣ оня купъ безсѣвѣстни памфлеги, които разпръснаха на моя смѣтка изъ всички избирателни околии въ Франция. (*Одобрене отъ лѣвицата и лѣвийтъ центръ*).

Вие ще видите, че всички тие писання сж одобрени, напечатани, огербовани отъ властѣта; ще видите, че едни ме прѣдставяватъ, въ источнитѣ окрѣзи, като прусекий агентъ и пасивенъ и бездѣйственъ слуга на чуждеземното властолюбие; други пакъ, въ западнитѣ окрѣзи, ме прѣдставяватъ, като человекъ на война

до крайностъ и отъ лагерътъ на Конли . . . (*Шумъ въртѣхъ дѣсни-
цата.*)

Нѣколко гласове отъ дѣсницата. — То е истина!

Гамбетта. — А! господа, вие отивате до тамъ, щото, кога излагамъ противорѣчието, което се съгледва въ тие гнусотии, не искате да ме слушате, а се пушате въ знакове на съгласие, които можеха да ви обезчестатъ, да бѣха тѣ искрени! (*Ржкоплѣскания отъ лѣвицата и лѣвийтъ центръ.* — *Неодобрителни викове между дѣсницата.*)

Поль де Кассаньякъ. — Какъ! да бѣха тѣ некрени? Господниъ прѣдседателю, ние не можемъ да търпимъ подобенъ языкъ

Прѣдседателтъ. — Та вие не знаете нищо да търпите отъ другитѣ, господине?

Поль де Кассаньякъ. — То е нетърпимо! Укротете го, господинъ прѣдседателю, или ще му отвърнемъ съ сѣщото.

Гамбетта. — А мислите ли вие, че е искрена и честна оная политика, която допуца лѣпението по всички стѣни до най-последнята община въ Франция обявления, които ме прѣдставляватъ, менъ, като противникъ на маршала Макъ-Махона, която подраздѣля листата на двѣ—официални кандидати и республикански кандидати, единтъ прѣддани на маршалътъ, другитѣ на Гамбетта. То сж постъпки дѣтински и възмутителни, дѣтински, защото показватъ какво бѣдно прѣдставление си правите вие за единъ високопоставенъ человекъ и за единъ политически дѣецъ, възмутителни, защото даватъ печалната мѣра на онова, на което сами сте способни. (*Живи ржкоплѣскания въ лѣвийтъ центръ и лѣвицата.*)

О, господа, далечъ отъ мене мисльта да се въсполозвамъ нѣкога отъ она видъ прѣсилено възвеличение, което създадохъ върлитѣ ми противници отъ моята собствена личностъ! Не, не, за такъвъ плебесцитъ не може и да се мисли. Азъ нѣма да поискамъ нито неговийтъ почитъ, нито неговийтъ позоръ. Республиканецъ прѣди всичко, азъ служа на моята партия не за да я подчиня или компрометирамъ, но, споредъ сили, трудъ и умъ, да спомогна да зематъ връхъ нейнитѣ идеи, домогвания и права! (*Членоветѣ отъ цѣлата лѣвица и отъ лѣвийтъ центръ въ камерата ставатъ на крака и посрѣщатъ послѣднитѣ думи съ продължителни ржкоплѣскания.*)

Между другаритѣ, които изгубихме, които оставихме на бойното поле, гдѣто вие опитахте най-вѣроломнитѣ си оржжия, има като г. Викторъ Лефранъ, като г. Боссиръ,—можехъ да приведа и други имена — има такива, противъ които се води ежесточенна

борба за да се докаже, че били въ пълна и безусловна солидарност съ мене.

Нашата партия, безъ всѣко съмнѣние, е голѣма, грамадна; тя нѣма претенция да е безъ отсѣнки, раздѣления, различия, понеже членовеѣ не сж подчинени на еднообразенъ натискъ: всѣкий има свой собственъ начинъ да служи на отечеството и да тълкува республиканската програма. Важното е, че въ денѣтъ на опасностъ и въ денѣтъ на общо дѣйствиe всички ставатъ на кракъ, като запазва всѣкий своята индивидуалностъ, своята физиономия, своята свобода на испитъ и поведение. (*Продълженни рѣкопльсканиа помежду лѣвицата и лѣвийтъ центръ.*)

Казватъ, че помежду ни не може да има единство, защото сме прѣдставлявали нѣколко республики, защото сме били республиканци отъ различни происхождения.

Ахъ! господа, азъ мислѣхъ, че вие сте се оставили отъ тие софизми, отъ тие изтъркани парадокси, които прѣнасяте отъ трибуна на трибуна отъ 1871 насамъ, безъ да сполучите да измамите Франция. Мислѣхъ да разбирате, че республиканската партия може да храни разни домогвания, но че, и въ крайната лѣвица, както и въ центрътъ, всички знаятъ, че трѣбва да се прѣкланяме прѣдъ народната воля, прѣдъ законѣтъ на болшинството . . . (*Рѣкопльсканиа въ лѣвицата и лѣвийтъ центръ*) знаятъ, че трѣбва да се ограничаваме да не искаме, освѣнъ на прѣдѣлъ и прѣобразования, които да отговарятъ на състоянието на нашитѣ нрави, на състоянието на расположенията на общественныйтъ духъ. Ако сме ние свързани неразривно, несъкрушимо, ако днесъ вие не съглеждате отсѣнкитѣ, що ни раздѣлятъ, то се дължи, че властѣта се намира въ рѣцѣтъ на неприятельтъ и че не можемъ да се распожъваме прѣдъ очитѣ на хора, които насилнически се сж испрѣчили срѣщу волята на Франция. (*Рѣкопльсканиа въ центрътъ и лѣвицата.*) Но успокоете се. Вие никога нѣма да видите въ республиканската партия оние буйни расцѣпания, които нѣкога послужиха за нейна гибель; не, може би, помежду ни да се заблѣжи, да се появи нѣкоя разлика при рѣшаванието на въпроси малко-много близки, малко-много своеврѣменни, но всѣкога ще знаемъ . . . (*Шумъ въ дѣсницата*) — нема между васъ нѣма никакви расцѣпания, господа? (*Одобрителенъ смѣхъ въ лѣвицата*) — но всѣкога ще знаемъ да направимъ, което се прави въ свободнитѣ земи, — ще знаемъ да отдѣлимъ сжщността, която става държавенъ законъ и прощича отъ съгласието на болшинството. Болшинството прави законъ. Вие вчера казвахте, че имамо нѣщо по високо отъ законѣтъ, че то било народ-

ната съвѣсть; добръ, господа министри, азъ ви подканямъ да зачитате и единътъ, и другата. (*Браво и рѣкопльсканиа въ центрътъ и лѣвицата.*) Господа, до кѣдѣ стигнахме? До Франция се допитаха, при условия, върху които не искамъ да се повръщамъ, и които ще осѣди анкетата заедно съ послѣдствията и случайността, що могатъ да произлѣзатъ отъ това, и къмъ които вие, струва се, тъй весело се притѣкмявате. Азъ казвамъ, че Франция се произнесе, и че днесъ меншинството, което биде побѣдено, се обнася като че ли болшинството е то.

Отъ лѣвицата. — Така, така! Много добръ!

Гамбетта. — Казвамъ, че е безполезно да развиваме тука метафизика, оная софистическа метафизика, по която вие сравнявате французската република съ американската, като си служите едно по едно съ доказателства, земени то отъ управлението на конституционна монархия, то отъ федеративна република, противъ що? — противъ конституцията, и, както се изразихте въ минута на искренностъ, — която никога не възлѣгва, — противъ вашитѣ истински противници, республканцитѣ, — то ви исплъзна отъ языкътъ. (*Рѣкопльсканиа отъ лѣвицата.*)

И тъй, господа, да прѣсечемъ съ една дума тая мъчнотия.

Всеобщото гласоподаване е всичко въ тая сграна; то е господарьтъ. Когато се допитатъ до него, цѣль свѣтъ трѣбва да се прѣклони, понеже, убѣденъ съмъ, не съществуваатъ двѣ народни върховенства, та да може да се апелира отъ едното къмъ другото; нѣма двѣ всеобщи гласоподавания, за да може да се апелира отъ едното къмъ другото; нѣма два закона, и, за да ви хересамъ, ще повтора силното изрѣчение на Боскетта: «Нѣма право срѣщу право.» И тъй, вие не сте освѣнѣ слуги, възстанали противъ правото. (*Рѣкопльсканиа въ лѣвицата.*)

Но, господа, говорятъ ни двусмислици: токо сега съ языкъ, заемствуванъ отъ най-началната чллителница, ни расправяха върху теорията на двѣ срѣщу едно. То не заслужва честъ на обществено обсъждане. Двѣ срѣщу едно, то нѣма никакъвъ смисълъ. Властьта, въ Франция, е установена конституционно, то е истина. Има двѣ камери, и азъ спомогнахъ тѣ да се въведатъ, и ще дѣйствамъ противъ васъ, които компрометирате тѣхното бждуще и начало, за да ви накарамъ да ги почитате. (*Браво и продължителни рѣкопльсканиа въ центрътъ и лѣвицата.*) Има двѣ камери, то е парламентътъ; има изпълнителна власть, която, ако погледнете по-отблизу, собственно дори не е власть, макаръ и да има привилегии и прерогативи, които не оспорвамъ, които почитамъ и за

конто васъ обвинявамъ, че ги изопачавате и затривате. (*Ржкоплѣскания въ центрѣтъ и лѣвицата.*)

Всички тие власти се движатъ въ конституцията, тѣ се движатъ тѣй сѣщо въ оная атмосфера, която обгръща всичко : то е всеобщото гласоподавание. (*Много обобрѣ! много добрѣ!*) Тѣ собственно не сж власти, раздѣлни, които да сж изникнали въ една нощъ, които да иматъ нѣкаква автономия, нѣкакво лично битие, отлично отъ народѣтъ.

Не! не! Искате ли тѣхното истинско име? Тѣ не сж власти, тѣ сж органи на всеобщото гласоподавание. (*Шумни ржкоплѣскания въ центрѣтъ и лѣвицата.*)

Защо сж създадени тѣзи власти? Да служатъ или да прѣчатъ на народѣтъ? Защо сж тѣ настанени? Дали да се покоряватъ на народѣтъ или да му противодѣйствуватъ?

За да гарантиратъ редѣтъ и да обезпечатъ общественната тишина ли бѣха тѣ установени, или да докарватъ распри, а може би и междуусобна война? (*Браво и ржкоплѣскания.*)

Да отговоратъ и да ни избаватъ отъ тие мѣдрования и тънкости. А! вие бѣхте тѣй сѣщо прави, като изговорихте друга една дума, — която исто ви исплъзна, — когато казахте, че съществуващиятъ помежду насъ раздѣления проистичатъ може би отъ твърдѣ различныйтъ начинъ да проумѣваме французското общество. Въ него мигъ азъ ви прѣкъснахъ за да ви кажа: „Да! истина! раздѣлението дѣйствително е тамъ.“ То се дължи, че вие сте останали, въпрѣки прѣобразованята, които ставаха около васъ, въпрѣки оная вълна, що се поддигна отъ демократията, която вамъ надлѣжеше да управяте, освѣтлявате и уплжтвате, въпрѣки напредѣкътъ на общественитѣ нрави, въпрѣки народнитѣ интереси, въпрѣки печално низкото положение, въ което се намира Франция отъ нейнитѣ бѣдствия насамъ, — раздѣлението се дължи, че, въпрѣки всичко това, вие сте останали врагъ на демократията, аристократъ. (*Шумни ржкоплѣскания и продължителни браво въ лѣвицата и центрѣтъ.*)

Господа, не че искамъ да кажа дума, влоняща да пробуди спомени, които смѣтамъ за пагубни. Не, азъ не съмъ чловѣкъ, който желае да прави разлика мажду классовѣтъ; никога не бихъ подбуждалъ къмъ политика на классове, къмъ политика на расцѣпления и раздори, между моитѣ съграждане (*Много добрѣ! много добрѣ! въ центрѣтъ и лѣвицата*), но азъ съмъ чловѣкъ на врѣмето, а вие вече не сте чловѣкъ на врѣмето; но сте на пжтъ да изгубите прѣданието, което правеше честь и слава на вашиятъ домъ, —

знаянието да отговорят на въпроса, като останаха винаги твърди и горди. (*Ръкоплетскания въ центрътъ и лъвицата*).

Вие си доставихте легкото удоволствие, като донесохте тука, съ вашата изящност на голъемецъ (*Шумъ въ дъсницата*), епиграми, готвени дълго, дълго време, но има едно нѣщо, което не ни казахте, нѣщо, което прѣдпазливо прѣмълчахте, като вашиятъ прѣдшественикъ Конраръ отъ Французската Академия. (*О! О! отъ дъсницата*). Вие нищо не казахте за да обясните, какъ стана това, че дюкъ де Броли, прѣдсѣдатель на министерскитъ съвѣтъ, пазител на държавниятъ печатъ и министръ на правосъдието, като пристѣпни въ време на Ресубликата къмъ избори за да има мнѣнието на страната, прѣдстави отъ себе си изпълнител на волята на бонапартистката партия (*Одобрителемъ смѣхъ въ центрътъ и лъвицата*. — *Въсклицания въ дъсницата*), като зае отъ тая партия нейнитъ най-омразни сръдства, като се помъчи да си създаде име между най-искуснитъ скопосници на избори въ Источната Римска Империя. (*Пакъ смѣхъ на одобрение*).

Дюкъ де Броли, който до 1870 г. никога не прѣставше да напада, да осжда—да можеше да се диффамира той би я диффамиралъ — официалната кандидатура, дюкъ де Броли, въ единъ день, въ единъ часъ, изгори всички свои стари богове; той доброволно забрави, какви прѣлестни, тънки, разумни, почти пророчески страници е написалъ; захвърли той всичко това ц-врага за да служи на бонапартистката коалация. (*Ръкоплетскания и одобрителемъ смѣхъ въ центрътъ и лъвицата*). Слушайте, що пишеше тойзи язвителенъ полемикъ, почти въ навечерието на нашитъ бѣдствия, върху официалната кандидатура. Тука имамъ на-рѣка голѣмъ сборникъ, който доста мъчно може да се набави сега; по-късно, вѣроятно, ще искаратъ отъ него нѣкое ново издание *ad usum imperatoris*, ако вамъ ще дължи той своето възвръщане... (*Смѣхове и ръкоплетскания въ лъвицата и центрътъ*.)

И така! ето що пишеше де Броли въ единъ членъ, който отпозирѣ се разви въ брошура и се появи въ Correspondant отъ 1868 година. Можехъ да приведа многобройни откъсметци, както що ми дадоха примѣръ, но азъ ще цитирамъ само единъ, и мисля че г. прѣдсѣдательтъ на министерскитъ съвѣтъ нѣма да го намѣри противенъ, нито на своята законна писателска слава, нито пакъ на вѣжливостта, която той толкова желае да види че царува въ нашитъ прѣния; ето що казваше той:

„Миналото ни отговаря за бъдущето, и ние отнаирѣдъ знаемъ, че съ пълномощници, пробрани отъ официалната листа, всичко ще

потече като по вода. Отъ сега виждаме войната обявена на Пруссия.“

То бѣ погледъ на политическия мъжъ, погледъ на обезпокоенъ и прѣдвидливъ патриотъ.

„Ние виждаме отъ сега войната, обявена на Пруссия, послѣ на Германия, може би, на цѣла Европа, съ пасивното съгласие на едно скимгаще болшинство, което полегичка ще си шушне за своитѣ болки изъ коридоритѣ на камерата. (*Движения*)“.

„Но ако Франция,“ — то бѣ въ надвечерието на изборитѣ отъ 1869 г. и да бѣха тие съвѣти послѣдвани, може би, не щѣхме ние да бждемъ на утренята прѣдъ развалинитѣ на 1870 г. — „но ако Франция, научена отъ опитъ или пробудена отъ спасигеленъ сграхъ си вгълпи най-сѣгнѣ въ главата, че нейю право е да обявява миръ или война, както тя ги разбира, понежъ единътъ и другата ставатъ на нейна смѣтка, истински да гласува данѣкътъ, понеже тя го плаща, и заемътъ, понеже нейната пестеливостъ го покрива и нейнийтъ кредитъ го усъгорява, тогава тя нѣма освѣнъ едно сръдство, и то е много просто, — тихичката да упражни тие главни правдини на единъ народъ, достоенъ за това име“.

Ще се повърнемъ къмъ него при разглежданието на бюджетътъ, ако само вие бждете тука. (*Усмивки*).

«Тя нѣма да прави революция, нито пакъ да влася сѣнка отъ прѣмѣна въ сжществующитѣ учреждения. Достатчно е да се избератъ прѣдставители, на които никакво обязательство не бърка да противооставягъ на рѣчь, паднала отъ прѣстолътъ, едно не почтително, но твърдо. Стига вече пълномощия по довѣрие, придружавани съ гласувания отъ любезность! Настанагъ е часъ да се иска и да се знае. Некъ тойзи пжтъ се окопоти тя у врѣме, да не прѣдава на свързани или немощни ржцѣ паритѣ си, до като тѣ още не сж исхарчени, кръвта си, до като тя още не е пролѣна.“ (*Браво и ржкоплѣскания въ центрѣтъ и лѣвицата*).

Господа, колкого неприятни може и да сж за дюкъ де Броли ржкоплѣсканията на неговитѣ противници, вие ги дължите нему; и да бѣше ми дозволено да израза съжалѣние, азъ щѣхъ да кажа, че дълбоко съжалѣвамъ, че тойзи языкъ, тѣй справедливъ, тѣй твърдъ, тѣй патриотическия, тѣй достоенъ за законно честолюбие на единъ държавенъ мъжъ, днесъ не се държи отъ оня сжщия, който го е държалъ прѣзъ 1868 г. Не зная, какво ще послѣдва отъ вашето безразсждно прогивение, отъ вашитѣ комбинации, отъ вашата отчаянна борба противъ народната воля, но зная, че доще день, когато ще съжалѣвате заради себе си и заради дѣцата си, че

сте отринали възвишенитѣ чувства, тъй достойни за онова свѣтло име, което носите. (*Обобрение въ центрътъ и лъвицата.*)

Що до утвърдението, което г. прѣдсѣдателътъ на министерскій свѣтъ изрече отъ тая трубуна, именно че на всички чиновници била прѣдоставена непожтната пълна свобода, че били се задоволявали съ законни сръдства за да обуздаятъ разнасянието и разгласяванието на лъжливи новини, то е въпросъ, който азъ се отказвамъ да разисквамъ, искамъ да река само една дума. Искамъ да ви запозная, какъ се е писало на нѣкои чиновници, какви инструкции имъ се е давало и какви ужасни . . . не смѣя да си послужи съ истинскитѣ думи, тѣ биха накарала да ме приканятъ къмъ редъ (*усмивка въ лъвицата*) . . . Какви прѣстѣпни обвинения се сж прѣскали противъ расуственото болшинство.

Ето що чета въ двѣ, истина конфиденциални, окръжни, но които оригинали ще мога да прѣдамъ на анкетната коммиссия, и които, очевидно, не сж единствени отъ тойзи родъ. Господа, каквото и да стане съ прѣдложението на г. Браньона, че чиновницитѣ нѣма и не трѣбва да се подчиняватъ на анкетата, каквото и да стане съ онова на дюкъ де Броли за да расколебае нашата компетентность и търпѣние, ние ще постигнемъ цѣльта, ще откриемъ истината, ще намѣримъ присѣтствието на вашитѣ дѣяния и усилия като на притѣснително меншинство противъ болшинството на страната; въ очакване на това, ето единъ отъ прѣстнатитѣ лучи на онова грамадно слѣнце, което ще запалимъ надъ вашитѣ глави. (*Движкия въ разнороденъ смислъ.*)

„Жандармерия, 14 легионъ, Иль-и-Вилень. — Конфиденциално.

„Господа, въ моментътъ на изборитѣ, необходимо е, щото вашитѣ подчинени да бждатъ посветени отъ васъ въ течението на политическото положение, и то споредъ долу-даденото изложение, което, струва ми се, макаръ и вкратцѣ го очертава, напълно.

„Въ изборитѣ ще има да се рѣши между 363 тѣ съ Гамбетта за главатаръ, и консерваторитѣ съ маршалъ Макъ Махона на чело Каквато и да бжде достопочтенността на когото и да е отъ 363. тѣ, той прѣдставява дѣлото на крайнийтъ либерализмъ . . . (*Движение въ лъвицата*), на республика съ всички нейни послѣдствия“ . . . — и ето тие послѣдствия — „ . . . унищожението на войската и на всѣка укротителна сила“. (*Взклицания въ лъвицата и центрътъ.*)

Господа, ето що се распространява въ редоветѣ на най-достойното тѣло, най-необходимото, най-полезното, най-добрѣ пробранното, и което би трѣбвало да се държи вънъ отъ всѣкакви наши поли-

тически распри. Казватъ на тие честни хора и ги натоварватъ да распрьсватъ друга една истина, че 363-тѣ и републиканската партия сж привърженици на отмиѣнието на войската и на всѣка укротителна сила. Лесно щеше да ми е да изложа противното, господа, но трѣбва ли да доказвамъ очевидността . . .

Отъ лѣвицата. — Нѣма нужда.

Гамбетта. — Щеше да ми е лесно да кажа, въ присѣствие на г. Военныйтъ министеръ, който е тамъ, въ присѣствие на оня, който му прѣдшествува и на оние, които що дойдатъ отъ-послѣ и нѣма да намѣратъ разлика въ нашето поведение, щеше да ми е лесно да докажа, да бѣше то необходимо, до каква степенъ сж виновни и прѣстѣпни такива гнусни внушения . . . Казвамъ прѣстѣпни, господа, защото тѣ ни прѣдставляватъ като врагове на всичко, що е останало отъ народното ни битие; казвамъ прѣстѣпни, защото се домогватъ, съ писания на подобни инструкции къмъ низшиятѣ чинове, да лишатъ републиканското болшинство отъ енергическо съдѣйствие, отъ спечелени вече симпатии. (*Браво между лѣвицата и центрътъ.*)

Господа, подъ това вѣроломство, което распространяватъ за да убиятъ довѣрието на войницитѣ отъ всички чинове, каква мисль се крие? То е страшна мисль, възмутителна въ вся връмена, още по-възмутителна въ наши дни, когато опитванието да се извърши насилие противъ законътъ и болшинството щеше да послужи като прѣдисловие за исчезването на Франция (*Ржкоплѣскания въ центрътъ и лѣвицата*) . . . азъ казвамъ, че тамъ сжщински се заблѣзва, не както вие наричате политическия раздоръ, не расцѣпление между противници, но въ сжщностъ се съглежда мисльта на съзаклѣтници, мисльта на неприятели, засрамени отъ вътрѣшнийтъ миръ и бждуцето на отечеството. (*Ржкоплѣскания въ центрътъ и лѣвицата.*)

Имамъ и друго окрѣжно, което е още по отвратително.

Не е ли нужно, щото, безъ ни най-малко да се нащърбава никоя власть, да стане една обширна анкета; щото прѣдставителитѣ на всеобщото гласоподавание да извадятъ на-явѣ и на чисто всички постѣпки, всички хитросплѣтения, клѣвети, злоупотрѣбления, произволи, които сж били дозволени въ тая борба; щото да изнесатъ прѣдъ правосѣдието—и чрѣзъ това тѣ нѣма да посѣгнатъ върху сѣдебната власть—дѣянията, които намѣратъ за добръ; и щото, като се въодушевяватъ отъ оплакванията на страната и отъ слѣдствията, които сами ще произведатъ, да дадатъ на народната съвѣсть, чиито строги пазители сме ние, онова удовлетворение, — че

за похищение властта, за злоупотрѣбвания съ нея и за потъпкване подъ крака всѣка истина и всѣка справедливост. вие не стоите вънъ отъ прѣдвиденитѣ споредъ законитѣ наказания? (*Продължителни рѣкоплетскания въ центрътъ и лѣвицата*).

Съ тая прѣстѣпна мисль, както ви говорихъ, тѣ казвали на низшитѣ чиновне, че республиканскитѣ кандидати щѣли били да унищожатъ заплатитѣ на жандармерията, че ще да е измѣна, ако тѣ не погрѣчатъ да се прокаратъ республиканскитѣ кандидати. Но азъ пътьомъ се докосвамъ до тие безобразия; гнусъ ме е да се спирамъ по-дълго врѣме върху тойзи прѣдмѣтъ.

Генералъ Бертъ, министръ на войната. — Искамъ думата. (*Движеніе.*)

Гамбетта. — Господа, ние искаме, щото всички насилія на властта, които вие сте извършили или изпълнението на които сте прѣпорѣчили на вашитѣ подчиненни, да бѣдатъ разгледани; искаме това, понеже е необходимо, щото въ тая земя всеобщото господавание, което крамолитѣ меншинства като че ли сж наклонни да изопачаватъ и насилватъ, да нѣма недостатъкъ отъ защитници; искаме го, понеже е необходимо, щото болшинството истински да е болшинство, щото то да прѣмахва незаконнитѣ противодѣйствия,—беззаконнитѣ противодѣйствия, които му противопоставя едно своекористно меншинство.

Що до мене, вѣрвамъ, че, съ назначаванieto на тая анкета, вие неможѣте върху законодателната власть, която изисква съдѣйств ето на двѣтѣ камери, защото не измѣнявате, нито пакъ нащърбявате нѣкакъвъ законъ: вие не посѣгате и върху сѣдебната власть, защото не вие ще произнасяте наказания, нито пакъ ще правите сѣдебнитѣ слѣдствия: вие ще се отнесете съ вашитѣ справедливи жалби къмъ общитѣ сѣдебни учреждения. (*Живо одобрение отъ лѣвицата.*)

Вие не по-вече ще посѣгнете и върху юрисдикцията на сенатътъ. Сенатътъ има свои права и обязанности; тѣ сж доста високи, щото той да се ограничи въ тѣхъ. Но камерата на депутатитѣ, облѣчена съ прерогативата—върховна сама по себе—да образува звероето собствено политическо тѣло вънъ отъ всѣкаква друга юрисдикция, не е ли единствениитѣ съдия, що трѣбва да се прави, било са провѣрка на избори, било за издирване на прѣстѣпления, било за политически правонарушения, които сж станали прѣзъ избирателната борба? (*Много добръ отъ лѣвицата и центрътъ.*)

Нека се ограничимъ исклучително въ нашитѣ най-опрѣдѣлени права и обязанности: оние, които биха ни ги оспорвали въ

полза на изпълнителната власт, щѣха да извършатъ актъ на депотизмъ, а оние пакъ, които биха ги заспорвали въ полза на горнята камера, щѣха да извършатъ актъ на смѣшение. Тѣ биха произвели онова смѣшение на власти, въ което ни укоряватъ тѣй често, насъ, които не желаемъ да бждемъ освѣнъ частъ отъ властѣта, но частъ, законно облѣчена съ право да защитава правдинитѣ, що ѝ принадлежатъ въ държавата. Когато ни прѣдставяватъ, че сме напътъ къмъ смѣшение на власти, азъ казвамъ, че искатъ да измамятъ плахитѣ и невѣжественни умове съ буйни думи, въ ущърбъ ясността на началата

Господа, мислете добръ, то нѣма да бжде само игра съ думи, ако се приеме теорията на господа министритѣ, теория, която се състои въ създаване отъ сенатътъ единъ видъ властъ, по-висока отъ самото всеобщо гласоподаване, която да има право да се бърка въ дѣйствиата, които се касаятъ до вашето собствено битие, които се отнасятъ до защитата нравственостѣта и достоинството на изборитѣ, които се отнасятъ до началата, за министерската отговорностъ.

Ако сенатътъ, който съмъ далечъ отъ да обвинявамъ въ това излишество на честолюбие, който, може би, тие дни пръвъ ще се яви заинтересуванъ да прѣпрѣчи пѣтътъ на вашитѣ прѣдначивания ; ако сенатътъ си присвои подобно право да провѣрѣва изборитѣ на всеобщото гласоподаване, да кѣса пълномощията на камерата на депутатитѣ, слѣдъ като спорътъ биде прѣдоставенъ на страната и рѣшенъ отъ нея, тогава сенатътъ нѣма вече да е горня камера : той ще е конвентъ ; оня конвентъ, за който вие толкова говорите, и макаръ и да бжде бѣлъ конвентъ, той нѣма да е ни по-малко грозенъ, ни по-малко прѣстѣпенъ. (*Продължителни ржкоплѣскания въ лѣвицата.*) Но, господа, азъ имамъ вѣра. Припомвамъ си добръ при какви обстоятелства тойзи сенатъ се създаде. Зная при какви опасности, подиръ каква жестока смъртоносна игра, болшинството се измѣсти отъ тамъ въ полза на нашитѣ естествени противници. Зная всички тие нѣща. Има и друго едно, което тѣй сѣщо зная, че сенатътъ, както и самата конституция, vznikна отъ избликъ на патриотизмъ. Познавамъ хората, които създадоха тая конституция, къмъ която вие се присѣдинихте едвамъ въ послѣднийтъ часъ за да я експлоатирате и насочите противъ Франция ; тѣзи заклѣвамъ азъ за послѣденъ пѣтъ, и като консерватори, и като парламентарни дѣйци, и като либерали, и като патриоти, да зематъ въ ржка грижата за чѣхното собствено дѣло и грижата за дѣлото на свободата. Заклѣвамъ ги, има още врѣме, правдиво да се отнесатъ къмъ тая политвка, която токо що изрече, че си е дала оставката, и

която отново я зе назадъ. Махнете прѣструвнитѣ! Истината е, че вие сте се скопчили съ властта. истината е, че вие не се двумите да погубите дори оная власть, чиято честь експлоатирате противъ нейнитѣ конституционни задължения — и за да спечелите поне нѣколко часа такова властвувание, вие проявявате не честолюбие, а алчностъ! (*Ръжкопльсканя и продължителни браво въ лѣвийтъ центръ и лѣвицата. — Ораторътъ, като се връща на мѣстото си, приема поздравленията на своитѣ съмисленници*).

ВЕЛИЧИЕТО

Въ кипещтъ дивъ на грознитѣ борби
Ти не дири величъето човѣшко,
Не, не тръбятъ триумфътъ му лудешко
На славата побѣднитѣ тръби.

Ни въ жадний духъ надмѣвъ се то не крий,
Кой всичко се домогва да постигне,
И въ небеса полита да се вдигне,
Та тайнитѣ прѣдвѣчни да разкрий.

То въ тѣхъ не е . . . На другий простъ олтарь
Неугасимъ му факелтъ сияе,
То други грѣй съ священниятъ си жаръ,

И други то съсъ този жаръ питае . . .
Величъето съсъ кротко си сиянье
Огрѣва салъ — човѣшкото страданье.

П. П. Славейковъ

СРЪЩА.

Разказъ отъ Веселина.

Зимно врѣме. Вечеръ. Слънцето бѣше зашло, ала още бѣ видѣло. Небсто се бѣше исцѣблило като слъза. Само три-четири звѣздици бѣха ранили и затрѣпкали по небето като свѣтулки.

Рѣдъкъ февруарски студъ се бѣше спусналъ надъ покрпгата съ тънакъ снѣгъ земля, най-вече въ подбалканскитѣ мѣста. Казватъ, че Малкі Сѣчко можлъ да направи отъ една страна гърнето да ври, отъ друга да замръзне, ами го било срамъ отъ бая му. Тъзи вечеръ сѣкашъ, че бѣше се прѣсрамиръ и искаше да покаже, че тая фалба не е голи думи.

Въ Ташкесенъ около хановетѣ всѣкога има шумъ и движение отъ хора и добитъци; ташкесенския пѣтъ много работи и хановетѣ никога не оставатъ бечъ пѣтници — било пѣши, било съ коне, съ кола или съ талиги. Затова сж се и издигнали тамъ такива хубави ханове и отгоили сж се такива тѣжки богаташе. А тая вечеръ, за която ни е думата, имаше въ Ташкесенъ повече шумъ и движение, отъ колкото си има обикновенно. Защото въ Ташкесенъ бѣше останала да ноцува половинъ батерия, която отиваше отъ София за Русчукъ.

На мегдана срѣщу страннопретница «Камень-долъ» или «Петрова-ханъ», както си го знаятъ тамъ, бѣха наредени четири топа и край тѣхъ едни артиллерийски кола. Единъ солдатинъ съ качулка околъ ушитѣ си и съ гола сабля въ рѣка, се расхождаше предъ топоветѣ — вардеше ги. Двама солдати сваляха отъ колата нѣвакми вещи и ги носеха въ Петрова ханъ. Нѣколко други солдати стоеха отъ срѣща предъ бузааната и се разговаряха съ три-четворица селене. Двама душъ пѣкъ бѣха сѣднали на едно дълго столче предъ хана, търкаха си ушитѣ и гледаха съ любопитство наоколо си и и къмъ планината — тѣ първи пѣтъ бѣха препаднали по тия мѣста.

Широкия и равенъ дворъ на Петровия ханъ, изъ който сѣкога шѣтreatъ цѣла дружица прасета и свинки, два три билюци гѣски и безбройно множество кокошки и ерици — сега бѣше попълненъ съ едри, кравени и добрѣ отгледани артиллерийски коне, които по два по два се развождаха отъ измързналитѣ солдати.

Отъ портата на хана къмъ рѣката е издигнато едно двуетажно здание — дълго та тѣсно. Въ долния катъ на това здание сж ссждове за ечимикъ, а горѣ сж стаятъ за пѣтниците. Предъ стаятъ има тѣсно отводче съ прости и слаби дървени пармакльци. На одвод-

чето се качва отъ къмъ портата по една стръмна и опасна—безъ пречки отъ странитѣ — сълба. Отъ другата страна срѣщу сълбата ее влиза въ механата и бакалницата.

На одводчето стоеше единъ младъ, височекъ и хубавецъ офицеринъ, русъ, съ малки мустачки хубавце возсукани и закривенки на горѣ и съ едвамъ букнало браденце. Той се разговаряше съ единъ вознисичекъ, срѣдня пора човѣкъ, съ шаечно, подилателно съ кожа палто. Той бѣше търговецъ отъ къмъ родното мѣсто на офицерина, съ когото случайно се срѣщнаха въ хана.

Изъ кюнеца на стаята, която бѣше отрѣдена за офицерина, излизаше гжстакъ димъ: слугата палеше вжтрѣ пеща.

Въ това време отъ къмъ истокъ изъ ташкесенския баиръ слезе една прстичка съ бѣла покривка талига теглена отъ два дъргливи коня, премина бързо презъ моста. минà и покрай топоветѣ, па зави издаlech и влезе въ отворенитѣ порти на Петрова ханъ.

— Е-е-й, яхърджиу! Дака си бре? викаше талигаджията, облеченъ въ дългъ голъ кожухъ съ исправена ека, който бѣше слѣлъ отъ талигата, стоеше предъ конетѣ си и имъ теглеше ушитѣ.

Изъ талигата излезе понапредъ единъ младъ, сухъ и високъ момъкъ съ дълго шаечно неподилатено палто, съ етрополска шапка на главата и съ прстичекъ вехтъкъ шалъ обвитъ около шията му. Слѣдъ него слѣзе други човѣкъ по-нисичекъ, но и по-пълненъ, съ дълги руси мустакъ и съ кжса заострена по модата брада, облеченъ въ европейски палтонъ и съ астраханова шапка на главата си.

— Премръзнаха ми краката, бре е-й! захвана първия щомъ слезе отъ талигата, като зе да стѣпя често—често и да си удари краката о земята. — На ледъ сж станале. Че то не би малко студъ, та . . .

— Ами менъ ржцѣтѣ питашъ ли какви сж? — кочане, подзе втория, като си търкаше ржцѣтѣ една о друга, чегато сж ги мие.

— Иска да се дври стая и огънъ, каза високия момъкъ, като потъргна къмъ вратата на механата.

Изъ вратата излизаше търговеца, съ когото преди малко се разговаряше офицерина и който бѣше влизалъ за нѣщо до бакалницата.

— А-а, бае Павле! захвана високия момъкъ като се срѣщна съ търговеца. — Отъ гдѣ на кждѣ да те намѣримъ сега тука?

— Отъ София ида; прибирамъ се за дома. Ами ти?

— Азъ пкъ отъ дома отивамъ въ София. Отиваме съ вашия кметъ.

— Съ Гредовъ ли? Та и той отива въ София а? Дека е да го вида?

И високия момъкъ се повърна съ търговеца къмъ талигата, дѣто другаря му съ острото брадле бѣше се навелъ надъ талигата — нѣщо ровеше изъ нея.

— О-о, добръ дошелъ, бе кмете! изивка силно търговеца като тупна съ ржката си кмета по гърба.

— О-охъ! кой бѣше тѣя, дѣто ми истърси такава тежко «добръ дошълъ»? А-а, ти ли си бае Павле? Е, добре тебъ заварилъ, и добра срѣща! какво прибирашъ ли се, бае Павле?

— Както ме видишъ. Ами ти въ София ли? Е, ела да идемъ въ механата да се почерпимъ и да ми поприкажешъ какво ново има по насъ.

По-виския човѣкъ съ новомодното брадле и търговеца съ шаечното подплатено палто бѣха отъ единъ градецъ.

Човѣка съ брадлето, когото казваха Стефанъ Гредовъ, бѣше кметъ въ този градецъ, а търговеца бѣше единъ отъ най-виднитѣ граждани.

Търговеца въведе кмета въ механата да го распита за нѣкои тѣхни си общински работи. А високия момъкъ съ дългото неподплатено палто остана при талигата. Той бѣше народенъ учителъ въ градеца N, съсѣденъ съ кметовия градецъ.

— Па дѣ ли ще има за насъ стая? Дали горѣ или отвѣдъ нейде? — запита той яхърджия, който испрѣгаше конетѣ изъ талигата.

— Чини ми се, че долѣ ще има. Горѣ е офицерина и човѣка дѣто сега хоротеше съ тебе. Па може и горѣ, незнамъ. Василъ ще ти каже.

Василъ викаха слугата. Той слизаше изъ сълбата. Учителя погледна на горѣ къмъ отвода. Изъ стаята, на която комния се пушеше, излизаше офицерина.

Учителя се повгледа въ него, като че искаше да го познае; ала хубаво се не виждаше.

— Бей, Моте, ти ли си бе? Извиза той щомъ го позна.

— Азъ съмъ, азъ, Пешо. Ела се качи горѣ да вида що чинишъ и къдѣ така.

Офицерина бѣше сжщо отъ градеца N. Тѣ бѣха съ учителя врѣстници, другаре и съученици — най-напредъ въ N, а послѣ и въ Софийската гимназия. Следъ свършваннето на гимназията наречения Пешо остана да учителствува въ N, а Мото отъ VI класъ жостѣпи въ военното училище и за една година излезе офицеринъ.

— И-и, зло да те не види, макаръ. Не мога да те позная

Ами що щешь тука бе, Моте? говореше учителя, като се качваше дебишкомъ възъ събата.

— Абе, служба, нали знаешъ. Командированъ съмъ да закарамъ тѣзи орджия въ Руссе за поправка. Ами ти отъ село ли? Ехъ, а добръ дошълъ!

— Добръ тебъ заварилъ. Вѣе ме и менъ нѣщо вѣтара къжъ София. Експерти пусти ни викатъ по нѣкакво дѣло.

— Тѣй ли? Е, пà що има, що нѣма по насъ?

— Абе харно е тамъ. Много ти здраве отъ приятели и роднини.

— Благодаря. Ела да влеземъ вжтрѣ, де, немà тукъ се стоимъ на студа, продължаваше офицерина, като влизаше заедно съ учителя въ стаята, която едвамъ се бѣше позагрѣяла. — Азъ се чудехъ, като стигнахъе тука, какъ ли ще прекарамъ тая ноцъ самй. А то—не щешъ ли—срѣцнахъ се тука съ бае Павла. Па сѣга è че и съ тебе се срѣцнахъе и видѣхъе. И надѣвамъ се, че не ще ни омръзне ноца.

— Па и за мене е едно *разгеле*, както го речатъ, че се срѣцнахъе тука; защото азъ вмахъ ниетъ въ София максусъ да те търся за една работа.

— Дѣ да оставя това, господинъ подпоручикъ? пресече разговора единъ солдатинъ, който влезе въ стаята съ една връзка подъ мишница и се исправи «смирна» предъ вратата.

— Остави ги тука при тѣзи вещи, му заповѣда офицерина, сѣдналъ на единъ криветъ, като му посочи натрупанитѣ при кривета вещи.

Солдатина остави връзката и трѣгна да си излезе.

— Я почакай я! — го повърна офицерина.

— Слушамъ, господинъ подпоручикъ, се обади солдатина, като се спре «смирна» при вратата и си дигна ржката, «подъ козирогъ.»

— Иди донеси шишето съ коняка, дѣто го турна въ чантата. Скоро!

— Слушамъ, г-нъ подпоручикъ. И солдатина се обърна кругомъ и излезе. Той бѣше денщикъ на офицерина.

— Петко! я почакай я!

— Чево изволте, г-нъ подпоручикъ! запита плахо денщика, като се повърна и запре пакъ «смирна» при вратата.

— Бажи на слугата да донесе поскоро свѣщъ да запали.

— Слушамъ, г-нъ подпоручикъ. И той се обърна пакъ кругомъ и трѣгна.

Слугата донесе малко дърва и палина свѣщъ на масата, па отиде бързо за ракиови чаши.

Солдатина донесе една бутилка съ конякъ.

— Това е сега лѣкъ за инфлуенцата, говореше офицерина, като отваряше бутилката.

— И по насъ се съ него лѣкуватъ, подзе учителя. У насъ го кръстиха «инфлуенция», «Дай ми 25 драмъ инфлуенция» казватъ сега въ Пенчовото кафене.

Слугата долетѣ съ двѣ ракинови чаши.

— Е, заповѣдай тогава да фърлимъ по една инфлуенция, каза офицерина, като напълни чашитѣ.

— Ама азъ не пия конякъ.

— Белкимъ тѣй! Ами нали е това лѣкъ? Не е ли те страхъ отъ инфлуенцията?

— Не ме е страхъ. Нея би нема страхъ отъ мене, та не смѣя да ме споходи.

— Тѣй а, та не пиешъ ти конякъ? Е, скоро, Петко, донеси гюмчето съ вното.

— Слушамъ, г-нь подпоручикъ. И Петко се завъртѣ на петата си и излѣзе бърже.

— Защо пращашъ за вино, холанъ? Като вечеряме ще пиемъ.

— Не е, искамъ сега, за дѣто сме се видѣли, да се почерпимъ и чукнемъ. — Ей, кой е тамъ вѣнка?

Влѣзе единъ солдатинъ съ човалче на гърба.

— Какво трѣсяшъ вѣнка, бре?

— Нося тѣзи вещи отъ каруцата, даде ми ги динчика, па не мога дъ намѣря вратата, г-нь подпоручикъ.

— Добрѣ. Остави ги тамъ при другитѣ вещи, па припни та донеси отъ механата двѣ винйови чаши.

— Слушамъ, г-нь подпоручикъ, каза солдатина, като остави човалчето и се исправи „смирна“ и подъ „козирокъ“.

— Какъ те викатъ тебе?

— Станчо, г-нь подпоручикъ.

— Чу ли какво ти казахъ, Станчо?

— Чухъ, г-нь подпоручикъ.

— Е, какво ти заръчахъ?

— Да зема двѣ винйови чаши отъ механата, господинъ подпоручикъ.

— Добрѣ, а припни сега.

— Слушамъ, г-нь подпоручикъ. Сичасъ.

И той се завъртѣ, припна надолѣ изъ сълбата и завчасъ се върна съ двѣ винйови чаши.

— Седни сега тука та притури дърва на пеща и я направя да гори по-добрѣ.

— Слушамъ, г-нъ подпоручикъ.

Девшика донесе на подпоручика едно калено гюмче съ вино, попита друго не трѣбва ли, офицерина му каза „свободенъ си“ и той излезе, като изрече необходимото „слушамъ, г-нъ подпоручикъ“.

— Де сега, Пешо, да се чукнемъ, каза офицерина, като подаде на учителя една чаша вино, а самъ зе своята чаша съ конякъ.

— Ехъ, а на здраве, Моте! Добрѣ сме се видѣли. — И учителя отпи отъ чашата и малко се позамисли надъ виното.

— Какъ ти се види, Пешо?

— Абе, добро ще да е.

— Най-чисто Плъвненско вино. Единъ мой другаръ ми го е пратилъ.

— Хубаво е. И учителя отпи оценко.

Пеща зе да пращи. Тя се бѣ зачервила и разсвѣтляла. Солдатина сѣ още духаше наведенъ.

— Хъ стига вече духа, че пеща ще се препали, каза офицерина.

И солдатина се исправи зачервенъ и испотенъ.

— Сгрѣ ли се . . . хм . . . какъ те викатъ?

— Станчо, г-нъ подпоручикъ.

— Ахъ да, Станчо. Сгрѣ ли се, Станчо?

— Сгрѣхъ се, г-нъ подпоручикъ.

— Та Станчо те викатъ, а?

— Такъ точно, г-нъ подпоручикъ.

— Ами защо ти е такова мъчно тебъ името? Защо те не викатъ, я Иване я?

— И дядо викатъ Станчо, затова и менъ попа е кръстилъ Станчо, г-нъ подпоручикъ.

— Тѣй ли била работата? А пакъ азъ да не знамъ. Е, добрѣ. Ха върви си сега, на като те повикамъ, пакъ ще дойдешъ.

— Слушамъ, г-нъ подпоручикъ, каза солдатина, исправенъ вече „смирна“.

— Станчо те викатъ, нали?

— Такъ точно, г-нъ подпоручикъ.

— Защото и дѣдо ти викатъ Станчо. Хубаво. Ступай сега вѣнка.

— Слушамъ, повтори солдатина, обърна се кругомъ и си излезе.

Офицерина си напълни чашата съ конякъ, допълни и учителювата чаша отъ гюмчето и подаде я на учителя.

— Много джумбюшлие има между тѣхъ. Ха наздраве! Учителя кимна съ глава мълчешкомъ — Азъ обичамъ да ги закачамъ. Надни умрешъ да се смѣнешъ надъ тѣхнитѣ дивотии.

Учителя пакъ мълчеше. Той отпи отъ чашата и я сложи на масата. Нѣкакъ замисленъ изгледваше той. Познаваше се, че не сподѣля веселото и шеговито настроение на офицерина.

— Моте бе, захвана бързо учителя, па се замълча: сѣкашъ че си не договори; сѣкашъ, че се рѣши изведнажъ нѣщо да каже или попита, па тоя часъ го пакъ размахна и не доказа.

— Що? запита офицерина съ любопитство.

— Лесно ли привикна на тия работи? попита учителя слѣдъ кжсо мълчение.

— На кои?

— Ей, на тие „слушамъ“, „такъ точно“, на това стоене „смирна“ и обръщане на пета. . .

Учителя се мъчеше да говори малко шеговито, но въ сжщность това бѣше горчивъ, негодующъ тонъ. Офицерина се попромѣпи и добн недоволенъ изгледъ.

— Азъ мисля, продължи учителя, че ако на солдатитѣ е една мъжа да привикнатъ да правятъ тия нѣща, на офицеритѣ, като на интеллигентни хора, щѣ да е двойна мъжа да привикнатъ да ги гледатъ. Тебе особено пакъ колко ли е било мъчно! Помнишь ли какъ гледаше ти на тие работи — на воинщината, кога бѣхме още въ гимназията, въ послѣднитѣ классове!

— Това нѣщо е необходимо, го пресече офицерина — нѣкакъ безсърдце, съ сдържанъ тонъ — Човѣкъ се привиравя съ необходимоста и привикнува ѝ.

— Може да е и необходимо, подзе учителя спокойно. Не говоря за това. Но признай се, че сѣ ще да е мъчно на разуменъ човѣкъ да гледа и търпи предъ себе си такова унижение на човѣшкото достойнство. . . .

— То не е унижение на човѣшкото достойнство, байно! захвана съ негодувание офицерина. Това е военна дисциплина, безъ която ни една войска не може да сжществува.

— Нѣмамъ нищо противъ това, приятелю; но и унижението на човѣшкото достойнство, каквото име и да му дадешъ, сѣ си е унижение, сѣ си е възмутително. . . .

— Ха да ставимъ тоя разговоръ, го прекъсна офицерина съ сдържано негодование, като чу че възъ сълбата се качватъ нѣком.

— Менъ ми е неприятно и неловко да говоримъ за това. За друго да си поговоримъ.

Влѣзоха търговеца и кмета, другаря на учителя.

Офицерина и кмета се запознаха. И офицерина зе да запитва кмета за новини изъ тѣхния градецъ.

Захвана офицерина да ги черпи отъ коняка и пакъ се подкачи разговоръ за инфлуенцията. Доде редъ та и учителя захвана нѣщо да расправя за своя Н. Офицерина слушаше и съ любопитство го запитваше за едно за друго. Учителя расправяше за своитѣ другари — кой какво прави, кой отъ тѣхъ се е годилъ и пр. и офицерина ужъ го слушаше съ внимание; на токо го пресече изведнѣжъ.

— Та за каква работа щеше да ме търсишъ въ София, Пемо? Че одеве се записахме съ друго, та ми не каза.

— Добръ че ме подкани, че азъ бѣхъ забравилъ. Ето за какво щѣхъ да те диря. Замислили сме да наредимъ у насъ общинска библиотека — библиотека, която да се поддържа отъ общината и отъ която сѣки да може да се ползува. Тази библиотека ще си има особено помѣщение. Това помѣщение ще се вика общинско читалище, защото тамъ ще отиватъ хора др четатъ. За такова помѣщение намислихме да се поирави старото дѣвическо училище, което сега е праздно. За напредъ общината ежегодно ще отиуца по извѣстна сума за да се поддържа библиотеката; но сега за да се приготви помѣщението на библиотеката, общинското читалище, и за да се положи основата на библиотеката, намѣрихме за най-добръ да се събератъ отъ нашинцитѣ тамъ и по вѣнка доброволни помощи. Азъ нося съ себе си единъ откритъ листъ да покания нашенцитѣ въ София да запишатъ, кой колкото обича за тази цѣль. Та съ този откритъ листъ щѣхъ да дода и при тебе — ти не щешъ да откажешъ, вѣрвамъ. И учителя бръкна въ вжтрѣшния джебъ на палтото си, извади единъ листъ книга, сгнать на четири, и го сложи на масата.

Офицерина разгърна листа и зѣ да го гледа. На този листъ имаше единъ прѣписъ отъ акта за основаването на общинската библиотека, списъкъ на пожертвувателитѣ и завѣрение отъ Общинското Управление.

— Хубаво сте намислили да направите, захвана търговеца съ подплатеното палто; — много хубаво нѣщо е това.

— За хубаво го мислиме ужъ и ние, бае Павле, затова сме го и захванали. И докарали сме го до единъ редъ. Читалището е вече пригответено. То ще може да служи и за всѣкакви събрания,

като скаски да се казватъ и пр. Послѣ, и сцена се направи тамъ та ще служи и за постояненъ театръ . . .

— Театръ ли? прекъсна го офицерина, който до сега ужъ гледаше въ листа. — Само това не достигаще на N. !

— Защо ?

— Ами не видите си сиромашията, не видите, че хората нѣматъ що да ѣдатъ, ами театръ сте зели да правите. Хлѣбъ, хлѣбъ дайте на хората, а не театръ и представления ?

Учителя оста да гледа зачуденъ отъ това обръщание на офицерина. Той се позамисли малко : едно че неможеше изведнажъ да намѣри думи, за да отговори, макаръ че вътрѣшно бѣше твърдо убѣденъ въ несъстоятелността на офицерското мнѣние и въ правотата на захванатата отъ него работа ; а друго, той оста изненаданъ отъ това, дѣто офицеринъ именно исказва таково мнѣние. На мисля и търговеца се стори, че това мнѣние е неоторимо и съ любопитство чакаха да чуютъ какъ ли ще отговори учителя.

— А бе, това всички го знаемъ, че народа е бѣденъ и че преди всичко иска хлѣбъ, захвана учителя, спокойно ужъ, слѣдъ като се посъзве малко. — Ами само хлѣбъ ли иска той ? Немà не иска и духовна храна ? Немà на простия и сиромаша не трѣбва да даваме да вкуси и той баремъ малко отъ онѣзи душевни наслаждения, отъ които постоянно вкушавате вие — чиновници, офицери, и богаташи ? — Учителя изгуби спокойния тонъ. Той съзнаваше че не говори онова, което мисли и чувствава, и за това се сърдеше и раздраваше. — Най-послѣ представленията не сж само за удоволствия — театъра е и училище за хората, додаде бързо учителя слѣдъ мнотно мълчание.

— Добрѣ де. И азъ не отказвамъ значението на театъра. Азъ самичекъ обичамъ представленията и постоянно посѣщавамъ театъра. Ама азъ ! Ами сиромаша, дѣто нѣма хлѣбъ да еде, ще ли ти гледа представлението ? Офицерина говореше спокойно и май насмѣшливо, което още повече раздраваше учителя. — Като сте давали зимаска представления, има ли нѣкой да дойде да ви слуша ?

— Има, защо да не е имало ? Три пѣти давахме представления и тритъ пѣти бѣше май сѣ пълно. Че и по насъ хората обичатъ да слушатъ представления недѣй мисли, че само вие обичате. И сѣкакви дождатъ. Дождатъ и сиромаси.

— Може и да дождатъ, незнамъ. Като се прави представление, най послѣ хората единъ отъ други гледатъ и отиватъ. Ами съ тия пари, дѣто ги даватъ за преставленията и дѣто сж похар

чени за сцена и пр. колко нѣщо би могло до се направи за економическото подобрене на градеца ни!

— Та ти сега мислиш, мигаръ, че съ тѣзи 200 300 лева, които сж похарчени за сцената и сж дадени за преставленията, ще се подобри економическото положение на N! подхвана учителя още повече разгорещенъ. — Признавамъ, че трѣбва да се работи и за економическото подобрене на страната ни изобщо и частно на градеца ни, но неужели отъ театъра сега ще спестимъ за туй подобрене! Тебъ ти се свиди за тѣзи 200—300 лева, дѣто ги даватъ N чане доброволно, отъ които тѣ нѣма да осиромашѣятъ, а ще добиятъ едно удоволствие и какво-годѣ облагородяване на правитѣ, свиди ти се за тази нищожна, но ползотворна сума, — а не ти се свиди за други по-голямѣ сумми, не те боли на сърдцето, напр. за онѣзи 20 или 30 хиляди лева данъци, които се плащатъ отъ N и за които продаватъ на хората чергитѣ и ризитѣ отъ гърба, безъ да знаятъ повечето отъ тѣхъ защо и за какво се зиматъ тие парл и дѣ се дѣватъ!

— Ти това остави на страна, байно! подзе малко строгичко офицерина. Може ли една държава да съществува безъ данъци? Тѣ сж необходими и трѣбва да се плащатъ. Не можешъ ти тѣхъ да зимашъ за примѣръ.

Необходими сж, добръ Безъ данъци не може да съществува една държава, признавамъ. Но толкова ли данъци сж необходими? Немà тѣзи гонове, на които ти и толкова солдати слугувате, и на които само за прѣварването и поправката сегашна нѣма да стигнатъ сичкитѣ N-ски данъци, немà тѣ сж необходими, немà безъ тѣхъ не може? Нема тѣ даватъ хлѣбъ на сиромаситѣ!

— Ти излизашъ вѣнъ отъ въпроса и стѣпяшъ на такъва почва, на която азъ не искамъ да стѣпя, каза офицерина малко намръжденъ.

— Я оставете тая прѣпирня, байовото, се намѣси търговеца. — Тя нѣма да се свърши, само що е — я ще да се скарате я? Ти, Пешо, забрави белкимъ за какво захвана да расправяшъ . . . Я зарежете това. Де за друго да си приказваме.

— Истина, Пеше, да оставимъ тия приказки, додаде и кмета.

— Добръ. Да оставимъ данъцитѣ. Азъ се увлѣкохъ малко. Но искамъ да се разберемъ. Наистина азъ за бравихъ, какво искахъ да доказвамъ. И който ме не знае, ако е слушалъ тоя разговоръ, ще си помисли, че азъ, като оставямъ на страна економическитѣ интереси на N, искамъ да устроя тамъ театръ — единъ излишенъ и безплезентъ рос-

кошъ, за което, разбира се, не заслужавамъ никаква поддръжка. Но азъ съвсѣмъ за друго залѣгамъ и работа въ N, и съвсѣмъ друго поддръжамъ. И ако съмъ настоялъ да се направи въ N, общинско читалище, най малко съмъ ималъ за цѣль да бжде то за театъръ. Но кой знае какъ се докара сега, та театъра именно зехъ да защитавамъ предъ тебе, като че зарадъ него събирамъ и доброволни помощи.

„Азъ мисля, че на нашитѣ хора сж необходими знания, знания всестранни, по сичко: едно, за да станатъ по-развити, да зематъ повечко да разбиратъ; друго, за да могатъ отъ тѣхъ и практическа полза да добиватъ; най-послѣ и за да станатъ добри и разбрани граждани, за да се научатъ да цѣнятъ и разбиратъ своитѣ права и длѣжности. Тѣзи знания се добиватъ не отъ народното училище — тамъ само се подготвуватъ, за да могатъ послѣ сами да си ги намиратъ. Тѣзи необходими знания се добиватъ отъ постоянно четене. Наредъ съ черпещияго необходимитѣ за живота познания съ четеннияго се достига още и до по-високо нравствено самосъвършенствование, добива се още и най-чисто и най-голъмо душевно наслаждение. Трѣбва, слѣдователно, хората, сичкитѣ, по възможность, хора да привикнатъ да четатъ. А за него е потрѣбно да има книги. Трѣбва библиотека. Тази библиотека трѣбва да бжде достъпна за сѣкиго, трѣбва да бжде общинска, както е общинско и училището; общината трѣбва да се грижи и за нея, както и за училищата. Но то не стига. Трѣбва да има и мѣсто, дѣто да отиватъ хората да четатъ, трѣбва и общинско читалище да има.

Такава общинска библиотека и общинско читалище се замъчихме да наредимъ въ N. За читалище преправихме старото дѣвическо училище. То стана единъ голѣмъ и широкъ салонъ, който освѣтъ за общинско читалище, ще служи и за други работи. За да се развие напр. у хората любознателность, ищахъ къмъ четене и любовъ къмъ знания, трѣбва и сѣзки да се казватъ по-често. Общинското читалище ще да е най-удобно и за тази цѣль. Па и друго. До сега често сж се появявале любители да даватъ представления. И гражданетѣ сѣкога сж обичали да ги посѣщаватъ. Представленията сж давани въ училището. Но тамъ сцената е пречила, и тозъ часъ слѣдъ представлението трѣбвало е да се растурия. Сега въ общинското читалище се направи постоянна сцена. И явиха се още сега любители да даватъ представления; навѣрно и за напредъ ще се явяватъ. Представлѣнията сами по себе не сж нищо лошо. Тѣ доставятъ на хората благородни и приятни развлечения. Тѣ облагородяватъ още и нравитѣ. Па и друга полза ще имаме ние отъ тѣхъ — материална. Които и да даватъ представления,

щомъ сцената е въ общинското читалище, сѣкога представления трѣбва да бждатъ въ полза на общинската библиотека. Его какво ни накара да направимъ въ общинското читалище и постоянна сцена. Случайно азъ нарекохъ тази сцена съ грѣмкото име театъръ ; ти пакъ бѣ готовъ да се закачишъ за него ; и ето отъ дѣ излезе тази неразбория. Азъ едно нѣщо само имамъ предъ видъ съ тѣзи общинско читалище и общинска библиотека, за които съмъ се заелъ да събирамъ доброволни помощи, — умственното и нравственното развитие на N.

Учителя изговори това по-спокойно ужъ, но сѣ доста и распалено. Той се поспрѣ малко да си отдѣхне. И мислеше си, че офицерина го е вече разбралъ и ще земе да заповѣе нѣщо въ открития листъ. Но остана изгѣганъ.

— Не е лошо нѣщо умственното развитие, подзе офицерина спокойно и самоуверено нѣкакъ и като че и насмѣшливо пакъ, — но по-напредъ трѣбва хлѣбъ. Хлѣбъ дайте по-напредъ на хората, па тогава ги учете, давайте имъ книги и имъ казвайте сказки. По-напредъ подобрете економическото положение на народа, обогатете го, и той послѣ самичекъ ще се развие умствено и ще се изучи. Това азъ знамъ. И той преспокойно си запуши цигарата, като ѣ отърси сѣ малкия прѣстъ пепелъта.

Учителя се възмути пакъ. Него го възмути и насмѣшливия тонъ на офицерина и равнодушното отнасяние къмъ народа и къмъ тѣхния N, като къмъ нѣщо чуждо нему, най-послѣ и полупрѣзрителното третиране неговата деятельность въ N като необмислена и безполезна. Но той се и позачуди малко. Позачуди се, че срѣщна у офицеринъ слѣди отъ известна научна теория, макаръ и остарѣла и невѣрна : каквото и да е, това изобличаваше у офицерина, че той се интересува и съ нѣща по-други отъ воинщината.

Учителя искаше да се впусне да расправя и доказва по нашироко съ исторически примѣри, че умственното развитие трѣбва да върви успоредно съ економическото и даже да го прѣдшествава ; но помисли, че ще се увлече пакъ и ще изгуби изъ предъ видъ главния въпросъ, за това остави тази дълга расправия, поутоложи се и захвана друго яче.

— Добрѣ. Да речешъ, че и азъ тѣй мисля ; да речешъ. че и азъ считамъ, че е необходимо прѣди сичко да се подобри економическото положение на народа или на градеца ни. Кажй ми сега какъ ще стане това ? Какъ ще да обогатимъ народа ? Какъ да обогатимъ N ?

— Много лесно, подзе офицерина сѣ тѣй по-спокойно и само-

увѣрено. Нека земаѣ да се работятъ у насъ сички онѣзи произведения, дѣто сега ни ги донасятъ европейцитѣ, та де се не изнасятъ паритѣ ни на вѣнка, а да си оставатъ тукъ — и ще видишъ какъ изведнажъ ще се подобри економическото положение на народа. Сега това ни съсипва, че за всячко ние даваме паритѣ си на европейцитѣ. Да се устроятъ и у насъ фабрики—и сичко ще се оправя.

— Хубаво. И съ това съмъ съгласенъ, подзе учителя съ нетърпение. Но отдѣ ще се земаѣ фабрики, които да произвождатъ европейскитѣ стоки и да оставятъ паритѣ у насъ? Нѣма да поникнатъ изъ з-мята я, нито пакъ отъ небото ще паднатъ? Не може и правителството да ги създаде. За развитието на фабричната промышленность изобщо, — която, трѣбва да ти забѣлежа, не е единственната, дѣто ще подигне економическото положение на страната ни, — може, навсгина, да направи доста нѣщо и правителството, като я поддържа и подкрѣпя; но тя трѣбва отъ самия народъ да се създаде. Трѣбватъ преди сичко капитали и рискове. А отъ дѣ ще се земаѣ, ако ги нѣма? И какво да се прави за да се добиятъ? Или нека додемъ по-близко до въпроса. Азъ съмъ учителъ въ N. и разбирамъ, че за N-чане най-напредъ трѣбва хлѣбъ, трѣбва преди сичко да се погрижимъ за економическото подобрене на N, за неговото обогатяване. Разбирамъ това и искамъ да работя въ това направление. Кажя ми сега какво да правя? Или ти, ако си на мое мѣсто, какво би направилъ?

— Това е други въпросъ, отговори офицерина уклончиво

— Не е други въпросъ. Сѣщия въпросъ е, за който отъ одева се прѣпираме. Или, да. Други въпросъ е, защото не е се едно да разсѣждавашъ, че е необходимо преди всичко економическо подобрене на народа, — и да работишъ за економическото подобрене на една частъ отъ народа, на единъ градецъ. Много лесно е да разберешъ и съзнаешъ, че народа е бѣденъ и испадналъ и че му трѣбва да се обогати, ама да видишъ какъ ще работишъ въ срѣдага на самия народъ за неговото обогатяване!

„Азъ, като учителъ, работя въ N навсгина за умственото и нравствено развитие на хората,—това имамъ предъ видъ съ уреждането на общ. библиотека, съ казванieto скаски и пр. ; но освѣнъ него азъ сѣ имамъ предъ видъ като крайна цѣль, в економическото подобрене и обогатяване на N. Азъ разбирамъ, че за да се подобри економическото положение на N, трѣбва да се подобратъ земледѣлието и занаятитѣ, да се посѣжви търговията, да се развие нѣкой новъ клонъ отъ промышленността, намѣсто отпадналитѣ безвъзвратно

поминъци, да се направи нѣкоя фабрика напр. Но азъ разбирамъ още, че сичко това не може изведнажъ, съ единъ махъ да се постигне и направи. Трѣбва хората по напръдъ да разбератъ и съзнатъ своето положение, да пожелаятъ да имъ се подобри това имъ положение и да могатъ сътиѣ да измислятъ срѣдства за това подобрене или да усвоятъ онѣзи, които имъ се препорѣчатъ. Трѣбва, значи, да се приучатъ здраво да мислятъ и разсѣждаватъ. И друго. За да се устрои въ N напрымѣръ една фабрика, трѣбва да се основе едно дружество акционерно или каквото и да е: частни лица у насъ нѣматъ толкова капиталы и не се язлагатъ на такъвъ рискъ. А за да се основе дружество, трѣбва отъ една страна хората да съзнатъ неговата полза и да почувствуватъ неговата необходимостъ; а отъ друга — да се приучатъ къмъ братство и заедружностъ, да се развие у тѣхъ взаимно довѣрие — ибща които у насъ динъ нѣма и не ги динъ обичае. А едното и другото се постига най много чрезъ скаскитѣ и библиотеката. Въ скаскитѣ може да се расправи на хората за економическото положение на градеца ни и на нашата държава, за различнитѣ клонове отъ промишлеността, които процвѣтѣватъ по другитѣ държави, за различнитѣ видове здружаване и за тѣхната наредба и устройство, може . . .

— Да ли вносимъ вечерята? пошита ханджиския слуга исправенъ предъ братата съ нѣколко чени и кърпички въ рѣка и съ китка вилицы и лъжицы въ другата. Той втори пакъ позканяше за вечерята. Първия пакъ бѣше въ разгара на препирната за театъра. И никой му не отговори тогава, само вмега му климна съ глава да си излезе. Сега и търговеца го видѣ и чу. И каза ву да слага.

— Ха оставете вече тия прикаскы, се обърна той къмъ учителя и офицерина, че слагатъ да вечеряе. Тѣ нѣма да се свършатъ, ами да видимъ ние сега да си похапнемъ, да си пинемъ и да се повеселимъ, като сме се сбрали, вика се отъ три странѣ.

— Още малко и азъ свършвамъ, продължи пакъ учителя. Ще кажа, че съ скаскитѣ и библиотеката не само умствено, но и економически . . .

— Оставете холанъ, го прекъсна пакъ търговеца, като се испречи между него и офицерина и го потегли за рѣката да стане. — Ти ще свършишъ, пакъ той ще захване; той ще свърши, пакъ ти ще захванешъ; и така ще се продължава цѣлата ношъ.

— Ха зарежете я, та да вечеряе, се намѣси и кмета, като се примичаше къмъ массата, на която слугата слагаше.

— Абе азъ асжъ нѣма и какво да прибавя къмъ казалото, за-

хвана офицерина като стана правъ. — Колко ще да си говори Пешо, се не ще ме убѣди. Азъ си казвамъ сѣ, че за народа трѣбва по-напредъ економическо подобрене, трѣбва по-напредъ да се обогати той, па послѣ да се грижимъ и за неговото образование.

— Дѣто ще каже, азъ напусто съмъ си дрънкалъ зхбитѣ да говоря, подхвана Пешо съ горчива усмивка на устата, като зе и той да става. — Ти сѣ не искашъ да ме разберешъ. Не щешъ, разбира се, и да запишешъ нѣщо и за общинската ни библиотека, тъй като ти си противъ нея.

И учителя зе да си свива открития листъ, който бѣше разгърнатъ на масата.

— Дай, дай, захвана офицерина, безъ сърдце като посѣгна за листа. — И азъ ще запиша; защо да не запиша? Азъ нѣмамъ нищо противъ библиотеката ви. Като Начавинъ и азъ желая да знимамъ участие въ всичко що се върши тамъ и да помагамъ до колкото ми стигатъ силитѣ и срѣдствата.

И той зе листа, гледа го отгорѣ, отдолѣ, чете, пречитва списъка на благотѣлитѣ, па поиска единъ моливъ и слѣдъ още малко колебание записа една сума, сгъна листа и го подаде на учителя.

Тукъ трѣбва да се забѣлжи, че записаната отъ офицерина сума си остана само на листа, а въ касата на общинската библиотека и до днесъ нищо не внесе.

Учителя пое листа, скри го въ пазухата си, поблагодари офицерина за записаната помощъ и отиде и той слѣдъ другитѣ къмъ масата, дѣто слугата бѣше вече сложилъ вечерята.

Наредиха се всички около масата и захванаха. По заръчката на търговеца, ханѣжия бѣше приготвилъ хубава чорба отъ кокошка, яйца съ масло и пържоли. Вечерята бѣше хубава.

И изнедажъ дотогавашното сервизно настроение, което па сила се поддържаше, се промѣни въ весело и шеговито. Захванаха се смѣхове, шегувания. Офицерина бѣше най-веселъ и най-расположенъ отъ сичкитѣ. Неможеше и позна, като го погледнешъ, че ей сегичка е, той е водилъ такъвъ сериозенъ разговоръ. Той се най шегуваше и майтапеше. Весели и джумбушлия станаха и кмета съ търговеца. Само учителя не можа да изгуби напреднѣото си настроение и да стане веселъ и расположенъ. Той си бѣ сѣ сериозенъ и като замисленъ, и прѣзъ сичкото време на вечерята той не можа да попадне въ това на смѣитѣ другаре.

Между другитѣ шегу и прикраски доде нѣщо редъ, та офицерина расправи че въ такъва случаи като този, когато се спре

часть отъ войска да ношува въ нѣкое село, офицеритѣ иматъ право да искатъ отъ кмета за себе си квартири каквито си харесатъ.

— И ако не бѣхъ се видѣлъ и срѣцналъ съ вазе сега не прѣмѣнно щѣхъ да се располагамъ въ най хубавата къща тука додеде офицерина.

— И щеше сега да ти шѣта нѣкое момиче на 15 години, притури кмета, като намигна съ лѣвото си око.

— Момиче не, ама нѣкоя по-хубавка невѣста да ми шѣта не бихъ се сърдилъ. Азъ невѣститѣ по обичамъ отъ момчетата. Впрочемъ такава весела компания, като сегашната, по-обичамъ и отъ невѣститѣ. Хайде да ги чукнемъ за здравнето на тази весела компания!

И свчки чукнаха напълненитѣ чаши.

Втората оканица вече се разливаше. Ханджията държеше за особни случаи чисто калугеровско вино. Отъ него синяше сега на офицерската трапеза. Това вино правеше още по-весела дружината.

Третята ока вече и проия. Пръвъ захвана офицерина. Съсъ сладкъ макамлия гласъ той запѣ най-напредъ трапезарски пѣсни, послѣ на сѣдѣнка и на хоро, още по-послѣ и юнкерски.

Съ особно въодушевление и съ особенъ сладострастенъ тонъ пѣше той:

„Засели се село на моминско чело“ . . . послѣ: „Тича мома на надолу“ . . . „Зеленъ листецъ“ ид р. т. като придружаваше пѣенето и съ особни тѣлодвижения

Търговеца, когото на гледъ неможешъ заподозрѣ, че може да пѣе, тѣй сжщо се въодушеви и откри въ себе си богатъ запасъ отъ пѣсни съ извѣстно съдържание. Кмета до нейде помагаше на офицерина, па токо захвана да преплита езика и да бръщолеви нищо и никакво. Лесно го хвана виното. Само учителя сѣдеше между тѣхъ безучастенъ и почти мраченъ. Той не зимаше участие нито въ веселбата имъ, нито въ пѣснитѣ имъ. Само единъ пѣтъ, когато офицерина и търговеца го много насилиха да испѣе и той нѣкоя, той се поистегна на стола си и слѣдъ кжсо колебаение видна съ тѣженъ тонъ:

„Тежко, тежко, вино дайте!“

На офицерина по едно време доде на умъ за свирня. Той тропна на масата и тозъ-часъ доде слугата.

— Скоро да повикашъ старшия унтеръ-офицеръ.

Доде старшия и се исправи „смирна“ при вратата.

— Чево изволите, г-нъ подпоручикъ?

— Има ли отъ момчетата нѣкой да свири съ нѣщо?

— Не зная добръ, Г-нъ Подпоручикъ. Може и да има. Въ казармитѣ имаше.

— Въ казармитѣ и баба знае че има, ами тука вижъ, ако има, испрати ми го пò скоро.

— Слушамъ, Г-нъ подпоручикъ. Старшия се завъртъ кругомъ и излезе.

Слѣдъ малко влезе пакъ.

— Що? Има ли? Попита офицерина съ нетърпѣние.

— Има единъ та свирѣ съ гайда, но . .

— Доведи го по скоро тука де! прекъсна го офицерина.

— Но нѣма тука принадлежноститѣ си, Г-нъ подпоручикъ.

— Дуракъ.

— Дур-р рацкый чортъ! избръщолеви кмета, като придружи ругателството си съ една русска псувня. Кмета е билъ опъяченецъ.

— Кажѣ на момчетата тамъ никой нищо да не пие, че ако сѣтя нѣкакъ, че нѣкой е пилъ, зѣбатѣ ще му строша.

— Слушамъ, Г-нъ подпоручикъ. Азъ имъ казвахъ; и никой не е пилъ. Офицерина имъ бѣше заръчалъ това още щомъ додоха. Старшия излезе.

И учителя стана да си върви слѣдъ него. Тѣмъ съ кмета бѣше пригответъа друга стая. Но офицерина и търговица не го пустанаха. Заръчиха още вино. И пакъ пѣсни, шеги и смѣхове.

Солдатитѣ одавна хъркаха натъркалия по голата земя въ кафенето и по сламата въ яхъритѣ. Сачко въ хана и околъ него се бѣше потаило. Само изъ офицерската стая дълго време още се раздаваше шумъ и пиянско глезене и викане.

Когато се раздѣлиха часа бѣше вече единъ и половина. Кмета хъркаше безчувственъ на единъ кровать въ сжщата стая дѣто вечеряха. И офицерина бѣше още стоешкомъ полу-засналъ; и още се не завилъ, захърка тѣжко. А учителя отиде въ другата стая и дълго време не легна, седѣ на кровати и глѣда изъ прозореца къмъ топоветѣ; и дълго време слѣди съ очитѣ си мѣрно-постъживающия часовой и мислѣ сѣ.

Много и разнообразни, и прогивли едил на други мисли и впечатления бѣше възбудила у него тази срѣща съ некогашния му другаръ.

С Ъ Н Ъ .

РАСЪАЗЪ

ОТЪ

ИВ. С. ТУРГЕНЕВЪ

(Прѣводъ отъ русски)

I.

Азъ живѣхъ тогава съ майка си въ единъ малкъ приморскій градецъ. Азъ бѣхъ миналъ седемнадесетата си година, а майка ми нѣмаше още тридесетъ и петъ: тя се оженила много млада. Когато баща ми умрѣ, азъ бѣхъ на седемъ години, но всичко помня като сега. Майка ми бѣше ниска, свѣтлоруса жена, съ прѣлѣстно, но вѣчно печално лица, съ тихъ-ослабналь гласъ и тихи, плахи тѣло-движения. Въ младостта си тя се славилъ съ голѣмата си красота, и чакъ до смъртта си остана привлѣкателна и мила. Азъ не съмъ виждалъ по-дълбоки, по-нѣжни и тѣжни очи, по-тънки и меки коси отъ нейнитѣ; не съмъ виждалъ по изящни ръцѣ. Азъ я обожавахъ и тя ме обичаше . . . Но нашиятъ животъ не прѣминаваше весело: нѣкаква тайна, нѣкаква неизлѣчима и не заслужена скръбъ постоянно подядаше самия корень на нейний животъ, на нейното съществуване. Тази скръбъ не бѣше само заради смъртта на баща ми, макаръ тя и да тѣжеше много за него, макаръ и страстно да го любеше и да съхраняваше света паметъ зарадъ него . . . Не! Тукъ се таеше още нѣщо, което азъ не разбихахъ, но което чувствувахъ, чувствувахъ твърдѣ неспокойно и силно, цѣмъ като погледвахъ на тѣзи тѣжни, тихи и неподвижни очи, на тѣзи прѣкрасни, сжшо неподвижни, не само скръбно-горчиво, но като на вѣки стиснати устни.

Азъ казахъ, че майка ми ме обичаше, но забравихъ да ви кажа, че биваха минути, когато тя ме отблѣскваше, когато моето присѣствие ѝ бѣше несносно, додѣвателно. Въ такива минути тя чувствуваше нѣкакво неволно отвращение къмъ мене — а послѣ се плашеше и ми се извиняваше съ сълзи на очи, като ме притискаше до сърцето си. Азъ си мислѣхъ, че тѣзи черни минути произлѣзватъ отъ растроеного ѝ здравие, отъ нещастиего ѝ

. . . Признавамъ се, че тѣзи враждебни чувства би могли до нѣкъдъ да произлѣзватъ отъ нѣкакви си чудни—за мене даже неразбрани—стремления на лоши и прѣстѣпни чувства, които сегисътогисъ ме посѣщаваха . . . Но тѣзи стремления не съпадаха съ минутитѣ на нейното къмъ мене отвращение. — Майка ми носеше всѣкога черни дрѣхи, — тя жалѣеше. Ний живѣехме и се отнасяхме доста на-голѣмо, макаръ почти съ никого да се не познавахме.

II.

Майка ми съсрѣдогочавашъ въ мене всичкитѣ си планове и грижи. Нейний животъ се бѣше слялъ съ моя. Но таквизи отношения между родители и дѣца не сѣ всѣкога полезни за послѣднитѣ . . . Тѣ начесто биватъ врѣдни. Освѣнъ това азъ бѣхъ единъ на майка . . . А такива дѣца повечето пѣти се развиватъ неправилно. Като ги възпитаватъ, родителитѣ имъ толкова се грижатъ за себе си, колкото и за тѣхъ . . . А работата не бѣ тѣй. — Азъ се не разгледахъ и не станахъ жестокъ (едното и другото се срѣща при единственнитѣ дѣца), но нервитѣ ми се рѣстроиха; при това азъ бѣхъ твърдѣ слабъ отъ къмъ здравѣе — като майка си, на която и приличахъ. Азъ не обичахъ да се събирамъ съ връстницитѣ си и въобще избѣгвахъ хората. Даже съ майка си малко се разговаряхъ. Най-много отъ всичко обичахъ да чета, да се расхождамъ самичкѣкъ и да мечтая . . . да мечтая! . . . А за какво мечтаехъ — трудно ми е да кажа. По нѣкога ми се прѣдставляваше, че стоя прѣдъ полузтворени врата, задъ които — отвадъ—се скриватъ голѣми, незнайни тайни; стоя и чакамъ, стоя и не се рѣшавамъ да прѣскоча прага — и все размишлявамъ за това, което ужъ се памвря тамъ — и все чакамъ и замирамъ . . . или заспивамъ. Да имахъ поетически жилка, азъ вѣроятно, бихъ захваналъ да пиша стихове; да чувствувахъ наклонность къмъ набожность, може би, щѣхъ да стана калугеръ; но у мене нѣмаше нищо таково — и азъ продължавахъ да мечтая и да чакамъ.

III.

Азъ ей-сега спомѣнахъ, че заспивахъ по нѣкога подъ натиска на не ясни мисли и мечтания. Въобще азъ спѣхъ много, и сънищата играеха голѣма роля въ моя животъ, сънувахъ почти всѣка нощъ и не си забравяхъ сънищата, а имъ придавахъ значение, считахъ ги за прѣдрачания и се стараехъ да разрѣша тайний имъ

смисълъ. Нѣкои отъ тѣхъ се повтаряха отъ врѣме на врѣме, което твърдѣ много ме очудваше. Особенно ме смущаваше единъ сънь: начесто сънувахъ, че вървя изъ една тѣсна, лоша и кална улица, въ единъ старъ градъ, между многоетажни каменни къщи, съ остроконечни покриви. Азъ търся баща си, който ужъ не е умрялъ, но за нѣщо се крие отъ насъ и живѣе именно въ една отъ тѣзи къщи. И ето азъ влизамъ въ едни ниски, тъмни врата, прѣминавамъ прѣзъ единъ дълъгъ дворъ, натрупанъ съ грѣди и дѣски и най-послѣ влизамъ въ една мѣничка стая, съ двѣ кръгли прозорчета. По-срѣдъ стаячката стои баща ми, облеченъ въ шлафрокъ и пуши тютюнъ съ дула. Той никакъ не прилича на сѣщій ми баща: той е високъ, мършавъ, съ черни косми; носътъ му е кривъ, очитѣ му начумерени и пронизителни, на видъ се гледа да е на около четиридесетъ години. Той се сърди, че съмъ го намѣрилъ, а и азъ сѣщо никакъ не се радвамъ на нашето свидание и стоя въ недоумѣние. Той полегичка се отвърща отъ мене, захваща нѣщо да бърбори и да се расхожда назадъ-напрѣдъ съ дребни крачки . . . послѣ полегка-легка се отдалечава, като продължава да бърбори и да се оглежда назадъ прѣзъ рамо; стаята се расширява и потѣва въ мѣгла, въ димъ . . . Изведнажъ ми става страшно при мисълта, че пакъ изгубвамъ баща си — и се хвърлямъ подирѣ му, но вече го не виждамъ, а само чувамъ неговото сърдито, прилично на мечешко, бърборание . . . Сърдцето ми примера — азъ се събуждамъ и за дълго врѣме не мога да заспя пакъ . . . Прѣзъ цѣлий другий день азъ мисля за този сънь, и, безъ съмнѣние, нищо не мога да намисля . . .

IV.

Настѣши Юний мѣсець. Градеца, въ който живѣехме съ майка си, по онова врѣме се оживляваше необикновенно. Множество кораби пристигаха въ пристанището, множество нови лица захващаха да крѣстосватъ изъ улицитѣ. Азъ обичахъ тогазъ да се скитамъ по брѣгътъ, покрай кафенетата и гостиницитѣ, да се заглеждамъ въ разнороднитѣ фигури на матроситѣ и други хора, които стоеха подъ платненитѣ сѣнници прѣдъ дюгенитѣ си покрай малки бѣли масички, на които стоеха калаени чаши напѣнгени съ бира.

Единъ пътъ споредъ обичая си като минувахъ покрай едно кафене, азъ съзрѣхъ единъ челоуѣкъ, кѣйто обърна върху себе си всичкото ми внимание. Облеченъ въ дълъгъ черенъ балахонъ, съ нахлупена до очитѣ шанка, той стоеше неподвижно, като бѣше скръ

стигъл ръцѣтъ си на гърди. Рѣдката му къдрява коса се спущаше почти до самия носъ; въ гънкѣтъ си устни стискаше късичка лула. Този чловѣкъ до толкозь познатъ ми се показа, всѣка черта отъ неговото мургаво, жълто лице, всяквата му фигура — до толкозь се бѣха запечатлели въ паметьта ми, щото азъ не можехъ да се не спра прѣдъ него, неможехъ да си не задамъ въпросъ: кой е този чловѣкъ? дѣ съмъ го виждалъ? . . . Той, види се, почувствува моя внимателенъ непрѣкъснатъ погледъ, издигна главата си и ме погледна съ своитѣ черни пронизителни очи . . . Азъ въздъхнахъ, безъ да искамъ . . .

Този чловѣкъ бѣше баща ми, — онзи мой баща, когото азъ търсехъ, когото виждахъ на сѣнѣ! . . . Имаше възможность да се сбъркамъ, — сходството бѣше много поразително. Даже самия дългъ балахонъ, който покриваше мършавитѣ му членове, по цвѣта и направата си, ми напомняше онзи плафрокъ, въ който ми се явяваше облѣченъ моя баща.

«Да не бя пъкъ да спя?» — си помислихъ азъ . . . Не . . . Сега е децъ, около мене шуми тълпа, слънцето ясно свѣти отъ синето небе и прѣдъ мене стои живъ човѣкъ, а не призракъ . . .

Азъ се приближихъ при една праздна масичка, поискахъ чаша бира, зехъ единъ вѣстникъ — и сбѣдахъ не далечъ отъ това тайнствено лице.

V.

Като турихъ единтъ листъ отъ вѣстника на равно съ лицето на този чловѣкъ, азъ продължавахъ да го гледамъ, като че искахъ съ очи да го погълна. Той почти се не мърдаше, само сегисъ-тогисъ поподдигаше наведената си на долу глава. Той, виждаше се, очакваше нѣкого. Азъ го гледахъ, гледахъ . . . Но нѣкога ми се струваше, че съмъ измислилъ всичко това, че никакво сходство нѣма, че азъ съмъ подпадналъ подъ полу-неволно излѣгване на въображението . . . но «онзи» изведижъ се повъртяваше малко около масата или си поддигаше малко рѣцѣтъ — и азъ пакъ виждахъ прѣдъ себе си своя «нощепъ» баща! Най-послѣ той забѣлѣжи моето постоянно внимание, и, изпърво съ недоумение, а послѣ съ досада погледна къмъ мене и се приготви да стане. Съ мърданието си той свали малкото си бастонче, което бѣше подпрялъ на масата. Азъ тозъ-часъ скочихъ, поддигнахъ го и му го подадохъ . . . Сърцето ми силно тупаше въ гръдитѣ . . .

Той се усмихна полегка, поблагодари ми, и, като си приближи лицето към моето, поддигна вѣжди и зина, като че нѣщо го поразя.

— Вий сте твърдѣ вѣжливи, младо момче — заговори изведнажъ той съ сухъ и рѣзъкъ, гѣгнивъ гласъ. — Въ сегашно врѣме това е рѣдкостъ. Позволете ми да ви поздравя, вий сте получили добро въспитание.

Не помня що му отговорихъ. Но помежду ни скоро се завърза разговоръ. Азъ узнахъ че той е мой съотечественникъ, че на скоро се е върналъ отъ Америка, гдѣто е проживѣлъ много години, и че скоро пакъ ще трѣгне за тамъ. Той се нарече баронъ . . . Името му не можахъ хубаво да чуя. Той сжщо тѣй, както и моя «нощемъ» баща, свършваше всѣка своя дума съ нѣкакво си вѣтрѣшно не ясно бърборение. Той пожела да знае името ми . . . Каго го чу, той изново пакъ се очуди . . . Послѣ ме попита откога живѣя въ този градъ и съ кого? Азъ му отговорихъ, че живѣя съ майка си.

— А баща ти . . . ? Моя баща откогдѣ е умрѣлъ. Той се научи за християнското име на майка ми и веднага захвана да се смѣе съ непрѣторешъ смѣхъ — а послѣ ми се извини, каго каза, че у него има такъвъ американскій обичай, и че той е чуденъ, своеобразенъ человекъ въобще. Послѣ той полюбопитствува да узнае, дѣ се намира нашата квартира. Азъ му казахъ.

VI.

Възпението, което ме завладѣ въ началото на разговора ни, постепенно угихваше; азъ намѣрвахъ, че нашето ближаване е малко чудно — и толкозъ. Не ми се харесваше усмивката, съ която г-нъ баронъ ме распитваше. Не ми се харесваше сжщо и изражението на неговитѣ очи, когато той ги устремяваше въ мене тѣй, щото ме пронизваше съ тѣхъ . . . Въ тѣхъ имаме нѣщо хищно . . . нѣщо надмѣнно . . . нѣщо тежко. Тѣзи очи азъ не бѣхъ видвалъ въ сѣня св. Чудно бѣше лицето на барона! Понѣхнало, измършавило и въ сжщо врѣме младолико, неприятно младолико. Моя «нощентъ» баща нѣмаше тѣй сжщо и онази дълбока рѣзка, която отстрана прѣсичаше цѣлото чело на моя новъ познайникъ, и която азъ не забѣлжихъ до като се не приближихъ поблизу до него.

Едвамъ уснѣхъ да съобща на барона названието на улицата и номера на къщата, дѣто ний живѣехме, когато единъ арапинъ, твърдѣ високъ, загърнатъ въ едно мантило почти до вѣждитѣ, дойде отзадъ му и тихичко го бугна по рамото. Баронътъ се обърна

промълви: «Аха! Най послѣ!» и като ми кивна съ глава полегка влѣзе зедно съ арапина въ кафенето. Азъ останахъ подъ сѣнника; азъ искахъ да дочкамъ да излѣзе барона, не само за да запри казвамъ изново съ него — (азъ собственно не знаехъ, като за какво мога да приказвамъ съ него) — а да провѣря изново своето първо впечатление. — Но мина се половинъ часъ; мина се часъ . . . Барона се не явяваше. Влѣзохъ въ кафенето, прѣминахъ прѣзъ всичкитѣ стаи — но никждѣ не можахъ да видя нито барона, нито пакъ арапина . . . Тѣ и двамата, вижда се, се сж огдалечили прѣзъ заднитѣ врата.

Главата захвана да ме наболява — и азъ, за да се расхлада, тръгнахъ на долу покрай морскій брѣгъ до пространъ паркъ, който се намираще отвънъ града и бѣше заустѣлъ огъ двѣстѣ години насамъ. — Като се скитахъ два часа подъ сѣнникъ на грамаднитѣ джове и явори, азъ се върнахъ въ къщи.

VII.

Щомъ токо стигнахъ у дома и нашата слугиня искочи прѣдъ мене, силно расгревожена. Азъ тозъ-часъ се усѣтихъ по изражението на лицето ѝ, че въ врѣме на моето отсъствие се е случило нѣщо лошо въ нашата къща. — И наистина, азъ се научихъ, че единъ часъ по напредъ, въ спалнята на мояга майка ненадѣйно се зачуло страшень викъ; слугинята отишла да види защо вика и я намѣрила на подътъ въ несвѣсть, което се продължавало нѣколко минути. Майка ми най-послѣ се свѣстила, — но била принудена да лѣгне въ постелката; тя имала уплашень и странень видъ: нищо не думала, на расписванията не отговаряла, а само се огледала и треперяла. Слугинята пратила градинари за докторъ. Той дошелъ и прѣдписалъ успокоителни срѣдства, майка ми и нему нищо не искала да каже. Градинарътъ казвалъ, че нѣколко минути слѣдъ това, отъ какъ въ стаята на майка ми се чуло викъ, той видѣлъ единъ непознатъ челоувѣкъ, който бързалъ да излѣзе изъ градината прѣзъ пѣтнитѣ врата. — (Ний живѣхеме въ едностайна къща, прѣзъ прозорцитѣ на която се влѣзваше въ доволно голѣма градина.) Градинари не усиѣлъ да разгледа лицето на този господинъ; но външно той билъ мършавъ, носялъ ниска сламена шапка и дългъ сюртукъ . . . «Дрѣхитѣ на барона!» тозъ-часъ ми мина прѣзъ главата. — градинаря не можалъ да го достигне, освѣнъ това пратили го незабавно за докторъ. Азъ влѣзохъ при майка си. Тя лѣжеше въ постелката, по-блѣдна отъ възглавницата, на която се покоеше

нейната глава. — Бато ме видя, тя се усмихна слабо и ми протегна ръката си. Азъ сѣднахъ до нея и захванахъ да я распитвамъ. Отъ най-напрѣдъ тя се отказваше; най-послѣ, обаче, се призна, че видяла едно нѣщо, което я много уплашило. — «Нѣкой не е ли влизалъ тука?» попитахъ я азъ. — «Не» плахо отговори тя. — «Никой не е влизалъ, но менъ се стори . . . менъ се видя . . .» Тя млъкна и закри очитѣ си съ ръка. Азъ желяхъ да ѝ съобща онова, което чухъ отъ градинаря — при това да ѝ разправа за срѣщата си съ барона . . . но, не зная защо, думитѣ замръзнаха на устнитѣ ми. — Азъ се рѣшихъ, обаче, да забѣлжа на майка си, че привидения обикновенно не съществуватъ деня . . . «Остави ме» пошпына тя — «моля ти се . . . не ме мъчи сега. Ти, кога да е, ще узнаешъ . . .» тя млъкна отново. Ржцѣтъ и бѣха студени и пулса ѝ биеше бързо и не равно. Азъ ѝ дадохъ да испие цѣбртъ и се отдалечихъ малко, за да я не безпокоя. — Тя не стана цѣлий денъ. Тя лѣжеше неподвижно и тихо, само шръдко въздъхваше и плахо си отваряше очитѣ. — Всички въ къщи не можахъ нищо да разбератъ отъ това.

VIII.

Вечерята майка ми втрѣсе легко — и тя ме прати да отида да си лѣгна въ стаята. Азъ, обаче, не отидохъ тамъ, а лѣгнахъ въ съсѣдната стая на миндеря. Всѣкой четвъртъ часъ азъ станахъ, отивахъ на прѣсти до вратата на нейната стая и подслушвахъ . . . Вжтрѣ владѣеше тишина, но майка ми надали заспа прѣзъ тая нощъ. Когато утрнѣта рано влѣзохъ при нея — лицето ѝ ми се видѣ пламнало, очитѣ ѝ блѣстѣха не естествено. Прѣзъ деня ней поотлегна малко, но къмъ вечерята жара ѝ пакъ се усили. — До това врѣме тя млчеше упорно, а сега изведнажъ захвана да говори бързо съ прѣбжснатъ гласъ. Тя не говореше безсмисленно, думитѣ ѝ имаха смисълъ, но нѣмаха никаква свѣрска. Малко прѣди полунощъ тя изведнажъ, съ трѣперливо движение, се понадигна и сѣдна на постелката (азъ бѣхъ сѣналъ до нея), и, съ сжщия бързъ гласъ, като пиеше постоянно по гълтка вода отъ една чаша, и, като махаше слабо съ ржцѣ, безъ ни единъ пжтъ да погледне на мене, тя започна да разправа . . . Тя се спираше, правеше надъ себе си усилие и продължаваше изново . . . Тѣй всичко това бѣше чудно, като да ставаше на сънѣ, като че тя сама отсъствуваше, нѣкой другъ говореше чрѣзъ нѣйнитѣ уста или я заставляваше да говори.

IX.

— Слушай, какво ще ти раскажа — захвана тя — ти вече не си малко дѣте; трѣбва всичко да знаешъ. Азъ имахъ една много добра приятелка . . . Тя се ожени за челоуѣкъ, когото любеше искрено и бѣше твърдѣ щастлива съ своя мжжъ. Въ първата година слѣдъ брака имъ тѣ отидоха и двамата въ столицата за да прѣкаратъ тамъ нѣколко недѣли въ веселие. Тамъ наеха една гостинница, и много обичаха да ходятъ по театри и събрания. Моята приятелка бѣше твърдѣ хубавичка — всички я забѣлезаха, младитѣ хора все около нея се въртѣха, — но по мѣжду тѣхъ имаше единъ . . . офицеринъ. Той вървеше всѣкога подиръ ѳ, и дѣто тя и да бждеше, на всѣхдѣ вѣждаше неговитѣ черни, лоши очи. Той не се запозна съ нея и ни единъ пжтъ не бѣха се разговаряли двама — той само я гледаше дързостно и странно. Всикитѣ удоволствия, които можеше да прѣкара моята приятелка съ мжжа си бѣха отровени отъ неговото присѣтствие — и тя захвана да придумва мжжа си да си идаѣ по-скоро — и тѣ вече съвсѣмъ се бѣха приготвили за пжтъ. Веднажъ мжжъ ѳ бѣше отишълъ въ клуба: повикали го бѣха офицеритѣ да играятъ на карти . . . Тя първъ пжтъ остана сама. Мжжъ ѳ много врѣме стоя тамъ — и тя, като не можа да го дочака, каза на слугинята си да я остави сама и лѣгна въ постелката си . . . И изведнажъ ѳ стана твърдѣ тѣжко — тѣй щото тя цѣла истина и затрепера. Стори ѳ се, че нѣкой почука полегка задъ стѣната — сжщо като кога драще куче — и тя захвана да гледа тая стѣна. Въ кжта горѣше кандило; сгаята бѣше цѣла облѣпена съ платъ . . . Изведнажъ нѣщо се мръдна тамъ, надигна се, раствори се. . . И право изъ стѣната, цѣлъ почърнялъ, като дяволъ, дългъ, излѣзе онзи ужасенъ челоуѣкъ съ лошитѣ очи! — Тя поиска да извика, но не можа. Тя съвсѣмъ замръзна отъ страхъ. Той се приближи при нея бързо като хищенъ звѣръ, хвърли ѳ нѣщо на главата, нѣщо задушливо, тѣжко, бѣло. . . . какво се случи по нататѣкъ — не помня. . . . не помня! То приличаше на смъртъ, на убийство. Когато най-послѣ се распрьсна тази мъгла — когаго азъ . . . когаго моята приятелка дойде на себе си, въ станята нѣмаше никого. Тя пакъ — и дълго врѣме — нѣмаше сила да извика . . . Най-сѣтиѣ завика . . . Послѣ всичко се размѣси отнево . . .

Послѣ тя видѣ до себе си своя мжжъ, когото до два часа прѣзъ ноцѣта задѣжали въ клуба. . . Той захвана да я распитва, но тя нищо му не отговори . . . Послѣ ти заболѣ . . .

Обаче, помня, когато остана сама въ стаята си тя разгледа онова мѣсто на стѣната . . . Подъ обвивката тя видѣ едни скришни врата. На ржккѣта ѳ нѣмаше вече обржчачалний прѣстенъ. Този прѣстенъ имаше необикновенна форма. На него имаше седемъ звѣздички наредени поредъ ; — тѣ бѣха златни ; имаше още седемъ срѣбърни. Той бѣше стара семейна драгоценность. Мжжъ ѳ я питаше, кждѣ е дѣнала прѣстена — тя нищо не можеше да му отговори. Мжжъ ѳ си помислилъ, че тя го е загубила нѣгдѣ, за това го търсилъ на всѣкъдѣ, но не можалъ да го намѣри . . . Нападна го тогава тѣга и той се рѣши, колкото е възможно по скоро да си отидатъ дома — и щомъ имъ позволи доктора — тѣ оставиха столицата. Но, прѣдстави си ! Въ самий день на тръгването имъ, тѣ на улицата изведнажъ се натъкнаха на едно носило . . . На това носило лѣжеше токо що убитъ человекъ, съ прѣстната глава — и прѣдстави си ! Този человекъ бѣше онзи сжщий страшенъ нощенъ гостенинъ съ лоштитѣ очи . . . Убили го, когато играли на карти . . . За игра на карти !

Послѣ моята приятелка си отиде въ село . . . стана майка първий пжтъ . . . и проживѣ съ мжжа си нѣколко години. Той никога нищо не узна ; и какво ли пакъ тя можеше да каже ? Тя сама нищо не знаеше.

Но първото имъ щастие изчезна. Тъмнина настана въ живота имъ — и тя никога се не прѣкъсна . . . Тѣ нѣмаха друго дѣте — ни по-прѣди — ни по-послѣ . . . А този синъ . . .

Майка ми цѣла затрепера и закри лицето си съ ржцѣ . . .

— Е, кажи ми сега — продължи тя съ удвоена сила — мигаръ моята познайница е виновна въ нѣщо ? Въ какво можеше тя да се укорява ? Тя бѣше наказана, но мигаръ нѣма, но мигаръ нѣма право да обяви прѣдъ самага Бога, че наказанието, което я постигна, е не справедливо ? Кажи ми — защо на нея, като на прѣстжпница, която кжсатъ угризенията на съвѣстѣта, да може да ѳ се прѣдстави миналото въ такъвъ ужасенъ видъ, послѣ толкова години ? . . . Макбетъ убилъ Банко — за това Банко му се присънилъ ноця, това не е чудно . . . Но азъ . . .

Но тука думитѣ на майка ми до толкози се забъркаха и смѣсиха, щото нищо не можехъ да ѳ разбера . . . Азъ вече не се съмнѣвахъ, че тя блѣнува . . .

Х.

Всѣкой може да разбере, какво голѣмо впечатление е направилъ на мене разказа на майка ми ! Още отъ първитѣ ѳ думи се

усѣтихъ, че тя говори за себе си, а не за нѣкаква своя познайница ; нейното одумване потвърди угажданieto ми. Дѣто ще се каже, това билъ моя баща, когото азъ търсехъ въ снѣя си, когото видохъ на явѣ ! Той не билъ убить както мисляла майка ми, а само раненъ . . . И той дохождалъ при нея и избѣгалъ, уплашенъ отъ нейний страхъ ! Сега азъ всичко разбрахъ : и чувството на неволното ѳ къмъ менъ отвращение, което се пробуждаше по нѣкога въ нея, и постоянната ѳ тѣга, и нашии осамотенъ животъ . . . Помня че главата ми се въртеше и че азъ я уловихъ съ двѣтъ си рѣцѣ, като че искахъ да я спра . . . Но една мисль се втѣпи въ умѣтъ ми : азъ се рѣшихъ, непрѣмѣнно, каквото ще да става, отново да намѣря онзи человекъ—барона ! Защо ? Съ каква цѣль ? Азъ се не мжчехъ да си обясня, но да го намѣря . . . да го намѣря—това стана зарадъ мене въпросъ за животъ или смъртъ ! . . . На другий день майка ми се успокои най-послѣ . . . Трѣската ѳ прѣмина . . . тя заспа. Като накарахъ домакнитѣ и слугитѣ да я надгледвагъ, азъ тръгнахъ да го търся.

ХІ.

Най напрѣдъ, разбира се, азъ отидохъ въ кафенето, дѣто бѣхъ срѣцналъ барона ; но тамъ ми казаха, че никой го не познава, нито пъкъ го е виждалъ ; той билъ случаенъ посетителъ на това кафене. Арачина забѣлѣжили—неговата фигура обръщаше вниманието на всѣкого ; но кой е той, дѣ билъ се установилъ, никой не знаеше. Като оставихъ за въ всѣкой случай адреса си въ кафенето, азъ тръгнахъ изъ улицитѣ, по брѣга, около пристанището, по булваритѣ, гледахъ въ всичкитѣ публични заведения, но нигдѣ не ме намѣрихъ такъвъ человекъ, който да прилича на барона—или на неговий другаръ ! . . . Като не можахъ да чуя фа, милнята на барона, азъ не можехъ да се обърна къмъ полицията ; обаче, казахъ на двама-трима пазители на общественний редъ (наистина, тѣ съ очудване гледаха на мене и твърдѣ не ми вѣрваха), че ще ги възнаградя богато за усърдието, ако имъ се падне да уловятъ диритѣ на тѣзи двѣ личности, на които се постаряхъ да опиша външността, колкото ми бѣше възможно по-точно. По този начинъ като прѣкарахъ до обѣдъ въ търсение, азъ се върнахъ уморенъ и грохналъ у дома. Майка ми се поддигна отъ постелката. Азъ съспикасахъ, че къмъ обичната ѳ тѣга се бѣше присѣдинило нѣщо ново, нѣкакво-си замислено очудвание, което като ножъ ме рѣжеше по сърдцето. Вечерята прѣкарахъ съ нея. Ний почти нищо не говорихме ; тя държеше карти и си играеше съ тѣхъ, а азъ

мълчаливо я гледахъ. Тя нищичко не спомена нито за разказа си, нито за онова, което се случи първата вечеръ. Ний като че ли и двама се бѣхме заклели да не говоримъ за тѣзи тежки и чудни провѣществия . . . Неи като че ли бѣше мъчно, като че ли се каеше, за дѣто ми бѣше расправила за тѣзи случки; а може би тя и да не помнеше това добрѣ, което ми бѣше искажала въ своето полу-трѣскаво расгорещено блѣнувание — и се надѣваше, че ще ѝ простя . . . И наистина, азъ ѝ прощавахъ и тя чувствуваше това; тя, както и първий день, избѣгваше моя погледъ. Азъ не можахъ да заспя прѣзъ цѣлата нощъ . . . На двора изведнажъ се повдигна страшна буря. Вѣгъра виеше и бѣсно реवेशе, стѣклата на прозорцигѣ звънтеха глухо, въ въздуха се носѣха отчаяни викове и пѣшкания, като че нѣщо тамъ, отъ горѣ, се трошеше и съ отчаянъ плачъ прѣлѣтяваше надъ растърсенитѣ къщи . . . Прѣдъ зори азъ задрѣмахъ малко . . . Изведнажъ ми се стори, че нѣкой влѣзе въ стаята при мене и че ме повика, като ми изрече името не съ високъ, но рѣшителенъ гласъ. Подигнахъ главата си и не видяхъ никого, но, чудна работа! Азъ не само че не се уплашихъ, но! се и зарадвахъ: въ мене ненадѣйно се яви увѣренность, че непрѣменно ще достигна цѣльта си. Азъ на скоро се облѣкохъ и излѣзохъ изъ дома.

ЖІІІ.

Бурята утихна . . . но още се чувствовахъ нейнитѣ послѣдни сътрясения . . . Бѣше-още рано, по улицитѣ се не срѣщаха хора, на много мѣста се търкаляха парчета отъ тухли, кирпичи, гърнета, дъски отъ стобори, счупени клончета отъ дървета . . . „Какво е било нощесъ на морето?“ неволно ми идеше на умъ при изгледътъ на диритѣ, които бѣ оставила бурята. Азъ искахъ да отида на пристанището, но краката ми — като че се повинуваха на неотразимо влѣчение — ме понесоха въ друга страна. Не се минаха и десетъ минути, когато се намѣрихъ въ оная часть на града, която не бѣхъ посѣщавалъ до тогава. Азъ вървехъ полегка, но не се спирахъ — крачка подиръ крачка — съ чудно усѣщание въ сърдцето. Азъ все чакахъ нѣщо необикновено, невъзможно, и въ сжщо врѣме бѣхъ увѣренъ, че това необикновено ще се сбѣдне.

ХІІІ.

И ето то се сбѣдна — необикновенното, неочаквано! Изведнажъ на двадесетъ крачки расстояние — прѣдъ мене — азъ ви-

дяхъ този сжщий арапинъ, който говореше въ кафевето прѣдъ мене съ барона, обвитъ съ сжщото мантелo, което азъ още тогава забѣлѣжихъ у него, той сѣкнахъ изъ земята излѣзе, и като се обърна къмъ мене гърбомъ тръгнахъ съ бързи крачки по тѣсний тротоаръ изъ една малка, тѣсна и крива улица! Азъ тозъ-часъ се затирихъ подирѣ му, но и той си удвои крачкитѣ, макаръ и да не се обърна назадъ. изведнажъ чевръсто кривна задъ една, издадена надъ пѣтя, къща. Азъ достигнахъ тази къща, кривнахъ се бързо като арапина . . . и да видяшъ чудо! Прѣдъ мене се испрѣчи една дълга, тѣсна и съвършено пуста улица; утренната мъгла я бѣше покрила съ своето мжтно покривало, — но моя погледъ прониква до самия ъкрай, азъ мога да разгледамъ всичко въ нея . . . и ни едно живо сжщество нигдѣ нѣмаше! Високий арапинъ съ мантиелото тѣй сжщо ненадѣйно исчезна, както се и появи! Азъ се почудихъ . . . но само за една минута. Тозъ-часъ ме завладя друго чувство: тази улица, която се бѣше протѣгнала прѣдъ очи ми, нѣма и мъртва — азъ я познавахъ! Това бѣше улицата, която виждахъ въ снѣя си. Азъ затреперахъ, — утреньта бѣше хладна — и тозъ-часъ, безъ да се колебаю. тръгнахъ наирѣдъ!

Азъ захванахъ да търся съ очи . . . Да, ето го; ето направо, като изминешъ и тротуара, ето и къщата, която виждахъ въ снѣя си, ето и старитѣ врата, сжщитѣ . . . Наистина прозорцитѣ на къщата не сж кржгли, а четерожгални, но това не е важно . . . Азъ почукахъ на вратата — веднажъ, дважъ, трижъ, — всё по силно и по-силно . . . Вратата се отвориха полекга съ страшно скриптенне . . . Прѣдъ мене се испрѣчи млада слугиня съ разрошена глава, съ снѣени очи, тя, вижда се, щомъ токо се е събудила.

— Тукъ ли живѣе барона? — попитахъ я азъ и изгледахъ на бързо дълбокий, тѣсний дворъ . . . Да: всичко е тѣй . . . ето ж дѣскитѣ, и гредитѣ, които азъ виждахъ на снѣя си.

— Не — отговори ми слугинята — барона не живѣе тука.

— Какъ не? Не може да бжде!

— Сега го нѣма. Той вчера замина.

— Кждѣ?

— Въ Америка.

— Въ Америка! — повторихъ азъ неволно. — Но той ще се върне, не ли?

Слугинята погледна подозрително на мене.

— Азъ това не зная. Може би, никога нѣма да се върне.

— Дълго ли живѣе той тука?

— Не — една недѣля. Сега той вече не е тука.

— А какъ бѣше фамилията на този баронъ ?

Слугинята ме загледа очудена.

— Вий мигаръ не знаете фамилията му? Ний го наричахме само баронъ. Ей Петре! — извика тя, като видя, че азъ тръгнахъ на вжтрѣ. — Ела самъ тука: единъ непознатъ дошълъ тука и ме раснитва постоянно

Отъ къщи излѣзе една не стройна фигура на единъ младъ работникъ.

— Какво е това? Що ти трѣбва? ме попита той съ сипкавъ гласъ, и, като ме изслуша начумерено, повтори ми казаното отъ слугинята

— Кой живѣе тукъ? промълвихъ азъ.

— Нашия домакинъ.

— Кой е той?

— Столяръ. Изъ тази улица сж все столари.

— Мога ли да го видя?

— Сега не можешъ. Той спи.

— Не мога ли да влеза въ къщи?

— Не можешъ. Идете си.

— Добрѣ. Но послѣ нели ще мога да го видя?

— Защо не? Можешъ. Той всѣкога може . . . Той е търговецъ.

Само сега си идете. Вижъ, рано е още.

— Е, ами онзи арапинъ? — попитахъ изведнажъ азъ.

Работникъ съ недоумѣние погледна първо на мене, а послѣ на слугинята.

— За какъвъ арапинъ блѣнувашъ? — продума той най-послѣ. — Идете си, господине! Подиръ елате, ако обичате. Съ домакина ще се разправите.

Азъ излѣзохъ на улицата. Вратата изъ единъ пжтъ се затвориша подиръ мене, тежко и рѣзко, но този пжтъ безъ скриптенне.

Азъ хубаво заблѣжихъ улицата и къщата, и тръгнахъ по нататакъ, но не вѣяъ дома. — Азъ усѣцахъ нѣщо като разочарование. Всичко онова което се случи съ мене, бѣше толкозъ странно, толкозъ необикновенно — а между това, колко глупаво се свърши то! Азъ бѣхъ увѣренъ, азъ бѣхъ убѣденъ, че ще видя въ тази къща познатата менъ стая — и по срѣдъ нея моя баща — барона — въ шлафрокъ и съ лула . . . А на мѣсто това — домакина на къщата — столаръ, и него можешъ да посѣгнешъ, кога му е угодно и то само за да му заржчашъ да ти направи единъ столъ! . . .

А баща ми заминалъ за Америка. Е, сега какво да правя азъ? . . . Да раскажа ли всичко на майка си, или на-вѣки да за-

ровя самия̀ споменъ за тази срѣща? Азъ рѣшително никакъ не можехъ да се помира съ мисълта, че отъ такова свѣрхестественно, таинствено начало може да излѣзе такъвъ безсмисленъ, такъвъ простъ край!

Азъ не искахъ да се върна дома и за това тръгнахъ, където ми видятъ очи, внѣ отъ града.

XIV.

Азъ вървехъ съ наведена глава, безъ мисли, почти безъ никакви усѣщания, но цѣлъ задълбоченъ въ самото мое същество.— Равномѣренъ, глухъ и сърдитъ шумъ ме изведе изъ оцѣпението ми. Азъ поддигнахъ глава: то морето шумяло, което бѣше на петдесетъ раскрача далечъ отъ мене. Видѣхъ, че вървя по пѣска на дюнитѣ. Расклатено отъ нощната буря, морето се бѣлѣше до самия̀ небосклонъ отъ бѣли, къдриви облачета, и стръмнитѣ гребени на дългитѣ вълни вървѣха една подиръ друга и се разбиваха о плоския̀ брѣгъ. Азъ се приближихъ и тръгнахъ на долу по самата черта, която бѣше оставена отъ отлива и прилива на жълтий, дребенъ пѣсѣкъ, усѣянъ съ парчета отъ морски растения, отъ късове ржовини и отъ змиевидни листове отъ пануръ. Острокрилитѣ чайки, съ жално крякание долѣтяваха заедно съ вѣтъра отъ далечна въздушна бездна, издигаха се, бѣли като снѣгъ, на сивото облачно небе, падаха бързо — и, като прѣскачаха отъ вълна на вълна, отдалечаваха се пакъ и се изгубваха, като срѣбърни искри въ ивицата на морската пѣна. Нѣкои отъ тѣхъ, азъ забѣлжихъ това, упорито се въртѣха все около едритѣ камъни, които осамотено стърчеха по срѣдъ еднообразнитѣ пѣсачни брѣгове. Дебелата морска трѣва растеше на неравни купчинки отъ едната страна на камънитѣ; а тамъ, дѣто нейнитѣ прѣплетени стѣбла се показваха, изъ единъ трапъ се чернѣше нѣщо — нѣщо дълго, закръглено, не твърдѣ голѣмо . . . Азъ започнахъ да се вирамъ . . . Нѣкакъвъ-си тъменъ прѣдмѣтъ лѣжеше тамъ, лѣжеше неподвижно край камъка . . . Този прѣдмѣтъ ставаше все по-ясенъ, по-опрѣдѣленъ, колко повече го приближавахъ....

За да стигна до камъка, имаше още тридесетъ крачки... Да . . . Ахъ, това е очертанье на челоувѣческо тѣло! То е трупу̀! Това е удавеникъ, исхвърленъ отъ морето! Азъ се приближихъ до камъка . . .

То бѣше тѣлото на б-рона — моя бащи! Азъ се спряхъ, като вкамененъ . . . Чакъ сега разбрахъ, че още отъ утреньта, ме водеха нѣкакви непознати-тайни сили — че азъ съмъ въ тѣхната власть — и

въ продължение на нѣколко минути въ душата ми нѣмаше нищо, освѣнъ бурний морскій пѣсъвъ — и нѣмий страхъ прѣдъ съдбата, която ме бѣше завладѣла . . .

XV.

Той лѣжеше на гърба си, наклоненъ малко на една страна . . . Лѣвата си ръка бѣше прѣмѣтналъ прѣзь главата . . . Дѣсната му бѣше възхната подъ прѣгннатото тѣло. Лѣвилвата тиня бѣше изсмукала върховетѣ на краката му, обути въ високи матроски ботуши; късата синя файка, цѣла напоена съ морска соль, не бѣше се раскопчала; червений шалъ обхващаше неговийтъ обгегнатъ вратъ. Мурганото му лице, обърнато къмъ небето, като че се подсмиваше; изъ подъ обърнатата му горня устна се съгледваха неговитѣ чести, дребни зъби; мжтнитѣ зракове на полузатворенитѣ му очи едвамъ се отличаваха отъ потъмнѣлата на около бѣлизна; покрититѣ съ мѣхурчета отъ пѣна и зацапани косми се бѣха распрѣснали по земята и оголили гладкото чело съ дълбоката рѣзка; тънкий му носъ се показваше изъ между испититѣ му страни, като неприягна бѣла черта. Бурята прѣзь миналата нощъ бѣше свършила работата си! . . . Той не можа да види Америка!... Человѣкътъ, който оскърби моятъ майка, който обезобрази нейния животъ — моя баща — да! моя баща — азъ не можехъ да се съмнявамъ въ това — лѣжеше, безсилно распрострянъ въ калъта при моитѣ крака. Азъ испитвахъ чувството на удовлетворено отмъщение и жалость, и отвръщение, и ужасъ, повече отъ всичко . . . двоенъ ужасъ: и прѣдъ това, което азъ видѣхъ, и прѣдъ онова, което бѣ извършено. Онова зло, онова прѣстѣпно нѣщо, за което азъ вече говорихъ, онѣзи неразбрани стрѣмления се подигаха въ менъ . . . задушваха ме . . . Аха! мислѣхъ си: ето, защо съмъ такъвъ . . . ето отдѣ се познава, че еднаква кръвъ тече по жилитѣ ни . . . Азъ стоехъ до трупа, и гледахъ, и чакахъ; нѣма ли да се мръднатъ тѣзи мрътви зракове, нѣма ли да трепнатъ тѣзи вдървени устни? — Не! Всичко мъртво! Даже трѣвата върху която го бѣше исвърлило морето, като че бѣ умрѣла; и чайкитѣ бѣха отлѣтѣли — нигдѣ нѣмаше ни едно парче отъ разбита дѣска, отъ корабъ или нѣщо друго. Пустота на всѣкъдѣ . . . Само той — и азъ — и шумящето татакъ море. Азъ се обърнахъ назадъ, същата пустота и тамъ: верига отъ неподвижни ридове на небосклона . . . и толкозъ! . . . Грозно ми идеше да оставя този нещастникъ въ това осамотение, въ прибрѣжната тиня, за плячка на рибитѣ и птицитѣ; вътрѣ-

шенъ гласъ ми казваше, че съмъ длъженъ да нахърря, да повикамъ хора, ако не за помощъ — че що може да му се помогне! — то поне да го прибератъ и отнесатъ подъ нѣкой покривъ . . . но неисканъ страхъ изведнажъ ме обвзе. Стори ми се, че този умрѣлъ челоуѣкъ знае, че азъ съмъ дошълъ тука, че той самъ е приготвилъ тази послѣдня срѣща — даже ми се стори, че чувамъ онова познато глухо бърборанне . . . Азъ се отстранихъ . . . погледнахъ още веднажъ . . . Нѣщо блѣскаво се мѣрна прѣдъ очитѣ ми: то ме спрѣ. То бѣше златенъ прѣстенъ на отхвърлената рѣка на трупа . . . Азъ веднага познахъ обрѣчалния прѣстенъ на майка си. Помня, че се върнахъ, дойдохъ до трупа и се наведохъ . . . помня допиранieto до студенитѣ прѣсти, помня какъ се задъхвахъ, зажумявахъ и скърцахъ съ зѣби, като се мъчехъ да извадя прѣстена..

Най-послѣ го извадихъ — и бѣгамъ, бѣгамъ надалечъ, бѣгамъ прѣзъ глава, — а нѣщо тича по дирѣ ми, и ме стига и ме лови . . .

XVI.

Всичко, което усѣтихъ и испитахъ, бѣше, вѣроятно, отражено на лицето ми, кога се върнахъ дома. Щомъ влѣзохъ въ стаята, майка ми ненадѣйно изведнажъ се исправи прѣдъ мене и тѣй настойчиво испитателно ме погледна, щото азъ, като безплодно се опитахъ да ѝ раскажа, мълчаливо ѝ протегнахъ рѣката си, въ която бѣше прѣстена. Тя прѣблѣдня страшно, очитѣ ѝ се раствориха извънмѣрно и помъртвѣха като у *оногози*, — тя слабо извика, докопа прѣстена, залюля се, падна на гърдитѣ ми и примрѣ на тѣхъ, съ отхвърлена назадъ глава, като ме поглѣщаше съ широкитѣ си като че обезумѣли очи. Азъ я прѣгърнахъ съ двѣ рѣцѣ и, като стоехъ на едно мѣсто, безъ да се мръдна, безъ да бързамъ,казахъ ѝ съ тихъ гласъ всичко, безъ да скрия нѣщо: съня си и срѣщата, и всичко, и всичко . . . Тя ме изслуша до край, безъ да продума дума, само гърдитѣ ѝ по-силно и по-силно се повдигаха — и очитѣ ѝ изведнажъ се оживиха и спустиха на долу. Послѣ тя си турна прѣстена на безименний прѣстъ на рѣката и слѣдъ малко, захвана да си туря мантилото и шиката. Азъ и понитахъ кѣдѣ се готви да отиде. Тя ме погледна зачудено и искаше да ми отговори, но гласа ѝ не я слушаше. Тя потрепера нѣколко цѣти, потри си рѣцетѣ, като че ли искаше да се стопли и, най-послѣ, проговори: „хайде по-скоро тамъ“.

— Кѣдѣ, майчице?

— Дѣто лѣжи той . . . азъ искамъ да видя . . . азъ искамъ да узная . . . Азъ ще узная . . .

Азъ се опитахъ да я придумамъ да не ходи; но насмалко остана да ѝ припадне. Видяхъ че неща мога да се противя на желанието ѝ — и ний тръгнахме.

XVII

И ето, азъ пакъ вървя по пѣсѣка на, дюнитѣ — но вече не съмъ самичакъ. Азъ вода подъ мишца майка си. Морето се отдръпнало на навжтрѣ; — то утихва вече — но и ослабналии му шумъ е пакъ грозенъ и зловѣщъ. Его най послѣ показа се отпрѣдъ ни осамотений камъкъ — ето и трѣвата. — Азъ се заглеждамъ, мжча се да различа ози закржгленъ лѣжащъ на земята прѣдмѣтъ — но нищо не виждамъ. Ний се доближаваме; азъ неволно умалявамъ крачкитѣ си. Но дѣ е онова черното, неподвижното? Само едниятъ стѣбла на пѣпура се тъмнѣять надъ пѣсѣка, изсъхнали вече. Ний дохаждаме до самий камъкъ . . . Трупа нѣма никждѣ — и само на онова мѣсто, дѣто лѣжеше той, има вдлъбнатина и се вижда гдѣ сж били краката му, ржцѣтъ му . . . На около трѣвата повалена и се забѣлѣзватъ стжпки на человекъ; тѣ минаватъ прѣзъ дюната, — послѣ, какъ достигнатъ до по едрии пѣсѣкъ и каманитѣ — изгубватъ се.

Ний се поглеждаме съ майка си и сами се плашимъ отъ онова, което разбирахме по лицата си. . . .

Дали не е станалъ той самъ и си е отишълъ?

—Ти нели мъртавъ го намѣри тука?—пита ме тя съ шпнение.

Азъ кимнахъ само съ глава. Не бѣха се минали още три часа отъ какъ азъ се натъкнахъ на трупа на барона . . . Нѣкой го е намѣрилъ и го е дигналъ отъ тука. — Трѣбваше да се издири, кой е направилъ това и кждѣ го е занесълъ?

Но по-напрѣдъ трѣбваше да се погрижа за майка си.

XVIII.

До дѣто майка ми отиваше къмъ злокобното мѣсто, трѣска я избиваше, но тя се държеше още. Изгубването на трупа я поразн. като най-подирне нещастие. Тя се забрави. прѣнесе. Азъ се страхувахъ да не полудѣе. Съ голѣмъ трудъ я донедохъ до дома. Като си отидохме сложихъ я на последката и поникахъ пакъ докторъ: не щомъ малко нѣщо се опомни, тя тозъ-часъ ми заржча да отида въ сжщия мигъ, да търся ози человекъ. Азъ я послушахъ. Но, при всичко, че употрѣбихъ всичкитѣ си сили, азъ нищо неможахъ да открия. Нѣколко пжти ходихъ въ полицияга, посѣтихъ всичкитѣ околни села, напечатахъ нѣколко обявления изъ вѣстни-

цитѣ, отъ всѣхъдѣ събирахъ разкази, но на пусто! Наистина, до мене достигна извѣстие, че въ едно отъ приморскитѣ села билъ исквърленъ отъ морето единъ удавеникъ . . . И азъ тозъ-часъ отидохъ тамъ, но тѣ бѣха го вече заровили, пакъ и по облязитѣ той не приличаше на барона. Азъ се научихъ съ какъвъ корабъ той отпътвахъ въ Америка; отъ най-напредъ всички мислѣха, че този корабъ се е разбилъ въ бурята; но, слѣдъ нѣколко мѣсеца се распрьснаха слухове, че него видѣли съ спусната котва въ Нью-Йорското пристанище. Като не знаехъ що да правя, азъ зехъ да търся арапина, прѣдлагахъ му чрѣзъ вѣстницитѣ доста голѣма сума пари, ако той дойде да се яви у дома. И наистина нѣкакъвъ-си високъ арапинъ дохождахъ у дома, когато ме нѣмало . . . Но, слѣдъ като распитахъ слугията за едно — за друго, тозъ-часъ си отишълъ и повече не идвалъ.

Тѣй се и изгуби дирята на моя . . . моя баща; тѣй се скри той за винаги въ нѣмата тъмнина.—Съ майка си ние никога вече не приказвахме за това; само веднажъ, помня, тя се почуди, защо азъ понапрѣдъ не помѣнувахъ за моя сънь; при това тя притурри: «дѣто ще рѣче, той сжщо . . .» и не до исказа мисльта си. Тя дълго врѣме лѣжа болна, а че и слѣдъ оздравянето ѝ не се подновиха първитѣ наши отношения. Неѣ бѣше грозно да стои съ мене — чакъ до смърта ѝ . . . Именно грозно. А на тази скърбъ не можеше да се помогне. Всичко се изглажда, — споменитѣ за най-трагическитѣ семейни случки полегка-легка изгубватъ своята сила и съспния, но ако чувството на нерасположение се настани между двама души—и то приближени—това не може съ нищо да се изглади! — Азъ вече никога не сънувахъ онзи сънь, който по-напрѣдъ толкозъ ме плашеше; азъ вече «не търся» своя баща; но по нѣкога ми се струваше—и до сега ми се струва—на-сънѣ, че слушамъ нѣкакви си отдалечени вопли, нѣкакви си несмълкаеми, отчаяни жалби; чуватъ се тѣ нейдѣ-си задъ висока стѣна, прѣзъ която не може да се мине и ми разкъсватъ сърдцето—и азъ плача съ затворени очи — и нѣкакъ не мога да разбера, какво е тс: живѣли чловѣкъ вѣшка — или слушамъ дългия, пронизителенъ вой на развълнувано море? И ето, този вѣкъ пакъ прѣминава въ онова звѣрско бърборание — и азъ се събуждамъ съ тѣга и ужасъ въ сърдцето си.

Ив. Ст. Андрейчинъ.



ПРЪДВИДИВОСТЪТА НА АСПАЗИЯ.

отъ

ВИЛНИЕ ДЕ ЛИЛЬ-АДАМЪ.

(Пръведъ отъ французски.)

Алживиадъ една вечерь, като намъри опашката на своето куче въ златний шиньонъ на Аспазия — когато великата, хетера бѣ заспала, — се облѣгна умисленъ върху коринтский губеррь, неговото удоволствено ложе.

Легкий ударъ отъ това движение събуди младата жена; при видѣтъ на рошавий прѣдмѣтъ, когото разглеждаше знаменитый юноша, нейний погледъ, между рѣсницитѣ ѳ, хвърли мраченъ блѣсъкъ.

— Ти ли се отнесе тъй жестоко съ мойтъ единственнъ приятель, попита той.

— Азъ: прости! отговори Аспазия.

— Да не е това споредъ нѣкое внушение отъ боговетѣ?

— Да, отъ Паллада! . . . каза тя, безъ да се смути отъ неговата язвителна усмивка.

— Споредъ нѣкое услужливо мнѣние на Ареопага, по добръ! . . . Едно рѣшение, почти дѣтинско, не е ли доволно да съсише довѣрието на народѣтъ? . . . Тѣй да е; азъ имъ прощавамъ, защото тѣ по-малко ме мразятъ, отъ колкото не ме обичатъ.

Тя наведе глава

Лукавийтъ Атинянинъ, като искаше да я принуди къмъ по-скоро признание, подзе тутакси, съ единъ видъ пълно равнодушие; — О, пази тайната си!

Като казваше това, той захвърли смѣшннй меланхоличенъ прѣдмѣтъ далеко на плочитѣ, прѣзъ тъмната сивевина отъ лампата.

Тогава Аспазия привлѣче, подъ своитѣ омайни устни, челото на младий херой и като го цѣлуна нѣжно, продума съ войнствена гордость:

— По малко прѣструвки, дѣте! Азъ отстъпвамъ . . . Защо извършихъ азъ това? . . . Защото сърдцето ми е испълнено отъ ясно-видяща любовь къмъ тебе.

Синѣтъ на Клиния при тѣзи думи широко раствори очи:

— Немá това е оправдание за да отрѣжешъ опашката на кучето ми? — извика той.

Но важната кургизанка, съ очи пълни съ сълзи, които се ронеха, подобно дълги диаманти, съ блъскътъ на прѣчупената огърлица около мраморната шия на Алкивиада:

— Друзе, каза тя: ти знаешъ, азъ съмъ жена чийто умъ се замъглява само въ врѣме на развѣчения, но истинкътъ ми е тъй сжщо непогрѣшимъ, като една Сократова мисль.—Слушай ме!

Прѣлестното създание каго да се замисли пѣколко минути.

— На възраст, на която другитѣ едвамъ излѣзватъ отъ училище, продължи тя, не си ли ти знаменитъ вождъ, увѣчанъ съ кървавий ларвъ на Понгида?— могщъ риторъ, чието слово смущава краснорѣчието на архонтитѣ? — политикъ, чието лукавство смути онова на персийскитѣ пратеници? Какво да се мисли за тебъ, божественний юноша? . . . за тебе, любовникътъ на Аспазия? — Онѣзи, които те осъждатъ за твоитѣ царски богатства, ти ги обсипвашъ, въ своята прѣзрителна мечь, съ щедротитѣ си. Ти не се прѣкланяшъ, ти най сияйний отъ синоветѣ на Атини, освѣнъ прѣдъ твоята воля. Виждъ, роскошъта и пламенътъ на твоитѣ невъздържности не доведоха ли даже до мълчание Тисатерна, блѣднийтъ сатрапъ? И твоята трезвость, по послѣ, когато ти скивна да бѣдешъ умѣренъ, не изуми ли Диогена, мрачныйтъ искатель на человекци, и го накара да угаси свойтъ фенерь?—Тогавъ кой си ти, скептическии спасителъ на отечества. Всички те обожаватъ! Сама азъ се гордѣя още нъ твоитѣ прѣгрѣдки, и това женско чувство увеличава радостъта на моята любовь. Атини е тъй сжщо горда като мене съ Алкивиада! По-вече даже отъ колкото съ Перикла! — Така азъ бихъ била за всѣкога честита, като имамъ за идеалъ — твоето име да бѣде безсмъртно, защото, подиръ толкова поличби, то вече нѣма да изчезне.

При тѣзи думи трепетна цѣлувка на могщый юноша вдѣхна отъ сияйнитѣ уста на Аспазия, виденията на слава и любовь, които въ въсторжений шепотъ на тази любовница, излитаха, подобно листовце живо цвѣте.

Тя почна:

— Но като зная суетностьта на неблагодарнитѣ человекци — и съ каква пища се храни поклонението на народитѣ прѣдъ паметъта на великитѣ хора — отъ день на день се повече и повече ме мжчи грижа, заради твоето име слѣдъ вѣкове? Его на! прѣзъ-дене, на олимпийскитѣ игри, когато народътъ ти въздаваше хвала за твоитѣ триумфи како поетъ, артистъ и боець, азъ наднахъ въ отчаяние.

„Уви! си думахъ азъ, человекцитѣ не удостоятъ, или немо-

гагъ да спомнятъ освѣнъ онѣзи мощни герои, чийто образъ е възпѣлъ само въ едно дѣло, само въ единъ бѣгнѣ, като статуи. Но ти, тѣй разнообразенъ! Ти си като басня, въ която толкува черти си противорѣчатъ! Кой странствующъ поетъ може да очертае подъ толкува вида, единството на твоята тайнствена природа, и, чрѣзъ това, да те направи достѣпенъ за хорскитѣ шумъ. Бързо се забравятъ онѣзи, които съ своя характеръ, въ едно и сѣщо врѣме възвишенъ и непостижимъ, унижаватъ разумнието на множеството. Съ какво срѣдство може се принуди тылната да помни, ясно, за единъ такъвъ чловѣкъ като тебе ?

«Скоро азъ дойдохъ до заключение :

Никаква проста мѣра не може се приложи къмъ твоето величие; — трѣбва да се прибави къмъ твоята История . . . да . . . нѣщо толкува особено, колкото и незначително, чиято дребнавост да може да се приравни къмъ хорскитѣ разумъ и по този начинъ да се втъпи въ тѣхъ споменътъ за твоитѣ подвизи!»

«О! това *мищо*, тази чертичка, незначителна може би, но ясна и проста, ще запечата по-твърдо твоето име въ историята, по единъ по-неизгладимъ начинъ, отъ колкото само твоитѣ възвишени дѣяния.

«Видѣ ми се, че съ помощта на това смѣхотворно обстоятелство, (което трѣбваше да се измисли и прокара въ лѣтописитѣ на твойтъ животъ), паметта на цѣлийтъ славенъ пѣтъ на твоитѣ сѣдбини ще може сигурно да мине въ Бъдущето.

«Но, въ име на Палада! отъ гдѣ да се вземе най-хубавата измислица, съ каква гениална свѣткавица да се озари? да се избере?

«Безъ нея, струва ми се, че виждамъ да се изличава, въ отдалечността на вѣковетѣ, и да се разсѣйва отъ грозний вѣтъръ, що вѣе отъ брѣговетѣ на Лега, прѣлестниятъ златенъ пѣсъкъ на твоята сѣдба.

«Вчера, при-зори, сѣпната отъ тѣзи нощни мисли, азъ излъзохъ, дългоскривана, отъ онзи дворець, гдѣто ти още спеше безгриженъ.

«Около ми, мраморитѣ на Атини, подъ високитѣ маслични дървета, блѣстеха облѣни отъ розовитѣ зари на утрото; долу, върху священний хълмъ, храмятъ на Палада привличаше моитѣ стѣпки. Божественно внушение ме водеше тамъ.

«Слѣдъ като поклонихъ на богинята (която много ги обича) два пауна, тя ми вдѣхна, тъкмо прѣдъ олтарьтъ, дивната постѣпка, която несъмнѣнно ще спази най-добрѣ твоето име отъ вълнитѣ на Забвението, — постѣпка, чиято прѣзрителна ирония, като побѣдоносна егида, трѣбва да запази нетлѣнно името на Алкивиада.

— О, Божественний юноша, твоята истинска слава може да бжде непризната отъ бждущитѣ поколѣния! . . . твоята красота, твоята мждростъ, твоята храбростъ, блѣсъкътъ на твойгъ гений, всичко онова що си извършилъ за отечеството — вече на два пжти отъ тебе спасявано — всичко това може легка-по-легка да изчезне, да стане почти непознаваемо . . . Но благодарение на менъ, ето че е усигорено твоео безсмъртие:—азъ стрѣзахъ ошаката на твоео куче!

СТИХОТВОРЕНИЯ ВЪ ПРОЗД.

ОТЪ

И. С. ТУРПЕНЕЗЪ.

(Прѣводъ отъ руски).

МОЛИТВА.

За какъзото и да се моли человекъ — той се моли за чудо. — Всѣка една молитва се свожда къмъ слѣдующето: „Великий Боже, направи, щото двѣ по двѣ — да не е четири“

Само такъва молитва и е истинска молитва отъ едно лице къмъ друго. Да се молимъ на Всесвѣтнийтъ Духъ, на Висшето Сщество, на Кантовскийтъ, Хегелевскийтъ, очистенъ, безобразенъ Богъ — е невъзможно и немислимо.

Но може ли дори личнийтъ, живъ, образенъ Богъ да направи, щото двѣ по двѣ — да не е четири.

Всѣкий вѣрующій е длъженъ да отговори: *може* — и е длъженъ самъ себе си да убѣди въ това.

Но ако неговийтъ разумъ възстане противъ таково безмислие?

Тукъ Шекспиръ ще му дойде на помощъ: „Има много работи на свѣта, приятелю Хорацио . . .“ и т. н

А ако почнатъ да му възражаватъ въ името на истината, — нему стига да повтори прочутийтъ въпросъ: „Що е истина?“

И за това: я да приемъ и да се веселимъ — и да се молимъ.

ПОСѢЩЕНИЕ.

Азъ стоехъ при растворенъ прозорець . . . една утрень, ранна утрень на първий Май.

Още не бѣше се зазорило; но вече блѣднѣеше, вече хладѣеше тъмната, топла нощъ.

Мъглата още се не дигаше, вѣтрець не подухваше, всичко бѣ едноцвѣтно и безмълвно... но усѣщаше се близостъта на пробуване

— и въ порѣдѣлиитъ въздухъ меришеше на силна росна влага.

Изведнаждъ въ стаята ми, чрезъ растворениитъ прозорець, съ легкъ звонъ и шумоление, влѣтя една голѣма птица.

Ахъ трепнахъ, вперихъ очи . . . То не бѣ птица, то бѣ крилата, малка жена, облѣчена въ тѣсна, дълга съ вълнисти поли дрѣха.

Цѣлата тя бѣ сива, цвѣтѣтъ на седефъ, само вжтрѣшната страна на нейнитѣ крила аѣеше съ вѣжна руменина на токо що цвѣнагъ трендафилъ; вѣнецъ отъ момини-сълзи обгрѣщаше разхвърленитѣ кждри на крѣглата главица, — и двѣ паунови пера, като на переруда мустачки, смѣшно се люлѣеха надъ прѣкрасното изпъкнало чело.

Тя два пѣти прѣхвъркна подъ потонѣтъ; нейниитъ мѣничѣкъ образъ се смѣеше; смѣеха се тѣй сѣщо грамаднитѣ, черни, свѣтли очи.

Тѣхнитѣ алмазени лучи се прѣчупваха отъ веселата игривость на своеволниитъ лѣтъ

Тя държеше въ рѣка дълго стѣбло на едно полско цвѣте: русситѣ го викатъ «царскій жезълъ,» — и истина то прилича на скипетръ.

Като се носеше стремително надъ мене, тя се докосна до главата ми съ онова цвѣте.

Азъ се спустнахъ къмъ нея . . . Но тя вече изхвъркна изъ прозорецьтъ . . . и улѣтя . . .

Въ градината, срѣдъ гжсталакътъ на лилековитѣ храсти, гърлицата я срѣщна съ първото си гукание, — а тамъ, гдѣто тя се скри, млѣчно-бѣлото небо полегичка почна да се червенѣе.

Азъ те познахъ богиньо на фантазията! Ти менъ посѣти случайно — ти полѣтя къмъ младитѣ поети.

О, поезия! младици! женска, дѣвственна красота! Вие можете само на мигъ да блѣснете прѣдъ мене — ранна утрень на ранна пролѣтъ!

ГЛУПАКЪ.

Имаше едно врѣме единъ глупакъ. Дълго врѣме си живѣеше той честито-прѣчестито, кога легка-по-легка почнаха да стигатъ до него слухове, че той навредъ се слави като гадина безъ мозъкъ.

Смути се глупакѣтъ и захвана да тѣжи, като какъ да прѣмахне тие неприятни слухове?

Ненадѣйна мисълъ озари най-сѣтиѣ неговийтъ тъменъ умецъ... И той, безъ много да се бави, я приведе въ изпълнение.

Срѣща го на улицата единъ познайникъ — и почева да хвалити нѣкой си извѣстенъ живописецъ . . .

— Ама работа! — извиква глупакътъ — тойзи живописецъ отдавна е прѣпратенъ въ архивата . . . Вие нема не знаете това? — Не очаквахъ отъ васъ такова нѣщо . . . Вие сте — назадничавъ человекъ.

Познайникътъ се уплашва — и веднага се съгласява съ глупакътъ.

— Каква прѣкрасна книга прочетохъ днесъ! — му казва другъ единъ познайникъ.

— Ама че сте! — извиква глупакътъ. — Какъ ви не е срамъ? Тая книга за нищо я не бива; всички отдавна сж я захвърлили. — това вие не знаете? Вие сте — назадничавъ человекъ

И тойзи познайникъ се уплашва — и се съгласява съ глупакътъ.

— Какъвъ чудесенъ человекъ е мойтъ приятель N. N.! — казва на глупакътъ третий единъ познайникъ. — Той е истински благородно сжщество!

— Ама работа, а! — извиква глупакътъ. — N. N е знаенъ подлецъ. Всичкитъ си роднини е ограбилъ. Кой не го знае? Вие сте — назадничавъ человекъ!

Третийтъ познайникъ тѣй сжщо се уплашва, съгласява се съ глупакътъ и се отиѣта отъ свойтъ приятель. Нѣкого, нѣщо ли хвалятъ прѣдъ глупакътъ — у него за всичко се намира една отсжда.

Или наврѣмени притури съ укоръ: — А вие все още вѣрвате въ авторитети?

«Злини! жлъчка!» захванаха да говорятъ за глупакътъ неговитъ познайници — «но пакъ глава!»

«И языкъ какъвъ!» — притурияха други. — «О, той е талантъ!»

Свърши се съ това, че единъ издатель на нѣкой сж вѣстникъ прѣдложи на глупакътъ да води критическия отдѣлъ.

И глупакътъ почна да критикува всичко и всички, безъ ни най-малко да мѣнува нито своята манера, нито своитѣ възклицания.

Сега той, — който нѣкога крѣщеше противъ авторитетитѣ — самъ е авторитетъ, — а юношатѣ прѣдъ него благоговѣятъ — и се страхуватъ отъ него

Та що и да правятъ бѣднитѣ юноши!

— Макаръ и да не трѣбва — изобщо да говоримъ — да се благоговѣе . . . но я, се опитай, та не възблаговѣвай — вече си отписанъ въ назадничави хора!

Болко е добръ на глупцитѣ помежду страхливцитѣ!



